

Генри Киссинджер

Дипломатия

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Новый мировой порядок

В каждом столетии, словно следуя некоему закону природы, похоже, появляется страна, обладающая могуществом, волей, а также интеллектуальными и моральными стимулами, необходимыми, чтобы привести всю систему международных отношений в соответствие с собственными ценностями. В XVII веке Франция при кардинале Ришелье предложила новый тогда подход к вопросу международных отношений, основывавшийся на принципах государства-нации и провозглашавший в качестве конечной цели национальные интересы. В XVIII веке Великобритания разработала концепцию равновесия сил, господствовавшую в европейской дипломатии последующие двести лет. В XIX веке Австрия Меттерниха реконструировала «европейский концерт», а Германия Бисмарка его демонтировала, превратив европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики.

В XX веке ни одна страна не оказала столь решительного и одновременно столь амбивалентного влияния на международные отношения, как Соединенные Штаты. Ни одно общество не настаивало столь твердо на неприемлемости вмешательства во внутренние дела других государств и не защищало столь страстно универсальности собственных ценностей. Ни одна иная нация не была более прагматичной в повседневной дипломатической деятельности или более идеологизированной в своем

стремлении следовать исторически сложившимся у нее моральным нормам. Ни одна страна не была более сдержанной в вопросах своего участия в зарубежных делах, даже вступая в союзы и беря на себя обязательства, беспрецедентные по широте и охвату.

Специфические черты, обретенные Америкой по ходу ее исторического развития, породили два противоположных друг другу подхода к вопросам внешней политики. Первый заключается в том, что Америка наилучшим образом утверждает собственные ценности, совершенствуя демократию у себя дома, и потому служит путеводным маяком для остальной части человечества; суть же второго сводится к тому, что сами эти ценности накладывают на Америку обязательство бороться за их утверждение во всемирном масштабе. Разрываемая между ностальгией по патриархальному прошлому и страстным стремлением к идеальному будущему, американская мысль мечется между изоляционизмом и вовлеченностью в международные дела, хотя со времени окончания второй мировой войны превалирующее значение приобрели факторы взаимозависимости.

Оба направления мышления, соответственно трактующие Америку либо в качестве маяка, либо как борца-крестоносца, предполагают в качестве нормального глобальный международный порядок, базирующийся на демократии, свободе торговли и международном праве. Поскольку подобная система никогда еще не существовала, ее создание часто представляется иным чем-то утопическим, если не наивным. И все же исходивший из-за рубежа скептицизм никогда не замутнял идеализма Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта или Рональда Рейгана, да и, по существу, всех прочих американских президентов XX века. Во всяком случае, он лишь подкрепил веру американцев в то, что ход истории можно переломить и что если мир действительно жаждет мира, то он должен воспользоваться американскими рецептами морального порядка.

Оба направления мышления являются продуктами американского опыта. Хотя существовали и существуют другие республики, ни одна из них не создавалась сознательно в целях утверждения и защиты идеи свободы. Никогда ни в одной другой стране население не избирало своей задачей освоение нового континента и покорение его диких пространств во имя свободы и процветания всех. Таким образом, оба подхода, изоляционистский и миссионерский, столь противоречивые внешне,

отражают общую, лежащую в их основе веру в то, что Соединенные Штаты обладают лучшей в мире системой управления и все прочее человечество может достигнуть мира и процветания путем отказа от традиционной дипломатии и принятия свойственного Америке уважительного отношения к международному праву и демократии.

Вхождение Америки в международную политику превратилось в триумф веры над опытом. С того момента, как в 1917 году Америка вышла на мировую политическую арену, она была до такой степени уверена в собственных силах и убеждена в справедливости своих идеалов, что главнейшие международные договоры нынешнего столетия стали воплощением американских ценностей — начиная от Лиги наций и пакта Бриана — Келлога вплоть до Устава Организации Объединенных Наций и Заключительного акта совещания в Хельсинки. Крушение советского коммунизма знаменовало интеллектуальную победу американских идеалов, но, по иронии судьбы, поставило Америку лицом к лицу с таким миром, появления которого она на протяжении всей своей истории стремилась избежать. В рамках возникающего международного порядка национализм обрел второе дыхание. Нации гораздо чаще стали преследовать собственный интерес, чем следовать высокоморальным принципам, чаще соперничать, чем сотрудничать. И мало оснований полагать, будто старая как мир модель поведения переменилась либо имеет тенденцию перемениться в ближайшие десятилетия.

А вот действительно новым в возникающем мировом порядке является то, что Америка более не может ни отгородиться от мира, ни господствовать в нем. Она не в силах переменить отношения к роли, принятой на себя в ходе исторического развития, да и не должна стремиться к этому. Когда Америка вышла на международную арену, она была молода, крепка и обладала мощью, способной заставить мир согласиться с ее видением международных отношений. К концу второй мировой войны в 1945 году Соединенные Штаты обладали таким могуществом, что казалось, будто им суждено переделать мир по собственным меркам (был момент, когда на долю Америки приходилось примерно 35% мировой валовой товарной продукции).

Джон Ф. Кеннеди уверенно заявил в 1961 году, что Америка достаточно сильна, чтобы «заплатить любую цену, вынести любое бремя» для обеспечения успешного воплощения идеалов свободы. Три десятилетия спустя Соединенные Штаты уже в

гораздо меньшей степени могут настаивать на немедленном осуществлении всех своих желаний. До уровня великих держав доросли и другие страны. И теперь, когда Соединенным Штатам брошен подобный вызов, приходится к достижению своих целей подходить поэтапно, причем каждый из этапов представляет собой сплав из американских ценностей и геополитических необходимостей. Одной из таких необходимостей является то, что мир, включающий в себя ряд государств сопоставимого могущества, должен основывать свой порядок на какой-либо из концепций равновесия сил, то есть базироваться на идее, существование которой всегда заставляло Соединенные Штаты чувствовать себя неудобно.

Когда на Парижской мирной конференции 1919 года столкнулись американская трактовка внешней политики и европейские дипломатические традиции, трагически очевидной стала разница в историческом опыте. Европейские лидеры стремились подправить существующую систему привычными методами; американские же миротворцы искренне верили, что Великая война явилась следствием не каких-либо неразрешимых геополитических конфликтов, но характерных для Европы и порочных по сути интриг. В своих знаменитых «Четырнадцать пунктов» Вильсон поведал европейцам, что отныне система международных отношений должна строиться не на концепции равновесия сил, а исходя из принципа этнического самоопределения, что их безопасность должна зависеть не от военных союзов, а от коллективных действий, и что их дипломатия более не должна быть тайной и находиться в ведении специалистов, а должна основываться на «открытых соглашениях, открыто достигнутых». Безусловно, Вильсон добивался не столько обсуждения условий окончания войны или восстановления существовавшего международного порядка, сколько преобразования всей системы международных отношений, функционировавшей на протяжении почти трех столетий.

Ибо как только американцы принимались рассуждать по поводу внешней политики, то приходили к тому, что все трудности, переживаемые Европой, порождены системой равновесия сил. И с того момента, как Европа впервые вынуждена была проявлять интерес к американской внешней политике, ее лидеры с подозрением отнеслись к принятой на себя Америкой миссии реформировать мир. Каждая из сторон вела себя так, будто другая сторона произвольно избрала метод дипломатического поведения но окажись одна из них более мудрой или менее воинственной, она бы выбрала какой-

либо иной, более приемлемый метод.

На самом деле как американский, так и европейский подходы к внешнеполитическим проблемам являлись производными их собственных, уникальных условий существования. Американцы заселили почти пустынный континент, огражденный от держав-хищников двумя огромными океанами, причем их соседями были весьма слабые страны. И поскольку Америка не сталкивалась ни с одной из держав, с силами которой ей надо было бы обрести равновесие, она вряд ли задалась бы задачей поддержания подобного равновесия, даже если бы ее лидерам пришла в голову невероятная мысль скопировать европейские условия для народа, повернувшегося к Европе спиной.

Дилеммы безопасности, вызывавшие душевную боль и муки у европейских стран, не имели отношения к Америке почти сто пятьдесят лет. А когда они ее коснулись, Америка дважды приняла участие в мировых войнах, начатых европейскими нациями. В каждом из этих случаев к тому моменту, как Америка оказалась вовлечена в войну, принцип равновесия сил уже не действовал, из чего проистекала парадоксальная ситуация: то самое равновесие сил, которое с негодованием отвергало большинство американцев, оказывается, как раз и обеспечивало их безопасность, пока оно функционировало в соответствии с первоначальным замыслом; и именно его нарушение вовлекало Америку в сферу международной политики.

Европейские страны избрали концепцию равновесия сил как способ урегулирования межгосударственных отношений вовсе не из врожденной страсти к ссорам и сварам или характерной для Старого Света любви к интригам. Если демократия и принципы международного права стали основополагающими для Америки вследствие свойственного только ей ощущения безопасности, то европейская дипломатия была выкована в горниле тяжелых испытаний.

Европа была брошена в пучину политики равновесия сил тогда, когда ее первоначальный выбор — средневековую мечту об универсальной империи — постиг крах, и на развалинах прежних грез и устремлений возникла группа государств, более или менее равных по силе. И когда государства, появившиеся на свет подобным образом, вынуждены были взаимодействовать друг с другом, возможны были только два варианта: либо одно из государств этой группы окажется до такой степени сильным, что сможет господствовать над другими и создать империю, либо ни одно из

них не окажется достаточно сильным для достижения подобной цели. В последнем случае претензии наиболее агрессивного из членов международного сообщества будут сдерживаться совокупностью всех прочих; иными словами, посредством функционирования равновесия сил.

Система равновесия сил не предполагала предотвращения кризисов или даже войн. Функционируя нормально, она, согласно замыслу, лишь ограничивала масштабы конфликтов и возможности одних государств господствовать над другими. Целью ее был не столько мир, сколько стабильность и умеренность. По сути своей система равновесия сил не в состоянии полностью удовлетворить каждого из членов международного сообщества; наилучшим образом она срабатывает тогда, когда способна снизить уровень неудовлетворенности до такой степени, при которой обиженная сторона не стремится ниспровергнуть международный порядок.

Теоретики системы равновесия сил часто представляют дело так, будто бы она как раз и является естественной формой международных отношений. На самом деле система равновесия сил в истории человечества встречается крайне редко. Западному полушарию она вообще неизвестна, а на территории современного Китая она в последний раз применялась в конце эпохи «сражающихся царств» более двух тысяч лет назад. На протяжении наиболее длительных исторических периодов для подавляющей части человечества типичной формой правления была империя. У империй не было никакой заинтересованности действовать в рамках международной системы; они сами стремились быть международной системой. Империи не нуждаются в равновесии сил. Именно подобным образом Соединенные Штаты проводили внешнюю политику на всей территории Американского континента, а Китай на протяжении большей части своего исторического существования — в Азии.

На Западе единственными примерами функционирующих систем равновесия сил могут служить государства-полисы Древней Греции и государства-города в Италии эпохи Возрождения, а также система европейских государств, порожденная Вестфальским миром 1648 года. Характерной особенностью всех этих систем являлось превращение конкретного факта существования множества государств, обладающих примерно равной мощностью, в ведущий принцип мирового порядка.

С интеллектуальной точки зрения, концепция равновесия сил отражала убеждения всех крупнейших политических мыслителей эпохи Просвещения. Согласно их

представлениям, вселенная, включая сферу политики, функционировала на основе рациональных принципов, уравнивающих друг друга. Внешне будто бы не связанные друг с другом действия разумных людей якобы должны были в совокупности вести к всеобщему благу, хотя в век почти не прекращающихся конфликтов, последовавших за окончанием Тридцатилетней войны, доказательства подобной гипотезы носили весьма иллюзорный характер.

Адам Смит в своем труде «Богатство наций» утверждал, что будто бы «невидимая рука» из эгоистических экономических деяний индивидов извлекает всеобщее экономическое благополучие. В статьях «Федералиста» Мэдисон доказывал, что в достаточно крупной республике различные политические «фракции», эгоистично преследующие собственные интересы, способны при помощи автоматически действующего механизма выковать надлежащую внутреннюю гармонию. Концепции разделения властей, а также сдержек и противовесов, представленных Монтескье и воплощенных в американской конституции, отражают ту же точку зрения. Целью разделения властей было предотвращение деспотизма, а не достижение гармоничной системы управления; каждая из ветвей системы управления, преследуя собственные интересы, но воздерживаясь от крайностей, должна была служить делу достижения всеобщего блага. Те же принципы применялись к международным отношениям. Предполагалось, что, преследуя собственные эгоистические интересы, всякое государство все равно служит прогрессу, а некая «невидимая рука» в конце концов сделает так, что свобода выбора для каждого из государств обернется благополучием для всех.

В течение более чем одного столетия казалось, что ожидания эти сбылись. После пертурбаций, вызванных Французской революцией и наполеоновскими войнами, европейские лидеры на Венском конгрессе 1815 года восстановили равновесие сил и на смену ставке на грубую силу стали приходить поиски умеренности в отношении поведения стран на международной арене благодаря введению моральных и юридических сдерживающих факторов. И все же к концу XIX века система европейского равновесия вернулась к принципам силовой политики, причем в обстановке гораздо большей бескомпромиссности. Бросать вызов оппоненту стало привычным методом дипломатии, что повело к бесконечной цепи силовых испытаний. Наконец, в 1914 году возник кризис, из которого никто не пожелал выйти

добровольно. Европа после катастрофы первой мировой войны так и не вернула себе положение мирового лидера. В качестве главного игрока возникли Соединенные Штаты, но Вудро Вильсон вскоре дал понять, что его страна вести игру по европейским правилам отказывается.

Никогда за всю свою историю Америка не участвовала в системе равновесия сил. В период, предшествовавший двум мировым войнам, Америка пользовалась выгодами от практического функционирования принципа равновесия сил, не принимая участия в связанном с ним политическом маневрировании и позволяя себе роскошь вволю порицать этот принцип. Во времена «холодной войны» Америка была вовлечена в идеологическую, политическую и стратегическую борьбу с Советским Союзом, когда мир, где наличествовали две сверхдержавы, функционировал на основе принципов, не имевших никакого отношения к системе равновесия сил. В биполярном мире гипотеза, будто бы конфликт приведет ко всеобщему благу, изначально беспочвенна: любой выигрыш для одной из сторон означает проигрыш для другой. По существу, в «холодной войне» Америка одержала победу без войны, то есть ту самую победу, которая вынудила ее взглянуть в лицо дилемме, сформулированной Джорджем Бернардом Шоу: «В жизни существуют две трагедии. Одна из них — так и не добиться осуществления самого сокровенного желания. Другая — добиться».

Американские лидеры так часто трактовали свои ценности как нечто само собой разумеющееся, что крайне редко сознавали, до какой степени эти ценности могут восприниматься другими как революционные и нарушающие привычный порядок вещей. Ни одно иное общество не утверждало, будто этические нормы точно так же применимы к ведению международных дел, как и к поведению индивидуумов — иными словами, такого рода представление в корне противоречит сущности *raison d'etat* Ришелье. Америка утверждала, что предотвращение войны является столь же законным деянием, как и дипломатический вызов, и что она выступает не против перемен как таковых, а против определенной методики перемен, в частности, против использования силы. Какой-нибудь Бисмарк или Дизраэли высмеял бы одно лишь предположение, будто бы предметом внешней политики является не столько суть совершающихся событий, сколько метод их совершения, если бы подобное вообще находилось в пределах их понимания. Ни одна из наций никогда не предъявляла к себе моральных требований, как это сделала Америка. И ни одна из стран не

терзалась разрывом между абсолютным по сути характером своих моральных ценностей и несовершенством той конкретной ситуации, где их следовало применить.

Во времена «холодной войны» уникальный, присущий одной лишь Америке подход к вопросам внешней политики был в высшей степени адекватен вызову. В условиях глубокого идеологического конфликта лишь одна страна — Соединенные Штаты — обладала всей совокупностью средств — политических, экономических и военных — для организации обороны некоммунистического мира. Нация, находящаяся в подобном положении, в состоянии настаивать на собственной точке зрения и часто способна уйти от проблем, стоящих перед государственными деятелями обществ, находящихся в менее благоприятном положении: ведь средства, имеющиеся в распоряжении последних, обязывают их добиваться целей менее значительных, чем их чаяния, причем ситуация потребовала бы даже этих целей добиваться поэтапно.

В мире времен «холодной войны» традиционные концепции силы были существенным образом подорваны. В большинстве исторических ситуаций имел место синтез военного, политического и экономического могущества, причем в целом налицо оказывалась определенная симметрия. В период «холодной войны» различные элементы могущества стали четко отделяться друг от друга. Бывший Советский Союз, являлся в военном отношении сверхдержавой, а в экономическом смысле — карликом. Другая страна вполне могла быть экономическим гигантом, а в военном отношении — ничтожно малой величиной, как в случае с Японией.

После окончания «холодной войны» различные элементы могущества обретут, вероятно, большую гармонию и симметрию. Относительная военная мощь Соединенных Штатов будет постепенно уменьшаться. Отсутствие четко обозначенного противника породит давление изнутри, дабы переключить ресурсы на выполнение других первоочередных задач, не связанных с оборонной сферой, причем этот процесс уже начался. Когда угроза более не носит универсального характера и каждая страна оценивает с точки зрения собственных национальных интересов угрожающие конкретно ей опасности, те общества, которые благополучно пребывали под защитой Америки, будут вынуждены принять на себя более значительную долю ответственности за свою безопасность. Таким образом, функционирование новой международной системы приведет к равновесию даже в военной области, хотя для достижения подобного положения могут потребоваться десятилетия. Еще четче эти

тенденции проявятся в экономической сфере, где американское преобладание уже уходит в прошлое, — бросать вызов Соединенным Штатам стало более безопасно.

Международная система XXI века будет характеризоваться кажущимся противоречием: фрагментации, с одной стороны, и растущей глобализацией, с другой. На уровне отношений между государствами новый порядок, пришедший на смену «холодной войне», будет напоминать европейскую систему государств XVIII — XIX веков. Его составной частью станут, по меньшей мере, Соединенные Штаты, Европа, Китай, Япония, Россия и, возможно, Индия, а также великое множество средних и малых стран. В то же время международные отношения впервые обретут истинно глобальный характер. Передача информации происходит мгновенно; мировая экономика функционирует на всех континентах синхронно. На поверхность всплывет целый ряд проблем, таких, как вопрос распространения ядерных технологий, проблемы окружающей среды, демографического взрыва и экономической взаимозависимости, решением которых можно будет заниматься только в мировом масштабе.

Согласование различных ценностей и самого разнообразного исторического опыта у сопоставимых с Америкой по значимости стран будет для нее новым явлением, крупномасштабным отходом как от изоляционизма предшествующего столетия, так и от гегемонии де-факто времен «холодной войны», причем каким образом это осуществится, постарается прояснить настоящая книга. В равной степени и другие основные участники игры, приспособляясь к возникающему мировому порядку, сталкиваются с рядом затруднений.

Европа, единственная часть современного мира, где функционировала система одновременного существования множества государств, является родиной концепций государства-нации, суверенитета и равновесия сил. Эти идеи господствовали в международных делах на протяжении почти трех столетий подряд. Но никто из прежних приверженцев на практике принципа *raison d'etat* не силен до такой степени, чтобы стать во главе нарождающегося международного порядка. Отсюда попытки компенсировать свою относительную слабость созданием объединенной Европы, причем усилия в этом направлении поглощают значительную часть энергии участников этого процесса. Но если бы даже они преуспели, под рукой у них не оказалось бы никаких апробированных моделей поведения объединенной Европы на

мировой арене, ибо такого рода политического организма еще никогда не существовало.

На протяжении всей своей истории Россия всегда стояла особняком. Она поздно вышла на сцену европейской политики — к тому времени Франция и Великобритания давно прошли этап консолидации, — и к этой стране, по-видимому, неприменим ни один из традиционных принципов европейской дипломатии. Находясь на стыке трех различных культурных сфер — европейской, азиатской и мусульманской, — Россия вбирала в себя население, принадлежавшее к каждой из этих сфер, и поэтому никогда не являлась национальным государством в европейском смысле. Постоянно меняя очертания по мере присоединения ее правителями сопредельных территорий, Россия была империей, несравнимой по масштабам ни с одной из европейских стран. Более того, после каждого очередного завоевания менялся характер государства, ибо оно вбирало в себя совершенно новую, беспокойную нерусскую этническую группу. Это было одной из причин, почему Россия ощущала себя обязанной содержать огромные вооруженные силы, размер которых не шел ни в какое сравнение со сколь-нибудь правдоподобной угрозой ее безопасности извне.

Разрываясь между навязчивой идеей незащищенности и миссионерским рвением, между требованиями Европы и искушениями Азии, Российская империя всегда играла определенную роль в европейском равновесии, но в духовном плане никогда не была его частью. В умах российских лидеров сливались воедино потребности в завоеваниях и требования безопасности. Со времен Венского конгресса Российская империя вводила свои войска на иностранную территорию гораздо чаще, чем любая из крупных держав. Аналитики часто объясняют русский экспансионизм как производное от ощущения отсутствия безопасности. Однако русские писатели гораздо чаще оправдывали стремление России расширить свои пределы ее мессианским призванием. Двигаясь вперед, Россия редко проявляла чувство меры; наталкиваясь на противодействие, она обычно погружалась в состояние мрачного негодования. На протяжении значительной части своей истории Россия была вещью в себе в поисках самореализации.

Посткоммунистическая Россия оказалась в границах, не имеющих исторического прецедента. Как и Европа, она вынуждена будет посвятить значительную часть своей энергии переосмыслению собственной сущности. Будет ли она стремиться к

восстановлению своего исторического ритма и к воссозданию утраченной империи? Переместит ли она центр тяжести на восток и станет принимать более активное участие в азиатской дипломатии? Исходя из каких принципов и какими методами будет она реагировать на смуты у своих границ, особенно на переменчиво-неспокойном Среднем Востоке? Россия всегда будет неотъемлемой составной частью мирового порядка . и в то же время в связи с неизбежными потрясениями, являющимися следствием ответов на поставленные вопросы, потенциально таит для него угрозу.

Китай также оказался лицом к лицу с новым для него мировым порядком. В течение двух тысяч лет Китайская империя объединяла свой собственный мир под владычеством императора. По правде говоря, временами этот порядок демонстрировал собственную слабость. Войны в Китае случались не реже, чем в Европе. Но поскольку они обычно велись между претендентами на императорскую власть, то носили скорее характер гражданских, чем внешних, и рано или поздно неизбежно приводили к возникновению новой центральной власти.

До начала XIX века Китай никогда не имел соседа, способного оспорить его превосходство, и даже не помышлял о том, что такое государство может появиться. Завоеватели извне, казалось, свержали китайские династии только для того, чтобы слиться с китайской культурой до такой степени, чтобы продолжать традиции Среднего царства. Понятия суверенного равенства государств в Китае не существовало; жившие за его пределами считались варварами, и на них смотрели, как на потенциальных данников — именно так был принят в XVIII веке в Пекине первый британский посланник. Китай считал ниже своего достоинства направлять послов за границу, но не гнушался использовать варваров из дальних стран для разгрома варваров из соседних. И все же это была стратегия на случай чрезвычайных обстоятельств, а не повседневно функционирующая система наподобие европейского равновесия, и потому она не породила характерного для Европы постоянного дипломатического механизма. После того, как Китай в XIX веке оказался в униженном положении объекта европейского колониализма, он лишь недавно — после второй мировой войны — вошел в многополюсный мир, что является беспрецедентным в его истории.

Япония также отсекала от себя все контакты с внешним миром. В течение пятисот

лет, вплоть до момента, когда была насильственно «открыта» коммодором Мэтью Перри в 1854 году, Япония вообще не снисходила до того, чтобы позаботиться о создании равновесия сил среди противостоящих друг другу варваров или о приобретении данников, как это делал Китай. Отгородившись от внешнего мира, она гордилась единственными в своем роде обычаями, поддерживала свою воинскую традицию в гражданских войнах и основывала свое внутреннее устройство на убежденности, что ее в высшей степени своеобразная культура невосприимчива к иностранному влиянию, стоит выше его и в конце концов скорее подавит его, чем усвоит.

В годы «холодной войны», когда основной угрозой безопасности Японии являлся Советский Союз, она оказалась в состоянии отождествить свою внешнюю политику с политикой отстоящей от нее на несколько тысяч миль Америки. Новый мировой порядок с его многообразием вызовов почти неизбежно заставит гордую своим прошлым страну пересмотреть прежнюю ориентацию на единственного союзника. Япония обязательно станет более чувствительной к равновесию сил в Азии, чем Америка, которая расположена в ином полушарии и ориентирована на три других направления: атлантическое, тихоокеанское и южноамериканское. Китай, Корея и Юго-Восточная Азия приобретут для Японии совершенно иное значение, чем для Соединенных Штатов, и это явится импульсом для более автономной и более ориентированной на собственные интересы японской внешней политики.

Что касается Индии, которая сейчас превращается в ведущую державу Южной Азии, то ее внешняя политика представляет собой последнее подогретое древними культурными традициями воспоминание о золотых днях европейского империализма. Субконтинент до появления на нем британцев никогда на протяжении целого тысячелетия не представлял собой единого политического целого. Британская колонизация была осуществлена малыми военными силами, потому что местное население изначально видело в ней лишь смену одних завоевателей другими. Но когда установилось единое правление, власть Британской империи была подорвана народным самоуправлением и культурным национализмом, ценностями, привнесенными в Индию самой же метрополией. И все-таки в качестве государства-нации Индия новичок. Поглощенная борьбой за обеспечение продуктами питания своего огромного населения, она во время «холодной войны» оказалась участником

движения неприсоединения. Но ей еще предстоит избрать соизмеримую с собственным самосознанием роль на сцене международной политики.

Таким образом, ни одна из ведущих стран, которым предстоит строить новый мировой порядок, не имеет ни малейшего опыта существования в рамках нарождающейся многогосударственной системы. Никогда прежде новый мировой порядок не создавался на базе столь многообразных представлений, в столь глобальном масштабе. Никогда прежде не существовало порядка, который должен сочетать в себе атрибуты исторических систем равновесия сил с общемировым демократическим мышлением, а также стремительно развивающейся современной технологией.

В ретроспективном плане, похоже, все системы международных отношений обладают неизбежной симметрией. Как только они созданы, становится трудно вообразить, каким путем пошла бы история, если бы был сделан иной выбор, да и вообще, был ли этот иной выбор возможен. В процессе становления того или иного международного порядка выбор широк и многообразен. Но каждое конкретное решение сужает набор не востребуемых вариантов. Поскольку усложнение мешает гибкости, выбор, сделанный максимально рано, всегда имеет судьбоносный характер. Будет ли международный порядок относительно стабилен, как после Венского конгресса, или весьма непрочен, как после Вестфальского мира и Версальского договора, зависит от степени, в какой он согласует чувство безопасности составляющих его обществ с тем, что они считают справедливым.

Две международные системы, оказавшиеся наиболее стабильными, а именно, порожденная Венским конгрессом и возглавляемая Соединенными Штатами после окончания второй мировой войны, имели то преимущество, что строились на общности взглядов. Государственные деятели, собравшиеся в Вене, были аристократами, для которых существовали одни и те же моральные запреты и основополагающие принципы; а американские лидеры, сформировавшие послевоенный мир, являлись порождением исключительно цельной и жизнеспособной интеллектуальной традиции.

Возникающий сейчас порядок должны будут строить государственные деятели, которые представляют совершенно разные культуры. Они руководят бюрократическими системами такой сложности, что зачастую энергия этих _

государственных деятелей в большей степени уходит на приведение в действие административной машины, а не на определение цели. Они добились высокого положения благодаря качествам которые не всегда нужны для управления еще менее годятся для создания международного порядка. При этом единственная действующая модель многогосударственной системы была создана западными обществами, и многие из участников международного порядка ее могут отвергнуть.

И все же возвышение и крушение прежних мировых порядков — от Вестфальского мира до наших дней — есть единственный источник опыта, на который можно опереться, пытаясь понять, какого рода вызов может быть брошен в лицо современным государственным деятелям. Уроки истории не являются автоматически применимым руководством к действию; история учит по аналогии, проливая свет на сходные последствия сопоставимых ситуаций. Однако каждое поколение должно определить для себя, какие обстоятельства на самом деле являются сопоставимыми.

Ученые-исследователи анализируют функционирование международных систем; государственные деятели их создают. И существует огромная разница между видением аналитика и государственного деятеля. Аналитик в силах выбирать, какую именно проблему он желает исследовать, в то время как на государственного деятеля проблемы сваливаются сами собой. Аналитик не ограничен временем и может затратить его сколько нужно, чтобы прийти к четкому и ясному выводу, зато государственный деятель все время находится в цейтноте. Аналитик ничем не рискует. Если его выводы окажутся неверными, он напишет новый трактат. Государственному деятелю дозволена лишь одна попытка; если он не угадает, ошибки становятся непоправимыми. Аналитик имеет в своем распоряжении все факты; и судят о нем в зависимости от его интеллектуальных способностей. Государственный деятель вынужден действовать, исходя из оценок, которые не может доказать в тот момент, когда их выносит; история будет судить о нем на основании того, насколько мудро ему удалось осуществить необходимые изменения и, что самое главное, до какой степени он сумел сохранить мир. Вот почему изучение того, как государственные деятели решали проблему установления мирового порядка — что сработало, а что нет, и почему, — не конечная цель, а скорее начало осознания современной дипломатии.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Кардинальный вопрос: Теодор Рузвельт или Вудро Вильсон

До начала нынешнего столетия в американской внешней политике превалировали изоляционистские тенденции. Затем два обстоятельства вовлекли Америку в сферу общемировой политики: быстрый рост ее мощи и постепенный развал международной системы, центром которой являлась Европа. Два президентства обозначили этот водораздел: Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона. Именно в их руках находились бразды правления, когда сопротивляющаяся нация была втянута в водоворот мировых событий. Оба они отдавали себе отчет в том, что Америке предстоит сыграть решающую роль в мировой политике, но при этом находили совершенно разные обоснования отказа от изоляционизма.

Рузвельт был мудрым аналитиком, изучавшим систему равновесия сил. Он настаивал на необходимости для Америки играть соответствующую роль в международной политике, оправдывая это национальными интересами и полагая, что мировое равновесие сил невозможно, если Америка не является его составной частью. А для Вильсона обоснование американского участия в международных делах носило мессианский характер: на Америку, с его точки зрения, была возложена обязанность не просто соучаствовать в системе равновесия сил, но распространять свои принципы по всему свету. Во времена администрации Вильсона Америка стала играть ключевую роль в международных делах, провозглашая принципы хотя и бывшие трюизмами в рамках собственно американского мышления, но тем не менее для дипломатов Старого Света означавшие революционный разрыв с прошлым. В число этих принципов входили понятия о том, что от распространения демократии зависит мир на земле, что государства следует судить по тем же самым этическим

нормам, которые являются критерием поведения отдельных личностей, и что национальные интересы любой страны должны подчиняться универсальной системе законов.

Для ветеранов европейской дипломатии, закаленных в боях за сохранение равновесия сил, точка зрения Вильсона относительно существования абсолютных моральных постулатов, лежащих в основе внешней политики, воспринималась как странная, если не лицемерная. И все же вильсоновство выжило, ибо история переступила через ограниченные воззрения его современников. Вильсон первым увидел, как должна выглядеть универсальная всемирная организация, Лига наций, которой предстояло сохранять мир посредством осуществления принципа коллективной безопасности, а не путем создания альянсов. Хотя Вильсону не удалось убедить собственную страну в достоинствах подобного рода воззрений, идея выжила. И именно под барабанный бой вильсоновского идеализма стала утверждаться в мире.

Специфический американский подход к международным делам проявился не сразу и не был лишь последствием озарения, осенившего одну-единственную личность. В ранние годы существования республики американская внешняя политика была на деле тщательно продуманным выражением американских национальных интересов, сводившихся просто-напросто к тому, чтобы надежно обеспечить защиту собственной независимости. Поскольку ни одна из европейских стран не представляла угрозы для Соединенных Штатов, пока имела дело с соседними странами-соперниками, «отцы-основатели» выказывали полнейшую готовность использовать столь презируемую ими систему равновесия сил, коль скоро это было выгодно; и они действительно с величайшим искусством лавировали между Францией и Великобританией не только для того, чтобы сохранить американскую независимость, но и для того, чтобы расширить государственные границы. И поскольку им не хотелось, чтобы какая-либо из сторон одержала решающую победу в войнах Французской революции, они провозгласили нейтралитет. Томас Джефферсон определил наполеоновские войны как соперничество между тираном суши (Францией) и тираном океана (Англией)[1]— иными словами, стороны европейской битвы были, по его мнению, морально эквивалентны друг другу. Прибегнув к зачаточному варианту неприсоединения, Америка, как впоследствии и многие другие нации, выходящие на политическую арену, открыла для себя выгоды нейтралитета в качестве инструмента для

международных сделок.

В то же время Соединенные Штаты вовсе не до такой степени отвергали все методы Старого Света, чтобы позабыть о самом понятии территориальной экспансии.

Напротив, с самого начала своего существования Соединенные Штаты прибегали к экспансии как в Северной, так и в Южной Америке, четко стремясь добиться заранее поставленной цели. После 1794 года серия договоров закрепила границы с Канадой и Флоридой в пользу Америки, открыла реку Миссисипи для американской торговли и положила начало укоренению американских коммерческих интересов в Британской Вест-Индии. Кульминацией явилась покупка Луизианы в 1803 году, предоставившая молодой стране огромную территорию с неопределенными границами к западу от реки Миссисипи, ранее принадлежавшую Франции, а также возможности предъявлять претензии на испанскую территорию во Флориде и Техасе, то есть фундамент будущего ее развития как великой державы.

Французский император, совершивший этот торг, Наполеон Бонапарт, дал объяснение своей односторонней сделке в типичном стиле Старого Света: «Эта территориальная уступка навсегда закрепляет мощь Соединенных Штатов, и этим я только что дал Англии соперника на морях, который рано или поздно умерит ее гордыню»[2] Американским государственным деятелям было не важно, как Франция оправдывает продажу собственных владений. Для них осуждение силовой политики Старого Света не противоречило американской территориальной экспансии по всей Северной Америке. Ибо они воспринимали американский рывок на запад скорее как внутреннее дело самой Америки, чем как действие внешнеполитического характера.

Именно в этом ключе Джеймс Мэдисон осуждал войну, видя в ней источник всех зол, предвестие новых налогов и крупных армий, а также всех прочих «способов подчинения многих господству немногих»[3]. Его преемник Джеймс Монро не находил противоречия между этим положением и защитой экспансии на запад, ибо полагал, что это необходимо для превращения Америки в великую державу:

«Всем должно быть очевидно, что чем дальше осуществляется экспансия, при условии, что она остается в справедливых пределах, тем большей станет свобода действий обоих (штатного и федерального) правительств и тем более совершенной станет их безопасность; и во всех прочих отношениях тем более благоприятными станут ее последствия для всего американского народа. Размеры территории, в

зависимости от того, велики они или малы, в значительной степени характеризуют нацию. Они свидетельствуют о величине ее ресурсов, численности населения и говорят о ее физических силах. Короче говоря, они создают разницу между великой и малой державой»[4].

И все же, даже используя время от времени метолы европейской силовой политики, лидеры новой нации остаются верны принципам, придавшим их стране определенную исключительность. Европейские державы вели бесчисленные войны, чтобы предотвратить возникновение государства, которое бы господствовало над всеми остальными. В Америке сочетание силы и удаленности давало уверенность в том, что любой вызов может быть надлежащим образом отражен уже после того, как он будет сделан. Европейские нации, имевшие меньший запас прочности с точки зрения выживания, образовывали коалиции против самой возможности перемен; Америка же находилась достаточно далеко, чтобы ориентировать собственную политику на противостояние реальным переменам. Таков был геополитический фундамент воззрений Джорджа Вашингтона, предупреждавшего против участия в альянсах-«ловушках» ради достижения какой бы то ни было цели. Было бы неразумным, заявлял он, «впутывать себя посредством искусственных связей в обычные хитросплетения этой (европейской) политики или в обычные комбинации и коллизии, проистекающие из внутриевропейских дружественных или враждебных отношений. Наша отъединенность и пребывание в отдалении требуют от нас и позволяют нам следовать иным курсом»[5].

Новая нация восприняла совет Вашингтона не как практическое, геополитическое суждение, а как моральную максиму. Воплощая в себе принцип свободы, Америка считала естественным воспринимать обеспечиваемую двумя океанами безопасность как знак божественного провидения и относить собственные действия на счет высшего морального озарения, а не объяснять их исключительными факторами безопасности, которыми не обладала никакая другая нация.

Главным элементом внешней политики в ранний период существования республики была убежденность в том, что постоянные войны в Европе являются результатом циничных методов управления государством. Европейские лидеры основывали свою международную систему на убеждении, что гармония будто бы может возникнуть в чистом виде в результате соперничества эгоистических интересов. Их американские

коллеги провидели мир, где государства будут действовать не как недоверчивые соперники, а как партнеры. Американские лидеры отвергали европейские представления о том, будто бы моральность поведения государств оценивается по иным критериям, чем моральность поведения отдельных лиц. По словам Джефферсона, существует «одна и та же система этики для людей и для наций: быть благодарными, быть верными всем принятым на себя обязательствам при любых обстоятельствах, быть открытыми и великодушными, что в конечном счете в равной степени послужит интересам и тех и других»[6].

Проповеднический характер американских заявлений, временами столь раздражающий европейцев, отражает тот реальный факт, что Америка на деле не просто подняла бунт против юридических связей, притягивавших ее к метрополии, но выступила против европейской системы ценностей. Америка выводила частое возникновение войн в Европе из преобладания государственных институтов, отрицающих свободу и человеческое достоинство. «Поскольку война и есть система управления старой конструкции, — писал Томас Пейн, — вражда, которую нации испытывают друг к другу, является просто-напросто порождением политики собственных правительств и следствием их подстрекательства, чтобы сохранить дух системы... Человек не является врагом человека, а лишь становится таковым вследствие фальши системы управления»[7].

Само представление о том, что мир зависит прежде всего от распространения демократических институтов, остается краеугольным камнем американского мышления вплоть до наших дней. Общепринятая американская мудрость гласит, что демократические страны друг против друга войны не ведут. Зато Гамильтон ставил под сомнение утверждение, будто республики по сути своей более миролюбивы, чем страны с иными формами правления:

«Спарта, Афины, Рим и Карфаген все были республиками; две из них, Афины и Карфаген, — торговыми. И все равно они так же часто вели наступательные и оборонительные войны, как соседствовавшие с ними современные им монархии... В управлении Британией одна из ветвей национальной законодательной масти состоит из представителей народа. Торговля в течение многих веков была преобладающим поприщем для этой страны. И тем не менее немногие нации столь же часто вовлекались в войну...»[8]

Гамильтон, однако, являлся выразителем мнений ничтожного меньшинства. Подавляющее большинство американских лидеров были убеждены тогда, точно так же, как и теперь, что на Америке лежит особая ответственность за повсеместное распространение собственных ценностей, ибо это и есть ее вклад в дело всеобщего мира. Но и тогда, точно так же, как и теперь, существовали разногласия по поводу метода. Следует ли Америке считать основной целью своей внешней политики активное содействие распространению институтов свободы? Или она должна полагаться лишь на воздействие собственного примера?

Преобладающим в ранний период существования республики был такой взгляд на эту проблему: пусть лучше нарождающаяся американская нация послужит делу демократии, реализуя ее ценности у себя дома. Как говорил Томас Джефферсон, «справедливое и прочное республиканское правительство» в Америке «будет вечным памятником и примером» для всех народов мира[9]. Через год Джефферсон вновь вернулся к этой теме и заявил, что Америка на деле «действует в интересах всего человечества».

«...Ибо обстоятельства, в которых отказано другим, но которые дарованы нам, налагают на нас обязанность показать, что такое на самом деле та степень свободы и самоуправления, которой общество осмеливается наделить своих отдельных членов»[10].

Упор, делавшийся американскими лидерами на моральные основы поведения Америки и на их важность как символа свободы, привел к отрицанию трюизмов европейской дипломатии; а именно, того, что равновесие сил будто бы предопределяет появление конечной гармонии в результате соперничества эгоистических интересов и что забота о безопасности превышает принципы гражданского права; иными словами, того, что стоящие перед государством цели оправдывают средства.

Эти беспрецедентные идеи выдвигались страной, процветавшей в течение всего девятнадцатого столетия, обеспечившей надлежащее функционирование собственных институтов и добившейся воплощения на практике собственных ценностей. Америка была уверена в том, что не существует противоречия между высокоучеными принципами и необходимостью выживания. Со временем призыв к морали как средству разрешения международных споров породил уникальную в своем роде

амбивалентность и особую американскую тревогу. Если американцы обязаны вести свою внешнюю политику со всей моральной непреклонностью, свойственной им и в личной жизни, как же тогда анализировать степень безопасности? Значит, если брать крайний случай, выживание стоит на втором месте по сравнению с моралью? Или, быть может, приверженность Америки к институтам свободы автоматически делает моральными даже самые, казалось бы, эгоистически нацеленные деяния? А если это так, то чем же они отличаются от европейской концепции «высших интересов государства», утверждающей, что действия государства следует судить лишь в зависимости от их успешности?

Профессора Роберт Такер и Дэвид Хэндриксон блестяще проанализировали эту амбивалентность американской мысли:

«Великая дилемма джефферсоновского искусства управления государством заключаюсь в том, что он откровенно отвергал и осуждал средства, при помощи которых государства, безоговорочно полагаясь на них, стремятся обеспечить свою безопасность и удовлетворить собственные амбиции, и одновременно отказывался осудить те самые амбиции, которые обычно и приводили к применению подобных средств. Иными словами, он желал, чтобы Америка имела и то и другое: чтобы она могла насладиться плодами своего могущества и не становилась жертвой обычных последствий его проявления»[11].

Вплоть до настоящего времени преобладание то одного, то другого подхода становилось одной из основных проблем американской внешней политики. К 1820 году Соединенные Штаты выработали компромисс между обоими подходами, что и позволило им пользоваться и тем и другим вплоть до окончания второй мировой войны. Они продолжали осуждать происходящее за океанами как заслуживающий порицания результат политики равновесия сил и в то же время рассматривали собственную экспансию на пространствах Северной Америки как «судьбоносную миссию».

До самого начала двадцатого века американская внешняя политика в основе своей была весьма проста: осуществить судьбоносную миссию и не связывать себя обязательствами по ту сторону океанов. Везде, где бы то ни было, Америка приветствовала создание демократических правительств, но воздерживалась от действий, подкреплявших ее выбор. Джон Квинси Адамс, бывший тогда

государственным секретарем, так подытожил сущность этой точки зрения в 1821 году:

«Там, где распускает или распустит паруса свобода и независимость, да пребудут ее (Америки) сердце, благословения и молитвы. Но она не отправится за границу на поиск чудовищ, которых ей следует победить. Она желает всяческих успехов всеобщему утверждению стандартов свободы и независимости. Но она является поборником и защитником лишь собственной свободы и независимости»[12].

Оборотной стороной подобной политики американского самоограничения было решение исключить европейскую силовую политику из практики Западного полушария, причем если нужно, то и путем применения некоторых из методов европейской дипломатии. Провозгласившая подобную политику «доктрина Монро» возникла вследствие попытки Священного союза, состоявшего из России, Пруссии и Австрии, подавить в 20-е годы XIX века революцию в Испании. Принципиально выступавшая против Великобритании в равной степени не желала появления стран Священного союза в Западном полушарии.

Британский министр иностранных дел Джордж Каннинг предложил Соединенным Штатам совместное выступление с целью не подпустить Священный союз к испанским колониям в Америке. Он хотел быть уверен: независимо от того, что произойдет в Испании, ни одна из европейских держав не будет контролировать Латинскую Америку. Лишенная колоний, Испания перестанет быть лакомым кусочком, доказывал Каннинг, и это либо заставит отказаться от интервенции, либо обесмыслит последнюю.

Джон Квинси Адаме понимал британские теоретические построения, но не доверял британским мотивам. После британской оккупации Вашингтона в 1812 году для Америки было еще слишком рано вставать на одну сторону с бывшей метрополией. И, соответственно, Адаме настоял на том, чтобы президент Монро в одностороннем порядке исключил европейский колониализм из общеамериканской практики.

«Доктрина Монро», провозглашенная в 1823 году, превращала океан, разделяющий Соединенные Штаты и Европу, в средневековый замковый ров. До того времени кардинальным правилом американской внешней политики было не допустить вовлечения Соединенных Штатов в европейскую борьбу за власть. «Доктрина Монро» сделала еще один шаг в этом направлении, объявив, что Европа не должна вмешиваться в американские дела. А представления Монро о том, что такое

американские дела, были воистину всеобъемлющими, ибо включали в себя все Западное полушарие.

Более того, «доктрина Монро» не ограничилась провозглашением определенных принципов. Она решительно предупреждала европейские державы, что новая нация прибегнет к войне, чтобы сохранить неприкосновенность Западного полушария. Она объявляла, что Соединенные Штаты будут считать любое распространение власти европейских стран «на любую частицу данного полушария как опасное для мира и нашей безопасности»[13].

Наконец, языком, менее изысканным, но более четким, чем у государственного секретаря в высказывании двухлетней давности, президент Монро исключал какую бы то ни было возможность вмешательства в европейские противоречия: «В войнах европейских держав, связанных с вопросами, касающимися только их самих, мы никогда не участвовали, и участие в них не соответствует нашей политике»[14].

Америка в одно и то же время поворачивалась спиной к Европе и высвобождала руки для экспансии в Западном полушарии. Под крышей «доктрины Монро» Америка способна была преследовать политические цели, не слишком отличающиеся от мечтаний какого-нибудь европейского короля: расширять торговлю и сферы влияния, присоединять территорию — короче говоря, превращаться в великую державу, не применяя на практике силовой политики. Американская жажда экспансии и ее вера в то, что она является более чистой и принципиальной страной, чем любая из стран Европы, не вступали в противоречие друг с другом, поскольку Соединенные Штаты никогда не рассматривали собственную экспансию с точки зрения внешней политики. Они могли применять силу, чтобы добиться преобладания: над индейцами, над Мексикой в Техасе, — и делали это со спокойной совестью. Короче говоря, внешняя политика Соединенных Штатов заключалась в том, чтобы не иметь внешней политики.

Как Наполеон применительно к продаже Луизианы, Каннинг имел право хвастаться, что он сделал из Нового Света фактор перемены равновесия сил в Старом, ибо Великобритания подчеркивала, что она поддержит «доктрину Монро» силами Королевского военно-морского флота. Америка, однако, хотела бы перемены равновесия сил в Европе лишь в той степени, которая позволила бы предотвратить проникновение Священного союза в Западное полушарие. Что же касается всего

остального, то европейским державам оставалось поддерживать равновесие сил без участия Америки. До самого конца столетия главным содержанием американской внешней политики станет расширение сферы применения «доктрины Монро». В 1823 году «доктрина Монро» предупредила европейские державы, что им следует держаться подальше от Западного полушария. К столетнему юбилею «доктрины Монро» смысл ее постепенно расширялся, и в итоге она превратилась в оправдание американской гегемонии в Западном полушарии. В 1845 году президент Полк объяснял включение Техаса в состав Соединенных Штатов стремлением не позволить независимому государству превратиться «в союзника или зависимую территорию какой-либо иностранной нации, более могущественной, чем оно само», а следовательно, избежать угрозы американской безопасности[15]. То есть «доктрина Монро» оправдывала американское вмешательство в дела других государств не только в случае наличия реальной угрозы для страны, но и при одном лишь появлении возможности подобного вызова — точно так же, как это делалось в рамках системы европейского равновесия.

Гражданская война на короткое время приостановила интерес Америки к территориальной экспансии. Главной заботой для внешней политики Вашингтона было предотвращение признания Конфедерации европейскими нациями, иначе на североамериканской почве возникла бы многогосударственная система, а вместе с нею — характерная для европейской дипломатии политика сохранения системы равновесия сил. Но уже к 1868 году президент Эндрю Джексон вернулся на прежний путь и оправдывал экспансию «доктриной Монро»: на этот раз речь шла о покупке Аляски.

«Иностранные владения или иностранный контроль над отдельными поселениями до сих пор сдерживали рост и умеряли влияние Соединенных Штатов. Столь же губительными были бы хроническая революция и анархия»[16].

Происходило нечто более фундаментальное, чем просто экспансия на просторах Американского континента, хотя это практически не было замечено так называемыми великими державами: в клуб их вступал новый член, ибо Соединенные Штаты становились самой могущественной нацией мира. К 1885 году Соединенные Штаты превосходили Великобританию, тогда считавшуюся крупнейшей индустриальной державой мира, по объему производимой продукции. К концу века страна потребляла

больше энергии, чем Германия, Франция, Австро-Венгрия, Россия, Япония и Италия вместе взятые[17]. За период между окончанием гражданской войны и началом следующего столетия добыча угля в Америке выросла на 800%, производство рельсового проката на 523%, длина железнодорожной сети на 567%, а производство пшеницы на 256%. Благодаря иммиграции численность американского населения удвоилась. И процесс роста имел тенденцию к ускорению.

Не было еще такой нации, которая вместе с подобным приращением могущества не попыталась бы приобрести и общемировое влияние. Лидеры Америки оказались перед искушением. Государственный секретарь при президенте Эндрю Джексоне Сьюард мечтал об империи, включающей в себя Канаду и значительную часть Мексики и глубоко вдающуюся в Тихий океан. Администрация Гранта желала аннексировать Доминиканскую республику и примеривалась к приобретению Кубы. Подобного рода инициативы современные европейские лидеры — Дизраэли или Бисмарк — поняли бы и одобрили.

Но американский сенат оставался нацелен на первоочередные внутренние проблемы и похоронил оба экспансионистских проекта. Он сохранял армию немногочисленной (25 тыс. человек), а флот слабым. Вплоть до 1890 года американская армия шла четырнадцатой в мире после Болгарии, а американский флот был меньше итальянского, хотя индустриальная мощь Америки в тринадцать раз превышала итальянскую. Америка не участвовала в международных конференциях и трактовалась как второразрядная держава. В 1880 году, когда Турция произвела сокращение дипломатического персонала, она закрыла посольства в Швеции, Бельгии, Нидерландах и Соединенных Штатах. Одновременно один германский дипломат в Мадриде предложил, чтобы ему лучше урезали денежное содержание, чем направили в Вашингтон[18].

Но коль скоро страна достигает уровня, соответствующего американскому в период после окончания гражданской войны, она не в состоянии вечно противостоять искушению воспользоваться своей мощью, чтобы обосновать претензии на более важную роль на международной арене. В конце 80-х годов XIX века Америка начала строить флот, который еще в 1880 году был меньше чилийского, бразильского или аргентинского. В 1889 году секретарь по военно-морским делам Бенджамен Трэйси вел кулуарную агитацию за строительство наступательного, ударного флота, а

современный военно-морской историк Альфред Тэйер Мэхэн разработал разумное для этого обоснование[19].

Хотя на деле Британский Королевский военно-морской флот защищал Америку от опустошительных набегов европейских держав, американские лидеры не воспринимали Великобританию как защитницу собственной страны. В течение всего XIX века Великобритания считалась величайшей угрозой американским интересам, а Королевский военно-морской флот — серьезнейшей стратегической опасностью. Неудивительно, что, когда Америка начала напрягать мускулы, она стала стремиться устранить влияние Великобритании в Западном полушарии при помощи той самой «доктрины Монро», проведению в жизнь которой Великобритания способствовала столь усердно. Соединенные Штаты более не деликатничали перед лицом подобной опасности. В 1895 году государственный секретарь Ричард Олни сослался на «доктрину Монро», чтобы сделать предупреждение Великобритании и при этом подчеркнуть изменившееся соотношение сил. «Сегодня, — писал он, — Соединенные Штаты практически суверенны на данном континенте, и любое их установление является законом для всех лиц, на которых наше государство распространяет свое влияние». «Неограниченные ресурсы» Америки «в сочетании с изолированным местоположением делают ее хозяином ситуации и практически неуязвимой для любой или всех вместе взятых прочих держав»[20]. Отрицание Америкой силовой политики явно не распространялось на Западное полушарие. К 1902 году Великобритания отказалась от претензий на ведущую роль в Центральной Америке.

Став наиболее значительной силой в Западном полушарии, Соединенные Штаты стали в более широком плане выходить на международную политическую арену. Америка превратилась в мировую державу вопреки самой себе. Распространившись вширь по континенту, она закрепила свое преобладание на всех берегах и одновременно настаивала на том, что не имеет ни малейшего желания проводить политику великой державы. И когда этот процесс завершился, Америка обнаружила, что в ее распоряжении находится такая мощь, которая сама по себе превращает ее в важнейший фактор международной политики независимо от собственных предпочтений. Американские лидеры могли продолжать настаивать на том, что основной целью внешней политики является выступление в роли «маяка» для всего остального человечества, но уже невозможно, было бы отрицать, что кое-кто из них

укрепился в мысли, что ждать, пока все человечество примет демократическую систему, и только после этого войти самим в международную систему — не стоит, могущество Америки дает ей право уже сейчас высказывать собственное суждение по злободневным вопросам.

Никто не высказал этот довод более резко и недвусмысленно, чем Теодор Рузвельт. Он был первым президентом, настаивавшим на том, что долг Америки — распространить свое влияние на весь земной шар и строить отношения с миром на основе концепции национальных интересов. Как и его предшественники, Рузвельт был убежден в том, что задачей Америки является благотворное воздействие на остальной мир. Но, в отличие от них, он утверждал, что истинные американские внешнеполитические интересы выходят далеко за рамки простой заинтересованности в сохранении собственной неприкосновенности. Рузвельт основывался на предположении, что Соединенные Штаты являются такой же державой, как и все прочие, а не уникальным воплощением добродетелей. И если интересы страны сталкиваются с интересами других стран, Америка несет на себе обязательство собственной мощью переломить ситуацию в свою пользу.

В качестве первого шага Рузвельт придал «доктрине Монро» наиболее интервенционистское толкование, сближающее ее с империалистическими доктринами того времени. В документе, который он назвал «Логическим выводом из доктрины Монро», 6 декабря 1904 года было провозглашено генеральное право на интервенцию для «какой-либо из цивилизованных наций», в Западной полушарии это право могли осуществлять одни лишь Соединенные Штаты: «...В Западной полушарии приверженность Соединенных Штатов доктрине Монро может вынудить Соединенные Штаты, пусть даже с сожалением, применить международные полицейские силы в вопиющих случаях злодеяний или бессилия какой-либо страны их остановить»[21].

Практические деяния Рузвельта опережали теорию. В 1902 году Америка силой принудила Гаити выплатить все свои долги европейским банкам. В 1903 году она превратила брожения в Панаме в крупномасштабное восстание. С американской помощью местное население силой добилося независимости от Колумбии, но не ранее, чем Вашингтон образовал «Зону Канала», находящуюся под суверенитетом Соединенных Штатов по обеим сторонам того, что потом станет Панамским каналом.

В 1905 году Соединенные Штаты установили финансовый протекторат над Доминиканской республикой. А в 1906 году американские войска оккупировали Кубу.

Для Рузвельта мускульная дипломатия в Западном полушарии была частью новой всемирной роли Америки. Два океана более не были достаточно широки, чтобы отъединить Америку от всего остального мира. Соединенные Штаты стали актером на сцене международной политики. Рузвельт даже заявил в послании Конгрессу 1902 года: «Во все большей и большей степени рост взаимозависимости и усложнение международных политических и экономических отношений делает обязательным для всех цивилизованных держав с упорядоченной системой правления настаивать на надлежащем поддержании полицейского порядка в мире»[22].

Рузвельт занимает единственную в своем роде позицию в истории американских международных отношений. Ни один из президентов не определял роли Америки в мировой политике исключительно на базе национальных интересов и не отождествлял национальные интересы столь всеобъемлюще с достижением равновесия сил. Рузвельт же разделял точку зрения своих соотечественников, что Америка является истинной надеждой для всего мира. Но, в отличие от них, он не верил, что она способна сохранить мир или исполнить свое предназначение просто посредством утверждения собственных добродетелей. Его представления о сущности мирового порядка были гораздо ближе к Пальмерстону и Дизраэли, чем к Томасу Джефферсону.

Великий президент должен быть просветителем, перебрасывающим мост через пропасть между будущим своего народа и собственным опытом. Рузвельт преподавал особо суровую доктрину народу, возвращенному в веру в то, что отсутствие войн есть нормальное состояние отношений между нациями, что не существует разницы между личной и общественной моралью и что Америка надежно ограждена от пертурбаций, сотрясающих весь остальной мир. Ибо Рузвельт опровергал каждое из этих положений. Для него международная жизнь означала борьбу, и теория Дарвина о выживании наиболее приспособленных представлялась лучшим руководством по истории, чем свод моральных правил, которыми должна руководствоваться личность. По мнению Рузвельта, сырые и убогие унаследуют землю только в том случае, если они будут сильными. Согласно Рузвельту, Америка — не воплощение этических истин, а великая держава, потенциально самая великая из держав. Он надеялся, что

будет президентом, которому предназначено вывести свою нацию на мировую арену, с тем чтобы она предопределила облик XX века так же, как Великобритания доминировала в XIX — как страна необъятного могущества, взявшая на себя труд действовать, проявляя умеренность и мудрость, во имя стабильности, мира и прогресса.

Рузвельт рвался опровергнуть превеликое множество священных истин, предопределявших американское мышление в области внешней политики. Он ни во что не ставил эффективность международного права. Если нация не способна защитить себя собственными силами, то ее ни от чего не оградит международное сообщество. Он отвергал разоружение, которое тогда только что выплыло как тема внешнеполитических рассуждений:

«Поскольку пока что не существует и намека на возможность создания каких-либо международных сил... которые могли бы эффективно пресечь несправедливые деяния, то при данных обстоятельствах было бы и глупо, и преступно для великой и свободной нации лишать себя сил защитить собственные права, а в исключительных случаях выступить в защиту прав других. Ничто не может породить большей несправедливости... чем преднамеренное превращение свободных и просвещенных народов... в бессильные, оставляя вооруженными все виды варварства и деспотизма»[23].

Рузвельт был еще более саркастичен, когда дело доходило до разговоров о мировом правительстве:

«Отношение Вильсона плюс Бриана к фантастическим мирным договорам, к невозможным обещаниям, ко всем и всяческим листочкам бумаги, не подкрепленным эффективной мощью, у меня вызывает отвращение. Было бы бесконечно лучше как для отдельной нации, так и для всего мира относиться к внешней политике в традициях Фридриха Великого или Бисмарка, а не с доверчивостью Бриана или Бриана плюс Вильсона, превращаемой в качество национального характера... Праведность, сопровождаемая видением молочных рек и кисельных берегов, но не подкрепляемая силой, столь же зловредна и опасна, и даже более злокозненна, чем сила, отъединенная от праведного дела»[24] В мире, регулируемом посредством силы, естественный порядок вещей, как полагал Рузвельт, должен найти свое отражение в концепции «сфер влияния», когда господствующее влияние в обширных регионах

отводилось бы конкретным великим державам, например Соединенным Штатам — в Западном полушарии, а Великобритании — на Индийском субконтиненте. В 1908 году Рузвельт согласился с японской оккупацией Кореи, поскольку, с его точки зрения, японо-корейские отношения должны были регулироваться соотношением сил каждой из этих стран, а не положениями международного договора или нормами международного права:

«Корея безоговорочно японская. Да, верно, согласно договору было торжественно провозглашено, что Корея должна оставаться независимой. Но сама Корея оказалась бессильной обеспечить реальное исполнение договора, и совершенно неуместно предполагать, что любая другая нация... попытается сделать для корейцев то, что они сами абсолютно неспособны сделать для самих себя»[25].

Коль скоро Рузвельт придерживался столь европеизированных взглядов, неудивительно, что он трактовал вопрос международного равновесия сил с такой степенью искушенности, какой не было ни у одного из американских президентов, за исключением лишь Ричарда Никсона. Поначалу Рузвельт не видел необходимости для Америки вникать в конкретные детали европейского равновесия сил, поскольку считал его более или менее саморегулирующимся. Но он почти не сомневался в том, что, если это суждение окажется ошибочным, Америка включится в эту систему и восстановит равновесие. Рузвельт постепенно пришел к выводу, что именно Германия является угрозой европейскому равновесию, и стал отождествлять национальные интересы Америки с интересами Великобритании и Франции.

Это было продемонстрировано в 1906 году во время конференции в Альхесирасе, целью которой было определить будущее Марокко. Германия, настаивавшая на «политике открытых дверей», чтобы не допустить французского преобладания, добилась включения американского представителя в состав участников конференции, поскольку полагала, что у Америки там имелись значительные торговые интересы. В этом мероприятии принял участие американский консул в Марокко, но сыгранная им роль разочаровала немцев. Рузвельт подчинил торговые интересы Америки, которые, по сути дела, не так уж были велики, собственным геополитическим воззрениям. Они нашли свое отражение в письме Генри Кебота Лоджа Рузвельту в самый разгар Марокканского кризиса. «Франция, — писал он, — должна быть с нами и с Англией: в нашей зоне и в нашем сообществе. Это мероприятие является разумным как

экономически, так и политически»[26].

В то время как в Европе Рузвельт считал главной угрозой Германию, в Азии его тревожили надежды и чаяния России, и потому он благоволил основному сопернику России — Японии. «В мире не существует нации, которая бы в большей степени, чем Россия, держала в руках судьбы грядущих лет», — заявлял Рузвельт[27]. В 1904 году Япония, защищенная альянсом с Великобританией, напала на Россию. Хотя Рузвельт и заявил об американском нейтралитете, склонялся он в сторону Японии. Победа России, доказывал он, явится «ударом по цивилизации»[28]. А когда Япония разгромила русский флот, он ликовав: «Я был до предела рад японской победе, ибо Япония участвует в нашей игре»[29].

Он, однако, хотел лишь ослабления России, а не полного ее исключения из системы равновесия сил — ибо, согласно максима́м дипломатии равновесия сил, чрезмерное ослабление России лишь заменило бы российскую угрозу японской. Рузвельт полагал, что наилучшим для Америки исходом была бы ситуация, при которой Россия «оказалась бы лицом к лицу с Японией, с тем чтобы каждая из этих стран воздействовала бы на другую с точки зрения умеренности»[30].

И вот, опираясь скорее на принципы геополитического реализма, чем интеллектуального альтруизма, Рузвельт обратился к обеим воюющим сторонам с предложением — направить своих представителей в его резиденцию в Ойстер-Бэй, чтобы разработать мирный договор, который ограничивал бы японскую победу и сохранял бы равновесие сил на Дальнем Востоке. В результате Рузвельт стал первым американцем, получившим Нобелевскую премию мира фактически за то, что ему удалось организовать урегулирование конфликта на базе таких прописных истин, как равновесие сил и раздел сфер влияния, что после появления на политической арене его преемника Вильсона стало считаться совершенно антиамериканским.

В 1914 году Рузвельт поначалу отнесся довольно хладнокровно к вторжению Германии в Бельгию и Люксембург, хотя это беззастенчиво нарушало договоры, провозглашавшие нейтралитет обеих стран:

«Что касается нарушения этих договоров или пренебрежения ими, я не становлюсь на точку зрения ни одной из сторон. Когда гиганты сходятся в смертельной схватке и вольно перемещаются во все стороны, они, безусловно, наступят на любого, кто попадет под ноги тому или иному великану, если это не окажется опасным»[31].

Через несколько месяцев после того, как в Европе разразилась война, Рузвельт пересмотрит свое первоначальное заявление по поводу нарушения бельгийского нейтралитета, хотя, однако, характерно то, что его беспокоит не незаконность германского вторжения, но угроза, проистекающая из этого для равновесия сил: «...Неужели вы не верите, что если Германия победит в войне, разобьет английский флот и разгромит Британскую империю, она через год-два не будет настаивать на обретении господствующего положения в Южной и Центральной Америке?..»[32]

Он требовал проведения обширных мероприятий в области вооружения, с тем чтобы Америка своей мощью поддержала бы страны Тройственного согласия. Он рассматривал победу Германии как возможную и опасную для Соединенных Штатов. Победа Центральных держав сделала бы невозможной защиту со стороны британского военно-морского флота и позволила бы германскому империализму прочно укорениться в Западном полушарии.

Рузвельт, должно быть, считал британский военно-морской контроль над Атлантическим океаном безопаснее, чем германскую гегемонию, в силу таких неизменных, не имеющих отношения к проблемам равновесия факторов, как культурная общность и исторический опыт. Действительно, между Англией и Америкой имелись прочные культурные связи, не имевшие аналогов в отношениях между США и Германией. Более того, Соединенные Штаты привыкли к той мысли, что Великобритания правит морями, и им было комфортно с этим представлением, ибо они более не подозревали Великобританию в наличии у нее каких-либо экспансионистских планов как в Северной, так и в Южной Америке. На Германию, однако, смотрели настороженно. 3 октября 1914 года Рузвельт пишет британскому послу в Вашингтоне (удобно позабыв свое прежнее суждение о неизбежности германского невнимания к нейтралитету Бельгии):

«Если бы я был президентом, я бы выступил (против Германии) тридцатого или тридцать первого июля»[33].

Месяцем позже, в письме к Редьярду Кипплингу, Рузвельт признался, до какой степени трудно вовлечь американскую мощь в европейскую войну на базе его убеждений. Американский народ не проявил бы желания следовать курсу, столь явно основанному на принципах силовой политики:

«Если бы я попытался пропагандировать то, во что верю сам, для нашего народа это

оказалось бы бессмысленным, ибо он бы за мной не пошел. Наш народ близорук и не понимает международных проблем. Ваш народ тоже был близорук, но не до такой степени, как наш, и не в этих вопросах... Вследствие ширины океана наш народ верит, что ему нечего бояться в связи с нынешней схваткой и что на нем не лежит никакой ответственности за происходящее»[34].

Если бы американское внешнеполитическое мышление остановилось на Теодоре Рузвельте, то оно определялось бы как эволюция в сторону усвоения традиционных принципов европейского государственного управления и применения их в американских условиях. На Рузвельта смотрели бы как на президента, обеспечившего господствующее положение Соединенных Штатов на всем Американском континенте, с чего и началось восприятие их как мировой державы. Но американское внешнеполитическое мышление не кончилось на Рузвельте, да и не могло на нем кончиться. Лидер, подгоняющий свою политику под уже имеющийся у народа опыт, обрекает себя на застой; лидер, который опережает накопившийся у народа опыт, рискует быть непонятым. Но ни накопленный Америкой опыт, ни ее моральные ценности не готовили ее к той роли, которую отводил ей Рузвельт.

По иронии судьбы Америка в конце концов приняла на себя ту самую ведущую роль, которую предсказывал ей Рузвельт, причем еще при его жизни, но произошло это на основе тех самых принципов, которые Рузвельт отвергал, и под руководством президента, которого Рузвельт презирал. Вудро Вильсон был живым воплощением традиций американской исключительности и основателем того, что потом превратилось в господствующую интеллектуальную школу американской внешней политики — школу, основополагающие принципы которой Рузвельт в лучшем случае считал бы беспочвенными, а в худшем — вредными, нарушающими долгосрочные интересы Америки.

С точки зрения укоренившихся принципов государственного управления, в споре между двумя величайшими американскими президентами аргументация Рузвельта выглядела гораздо убедительнее. Тем не менее победу одержал Вильсон: в следующем столетии Рузвельта будут помнить благодаря его конкретным достижениям, но американское мышление сформировал Вильсон. Рузвельт понимал, как именно принципы международной политики находили свое отражение в конкретных действиях наций, определявших положение дел в мире, — ни у одного из

американских президентов тогда еще не было столь острого и пронизательного видения того, как функционируют различные системы международных отношений. И все же именно Вильсон нащупал пружины американской мотиваций своей позиции в международных делах, а возможно, главную из них: Америка просто-напросто не видела себя нацией, похожей на другие. У нее не было ни теоретического, ни практического фундамента, чтобы вести дипломатическую деятельность в европейском стиле и постоянно приспосабливаться к нюансам перемен в соотношении сил, стоя на позиции морального нейтралитета, причем только для того, чтобы это зыбкое равновесие все время сохранялось. Независимо от реальной ситуации и уроков применения силы, преобладающим убеждением американского народа была уверенность в том, что исключительный характер их страны требует утверждать свободу собственным примером и одновременно распространять ее.

Американцев можно было подвигнуть на великие дела, лишь показав перспективы, соответствующие их представлению о собственной стране как исключительной по своему характеру. Несмотря на всю близость к дипломатии великих держав, Рузвельту с его интеллектуальным походом не удалось убедить соотечественников, что нации необходимо вступить в первую мировую войну. А вот Вильсон смог воздействовать на тех же «недоверчивых» людей при помощи аргументов, которые были морально возвышенны и в то же время, в основном, непонятны иностранным лидерам.

Вильсону удалось добиться потрясающего успеха. Отвергая силовую политику, он знал, как затронуть чувствительные струны американского народа. Ученый, сравнительно поздно пришедший в политику, он оказался в председательском кресле вследствие раскола в республиканской партии между Тафтом и Рузвельтом. До Вильсона дошло, что инстинктивный американский изоляционизм может быть преодолен только призывом к вере в исключительный характер американских идеалов. Шаг за шагом он вовлекал изоляционистскую страну в войну, после чего первым продемонстрировал приверженность его администрации миру, выступая в качестве страстного защитника политики нейтралитета. Делая это, он отмежевывался от каких бы то ни было эгоистичных национальных интересов и утверждал, что Америка не ищет никаких выгод, кроме торжества собственных принципов.

В своем первом послании «О положении в стране» от 2 декабря 1913 года он положил начало тому, что потом стало определяться термином «вильсонизм».

Всеобщность права, а не равновесие сил, доверие наций друг к другу, а не национальное самоутверждение любой ценой, были, с точки зрения Вильсона, опорой международного порядка. Рекомендуя ратификацию ряда договоров об арбитраже, Вильсон доказывал, что обязательный арбитраж, а не применение силы, должен стать методом разрешения международных споров:

«Существует лишь одна-единственная мерка, применимая к определению разногласий между Соединенными Штатами и другими нациями, и она двудина: это наша собственная честь и наши обязательства по поддержанию мира во всем мире. И такого рода проверка может быть с легкостью применена как к вступлению в новые договорные обязательства, так и к толкованию уже на себя принятых»[35].

Ничто так не выводило Рузвельта из себя, как громко провозглашаемые принципы, не подкрепленные ни силой, ни волей реализовывать их на практике. Он как-то писал другу: «Если бы мне потребовалось выбирать между политикой крови и железа и политикой молочка и водицы... что ж, я был бы приверженцем политики крови и железа. Она лучше не только для нации, но, в долгосрочном плане, и для всего мира»[36].

Но для Вильсона предложение Рузвельта ответить на войну в Европе увеличением оборонных расходов было полнейшей бессмыслицей. Во втором своем послании «О положении в стране» от 8 декабря 1914 года, когда в Европе уже четыре месяца бушевала война, Вильсон отвергал крупные затраты на вооружение, говоря, что мир воспримет это как признак того, что «мы потеряли уверенность в себе» в результате войны, «цели которой нас не затрагивают, а само ее наличие предоставляет нам возможности оказания дружеских и беспристрастных услуг...» [37]

Влияние Америки, согласно взглядам Вильсона, находилось в зависимости от ее незаинтересованности; оно должно было сохраняться, с тем чтобы в конце концов Америка смогла выступить как арбитр, которому бы доверяли воюющие стороны. Рузвельт утверждал, что война в Европе, а особенно победа Германии, в конечном счете угрожает безопасности Америки. Вильсон же настаивал на том, что Америка, по сути, не заинтересована в исходе войны и потому сможет выступить в роли посредника. А поскольку Америка верит в ценности более высокие, чем равновесие сил, война в Европе предоставляет невиданную возможность пропагандировать новый и лучший подход к международным делам.

Рузвельт высмеивал подобные идеи и обвинял Вильсона в том, что он будто бы подыгрывает изоляционистским настроениям, чтобы обеспечить себе избрание на второй срок в 1916 году. На самом же деле сущность политики Вильсона была полной противоположностью изоляционизму. Вильсон провозглашал не уход Америки от мировых дел и событий, но универсальность применения ее ценностей и обязанность Америки обеспечивать их распространение, когда наступит время. Вильсон вновь подчеркивал то, что являлось общеизвестным и общепринятым в Америке со времен Джефферсона, но поставил эти мудрые истины на службу миссионерской идеологии. Они таковы:

«Особая миссия Америки стоит превыше повседневной дипломатии и обязывает ее служить маяком свободы для остального человечества.

Внешняя политика демократических стран морально выше политики других государств, ибо народы этих стран от природы миролюбивы.

Внешняя политика должна отражать те же самые моральные принципы, которые лежат в основе этики личных отношений.

Государство не имеет права требовать для себя особых моральных норм». Вильсон объединил эти постулаты американской моральной исключительности в универсальную формулу:

«Мы не способны бояться силы какой-либо иной нации. Мы не ревнивы в отношении соперничества на поприще торговли или в сфере любых мирных достижений. Мы намереваемся жить собственной жизнью по нашему усмотрению; но мы также намереваемся давать жить другим. Мы на самом деле являемся настоящими друзьями всех стран мира, поскольку мы не угрожаем ни одной из них, не домогаемся владений ни одной из них, не желаем поражения ни одной из них»[38].

Никакая другая нация еще не обосновывала претензии на международное руководство альтруизмом. Все прочие нации жаждали, чтобы их оценивали в рамках сопоставимости собственных национальных интересов с интересами других обществ. И все же от Вудро Вильсона и вплоть до Джорджа Буша американские президенты ссылались на отсутствие эгоистической заинтересованности у собственной страны как на ключевой атрибут их роли лидера. Ни сам Вильсон, ни его позднейшие последователи, вплоть до нынешних, не желали принимать во внимание тот факт, что для иностранных лидеров, руководствующихся куда менее возвышенными

принципами, претензии Америки на альтруистический подход сопряжены с определенным элементом непредсказуемости; в то же время, если национальные интересы поддаются четкому определению, альтруизм зависит от понимания его тем, кто применяет таковой на практике.

Для Вильсона, однако, альтруистический характер американского общества воспринимался как доказательство Божьей благодати:

«Получилось так, что благодаря Божественному Провидению целый континент оказался неиспользован и ожидал прибытия миролюбивых людей, любивших свободу и права человека превыше всего на свете. Им суждено было учредить там свободное от эгоизма сообщество»[39].

Утверждение, будто бы цели, стоящие перед Америкой, выдвинуты непосредственно Провидением, предполагало, что роль, которую полагалось сыграть Америке во всемирном масштабе, носит гораздо более всеобъемлющий характер, чем может себе представить какой бы то ни было Рузвельт. Ибо тот просто хотел усовершенствовать систему равновесия сил и отвести в ней роль Америке в соответствии с новым положением страны, подкрепленным ее растущей мощью. Согласно концепции Рузвельта, Америка должна была стать нацией в ряду прочих наций: могущественнее, чем большинство из них. Он считал, что ей надлежит занять прочное место среди элиты, то есть великих держав. Но все же и ей следует подчиняться историческим законам равновесия сил.

Вильсон перевел Америку в плоскость представлений, не имеющих ничего общего с подобными рассуждениями. Отвергая сам принцип равновесия сил, он настаивал на том, что роль Америки «доказательство не нашего эгоизма, но нашего величия»[40]. И если это так, то Америка не имеет права сохранять свои ценности для себя одной. Еще в 1915 году Вильсон выдвинул беспрецедентную доктрину, гласящую, что безопасность Америки неотделима от безопасности всего остального человечества. Из этого вытекало, что отныне долг Америки заключается в том, чтобы противостоять агрессии где бы то ни было:

«...Поскольку мы требуем для себя возможности развития без вмешательства извне и беспрепятственного распоряжения нашими собственными жизнями на основе принципов права и свободы, мы отвергаем, независимо от источника, любую агрессию, ибо не являемся ее приверженцами. Мы настаиваем на безопасности, чтобы

обеспечить следование по избранным нами самими путям национального развития. И мы делаем еще больше: требуем этого и для других. Мы не ограничиваем нашу горячую приверженность принципам личной свободы и беспрепятственного национального развития лишь теми событиями и переменами в международных делах, которые имеют отношение исключительно к нам. Мы испытываем ее всегда, когда имеется народ, пытающийся пройти по трудному пути независимости и справедливости»[41]. Представление об Америке как о благожелательном международном полицейском как бы предвосхитило политический принцип вовлеченности, разработанный после второй мировой войны.

Даже в самых смелых своих мечтаниях Рузвельт никогда бы не помышлял о столь всеохватывающих заявлениях, оправдывающих глобальный интервенционизм. Но, в конце концов, он был воином-политиком; Вильсон же был пророком-проповедником. Государственные деятели, даже воители, фокусируют свое внимание на мире, в котором живут; для пророков «настоящим» является тот мир, возникновения которого они жаждут.

Вильсон преобразовал то, что поначалу представлялось подтверждением обоснования американского нейтралитета, в ряд основополагающих принципов, заложивших фундамент для глобального крестового похода. С точки зрения Вильсона, не было особой разницы между свободой для Америки и свободой для всех. Доказывая, что время, проведенное на факультетских ученых советах, где царствует мелочный анализ, потрачено не напрасно, он разработал потрясающую интерпретацию предостережения Джорджа Вашингтона против вовлеченности в чужие дела. Вильсон переосмыслил само это понятие таким образом, что первый президент был бы потрясен, услышав подобное толкование. В интерпретации Вильсона Вашингтон имел в виду следующее: Америка должна избегать вовлеченности в достижение чуждых для себя целей. Но, как доказывал Вильсон, все, что касается человечества, «не может быть для нас чужим и безразличным»[42]. Отсюда вытекает, что Америка ничем не ограничена в исполнении своей миссии за рубежом.

До чего же это невероятный ход: найти оправдание глобального интервенционизма в противовес предупреждению одного из «отцов-основателей» о полнейшей нежелательности принятия на себя обязательств за пределами собственной страны. Да

еще разработать на этой основе такую философию нейтралитета, которая делает вступление в войну неизбежным! По мере того как Вильсон подталкивал собственную страну все ближе и ближе к участию в мировой войне, формулируя собственные представления о лучшем мире, он вызывал тем самым все больший подъем жизненных сил и идеализма. Столетняя спячка Америки воспринималась как подготовительный период для нынешнего выступления на международной арене в качестве динамичной и непредубежденной силы, какой заведомо не могли быть более умудренные и закаленные политические партнеры. Европейская дипломатия была выкована и сформована в плавильной печи истории; занимающиеся ею государственные деятели видели события сквозь призму множества несбывшихся мечтаний, разбитых надежд и идеалов, ставших жертвой ограниченности человеческого ума. Америка не знала подобных ограничений, смело провозглашая если не конец истории, то, по крайней мере, несущественность ее уроков, ибо трансформировала ценности уникальные и свойственные прежде только Америке в универсальные принципы, применимые ко всем. Вильсон оказался в состоянии преодолеть, хотя бы на время, неуютное для американского мышления сопоставление Америки, находящейся в безопасности, и Америки, незапятнанной в моральном смысле. К вступлению в первую мировую войну Америка могла подойти лишь в роли крестоносца свободы везде и для всех.

Объявление Германией неограниченной подводной войны и потопление ею «Лузитании» стали непосредственной причиной вступления Америки в войну. Но Вильсон обосновывал вступление Америки в войну не частными обидами. Национальные интересы не играли роли. Нарушение нейтралитета Бельгии и проблемы равновесия сил не имели к этому никакого отношения. Война скорее велась на моральных основаниях, и непосредственной целью было установление нового и более справедливого международного порядка. «Это страшная вещь, — рассуждал Вильсон, произнося речь, где он запрашивал согласия на объявление войны, — направить великий, миролюбивый народ на войну, на самую ужасную и разрушительную из всех войн, когда на чаше весов находится сама цивилизация. Но справедливость драгоценнее мира, и мы будем бороться за то, что всегда находилось у нас в сердце: за демократию, за право тех, кто подчиняется силе, иметь свой голос в собственных правительствах, за права и свободы малых наций, за всеобщее

господство права благодаря совместным действиям свободных народов, которые принесут мир и безопасность всем нациям и сделают наконец свободным весь мир»[43].

В войне, ведущейся на подобных принципах, компромиссов быть не может. Единственной достойной целью является тотальная победа. Рузвельт наверняка выразил бы американские цели войны в политических и стратегических терминах; Вильсон, подчеркивая американскую незаинтересованность, определял американские цели войны, пользуясь исключительно моральными категориями. С точки зрения Вильсона, война явилась не результатом столкновения национальных интересов, лишенных всяких внутренних ограничений, но возникла вследствие неспровоцированного покушения Германии на международный порядок. А конкретно, истинным виновником войны был лично германский император, а отнюдь не германская нация. Настаивая на объявлении войны, Вильсон утверждал:

«У нас нет предмета спора с германским народом. К нему мы испытываем лишь чувства приязни и дружбы. Не он подтолкнул свое правительство к вступлению в войну. Не с ним предварительно советовались, и не он ее заранее одобрил. Эта война была предопределена так же, как предопределялись войны в печальные дни прошлого, когда народы держались в неведении своими правителями, принимавшими решение самостоятельно, когда войны провоцировались и развязывались в интересах династий»[44].

Хотя Вильгельм II уже давно рассматривался как заряженная пушка на европейской сцене, ни один из государственных деятелей Европы никогда не призывал к его свержению или смене династий как к шагу, имеющему ключевое значение для мира в Европе. Но, коль скоро был поставлен вопрос о внутреннем устройстве Германии, война уже не могла окончиться уравновешивающим конфликтные интересы компромиссом, который был достигнут Рузвельтом в отношениях между Японией и Россией десятью годами ранее. 22 января 1917 года, перед самым вступлением Америки в войну, Вильсон провозгласил своей целью «мир без победы»[45]. Но когда Америка уже вступила в войну, то, что предлагал Вильсон, было, по существу, миром, которого можно было достичь лишь посредством тотальной победы.

Заявление Вильсона вскоре стало общим местом. Даже столь многоопытная личность, как Герберт Гувер, вздумал описывать германский правящий класс как

испорченный от природы, питающийся «жизненной силой других народов»[46].

Настроения того времени довольно точно выразил Джейкоб Шерман, президент Корнеллского университета, который видел эту войну как схватку между «Царством небесным» и «Царством Гуннляндия, олицетворением силы и страха»[47].

И все же свержение определенной династии не смогло бы само по себе привести к тому, на что намекала вильсоновская риторика. Призывая к объявлению войны, Вильсон простирал свои моральные требования на весь мир; не только Германию, но и все другие нации следовало подготовить к восприятию демократии без всяких помех, ибо после установления мира потребуется «партнерство демократических наций»[48]. В другой своей речи Вильсон зашел еще дальше, заявляя, что силы Соединенных Штатов атрофируются, если Америка не распространит свободу на весь земной шар.

«Мы создали эту нацию, чтобы сделать людей свободными, и мы, с точки зрения концепции и целей, не ограничиваемся Америкой, и теперь мы сделаем людей свободными. А если мы этого не сделаем, то слава Америки улетучится, а вся ее мощь испарится»[49].

Ближе всего Вильсон подошел к подробной демонстрации целей войны в своих «Четырнадцати пунктах», о которых пойдет речь в главе 9. Историческим достижением Вильсона является признание им того, что нация не может взять на себя крупные обязательства международного характера, если последние не подкрепляются собственной моральной убежденностью американцев. А просчет его заключался в том, что он трактовал трагические моменты истории как некие aberrации или как события, происшедшие вследствие недальновидности или злонамеренности отдельных лидеров, в том, что он отрицал существование иных, объективных базисных факторов мира, кроме силы общественного мнения и всемирного распространения демократических институтов. По ходу дела он уговаривал европейские нации взять на себя нечто такое, к чему они не были готовы ни философски, ни исторически, причем сразу же после войны, высосавшей из них все соки.

В течение трехсот лет европейские нации основывали свой мировой порядок на принципе балансирования национальных интересов, а внешнюю политику — на стремлении к безопасности, причем каждая дополнительная выгода воспринималась

ими как безвозмездный дар. Вильсон обращался к нациям Европы с просьбой основывать свою внешнюю политику на принципах морали, причем безопасность, если о таковой вообще шла речь, должна была возникнуть как естественный их результат. Но Европа не обладала концептуальной методикой для проведения такого рода незаинтересованной политики, и до сих пор не до конца ясно, сможет ли Америка, пребывавшая целое столетие в состоянии самоизоляции, постоянно заниматься международными делами на базе вильсоновских теорий.

Появление Вильсона на исторической арене имело для Америки судьбоносное значение, ибо он являл собой пример редко встречающегося лидера, способного кардинально изменить ход истории собственной страны. Если бы в 1912 году одержал верх Рузвельт и его идеи, вопрос целей войны основывался бы на анализе характера национальных интересов Америки. Рузвельт бы обосновывал вступление Америки в войну предположением — которое он и высказал на самом деле, — что, если Америка не присоединится к державам Тройственного соглашения, Центральные державы выиграют войну и, рано или поздно, превратятся в угрозу американской безопасности.

Определенные подобным образом американские национальные интересы со временем подвели бы Америку к принятию принципов глобальной политики, сопоставимых с поведением Великобритании по отношению к континентальной Европе. В течение трех столетий британские лидеры действовали, исходя из предпосылки, что если европейские ресурсы будут находиться в руках одной доминирующей державы, то ресурсов этой одной страны окажется достаточно, чтобы бросить вызов Великобритании на морях и таким образом угрожать ее независимости. Геополитически Соединенные Штаты тоже представляют собой остров, отдаленный от берегов Евразии, и, если прибегнуть к той же системе рассуждений, должны были бы воспротивиться господству в Европе или Азии одной державы, тем более контролю одной и той же державы над обоими континентами. В рамках подобных рассуждений не моральные прегрешения Германии, а степень ее геополитического проникновения должна была бы стать принципиальным поводом для вступления в войну.

Однако подобный подход, характерный для Старого Света, противоречил характерным для американцев чувствам, столь верно угаданным Вильсоном, и противоречит по сей день. Даже Рузвельту не удалось настоять на принятии

проповедуемых им принципов силовой политики, хотя он и умер в убеждении, что сумел бы это сделать. В конце концов, Рузвельт тогда уже не был президентом, и Вильсон заявил со всей ясностью еще до вступления Америки в войну, что он будет противостоять любым попыткам создания послевоенного мирового порядка на базе уже установившихся принципов международной политики.

Вильсон видел причины войны не только в злонамеренности германского руководства, но также и в европейской системе равновесия сил. 22 января 1917 года он выступил с нападка на международный порядок предвоенного времени, назвав его системой «организованного соперничества»:

«Вопрос, на котором зиждется будущий мир и международная политика, заключается в следующем: является ли нынешняя война сражением за справедливый и прочный мир или схваткой ради всего-навсего создания нового равновесия сил?.. Нужно не равновесие сил, а совокупность сил; не организованное соперничество, а организованный всеобщий мир»[50].

То, что Вильсон имел в виду под «совокупностью сил», представляло собой абсолютно новую концепцию, которая впоследствии стала известна как концепция «коллективной безопасности» (хотя Уильям Гладстон в Великобритании в течение 1880 года выдвигал мертворожденную ее вариацию)[51]. Убежденный, что все нации равным образом заинтересованы в мире и потому объединятся, чтобы наказать того, кто его нарушил, Вильсон призвал к моральному консенсусу миролюбивых сил:

«...Нынешний век... является веком, отвергающим стандарты национального эгоизма, ранее правившего сообществами наций, и требует, чтобы они дали дорогу новому порядку вещей, где вопросы будут звучать только так: „Это правильно?“, „Это справедливо?“, „Это действительно в интересах человечества?“»[52]

Чтобы оформить подобный консенсус в виде института, Вильсон выдвинул идею Лиги наций — квинтэссенцию американского представления о такого рода установлении. Под эгидой этой всемирной организации сила должна была уступить морали, а мощь оружия подчиниться диктату общественного мнения. Вильсон все время подчеркивал, что, если бы общество было адекватно проинформировано, война никогда бы не разразилась, делая вид, будто ничего не знает о вспышках ликования по поводу начала войны во всех столицах, включая столицы демократических стран: Великобритании и Франции. Если бы, как это представлял себе Вильсон, заработала

новая теория, произошло бы по меньшей мере два крупных изменения в порядке управления в международном масштабе: во-первых, демократические правительства распространились бы по всему миру, и затем, была бы выработана «новая и более цельная дипломатия», базирующаяся на «том же самом высоком кодексе чести, которого мы требуем от отдельных лиц»[53].

В 1918 году Вильсон объявил залогом мира достижение до тех пор неслыханной и амбициозной до потери сознания цели: «уничтожения любой деспотической державы, где бы она ни находилась и которая могла бы самостоятельно, тайно и по собственному усмотрению нарушить мир во всем мире, а если таковая в настоящее время не может быть уничтожена, то она, по крайней мере, должна быть приведена в состояние полнейшего бессилия»[54]. Лига наций, созданная подобным образом и воодушевленная подобными принципами, разрешала бы кризисы, не прибегая к войне. Выступая на мирной конференции 14 февраля 1919 года, Вильсон заявил:

«...Посредством данного инструмента (Устава Лиги наций) мы ставим себя в зависимость в первую очередь и главнейшим образом от одной великой силы, а именно, от моральной силы мирового общественного мнения — от очищающего, и разъясняющего, и принуждающего воздействия гласности... силы тьмы должны погибнуть под всепроникающим светом единодушного осуждения их в мировом масштабе»[55].

Таким образом, сохранение мира больше бы не проистекало из традиционного расчета соотношения сил, но основывалось бы на всемирном консенсусе, подкрепленном механизмом поддержания порядка. Всеобщее объединение в массе своей демократических стран являлось бы «гарантом мира» и заменило бы собой старую систему равновесия сил и альянсов.

Такого рода возвышенные чувства еще никогда не проявлялись публично ни одной из наций, не говоря уже о воплощении их на деле. Тем не менее в рамках американского идеализма они превратились в национальную разменную монету внешней политики. Каждый из американских президентов со времен Вильсона выступал с вариациями на ту же вильсоновскую тему. Дебаты внутри страны чаще всего имели своим предметом невозможность осуществить вильсоновские идеалы (вскоре ставшие до того привычными для американцев, что они даже позабыли об их связи с личностью Вильсона), а вовсе не то, адекватны ли они тем жесточайшим по

временам вызовам, которые бросает кипящий и бурлящий мир. В течение трех поколений критики Вильсона яростно нападали на его анализ и выводы, и все равно в то же самое время вильсоновские принципы оставались прочнейшим фундаментом американского внешнеполитического мышления.

И все же смещение Вильсоном силы и принципа высокой морали также предопределило на десятилетия амбивалентность американского сознания, пытавшегося примирить принципы с необходимостью. Базовой предпосылкой коллективной безопасности считалось то, что все нации будто бы воспримут любую угрозу безопасности единообразно и будут готовы идти на один и тот же риск, чтобы ей противостоять. Но такого не только никогда не случалось, такое никогда и не помышлялось за всю историю существования как Лиги наций, так и Организации Объединенных Наций. И только в тех случаях, когда угроза носит всеобъемлющий характер и на самом деле касается всех или хотя бы большинства обществ, такого рода консенсус возможен — так было в период обеих мировых войн и, на региональной основе, во время «холодной войны». Но в подавляющем большинстве случаев — почти всегда нелегких — различные нации в мире имели обыкновение не соглашаться друг с другом: одним казалось, что угроза не так страшна, другие вовсе не готовы были пойти на большие жертвы, чтобы ей противостоять. Так обстояло дело, начиная с итальянской агрессии против Абиссинии в 1935 году и кончая кризисом в Боснии в 1992-м. И даже когда это касалось достижения позитивных целей или исправления свершившихся несправедливостей, глобального консенсуса оказывалось достичь еще труднее. По иронии судьбы с окончанием «холодной войны» в мире, где уже нет всеобъемлющей идеологической или военной угрозы и где на словах больше, чем в какую бы то ни было эпоху, поют хвалу демократии, трудности подобного рода только увеличились.

Вильсонизм подчеркнул наличие до того скрытого расхождения во взглядах американцев относительно внешнеполитической деятельности. Существуют ли у Америки такие интересы в отношении безопасности, которые ей следует защищать, независимо от того, в какой форме ей сделан вызов? Или Америка должна выступать только против таких перемен, которые со всей добросовестностью могут быть охарактеризованы как противоправные? Что должно заботить Америку: суть или метод преобразований международного характера? Отвергает ли Америка принципы

геополитики как таковые? Или их следует переосмыслить, пропустив через фильтр американских ценностей? А если эти подходы окажутся взаимно исключаящими, какой должен возобладать?

Вильсонизм делало упор на то, что Америке будто бы принцип важнее факта и что у Америки будто бы нет таких стратегических интересов, которые следовало бы защищать, если угроза им будет носить вполне законный характер. Уже во времена войны в Персидском заливе президент Буш настаивал на том, что он защищает не столько жизненно важные нефтяные коммуникации, сколько выступает против принципа допустимости агрессии как таковой. А во время «холодной войны» в Америке временами разгорались споры, имеет ли Америка моральное право, с учетом собственных недостатков, организовать сопротивление угрозе из Москвы.

Теодор Рузвельт ответил бы на эти вопросы, не испытывая ни малейших сомнений. Предположение о том, что нации воспримут угрозу с равной степенью озабоченности и единообразно на нее отреагируют, представляло бы собой ниспровержение всего, за что он всегда выступал. И никогда он не смог бы представить себе такой всемирной организации, в которую в одно и то же время благополучно бы входили и агрессор и жертва. В ноябре 1918 года он писал в письме:

«Я не против такой Лиги при условии, что мы не будем ожидать от нее слишком многого... Я не собираюсь играть роль, которую высмеял еще Эзоп, когда он написал о том, как волки и овцы согласились разоружиться, причем овцы в качестве гарантии доброй воли и доверия отослали сторожевых собак, после чего и были съедены волками»[56].

А в следующем месяце он писал сенатору от штата Пенсильвания Ноксу:

«Лига наций способна принести кое-какую небольшую пользу, но чем более напыщенно она себя ведет и чем более стремится быть полезной, тем меньше она в состоянии что-то совершить на деле. Разговоры о ней можно с мрачным юмором сопоставить с разговорами вековой давности относительно Священного союза, будто бы имеющего основной целью обеспечение вечного мира. Кстати, царь Александр, стоявший во главе этого движения, и был президентом Вильсоном тогдашнего столетия»[57].

Согласно оценкам Рузвельта, лишь мистики, мечтатели и интеллектуалы способны придерживаться мнения, будто бы мир есть естественное состояние человека и что его

можно сохранить посредством консенсуса незаинтересованных сторон. Мир для него был изначально хрупок и мог быть сохранен лишь благодаря неусыпной бдительности и альянсам сильных единомышленников.

Но Рузвельт появился на свет либо на век раньше, либо на век позже, чем нужно. Его подход к вопросам международных отношений умер вместе с ним в 1919 году; и ни одна из главнейших школ американской внешнеполитической мысли не возродила этого подхода. С другой стороны, можно считать мерой интеллектуального триумфа Вильсона то, что даже Ричард Никсон, чья внешняя политика основывалась на ряде рузвельтовских предпосылок, считал себя в первую очередь последователем вильсоновского интернационализма и повесил портрет президента, вовлекшего страну в войну, в своем рабочем кабинете.

Идея Лиги наций не смогла обрести широкий круг приверженцев в Америке, потому что страна еще не была готова играть столь глобальную роль. Тем не менее интеллектуальная победа Вильсона оказалась более плодотворной, чем мог быть любой политический триумф. Ибо как только Америка оказывалась перед лицом необходимости создания нового мирового порядка, она тем или иным образом возвращалась к основополагающим воззрениям Вильсона. В конце второй мировой войны они помогли построить Организацию Объединенных Наций на тех же принципах, что и Лигу наций, с таким расчетом, чтобы мир опирался на согласие между победителями. Когда эта надежда скончалась, Америка прибегла к «холодной войне», понимая ее не как конфликт между двумя сверхдержавами, но как моральное сражение за демократию. А когда произошел крах коммунизма, идея Вильсона о том, что путь к миру пролегает через коллективную безопасность, сопровождаемая при этом распространением по всему миру демократических институтов, была в равной степени принята каждой из двух главных политических партий, последовательно приходящих к власти.

В вильсонианстве воплотилась главная трагедия Америки на мировой арене: американская идеология является, так сказать, революционной, в то время как у себя в стране американцы считают себя удовлетворенными статус-кво. Следуя тенденции превращать проблемы внешней политики в схватку между добром и злом, американцы, как правило, чувствуют себя не в своей тарелке, когда приходится иметь дело с компромиссом, точно так же, как если бы речь шла о частичном или

неопределенном решении. Тот факт, что Америка постоянно уклоняется от поиска широкомасштабных геополитических трансформаций, часто ассоциируется с тем, что она будто бы всегда выступает в защиту территориального, а иногда и политического статус-кво. Веря в универсальность закона и права, она с трудом способна примирить веру в мирные перемены и тот непреложный исторический факт, что почти все значительные перемены исторического характера были связаны с насилием и переворотами.

Америка убедилась, что ей предстоит реализовывать избранные идеалы в мире, менее счастливом, чем ее собственный, и в диссонансном единстве с государствами, имеющими более узкие рамки выживания, более ограниченные цели и гораздо меньшую уверенность в себе. И все же Америка упорно стоит на своем.

Послевоенный мир в значительной степени является ее творением, и в итоге Америка действительно стала играть ту самую роль, которую провидчески провозгласил Вильсон, — путеводного маяка, достижимой надежды.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. От универсальности к равновесию: Ришелье, Вильгельм Оранский и Питт

То, что сегодняшние историки называют европейской системой равновесия сил, родилось в XVII веке в результате окончательного краха средневековых надежд на универсальность концепции мирового порядка, являющейся сплавом традиций Римской империи и католической церкви. Мир представлялся зеркальным отражением небес. Точно так же, как один Господь правит на небесах, один император правил бы светским миром, а один папа — универсальной церковью.

В этом смысле феодальные государства Германии и Северной Италии были объединены властью императора Священной Римской империи. На грани семнадцатого столетия эта империя обладала потенциалом, позволявшим ей господствовать над Европой. Франция, чьи границы лежали далеко к западу от Рейна, и Великобритания являлись по отношению к ней государствами на периферии. Если бы император Священной Римской империи сумел установить централизованный контроль над территориями, формально находящимися под его юрисдикцией, отношения западноевропейских государств к империи напоминали бы отношения соседей Китая к Срединному царству, Франция была бы сопоставима с Вьетнамом или Кореей, а Великобритания — с Японией.

Однако на протяжении почти всего средневековья император Священной Римской империи никогда не достигал подобной степени централизованного контроля. Одной из причин являлось отсутствие адекватных систем транспорта и связи при столь обширных территориях. Но наиболее важной причиной было то, что в Священной Римской империи контроль над церковью был отделен от контроля над управлением. В отличие от фараона или римского цезаря, император Священной Римской империи никакими божественными атрибутами не обладал. Везде за пределами Западной Европы, даже в регионах, находившихся под властью восточной церкви, религия и управление государством были объединены в том смысле, что назначения на ключевые посты и тут и там были предметом решения центрального правительства; религиозные власти не обладали ни возможностями, ни авторитетом утвердить автономность своего положения, а именно этого западное христианство требовало себе в силу права.

В Западной Европе потенциальный, а время от времени реальный конфликт между папой и императором обусловил возможный конституционализм и разделение властей, что является основой современной демократии. Это позволяло различным феодальным правителям укреплять свою автономию, требуя долю от обеих соперничающих фракций. Это, в свою очередь, делало Европу лоскутным одеялом герцогств, графств, городов и епископств. Хотя в теории все феодальные властители присягали на верность императору, на практике они творили все, что хотели. На императорскую корону претендовали различные династии, и центральная власть почти не существовала. Императоры придерживались старого взгляда на

универсальность правления, не имея возможности реализовать его на практике. На краю Европы Франция, Великобритания и Испания не признавали власти Священной Римской империи, хотя и оставались частью универсальной церкви.

И лишь тогда, когда в XV веке династия Габсбургов стала почти постоянно заявлять претензии на императорскую корону и посредством тщательно продуманных браков обрела испанский престол и обширные ресурсы этой страны, для императора Священной Римской империи стало возможным надеяться на превращение своих претензий универсального характера в политическую систему. В первой половине XVI века император Карл V возродил императорскую власть до такой степени, что возникли перспективы появления центральноевропейской империи, состоящей из того, что сегодня является Германией, Австрией, Северной Италией, Чешской республикой Словакией, Венгрией, Восточной Францией, Бельгией и Нидерландами. Эта потенциально могущественная группировка исключала появление чего бы то ни было, напоминающего европейское равновесие сил.

Но как раз в этот самый момент ослабление папской власти под натиском Реформации отрицательно повлияло на перспективы появления европейской империи-гегемона. Некогда сильное папство было шилом в боку у императора Священной Римской империи, могучим соперником. А на закате XVI века папство в равной степени оказалось неодолимой помехой самой идее империи. Императоры желали видеть себя «посланцами Божьими» и хотели, чтобы другие разделяли их взгляд. Но в XVI веке на императора в протестантских землях смотрели не как на «посланца Божьего», а как на венского завоевателя, привязанного к отживающему свой век папству. Реформация придала бунтующим государям новую свободу действий как в религиозной, так и в политической сфере. Разрыв их с Римом был разрывом с религиозным универсализмом; силовое противодействие императору из династии Габсбургов свидетельствовало, что государи более не считали соблюдение клятвы на верность императору религиозным долгом.

Когда рухнула концепция единства, нарождающиеся государства Европы стали нуждаться в каком-либо принципе, который бы оправдывал их ересь и регулировал бы взаимоотношения между ними. Они нашли его в концепции *raison d'etat* и равновесии сил. Одно зависело от другого. Принцип *raison d'etat* предполагал, что благополучие государства оправдывает применения любых средств для обеспечения национальных

интересов, это заменяло средневековое представление об универсальности морали. А принцип равновесия сил пришел на место ностальгии по универсальной монархии и давал то утешение, что каждое в отдельности государство, преследуя собственные эгоистические интересы, тем или иным образом будет способствовать безопасности и прогрессу всех прочих.

Ранее всех и наиболее подробно этот новый подход сформулировали во Франции, одном из первых государств-наций в Европе. Франция теряла бы больше всех в случае реанимации Священной Римской империи, поскольку могла быть — воспользуемся современной терминологией — прекраснейшим образом «финляндизирована». По мере ослабления религиозных ограничений Франция стала эксплуатировать соперничество, возникшее как следствие Реформации, среди ее соседей. Французские правители отдавали себе отчет в том, что всевозрастающее ослабление Священной Римской империи (и даже ее исчезновение) идет на пользу безопасности Франции и, при удачном стечении обстоятельств, позволит ей совершать экспансию на восток.

Главным проводником такого рода французской политики была совершенно невероятная фигура — князь Церкви Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье, первый министр Франции с 1624 по 1642 год. Узнав о смерти кардинала Ришелье, папа Урбан VIII будто бы сказал: «Если Бог существует... кардиналу Ришелье придется за многое перед ним ответить. Если нет... что ж, он прожил удачную жизнь»[58]. Эта двусмысленная эпитафия, без сомнения, пришлась бы по вкусу государственному деятелю, который достиг огромных успехов, игнорируя основные священные установления своего века и на деле перешагивая через них.

Немногие могут похвалиться большей степенью воздействия на ход истории. Ришелье был отцом современной государственной системы. Он провозгласил принцип *raison d'etat* и воплощал эту концепцию на практике на благо своей страны. Под его руководством принцип *raison d'etat* пришел на смену средневековой концепции универсальности моральных ценностей и стал основой основ французской политики. Первоначально кардинал преследовал цель не допустить господства Габсбургов над Европой, но в итоге оставил такое политическое наследие, которое в течение двух последующих столетий вызывало у его преемников искушение установить французское главенство в Европе. Из неудачи подобных амбициозных устремлений возникло равновесие сил, вначале как свершившийся факт, а затем как

система организации международных отношений.

Ришелье вступил на свой пост в 1624 году, когда император Священной Римской империи Фердинанд II из династии Габсбургов попытался вернуть к жизни католический универсализм, выкорчевать протестантизм и установить императорский контроль над государями Центральной Европы. Этот процесс контрреформации привел к тому, что мы теперь называем Тридцатилетней войной, разразившейся в Центральной Европе в 1618 году и ставшей одной из наиболее зверских и разрушительных войн за всю историю человечества.

К 1618 году германоязычная территория Центральной Европы, значительная часть которой входила в Священную Римскую империю, разделилась на два вооруженных лагеря: протестантов и католиков. Бикфордов шнур, вызвавший военный взрыв, был в том году подожжен в Праге, и очень скоро в конфликт была втянута вся Германия. По мере того как Германия истекала кровью, ее княжества стали легкой добычей для иноземных захватчиков. Вскоре датские и шведские армии стали прорываться через Центральную Европу, а в конце концов в драку вступила и французская армия. К моменту окончания войны в 1648 году Центральная Европа была опустошена, причем Германия потеряла почти треть своего населения. В горниле этого трагического конфликта кардинал Ришелье выковал принцип *raison d'etat*, без которого стала немыслима французская внешняя политика, причем остальные европейские государства признали этот принцип лишь в следующем столетии.

Будучи князем Церкви, Ришелье должен был бы приветствовать стремление Фердинанда восстановить католическую ортодоксию. Но Ришелье поставил национальные интересы Франции превыше каких бы то ни было религиозных целей. Сан кардинала не помешал Ришелье увидеть: попытка Габсбурга восстановить во всех своих правах католическую религию — геополитическая угроза безопасности Франции. Для него эти устремления были не религиозным актом, а политическими маневрами Австрии, направленными на достижение господства в Центральной Европе и, следовательно, имеющими целью низведение Франции до уровня второразрядной державы.

Опасения Ришелье были небезосновательны. Стоило бросить взгляд на карту Европы, как сразу становилось видно, что Франция со всех сторон окружена землями Габсбургов: Испания — на юге; североитальянские города-государства, в основном

подчиненные Испании, — на юго-востоке; Франш-Контэ (сегодня это территория вокруг Лиона и Савойи) — также под испанским контролем, на востоке, а испанские Нидерланды — на севере. А немногие границы, неподвластные испанским Габсбургам, принадлежали государствам, находившимся под властью австрийской ветви династии. Герцогство Лотарингское было связано клятвой на верность императору Священной Римской империи так же, как и стратегически важные районы вдоль берегов Рейна, представляющие собой сегодняшний Эльзас. Если бы Северная Германия также подпала под власть Габсбургов, Франция предстала бы губительно слабой по отношению к Священной Римской империи.

Для Ришелье малоутешительным был тот факт, что Испания и Австрия являлись, как и Франция, католическими странами. Как раз наоборот: Ришелье со всей решимостью стремился предотвратить победу контрреформации. Для достижения того, что мы бы сегодня назвали национальной безопасностью, а тогда впервые в истории было поименовано высшими интересами государства, Ришелье был готов выступить на стороне протестантских государей и воспользоваться в своих целях расколом универсальной церкви.

Если бы императоры из династии Габсбургов играли по тем же правилам или понимали смысл нарождавшегося принципа *raison d'etat*, они бы сообразили, какими обладают географическими преимуществами. И, возможно, смогли бы добиться того, чего Ришелье больше всего боялся — подавляющего превосходства Австрии и появления Священной Римской империи в качестве господствующей на континенте державы. Однако на протяжении множества столетий враги Габсбургов выигрывали от неповоротливости и косности династии и ее неумения приспособиться к требованиям тактической необходимости или понять тенденции будущего. Правители из династии Габсбургов были людьми принципиальными. Они никогда не шли на компромисс вопреки собственным убеждениям, разве что в момент поражения. Таким образом, с самого начала этой политической одиссеи они были абсолютно беззащитны против отчаянных махинаций кардинала.

Император Фердинанд II, соперник Ришелье, наверняка никогда и не слыхивал о принципе *raison d'etat*. А даже если бы и услышал, то отверг бы его, как богохульный; ибо миссию мирского владыки он представлял себе как исполнение воли Господней, и всегда в титуле императора Священной Римской империи подчеркивал слово

«Священной». Он никогда не согласился бы с тем, что столь богоугодные цели могут быть достигнуты не слишком моральными средствами. И, уж конечно, даже не помыслил бы заключать договоры с протестантами-шведами или мусульманами-турками, то есть предпринять меры, которые кардинал Ришелье считал само собой разумеющимися. Советник Фердинанда иезуит Ламормаини так подытоживал взгляды императора:

«фальшивую и продажную политику, столь распространенную в нынешние времена, он, в своей мудрости, осудил с самого начала. Он полагал, что с теми, кто придерживается подобной политики, нельзя иметь дело, ибо они провозглашают ложь и злоупотребляют именем Божиим, дурно обращаясь с религией. Было бы величайшим безумием пытаться укрепить королевство, дарованное одним лишь Господом, средствами, для Господа ненавистными»[59].

Для правителя, приверженца столь абсолютных ценностей, невозможно идти на компромисс, не говоря уже о манипуляциях, позволяющих торговаться в процессе переговоров. В 1596 году, когда Фердинанд оставался еще эрцгерцогом, он заявил: «Я скорее предпочел бы умереть, чем дать какие бы то ни было уступки сектантам в вопросах веры»[60]. Во зло собственной империи, он действительно был верен собственным словам. Поскольку его в меньшей степени интересовало благополучие собственной империи, чем повиновение воле Божьей, он считал своим первейшим долгом сокрушить протестантизм, хотя определенная религиозная терпимость была бы в его же собственных интересах. Выражаясь современным языком, он был фанатиком. Убеждения императора выпукло обрисовывает один из его советников, Каспар Скоппиус: «Горе тому монарху, который не прислушивается к голосу Господа, велящего убивать еретиков. Войну следует начинать не ради самого себя, но во имя Господа» (*Bellum non tuum, sed Dei esse statuas*)[61]. По Фердинанду, Государство существовало для того, чтобы служить религии, а не наоборот: «В государственных делах, которые столь важны для нашего священного призвания, нельзя все время иметь в виду соображения человеческие; скорее, следует надеяться... на Господа... и верить только в Него»[62].

Ришелье воспринимал веру Фердинанда как стратегический вызов. Религиозный в частной жизни, он свои обязанности министра воспринимал с сугубо мирской точки зрения. Спасение души могло быть важно для него как для личности, но для Ришелье

— государственного деятеля оно не играло никакой роли. «Человек бессмертен, спасение души ждет его впереди, — как-то сказал он. — Государство же бессмертием не обладает, оно может спастись либо теперь, либо никогда»[63]. Иными словами, государство не получает воздаяния за праведность ни на этом, ни на том свете; оно получает воздаяние лишь за то, что достаточно сильно, чтобы совершать необходимое.

Ришелье никогда бы не позволил себе не воспользоваться возможностью, представившейся Фердинанду в 1629 году, на одиннадцатом году войны. Тогда протестантские государи выказали готовность признать политическое главенство Габсбургов при условии, что они остаются свободными в выборе исповедуемой религии и сохраняют за собой церковные земли, отчужденные в ходе Реформации. Но Фердинанд не пожелал подчинить свое религиозное рвение требованиям политической целесообразности. Отвергая то, что стало бы всеподавляющим триумфом и гарантией существования империи, будучи преисполнен решимости вытравить с корнем протестантскую ересь, он издал «Эдикт о реституции», требовавший от протестантских монархов вернуть церкви все земли, захваченные у нее начиная с 1555 года. Это было триумфом религиозного рвения над целесообразностью, классическим случаем, когда вера перевесила здравые политические расчеты. И это гарантировало продолжение изматывающей войны.

Имея перед собой на шахматной доске подобный дебют, Ришелье преисполнился решимости заставить войну продолжаться как можно дольше, чтобы полностью обескровить Центральную Европу. Во внутренней политике он отставил в сторону мелочные религиозные соображения, точно так же, как сделал это и во внешней. Посланием 1629 года он даровал французским протестантам свободу вероисповедания, ту самую свободу, которую император отказывался дать германским государям и против которой сражался. Защитив свою страну от внутренних потрясений, раздиравших Центральную Европу, Ришелье принялся эксплуатировать религиозное рвение Фердинанда на пользу французским национальным интересам.

Неспособность принадлежащего к династии Габсбургов императора понять свои же собственные национальные интересы — а, по существу, отказ его признать весомость самой этой концепции — дала возможность первому министру Франции поддержать при помощи силы и денег воюющих против императора Священной Римской империи

германских протестантских государей. Роль защитника свобод германских протестантских государей, борющихся против нейтралистских устремлений императора Священной Римской империи, была, казалось, несвойственна французскому прелату и французскому королю-католику Людовику XIII. Тот факт, что князь Церкви субсидирует шведского короля-протестанта Густава-Адольфа в войне против императора Священной Римской империи, имел столь же глубокие революционные последствия, как и свершившиеся через сто пятьдесят лет после этого потрясения Французской революции.

В эпоху, когда все еще господствовали религиозное рвение и идеологический фанатизм, бесстрастная внешняя политика, свободная от моральных императивов, выглядела как покрытые снежными шапками Альпийские горы посреди пустыни. Целью Ришелье было покончить с окружением Франции, истощить Габсбургов и предотвратить появление на границах Франции, особенно на ее немецких границах, могучей державы. Единственным критерием при заключении альянсов было соответствие их французским интересам, и именно этого он добивался в отношениях первоначально с протестантскими государствами, а впоследствии даже с мусульманской Оттоманской империей. С тем чтобы истощить воюющие стороны и продлить войну, Ришелье субсидировал врагов своих врагов, применял подкуп, разжигал мятежи и пользовался в огромных количествах династическими и юридическими аргументами. И он до такой степени преуспел, что война, начавшаяся в 1618 году, тянулась и тянулась десятилетиями, пока, наконец, история не наградила ее именем, соответствовавшим ее продолжительности: «Тридцатилетняя война».

Франция играла роль стороннего наблюдателя вплоть до 1635 года, когда в который раз, казалось бы, полнейшее истощение могло бы положить конец боевым действиям и привести к компромиссному миру. Ришелье, однако, не был заинтересован в компромиссе до той поры, пока французский король не сравняется в силе с императором из династии Габсбургов, а еще лучше — пока не превзойдет его. Для достижения этой цели Ришелье убедил своего суверена, что на семнадцатом году войны необходимо ввязаться в драку на стороне протестантских государей, воспользоваться возрастающим могуществом Франции:

«Если знаком особенного благоразумия являлось сдерживание сил, противостоящих вашему государству, в течение десяти лет при помощи сил ваших союзников, когда вы

могли держать руку в кармане, а не на рукоятке меча, то теперь вступление в открытую схватку, когда ваши союзники более не могут просуществовать без вас, является знаком смелости и величайшей мудрости, показывающим, что в деле обеспечения мира для вашего королевства вы вели себя, как те экономисты, которые поначалу серьезнейшим образом заботились о накоплении денег, ибо знали, как их лучше потратить...»[64]

Успех политики *raison d'etat* зависит прежде всего от умения правильно оценить соотношение сил. Универсальные ценности определяются в процессе их осознания и не нуждаются в постоянном переосмыслении; на деле они даже несовместимы с этим. Но определение пределов могущества требует сплава опыта и провидения и умения постоянно приспосабливаться к обстоятельствам. Конечно, в теории равновесие сил вполне поддается расчету; на практике же оказалось исключительно трудно разработать его на реалистичной основе. А еще сложнее оказалось привести в гармонию собственные расчеты с расчетами других государств, что является обязательной предпосылкой действенной системы равновесия сил. Консенсус по поводу характера равновесия обычно достигается посредством периодических конфликтов.

Ришелье не сомневался в своих способностях должным образом ответить на вызов, будучи лично убежден в том, что соразмерить цели и средства возможно с почти математической точностью. «Логика, — пишет он в своем „Политическом завещании“, — требует, чтобы вещь, нуждающаяся в поддержке, и сила этой поддержки находились в геометрической пропорции друг к другу»[65]. Судьба сделала его князем Церкви; убеждения ввели его в круг интеллектуального сообщества рационалистов наподобие Декарта и Спинозы, которые полагали, что человеческое деяние может быть предначертано научным путем; а случай дал ему возможность трансформировать международный порядок к вящему благу собственной страны. На сей раз научный расчет собственной личности оказался точен. Ришелье умел предвосхищать собственные цели, но ни он, ни его идеи не сумели бы восторжествовать, если бы он не был способен подчинять собственную тактику собственной стратегии.

Столь новаторская и бесчувственная система действия не могла не вызвать противодействия. Какое бы господствующее положение ни заняла доктрина

равновесия сил в последующие годы, она глубочайшим образом противоречила универсалистской традиции, основывавшейся на первичности законов морали. Одним из наиболее красноречивых критиков политики, лишенной какого бы то ни было морального якоря, явился знаменитый ученый Янсений.

«Неужели они верят, что мирское, тленное государство способно оказаться превыше религии и церкви?.. Неужели наихристианнейший король способен предположить, что, направляя и осуществляя собственные мечтания, он не обязан проводить в жизнь и оберегать мечтания Господа своего Иисуса Христа?.. Неужели он осмелится заявить Господу: да пропадет и сгинет Твоя власть, и слава, и вера, что учит людей почитать Тебя, если благодаря этому государство мое будет защищено и не подвержено никакому риску?» [66]

Само собой разумеется, здесь имелось в виду как раз то, что Ришелье говорил своим современникам и, насколько нам известно, своему Богу. И становится ясным масштаб произведенной им революции, коль скоро то, что его критики полагали всего лишь *reductio ad absurdum* (то есть аргументом столь аморальным и опасным, что он отвергает сам себя), на самом деле являлось в высшей степени точным резюме взглядов самого Ришелье. Будучи первым министром короля, он подчинил как религию, так и мораль высшим интересам государства, бывшим для него путеводной звездой.

Демонстрируя, как хорошо они усвоили циничную методику хозяина, защитники Ришелье использовали аргументацию своих критиков против самих этих критиков. Политика собственно национального интереса, утверждали они, является отражением верховенствующих законов морали; так что не Ришелье, а его критики нарушили принципы этики.

На долю Даниэля де Прьезака, ученого, близкого к королевской администрации, выпало почти наверняка с личного одобрения Ришелье выступить в классически макиавеллистской манере с официальными возражениями, будто бы Ришелье совершает смертный грех, проводя политику, которая, похоже, способствует распространению ереси. Скорее, заявлял он, сами критики Ришелье рискуют собственным спасением души. Поскольку Франция является самой чистой и преданной делу веры европейской католической державой, Ришелье, служа интересам Франции, тем самым служит интересам католической религии.

Презак не пояснял, как именно он пришел к выводу, будто на Францию возложена свыше столь уникальная в своем роде религиозная миссия. Однако это вытекало из его утверждения, будто укрепление французского государства способствует благополучию католической церкви; следовательно, политика Ришелье высокоморальна. Действительно, габсбургское окружение представляло собой столь серьезную угрозу безопасности Франции, что оно должно было быть разорвано, и это безоговорочно оправдывало французского короля, какими бы методами он ни пользовался, чтобы достичь этой в конечном счете высокоморальной цели.

«Он ищет мира посредством войны, и если в ходе ее случается что-то, противное его желаниям, то это вовсе не деяние преступной воли, но дань необходимости, чьи законы наиболее суровы и чей зов наиболее жесток... Война является справедливой, когда породившие ее намерения справедливы... И потому главное, что следует принимать во внимание, — это чаяния, а не средства... Тот кто намеревается убить виновного, иногда, не заслуживая за то упрека, проливает кровь невинного»[67].

Не слишком изящное доказательство того, что цель оправдывает средства.

Еще один из критиков Ришелье, Матье де Морг, обвинял кардинала в том, что он манипулировал религией, «как это делали в изображении вашего идейного предшественника Макиавелли древние римляне, приспособлявая ее... объясняя и применяя таким образом, чтобы это помогало дальнейшему осуществлению планов»[68].

Критика со стороны де Морга была столь же велеречивой, как и у Янсения, и столь же неэффективной. Ришелье действительно был именно таким манипулятором и пользовался религией в точности так, как это ему приписывалось. Он без сомнения ответил бы, что просто изучает природу мира, как это делал Макиавелли. Подобно Макиавелли, он, возможно, предпочел бы мир с более утонченной моралью, но суровая история воздаст ему как государственному деятелю по заслугам в зависимости от того, сумеет ли он наилучшим образом воспользоваться условиями и сопутствующими обстоятельствами, с которыми ему приходится иметь дело.

Действительно, если оценивать государственного деятеля, взяв в качестве критерия его свершения в сопоставлении с его же замыслами, то Ришелье останется в памяти, как одна из самых судьбоносно-удачливых фигур мировой истории. Ибо он оставил в качестве наследия после себя мир, коренным образом отличающийся от того, в

который пришел сам, и привел в действие политику, которой Франция следовала в течение трех столетий после него.

Благодаря этому Франция стала наиболее влиятельной страной в Европе и занялась широкомасштабным расширением собственной территории. В течение столетия, последовавшего за Вестфальским миром, заключенным в 1648 году и завершившим Тридцатилетнюю войну, доктрина высших интересов государства превратилась в ведущий принцип европейской дипломатии. Кардинала, который начисто был лишен иллюзий даже в отношении самого себя, не удивило бы ни то уважение, с которым государственные деятели последующих веков относились к Ришелье, ни забвение, которое стало уделом его оппонента Фердинанда II. «В делах, касающихся того или иного государства, — пишет Ришелье в своем „Политическом завещании“, — тот, кто обладает силой, часто является правым, а тот, кто слаб, может лишь с трудом избежать признания неправым с точки зрения большинства стран мира» — это изречение редко берется под сомнение странами, вмешивающимися в дела своих соседей[69].

Воздействие Ришелье на ход исторического процесса в Центральной Европе обратно пропорционально достижениям, которых он добился в интересах Франции. Он опасался объединения Центральной Европы и предотвратил его осуществление. Скорее всего он задержал превращение Германии в единое государство на два столетия. Начальная стадия Тридцатилетней войны могла бы рассматриваться как попытка Габсбургов действовать в роли династических объединителей Германии: точно так же, как Англия превратилась в государство-нацию под эгидой нормандской династии, а через несколько столетий за ней последовала Франция при Капетингах. Ришелье разрушил планы Габсбургов, и Священная Римская империя разделилась более чем на триста суверенных территорий, причем властители каждой были вольны проводить независимую внешнюю политику. Германия тогда не сумела стать государством-нацией; погрязши в мелочных династических ссорах, она занялась собственными проблемами. В результате Германия не выработала собственной национальной политической культуры и закоснела в провинциализме, из которого она так и не высвободилась вплоть до конца XIX века, когда ее объединил Бисмарк. А до этого Германия была превращена в поле боя большинства европейских войн, многие из которых были начаты по инициативе Франции, и потому не попала в первую волну европейской заморской колонизации. И когда Германия в конце концов объединилась,

у нее был до такой степени малый опыт определения собственных национальных интересов, что это породило множество наихудших трагедий нашего века.

Но боги часто карают людей, охотно исполняя их желания. Аналитический вывод кардинала в отношении того, что успех контрреформации низвел бы Францию до уровня придатка неустанно централизирующейся Священной Римской империи, был почти наверняка точным, особенно если учесть, как, должно быть, учитывал и он, что настала эпоха государств-наций. Но если Немезидой для вильсонизма обернулся разрыв между его основополагающими установлениями и реальностью, то Немезидой для концепции высших интересов государства явилось чрезмерное расширение сферы применения этого принципа. То, что дано мастеру, едва ли под силу подмастерью.

Ибо дело заключается в том, что выработанная Ришелье концепция *raison d'etat* не содержит органичных элементов самоограничения, самоконтроля. Как далеко следует идти, чтобы считать интересы государства обеспеченными в достаточной мере? Сколько требуется войн, чтобы достичь безопасности? Вильсонизм, провозглашающий политику, свободную от эгоизма, подспудно несет в себе опасность постоянного пренебрежения интересами государства; зато и применявшийся Ришелье принцип *raison d'etat* заключает в себе саморазрушительный элемент чрезмерного проявления силы. Именно это случилось с Францией после того, как взошел на престол Людовик XIV. Ришелье оставил в наследство французским королям могущественное государство, граничащее со слабой и раздробленной Германией и приходящей в упадок Испанией. Но для душевного покоя Людовика XIV одной лишь безопасности было мало; в превосходящей силе своего государства он видел лишь предпосылки для дальнейших завоеваний. Чересчур ревностно следуя принципу высших интересов своей державы, Людовик XIV напугал всю остальную Европу и тем сплотил антифранцузскую коалицию, в итоге сорвавшую осуществление его планов.

Тем не менее в течение двухсот лет после Ришелье Франция была наиболее влиятельной страной в Европе и вплоть до сегодняшнего дня остается важнейшим фактором международной политики. Немногие государственные деятели любой из стран могут похвалиться подобным достижением. И все же величайшие удачи Ришелье относятся к тому времени, когда он был единственным государственным

деятелем, отбросившим моральные и религиозные ограничения периода средневековья. Само собой разумеется, преемники Ришелье утратили привилегию единственности — политики других стран к тому времени далеко ушли от негибкого фанатизма Фердинанда и взяли на вооружение гибкость Ришелье. Как только все государства стали играть по одним и тем же правилам, все труднее стало добиваться намеченных целей. Несмотря на всю славу Франции, концепция высших интересов государства заставляла ее правителей трудиться без устали над расширением своих внешних границ. При этом страна выступала в роли арбитра при разрешении конфликтов между германскими государствами и, следовательно, воплощала на практике свою преобладающую роль в Центральной Европе. И это продолжалось до тех пор, пока Франция не лишилась сил от постоянного напряжения и не стала постепенно терять способность формировать Европу в соответствии с собственными планами и представлениями.

Принцип *raison d'etat* давал рациональную основу поведению отдельных стран, но не нес в себе ответа на настоятельные требования создания мирового порядка.

Концепция высших интересов государства могла привести к претензиям на верховенство или к установлению равновесия сил. Но само равновесие сил редко возникало вследствие заранее продуманных расчетов. Обычно оно становилось результатом противодействия попыткам какой-то конкретной страны господствовать над другими: к примеру, европейское равновесие явилось следствием усилий по сдерживанию Франции.

В мире, порожденном Ришелье, государства более не сдерживали себя видимостью соблюдения моральных норм. Если наивысшей ценностью было благо государства, долгом правителя являлось расширение его территории и возвеличение его славы. Сильный стремился отнять то, что слабые пытались удержать, формируя коалиции, чтобы тем самым увеличить мощь каждого из государств-членов. Если коалиция была достаточно сильна, чтобы поставить барьер агрессору, возникало равновесие сил; если нет, то какая-то из стран добивалась гегемонии. Последствия этого, однако, вовсе не воспринимались как заранее предопределенные и потому подвергались испытанию многочисленными войнами. Первоначально возможным исходом могла бы быть как империя — французская или германская, — так и система равновесия сил. Вот почему понадобилось более ста лет, чтобы установился европейский порядок,

базирующийся исключительно на равновесии сил. Так что поначалу равновесие сил было почти что случайным явлением, а не целью международной политики

По иронии судьбы философы того времени воспринимали данную ситуацию вовсе не так. Сыны Просвещения, они разделяли воззрения XVIII века, заключавшиеся в том, что из столкновения соперничающих интересов будто бы возникнут гармония и справедливость. Концепция равновесия сил просто представлялась дальнейшим развитием принципа здравого смысла. Его основным назначением было предотвратить господство одного государства и сохранить международный порядок; целью его считалось не предотвращение конфликтов, но введение их в определенные рамки. Для практических государственных деятелей XVIII века ликвидация конфликта (или амбиций, или завистливой жадности) представлялась утопией; решением служило лишь обуздание или уравнивание врожденных недостатков человеческой природы ради достижения наилучших возможных последствий долгосрочного характера.

Философы времен Просвещения воспринимали систему международных отношений как шестеренки гигантского часового механизма вселенной и считали, что время поистине работает на него, неумолимо везя человечество к всеобщему благу. В 1751 году Вольтер описывал «христианскую Европу» как «нечто вроде огромной республики, разделенной на ряд государств, часть которых — монархические, часть же — смешанные по устройству... но все они пребывают в гармоничных отношениях друг с другом... все обладают одними и теми же принципами общественно-политического права, неведомыми в других частях света». Эти государства «превыше всего... следуют воедино премудрой политике поддержания друг перед другом, насколько это возможно, эквивалентного равновесия сил»[70].

Эту же самую тему разрабатывал Монтескье. Для него равновесие сил представлялось средством превращения разнообразия в единство:

«Состояние вещей в Европе сводится к тому, что все государства зависят друг от друга. ...Европа является единым государством, состоящим из ряда провинций»[71].

Когда писались эти строки, восемнадцатое столетие уже пережило две войны за испанское наследство, войну за польское наследство и серию войн за австрийское наследство.

В том же самом духе ученый, занимавшийся философией истории, Америк де

Ваттель, мог позволить себе писать в 1758 году, втором году Семилетней войны, такое:

«Имеющие место непрерывные переговоры превращают современную Европу в своего рода республику, все составные части которой, будучи по отдельности независимы, но связанные воедино общим интересом, объединяются ради поддержания мира и сбережения свободы. Именно это дало толчок возникновению принципа равновесия сил, при помощи которого дела организуются так, что ни одно из государств не оказывается в состоянии обладать абсолютным господством и доминировать над другими»[72].

Философы подменяли намерения результатом. В продолжение всего XVIII века государи Европы вели бесчисленные войны и не помышляли о теоретическом обосновании принципов построения мирового порядка. В тот самый конкретный момент, когда международные отношения начинали основываться на силе, возникало такое количество новых факторов, что расчеты становились все более и более невозможными.

А тогдашние многочисленные династии все свои усилия направляли на обеспечение безопасности посредством территориальной экспансии. При этом по ходу дела соотношение сил применительно к отдельным из них менялось самым решительным образом. Испания и Швеция постепенно погружались в трясину второразрядности. Польша начала сползание к потере государственного существования. Россия (вовсе не участвовавшая в заключении Вестфальского мира) и Пруссия (игравшая незначительную роль) превращались в могущественные державы. Равновесие сил достаточно трудно, анализировать даже когда его компоненты более или менее стабильны, а уж если относительное могущество государств постоянно меняется — задача и вовсе становится безнадежно запутанной.

Вакуум, порожденный в Центральной Европе Тридцатилетней войной, искушал соседние страны заполнить его. Франция оказывала давление на западе. Россия продвигалась с востока. Пруссия осуществляла экспансию в центре континента. Ни одна из ведущих континентальных держав не ощущала никаких особых обязательств в отношении равновесия сил, столь восхваляемого философами. Россия полагала себя достаточно отдаленной страной. Маленькая Пруссия, претендующая, однако, на величие, была все еще слишком слабой, чтобы повлиять на всеобщее равновесие сил.

Каждый монарх утешал себя тем, что укрепление прочности собственного правления как раз и является величайшим возможным вкладом в дело всеобщего мира, и полагался на вездесущую «невидимую» руку в смысле оправдания собственных усилий без ограничения собственных амбиций.

Характер принципа высших интересов государства в виде его превращения, по существу, в расчет риска и потенциальной выгоды наглядно демонстрируется тем, как Фридрих Великий оправдывал отторжение Силезии от Австрии, несмотря на существующие до того дружественные отношения Пруссии с этим государством и вопреки договору уважать территориальную целостность Австрии:

«Превосходство наших войск, быстрота, с которой мы в состоянии привести их в движение, одним словом, явное наше преимущество над соседями придает нам в столь неожиданной экстренной ситуации исключительное превосходство над всеми прочими державами Европы... Англия и Франция — враги. Если Франция вмешается в дела империи, Англия этого не допустит, так что я всегда смогу вступить в надежный союз с любой из них. Англия не будет ревниво относиться к приобретению мною Силезии, ведь это не принесет ей ни малейшего вреда, и она нуждается в союзниках. Голландии будет все равно, тем более коль скоро займы, предоставленные Силезии амстердамским деловым миром, будут гарантированы. Если же мы не сумеем договориться с Англией и Голландией, то мы, конечно, сможем заключить сделку с Францией, которая не позволит себе разрушить наши планы и будет лишь приветствовать подрыв могущества императорского дома. Только Россия могла бы создать для нас беспокойство. Если императрица будет жить... мы сможем подкупить ведущих советников. Если же она умрет, русские будут до такой степени заняты, что у них не останется времени для внешнеполитической деятельности...»[73]

Фридрих Великий рассматривал внешнюю политику как игру в шахматы. Он хотел захватить Силезию, чтобы усилить мощь Пруссии. Единственным препятствием собственным планам он считал сопротивление более могучих держав, а не какие-либо моральные соображения. Его анализ сводился к расчету риска и ожидаемой выгоды: если он завоюет Силезию, не пожелают ли другие государства отплатить ему за это или получить компенсацию?

Расчеты Фридриха оказались в его пользу. Завоевание им Силезии сделало Пруссию на деле великой державой, но также развязало серию войн, поскольку другие страны

попытались приспособиться к появлению новой фигуры. Первой была война за австрийское наследство с 1740 по 1748 год. В ней на стороне Пруссии выступали Франция, Испания, Бавария и Саксония, перешедшая в 1743 году на другую сторону, а Австрию поддерживала Великобритания. В следующей войне — Семилетней, продолжавшейся с 1756 по 1763 год, — роли переменялись. Австрия теперь была вместе с Россией, Францией, Саксонией и Швецией, а Великобритания и Ганновер поддерживали Пруссию. Перемена сторон явилась результатом чистейших расчетов сиюминутной выгоды и конкретных компенсаций, а не применения какого-либо из основополагающих принципов международного порядка.

Однако из этой кажущейся анархии и грабительских деяний постепенно стало вырисовываться какое-то подобие равновесия, пусть даже каждое из государств было озабочено одним лишь приращением собственного могущества. И произошло это не в результате самоограничения, а в силу того, что ни одно из государств, даже Франция, не было достаточно сильным, чтобы навязать свою волю другим и таким образом сформировать империю. Когда какое бы то ни было из государств угрожало стать господствующим, соседи формировали коалицию — не вследствие какой-либо теории международных отношений, но из чисто эгоистических интересов, направленных на воспрепятствование амбициям наиболее могущественного.

Эти постоянные войны не привели, однако, к опустошениям, характерным для религиозных войн, по двум причинам. Как ни звучит парадоксально, но абсолютные властители XVIII века были не столь абсолютными, чтобы мобилизовать все ресурсы для войны, на что могли быть способны, вызвав эмоциональный подъем, религия, или идеология, или избранное народом правительство. Ограниченные традицией и, быть может, шаткостью собственного положения, монархи не вводили подоходный налог и прочие свойственные нынешним временам сборы, тем самым ограничивался объем национального богатства, потенциально предназначенного на оборону, технология же производства вооружений была еще зачаточной.

Кроме всего прочего, равновесие сил на континенте было восстановлено и, по существу, поддерживалось благодаря появлению державы, чья внешняя политика была откровенно направлена на сохранение этого равновесия. Фундаментом политики Англии было присоединение собственной мощи по требованию обстоятельств к наиболее слабой и ущемляемой стороне для возвращения нарушенного равновесия.

Творцом этой политики был английский король Вильгельм III, суровый и многоопытный, голландец по рождению. В своей родной Голландии он пострадал от амбиций французского Короля-Солнца, и когда стал королем английским, приступил к формированию коалиций, чтобы разрушать планы Людовика XIV на каждом шагу. Англия была единственной европейской страной, чьи высшие государственные интересы не требовали экспансии в Европе. Полагая, что национальный интерес ее заключается в поддержании европейского равновесия, Англия не искала для себя на континенте ничего конкретного, за исключением предотвращения господства одной державы над всей Европой. Для достижения этой цели она готова была вступить в любую коалицию стран, выступающих против подобных единоличных устремлений.

Равновесие сил постепенно устанавливалось благодаря созданию меняющихся по составу коалиций под руководством Англии, направленных против французских попыток установить господство над Европой. Эта механика лежала в основе почти каждой из войн XVIII века, и каждая возглавляемая Англией коалиция против французской гегемонии боролась во имя тех самых европейских свобод, которые впервые поднял на щит Ришелье в борьбе Германии против Габсбургов. Равновесие сил удержалось потому, что нации, выступавшие против французского преобладания, были слишком сильны, чтобы потерпеть поражение, и еще потому, что полуторавековой экспансионизм постепенно съедал французское могущество.

Роль Великобритании в качестве регулятора отражала геополитический факт. Выживание небольшого по относительным размерам острова неподалеку от берегов Европы стало бы проблематичным, если бы все ресурсы континента оказались под властью одного-единственного правителя. Ибо в таком случае Англия (как это имело место до ее объединения с Шотландией в 1707 году) обладала бы гораздо меньшими ресурсами и количеством населения и, рано или поздно, оказалась бы во власти континентальной империи.

«Славная революция» 1688 года в Англии породила немедленную конфронтацию с королем Франции Людовиком XIV. «Славная революция» низложила католического короля Якова II. В поисках протестантской ему замены на континенте Англия остановилась на правителе («штатгальтере») Нидерландов, который на законных основаниях являлся претендентом на английский престол, будучи женат на Марии, сестре низложенного короля. Выбрав Вильгельма Оранского, Англия навязала себе

войну с Людовиком XIV по поводу территории, которая позднее станет Бельгией, изобиловавшей стратегически важными крепостями и гаванями, находившимися в опасной близости от английского побережья (хотя подобная озабоченность выкристаллизовалась лишь со временем). Вильгельм знал, что, если Людовику XIV удастся оккупировать эти крепости, Нидерланды потеряют независимость, а перспективы французского господства над Европой станут более явственными, и это явится непосредственной угрозой Англии. Решение Вильгельма направить английские войска, чтобы вести войну против Франции за сегодняшнюю Бельгию, предвосхитило британское решение воевать за Бельгию в 1914 году, когда туда вступили немцы.

Отныне во главе борьбы с Людовиком XIV встает Вильгельм. Низкорослый, сутулый и страдающий от астмы, Вильгельм на первый взгляд не производил впечатления человека, кому судьбой предназначено посрамить Короля-Солнце. Но принц Оранский обладал железной волей, сочетавшейся с исключительной быстротой ума. Он убедил себя — и был почти наверняка прав, — что если Людовику XIV, уже наиболее могущественному монарху в Европе, позволено будет завоевать Испанские Нидерланды (сегодняшнюю Бельгию), Англия окажется в рискованной ситуации. Надо было сколачивать коалицию, способную держать Людовика XIV в узде, причем не ради абстрактной теории равновесия сил, а ради сохранения независимости как Нидерландов, так и Англии. Вильгельм отдавал себе отчет в том, что поползновения Людовика XIV на Испанию и ее владения, если им будет суждено осуществиться, превратят Францию в сверхдержаву, с которой не сможет справиться ни одна комбинация государств. Чтобы предотвратить подобную опасность, он стал искать себе партнеров и вскоре их обнаружил. Швеция, Испания, Савойя, австрийский император, Саксония, Голландская республика, Англия сформировали Великий альянс — крупнейшую коалицию, силы которой когда-либо были направлены против одной державы, не имеющую равных в истории современной Европы. Почти четверть века (1688 — 1713) Людовик непрерывно вел войны против этой коалиции. В итоге, однако, французское следование высшим интересам государства было обуздано собственными интересами прочих государств Европы. Франция оставалась сильнейшим государством Европы, но не стала господствующим. Вот хрестоматийный пример системы равновесия сил в действии.

Враждебное отношение Вильгельма к Людовику XIV не носило личного характера и

не основывалось на каких-либо антифранцузских чувствах; оно отражало холодную констатацию могущества и безграничных амбиций Короля-Солнца. Вильгельм как-то доверительно сообщил одному из своих помощников, что, живи он в 50-е годы XVI века, когда Габсбурги рвались к господству над Европой, он был бы «до такой же степени французом, до какой сейчас является испанцем»[74], — заявление, предвосхитившее ответ на заданный Уинстону Черчиллю в 30-е годы вопрос, почему он является антигерманцем. «Если бы обстоятельства поменялись, мы могли бы в равной степени оказаться прогерманцами и антифранцузами»[75].

Вильгельм охотно бы вступил в переговоры с Людовиком, если бы ему показалось, что достижения равновесия сил лучше всего добиться именно этим путем. Ибо для Вильгельма существовал простой расчет, что Англии следует пытаться поддерживать примерное равновесие между Габсбургами и Бурбонами, дабы более слабый сохранил бы это равновесие при помощи Англии. Со времен Ришелье слабой страной в Европе была Австрия, и потому Великобритания выступала в одном ряду с Габсбургами против французского экспансионизма.

Идея выступления в роли регулятора поначалу, в момент ее появления, не импонировала британской публике. В конце XVII века британское общественное мнение было изоляционистским, примерно так же, как американское двумя столетиями спустя. Преобладал довод, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить угрозу, если вообще таковая появится. Считалось, что незачем бороться заранее с умозрительными трудностями, которые какая-то из стран, возможно, создаст в будущем.

Вильгельм сыграл роль, эквивалентную роли, сыгранной Теодором Рузвельтом позднее в Америке, и предупредил свой, по сути, изоляционистский народ, что его безопасность зависит от участия в системе равновесия сил за рубежом. И англичане согласились с его воззрениями гораздо быстрее, чем американцы стали на точку зрения Рузвельта. Примерно через двадцать лет после смерти Вильгельма типично оппозиционная газета «Крафтсмен» заявляла, что равновесие сил является одним из «оригинальных, вечных принципов британской политики» и что мир на континенте «представляет собой до такой степени существенно важное обстоятельство, способствующее процветанию торгового острова, что... постоянной задачей британского правительства должно быть поддержание его собственными силами и

восстановление его, когда он нарушен или потревожен другими»[76].

Достижение согласия по поводу важности для Британии равновесия сил не погасило, однако, споров относительно наилучшей стратегии осуществления подобной политики. Существовали две школы, отражавшие взгляды двух крупнейших политических партий, представленных в парламенте (в значительной степени это сходно с параллельным расхождением во мнениях в Соединенных Штатах после двух мировых войн). Виги утверждали, что Великобритании следует вмешиваться в дела на континенте лишь тогда, когда угроза равновесию сил уже налицо, и лишь на такой срок, который потребуются, чтобы устранить эту угрозу. Тори же полагали, что основной обязанностью Великобритании является формирование, а не просто защита равновесия сил. Виги придерживались того мнения, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить нападение на Нидерланды уже после того, как таковое случится; тории же доказывали, что политика выжидательного характера может позволить агрессору непоправимо нарушить равновесие сил. Поэтому, если Великобритания не желает вести войну в Дувре, она обязана противостоять агрессии вдоль течения Рейна или в любом другом месте Европы, где угроза равновесию сил очевидна. Виги считали альянсы мероприятиями временного характера, нужными лишь до того момента, когда победа поставит общность целей под сомнение, в то время как тории настаивали на британском участии в совместных объединениях постоянного характера, чтобы дать возможность Великобритании оказывать влияние на события и сохранить мир.

Лорд Картерет, министр иностранных дел в правительстве тори с 1742 по 1744 год, весьма пространно выступил в защиту постоянной вовлеченности Англии в европейские дела. Он отрицательно отнесся к склонности вигов «не обращать внимания на беспорядки и беды на континенте, не заниматься поиском врагов нашего собственного острова, но лишь заниматься торговлей и жить в свое удовольствие, а вместо того, чтобы лицом к лицу встречать опасность за рубежом, спать спокойным сном, пока нас не разбудит набат на наших собственных берегах». Великобритания, заявил он, обязана постоянно, в собственных интересах поддерживать Габсбургов как противовес Франции, «ибо если французский монарх случайно обнаружит, что он свободен от соперников на континенте, то решит, что завоевания его вне опасности, и сможет уменьшить численность гарнизонов, оставит крепости и распустит

сухопутное войско; но те сокровища, которые позволяют ему заполнять равнины солдатами, вскоре дадут ему возможность осуществить планы, гораздо более опасные для нашей страны... И мы должны соответственно, милорды... оказывать содействие Австрийскому дому, ибо он является единственной силой, которую можно положить на чашу весов, дабы перевесить силу государей из династии Бурбонов»[77].

Различие между стратегией внешней политики у вигов и тори носило практический, а не философский характер; было тактическим, а не стратегическим и отражало понимание каждой из партий степени уязвимости Великобритании. Выжидательная политика вигов отражала убежденность в наличии у Великобритании значительного резерва безопасности. Тори же считали положение Великобритании более опасным. Почти та же самая черта разделит в XX веке американских изоляционистов и американских глобалистов. Ни Великобритания в XVIII и XIX веках, ни Америка в XX веке не могли с ходу убедить собственных граждан, что их безопасность требует постоянной вовлеченности в мировую политику, а не изоляции.

Периодически в обеих странах появлялся лидер, поднимавший перед своим народом проблему необходимости постоянной занятости делами за рубежом. Вильсон произвел на свет Лигу наций; Картерет носился с идеей перманентной вовлеченности в события на континенте; Кэслри, бывший министром иностранных дел с 1812 по 1821 год, выступал в защиту системы европейских конгрессов, а Гладстон, премьер-министр конца XIX века, выдвигал первую версию системы коллективной безопасности. В итоге, однако, их действия не увенчались успехом, поскольку вплоть до конца второй мировой войны ни английский, ни американский народы еще не были убеждены, что следует сразу же отвечать на смертельную угрозу миру, не дожидаясь, пока она будет непосредственно обращена против них.

В общем, Великобритания стала регулятором европейского равновесия, вначале почти что стихийно, а затем в результате сознательно избранной стратегии. Если бы Великобритания не отнеслась столь ревностно к этой своей роли, Франция обязательно добилась бы гегемонии в Европе в XVIII или XIX веке, а Германия сделала бы то же самое в современный период. В этом смысле Черчилль был абсолютно прав, утверждая двумя веками позднее, что Великобритания «сохранила вольности Европы»[78].

В начале XIX века Великобритания от защиты системы равновесия сил от случая к

случаю перешла к действиям подобного рода, базирующимся на заранее продуманных предпосылках. До этого такого рода политика велась прагматически, в соответствии с душевным складом британцев, — оказывалось сопротивление любой стране, угрожавшей европейскому равновесию, причем в XVIII веке такой страной была неизменно Франция. Войны кончались компромиссом, обычно усиливавшим позиции вечной соперницы морской державы в минимально допустимых пределах, но исключавшим ее гегемонию.

И вот в конце концов Франция предоставила возможность Великобритании впервые детально объявить, что конкретно понимается под равновесием сил. Стремясь к верховенству в течение полутора столетий во имя высших интересов государства, Франция после революции вернулась к прежним концепциям универсализма. Она более не ссылалась на принцип следования высшим интересам государства в оправдание своего экспансионизма, и в еще меньшей степени ее интересовала слава былых королей низложенной династии. После революции Франция вела войну со всеми соседними странами, чтобы сберечь завоевания революции и распространить республиканские идеалы по всей Европе. В очередной раз обладающая превосходящими силами Франция грозила стать европейским гегемоном. Войско, набранное по принципу всеобщей воинской повинности, и идеологический пыл проносили, как на крыльях, французскую мощь по всей Европе во имя универсальных принципов свободы, равенства и братства. При Наполеоне всего лишь пядь отделяла ее от создания Европейского содружества наций, центром которого была бы она сама. К 1807 году французские войска создали королевства-сателлиты вдоль Рейна, в Италии и Испании, низвели Пруссию до положения второразрядной державы и существенно ослабили Австрию. Только Россия стояла на пути Наполеона и Франции к господству над всей Европой.

И все же Россия вызывала двойственное к себе отношение: отчасти надежду и отчасти страх, что и явилось ее уделом вплоть до нынешних дней. В начале XVIII века русская граница проходила по Днепру; столетием позднее она уже находилась на Висле, пятьюстами милями западнее. В начале XVIII века Россия боролась за свое существование с Швецией под Полтавой, в глубине территории сегодняшней Украины. В середине века она уже участвовала в Семилетней войне, и войска ее находились на подступах к Берлину. А в конце века она выступила в роли главного

участника раздела Польши.

Грубая физическая сила России приобретала все более и более зловеший характер в силу безжалостной деспотичности ее внутреннего устройства. Ее абсолютизм не был смягчен обычаем или уверенной в себе, независимой аристократией, как в Западной Европе, где монархи находились на престоле в силу божественного права. В России все зависело от прихоти царя. И русская внешняя политика вполне могла колебаться от либерализма к консерватизму в зависимости от настроения правящего царя, как это и происходило при Александре I. Дома, однако, не делалось даже попыток проведения либеральных экспериментов.

В 1804 году проводивший активную внешнюю политику Александр I, царь всея Руси, обратился к британскому премьер-министру Уильяму Питту Младшему, наиболее непримиримому противнику Наполеона, с предложением. Находясь под сильнейшим влиянием философов Просвещения, Александр I вообразил себя моральной совестью Европы и находился в последней стадии временного увлечения либеральными установлениями. В подобном умонастроении он предложил Питту расплывчатую схему достижения всеобщего мира, заключающуюся в призыве ко всем нациям реформировать свое государственное устройство в целях ликвидации феодализма и введения конституционного правления. Реформированные государства затем откажутся от применения силы и будут передавать споры с другими государствами на рассмотрение арбитража. Так русский самодержец стал неожиданным предшественником вильсоновской идеи, будто бы наличие либеральных институтов само по себе является предпосылкой мира, хотя царь никогда не заходил так далеко, чтобы попытаться перенести эти принципы на родную почву и распространить их среди собственного народа. Через несколько лет он вообще сместился в противоположный, консервативный край политического спектра.

Питт очутился в том же положении относительно Александра, в каком примерно через сто пятьдесят лет оказался Черчилль по отношению к Сталину. Питт отчаянно нуждался в русской поддержке против Наполеона, ибо не представлял себе, каким еще способом Наполеон может быть разбит. С другой стороны, он не более, чем позднее Черчилль, был заинтересован в том, чтобы одна гегемонистская страна сменила другую или чтобы Россия была наделена ролью арбитра Европы. Кроме всего прочего, врожденные британские предрассудки не позволили бы ни одному из

премьер-министров навязать своей стране концепцию мира, основанного на политической и социальной реформах Европы. Ни одна из войн, которую вела Великобритания, не ставила перед собой подобной цели, ибо британский народ видел для себя угрозу не в социальных и политических переменах на континенте, а лишь в нарушении равновесия сил.

Ответ Питта Александру I охватывал все эти элементы. Не обращая внимания на призыв России к политической реформе в Европе, он остановился на равновесии сил, которое было бы обязательно для сохранения мира. Впервые со времени заключения полтора столетия назад Вестфальского мира ставился вопрос о генеральном переустройстве Европы. И впервые такого рода переустройство должно было безоговорочно базироваться на равновесии сил.

Главную причину нестабильности Питт видел в слабости Центральной Европы, что многократно искушало Францию совершать нападения и пытаться добиться собственного преобладания. (Он был слишком вежлив и слишком нуждался в русской помощи, чтобы подчеркнуть: Центральная Европа, имеющая силы противостоять французскому давлению, окажется в равной степени в состоянии разрушить русские экспансионистские устремления.) Европейское урегулирование следовало начать с отнятия у Франции всех ее послереволюционных завоеваний и восстановления по ходу дела независимости Нидерландов. Тем самым тактично, но твердо давалось понять, что принцип урегулирования европейских дел в наибольшей степени является заботой именно Великобритании[79].

Сокращение французского преобладания было бы, однако, бесполезным, если бы наличие более трехсот мелких германских государств продолжало вызывать у Франции искушение осуществлять давление на них и производить интервенцию. Чтобы свести к минимуму подобные амбиции, Питт считал необходимым создать «огромные массы» в центре Европы путем консолидации германских княжеств в более крупные конгломераты. Некоторые из государств, которые добровольно присоединились к Франции или бесславно капитулировали перед ней, должны были быть аннексированы Пруссией или Австрией. Другие — сформировать более крупные объединения.

Питт тщательнейшим образом избегал каких бы то ни было намеков на европейское правительство. Вместо этого он предложил, чтобы Великобритания, Пруссия,

Австрия и Россия гарантировали новое территориальное устройство Европы путем создания постоянного альянса, направленного против французской агрессии, — точно так же, как Франклин Д. Рузвельт позднее попытался сделать фундаментом международного порядка после второй мировой войны союз против Германии и Японии. Ни Великобритания в наполеоновские времена, ни Америка в период второй мировой войны не предполагали, что самой большой угрозой миру в будущем станет скорее нынешний союзник, а не подлежащий разгрому враг. Мерилом страха перед Наполеоном являлась готовность британского премьер-министра признать то, что ранее столь решительно отвергалось его страной: необходимость постоянного участия в союзе на континенте. Он пошел даже на ограничение тактической гибкости, соглашаясь с тем, что политика Великобритании будет основываться на предпосылке наличия постоянного противника.

Возникновение в XVIII и XIX веках европейского равновесия сил в определенных аспектах сопоставимо с переустройством мира в период после окончания «холодной войны». Как и тогда, рухнувший мировой порядок породил множество государств, преследующих национальные интересы и не сдерживающих себя никакими высшими принципами. Тогда, как и теперь, государства, создающие международный порядок, стремились к определению своей международной роли. В те времена многие отдельные государства решили целиком и полностью полагаться на утверждение собственных национальных интересов, уповая на так называемую «невидимую руку»; Вопрос заключается в том, способен ли мир после окончания «холодной войны» найти какой-либо принцип, ограничивающий демонстрацию силы и утверждение собственных эгоистических интересов. Конечно, в итоге равновесие сил сложится де-факто, когда произойдет взаимодействие ряда государств. Вопрос стоит так: будет ли сохранение системы международных отношений происходить согласно продуманному плану или оно сложится в результате серии силовых испытаний.

К моменту окончания наполеоновских войн Европа была готова — единственный раз за всю свою историю — сознательно разработать международный порядок, базирующийся на принципах равновесия сил. В горниле войн XVIII — начала XIX века пришло осознание того, что равновесие сил не может быть всего лишь следствием столкновения европейских государств. План Питта намечал территориальное урегулирование в целях исправления слабостей мирового порядка

XVIII века. Но союзники Питта на континенте получили еще один урок.

Обрести могущество слишком трудно, а готовность отстаивать свои права проявляется порой в самых разных формах, и назвать их надежными проводниками установления международного порядка вряд ли позволительно. Равновесие сил функционирует наилучшим образом, если оно подкреплено соглашением относительно общих для всех ценностей. Наличие равновесия сил препятствует появлению возможностей разрушить международный порядок; договоренность относительно общности ценностей препятствует возникновению желания его разрушить. Власть, лишенная легитимности, провоцирует испытания силой; легитимность, лишенная власти, провоцирует пустое бахвальство.

Комбинация обоих элементов была и необходимостью и удачей Венского конгресса, результатом которого стало установление сохранявшегося столетие международного порядка, не нарушавшегося всеобщей войной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Европейский концерт»: Великобритания, Австрия и Россия

В то время как Наполеон отправился в первую ссылку на остров Эльба, победители в наполеоновских войнах собрались в Вене в сентябре 1814 года, чтобы выработать планы послевоенного устройства мира. Венский конгресс продолжал работать даже тогда, когда Наполеон бежал с Эльбы, вплоть до его окончательного поражения при Ватерлоо. Так что в связи с этим необходимость перестройки мирового порядка стала еще более срочной.

Со стороны Австрии переговоры вел князь Меттерних, хотя, поскольку конгресс заседал в Вене, за кулисами все время находился австрийский император. Король

Пруссии направил князя Гарденберга, а только что вступивший в результате реставрации на престол французский король Людовик XVIII полагался на Талейрана, который с той поры мог похвалиться тем, что служил каждому из правителей Франции еще с дореволюционного времени. Царь Александр I, не желая уступить престижное место России никому, приехал вести переговоры лично. По уполномочию Великобритании участвовал в переговорах английский министр иностранных дел лорд Кэслри.

Эти пятеро достигли цели, которую перед собой поставили. После Венского конгресса в Европе наступил самый продолжительный период мира за всю ее историю. В течение сорока лет не было ни единой войны с участием великих держав, а после Крымской войны 1854 года войн всеобщего характера не было еще лет шестьдесят. Достигнутое в Вене урегулирование до такой степени точно соответствовало плану Питта, что когда Кэслри представил его парламенту, то он приложил проект первоначального британского предложения, чтобы продемонстрировать, насколько близок ему окончательный документ.

Парадоксально, но этот международный порядок, который гораздо откровеннее, чем любой из предыдущих, базировался на принципе равновесия сил, как, впрочем, и любой из последующих, потребовал гораздо меньшего применения силы для его поддержания. Столь уникальное положение дел было отчасти обусловлено тем, что равновесие было рассчитано весьма тщательно. Оно могло быть разрушено лишь усилиями такой мощи, собрать которую было бы весьма затруднительно. Но самой главной причиной было то, что страны континента были связаны ощущением общности ценностей. Речь шла не только о физическом равновесии сил, но и о моральном. Сила и справедливость гармонично дополняли друг друга.

Установившееся равновесие уменьшало возможности применения силы; одинаковое представление о справедливости уменьшало желание ее применить. Международному порядку, не воспринимаемому в качестве справедливого, рано или поздно будет брошен вызов. Но степень восприятия народом справедливости того или иного мирового порядка зависит как от характера его внутренних установлений, так и от его суждения по поводу тактики внешнеполитической деятельности по конкретным вопросам. По этой причине сходство между внутренними установлениями есть дополнительное подспорье для поддержания мира. Как бы смешно это ни выглядело,

но Меттерних оказался предтечей Вильсона в том смысле, что он верил, будто бы единая для всех концепция справедливости является предпосылкой сохранения международного порядка. Хотя, конечно, его представление о справедливости было диаметрально противоположно тому, которого придерживался Вильсон и которое он в XX веке хотел закрепить посредством специально учрежденных институтов.

Создать общий баланс сил оказалось сравнительно просто. Государственные деятели следовали плану Питта, как архитектор — чертежу. Поскольку идея национального самоопределения тогда еще не была изобретена, участников конгресса меньше всего интересовало выкраивание этнически гомогенных государств из территорий, отбитых у Наполеона. Австрия усилила свои позиции в Италии, а Пруссия — в Германии. Голландская республика получила Австрийские Нидерланды (в значительной части совпадающие с сегодняшней Бельгией). Франция вынуждена была отдать все свои завоевания и вернуться к «старым границам», существовавшим накануне революции. Россия заполучила сердце Польши. (В соответствии с принципом отказа от территориальных приобретений на континенте Великобритания довольствовалась мысом Доброй Надежды на южной оконечности Африки.)

С точки зрения британской концепции мирового порядка, проверкой действенности системы равновесия сил являлась степень совершенства исполнения отдельными нациями ролей, отведенных им согласно генеральному плану — примерно так же Соединенные Штаты рассматривали свои союзы в период после второй мировой войны. Воплощая этот подход в жизнь, Великобритания применительно к странам Европейского континента столкнулась лицом к лицу с различием во взглядах на будущее точно так же, как это случилось с Соединенными Штатами в период «холодной войны». Ибо нации вовсе не воспринимали себя всего лишь шестеренками в механизме системы безопасности. Безопасность делает возможным их существование, но не является ни самоцелью, ни смыслом этого их существования.

Австрия и Пруссия никогда не воспринимали себя как «огромные массы», точно так же, как позднее Франция вовсе не воспринимала НАТО как инструмент разделения труда. Всеобщее равновесие сил очень мало значило для Австрии и Пруссии, если оно одновременно не было связано с оправданием их собственных конкретных и сложных внешнеполитических отношений или с учетом исторической роли этих стран.

После того как Габсбурги потерпели неудачу, пытаясь добиться гегемонии в

Центральной Европе во время Тридцатилетней войны, Австрия оставила попытки подчинить себе всю Германию. В 1806 году существовавшая лишь номинально Священная Римская империя была упразднена. Но Австрия все равно видела себя первой среди равных и была преисполнена решимости не дать возможности ни одному из остальных германских государств, особенно Пруссии, перенять историческую роль Австрии.

И Австрия имела все основания сохранять бдительность. В тот момент, когда Фридрих Великий захватил Силезию, Пруссия бросила вызов Австрии, оспаривая ее претензии на лидерство в Германии. Жесткий дипломатический курс, культ военного искусства и высокоразвитое чувство дисциплины вывели Пруссию в течение столетия из разряда второстепенного княжества на бесплодной северогерманской равнине и превратили в королевство, которое, даже будучи самым малым из числа великих держав, стало в военном отношении вровень с прочими. Его причудливой формы границы простирались через Северную Германию от частично польского востока до относительно латинизированной Рейнской области (отделенной от основной прусской территории Ганноверским королевством), что придавало прусскому государству всеподавляющее ощущение возложенной на него миссии национального характера: пусть даже не ради достижения какой-то высшей цели, а ради защиты собственных лоскутных территорий.

Отношения между этими двумя крупнейшими германскими государствами и их взаимоотношения с прочими являлись ключевыми для европейской стабильности. И действительно, по крайней мере, с момента окончания Тридцатилетней войны внутреннее устройство Германии ставило перед Европой дилемму: если та будет слабой и раздробленной, она будет побуждать своих соседей, особенно Францию, к экспансионизму. В то же самое время перспективы объединения ее пугали соседние государства, что продолжается вплоть до нынешнего времени. Страхи Ришелье, будто объединенная Германия сможет господствовать над Европой и превзойти по могуществу Францию, предвосхитил один британский обозреватель, писавший в 1609 году: «...Будь Германия единой монархией, она наводила бы страх и ужас на всех остальных»[80] Исторически, с точки зрения европейского мира, эта страна всегда была либо слишком слаба, либо слишком сильна.

Участники Венского конгресса отдавали себе отчет в том, что во имя прочного мира

и стабильности в Центральной Европе им следует переделать то, что было создано Ришелье в XVII веке. Ришелье позаботился о том, чтобы Центральная Европа была слабой и раздробленной, что вечно вызывало у Франции искушение вторгнуться на эти земли и превратить их в самый настоящий полигон для французской армии. И потому государственные деятели, собравшиеся в Вене, занялись консолидированием, но не объединением Германии. Ведущими германскими государствами явились Австрия и Пруссия, затем следовал ряд государств, средних по размеру: в частности, Бавария, Вюртемберг и Саксония, к которым были совершены приращения, что сделало их сильнее. Триста с лишним существовавших до Наполеона государств были укрупнены, и их стало немногим более тридцати, объединенных в новую общность, названную Германской конфедерацией. Созданная для защиты против общего внешнего агрессора, Германская конфедерация оказалась гениальным творением. Она была слишком сильной для нападения на нее Франции, но слишком слабой и децентрализованной, чтобы угрожать соседям. Конфедерация уравнивала исключительную военную силу Пруссии и исключительный престиж и легитимность Австрии. Целью конфедерации было предотвратить объединение Германии на национальной основе, сохранить троны различных немецких князей и монархов и предупредить французскую агрессию. И успех был достигнут по всем этим пунктам.

Имея дело с побежденным противником, победители, разрабатывающие мирное урегулирование, обязаны тщательно и продуманно перейти от непримиримости, жизненно важной для победы, к примирению, необходимому для достижения длительного мира. Карательный мир подрывает международный порядок, поскольку у победителей, истощенных тяготами войны, возникает задача держать под давлением страну, преисполненную решимости подорвать урегулирование. Любая страна, вынашивающая неудовольствие и обиду, наверняка почти автоматически сможет рассчитывать на поддержку озлобленной побежденной стороны. Это станет проклятием Версальского договора.

Победители на Венском конгрессе, как и победители во второй мировой войне, подобной ошибки не совершили. Нелегко было проявить великодушие к Франции, в продолжение полутора столетий стремившейся к господству над Европой, чьи армии в течение четверти века стояли лагерем на территории соседей. Тем не менее государственные деятели, заседавшие в Вене, пришли к выводу, что в Европе станет

безопаснее, если Франция будет относительно довольна, а не раздражена или обижена. Францию лишили завоеванных земель, но даровали ей «старые», то есть предреволюционные границы, даже несмотря на то, что их пределы включали в себя гораздо более обширные территории, чем те, которыми правил Ришелье. Кэслри, министр иностранных дел державы, являвшейся наиболее непримиримым врагом Наполеона, так объяснял это:

«Продолжительные эксцессы со стороны Франции могли бы, без сомнения, побудить Европу... принять меры по расчленению... [но] пусть лучше союзники воспользуются нынешним шансом обеспечить мирную передышку, которая так требуется всем державам Европы... причем они могут быть уверены в том, что, если их постигнет разочарование... они вновь смогут взяться за оружие, не только обладая командными позициями, но и имея в своем распоряжении ту самую моральную силу, которая только и может скреплять подобную конфедерацию...» [81]

А накануне 1818 года Франция уже вошла в систему, созданную конгрессом, и стала участвовать в периодических европейских конгрессах, превратившихся на целых полстолетия в почти что правительство Европы.

Будучи убеждена, что отдельные нации уже осмыслили в достаточной степени свои собственные интересы, чтобы защищать их в случае любого вызова, Великобритания могла бы этим довольствоваться и оставить все как есть. Британцы были уверены, что не требуется никаких формальных гарантий ни вместо, ни в дополнение к анализу, сделанному с позиции здравого смысла. Тем не менее страны Центральной Европы, жертвы полуторавековых войн, настаивали на осязаемых заверениях.

В частности, Австрия стояла перед лицом опасностей, непонятных Великобритании. Будучи наследием феодальных времен, Австрия представляла собой многоязычную империю, сводившую воедино множество народов бассейна Дуная, сплачивая их вокруг исторических владений в Германии и Северной Италии. Осознавая рост взаимоисключающих тенденций либерализма и национализма, угрожавших самому ее существованию, Австрия стремилась соткать сеть моральных запретов для предотвращения испытаний силой. Непревзойденное мастерство Меттерниха проявилось в том, что ему удалось побудить договаривающиеся страны подчинить свои разногласия пониманию общности разделяемых ценностей. Талейран следующим образом высказал мысль о необходимости какого-либо принципа

сдержанности:

«Если... минимум сил сопротивления... равнялся бы максимуму сил агрессии... налицо имелось бы истинное равновесие. Но... истинное положение дел основывается на наличии лишь такого равновесия сил, которое является искусственным и случайным по своему характеру и которое может сохраняться лишь в течение такого срока, пока определенные крупные государства воодушевлены чувством умеренности и справедливости»[82].

По окончании Венского конгресса взаимоотношения между равновесием сил и общими для всех легитимистскими чувствами нашли отражение в двух документах: об образовании Четырехстороннего альянса, куда входили Великобритания, Пруссия, Австрия и Россия, и Священного союза, членство в котором ограничивалось тремя так называемыми «восточными дворами» — Пруссией, Австрией и Россией. В начале XIX века на Францию смотрели с таким же страхом, как на Германию в XX: как на хронически агрессивную, изначально дестабилизирующую силу. Поэтому государственные деятели, собравшиеся в Вене, выковали Четырехсторонний альянс, чтобы при помощи преобладающей силы задушить в зародыше любые агрессивные французские тенденции. Если бы победители, заседавшие в Версале, создали бы подобный альянс в 1918 году, мир, возможно, так бы и не узнал страданий второй мировой войны.

Священный союз носил совершенно иной характер; Европа не видела подобных документальных деклараций с тех пор, как почти два столетия назад покинул трон Фердинанд II, император Священной Римской империи. Инициатором союза был русский царь, который никак не мог отказаться от самозванно возложенной на себя миссии перекроить систему международных отношений и переделать ее участников. В 1804 году Питт подорвал в корне крестовый поход императора ради достижения торжества либеральных установлений; к 1815 году Александр до мозга костей пропитался чувством победы, так что больше отмахнуться от него было невозможно, — не важно, что "нынешний крестовый поход был в корне противоположен тому, что проповедовалось одиннадцать лет назад. Теперь Александр очутился в рабстве у религии и консервативных ценностей и предлагал ни более ни менее как всеобъемлющую реформу системы международных отношений, основывающуюся на той предпосылке, что будто бы «курс, ранее принятый державами во взаимных

отношениях между ними, должен быть фундаментально изменен, и потому срочно требуется заменить его порядком вещей, основывающимся на возвышенных истинах вечной религии нашего Спасителя»[83].

Австрийский император шутил, что не знал, как ему поступить: обсуждать ли эти идеи на совете министров или в исповедальне. Но он одновременно знал, что не может ни присоединиться к крестовому походу царя, ни отвергнуть его, дав тем самым Александру повод действовать в одиночку, оставляя Австрию лицом к лицу с либеральными и национальными течениями того времени. Вот почему Меттерних трансформировал проект царя в то, что потом стало известно как Священный союз, где религиозный императив трактовался как обязательство поставивших подпись под договором сохранять внутренний статус-кво в Европе. Впервые в современной истории европейские державы приняли на себя общую миссию.

Ни один британский государственный деятель никогда бы не позволил себе ввязаться в предприятие, где устанавливалось бы всеобщее право — по сути, обязанность — вмешиваться во внутренние дела других государств. Кэслри назвал Священный союз «образцом утонченного мистицизма и бессмыслицы»[84]. Меттерних, однако, увидел в нем возможность заставить царя поддержать нормы легитимизма и, что самое главное, удержать его от бурного миссионерского экспериментирования в одностороннем порядке и в отсутствие какого-либо сдерживающего начала. Священный союз объединил усилия консервативных монархов и направил их на борьбу с революцией, но также обязал их взаимно согласовывать свои действия, что реально давало Австрии теоретическое право вето в отношении авантюры готового всех душить русского союзника. Так называемый «европейский концерт» предполагал, что нации, сопоставимые по могуществу, будут решать вопросы, касающиеся всеобщей стабильности, путем консенсуса.

Священный союз явился наиболее оригинальным аспектом венского урегулирования. Возвышенное название отвлекло внимание от его оперативной сущности, заключающейся в том, чтобы внести элемент морального ограничения в отношения великих держав. Проявленный ими закономерный интерес к сохранению внутренних институтов вынудил страны континента избегать конфликтов, на которые в предыдущем столетии они бы пошли безоговорочно.

Однако было бы величайшим упрощением утверждать, будто наличие сходного

внутреннего устройства само по себе гарантирует мирное сохранение равновесия сил. В XVIII веке все правители на континенте управляли в силу божественного права, так что внутреннее устройство их государств было сопоставимо в самой своей основе.

И тем не менее, будучи полностью уверенными в постоянстве своих прав, эти самые правители вели бесконечные войны друг с другом как раз потому, что считали собственное внутреннее устройство неуязвимым.

Вудро Вильсон был не первым, кто полагал, что характер внутреннего устройства предопределяет поведение государства в международном плане. Меттерних полагал то же самое, однако на основании абсолютно противоположных по характеру и содержанию доводов: В то время как Вильсон считал, что демократии миролюбивы и разумны в силу самой своей природы, Меттерних называл их опасными и непредсказуемыми. Видя страдания, в которые республиканская Франция ввергла Европу, Меттерних отождествлял мир с легитимным правлением. Он ожидал, что коронованные главы древних династий если и не удержат мир, то, по крайней мере, сохранят фундамент международных отношений. Таким образом, легитимность становилась цементом, скрепляющим здание международного порядка.

Разница между подходами Вильсона и Меттерниха к вопросам справедливого внутреннего устройства и международного порядка основополагающе для понимания противоположных друг другу воззрений Америки и Европы. Вильсон выступал в роли крестоносца, борющегося за принципы, воспринимаемые им как революционные и новые. Меттерних стремился воплотить в конкретные установления те ценности, которые он считал древними. Вильсон, будучи президентом страны, сознательно созданной, чтобы сделать человека свободным, верил в то, что демократические ценности могут быть узаконены, чтобы стать составной частью совершенно новых всемирных институтов. Меттерних, будучи представителем древней страны, чьи институты развивались постепенно, почти незаметно, сомневался в том, что права могут быть созданы посредством законодательства. «Права», по Меттерниху, просто существовали в природе вещей. Были ли они подкреплены законом или конституцией, это сугубо технический вопрос, не имеющий никакого отношения к воплощению в жизнь идеи свободы. Меттерних считал гарантированные права парадоксом: «Вещи, которые следует воспринимать как само собой разумеющиеся, теряют силу, если возникают в форме произвольно делаемых заявлений... Предметы, ошибочно

превращаемые в объекты законотворчества, в результате ограничиваются в объеме, если не целиком уничтожаются, при помощи тех самых попыток их сохранить и сберечь»[85].

Некоторые из изречений Меттерниха представляли собой рациональное объяснение сущности установившейся в Австрийской империи практики, которая была не в состоянии приспособиться к рождающемуся новому миру. Но Меттерних также был носителем рационалистского убеждения, будто законы и права существуют в природе сами по себе, а не в силу какого-либо постановления или распоряжения. Опыт его сформировался во времена Французской революции, которая началась с провозглашения прав человека, а кончилась царством террора. Национальный опыт, породивший Вильсона, носил гораздо более мягкий характер, и за пятнадцать лет до возникновения современного тоталитаризма этот человек не мог даже представить себе, какие aberrации в состоянии таить в себе всенародное волеизъявление.

В период после окончания Венского конгресса Меттерних играл решающую роль в управлении международной системой и толковании требований Священного союза. Меттерних был вынужден взять на себя эту роль, поскольку Австрия была открыта всем ветрам, и ее внутренние установления все меньше и меньше соответствовали национальным и либеральным тенденциям века. Пруссия угрожала позициям Австрии в Германии, а Россия с жадностью глядела на славянское население на Балканах. И все время наличествовала Франция, готовая вновь претворять в жизнь заветы Ришелье в Центральной Европе. Меттерних знал, что, если эти потенциальные опасности перерастут в реальные испытания силы, Австрия истощит себя независимо от конкретного исхода каждого отдельного конфликта. И потому его политикой было путем создания морального консенсуса избегать кризисов или сводить на нет те из них, избежать которых невозможно. А также оказывать негласную поддержку той стране, на которую приходился основной удар конфронтации, например, поддерживать Великобританию против Франции в Нидерландах, Великобританию и Францию против России на Балканах, более мелкие государства против Пруссии в Германии.

Исключительный дипломатический талант Меттерниха позволил ему переводить избитые дипломатические истины в практические действия внешнеполитического характера. Ему удалось убедить двух ближайших союзников Австрии, каждый из

которых олицетворял геополитическую угрозу Австрийской империи, в том, что идеологическая опасность, несомая революцией, перевешивает их стратегические возможности. Если бы Пруссия попыталась эксплуатировать германский национализм, она смогла бы бросить вызов австрийскому преобладанию в Германии поколением ранее Бисмарка. Если бы цари Александр I и Николай I принимали во внимание исключительно геополитические возможности России, они бы гораздо решительнее воспользовались развалом Османской империи на горе Австрии, как позднее в том же столетии поступят их преемники. Обе страны воздерживались от использования собственных преимуществ, поскольку это бы шло вразрез с основополагающим принципом сохранения статус-кво. Австрии, которая, похоже, после ударов Наполеона пребывала на смертном одре, системой Меттерниха была дарована новая жизнь, что позволило ей просуществовать еще сотню лет.

Человек, который спас эту империю-анахронизм и руководил ее политикой почти пятьдесят лет, впервые посетил Австрию лишь в тринадцатилетнем возрасте, а постоянно поселился там только в семнадцать лет[86]. Отец князя Клеменса Меттерниха был губернатором Рейнской области, являвшейся тогда владением Габсбургов. Будучи по своему складу космополитом, Меттерних всегда более уютно чувствовал себя, говоря по-французски, а не по-немецки. «Теперь уже в течение длительного времени, — писал он Веллингтону в 1824 году, — роль отчизны (*patrie*) играет для меня Европа»[87]. Современные ему оппоненты высмеивали праведные его изречения и отполированные эпиграммы. Зато Вольтер и Кант наверняка поняли бы его взгляды. Носитель рационализма эпохи Просвещения, он был заброшен в самую гущу революционной борьбы, чуждой его темпераменту, и стал главным министром осажденного государства, устройство которого он не мог усовершенствовать.

Характерными чертами стиля деятельности Меттерниха были трезвость духа и умеренность целей: «Почти не приверженные к абстрактным идеям, мы принимаем вещи как они есть и пытаемся изо всех сил защитить себя от превратного представления о реальности»[88]. И «фразами, которые при ближайшем рассмотрении рассеиваются как дым, вроде „защиты цивилизации“, нельзя определить что-либо осязаемое»[89].

Применяя подобный подход, Меттерних стремился избегать сиюминутного

эмоционального плена. Как только Наполеон потерпел поражение в России и еще до того, как русские войска добрались до Центральной Европы, Меттерних уже отождествлял Россию с потенциальной угрозой долгосрочного характера. И в то самое время, как соседи Австрии стремились изо всех сил освободиться от французского правления, участие Австрии в антинаполеоновской коалиции он обуславливал разработкой целей войны, соотносимых с выживанием шаткой империи. Замечу, что полной противоположностью этой позиции Меттерниха было поведение демократических стран во время второй мировой войны, когда они обнаружили, что находятся в том же положении, что и Советский Союз. Подобно Кэслри и Питту, Меттерних верил, что сильная Центральная Европа есть предпосылка европейской стабильности. Преисполненный решимости избежать, где только возможно, грубых столкновений, Меттерних в равной степени стремился и быть сильным, и придерживаться умеренного стиля.

«Подход (европейских) держав отличается друг от друга в зависимости от их географического положения. Франция и Россия имеют по одной-единственной пограничной линии, каждая из которых практически неуязвима. Рейн с тройной линией крепостей обеспечивает покой... Франции; жуткий климат... делает Неман не менее безопасной границей для России. Австрия и Пруссия открыты со всех сторон для нападения соседних держав. Находясь под постоянной угрозой гегемонизма этих двух держав, Австрия и Пруссия могут найти успокоение лишь в мудрой и тщательно продуманной политике и в добрых отношениях друг с другом и со своими соседями...»[90]

Хотя Австрия нуждалась в России, как в барьере на пути Франции, она всегда внимательно следила за своим импульсивным союзником, а особенно за склонностью царя брать на себя роль крестоносца. Талейран говорил о царе Александре I, что тот не зря был сыном безумного царя Павла I. Меттерних описывал Александра, как «странное сочетание мужских добродетелей и женских слабостей. Слишком слабый для истинного честолюбия, но слишком сильный для чистого тщеславия»[91].

Для Меттерниха проблема сводилась скорее не к тому, чтобы как-то сдерживать российскую агрессивность — ибо подобные попытки заставили бы Австрию исчерпать все свои ресурсы, — а к тому, чтобы умерить амбиции России. «Александр желает мира всему миру, — докладывал австрийский дипломат, — но не ради мира

как такового и благословенных его последствий; скорее ради самого себя; и не безоговорочно, но с невысказанной задней мыслью: он должен оставаться арбитром; от него должно исходить счастье всех, и вся Европа должна признавать, что ее покой — это дело его трудов, ее покой зависит от его доброй воли и может быть нарушен по его прихоти...»[92]

Кэслри и Меттерних по-разному относились к тому, как именно следует сдерживать чересчур деятельную и доставляющую столько хлопот Россию. Будучи министром иностранных дел островной державы, удаленной от сцены конфронтации, Кэслри был готов к отражению лишь открытых выступлений, да и то лишь таких, которые угрожали бы равновесию сил. С другой стороны, страна Меттерниха находилась в самом центре континента и не могла позволить себе рисковать. И как раз потому, что Меттерних не доверял Александру, он делал все для того, чтобы находиться в максимально тесном контакте с ним, и сосредоточивал все свои усилия на то, чтобы не допускать самого возникновения угрозы с его стороны. «Если выстрелит хотя бы одна пушка, — писал он, — Александр и его свита окажутся вне пределов досягаемости, и тогда не будет никаких ограничений тому, что он сочтет своими божественно ниспосланными правами»[93].

Чтобы слегка уgomонить столь ревностный пыл Александра, Меттерних принимал меры двоякого характера. Под его руководством Австрия находилась в авангарде борьбы с национализмом, хотя он самым решительным образом не позволял Австрии слишком явственно выдвигаться на первый план или идти на односторонние шаги. Еще менее он был настроен поощрять других действовать самостоятельно, отчасти из опасения, как бы миссионерское рвение России не обратилось в экспансионизм. Для Меттерниха умеренность была философской добродетелью и практической необходимостью. В инструкциях одному из австрийских послов он как-то писал: «Гораздо важнее свести на нет претензии других, чем настаивать на наших собственных... Чем меньше мы будем запрашивать, тем больше приобретем»[94]. Как только это представлялось возможным, он пытался умерять планы царя-крестоносца, вовлекая его в длительные по времени консультации и ограничивая его тем, что было терпимо с точки зрения европейского равновесия сил.

Второй линией стратегии Меттерниха было консервативное единство. Как только то или иное действие становилось неизбежным, Меттерних принимался за излюбленное

свое жонглирование, которое он как-то описал следующим образом: «Австрия рассматривает все, делая в первую очередь упор на сущность. Россия превыше всего нуждается в форме. Британия желает сущности вне всякой формы... И нашей задачей становится сведение воедино невероятности претензий Британии с образом действий России»[95]. Ловкость Меттерниха позволила Австрии в течение целого поколения осуществлять контроль над ходом событий, превращая Россию, страну, которую он боялся, в партнера на основе единства консервативных интересов, а Великобританию, которой он доверял, — в последнее прибежище при угрозах равновесию сил. Неизбежный конец, однако, был попросту отсрочен. Но даже просто сохранение организованного по старинке государства, существующего на базе ценностей, несовместимых с современными тенденциями, охватившими весь мир вокруг, и продление ему жизни на целое столетие является само по себе немалым достижением.

Дилемма Меттерниха заключалась в том, что чем более он сближался с царем, тем более он рисковал своими британскими связями; а чем более он ими рисковал, тем ближе он вынужден был находиться к царю, чтобы избежать изоляции. Идеальной комбинацией для Меттерниха была бы британская поддержка в деле сохранения территориального равновесия и русская поддержка для усмирения внутренних неурядиц: Четырехсторонний альянс для геополитической безопасности и Священный союз для внутренней стабильности.

Но по мере того как со временем изглаживалась память о Наполеоне, сохранять подобную комбинацию становилось все труднее. По мере того как союзы приобретали форму системы коллективной безопасности и европейского правительства, Великобритания считала своим долгом от них отмежеваться. А чем больше Великобритания отмежевывалась, тем зависимее становилась Австрия от России и, соответственно, тем более рьяно она защищала консервативные ценности. Создавался порочный круг, который нельзя было разорвать.

С какой бы симпатией ни относился Кэслри к австрийским проблемам, он был неспособен заставить Англию обращать внимание на потенциальные, а не на реальные опасности. «Когда нарушено территориальное равновесие в Европе, — вещал Кэслри, — она (Британия) может эффективно вмешаться, но ее правительство является последним в Европе, на которое можно рассчитывать, что оно вмешается в какой бы то ни было внешнеполитический вопрос абстрактного характера... Мы

окажемся на своем месте, когда европейской системе будет угрожать реальная опасность; но страна не может и не будет предпринимать шаги из-за абстрактных и надуманных принципов предосторожности»[96]. И все же нужда заставляла Меттерниха считать практически существующим то, что Великобритания полагала абстрактным и надуманным. Здесь был корень проблемы. Внутренние неурядицы оказались той самой опасностью, с которой Австрия меньше всего была в состоянии справиться.

Для того чтобы сгладить принципиальные разногласия, Кэслри предложил организовать периодические встречи, или конгрессы, министров иностранных дел для совместного рассмотрения положения дел в Европе. То, что стало известно как система конгрессов, имело цель выковать консенсус по важнейшим европейским вопросам и проложить путь для решения их на многосторонней основе.

Великобритания, однако, чувствовала себя неуютно в отношении системы европейского правительства, поскольку оттуда было недалеко и до объединенной Европы, против которой британцы выступали постоянно и непрерывно. Даже если оставить в стороне традиционную британскую политику, ни одно из британских правительств не брало на себя постоянное обязательство выполнять роль дозорного без какой бы то ни было конкретной угрозы. Участие в европейском правительстве было не более привлекательным для британского общественного мнения, чем в Лиге наций для американцев через сто лет, причем, в общем и целом, по одним и тем же причинам.

Британский кабинет сделал совершенно конкретные оговорки еще перед самой первой из подобных конференций — Ахенским конгрессом 1818 года. Кэслри был направлен туда с невероятно сдержанными инструкциями: «Мы одобряем [общую декларацию] по этому случаю и, хотя и с трудом, заверяем [державы второго ранга], что... периодические встречи... должны быть посвящены одному... предмету или даже... одной державе, Франции, что не предполагает никакого диктата в тех случаях, когда международное право не оправдывает вмешательства... Наша истинная политика всегда заключалась в том, чтобы сохранять нейтралитет всегда, кроме исключительных случаев и при наличии превосходящих сил»[97]. Великобритания хотела, чтобы за Францией присматривали, но за рамками этого в Лондоне царил двоякий страх: перед «континентальной трясинной» и объединенной Европой.

Имел место всего лишь один случай, когда Великобритания решила, что конгресс способен в дипломатическом плане оказать ей содействие в достижении собственных целей. Во время греческой революции 1821 года Англия увидела за желанием царя защитить христианское население разваливающейся Османской империи возможную попытку России захватить Египет. Когда на карту были поставлены британские стратегические интересы, Кэслри без колебаний обратился к царю во имя того самого союзнического единства, которое он до того времени хотел ограничить вопросами, относящимися к Франции. Характерно то, что он разработал критерий разграничения между теоретическими и практическими вопросами: «Вопрос Турции носит совершенно иной характер, и он принадлежит к числу тех, которые у нас в Англии рассматриваются не в теоретическом, а в практическом плане...»[98]

Но само обращение Кэслри явилось прежде всего подтверждением его внутренней непрочности альянса. Альянс, где один из партнеров трактует собственные стратегические интересы как единственный практический вопрос из числа всех прочих, не является дополнительным гарантом безопасности для своих членов. Ибо не берет на себя никаких обязательств сверх тех, которые бы и так возникли вследствие учета национальных интересов. Меттерних, без сомнения, утешался тем, что лично Кэслри, безусловно, относился с симпатией к его целям и вообще к системе конгрессов. Кэслри, как говорил один из австрийских дипломатов, был похож «на великого любителя музыки, находящегося в церкви; он хочет зааплодировать, но не смеет»[99]. Но если даже наиболее европейски ориентированный из числа британских государственных деятелей не рискует аплодировать тому, во что верит, то роль Великобритании в «европейском концерте» была predeterminedена как переходящая и неэффективная.

Примерно так же столетием позднее обстояло дело с Вильсоном и Лигой наций. Усилия Кэслри убедить Великобританию принять участие в системе европейских конгрессов зашли намного дальше того, что могло быть терпимо английскими представительными институтами с философской и стратегической точек зрения. Кэслри, как и Вильсон, был убежден в том, что новой агрессии успешнее всего можно избежать в том случае, если его страна станет постоянным членом какого-либо европейского форума. Форум и займется угрозами прежде, чем они превратятся в кризисы. Он понимал Европу лучше многих своих британских современников и знал,

что вновь обретенное равновесие требует к себе постоянного внимания. Кэслри полагал, что выработал решение, которое Великобритания могла бы поддержать, поскольку оно не шло далее участия в серии дискуссионных встреч министров иностранных дел четырех стран-победительниц и не имело обязательственного характера.

Но даже дискуссионные встречи чересчур напоминали британскому кабинету идею европейского правительства. И получилось, что система конгрессов не взяла даже первого барьера: когда Кэслри присутствовал на первой конференции в Ахене в 1818 году, Франция была принята в систему конгрессов, а Англия из нее вышла. Кабинет не дал Кэслри разрешения присутствовать на последующих европейских конгрессах, которые соответственно состоялись в 1820 году в Троппау, в 1821 году в Лайбахе и в 1822 году в Вероне. Великобритания отошла в сторону от той самой системы конгрессов, которую задумал ее же собственный министр иностранных дел. Точно так же столетием позднее Соединенные Штаты дистанцируются от Лиги наций, предложенной их же президентом. В каждом из этих случаев попытка лидера наиболее могущественной страны создать общую систему коллективной безопасности не увенчалась успехом вследствие внутренних предубеждений и исторических традиций.

Как Вильсон, так и Кэслри верили в то, что международный порядок, установленный после катастрофической войны, возможен лишь при активном участии всех ведущих членов международного сообщества и особенно их собственных стран. Для Кэслри и Вильсона безопасность была коллективной; если жертвой станет хоть одна нация, то в итоге жертвами окажутся все. Вопрос безопасности в таком случае становится глобальным для всех государств, стремление сопротивляться агрессии, а еще лучше — ее предотвратить, приобретает всеобщность. С точки зрения Кэслри, Великобритания, независимо от ее взглядов по конкретным вопросам, была по-настоящему заинтересована в сохранении всеобщего мира и в поддержании равновесия сил. Как и Вильсон, Кэслри ратовал за причастность к формированию решений, влияющих на международный порядок и организованное сопротивление нарушителям мира.

Слабость системы коллективной безопасности заключается в том, что интересы отдельных стран редко совпадают полностью, а безопасность никак не представляет

собой нечто безразмерное. Члены предполагаемого идеального содружества поэтому скорее смиряются с бездействием, чем договорятся о совместных действиях; либо все они будут придерживаться помпезных общих мест, либо станут свидетелями ухода в сторону самого могущественного из членов, который — именно в силу своего могущества — в наименьшей степени нуждается во всеобщей защите. Ни Вильсон, ни Кэслри не оказались в состоянии вовлечь свои страны в систему коллективной безопасности, ибо общество в каждой из них не ощущало непосредственной угрозы и полагало, что, в случае чего, с агрессором можно будет справиться в одиночку или, в случае нужды, в последний момент удастся найти союзников. Для них участие в Лиге наций или в европейских конгрессах представлялось риском, не повышающим уровень безопасности.

Однако между этими двумя англо-саксонскими государственными деятелями было существенное различие. Кэслри шел не в ногу не только со своими современниками, но и с устремлениями тогдашней британской внешней политики в целом. Он не оставил после себя наследия; ни один из британских государственных деятелей не брал Кэслри за образец. Вильсон же не только черпал свои идеи из глубинного источника американской мотивации, но и поднялся тут на новую высоту. Все его преемники были до какой-то степени вильсонянцами, и последующая американская внешняя политика сформировалась под влиянием его формул.

Лорд Стюарт, британский «наблюдатель», которому было позволено присутствовать на различных европейских конгрессах, сводный брат Кэслри, потратил значительную часть своей энергии, определяя пределы участия Великобритании, а не вклад ее в европейский консенсус. В Троппау он представил меморандум, подтверждающий право на самозащиту, но настаивавший на том, что Великобритания «не возьмет на себя, как член альянса, моральную ответственность за учреждение общеевропейской полиции»[100]. На конгрессе в Лайбахе лорду Стюарту было вменено в обязанность выступить с заявлением о том, что Великобритания никогда не свяжет себя обязательствами, направленными против «умозрительных» опасностей. А лично Кэслри изложил британскую позицию в государственном документе от 5 мая 1820 года. Четырехсторонний альянс, утверждал он, был учрежден для «освобождения значительной доли европейского континента от военного господства Франции... Он, однако, никогда не намечался стать Союзом для управления миром или для

руководства внутренними делами других государств»[101].

В итоге Кэслри обнаружил себя зажатым между собственными убеждениями и внутривосточными требованиями. Из этой невыносимой ситуации он не видел выхода. «Сэр, — заявил Кэслри на последней встрече с королем, — необходимо распрощаться с Европой; только вы и я знаем ее и спасли ее; никто после меня не поймет дел на континенте»[102]. Четыре дня спустя он совершил самоубийство.

По мере роста зависимости Австрии от России Меттерних все чаще и чаще задавал себе самый трудный вопрос, как долго ему будет удаваться, апеллируя к консервативным принципам царя, удерживать Россию от использования собственных возможностей на Балканах и на периферии Европы. Срок этот составил почти три десятилетия, в течение которых Меттерних занимался революциями в Неаполе, Испании и Греции, сумев на деле сохранить европейский консенсус и предотвратить русскую интервенцию на Балканах.

Но «восточный вопрос» не исчез сам собой. По существу, он явился результатом борьбы за независимость на Балканах, когда различные национальности пытались освободиться от турецкого правления. Вызов системе Меттерниха заключался в том, что эта борьба вступала в противоречие с целями и задачами системы сохранить статус-кво и что движения за независимость, направленные против Турции сегодня, будут нацелены на Австрию завтра. Более того, царь, наиболее преданный идее легитимизма, был одновременно более всех готов совершить интервенцию, и никто — уж конечно, как в Лондоне, так и в Вене — не верил, что он способен сохранить статус-кво после того, как его армии отправятся в поход.

На какое-то время общая заинтересованность самортизировать удар от распада Османской империи способствовала продолжению теплых отношений между Великобританией и Австрией. Как бы мало для англичан ни значили конкретные балканские проблемы, продвижение русских к проливам воспринималось бы как угроза британским интересам на Средиземном море, требующая упорного противодействия. Меттерних никогда лично не участвовал в британских усилиях противостоять русскому экспансионизму, хотя и приветствовал их от всей души. Его осторожная и, что самое главное, анонимная дипломатия: утверждение единства Европы, лесть по отношению к русским, обольщение англичан — помогла Австрии сохранить Россию как опору, в то время как задача сдерживания русского

экспансионизма была возложена на другие государства.

Уход Меттерниха с политической сцены в 1848 году ознаменовал начало конца акробатических упражнений на высоко подвешенной проволоке, когда Австрия использовала единство консервативных интересов для сохранения достигнутого в Вене урегулирования. По правде говоря, легитимность не могла компенсировать до бесконечности неуклонное ухудшение геополитического положения Австрии и растущую несовместимость ее внутреннего государственного устройства и господствующих национальных тенденций. Но нюанс и является сущностью искусства управления государством. Меттерних очень ловко справлялся с «восточным вопросом», однако его преемники, не сумев воздействовать на Австрию таким образом, чтобы та изменила свое внутреннее устройство сообразно требованиям времени, попытались, в порядке компенсации, направить австрийскую дипломатию в русло силовой политики, не сдерживаемой концепцией легитимности. Это явилось началом демонтажа международного порядка.

Итак, случилось то, что хрупкое европейское содружество раскололось на мелкие кусочки под молотом «восточного вопроса». В 1854 году впервые со времен Наполеона великие державы вступили в войну. По иронии судьбы эта война — Крымская война, давно заклеянная историками как бессмысленное мероприятие, которое легко было предотвратить, — предопределилась не действиями России, Великобритании или Австрии, имевшими свой интерес в «восточном вопросе», но Францией.

В 1852 году французский император Наполеон III, только что пришедший к власти в результате переворота, убедил турецкого султана даровать ему титул «защитника христиан Оттоманской империи», то есть признать за ним роль, которую русский царь традиционно считал своей. Николай I взбесился по поводу того, что Наполеон, которого он считал нелегитимным выскочкой, осмелился сесть не в свои сани и выступить вместо России в качестве защитника балканских славян и потребовал равного статуса с Францией. Когда султан наотрез отказал русскому эмиссару, Россия разорвала с Турцией дипломатические отношения. Лорд Пальмерстон, формировавший британскую внешнюю политику середины XIX века, безумно подозрительно относился к России и настоял на посылке Королевского военно-морского флота в залив Бесика у выхода из Дарданелл. А царь продолжал действовать

в духе системы Меттерниха. «Вы четверо, — заявил он, обращаясь к великим державам, — могли бы диктовать мне, но такого никогда не случится. Я могу рассчитывать на Берлин и Вену»[103]. Чтобы показать полнейшее пренебрежение, Николай распорядился оккупировать княжества Молдавию и Валахию (современную Румынию).

Австрия, которой больше всех было что терять в этой войне, предложила самоочевидное решение: Франция и Россия должны были выступить совместно в роли защитников оттоманских христиан. Пальмерстон не хотел ни того, ни другого. Чтобы усилить переговорную позицию Великобритании, он направил Королевский военно-морской флот к самому входу в Черное море. Это подвигло Турцию объявить войну России. Великобритания и Франция поддержали Турцию.

Настоящие причины войны, однако, лежали гораздо глубже. Религиозные претензии были на самом деле предлогами для осуществления замыслов политического и стратегического характера. Николай добивался воплощения в жизнь давней русской мечты заполучить Константинополь и проливы. Наполеон III увидел перед собой возможность покончить с изоляцией Франции и сломать Священный союз путем ослабления России. Пальмерстон же искал предлог, чтобы раз и навсегда не допустить Россию к проливам. И как только война разразилась, британские боевые корабли вошли в Черное море и стали уничтожать русский черноморский флот. Англофранцузские войска высадились в Крыму, чтобы захватить русскую военно-морскую базу Севастополь.

Для австрийских руководителей эти события несли в себе одни только трудности. Они считали важной традиционную дружбу с Россией, одновременно опасаясь того, что продвижение русских на Балканы может вызвать беспокойство среди славянского населения Австрии. Заботило и другое: а вдруг выступление на стороне своего старого друга России в Крыму даст Франции предлог напасть на итальянские территории Австрии?

Поначалу Австрия объявила нейтралитет, что было разумным шагом. Но новый министр иностранных дел Австрии граф Буоль решил, что бездействие только треплет нервы, а французская угроза австрийским владениям в Италии выбивает из колеи. Когда британская и французская армии осадили Севастополь, Австрия предъявила царю ультиматум с требованием ухода России из Молдавии и Валахии. Это и явилось

решающим фактором окончания Крымской войны — по крайней мере, так с того времени считали правители России.

Так Австрия выбросила за борт Николая I и постоянную, прочную дружбу с Россией со времен наполеоновских войн. Безответственность, граничащая с паникой, заставила преемников Меттерниха отбросить наследие консервативного единения, которое накапливалось столь тщательно — порой болезненно — десятилетиями. В один миг Австрия сбросила с себя оковы общности ценностей, что также освободило от обязательств Россию, позволив ей вести свою собственную политику, основывающуюся исключительно на геополитических выгодах. Следуя подобным курсом, Россия вынуждена была резко разойтись с Австрией по поводу будущего Балкан и в свое время заняться попытками подрыва Австрийской империи.

Причина, по которой венское урегулирование действовало в течение пятидесяти лет, заключалась в том, что три восточные державы — Пруссия, Россия и Австрия — видели в единстве существенно важную преграду революционному хаосу и французскому господству в Европе. Но во время Крымской войны Австрия («палата пэров Европы», как назвал ее Талейран) своими маневрами вовлекла себя в неудобный союз с Наполеоном III, жаждущим подорвать позиции Австрии в Италии, и Великобританией, не желавшей ввязываться в европейские дела. Тем самым Австрия дала России и Пруссии, своим неумным и предприимчивым партнерам по Священному союзу, свободу преследовать в чистом виде собственные национальные интересы. Пруссия заполучила свою цену, вынудив Австрию убраться из Германии, а растущая враждебность России на Балканах превратилась в один из детонаторов первой мировой войны и привела к окончательному развалу Австрии.

Оказавшись лицом к лицу с реальностями силовой политики, Австрия не сумела осознать, что ее спасение лежит в общеевропейской приверженности легитимизму. Концепция единства консервативных интересов уже перешагнула национальные границы, ее целью было бы свести к минимуму конфронтации силовой политики. Национализм же, напротив, выпячивал национальные интересы, доводя соперничество до предела и увеличивая риск для всех. Австрия вовлекла себя в соперничество, в котором, с учетом собственной уязвимости, не могла одержать верх.

Через пять лет после окончания Крымской войны итальянский националистический лидер Камилло Кавур начал процесс изгнания Австрии из Италии, спровоцировав

войну с Австрией и опираясь на союз с Францией и молчаливую поддержку России, причем и то и другое прежде было бы сочтено невероятным. Пройдет еще пять лет, и Бисмарк разобьет Австрию в войне за господство в Германии. И опять Россия отошла в сторону, а Франция сделала то же самое, пусть даже и нехотя. Во времена Меттерниха «европейский концерт» все обсудил бы и совместно покончил бы с этой неразберихой. Теперь же дипломатия каждой страны стала полагаться более на собственную силу, чем на общность ценностей. Мир сохранялся еще пятьдесят лет. Но с каждым десятилетием росло число очагов напряженности и увеличивалась гонка вооружений.

Великобритания избрала для себя совершенно иной путь в рамках международной системы, находящейся во власти силовой политики. С одной стороны, она никогда не полагалась в отношении собственной безопасности на систему конгрессов; для Великобритании новый характер международных отношений выглядел как обычное течение дел. В продолжение XIX века Великобритания стала ведущей страной Европы. Можно с уверенностью сказать, что она смогла бы выстоять в одиночку, ибо на ее стороне было преимущество географической изоляции и отъединенности от внутренней нестабильности на континенте. К тому же плюсом являлось наличие твердого руководства, преданного без сантиментов национальным интересам.

Преемники Кэслри не сумели не то что сравняться с ним, но даже приблизиться к нему в отношении правильного понимания происходящего на континенте. Зато они яснее и тверже ухватывали сущность британских национальных интересов и добивались их воплощения в жизнь с исключительным мастерством и настойчивостью. Джордж Каннинг, непосредственный преемник Кэслри, не теряя времени, оборвал последние немногочисленные нити, посредством которых Кэслри осуществлял свое влияние, пусть даже отдаленное, на систему конгрессов. В 1821 году, за год до того, как занять место Кэслри, Каннинг призывал к политике «нейтралитета словом и делом»[104]. «Не следует, — заявлял он, — предполагать в глупо-романтическом духе, что мы одни способны возродить Европу»[105]. Впоследствии, став министром иностранных дел, он не оставил ни малейших сомнений в том, что ведущим принципом его деятельности является осуществление национальных интересов. А это, с его точки зрения, было несовместимо с постоянной обязательственной связью с Европой:

«...Из имеющейся у нас непосредственной связи с системой в Европе вовсе не вытекает, будто мы теперь призваны настырно вмешиваться по любому поводу в дела и заботы окружающих нас наций»[106].

Иными словами, Великобритания оставляла за собой право следовать своим курсом в соответствии с весомостью для нее каждой отдельно взятой ситуации и руководствоваться только собственными национальными интересами, то есть проводить политику, при которой союзники являются либо вспомогательным, либо вовсе несущественным фактором.

Пальмерстон следующим образом пояснил в 1856 году сущность британских национальных интересов: «Когда мне задают вопрос... что именно зовется политикой, единственный ответ таков: мы намереваемся придерживаться того, что может показаться наилучшим в каждой конкретной ситуации, и делать руководящим принципом интересы нашей страны»[107]. Через полвека официальное описание сущности британской внешней политики не слишком-то уточнилось, как это находим в разъяснениях министра иностранных дел сэра Эдварда Грея: «Британские министры иностранных дел руководствуются непосредственными интересами своей страны без каких-либо тщательных расчетов на будущее»[108].

В большинстве других стран подобные заявления были бы высмеяны как тавтология: мы делаем то, что является лучшим, потому что мы считаем это лучшим. В Великобритании они были сочтены проливающими свет: весьма редко там требовалось точно определить, что означает столь часто используемое выражение «национальные интересы». «У нас нет вечных союзников и постоянных противников», — заявлял Пальмерстон. Великобритании не требовалось официально выработанной стратегии, поскольку ее лидеры до того великолепно, «нутром» понимали британские интересы, что могли действовать спонтанно по мере возникновения определенной ситуации, будучи уверены, что широкая публика за ними пойдет. Говоря словами Пальмерстона — «Наши интересы вечны, и наш долг этим интересам следовать»[109].

Британские лидеры были склонны более четко заявить, что именно они не готовы защищать, чем заранее определить «казус белли». С еще большей сдержанностью, возможно потому, что их в достаточной степени устраивал статус-кво, они относились к декларации позитивных целей, что всегда смогут распознать британские

национальные интересы, в чем бы они ни проявились. Британские лидеры не ощущали необходимости разрабатывать их заранее. Они предпочитали ждать конкретных случаев — позиция, которую континентальные страны занять не могли, поскольку сами и были этими «конкретными случаями».

Британские взгляды на безопасность были весьма сходными со взглядами американских изоляционистов, особенно в том отношении, что Великобритания считала себя застрахованной от всего, за исключением катастрофических сдвигов и перемен. Но Америка и Великобритания воспринимали по-разному взаимоотношения и взаимосвязь между миром и внутренним устройством отдельных стран. Британские лидеры никоим образом не считали всеобщее распространение представительных институтов ключом к миру, в отличие от обычного взгляда американцев, и их вовсе не беспокоило существование внутренних установлений, отличных от их собственных.

Именно в этом плане писал Пальмерстон в 1841 году британскому послу в Санкт-Петербурге, определяя, что Великобритания будет сдерживать силой оружия, и отказываясь выступать против чисто внутренних перемен:

«Один из генеральных принципов, которому Правительство Ее Величества желает следовать и которым желает руководствоваться в отношениях между Англией и другими государствами, таков: любые возможные перемены во внутренней конституции и форме правления иностранных наций должны рассматриваться как вопросы, по поводу которых у Великобритании нет оснований вмешиваться силой оружия...

Но попытка одной нации захватить и присвоить себе территорию, принадлежащую другой нации, является совершенно иным случаем; поскольку подобная попытка ведет к нарушению существующего равновесия сил и к перемене соотносимой мощи отдельных государств, она может таить в себе опасность и для других держав; а потому подобной попытке Британское правительство целиком и полностью вольно противостоять...»[110]

Все британские министры без исключения были превыше всего озабочены сохранением для своей страны свободы действий. В 1841 году Пальмерстон вновь подчеркнул нежелание Великобритании заниматься ситуацией в абстрактном плане:

«...Для Англии не является обычным принимать на себя обязательства по отношению к случаям, конкретно не проявившимся или не прогнозируемым на

ближайшее будущее...»[111]

Примерно через тридцать лет после этого Гладстон выдвинул тот же самый принцип в письме королеве Виктории:

«Англии следует целиком и полностью определять собственные обязательства согласно фактическому состоянию дел по мере его изменения; ей не следует ограничивать и сужать пределы своей свободы выбора посредством деклараций, сделанных иным державам в связи с их реальными или предполагаемыми интересами, толкователями которых будут выступать они сами, пусть даже в лучшем случае совместно с нами...»[112]

Настаивая на свободе действий, британские государственные деятели, как правило, отвергали все вариации на тему коллективной безопасности. То, что потом стали называть политикой «блестящей изоляции», отражало убежденность Англии в том, что она больше потеряет, чем приобретет от вступления в союзы. Столь остранный подход могла себе позволить только страна, достаточно сильная, чтобы выступать самостоятельно, не видящая для себя опасностей, для противостояния которым необходимы союзники, и уверенная в том, что любая угрожающая ей крайность представила бы собой для потенциальных союзников еще большую угрозу. Роль Великобритании как нации, утверждавшей и поддерживавшей европейское равновесие сил, давала ей все те преимущества, которые ее лидеры желали иметь или в которых нуждались. Эта политика могла беспрепятственно проводиться в жизнь потому, что Англия не стремилась к территориальным приобретениям в Европе; Англия могла по собственному усмотрению выбирать для вмешательства европейские конфликты, ибо единственным для нее европейским интересом было равновесие сил (что абсолютно не зависело от британской алчности к колониальным приобретениям на других континентах).

Тем не менее британская политика «блестящей изоляции» не мешала вступать в союзы временного характера с другими странами, чтобы справляться с особыми обстоятельствами. Будучи морской державой и не обладая крупной постоянной армией, Великобритания время от времени вынуждена была кооперироваться с континентальным союзником, которого предпочитала выбирать только тогда, когда возникала конкретная нужда. В ходе отделения Бельгии от Голландии в 1830 году Пальмерстон выступил с военными угрозами по отношению к Франции, чтобы та не

вздумала установить господство над вновь возникшим государством, а через несколько лет предложил ей же союз, чтобы гарантировать независимость Бельгии: «Англия в одиночестве не способна добиться выполнения стоящих перед нею задач на континенте; она должна иметь союзников в качестве рабочих инструментов»[113]. Так что в подобных случаях британские лидеры выказывали себя свободными от какого бы то ни было злопамятства и воспоминаний о прошлом.

Конечно, многочисленные разовые союзники Великобритании преследовали собственные цели, как правило, заключающиеся в расширении сфер влияния или территориальных приобретений в Европе. Когда они, с точки зрения Англии, переходили за грань приемлемого, Англия переходила на другую сторону или организовывала новую коалицию против прежнего союзника в целях защиты равновесия сил. Ее лишенная всяких сантиментов настойчивость и замкнутая на самое себя решимость способствовали приобретению Великобританией эпитета «Коварный Альбион». Дипломатия подобного рода, возможно, и не отражала особо возвышенного подхода к международным делам, но зато обеспечивала мир в Европе, особенно тогда, когда созданная Меттернихом система стала трещать по всем швам.

Девятнадцатый век стал апогеем британского влияния. Великобритания была уверена в себе и имела на то полное право. Она являлась ведущей промышленной державой, а Королевский военно-морской флот господствовал на морях. В век внутренних потрясений британская внутренняя политика была на редкость спокойной и безмятежной. Когда дело доходило до крупных проблем девятнадцатого столетия: интервенция или воздержание от интервенции, защита статус-кво или сотрудничество в целях перемен — британские лидеры отказывались связывать себя догмой. В войне за греческую независимость 20-х годов XIX века Великобритания с симпатией относилась к стремлению Греции к независимости и освобождению из-под турецкого правления в той степени, в какой это не угрожало ее собственным стратегическим позициям в Средиземном море и не усиливало русского влияния. Но в 1840 году Британия вмешалась непосредственно, чтобы сдержать Россию, и, следовательно, поддержала статус-кво в Османской империи. Во время венгерской революции 1848 года Великобритания, формально не участвовавшая в интервенции, на деле приветствовала восстановление Россией статус-кво. Когда Италия в 50-е годы XIX века восстала против правления Габсбургов, Великобритания отнеслась к этому с

симпатией, но сама не вмешалась. В деле защиты равновесия сил Великобритания никогда не была ни решительно интервенционистской страной, ни категорическим противником интервенции, ни бастионом венского порядка, ни державой, требующей его ревизии. Стиль ее деятельности был неуклонно прагматичен, а британский народ гордился тем, что страна способна, лавируя, идти вперед.

И все же любая прагматическая политика должна быть основана на каком-то определенном принципе, с тем чтобы тактическое искусство не превратилось в метод проб и ошибок. И таким заранее определенным принципом британской внешней политики была, независимо от того, признавала ли Великобритания это открыто или нет, концепция защитника равновесия сил, что в целом означало поддержку более слабого против сильного. Во времена Пальмерстона равновесие сил превратилось в столь само собой разумеющийся принцип британской внешней политики, что в теоретической защите он не нуждался; какая бы политическая линия ни проводилась в данный момент, она обязательно формулировалась в рамках необходимости защиты равновесия сил. Исключительная гибкость шла рука об руку с рядом конкретных задач практического характера. К примеру, решимость оберегать Нидерланды от попадания в руки какой-либо крупной державы сохранялась со времен Вильгельма III вплоть до начала первой мировой войны. В 1870 году Дизраэли следующим образом напомнил об этом принципе:

«Правительством данной страны всегда считалось, что в интересах Англии страны европейского побережья, простирающиеся от Дюнкерка и Остенде до островов Северного моря, должны находиться во владении свободных и процветающих сообществ, следовать делу мира, наслаждаться правами и свободами и следовать дорогами коммерции, обогащающими человеческую цивилизацию, и не должны попадать во владение какой-либо крупной воинственной державы...»[114]

Мерой изоляции германских лидеров могло бы, в частности, послужить то, что в 1914 году они были неподдельно удивлены, когда на германское вторжение в Бельгию Великобритания ответила объявлением войны.

В течение значительной части XIX века проблема сохранения Австрии считалась важной внешнеполитической задачей Великобритании. В XVIII веке Мальборо, Картерет и Питт несколько раз вступали в войну, чтобы не дать Франции ослабить Австрию. Хотя Австрии в XIX веке в меньшей степени следовало бояться

французской агрессии, британцы все еще видели в Австрии, полезный противовес русской экспансии в направлении черноморских проливов. Когда революция 1848 года угрожала привести к развалу Австрии, Пальмерстон заявлял:

«Австрия находится в центре Европы и является барьером против проникновения, с одной стороны, и вторжения, с другой. Политическая независимость и свободы Европы связаны, по моему мнению, с тем, удастся ли сохранить целостность Австрии как великой европейской державы, и потому все, что имеет целью прямо, или даже косвенно, ослабить и расчленить Австрию, тем более лишить ее положения первоклассной великой державы и свести к второразрядному статусу, должно рассматриваться как величайшая опасность для Европы, с которой ни один англичанин не может смириться и которую необходимо предотвратить»[115].

После революции 1848 года Австрия стала непрестанно слабеть, а ее политика — приобретать хаотичный характер, и тем самым эта страна утрачивала прежнюю полезность в качестве ключевого элемента британской политики в Средиземноморье.

Английская политика стремилась не допустить оккупации Россией Дарданелл. Австро-русское соперничество было в основном сопряжено с русскими планами относительно славянских провинций Австрии, что всерьез Великобританию не затрагивало, а контроль над Дарданеллами не принадлежал к числу жизненно важных для Австрии интересов. Поэтому Великобритания пришла к выводу, что Австрия стала неподходящим противовесом России. Вот почему Великобритания осталась в стороне, когда Австрия потерпела поражение от Пьемонта в Италии и была разгромлена Пруссией в ходе соперничества за преобладание в Германии — поколением назад такого рода безразличие было бы немыслимо. Во второй половине века политику Англии будет определять страх перед Германией, а Австрия, союзник Германии, впервые будет фигурировать в расчетах Великобритании как противник.

В XIX веке никому бы не пришло в голову, что настанет день и Великобритания окажется в союзе с Россией. С точки зрения Пальмерстона, Россия «придерживалась системы всесторонней агрессии во всех направлениях, отчасти в силу личных качеств императора (Николая), отчасти в силу наличия системы постоянного правления»[116]. Через двадцать пять лет после этого подобная же точка зрения будет вновь высказана лордом Кларендоном, который заявит, что Крымская война была «битвой

цивилизации против варварства»[117]. Великобритания потратила значительную часть столетия, пытаясь не допустить русской экспансии в Персии и на подступах к Константинополю и Индии. Понадобятся десятилетия германской воинственности и безразличия, чтобы главной заботой Великобритании с точки зрения безопасности стала Германия. Это окончательно произошло лишь к концу второй половины века.

Британские правительства сменялись чаще, чем у так называемых Центральных держав; ни одна из крупнейших британских политических фигур — Пальмерстон, Гладстон, Дизраэли — не находилась непрерывно на своем посту, как это имело место с Меттернихом, Николаем I и Бисмарком. И тем не менее Великобритания выказывала исключительную преемственность политических целей. Раз избрав определенный курс, она следовала ему с неумолимой решимостью и настойчивой верностью, что и позволяло Великобритании оказывать решающее влияние на сохранение спокойствия в Европе.

Одна из причин неуклонности поведения Великобритании в период кризисов — представительный характер ее политических институтов. Начиная с 1700 года общественное мнение играло важную роль в британской внешней политике. Ни в одной стране Европы в XVIII веке не существовало «оппозиционной» точки зрения применительно к внешней политике; в Великобритании это было неотъемлемой частью системы. В XVIII веке тори, как правило, представляли внешнюю политику короля, который склонялся к вмешательству в споры на континенте; виги же, подобно сэру Роберту Уолполу, предпочитали сохранять определенную дистанцию по отношению к континентальным сварам и делали больший упор на заморскую экспансию. К началу XIX века роли переменялись. Виги, подобно Пальмерстону, выступали за активную политику; в то время как тори, подобно Дерби или Сэйлсбери, устали от иностранных обязательств. Радикалы типа Ричарда Кобдена солидаризировались с консерваторами, пропагандируя невмешательство.

Поскольку внешняя политика Великобритании выросла из открытых дебатов, британский народ проявлял исключительное единение во время войны. С другой стороны, столь открыто фанатичная внешняя политика делала возможными — хотя и в высшей степени необычными — диаметрально противоположные перемены при смене премьер-министра. К примеру, поддержка Великобританией Турции в 70-е годы XIX века резко прекратилась, когда Гладстон, считавший, что турки достойны морального порицания,

выиграл у Дизраэли выборы 1880 года.

Во все времена Великобритания считала свои представительные учреждения уникальными. Политика ее на континенте всегда оправдывалась британскими национальными интересами, а не идеологией. Если Великобритания выражала симпатию какой-либо из революций, как это было с Италией в 1848 году, она поступала так из сугубо практических соображений. Поэтому Пальмерстон с одобрением цитировал прагматическое изречение Каннинга: «Те, кто когда-то выступили против улучшения, поскольку оно представляло собой нововведение, вынуждены будут в один прекрасный день принять нововведение, которое уже более не будет улучшением»[118]. Но это был совет, базирующийся на опыте, а не призыв к отказу от британских ценностей и установлений. В продолжение всего XIX века Великобритания оценивала другие страны по проводимой ими внешней политике и, за исключением краткой гладстоновской интерлюдии, оставалась безразлична к их внутреннему устройству.

Великобритания и Америка в равной степени стремились держаться несколько в стороне от повседневного вовлечения в дела за рубежом, но каждая имела свою собственную версию изоляционизма. Америка провозглашала свои демократические институты примером для всего остального мира; Великобритания трактовала свои парламентские институты как не имеющие ничего сходного с иными обществами. Америка пришла к вере в то, что распространение демократии обеспечит мир; да, действительно, относительный мир иным путем достигнут быть не может. Великобритания могла предпочесть для себя конкретное внутреннее устройство, но на риск ради него идти не собиралась.

В 1848 году Пальмерстон, когда вновь ожили исторические опасения Великобритании в связи со свержением во Франции монархии и появлением нового Бонапарта, сослался на практическое правило британского государственного управления:

«Неизменным принципом действий Англии является принцип признания законным органом каждой из наций того органа, который каждая из наций сознательно для себя изберет»[119].

Пальмерстон в течение почти тридцати лет был главным архитектором внешней политики Великобритании. В 1841 году Меттерних с циничным восхищением

анализировал его прагматический стиль:

«...Чего же тогда хочет лорд Пальмерстон? Он хочет, чтобы Франция ощутила мощь Англии, доказывая первой, что египетское дело завершится так, как он того пожелает, причем у Франции не будет ни малейшего права приложить к этому руку. Он хочет доказать обеим германским державам, что они ему не нужны, что Англии достаточно русской помощи. Он хочет держать Россию под контролем и вести ее за собой следом, постоянно внушая ей опасения, будто Англия сможет вновь сблизиться с Францией»[120].

Здесь довольно точно раскрыто, что понимала Великобритания под равновесием сил. В итоге это позволило Великобритании пройти через столетие с одной-единственной довольно краткой войной с другой великой державой — Крымской войной. Именно Крымская война положила начало развалу меттерниховского порядка, с таким трудом выкованного на Венском конгрессе, хотя, когда она началась, это никому не пришло в голову. Ликвидация единства между тремя восточными монархами убрала из европейской дипломатии элемент моральной умеренности. Последовали пятнадцать беспокойных лет, и лишь затем возник новый порядок, впрочем, довольно нестабильный.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Два революционера: Наполеон III и Бисмарк

Распад меттерниховской системы на гребне Крымской войны породил примерно два десятилетия конфликтов: войну Пьемонта и Франции с Австрией в 1859 году, войну за Шлезвиг-Голштинию в 1864 году, австро-прусскую войну 1866 года и франко-прусскую войну 1870 года. Из этого разброда возникло новое равновесие сил в

Европе. Франция, участвовавшая в трех из этих войн и провоцировавшая остальные, утратила главенствующее положение, уступив его Германии. Что гораздо важнее, исчезли моральные сдерживающие факторы системы Меттерниха. Эти перемены символизировались появлением нового термина для обозначения ничем не ограниченной политики достижения равновесия сил: на смену французскому термину «raison d'état» пришел немецкий термин «Realpolitik», что, однако, не меняло сути дела.

Новый европейский порядок был делом рук двоих довольно непохожих друг на друга творцов, ставших по ходу дела архипротивниками: императора Наполеона III и Отто фон Бисмарка. Оба эти человека игнорировали священную для Меттерниха заповедь: в интересах стабильности коронованные главы европейских государств должны оставаться на местах, национальные и либеральные движения следует подавлять и, что превыше всего, отношения между государствами определяются консенсусом одинаково мыслящих правителей. А эти двое основывали свои действия на «Realpolitik» — понятии, гласящем, что отношения между государствами определяются грубой силой, и преобладает тот, кто могущественней.

Племянник великого Бонапарта, пронесшегося как смерч над Европой, Наполеон III был в молодые годы членом итальянского тайного общества, боровшегося против австрийского господства в Италии. Избранный президентом в 1848 году, Наполеон в результате переворота провозгласил себя императором в 1852 году. Отто фон Бисмарк был отпрыском знатной прусской фамилии и страстным противником либеральной революции 1848 года в Пруссии. Бисмарк стал министр-президентом (премьер-министром) в 1862 году лишь потому, что отчаявшийся король не видел другого выхода из тупика, в который зашел разбитый на множество фракций парламент по поводу военных ассигнований.

За этот временной промежуток Наполеон III и Бисмарк сумели перевернуть вверх дном венское урегулирование и, что самое главное, отказались от самоограничения, проистекавшего из разделявшейся всеми веры в консервативные ценности. Трудно представить себе две столь несхожие личности, чем Бисмарк и Наполеон III.

«Железный канцлер» и «сфинкс Тюильри» были объединены своим отвращением к «венской системе». Оба ощущали, что порядок, установленный Меттернихом в Вене в 1815 году, был журавлем в небе. Наполеон III ненавидел венскую систему, поскольку

она была специально задумана, чтобы ограничивать Францию. Хотя Наполеон III не обладал амбициозной мегаломанией своего дяди, этот загадочный руководитель ощущал, что Франция имеет право на совершение время от времени территориальных приобретений, и не хотел, чтобы на его пути стояла объединенная Европа. Более того, он полагал, что национализм и либерализм — это как раз те самые ценности, которые мир отождествлял с Францией, и что «венская система», подавляя их, тем самым покушалась на интересы общечеловеческие. Бисмарк с презрением относился к трудам Меттерниха, ибо они обрекали Пруссию на роль младшего партнера Австрии в рамках Германской конфедерации, причем он был убежден в том, что конфедерация, сохраняя столько мелких германских суверенов, держала Пруссию в тисках. Если Пруссия собиралась реализовать свое предназначение и объединить Германию, то «венская система» должна была быть разрушена.

Разделяя отвращение к установленному порядку, два революционера тем не менее очутились в конце концов на диаметрально противоположных полюсах. Наполеон породил обратное тому, что он поставил своей целью осуществить. Воображая себя разрушителем венского переустройства мира и вдохновителем европейского национализма, он вверг европейскую дипломатию в состояние перманентной неуравновешенности, из чего в долгосрочном плане Франция не получила ничего, а выиграли остальные нации. Наполеон сделал возможным объединение Италии и непреднамеренно способствовал объединению Германии, причем оба эти события геополитически ослабили Францию и подорвали историческую основу французского преобладания в Центральной Европе. Воспрепятствовать каждому из этих событий Франция так и так бы не смогла, и все же хаотично-ошибочная политика Наполеона в значительной степени способствовала ускорению нежелательного процесса. А тем самым — лишала Францию способности сформировать новый международный порядок в соответствии с ее долгосрочными интересами. Наполеон пытался взломать «венскую систему», полагая, что она изолирует Францию, что до определенной степени было верно, и все же к 1870 году, когда завершилось его правление, Франция была более изолирована, чем во времена Меттерниха.

Наследие Бисмарка было совершенно иным. Немногие государственные деятели сумели подобным образом изменить ход истории. Прежде чем Бисмарк пришел к власти, предполагалось, что германское единство будет достигнуто посредством

какой-либо формы парламентского, конституционного правления, ставшего следствием революции 1848 года. Через пять лет Бисмарк уже далеко продвинулся по пути объединения, что было заветной мечтой трех поколений немцев, но он сделал это на основе преобладающей силы Пруссии, а не при помощи демократического конституционализма. Решение Бисмарка не имело под собой сколько-нибудь существенной опоры в рядах избирателей. Слишком демократичная для консерваторов, слишком авторитарная для либералов, слишком ориентированная на силу для легитимистов, новая Германия требовала гения, который бы вызвался направлять силы, выпущенные им на свободу, как внутри страны, так и за ее пределами, путем манипуляции противоположностями — с этой задачей Бисмарк справился мастерски, но она оказалась за пределами возможностей его преемников.

При жизни Наполеон III получил прозвище «сфинкс Тюильри», поскольку все были уверены, что он вынашивает широкомасштабные и блестящие замыслы, характера которых никто не был в состоянии раскрыть, пока они сами постепенно не представляли перед глазами. Считалось, что он загадочно умен, поскольку сумел покончить с дипломатической изоляцией Франции в рамках «венской системы» и дать толчок развалу Священного союза посредством Крымской войны. Лишь один из европейских лидеров, Отто фон Бисмарк, видел его насквозь с самого начала. В 50-е годы он сардонически оценивал Наполеона следующим образом: «Его ум переоценивается вследствие его сентиментальности».

Как и его дядя, Наполеон III был одержим идеей обретения легитимного мандата. Хотя он считал себя революционером, он жаждал, чтобы Гего признали легитимные короли Европы. Конечно, если бы Священный союз был верен своим первоначальным устремлениям, он бы попытался уничтожить республиканские институты, которые в 1848 году заменили правление французских королей. Кровавые эксцессы Французской революции еще были живы в памяти, как и тот факт, что иностранная интервенция во Франции развязала натиск французских революционных армий на европейские нации в 1792 году. В то же время аналогичный страх перед иностранной интервенцией заставил республиканскую Францию с опаской отнестись к экспорту революции. Несмотря на застойные предубеждения, консервативные державы пусть неохотно, но согласились признать республиканскую Францию, которой поначалу правил поэт и государственный деятель Альфонс де Ламартин, потом — Наполеон,

как избранный президент, и, наконец, снова Наполеон, но уже «Третий» в качестве императора с 1852 года, после того, как он в декабре предшествующего года произвел переворот, преодолев конституционный запрет на свое переизбрание.

Стоило Наполеону III провозгласить Вторую империю, как со всей остротой опять встал вопрос признания. На этот раз суть дела заключалась в том, признавать ли Наполеона как императора, поскольку одним из конкретных условий венского урегулирования был четко выраженный запрет семье Бонапартов занимать французский трон. Австрия была первой, кто признал то, что уже нельзя было изменить. Австрийский посол в Париже, барон Хюбнер, приводит характерно циничное замечание своего начальника, князя Шварценберга, сделанное 31 декабря 1851 года, подведшее черту под эрой Меттерниха: «Дни принципов миновали»[121].

Следующей серьезной заботой Наполеона было: станут ли прочие монархи пользоваться по отношению к нему обращением «брат», применяемым в переписке друг с другом, либо придумают более низменную форму. В конце концов австрийский и прусский монархи пошли навстречу Наполеону, хотя царь Николай остался непримирим и отказывался идти далее обращения «друг». С учетом царской точки зрения на революционеров, тот, без сомнения, полагал, что воздал Наполеону должное сверх всякой меры. Хюбнер отмечает чувство ущербности, царившее в Тюильри: «Ощущение там было таково, будто их презирают старые континентальные дворы. Этот червь все время подтачивал сердце императора Наполеона»[122].

Было ли презрение реальным или воображаемым, оно свидетельствовало о пропасти между Наполеоном и прочими европейскими монархами и было одним из психологических обоснований отчаянных и неутомимых нападок «брата» и «друга» на европейскую дипломатию.

Ирония судьбы, связанная с Наполеоном, заключается в том, что он гораздо более был приспособлен для ведения внутренней политики, хотя она его и утомляла, чем для заграничных авантюр, для которых у него не доставало решительности и проницательности. Как только он позволял себе отдых от взятой на себя революционной миссии, ему удавалось сделать значительный вклад в развитие Франции. Он осуществил во Франции промышленную революцию. С его поощрения созданы крупные кредитные учреждения, сыгравшие решающую роль в экономическом развитии Франции. И еще он перестроил столицу Франции, придав ей

грандиозный современный вид. В начале XIX века Париж все еще был средневековым городом с узенькими, извилистыми улочками. Наполеон наделил своего ближайшего советника, барона Османа, властью и бюджетом для создания современного города с широкими бульварами, огромными общественными зданиями и потрясающими перспективами. Кстати, одной из целей сооружения широких проспектов было обеспечение возможности ведения огня прямой наводкой, что должно было обескуражить революционеров, но от этого не принижается величественность и внушительность содеянного на века.

Однако внешняя политика была страстью Наполеона, и там-то он и находился во власти разрывающих его в разные стороны чувств. С одной стороны, он отдавал себе отчет в том, что никогда не обретет желанной легитимности, поскольку легитимность дается монарху от рождения и не может быть благоприобретенной. С другой стороны, он и не слишком хотел войти в историю как легитимист. В свое время он был итальянским карбонарием (борцом за независимость) и считал себя защитником принципа национального самоопределения. В то же время он не был расположен рисковать сверх меры. Конечной целью Наполеона было упразднить территориальные статьи Венского соглашения и изменить систему государств, на основе которой действовали эти статьи. Но он никогда не понимал, что достижение этой цели повлечет за собой объединение Германии, а это навеки положит конец французским чаяниям господствовать в Центральной Европе.

Мечущийся характер его политики был, таким образом, отражением двойственности его натуры. Не доверяя «братьям»-монархам, Наполеон был вынужден полагаться на общественное мнение, и его политика делала зигзаги в зависимости от того, что он считал на данный момент нужным для сохранения популярности. В 1857 году вездесущий барон Хюбнер пишет австрийскому императору:

«В его [Наполеона] глазах внешняя политика — лишь инструмент, при помощи которого он обеспечивает себе власть во Франции, легитимизирует трон и основывает династию.

...[Он] не дрогнет ни перед какими мерами, ни перед какой комбинацией, только бы это сделало его популярным у себя в стране»[123].

По ходу дела Наполеон стал пленником кризисов, которые сам же и организовал, ибо у него отсутствовал внутренний компас, позволяющий избрать правильный курс.

Без конца он способствует возникновению кризиса: то в Италии, то в Польше, позднее — в Германии — и все для того, чтобы пойти на попятный перед неизбежными последствиями. Он обладал амбициями своего дяди, но не его нервами, гением или могуществом. Наполеон III поддерживал итальянский национализм до тех пор, пока тот не выходил за пределы Северной Италии, и выступай в пользу польской независимости, пока это не влекло за собой риск возникновения войны. Что касается Германии, то он просто не знал, на какую сторону делать ставку. Первоначально ожидая, что борьба между Австрией и Пруссией окажется продолжительной, Наполеон сделал себя посмешищем, попросив Пруссию, победителя, предоставить ему компенсацию по окончании схватки за то, что он не был в состоянии угадать победителя.

Стилю Наполеона наиболее соответствовал бы европейский конгресс, могущий перечертить карту Европы, ибо там бы он смог блистать с минимальным для себя риском. Не было у Наполеона и ясного представления о том, как именно ему хотелось бы изменить границы. В любом случае, зачем великим державам было устраивать подобный форум для удовлетворения его внутренних потребностей? Ни одна страна не согласится изменить собственные границы, да еще с ущербом для себя, если ее не понудит к этому всеподавляющая необходимость. Как это выяснилось, единственный конгресс, на котором председательствовал Наполеон, — Парижский конгресс, собранный по случаю окончания Крымской войны, — не перекроил карту Европы, а лишь подтвердил то, что было достигнуто в ходе войны. России было запрещено держать военный флот на Черном море, что лишало ее оборонительных возможностей на случай нового британского нападения. России также пришлось вернуть Бессарабию и территорию Карса на восточном побережье Черного моря Турции. В дополнение к этому царь вынужден был отозвать свое требование быть защитником оттоманских христиан, что и явилось непосредственной причиной войны. Парижский конгресс символизировал распад Священного союза, но ни один из его участников не был готов произвести пересмотр карты Европы.

Наполеон так и не преуспел в созыве еще одного конгресса для перекройки карты Европы, причем по одной-единственной основной причине, которую указал ему британский посол лорд Кларендон: страна, которая ищет великих перемен и у которой отсутствует готовность идти на столь же великий риск, обрекает себя на бесплодное

существование.

«Я вижу, что идея европейского конгресса зародилась в голове у императора, а вместе с нею и *arrondissement* французской границы, упразднение устаревших трактатов и прочие *remaniements*, которые могли бы быть сочтены необходимыми. Я сымпровизировал огромный перечень опасностей и затруднений, которые повлечет за собой подобный конгресс, если его решения не будут единогласными, что не представляется вероятным, причем одна или две наиболее сильные державы могут решиться на войну, чтобы получить желаемое»[124].

Пальмерстон как-то свел государственную деятельность Наполеона к одной фразе: «...Идеи рождаются у него в голове, как кролики в садке»[125]. Беда заключалась в том, что эти идеи были отрывочны и хаотичны. В беспорядке, который породил развал Меттерниховской системы, у Франции было два стратегических выбора. Она могла следовать политике Ришелье и стремиться сохранить Центральную Европу расчлененной. Этот выбор вынуждал Наполеона, по крайней мере в пределах Германии, подчинить собственные революционные убеждения полезности сохранения легитимных правителей, готовых поддерживать раздробленность Центральной Европы. Либо Наполеону оставалось встать во главе республиканского крестового похода, как это сделал его дядя, из расчета на благодарность националистов и, быть может, на политическое руководство Европой.

К несчастью для Франции, Наполеон следовал и той и другой стратегии одновременно. Пропагандист национального самоопределения, он, казалось, не замечает геополитического риска, какой эта позиция вызывает для Франции в Центральной Европе. Он поддерживал польскую революцию, но пошел на попятный, когда встал перед лицом последствий. Выступал против венского урегулирования, считая его оскорбительным для Франции, слишком поздно поняв, что венский мировой порядок был наилучшей гарантией безопасности и для Франции.

Ибо Германская конфедерация задумывалась как единое целое лишь на случай отражения всеподавляющей опасности извне. Государствам, ее составляющим, запрещалось объединяться в наступательных целях, и они никогда не в состоянии были бы договориться о наступательной стратегии. Именно потому этот предмет никогда не затрагивался за все полувековое существование конфедерации.

Французская граница по Рейну, нерушимая до тех пор, пока действовало Венское

соглашение, оказалась благодаря политике Наполеона небезопасной в течение столетия с момента распада конфедерации.

Наполеон так никогда и не понял ключевых элементов безопасности Франции. Еще в момент возникновения австро-прусской войны в 1866 году, то есть конфликта, покончившего с конфедерацией, он писал австрийскому императору: «Вынужден признаться, что не без некоторого удовлетворения я наблюдаю за распадом Германской конфедерации, организованной исключительно против Франции»[126].

Габсбург ответил гораздо более пронизательно: «Германская конфедерация, организованная из сугубо оборонительных соображений, никогда за все полвека своего существования не давала своим соседям повода для тревоги»[127].

Альтернативой Германской конфедерации была уже не лоскутная Центральная Европа времен Ришелье, а объединенная Германия с населением, превышающим по численности Францию, и с внушительным промышленным потенциалом, превосходящим французский. Нападая на венское урегулирование, Наполеон превращал оборонительное препятствие в потенциальную наступательную угрозу безопасности Франции.

Испытанием для государственного деятеля является способность выявить в вихре сиюминутных событий истинные долгосрочные интересы собственной страны и разработать соответствующую стратегию их достижения. Наполеон мог купаться в океане похвал мудрой его тактике во время Крымской войны (чему в немалой степени способствовала австрийская близорукость) и обольщаться многочисленными дипломатическими возможностями, открывшимися перед ним. В интересах Франции было бы оставаться возможно ближе к Австрии и Великобритании — двум странам, в наибольшей степени способным сохранить территориальное устройство Центральной Европы.

Политика императора, однако, в значительной степени была продиктована идиосинкразией и подвижностью его натуры. Принадлежа к семье Бонапартов, он всегда ощущал себя неуютно, когда приходилось сотрудничать с Австрией, что бы ни диктовали высшие интересы государства. В 1858 году Наполеон сказал одному пьемонтскому дипломату: «Австрия — это антикварный комод, к которому я испытывал и всегда испытываю живейшее нерасположение»[128]. Склонность к революционным прожектам побудила его вступить в войну с Австрией по поводу

Италии в 1859 году. Наполеон отдалил от себя Великобританию тем, что аннексировал Савойю и Ниццу на исходе войны, а также бесконечными предложениями созыва европейского конгресса для перекройки границ в Европе. В завершение собственной изоляции, Наполеон пожертвовал возможностью союза Франции с Россией, поддержав польскую революцию 1863 года. Доведя европейскую дипломатию до стадии непрерывного брожения под знаменем национального самоопределения, Наполеон внезапно обнаружил, что он остался в одиночестве, причем именно в тот момент, когда в результате вызванной им же самим бури возродилась германская нация, чтобы положить конец французскому главенству в Европе.

Свой первый послекрымский шаг император сделал в 1859 году в Италии, через три года после Парижского конгресса. Никто не ожидал, что Наполеон вспомнит мечты юности и бросится освобождать Северную Италию от австрийского господства. Ибо от подобной авантюры Франция могла бы получить совсем немного. В случае удачи возникло бы государство, достаточно сильное, чтобы блокировать традиционный путь французских вторжений; а при неудаче унижение шло бы рука об руку с неясностью цели. Так или иначе, само присутствие французских войск в Италии обеспокоило бы Европу.

Исходя из этого, британский посол лорд Генри Коули был убежден, что французская война в Италии невероятна до предела. «Не в его интересах затевать войну, — передает Хюбнер слова Коули. — Союз с Англией, хотя в данный момент и менее прочный, но все же потенциально существующий, остается фундаментом политики Наполеона III»[129]. Через три десятилетия Хюбнер так будет рассуждать об этом: «Мы едва-едва могли помыслить, что этот человек, добившийся высших почестей, если, конечно, он не обезумевший азартный игрок, сможет всерьез решиться, не имея на то ясных и понятных мотивов, на очередную авантюру»[130].

И все же Наполеон удивил всех дипломатов, за исключением своего судьбоносного спутника Бисмарка, который даже до этого предсказывал возможность войны Франции с Австрией и даже надеялся на ее осуществление, поскольку это явилось бы средством ослабления позиций Австрии в Германии.

В июле 1858 года Наполеон достиг секретной договоренности с Камилло Бенсо ди Кавуром, премьер-министром Пьемонта (Сардинии), сильнейшего из итальянских

государств, о сотрудничестве в войне против Австрии. Это был чисто макиавеллистский ход, в результате которого Кавур объединял Северную Италию, а Наполеон получал в награду от Пьемонта Ниццу и Савойю. К маю 1859 года был найден подходящий предлог. Австрия, нервы которой никогда не отличались крепостью, позволила спровоцировать себя бесконечными вызывающими действиями Пьемонта и объявила войну. Наполеон объявил во всеуслышание, что это равносильно объявлению войны Франции, и бросил свои силы в Италию.

Как это ни странно, но когда во времена Наполеона французы говорили о консолидации государств-наций как о надвигающемся будущем, они в основном думали об Италии, а не о гораздо более сильной Германии. Французы испытывали симпатию к Италии и были связаны с ней культурной общностью, чего абсолютно не имелось по отношению к грозному восточному соседу. Кроме того, мощный экономический бум, который должен был вывести Германию на передовые рубежи среди европейских держав, еще только начинался; поэтому далеко не было очевидным, что Италия окажется менее сильной, чем Германия. Осторожное поведение Пруссии во время Крымской войны подкрепляло точку зрения Наполеона, будто Пруссия является самой слабой из великих держав и не способна на мощное выступление без поддержки России. Таким образом, Наполеон думал, что итальянская война, ослабив Австрию, уменьшит могущество наиболее опасного германского противника Франции и укрепит положение Франции в Италии — грубейший просчет по обоим пунктам.

Перед Наполеоном открывались две взаимоисключающие перспективы. В лучшем случае Наполеон мог разыграть из себя государственного деятеля европейского плана: Северная Италия сбросит с себя австрийское иго, а европейские державы соберутся на конгресс под покровительством Наполеона и согласятся на крупномасштабные территориальные изменения, которых он не сумел добиться на Парижском конгрессе. В худшем случае война могла затянуться, и тогда Наполеон смог бы манипулировать в высших интересах государства на основе принципов Макиавелли, получив выгоды от Австрии за счет Пьемонта и на этих условиях прекратив войну.

Наполеон решил преследовать обе эти цели одновременно. Французские армии одержали победы при Магенте и Сольферино, но подняли сильнейший всплеск антифранцузских настроений в Германии. Одно время даже казалось, что малые

германские государства, боясь нового наполеоновского натиска, вынудят Пруссию вмешаться в войну на стороне Австрии. Потрясенный этим первым проявлением германского национализма и расстроенный посещением поля боя под Сольферино, Наполеон заключил перемирие с Австрией в Виллафранка 11 июля 1859 года, не уведомив об этом своих пьемонтских союзников.

Наполеону не удалось добиться ни одной из поставленных перед собой целей. Более того: им была серьезно ослаблена позиция его страны на международной арене. С той поры итальянские националисты довели когда-то исповедуемые им принципы до такого предела, о котором он не мог даже помыслить. Замысел Наполеона создать на территории Италии, вероятнее всего поделенной на пять государств, сателлит среднего размера вызывал раздражение у Пьемонта, который вовсе не собирался отказываться от своего национального призвания. Австрия столь решительно настаивала на удержании Венеции, сколь упорно Наполеон требовал вернуть ее Италии, и тем самым создавался очередной неразрешимый спор, не заключающий в себе никаких жизненно важных для Франции интересов. А Великобритания истолковала аннексию Савойи и Ниццы как начало нового этапа наполеоновских завоеваний и отказывала Франции во всех ее инициативах, зная наполеоновскую одержимость идеей созыва европейского конгресса. И одновременно германский национализм видел в европейских неурядицах окошечко для себя, откуда открывались виды на столь желанное национальное объединение.

Поведение Наполеона во время польского восстания 1863 года завело его еще дальше по пути к изоляции. Возрождая к жизни бонапартистскую традицию дружбы с Польшей, Наполеон поначалу склонял Россию сделать определенные уступки своим взбунтовавшимся подданным. Но царь не пожелал даже обсуждать подобное предложение. После этого Наполеон попытался организовать совместное выступление с участием Великобритании, но Пальмерстону неумный французский император уже надоел. Наконец, Наполеон обратился к Австрии с предложением отдать польские провинции еще не образованному польскому государству, а Венецию — Италии, в обмен на компенсации в Силезии и на Балканах. В этой идее для Австрии не заключалось ничего привлекательного, ибо она рисковала очутиться в состоянии войны с Россией и Пруссией ради сомнительного удовольствия увидеть, как у ее границ возникает государство-сателлит Франции.

Бездумие дорого обходится государственному деятелю, и эту цену рано или поздно приходится платить. Действия, предпринимаемые под влиянием настроения в данный момент и не согласующиеся со стратегией общего плана, не могут быть терпимы до бесконечности. Франция лишилась возможности повлиять на внутреннее устройство Германии, что являлось одним из опорных пунктов французской политики со времен Ришелье. Но Ришелье понимал, что слабая Центральная Европа — ключ к безопасности Франции, а наполеоновская политика, проистекающая из жажды славы, концентрировалась на периферии Европы, где можно было осуществить приобретения с минимальным риском. И когда центр тяжести европейской политики переместился в сторону Германии, Франция оказалась в одиночестве.

Грозное событие произошло в 1864 году. Впервые со времен Венского конгресса Австрия и Пруссия совместно нарушили покой Центральной Европы и начали войну за германское дело против негерманского государства. Непосредственным поводом стало будущее лежащих по Эльбе герцогств Шлезвиг и Голштиния, династически связанных с датской короной и одновременно членов Германской конфедерации. Смерть датского правителя повлекла за собой столь запутанное сочетание политических, династических и национальных проблем, что Пальмерстон не замедлил содрать, что в этом клубке могут разобраться только трое: один уже мертв, другой находится в сумасшедшем доме, а третий — это он сам, но он уже забыл, в чем дело.

Суть спора была гораздо менее важна, чем сам факт коалиции двух основных германских государств, объявивших войну крохотной Дании, с тем чтобы силой отобрать две исконные германские территории, связанные с датской короной. Это доказывало, что в конечном счете Германия способна на наступательные действия, а если воздействие конфедерации окажется чересчур для них обременительным, то обе германские сверхдержавы могут просто не обращать на него внимания.

Согласно традициям «венской системы», в подобном случае великие державы должны были бы созвать конгресс и восстановить приближение к прежнему статус-кво. Но Европа была поражена разбродом и шатанием, в первую очередь вследствие действий французского императора. Россия не была готова выступить против тех двух стран, которые самоустранились, когда она подавляла польское восстание. Великобритании было не по себе в связи с нападением на Данию, но для

вмешательства ей требовалось наличие союзника на континенте, а Франция, единственный подходящий партнер, не внушала доверия.

История, идеология и принцип *raison d'etat* должны были предостеречь Наполеона, что события вскоре станут развиваться сами собой. И все же он метался между следованием принципам традиционной внешней политики Франции, заключавшимся в том, что Германия должна оставаться разделенной, и поддержкой принципа национального самоопределения, вдохновлявшего его в молодости. Французский министр иностранных дел Дрюон де Лис писал французскому послу в Лондоне Латур-д-Оверню:

«Имея, с одной стороны, права государства, которому мы долгое время симпатизируем, а с другой — чаяния германского населения, которые мы в равной степени принимаем во внимание, мы вынуждены действовать с большей степенью осмотрительности, чем Англия»[131].

Ответственный подход государственного деятеля заключается, однако, в том, чтобы разрешать сложные ситуации, а не смотреть на них со стороны. Ибо для лидеров, неспособных избрать одну из альтернатив, осмотрительность есть алиби бездействия. Наполеон убедил себя в мудрости бездействия, предоставляя Пруссии и Австрии решать будущее герцогств на Эльбе. Те же отторгли Шлезвиг-Голштинию от Дании и совместно ее оккупировали, в то время как остальная Европа пребывала в положении наблюдателя — ситуация, невыносимая во времена действия меттерниховской системы. Надвигался кошмар для Франции в облике единства Германии, то, от чего Наполеон пытался отмахнуться в течение десятилетия.

Бисмарк не собирался ни с кем делить руководящую роль в Германии. Он превратил совместную войну за Шлезвиг-Голштинию в очередную из бесчисленных ошибок Австрии — эти ошибки в течение десятилетия послужили вехами того пути, на котором Австрия потеряла свое положение великой державы. Причина всех бед была всегда одна и та же: Австрия стремилась умиротворить возможного противника предложением с ним сотрудничать. Стратегия умиротворения подействовала на Пруссию не больше, чем десятилетием ранее, во время Крымской войны, на Францию. Не обеспечив освобождения Австрии от прусского давления, совместная победа над Данией создала новый и весьма неблагоприятный плацдарм унижений. Теперь Австрии предстояло управлять герцогствами по Эльбе вместе со своим

прусским союзником, чей премьер-министр Бисмарк уже давно был готов к возникновению долгожданного противостояния на территории, удаленной на сотни миль от австрийских земель и одновременно граничащей с основными прусскими владениями.

По мере роста напряженности двойственность поведения Наполеона стала еще очевидней. Он опасался объединения Германии, но с сочувствием относился к германскому национализму и разрывался на части, пытаясь разрешить неразрешимую дилемму. Он считал Пруссию самым подлинно германским национальным государством и писал в 1860 году следующее:

«Пруссия персонифицирует сущность германской нации, религиозную реформу, коммерческий прогресс, либеральный конституционализм. Крупнейшая из истинно германских монархий, она обладает большей свободой совести, просвещенностью, предоставляет больше политических прав, чем прочие германские государства»[132].

Бисмарк подписался бы под каждым из этих слов. Однако подтверждение Наполеоном уникальности положения Пруссии было для Бисмарка ключом к неизбежному прусскому триумфу. В конце концов столь громкое восхищение Пруссией стало для Наполеона очередным оправданием ничегонеделания. Полагая нерешительность умелым и мудрым маневрированием, Наполеон, по сути дела, способствовал началу австро-прусской войны отчасти потому, что был убежден в поражении Пруссии. Он сказал тогдашнему своему министру иностранных дел Александру Валуевскому в декабре 1865 года: «Поверьте мне, дорогой друг, война между Австрией и Пруссией представляет собой одно из дарованных судьбой событий, способных принести нам более чем одно преимущество»[133]. Любопытно, что когда Наполеон подталкивал события в направлении войны, он, похоже, никогда не задавался вопросом, почему Бисмарк до такой степени преисполнен решимости вступить в войну, коль скоро Пруссия скорее всего обречена на поражение.

За четыре месяца до начала австро-прусской войны Наполеон перешел от молчаливого подстрекательства к открытому. На деле подталкивая к войне, он заявил прусскому послу в Париже графу фон дер Гольцу в феврале 1866 года:

«Прошу вас передать королю [Пруссии], что он всегда может рассчитывать на мое дружеское к нему отношение. Если возникнет конфликт между Пруссией и Австрией, я буду придерживаться абсолютнейшего нейтралитета. Я желаю объединения

герцогств [Шлезвиг-Голштинии] с Пруссией... В случае если борьба приобретет непредвиденный ныне размах, я убежден, что смогу всегда достичь взаимопонимания с Пруссией, чьи интересы по множеству вопросов идентичны с интересами Франции, в то время как я не вижу ни единого пункта, по которому я мог бы прийти к согласию с Австрией»[134].

Чего же на самом деле хотел Наполеон? Неужели он действительно был убежден в наличии патовой ситуации, усиливавшей его положение на переговорах? Он явно надеялся на какую-нибудь уступку со стороны Пруссии в обмен на нейтралитет. Бисмарк понял эту игру. На случай, если Наполеон сохранит нейтралитет, он предложил благосклонно отнестись к захвату Францией Бельгии, что сулило дополнительные выгоды, ибо ссорило Францию с Великобританией. Наполеон, возможно, не принял это предложение всерьез, поскольку ожидал, что Пруссия проиграет войну; шаги его были скорее направлены в сторону подталкивания Пруссии к войне, чем в направлении переговоров о будущих выгодах. Через несколько лет после этого граф Арман, первый заместитель французского министра иностранных дел, признавал:

«Нас в министерстве иностранных дел беспокоило только то, что разгром и унижение Пруссии перейдут все мыслимые границы, так что мы были преисполнены решимости предотвратить это путем своевременного вмешательства. Император хотел, чтобы сначала Пруссия потерпела поражение, а потом бы он вмешался и выстроил Германию согласно собственным фантазиям»[135].

Наполеон, конечно, намеревался повторить на новом уровне махинации Ришелье. Пруссия, как ожидалось, предложит Франции компенсацию на западе за спасение от поражения, Венеция будет отдана Италии, а результатом нового переустройства Германии станет создание Северогерманской конфедерации под эгидой Пруссии и Южногерманской группы государств, поддерживаемой Францией и Австрией. Единственно неверным в этой схеме было то, что если кардинал знал, как судить о соотношении сил, и готов был воевать, чтобы отстаивать собственные суждения, Наполеон не был подготовлен ни к тому, ни к другому.

Наполеон придерживался тактики оттяжек и проволочек, надеясь на то, что сам ход событий приведет к осуществлению его сокровеннейших чаяний безо всякого риска. При этом он использовал свой излюбленный прием: призывать к созыву европейского

конгресса для предотвращения угрозы войны. Реакция на это тоже была обычной. Прочие державы, боясь планов Наполеона, отказались в нем участвовать. К чему бы он ни обращался, его подстерегала все та же дилемма: он мог защищать статус-кво, лишь отказавшись от поддержки принципа национального самоопределения; либо он мог поддерживать тенденции к пересмотру существующего порядка и национализм, но по ходу дела этим ставились под угрозу исторически сложившиеся национальные интересы Франции. Наполеон искал утешение в намеках Пруссии относительно «компенсации», не уточняя, о чем конкретно идет речь, и это убеждало Бисмарка в том, что французский нейтралитет — вопрос цены, а не принципа. Гольц писал Бисмарку:

«Единственной трудностью в связи с общим выступлением Пруссии, Франции и Италии на конгрессе император считает отсутствие компенсации, которая могла бы быть предложена Франции. Известно, чего мы хотим; известно, чего хочет Италия; но император не уточняет, чего хочет Франция, а мы ему на этот счет ничего не можем посоветовать»[136].

Великобритания обусловила участие в конгрессе предварительными гарантиями со стороны Франции относительно согласия последней на сохранение статус-кво. Вместо того чтобы ухватиться за эту возможность сохранить существующую систему германских государств, значившую так много для французского лидерства и обеспечивавшую безопасность Франции, Наполеон отступил, настаивая на том, что «для поддержания мира необходимо принимать во внимание национальные пристрастия и потребности»[137]. Короче говоря, Наполеон готов был пойти на риск австро-прусской войны и объединения Германии, с тем чтобы добиться непонятных перемен в Италии, не имеющих никакого отношения к истинным национальным интересам Франции, и каких-то приобретений в Западной Европе, которые он так и не рискнул назвать. Но в лице Бисмарка перед ним стоял мастер, настаивающий на реальной силе вещей и оборачивающий в свою пользу ограниченный характер тактического маневрирования, столь свойственные Наполеону.

Среди ведущих политиков Франции были и те, кто понимал, на какой риск идет Наполеон, и кто осознавал, что так называемая компенсация, на которую он намекает, не заключает в себе ничего, что было бы связано с коренными интересами Франции. В блестящей речи от 3 мая 1866 года Адольф Тьер, убежденный республиканский

оппонент Наполеона, а позднее президент Франции, верно предугадал, что Пруссия, похоже, желает стать ведущей силой Германии:

«Мы еще станем свидетелями возврата империи Карла V, которая прежде имела своим центром Вену, а теперь будет иметь таковым Берлин, находящийся намного ближе к нашей границе и способный оказывать на нее давление... Вы имеете полное право противостоять этой политике во имя интересов Франции, ибо для Франции слишком важно, чтобы подобная революция не превратилась для нее в серьезную угрозу. А коль скоро она боролась два столетия... чтобы разрушить этот колосс, готова ли она смотреть со стороны, как он возрождается у нее на глазах?»[138]

Тьер настаивал на том, что на место вялых рассуждений Наполеона должна прийти четкая и ясная французская политика противостояния Пруссии, основывающаяся на необходимости защиты независимости германских государств: эта предпосылка представляла собой старую формулу Ришелье. Франция, утверждал он, имеет право возражать против объединения Германии «во-первых, во имя независимости германских государств... во-вторых, во имя собственной независимости и, наконец, во имя европейского равновесия в интересах всех, в интересах международного сообщества... Сегодня пытаются высмеять до предела термин „европейское равновесие“... но что такое европейское равновесие? Это — независимость Европы»[139].

Это был последний момент, когда еще можно было предотвратить войну между Пруссией и Австрией, которая непоправимо изменила европейское равновесие. Аналитически Тьер был прав, но предпосылки для подобной политики должны были быть заложены десятилетием ранее. Даже в тот момент Бисмарк бы отступил, если бы Франция выступила с серьезным предупреждением, что она не допустит поражения Австрии или ликвидации традиционно существующих княжеств типа Ганноверского королевства. Но Наполеон отверг этот путь, ибо надеялся на победу Австрии, а также на то, что ему будет принадлежать слава разрушителя венского урегулирования и удачливого продолжателя традиций Бонапарта без какого бы то ни было анализа французских исторически сложившихся национальных интересов. Через три дня он ответил Тьеру: «Я презираю договоры 1815 года, которые сегодня кое-кто хочет сделать единственной основой нашей политики»[140].

Менее чем через месяц после речи Тьера Пруссия и Австрия уже находились в

состоянии войны. Вопреки всем ожиданиям Наполеона Пруссия одержала быструю и решительную победу. Согласно правилам дипломатии Ришелье, Наполеон обязан был бы оказать помощь побежденному и предотвратить явную победу Пруссии. Но хотя он выдвинул к Рейну «наблюдательный» армейский корпус, окончательного решения принято так и не было. Бисмарк кинул Наполеону подачку, отведя ему роль посредника в мирных переговорах, хотя этот ничего не значащий жест не мог скрыть того факта, что устройство германских дел все меньше касается Франции. Согласно Пражскому договору, заключенному в августе 1866 года, Австрия была вынуждена уйти из Германии. Два государства, Ганновер и Гессе-Кассель, принявшие во время войны сторону Австрии, были аннексированы Пруссией наряду с Шлезвиг-Голштинией и вольным городом Франкфуртом. Сместив их правителей, Бисмарк дал четко понять, что Пруссия, некогда главная спица в колеснице Священного союза, отказалась от легитимности как главенствующего принципа международного порядка.

Северогерманские государства, все еще сохранявшие независимость, были включены в новое созданное Бисмарком объединение: Северогерманскую федерацию, повинующуюся прусскому руководству во всем: от торгового законодательства до внешней политики. Южногерманские государства — Бавария, Баден и Вюртемберг — получили возможность сохранить свою независимость ценой договоров с Пруссией, отдававших их вооруженные силы под прусское военное руководство в случае войны с посторонней державой. Для объединения Германии нужен был всего один кризис.

Наполеон своими маневрами загнал страну в тупик, откуда выйти оказалось невозможно. Слишком поздно он попытался вступить в союз с Австрией, которую он выставил из Италии при помощи военной силы, а из Германии, — посредством нейтралитета. Но Австрия потеряла интерес к восстановлению каждой из этих утраченных позиций и предпочла сконцентрироваться, во-первых, на превращении империи в двуединую монархию на базе Вены и Будапешта и, во-вторых, на делах, связанных со своими владениями на Балканах. Великобритания отошла в сторону из-за французских притязаний на Люксембург и Бельгию; а Россия так и не простила Наполеону его поведение в связи с Польшей.

Теперь Франция вынуждена была самостоятельно заниматься надвигающейся потерей своего исторического преобладания в Европе. Чем безнадежнее становилась ее позиция, тем отчаяннее Наполеон пытался поправить положение каким-нибудь

блестящим ходом, подобно азартному игроку, удваивающему ставку после каждого проигрыша. Бисмарк поощрял стремление Наполеона к нейтралитету во время австро-прусской войны, помахивая перед его носом перспективой территориальных приобретений — вначале Бельгии, потом и Люксембурга. Эти перспективы рассеивались как дым, как только Наполеон пытался за них ухватиться, поскольку Наполеон хотел, чтобы эту «компенсацию» ему поднесли на блюде, и поскольку Бисмарк не видел причины идти на риск, коль скоро он уже пожал плоды нерешительности Наполеона.

Оскорбленный всеми этими демонстрациями собственного бессилия, а превыше всего тем, что чаша весов в Европе стала склоняться не в пользу Франции, Наполеон решил вознаградить себя за просчет, связанный с тем, что он полагался на победу Австрии в австро-прусской войне. Для этого он стал превращать в проблему наследование испанского трона, который к тому времени опустел. Он потребовал заверений от прусского короля, что ни один принц из династии Гогенцоллернов (правившей в Пруссии) не будет претендовать на этот престол. Это был еще один пустой жест, способный в лучшем случае принести успех престижного характера, но не имеющий никакого отношения к силовому соперничеству в Центральной Европе.

Никто не мог взять верх над Бисмарком в области гибкого дипломатического маневрирования. При помощи одного из своих самых ловких ходов Бисмарк воспользовался упрямством Наполеона, чтобы хитростью вынудить его объявить в 1870 году войну Пруссии. Французское требование к прусскому королю объявить об отказе любого из членов его фамилии от претензий на испанскую корону было, по сути дела, провокационным. Но пожилой, преисполненный достоинства король Вильгельм, вместо того чтобы выйти из себя, предпочел терпеливо и корректно дать отказ французскому послу, направленному, чтобы обеспечить выполнение этого требования. Король направил отчет о случившемся Бисмарку, который отредактировал телеграмму монарха, изъяв из нее весь текст, свидетельствующий о терпимости короля и уважительном отношении к французскому послу, которое и имело место на самом деле[141]. Бисмарк, значительно опередив свое время, прибег к тактике, которую государственные деятели последующих поколений превратили в своего рода искусство: он обеспечил утечку в прессу текста этой так называемой «Эмской депеши». Отредактированная версия телеграммы короля выглядела как

королевский выговор Франции. Взбешенная французская публика потребовала войны, и Наполеон пошел ей навстречу. Пруссия победила решительно и быстро при содействии всех прочих германских государств. Теперь путь к окончательному объединению Германии был открыт, что и было довольно бестактно сделано прусским руководством 18 января 1871 года в Зеркальном зале Версальского дворца.

Наполеон выковал революцию, к которой стремился, хотя ее последствия оказались совершенно противоположны его намерениям. Карта Европы действительно оказалась перекроена, но это новое переустройство бесповоротно ослабило французское влияние, не принеся императору желанного признания.

Наполеон поощрял революционные перемены, не понимая, к чему они приведут. Неспособный учитывать соотношение сил и закладывать его как фактор достижения собственных долгосрочных целей, он не выдержал испытания. Его внешняя политика потерпела крах не от отсутствия идей, а оттого, что автор этих идей был неспособен упорядочить свои самые разнообразные чаяния, а также не сумел реально оценить сложившуюся обстановку. Стремясь быть на виду, Наполеон никогда не следовал определенной политической линии. Вместо этого он беспорядочно гнался за самыми разнообразными целями, причем некоторые из них заведомо противоречили друг другу. И когда настал судьбоносный кризис его карьеры, разнообразные его порывы оказались взаимоисключающими.

Наполеон воспринимал Меттерниховскую систему как унижительную для Франции и ограничивающую его амбиции. Он преуспел в разрушении Священного союза, вбив клин между Австрией и Россией во время Крымской войны, однако не знал, что делать с собственным триумфом. Начиная с 1853 года и вплоть до 1871 года сохранялся относительный хаос, но одновременно реорганизовывался европейский порядок. А когда этот период закончился, Германия оказалась сильнейшей державой на континенте. Легитимизм — принцип единства консервативных правителей, смягчавший жесткость системы равновесия сил в годы политической деятельности Меттерниха, — превратился в пустой звук. И всем этим переменам способствовал лично Наполеон. Переоценив могущество Франции, он поощрял любые перемены, будучи убежден, что он может ими воспользоваться на благо Франции.

В итоге международная политика стала базироваться на грубой силе. И в этом народившемся мире возник органический разрыв между представлением Франции о

самой себе как о ведущей нации Европы и ее способностью соответствовать этому — разрыв, который не преодолен французской политикой по сей день. Во времена правления Наполеона свидетельством этому была неспособность императора добиться осуществления бесчисленных его предложений созвать европейский конгресс, чтобы ревизовать карту Европы. Наполеон призывал к созыву конгресса после Крымской войны в 1856 году, перед началом войны в Италии в 1859 году, во время польского восстания в 1863 году, во время войны с Данией в 1864 году и перед началом австро-прусской войны в 1866 году, причем все это время он стремился путем переговоров добиться никогда точно не определенного пересмотра границ, ради которого он к тому же не был готов пойти на риск войны. Недостаточно сильный, чтобы настаивать, император придерживался планов до такой степени радикальных, что они не могли быть поддержаны посредством консенсуса.

Стремление Франции вступать в союз с такими странами, которые готовы бы были согласиться с ее лидерством, стало неизменным фактором французской внешней политики после Крымской войны. Неспособная главенствовать в союзе с Великобританией, Германией, Россией или Соединенными Штатами и считающая для себя статус младшего партнера неприемлемым — столь велики были ее представления о своем национальном величии и мессианской роли в мире, — Франция искала лидерства в пактах с менее сильными державами: с Сардинией, Румынией и срединными германскими государствами в XIX веке; с Чехословакией, Югославией и Румынией в межвоенный период.

Тот же самый подход просматривается во внешней политике постдеголлевской Франции. Через столетие после франко-прусской войны проблема более могущественной Германии продолжает оставаться для Франции кошмаром. Франция сделала! I смелый выбор и стала искать дружбы со своим пугающим и вызывающим восхищение! соседом. Тем не менее геополитическая логика требует от Франции стремиться к тесным связям с Соединенными Штатами, хотя бы даже для того, чтобы создать многовариантность выбора. Однако французская гордость этого допустить не может и заставляет Францию искать, иногда даже подонкихотски, безразлично какую группу стран, — чтобы уравновесить Соединенные Штаты европейским консорциумом, даже ценой явного германского преобладания. В нынешние времена Франция то и дело играет роль чего-то вроде парламентской оппозиции

американскому лидерству, пытались превратить Европейское экономическое сообщество в альтернативного мирового лидера и активно поддерживая связи с нациями, над которыми может, или полагает, что может, главенствовать.

С момента окончания правления Наполеона III Франция более не обладает могуществом для распространения универсалистских чаяний, унаследованных от Французской революции, а также полем деятельности, которое явилось бы адекватной точкой приложения миссионерского рвения. Понадобилось столетие с лишним, чтобы Франция кое-как смирилась с тем, что объективные условия, созданные Ришелье в обеспечение преобладания Франции, исчезли, едва была достигнута национальная консолидация Европы. Едкий стиль французской дипломатии в значительной части объясняется попытками лидеров страны увековечить ее роль как центра европейской политики, в обстановке, абсолютно несоответствующей подобным воззрениям. По иронии судьбы та самая страна, которая изобрела принцип высших интересов государства, вынуждена значительную часть нынешнего столетия заниматься попытками привести свои чаяния в соответствие со своими возможностями.

Разрушение «венской системы», начатое Наполеоном, было довершено Бисмарком. Бисмарк приобрел политическую известность как архиконсервативный противник либеральной революции 1848 года. Он также оказался первым руководителем европейской страны, который ввел всеобщее избирательное право для мужчин, а также организовал всеобъемлющую систему социального обеспечения, в течение шестидесяти лет не имевшую себе равных в мире. В 1848 году Бисмарк со всей решимостью возражал против предложения новоизбранного парламента вручить императорскую германскую корону прусскому королю. Зато не прошло и двух десятилетий, как он же вручил императорскую корону прусскому королю в завершение процесса объединения Германии в пику либеральным принципам и благодаря способности Пруссии навязать свою волю силой. Это потрясающее свершение заставило международный порядок ориентироваться на ничем не сдерживаемое соперничество, то есть вернуться в восемнадцатый век. Но теперь это становилось намного более опасным из-за наличия промышленной технологии и способности мобилизовывать обширные национальные ресурсы. Исчезли разговоры о единстве коронованных глав государств или о гармонии среди древних стран Европы. Под властью бисмарковской «Realpolitik» внешнеполитическая деятельность

превратилась в силовые состязания.

Достижения Бисмарка были столь же неожиданны, как и его личность. Человек «крови и железа» писал прозу исключительной простоты и изящества, любил поэзию и цитировал в своем дневнике целые страницы из Байрона. Государственный деятель, придерживавшийся принципов «Realpolitik», обладал исключительным чувством меры, обращавшим силу в инструмент самоограничения.

Что такое революционер? Если бы этот вопрос допускал недвусмысленный ответ, немногие революционеры сумели бы преуспеть. Ибо революционеры почти всегда имеют своей отправной точкой недостаток силы. Они добиваются успеха потому, что существующий порядок не в состоянии отдать себе отчет в собственной уязвимости. Это особенно верно, когда революционный вызов проявляется не в виде похода на Бастилию, а облачается в консервативные одежды. Немногие институты способны защититься против тех, кто подает надежды, будто вознамерился их защитить.

Так обстояло дело с Отто фон Бисмарком. Жизнь его началась в годы расцвета меттерниховской системы, в мире, состоявшем из трех главнейших элементов: европейского равновесия сил; внутригерманского равновесия между Австрией и Пруссией; а также системы союзов, основывающихся на единстве консервативных ценностей. В течение поколения после венского урегулирования уровень международной напряженности оставался низким, потому что все основные государства не желали ставить на карту взаимное выживание и потому что так называемые «восточные дворы» Пруссии, Австрии и России обладали единой системой ценностей.

Бисмарк бросил вызов каждому из этих положений [142]. Он был убежден в том, что Пруссия стала самым сильным германским государством и не нуждается в Священном союзе для поддержания связи с Россией. С его точки зрения, соответствующая связь может быть обеспечена общностью национальных интересов, а прусская «Realpolitik» вполне способна заменить собой концепцию консервативного единства. Бисмарк считал Австрию противником общегерманской миссии Пруссии, а не партнером. Вопреки взглядам почти всех своих современников, за исключением, пожалуй, пьемонтского премьер-министра Кавура, Бисмарк трактовал лихорадочную дипломатию Наполеона как стратегическое благо, а не как угрозу.

В 1850 году Бисмарк выступил с речью, в которой нападал на ставшее общим

местом рассуждение о том, что будто бы германское единство требует предварительного установления парламентских институтов. Его консервативные сторонники вначале даже не сообразили: то, что они слышат, в первую очередь является ударом по консервативным основам системы Меттерниха. Он заявил:

«Чсть Пруссии заключается вовсе не в том, чтобы мы разыгрывали по всей Германии роль Дон-Кихота на благо рассерженных парламентских знаменитостей, считающих, что их местным конституциям угрожает опасность. Я же вижу чсть Пруссии в том, чтобы Пруссия стояла в стороне от каких бы то ни было унижающих ее связей с демократией и никогда бы не позволяла того, чтобы в Германии что бы то ни было случилось без соизволения Пруссии...»[143]

На первый взгляд нападки Бисмарка на либерализм представляли собой практическое применение философии Меттерниха. И все же имело место разительное различие в акцентах. Система Меттерниха основывалась на том тезисе, что будто бы Пруссия и Австрия имеют общие обязательства по сохранению консервативных институтов и нуждаются друг в друге, чтобы нанести поражение либерально-демократическим тенденциям. Бисмарк же подчеркивал, что Пруссия способна утверждать свои предпочтения в одностороннем порядке; что Пруссия может быть консервативной у себя дома, не привязывая себя в области, внешней политики ни к Австрии, ни к какому-либо иному консервативному государству; и что ей не нужны никакие союзы, чтобы справляться с внутренними неурядицами. В лице Бисмарка Габсбурги встретили тот же вызов, который олицетворялся Ришелье, — целью его политики являлась слава собственного государства, а не утверждение какой-либо системы ценностей. И точно так же, как это было при Ришелье, Габсбурги не знали, что при этом делать и даже как понимать суть подобной политики.

Но как же Пруссия могла проводить «Realpolitik», находясь в одиночестве посреди континента? Начиная с 1815 года ответом Пруссии служила приверженность Священному союзу практически любой ценой. Бисмарк, напротив, решил создать союзы и завязывать отношения с кем угодно, чтобы Пруссия всегда оказывалась ближе к любой из соперничающих сторон, чем они сами — друг к другу. В таком случае позиция кажущейся изоляции позволяла Пруссии манипулировать обязательствами других держав и продавать свою поддержку тому, кто даст большую иену.

С точки зрения Бисмарка, Пруссии было выгодно осуществлять такого рода политику, потому что ее основные интересы лежали в области укреплений собственной позиции внутри Германии. Любая другая держава имела гораздо более сложные обязательственные связи: Великобритании приходилось заботиться не только о собственной империи, но и о всеобщем равновесии сил; Россия одновременно оказывала давление на Восточную Европу, Азию и Оттоманскую империю; у Франции была вновь обретенная империя, амбиции, связанные с Италией, да еще на плечах лежала авантюра в Мексике; а Австрия занималась Италией и Балканами да еще своей ведущей ролью в Германской конфедерации. А поскольку политика Пруссии столь явно фокусировалась на Германии, у нее на деле не было крупных разногласий с прочими великими державами, за исключением Австрии, причем на данной стадии развития событий разногласия эти пока что находились лишь в голове у Бисмарка. Если воспользоваться современным термином, то «политика неприсоединения» была бы функциональным эквивалентом политики Бисмарка торговать сотрудничеством Пруссии на рынке, где, как он представлял себе, цену определял продавец:

«Нынешняя ситуация вынуждает нас не связывать себя обязательствами, опережая прочие державы. Мы не в состоянии формировать отношения великих держав друг с другом по собственной воле, но мы можем сохранять свободу действий, используя к собственной выгоде те отношения, которые уже сложились... Наши отношения с Австрией, Британией и Россией не несут в себе никаких препятствий для сближения с любой из этих держав. Лишь наши отношения с Францией требуют пристального внимания, так что мы должны особенно тщательно все продумать, — а уж тогда вступать в отношения с Францией так же легко, как и с другими державами...»[144]

Намек на возможность сближения с бонапартистской Францией нес в себе готовность отбросить в сторону вопросы идеологии — с тем чтобы дать Пруссии свободу вступления в союз с любой страной (независимо от ее внутреннего устройства), дабы добиться достижения собственных интересов. Политика Бисмарка означала возврат к принципам Ришелье, который, будучи католическим кардиналом, выступал против католика — императора Священной Римской империи, когда это диктовалось интересами Франции. Соответственно, Бисмарк, будучи консерватором по убеждениям, рвал со своими консервативными менторами, как только

представлялось, что их легитимистские принципы связывают свободу действий Пруссии.

Эти скрытые разногласия стали явными, когда в 1856 году Бисмарк, будучи прусским послом в Германской конфедерации, обнародовал ту точку зрения, что Пруссии следует в большей степени идти навстречу Наполеону III. Ведь в глазах прусских консерваторов французский император являлся узурпатором прерогатив легитимного короля.

Упоминание Наполеона в качестве потенциального участника диалога с Пруссией было превыше понимания консервативного окружения Бисмарка, выдвинувшего его и лелеявшего его дипломатическую карьеру. Новую философию Бисмарка его первоначальные сторонники восприняли с возмущенным недоверием. Два столетия назад, когда Ришелье объявил, что его революционный для тех времен тезис высших интересов государства обладает правом верховенства над религией, недоверие было не меньшим. Испытал подобное уже в наше время и Ричард Никсон, когда объявил о введении политики разрядки по отношению к Советскому Союзу. Возвращаясь к Наполеону III, можно сказать, что само его имя олицетворяло угрозу нового раунда французского экспансионизма и, что еще хуже, символизировало подтверждение ненавистных принципов Французской революции.

Бисмарк не оспаривал консервативного анализа Наполеона, — точно так же, как и Никсон не бросал вызова консервативной интерпретации коммунистических мотивов. Бисмарк видел в беспокойном французском правителе, — как и Никсон в дряхлеющем советском руководстве (см. главу 28), — открывающиеся возможности наряду с явными опасностями. Бисмарк полагал, что Пруссия менее уязвима, чем Австрия, применительно и к французскому экспансионизму, и к распространению революции. Не разделял Бисмарк и общераспространенного мнения о Наполеоне, как о хитром и ловком политике, саркастически замечая, что способность восхищаться другими не принадлежит к числу ведущих черт его характера. Чем больше Австрия опасалась Наполеона, тем больше уступок она делала Пруссии и тем значительнее становилась дипломатическая гибкость последней.

Причины разрыва Бисмарка с прусскими консерваторами были, по существу, теми же самыми, что и у Ришелье во время споров с клерикальными критиками, однако существенная разница заключалась в том, что прусские консерваторы настаивали на

универсальности политических, а не религиозных принципов. Бисмарк утверждал, что сама по себе власть создает легитимность; консерваторы же настаивали на том, что легитимность представляет собой ценность, не имеющую никакого отношения к силовым расчетам. Бисмарк верил в то, что правильная оценка силовых возможностей позволяет пользоваться на практике доктриной самоограничения; консерваторы же настоятельно утверждали, что лишь моральные принципы могут в конечном счете ограничивать силовые притязания.

Конфликт повлек за собой обмен полными горечи письмами в конце 50-х годов между Бисмарком и его старым наставником Леопольдом фон Герлахом, военным адъютантом прусского короля, которому Бисмарк был обязан всем: первым дипломатическим назначением, представлением ко двору, всей своей карьерой.

Переписка началась тогда, когда Бисмарк направил Герлаху рекомендации разработать для Пруссии возможности сближения с Францией в дипломатическом плане и приложил к ним сопроводительное письмо, где ставил полезность превыше идеологии:

«Я не могу уйти от математической логики факта, что нынешняя Австрия не может быть нашим другом. Пока Австрия не соглашается на отмену ограничений в отношении сфер влияния в Германии, мы должны предвидеть возможность возникновения с нею соперничества дипломатическими средствами и в мирное время, причем тогда надлежит использовать всяческую возможность, чтобы нанести ей мгновенный смертельный удар»[145].

Герлах, однако, никак не мог лично согласиться с тем положением, будто стратегическая выгода позволяет оправдать отказ от принципов, особенно когда речь идет об одном из Бонапартов. Он стал настаивать на лекарстве, изобретенном Меттернихом: как можно прочнее сплотить Пруссию, Австрию и Россию, реставрировать Священный союз и обеспечить изоляцию Франции[146]. Еще более недоступным разумению Герлаха оказалось предложение Бисмарка, сводившееся к тому, что следовало бы пригласить Наполеона на маневры прусских вооруженных сил, поскольку «это доказательство наличия добрых отношений с Францией... увеличит наше влияние во всех дипломатических сношениях»[147].

Сама мысль о возможном участии одного из Бонапартов в прусских маневрах вызвала настоящий взрыв негодования у Герлаха: «Как вы, умный человек, можете

пожертвовать принципами ради такой личности, как Наполеон? Наполеон является нашим исконным врагом»[148]. Если бы Герлах увидел циничную бисмарковскую пометку на полях: «Ну и что?» — он, возможно, не затратил бы труда на изложение в последующем письме своих антиреволюционных жизненных убеждений принципиального характера, тех самых, что заставляли его поддерживать Священный союз и помогать Бисмарку на ранних стадиях его карьеры:

«Моим политическим принципом есть и пребудет война против революции. Вы не убедите Бонапарта, что он не находится на стороне революции. И он сам не встанет ни на одну другую сторону, поскольку совершенно явственно извлекает из этого выгоду... Так что, раз мой принцип противостояния революции верен... то им также следует пользоваться на практике»[149].

И все же Бисмарк расходился с Герлахом не в силу непонимания, как предполагал сам Герлах, а потому, что он понимал его слишком хорошо. «Realpolitik» для Бисмарка зависела от ее гибкости и способности воспользоваться любой предоставляющейся возможностью без оглядки на идеологию. Так же, как поступали защитники Ришелье, Бисмарк перевел спор в плоскость того самого единого принципа, который они с Герлахом разделяли целиком и полностью и который поставил бы Герлаха в явно невыгодное положение: принципа всеподавляющей важности прусского патриотизма. Настоятельные требования Герлаха блюсти единство консервативных интересов, по мнению Бисмарка, были несовместимы с его патриотической лояльностью:

«Франция интересуется нас лишь постольку, поскольку это влияет на положение моей страны, и мы можем вести внешнюю политику только с той Францией, которая существует на самом деле... Как романтик, я могу пролить слезу по поводу судьбы Генриха V (претендента на престол из династии Бурбонов); как дипломат, я был бы его покорным слугой, если бы был французом, но, судя по нынешнему положению вещей, Франция, независимо от того, кто стоит у нее во главе в силу случая, является для меня обязательной для игры пешкой на шахматной доске дипломатии, а у меня нет другого долга, как служить моему королю и моей стране [выделено Бисмарком]. И я не могу подменить личными симпатиями и антипатиями к иностранным державам чувство долга при проведении внешней политики; более того, я вижу в них зародыш нелояльности к Суверену и стране, которым я служу»[150]

Как должен был пруссак-традиционалист ответить на тезис о превосходстве

прусского патриотизма над принципом легитимности и на то предположение, что в силу обстоятельств вера целого поколения в единство консервативных интересов может граничить с нелояльностью? Бисмарк откровенно отрезал все пути интеллектуального отступления, заранее отвергая возможную аргументацию Герлаха в том плане, будто легитимизм уже сам по себе является национальным интересом Пруссии, а потому Наполеон есть вечный враг Пруссии: «...Я мог бы это опровергнуть — но, даже если бы вы были правы, я бы не считал политически мудрым позволять другим государствам знать о наших опасениях в мирное время. До того момента, когда случится предсказываемый вами разрыв, я считал бы полезным подкреплять веру в то... что напряженные отношения с Францией не являются органическим дефектом нашей природы...»[151]

Иными словами, для проведения «Realpolitik» требовалась тактическая гибкость, а прусские национальные интересы требовали держать открытой возможность заключения сделки с Францией. Сила позиции страны на переговорах зависит от числа возможностей, которым она в состоянии следовать. Снижение их облегчает расчеты противоположной стороны и связывает руки тем, кто воплощает «Realpolitik» на практике.

Разрыв между Герлахом и Бисмарком стал окончательным в 1860 году по поводу отношения Пруссии к войне между Францией и Австрией из-за Италии. По Герлаху, эта война рассеяла все и всяческие сомнения в том, что истинной целью Наполеона является подготовка плацдарма агрессии в стиле первого из Бонапартов. Поэтому Герлах настаивал на том, что Пруссия должна поддержать Австрию. Бисмарк же видел в этом открывающуюся возможность того, что если Австрия будет вынуждена уйти из Италии, это может послужить предвестником ее последующего ухода и из Германии. Для Бисмарка убеждения меттерниховского поколения превращались в опасный набор предрассудков:

«Я выстою или паду вместе со своим Сувереном, даже если, по моему личному мнению, он будет по-глупому себя губить; но для меня Франция останется Францией, независимо от того, будет ли ею руководить Наполеон или Людовик Святой, Австрия же для меня всего лишь иностранная держава... Я знаю, что вы мне на это ответите, что факт и право неразделимы, что правильно продуманная прусская политика требует чистоты во внешнеполитических отношениях даже в ущерб полезности. Я

готов обсуждать с вами проблему полезности; но коль скоро вы выдвигаете антиномии типа „право и революция“, „христианство и неверие“, „Бог и дьявол“, для меня спорить далее становится невозможным, и мне остается только сказать: „Я не разделяю вашего мнения, а вы судите меня за то, что во мне не ваше и вызывает ваше осуждение"»[152].

Эта горькая декларация принципов веры явилась функциональным эквивалентом утверждения Ришелье относительно того, что, коль скоро душа бессмертна, человек должен подчиниться суждению о нем Господа, но поскольку государства смертны, они могут быть судимы лишь по их трудам. Как и Ришелье, Бисмарк вовсе не отвергал моральные воззрения Герлаха в плане личных убеждений и верований — вероятно, он сам разделял многие из них; но он отрицал наличие связи между ними и долгом государственного деятеля, проводя грань между личными убеждениями и «Realpolitik»:

«Я не искал королевской службы... Господь, который неожиданно меня туда направил, возможно, скорее укажет мне выход оттуда, чем позволит моей душе погибнуть. Я бы придавал чересчур большое значение ценности нынешней жизни... если бы не был убежден в том, что через тридцать лет для меня будет не важно, каких политических успехов в Европе добились я или моя страна. Мне даже по временам приходит в голову мысль, что может настать день, когда в Бранденбургской марке [сердцевине Пруссии] будут править „неверующие иезуиты“, прибегая к бонапартистскому абсолютизму... Я дитя иного времени, чем вы, но являюсь столь же честным приверженцем своего, как и вы — своего»[153].

Это сверхъестественное провидение судьбы Пруссии через столетие так и не удостоилось ответа от человека, которому Бисмарк обязан своей карьерой.

Бисмарк действительно был порождением иной эпохи, чем его первый наставник. Бисмарк принадлежал эре «реальной политики»; Герлах же сформировался во времена Меттерниха. Система Меттерниха отражала концепцию XVIII века, когда вселенная представлялась огромным часовым механизмом с идеально подогнанными друг к другу деталями, так, что порча одной распространялась и на все прочие. Бисмарк же, будучи представителем новой науки и политики, воспринимал вселенную не как некую общность, находящуюся в механическом равновесии, но в ее современной версии: как состоящую из частиц, находящихся в непрерывном

движении и воздействии друг на друга, что и создаёт для нас реальность. А любимым его философско-биологическим учением была дарвиновская теория эволюции, основывающаяся на принципе выживания наиболее приспособленных.

Находясь под воздействием подобных убеждений, Бисмарк провозглашал относительность всех верований, включая сюда даже веру в незыблемость существования своей собственной страны. В мире «реальной политики» долгом государственного деятеля было произвести оценку решающих идей как сил, находящихся во взаимосвязи с другими силами; и различные составляющие должны были оцениваться с точки зрения пригодности их для обслуживания национальных интересов, а не в предвзято-идеологическом плане.

И все же, какой бы черствой и бездушной ни казалась бисмарковская философия, она была построена на принятом на веру положении, столь же недоказуемом, как и тезисы Герлаха, — а именно на том, что будто бы тщательный анализ данного набора обстоятельств обязательно приведет всех без исключения государственных деятелей к одним и тем же выводам. Так же как Герлах считал невероятным предположение, будто бы принцип легитимности может иметь более чем одно толкование, за пределами бисмарковского понимания оставалось то, что различные государственные деятели могут по-разному оценивать национальные интересы. Сам Бисмарк мастерски схватывал нюансы в расстановке сил и их распределении, он был в состоянии всю свою жизнь подменять философские самоограничения меттерниховской системы самоограничением политическим. Но эти нюансы были не столь самоочевидны для преемников и имитаторов Бисмарка, и потому буквальное следование принципам «реальной политики» приводило их к исключительной зависимости от военной силы, а оттуда шла прямая дорога к гонке вооружений и двум мировым войнам.

Успех часто бывает столь неуловим и зыбок, что государственные деятели, гонящиеся за ним, редко задумываются над тем, что он может потребовать от них соответствующей мзды. Так, в самом начале карьеры Бисмарк был в основном занят тем, что путем применения принципов «реальной политики» разрушал мир, где в значительной степени господствовали концепции Меттерниха. Для этого требовалось искоренить в Пруссии веру в идею, будто бы австрийское лидерство в Германии жизненно важно для безопасности Пруссии и для сбережения консервативных

ценностей. Как бы это ни было верно во времена Венского конгресса, уже в середине XIX века Пруссии не требовался союз с Австрией для сохранения внутренней стабильности и спокойствия в Европе. Напротив, как полагал Бисмарк, иллюзия необходимости альянса с Австрией помешала Пруссии достичь своей заветной цели — самой объединить Германию.

Как это представлял себе Бисмарк, прусская история изобиловала свидетельствами того, что претензии этой страны на господствующее положение внутри Германии обоснованы и что Пруссия в состоянии пребывать в одиночестве. Ибо Пруссия не была просто одним из германских государств. Независимо от консервативной внутренней политики не мог потускнеть глянец национальной гордости, приобретенный благодаря исключительным жертвам, понесенным в войнах за освобождение от Наполеона. Дело даже обстоит так, что сами очертания прусских территорий — серии странной формы анклавов, простирающихся по северогерманской равнине от Вислы до земель к западу от Рейна, — как бы предопределяли ее руководящую роль в стремлении обеспечить германское единство, даже в глазах либералов.

Но Бисмарк пошел еще дальше. Он бросил вызов сложившемуся мнению, отождествлявшему национализм с либерализмом, или, по крайней мере, с предположением, будто бы германское единство может быть обеспечено только посредством распространения либеральных институтов:

«Пруссия стала великой не благодаря либерализму и вольнодумству, но посредством деятельности ряда могущественных, решительных и мудрых правителей, которые аккуратно собирали военные и финансовые ресурсы государства и держали их в руках, с тем чтобы бросить их с беспощадной смелостью на чашу весов европейской политики, как только для этого представлялась благоприятная возможность...»[154]

Бисмарк полагался не на консервативные принципы, но на уникальный характер прусских институтов; он считал основой претензий Пруссии на руководство Германией ее собственную мощь, а не универсальные ценности. С точки зрения Бисмарка, прусские институты были до такой степени устойчивы к посторонним влияниям, что Пруссия могла пользоваться демократическими устремлениями своего времени, как инструментами внешней политики. В частности, угрозами допустить внутри страны большую свободу самовыражения — при этом не играло роли, что ни

один прусский король не делал этого в течение четырех десятилетий, если вообще когда-либо делал:

«Чувство безопасности оттого, что король всегда остается хозяином своей страны, даже если вся армия находится за рубежом, существует только в Пруссии и не разделяется ею ни с одной из континентальных держав, а особенно ни с одним из германских государств. Оно обеспечивает возможность развития общественной деятельности, в гораздо большей степени соответствующее современным требованиям... Королевский авторитет в Пруссии настолько прочен, что правительство может без всякого риска поощрять гораздо более активную парламентскую деятельность и, следовательно, оказывать давление на условия, существующие в Германии»[155].

Бисмарк отвергал точку зрения Меттерниха, гласившую, что общность ощущения внутренней уязвимости требует теснейшего сотрудничества трех «восточных дворов». Дело обстояло как раз наоборот. Поскольку Пруссии домашние неурядицы не угрожали, то сама ее связь с этими государствами служила орудием подрыва венских установлений, ибо она могла угрожать другим странам, особенно Австрии, действиями, способными вызвать у нее внутренние волнения. Бисмарк полагал, что именно мощь прусских правительственных, военных и финансовых институтов открывала путь к прусскому преобладанию в Германии.

Когда Бисмарк был назначен послом на Ассамблею конфедерации в 1852 году и послом в Санкт-Петербург в 1858 году, он получил возможность пропагандировать собственную политику. Его отчеты, написанные блестящим языком и замечательно емкие, настаивали на проведении такой внешней политики, которая бы не основывалась ни на сантиментах, ни на легитимности, но на правильном расчете сил. Бисмарк вернулся к традиции таких правителей восемнадцатого столетия, как Фридрих Великий и Людовик XIV. Увеличение влияния своего государства становится основной, если не единственной, целью, достижение которой ограничивалось лишь сплотившимися против нее силами:

«...Сентиментальная политика не знает взаимности. Это чисто прусская черта»[156].

«...Ради всего святого, не надо никаких сентиментальных альянсов, где осознание того, что ты сделал доброе дело, является единственным воздаянием за наши жертвы»[157].

«...Политика есть искусство возможного, наука об относительном»[158].

«Даже король не имеет права подчинять интересы государства личным симпатиям и антипатиям»[159].

Согласно оценкам Бисмарка, внешняя политика имеет под собой почти что научное обоснование позволяющее анализировать национальные интересы с помощью объективных критериев. В результате подобных расчетов Австрия фигурировала как просто иноземная, а не братская держава и, кроме всего прочего, мешающая Пруссии занять принадлежащее ей по праву место в Германии: «Плацдармом нашей политики является лишь Германия, и это именно то место, которое Австрия настоятельнейшим образом полагает исключительно своим собственным... Мы лишаем друг друга воздуха, которым дышим... Это факт, который не может быть проигнорирован, каким бы нежелательным он ни выглядел»[160].

Первый прусский король, которому Бисмарк служил в качестве посла, Фридрих-Вильгельм IV, разрывался между герлаховским легитимным консерватизмом и возможностями, предоставляемыми бисмарковской «реальной политикой». Бисмарк настаивал на том, что личное уважительное отношение короля к традиционно преобладающему в Германии государству не должно препятствовать прусской политике. Поскольку Австрия никогда бы не признала прусской гегемонии в Германии, стратегией Бисмарка стало ослабление Австрии при любой возможности. В 1854 году во время Крымской войны Бисмарк утверждал, что Пруссии следует воспользоваться разрывом Австрии с Россией и нанести удар по Австрии лишь на том основании, что ситуация этому благоприятствует:

«Если нам удастся довести Вену до такого состояния, когда она уже не будет считать удар Пруссии по Австрии делом невозможным, то мы вскоре услышим оттуда более разумные речи...»[161]

В 1859 году во время войны Австрии с Францией и Пьемонтом Бисмарк возвращается к той же теме:

«Нынешняя ситуация вновь предлагает нам огромную выгоду, ибо если мы предоставим войне между Австрией и Францией разыгаться во всю мощь, то сможем двинуть нашу армию на юг, положив в ранцы пограничные столбы, чтобы воткнуть их в землю только тогда, когда мы дойдем до Констанцкого озера или, по крайней мере, до тех пределов, где протестантская конфессия перестает быть преобладающей»[162].

Меттерних считал бы это ересью, но Фридрих Великий заплодировал бы умелому ученику, применившему его собственное рациональное обоснование захвата Силезии.

Бисмарк подвергал европейское равновесие сил такому же хладнокровно-релятивистскому анализу, как и внутригерманскую ситуацию. В разгар Крымской войны Бисмарк следующим образом обрисовал основные возможности, открывающиеся перед Пруссией:

«В нашем распоряжении имеются три угрозы: (1) Альянс с Россией; и бессмысленно клясться на каждом шагу, что мы никогда не пойдем вместе с Россией. Даже если это правда, необходимо сохранить за собой возможность использовать это как угрозу. (2) Политика, при которой мы бросаемся в объятия Австрии ради получения компенсации за счет вероломной [Германской] конфедерации. (3) Сдвиг кабинета влево, в результате чего мы станем вскоре такими «западниками», что полностью перехитрим Австрию»[163].

Итак, в одной и той же депеше перечисляются в равной степени пригодные, по мнению Бисмарка, возможности для Пруссии: альянс с Россией против Франции (предположительно на базе общности консервативных интересов); договоренность с Австрией, направленная против второразрядных германских государств; и сдвиг во внутренней политике в сторону либерализма, направленный против Австрии и России (предположительно с включением в комбинацию Франции). Как и Ришелье, Бисмарк ничем себя не связывал в выборе партнеров, будучи готовым вступить в союз и с Россией, и с Австрией, и с Францией; выбор зависел целиком и полностью от того, что лучше послужит прусским национальным интересам. Убежденный противник Австрии, Бисмарк был готов воспользоваться договоренностью с Венной ради соответствующей компенсации в Германии. И хотя во внутренних делах он был архиконсервативен, он все равно не видел никаких препятствий к тому, чтобы сдвинуть прусскую внутреннюю политику влево, коль скоро это послужит целям внешней политики. Ибо внутренние дела тоже были инструментом «реальной политики».

Попытки нарушить равновесие сил, конечно, предпринимались даже в золотые дни меттерниховской системы. Но тогда предпринимались все усилия, чтобы легитимизировать перемены посредством европейского консенсуса. Система Меттерниха склонялась скорее к поправкам в рамках европейских конгрессов, чем к

внешней политике угроз и контругроз. Бисмарк до последнего отрицал бы моральную эффективность консенсуса, если бы не видел в нем лишь один из элементов политики среди множества других. Стабильность международного порядка зависела как раз от этого нюанса. Оказывать нажим ради перемен, не вознося при этом хвалу существующим договорным отношениям, общности ценностей или «европейскому концерту», означало произвести дипломатическую революцию. Со временем превращение могущества в единственный критерий станет побудительным мотивом для всех наций вести гонку вооружений и политику конфронтации.

Точка зрения Бисмарка оставалась сугубо академической, пока ключевой элемент венского урегулирования — единение консервативных дворов Пруссии, Австрии и России — оставался в нетронутом виде и пока сама Пруссия не рисковала разрушить это единение. Священный союз развалился неожиданно и весьма быстро после Крымской войны, когда Австрия, выйдя из глубочайшей анонимности, при помощи которой Меттерних спасал от кризисов свою шаткую империю, объединилась после множества колебаний с противниками России. Бисмарк тотчас же понял, что Крымская война произвела дипломатическую революцию. «День сведения счетов, — говорил он, — обязательно настанет, даже если пройдет несколько лет»[164].

Не исключено, что наиболее важным документом, относящимся к Крымской войне, является депеша Бисмарка, анализирующая ситуацию по окончании войны в 1856 году. Характерно то, что в этой депеше отражается совершеннейшая гибкость дипломатического метода и полное отсутствие моральных ограничений. Германская историография нашла для бисмарковской депеши подходящее имя: «Prachtbericht», или «образцовая депеша». В ней сведены воедино существенные принципы «реальной политики», хотя они и оказались чересчур смелыми для ее адресата, прусского премьер-министра Отто фон Мантойфеля, о чем свидетельствуют его замечания на полях.

Бисмарк начинает с описания исключительно благоприятной позиции, в которой оказался Наполеон по окончании Крымской войны. Теперь, отмечает он, все государства Европы будут стремиться к дружбе с Францией, но наибольшие шансы на успех имеются у России.

«Союз между Францией и Россией настолько естествен, что его не следует допускать... До настоящего времени прочность Священного союза... разводила оба эти

государства врозь, но со смертью царя Николая и развала Священного союза Австрией ничто не мешает нормальному сближению этих государств в отсутствие конфликтных интересов»[165].

Бисмарк предсказывал, что Австрия, угодив в ловушку, уже не сможет из нее выбраться, даже уговорив царя принять участие в Парижском конгрессе. Ибо для того, чтобы сохранить поддержку армии, Наполеону потребуется «изыскать не слишком спорный или несправедливый предлог для интервенции, что даст ему возможность ввести вооруженные силы в действие. Италия идеально подходит для этой роли. Амбиции Сардинии, память о Бонапарте и Мюрате обеспечат достаточные обоснования, а ненависть к Австрии вымостит путь»[166]. Именно так и произошло три года спустя.

Как следует Пруссии вести себя в свете неизбежного франко-русского сотрудничества и при наличии намека на возможность франко-австрийского конфликта? Согласно системе Меттерниха, Пруссия должна была бы теснее сплотиться с консервативной Австрией, укрепить Германскую конфедерацию, установить тесные связи с Великобританией и попытаться оттянуть Россию от Наполеона.

Бисмарк по очереди опровергает каждое из этих предположений. Сухопутные силы Великобритании слишком незначительны, чтобы использовать их против франко-русского альянса. В итоге бремя борьбы будет возложено на Австрию и Пруссию. Да и Германская конфедерация не является дополнительной реальной силой:

«При помощи России, Пруссии и Австрии Германская конфедерация, возможно, и сохранится, поскольку будет верить в победу даже без посторонней поддержки; но в случае войны на два фронта: западный и восточный — те государи, которые не находятся под контролем наших штыков, попытаются спасти себя, объявив нейтралитет, если только не выступят на поле боя против нас...» [167]

Хотя в течение более чем одного поколения Австрия была основным союзником Пруссии, теперь в глазах Бисмарка она представлялась довольно ненадежным партнером. Она стала основным препятствием росту Пруссии: «Германия слишком мала для нас двоих... и пока мы распахиваем одно и то же поле, Австрия является единственным государством, за счет которого мы можем постоянно получать выгоду, а также в пользу которого мы можем нести постоянные убытки»[168].

Какой бы аспект международных отношений ни рассматривался, Бисмарк заключал его аргументом в пользу разрыва Пруссией конфедератских отношений с Австрией и отказа от политики времен Меттерниха, дабы при первой же возможности ослаблять своего прежнего союзника: «Когда Австрия направит лошадь вперед, мы будем тянуть ее назад»[169].

Проклятием любой стабильной международной системы является почти полная ее неспособность противостоять смертельному вызову. Уязвимым местом революционеров является их убежденность в том, что они смогут свести воедино все преимущества, полученные от достижения собственных целей, и все лучшее от того, что они ниспровергают. Но силы, выпущенные на свободу революцией, получают собственное ускорение, и направление их движения не обязательно может быть выведено из заявлений ее сторонников и пропагандистов.

Так было и с Бисмарком. В течение пяти лет с момента прихода к власти в 1862 году он устранил Австрию как препятствие к объединению Германии, воспользовавшись собственным советом десятилетней давности. Посредством трех войн, уже описанных в этой главе, он вывел Австрию из Германии и разрушил витавшие в воздухе Франции иллюзии в стиле Ришелье.

Новая объединенная Германия не стала воплощением идеалов тех поколений немцев, которые лелеяли мечты о построении конституционного, демократического государства. На самом деле оно не отразило ни единого из важнейших направлений предшествующей германской мысли, появившись на свет в качестве дипломатического объединения германских монархов, а не в качестве выражения народной воли. Его легитимность покоилась на власти Пруссии, а не на принципах национального самоопределения. Хотя Бисмарк достиг того, что запланировал совершить, сама грандиозность триумфа отрицательно повлияла на будущее Германии и, само собой, на европейский международный порядок. Строго говоря, Бисмарк столь же умеренно относился к итогам войны, сколь безжалостно эти войны развязывал. Как только Германия обрела границы, жизненно важные по его мнению для ее безопасности, он стал вести благоразумную и стабильную внешнюю политику. В течение двух десятилетий Бисмарк манипулировал европейскими обязательствами и интересами в мастерской манере на основе принципов «реальной политики» и на благо европейского мира.

Но, будучи раз вызваны к жизни, духи силы не могут быть изгнаны путем заклинаний, как бы картинно и сдержанно эти заклинания ни совершались. Германия была объединена в результате дипломатической деятельности, первоосновой которой являлась исключительная приспособляемость к обстоятельствам; и все же сам факт успеха подобной политики изгнал всю и всяческую гибкость из системы международных отношений. Участников ее стало меньше. А когда число игроков уменьшается, сокращается возможность делать замену. Новая система международных отношений стала включать в себя меньшее количество компонентов, но зато каждый из них оказался более весомым, и это сделало затруднительным обсуждение общеприемлемого равновесия сил или поддержание его без постоянных силовых испытаний.

Эти проблемы структурного характера стали еще ощутимее в свете масштабов победы Пруссии в франко-прусской войне и сущности завершившего ее мира. Германская аннексия Эльзаса и Лотарингии вызвала неугасимый антагонизм во Франции, что исключило какие бы то ни было дипломатические возможности для Германии в отношении Франции.

В 50-е годы Бисмарк считал возможности установления тесных отношений с Францией до такой степени важными, что пожертвовал дружбой с Герлахом ради их утверждения. После аннексии Эльзас-Лотарингии неприязнь к Франции стала «органическим дефектом нашей натуры», против чего так настоятельно предостерегал Бисмарк. И это стало мешать осуществлению политики, описанной в «образцовой депеше»: оставаться в стороне, пока другие страны не свяжут себя обязательствами, а потом продать поддержку Пруссии самому щедрому покупателю.

Германская конфедерация смогла выступать как единое целое только перед лицом угрозы столь всеобъемлющего характера, что соперничество между отдельными государствами отходило на второй план; а совместная наступательная акция была структурно невозможна. Зыбкость такого рода организации явилась на деле одной из причин, по которой Бисмарк настаивал на объединении Германии под прусским руководством. Но и он заплатил свою цену за новую организацию государства. Коль скоро Германия превратилась из потенциальной жертвы агрессии в угрозу европейскому равновесию, отдаленная проблематичность объединения прочих государств Европы против Германии стала реально возможной. И этот кошмар стал, в

свою очередь, направлять германскую политику, так что вскоре Европа оказалась расколота на два враждебных лагеря.

Европейским государственным деятелем, который быстрее всех уяснил сущность влияния объединенной Германии на мировые события, оказался Бенджамен Дизраэли, который вот-вот должен был стать британским премьер-министром. В 1871 году он сказал следующее по поводу франко-прусской войны:

«Эта война является по существу германской революцией, более великим политическим событием, чем Французская революция прошлого столетия... Не осталось ни одной дипломатической традиции, которая не была бы сметена. У вас теперь имеется новый мир... Равновесие сил разрушено целиком и полностью»[170].

Пока Бисмарк находился у руля, эти дилеммы оставались в тени его ветвисто-изоощренной дипломатии. И все же в долгосрочном плане само богатое многообразие предпринятых Бисмарком мер обрекло их на неудачу. Дизраэли оказался абсолютно прав. Бисмарк перекроит карту Европы и изменил модель международных отношений, но в итоге не оставил плана, которому могли бы следовать его преемники. Как только стерлась новизна бисмарковской тактики, его последователи и соперники стали искать спасения от нежелательных и неожиданных дипломатических нюансов в умножении арсеналов. Неспособность «Железного канцлера» институционализировать собственную политику вынуждала Германию погрузиться в тяготы дипломатических будней, от чего она могла избавиться, лишь начав гонку вооружений, а затем перейдя к войне.

И во внутренней политике Бисмарк не оставил своим преемникам путеводной нити. Бисмарк, человек, при жизни пребывавший в одиночестве, был еще менее понят после ухода со сцены, когда стал легендой. Его соотечественники помнили о трех войнах, обеспечивших объединение Германии, но позабыли о труднейших подготовительных маневрах, сделавших эти войны возможными, и умеренности, с которой он воспользовался их плодами. Они видели проявления силы, но не смогли проникнуть в глубинный анализ, на котором сила «Железного канцлера» и покоилась.

Конституция, написанная Бисмарком для Германии, впрочем, могла бы кое-что им подсказать. Хотя парламент [рейхстаг] базировался на первом принятом в Европе всеобщем избирательном праве для мужчин, он не контролировал правительство, назначаемое императором и смещаемое только им. Канцлер стоял ближе как к

императору, так и к рейхстагу, чем они друг к другу. И потому в определенных пределах Бисмарк мог играть внутригерманскими институтами, как он это делал с иностранными государствами, осуществляя внешнюю политику. Никто из преемников Бисмарка не обладал для этого ни умением, ни решимостью. Результат был таков: национализм, не руководимый демократией, перерождался в шовинизм, а демократия, лишенная ответственности, становилась бесплодной. Суть жизни Бисмарка лучше всего выражена самим «Железным канцлером» в письме, которое он написал своей будущей жене:

«То, что производит наибольшее впечатление на земле... всегда обладает какими-то качествами падшего ангела, — он красив, но не знает покоя, велик в своих замыслах и трудах, но безуспешен, горделив и одинок»[171].

Оба революционера, стоявшие у колыбели современной системы европейских государств, как бы предвосхитили множество дилемм нынешнего периода. Наполеон, революционер поневоле, олицетворял тенденцию приспособления политики к общественному мнению. Бисмарк, революционер-консерватор, в выборе политики руководствовался глубоким анализом расстановки сил, и только этим.

Наполеон обладал революционными идеями, но отступал прежде, чем ему удавалось воплотить их на практике. Посвятив юность тому, что мы в XX веке называем протестом, он никогда не мог перебросить мост через пропасть, разделяющую мечту и реальность. Не будучи уверен в собственных целях и в собственной легитимности, он полагался на общественное мнение, дабы именно оно наводило мосты. Наполеон проводил внешнюю политику в стиле современных политических лидеров, для которых мерило успеха — частота упоминания о них в вечерних телевизионных новостях. Подобно им, Наполеон превратил себя в пленника чисто тактических, краткосрочных задач и сиюминутных результатов, стараясь произвести впечатление на публику путем преувеличения усилий, затраченных им для достижения цели. И по ходу дела он путал внешнюю политику с пассажами иллюзиониста. Ибо в конечном счете реальные достижения, а не популярность, определяют, действительно ли этот лидер внес что-то новое.

В долгосрочном плане публика не уважает лидеров, любующихся собственной неуверенностью или видящих лишь симптомы кризисов вместо долгосрочных тенденций. Роль лидера заключается в том, чтобы принять на себя бремя действия а

для этого необходим дар предвидения и способность влиять на ход событий. В противном случае кризисы будут умножаться, а это обозначает одно - лидер утерять контроль над происходящим. Наполеон оказался предтечей странного современного феномена: политической фигуры, страстно желающей определить, чего именно хочет публика, но в итоге отвергнутой и даже презираемой ею.

Бисмарку всегда хватало уверенности действовать на основании собственных суждений. Он блестяще анализировал реальную подоплеку событий и возможности Пруссии и был таким великолепным строителем, что Германия, созданная им, пережила все — поражения в двух мировых войнах, две иностранные оккупации и долгое пребывание в нетях в качестве разделенной страны. Поражение же Бисмарк потерпел в том, что обрек свое общество на ведение политики такого стиля, который по плечу лишь великому человеку, рождающемуся раз в столетие. Он намного опередил свое время. Из семян, посеянных Бисмарком, взошли не только достижения его страны, но и ее трагедии XX века. «Никто не может безнаказанно вкушать плоды древа бессмертия»[172], — писал о Бисмарке его друг фон Роон.

Трагедия Наполеона заключалась в том, что его амбиции превосходили его возможности. Трагедия Бисмарка — в том, что его гений оказался гигантом среди карликов. Наполеон оставил в наследство Франции стратегический паралич; Бисмарк оставил в наследство Германии величие, которое страна неспособна была обратить себе на благо.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. «Realpolitik» оборачивается против самой себя

«Realpolitik» — внешнеполитическая деятельность, основывающаяся на расчетах

соотношения сил и концепции национальных интересов, — привела к объединению Германии. А объединение Германии заставило «Realpolitik» обернуться против самой себя, привести к свершениям, противоположным тем, ради которых она замышлялась. Ибо практика следования «Realpolitik» исключает гонку вооружений и войну только в том случае, если основные участники международной системы свободны в формировании собственных отношений, с учетом меняющихся обстоятельств, или сдерживают себя во имя общности ценностей, или и то и другое одновременно.

После объединения Германия становится самой сильной державой на континенте и набирает мощь с каждым десятилетием, тем самым революционизируя европейскую дипломатию. С момента возникновения современной системы государств во времена Ришелье державы по краям Европы: Великобритания, Франция и Россия — оказывали давление на центр. Теперь впервые центр Европы получает возможность оказывать давление на периферию. Как будет справляться Европа с новым гигантом посередине?

География создала неразрешимую дилемму. В соответствии со всеми традициями «Realpolitik», скорее всего должны были бы возникнуть европейские коалиции, готовые сдерживать растущие, потенциально преобладающие силы Германии. Находясь в центре континента, та ощущала себя в постоянной опасности того, что Бисмарк называл «le cauchemar des coalitions» — кошмаром враждебных, опоясывающих со всех сторон коалиций. Но если бы Германия попыталась защитить себя против коалиции соседей с запада и востока одновременно, она обязательно угрожала бы им каждому по отдельности, что лишь ускорило бы формирование этих коалиций. Самооправдывающиеся пророчества стали частью международной системы. То, что все еще называлось «европейским концертом», превратилось в сплошной диссонанс: увеличивалась неприязнь между Францией и Германией, росла враждебность между Австро-Венгерской и Российской империями.

Что касается Франции и Германии, то масштабы победы Пруссии в 1870 году породили у французов постоянное желание реванша, а германская аннексия Эльзас-Лотарингии дала конкретную точку приложения негодования. Негодование вскоре стало смешиваться со страхом, ибо французские лидеры начали осознавать, что война 1870 — 1871 годов обозначила конец эпохи французского преобладания и бесповоротную перемену в расстановке сил. Система Ришелье, заключавшаяся в натравливании в раздробленной Центральной Европе различных немецких государств

друг на друга, стала неприменимой. Разрываемая между воспоминаниями и амбициями, Франция сосредоточила свои обиды на протяжении целых пятидесяти лет на односторонних целенаправленных попытках возврата Эльзас-Лотарингии, так и не поняв, что успех в этом направлении может лишь удовлетворить французскую гордость, но не изменит основополагающей стратегической реальности. Франция сама по себе уже больше не была достаточно сильна, чтобы сдерживать Германию; оттого теперь, чтобы защитить себя, ей всегда требуются союзники. Исходя из этого же принципа, Франция с готовностью предлагала себя в союзники любому потенциальному противнику Германии, тем самым ограничивая гибкость германской дипломатии и вызывая эскалацию любых кризисов, вовлекающих в себя страну-соперницу.

Второй европейский раскол — между Австро-Венгерской империей и Россией — также явился результатом объединения Германии. Став министром-президентом в 1862 году, Бисмарк попросил австрийского посла передать своему императору неожиданное предложение, чтобы Австрия, основная территория старинной Священной Римской империи, перенесла центр тяжести с Вены на Будапешт. Посол считал эту идею до такой степени несообразной, что в докладе, направленном в Вену, приписал ее воображаемому нервному истощению Бисмарка. И все же, потерпев поражение в борьбе за преобладание в Германии, Австрия вынуждена была последовать совету Бисмарка. Будапешт стал равным, а по временам и ведущим партнером в новообразованной дуалистической монархии.

После удаления из Германии новой Австро-Венгерской империи единственным направлением для экспансии оставались Балканы. Поскольку Австрия не принимала участия в заморской колонизации, ее лидеры пришли к заключению, что Балканы, населенные славянскими народами, являются естественной сценой для проявления политических амбиций — пусть даже только для того, чтобы не отставать от других великих держав. Подобная политика уже сама по себе таила в себе конфликт с Россией.

Здравый смысл должен был предупредить австрийских лидеров об опасности провоцирования национализма на Балканах или превращения России в вечного врага. Но Вена здравым смыслом не изобиловала, а еще меньше его было в Будапеште. Преобладал национализм джингоистского толка. Венский кабинет продолжал

застойный курс во внутренней политике и припадочно-истерический во внешней, что еще со времен Меттерниха вело страну к постепенной изоляции.

У Германии национальных интересов на Балканах не было. Но она в высшей степени проявляла заинтересованность в сохранении Австро-Венгерской империи. Ибо коллапс дуалистической монархии таил в себе риск разрушения всей бисмарковской политики в Германии. Немецкоязычные католики империи захотели бы тогда присоединиться к Германии, что поставило бы под угрозу преобладание протестантской Пруссии, ради чего Бисмарк столь упорно боролся. А развал Австрийской империи лишал бы Германию единственного надежного союзника. С другой стороны, хотя Бисмарк и хотел сохранить Австрию, у него не было ни малейшего желания бросать вызов России. Эту головоломку он в течение нескольких десятилетий умело задвигал на второй план, но разрешить так и не смог.

Положение усугублялось еще и тем, что Османская империя находилась в состоянии медленного распада, что порождало частые споры между великими державами по поводу дележа добычи. Бисмарк как-то сказал, что, когда собираются пятеро игроков, лучше всего играть на стороне троих. Но с той поры из числа пятерых великих держав: Англии, Франции, России, Австрии и Германии — Франция стала враждебной, Англия — недоступной благодаря политике «блестящей изоляции», Россия — сомнительной из-за конфликта с Австрией. Чтобы создать группировку из троих, Германии нужен был альянс с Россией и Австрией одновременно. Только государственный деятель, обладающий бисмарковской силой воли и дипломатическим искусством, мог бы выступить с подобным акробатическим номером. Таким образом, взаимоотношения между Германией и Россией стали ключом к европейскому миру.

Как только Россия появилась на международной арене, она с потрясающей быстротой вышла на ведущие позиции. Еще при заключении в 1648 году Вестфальского мира России до такой степени не придавалось никакой важности, что она вообще не бралась в расчет. Однако начиная с 1750 года Россия стала активной участницей всякой мало-мальски значимой европейской войны. К середине XVIII в. Россия уже стала вызывать у западных наблюдателей неясное беспокойство. В 1762 году французский поверенный в делах в Санкт-Петербурге докладывал:

«Если русские амбиции не сдерживать, то их последствия могут оказаться фатальными для соседствующих держав... Я знаю, что силу русских не следует

мерить их экспансией и что их господство над восточными территориями скорее впечатляющий мираж, чем источник реальной мощи. Но я также подозреваю, что нация, лучше любой другой способная справиться с непривычными крайностями времен года на чужбине вследствие суровости климата у себя дома, привыкшая к рабскому повиновению, довольствующаяся в жизни малым, в состоянии начать войну при малых на то затратах... И такая нация, как я подозреваю, скорее всего окажется завоевателем...»[173] Ко времени Венского конгресса Россия, по всей вероятности, была самой мощной державой на континенте. К середине XX века она обрела статус одной из двух глобальных сверхдержав и пребывала в нем почти сорок лет, чтобы распасться изнутри, потеряв за несколько месяцев многие из своих обширных приобретений предшествующих столетий.

Абсолютный характер царской власти позволял правителям России проводить внешнюю политику деспотического характера, ориентируясь на личную ненависть и неприязнь. На протяжении шести лет, в промежутке между 1756 и 1762 годами, Россия успела вступить в Семилетнюю войну на стороне Австрии и вторгнуться в Пруссию, перейти на сторону Пруссии со смертью императрицы Елизаветы в январе 1762 года, а затем выйти из войны и объявить нейтралитет в июне 1762 года, когда Екатерина Великая свергла собственного мужа. Через пятьдесят лет Меттерних заявит, что царь Александр I никогда не придерживался одних и тех же убеждений дольше пяти лет. Советник Меттерниха, Фридрих фон Генц, описывал положение царя следующим образом: «Ни одного из препятствий, ограничивающих и срывающих планы других монархов: разделения полномочий, конституционных формальностей, общественного мнения и т. п. — для императора России не существует. То, что ему пригрезится ночью, он может исполнить утром»[174].

Парадоксальность была наиболее характерной чертой России. Постоянно воюя и распространяясь во все стороны, она тем не менее считала, что ей непрерывно угрожают. Чем более многоязыкой становилась империя, тем более уязвимой чувствовала себя Россия, отчасти еще и потому, что ей было нужно изолировать множество национальностей от их соседей. Чтобы упрочить собственное правление и преодолеть напряженность между различными народами, населяющими империю, все правители России использовали миф о какой-то мощной иноземной угрозе, которая со временем превращалась в оправдывавшееся пророчество, обрекавшее Европу на

нестабильность.

По мере распространения России от территорий вокруг Москвы в направлении центра Европы, к берегам Тихого океана и в сторону Средней Азии, ее стремление обезопасить себя превратилось в экспансию ради экспансии. Русский историк Василий Ключевский так описывает этот процесс: «...Эти войны, оборонительные по своему происхождению, незаметно и непреднамеренно для московских политиков превращались в войны захватнические — прямое продолжение объединительной политики прежней [дормановской] династии, борьбы за русскую землю, которая раньше никогда не принадлежала Государству Московскому»[175].

Россия постепенно превращалась в угрозу равновесию сил в Европе — не в меньшей степени, чем она угрожала суверенитету соседей по своей обширной периферии. Независимо от размеров контролируемой ею территории, Россия неустанно отодвигала далее свои границы. Сначала — из соображений оборонительных, когда князь Потемкин (более известный тем, что ставил по пути следования царицы фальшивые деревни) оправдывал завоевание принадлежавшего Турции Крыма в 1776 году. Он полагал, что тем самым Россия якобы получает наилучшую возможность защищать свои пределы[176]. Однако к 1864 году безопасность и непрерывная экспансия стали синонимами. Канцлер Александр Горчаков объяснял русскую экспансию в Средней Азии постоянной обязанностью умирять периферию, которой не очень-то хотелось «усмиряться»:

«Положение России в Средней Азии сходно с положением всех цивилизованных государств, входящих в соприкосновение с полудикими кочевыми племенами, не имеющими твердого общественного устройства. В таких случаях интересы безопасности границ и торговых сношений всегда требуют, чтобы более цивилизованное государство обладало определенной властью над своими соседями...

Поэтому государство должно сделать выбор: либо отказаться от столь продолжительных усилий и обречь собственные границы на постоянное перемещение... либо продвигаться все дальше и дальше в глубь диких земель... постоянно сталкиваясь с величайшей трудностью остановиться»[177]. Многие из историков припомнили эту цитату, когда Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году.

Парадоксальной истиной является и то, что за последние двести лет европейское

равновесие сил 'было в ряде случаев сохранено благодаря героическим усилиям России. Без России Наполеон и Гитлер почти наверняка бы преуспели в создании универсальных империй. Подобно двуликому Янусу, Россия была одновременно и угрозой равновесию сил, и одним из его ключевых компонентов, важной для него и все же не вполне его частью. В продолжение почти всего срока своего исторического существования Россия признавала только те пределы, которые ставились перед ней окружающим ее миром, и то с явной неохотой. И все же бывали периоды, самый заметный из которых — сорок лет по окончании наполеоновских войн, когда Россия не извлекала выгоду из своей огромной мощи, а вместо этого использовала собственное могущество для защиты консервативных интересов в Центральной и Западной Европе.

Даже когда Россия выступала в поддержку легитимности, ее поведение было гораздо более мессианским — и, следовательно, империалистическим, — чем у других консервативных дворов. Если западноевропейские консерваторы практиковали философию самоограничения, русские руководители зачисляли себя в крестоносцы. Поскольку цари практически не встречались с вызовом собственной легитимности, они мало разбирались в республиканских движениях, полагая их просто аморальными. Пропагандисты общности консервативных ценностей — по крайней мере, до Крымской войны, — они готовы были одновременно использовать легитимизм для расширения собственного влияния, что обеспечило Николаю I прозвище «жандарм Европы». Во времена расцвета Священного союза Фридрих фон Генц так пишет об Александре I:

«Император Александр, несмотря на свое постоянное рвение и энтузиазм, выказываемый по поводу Великого альянса, является монархом, вполне способным без него обойтись... Для него Великий альянс это лишь орудие, при помощи которого он осуществляет в общеевропейских делах собственное влияние, что и составляет одно из основных направлений его амбиций... Его интерес в сохранении системы не является, как у Австрии, Пруссии или Англии, интересом, основывающимся на необходимости или страхе; это ни с чем не связанный, тщательно рассчитанный интерес, от которого он всегда в состоянии отказаться, если иная система предоставит ему большие преимущества»[178] Как и американцы, русские считали свое общество исключительным. Сталкиваясь лишь с кочевыми или феодальными сообществами,

экспансия России в направлении Средней Азии обладала множеством черт американской экспансии на запад, и если вспомнить вышеприведенную цитату из Горчакова, то русское ей обоснование шло рука об руку с американскими объяснениями сущности своего «судьбоносного призвания». Но чем ближе русские оказывались к Индии, тем более это вызывало подозрения у британцев, пока во второй половине XIX века русская экспансия в Среднюю Азию, в отличие от американского продвижения на запад, не превратилась в проблему внешней политики.

Открытость границ каждой из стран была одной из немногих общих черт американской и русской исключительности. Американское чувство собственной уникальности базировалось на концепции свободы; русское же проистекало из опыта совместно перенесенных страданий. Приобщиться к американским ценностям мог каждый; русские же ценности принадлежали одной только русской нации, подавляющее большинство нерусских подданных не имело к ним доступа. Американская исключительность имела своим следствием изоляционизм вперемешку со спонтанными крестовыми походами морального характера; русская же влекла за собой возникновение ощущения миссионерского призвания, часто приводившего к военным авантюрам.

Русский публицист националистического толка Катков так определял различие между западными и русскими ценностями:

«...Все там основано на договорных отношениях, а все тут на вере; этот контраст был предопределен разницей в положении церкви, принятой на Западе, и той, что принята на Востоке. Там в основе лежит двойной авторитет; тут авторитет единый»[179].

Русские националистические и панславистские писатели и интеллектуалы безоговорочно выводили так называемый альтруизм русской нации из ее принадлежности к православию. Великий романист и страстный националист Федор Достоевский толковал русский альтруизм, как обязанность освободить славянские народы от иноземного правления, если понадобится, противостоя всей Западной Европе. Во время русской кампании 1877 года на Балканах Достоевский пишет:

«Спросите народ; спросите солдата: почему они поднимаются? почему они идут на войну и чего от нее ждут? И они вам скажут, все, как один, что идут на службу Христову, чтобы освободить угнетенных братьев своих... [Мы] станем на страже их

взаимного согласия и защитим свободу их и независимость, пусть даже против всей Европы»[180].

В отличие от государств Западной Европы, которыми Россия восхищалась, одновременно испытывая к ним презрение и зависть, Россия воспринимала себя не как нацию, а как самоцель, стоящую вне геополитики, влекомую верой и спаянную силой оружия. Достоевский не сводил роль России к одному лишь освобождению братьев-славян — он включил туда надзор за их взаимным согласием: такого рода социальная обязанность тихомирно может перейти в гегемонию. Для Михаила Каткова Москва была «Третьим Римом»:

«Русский царь не просто наследник своих предков; он преемник кесарей Восточного Рима, создателей церкви и организаторов ее соборов, которые установили сам символ христианской веры. С падением Византии восстала Москва, и началось величие России»[181].

После революции миссионерскую страсть и пыл перенял Коммунистический Интернационал.

Парадоксальность русской истории заключается в непрерывном противоречии между мессианским влечением и всеподавляющим ощущением небезопасности. Доведенное до предела, это противоречие порождает страх того, что если империя не будет расширяться, она развалится изнутри. Таким образом, когда Россия выступала как главная движущая сила раздела Польши, она действовала именно так отчасти из соображений безопасности, отчасти из характерного для XVIII века стремления к территориальному величию. Столетием позднее подобные завоевания обретут самостоятельное значение. В 1869 году Ростислав Андреевич Фадеев, офицер-панславист, написал повлиявший на многие умы очерк «Мнение по восточному вопросу», утверждая, что Россия должна продолжать свое продвижение на запад, чтобы защитить уже имеющиеся завоевания.

«Историческое движение России с Днепра на Вислу (то есть раздел Польши) было объявлением войны Европе, которая вломилась на ту часть материка, которая ей не принадлежала. Россия теперь стоит посреди неприятельских позиций — но такое положение сугубо временное: она должна либо отбросить противника, либо оставить позиции... должна либо распространить свое преобладание вплоть до Адриатики, либо вновь отойти за Днепр...» [182]

Фалеевский анализ не слишком отличается от анализа Джорджа Кеннана, который был произведен по ту сторону разграничительной линии в весьма содержательной статье относительно источников советского поведения. В ней он предсказывал, что если Советский Союз не преуспеет в осуществлении экспансии, он распадется изнутри и рухнет.[183] Возвышенное представление России о самой себе редко разделялось окружающим миром. Несмотря на исключительные достижения в области литературы и музыки, Россия никогда не являлась для покоренных народов своеобразным культурным магнитом, в отличие от метрополий ряда других колониальных империй. Да и Российская империя отнюдь не воспринималась как модель общественного устройства — ни иными обществами, ни собственными подданными. Для внешнего мира Россия была потусторонней силой: загадочным экспансионистским видением, которого следовало бояться и сдерживать либо включением в союзы, либо противостоянием.

Меттерних испробовал путь включения в союз и на протяжении одного поколения в общем и целом преуспел. Но после объединения Германии и Италии великие идеологические цели первой половины XIX века утратили объединительную силу. Национализм и революционное республиканство более не воспринимались как угрозы европейскому порядку. Как только национализм стал преобладающим организующим принципом, коронованные главы России, Пруссии и Австрии все меньше и меньше стали нуждаться в объединении в целях общей защиты принципа легитимности.

Меттерниху удалось создать нечто, напоминающее европейское правительство, благодаря тому, что правители Европы считали идеологическое единение необходимым барьером против революции. Но к 70-м годам XIX века либо пропал страх перед революцией, либо отдельные правительства стали полагать, что смогут справиться с нею без помощи извне. К тому времени с момента казни Людовика XVI сменились два поколения; успешно прошли либеральные революции 1848 года; Франция, даже будучи республикой, утратила пыл прозелитизма. Теперь уже никакая идеологическая общность не могла сдерживать все обостряющийся конфликт между Россией и Австрией на Балканах или между Германией и Францией по поводу Эльзас-Лотарингии. И когда великие державы оглядывались друг на друга, они уже видели друг в друге не партнеров по общему делу, а опасных соперников, даже смертельных

врагов. Конфронтация превратилась в стандартный дипломатический метод.

На более раннем этапе Великобритания вносила свой вклад как элемент сдерживания, играя роль регулятора европейского равновесия. И даже теперь из всех крупных европейских держав только Великобритания была в состоянии вести дипломатическую деятельность, основанную на равновесии сил, не будучи связана непримиримой враждой к какой-либо отдельной державе. Но в Великобритании росло недоумение, что же теперь является основной угрозой, и определиться она сумела лишь через несколько десятилетий.

Система равновесия сил по-венски, с которой Великобритания была хорошо знакома, радикальным образом изменилась. Объединенная Германия стала до такой степени сильной, что могла господствовать в Европе сама по себе, — то есть возникла та самая ситуация, появлению которой Британия всегда сопротивлялась в прошлом. Однако большинство британских лидеров, за исключением Дизраэли, не видели причин противостоять процессу национальной консолидации в Центральной Европе, который приветствовался британскими государственными деятелями в продолжение десятилетий, особенно когда кульминацией его оказалась война, где, строго говоря, агрессором была Франция.

С того самого времени, как сорока годами ранее Каннинг дистанцировал Великобританию от системы Меттерниха, политика «блестящей изоляции» позволила ей играть роль защитника равновесия в значительной степени потому, что тогда ни одна из стран континента не была способна добиться монопольного господства. После объединения Германия неуклонно становилась такой страной. И, что самое удивительное, она добивалась могущества за счет развития ресурсов на своей территории, а не путем захватов. Стилем же политики Великобритании являлось вмешательство только тогда, когда равновесие сил находилось под угрозой уже фактически, а не тогда, когда возникала перспектива подобной угрозы. Причем потребовались десятилетия, чтобы германская угроза европейскому равновесию сил стала явной, и потому внешнеполитические заботы Великобритании до самого конца столетия концентрировались на Франции, чьи колониальные амбиции сталкивались с британскими, особенно в Египте, и на русском продвижении к проливам, Персии, Индии, а позднее в сторону Китая. Все эти проблемы носили колониальный характер. Применительно же к европейской дипломатии, породившей кризисы и войны XX

века, Великобритания продолжала придерживаться политики «блестящей изоляции».

Бисмарк, таким образом, оставался ведущей фигурой европейской дипломатии, пока не был отправлен в отставку в 1890 году. Он хотел мира для вновь образованной Германской империи и не искал конфронтации ни с одной из наций. Но в отсутствие моральных связей между европейскими государствами он очутился перед лицом исполинской, достойной Геркулеса задачи. Он был обязан удержать как Россию, так и Австрию от вступления в лагерь своего врага Франции. Для этого требовалось пресекать вызовы Австрии, чтобы легитимизировать русские намерения, и одновременно удерживать Россию от подрыва Австро-Венгерской империи. Ему были нужны хорошие отношения с Россией, которые не настораживали бы Великобританию, ибо она бдительно следила за русскими притязаниями на Константинополь и Индию. Даже гений, подобный Бисмарку, не мог до бесконечности исполнять столь опасный акробатический номер на проволоке; интенсивные удары по международной системе все меньше и меньше поддавались сдерживанию. Тем не менее в течение тех двадцати лет, когда Бисмарк стоял во главе Германии, он проводил на практике проповедуемую им Realpolitik с такой умеренностью, с такой тонкостью, что равновесие сил ни разу не нарушилось.

Целью Бисмарка было не дать повода ни одной из держав, разве что неугомонной Франции, вступить в союз, направленный против Германии. Провозглашая, что объединенная Германия «удовлетворилась» существующим положением и не стремится к новым территориальным приобретениям, Бисмарк успокаивал Россию, заверяя ее, что у него нет интересов на Балканах; Балканы, говорил он, не стоят костей даже одного померанского гренадера. Имея в виду Великобританию, Бисмарк не выступал ни с какими претензиями на континенте, которые могли бы вызвать британскую озабоченность равновесием сил, причем он также держал Германию в стороне от лихорадки колониальных захватов. «Вот Россия, вот Франция, а вот и мы в середине. Это и есть моя карта Африки», — отвечал Бисмарк одному из адептов германского колониализма[184] — тем самым давая совет, от которого собственные политики позднее вынудили его отказаться.

Заверений, однако, оказалось недостаточно. Германии нужен был союз одновременно с Россией и Австрией, как бы невероятно это ни выглядело на первый взгляд. И все же Бисмарку удалось выковать такого рода альянс в 1873 году, когда он

создал первый так называемый «Союз трех императоров». Провозглашая единение трех консервативных дворов, он в значительной степени походил на Священный союз Меттерниха. Неужели Бисмарк вдруг возлюбил меттерниховскую систему, положив до этого столько сил на ее сокрушение? Ведь времена переменились в основном в результате успешной деятельности Бисмарка. И хотя Германия, Россия и Австрия поклялись в истинно меттерниховском духе сотрудничать в подавлении подрывных тенденций во владениях каждой из них, общее отвращение к политическому радикализму более не могло скреплять три «восточных двора» — в первую очередь, потому, что каждый из них был уверен в том, что справится с внутренними неурядицами без посторонней помощи.

Кроме того, Бисмарк потерял свой прочный легитимистский мандат. Хотя его переписка с Герлахом (см. гл. 5) не была предана гласности, лежащие в ее основе подходы и принципы были общеизвестны. Будучи защитником Realpolitik в продолжение всей своей карьеры, он не мог вдруг заставить всех поверить, будто посвятил себя защите легитимизма. Резко обостряющееся геополитическое соперничество России и Австрии оказалось превыше единения консервативных монархов. Каждая из этих стран жаждала добычи на Балканах, которую можно было бы урвать от распадающейся Османской империи. Панславизм и уже укоренившийся экспансионизм способствовали проведению Россией рискованной политики на Балканах. Это порождало откровенный страх в Австро-Венгерской империи. Таким образом, если на бумаге германский император находился в союзе с консервативными монархами в России и Австрии, то на деле эти два брата уже вцепились друг другу в глотку. И проблема, как справляться с обоими партнерами, которые воспринимали друг друга как смертельную угрозу, постоянно давила на бисмарковскую систему альянсов на всем протяжении его жизни.

Первый «Союз трех императоров» преподавал Бисмарку урок, что больше нельзя контролировать им же выпущенные на свободу силы, апеллируя к принципам внутреннего устройства Австрии и России. Отныне он попытается манипулировать ими, подчеркивая проблемы могущества и собственных интересов каждой из стран.

Два события того времени были наиболее характерной демонстрацией того, что Realpolitik превратилась в господствующую тенденцию эпохи. Первое случилось в 1875 году в форме псевдокризиса, когда в одной из ведущих германских газет

появилась передовица с провокационным заголовком «Является ли война неизбежной?». Передовица эта была опубликована по поводу того, что Франция увеличила военные расходы и что французская армия закупает большое количество лошадей. Бисмарк при помощи такого газетного трюка, бесспорно, хотел лишь создать видимость военной угрозы, ибо не было проведено даже частичной мобилизации германских сил, не говоря уже о перемещении войск, опасном для потенциального противника.

Перед лицом несуществующего вызова легче легкого сплотить собственную нацию. Французская дипломатия умно создала впечатление, будто Германия готовит первый, упреждающий удар. Французское министерство иностранных дел стало распространять информацию, будто бы в беседе с французским послом царь намекнул, что во франко-германском конфликте он поддержит Францию. Великобритания, всегда чувствительная к угрозе господства одной державы над всей Европой, зашевелилась. Премьер-министр Дизраэли дал указания своему министру иностранных дел лорду Дерби обратиться к русскому канцлеру Горчакову с идеей пригрозить Берлину:

«Мое собственное впечатление таково, что нам следует организовать совместное выступление для сохранения мира в Европе, как это сделал Пэм (лорд Пальмерстон), когда расстроил планы Франции, изгнав египтян из Сирии. Не исключая альянс между нами и Россией по этому конкретному поводу, да и с прочими державами, как, например, Австрией, и, возможно, следовало бы пригласить для участия также и Италию...»[185]

Уже одно то, что Дизраэли, в глубине души не доверявший имперским амбициям России, готов был даже сделать намек на возможность англо-русского альянса, говорит о принятии им всерьез перспектив германского преобладания в Западной Европе. Призрак войны исчез так же быстро, как и появился, так что план Дизраэли так и не был проверен на деле. И хотя Бисмарк не знал деталей предпринятого Дизраэли маневра, он был в достаточной мере проницателен, чтобы не ощутить глубинной озабоченности Великобритании.

Как продемонстрировал Джордж Кеннан[186], значительность этого кризиса газеты явно преувеличили. Бисмарк не имел ни малейшего намерения вступать в войну через столь короткий срок с момента унижения Франции, хотя и не прочь был намекнуть,

что такая возможность имеется, если страна-соперница зайдет слишком далеко. А царь Александр II вовсе не намеревался давать гарантии республиканской Франции, но и не возражал бы, чтобы у Бисмарка возникло подобное впечатление[187]. Таким образом, Дизраэли отреагировал на то, что на деле оказалось химерой. И все же сочетание британского беспокойства, французского политического маневрирования и двойственности поведения России подействовало на Бисмарка, убедив его в том, что только активная политика может предотвратить создание коалиции. Именно это и случилось поколением позже, когда была учреждена Антанта — Тройственное согласие, направленное против Германии. Пока же тревога оказалась ложной.

Зато второй кризис был самым настоящим. Он опять коснулся Балкан и продемонстрировал, что ни философская, ни идеологическая общность не могут спаять воедино «Союз трех императоров» в связи с глубинной конфликтностью национальных интересов. А поскольку это в конечном счете приведет к краху бисмарковский европейский порядок и ввергнет Европу в первую мировую войну, на втором кризисе стоит остановиться поподробнее.

Восточный вопрос, угасший было со времен Крымской войны, вновь стал ведущим в повестке дня. Международные события к тому времени стали стереотипно-запутанными, как развитие сюжета в пьесах японского театра «Кабуки». Любое, по существу, случайное происшествие способно было вызвать кризис; Россия могла бы выступить с угрозами, а Великобритания направила бы Королевский военно-морской флот. Тогда Россия оккупировала бы какую-то часть Оттоманских Балкан в качестве своеобразного залога. Великобритания стала бы угрожать войной. Начались бы переговоры, в процессе которых Россия отказалась бы от части требований, и в этот самый момент все бы взлетело на воздух.

В 1876 году болгары, которые в течение нескольких столетий жили под властью турок, восстали и получили поддержку от других балканских народов. Турция ответила с потрясающей жестокостью, а Россия, охваченная панславистскими чувствами, пригрозила вмешательством.

В Лондоне реакция России вызвала чересчур знакомый призрак русского контроля над проливами. Со времен Каннинга британские государственные деятели следовали основополагающему предположению, что если Россия установит такой контроль, она будет господствовать в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, тем

самым ставя под угрозу позиции Великобритании в Египте. Следовательно, согласно привычному британскому ходу мыслей, Османскую империю, какой бы дряхлой и антигуманной она ни являлась, следовало сохранить, даже рискуя войной с Россией.

Ситуация поставила Бисмарка перед нелегким выбором. Русское продвижение вперед, способное вызвать у Англии вооруженный ответ, могло также побудить Австрию ввязаться в драку. А если Германия будет вынуждена выбирать между Австрией и Россией, внешняя политика Бисмарка будет полностью расстроена, а «Союз трех императоров» — разрушен. Независимо от конкретного развития событий Бисмарк рисковал воспротивиться либо Австрии, либо России, а также, что выглядело весьма вероятно, навлечь на себя гнев всех подряд, если займет позицию нейтралитета. «Мы всегда избегали, — выскажется Бисмарк перед рейхстагом в 1878 году, — в случае расхождения во мнениях между Австрией и Россией создания большинства из двоих против одного, вставая на одну из сторон...» [188]

Умеренность была классической чертой Бисмарка. Но проблема выбора по мере развертывания кризиса становилась все более острой. Первым шагом Бисмарка оказалась попытка укрепить связи между тремя императорами внутри Союза посредством поиска выработки общей позиции. В начале 1876 года «Союз трех императоров» выступил с так называемым «Берлинским меморандумом», предупреждая Турцию против продолжения репрессий. Он, похоже, намекал, что с определенными оговорками Россия, возможно, вмешается в балканский конфликт по уполномочию «европейского концерта» точно так же, как на меттерниховских конгрессах в Вероне, Лайбахе и Троппау назначалась какая-либо из европейских держав для конкретного воплощения в жизнь их решений.

Но существовало огромное различие между тем, как подобные действия предпринимались тогда и как они могли осуществляться сейчас. Во времена Меттерниха британским министром иностранных дел был Кэслри, который с симпатией относился к вмешательству со стороны Священного союза, пусть даже Великобритания принимать в них участие отказывалась. Но теперь премьер-министром был Дизраэли, а он интерпретировал Берлинский меморандум как первый шаг к демонтажу Османской империи без участия Великобритании. Это было чересчур близко к общеевропейской гегемонии, против чего Великобритания выступала веками. Разговаривая с Шуваловым, русским послом в Лондоне, Дизраэли

посетовал: «С Англией обращаются так, словно мы — Черногория или Босния»[189].

А своему постоянному корреспонденту леди Брэдфорд он писал:

«Равновесия не существует, и если мы не сделаем все, что в наших силах, чтобы действовать совместно с тремя северными державами, они смогут действовать без нас, что не является приемлемым для государства, подобного Англии»[190].

Перед лицом декларированного Санкт-Петербургом, Берлином и Веной единства Великобритании было бы исключительно трудно противостоять какой бы то ни было совместной договоренности. Ситуация выглядела так, что у Дизраэли не было иного выбора, кроме как присоединиться к северным дворам, когда Россия наносила удар по Турции.

Тем не менее в традициях Пальмерстона Дизраэли решил поиграть британскими мускулами. Он ввел Королевский военно-морской флот в Восточное Средиземноморье и публично заявил о своих протурецких чувствах, гарантируя тем самым, что Турция будет упрямо стоять на своем до конца, и выявляя в открытую латентные разногласия, существующие в недрах «Союза трех императоров». Никогда не славившийся чрезмерной скромностью, Дизраэли заявил королеве Виктории, что он разрушил «Союз трех императоров». Союз, как он полагал, «фактически более не существует и принадлежит прошлому, как римский триумвират»[191]

Бенджамен Дизраэли был одной из самых странных и невероятных фигур, когда-либо стоявших во главе британского правительства. Узнав, что будет назначен премьер-министром в 1868 году, он воскликнул: «Ура! Ура! Я взобрался на верхушку намазанного жиром столба!» В противоположность этому, когда постоянный оппонент Дизраэли Уильям Эварт Гладстон был в том же году призван в качестве преемника Дизраэли, он разразился многословными рассуждениями на тему ответственности, налагаемой властью, священных обязанностей перед Господом и к тому же вознес молитву о том, чтобы Всемогущий наделил его твердостью духа, необходимой для исполнения серьезных и ответственных функций премьер-министра.

Эти два великих человека определяли британскую политику второй половины XIX века. Но какая полная противоположность натур Дизраэли — блестящий, живой, действующий напоказ; Гладстон — образованный, набожный и серьезный. Гигантская ирония заключалась в том, что партия тори, состоящая из деревенских сквайров и преданных англиканской вере аристократов, выдвинула в качестве лидера

блистательного еврея-авантюриста, так что партия принципиально убежденных приверженцев собственной замкнутости и исключительности вывела на авансцену мировой политики принципиального аутсайдера. Еще ни разу ни один еврей не поднимался до этого на такие высоты британской политики. Столетием позднее опять-таки рутинно-ограниченные на первый взгляд тори, а не самонадеянно-прогрессивная лейбористская партия выдвинули на эту должность Маргарет Тэтчер — дочь зеленщика, которая оказалась еще одним замечательным лидером и первой женщиной — премьер-министром Великобритании.

Карьера Дизраэли была необычной. Романист в молодости, он скорее принадлежал к кругу литераторов, чем активных политиков, и внешне гораздо более естественным для него было бы окончить свои дни блестящим писателем и рассказчиком, чем одной из судьбоносных фигур британской политики девятнадцатого столетия. Как и Бисмарк, Дизраэли стоял за наделение избирательным правом простого человека, ибо был убежден, что средние классы в Англии поддержат консерваторов.

Как лидер тори, Дизраэли провозгласил новую форму империализма, отличающуюся от коммерческой по существу экспансии, которой Великобритания занималась начиная с XVII века, — именно посредством которой, как обыкновенно говорили, в припадке рассеянности она построила империю. Для Дизраэли империя была не экономической, а духовной необходимостью, представлявшей собой обязательную предпосылку величия его страны. «Вопрос этот нельзя считать незначительным, — заявил он в 1872 году во время своей знаменитой речи в Хрустальном дворце. — Он заключается в том, будете ли вы довольны существованием в качестве уютной Англии, смоделированной и отлитой по континентальным принципам и спокойно ожидающей неизбежной судьбы, или вы станете великой страной — имперской страной, — страной, где ваши сыновья, когда они поднимутся, дойдут до самых больших высот и стяжают не только уважение своих соотечественников, но и безоговорочное почтение всего остального мира»[192].

Придерживаясь подобных убеждений, Дизраэли не мог не выступить против угрозы Оттоманской империи со стороны России. Во имя европейского равновесия он не мог принять рецепты «Союза трех императоров», а во имя Британской империи он мог лишь возражать против возложения на Россию роли практического носителя идеи европейского консенсуса на подступах к Константинополю. Ибо в течение XIX века

представление о том, что Россия является главной угрозой мировому положению Великобритании, пустило глубокие корни. Великобритания видела угрозу своим заморским интересам в клещеобразном продвижении России, одна клешня которой была нацелена на Константинополь, а другая — на Индию через Среднюю Азию. В ходе среднеазиатской экспансии во второй половине XIX века Россия отработала методику завоеваний, которая стала стереотипной. Жертва всегда находилась настолько далеко от мировых центров, что мало кто на Западе имел точное представление о сущности происходящих событий. И так можно было внушить заранее продуманное мнение о том, что якобы сам царь на деле желает всем только добра, а вот его подчиненные — люди воинственные, причем тем самым дальность расстояний и путаное восприятие сути дела становились инструментами русской дипломатии.

Из всех европейских держав только Великобритания была озабочена ситуацией в Средней Азии. По мере того как русская экспансия катилась на юг в направлении Индии, протесты Лондона разбивались, как о каменную стену, о канцлера князя Александра Горчакова, который часто не подозревал, что делают русские войска. Лорд Огастес Лофтес, британский посол в Санкт-Петербурге, рассуждал, что будто бы российское давление на Индию «порождено не сувереном, хотя он и абсолютный монарх, но скорее той главенствующей ролью, которую играет военная администрация. Когда имеется огромная бездеятельная армия, ее абсолютно необходимо чем-то занять... А когда устанавливается система завоеваний, подобно среднеазиатской, то каждое приобретение территории влечет за собой последующее, и трудность заключается в том, где остановиться»[193]. Конечно, это наблюдение почти повторяет уже приводившуюся выше цитату из Горчакова. С другой стороны, британский кабинет не видел никакой разницы в том, угрожала ли Россия Индии самим фактом своего продвижения или преднамеренно преследовала империалистические цели.

Один и тот же шаблон повторялся вновь и вновь. С каждым годом русские войска все глубже и глубже проникали в самое сердце Средней Азии. Великобритания требовала объяснений и получала всевозможные заверения на тот счет, что царь будто бы не собирается аннексировать ни единого квадратного метра земли. Поначалу такого рода утешительные слова помогали снять вопрос. Но он неизбежно вновь

становился открытым с каждым новым продвижением русских войск. К примеру, после того, как русская армия оккупировала Самарканд (в нынешнем Узбекистане) в мае 1868 года, Горчаков заявил британскому послу сэру Эндрю Бьюкенену: «...российское правительство не только не желало оккупации этого города, но глубоко сожалеет по этому поводу, и можно быть уверенным, что этот город не будет удерживаться до бесконечности»[194]. Самарканд, конечно, остался под суверенитетом России, и это продолжалось вплоть до распада Советского Союза столетие спустя.

В 1872 году аналогичная шарада повторялась за несколько сот миль к юго-востоку применительно к Хивинскому ханству на границе с сегодняшним Афганистаном. Граф Шувалов, адъютант царя, был направлен в Лондон заверить британцев, что Россия не имеет намерений аннексировать дополнительные территории в Средней Азии:

«Намерения императора не только были далеки от приобретения Хивы, но, напротив, были отданы недвусмысленные распоряжения предотвратить это, причем были даны указания на тот счет, что выдвигаемые условия ни в коем случае не должны были привести к продолжению оккупации Хивы»[195]3.

Стоило, однако, лишь произнести эти заверения, как прибыло известие, что русский генерал Кауфман разгромил Хиву и навязал ей договор, который представлял собой трагическую противоположность утверждениям Шувалова.

В 1875 году те же методы были применены к Кокаину, еще одному пограничному с Афганистаном ханству. По такому случаю канцлеру Горчакову показалось необходимым каким-либо образом оправдать разрыв между заверениями и действиями России. Ход был в высшей степени оригинальный: он придумал беспрецедентное различие между односторонними заверениями (которые, согласно его определению, не носили обязательственного характера) и официальными обязательствами двухстороннего характера. «Лондонский кабинет, — писал он в ноте, — похоже, превратно истолковал тот факт, что мы в ряде случаев спонтанно и дружественно передавали ему наши взгляды в отношении Средней Азии, а особенно наше твердое убеждение не следовать политике захватов и аннексий. Из этого он вынес убеждение, что мы якобы взяли на себя твердые обязательства в этом отношении применительно к данному вопросу»[196]. Иными словами, Россия настаивала на том, что она обладает свободой действий в Средней Азии, сама себе

ставит пределы и не связана даже собственными заверениями.

Дизраэли не был расположен терпеть повторение подобных методов на подступах к Константинополю. Он подстрекал оттоманских турок отвергнуть «Берлинский меморандум» и продолжать опустошительные действия на Балканах. Несмотря на подобную демонстрацию британской твердости, Дизраэли испытывал сильнейшее давление внутри страны. Зверства турок настроили против них британское общественное мнение, а Гладстон во весь голос выступал против аморальности внешней политики Дизраэли. Тогда Дизраэли счел себя обязанным подписаться под Лондонским протоколом 1877 года и присоединиться к призыву трех северных дворов к Турции покончить с бойней на Балканах и произвести реформу собственной администрации в этом регионе. Султан, однако, будучи уверен в том, что Дизраэли на его стороне независимо от формальных к нему требований, отверг и этот документ. Ответом России было объявление войны.

На какое-то время даже показалось, будто Россия выиграла дипломатическую игру. Ее поддержали не только оба остальных северных двора, но и Франция, не говоря уже о значительной поддержке британского общественного мнения. Руки у Дизраэли оказались связаны; выступление в войне на стороне Турции могло бы привести к падению его правительства.

Но, как и в связи со множеством предыдущих кризисов, русские руководители переоценили собственную игру. Под предводительством блестящего, отчаянного генерала и дипломата Николая Игнатьева русские войска очутились у ворот Константинополя. Австрия начала пересматривать свое прежнее положительное отношение к русской кампании. Дизраэли ввел британские военные корабли в Дарданеллы. В этот момент Игнатьев потряс всю Европу, объявив об условиях Сан-Стефанского договора, согласно которому Турция становилась нежизнеспособной и создавалась «Великая Болгария». Это огромное государство, мыслящееся до Средиземного моря, находилось бы, само собой разумеется, под гегемонией России.

Начиная с 1815 года в Европе полагали бесспорной истиной, что судьба Оттоманской империи может быть определена лишь «европейским концертом» в целом, а не какой-либо отдельной державой, причем меньше всего Россией. Игнатьевский Сан Стефанский договор обеспечивал возможности русского контроля над проливами, что было неприемлемо для Великобритании, и русский контроль над

балканскими славянами, что было неприемлемо для Австрии. И потому как Великобритания, так и Австро-Венгрия объявили о непризнании договора.

Внезапно Дизраэли перестал быть один. Для российских руководителей его шаги означали грозный признак возврата к коалиции времен Крымской войны. Когда министр иностранных дел лорд Солсбери издал в апреле 1878 года свой знаменитый меморандум, где объяснялось, почему Сан-Стефанский договор должен быть пересмотрен, даже Шувалов, русский посол в Лондоне и давний соперник Игнатьева, согласился с этим. Великобритания угрожала войной, если Россия вступит в Константинополь, а Австрия угрожала войной, если начнется дележ добычи на Балканах.

Лелеемый Бисмарком «Союз трех императоров» очутился на грани краха. До этого момента Бисмарк был исключительно осмотрителен. В августе 1876 года, за год до того, как русские армии двинулись на Турцию «за славянство и веру православную», Горчаков предложил Бисмарку: пусть Германия организует конгресс для разрешения Балканского кризиса. Если Меттерних или Наполеон III с жаром ухватились бы за возможность сыграть роль главного посредника в «европейском концерте», то Бисмарк отнесся к этому весьма прохладно, будучи уверен в том, что такой конгресс сможет только сделать явными разногласия внутри «Союза трех императоров». Он сообщил в доверительном порядке, что все участники такого конгресса, включая Великобританию, уйдут с него «предрасположенными против нас, ибо ни один из них не найдет у нас поддержки, на которую рассчитывает»[197]. Бисмарк также счел неразумным сводить вместе Горчакова и Дизраэли — «министров, равно опасных своим тщеславием», как он их назвал.

Тем не менее по мере того, как становилось все яснее и яснее, что Балканы — это запал, способный вызвать общеевропейский военный взрыв, Бисмарк нехотя организовал конгресс в Берлине, единственной столице, куда готовы были приехать русские руководители. И все же он постарался держаться в стороне от повседневных организационно-дипломатических вопросов, возложив рассылку приглашений на министра иностранных дел Австро-Венгрии Андраши.

Конгресс был назначен на 13 июня 1878 года. Но еще до его начала Великобритания и Россия разрешили ключевые вопросы в соглашении, подписанном лордом Солсбери и новым русским министром иностранных дел Шуваловым 30 мая. «Великая

Болгария», порожденная Сан-Стефанским договором, заменялась тремя новыми образованиями: значительно меньшим по масштабам независимым государством Болгария; государством Восточная Румелия, автономной единицей, формально находящимся под властью турецкого губернатора, но реально управляемым под надзором европейской комиссии (прообраз миротворческих проектов Организации Объединенных Наций в XIX веке); остальная часть Болгарии оставалась под турецким правлением. Русские приобретения в Армении были значительно урезаны. В сепаратных секретных соглашениях Великобритания обещала Австрии, что поддержит австрийскую оккупацию Боснии-Герцеговины, и заверила султана, что гарантирует целостность азиатской Турции. В ответ султан предоставил Англии право использования Кипра как военно-морской базы.

Ко времени начала конгресса опасность войны, вынудившая Берлин сыграть роль хозяина, в значительной степени рассеялась. Основной функцией конгресса было дать европейское благословение на то, что уже было согласовано. Сомнительно, пошел бы Бисмарк на риск выступать в заведомо опасной роли посредника, если бы заранее знал исход. Конечно, не исключено, что сам созыв конгресса побудил Россию и Англию произвести быстрое сепаратное урегулирование, чтобы не отдаваться на милость европейского конгресса и получить ощутимые выгоды.

Разрабатывать детали уже заключенного соглашения — не самый героический труд. Все крупные страны, за исключением Великобритании, были представлены своими министрами иностранных дел. Впервые в британской истории премьер-министр и министр иностранных дел вдвоем прибыли на международный конгресс за пределами Британских островов, поскольку Дизраэли не желал передоверить завершение в значительной мере согласованных крупных дипломатических договоренностей одному лишь Солсбери. Престарелый и тщеславный Горчаков, который еще полвека назад вел переговоры с Меттернихом на конгрессах в Лайбахе и Вероне, избрал Берлинский конгресс для своего последнего появления на международной арене. «Я не хочу, чтобы меня погасили, как чающую лампу. Я хочу низринуться, как падающая звезда», — объявил он по прибытии в Берлин[198].

Когда Бисмарка спросили, кто, по его мнению, является центральной фигурой конгресса, тот указал на Дизраэли: «Der alte Jude, das ist der Mann» («Этот старый еврей и есть тот самый человек»)[199]. Столь отличающиеся друг от друга по

происхождению, эти двое пришли к взаимному восхищению.. Оба стали неограниченными приверженцами Realpolitik и терпеть не могли того, что они называли «лицемерной моралью». Религиозные обертоны высокопарных высказываний Гладстона (человека, которого презирали оба: и Дизраэли и Бисмарк) представлялись им чистейшей воды бредом. Ни Бисмарк, ни Дизраэли не испытывали ни малейшей симпатии к балканским славянам, которых полагали хроническими и злобными возмутителями спокойствия. Оба деятеля любили подковырки и циничное подтрунивание, широкие обобщения и саркастические уколы. С тоской воспринимая мелочные детали, Бисмарк и Дизраэли предпочитали разрешать политические проблемы смелыми, драматичными и решительными ударами.

Можно даже утверждать, что Дизраэли является единственным государственным деятелем, которому когда-либо удалось взять верх над Бисмарком. Дизраэли прибыл на конгресс и занял неуязвимую позицию человека, уже добившегося своих целей, — позицию, которой Кэслри наслаждался в Вене, а Сталин — после второй мировой войны. Оставались лишь вопросы, связанные с деталями реализации предшествующей договоренности между Великобританией и Россией, а также сугубо техническая проблема, кто — Турция или новая Болгария — будет контролировать балканские перевалы. Для Дизраэли стратегической проблемой конгресса было по возможности смягчить недовольство России Великобританией за то, что пришлось отказаться от ряда своих завоеваний.

И Дизраэли это удалось, поскольку собственная позиция Бисмарка была весьма сложной. Бисмарк не видел никаких германских интересов на Балканах и не имел фундаментальных предпочтений по поводу текущих вопросов, за исключением необходимости практически любой ценой предотвратить войну между Австрией и Россией. Он описывал собственную роль на конгрессе, как функцию «ehrlicher Makler» (честного брокера), и предварял почти каждое заявление на конгрессе словами: «L'Allemagne, qui n'est liee par aucun interet direct dans les affaires d'Orient...» («Германия, не имеющая никаких непосредственных интересов в каких бы то ни было восточных делах...»)[200].

Бисмарк великолепно понимал, какая идет игра. Тем не менее он был подобен человеку, охваченному кошмаром, который видит надвигающуюся опасность, но не способен от нее уклониться. Когда германский парламент настаивал на том, чтобы

Бисмарк занял более твердую позицию, он отвечал, что предпочитает вообще не вмешиваться. При этом Бисмарк подчеркнул, насколько опасна сама роль посредника, и сослался при этом на пример царя Николая I, который в 1851 году вмешался в отношения между Австрией и Пруссией, по существу, на стороне Австрии:

«В те времена царь Николай сыграл ту самую роль, которую [мой оппонент] желал бы приписать Германии; он [Николай] тогда пришел и сказал: „Как только кто-нибудь выстрелит первым, выстрелю и я“, и в результате этого был сохранен мир. Кому на пользу и кому во вред, уже принадлежит истории, и я не хочу обсуждать это здесь. Я просто задаю вопрос: получил ли царь Николай хоть какую-то благодарность и признательность за сыгранную им роль, когда он объединился с одной из сторон? Да уж наверняка не от нас, не от Пруссии!.. А отблагодарила ли царя Николая Австрия? Через три года началась Крымская война, и к этому я ничего добавлять не собираюсь»[201].

Он мог бы еще добавить, что вмешательство царя так и не помешало Пруссии окончательно объединить Северную Германию, в чем и заключался смысл инцидента 1851 года.

Бисмарк играл сданными ему картами максимально умело. Подход его, в общем, заключался в том, что он поддерживал Россию в вопросах, касавшихся восточной части Балкан (типа аннексии Бессарабии), а Австрию — в вопросах, имевших отношение к западной их части (типа оккупации Боснии-Герцеговины). По одному-единственному вопросу он выступил против России. Когда Дизраэли пригрозил покинуть конгресс, если у Турции будут отняты горные перевалы в направлении Болгарии, Бисмарк обратился непосредственно к царю через голову ведущего переговоры от имени России Шувалова.

Благодаря этому Бисмарк избежал отчуждения от России, постигшего Австрию после Крымской войны. Но целым и невредимым он из этой ситуации не вышел. Многие из ведущих русских политиков испытывали ощущение, будто у них хитростью отняли победу. Россия могла отказаться от территориальных приобретений во имя легитимности (как это сделал Александр I во время греческого восстания в 20-х годах XIX века, а Николай I во время революции 1848 года), но Россия никогда не отдавала назад конечную цель, ею уже достигнутую, и не признавала компромисс как таковой. Действия по сдерживанию русского экспансионизма всегда вызывали

раздражение и негодование.

Так что после Берлинского конгресса Россия возлагала вину за то, что ей не удалось добиться всех поставленных перед собою целей, на «европейский концерт», а не на собственные чрезмерные амбиции; не на Дизраэли, который организовал коалицию против России и угрожал войной, а на Бисмарка, который управлял конгрессом так, чтобы избежать европейской войны. Россия привыкла к оппозиции Британии; но принятие на себя таким традиционным союзником, как Германия, роли честного брокера воспринималось панславистами как afront. Русская националистическая пресса обзывала конгресс «европейской коалицией против России под предводительством князя Бисмарка»[202], который был превращен в козла отпущения в связи с тем, что России не удалось добиться практически невозможного.

Руководитель русской делегации в Берлине Шувалов резюмировал по окончании конгресса сущность русских джингоистских подходов:

«Кое-кто предпочитает, чтобы у народа оставалась безумная иллюзия, будто бы интересам России был нанесен существенный урон действиями определенных иностранных держав, и подобным образом развязывается зловернейшая агитация. Все хотят мира; состояние страны настоятельно требует этого, но кое-кто хочет свалить на окружающий мир первопричину неудовольствия, в основе которого на самом деле лежат ошибки собственной политической деятельности»[203].

Высказывание Шувалова, однако, не отражало русское общественное мнение. Хотя сам царь никогда не отваживался заходить так же далеко, как его джингоистская пресса или радикалы-панслависты, он все же не был вполне доволен результатами конгресса. В течение последующих десятилетий германское вероломство в Берлине станет общим местом множества документов русской политики, особенно ряда их, появившихся перед самым началом первой мировой войны. «Союз трех императоров», базирующийся на единении консервативных монархов, более в прежнем виде существовать не мог. А потому, коль скоро в международных отношениях более не было связующей силы, на ее место встала сама по себе Realpolitik.

В 50-е годы Бисмарк проповедовал политику, которая была континентальным эквивалентом «блестящей изоляции», провозглашаемой Великобританией. Он настаивал на необходимости уклоняться от обязательств до тех пор, пока не

понадобится бросить все силы Пруссии в помощь той стороне, которая в данный конкретный момент наилучшим образом служит национальным интересам Пруссии. Такого рода подход исключал альянсы, сковывающие свободу действий, и, кроме того, давал Пруссии больше возможностей, чем любому из ее потенциальных соперников. В 70-е годы Бисмарк в целях укрепления единства Германии вернулся к традиционному союзу с Австрией и Россией. Но в 80-е годы возникла беспрецедентная ситуация. Германия стала слишком сильной, чтобы находиться на обочине, ибо это могло бы повлечь за собой объединение против нее всей Европы. Не могла она более полагаться и на историческую, почти рефлекторную, поддержку России. Германия стала гигантом, нуждающимся в друзьях. Бисмарк разрешил эту дилемму путем полного изменения предшествующего подхода к внешней политике. Он более не мог воздействовать на равновесие сил, имея меньшее число обязательств, чем его потенциальный оппонент? Так что ж! Тогда он решил устанавливать отношения с большим числом стран, чем, соответственно, любой из возможных оппонентов. Это давало ему возможность выбирать из множества союзников в зависимости от обстоятельств. Отказавшись от свободы маневра, характерных для его дипломатии в течение двадцати лет, Бисмарк начал создавать систему альянсов, решительно задуманных, с одной стороны, для того, чтобы германские потенциальные противники не заключили союзы между собой, а с другой стороны, для того, чтобы держать под контролем действия германских партнеров. В каждой из бисмарковских, иногда довольно противоречивых, коалиций Германия всегда была ближе к каждому отдельно взятому партнеру, чем они по отдельности друг другу; и потому Бисмарк всегда обладал правом вето в отношении совместных действий, а также возможностью действовать самостоятельно. В течение десятилетия ему удалось заключить пакты с противниками своих союзников, так что он оказался в состоянии ослаблять напряженность со всех сторон.

Бисмарк начал эту новую политику в 1879 году заключением тайного союза с Австрией. Зная о недовольстве России вследствие Берлинского конгресса, он теперь надеялся выстроить преграду дальнейшей русской экспансии. Не желая, однако, чтобы Австрия использовала германскую поддержку, чтобы бросить вызов России, он таким образом обеспечил себе вето по поводу австрийской политики на Балканах. Теплота, с которой Солсбери приветствовал австро-германский альянс, — тут можно

прямо сказать о библейских «приливах радости» — убедила Бисмарка в том, что не ему одному хочется поставить преграды русскому экспансионизму. Солсбери, без сомнения, надеялся на то, что теперь Австрия, поддержанная Германией, примет на себя британское бремя противостояния российской экспансии в направлении проливов. Вести бои за чужие национальные интересы было не в правилах Бисмарка. Ему особенно претило заниматься этим на Балканах, поскольку он с величайшим отвращением относился к сварам в данном регионе. «Этим конокрадам надо дать ясно понять, — ворчал он как-то по поводу Балкан, — что европейским правительствам незачем превращаться в пристяжных их похоти и соперничества»[204]. К несчастью для мира в Европе, его преемники позабыли эти слова предостережения.

Бисмарк предлагал сдерживать Россию на Балканах посредством союза, а не конфронтации. В этом смысле царю всегда угрожала бы изоляция. И он, полагая, что Великобритания является основным противником России, а Франция еще слишком слаба и к тому же слишком привержена республиканским принципам, чтобы быть надежным союзником, решил дать согласие на возрождение «Союза трех императоров», но на этот раз на базе «реальной политики».

Выгода альянса с основным оппонентом не сразу была понята австрийским императором. Он предпочел бы входить в одну группировку с Великобританией, с которой у него был общий интерес не допустить продвижения России к проливам. Но поражение Дизраэли в 1880 году и приход к власти Гладстона свели эти перспективы к нулю; участие Великобритании, пусть даже косвенное, в протурецком антирусском союзе теперь исключалось начисто.

Второй «Союз трех императоров» более не делал вид, будто его заботят какие-либо моральные принципы. Образованный на основе четкого подчинения принципам *Realpolitik*, он предусматривал для своих участников благожелательный нейтралитет, если кто-то из его членов вступит в войну с посторонним государством. — к примеру, если Англия начнет войну с Россией или Франция с Германией. Германия таким образом была защищена от возможности войны на два фронта, а Россия была защищена от возможности реставрации Крымской коалиции (в составе Великобритании, Франции и Австрии), в то время как германские обязательства защищать Австрию на случай агрессии оставались целиком и полностью в силе. Ответственность за сдерживание русского экспансионизма на Балканах

переместилась на Великобританию, поскольку Австрия более не могла вступить в коалицию, направленную против России, — по крайней мере, на бумаге. Балансируя частично неуравновешенными союзами, Бисмарк оказался в состоянии получить почти ту же самую свободу действий, которой он обладал на более раннем этапе дипломатической отстраненности. И, что самое главное, он устранил побудительные мотивы, которые могли бы превратить местный кризис во всеобщую войну.

В 1882 году, следующем за образованием второго «Союза трех императоров», Бисмарк раскинул свои сети еще более широко, убедив Италию примкнуть к союзу между Австрией и Германией. Тем самым Двойственный союз превращался в Тройственный. В общем и целом Италия стояла в стороне от дипломатической активности в Центральной Европе, но теперь ее выводил из себя захват Францией Туниса, противоречивший ее собственным планам в Северной Африке. Кроме того, непрочная итальянская монархия полагала, что дипломатическая демонстрация в стиле великой державы поможет ей лучше сдерживать растущую волну республиканизма. Со своей стороны Австрия дополнительно страховалась на тот случай, если «Союз трех императоров» окажется неспособным сдерживать Россию. Формируя Тройственный союз, Германия и Италия пообещали оказать содействие друг другу на случай французского нападения, в то время как Италия дала обещание соблюдать нейтралитет по отношению к Австро-Венгрии на случай войны с Россией, что облегчало тревоги Австрии по поводу войны на два фронта. Наконец, в 1887 году Бисмарк уговорил двух своих союзников — Австрию и Италию — заключить так называемые Средиземноморские соглашения с Великобританией, согласно которым стороны-участники договаривались совместно оберегать статус-кво в районе Средиземноморья.

Результатом бисмарковской дипломатии было появление на свет взаимно переплетающихся альянсов, частью совпадающих по целям, а частью соперничающих друг с другом, что страховало Австрию от русского нападения, Россию от австрийского авантюризма, а Германию от окружения, а также вовлекало Англию в дело защиты от русской экспансии в направлении Средиземного моря. Чтобы свести к минимуму вызов столь сложной системе, Бисмарк делал все, что было в его силах, чтобы удовлетворять французские амбиции повсеместно, за исключением Эльзас-Лотарингии. Он поощрял французскую колониальную экспансию, отчасти для того,

чтобы отвести французскую энергию от Центральной Европы, но в гораздо большей степени для того, чтобы столкнуть Францию с соперниками по колониальным приобретениям, особенно с Великобританией.

Десять с лишним лет этот расчет оправдывался. Франция и Великобритания чуть-чуть не схватились друг с другом по поводу Египта. Франция отделилась от Италии в связи с Тунисом, а Великобритания продолжала противостоять России в Средней Азии и на подступах к Константинополю. Не желая вступать в конфликт с Англией, Бисмарк сознательно воздерживался от колониальной экспансии до самой середины 80-х годов, ограничивая внешнюю политику Германии континентом и сохранением статус-кво.

Но, в конце концов, потребности Realpolitik слишком причудливо переплелись. Со временем конфликт между Австрией и Россией на Балканах стал неуправляем. Если бы принцип равновесия сил действовал в чистом виде, Балканы были бы разделены на русскую и австрийскую сферы влияния. Но общественное мнение было уже в достаточной степени возмущено подобной политикой, даже в самых автократических государствах. Россия не в состоянии была бы согласиться с такого рода разделом, ибо это бы отдавало славянское население на Балканах во власть Австрии, а Австрия не согласилась бы с усилением будто бы подвластных России «славянских территорий» на Балканах.

Бисмарковская кабинетная дипломатия в стиле XVIII века становилась несовместимой с эпохой широкого общественного мнения. Оба представительных правительства: Великобритании и Франции — реагировали на общественное мнение у себя в стране, как на нечто, само собой разумеющееся. Во Франции это означало рост давления по поводу возврата Эльзас-Лотарингии. Но наиболее разительный пример новой, жизненно важной роли общественного мнения мы находим в Великобритании, когда Гладстон победил Дизраэли в 1880 году во время единственных в стране выборов, где спор шел главным образом по вопросам внешней политики, а, придя к власти, стал проводить балканскую политику, полностью противоположную политике Дизраэли.

Гладстон, возможно, являющийся главенствующей британской политической фигурой XIX века, рассматривал внешнюю политику примерно так же, как американцы после Вильсона. Применяя к ней моральные, а не геополитические

критерии, он настаивал на том, что национальные чаяния болгар были и на самом деле законны, а Великобритания, как братская христианская нация, обязана оказывать поддержку болгарам, а не мусульманам-туркам. Турок следует заставить вести себя прилично, утверждал Гладстон, при помощи коалиции государств, которая и примет на себя ответственность за управление Болгарией. Гладстон выдвигал ту же самую концепцию, которая при президенте Вильсоне стала известна как принцип коллективной безопасности: Европа обязана действовать объединенными усилиями, иначе Великобритания не будет действовать вообще.

«Это необходимо сделать, и это может быть сделано без опаски объединенными силами держав Европы. Ваша мощь велика; но превыше всего, самым главным является то, что ум и сердце Европы в этом деле должны быть едины. Ничего нельзя достичь без союза шести великих держав: России, Германии, Австрии, Франции, Англии и Италии. Чтобы успех был полным и результат удовлетворительным Союз между всеми ими не только важен, но и почти обязателен»[205].

В 1880 году Гладстон, возмущенный акцентом Дизраэли на геополитике, начал свою знаменитую «Мидлотианскую кампанию». Впервые в истории, с остановками во всех подряд населенных пунктах, вопросы внешней политики были вынесены непосредственно на суд избирателей. Будучи уже пожилым человеком, Гладстон вдруг открыл у себя качества публичного оратора. Утверждая, что мораль является единственной основой здоровой внешней политики, Гладстон настаивал на том, что путеводными маяками британской внешней политики обязаны стать христианская благопристойность и уважение к правам человека, а вовсе не принципы равновесия сил и национальных интересов. На одной из остановок он объявил: «Помните, что святость человеческой жизни в горных поселениях Афганистана так же ненарушима в глазах Господа Всемогущего, как и святость жизни вашей. Помните, что Тот, Кто объединил вас всех, создав разумными существами из плоти и крови, соединил вас также узами взаимной любви... не ограничивающимися пределами христианской цивилизации...»[206]

Гладстон проложил тропу, по которой позднее проследовал Вильсон, заявив, что не может быть различия между моралью поведения отдельной личности и моралью поведения государства. Как и Вильсон поколением позднее, он полагал, что открыл глобальную тенденцию к мирным переменам под бдительным контролем мирового

общественного мнения:

«Определенно то, что в умы людей постепенно вселяется новый закон поведения наций, который уже входит в обиход, распространяясь по всему миру; закон, признающий независимость, с негодованием взирающий на агрессию, поощряющий мирное, а не кровавое разрешение споров, имеющий целью усовершенствования постоянного, а не временного характера; и, что самое главное, признающий в качестве наиболее полномочного верховного суда всеобщий приговор цивилизованного человечества»[207].

Все это могло бы быть произнесено Вильсоном, особенно — при его обосновании Лиги наций. Когда в 1879 году Гладстон попытался обрисовать различия между собственной политикой и политикой Дизраэли, он подчеркнул, что вместо поддержания равновесия сил он бы стремился к тому, чтобы «обеспечить вечное единство между европейскими державами. А почему? Потому что, обеспечив их единение, вы нейтрализуете и сводите на нет эгоистические устремления каждой из них... Совместное действие фатально для эгоистических целей...»[208] Конечно, неспособность сплотить всю Европу была конкретной причиной роста напряженности. Не было ни одной предсказуемой проблемы — и уж конечно, к числу их не относилась проблема будущего Болгарии, — которая могла бы заполнить брешь между Францией и Германией или между Австрией и Россией.

Ни один британский премьер-министр до Гладстона не пользовался подобным языком. Кэслри относился к «европейскому концерту» как к инструменту реализации венских договоренностей. Пальмерстон видел в нем орудие сохранения равновесия сил. Гладстон же был далек от того, чтобы видеть в «европейском концерте» силу, обеспечивающую статус-кво, и возлагал на него революционную роль создателя совершенно нового мирового порядка. Этим идеям суждено было пребывать невостребованными до тех пор, пока поколением позднее на сцену не выступил Вильсон.

Для Бисмарка такого рода мнения были в корне неприемлемы. Неудивительно, что эти две титанические фигуры от всего сердца ненавидели друг друга. Отношение Бисмарка к Гладстону напоминало отношение Теодора Рузвельта к Вильсону: он считал великого викторианца наполовину неумным болтуном, наполовину угрозой. В письме германскому императору в 1883 году «Железный канцлер» отмечал:

«Наша задача была бы намного легче, если бы в Англии окончательно не вымерла раса великих государственных деятелей прежних времен, имевших понятие о европейской политике. При наличии столь неспособного политика, как Гладстон, который является не кем иным, как просто великим говоруном, невозможно вести политику, при которой можно было бы рассчитывать на то, что Англия займет какую-то предсказуемую позицию»[209].

Точка зрения Гладстона на своего оппонента была гораздо более прямолинейной — к примеру, он как-то назвал Бисмарка «воплощением зла»[210].

Гладстоновские идеи по поводу внешней политики постигла та же участь, что и идеи Вильсона, ибо и те и другие скорее побудили их соотечественников устраниваться от дел глобального характера, чем приблизили к таковым. На уровне повседневной дипломатии приход Гладстона к власти в 1880 году мало что изменил в имперской политике Великобритании в Египте и к востоку от Суэца. Но зато он превратил Великобританию в реальную силу на Балканах и в целом в вопросах европейского равновесия.

Таким образом, второй приход Гладстона к власти (1880 — 1885) имел парадоксальный эффект: из-под Бисмарка, самого умеренного из государственных деятелей на континенте, была убрана страховочная сетка. Точно так же отход Каннинга от европейских дел сблизил Меттерниха с царем. Пока в британской внешней политике господствовали воззрения Пальмерстона — Дизраэли, Великобритания могла служить последним средством сдерживания России, когда последняя слишком далеко забиралась на Балканы или выходила на подступы к Константинополю. При Гладстоне уверенность в этом исчезла, что и поставило Бисмарка в еще большую зависимость от становящегося все большим и большим анахронизмом треугольника Германия — Австрия — Россия.

Восточные дворы, все еще остававшиеся бастионами консерватизма, в определенном отношении оказались не свободнее от националистического общественного мнения, чем представительные правительства. Внутреннее устройство Германии было задумано Бисмарком с таким расчетом, чтобы воплощать в жизнь основополагающие принципы дипломатии равновесия сил, но в нем оказалась заложена тенденция провоцировать демагогию. Несмотря на то, что рейхстаг избирался на основе самого широкого по охвату избирательного права в Европе,

германские правительства назначались императором и были подотчетны ему, а не рейхстагу.

Лишившись, таким образом, ответственности, депутаты рейхстага предались беспардонной риторике. Тот факт, что военный бюджет ставился на голосование раз в пять лет, порождал у правительств искушение создавать кризисы как раз в тот самый важный для него год, когда ставилась на голосование оборонная программа. Не исключено, что со временем это устройство могло бы трансформироваться в конституционную монархию с правительством, ответственным перед парламентом. Но в судьбоносные годы формирования новой Германии правительства легко поддавались националистической пропаганде и слишком охотно шли на измышление опасности извне, чтобы в митинговом порядке подогреть чувства публики.

Русская политика также страдала от безудержной пропаганды панславистов, основной темой которой был призыв к агрессивной политике на Балканах и открытому противостоянию Германии. Одно русское высокопоставленное лицо в беседе с австрийским послом, состоявшейся в 1879 году, уже к концу царствования Александра II, так объясняло ситуацию:

«Люди здесь просто боятся националистической прессы... Нацепив флаг национализма, они защищают себя и уверены в мощной поддержке. Как только националистические тенденции вышли на первый план, как только им удалось взять верх, вопреки здравым советам относительно вступления в войну [с Турцией], так называемая «национальная партия», в которую входит вся армия, стала настоящей силой»[211]. Австрия — еще одна многоязычная империя — находилась в сходном положении. При данных обстоятельствах Бисмарку становилось все труднее и труднее совершать свои излюбленные акробатические номера. В 1881 году на трон в Санкт-Петербурге взошел новый царь, Александр III, не сдерживавший себя идеологией консерватизма, как его дед Николай I, или личной приязнью к стареющему германскому императору, как его отец Александр II. Бездеятельный и автократичный, Александр III не доверял Бисмарку, отчасти потому, что политика Бисмарка была чересчур сложной и тем самым выше его понимания. Как-то он даже сказал, что он, как только находит в депеше упоминание о Бисмарке, ставит против этого места крестик. Подозрительность царя подогревалась его женой-датчанкой, которая не могла простить Бисмарку отторжения от ее родины Шлезвиг-Голштинии.

Болгарский кризис 1885 года вывел все эти побуждения наружу. Очередное восстание имело своим результатом возникновение большего по размерам болгарского государства, о котором Россия так страстно мечтала десятилетие назад и чего так опасались Великобритания и Австрия. Наглядно свидетельствуя, что история способна обмануть самые глубинные устремления, новая Болгария не только не оказалась под владычеством России, но объединилась под властью германского по происхождению государя. Санкт-Петербургский двор винил Бисмарка за то, чего на самом деле германский канцлер охотно бы избежал. Русский двор был взбешен, а панслависты, которым мерещился заговор в любом уголке западнее Вислы, стали распространять слух, будто бы Бисмарк является закулисным руководителем дьявольского антирусского заговора. В подобной атмосфере Александр отказался возобновить в 1887 году собственное участие в «Союзе трех императоров».

Бисмарк, однако, был не готов отказаться от русского варианта. Он знал, что если оставить Россию на волю случая, то она рано или поздно дойдет до стадии союза с Францией. И все же в условиях, сложившихся в 80-е годы XIX века, когда Россия и Великобритания постоянно находились на грани войны, такого рода курс увеличил бы опасность со стороны России и не снял бы британского антагонизма. Более того, Германия все еще могла рассчитывать и на британский вариант, особенно теперь, когда Гладстон ушел со своего поста. Во всяком случае, Александр имел все основания сомневаться в том, что Франция рискнет вступить в войну из-за Балкан. Иными словами, русско-германские связи все еще отражали реально существующую, пусть даже уменьшающуюся, конвергенцию национальных интересов, а не просто личные вкусы Бисмарка, — хотя, конечно, без его дипломатического таланта эти общие интересы не нашли бы формального выражения.

Будучи всегда гениально-изобретательным, Бисмарк теперь выступил со своей последней крупной инициативой — так называемым «Договором перестраховки». Германия и Россия обещали друг другу оставаться нейтральными в войне любой из сторон с третьей стороной, за исключением нападения Германии на Францию или России на Австрию. Теоретически Россия и Германия были теперь гарантированы от войны на два фронта, при условии, что будут обороняющейся стороной. Однако очень многое зависело от определения агрессора, особенно в связи с тем, что мобилизацию стали все в большей и большей степени отождествлять с объявлением войны. (См. гл.

8.) А поскольку этот вопрос даже не был затронут, то сфере применения «Договора перестраховки» был поставлен явный предел, причем полезности договора вредило еще и то, что царь настоял на его секретности.

Секретность данного соглашения неоспоримо свидетельствовала: между требованиями кабинетной дипломатии и императивами все в большей степени демократизирующейся внешней политики назревает конфликт. Вопросы до такой степени усложнились, что внутри секретного «Договора перестраховки» наличествовали целых две степени секретности. На втором, более высоком уровне секретности находилось особо конфиденциальное приложение, где Бисмарк обещал не чинить помех русским попыткам обретения Константинополя и содействовать расширению русского влияния в Болгарии. Ни одно из этих положений не пришлось бы по вкусу союзнику Германии — Австрии, не говоря уже о Великобритании, хотя Бисмарк вряд ли опечалился бы, если Великобритания и Россия вступили бы в спор по поводу будущего проливов.

Несмотря на все эти сложности, «Договор перестраховки» обеспечивал остро необходимую связь между Санкт-Петербургом и Берлином. К тому же он заверял Санкт-Петербург в том, что хотя Германия и будет защищать целостность Австро-Венгерской империи, но не будет ей помогать в экспансии за счет России. И еще Германии удалось добиться отсрочки заключения франко-русского союза.

То, что Бисмарк поставил свою сложнейшую внешнюю политику на службу сдержанности и сохранению мира, доказывается его реакцией на давление со стороны германских военных руководителей. Последние настаивали на упреждающей войне против России после ликвидации «Союза трех императоров» в 1887 году. Бисмарк вылил холодный душ на все эти рассуждения во время своего выступления в рейхстаге, где попытался поддержать на высоте репутацию Санкт-Петербурга ради предотвращения франко-русского альянса:

«Мир с Россией не будет нарушен с нашей стороны; и я не верю в то, что Россия нападет на нас. Не верю я и в то, что Россия только и ищет, с кем бы заключить союз, чтобы напасть на нас совместно, или что они намереваются воспользоваться трудностями, которые могли бы у нас возникнуть где-нибудь еще, чтобы с легкостью совершить на нас нападение»[212].

Тем не менее, несмотря на всю свою изощренную умеренность, Бисмарку придется

вскоре отказаться от привычного балансирования. Маневры становились все более и более сложными даже для мастера. Накладывающиеся друг на друга союзы, заключенные, чтобы обеспечить сдержанность, вместо этого вызвали подозрения, а рост важности общественного мнения сковывал гибкое маневрирование любой из сторон.

Как бы умело ни вел Бисмарк дипломатическую деятельность, нужда в столь усложненных до предела манипуляциях является подтверждением тех перегрузок, которые мощная объединенная Германия наложила на европейское равновесие сил. Бисмарк еще находился у кормила власти, а имперская Германия уже вызывала беспокойство. И действительно, махинации Бисмарка, задуманные в обеспечение всеобщего успокоения, со временем приобрели странно-тревожащий характер, отчасти оттого, что его современники с таким трудом понимали суть все усложняющихся комбинаций. Боясь, что их переиграют, они стали завышать собственные требования. Но такого рода действия также лишали гибкости «реальную политику», и уходить от конфликта становилось все труднее.

Хотя бисмарковская дипломатия была, возможно, уже обречена к концу срока его пребывания у власти, было вовсе не обязательно, чтобы на смену ей пришла бездумная гонка вооружений и жесткая система союзов, сопоставимая скорее с «холодной войной», чем с традиционным поддержанием равновесия сил. В течение почти двадцати лет Бисмарк сохранял мир и ослаблял международную напряженность при помощи поистине каучуковой умеренности. Но он заплатил свою цену за это непонятное величие, ибо его преемники и якобы подражатели не смогли из его урока извлечь ничего лучшего, как, вооружившись, развязать войну, которая едва не стала самоубийством европейской цивилизации.

К 1890 году концепция равновесия сил исчерпала весь свой потенциал. Само ее появление было в первую очередь обусловлено возникновением множества государств на пепелище средневековых чаяний об универсальной империи. В XVIII веке соответствующий этой концепции интересов принцип *raison d'etat* приводил к многочисленным войнам, направленным на то, чтобы не допустить возникновения господствующей державы и воссоздания европейской империи. Равновесие Сил охраняло свободу отдельных государств, а не сохраняло мир в Европе.

Окончание главы 6, имеющееся только в оригинальном издании в твердой обложке.

В сорокалетний период по окончании наполеоновских войн политика поддержания равновесия сил достигла своего апогея. В течение этого срока она срабатывала бесперебойно, поскольку равновесие было заранее тщательно сбалансировано и, что самое главное, подкреплялось чувством единства ценностей, по крайней мере, среди консервативных дворов. После Крымской войны произошла постепенная эрозия этого чувства, и все вернулось к ситуации XVIII века, ставшей гораздо более опасной из-за внедрения современных технологий и возрастания роли общественного мнения. Даже деспотические государства могли апеллировать к широкой публике, страшая ее иноземной угрозой, — и это пугало зарубежной опасности подменяло демократический консенсус. Национальная консолидация европейских государств уменьшала число игроков на поле. Дипломатические комбинации все чаще уступали демонстрации силы. Крах всеохватывающей концепции легитимности подорвал предпосылки для морального сдерживания.

Несмотря на историческое предубеждение Америки против системы равновесия сил, эти уроки имеют самое прямое отношение к американской внешней политике после окончания «холодной войны». Впервые в истории Америка стала частью международной системы в качестве сильнейшей страны. Но хотя Америка в военном отношении является сверхдержавой, она более не может никому навязывать свою волю, поскольку ни ее мощь, ни ее идеология не влекут за собой возникновение имперских амбиций. А наличие ядерного оружия, в чем у Америки абсолютное преобладание, вызывает тенденцию к уравниванию применяемой силы.

Таким образом, Соединенные Штаты во все большей и большей степени оказываются в мире, имеющем множество сходных черт с Европой XIX века, хотя и в мировом масштабе. И можно надеяться, что возникнет нечто, напоминающее систему Меттерниха, где равновесие сил будет подкрепляться ощущением единства ценностей. А в нынешнюю эпоху ценности эти должны носить демократический характер.

И в то же время Меттерниху не пришлось создавать легитимный порядок; он уже в существенной степени сложился. В современном же мире демократия далеко не универсальна, и там, где она провозглашается, может существовать множество

«демократий». С точки зрения Соединенных Штатов, разумно будет попытаться подкрепить равновесие моральным консенсусом. Чтобы быть верной себе, Америка должна попытаться выковать моральный консенсус в максимально широком плане, предопределяющий глобальную приверженность демократии. Но он не должен отрываться от анализа равновесия сил. Ибо стремление к моральному консенсусу оборачивается против самого себя, если оно разрушает равновесие.

Коль скоро система меттерниховского типа, основанная на легитимности, уже невозможна, Америке придется научиться действовать в рамках системы равновесия сил, каким бы непривычным и неестественным ни казался подобный курс. В XIX веке существовали две модели системы равновесия сил: британская модель, олицетворяемая подходом Пальмерстона — Дизраэли, и бисмарковская модель. Сущностью британского подхода являлось ожидание прямой угрозы равновесию сил, и лишь при ее наличии осуществлялось вмешательство, причем почти всегда на стороне более слабого; подход же Бисмарка сводился к тому, чтобы предотвратить само возникновение вызова путем установления тесных отношений с максимально возможным числом сторон, посредством создания накладывающихся друг на друга систем альянсов и путем использования появляющегося в результате этого влияния для внесения умеренности в требования спорящих сторон.

Как бы странно это ни могло показаться в свете опыта Америки в отношениях с Германией в ходе двух мировых войн, стиль Бисмарка в отношении поддержания равновесия сил более созвучен традиционному американскому подходу к международным отношениям. Метод Пальмерстона — Дизраэли требует неуклонного отстранения от споров и безжалостной подчиненности конфликтующих концепций равновесия. Для Америки окажется очень трудным привыкнуть к отстраненности и безжалостности, не говоря уже о готовности интерпретировать международные события строго в смысле соотношения сил.

Политика позднего Бисмарка была нацелена на поиск упреждающего сдерживания посредством своего рода консенсуса в отношении общности целей с той или иной группой стран. Во взаимозависимом мире Америке будет трудно воплощать на практике прежнюю роль Великобритании, сводившуюся к «блестящей изоляции». Но столь же маловероятно, что ей удастся создать всеобъемлющую систему безопасности, равно применимую ко всем частям света. Наиболее вероятным — и

конструктивным — решением была бы частично перекрещивающаяся система союзов, причем одни были бы нацелены на безопасность, другие — на экономические отношения. И коренной задачей для Америки была бы выработка целей и задач, проистекающих из американских ценностей, которые могли бы скрепить эти различные группировки (см. гл. 31).

В любом случае к концу XIX в. оба эти подхода к внешней политике стали устаревать. Великобритания более не чувствовала себя достаточно могущественной, чтобы и далее идти на риск изоляции. А Бисмарк был смещен со своей должности нетерпеливым новым императором, который поставил перед собой нескромную задачу улучшить политику мастера. По ходу дела равновесие сил стало жестким, и Европа покатилась к катастрофе, тем более опустошительной, что никто не верил в ее возможность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Машина политического Страшного суда: европейская дипломатия перед первой мировой войной

К концу первого десятилетия XX века «европейский концерт», поддерживавший мир в течение столетия, по целому ряду практических причин прекратил свое существование. Великие державы в беспечной слепоте увлеклись борьбой группировок, приведшей к формированию двух организованных по жесткому принципу блоков, что явилось предтечей расстановки сил в «холодной войне» пятьюдесятью годами позднее. Имелась, однако, существенная разница. В век ядерных вооружений предотвращение войны явилось главной, быть может даже основной, целью внешней политики. В начале XX века войны еще начинались с

определенной долей беспечности. Даже отдельные европейские мыслители придерживались того взгляда, будто бы периодические кровопускания носят характер катарсиса, — от этой наивной гипотезы первая мировая война наихудшим образом не оставила камня на камне. В течение десятилетий историки спорят, на кого следует возложить ответственность за возникновение первой мировой войны. И все же ни одна отдельная страна не может быть вырвана из общего ряда, как первопричина безумного скачка к несчастью. Каждая из великих держав внесла свой вклад близорукости и безответственности, причем делали это с такой удивительной беззаботностью, какая уже никогда не будет возможна, ибо в коллективную память Европы врезалось сотворенное ими несчастье. Они позабыли предупреждение, записанное в «Мыслях» Паскаля, — если они вообще его знали: «Мы бездумно несемся в пропасть, поставив перед собой нечто, закрывающее ее от наших взоров».

А винить было кого. Европейские нации превратили равновесие сил в гонку вооружений, не понимая, что современные технологии и всеобщая воинская повинность превратят всеобщую войну в величайшую угрозу их же собственной безопасности и европейской цивилизации в целом. Хотя все нации Европы собственной политикой внесли свой вклад в приближение катастрофы, именно Германия и Россия в силу своей природы подорвали чувство сдержанности.

По ходу объединения Германии никто не задумывался относительно потенциального влияния этого объединения на равновесие сил. В течение двухсот лет Германия была жертвой, а не инициатором войн в Европе. Во время Тридцатилетней войны Германия понесла потери, оцениваемые в размере 30% тогдашнего населения, а все решающие битвы династических войн XVIII столетия и наполеоновских войн происходили на германской земле.

Отсюда почти наверняка следовало, что объединенная Германия поставит перед собой цель предотвратить повторение всех этих трагедий. Но это вовсе не предполагало, что новая Германия воспримет этот вызов как в основном военную проблему и что германские дипломаты после Бисмарка будут проводить внешнюю политику со столь пренебрежительной самоуверенностью. Если Пруссия Фридриха Великого была самой слабой из великих держав, то вскоре после объединения Германия стала самой сильной и, будучи таковой, стала вызывать беспокойство у своих соседей. С тем чтобы принимать участие в «европейском концерте», ей

требовалось проявлять особую сдержанность во внешней политике[213]. К сожалению, после ухода Бисмарка умеренность была тем самым качеством, которого Германии больше всего не доставало.

Причиной, по которой германские государственные деятели были одержимы идеей грубой силы, было то, что Германия, в отличие от других государств-наций, не обладала сплачивающей ее воедино философской базой. Ни одна из идей, формировавших государства-нации в остальной части Европы, в бисмарковских построениях не присутствовала: ни упор Великобритании на традиционные свободы, ни призыв Французской революции ко всеобщей вольности, ни даже добродушный универсалистский империализм Австрии. Строго говоря, бисмарковская Германия вообще не была воплощением чаяний о создании государства-нации, поскольку он преднамеренно исключил из нее австрийских немцев. Бисмарковский Reich был артефактом, в основном представляя собой Пруссию в расширенном варианте, чьей основной задачей было усиление собственной мощи.

Отсутствие интеллектуальных корней было принципиальной причиной бесцельности германской внешней политики. Воспоминания о том, как Германия в течение столь долгого времени служила главным полигоном Европы, внушили ее народу глубоко укоренившееся чувство опасности. Хотя империя Бисмарка была теперь сильнейшей державой на континенте, германским руководителям всегда казалось, что их поджидает какая-то неясная угроза, о чем свидетельствовала их одержимость постоянной боевой готовностью, отягощенная воинственной риторикой — в своих планах войны германские штабисты всегда исходили из необходимости вести действия против всех германских соседей одновременно. Готовя себя к наихудшему из сценариев, они способствовали превращению его в реальность. Ибо Германия, способная победить коалицию из всех своих соседей, могла, само собой разумеется, без труда получить преобладание над каждым из них в отдельности. При виде военного колосса у своих границ соседи Германии объединялись в целях взаимной защиты, превращая германское стремление к безопасности в фактор, способствующий возникновению ощущения отсутствия безопасности.

Мудрая и сдержанная политика, возможно, отсрочила бы, а то и вовсе устранила бы маячившую впереди опасность. Но преемники Бисмарка, отбросив его сдержанность, все более и более полагались на силу как таковую, что подтверждалось одним из

излюбленных их высказываний: Германия должна служить молотом, а не наковальней европейской дипломатии. Получалось, будто Германия потратила столько энергии на достижение государственного статуса, что у нее не было времени подумать, а какой же цели будет служить это новое государство. Имперская Германия так и не смогла выработать собственную концепцию национальных интересов. Захваченная эмоциями момента и стесненная потрясающим отсутствием понимания чужой психики, Германия в лице своих руководителей после Бисмарка сочетала воинственную агрессивность с нерешительностью, что ввергло страну поначалу в состояние изоляции, а затем в войну.

Бисмарк, используя сложнейшую систему альянсов для сдерживания множества партнеров и предотвращения перерастания противоречий во внезапно разразившуюся войну, потратил превеликое множество усилий, чтобы не допускать бахвальства германской мощью. У преемников Бисмарка не хватало терпения и искусства для осуществления задачи такой сложности. Когда император Вильгельм I умер в 1888 году, его сын Фридрих, чей либерализм так тревожил Бисмарка, правил всего лишь девяносто восемь дней, став жертвой рака горла. Его сын и преемник, Вильгельм II, своей театральной аффектацией вызывал у наблюдателей неуютное ощущение того, что правитель самой могучей нации Европы ведет себя сумасбродно и незрело. Психологи объясняли беспредельную задиристость Вильгельма попыткой компенсации за рождение с деформированной рукой — увечье такого рода было нестерпимо для члена прусской королевской фамилии, беспредельно преданной военным традициям. В 1890 году юный и изломанный душой император сместил Бисмарка, не желая править в тени столь внушительной личности. С тех пор именно кайзеровская дипломатия стала самой главной с точки зрения мира в Европе. Уинстон Черчилль весьма сардонически обобщил сущность личности Вильгельма:

«Все сводилось к тому, чтобы расхаживать с важным видом, вставать в позу и бряцать не вынутым из ножен мечом. Все, чего ему хотелось, — это ощущать себя подобием Наполеона и походить на него, но — без участия в его битвах. Само собой разумеется, на меньшее он был не согласен. Если кто-то мыслит себя вершиной вулкана, то все, что от него требуется, — это дымить. Вот он и дымил, испуская столб сажи днем и искря по ночам, что и могли наблюдать те, кто стоял в отдалении; медленно и верно встревоженные наблюдатели собирались вместе и объединялись

ради совместной защиты.

...Но под всей этой показной мишурой и парадным мундиром находился весьма ординарный, тщеславный, однако в целом вполне доброжелательный человек, надеявшийся сойти за второго Фридриха Великого»[214].

Больше всего кайзер хотел международного признания важности занимаемого Германией места и, превыше всего, ее могущества. Он пытался проводить то, что в его окружении называлось Weltpolitik, или «глобальной политикой», даже не определяя этот термин и не устанавливая его взаимоотношение с германскими национальными интересами. Лозунги скрывали интеллектуальный вакуум: за воинственными речами пряталась внутренняя пустота; широковещательные призывы оказывались, по сути, призывами в никуда. Хвастливые тирады вкупе с нерешительностью в поступках отражали наследие двухвекового германского провинциализма. Даже если бы германская политика была мудрой и ответственной, интеграция германского колосса в рамки существовавшей системы и то была бы пугающей по размаху задачей. Но взрывоопасная смесь безудержно храброй игры на публику и довольно робких внутренних установлений исключала подобный курс и предопределяла вместо этого бездумную внешнюю политику — добиваться для Германии всего того, чего она больше всего боялась.

В продолжение двадцати лет после смещения Бисмарка Германия умудрилась способствовать невероятной перемене альянсов. В 1898 году Франция и Великобритания были на грани войны из-за Египта. Враждебные отношения между Великобританией и Россией являлись постоянным фактором международных отношений почти на всем протяжении XIX века. Великобритания то и дело искала союзников против России и даже пробовала привлечь на эту роль Германию, прежде чем остановилась на Японии. Никому тогда не пришло бы в голову, что Великобритания, Франция и Россия в итоге выступят на одной стороне. И все же через десять лет под воздействием настойчиво-угрожающей германской дипломатии случилось именно это.

Несмотря на всю сложность своих маневров, Бисмарк никогда даже и не пытался выйти за рамки традиционного равновесия сил. Однако его преемники явно не чувствовали себя уверенно внутри этой системы и никогда даже не пытались понять, что чем более они увеличивают собственные силы, тем более поощряют создание

компенсирующих коалиций и дают толчок наращиванию вооружений, что является непременным условием европейского равновесия.

Германским лидерам претило нежелание прочих стран вступать в союз с нацией, чья сила уже порождала в Европе страх гегемонии. Тактика запугивания представлялась этим лидерам наилучшим способом показать своим соседям, как те слабы и как предположительно выгодна им дружба с Германией. Но столь унижающий противную сторону подход имел обратный эффект. Пытаясь добиться абсолютной безопасности для своей собственной страны, германские лидеры послебисмарковской поры угрожали каждой из европейских стран, подчеркивая их полнейшую незащищенность; а это почти автоматически вызывало к жизни коалиции противодействия. Дипломатия не способна спрямить путь к преобладанию; к нему ведет единственная дорога — война, а этот урок провинциальные лидеры постбисмарковской Германии усвоили лишь тогда, когда было уже слишком поздно, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

По иронии судьбы на протяжении значительного времени существования императорской Германии основной угрозой миру считалась не Германия, а Россия. Вначале Пальмерстон, а потом Дизраэли были убеждены в том, что Россия намеревается проникнуть в Египет и в Индию. К 1913 году аналогичная боязнь германских лидеров, что страну вот-вот захлестнут русские орды, достигла такого накала, что она в значительной степени способствовала их решению устроить годом позже силовое противостояние.

На самом деле очень мало что надежно подтверждало, будто бы Россия хочет создать европейскую империю. Претензии германской военной разведки, что у них якобы есть доказательства того, что Россия на самом деле готовится к подобной войне, были только претензиями, хотя и не безосновательными. Дело в том, что страны, принадлежащие к обоим альянсам, опьяненные технологическими возможностями железнодорожных перебросок войск и новыми достижениями в области формирования мобилизационных планов, постоянно занимались военными приготовлениями, не соответствующими масштабам спорных проблем. Но как раз потому, что эти лихорадочные приготовления не могли быть соотнесены ни с какой конкретной целью, их истолковывали, как признаки широкомасштабных, если не вселенских амбиций. Характерно, что князь фон Бюлов, германский канцлер с 1900

по 1909 год, придерживался точки зрения Фридриха Великого, утверждавшего, что «из всех соседей Пруссии именно Российская империя наиболее опасна как с точки зрения силы, так и ее местоположения»[215].

Вся Европа воспринимала, как нечто сверхъестественное, огромные просторы и упорство России. Все нации Европы пытались стяжать величие путем угроз и ответов на угрозы. Но Россия, казалось, продвигается вперед, повинуюсь собственному ритму, сдерживаемому лишь превосходящими силами, как правило, посредством войны. В целом ряде многочисленных кризисов представлялось, что до разумного урегулирования России рукой подать, и результаты его были бы гораздо лучше реально достигнутых. И все же Россия всегда предпочитала риск поражения компромиссу. Это проявилось и во время Крымской войны 1854 года, Балканских войн 1875—1878 годов, а также перед русско-японской войной 1904 года.

Одним из объяснений подобной тенденции является тот факт, что Россия, с одной стороны, принадлежит Европе, а с другой — Азии. На Западе Россия выступала как составная часть «европейского концерта» и участвовала в сложных играх по сохранению равновесия сил. Но даже в рамках этих правил русские руководители обычно с раздражением относились к призывам поддерживать равновесие сил и склонны были прибегнуть к войне, если их требования не удовлетворялись, — к примеру, в период, предшествовавший Крымской войне 1854 года, во время Балканских войн и в 1885 году, когда Россия чуть-чуть не вступила в войну с Болгарией. В Средней Азии Россия имела дело со слабыми ханствами, где равновесие сил было неприменимо, а в Сибири, пока не натолкнулась на Японию, она имела полную возможность продвигаться в значительной степени точно так же, как Америка, когда заселялся едва обжитой континент.

На европейских форумах Россия обычно прислушивалась к аргументам в пользу сохранения равновесия сил, но не всегда следовала основополагающим принципам. В то время как европейские нации неизменно утверждали, что судьбу Турции и Балкан должен решать лишь «европейский концерт», Россия, напротив, стремилась решать эти вопросы односторонне и силой: примером тому являются Адрианопольский договор 1829 года, Ункьяр-искелесийский договор 1833 года, конфликт с Турцией 1853 года, а также Балканские войны 1875—1878 и 1885 годов. Россия предполагала, что Европа не будет обращать на это внимания, и чувствовала себя оскорбленной,

когда этого не происходило. Та же самая проблема повторилась после второй мировой войны, когда западные союзники утверждали, что судьба Восточной Европы касается Европы в целом, а Сталин настаивал на том, что Восточная Европа, особенно Польша, находится в пределах советской сферы влияния, и потому их будущее может быть решено без участия западных демократий. И, как его предшественники-цари, Сталин действовал односторонне. Однако, само собой, собиралась коалиция западных сил, способная противостоять российским военным ударам и свести на нет российские претензии соседям. В период после второй мировой войны понадобилось целое поколение, чтобы вновь утвердилась подобная историческая схема.

Россия на марше редко проявляла ощущение предельно допустимого. Когда ее планы расстраивались, она затаивалась и, лелея обиды, поджидала удобного момента для возмездия, — так обстояло дело с Великобританией в течение всего XIX века, с Австрией после Крымской войны, с Германией после Берлинского конгресса и с Соединенными Штатами во время «холодной войны». Остается дождаться того, как новая постсоветская Россия будет реагировать на крах своей исторической империи и вовлеченных в ее орбиту сателлитов, когда полностью пройдет шок после распада.

В Азии русское ощущение возложенной на страну миссии в еще меньшей степени сдерживалось политическими или географическими препятствиями. В течение всего XVIII века и значительной части XIX Россия пребывала на Дальнем Востоке одна. Она была первой европейской страной, вступившей в контакт с Японией, и первой, кто заключил договор с Китаем. Эта экспансия, осуществлявшаяся незначительными силами поселенцев и авантюристов-военных, конфликтов с европейскими державами не вызвала. Спорадические русские столкновения с Китаем не представляли особого значения. За содействие России в борьбе против воинственных племен Китай передавал под русское управление значительные территории как в XVIII, так и в XIX веке, породив ряд «неравноправных договоров», которые с тех пор поносило каждое из китайских правительств, особенно коммунистическое.

Характерно то, что с каждым новым приобретением, похоже, российский аппетит к приобретению азиатских территорий только рос. В 1903 году Сергей Витте, министр финансов и доверенное лицо царя, писал Николаю II: «С учетом нашей огромной границы с Китаем и нашего исключительно выгодного положения поглощение Россией значительной части Китайской империи является лишь вопросом

времени»[216]. Так же, как и в отношении Османской империи, русские руководители стояли на той точке зрения, что Дальний Восток является личным делом России и никто в мире не имеет права вмешиваться. Россия иногда осуществляла продвижение на всех фронтах одновременно; часто выдвигался вперед или запаздывал то один, то другой, в зависимости от того, где экспансия казалась менее рискованной.

Политический аппарат императорской России отражал двойственный характер империи. Российское министерство иностранных дел являлось департаментом Канцелярии и было укомплектовано независимыми чиновниками, ориентирующимися преимущественно на Запад[217]. Эти чиновники, чаще всего прибалтийские немцы, рассматривали Россию как европейское государство, политика которого должна осуществляться с учетом интересов «европейского концерта». Роль Канцелярии, однако, оспаривалась Азиатским департаментом, который был столь же независимым и отвечал за русскую политику по отношению к Османской империи, Балканам и Дальнему Востоку, где у России было реальное продвижение вперед. В отличие от Канцелярии, Азиатский департамент не считал себя частью, «европейского концерта». Взвешивая на страны Европы как на препятствия к осуществлению собственных планов, Азиатский департамент полагал европейские страны не имеющими отношения к его деятельности и изыскивал возможности достижения поставленных Россией целей посредством односторонних договоров или путем войн, развязываемых без оглядки на Европу. Поскольку Европа настаивала на том, чтобы вопросы, связанные с Балканами и Османской империей, решались «концертом», частые конфликты становились неизбежны, а возмущение России росло по мере того, как ее планы все чаще срывались странами, которые она считала лезущими не в свое дело.

Частью оборонительная, частью наступательная, русская экспансия всегда носила двойственный характер, и эта ее двойственность порождала споры на Западе относительно истинных намерений России, которые продолжались вплоть до окончания советского периода. Одной из причин извечных трудностей в понимании целей и задач России было то, что российское правительство, даже в коммунистический период, было более схоже с самодержавным двором XVIII века, чем с правительством супердержавы века XX. Ни императорская, ни коммунистическая Россия не породила великого министра иностранных дел. Так, к

примеру, Нессельроде, Горчаков, Гире, Ламсдорф или даже Громыко, ее министры иностранных дел, были подготовленными и способными людьми, но у них не было полномочий планировать долгосрочную политику. Они были чуть более, чем слуги непостоянного и легко выходящего из себя автократа, за милости которого приходилось соперничать с другими посреди множества проблем чисто внутреннего характера. У императорской России не было ни Бисмарка, ни Солсбери, ни Рузвельта — короче говоря, ни одного ответственного министра, наделенного исполнительной властью в вопросах внешней политики.

И даже тогда, когда правящий царь был сильной личностью, автократическая система выработки в России политических решений мешала согласованности внешней политики. Стоило кому-то из царей уютно сработаться с министром иностранных дел, как последнего стремились удержать на посту до глубокой старости. Так обстояло дело с Нессельроде, Горчаковым, Гирсом. На срок службы этих трех министров пришлась значительная часть XIX века. Даже будучи престарелыми людьми, они оказывались неоценимо полезными для иностранных государственных деятелей. Те не напрасно считали их единственными лицами, с которыми стоило встречаться в Санкт-Петербурге: ведь они были единственными сановниками, имевшими непосредственный доступ к царю. Протокол запрещал практически кому бы то ни было, кроме них, просить аудиенцию у царя.

Процесс принятия решений в еще большей степени усложнялся тем, что исполнительная власть царя часто отступала на второй план перед его аристократическими представлениями о том, как положено жить государю. К примеру, сразу же после подписания «Договора перестраховки», в ключевой период в российских иностранных делах, Александр III уезжает из Санкт-Петербурга на целых четыре месяца — с июля по октябрь 1887 года — и занимается катанием на яхте, посещением маневров и визитами к родственникам жены в Данию. И в то время как единственное лицо, принимающее решения, находится вне пределов досягаемости, российская внешняя политика беспомощно барахтается на одном месте. При этом политические шаги царя часто были подвержены сиюминутным настроениям. К тому же на них оказывали огромное влияние националистические агитаторы, поддерживаемые военными. Авантюристически настроенные военные, наподобие генерала Кауфмана в Средней Азии, вряд ли вообще обращали внимание на

существование министров иностранных дел. Не исключено, что Горчаков говорил правду, когда в описанной в предыдущей главе беседе с британским послом заявил о том, как мало он знает о происходящем в Средней Азии.

Во времена Николая II, правившего с 1894 по 1917 год, Россия была вынуждена платить дорогой ценой за внутренние установления деспотического характера. Николай вначале втянул Россию в катастрофическую войну с Японией, а затем позволил собственной стране стать пленником системы альянсов, сделавшей войну с Германией неизбежной в самом буквальном смысле. В то время как энергия России была направлена в сторону завоеваний и тратилась на сопутствующие внешнеполитические конфликты, ее социально-политическая структура становилась весьма зыбкой. Поражение в войне с Японией в 1905 году должно было послужить предупреждением, что время для внутренней консолидации, как утверждал великий реформатор Петр Столыпин, на исходе. Россия нуждалась в передышке; получила же она очередную заграничную авантюру. Остановленная в Азии, она вернулась к панславистским мечтаниям и прорыву к Константинополю, но на этот раз все вышло из-под контроля.

Ирония судьбы заключалась в том, что на определенном этапе экспансионизм более не умножал мощь России, но способствовал ее упадку. В 1849 году Россия в самом широком плане считалась сильнейшей страной Европы. Через семьдесят лет произошла гибель династии, и страна временно выбыла из числа великих держав. В промежутке между 1848 и 1914 годами Россия была вовлечена в поддюжину войн (колониальные не в счет). Таким не могла похвастаться ни одна великая держава. В каждом из этих конфликтов, за исключением интервенции в Венгрию в 1849 году, финансово-политические потери России намного превышали ожидаемые выгоды. Хотя каждый из этих конфликтов собирал свою дань, Россия продолжала отождествлять свой статус великой державы с территориальной экспансией; она с жадностью пожирала все больше и больше земель, которые ей не были нужны и которые она не могла переварить. Ближайший советник царя Николая II Сергей Витте обещал ему, что «с берегов Тихого океана и с вершин Гималаев Россия будет господствовать не только над делами Азии, но и Европы»[218]. Экономическое и социально-политическое развитие пошло бы стране в индустриальный век гораздо более на пользу, чем превращение Болгарии в сателлита или установление

протектората в Корее.

Некоторые из русских руководителей, например Горчаков, были достаточно мудры, чтобы осознать, что для России «расширение территории есть расширение слабости»[219], но подобная точка зрения не способна была умерить российскую манию новых завоеваний. В итоге коммунистическая империя развалилась по тем же причинам, что и царская. Советскому Союзу было бы гораздо лучше оставаться в пределах границ, сложившихся после второй мировой войны, а с другими странами установить отношения так называемой «спутниковой орбиты», наподобие тех, которые он поддерживал с Финляндией.

Когда два колосса: мощная, импульсивная Германия и огромная, неугомная Россия — то и дело наталкиваются друг на друга в самом центре континента, конфликт становится вероятным независимо от того, что Германии нечего приобретать от войны с Россией, а Россия может все потерять в войне с Германией. Мир в Европе, таким образом, зависел от той единственной страны, которая умело играла роль регулятора в течение всего XIX века и проявляла при этом завидную умеренность.

В 1890 году термин «блестящая изоляция» все еще являлся точной характеристикой британской внешней политики. Британские подданные с гордостью называли свою страну «маятником» Европы, вес которого не давал возможности ни одной из коалиций континентальных держав приобрести доминирующее значение. Зато само участие в альянсах было почти так же традиционно неприемлемо для британских государственных деятелей, как и для американских изоляционистов. И все же не пройдет и двадцати пяти лет, как англичане будут сотнями тысяч умирать на вязких глинистых полях Фландрии, воюя на стороне французского союзника против германского противника.

Дело в том, что в промежуток между 1890 и 1914 годами в британской политике произойдут знаменательные перемены. Самым интересным при этом было то, что человек, прошедший Великобританию сквозь первый этап переходного периода, был самым олицетворением всего традиционного для Великобритании и британской внешней политики. Ибо маркиз Солсбери был образцом англичанина до мозга костей. Он являлся отпрыском древнего рода Сесилей, чьи предки служили первыми министрами британских монархов со времен королевы Елизаветы I. Король Эдуард

VII, правивший с 1901 по 1910 год и, по сравнению с Сесиями, происходивший из «выскочек», как поговаривали, то и дело сетовал по поводу высокомерного тона, в котором беседовал с ним Солсбери.

Карьера Солсбери в мире политики была как бы predetermined и не потребовала особых усилий. Получив образование в Оксфорде в Крайст-Черч-колледже, юный Солсбери путешествовал по Европе, совершенствовал свой французский и встречался с главами государств. К сорока восьми годам, побывав в должности вице-короля Индии, он стал у Дизраэли министром иностранных дел и играл важную роль на Берлинском конгрессе, где вел большую часть повседневных переговоров. После смерти Дизраэли Солсбери принял на себя лидерство в консервативной партии и, если не считать последнего периода пребывания Гладстона у власти в 1892 — 1894 годах, выступал как ведущая фигура британской политики в течение последних пятнадцати лет XIX века.

В некоторых отношениях позиция Солсбери чем-то напоминала позицию президента Буша, хотя английский политик дольше занимал высший государственный пост страны. Оба государственных деятеля очутились в мире, менявшем свой облик к тому времени, как они пришли к власти, хотя этот факт тогда ни для одного из них не был очевиден. Оба оказали влияние на текущую политику тем, что знали, как обращаться с тем, что они унаследовали. Точка зрения Буша на мир была сформирована «холодной войной», во время которой он достиг видного общественного положения и завершением которой обстоятельства вынудили его руководить на самой вершине карьеры; Солсбери же сформировался в пальмерстоновскую эпоху абсолютного британского превосходства на морях и непримиримого англо-русского соперничества, причем в период его руководства страной и то и другое приходило к концу.

Правительство Солсбери должно было действовать в условиях падения относительного могущества Великобритании. Ее огромная экономическая мощь теперь стала параллельна германской; Россия и Франция расширяли имперское влияние и бросали вызов Великобритании практически везде. Хотя Великобритания в этом отношении все еще была ведущей державой, ее преобладание, характерное для середины XIX века, сходило на нет. Но точно так же, как Буш умело приспособился к тому, что он не в состоянии был предвидеть, к 90-м годам XIX века лидеры

Великобритании признали необходимость подстраивать традиционную политику под возникающие в мире неожиданности.

Тучный и взъерошенный, лорд Солсбери внешне скорее казался олицетворением приверженности Великобритании к статус-кво, чем носителем перемен. Автор выражения «блестящая изоляция», Солсбери, как это представлялось, должен был бы проводить традиционную британскую политику, стойко и неколебимо противостоять за морем всем прочим имперским державам и вовлекать Великобританию в континентальные альянсы только тогда, когда это было последним усилием по предотвращению изменения соотношения сил агрессором. Для Солсбери островное положение Англии означало, что идеальной политикой была бы активность на морских просторах и отсутствие прочных и обязывающих связей с привычными континентальными союзами. «Мы рыба», — как-то безапелляционно заявил он.

Но в итоге Солсбери вынужден был признать, что чересчур разбросанная вширь Британская империя изнемогает под натиском России на Дальнем и Ближнем Востоке и Франции в Африке. В колониальную гонку вступила даже Германия. И хотя Франция, Германия и Россия то и дело вступали в конфликт друг с другом на континенте, они всегда все вместе сталкивались с Великобританией на заморских территориях. Ибо Великобритания не только владела Индией, Канадой и значительной частью Африки, но отстаивала свою гегемонию на обширных территориях, которые по стратегическим соображениям не желала отдавать в руки другой державе, даже если та добивалась лишь косвенного контроля. Солсбери определял такого рода требования как «нечто вроде нанесения клейма на территорию, которую, в случае возникновения военного взрыва, Англии бы не хотелось отдавать во владение иной державе»[220]. К этим районам относились Персидский залив, Китай, Турция и Марокко. В течение всех 90-х годов Великобританию донимали бесконечные столкновения с Россией в Афганистане, по поводу проливов, а также в Северном Китае, а с Францией в Египте и в Марокко.

С заключением Средиземноморских соглашений 1887 года Великобритания стала косвенно связана с Тройственным союзом Германии, Австро-Венгрии и Италии в надежде, что Италия и Австрия укрепят ее позицию в отношениях с Францией в Северной Африке и с Россией на Балканах. И все же Средиземноморские соглашения оказались только суррогатом.

Новая Германская империя, лишенная главного стратега, не знала, что делать с открывшимися перед ней возможностями. Геополитические реальности постепенно выводили Великобританию из «блестящей изоляции», хотя традиционалисты все еще исписывали на эти темы горы бумаги. Первым шагом в сторону большей занятости делами на континенте было стремление к потеплению отношений с императорской Германией. Будучи убеждены в том, что Россия и Великобритания отчаянно нуждаются в Германии, творцы германской политики полагали, что они могут заключить сделку с каждой из этих стран одновременно, потребовав очень высокую цену, но не представляли себе, какой может быть конкретный характер подобных сделок, и уж конечно, им даже не приходило в голову, что тем самым Россия и Великобритания подталкиваются к сближению. И когда Германия, предъявляя требования по принципу «все или ничего», натолкнулась на решительный отказ, ее руководители в раздражении замкнулись в себе, чтобы потом быстро перейти к воинственным заявлениям. Подобный подход резко контрастировал с французским, носившим медленный, постепенный характер, шаг за шагом подводивший в течение двадцати лет Россию и дополнительные полтора десятилетия Великобританию к готовности предложить вступление в союз. Ибо весь тот шум, который производила постбисмарковская Германия, вся ее внешняя политика носили откровенно любительский, близорукий и даже робкий характер, когда возникала созданная самой же Германией конфронтация.

Первым дипломатическим шагом рокового курса Вильгельма II был отказ от предложения царя продлить действие «Договора перестраховки» на трехлетний срок. Отвергая инициативу России в самом начале своего правления, кайзер и его советники выдернули, возможно, самую крепкую нить из ткани бисмарковской системы взаимно переплетающихся союзов. Они исходили из трех соображений: во-первых, хотели сделать свою политику «простой и прозрачной», насколько возможно (новый канцлер Каприви как-то признался, что не обладает способностью Бисмарка жонглировать восемью шарами одновременно); во-вторых, хотели заверить Австрию, что союз с ней является наивысшим приоритетом; наконец, считали «Договор перестраховки» препятствием к избранному курсу сколачивания союза с Великобританией.

Каждое из этих соображений демонстрировало полное отсутствие геополитического мышления, благодаря чему Германия Вильгельма II постепенно изолировала сама

себя. Сложность германской политики определялась ее географическим положением историей; и никакая «простая» политика не способна была вобрать в себя все эти аспекты. Именно двусмысленный характер одновременного наличия договора с Россией и альянса с Австрией позволял Бисмарку выступать в роли регулятора, умеряя австрийские страхи и русские амбиции в течение двадцати лет без какого бы то ни было разрыва с каждой из этих стран или эскалации сугубо местных балканских кризисов. Прекращение действия «Договора перестраховки» создавало в корне противоположную ситуацию: ограничение для Германии возможностей выбора поощряло австрийский авантюризм. Николай Гире, российский министр иностранных дел, понял это сразу и заметил: «Посредством расторжения нашего договора [„Договора перестраховки“] Вена освободилась от мудрого и благожелательного, но одновременно жесткого контроля со стороны князя Бисмарка»[221].

Отказ от «Договора перестраховки» не только лишил Германию рычагов воздействия на Австрию, но и, прежде всего, усилил русские опасения. Опора Германии на Австрию была истолкована в Санкт-Петербурге как новая предпосылка к поддержке Австрии на Балканах. Стоило Германии поставить себя в положение препятствия русским целям в регионе, который никогда не представлял для Германии жизненно важного интереса, как Россия тотчас же бросилась искать противовес, которым охотно готова была стать Франция.

Поползновения России двигаться в направлении Франции были подкреплены фактом заключения Германией колониального соглашения с Великобританией, что последовало почти немедленно после отказа кайзера возобновить «Договор перестраховки». Великобритания получила от Германии истоки Нила и участки земли в Восточной Африке, включая остров Занзибар. В качестве *quid pro quo* Германии досталась относительно небольшая полоска земли, соединяющая Юго-Западную Африку с рекой Замбези, — так называемая «полоса Каприви». А также — остров Гельголанд в Северном море, который, как считалось, имел определенное стратегическое значение для охраны германского побережья от нападения с моря.

Для каждой из сторон сделка была неплохой, хотя она превратилась в первое из серии недоразумений. Лондон воспринимал соглашение как средство урегулирования колониальных проблем; Германия же видела в нем прелюдию к заключению англогерманского союза; ну, а Россия пошла еще дальше и истолковала его как первый

шаг Англии к вступлению в Тройственный союз. В связи с этим барон Штааль, русский посол в Берлине, озабоченно докладывал о пакте между историческим другом России Германией и ее традиционным врагом Великобританией в следующих выражениях:

«Если кто-то связан с кем-то еще многочисленными интересами и позитивными обязательствами в какой-то точке земного шара, то он почти наверняка будет действовать с другим в форме концерта по всем крупным вопросам, которые могут возникнуть на международном поприще... Фактически достигнуто согласие с Германией. Оно не может не повлиять на отношения Англии с прочими державами Тройственного союза»[222].

Бисмарковский кошмар коалиций начинал превращаться в явь, ибо конец «Договора перестраховки» мостил путь к франко-русскому альянсу.

Германия рассчитала, что Франция и Россия никогда не вступят в союз, поскольку России незачем воевать за Эльзас-Лотарингию, а Франции ни к чему братья за оружие из-за балканских славян. Однако выяснилось, что это одно из множества грубейших концептуальных заблуждений поствисмарковского руководства императорской Германии. Как только Германия безоговорочно встала на сторону Австрии, Франция и Россия на деле стали нуждаться друг в друге, какими бы различными ни были их цели, ибо ни одна из этих стран не смогла бы выполнить стоящие перед ними задачи стратегического характера, не победив вначале или хотя бы не ослабив Германии. Франции это требовалось потому, что Германия никогда бы не отдала Эльзас-Лотарингии без войны, а Россия знала, что ей ни за что не обрести славянских земель Австрийской империи, не победив Австрии, чему Германия будет безоговорочно сопротивляться, ибо это следовало из отказа возобновить «Договор перестраховки». А у России не было шансов в столкновении с Германией без помощи Франции.

В пределах года с момента отказа Германии возобновить «Договор перестраховки» Франция и Россия подписали «договор о сердечном согласии», обеспечивающий взаимную дипломатическую поддержку. Престарелый российский министр иностранных дел Гире предупреждал, что это соглашение не разрешает фундаментальной проблемы, стоящей перед Россией и заключающейся в том, что принципиальным противником России является не Германия, а Великобритания.

Отчаянно пытающаяся выйти из изоляции, на которую обрек ее Бисмарк, Франция согласилась добавить к франко-русскому соглашению оговорку, обязывающую Францию оказать России дипломатическую поддержку в случае какого бы то ни было колониального конфликта с Великобританией.

Для французских руководителей эта антибританская оговорка представлялась мизерной входной платой для вступления в то, что потом обязательно должно было обернуться антигерманской коалицией. И впоследствии французские усилия были направлены на превращение франко-русского соглашения в военный союз. Хотя русские националисты приветствовали бы подобный военный пакт, который ускорил бы расчленение Австрийской империи, русским традиционалистам было не по себе. Будущий преемник Гирса на посту министра иностранных дел граф Владимир Ландсдорф пишет у себя в дневнике в начале февраля 1892 года:

«Они [французы] также готовятся связать нас предложениями о заключении соглашения о совместных военных действиях на случай нападения третьей стороны... Но за чем излишним рвением портить хорошую вещь? Нам нужны мир и покой с учетом тягот вызванного неурожаем голода, неудовлетворительного состояния наших финансов незавершенности нашей программы вооружений, отчаянного состояния системы путей сообщения и, наконец, возобновления активности в лагере нигилистов»[223].

В конце концов либо французским руководителям удалось рассеять сомнения Ландсдорфа, либо он получил прямое указание царя. В 1894 году была подписана военная конвенция, согласно которой Франция соглашалась помочь России в случае нападения на Россию Германии или Австрии в сочетании с Германией. Россия поддерживала бы Францию в случае нападения Германии или Австрии в сочетании с Италией. И если франко-русское соглашение 1891 года могло считаться обычным дипломатическим инструментом и трактоваться как направленное и против Великобритании, и против Германии, единственным противником, упомянутым в военной конвенции, была Германия. То, что Джордж Кеннан позднее назовет «роковым альянсом» (франко-русская Антанта 1891 года, подкрепленная военной конвенцией 1894 года), означало веху на стремительном пути Европы к войне.

Это было началом конца поддержания равновесия сил. Равновесие сил функционирует лучше всего, когда налицо по меньшей мере одно из следующих

условий: первое, когда каждая из наций ощущает себя свободной объединяться с любым другим государством в зависимости от обстоятельств момента. Второе, когда даже при наличии постоянных союзов есть регулятор, следящий за тем, чтобы ни одна из существующих коалиций не получила преобладания, — подобная ситуация сложилась как раз после заключения франко-русского договора, ибо Великобритания продолжала действовать в качестве регулятора и, по существу, обхаживалась обеими сторонами. Третье, когда при наличии жестких по характеру союзов и отсутствии регулятора силы сцепления между союзами относительно невелики, так что по каждому конкретному поводу возможны либо компромиссы, либо перегруппировки.

Когда не действует ни одно из этих условий, дипломатия становится жесткой. Игра, ведущаяся по нулям, означает, что прибыль одной из сторон обращается в убыток другой. Гонка вооружений и рост напряженности становятся неизбежны. Такова была ситуация во время «холодной войны», и точно то же молчаливо складывалось в Европе после того, как Великобритания присоединилась к франко-русскому союзу, тем самым сформировав Тройственное согласие, начавшее свою деятельность в 1908 году.

Но, в отличие от «холодной войны», мировой порядок после 1891 года не сразу стал жестким, ибо единичного вызова оказалось недостаточно. Понадобилось пятнадцать лет, чтобы были последовательно уничтожены все три составляющих элемента гибкой международной политики. После оформления Тройственного согласия перестало функционировать какое бы то ни было равновесие. Силовые испытания стали правилом, а не исключением. Дипломатия как искусство компромисса кончилась. Выход событий из-под контроля в результате какого-нибудь кризиса стал всего лишь вопросом времени.

Но когда в 1891 году Франция и Россия очутились в едином строю против Германии, та все еще надеялась, что ей удастся обеспечить уравновешивающий альянс с Великобританией. Этому страстно жаждал Вильгельм II, но это оказалось невозможным в силу его импульсивного поведения. Колониальное соглашение 1890 года не привело к союзу, которого так опасался русский посол. Отчасти этому помешали внутривнутриполитические факторы в Великобритании. Когда уже пожилой Гладстон в 1892 году в последний раз занял пост премьер-министра, то ранил нежную душу кайзера тем, что наотрез отказался от какой бы то ни было связи с

автократической Германией или Австрией.

И все же фундаментальной причиной неудачи ряда попыток организовать англогерманский союз явилось упорное непонимание германским руководством сущности традиционной британской внешней политики, а также реальных требований собственной безопасности. В течение полутора столетий Великобритания отказывалась связывать себя открытым военным союзом. Она брала на себя лишь два типа обязательств: военные соглашения ограниченного характера по четко определенным, конкретно оговоренным угрожающим ситуациям или договоренности о взаимопонимании, где шла речь о дипломатическом сотрудничестве по тем вопросам, где возникали параллельные интересы с другой страной. В определенном смысле британское определение сущности взаимопонимания было, по существу, тавтологией: Великобритания будет сотрудничать тогда, когда она захочет сотрудничать. Но договоренность о взаимопонимании порождала моральные и психологические связи, а также презумпцию — если не юридическую обязанность — совместных выступлений во время кризисов. Такого рода союз отдалил бы Великобританию от Франции и России или, по крайней мере, усложнил бы сближение с ними.

Германия отвергла столь неформальные процедуры. Вильгельм II — приведу его выражение — настаивал на соглашении «континентального типа». В 1895 году он так и заявил: «Если Англия хочет союзников или помощи, то она должна отказаться от своей политики непринятия обязательств континентального типа и обеспечить наличие гарантии их выполнения»[224]. Что же под этим имел в виду кайзер? После почти столетия «блестящей изоляции» Великобритания явно не была готова принять на себя постоянные обязательства на континенте, которых она так тщательно избегала в течение ста пятидесяти лет, особенно в связи с Германией, все набирающей мощь.

Вдобавок германский нажим по поводу формальных гарантий был во вред стране еще и потому, что Германия, по существу, в них не нуждалась, ибо была достаточно сильна, чтобы нанести поражение любому предполагаемому противнику — или противникам — на континенте при условии, что на их стороне не выступит Великобритания. Германии следовало просить у Великобритании не союза, а благожелательного нейтралитета на случай войны на континенте, и на такой случай договоренности о взаимопонимании типа Антанты было бы вполне достаточно.

Запрашивая то, что ей не нужно, и предлагая то, чего Великобритания не хотела (всеобъемлющие обязательства по защите Британской империи), Германия вызвала у Великобритании подозрения, а не стремится ли та на самом деле к мировому господству.

Германское нетерпение лишь усугубило сдержанность британцев, которые стали испытывать глубочайшие сомнения по поводу того, здраво ли судит о вещах их потенциальный партнер. «Я вовсе не собираюсь пренебрегать откровенно выраженным беспокойством моих германских друзей, — писал Солсбери. — Но вряд ли было бы разумным в значительной степени руководствоваться их советом. Их „Дьявола во плоти“ больше нет. Они стали гораздо милее и приятнее в обиходе, но как им не хватает сейчас исключительной проницательности Старика [Бисмарка]!» [225]

В то время как германское руководство лихорадочно изыскивало возможности вступления в союзы, германская публика требовала проведения еще более напористой внешней политики. Только социал-демократы какое-то время выделялись на общем фоне, хотя в конце концов и они подчинились общественному мнению и поддержали объявление Германией войны в 1914 году. Руководящие классы Германии не имели опыта европейской дипломатии, а еще меньше представляли себе, что такое *Weltpolitik*, на проведении которой столь рьяно настаивали. На юнкеров, приведших Пруссию к господству над Германией, ляжет после двух мировых войн пятно позора, особенно в восприятии Соединенных Штатов. На самом деле юнкеры как раз наименее виноваты в переборе, допущенном в области международных отношений, поскольку в своей основе были ориентированы на внутриконтинентальную политику и мало интересовались событиями за пределами Европы. Скорее в этом плане следовало бы говорить о новых руководителях промышленности и о все более многочисленном в Германии слое представителей свободных профессий, которые стали эпицентром национальной агитации в отсутствие парламентского буфера, уже несколько столетий существовавшего в Великобритании и Франции. В этих западных демократиях сильные националистические течения направляются по каналам парламентских институтов; в Германии они вынуждены были искать свое выражение во внепарламентских группах давления.

Несмотря на всю автократичность Германии, ее лидеры ревниво прислушивались к общественному мнению, и на них националистические группы давления оказывали

сильнейшее влияние. Эти последние воспринимали дипломатию и международные отношения как нечто вроде спортивных состязаний и все время подталкивали правительство к занятию более жесткой линии, расширению территориальной экспансии, приобретению новых колоний, усилению армии, увеличению числа военных кораблей. Националисты воспринимали нормальную дипломатию взаимных уступок и взаимных выгод, малейший намек на шаг в сторону партнера со стороны германской дипломатии как страшнейшее унижение. Курт Рицлер, политический секретарь германского канцлера Теобальда фон Бетман-Гольвега, занимавшего этот пост в момент объявления войны, весьма уместно заметил: «Угроза войны в наше время проистекает... из внутренней политики тех стран, где слабому правительству противостоит сильное националистическое движение»[226].

Подобный эмоциональный и политический климат породил крупнейший германский политический промах — так называемую «Крюгеровскую телеграмму», — из-за которого император подорвал саму возможность британского альянса, по крайней мере, до конца столетия. В 1895 году некий полковник Джемисон при поддержке представителей британских колониальных интересов и, самое главное, Сесилия Родса устроил набег на независимое бурское государство в Южной Африке — Трансвааль. Набег окончился полнейшей неудачей и поставил в более чем неловкое положение правительство Солсбери, которое утверждало, что не имеет к нему непосредственного отношения. А германская националистическая пресса надрывала глотки, требуя унижить британцев еще больше.

Фридрих фон Гольштейн, главный советник и «серый кардинал» министерства иностранных дел, увидел в этом злосчастном набеге возможность показать британцам, какие преимущества дает дружественное отношение Германии, путем демонстрации того, каким она может быть въедливым оппонентом. Со своей стороны, кайзер не мог сдержаться и не воспользоваться случаем в очередной раз проявить высокомерную прыть. Вскоре после Нового, 1896 года он направил послание президенту Трансвааля Паулю Крюгеру и поздравил его с отражением «нападения извне». /Это была прямая пощечина Великобритании, которая увидела в этом призраки германского протектората в самом центре региона, который британцы считали сферой собственных интересов. На самом деле «Крюгеровская телеграмма» не отражала ни германских колониальных чаяний, ни германской внешней политики, ибо была в

чистом виде игрой на публику, и игра достигла своей цели: «Ни одно из действий правительства за многие годы, — писала либеральная „Альгемайне цайтунг" 5 января, — не давало столь полного удовлетворения, как это... Это послание проистекает из самой глубины души немецкого народа...»[227] Близорукость и нечувствительность Германии усугубили эту тенденцию. Кайзер и его окружение решили: коль скоро любезное обхождение с Великобританией не повлекло за собой заключения союза, то, быть может, германское неудовольствие, которое обойдется куда дороже несговорчивым британцам, окажется для них более убедительным. К несчастью для Германии, подобный подход не согласовывался с историческим опытом, где полностью отсутствовали примеры британских уступок запугиванию.

То, что началось как мелкое поддразнивание в целях демонстрации ценности германской дружбы, постепенно стало превращаться в подлинный стратегический вызов. Ни один вопрос не смог бы превратить Великобританию в столь непримиримого противника, как угроза ее господству на морях. Но именно этим как раз и занялась Германия, похоже, даже не отдавая себе отчета в том, что этот вызов уже нельзя будет взять назад и он без ответа не останется. Начиная с середины 90-х годов XIX века внутри Германии стало возрастать давление по поводу строительства крупного военно-морского флота. Во главе его стояли так называемые «флоттенбауэры» — одна из многих возникших тогда групп давления, в составе которой были и промышленники, и определенное число морских офицеров. Поскольку «флоттенбауэры» были заинтересованы в росте напряженности в отношениях с Великобританией, дабы оправдать ассигнования на военно-морские нужды, они с энтузиазмом восприняли телеграмму Крюгеру. Как, впрочем, восприняли бы любой другой повод для конфликта с Великобританией в отдаленных уголках земного шара, начиная от статуса Самоа и кончая проблемой границ Судана и будущего португальских колоний.

Так начался порочный круг, завершившийся конфронтацией. И все ради того, чтобы построить флот, который в будущей мировой войне всего один раз сойдется с британским — в не принесшем решающего успеха ни одной из сторон Ютландском бою. Так Германия умудрилась добавить к растущему списку оппонентов еще и Великобританию. А та, разумеется, не могла остаться безучастной к тому, что континентальная держава, уже обладающая самой сильной армией в Европе,

поставила себе целью добиться паритета с Великобританией на морях.

И все же кайзер, похоже, безразлично относился к результатам своей политики. Британское раздражение германским воинственным пустозвонством и строительством военно-морского флота поначалу не меняло того непреложного факта, что на Англию имеет место давление Франции в отношении Египта и вызов со стороны России в Средней Азии. Ну а если Россия и Франция решат сотрудничать и начнут одновременно оказывать давление на Великобританию в Афганистане, Африке и Китае? А если немцы присоединятся к ним и организуют нападение на империю в Южной Африке? И британские руководители засомневались, является ли «блестящая изоляция» все еще приемлемой внешней политикой.

Наиболее влиятельным и громким глашатаем группировки сторонников пересмотра прежней политики был министр по делам колоний Джозеф Чемберлен. Лихой и бесшабашный, принадлежащий к следующему за Солсбери поколению, Чемберлен как бы олицетворял XX век, призывая к вступлению в хоть какой-нибудь союз, предпочтительно с Германией, в то время как стареющий патриций строго держался изоляционистских побуждений предшествующего столетия. В программной речи, произнесенной в ноябре 1899 года, Чемберлен призывал к созданию «тевтонского» союза, куда бы входили Великобритания, Германия и Соединенные Штаты[228]. Чемберлен до такой степени был одержим этой идеей, что передал этот план Германии без предварительного одобрения Солсбери. Однако германские руководители продолжали настаивать на формальных гарантиях и никак не могли взять в толк, что такого рода условия не имеют никакого отношения к делу и что для них самое главное — это британский нейтралитет в случае войны на континенте.

В октябре 1900 года ухудшившееся здоровье Солсбери вынудило его отказаться от поста министра иностранных дел, хотя он и сохранил за собой пост премьер-министра. Его преемником в должности министра иностранных дел стал лорд Ленсдаун, соглашавшийся с Чемберленом в том, что Великобритания более не может обеспечить свою безопасность путем следования политике «блестящей изоляции». И все же Ленсдауну не удалось обеспечить консенсус относительно заключения полномасштабного формального соглашения с Германией, поскольку кабинет не пожелал идти далее договоренности о взаимопонимании типа Антанты: «...общего понимания «касательно политики, которую они (британское и германское

правительства) могут проводить применительно к конкретным вопросам или в конкретных частях света, где ими проявляется равная заинтересованность»[229]. Это в основном была бы та же самая формула, которая несколько лет спустя использовалась при заключении с Францией договора «сердечного согласия» и оказалась вполне достаточной, чтобы Великобритания вступила в первую мировую войну на стороне Франции.

И опять Германия отвернулась от возможного и легкодоступного в пользу явно недостижимого. Новый германский канцлер Бюлов отверг идею договоренности в стиле Антанты, поскольку был более обеспокоен общественным мнением, чем геополитическими перспективами, да и к тому же первостепенным для него было убедить парламент проголосовать в пользу крупного увеличения германского военно-морского флота. Он готов был бы урезать военно-морскую программу, лишь получив в обмен не меньше, чем присоединение Великобритании к Тройственному союзу Германии, Австрии и Италии. Солсбери отверг разыгранную Бюловом партию в стиле «все или ничего», и в третий раз в продолжение одного десятилетия соглашение между Англией и Германией превратилось в пустой звук.

Коренное несовпадение представлений Великобритании и Германии относительно сущности внешней политики видно хотя бы из того, как оба руководителя объясняли свою неудачу в достижении договоренности. Бюлов весь был во власти эмоций, когда обвинял Великобританию в провинциализме, игнорируя тот факт, что Великобритания к моменту объединения Германии уже более столетия вела глобальную внешнюю политику:

«Английским политическим деятелям мало что известно относительно континента. С континентальной точки зрения, они знают об этом столько же, сколько мы об идеях, наличествующих в Перу или Сиаме. Они наивны в своем сознательном эгоизме и, в определенном смысле, в слепой уверенности. Им затруднительно поверить в действительное наличие у других дурных намерений. Они очень спокойны, очень флегматичны и очень симпатичны...»[230]

Ответ Солсбери принял форму лекции на тему тщательно продуманного стратегического анализа, полезного неумному и довольно плохо ориентирующемуся собеседнику. Прочитав бестактное замечание германского посла в Лондоне, полагавшего, что Великобритания нуждается в союзе с Германией для того, чтобы

избежать опасной изоляции, он писал:

«Обязательство защищать германские и австрийские границы против России является более весомым, чем обязательство защищать Британские острова против Франции... Граф Хатцфельд говорит о нашей «изоляции», как представляющей для нас серьезную опасность. А ощущали ли мы когда-либо практически эту опасность? Если бы мы потерпели поражение в революционной войне, то наша неудача имела бы своей причиной вовсе не нашу изоляцию. У нас было много союзников, но они не спасли бы нас, если бы французский император оказался в состоянии господствовать над Ла-Маншем и Па-де-Кале. И если исключить период его [Наполеона] правления, мы так никогда и не были в опасности; и поэтому не в состоянии судить о том, является ли «изоляция», от которой мы предположительно страдаем, носителем каких бы то ни было элементов губительного риска. И вряд ли было бы мудро принимать на себя новые и весьма обременительные обязательства, с тем чтобы уберечь себя от опасности, для веры в существование которой у нас нет исторических причин»[231].

Великобритания и Германия просто-напросто не имели достаточного количества общих, тесно связанных интересов, чтобы оправдать формальный альянс глобального характера, которого так жаждала императорская Германия. Британцы опасались того, что новое приращение германской мощи превратит предполагаемого союзника в нечто вроде державы-гегемона, чему Великобритания противостояла на протяжении всей своей истории. В то же время Германия вовсе не стремилась играть при Великобритании вторые роли, да еще по вопросам, традиционно находившимся на периферии германских интересов, как, например, угроза Индии, а надменное самодовольство Германии не давало ей понять, насколько выгоден британский нейтралитет.

Следующий шаг министра иностранных дел Ленсдауна продемонстрировал: самодовольное убеждение германских руководителей в абсолютной необходимости собственной страны для интересов Великобритании — всего лишь мыльный пузырь. В 1902 году Ленсдаун потряс Европу, заключив союз с Японией, ибо впервые с той поры, когда Ришелье вступил в отношения с оттоманскими турками, какая-либо из европейских стран в поисках помощи вышла из рамок «европейского концерта». Великобритания и Япония договорились о том, что если любая из них окажется вовлеченной в войну с одной посторонней державой по поводу Китая или Кореи, то

другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет. Если, однако, любая из договаривающихся сторон будет атакована двумя противниками, то другая договаривающаяся сторона будет обязана оказать содействие своему партнеру. Понятно, что этот союз мог действовать только тогда, когда Япония воевала бы с двумя противниками одновременно. Великобритания наконец нашла себе союзника, который прямо-таки рвался сдерживать Россию, не заставляя своего партнера брать на себя чуждые ему обязательства, да еще такого, чье дальневосточное географическое положение представляло для Великобритании гораздо больший стратегический интерес, чем русско-германская граница. И к тому же Япония получала защиту от Франции, которая, в отсутствие подобного союза, могла бы попытаться использовать войну, настоятельно претендуя на русскую поддержку. С того момента Великобритания потеряла всякий интерес к Германии как к стратегическому партнеру; более того, со временем Великобритания придет к тому, что станет рассматривать Германию как угрозу в геополитическом плане.

Тем не менее еще в 1912 году существовала возможность урегулирования затруднений в отношениях между Англией и Германией. Лорд Холден, Первый лорд Адмиралтейства, посетил Берлин, чтобы обсудить вопросы смягчения напряженности. Холден получил инструкции искать договоренности с Германией на базе морского соглашения одновременно с выдачей заверения в британском нейтралитете: «Если одна из высоких договаривающихся сторон (то есть Британия или Германия) окажется вовлеченной в войну и при этом не сможет быть охарактеризована как агрессор, другая сторона будет, по меньшей мере, соблюдать по отношению к подобным образом вовлеченной державе благожелательный нейтралитет»[232]. Кайзер, однако, настаивал на том, чтобы Англия объявила нейтралитет на тот случай, «если война будет навязана Германии»[233]. Это было воспринято Лондоном как требование, чтобы Великобритания оставалась в стороне, если Германии вдруг вздумается начать упреждающие военные действия против России или Франции. А когда британцы отказались принять формулировку кайзера, тот, в свою очередь, отверг их текст; законопроект о германском флоте был принят, а Холден вернулся в Лондон с пустыми руками.

Кайзер тогда так и не понял, почему Великобритания не шла далее молчаливой сделки, ибо на самом деле Германии только этого и было надо. «Если Англия

намеревается протянуть нам руку лишь на тех условиях, чтобы мы ограничились собственным флотом, — писал он, — то это представляет собой безграничную наглость, грубейшее оскорбление германскому народу и его императору. Такого рода предложение следует отвергать без обсуждения...»[234] По-прежнему убежденный, что вынудит Англию пойти на формальный союз, кайзер хвалился: «Я показал англичанам, что трогать наши вооружения — все равно что кусать гранит. Возможно, этим я усилил их ненависть, но и завоевал их уважение, что и заставит их по ходу дела возобновить-переговоры, как можно надеяться, в более умеренном тоне и с более успешным результатом»[235].

Настоятельное и призывное требование кайзера заключить союз лишь усилило подозрительность Великобритании. Германская военно-морская программа, принятая на гребне антибританских оскорблений во время англо-бурской войны 1899 — 1902 годов, привела к полному пересмотру британской внешней политики. На протяжении полутора столетий Великобритания считала Францию главной угрозой европейскому равновесию сил и противостояла этой угрозе, опираясь на поддержку одного из германских государств, обычно Австрии, а иногда и Пруссии. А Россия виделась как серьезнейшая опасность для империи. Но как только был достигнут союз с Японией, Великобритания начала пересматривать исторически сложившиеся приоритеты. В 1903 году Великобритания стала систематически предпринимать усилия по урегулированию нерешенных колониальных проблем с Францией, кульминацией чего стал так называемый договор «сердечного согласия» 1904 года — договоренность того самого типа по поводу неформального сотрудничества, которую постоянно отвергала Германия. Почти сразу же Великобритания начала искать возможности достижения аналогичной договоренности с Россией.

Поскольку Антанта формально представляла собой колониальное соглашение, она в техническом плане не порывала с традиционной британской политикой «блестящей изоляции». И все же в результате Великобритания отказалась от роли регулятора и присоединилась к одному из противостоящих альянсов. В июле 1903 года, когда Антанта находилась в процессе обсуждения, французский представитель в Лондоне заявил Ленсдауну, что в качестве *quid pro quo* Франция сделает все от нее зависящее, чтобы избавить Великобританию от русского давления в разных местах:

«...И поскольку наиболее серьезная угроза для мира в Европе заключается в

Германии, доброе взаимопонимание между Францией и Англией — единственное средство держать немецкие планы под контролем, и если такое взаимопонимание будет достигнуто, Англия обнаружит, что Франция в состоянии осуществлять благотворное воздействие на Россию и тем самым блокировать множество неприятностей, связанных с этой страной»[236].

За какое-то десятилетие Россия, прежде связанная с Германией «Договором перестраховки», превратилась в военного союзника Франции, в то время как Великобритания, предмет постоянных попыток Германии превратить ее в своего партнера, очутилась во французском дипломатическом лагере. Германия проявила потрясающее искусство, добившись самоизоляции и объединив троих бывших противников друг друга в коалицию, нацеленную именно против нее.

Государственный деятель, знающий о надвигающейся опасности, обязан принять; фундаментальное решение. Если предполагается, что с течением времени угроза возрастет, он обязан сделать все, чтобы пресечь ее в зародыше. Но если очевидно, что маячащая впереди угроза реализуется лишь при особо неблагоприятном случайном стечении обстоятельств, ему лучше переждать в надежде на то, что время устранит риск. Двести лет назад Ришелье увидел опасность во враждебном окружении Франции, и тогда поиск способов ее избежать стал сердцевиной его внешней политики. Но он в то же время понимал, из чего складывается эта потенциальная опасность. Ришелье предугадал, что поспешные действия сплотят окружающие Францию государства. И сделал своим союзником время, ожидая, пока не проявятся открыто подспудные разногласия среди противников Франции. И только тогда, когда эти разногласия стали разрешаться на поле боя, он сам позволил своей стране вступить в схватку.

Кайзер и его советники не обладали ни терпением, ни проницательностью для проведения подобной политики — даже несмотря на то, что державы, в которых немцы видели угрозу для Германии, вообще не были естественными союзниками друг друга. А германской реакцией на предполагаемое окружение было педалирование как раз той самой дипломатии, которая и породила подобную опасность. И Германия попыталась разбить новорожденную Антанту поиском предлога для противостояния Франции, чтобы продемонстрировать: британская поддержка является либо иллюзорной, либо неэффективной.

Возможность для Германии проверить силу Антанты появилась в Марокко, где французские планы представляли собой нарушение договора, утверждавшего независимость Марокко, и где германские коммерческие интересы были весьма значительны. Кайзер избрал для соответствующего заявления март 1905 года, находясь в круизе. Высадившись в Танжере, он объявил о решимости Германии поддержать независимость Марокко. Германские лидеры, во-первых, делали ставку на то, что Соединенные Штаты, Австрия и Италия поддержат политику открытых дверей. Во-вторых, они полагали, что в результате русско-японской войны Россия будет не в состоянии проявить себя. И в-третьих, надеялись, что Великобритания с превеликой радостью пожелает снять с себя обязательства перед Францией на международной конференции.

Все эти предположения оказались ложными, поскольку страх перед Германией перекрыл все прочие соображения. Во время первого же вызова, брошенного Антанте, Великобритания поддержала Францию самым всесторонним образом и не соглашалась на призыв Германии принять участие в конференции до тех пор, пока на это не дала согласие Франция. Австрия и Италия весьма сдержанно отнеслись к предложениям, которые могли бы их поставить на грань войны. Тем не менее германские руководители поставили на карту собственный престиж и полагали, что в этом всевозрастающем споре что-то меньшее, чем дипломатическая победа, демонстрирующая бессилие Антанты, окажется для них катастрофой.

В продолжение всего своего правления кайзер более умело организовывал кризисы, чем с ними справлялся. Драматические столкновения его возбуждали, но нервов для продолжительной конфронтации у него не хватало. Вильгельм II и его советники были правы в своих расчетах, что Франция не готова прибегнуть к войне. Но, как выяснилось, не были готовы и они. Добиться им удалось только одного: смещения французского министра иностранных дел Делькассе, что явилось лишь символической победой, ибо Делькассе вскоре занял другой пост, сохранив за собой важную роль в деле осуществления французской политики. Что же касается самой сущности спора, то германские руководители, не обладавшие на деле той самой смелостью, которой изобиловала их напыщенная риторика, позволили себе тихо-тихо согласиться на конференцию, которая должна была состояться через шесть месяцев в испанском городе Альхесирасе. Когда страна угрожает войной, а затем отступает в

пользу конференции, организуемой гораздо позднее, она автоматически подрывает веру в собственную угрозу. (Именно таким способом западные демократии разрядили через полвека хрущевский Берлинский ультиматум.)

Степень самоизоляции Германии наглядно проявилась в момент открытия Альхесиракской конференции в январе 1906 года. Эдуард Грей, министр иностранных дел нового либерального правительства Великобритании, предупредил германского посла в Лондоне, что в случае войны Великобритания выступит на стороне Франции:

«...В случае нападения на Францию Германией, что проистекает из Марокканского соглашения, общественное мнение в Англии не позволит ни одному британскому правительству оставаться нейтральным...»[237]

Излишняя эмоциональность германских лидеров и неспособность определить долгосрочные цели превратили Альхесирак в дипломатический разгром для их страны. Соединенные Штаты, Италия, Россия и Великобритания — все отказались встать на сторону Германии. Результатом первого Марокканского кризиса была полная противоположность тому, чего германские лидеры пытались добиться. Вместо того чтобы расколоть Антанту, он повлек за собой франко-британское военное сотрудничество и дал стимул к созданию англо-русской Антанты 1907 года.

После Альхесирак Великобритания пошла на военное сотрудничество с континентальной державой, чего избегала столь долгое время. Начались консультации между командованием британского и французского флотов. Кабинет чувствовал себя несколько неловко в связи с новым развитием событий. Грей писал Полю Камбону, французскому послу в Лондоне, пытаясь поднять ставки:

«Мы договорились, что консультации между экспертами не рассматриваются и не должны рассматриваться как обязательство, связывающее каждое из правительств и понуждающее его к действию в обстоятельствах, которые еще не возникли и могут никогда не возникнуть...»[238]

Это была традиционная британская оговорка, дающая возможность Лондону юридически не связывать себя с конкретными обстоятельствами, при которых он был бы обязан принять военные меры. Франция закрыла глаза на эту показную уступку парламентскому контролю, будучи убеждена, что штабные переговоры выкуют новую реальность независимо от юридических обязательств. В течение полутора десятилетий германские руководители отказывались предоставить Великобритании

такого рода окольный путь. А у французов хватило политической прозорливости согласиться со столь двусмысленным способом выразиться, в уверенности, что у Великобритании появилось моральное обязательство, которое, если произойдет кризис, окажется созвучно теме дня.

С возникновением англо-франко-русского блока 1907 года в европейской дипломатии на сцене остались лишь две силы: Тройственное согласие и альянс между Германией и Австрией. Окружение Германии стало полным. Как и англо-французская Антанта, британское соглашение с Россией началось в форме договоренности по колониальным вопросам. В течение ряда лет Великобритания и Россия медленно сводили колониальные споры на нет. Японская победа над Россией в 1905 году надежно положила конец дальневосточным амбициям России. К лету 1907 года для Великобритании оказалось безопасным предложить России льготные условия в Афганистане и Персии, поделив Персию на три сферы влияния: русским отдали северный регион, центральный регион был объявлен нейтральным, а Великобритания оставила за собой контроль над южным. Афганистан как таковой вошел в британскую сферу влияния. Англо-русские отношения, которые десять лет назад характеризовались спорами, охватывающими треть территории земного шара от Константинополя до Кореи, внезапно стали тихими и мирными. Степень британской озабоченности Германией наглядно демонстрирует тот факт, что для обеспечения российского сотрудничества Великобритания была готова отказаться от решительного противодействия проникновению России к Дарданеллам. Как заметил министр иностранных дел Грей, «добрые отношения с Россией означают, что от нашей давней политики закрытия для нее проливов и противодействия ей на каждой из конференций великих держав следует отказаться»[239].

Некоторые историки[240] утверждают, будто бы истинным содержанием Тройственного согласия являются два ложно истолкованных колониальных соглашения, и Великобритания всего-навсего хотела защитить свою империю, а не окружать Германию. Однако существует классический документ, так называемый «Меморандум Кроу». Он не оставляет никаких разумных сомнений в том, что Великобритания вступила в Тройственное согласие для того, чтобы положить конец германскому стремлению к мировому господству. 1 января 1907 года сэр Эйр Кроу, известный аналитик британского министерства иностранных дел, объяснил, почему,

по его мнению, соглашение с Германией невозможно, и единственный вариант— Антанта с Францией. В «Меморандуме Кроу» присутствует такая высокая степень анализа, которой никогда не достигал ни один документ постбисмарковской Германии. Сутью спора стал конфликт между стратегией и грубой силой, в отсутствие резкой диспропорции в реальной силе. Стратег всегда выигрывает, ибо планирует свои действия, а его оппонент вынужден импровизировать. Признавая существование крупных расхождений между Великобританией и как Францией, так и Россией, Кроу тем не менее считает, что по ним может быть достигнут компромисс, поскольку они касаются заранее известных, а следовательно, ограниченных целей. Германскую внешнюю политику угрожающей делало как раз отсутствие распознаваемого рационального начала, стоящего за бесконечными глобальными выпадами, которые простирались даже до столь отдаленных регионов, как Южная Африка, Марокко и Ближний Восток. В дополнение к этому германское стремление стать сильнейшими на морях было «несовместимо с выживанием Британской империи».

Согласно Кроу, лишенное сдерживающего начала поведение Германии гарантировало конфронтацию: «Объединение внутри одного государства крупнейшей сухопутной армии и крупнейшего военно-морского флота вынудит мир объединиться, чтобы избавиться от этого кошмара»[241].

Согласно максимам «Realpolitik», Кроу утверждал, что структура, а не мотив, предопределяет стабильность: намерения Германии беспорядочны по сути, имеют значение только ее возможности. И он выдвигает две гипотезы:

«Либо Германия четко и ясно нацелена на всеобщую политическую гегемонию и достижение превосходства на море, угрожая независимости соседей, а в итоге и самому существованию Англии; либо Германия, свободная от подобных четко очерченных амбиций и думающая в настоящее время лишь о том, как бы воспользоваться своим законным положением и влиянием в качестве одной из ведущих держав в совете наций, стремится обеспечить возможности для своей заграничной торговли, для распространения благ германской культуры, расширения числа точек приложения национальной энергии и создания новых германских интересов по всему миру, где для этого предоставляется мирная возможность...»[242]

Кроу, однако, настаивает на том, что это различие лишь кажущееся, поскольку в конце концов возобладают искушения, таящиеся в самом процессе роста германской

мощи:

«...Ясно, что второй вариант (полунезависимой эволюции не без помощи системы государственного управления) может в любой момент соскользнуть к первому или к какой-либо сознательно продуманной схеме. Более того, даже если на практике воплотится схема эволюции, позиция, обретенная Германией, независимо от ее добрых или злых намерений, будет, разумеется, представлять собой столь же ошутимую угрозу всему остальному миру»[243].

И хотя «Меморандум Кроу» на деле шел не далее возражений против достижения взаимопонимания с Германией, его направленность совершенно ясна: если Германия не оставит попыток добиться превосходства на морях и не умерит своей так называемой Weltpolitik, Великобритания обязательно должна объединиться с Россией и Францией в деле противостояния. И сделать это с тем же неутомимым упорством, с каким она покончила с французскими и испанскими претензиями в предшествующих столетиях.

Великобритания дала ясно понять, что не потерпит дальнейшего наращивания германского могущества. В 1909 году министр иностранных дел Грей подчеркнул это обстоятельство в связи с германским предложением замедлить (но не прекратить полностью) программу наращивания морских вооружений, если Великобритания согласится оставаться нейтральной в войне Германии против Франции и России. Предлагаемое соглашение, утверждал Грей, «...послужит утверждению германской гегемонии в Европе и продлится не долее, чем это потребует для достижения данной цели. На самом деле это приглашение помочь Германии в деле проведения европейской комбинации, которая может быть направлена против нас, как только ей это понадобится... Если мы принесем другие державы в жертву Германии, на нас впоследствии тоже будет совершено нападение»[244].

После создания Тройственного согласия игра в кошки-мышки, которой Германия и Великобритания занимались в 90-е годы XIX века, стала вестись всерьез и превратилась в схватку между державой, придерживающейся принципа статус-кво, и державой, требующей перемен в системе равновесия сил. Поскольку дипломатическая гибкость перестала быть возможной, единственным способом перемены соотношения сил стало наращивание вооружений или победа в войне.

Два альянса стояли лицом к лицу по обеим сторонам пропасти растущего взаимного

недоверия. В отличие от периода «холодной войны» обе группировки собственно войны не боялись; они на деле были более озабочены своей внутренней цельностью, чем возможностью противостояния. Конфронтация стала стандартным методом дипломатии.

Тем не менее все еще существовал шанс избежать катастрофы, поскольку на самом Деле почти не было поводов к войне между альянсами. Ни один из участников Тройственного согласия не вступил бы в войну, чтобы помочь Франции вернуть Эльзас-Лотарингию; Германия, даже взвинтив себя до предела, вряд ли оказала бы поддержку агрессивной войне Австрии на Балканах. Политика сдержанности, возможно, отсрочила бы войну и даже позволила бы неестественным альянсам постепенно распасться, особенно Тройственному согласию, ибо оно возникло в первую очередь из страха перед Германией.

К концу первого десятилетия XX века равновесие сил подменилось существованием враждебных друг другу коалиций, жестокость которых равнялась степени отчаянного пренебрежения последствиями их создания. Россия была связана с Сербией, а та шла рука об руку с националистическими, даже террористическими группировками, а поскольку Сербии нечего было терять, то ей было наплевать на риск всеобщей войны. Франция же предоставила России карт-бланш, чтобы та могла вернуть себе самоуважение после русско-японской войны. Германия точно так же вела себя по отношению к Австрии, отчаянно оберегавшей свои славянские провинции от сербской агитации, поддержанной, в свою очередь, Россией. Нации Европы позволили себе стать заложниками отчаянных балканских клиентов. И вместо того чтобы сдерживать необузданные страсти этих наций, обладающих ограниченным чувством глобальной ответственности, они безответственно погрузились в параноидальное ощущение того, что их беспокойные партнеры могут перейти на сторону иного союза, если им не пойти навстречу. В течение нескольких лет кризисы удавалось гасить, хотя каждый последующий приближал неизбежное столкновение. А германская реакция на появление Тройственного согласия доказывала упрямую решимость повторять одну и ту же ошибку бесчисленное множество раз; каждая из проблем превращалась в испытание мужества, с целью доказать, что Германия решительна и могуча, а ее оппонентам не хватает силы и твердости характера. И все же каждый германский вызов скреплял узы, связывавшие Тройственное согласие

воедино.

В 1908 году международный кризис разразился по поводу Боснии-Герцеговины, причем о нем стоит рассказать поподробнее, ибо это является наглядной иллюстрацией исторической тенденции к повторениям. Босния-Герцеговина всегда была задворками Европы, и судьба ее была решена на Берлинском конгрессе в весьма двусмысленной форме, ибо никто по-настоящему не представлял себе, что с нею делать. Эта ничья земля, лежащая между Оттоманской и Габсбургской империями, где жили католики, православные и мусульмане и население которой состояло из хорват, сербов и исламских народов, никогда не была не только государством, но и самоуправляющейся территорией. Она лишь казалась управляемой, если ни от одной из групп не требовалось подчиниться другим. В течение тридцати лет Босния-Герцеговина находилась под протекторатом Турции, под управлением Австрии, а также имела местную автономию, что, по существу, никак не влияло на ее многонациональное устройство, но и оставляло вопрос суверенитета нерешенным. Австрия выжидала тридцать лет, чтобы решиться на прямую аннексию, ибо страсти многоязыкой смеси были слишком сложными и запутанными, чтобы даже австрийцы могли в них разобраться, несмотря на свой длительный опыт управления посреди хаоса. И когда они окончательно аннексировали Боснию-Герцеговину, то сделали это скорее ради того, чтобы лишний раз уязвить Сербию (и косвенно Россию), а не для того, чтобы достичь какой-либо вразумительной политической цели. В результате Австрия нарушила зыбкое равновесие ненависти.

Тремя поколениями позднее, в 1992 году, те же подспудные страсти вырвались наружу в связи с возникновением сходных проблем, что повергло в изумление всех, кроме непосредственно связанных с ситуацией ревностных воителей, а также тех, кто хорошо знаком с весьма запутанной историей этого региона. Случилось так, что резкая перемена в характере управления превратила Боснию-Герцеговину в кипящий котел. И как только Босния была объявлена независимым государством, все национальности накинулись друг на друга в борьбе за гегемонию, причем сербы стали сводить старые счета особенно зверским образом.

Уповая на слабость России после русско-японской войны, Австрия легкомысленно воспользовалась секретным соглашением тридцатилетней давности, заключенным в ходе Берлинского конгресса, согласно которому все державы разрешали Австрии

аннексировать Боснию-Герцеговину. С той поры Австрия вполне довольствовалась контролем де-факто, ибо ей не хотелось приобретать новых славянских подданных. Однако в 1908 году Австрия пересмотрела прежнее решение, опасаясь, что империя может распасться под воздействием сербской агитации, и полагая, что надо продемонстрировать какой-то конкретный успех, чтобы доказать собственное преобладание на Балканах. За прошедшие три десятилетия Россия утратила ведущее положение в Болгарии, а «Союз трех императоров» распался. Так что Россия не без причины была взбешена тем, что почти позабытое соглашение вытащено на свет и все затем, чтобы позволить Австрии приобрести территорию, освобожденную русской войной!

Но одно только возмущение не гарантирует успеха, особенно когда его объект уже завладел соответствующим призом. А Германия впервые откровенно и открыто поддержала Австрию, дав понять, что готова пойти на риск европейской войны, если Россия выступит против аннексии. Затем, нагнетая дополнительное напряжение, Германия потребовала официального признания Россией и Сербией действий Австрии. России ничего не осталось, как снести это унижение, поскольку Великобритания и Франция были еще не готовы вступить в войну по поводу Балкан и поскольку России после поражения в русско-японской войне воевать одной было еще не под силу.

Германия, таким образом, встала на пути России, да еще в районе, где у нее ни когда не было жизненно важных интересов. Более того, там, где Россия прежде всегда могла рассчитывать на Германию, чтобы та умерила австрийские амбиции! Германия продемонстрировала не только собственное безрассудство, но и серьезнейшее забвение исторической памяти. Всего лишь полстолетия назад Бисмарк точнейшим образом предсказал, что Россия никогда не простит Австрии унижения в Крымской войне. Теперь Германия совершала ту же самую ошибку, усугубляя отстраненность России, начавшуюся на Берлинском конгрессе.

Унижать великую страну, одновременно ее не ослабив, — игра всегда опасная. Хотя Германия считала, что учит Россию ценить важность германской доброй воли, Россия решила не допустить, чтобы ее застали врасплох. И вот две великие континентальные державы стали играть в игру, именуемую на американском слэнге "цып-цып", когда двое водителей едут на своих машинах друг другу в лоб, надеясь, что другой отвернет в самый последний момент, и рассчитывая на крепость собственных нервов. К

сожалению, в эту игру в предвоенной Европе уже играли несколько раз. И каждый раз, когда предотвращалось столкновение, всеобщая уверенность в полнейшей безопасности подобной игры только усиливалась, заставляя всех позабыть, что единственная неудача может повлечь за собой непоправимую катастрофу.

То ли желая уверить всех, что она не упустит возможности подразнить очередного потенциального противника, то ли стремясь дать им всем достаточный повод сплотиться еще теснее в целях самообороны, Германия бросила вызов и Франции. В 1911 году Франция, фактически взявшая в свои руки гражданское управление Марокко, отреагировала на местные беспорядки, направив войска в Фес, откровенно нарушив Альхесирасское соглашение. Под бешеные аплодисменты германской националистической прессы кайзер отреагировал на это посылкой канонерки «Пантера» в марокканский порт Агадир. «Ура! Дело сделано! — писала 2 июля 1911 года „Райниш-Вестфэлише цайтунг“. — Наконец-то действие, освободительный акт, который должен везде рассеять облако пессимизма»[245]. «Мюнхенер нойэсте нахрихтен» рекомендовала правительству двигаться вперед из всех сил, «даже если подобная политика породит обстоятельства, непредвидимые сегодня»[246]. То, что германская пресса считала тонким намеком, на самом деле было газетным подталкиванием Германии к войне из-за Марокко.

Этот шаг, высокопарно поименованный «прыжком „Пантеры“», имел тот же самый конец, что и предыдущие попытки Германии прорвать ею же самой спровоцированное окружение. Германия и Франция в очередной раз оказались на грани войны, причем цели Германии были, как всегда, весьма зыбки и неопределенны. Какого рода компенсацию она искала на этот раз? Марокканский порт? Часть марокканского Атлантического побережья? Колониальные приобретения где-то еще? Она просто хотела подразнить Францию, но не смогла найти оперативного воплощения для поставленной цели.

С учетом упрочения взаимоотношений Великобритания поддержала Францию на этот раз гораздо решительнее, чем в Альхесирасе в 1906 году. Сдвиг британского общественного мнения был наглядно продемонстрирован отношением к происшедшему со стороны тогдашнего канцлера казначейства Дэвида Ллойд-Джорджа, имевшего заслуженную репутацию пацифиста и сторонника добрых отношений с Германией. По этому случаю, однако, он произнес программную речь-

предупреждение, что «...нам может быть навязана ситуация, где сохранение мира окажется сопряжено лишь с отказом от великой и достойной позиции, которую мы добыли себе веками героизма и подвигов... и тогда я заявил бы со всей ответственностью, что мир подобной ценой был бы нетерпимым унижением для такой великой страны, как наша»[247].

Даже Австрия холодно отнеслась к выходке своего могучего союзника, не видя смысла рисковать собственным выживанием из-за североафриканской авантюры. Германия отступила, довольствовавшись большим, но бесполезным участком земли в Центральной Африке, причем эта сделка вызвала стон и вой в германской националистической прессе. «Мы практически шли на риск мировой войны ради нескольких конголезских болот», — писала «Берлинер тагеблатт» 3 ноября 1911 года[248]. Критиковать, однако, следовало не качество нового приобретения, но разумность угроз войны то одной, то другой стране из года в год без того, чтобы предварительно определить и осмыслить их цель, причем каждый раз возрастал тот самый страх, который в первую очередь и привел к созданию враждебных друг другу коалиций.

Если к тому времени германская тактика сделалась стереотипной, то таким же стал и англо-французский ответ. В 1912 году Великобритания, Франция и Россия начали военно-штабные переговоры, важность которых лишь формально ограничивалась обычной британской оговоркой на тот счет, что они не влекут за собой никаких юридических обязательств. Но даже это ограничение в какой-то мере уже снималось Англо-французским морским соглашением 1912 года, согласно которому французский флот переводился в Средиземное море, а Великобритания брала на себя ответственность за защиту французского Атлантического побережья. Через два года это соглашение повлечет за собой моральную обязанность Англии вступить в первую мировую войну, поскольку, как было заявлено, Франция оставила побережье проливов Па-де-Кале и Ла-Манш незащищенным в надежде на британскую поддержку. (Спустя двадцать восемь лет, в 1940 году, такого же рода соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией позволит Великобритании перевести свой Тихоокеанский флот в Атлантический океан, а на Соединенные Штаты ляжет моральное обязательство защищать расположенные рядом азиатские владения Великобритании, беззащитные перед лицом японского нападения.)

В 1913 году германские руководители завершили процесс отчуждения России очередными своими судорожными и бессмысленными маневрами. На этот раз Германия дала согласие на реорганизацию турецкой армии и направила германского генерала, чтобы он взял на себя командование в Константинополе. Вильгельм II драматизировал это событие, сопроводив командирование учебно-тренировочной миссии типичными напыщенно-цветистыми словесными выкрутасами, выразив надежду, что «вскоре германские флаги взвьются над укреплениями на Босфоре»[249].

Мало что могло бы до такой степени вывести из себя Россию, чем претензии Германии на положение в проливах, в котором Европа отказывала России в течение столетия. Россия еще кое-как соглашалась с контролем над проливами слабой страной типа оттоманской Турции, но она никогда бы не смирилась с господством на Дарданеллах другой великой державы. Российский министр иностранных дел Сергей Сазонов писал царю в декабре 1913 года: «Отдать проливы сильному государству являлось бы синонимом подчинения экономического развития всей Южной России этой державе»[250]. Николай II заявил британскому послу, что «Германия намеревается занять такую позицию в Константинополе, чтобы получить возможность целиком запереть Россию в Черном море. И если она попытается проводить подобную политику, мы будем сопротивляться изо всех сил, даже если единственным выходом будет война»[251].

Хотя Германия нашла приличную мотивировку для того, чтобы убрать своего командующего из Константинополя (произведя его в фельдмаршалы, — это, согласно германской традиции, означало, что он больше не может быть полевым командиром), непоправимый вред был уже нанесен. Россия поняла, что германская поддержка Австрии по поводу Боснии-Герцеговины не была случайным умопомрачением. Кайзер, рассматривая эти события как испытание его собственной мужественности, заявил своему канцлеру 25 февраля 1914 года: «Русско-пруссские отношения мертвы раз и навсегда! Мы стали врагами!»[252] Через шесть месяцев разразилась первая мировая война.

Возникла международная система, жесткость которой и конфронтационный стиль походили на более позднюю систему времен «холодной войны». Но на самом деле международный порядок, сложившийся перед первой мировой войной, был гораздо

более подвижным, чем в мире времен «холодной войны». В ядерный век только Соединенные Штаты и Советский Союз обладали техническими средствами, достаточными, чтобы развязать всеобщую войну. Впрочем, риск был до такой степени огромен, что ни одна из сверхдержав не осмеливалась делегировать столь устрашающую мощь ни одному из союзников, каким бы близким он ни был. В противоположность этому перед первой мировой войной каждый из членов двух основных коалиций не только мог самостоятельно начать войну, но и был в состоянии шантажировать своих союзников, чтобы те его поддержали.

Какое-то время сама по себе система альянсов обеспечивала хотя бы некоторую сдержанность. Франция урезонивала Россию в конфликтах, непосредственно связанных с Австрией; подобную же роль играла Германия по отношению к Австрии в связи с Россией. В Боснийском кризисе 1908 года Франция дала ясно понять, что не будет воевать из-за Балкан. Во время Марокканского кризиса 1911 года французский президент Кайо получил четкое разъяснение: любая французская попытка разрешить колониальный кризис при помощи силы не получит русской поддержки. Еще в Балканскую войну 1912 года Германия предупреждала Австрию, что германской поддержке есть пределы, а Великобритания оказывала давление на Россию с требованием умерить свои действия от имени изменчивого в своем поведении и непредсказуемого в своих действиях Балканского союза, возглавляемого Сербией. На Лондонской конференции 1913 года Великобритания помогла разрушить планы Сербии в отношении аннексии Албании, что было бы нетерпимо для Австрии.

Лондонская конференция 1913 года была, впрочем, последним актом миротворчества или хотя бы попыткой такового со стороны международной системы. Сербия проявила недовольство прохладной поддержкой России, а Россия с неприязнью отнеслась к выступлению Великобритании в роли беспристрастного арбитра и к явному нежеланию Франции принять участие в войне. Австрия, находившаяся на грани распада под давлением России и южных славян, была расстроена тем, что Германия не оказала ей более энергичной поддержки. И Сербия, и Россия, и Австрия ожидали гораздо более решительной поддержки со стороны своих союзников; Франция, Великобритания и Германия опасались, что они потеряют своих партнеров, если во время следующего кризиса не поддержат их более решительно.

Затем каждую из великих держав внезапно охватила паника, и они решили, что

линия умиротворения придаст им облик партнеров слабых и ненадежных. А вдруг тогда союзники их оставят в одиночестве перед лицом враждебной коалиции? И отдельные страны стали вступать на такой уровень риска, который не предопределялся ни исторически сложившимися национальными интересами, ни разумными долгосрочными стратегическими целями и задачами. Правило Ришелье, утверждавшего, что средства должны быть соразмерны целям, нарушалось почти ежедневно. Германия соглашалась с риском мировой войны, лишь бы ее считали сторонником поддержки австрийской южнославянской политики, где у Германии не было никаких национальных интересов. Россия готова была схватиться не на жизнь, а на смерть с Германией, чтобы выглядеть самым стойким союзником Сербии. Между Германией и Россией никаких крупных конфликтов не было; конфронтация между ними осуществлялась как бы по доверенности.

В 1912 году новый французский президент Раймон Пуанкаре известил русского посла в отношении Балкан, что «если Россия вступит в войну, Франция тоже это сделает, ибо нам известно, что в этом вопросе за Австрией стоит Германия»[253]. Обрадованный русский посол докладывал о «совершенно новом подходе французов», заключающемся в том, что «территориальные захваты Австрии отрицательно влияют на расстановку сил в Европе и, следовательно, вредят интересам Франции»[254] В том же году заместитель британского министра иностранных дел сэр Артур Никольсон писал британскому послу в Санкт-Петербурге: «Не знаю, как долго мы все еще будем в состоянии следовать нашей нынешней политике балансирования на туго натянутом канате и избегать выбора той или иной определенной линии. Меня преследует тот же страх, что и вас: а вдруг Россия устанет от нас и заключит сделку с Германией»[255].

Не желая, чтобы его кто-нибудь перещеголял в безответственности, кайзер пообещал Австрии в 1913 году, что в случае возникновения следующего кризиса Германия, если понадобится, вступит в войну. 7 июля 1914 года германский канцлер провозгласил политику, которая менее чем через четыре недели привела к настоящей войне: «Если мы призовем их [австрийцев] действовать, то они заявят, что это мы их подтолкнули; если мы станем их разубеждать, то они заявят, что мы бросили их в отчаянном положении. Тогда они обратятся к западным державам, чьи объятия всегда раскрыты, а мы потеряем нашего последнего союзника, каким бы он ни был»[256].

Конкретная выгода, которую Австрия смогла бы извлечь из альянса с Тройственным соглашением, так и не была четко определена. Да и Австрия вряд ли вступила бы в одну группировку с Россией, которая только и мечтала, как бы подорвать положение Австрии на Балканах. С исторической точки зрения союзы заключались для того, чтобы усилить положение той или иной страны на случай войны; а накануне первой мировой войны первичным мотивом вступления в войну было стремление укрепить союзы.

Руководители всех крупных стран просто не сумели ухватить сути находящейся в их распоряжении технологии, а также смысла лихорадочно создаваемых союзов. Они, похоже, не учитывали, какие огромные потери повлекла за собой совсем недавно происшедшая в Америке Гражданская война, и ожидали, что конфликт будет кратким и решительным. Им даже не пришло в голову, что неспособность придать своим альянсам разумные политические цели может привести к разрушению цивилизации, вопреки их представлениям на этот счет. Каждый из союзов ставил на карту слишком многое, чтобы позволить вступить в действие традиционной дипломатии «европейского концерта». Вместо этого великие державы сумели создать дипломатическую машину Страшного суда, хотя они и не ведали, что сотворили.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. В пучину водоворота: военная машина Страшного суда

Поразительным аспектом разразившейся первой мировой войны было вовсе не то, что кризис, меньший по значимости, чем множество уже преодоленные, вызвал в итоге глобальную катастрофу, но то, что пришлось ждать так долго. К 1914 году конфронтация между Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, и

Тройственным согласием, с другой, стала по-настоящему серьезной. Государственные деятели всех ведущих стран внесли свой вклад в сооружение дипломатического механизма Страшного суда, делавшего каждый последующий кризис более трудноразрешимым, чем предыдущий. А их военное руководство, в значительной степени усугубило опасность посредством разработки таких стратегических планов, которые требовали для осуществления крайне сжатых сроков. Так что, поскольку военные планы зависели от скорости их осуществления, а дипломатическая машина была настроена на традиционный лениво-медлительный ход, становилось невозможным разрешить кризис под тяжким гнетом времени. Дело усугублялось еще и тем, что составители «хитроумных» военных планов не в состоянии были толково объяснить их смысл своим коллегам-политикам.

Военное планирование на деле стало автономным. Первый шаг в этом направлении был сделан в ходе переговоров о заключении франко-русского военного союза в 1892 году. Вплоть до того времени союзные переговоры велись применительно к «казус белли», иными словами, уточнялось, какие конкретные действия должен предпринять противник, чтобы союзники вступили в войну. И всякий раз попытка определения «казус белли» упиралась в то, кто должен был бы пониматься в качестве зачинщика схватки.

В мае 1892 года ведший переговоры от имени России генерал-адъютант Николай Обручев направил письмо министру иностранных дел Гирсу с объяснениями, почему традиционный способ определения «казус белли» в век современных технологий неприемлем. Обручев настаивал на том, что важно не то, кто сделал первый выстрел, а то, кто первым объявил мобилизацию. «Осуществление мобилизации не может более считаться мирным актом; напротив, он представляет собой наиболее решительный шаг войны»[257].

Сторона, проявляющая медлительность при мобилизации, может лишиться всех преимуществ наличия союза, ибо тем самым позволяет противнику разбить каждого из своих союзников поодиночке. Необходимость одновременной мобилизации для всех членов одного альянса стала настолько настоятельной, что это привлекло к себе умы европейских лидеров и стало краеугольным камнем торжественных дипломатических обязательств. Целью союзов теперь уже становилась не гарантия поддержки после начала войны, а гарантия мобилизации каждого из союзников в

кратчайший возможный срок в надежде опередить любого из противников. И когда таким образом сформированные союзы начинали противостояние друг другу, угроза, выраженная в форме мобилизации, уже была необратима, ибо остановить мобилизацию на полпути еще губительнее, чем вовсе ее не проводить. Если одна из сторон остановится, в то время как вторая будет продолжать начатое, с каждым днем невыгода ситуации будет усугубляться. Если же обе стороны остановятся одновременно, то ввиду массы технических трудностей, мобилизация сама по себе наверняка завершится задолго до того, как дипломаты сумеют договориться о способах ее прекращения.

Эта процедура Страшного суда эффективно оберегала «казус белли» от какого бы то ни было политического контроля. Каждый кризис как бы имел встроенный эскалатор, везущий к войне, — решение об объявлении мобилизации, — и каждая война наверняка должна была стать мировой.

И Обручев, будучи весьма далек от негативной оценки перспектив автоматической эскалации, напротив, с энтузиазмом ее приветствовал. Меньше всего ему хотелось локальных конфликтов. Ибо если бы Германия оставалась в стороне во время войны между Россией и Австрией, она бы попросту возникла на авансцене позднее и была бы в состоянии диктовать условия мира. Согласно фантазиям Обручева, именно это и совершил Бисмарк на Берлинском конгрессе:

«Наша дипломатия не должна рассчитывать на конфликт изолированного характера, к примеру с Германией, или Австрией, или Турцией по отдельности. Берлинский конгресс явился достаточным для нас уроком, и он выучил нас, кого именно мы должны считать своим самым опасным врагом: того ли, кто непосредственно сражается с нами, или того, кто ждет нашего ослабления, чтобы затем диктовать условия мира?...»[258]

По словам Обручева, в интересах России было бы заведомое придание каждой из войн всеобщего характера. Правильно организованный союз с Францией нес ту выгоду для России, что предотвратил бы возможность локализации войн:

«При возникновении каждой из европейских войн перед дипломатами всегда встает огромное искушение локализовать конфликт и, насколько возможно, ограничить его последствия. Но при нынешнем состоянии вооружений и степени возбуждения в континентальной Европе Россия должна рассматривать любую из подобных

возможностей локализации войн с особенным скептицизмом, поскольку это может не только безмерно усилить возможности для наших колеблющихся противников, не рискующих выступить открыто, но и для нерешительных союзников»[259].

Иными словами, оборонительная война с ограниченными целями противоречит национальным интересам России. Любая война обязана быть тотальной, и составители военных планов не должны предоставлять политическим лидерам иного выбора:

«Как только мы окажемся втянуты в войну, мы не сможем вести ее иначе, как всеми нашими силами и против обоих наших соседей. Перед лицом готовности всех вооруженных народов воевать, предвидеть следует лишь войну самого решительного свойства — войну, которая определит на продолжительный срок политический вес европейских держав относительно друг друга, а особенно России и Германии»[260].

Сколь бы тривиальной ни была ее причина, война обязана быть тотальной; и если ее прелюдия имеет отношение лишь к одному из соседей, Россия должна проследить за тем, чтобы оказался втянут и другой. Как бы гротескно это ни выглядело, российский Генеральный штаб предпочитал сражаться с Германией и Австро-Венгрией одновременно, а не по отдельности. Воплотившая в себе идеи Обручева, военная конвенция была подписана 4 января 1894 года. Франция и Россия договорились производить одновременную мобилизацию, если мобилизацию предпримет любой из членов Тройственного союза по любой причине. Машина Страшного суда была готова. К примеру, стоит Италии, союзнику Германии, произвести мобилизацию против Франции по поводу Савойи, Россия обязана будет осуществить мобилизацию против Германии; если Австрия объявит мобилизацию в связи с Сербией, Франции придется произвести мобилизацию против Германии. И поскольку было совершенно ясно, что в какой-то момент любая нация может произвести мобилизацию по той или иной причине, всеобщая война становилась лишь вопросом времени. Достаточно было одной из великих держав сделать это — и машина Страшного суда заработает всюю...

По крайней мере, царь Александр III теперь понимал, что игра ведется по самым высоким ставкам. И когда Гире спросил его: «...Что мы выиграем, если поможем Франции разбить Германию?», — тот ответил: «Мы выиграем то, что Германия как таковая исчезнет. Она разобьется на множество маленьких и слабых государств, как

это было когда-то»[261]. Германские цели войны были в равной степени вселенскими и всеобъемлющими. Знаменитое европейское равновесие сил превращалось в битву не на жизнь, а на смерть, хотя ни один из государственных деятелей, имеющих к этому отношение, не смог бы вразумительно объяснить, какая именно цель оправдывает подобный нигилизм или осуществлению каких политических задач послужит всеобщий пожар.

То, что российские штабисты выдвигали как теорию, германский Генеральный штаб переводил в плоскость оперативного планирования как раз в тот самый момент, когда Обручев вел переговоры по поводу заключения франко-русского военного союза. И с учетом германской основательности императорские генералы доводили концепцию мобилизации до абсолютного предела. Начальник германского генштаба Альфред фон Шлиффен был так же одержим мобилизационными схемами и графиками, как и его русский и французский коллеги. Но в то время как франко-русские военные руководители были озабочены «критериями» возникновения обязательств по проведению мобилизации, Шлиффен сфокусировал свое внимание на практическом воплощении этой концепции.

Не желая полагаться на капризы политических кругов, Шлиффен попытался создать безупречный план высвобождения Германии из столь устрашающего для нее враждебного окружения. Точно так же, как преемники Бисмарка отказались от его комплексной дипломатии, Шлиффен выбросил за борт стратегические концепции Гельмута фон Мольтке, военного архитектора трех быстрых побед Бисмарка в период между 1864 и 1870 годами.

Мольтке разработал стратегию, которая открывала различные варианты выхода из бисмарковского «кошмара» враждебных коалиций. На случай войны на два фронта Мольтке планировал разделить германскую армию на более или менее две равные части, одновременно ведущие оборонительные действия на обоих фронтах: на Востоке и на Западе. Поскольку основной целью Франции был возврат Эльзас-Лотарингии, она наверняка нанесет удар. А если Германии удастся отбить натиск, Франция вынуждена будет пойти на компромиссный мир. Мольтке особо предупреждал относительно возможностей перенесения военных операций в Париж, уяснив себе во время франко-прусской войны, как трудно бывает заключить мир, когда овладеешь столицей противника.

Ту же самую стратегию Мольтке предложил для Восточного фронта, — а именно, разгромить русское наступление и развивать успех, отталкивая русскую армию на стратегически безопасное расстояние, а затем предложить компромиссный мир. Те силы, которые первыми одержат победу, могли бы быть использованы для оказания помощи войскам на другом фронте. Таким образом, масштабы войны, жертвы и политические решения находились бы в своеобразном равновесии[262].

Но точно так же, как преемники Бисмарка чувствовали себя неуверенно при наличии двусмысленно-пересекающихся альянсов, Шлиффен отверг план Мольтке, как отдающий военную инициативу в руки противников Германии. Не одобрял Шлиффен и приверженность Мольтке идее политического компромисса в противоположность тотальной победе. Преисполненный решимости навязать такие условия мира, которые были бы, по существу, безоговорочной капитуляцией, Шлиффен разработал план решительной и быстрой победы на одном фронте, а затем переброски сил на другого противника. Тем самым был бы достигнут бесспорный исход на обоих фронтах. Поскольку быстрый и решительный удар на Востоке был невозможен вследствие медленных темпов русской мобилизации, предположительно занимавшей шесть недель, и обширности русской территории, Шлиффен решил разгромить французскую армию первой еще до того, как русская полностью отоблизуется. Но как обойти тяжелые французские крепостные укрепления на германской границе? Шлиффен пришел к мысли нарушить нейтралитет Бельгии и провести германские войска через ее территорию. Тогда он захватил бы Париж и запер бы французскую армию в крепостях, окружив ее с тыла. Одновременно Германия бы вела на Востоке оборонительные бои. План был столь же блестящ, сколь безрассуден. Минимальное знание истории могло бы ему подсказать, что Великобритания наверняка вступит в войну, если будет совершено вторжение в Бельгию, — а этот факт, похоже, почти полностью ускользнул от внимания как кайзера, так и германского Генерального штаба. В течение двадцати лет с момента разработки «плана Шлиффена» в 1892 году германские руководители делали бесчисленные предложения Великобритании, чтобы заручиться ее поддержкой или хотя бы нейтралитетом в европейской войне, но германское военное планирование все это сделало иллюзорным. Ибо именно независимость Нидерландов и была тем, за что Великобритания всегда боролась упорно и непримиримо. А степень упорства

Великобритании проявилась как в войнах против Людовика XIV, так и в наполеоновские времена. Раз вступив в бой, Великобритания воевала бы до конца даже в случае поражения Франции. Вдобавок «план Шлиффена» не закладывал в себя возможности неудачи. Если Германия не сумела бы разгромить французскую армию — что было вполне возможно, ибо французы обладали внутренними оборонительными линиями и сетью железных дорог, радиально расходящихся из Парижа, а немецкой армии пришлось бы двигаться в пешем порядке по дуге через разоренные сельские районы, — то Германия была бы вынуждена прибегнуть к стратегии Мольтке, обороняясь на обоих фронтах, причем возможность политического компромисса была бы уже уничтожена оккупацией Бельгии. В то время как основной целью политики Бисмарка было избежать войны на два фронта, а стратегии Мольтке — свести ее к минимуму, Шлиффен настаивал на ведении полномасштабной войны на оба фронта одновременно.

В то время как Германия планировала развертывание боевых порядков против Франции, несмотря на то, что наиболее вероятным местом возникновения конфликта была Восточная Европа, кошмарный вопрос Бисмарка: «А если война будет вестись на два фронта?» сменился кошмарным вопросом Шлиффена: «А если война не будет вестись на два фронта?» Если бы Франция заявила о своем нейтралитете на случай балканских войн, то Германия могла бы оказаться перед лицом опасности объявления войны Францией по завершении русской мобилизации, по поводу чего уже дал свои разъяснения Обручев, глядевший с той стороны разграничительной линии. А если бы, с другой стороны, Германия проигнорировала предложенный Францией нейтралитет, то план Шлиффена поставил бы Германию в крайне неудобное положение, ибо она атаковала бы невоюющую Бельгию, чтобы нанести удар невоюющей Франции. Тогда Шлиффену предстояло бы измыслить предлог, по которому можно было бы совершить нападение на Францию, даже если бы она осталась в стороне. И тогда он выдумал немыслимый критерий признания Германией нейтралитета Франции: Германия будет считать Францию нейтральной только тогда, когда та согласится передать Германии одну из главнейших крепостей — иными словами, только в том случае, если Франция отдаст себя на милость Германии и откажется от своего статуса великой державы.

Дьявольская мешанина политических альянсов общего характера и военно-

стратегических планов, ставящих мир на волосок от войны, гарантировала обильное кровопускание. Равновесие сил лишилось даже подобия гибкости, наличествовавшей в продолжение XVIII и XIX веков. Где бы ни разразилась война (а наиболее вероятным местом ее возникновения были Балканы), план Шлиффена предусматривал, чтобы сражения начального этапа происходили на Западе, причем между странами, практически не имеющими никаких интересов в данном кризисе. Внешняя политика была принесена в жертву военной стратегии, сводившейся, в сущности, к игре, в которой кости выбрасываются только один раз. Более бездумно-технократический подход к войне даже трудно себе представить.

И хотя военные руководители обеих сторон настаивали на войне максимально разрушительного типа, они хранили гробовое молчание по поводу политических последствий их военно-технических решений. Как будет выглядеть Европа в результате войны такого масштаба? Какие перемены оправдывают запланированное опустошение? Не существовало ни единой конкретной претензии со стороны России к Германии а также со стороны Германии к России, которая была бы достойна войны местного значения, не говоря уже о войне всеобщей.

Дипломаты обеих сторон также хранили молчание, в основном потому, что не понимали политических последствий заложенных их странами бомб замедленного действия, и еще потому, что националистическая политика каждой из стран не позволяла им беспрепятственно бросить вызов своим военным учреждениям. И этот заговор молчания не дал возможности политическим руководителям всех крупных стран запрашивать военные планы, чтобы установить хоть какое-то соответствие между военными и политическими задачами.

Учитывая, какая в итоге получилась катастрофа, мы не можем не поражаться, с каким сверхъестественным легкомыслием европейские лидеры встали на столь гибельный курс. Ведь прозвучало донельзя мало предупреждений, и одним из немногих было преисполненное чести и достоинства заявление Петра Дурново, бывшего одно время российским министром внутренних дел, а потом ставшего членом Государственного совета. В феврале 1914 года, за шесть месяцев до начала первой мировой войны, он направил царю пророческий меморандум:

«Основное бремя войны, без сомнения, падет на нас, поскольку Англия вряд ли в состоянии внести существенный вклад в войну на континенте, в то время как

Франция, страдающая нехваткой живой силы, скорее всего будет придерживаться сугубо оборонительной тактики с учетом огромных потерь, которые принесет будущая война при нынешнем состоянии военной техники. Так что роль тарана, пробивающего брешь в толще немецкой обороны, предназначена именно нам...» [263]

По оценке Дурново, все эти жертвы окажутся напрасными, ибо Россия будет не в состоянии обеспечить себе территориальные приобретения постоянного характера, воюя на стороне Великобритании — своего традиционного геополитического оппонента. И хотя Великобритания, возможно, согласится на территориальные приобретения России в Центральной Европе, дополнительный кусок Польши лишь усилит уже имеющиеся в наличии центробежные тенденции внутри Российской империи. А рост численности украинского населения может ускорить предъявление требований независимости Украины. Так, по иронии судьбы, результатом победы может стать такой этнический взрыв, который превратит царскую империю в «Малую Россию».

И даже если Россия воплотит в жизнь многовековую мечту о завоевании Дарданелл, то, как подчеркивает Дурново, такого рода успех окажется стратегически бессодержательным:

«[Они] не дадут нам выхода в открытое море, ибо по ту их сторону находятся моря, состоящие почти исключительно из территориальных вод, моря, испещренные многочисленными островами, где, к примеру, британскому флоту не составит особого труда закрыть для нас все входы и выходы, независимо от проливов»[264]. Почему столь простой геополитический факт ускользнул от внимания трех поколений русских, жаждущих завоевания Константинополя, и англичан, вознамерившихся это предотвратить, остается неразрешимой загадкой.

Далее Дурново утверждал, что война совсем не выгодна России экономически. По всем расчетам, она будет стоить гораздо больше, чем сумеет дать. Германская победа погубит русскую экономику, а российская победа иссушит экономику германскую, не оставив ничего для репараций, независимо от того, какая из сторон возьмет верх:

«Не может быть сомнений, что война повлечет за собой расходы, которые находятся вне пределов ограниченных финансовых возможностей России. Мы вынуждены будем изыскивать кредиты у союзных и нейтральных стран, причем они не будут предоставлены нам безвозмездно. А что произойдет, если война окончится для нас

катастрофически, я даже не хочу сейчас обсуждать. Финансовые и экономические последствия поражения нельзя не только рассчитать, но и предвидеть, и это, без сомнения, будет означать полный развал всего нашего народного хозяйства. Но даже победа принесет нам исключительно неблагоприятные финансовые перспективы; полностью разоренная Германия окажется не в состоянии компенсировать нам понесенные затраты. Продиктованный интересами Англии, мирный договор не даст Германии возможности достаточного экономического возрождения, чтобы покрыть наши военные расходы даже в отдаленном будущем»[265].

Но самым главным доводом Дурново против войны явилось убеждение в том, что она неизбежно повлечет за собой социальную революцию — вначале в побежденной стране, а затем и в стране-победителе:

«На основании длительного и тщательного изучения всех современных подрывных тенденций мы пришли к твердому убеждению в том, что в побежденной стране обязательно разразится социальная революция, которая, в силу самой природы вещей, неизбежно распространится и на страну-победителя»[266].

Нет никаких доказательств того, что царь знакомился с этим меморандумом, который мог бы спасти его династию. Нет также свидетельств наличия подобного же анализа в других европейских столицах. Ближе всего к точке зрения Дурново стоят афористичные замечания канцлера Бетман-Гольвега, приведшего Германию к войне. В 1913 году с огромным опозданием он совершенно точно объяснил, почему германская внешняя политика столь взбудоражила остальную Европу:

«Бросить вызов всем; встать у всех поперек дороги и на деле подобным способом не ослабить никого. Причина: отсутствие цели, нужда в показных успехах, пусть даже небольших, и следование любому направлению общественного мнения»[267].

В том же году Бетман-Гольвег разразился еще одним изречением, которое могло бы спасти его страну, будь оно воплощено в жизнь двадцатью годами ранее:

«Мы должны держать Францию под контролем посредством осторожной политики по отношению к России и Англии. Само собой, это не по душе нашим шовинистам и не будет популярно. Но другой альтернативы для Германии в ближайшем будущем я не вижу»[268].

К тому времени, как были написаны эти строки, Европа уже ринулась в водоворот очертя голову. Место, где кризис взвел курок первой мировой войны, не имело ни

малейшего отношения к европейскому равновесию сил, а «казус белли» был столь же случаен, сколь безрассудна была вся предшествующая дипломатическая деятельность.

28 июня 1914 года Франц-Фердинанд, наследник трона Габсбургов, заплатил за поспешность Австрии, проявленную в 1908 году при аннексировании Боснии-Герцеговины, собственной жизнью. Даже сами обстоятельства убийства представляют собой невероятное смещение трагедии и абсурда, которыми отмечен развал Австрии. Юному сербскому террористу не удалось с первой попытки убить Франца-Фердинанда, и он лишь ранил возницу экипажа эрцгерцога. После прибытия в резиденцию губернатора и разноса представителям австрийской администрации за их халатность, Франц-Фердинанд в сопровождении супруги решил направиться в больницу навестить жертву покушения. Новый кучер королевской четы повернул не туда и, делая разворот, встал перед кафе, где потрясенный убийца топил горе в вине. И коль скоро жертва прибыла к нему сама собой, убийца во второй раз уже не промахнулся.

То, что началось, как несчастный случай, превратилось, с неумолимостью рока греческой трагедии, во всеобщий пожар. Поскольку жена эрцгерцога не была королевской крови, никто из монархов Европы на похороны не приехал. Если бы коронованные главы государств собрались все вместе и получили бы возможность обменяться мнениями, они наверняка гораздо более сдержанно отнеслись бы к самой возможности войны через несколько недель после того, что было, в конце концов, всего лишь террористическим заговором.

По всей вероятности, даже саммит коронованных особ не смог бы предотвратить взрыв Австрией детонатора, поспешно врученного ей кайзером. Помня свое обещание 1913 года поддержать Австрию в первом же кризисе, он пригласил 5 июля австрийского посла на завтрак и стал настаивать на принятии скорейших мер против Сербии. 6 июля призыв кайзера подтвердил Бетман-Гольвег: «Австрия должна рассудить, что следует сделать, чтобы выяснить отношения с Сербией; но независимо от решения Австрии она всегда сможет рассчитывать на то, что Германия встанет в ее поддержку как союзник»[269].

Наконец-то Австрия получила карт-бланш, чего так долго добивалась, и реальное оскорбление, по поводу которого можно было предпринимать шаги. Как всегда, не осознающий всей полноты последствий собственной бравады, Вильгельм II ушел в

круиз в норвежские фиорды (это во времена отсутствия радио). Что конкретно он имел в виду, так и осталось неясным, но он, безусловно, не предвидел возможности европейской войны. Кайзер и его канцлер, по-видимому, пришли к выводу, что Россия еще не готова к войне и останется в стороне в момент унижения Сербии, как это произошло в 1908 году. Во всяком случае, по их мнению, лучше было бросить вызов России сейчас, чем когда-либо в будущем.

Улучшая свой так и не побитый рекорд незнания психологии потенциальных противников, германские руководители были убеждены, что им представились широчайшие возможности, точно так же, как они пытались заставить Великобританию силой вступить в союз, строя мощный флот, или изолировать Францию, грозясь войной по поводу Марокко. Базируясь на том предположении, будто бы успех Австрии прорвет все туже и туже смыкающееся окружение и разочарует Россию в отношении надежности Тройственного соглашения, они игнорировали Францию, которую полагали заведомо враждебной, и не задумывались по поводу Великобритании, чтобы не испортить себе триумф. Они сами убедили себя в том, что, если вопреки всем ожиданиям война все-таки разразится, Великобритания либо останется нейтральной, либо вмешается слишком поздно. И все же Сергей Сазонов, министр иностранных дел России в момент начала войны, объяснил, почему на этот раз Россия не останется в стороне:

«С самой Крымской войны мы не питали иллюзий по поводу отношения к нам Австрии. В тот день, когда она начала свою грабительскую политику на Балканах, надеясь укрепить шаткую структуру своих владений, ее отношения с нами становились все более и более недружественными. Мы сумели, однако, приспособиться к этому неудобству, пока нам не стало ясно, что ее балканская политика пользуется симпатиями Германии и поощряется из Берлина»[270].

Россия почувствовала, что ей следует выступить против того, что она истолковала как германский маневр с целью подрыва ее положения среди славян посредством унижения Сербии, ее наиболее надежного союзника в этом районе. «Ясно, — писал Сазонов, — что мы имеем дело не с поспешным решением близорукого министра, предпринятым на свой страх и риск под свою ответственность, но с тщательно разработанным планом, составленным при помощи германского правительства, без согласия которого и в отсутствие обещания поддержки Австро-Венгрия никогда бы не

рискнула приступить к его осуществлению»[271].

Другой русский дипломат позднее с горечью писал о различии между Германией Бисмарка и Германией кайзера:

«Великая война явилась неизбежным следствием поощрения со стороны Германии политики Австро-Венгрии в отношении проникновения на Балканы, которое увязывалось с грандиозной пангерманской идеей германизированной „Малой Европы". Во времена Бисмарка такого бы никогда не случилось. Происшедшее явилось результатом новых немецких амбиций взяться за выполнение задачи, еще более грандиозной, чем стояла перед Бисмарком, но уже без Бисмарка»[272].

Русские дипломаты оказывали Германии незаслуженную честь, ибо кайзер и его советники в 1914 году обладали планами долгосрочного характера не в большей степени, чем во время любого другого из предыдущих кризисов. Кризис в связи с убийством эрцгерцога вышел из-под контроля, поскольку ни один из лидеров не был готов отступить. Каждая из стран была превыше всего озабочена выполнением формальных договорных обязательств, а отнюдь не разработкой всеохватывающей концепции долгосрочных общих интересов. Европе более всего недоставало путеводной системы ценностей, которая явилась бы общей для всех держав, подобно той, что была во времена действия меттерниховской системы, или той, что отражалась в откровенной дипломатической гибкости бисмарковской «реальной политики». Первая мировая война началась не из-за того, что отдельные страны нарушили заключенные ими договоры, а из-за того, что они исполняли их чересчур буквально.

Одним из множества курьезных — и самых странных — аспектов прелюдии к первой мировой войне было то, что поначалу ничего не происходило. Австрия, верная своему обычному стилю деятельности, медлила, отчасти потому, что Вене требовалось время преодоления внутреннего сопротивления венгерского премьер-министра Иштвана Тисы, иначе она бы рисковала целостностью империи. Когда же тот наконец уступил, Вена 23 июля выступила с сорокавосьмичасовым ультиматумом Сербии, нарочно выдвигая столь трудноисполнимые требования, чтобы он обязательно был отвергнут. И все же эта задержка лишила Австрию того преимущества, что уже сошли на нет первоначальные проявления возмущения по всей Европе в связи с убийством эрцгерцога.

В меттерниховской Европе, где легитимизма придерживались все, Россия, без

всякого сомнения, санкционировала бы австрийские меры против Сербии в связи с убийством принца, являющегося прямым наследником австрийского трона. Но к 1914 году легитимность перестала быть всеобщим связующим принципом. Симпатии России к своему союзнику Сербии перевешивали негодование по поводу убийства Франца-Фердинанда.

В течение месяца, последовавшего за убийством, австрийская дипломатия была лениво-медлительна. Затем началась безумная гонка нагнетания катаклизма, занявшая всего неделю. Австрийский ультиматум вывел события из-под контроля политических руководителей. Ибо стоило предъявить ультиматум, как любая из крупных стран оказывалась перед необходимостью подать сигнал к мобилизации. Необратимый! По иронии судьбы мобилизационная колесница Джаггернаута была пущена в ход той самой страной, для которой мобилизационные графики не играли роли. Ибо Австрия, единственная из великих держав, имела до такой степени устаревшие военные планы, что они не зависели от скорости их осуществления. Для австрийских военных планов не играло роли, в какую неделю начнется война, коль скоро рано или поздно ее армии были в состоянии вступить в схватку с Сербией. И Австрия предъявила ультиматум Сербии не для того, чтобы ускорить военные приготовления, а для того, чтобы положить конец сомнениям. Более того, австрийская мобилизация не угрожала ни одной из великих держав, ибо для ее завершения требовался месяц.

И вот получилось так, что мобилизационные планы, сделавшие войну неизбежной, были приведены в движение как раз той самой страной, чья армия реально вступила в схватку лишь после того, как уже произошли крупнейшие битвы на Западе. С другой стороны, независимо от состояния готовности Австрии, если бы Россия пожелала угрожать последней, она бы могла отмобилизовать лишь часть войск, но это действие все равно повлекло бы за собой необратимую реакцию Германии (причем, похоже, никто из политических руководителей не понимал сущности подобной опасности). Парадокс июля 1914 года заключался в том, что страны, имевшие политические причины начать войну, не были привязаны к жестким мобилизационным планам, а нации, обладающие жесткими мобилизационными планами, как-то Германия и Россия, не имели политических причин вступать в войну.

Великобритания, единственная страна, находившаяся в наилучшей ситуации, чтобы остановить цепь надвигающихся событий, колебалась. У нее практически не было

интересов, связанных с балканским кризисом, хотя она и была всерьез заинтересована в сохранении Тройственного соглашения. Боясь войны как таковой, она в еще большей степени опасалась германского триумфа. Если бы Великобритания ясно и недвусмысленно объявила о своих намерениях и дала бы Германии понять, что вступит во всеобщую войну, кайзер, возможно, и уклонился бы от конфронтации. Именно так позднее представлял себе это Сазонов:

«Не могу удержаться от того, чтобы не высказать мнение, что если бы в 1914 году сэр Эдуард Грей, как я настоятельно просил его об этом, своевременно и недвусмысленно заявил бы о солидарности Великобритании с Францией и Россией, он, возможно, спас бы человечество от этого ужасающего катаклизма, последствия которого поставили под угрозу само существование европейской цивилизации»[273].

Британские руководители опасались подставить под удар Тройственное соглашение, выказав колебания в поддержке союзников, и в то же время, как бы противоречиво это ни выглядело, не желали выступать с угрозами Германии, чтобы сохранить за собой право выбора в нужный момент и иметь возможность вступить в переговоры. В результате Великобритания очутилась между двух стульев. У нее не было юридических обязательств вступать в войну на стороне Франции и России, заверял Грей на заседании палаты общин 11 июня 1914 года, чуть более двух недель до убийства эрцгерцога: «...Если между европейскими державами возникнет война, то не существует таких неопубликованных соглашений, которые ограничивали бы или сковывали свободу действий правительства или парламента в принятии решения о том, следует ли Великобритании принять участие в войне...» [274]

С правовой точки зрения это было совершенно верно. Но при всем при том существовала неуловимая тонкость морального характера. Французский военно-морской флот находился в Средиземном море потому, что имелось морское соглашение между Францией и Великобританией; в результате побережье Северной Франции оказывалось полностью неприкрытым перед лицом германского военно-морского флота, если Великобритания не принимала участия в войне. По ходу развития кризиса Бетман-Гольвег заверял, что германский военно-морской флот не будет использован против Франции, если Великобритания даст обещание оставаться нейтральной. Но Грей отказался от этой сделки по тем же самым причинам, по которым отклонил германское предложение 1909 года о замедлении строительства

военно-морского флота в обмен на британский нейтралитет в европейской войне, — ибо подозревал, что после поражения Франции Великобритания окажется беззащитна перед лицом Германии:

«Вам следует уведомить германского канцлера, что его предложение относительно того, чтобы мы связали себя обязательством о нейтралитете на подобных условиях, не может в данный момент быть предметом рассмотрения.

...Для нас заключение подобной сделки с Германией за счет Франции было бы позором, от которого никогда бы не удалось очистить доброе имя нашей страны.

Канцлер также просит договориться об отказе от имеющихся у нас обязательств и интересов в связи с нейтралитетом Бельгии. Такую сделку мы также не можем рассматривать»[275].

Дилемма Грея заключалась в том, что его страна оказывалась в тисках: с одной стороны, общественного мнения, а с другой — традиционных принципов внешней политики. Отсутствие общественной поддержки возможности войны по поводу Балкан, естественно, вызывало раздумья и нерешительность. Но если бы Франция потерпела поражение или потеряла уверенность в союзе с Британией, Германия приобрела бы то самое господствующее положение, против которого всегда выступала Англия. Следовательно, становилось весьма вероятным, что в конце концов Великобритания вступила бы в войну, чтобы предотвратить военное поражение Франции, даже если бы Германия не вторглась в Бельгию. Хотя потребовалось бы некоторое время, чтобы британский народ созрел для поддержки такого шага. В течение этого периода Великобритания еще могла выжидать. Однако решение Германии бросить вызов одному из наиболее устоявшихся принципов английской внешней политики — принципу недопущения контроля над Нидерландами со стороны любой из великих держав — привело Великобританию к отказу от дальнейших сомнений и раздумий, война более не могла закончиться компромиссом.

Грей полагал, что, не вставая ни на чью сторону на ранних этапах кризиса, Великобритания сохранит видимость беспристрастности, которая позволит ей выступить в качестве посредника при принятии решения. И прошлый опыт говорил в пользу подобной стратегии. Каждый раз за последние двадцать лет момент межгосударственной напряженности разрешался посредством международной конференции. Однако ни один из предыдущих кризисов не сопровождался

мобилизацией. А как только все великие державы приготовились к мобилизации, запас времени, требующийся для использования традиционных дипломатических методов, был исчерпан. И теперь критические девяносто шесть часов, в продолжение которых мобилизационные графики и планы разрушили возможности для политического маневрирования, британский кабинет выдерживал принятую позу стороннего наблюдателя.

Австрийский ультиматум прижал Россию к стенке в тот самый момент, когда она уяснила, что ее обводят вокруг пальца. Болгария, чье освобождение от турецкого правления было осуществлено Россией посредством ряда войн, склонялась на сторону Германии. Австрия, аннексировав Боснию-Герцеговину, похоже, стремилась превратить Сербию, последнего стоящего союзника России на Балканах, в протекторат. Наконец, коль скоро Германия воцарялась в Константинополе, России оставалось только гадать, не окончится ли эпоха панславизма тевтонским господством над всем, чего она добивалась в течение столетия.

Даже при данных обстоятельствах царь Николай II еще не был готов к противостоянию Германии. На совещании с министрами 24 июля он рассмотрел возможные варианты для России. Министр финансов Петр Барк вспоминал, что царь заявил: «Война будет катастрофической для всего мира, и, если она разразится, ее очень трудно будет остановить». Кроме того, как отмечает Барк, «германский император часто заверял его в своем искреннем желании обеспечить мир в Европе». И он напомнил министрам «о лояльном отношении германского императора во время русско-японской войны и во время внутренних беспорядков, имевших место в России после этого»[276].

Возражения последовали со стороны Александра Кривошеина, могущественного министра сельского хозяйства. Демонстрируя органическое нежелание России забывать даже о мелочах, он утверждал, что, несмотря на любезное письмо кайзера кузену, царю Николаю, германцы задирали Россию во время Боснийского кризиса 1908 года. А раз так, «общественное и парламентское мнение не поймет, почему в критический момент, затрагивающий жизненно важные для России интересы, императорское правительство не решилось на смелый шаг... Наше преднамеренно сдержанное отношение, к несчастью, не повело за собой успокоения со стороны центральноевропейских держав»[277].

Аргументы Кривошеина были подкреплены депешей от русского посла в Софии, которая гласила, что, если Россия уступит, «наш престиж в славянском мире и на Балканах упадет настолько, что его уже никогда нельзя будет восстановить»[278]. Главы правительств заведомо уязвимы для аргументов, ставящих под сомнение их отвагу. В конце концов царь отбросил в сторону предчувствие надвигающегося несчастья и избрал поддержку Сербии даже с риском войны, хотя и воздержался от объявления мобилизации.

Когда Сербия отреагировала на ультиматум от 25 июля в неожиданно примирительном тоне, приняв все австрийские требования, за исключением одного, кайзер, вернувшийся из круиза, решил, что кризис миновал. Но он не подумал, что Австрия теперь будет рассчитывать на столь опрометчиво предоставленную им поддержку. И, что самое главное, он позабыл, если вообще об этом знал, что, когда великие державы уже находятся на пороге войны, мобилизационные планы обгоняют дипломатию.

28 июля Австрия вступила в войну с Сербией, хотя к военным действиям она могла быть готова только к 12 августа. В тот же самый день царь объявил частичную мобилизацию, направленную против Австрии, и, к величайшему своему удивлению, обнаружил, что единственный план, имевшийся в наличии у Генерального штаба, предусматривал всеобщую мобилизацию одновременно против Германии и Австрии, несмотря на то, что в течение последних пятидесяти лет именно Австрия стояла на пути русских амбиций на Балканах и что локальная австро-русская война была предметом изучения в военно-штабных учебных заведениях в течение всего этого срока. Министр иностранных дел России, не ведая, что живет вне времени и пространства, вздумал разуверить Берлин 28 июля: «Военные мероприятия, предпринятые в связи с объявлением Австрией войны... ни в малейшей степени не направлены против Германии»[279].

Российские военные руководители, все без исключения последователи теорий Обручева, были потрясены сдержанностью царя. Они хотели всеобщей мобилизации и, следовательно, войны с Германией, в отношении которой еще не было предпринято шагов военного характера. Один из влиятельных генералов сказал Сазонову, что война стала неизбежной, и мы находимся в опасности проиграть ее еще до того, как успеем обнажить свой меч»[280].

И если царь представлялся чересчур нерешительным своим собственным генералам, то Германии он казался более чем решительным. Все германские планы строились на том, что Франция будет выведена из войны в течение шести недель, а тогда можно будет заняться предположительно еще не полностью отобилизованной Россией. Любая русская мобилизация — пусть даже частичная — врежется в этот график и снизит шансы Германии в этой и без того рискованной игре. Так что, соответственно, 29 июля Германия потребовала от России прекратить мобилизацию, иначе Германия последует ее примеру. А все знали, что германская мобилизация была равносильна войне.

Царь, однако, был слишком слаб, чтобы что-то переиграть. Остановить частичную мобилизацию означало бы раскрыть весь ход военного планирования России, а сопротивление генералов убедило его в том, что надо ковать железо, пока горячо. 31 июля Германия вновь потребовала прекратить русскую мобилизацию. И когда этот запрос был проигнорирован, Германия объявила войну России. Это произошло в отсутствие какого бы то ни было политического обмена мнениями между Санкт-Петербургом и Берлином относительно сущности кризиса, причем между Германией и Россией вообще не существовало спорных вопросов в прямом смысле слова.

Теперь перед Германией встала проблема: ее военные планы предусматривали немедленный удар по Франции, которая в продолжение кризиса вела себя совершенно спокойно, разве что побуждала Россию не идти на компромисс, обещая безоговорочную поддержку. Поняв наконец, куда завели его двадцать лет воинственной истерии, кайзер попытался перенаправить мобилизацию со стороны Франции в сторону России. Но его попытка обуздать военных оказалась столь же тщетной, как и предыдущая попытка царя, сходная по содержанию: ограничить объемы российской мобилизации. Германский Генеральный штаб не более, чем его русские коллеги, готов был выбросить на ветер двадцать лет военного планирования; точно так же, как и у российского генштаба, у него не было в наличии альтернативного плана. И царь, и император хотели бы отойти подальше от опасной черты, но никто из них не знал, как это сделать: царь потому, что не мог произвести по-настоящему частичную мобилизацию, кайзер потому, что не мог произвести мобилизацию только против России. Оба были раздавлены военной машиной, которую сами же помогали строить и которая, будучи пущена в ход, уже не в

состоянии была остановиться.

1 августа Германия запросила Францию, намерена ли она оставаться нейтральной. Если бы Франция ответила утвердительно, Германия потребовала бы как доказательство добросовестности намерений крепости Верден и Тулон. Но вместо этого Франция ответила довольно уклончиво, что будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. У Германии, само собой, не было конкретного повода, которым можно было бы оправдать войну с Францией, стоявшей в стороне во время Балканского кризиса. И опять-таки движущей силой оказались мобилизационные планы. Тогда Германия придумала какие-то пограничные инциденты со стороны Франции и 3 августа объявила войну. В тот же день германские войска во исполнение «плана Шлиффена» вторглись в Бельгию. На следующий день, что было неудивительно для всех, кроме германских руководителей, войну Германии объявила Великобритания.

Великие державы преуспели в превращении второразрядного Балканского кризиса в мировую войну. Спор по поводу Боснии и Сербии привел к вторжению в Бельгию, на другом конце Европы, что, в свою очередь, сделало неизбежным вступление в войну Великобритании. По иронии судьбы к тому времени, как на Западном фронте разгорелись битвы решающего характера, австрийские войска все еще не перешли в наступление против Сербии.

Германия уяснила слишком поздно, что в войне не бывает определенности и что безудержное желание быстрой и решительной победы втянуло ее в изнурительную войну на взаимное истощение. Воплощая в жизнь «плач Шлиффена», Германия делала ставку на британский нейтралитет, при этом она не сумела разгромить французскую армию, на что и возлагались надежды в первую очередь. По иронии судьбы Германия потерпела поражение в наступательных боях на Западе и выиграла оборонительные сражения на Востоке, как и предсказывал стареющий Мольтке. В конце концов Германия вынуждена была прибегнуть к оборонительной стратегии Мольтке на Западе, но уже после того, как совершила политические шаги, исключавшие мир, основанный на политическом компромиссе, на чем и строилась стратегия Мольтке.

«Европейский концерт» проявил позорное бессилие, ибо политическое руководство позволило себе самоустраниться. В результате не было даже предпринято попытки

собрать нечто вроде европейского конгресса, когда подготовительный период, как это имело место на протяжении почти всего XIX века, производил отрезвляющее воздействие или приводил к выработке конкретных решений. Европейские лидеры предусмотрели все возможности, за исключением резерва времени, требующегося для дипломатического умиротворения. Вдобавок они позабыли изречение Бисмарка: «Горе тому руководителю, чьи аргументы в конце войны не столь убедительны, как в ее начале».

К тому времени, как события прошли своим чередом, двадцать миллионов лежали мертвыми; Австро-Венгерская империя исчезла с лица земли; три из четырех династий, вступивших в войну, — германская, австрийская и российская — оказались свергнуты. Устоял лишь британский королевский дом. Позднее с трудом можно было вспомнить, что же именно зажгло мировой пожар. Все понимали лишь то, что на пепелище гигантского безумия надо было построить новую европейскую систему, хотя природу ее трудно было разглядеть среди страстей и опустошения, порожденных кровавой бойней.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Новое лицо дипломатии: Вильсон и Версальский договор

11 ноября 1918 года британский премьер-министр Дэвид Ллойд-Джордж следующими словами возвестил о заключении перемирия между Германией и союзными державами: «Надеюсь, что в это судьбоносное утро мы все вправе сказать, что пришел конец всем войнам»[281]. На самом же деле лишь два десятилетия отделяли Европу от еще более катастрофической войны.

Поскольку все в первую мировую войну пошло не так, как намечалось, то

неизбежным стал и тот факт, что стремление народов к миру окажется столь же тщетным, как и те надежды, с которыми они же ввергали себя в катастрофу. Каждый из участников рассчитывал на краткую войну и полагал, что условия мира будут выработаны на своего рода дипломатическом конгрессе типа тех, что неизменно завершали европейские конфликты в прошлом столетии. Но когда потери выросли до гигантских, устрашающих размеров, они свели на нет политические споры, явившиеся прелюдией к конфликту: соперничество по поводу влияния на Балканах, обладания Эльзас-Лотарингией и гонки морских вооружений. Европейские нации стали винить в своих страданиях злокозненных от природы противников и убеждать себя, что компромисс будто бы не принесет реального мира; враг должен быть полностью разгромлен, либо войну следует вести до его полнейшего истощения.

Если бы европейские руководители следовали практике предвоенного международного порядка, компромиссный мир можно было бы заключить весной 1915 года. Отшумели кровавые ливни наступлений каждой из сторон, и на всех фронтах наступило затишье. Но точно так же, как мобилизационные планы опередили дипломатию в течение недели, предшествовавшей началу войны, масштаб жертв теперь препятствовал достижению разумного компромисса. Вместо этого европейские руководители стали чрезмерно завышать свои требования, тем самым не только усугубляя собственную некомпетентность и безответственность, приведшие к соскальзыванию к войне, но и разрушая мировой порядок, при котором нации сосуществовали в течение почти целого столетия.

К зиме 1914/15 года военная стратегия и международная политика лишились последних точек соприкосновения друг с другом. Ни одна из воюющих держав не осмеливалась и помыслить о компромиссном мире. Франция не согласилась бы на урегулирование, не получив назад Эльзас-Лотарингию. Германия не рассматривала бы условия мира, если бы по ним пришлось отдать уже завоеванную территорию. Как только европейские лидеры погрузились в пучину войны, они до такой степени увлеклись братоубийственной бойней, так обезумели, постепенно уничтожая целое поколение своих молодых мужчин, что единственной наградой им представлялась только победа, независимо от руин, на которых должен был бы быть построен подобный триумфальный памятник. Гибельные наступления лишь подчеркивали патовый характер ситуации и влекли за собой такие потери, которые казались бы

немыслимыми в век, предшествовавший победному маршу новой технологии. Попытки завербовать новых союзников делали политический тупик еще более безвыходным. Ибо каждый новый союзник — Италия и Румыния на стороне Антанты, Болгария на стороне Центральных держав — требовал своей доли предполагаемой добычи, тем самым лишая дипломатию последних остатков гибкости.

Условия мира все в большей степени принимали нигилистический характер. Аристократический, в какой-то мере заговорщический стиль дипломатии XIX века оказался неприемлемым в эпоху мобилизации масс. Антанта специализировалась на выдвигании лозунгов морального характера, типа «Война, чтобы покончить со всеми войнами» или «Сделать мир безопасным для Демократии», особенно после того, как в войну вступила Америка. Первая из этих целей была еще понятна, и даже весьма многообещающа, ибо нации уже тысячу лет воевали друг с другом в различных комбинациях союзников и противников. Практической ее интерпретацией было разоружение Германии. Второе заявление — распространение демократии — требовало для своего осуществления демонтажа германских и австрийских внутренних установлений. Так что оба лозунга Антанты требовали войны до конца.

Великобритания, которая во времена наполеоновских войн предложила схему европейского равновесия в виде плана Питта, теперь осуществляла нажим для достижения всеобъемлющей победы. В декабре 1914 года германцы склонялись к тому, чтобы уйти из Бельгии в обмен на Бельгийское Конго, но министр иностранных дел Великобритании Грей отклонил это предложение под тем предлогом, что союзникам должна быть обеспечена «безопасность в смысле какого бы то ни было будущего нападения Германии»[282].

Замечание Грея представляло собой по сути пересмотр британского подхода к вопросам внешней политики. Еще незадолго до начала войны Великобритания отождествляла безопасность с равновесием сил, которое она поддерживала, оказывая содействие более слабой стороне против более сильной. Но к 1914 году Великобритания в данном качестве чувствовала себя все более и более неуверенно. Видя, что Германия становится сильнее, чем все прочие страны континента, вместе взятые, Великобритания поняла, что не может долее играть традиционную роль, пытаясь оставаться над европейской схваткой. И поскольку она ощущала в Германии гегемонистскую угрозу Европе, возвращение к довоенному статус-кво не сняло бы

этой проблемы в фундаментальном плане. Таким образом, Великобритания перестала быть сторонником компромисса и теперь настаивала на «гарантиях», суть которых сводилась к постепенному ослаблению Германии, особенно к резкому снижению численности германского «флота открытого моря», то есть к тому, чего Германия никогда не примет, если не будет полностью разбита.

Германские условия были гораздо более конкретны и более обоснованы геополитически. И все же с характерным для германских руководителей отсутствием чувства меры выдвигаемые ими требования граничили с безоговорочной капитуляцией. На Западе они требовали аннексии угольных месторождений Северной Франции и военного контроля над Бельгией, включая порт Антверпен, что гарантировало вечно враждебное отношение Великобритании. На Востоке Германия выдвигала официальные требования лишь применительно к Польше, где в заявлении от 5 ноября 1916 года обещала создать «независимое государство с наследственной конституционной монархией»[283], что зачеркивало какие бы то ни было перспективы компромиссного мира с Россией. (Германия надеялась на то, что обещание польской независимости поможет ей обеспечить достаточное количество польских добровольцев для формирования пяти дивизий; как выяснилось, число новобранцев составило всего лишь три тысячи.)[284] После поражения России Германия навязала ей Брест-Литовский договор от 3 марта 1918 года, по которому она аннексировала треть европейской части России и устанавливала протекторат над Украиной. Наконец-то определившись, что именно она понимает под *Weltpolitik*, Германия, как минимум, стала стремиться к господству над Европой.

Первая мировая война началась, как типичная кабинетная война, с нотами, передаваемыми от посольства к посольству, с телеграммами, направляемыми суверенными монархами друг другу на всех решающих этапах пути к реальным схваткам. Но как только война была объявлена, улицы европейских столиц были запружены ликующей толпой, и конфликт из чисто канцелярского превратился в борьбу масс. И по прошествии двух лет войны каждая из сторон стала выдвигать условия, несовместимые с каким бы то ни было понятием о равновесии сил.

Вне пределов человеческого понимания оказалось то, что обе стороны одерживали победы и терпели поражения одновременно. Кто думал, что Германия победит Россию и серьезно ослабит как Францию, так и Англию, но, в конце концов, западные

союзники с неоценимой помощью Америки выйдут победителями? Последствием наполеоновских войн было столетие мира, покоившегося на равновесии сил и обеспечиваемого общностью ценностей. Последствиями первой мировой войны были социальные перевороты, идеологические конфликты и еще одна мировая война.

Энтузиазм, вспыхнувший в момент начала войны, улетучился, как только народы Европы поняли, что способность их правительств организовать кровавую бойню не соответствует их умению достичь либо победы, либо мира. А возникший в результате этого вихрь смел все восточные дворы, единение которых во времена Священного союза обеспечивало в Европе мир. Австро-Венгерская империя исчезла навсегда. Российская империя подпала под власть большевиков и на два десятилетия стала периферией Европы. Германия была последовательно изломана поражением, революцией, инфляцией, экономической депрессией и диктатурой. Франция и Великобритания от ослабления своих противников ничего не выгадали. Они пожертвовали цветом нации — молодым поколением — ради мира, который сделал противника геополитически сильнее, чем до войны.

И прежде чем стал до конца очевиден масштаб опустошительного конфликта, в значительной степени спровоцированного каждым из его участников, на арене появился новый игрок, положивший раз и навсегда конец «европейскому концерту». Среди руин и крушения иллюзий в результате кровавой бойни, продолжавшейся уже три года, на международную арену выступила Америка, неся с собой уверенность, мощь и идеализм, немислимые для ее изнуренных европейских союзников.

Вступление Америки в войну сделало тотальную победу технически возможной, но цели ее мало соответствовали тому мировому порядку, который Европа знала в течение трех столетий и ради которого предположительно вступила в войну. Америка с презрением отвергала концепцию равновесия сил и считала практическое применение принципов «Realpolitik» аморальным. Американскими критериями международного порядка являлись демократия, коллективная безопасность и самоопределение — прежде ни один из этих принципов не лежал в основе европейского урегулирования.

Для американцев диссонанс между их собственной философией и европейским мышлением подчеркивал достоинства их убеждений. Провозглашая радикальный отход от заповедей Старого Света и накопленного Европой опыта, Вильсон выдвинул

идею такого мирового порядка, которая отталкивалась бы от американской веры в доброго, в общем и целом, от природы человека и в изначальную мировую гармонию. Отсюда следовало, что демократические нации по самой своей природе миролюбивы; народ же, обретший возможность самоопределения, не будет более иметь причины прибегать к войне или угнетать других. И как только все народы мира вкусят благословенного мира и демократии, они, безусловно, встанут все, как один, на защиту своих завоеваний.

Европейские лидеры не мыслили подобными категориями, и у них неоткуда было взяться такого рода взглядам. Ни внутреннее устройство у них в странах, ни международный порядок не базировались на политических теориях, основывающихся на постулате, что человек будто бы от природы добр. Расчет скорее делался на то, что выходящий на первый план человеческий эгоизм можно направить на служение высшему благу. И основополагающей предпосылкой европейской дипломатии было не изначальное миролюбие отдельных государств, а склонность их к войне, и надо было либо этому противостоять, либо это сбалансировать. Союзы заключались ради достижения конкретных, поддающихся определению целей, а не ради абстрактной защиты мира.

Вильсоновские доктрины самоопределения и коллективной безопасности создали для европейских дипломатов совершенно незнакомую ситуацию. Любое европейское урегулирование исходило из той предпосылки, что можно изменять границы ради достижения равновесия сил, которому при всех обстоятельствах отдается преимущество перед волей затронутого конфликтом населения. Так Питт представлял себе «большие массы», способные сдерживать Францию по окончании наполеоновских войн.

К примеру, на протяжении всего XIX века Великобритания и Австрия сопротивлялись распаду Османской империи, поскольку полагали, что возникновение в результате этого более мелких государств подрвет мировой порядок — неопытность более мелких наций значительно увеличит возможности прорыва на поверхность подспудного этнического соперничества, а относительная их слабость побудит великие державы вторгнуться на эти территории. По мнению Великобритании и Австрии, мелким государствам следовало подчинить собственные национальные амбиции всеохватывающим интересам мира. Во имя сохранения

равновесия Франции было отказано в приобретении франкоговорящей валлонской части Бельгии, а Германии не дали объединиться с Австрией (хотя у Бисмарка были собственные причины, исключавшие объединение с Австрией).

Вильсон в корне отвергал подобный подход, и с тех пор Соединенные Штаты всегда этому следовали. С точки зрения Америки, не самоопределение влечет за собой войны, а то положение, когда его нет; не отсутствие равновесия сил порождает нестабильность, а стремление к его достижению. Вильсон предлагал сделать фундаментом мира принцип коллективной безопасности. Исходя из этого принципа для безопасности в мире требуется не защита национальных интересов, а признание сохранения мира в качестве правовой концепции. Определение того, был ли на деле нарушен мир, должно быть вменено в обязанность создаваемому в этих целях международному учреждению, которое Вильсон определил как Лигу наций.

Как это ни странно, но идея создания такой организации всплыла на поверхность именно в Лондоне, до той поры бастионе дипломатии равновесия сил. И мотивом послужила не попытка создания нового мирового порядка, но поиск Англией причин вовлечения Америки в войну для защиты старого порядка. В сентябре 1915 года, решительно порывая с английской практикой, министр иностранных дел Грей направляет доверенному лицу президента Вильсона полковнику Хаузу предложение, которое, как ему представлялось, американский президент-идеалист не сможет отвергнуть.

В какой степени, запрашивал Грей, президент может быть заинтересован в Лиге наций, целью которой будет обеспечение разоружения и мирное урегулирование споров?

«Не выступит ли президент с предложением о необходимости существования Лиги наций, которая была бы обязана противостоять любой державе, нарушившей договор... или если в случае спора эта держава отказывается от любого другого метода урегулирования, кроме войны?» [285]

Невероятно, чтобы Великобритания, в течение двухсот лет воздерживавшаяся от вступления в союзы, не ставящие перед собой конкретных задач, вдруг возлюбила такого рода ничем не ограниченные обязательства в глобальном масштабе. Но решимость Великобритании противодействовать непосредственной угрозе со стороны Германии была так велика, что ее министр иностранных дел позволил себе выдвинуть

доктрину коллективной безопасности, влекущую за собой принятие самых неограниченных обязательств. Каждый член предложенной им всемирной организации должен был бы взять на себя обязательство противостоять агрессии где бы то ни было и чьей бы то ни было и наказывать нации, отвергающие мирное урегулирование споров.

Грей знал, с кем он имеет дело. Со времен юности Вильсон верил в то, что американские федеральные институты должны послужить моделью будущего «человеческого парламента»; еще в первые годы своего президентства он уже прорабатывал возможности заключения «Панамериканского пакта», охватывающего все Западное полушарие. И потому Грей не удивился, хотя, конечно, был весьма обрадован, получив быстрый ответ, соответствовавший в ретроспективном плане его довольно прозрачному намеку,

Этот обмен посланиями был, по-видимому, самой первой демонстрацией «особых отношений» между Америкой и Великобританией, что позволило Великобритании сохранять уникальную возможность влиять на Вашингтон даже после резкого уменьшения собственной мощи по окончании второй мировой войны. Общность языка и культурного наследия в сочетании с величайшим тактом позволяли британским лидерам вводить собственные идеи в американский процесс принятия решений таким образом, что эти идеи незаметно становились частью собственно вашингтонских. Так что когда в мае 1916 года Вильсон впервые выступил с планом создания всемирной организации, он был, без сомнения, убежден в том, что эта идея — его собственная. И в какой-то мере это было так, поскольку Грей выдвинул ее, будучи целиком и полностью уверен, что Вильсону свойственны именно такие убеждения.

Независимо от того, кто непосредственно это придумал, Лига наций была квинтэссенцией американской внешнеполитической концепции. То, чего хотел Вильсон, должно было представлять собой «универсальную ассоциацию наций для поддержания ничем не нарушаемой безопасности морских путей, для всеобщего и ничем не ограниченного их использования всеми нациями мира и для предотвращения каких бы то ни было войн, начатых либо в нарушение договорных обязательств, либо без предупреждения, при полном подчинении всех рассматриваемых вопросов мировому общественному мнению, — что является

действенной гарантией территориальной целостности и политической независимости»[286].

Первоначально, однако, Вильсон воздерживался от предложения американского участия в этой «универсальной ассоциации». Наконец в январе 1917 года он совершил прыжок и стал защищать американское членство, опираясь при этом, как это ни удивительно, на «доктрину Монро»:

«Я предлагаю, чтобы все нации единодушно приняли доктрину президента Монро в качестве доктрины для всего мира: ни одна нация не должна стремиться к распространению собственной политической власти ни на одну иную нацию или народ... все нации должны с этого момента избегать вступления в союзы, которые вовлекли бы их в состязания могуществ...» [287]

Мексика, должно быть, с изумлением бы узнала, что президент страны, отторгнувшей треть ее территории в XIX веке и направлявшей свои войска в Мексику в прошлом году, теперь представляет «доктрину Монро» как гарантию территориальной целостности братских наций и классический пример международного сотрудничества.

Вильсон при всем идеализме, однако, вовсе не уповал на то, что его точка зрения победит в Европе сама собой, только вследствие заложенных в ней достоинств. Он выказал себя вполне готовым подкрепить аргументы нажимом. Вскоре после вступления Америки в войну в апреле 1917 года он писал полковнику Хаузу: «Когда война окончится, мы сможем принудить их мыслить по-нашему, ибо к этому моменту они, не говоря уже обо всем прочем, будут в финансовом отношении у нас в руках»[288]. В тот момент некоторые из союзных держав не торопились высказываться по поводу идеи Вильсона. И дело было не только в том, что они были не готовы одобрить взгляды, до такой степени расходившиеся с их собственными, но и в том, что они слишком нуждались в Америке, чтобы высказать свои несогласия открыто.

В конце октября 1917 года Вильсон направил Хауза запросить европейцев, как те смогли бы сформулировать цели войны, которые бы отражали провозглашенные американским президентом взгляды на мир без аннексий и контрибуций, на мир, охраняемый международным авторитетным органом. В течение ряда месяцев Вильсон воздерживался от пропаганды собственной точки зрения, поскольку, как он объяснял

Хаузу, Франция и Италия могли бы выступить с возражениями, если Америка выскажет сомнения в справедливости их территориальных притязаний[289].

Наконец, 8 января 1918 года Вильсон приступил к самостоятельным действиям. Исключительно красноречиво и с огромным подъемом он выступил с изложением американских целей войны на совместном заседании палат Конгресса, представив их в виде «Четырнадцати пунктов», разделенных на две части. Восемь пунктов он назвал «обязательными» в том смысле, что они непременно должны быть выполнены. Сюда вошли открытая дипломатия, свобода мореплавания, всеобщее разоружение, устранение торговых барьеров, беспристрастное разрешение колониальных споров, воссоздание Бельгии, вывод войск с русской территории и, в качестве венца творения, учреждение Лиги наций.

Остальные шесть пунктов, более конкретных, Вильсон представил, сопроводив их заявлением, что их скорее «следует», чем «надлежит» достигнуть, в основном потому, что, с его точки зрения, они не являются абсолютно обязательными. Удивительно, но возврат Франции Эльзас-Лотарингии попал в необязательную категорию, даже несмотря на то, что решимость возратить этот регион питала французскую политику в течение полувека и повлекла за собой беспрецедентные жертвы в процессе войны. Прочими «желательными» целями были получение автономии для национальных меньшинств Австро-Венгерской и Османской империй, пересмотр границ Италии, вывод иностранных войск с Балкан, интернационализация Дарданелл и создание независимой Польши с выходом к морю. Неужели Вильсон намекал на то, что по этим шести пунктам мог быть достигнут компромисс? Выход Польши к морю и пересмотр границ Италии было бы трудно увязать с принципом самоопределения, и потому они с самого начала выпадали из моральной симметрии вильсоновского проекта.

Вильсон заключил свое обращение призывом к Германии — сделать все во имя умиротворения, в духе которого Америка подходит к строительству нового международного порядка, — хотя бы это и в корне расходилось с историческими целями войны. Если Германия встанет на этот путь, то ей обеспечена поддержка:

«Мы не собираемся отказывать ей в достижениях, ученых заслугах или мирной предприимчивости, сделавших ее послушной список ярким и завидным. Мы не хотим наносить вред или ограничивать каким бы то ни было образом ее законное влияние и мощь. Мы не собираемся противостоять ей ни силой оружия, ни враждебными

торговыми установлениями, если она готова ассоциироваться с нами и другими миролюбивыми нациями мира посредством справедливых договоров, законных и честных сделок. Мы лишь хотим, чтобы она заняла равное место среди народов мира...» [290]

Еще никогда столь революционные цели не провозглашались со столь скупыми намеками на пути их достижения. Мир, который представлял себе Вильсон, должен был базироваться не на силе, а на принципах; не на интересе, а на праве — как для победителя, так и для побежденного; иными словами, происходил полнейший пересмотр исторического опыта и образа действий, свойственного великим державам. Символично и то, каким именно образом Вильсон описывал свою и Америки роль в этой войне. Америка присоединилась, по словам Вильсона, с отвращением относившегося к слову «союзник», к «одной из сторон», как он предпочитал это называть, в одной из самых свирепых войн за всю историю, и Вильсон действовал, словно он главный посредник. Ибо Вильсон, похоже, стремился сказать, что война ведется не ради воплощения в жизнь каких-то особых условий, но ради того, чтобы породить у Германии определенное отношение к сложившейся ситуации. Так что война велась ради обращения, а не во имя геополитики.

В заявлении, зачитанном в лондонском Гильдхолле 28 декабря 1918 года, уже после заключения перемирия, Вильсон недвусмысленно заклеил принцип равновесия сил, как лишенный стабильности и базирующийся на «ревнивой бдительности и антагонизме интересов»:

«Они [солдаты союзных стран] воевали, чтобы покончить со старым порядком и установить новый, причем центральным и характерным для старого порядка была одна нестабильная вещь, которую мы имели обыкновение называть «равновесием сил» — вещь, где равновесие определялось мечом, бросаемым то на одну, то на другую чашу весов; равновесие это определялось нестабильным соотношением соперничающих интересов... Люди, участвовавшие в этой войне, были людьми, принадлежавшими к свободным нациям, которые были преисполнены решимости покончить с таким положением дел раз и навсегда»[291].

Вильсон был безусловно прав, когда утверждал, что европейские нации все смешали и запутали. Однако причиной этому было вовсе не равновесие сил, а отказ от него, что и вызвало в Европе кошмар первой мировой войны. Руководители предвоенной

Европы пренебрегли историческим соотношением сил и отказались от периодических корректив, которые позволили бы избежать итогового противостояния. Они подменили все это двухполюсным миром, гораздо менее гибким, чем мир времен «холодной войны» в будущем, пусть даже тогда не было подспудных возможностей катаклизмов ядерного века. На словах расхваливая равновесие сил, лидеры Европы потворствовали наиболее националистическим элементам из числа формирующего общественного мнения. Ни политическая, ни военная структуры не допускали никакой гибкости; не было предохранительного клапана между статус-кво и взрывом. Это приводило к кризисам, не поддававшимся урегулированию, и к бесконечной публичной браваре, которая в конце концов отрезала путь к отступлению.

Вильсон верно определил ряд основных задач XX века: в особенности, как поставить силу на службу мира. Но предлагаемые им решения слишком часто усложняли названные им проблемы. Ибо он полагал, что в основе соперничества между государствами лежит в первую очередь отсутствие возможности самоопределения; не сбрасывались со счетов и экономические мотивы. И все же история демонстрирует множество прочих, гораздо более часто встречающихся причин соперничества, главное место среди которых занимают и мания национального величия, и мегаломания правителя или правящей группы. Испытывая отвращение к подобным явлениям, Вильсон был убежден, что демократия и самоопределение окажутся надежным тормозом войны.

Вера Вильсона в коллективную безопасность как панацею предполагала объединение стран мира против агрессии, несправедливости и, что весьма важно, избыточного эгоизма. В выступлении перед сенатом в начале 1917 года Вильсон утверждал, что установление равноправия государств станет предпосылкой обеспечения мира посредством коллективной безопасности независимо от могущества каждой из наций в отдельности.

«Право должно основываться на совокупной мощи, а не на индивидуальной мощи наций, от концерта которых будет зависеть мир. Само собой разумеется, невозможно равенство территорий или ресурсов; невозможно и другого рода равенство, не приобретенное путем обычного мирного и законного развития самих народов. Но никто не просит ни о чем большем и не ожидает ничего большего, чем правового равенства. Человечество ждет с нетерпением возможности жить свободно, а не

заниматься уравниванием мощи друг друга»[292].

Вильсон предлагал такой мировой порядок, при котором противостояние агрессии базировалось бы скорее на моральных, чем на геополитических суждениях. Нации должны задавать себе вопрос, не является ли это деяние несправедливым или угрожающим. И хотя американские союзники не слишком-то верили в эти новые откровения, они ощущали себя слишком слабыми, чтобы бросить им вызов. Союзники Америки знали или полагали, что знали, как именно рассчитывать равновесие, основывающееся на силе; они не были уверены в том, что они или кто-либо другой знает, как рассчитывать равновесие на базе моральных предпосылок.

До вступления Америки в войну европейские демократии никогда не осмеливались открыто выражать свои сомнения относительно идей Вильсона и, напротив, делали все возможное, чтобы привлечь Вильсона на свою сторону, приспособляясь к нему. К тому моменту, когда Америка выступила на стороне Антанты, их охватило отчаяние. Объединенные силы Великобритании, Франции и России оказались недостаточны для противостояния Германии, а после свершившейся русской революции опасались, что вступление Америки в войну всего-навсего уравнивает выход из нее потерпевшей крах войны России. Брестский мир с Россией наглядно показал, что готовила Германия для проигравших. Страх перед германской победой удерживал Великобританию и Францию от споров на тему целей войны со своим американским партнером-идеалистом.

После заключения перемирия союзники стали легче высказывать свои опасения. Не в первый раз европейский альянс испытал бы трения или разрыв вследствие победы (к примеру, на определенном этапе Венского конгресса победители угрожали войной друг другу). И все же победители в первой мировой войне были настолько истощены понесенными ими жертвами и все еще до такой степени зависели от американского гиганта, что не могли пойти на резкий спор с ним, результатом чего могло бы стать самоустранение от мирного урегулирования.

Особенно это относилось к Франции, которая вдруг оказалась в поистине трагическом положении. В течение двух столетий она изо всех сил добивалась преобладания в Европе, а теперь, по окончании войны, почувствовала неуверенность в своей способности самостоятельно защитить собственные границы от побежденного врага. Французские руководители инстинктивно чувствовали то, что

сил опустошенной страны не хватит, чтобы сдерживать Германию. Война истощила Францию, и мир казался ей преддверьем грядущей катастрофы. Франция, воевавшая за свое существование, теперь боролась за право быть собой. Она не желала идти на риск одиночества, а в то же время ее самый могучий союзник предлагал положить в основу мира принципы, которые превращали безопасность в юридическую процедуру.

Победа заставила Францию со всей ясностью осознать, что реванш обошелся слишком дорого и что она уже почти столетие тратит и тратит свой основной капитал. Франция одна лишь знала, до какой степени слабой она стала по сравнению с Германией, хотя никто другой, а особенно Америка, ей бы не поверил. И вот потому накануне победы начался франко-американский диалог, ускоривший процесс деморализации некогда великой державы. Как Израиль в нынешнее время, Франция маскировала свою уязвимость тем, что ощетинивалась во все стороны, а нарастающую панику превращала в непримиримость. И, подобно Израилю в нынешнее время, испытывала постоянный страх перед изоляцией.

Хотя союзники Франции настаивали на том, что ее страхи преувеличены, французские руководители знали что к чему. В 1880 году на долю Франции приходилось 15,7% населения Европы. К 1900 году эта цифра снизилась до 9,7%. В 1920 году население Франции составляло 41 миллион человек, а Германии — 65 миллионов, и когда французского государственного деятеля Бриана упрекали в политике умиротворения по отношению к Германии, тот отвечал своим критикам, что проводит внешнюю политику, соответствующую уровню рождаемости его собственной страны.

Падение экономической мощи Франции в относительных показателях еще драматичнее. В 1850 году она была крупнейшей в экономическом отношении державой на континенте. К 1880 году производство Германией стали, угля и железа превзошло французское. В 1913 году Франция добывала 41 миллион тонн угля по сравнению с 279 миллионами тонн, добываемыми Германией; к концу 30-х годов разрыв увеличился еще больше, ибо французские 47 миллионов тонн уже противостояли 351 миллиону германских[293].

Остаточная мощь побежденного врага наглядно демонстрирует коренное различие послевоенного и послеверсальского международного устройства, причиной которого было отсутствие единства среди победителей после Версаля. Наполеона победила

коалиция держав, и коалиция держав также потребовалась для того, чтобы добиться преобладания над императорской Германией. Даже после поражения оба побежденных — Франция в 1815 году и Германия в 1918 — оставались достаточно сильными, чтобы возобладать над любым из членов коалиции по отдельности и, возможно, над любой комбинацией из двух. Разница заключалась в том, что в 1815 году миротворцы оставались едины и заключили Четырехсторонний альянс — то есть создали преобладающую по силам коалицию четырех держав, способную сокрушить любые мечты о реванше. В постверсальский период победители не сохранили единства, ибо Америка и Советский Союз полностью самоустранились, а Великобритания вела себя по отношению к Франции в высшей степени двусмысленно.

И лишь в послеверсальский период до Франции во всей своей полноте дошло то, что поражение, нанесенное ей Германией в 1871 году, не было отклонением от нормального порядка вещей. Единственный путь, при помощи которого Франция могла бы сохранить равновесие сил с Германией, заключался в разделе Германии на составляющие ее государства, возможно, путем воссоздания Германской конфедерации девятнадцатого столетия. И действительно, Франция целенаправленно стремилась к этой цели, поощряя сепаратизм Рейнланда и оккупировав саарские угольные разработки.

Однако на пути разделения Германии стояли два препятствия. Одно из них заключалось в том, что Бисмарк строил слишком хорошо. Германия, которую он создал, пронесла чувство единства через поражение в двух мировых войнах, французскую оккупацию Рурской области в 1923 году и существование учрежденного Советским Союзом государства-сателлита в Восточной Германии в течение жизни целого поколения после второй мировой войны. Когда в 1989 году рухнула Берлинская стена, президент Франции Миттеран какое-то время носился с идеей сотрудничества с Горбачевым в деле противостояния объединению Германии. Но Горбачев, слишком занятый внутренними проблемами, отнюдь не рвался затеять подобную авантюру, а Франция была недостаточно сильна, чтобы справиться с этим в одиночку. Аналогичная слабость Франции помешала разделению Германии в 1918 году. Даже если бы Франции это оказалось под силу, ее союзники, особенно Америка, не потерпели бы столь грубого нарушения принципа самоопределения. Но и Вильсон

не был готов настаивать на мире, носящем характер примирения. В конце концов он согласился с рядом условий карательного характера, противоречивших принципу равного отношения к победителям и побежденным, обещанному «Четырнадцатью пунктами».

Попытка примирить американский идеализм с французскими кошмарами оказалась за пределами человеческой изобретательности. Вильсон согласился на корректировку «Четырнадцати пунктов» в обмен на учреждение Лиги наций, от которой он ожидал удовлетворения любых законных обид, возникших в результате мирного договора. Франция согласилась на гораздо меньшие по объему карательные меры, чем те, что она считала соизмеримыми с принесенными ею жертвами, в надежде, что это повлечет за собой американские обязательства долгосрочного характера по обеспечению безопасности Франции. В итоге ни одна из стран не достигла своих целей: Германия не была умиротворена, Франция не добилась обеспечения собственной безопасности, а Соединенные Штаты устранились от урегулирования.

Вильсон был звездой мирной конференции, заседавшей в Париже в январе — июне 1919 года. В те времена поездка в Европу на пароходе занимала неделю, и потому многие из советников Вильсона его предупреждали, что американский президент не может уезжать из Вашингтона на длительный срок, исчисляемый месяцами. И действительно, отсутствие Вильсона отрицательно повлияло на отношение к нему конгресса, и это сказалось, когда мирный договор поступил на ратификацию. Не говоря уже об отсутствии Вильсона в Вашингтоне, почти всегда ошибочно само по себе участие глав государств в переговорах по существу. Им тогда приходится погружаться в специфику, которую обычно берут на себя министерства иностранных дел, и детально обсуждать вопросы, более подходящие для их подчиненных, причем заниматься именно теми проблемами, которые могут разрешить лишь главы государств, не остается времени и возможностей. И поскольку еще ни один человек, лишенный высокого мнения о себе, не достигал таких командных постов, то компромисс для таких людей становится труден, а тупик — опасен. Когда прочность положения ведущего переговоры у себя на родине часто зависит от хотя бы намека на успех, такие переговоры чаще всего сосредоточиваются на том, чтобы затушевать разногласия, а не на сути проблемы.

Судьба Вильсона в Париже сложилась именно так. Каждый очередной месяц

пребывания там погружал его еще глубже в разбор деталей, прежде не имевших к нему никакого отношения. Чем дольше он оставался, тем дольше чувство спешки и желание довести все до конца брали верх над стремлением создать совершенно новый международный порядок. Итог оказался неизбежен, ибо был обусловлен самой процедурой обсуждения мирного договора. Поскольку непропорционально большое количество времени было затрачено на уточнение территориальных вопросов, Лига наций появилась на свет, как своего рода «*deus ex machina*», чтобы позднее перекинуть мосты через все расширяющуюся пропасть между моральными принципами Вильсона и фактическими условиями урегулирования.

Неугомонный валлиец Дэвид Ллойд-Джордж, представлявший Великобританию, проводя перед самым началом мирной конференции избирательную кампанию, клялся и божился, что Германию заставят заплатить сполна за все затраты, понесенные в войну, и что «ради этого мы вывернем ей карманы». Но, встретив возражения со стороны верткой Германии и раздраженной Франции, Ллойд-Джордж сосредоточился на маневрировании между Клемансо и Вильсоном. В конце концов он согласился на их карательные оговорки, рассчитывая на Лигу, как на механизм, при помощи которого будут выровнены допущенные односторонности.

Точку зрения Франции отстаивал закаленный в боях, уже пожилой Жорж Клемансо. Прозванный «Тигром», он был ветераном внутривосточных схваток, начиная со свержения Наполеона III и вплоть до реабилитации капитана Дрейфуса. И все же на Парижской конференции он поставил перед собой задачу, которая выходила за рамки даже его потрясающих возможностей. Стремясь к такому миру, который бы каким-то образом перекроил труды Бисмарка и возвратил Франции первенство на континенте в стиле Ришелье, он перешел за грань терпимости международной системы и, по правде говоря, возможностей собственного общества. Часы просто-напросто нельзя было отвести на сто пятьдесят лет назад. Ни одна из наций не разделяла целей Франции, а то и просто их не понимала. Уделом Клемансо должно было стать разочарование, а будущим Франции — прогрессирующая деморализация.

Последнюю из стран «Большой Четверки» представлял Витторио Орландо, премьер-министр Италии. Он выглядел изысканно и импозантно, но часто оставался в тени своего энергичного министра иностранных дел Сиднея Соннино. Как выяснилось по ходу переговоров, делегация Италии прибыла в Париж не ради

разработки нового мирового порядка, а скорее затем, чтобы забрать причитающуюся добычу. Державы Антанты побудили Италию вступить в войну, пообещав ей Южный Тироль и Далматинское побережье согласно Лондонскому договору 1915 года. А поскольку Южный Тироль был населен по преимуществу немцами и австрийцами, а Далматинское побережье славянами, то требования Италии находились в прямом противоречии с принципом самоопределения. И все же Орландо и Соннино блокировали ход конференции до тех пор, пока в состоянии полного изнеможения Южный Тироль (но не Далмация) не оказался передан Италии. Этот «компромисс» показал, что «Четырнадцать пунктов» не высечены на камне, и открыл ворота множеству прочих изменений, которые в совокупности противоречили ранее принятому принципу самоопределения, не совершенствуя, однако, прежнее равновесие сил и не создавая новое.

В отличие от Венского конгресса на Парижской мирной конференции побежденные страны не были представлены. В результате этого в продолжение многих месяцев переговоров Германия оставалась в состоянии неопределенности, что порождало иллюзии. Они буквально наизусть повторяли «Четырнадцать пунктов» Вильсона и, несмотря на то, что их-то программа мира была бы ужасающе жестокой, обманывались верой в то, что окончательное урегулирование со стороны союзных держав будет относительно мягким. Поэтому, когда в июне 1919 года миротворцы обнародовали результаты собственных трудов, немцы были потрясены и в течение двух последующих десятилетий систематически от них избавлялись.

Ленинская Россия, которая также не была приглашена, заявляла, что все это мероприятие — капиталистическая оргия, затеянная странами, чьей конечной целью было вмешательство в гражданскую войну в России. В результате этого случилось так, что мир, завершивший войну, будто бы покончившую со всеми войнами, не включал в себя две сильнейшие страны Европы — Германию и Россию, — на которые в совокупности приходилось более половины европейского населения и самый крупный военный потенциал. Уже один этот факт обрекал версальское урегулирование на неудачу.

Да и процедура конференции не обеспечивала всеобъемлющего подхода. «Большая Четверка» — Вильсон, Клемансо, Ллойд-Джордж и Орландо — состояла из ведущих фигур мировой политики, но она не в состоянии была контролировать ход

конференции точно так же, как сто лет назад министры великих держав осуществляли руководство Венским конгрессом. Те, кто вел переговоры в Вене, сосредоточивали все свои усилия в первую очередь на установлении нового равновесия сил, направляющей которого послужил план Питта. А руководители, собравшиеся в Париже, постоянно отвлекались на решение побочных спорных вопросов.

Было приглашено двадцать семь государств. Задуманная как форум всех народов мира, конференция в конце концов превратилась в обычнейшее общедоступное мероприятие. Верховный совет, состоявший из глав правительств Великобритании, Франции, Италии и Соединенных Штатов, был наиболее высоким по рангу среди множества комиссий и секций, на которые разбилась конференция. В дополнение к этому существовал Совет пяти, состоявший из Верховного совета плюс главы правительства Японии; и Совет десяти, куда входил Совет пяти плюс соответствующие министры иностранных дел. Делегаты мелких стран были вольны обращаться к более элитным группам по поводу своих забот. И это подрывало демократический характер конференции, причем вдобавок много времени тратилось впустую.

Поскольку до начала конференции не была согласована повестка дня, прибывшие делегаты не знали, в каком порядке будут рассматриваться конкретные вопросы. В итоге на Парижской конференции образовалось пятьдесят восемь различных комиссий. Большинство из них занималось территориальными проблемами. По каждой из стран, являвшихся предметом повестки дня, учредили отдельный комитет. Кроме того, были комиссии, занимавшиеся виновниками войны и военными преступниками, репарациями, портами, водными путями и железными дорогами, трудовыми вопросами и, наконец, Лигой наций. В общем и целом члены комитетов и комиссий побывали на 1646 заседаниях.

Бесконечные дискуссии по третьестепенным вопросам не позволяли со всей ясностью осознать основополагающий факт: для того, чтобы мир был прочным, урегулирование должно базироваться на какой-то всеобъемлющей концепции, которая в особенности должна была бы включать в себя долгосрочно-перспективный подход к будущему Германии. Теоретически роль ее должны были бы сыграть американские принципы коллективной безопасности и самоопределения. На практике же истинным предметом обсуждения на конференции стало оказавшееся непримиримым различие

между американской и европейскими концепциями международного порядка, особенно французской. Вильсон отвергал мысль о существовании структурных причин международных конфликтов. Полагая, что гармония — вещь естественная, Вильсон жаждал учреждения институтов, которые устранили бы иллюзию конфликта интересов и позволили бы утвердиться подспудному чувству мировой общности.

Франция, театр множества европейских войн и сама участник еще большего их числа, не давала убедить себя в том, будто столкновение национальных интересов лишь иллюзорно, или в том, что якобы существует некая вселенская, основополагающая гармония, пока что скрытая от человечества. Две германские оккупации в продолжение пятидесяти лет вызвали у Франции ужас перед новым раундом завоеваний. Она стремилась заполучить весомые гарантии собственной безопасности и оставить задачу морального усовершенствования человечества на долю других. Но весомые гарантии предполагали либо ослабление Германии, либо твердое заверение в том, что в случае новой войны прочие страны, особенно Великобритания и Соединенные Штаты, выступят на стороне Франции.

Поскольку против расчленения Германии выступала Америка, а коллективная безопасность представлялась Франции чересчур утопичной, виделось единственное решение проблемы Франции: обязательство Америки и Англии ее защищать. А именно этого обе англо-саксонские страны всеми силами стремились на себя не брать. И поскольку такого рода обязательств в перспективе не возникало, то Франции оставалось выпрашивать для себя иные возможности для достижения собственных целей. Америку защищало ее географическое положение, а капитуляция германского флота и его передача победителям снимали опасения Англии относительно угрозы ее господству на морях. И одну лишь Францию за основу собственной безопасности просили взять общественное мнение. Ведший переговоры от имени Франции Андре Тардьё утверждал:

«Для Франции, как и для Великобритании и Соединенных Штатов, необходимо создание зоны безопасности... Морские державы создают для себя эту зону при помощи собственных флотов и благодаря ликвидации германского флота. Такую зону Франция, не защищенная океаном и не способная устранить миллионы немцев, обученных ведению войны, обязана создать при помощи Рейна посредством межсоюзнической оккупации этой реки»[294].

И все же требование Франции об отделении Рейнской области от Германии шло вразрез с американским убеждением в том, что «такого рода мир будет противоречить всему, что мы отстаивали»[295]. Американская делегация предвидела, что отделение Рейнской области от Германии постоянное размещение там войск союзников вызовет вечное недовольство Германии. Британский делегат Филипп Кэрр также заявил Тардье, что Великобритания считает наличие независимого рейнского государства «источником осложнений и слабости... Если будут происходить локальные конфликты, куда они приведут? Если результатом этих конфликтов станет война, ни Англия, ни ее доминионы не проникнутся глубочайшим чувством солидарности с Францией, одушевлявшем их во время последней войны»[296].

Но французские руководители были гораздо менее озабочены будущим недовольством Германии, чем ее абсолютной мощью. Тардье стоял на своем:

«Вы говорите, что Англии не нравится, когда ее войска используются далеко от дома. Этот факт находится под вопросом. У Англии всегда были войска в Индии и Египте. Почему? Да потому, что она знает, что ее граница проходит не по Дувру. ...И просить нас отказаться от оккупации — все равно что просить Англию и Соединенные Штаты затопить весь свой боевой флот»[297].

Если Франции будет отказано в буфере, ей потребуются иные гарантии, предпочтительно в форме союза с Великобританией и Соединенными Штатами. Если надо, то Франция будет готова принять такую интерпретацию концепции коллективной безопасности, которая позволит достигнуть тех же результатов, что и традиционный альянс.

Вильсон настолько стремился к учреждению Лиги наций, что время от времени выдвигал теории, обнадеживающие Францию. В ряде случаев Вильсон характеризовал Лигу как международный трибунал, где будут разрешаться споры, меняться границы и где международные отношения приобретут столь желанную эластичность. Один из советников Вильсона, доктор Исая Боумен, суммировал вильсоновские идеи в меморандуме, составленном на борту корабля, на котором они в декабре 1918 года направлялись на мирную конференцию. Лига должна была обеспечить:

«... территориальную целостность плюс позднейшие уточнения условий и уточнение границ, если наглядно проявится то, что свершилась несправедливость или

изменились обстоятельства. И такого рода перемены будет легче осуществить тогда, когда улягутся страсти и проблемы можно будет рассматривать в свете справедливости, а не в свете следующей сразу же за окончанием продолжительной войны мирной конференции... Противоположностью подобному курсу было бы сохранение идеи наличия великих держав и равновесия сил, а эта идея всегда влекла за собой лишь „агрессию, и эгоизм, и войну”[298].

После пленарного заседания 14 февраля 1919 года, на котором Вильсон впервые сообщил о своем понимании Устава Лиги наций, он почти в тех же выражениях говорил со своей женой: «Это наш первый настоящий шаг вперед, ибо я теперь понимаю еще больше, чем когда бы то ни было, что как только Лига будет учреждена, она сможет выступать в роли арбитра и исправлять ошибки, неизбежные в мирном договоре, который мы в настоящее время пытаемся заключить»[299].

Согласно представлениям Вильсона, Лига наций должна была обладать двойным мандатом: добиваться претворения условий мира в жизнь и исправлять возникшие при этом несправедливости. Тем не менее Вильсона при этом одолевало двойственное ощущение. Было невозможно найти хотя бы один исторический пример тому, как европейские границы корректировались бы посредством призыва к чувству справедливости или при помощи чисто юридической процедуры; почти всякий раз они изменялись — или защищались — во имя национальных интересов. И Вильсон великолепно отдавал себе отчет в том, что американский народ даже самым отдаленным образом не был готов внести военный вклад в защиту положений Версальского договора. В сущности, идеи Вилсона должны были бы претвориться в институты, эквивалентные мировому правительству, к чему американский народ был готов в еще меньшей степени, чем к исполнению функции глобальной полицейской силы.

Вильсон стремился уйти в сторону от этой проблемы, делая упор на мировое общественное мнение, а не на мировое правительство или военную силу в качестве крайней санкции против агрессии. В феврале 1919 года он так это описывал во время мирной конференции:

«...Посредством этого инструмента [Лиги наций] мы будем в основном и в первую очередь полагаться на одну великую силу, а сила эта — моральная сила мирового общественного мнения»[300]

А то, чего нельзя будет разрешить при помощи мирового общественного мнения, бесспорно, доведет до конца экономическое давление. Как говорится в меморандуме, Боумана, «в случаях, требующих дисциплинарных мер, безусловно, имеется альтернатива войне, а именно бойкот; торговля, включая почтово-телеграфную связь, будет исключена для государства, виновного в преступном поведении»[301].

Ни одно из европейских государств еще не видело подобного механизма в действии и не смогло бы заставить себя поверить в его эффективность. В любом случае, вряд ли можно было ожидать многого от Франции, которая потратила столько крови и средств для того, чтобы просто выжить, и в итоге очутилась перед лицом вакуума в Восточной Европе и Германии, реальная сила которой была значительно больше ее собственной.

Для Франции в этом случае существование Лиги наций оправдывалось одной-единственной целью: активизировать военную помощь против Германии, если таковая понадобится. Древняя и к тому времени истощенная страна, Франция не могла заставить себя поверить в основополагающие принципы коллективной безопасности, а именно в то, что все страны должны оценивать угрозу одинаково, а если это так, то они должны будут прийти к идентичным выводам, как угрозе противодействовать. Если система коллективной безопасности не работает, то Америка и, возможно, Великобритания всегда смогли бы защитить себя сами на самый крайний случай. Но для Франции такого самого крайнего случая не было; она не имела права на ошибку. Было ясно: если основополагающая опора на систему коллективной безопасности подведет, Франция, в отличие от Америки, не сможет вести еще одну традиционную войну и просто перестанет существовать. Таким образом, Франции не требовалась генеральная страховка — ей нужна была гарантия применительно к конкретным обстоятельствам. А в этом американская делегация ей решительно отказывала.

Хотя нежелание Вильсона связать Америку чем-то большим, чем просто декларацией принципов, было понятно в свете испытываемого им давления внутри собственной страны, оно лишь усугубило дурные предчувствия Франции. Соединенные Штаты, следуя «доктрине Монро», никогда не останавливались перед применением силы, а ведь именно эту доктрину Вильсон постоянно представлял в качестве модели нового международного порядка. И все же Америка напускала на себя-скромный вид, когда вставал вопрос германской угрозы европейскому равновесию сил. Разве это не означало, что европейское равновесие в меньшей

степени заботит Америку с точки зрения безопасности, чем ситуация в Западном полушарии? Чтобы снять эту проблему, французский представитель в соответствующем комитете Леон Буржуа беспрестанно, настаивал на создании международных сил или любого другого механизма, наделявшего Лигу наций возможностью автоматического реагирования на случай отказа Германии от условий версальского урегулирования, ибо это был единственный повод к войне, представлявший интерес для Франции.

В какой-то преходящий момент Вильсон даже готов был подыскать воплощение для этой концепции, посредством включения в проект Устава положения о гарантиях «законной принадлежности земель странам мира»[302]. Но окружение Вильсона пришло в ужас. Эти люди знали, что сенат никогда не ратифицирует положения о постоянных международных силах или бессрочных обязательствах военного характера. Один из советников Вильсона даже предположил, что положение о противодействии агрессии при помощи силы окажется неконституционным:

«Существенно важным возражением против подобного условия является то, что оно не имеет юридической силы, будучи составной частью договора, подписанного Соединенными Штатами, поскольку полномочия объявлять войну конституцией возложены на Конгресс. Война, автоматически возникающая в силу положения, проистекающего из условий договора, не есть война, объявляемая Конгрессом»[303].

В буквальном смысле слова это означало, что ни один из договоров союзного типа, Поллисываемых с Соединенными Штатами, не может носить обязательного характера.

И Вильсон быстро вернулся на платформу доктрины коллективной безопасности в чистом виде. Отвергая предложение Франции, он назвал постоянный механизм принуждения ненужным придатком к Лиге наций, ибо само по себе существование Лиги явилось бы источником безграничного доверия во всем мире. Он утверждал, будто бы «единственный метол... заключается в нашем доверии к доброй воле наций, принадлежащих к Лиге... Когда придет опасность, придем и мы, но вы обязаны нам верить»[304].

Вера, однако, не тот товар, который в изобилии пылится на дипломатических складах. Когда на карту ставится выживание нации, государственные деятели предпочитают более осязаемые гарантии, особенно если страна расположена столь

неблагоприятно в географическом плане, как Франция. Убедительность американских аргументов покоилась на отсутствии альтернативы; какой бы двусмысленный характер ни носили обязательства Лиги, все же они были лучше, чем ничего. Один из британских делегатов, лорд Сесил, говорил именно это, когда упрекал Леона Буржуа по поводу его угроз не вступать в Лигу, если в ее Уставе не будет предусмотрен механизм принуждения. «Америка, — заявил Сесил Буржуа, — ничего не выигрывает от создания Лиги наций... она могла бы уклониться от европейских дел и пустить их на самотек, занявшись при этом одними лишь собственными; предложение о предоставлении поддержки, сделанное Америкой, практически представляет собой подарок Франции...» [305]

И все же, несмотря на множество сомнений и дурных предчувствий, Франция в итоге подчинилась грустной логике аргументации британца и согласилась с тавтологией, содержащейся в статье 10 Устава Лиги наций: «Совет даст рекомендации по поводу средств, при помощи которых будет выполнено данное обязательство [то есть] сохранение территориальной целостности»[306]. Иными словами, в экстренном случае Лига наций согласится на то, на что сможет согласиться. Конечно, именно это и делали все нации мира даже тогда, когда Устава Лиги не было и в помине; и подобная ситуация как раз и была тем самым обстоятельством, ради которого заключались традиционные альянсы, вводившие формальные обязательства о взаимной помощи в конкретно определенных случаях.

Французский меморандум недвусмысленно подчеркивал неадекватность предлагаемых мероприятий Лиги по обеспечению безопасности:

«Если предположить, что вместо военного взаимопонимания на случай обороны, пусть даже весьма ограниченного, которое имело место между Великобританией и Францией в 1914 году, единственным связующим звеном между обеими странами были бы соглашения общего характера, наличествующие в Уставе Лиги, британское вмешательство произошло бы не столь быстро, и победа Германии была бы обеспечена. И потому мы полагаем, что при нынешних обстоятельствах помощь, предусматриваемая Уставом Лиги, может прийти слишком поздно»[307].

Как только стало ясно, что Америка отказывается ввести в Устав какие-либо конкретные обязательства по обеспечению безопасности, Франция вновь подняла вопрос о расчленении Германии. Она предложила создать независимую Рейнскую

республику в качестве демилитаризованной буферной зоны и изыскать поощрительные меры для подобного государства путем освобождения его от уплаты репараций. Когда же Соединенные Штаты и Великобритания это предложение проигнорировали, Франция выдвинула идею, чтобы, как минимум, Рейнская область была отделена от Германии до тех пор, пока институты Лиги не обретут полную силу, а ее механизм принуждения не будет опробован.

В попытке ублажить Францию Вильсон и британские лидеры предложили вместо расчленения Германии такой договор, который бы гарантировал новое урегулирование. Америка и Великобритания согласились бы прибегнуть к войне, если бы Германия договоренность нарушила. Это условие было весьма сходным с договоренностью) между союзниками на Венском конгрессе, достигнутой, чтобы подстраховаться; против Франции. Но имелась весьма существенная разница: после наполеоновских' войн союзники искренне верили в наличие французской угрозы и разрабатывали на этот счет меры безопасности; после первой мировой войны Великобритания и Соединенные Штаты не верили по-настоящему в германскую угрозу; они предлагали эту гарантию, не будучи убеждены в ее необходимости и не обладая твердой решимостью воплотить ее в жизнь.

Представитель Франции торжествовал, называя британские гарантии «беспрецедентными». Великобритания время от времени вступала в союзы временного характера, утверждал он, но еще никогда не брала на себя постоянные обязательства: «По временам она одалживала свою помощь; но она никогда не обязывала себя заранее ее предоставлять»[308]. Предлагаемое обязательство со стороны Америки Тардье считал в равной степени знаменательным отходом от ее исторически сложившегося изоляционизма[309].

В своей жажде обрести формальные гарантии французские руководители не обратили внимания на тот ключевой факт, что «беспрецедентные» решения англосаксонских стран явились в первую очередь тактическим ходом, чтобы побудить Францию отказаться от требования расчленения Германии. В международной политике термин «беспрецедентный» всегда вызывает подозрения, поскольку фактические масштабы нововведения всегда, ограничены историческими предпосылками, внутренними установлениями и географическим положением.

Если бы Тардье был посвящен в то, как отреагировала на сделанное предложение

американская делегация, он бы сообразил, сколь эфемерна на деле эта гарантия. Советники Вильсона единодушно возражали своему шефу. Разве новая дипломатия не была специально придумана, чтобы покончить с подобного рода национальными обязательствами? Разве Америка участвовала в войне только для того, чтобы в итоге вступить в союз традиционного типа? Хауз писал в своем дневнике:

«Я полагал, что морально обязан обратить внимание президента на гибельность подобного договора. Среди прочего он воспринимался бы, как прямой удар по Лиге наций. Ибо как раз Лига должна была бы предположительно делать то, что закладывалось бы в такой договор, а если нациям приходится вступать в подобные договоры, то тогда зачем Лига наций?»[310]

Вопрос справедливый. Ибо если Лига наций функционирует, как было заявлено, то гарантии не нужны; а если гарантии нужны, то, значит, Лига не соответствует первоначальному замыслу и все концепции послевоенного устройства мира ставятся под сомнение. А у изоляционистов в сенате Соединенных Штатов были свои дурные предчувствия. Их не столько беспокоило противоречие гарантий принципам Лиги, сколько то, что хитрые европейцы обманом вовлекают Америку в паутину порочных обязательств старинного образца. Гарантии продержались недолго. Отказ сената ратифицировать Версальский договор превратил их в пустое место, а Великобритания воспользовалась этим предлогом, чтобы также освободить себя от подобных обязательств. Отказ Франции от своих прежних требований приобрел постоянный характер, а гарантии оказались пустым звуком.

Из всех этих подводных течений возник в итоге Версальский договор, названный так, поскольку он был подписан в Зеркальном зале Версальского дворца. Сам выбор места, казалось, намекал на унижительность акта. Пятьюдесятью годами ранее Бисмарк бестактно избрал это место, чтобы провозгласить объединение Германии. Теперь победители отвечали оскорблением на оскорбление. Их творение вряд ли могло успокоить международную общественность. Слишком суровый по содержанию для умиротворения, слишком мягкий, чтобы не допустить возрождения Германии, Версальский договор обрекал истощенные войной демократии на постоянную бдительность и необходимость непрекращающейся демонстрации силы непримиримой, стремящейся к реваншу Германии.

Независимо от «Четырнадцати пунктов», договор носил карательный характер в

территориальном, экономическом и военном отношении. Германия обязана была отказаться от тринадцати процентов своей предвоенной территории. Экономически важная Верхняя Силезия передавалась только что созданной Польше, которая также получала выход к Балтийскому морю и территорию вокруг Познани, тем самым обретая «Польский коридор», отделяющий Восточную Пруссию от остальной части Германии. Крохотная территория Эйпен-Мальмеди передавалась Бельгии, а Эльзас-Лотарингия возвращалась Франции.

Германия лишилась колоний, юридический статус которых повлек за собой спор между президентом Вильсоном, с одной стороны, и Францией, Великобританией и Японией, с другой, причем все трое хотели аннексировать свою долю добычи. Вильсон настаивал на том, что подобного рода прямая передача территории нарушила бы принцип самоопределения. Страны Антанты в итоге пришли к так называемому «мандатному принципу», который был столь же оригинальным, сколь и лицемерным. Германские колонии так же, как и бывшие земли Оттоманской империи на Ближнем Востоке, были отданы различным победителям по «мандату» в целях ускорения получения ими независимости под наблюдением Лиги. Что это означало, точно определено не было, да и в итоге наличие мандата не ускорило приобретение этими территориями независимости по сравнению с другими колониальными владениями.

Военные ограничения договора сводили численность германской армии к ста тысячам добровольцев, а размеры флота — к шести крейсерам и некоторому количеству малых судов. Германии запрещалось владеть наступательным оружием, как-то: подводными лодками, авиацией, танками и тяжелой артиллерией, а Генеральный штаб был распущен. Для надзора над разоружением Германии создали Союзническую военную контрольную комиссию, но, как потом выяснилось, с весьма неопределенными и малодейственными полномочиями.

Несмотря на предвыборные обещания Ллойд-Джорджа «выжать» все из Германии «до последней капли», союзники начали понимать, что экономически поверженная Германия может породить мировой экономический кризис, способный отрицательно повлиять на их собственные страны. Но народы-победители мало интересовались предупреждениями экономистов-теоретиков. Британцы и французы требовали, чтобы Германия компенсировала гражданскому населению их стран понесенные им убытки. И вопреки здравому рассуждению, Вильсон в конце концов согласился на то, чтобы

Германия выплачивала пенсии жертвам войны и определенные компенсации их семьям. Такого рода условие оказалось неслыханным; ни один из предыдущих европейских мирных договоров таких статей не содержал. Претензии эти не были ограничены какой-либо цифрой; ее следовало установить в более поздний срок, что породило бесконечное количество противоречивых толкований.

К числу прочих экономических санкций относилась немедленная выплата 5 млрд. долларов наличными или натурой. Франция должна была получить значительное количество угля в качестве компенсации за разрушение Германией во время оккупации шахт в Восточной Франции. А в качестве возмещения за суда, потопленные германскими подводными лодками, Великобритания получила в форме приза большую часть германского торгового флота. Были арестованы и секвестрованы германские заграничные активы в размере 7 млрд. долларов, а также взяты многие германские патенты (благодаря Версальскому договору аспирин Байера является теперь американским, а не германским). Главные реки Германии были интернационализированы, а возможности Германии поднимать тарифы были взяты под контроль.

Эти условия, вместо того чтобы помочь установить новый международный порядок, подрывали его в корне. Когда победители собрались в Париже, они провозгласили новую эру в истории человечества. Им до такой степени хотелось избежать того, что они полагали ошибками Венского конгресса, что британская делегация даже поручила знаменитому историку сэру Чарльзу Вебстеру подготовить трактат по этому вопросу[311]. И все же то, что появилось в итоге, представляло собой хрупкий компромисс между американским утопизмом и европейской паранойей — документ оказался чересчур перенасыщенным ограничительными оговорками, чтобы явиться воплощением мечтаний в духе первого, и чересчур расплывчатым, чтобы снять страхи, порожденные последней. Международный порядок, который можно обеспечивать только при помощи силы, зыбок по своей основе, тем более когда страны, на которые ложится основное бремя в этом отношении — в данном случае Великобритания и Франция, — находятся сами в трудном положении.

Вскоре стало совершенно ясно, что в практическом плане принцип самоопределения не может быть применен четко и ясно, как это было предусмотрено в «Четырнадцати пунктах», особенно в государствах — преемниках Австро-Венгерской империи. В

итоге в Чехословакии оказалось почти 3 млн. немцев, 1 млн. венгров и 0,5 млн. поляков, в то время как общая численность населения составляла порядка 15 млн., так что примерно треть населения не относилась ни к чехам, ни к словакам. Вдобавок Словакия не проявляла особого энтузиазма, очутившись в составе государства, где доминировали чехи, что она и продемонстрировала путем выхода из страны вначале в 1939 году, а затем в 1992-м.

Новая Югославия явилась воплощением мечты южнославянских интеллектуалов. Но для того чтобы создать такое государство, пришлось перейти ложную разграничительную линию, порожденную европейской историей, отделившей друг от друга Восточную и Западную Римскую империю, православие от католицизма, кириллицу от латиницы, — и эта линия ложного разграничения грубо соответствовала границе между Сербией и Хорватией, которые на всем протяжении своей непростой истории никогда не принадлежали к одному и тому же политическому объединению. Счет был предъявлен к оплате в 1941 году во время беспощадно-кровавой гражданской войны, повторившейся в 1991 году.

Румыния заполучила миллионы венгров, Польша — миллионы немцев и контроль над коридором, отделившим Восточную Пруссию от остальной части Германии. По завершении этого процесса, проводившегося во имя самоопределения, под иностранным управлением жило почти столько же людей, как и во времена Австро-Венгерской империи. Правда, теперь они распределялись среди великого множества более мелких государств-наций, которые, что еще больше подрывало стабильность, постоянно конфликтовали друг с другом.

Когда уже было слишком поздно, Ллойд-Джордж понял, что за дилемму породили своими маневрами державы-победительницы. В меморандуме, врученном Вильсону, от 25 марта 1919 года, он писал:

«Не могу себе представить более весомой причины для будущей войны: германский народ, который, безусловно, доказал, что является одной из самых стойких и могучих рас на свете, окажется в окружении малых государств, причем народы многих из них никогда ранее не учреждали для себя стабильной формы правления, однако в каждом из этих государств имеются в наличии значительные массы немцев, с шумом требующих воссоединения со своей родной землей»[312].

Но к этому времени конференция уже продвинулась достаточно далеко, и

неумолимо приближался июнь, завершающий ее месяц. И в наличии не было ни единого альтернативного принципа организации мирового порядка, ибо принцип равновесия сил был уже отброшен.

Позднее многие из немецких руководителей заявляли, что их страну хитростью заставили подписать перемирие при помощи «Четырнадцати пунктов» Вильсона, которые затем стали систематически нарушаться. Такого рода заявления были бьющей на жалость чепухой. Германия игнорировала «Четырнадцать пунктов» до тех пор, пока полагала, что имеет шансы выиграть войну, и вскоре после провозглашения «Четырнадцати пунктов», нарушив все до одного принципы Вильсона, навязала России в Брест-Литовске мир, подобный тому, что римляне навязали Карфагену. И единственной причиной выхода Германии из войны был трезвый расчет соотношения сил: коль скоро в дело вступила американская армия, окончательное поражение стало лишь вопросом времени. И когда Германия запросила перемирия, она была истощена, едва могла обороняться, а армии союзников уже готовы были вступить на германскую территорию. Принципы Вильсона на деле спасли Германию от гораздо более тяжкого воздаяния за содеянное.

С усердием, заслуживающим лучшего применения, историки утверждают, что именно отказ Соединенных Штатов вступить в Лигу наций сыграл роковую роль в судьбе Версальского договора. Неспособность Америки ратифицировать договор или дать связанные с ним гарантии Франции, бесспорно, внесла свой вклад в дело деморализации Франции. Но при наличии в стране изоляционистских настроений членство Америки в Лиге наций или ратификация гарантий не принесли бы существенных перемен. Либо Соединенные Штаты не воспользовались бы силой для противостояния агрессии, либо они бы дали такое определение агрессии, которое бы не подходило к реалиям Восточной Европы, — именно так поступила Великобритания в 30-е годы.

Порок Версальского договора носил структурный характер. Мир, продолжавшийся в течение столетия с момента окончания Венского конгресса, покоился на трех столбах: на мирном договоре, носившем характер умиротворения с Францией; на равновесии сил и на едином для всех понятии легитимности — причем все это были неотъемлемые элементы мировой системы. Одного лишь относительного умиротворения Франции было бы недостаточно, чтобы предотвратить ее стремление к

реваншу. Но Франция знала, что Четырехсторонний альянс и Священный союз всегда смогут собрать превосходящие силы, делая тем самым французский экспансионизм чересчур рискованным предприятием. Одновременно периодические европейские конгрессы давали Франции возможность участвовать в «европейском концерте» на равных. И, что самое главное, все крупные страны обладали общностью ценностей, так что существовавшие обиды не перерастали в попытку поломать сложившийся международный порядок.

В Версальский договор не было заложено ни одно из этих условий. Положения его были слишком тяжелыми для умиротворения, но недостаточно суровыми, чтобы обеспечить вечное повиновение. Ведь на деле нелегко найти равновесие между удовлетворением и подчинением Германии. Воспринимая предвоенный мировой порядок как сугубо ограничительный, Германия наверняка не удовлетворилась бы никакими условиями, предложенными ей после поражения.

У Франции было три стратегических варианта: попытаться сформировать антигерманскую коалицию, изыскать возможности расчленения Германии или попытаться умиротворить Германию. Все попытки сформировать союзы провалились, поскольку от Великобритании и Соединенных Штатов последовал отказ, а Россия более не была составной частью европейского равновесия. Разделению Германии противодействовали те же страны, что отвергали союз, но на чью поддержку в экстренных ситуациях Франция тем не менее вынуждена была рассчитывать. А для умиротворения Германии было еще слишком поздно или слишком рано: слишком поздно, потому что умиротворение было несовместимо с Версальским договором, слишком рано, потому что французское общественное мнение было еще к этому не готово.

Парадоксально, но и уязвимость Франции, стратегические выгоды Германии усугубил именно Версальский договор, невзирая на статьи карательного содержания. Перед войной у Германии были сильные соседи как на Востоке, так и на Западе. Она не могла осуществлять экспансию ни в одном из направлений, не натолкнувшись на сопротивление крупного государства: Франции, Австро-Венгерской империи или России. Но после заключения Версальского договора Германии на Востоке не противостоял никто. С учетом ослабления Франции, исчезновения Австро-Венгерской империи и временного отхода России на задний план не было ни малейшей

возможности реконструировать прежнее равновесие сил, особенно коль скоро англосаксонские страны отказались гарантировать версальское урегулирование.

Еще в 1916 году лорд Бальфур, тогдашний британский министр иностранных дел, предвидел хотя бы частично возникающую для Европы опасность. Он предупреждал, что существование независимой Польши сделает Францию в следующей войне беззащитной. Ибо если «Польша станет независимым королевством и превратится в буфер между Россией и Германией, то Франция окажется в будущей войне предоставленной на милость Германии по той причине, что Россия не сможет прийти ей на помощь, не нарушив нейтралитета Польши»[313]. В точности дилемма 1939 года! Чтобы сдерживать Германию, Франции требовался союзник на востоке, который мог бы принудить Германию вести войну на два фронта. Россия была единственной сильной страной, годящейся на эту роль. Но она смогла бы оказывать нажим на Германию, только нарушив неприкосновенность Польши. А сама Польша была слишком слаба, чтобы взять на себя роль России. Таким образом, Версальский договор создавал стимул для России и Германии разделить Польшу, что в точности произошло двадцать лет спустя.

В отсутствие великой державы на востоке, которая могла бы сыграть роль союзника, Франция поспешила усилить вновь образованные государства, чтобы создать иллюзию противостояния Германии с двух сторон. Она поддерживала новые восточноевропейские государства в их желании урвать дополнительные территории у Германии и у и без того урезанной Венгрии. Так что у новых государств был стимул поддерживать уверенность Франции в том, что они смогут послужить противовесом Германии. И все же эти находившиеся в младенческом возрасте государства не способны были принять на себя роль, которую до того времени играли Австрия и Россия. Раздираемые внутренними конфликтами и внешним соперничеством, они были слишком слабы, а на востоке маячила перестраиваемая Россия, стремящаяся возместить собственные территориальные потери. Со временем восстановив свои силы, она стала такой же внушительной угрозой независимости малых стран, как и Германия.

Следовательно, стабильность на континенте теперь зависела от Франции. В свое время, чтобы сломить Германию, потребовались объединенные силы Америки, Великобритании, Франции и России. Из числа этих стран Америка вновь вернулась к

изоляция, а Россия была оторвана от Европы революционной драмой и «санитарным кордоном» малых восточноевропейских государств, преграждающих ей путь для прямой помощи Франции. Для сохранения мира Франция должна была бы играть роль всеевропейского полицейского. Но она лишилась сил для проведения интервенционистской политики. А если, бы даже и попыталась ее проводить, то очутилась бы в одиночестве, покинутая как Америкой, так и Великобританией.

Самой главной слабостью версальского урегулирования была, однако, слабость психологическая. Мировой порядок, созданный Венским конгрессом, цементировался принципом консервативного единства вкупе с принципом равновесия сил; и те державы, усилия которых требовались в наибольшей степени для его поддержания в соответствии с венским урегулированием, были уверены в его справедливости. Версальское же урегулирование было мертворожденным, поскольку ценности, на которых оно покоилось, не вязались со стимулами для его поддержания; большинство государств, от которых требовалось обеспечить защиту достигнутых договоренностей, в той или иной мере считали их несправедливыми.

Парадокс первой мировой войны заключался в том, что ее вели ради того, чтобы ограничить до предела германскую мощь и предотвратить маячившую на горизонте германскую гегемонию, а в результате общественное мнение было доведено до такой точки, что достижение умиротворения посредством договора стало невозможным. И все же в конце концов заключить мир, ограничивающий мощь Германии, вильсонианские принципы помешали, а единое, разделяемое всеми чувство справедливости при этом отсутствовало. Цена проведения внешней политики на базе абстрактных принципов — гибель конкретного. Руководители стран, собравшиеся в Версале, не желали уменьшить мощь Германии ни по праву победителей, ни посредством расчета соотношения сил. И потому были обязаны оправдать разоружение Германии как первый этап запланированного всеобщего разоружения, а репарации объявить формой искупления вины за развязанную войну.

Оправдывая разоружение Германии подобным способом, страны Антанты подрывали психологическую готовность защищать соглашение. С самого начала Германия вполне могла заявлять, что ее дискриминируют, так она и делала, соответственно требуя, либо чтобы ей разрешили перевооружиться, либо чтобы другие нации снизили свой уровень вооружений до ее уровня. И получилось, что

статьи Версальского договора, касающиеся разоружения, деморализовали самих победителей. На каждой из конференций по разоружению Германия поднимала этот вопрос на недостижимую моральную высоту, и ее обычно поддерживала Великобритания. Но если бы Франция согласилась на равенство с Германией в области вооружений, то возможности обеспечения независимости восточноевропейских наций вовсе бы исчезли. Тогда статьи договора о разоружении должны были бы либо предусматривать разоружение Франции, либо довооружение Германии. Ни в том, ни в другом случае Франция не была бы достаточно сильна, чтобы защитить Восточную Европу, а в долгосрочном плане — и себя.

В том же самом плане запрет на объединение Австрии и Германии противоречил принципу самоопределения, точно так же, как и наличие значительного немецкого меньшинства в Чехословакии и, в меньшей степени, в Польше. Таким образом, германская непримиримость покоилась на одном из основополагающих принципов Версальского договора, отягощая чувством вины совесть демократических стран.

Грубейшим психологическим просчетом договора явилась статья 231, так называемая «оговорка о виновности в войне». В ней говорилось, что Германия несет единоличную ответственность за развязывание первой мировой войны и заслуживает сурового морального осуждения. Большинство содержащихся в договоре мер карательного характера против Германии — экономических, военных и политических — базируются на утверждении, будто виновником возникновения мирового пожара является именно Германия.

Миротворцы XVIII века восприняли бы статью о виновности за развязывание войны абсурдом. Для них войны были аморальной неизбежностью, вызванной столкновением интересов. В договорах, которыми завершались войны XVIII века, проигравший платил свою цену, но без всякой моральной подоплеки. Но для Вильсона и миротворцев в Версале причину войны 1914 — 1918 годов следовало искать в каком-то носителе изначального зла, за что тот и должен быть наказан.

А когда ненависть рассеялась, трезвые наблюдатели начали соображать, что вопрос ответственности за возникновение войны гораздо более сложен. Да, конечно, значительная тяжесть ответственности лежала именно на Германии, но справедливо ли применять карательные меры к одной только Германии? Действительно ли верна по существу статья 231? И стоило подобному вопросу появиться на свет, особенно в

Великобритании 20-х годов, воля к осуществлению карательных мер против Германии, предусмотренных договором, стала заметно слабеть. Миротворцы, которых мучила совесть, размышляли, а справедливо ли то, что они сотворили, и это повлекло за собой отсутствие решимости воплотить договор на практике. Германия, конечно, по этому поводу вела себя безответственно. В публичных выступлениях статью 231 стали называть «ложью о виновности в войне». Физическая трудность обеспечить равновесие сил равнялась психологической трудности установить равновесие морального плана.

Таким образом, те, кто формулировал и оформлял версальское урегулирование, достигли как раз противоположного задуманному. Они попытались ослабить Германию физически, а вместо этого укрепили ее геополитически. В долгосрочном плане Германия после Версаля оказалась в гораздо лучшем положении для господства над Европой, чем перед войной. Как только Германия сбросила с себя кандалы разоружения, для чего требовалось лишь время, она не могла не возродиться гораздо более могущественной, чем когда бы то ни было. Гарольд Никольсон суммировал это так: «Мы приехали в Париж, уверенные в том, что вот-вот будет создан новый порядок; мы уехали оттуда, убедившись в том, что новый порядок — это лишь искаженный до неузнаваемости старый»[314].

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Дилеммы победителей

Возможности насильственного претворения в жизнь Версальского договора базировались на двух концепциях общего плана, взаимно исключавших друг друга. Первая провалилась, поскольку была чересчур всеобъемлющей, вторая — поскольку

основывалась на недовольстве и предубеждении. Концепция коллективной безопасности носила столь общий характер, что оказалась неприменимой к конкретным ситуациям, могущим в наиболее вероятной степени нарушить мир; неформальное франко-английское сотрудничество, ее сменившее, было столь напряженным и двусмысленным по сути, что не могло обеспечить противодействие основным германским шагам и требованиям. И не прошло и пяти лет, как обе державы, побежденные в войне, сошлись в Рапалло. Рост сотрудничества между Германией и Советским Союзом был решающим ударом по версальской системе, причем демократии были слишком деморализованы, чтобы сразу осознать его значение.

В конце первой мировой войны древние как мир споры касательно относительной роли морали и заинтересованности конкретных государств в международных делах, казалось бы, решились в пользу преобладания этических и правовых норм. Будучи в шоке от случившегося катаклизма, многие надеялись на лучший мир, свободный насколько можно от всякого рода «Realpolitik», по вине которой, как им казалось, погибла значительная часть молодого поколения. В роли катализатора процесса выступила Америка, пусть даже она вновь ушла в изоляционизм. Наследием Вильсона явилось то, что Европа пошла курсом вильсонизма, пытаясь сохранить стабильность посредством коллективной безопасности, а не при помощи традиционного европейского подхода, проявлявшегося в создании альянсов и установлении равновесия сил, даже в отсутствие Америки.

В последующей американской практике союзы, в которых принимала участие Америка (как, например, НАТО), обычно представлялись как инструменты коллективной безопасности. Однако первоначально термин задумывался вовсе не в этом смысле, ибо по сути своей концепция коллективной безопасности и формирования альянсов диаметрально противоположны. Традиционные союзы были направлены против конкретной угрозы и предполагали конкретно очерченные обязательства для определенных групп стран, объединенных общими национальными интересами или взаимно разделяемыми опасениями с точки зрения безопасности. Концепция коллективной безопасности не включает в себя наличие какой-либо конкретной угрозы и не дает гарантий какой-либо отдельной нации, а также не дискриминирует ни одну из них. Теоретический смысл ее — противостояние любой

угрозе миру, кто бы ни явился ее носителем и против кого бы она ни была направлена. Союзы всегда предполагают наличие какого-либо конкретного потенциального противника; коллективная безопасность защищает международное право в абстрактной форме, и порядок при ее помощи поддерживается примерно так же, как внутренний уголовный кодекс поддерживает правовую систему какой-либо конкретной страны. Система коллективной безопасности не в большей степени ориентирована на конкретного правонарушителя, чем любой закон, действующий внутри какой-либо страны. Для союза «казус белли» — это покушение на интересы или безопасность его членов. Для системы коллективной безопасности «казус белли» — это нарушение принципа «мирного» урегулирования споров, в котором предположительно равно заинтересованы все народы мира. Поэтому сила применяется от случая к случаю, и ее предоставляют каждый раз разные по составу группы наций, равно заинтересованных в «поддержании мира».

Целью союза является выработка обязательств, более точных и предсказуемых, чем это дает простой анализ национальных интересов. Система коллективной безопасности действует прямо противоположным образом. Она ставит применение основополагающих принципов в зависимость от меняющихся конкретных обстоятельств, непреднамеренно делая упор на своеволие каждой из наций.

Коллективная безопасность обеспечивает безопасность только в том случае, если все нации — или, по крайней мере, все те нации, кого касается принцип коллективной самообороны, — имеют примерно идентичные взгляды по поводу характера вызова и готовы применить силу или санкции в зависимости от «содержания» данного случая вне зависимости от конкретных национальных интересов, с ним связанных. И лишь при выполнении данных условий международная организация способна накладывать санкции или выступать в роли арбитра в международных делах. Именно так Вильсон представлял себе роль системы коллективной безопасности к концу войны, в сентябре 1918 года:

«Задачи национального характера все более и более уходят на задний план, а их место занимают общие задачи просвещенного человечества. Советы обычных людей становятся во всех отношениях более простыми и прямолинейными и более единодушными, чем советы умудренных и искушенных профессионалов, которые все еще живут под впечатлением, будто бы ведут силовые игры, причем по самым

высоким ставкам»[315].

В этих словах отражена фундаментальная разница между вильсоновской и европейской интерпретацией причин международного конфликта. Дипломатия европейского типа исходит из того, что национальные интересы имеют тенденцию сталкиваться, и рассматривает дипломатию как средство их примирения; Вильсон же, с другой стороны, считает международные разногласия результатом «затуманенного мышления», а не отражением истинного столкновения интересов Воплощая на практике принципы «Realpolitik», государственные деятели взваливают себе на плечи задачу соотнесения конкретных интересов со всеобщими посредством уравновешенного сочетания поощрительных и карательных мер. С точки зрения Вильсона, от государственных деятелей требуется применение универсальных принципов к конкретным случаям. Более того, государственные деятели обычно воспринимаются как первоисточники конфликтов, ибо они, по-видимому, извращают естественное стремление человека к гармонии, принося запутанно-эгоистические расчеты.

Поведение большинства государственных деятелей обмануло ожидания Вильсона. Они все без исключения делали упор на национальные интересы, оставляя защиту общих принципов на долю Вильсона, чья страна на деле не имела никаких национальных интересов (в европейском смысле слова) в отношении территориального урегулирования. Но в характере пророков заложено стремление удвоить усилия, а не опускать руки перед лицом непокорной реальности. Препятствия, с которыми Вильсон столкнулся в Версале, не породили у него ни малейшего сомнения в том, приемлемы ли его принципы на самом деле. Напротив, они укрепили его веру в их обязательность. И он был убежден в том, что Лига и весомость мирового общественного мнения внесут коррективы в те многочисленные положения договора, которые таили в себе отступление от его принципов.

И действительно, мощь вильсоновских идеалов хорошо видна по тому воздействию, которое они оказывали на Великобританию, родину политики равновесия сил. В официальном британском комментарии на Устав Лиги наций говорилось, что «крайней и наиболее эффективной санкцией явится общественное мнение цивилизованного мира»[316]. Либо, как утверждал лорд Сесил на заседании палаты общин, «мы будем полагаться именно на общественное мнение... и если воспримем

его неверно, значит, неверно и все в целом».[317]

Представляется невероятным, чтобы последователи политики Питта, Каннинга, Пальмерстона и Дизраэли пришли сами по себе к подобному выводу. Поначалу они шли в ногу с вильсоновской политикой, чтобы обеспечить поддержку Америки в войне. Затем со временем принципы Вильсона привлекли на свою сторону британское общественное мнение. И в 20-е и 30-е годы поддержка Великобританией принципа коллективной безопасности перестала быть чисто тактическим ходом. Обращение в вильсономианство было подлинным и искренним.

В конце концов концепция коллективной безопасности пала жертвой слабости собственного ключевого положения, будто бы все страны в равной степени заинтересованы в противодействии конкретному акту агрессии и готовы идти на равный риск противостояния. Опыт показал, что это предположение ложно. Ни один из актов агрессии, в который была бы вовлечена великая держава, никогда не был отражен путем применения принципа коллективной безопасности. Либо мировое сообщество отказывалось признать этот акт агрессивным по сути, либо не приходило к согласию по поводу конкретных санкций. А когда такие санкции применялись, то подводились под наименьший общий знаменатель, часто оказываясь до такой степени неэффективными, что вреда от них было больше, чем пользы.

Во времена японского завоевания Маньчжурии в 1932 году Лига не имела механизма санкций. Она исправила этот дефект, но когда столкнулась с итальянской агрессией против Абиссинии, проголосовала за санкции, но не пошла на прекращение поставок нефти, выдвинув лозунг: «Все санкции, за исключением войны». Когда Австрия была принудительно присоединена к Германии, а свобода Чехословакии ликвидирована, Лига вообще не отреагировала. Последним актом Лиги наций, членом которой Германия уже больше не являлась, как, впрочем, и Япония и Италия, было исключение из этой организации Советского Союза после его нападения на Финляндию в 1939 году. На действиях Советского Союза это не отразилось.

Во время «холодной войны» Организация Объединенных Наций оказалась в равной степени неэффективной в каждом из случаев, когда речь шла об агрессии со стороны великой державы, либо вследствие коммунистического вето в Совете Безопасности, либо из-за сдержанности со стороны малых государств в отношении принятия на себя рисков по вопросам, не имеющим к ним прямого отношения. Организация

Объединенных Наций оказалась неэффективной или стояла в стороне во время Берлинских кризисов и во время советской интервенции в Венгрии, Чехословакии и Афганистане. Она не обращала внимания на Кубинский ракетный кризис до тех пор, пока обе сверхдержавы не договорились его урегулировать. Америка оказалась в состоянии бросить на чашу весов авторитет Организации Объединенных Наций против северокорейской агрессии в 1950 году только потому, что советский представитель бойкотировал заседания Совета Безопасности, а в Генеральной Ассамблее все еще наличествовало преобладание тех стран, которые жаждали сделать Америку своей опорой на случай советской агрессии в Европе. Зато Организация Объединенных Наций действительно стала удобным местом встречи дипломатов и подходящим форумом для обмена идеями. Она также выполняла важные технические функции, но при этом так и не смогла воплотить в жизнь основополагающий смысл принципа коллективной безопасности: предотвращение войны и коллективное сопротивление агрессии.

Это относится и к деятельности Организации Объединенных Наций в период после окончания «холодной войны». Во время «войны в Заливе» в 1991 году она действительно одобрила американские действия, но выступление против иракской агрессии вряд ли можно было бы назвать применением на практике доктрины коллективной безопасности. Не ожидая международного консенсуса, Америка в одностороннем порядке направила крупные экспедиционные силы. Прочие нации могли воздействовать на действия Америки, лишь присоединившись к этому, по существу, американскому предприятию; они не смогли бы избежать риска конфликта, наложив вето. Кроме того, внутренние брожения в Советском Союзе и Китае давали постоянным членам Совета Безопасности стимул поддерживать у Америки наличие доброй воли. Во время войны в Персидском заливе коллективная безопасность послужила оправданием американского лидерства, а не его заменой.

Конечно, эти уроки еще не были усвоены в те золотые дни, когда концепция коллективной безопасности впервые была введена в дипломатический обиход. Государственные деятели послеверсальского периода наполовину убедили себя, что причиной напряженности являются вооружения, а не наоборот, и наполовину верили в то, что если на место подозрительности прежней дипломатии придет добрая воля, то международные конфликты будут устранены. Несмотря на эмоциональное

опустошение в результате войны, европейские руководители должны были бы понять, что всеобщая доктрина коллективной безопасности не сработает, даже если пройдет на своем пути через все тернии, пока не охватит три сильнейшие нации мира: Соединенные Штаты, Германию и Советский Союз. Ибо Соединенные Штаты отказались вступить в Лигу наций, Германию в нее не допустили, а Советский Союз, с которым обращались, как с парией, относился к ней с презрением.

Страна, которая сильнее всех пострадала от послевоенного порядка, была «победоносная» Франция. Французские руководители знали, что положения Версальского договора не сделают Германию навеки слабой. После последней европейской войны, Крымской войны 1854—1856 годов, победители, Великобритания и Франция, сумели сохранить в силе военные условия мира менее чем двадцать лет. По прошествии наполеоновских войн Франция уже через три года стала полноправным членом «европейского концерта». После Версаля слабость Франции по отношению к Германии становилась все более и более очевидной, хотя она и стремилась к военному преобладанию в Европе. Победоносный французский главнокомандующий, маршал Фердинанд Фох, был прав, когда заявил по поводу Версальского договора: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет»[318].

К 1924 году штаб британских сухопутных сил пришел к тому же выводу и предсказал, что Германия вновь прибегнет к войне с Великобританией по тем же поводам, которые будут «простым повторением ситуаций, вовлекших нас в последнюю войну»[319]. Ограничения, предусмотренные Версальским договором, утверждали военные, задержат перевооружение Германии самое большее на девять месяцев и перестанут срабатывать, как только Германия почувствует себя в достаточной мере политически сильной, чтобы сбросить оковы Версаля, на что Генеральный штаб пророчески отвел примерно десять лет. Действуя в унисон с анализом французов, британский Генеральный штаб также предсказал, что Франция окажется беззащитной, если по ходу дела не заключит союз с «первоклассными державами».

Но единственной первоклассной державой в этом случае могла быть только Великобритания, но ее лидеры не разделяли точки зрения военных советников. Вместо этого они основывали свою политику на ошибочной уверенности в том, что Франция будто бы уже достаточно сильна и меньше всего нуждается в союзе с

Великобританией. Лидеры Великобритании считали деморализованную Францию потенциально господствующей державой, чьи силы необходимо уравнивать, а реваншистскую Германию полагали обиженной стороной, нуждающейся в утешении. Оба эти предположения — относительно военного превосходства Франции и дурного обращения с Германией — были верны на ограниченный отрезок времени; но в качестве предпосылок для долгосрочной британской политики были катастрофически ошибочны. Государственные деятели либо возносятся, либо низвергаются, в зависимости от умения предугадать развитие событий. А британские послевоенные лидеры не смогли разглядеть будущих опасностей.

Франция отчаянно жаждала военного союза с Великобританией взамен гарантий, исчезнувших, когда сенат Соединенных Штатов отказался ратифицировать Версальский договор. Никогда не вступавшие в военный союз с сильнейшей в Европе страной, британские руководители воспринимали Францию как воплощение исторической угрозы господства над континентом. В 1924 году центральный департамент британского министерства иностранных дел определял французскую оккупацию Рейнской области, как «отправную точку для прыжка в Центральную Европу»[320], — суждение это напрочь расходилось с французской психологией того периода. И, что выглядело еще более дико, в меморандуме министерства иностранных дел оккупация Рейнской области трактовалась как окружение Бельгии, представляющее собою «прямую угрозу устью Шельды и Зейдер-Зе, а следовательно, косвенную угрозу нашей стране»[321]. Не желая отстать в нагнетании антифранцузских подозрений, Адмиралтейство положило на чашу весов аргумент времен войн за испанское наследство и наполеоновских войн: Рейнская область, оказывается, господствует над портами Бельгии и Голландии, а контроль над ними в значительной степени отрицательно скажется на планировании операций Королевского военно-морского флота в случае войны с Францией[322].

Не было никакой надежды на установление равновесия сил в Европе, коль скоро Великобритания считала основной для себя угрозой паникующую страну, чья внешняя политика имела единственной целью отодвинуть ужас очередного германского нападения. И действительно, в исторически-рефлекторном плане многие в Великобритании стали смотреть на Германию как на противовес Франции. К примеру, британский посол в Берлине виконт д'Абернон докладывал: в интересах

Англии стоит поддерживать Германию, чтобы сбалансировать давление Франции. «Пока Германия является единым целым, — писал он в 1923 году, — в Европе более или менее сохраняется равновесие сил». Если же Германия распадется, Франция приобретет «несомненный военно-политический контроль на базе собственной армии и военных союзов»[323]. В общем-то это было верно, но сценарий событий, с которым Великобритании предстояло встретиться, в последующие десятилетия, оказался иным.

Великобритания не ошибалась, утверждая, что после победы переустройство международного порядка требует возврата бывшего противника в сообщество наций. Но умиротворение Германии не вернуло бы стабильности, ибо соотношение сил постоянно менялось в ее пользу. Франция и Великобритания, единство между которыми было жизненно важно для сохранения последних остатков европейского равновесия сил, буравили друг друга взглядами раздражения и непонимания, в то время как страны, представлявшие действительную угрозу равновесию сил — Германия и Советский Союз, — находились на периферии, затаив злобу. Великобритания беспредельно преувеличивала мощь Франции; Франция сильнейшим образом переоценивала собственные возможности прибегнуть к помощи Версальского договора, чтобы компенсировать растущее несоответствие по отношению к Германии. Страх Великобритании по поводу возможности установления Францией гегемонии на континенте был абсурден; вера Франции в то, что она может вести внешнюю политику, основываясь на том, что Германия останется поверженной, являлась самообманом, навеянным отчаянием.

Возможно, наиболее существенной причиной отказа Великобритании от союза с Францией было то, что английские руководители в глубине души не считали Версальский договор справедливым, а особенно ту его часть, что относилась к урегулированию в Восточной Европе, и боялись, что союз с Францией, имевшей пакты с восточноевропейскими странами, может втянуть их в ненужный конфликт ради защиты не тех стран. Выразителем прописных истин того времени явился Ллойд-Джордж:

«Британский народ... не будет готов к вовлечению в ссоры, которые могут возникнуть по поводу Польши, или Данцига, или Верхней Силезии... Британский народ ощутил, что население этих мест Европы страдает недостатком выдержки и

легко возбудимо; они могут начать воевать в любую минуту, а кто в этом споре прав, кто виноват, будет установить очень трудно»[324].

При подобном отношении к делу британские руководители использовали дискуссии относительно возможности союза с Францией, в основном в качестве тактического приема для облегчения французского нажима на Германию, но не в качестве серьезного вклада в дело международной безопасности.

Франция же своими действиями продолжала отчаянные попытки ослабить Германию; Великобритания пыталась найти такие формы обеспечения безопасности, которые бы свели на нет французские страхи и не потребовали бы обязательств со стороны Великобритании. Это напоминало задачу о квадратуре круга, ибо Великобритания не в состоянии была предоставить Франции ту единственную гарантию, которая позволила бы той вести более мирную и спокойную политику по отношению к Германии, а именно, военный союз в полном объеме.

Осознав в 1922 году, что британский парламент никогда не санкционирует формальных обязательств военного характера, французский премьер-министр Бриан вернулся к прецеденту Антанты 1904 года — англо-французскому дипломатическому сотрудничеству без военных условий. В 1904 году Великобритания испытывала со стороны Германии угрозу реализации ею военно-морской программы и ощущала постоянные выпады в свой адрес. В 20-е годы она боялась Германии меньше, чем Франции, чье поведение ошибочно объясняла высокомерием, а не паникой. И хотя Великобритания с неохотой согласилась на предложение Бриана, реальный мотив такого поступка нашел свое отражение в циничной ноте британского кабинета, защищавшей альянс с Францией как средство укрепления связей Великобритании с Германией:

«Германия для нас является самой важной страной в Европе, и не только в силу нашей торговли с нею, но также и потому, что она является ключом к ситуации в России. Помогая Германии, мы можем при нынешних обстоятельствах навлечь на себя обвинение в том, что будто бы бросаем Францию; но если Франция становится нашим союзником, подобное обвинение исключается»[325].

Но французский президент Александр Мильеран либо почувствовал британскую уклончивость, либо нашел, что договоренности носят весьма бесформенный характер, и отверг схему Бриана, что повело к отставке премьер-министра.

Разочарованная неудачной попыткой добиться традиционного британского альянса, Франция затем попробовала добиться того же результата через Лигу наций путем разработки точного определения агрессии. Успех в этом деле давал бы Франции твердые обязательства в рамках Лиги наций и превратил бы Лигу в глобальный альянс. В сентябре 1923 года по настоянию Франции и Великобритании Совет Лиги разработал универсальный договор о взаимопомощи. В случае возникновения конфликта Совет Лиги был бы наделен полномочиями определять, какая страна является агрессором, а какая — жертвой. И тогда каждый член Лиги был бы обязан оказать помощь жертве, если надо, силой, на том континенте, на котором географически располагался данный член Лиги (это разъяснение было введено для того, чтобы обязательства Лиги не распространялись на колониальные конфликты). И поскольку обязательства в рамках коллективной безопасности предположительно проистекали из общих предпосылок, а не вследствие национальных интересов, договор гласил, что жертва агрессии для получения права на помощь должна предварительно подписать договор о разоружении, одобренный Лигой, и сокращать свои вооруженные силы в соответствии с согласованной схемой.

А поскольку жертва обыкновенно слаба, договор о взаимопомощи между членами Лиги наций фактически поощрял агрессию, требуя от более уязвимой стороны усугубить собственные затруднения. Было что-то абсурдное в самом предположении защищать международный порядок во имя «отличников разоружения», а не ради обеспечения жизненно важных национальных интересов. Более того, поскольку графики всеобщего разоружения потребовалось бы обсуждать годами, то универсальный договор о взаимопомощи образовывал огромный временной вакуум. А если обязательства Лиги по оказанию сопротивления агрессору относятся к отдаленному идеальному будущему, то Франции и любой другой стране, находящейся под угрозой нападения, предстояло встретиться с опасностью в одиночку.

Несмотря на оговорки, договор поддержки не нашел. Соединенные Штаты и Советский Союз вообще отказались его рассматривать. Германию даже не спрашивали. Как только стало ясно, что проект договора обяжет Великобританию, имеющую колонии на всех континентах, помогать любой жертве агрессии где бы то ни было, премьер-министр лейбористского правительства Рамсей Макдональд почувствовал себя обязанным заявить, что Великобритания не примет этот договор,

хоть она оказывала содействие в его подготовке.

К тому времени стремление Франции обеспечить свою безопасность превратилось в одержимость. Нив коей мере не желая признать тщетность своих усилий, она так и не отказалась от поиска критериев, совместимых с принципом коллективной безопасности, особенно поскольку британское правительство во главе с Рамсеем Макдональдом оказывало решительную поддержку идеям коллективной безопасности и разоружения — так называемым «прогрессивным планам» Лиги. В итоге Макдональд и новый французский премьер-министр Эдуард Эррио выработали вариант предыдущего предложения. Женевский протокол 1924 года требовал арбитража Лиги по всем международным конфликтам и установил три критерия универсальных обязательств перед жертвами агрессии: если агрессор не позволяет Совету урегулировать спор полюбовно; если он воздерживается от передачи дела для правового урегулирования или арбитража; и, конечно, если жертва — член системы всеобщего разоружения. Каждый участник протокола обязан был оказывать поддержку жертве агрессии всеми доступными ему средствами против определенного подобным образом агрессора[326].

Женевский протокол, однако, потерпел неудачу по той же самой причине, что и договор о взаимопомощи и все прочие схемы коллективной безопасности 20-х годов. Он заводил Великобританию слишком далеко, но был явно недостаточен для Франции. Великобритания предложила его, чтобы вовлечь Францию в систему разоружения, а не ради создания для себя новых обязательств в сфере обороны. Франция же воспринимала протокол в первую очередь как обязательство по взаимопомощи — причем разоружение, если оно вообще интересовало Францию, находилось для нее на втором плане. И чтобы дополнительно подчеркнуть бесплодность этой попытки, Соединенные Штаты объявили, что не будут считаться с Женевским протоколом или терпеть какое бы то ни было вмешательство в торговые отношения США на базе его условий. А когда начальник Британского штаба имперской обороны предупредил о том, что протокол создает опасную нагрузку для британских вооруженных сил, кабинет от него отказался уже в начале 1925 года.

Складывалась нелепейшая ситуация. Соппротивление агрессии ставилось в зависимость от предварительного разоружения жертвы. Геополитические соображения, стратегическая важность региона, то есть соображения, по которым

нации вели войны множество столетий, лишались законности. В соответствии с подобным подходом Великобритания защищала бы Бельгию не потому, что это жизненно важная территория со стратегической точки зрения, а потому, что она разоружилась. После многих месяцев переговоров демократические страны не продвинулись ни в сторону разоружения, ни в сторону безопасности. Тенденция превратить в рамках концепции коллективной безопасности агрессию в абстрактно-правовую проблему и отказ от рассмотрения каких-либо конкретных угроз или обязательств несли с собой вместо уверенности деморализацию.

Несмотря на страстное словесное восхваление концепции, Великобритания явно рассматривала обязательства в рамках системы коллективной безопасности, как менее реальные, чем условия традиционных альянсов. Ибо кабинет оказался весьма изобретателен в деле сочинения разнообразных формул коллективной безопасности, зато решительнейшим образом отвергал формальный союз с Францией на протяжении полутора десятилетий, до самого кануна войны. Конечно, он не проводил бы подобного разграничения, если бы не рассматривал обязательства в рамках системы коллективной безопасности, как менее реальные или позволяющие с большей легкостью от них уклониться, в отличие от обязательств, вытекающих из союзных договоров.

Самым мудрым для союзников курсом был бы добровольный отказ от самых тяжелых для Германии условий Версаля и создание прочного франко-британского союза. Именно это имел в виду Уинстон Черчилль, когда пропагандировал союз с Францией, «если (и только если) она целиком и полностью переменит свое отношение к Германии и лояльно отнесется к британской политике сотрудничества и дружбы с Германией»[327]. Однако такая политика так и не проводилась последовательно. Французские руководители чересчур боялись как Германии, так и собственного общественного мнения, которое было Германии в корне враждебно, а британские лидеры с подозрением относились к французским планам.

Положения о разоружении, содержащиеся в Версальском договоре, углубили пропасть между Англией и Францией. По иронии судьбы они расчистили Германии дорогу к военному паритету, что с учетом слабости Восточной Европы означало в долгосрочном плане обретение геополитического превосходства. Вдобавок союзники, в довершение к дискриминации, проявили некомпетентность, не позаботившись о

создании механизма проверки соблюдения условий разоружения. В письме полковнику Хаузу в 1919 году Андре Тардьё, ведший от имени Франции переговоры в Версале, предсказывал, что неспособность создать механизм проверки подорвет в договоре силу статей о разоружении:

«...Сконструирован слабый инструмент, опасный и абсурдный... Положим, Лига заявит Германии: „Докажите, что мои сведения ложны“, или даже: „Мы желаем проверить“. Но это будет означать требование права на инспекцию, и Германия ответит: „На основании чего?“

А Германия ответит именно так и будет права, давая подобный ответ, если договор не принудит ее признать право на инспекцию»[328] .

В те невинные денечки, когда контроль над вооружениями еще не стал темой академического изучения, никому не казалось странным предлагать Германии проинспектировать свое же собственное разоружение. Правда, для порядка была создана Союзническая военная контрольная комиссия. Но она не обладала правом независимой инспекции; она могла лишь запросить у германского правительства информацию о германских нарушениях — не слишком-то надежная процедура. Комиссия была распущена в 1926 году, оставляя проверку германского послушания на долю разведывательных служб. Неудивительно, что статьи о разоружении нарушались самым грубым образом еще задолго до прихода Гитлера к власти и его решительного от них отказа.

На политическом уровне германские руководители всячески ратовали за осуществление всеобщего разоружения, предусмотренного Версальским договором, по которому их собственное разоружение составляло лишь первый этап. Со временем им удалось заручиться британской поддержкой этого предложения, и они также этим пользовались, чтобы оправдать невыполнение других условий договора. Чтобы оказать давление на Францию, Великобритания объявила о невероятно резком сокращении своих сухопутных сил (на которые она никогда не полагалась в смысле обеспечения безопасности), однако вовсе не флота (на который она, конечно, полагалась). С другой стороны, безопасность Франции целиком и полностью покоилась на численном превосходстве ее постоянной армии над германской, ибо промышленный потенциал Германии и численность ее населения значительно превосходили показатели Франции. А нажим на наследство в целях изменения этого

соотношения — путем германского перевооружения или французского разоружения — имел своим практическим последствием изменение результатов войны. Ибо к моменту прихода Гитлера к власти стало совершенно очевидно, что статьи договора, касающиеся разоружения, скоро будут разбиты в пух и прах и геополитические преимущества Германии станут совершенно явными.

Репарации послужили еще одним поводом для разлада между Францией и Великобританией. До Версальского договора считалось аксиомой, что побежденный платит репарации. После франко-прусской войны 1870 года Германия сочла достаточным для возмещения с Францией сам факт своей победы; точно так же она поступила в 1918 году, предъявив гигантский счет России в отношении выплаты репараций в подписанном в Брест-Литовске договоре.

Но в новом мире, созданном Версалем, союзники уверили самих себя, что репарации требуют морального оправдания. И оно отыскалось в статье 231 относительно виновности в войне, о чем мы уже говорили в предыдущей главе. Эта статья подвергалась яростным нападкам в Германии, и она полностью зачеркивала и без того не слишком явное желание сотрудничать в деле мирного урегулирования.

Одним из потрясающих аспектов Версальского договора было то, что его составители, включив в текст столь оскорбительно-точную формулировку виновности в войне, не указали точную сумму репараций. Определение объема подлежащих выплате репараций возлагалось на будущую комиссию экспертов, ибо сумма, на которую союзники заставили рассчитывать свою общественность, была до такой степени невероятной, что она бы ни за что не прошла скрупулезного анализа Вильсона или аналитического контроля серьезных финансовых экспертов.

Подобным образом репарации, как и разоружение, стали подспорьем германских сторонников пересмотра договора; эксперты все больше и больше ставили под сомнение не только моральность, но и обоснованность претензий. Ярчайшим примером послужил труд Джона Мейнарда Кейнса «Трактат об экономических последствиях мира»[329]. И потом, способность победителя требовать что-то в свою пользу всегда уменьшается со временем. Что не получено в шоке поражения, становится намного труднее добыть позднее — урок, который Америке пришлось усвоить применительно к Ираку в конце войны в Персидском заливе в 1991 году.

И лишь в 1921 году, то есть через два года после подписания Версальского договора,

была окончательно установлена цифра репараций. Она оказалась абсурдно высока: 132 миллиарда золотых марок (примерно 40 миллиардов долларов, что в сегодняшнем масштабе цен означает 323 миллиарда долларов) — сумма, которая обусловила бы германские платежи вплоть до окончания века. Само собой разумеется, Германия объявила о своей несостоятельности; даже если бы международная финансовая система выдержала столь крупный трансфер фондов, ни одно германское демократическое правительство не выжило бы, дав на это согласие.

Летом 1921 года Германия выплатила первый взнос в счет репараций, произведя трансфер одного миллиарда марок (250 миллионов долларов). Но она совершила это, отпечатав бумажные марки и продав их на открытом рынке как валюту, — иными словами, произведя инфляцию собственной денежной единицы до такой степени, когда о трансфере маломальски значительных фондов уже не могло быть и речи. К концу 1922 года Германия запросила четырехлетний мораторий на репарации.

Деморализация версальского международного порядка и Франции — его столпа — шла полным ходом. Системы принуждения в деле получения репараций не существовало, как не было должного контроля над разоружением. А поскольку Франция и Великобритания по обоим этим вопросам имели противоположное мнение, Германия пребывала в раздражении, а Соединенные Штаты и Советский Союз оставались вне игры. Версаль на деле породил не мировой порядок, а что-то вроде внешнеполитической партизанской войны. Через четыре года после победы Антанты положение Германии в переговорном плане оказалось прочнее, чем у Франции. В этой обстановке британский премьер-министр Ллойд-Джордж обратился с призывом созвать в Генуе в апреле 1922 года международную конференцию, что представляло собой разумную попытку обсудить вопросы репараций, военных долгов и европейского восстановления в виде единого пакета проблем — как это было сделано поколением позднее при обсуждении «плана Маршалла». Поскольку бессмысленно было говорить об экономическом возрождении Европы в отсутствие двух крупнейших стран континента (к тому же являвшихся крупнейшими должниками), впервые за послевоенный период на международную конференцию были приглашены Германия и Советский Союз, две парии европейской дипломатии. Результатом оказался не вклад в дело создания международного порядка, на что надеялся Ллойд-Джордж, а возможность объединения двух изгоев.

Со времен Французской революции на европейском горизонте не появлялось ничего, даже отдаленно напоминающего Советский Союз. Впервые по прошествии более ста лет одна из стран официально посвятила себя свержению существующего порядка. Французские революционеры стремились изменить характер государственного устройства; большевики, сделав еще один шаг, предлагали уничтожить государство как таковое. Как только государство исчезнет, как говорил Ленин, не будет нужды в дипломатии и внешней политике.

Поначалу подобный подход озадачивал как самих большевиков, так и тех, с кем они обязаны были иметь дело. На ранних этапах своего существования большевики разработали теории классовой борьбы и империализма как причин возникновения войн. Однако они никогда не задавались вопросом, как вести внешнюю политику с суверенными государствами. Они были уверены в том, что вслед за их победой в России в течение нескольких месяцев разразится мировая революция; крайние пессимисты полагали, что этот срок может растянуться до нескольких лет. Лев Троцкий, первый советский министр иностранных дел, считал себя не столько служащим, сколько разоблачителем, призванным в целях дискредитации капиталистов сделать достоянием гласности различные секретные договоры, при помощи которых те намеревались разделить между собой военную добычу. Свою задачу он сводил к «выпуску нескольких революционных прокламаций к народам мира, чтобы затем закрыть лавочку»[330]. Ни один из первых коммунистических лидеров не представлял возможным сосуществование коммунистического государства с капиталистическими странами в течение десятилетий. А поскольку через несколько месяцев или лет государство, как ожидалось, должно было исчезнуть совершенно, основной задачей советской внешней политики на раннем этапе было скорее оказание помощи мировой революции, а не регулирование межгосударственных отношений.

При подобных обстоятельствах исключение Советского Союза из числа версальских миротворцев было понятно. У союзников не было побудительных мотивов включать в свою работу страну, уже заключившую сепаратный мир с Германией, страну, чьи агенты пытались свергнуть их правительства. Да и Ленин со Своими коллегами не имел ни малейшего желания участвовать в создании международного порядка, который они намеревались разрушить.

Бесконечно сложные и запутанные дебаты внутреннего характера среди первых

большевиков никоим образом не подготовили их к тому, что они могут унаследовать состояние войны. У них отсутствовала конкретная программа мира, потому что они рассматривали собственную страну не как государство, а как наглядный пример. И потому действовали так, как будто окончание войны и переход к европейской революции были единым процессом. И действительно, их первым внешнеполитическим декретом, изданным на следующий же день после революции 1917 года, был так называемый «Декрет о мире» — призыв к правительствам и народам мира заключить то, что они называли «демократическим миром»[331].

Иллюзии большевиков быстро рухнули. Германское верховное командование согласилось на переговоры в Брест-Литовске о заключении мирного договора и на перемирие на время продолжения переговоров. Поначалу Троцкий воображал, что сможет воспользоваться угрозой мировой революции в качестве инструмента давления по ходу переговоров и выступать в роли своего рода доверенного лица пролетариата. К несчастью для Троцкого, германскую делегацию возглавлял не философ, а победоносный генерал. Макс Гофман, начальник штаба Восточного фронта, понимал смысл соотношения сил и предложил в январе 1918 года условия, жесткие до невозможности. Он потребовал аннексии всей территории, примыкающей к Балтике, куска Белоруссии, подтверждения протектората де-факто над независимой Украиной и огромной контрибуции. Устав от проволочек Троцкого, Гофман в конце концов предъявил карту, где широкой голубой линией была обозначена граница германских требований, и дал ясно понять, что Германия не отступит за эту линию до тех пор, пока Россия не демобилизуется, — иными словами, пока она не станет беззащитной.

Ультиматум Гофмана повлек за собой первые крупные дебаты среди коммунистов по вопросам внешней политики, начавшиеся в январе 1918 года. Поддерживаемый Сталиным, Ленин настаивал на заключении мира; Бухарин же призывал к революционной войне. Ленин утверждал, что если германская революция не наступит или окончится неудачей, то Россию ждут «сильнейшие поражения», которые повлекут за собой еще более невыгодный мир, «причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим... При таком положении дела было бы совершенно недопустимой тактикой ставить на карту судьбу начавшейся уже в России социалистической революции только из-за того, начнется ли германская

революция в ближайший... срок»[332].

Защищая идеологизированную по сути внешнюю политику, Троцкий выдвинул принцип «ни мира, ни войны»[333]. Однако более слабая сторона может делать ставку на выигрыш времени только в том случае, когда ее противник полагает, что переговоры ведутся согласно их внутренней логике, — этой иллюзии были особенно подвержены Соединенные Штаты. Но немцы не имели в виду ничего подобного. И когда Троцкий вернулся на переговоры с инструкциями объявить о проведении политики ни войны, ни мира и в одностороннем порядке провозгласить об окончании войны, немцы возобновили военные операции. Перед лицом полного поражения Ленин и его коллеги приняли условия Гофмана и подписали Брестский мир, признав сосуществование с императорской Германией.

Принцип сосуществования будет то и дело выдвигаться Советами в течение последующих шестидесяти лет, причем реакция противной стороны останется постоянной: демократические страны каждый раз будут приветствовать провозглашение Советским Союзом принципа мирного сосуществования как признак обращения к перманентной политике мира. Зато коммунисты, в свою очередь, оправдывали периоды мирного сосуществования тем, что соотношение сил на данный момент не благоприятствует конфронтации. Отсюда проистекал само собой разумеющийся вывод, что, стоит этому соотношению сил измениться, переменится и приверженность большевиков принципу мирного сосуществования. По словам Ленина, сосуществование с капиталистическим врагом диктуется реальным положением вещей:

«Заключая сепаратный мир, мы в наибольшей, возможной для данного момента, степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используем их вражду и войну, затрудняющую им сделку против нас»[334].

Пиком подобной политики был, конечно, пакт между Гитлером и Сталиным 1939 года. Все потенциальные несоответствия были без труда переведены в рациональную форму. «Мы убеждены в том, — гласило коммунистическое заявление, — что наиболее последовательную социалистическую политику можно совместить с суровым реализмом и самым взвешенным практицизмом»[335].

В 1920 году советская политика сделала окончательный шаг в сторону возврата к более традиционной политике в отношении Запада, о чем заявил министр

иностранных дел Георгий Чичерин:

«Могут существовать разногласия во взглядах, сколько времени просуществует капиталистическая система, но пока капиталистическая система существует, и потому должен быть найден „модус вивенди"...»[336]

Невзирая на революционную риторику, в конце концов преобладающей целью советской внешней политики стал вырисовываться национальный интерес, поднятый до уровня социалистической прописной истины. Как видим, национальный интерес оказался не только «изобретением» капиталистических держав! Пришлось признать его и Советам как объективный фактор. Первоочередной задачей стало выживание, а сосуществование — тактическим приемом.

И все же социалистическое государство встало перед лицом очередной военной угрозы, когда в апреле 1920 года на него было совершено нападение Польши. Прежде, чем польские силы были разбиты, им удалось дойти до окрестностей Киева. А когда Красная Армия в ходе контрнаступления подошла к Варшаве, вмешались западные союзники, потребовав прекратить наступление и заключить мир. Британский министр иностранных дел лорд Керзон предложил разграничительную линию между Польшей и Россией, которую Советы готовы были принять. Польша, однако, отказалась, так что окончательное урегулирование было проведено на основе предвоенных границ вооруженного противостояния, лежавших намного восточнее тех, что были предложены Керзоном.

Польша таким образом умудрилась обострить отношения с двумя своими историческими антагонистами: Германией, у которой она отобрала Верхнюю Силезию и «польский коридор», и Советским Союзом, у которого отхватила территорию к востоку от так называемой «линии Керзона». Когда дым рассеялся, Советский Союз увидел, что наконец-то кончился период войн и революционных потрясений, хотя за это пришлось заплатить потерей большинства завоеваний царского времени на Балтике, в Финляндии, Польше, Бессарабии и вдоль турецкой границы. К 1923 году Москва восстановила контроль над Украиной и Грузией, отколовшихся от Российской империи во времена бурных перемен, — причем событие это до сих пор не изгладилось из памяти современных российских лидеров.

Для восстановления контроля на территории собственной страны Советский Союз вынужден был пойти на прагматический компромисс между революционными

крестовыми походами и Realpolitik, между призывами к мировой революции и практикой мирного сосуществования. Хотя Советский Союз сделал выбор в пользу отсрочки мировой революции, он вовсе не стал сторонником поддержки существующего миропорядка. В мире он видел лишь возможность натравить капиталистов друг на друга. Конкретной целью стала Германия, всегда игравшая ведущую роль в советском политическом мышлении и российском урегулировании. В декабре 1920 года Ленин так описывал советскую стратегию:

«Существование наше зависит от того, что существует коренное расхождение империалистических держав, с одной стороны, а с другой стороны, что победа Антанты и Версальский мир отбросили в положение невозможности жить гигантское большинство немецкой нации. Немецкое буржуазное правительство бешено ненавидит большевиков, но интересы международного положения толкают его к миру с Советской Россией против его собственного желания»[337].

Германия приходила к тому же выводу. Во время советско-польской войны генерал Ганс фон Сект, архитектор послевоенной германской армии, писал так:

«Нынешнее польское государство есть порождение Антанты. Оно создано для того, чтобы возместить давление, ранее оказывавшееся Россией на восточных границах Германии. Борьба Советской России с Польшей бьет не только по последней, но в первую очередь по Антанте: Франции и Британии. Если Польша рухнет, то все здание Версальского договора рассыплется в прах. Отсюда неумолимо следует то, что у Германии отсутствует интерес помогать Польше в ее схватке с Россией»[338].

Высказанные фон Сектом взгляды лишь подтверждали опасения лорда Бальфура, проявленные им еще несколько лет назад (о чем упоминалось в предыдущей главе), что Польша станет общим для России и Германии врагом и исключит необходимость равновесия сил между ними, как это было на протяжении XIX века. Версальская система ставила Германию лицом к лицу не с Тройственным согласием, но с множеством государств, находящихся в различных степенях несогласия друг с другом, причем ко всем этим странам с подозрением относился и Советский Союз, недовольный территориальным переустройством не менее, чем Германия. Сведение собственных негативных эмоций воедино с такими же эмоциями партнера стало для обоих изгоев лишь вопросом времени.

И вот в 1922 году в Рапалло, приморском городке неподалеку от Генуи, месте

проведения по инициативе Ллойд-Джорджа международной конференции, благоприятная ситуация возникла. И по иронии судьбы — вследствие бесконечных разговоров о репарациях, продолжавшихся с момента подписания Версальского договора и усилившихся после предъявления союзными державами репарационного счета и заявление. Германии о невозможности его оплатить.

Успеху конференции главным образом препятствовало то, что у Ллойд-Джорджа не было ни сил, ни мудрости государственного секретаря Джорджа Маршалла, которому позднее удастся привести свою собственную программу реконструкции к плодотворному завершению. В последний момент Франция отказалась от включения вопроса о репарациях в повестку дня, справедливо опасаясь, что на нее будет оказано давление в отношении сокращения общей суммы. Похоже, Франция превыше всего стремилась к международному признанию своей неосуществимой претензии на компромисс, с ее точки зрения, Германия настаивала на моратории на выплату репараций. Советы же опасались, что Антанта попытается присоединить царские долги к германским репарациям и потребует от Советского Союза признать их, но компенсировать за счет германских репараций. Статья 116 Версальского договора открывала именно такую возможность.

Советское правительство жаждало признать царские долги не более, чем британские и французские финансовые претензии. Не собиралось оно и пополнять собой и без того длинный список противников Германии, включившись в репарационную карусель. С тем чтобы не дать Генуэзской конференции решить этот вопрос к неудовлетворению советской стороны, Москва еще до начала конференции предложила, чтобы обе парии установили друг с другом дипломатические отношения и взаимно отказались от всяких претензий друг к другу. Не желая быть первой европейской страной, устанавливающей дипломатические отношения с Советским Союзом и, следовательно, ставящей под угрозу возможные послабления по репарационным платежам, Германия отнеслась к этому предложению уклончиво. Предложение оставалось в долгом ящике до тех пор, пока события в Генуе не заставили изменить к нему отношение.

Советский министр иностранных дел Георгий Чичерин, аристократ по рождению, страстно уверовавший в дело большевизма, решил воспользоваться возможностями Генуэзской конференции, чтобы поставить революционные убеждения на службу

«Realpolitik». Он провозгласил «мирное сосуществование» в таких выражениях, которые ставили практическое сотрудничество превыше идеологических требований:

«...Российская делегация признает, что в нынешний исторический период, который позволяет параллельно существовать старому социальному порядку и новому, только что нарождающемуся, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими обе системы собственности, настоятельно необходимо в деле всеобщей экономической реконструкции»[339].

Одновременно Чичерин к призыву о сотрудничестве присовокупил предложения, тщательно продуманные в целях усугубить разброд среди демократических стран. Он предложил повестку дня, до того всеобъемлющую, что ее нельзя было ни практически претворить в жизнь, ни проигнорировать со стороны демократических правительств — тактика, которая станет типичной для советской дипломатии. Эта повестка дня включала в себя ликвидацию оружия массового уничтожения, созыв международной экономической конференции и введение международного контроля на всех водных путях. Целью этого предложения было привлечь к себе внимание западного общественного мнения и дать Москве репутацию миролюбивого интернационалиста, что помешало бы демократическим странам создать объединенное антикоммунистическое противодействие, всегда являвшееся кошмаром для Кремля.

Чичерин чувствовал себя аутсайдером в Генуе, однако не более, чем члены германской делегации. Западные союзники даже не догадывались, какие искушения они подкидывают как Германии, так и Советскому Союзу, делая вид, что эти две самые мощные страны на континенте можно попросту игнорировать. Три раза германскому канцлеру и его министру иностранных дел было отказано во встрече с Ллойд-Джорджем. Одновременно Франция предлагала частные консультации с Великобританией и Советским Союзом, в чем Германии тоже было отказано. Целью этих встреч было возрождение поистрепанной схемы обмена царских долгов на германские репарации — предложение, которое даже менее склонные к подозрительности дипломаты, чем советские, сочли бы ловушкой, предназначенной подорвать перспективы улучшения германо-советских отношений.

К концу первой недели конференции как Германия, так и Советский Союз были обеспокоены тем, что их могут натравить друг на друга. И когда один из помощников Чичерина 16 апреля 1922 года позвонил германской делегации по заговорщически в

час пятнадцать ночи, предлагая встречу в течение дня в Рапалло, немцы с жаром ухватились за это предложение. Они точно так же хотели покончить со своей изоляцией, как Советы — избежать сомнительной привилегии стать кредиторами Германии. Оба министра иностранных дел, не теряя времени, составили соглашение, по которому Германия и Советский Союз устанавливали дипломатические отношения в полном объеме, отказывались от претензий друг к другу и предоставляли друг другу статус наибольшего благоприятствования. Ллойд-Джордж, получив запоздалые сведения об этой встрече, отчаянно попытался связаться с германской делегацией и пригласить ее на беседу, в которой ей столь многократно отказывал. Просьба поступила к главе германской делегации Ратенау как раз тогда, когда тот должен был ехать на подписание советско-германского соглашения. Он поколебался, затем пробормотал: «Le vin est tiré; il faut le boire» (Вино откупорено; его следует выпить) [340].

Не прошло и года, как Германия и Советский Союз уже вели переговоры по достижению секретных соглашений относительно военного и экономического сотрудничества. Хотя Рапалло впоследствии стало символом опасности советско-германского сближения, это, по существу, была просто одна из судьбоносных случайностей, казавшаяся неизбежной лишь в ретроспективе: случайностью это было лишь в том смысле, что ни одна из сторон не планировала это событие именно тогда; неизбежной она была потому, что западные союзники предопределили ее, подвергнув остракизму две крупнейшие континентальные державы посредством создания пояса малых, враждебных друг другу, государств, а также посредством расчленения как Германии, так и Советского Союза. Все это создавало максимум побудительных мотивов как для Германии, так и для Советского Союза преодолеть идеологическую вражду и сотрудничать в деле подрыва Версаля.

Рапалло само по себе не повлекло за собой никаких последствий подобного рода; зато оно символизировало всепобеждающую общность интересов, сводившую воедино советских и германских лидеров вплоть до самого конца межвоенного периода. Джордж Кеннан приписывал это соглашение отчасти советской настойчивости, отчасти отсутствию единства среди стран Запада и западному благодушию [341]. Ясно, что демократические страны Запада были глупы и близоруки. Но коль скоро они совершили ошибку, сочинив Версальский договор, им оставались

лишь самые крайние меры. В долгосрочном плане советско-германское сотрудничество могло бы быть уравновешено британской или французской сделкой с любой из этих стран. Однако минимальной ценой подобной сделки с Германией была бы корректировка в ее пользу польской границы и, почти наверняка, ликвидация «польского коридора». В такой Европе Франция могла бы не допустить германского преобладания лишь посредством прочного союза с Великобританией, но этот вопрос британцы, конечно, отказались бы рассматривать. Соответственно практическим последствием сделки с Советским Союзом было бы восстановление «линии Керзона», что Польша бы отвергла, а Франция бы просто проигнорировала. Демократические страны не были готовы ни к той, ни к другой форме платежа, не готовы они даже были признать существование дилеммы, как именно защищать версальское урегулирование, не отводя существенной роли ни Германии, ни Советскому Союзу.

А поскольку дело обстояло именно так, то всегда имелась возможность варианта раздела двумя континентальными гигантами Восточной Европы между собой в противоположность созданию коалиций друг против друга. Так что Гитлеру и Сталину оставалось лишь, не заботясь о прошлом и следуя неудержимому стремлению к власти и могуществу, сдуть карточный домик, выложенный преисполненными добрых намерений, миролюбивыми и, в сущности, робкими государственными деятелями межвоенного периода.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Штресман и возврат побежденных на международную арену

Согласно всем принципам дипломатии равновесия сил, воплощавшимся в

европейской практике еще со времен Вильгельма III, Британии и Франции настоятельно требовалось заключить антигерманский союз, чтобы обуздать реваншистские импульсы беспокойного соседа.. В конечном счете Великобритания и Франция по отдельности были слабее Германии — даже побежденной Германии — и могли надеяться противопоставить ей собственную мощь, лишь заключив коалицию. Но такая коалиция так и не была создана. Великобритания отказалась от одностороннего применения политики обеспечения равновесия сил, характерной для нее на протяжении трех столетий. Она заколебалась между преувеличенной ею же самой необходимостью уравновесить силы Франции и ростом приверженности новому принципу коллективной безопасности, воплощения которого на практике не допустила она же сама. Франция же в международных делах следовала политике отчаяния, то пытаясь использовать Версальский договор, чтобы оттянуть возрождение Германии, то пробуя вполсилы успокоить взвинченного соседа. И случилось так, что государственный деятель, наиболее преуспевший в формировании дипломатического ландшафта 20-х годов, принадлежал не к одной из стран-победительниц, но происходил из побежденной Германии. Это был Густав Штресман.

Но еще до появления Штресмана Францией была предпринята очередная тщетная попытка обеспечить собственную безопасность собственными же усилиями. В конце 1922 года, когда вопрос о репарациях повис в воздухе, когда вопрос разоружений трактовался двусмысленно, когда весомые британские гарантии безопасности оказались недостижимы, Франция в эмоциональном плане дошла до предела, особенно с учетом германо-советского сближения. Премьер-министром Франции стал Раймон Пуанкаре, ее президент военного времени, и он принял решение в пользу односторонних мер по обеспечению выполнения статьи Версальского договора о репарациях. В январе 1923 года французские и бельгийские войска оккупировали Рур, промышленное сердце Германии, не проконсультировавшись с остальными союзниками.

Много лет спустя Ллойд-Джордж заметит: «Если бы не было Рапалло, не было бы и Рура»[342]. Но верно также и то, что, если бы Великобритания была готова взять на себя гарантию безопасности Франции, той бы не потребовалось пойти на столь отчаянный шаг, как оккупация промышленного сердца Германии. И если бы Франция была более готова пойти на компромисс по вопросу о репарациях (и по поводу

разоружения), то Великобритания, возможно, охотнее бы отнеслась к формированию союза — хотя насколько осмысленным был бы этот союз с учетом почти что пацифистского настроения британского общественного мнения, — вопрос другой.

По иронии судьбы единственная односторонняя французская военная инициатива продемонстрировала как раз неспособность Франции более действовать в одиночку. Франция взяла под контроль промышленность Рурской области, с тем чтобы воспользоваться ее углем и сталью взамен репарационных платежей, в которых Германия отказывалась. Германское правительство отдало распоряжение о пассивном сопротивлении и стало оплачивать отказ от работы со стороны рабочих угольной и металлургической промышленности. И хотя эта политика привела германское правительство к банкротству — и породила гиперинфляцию, — она также не позволила Франции добиться поставленной цели, тем самым превращая оккупацию Рура в гигантскую французскую неудачу.

Теперь Франция была полностью изолирована. Соединенные Штаты проявили неудовольствие посредством вывода из Рейнской области собственных оккупационных войск. Великобритания нахмурилась. Германия же усмотрела в расколе между союзниками возможность к сближению с Великобританией. Пьянящая атмосфера национального сопротивления французской оккупации даже породила у ряда германских лидеров мечту о возрождении прежних планов англо-германского альянса, что явилось очередным примером прирожденной способности Германии переоценивать собственные возможности. Британский посол в Берлине лорд д'Абернон. докладывал о беседе, во время которой один из ведущих германских государственных деятелей возродил ряд аргументов императорской Германии в пользу альянса с Британией, заявляя, что «нынешняя ситуация прямо противоположна ситуации 1914 года. Совершенно ясно, что если в 1914 году Англия воевала с Германией, чтобы не допустить ее военного господства над Европой, то теперь через несколько лет такого же рода схватка возможна у нее с Францией. И вопрос заключается в том, будет ли Англия сражаться в одиночку, или у нее будут союзники»[343].

Ни один ответственный британский лидер не думал заходить до такой степени далеко, чтобы помышлять о союзе собственной страны с Германией. Тем не менее 11 августа 1923 года министр иностранных дел Керзон и ответственный сотрудник

министерства иностранных дел сэр Эйр Кроу (автор «Меморандума Кроу» 1907 года) потребовали, чтобы Франция пересмотрела свои действия в Руре, иначе она бы рисковала потерять поддержку Великобритании в будущем кризисе с Германией. На Пуанкаре это не произвело никакого впечатления. Он вовсе не считал британскую поддержку одолжением для Франции, но скорее требованием британских национальных интересов: «...В случае, если возникнет ситуация, подобная 1914 году... Англия в своих же собственных интересах примет те же самые меры, какие она приняла в то время»[344].

Пуанкаре оказался прав относительно окончательного выбора Великобритании в случае наступления ситуации, аналогичной 1914 году. Но он неверно оценил срок, в течение которого Великобритания должна была осознать, что она действительно находится перед лицом аналогичного кризиса, а пока что хрупкая версальская система успела рассыпаться в прах.

Оккупация Рура завершилась осенью 1923 года. Франции не удалось создать значительное сепаратистское движение в Руре или даже в Рейнской области, куда, согласно условиям Версальского договора, германская армия не имела права вступать и, следовательно, не сумела бы подавить сепаратистское движение. Уголь, добытый во время оккупации, едва покрывал стоимость оккупационных расходов. А пока что Германию разрывали мятежи, возникшие в Саксонии (в связи с действиями левых политических групп) и в Баварии (в связи с действиями правых). Инфляция росла бешеными темпами, угрожая в принципе способности германского правительства выполнить какие бы то ни было из своих обязательств. Настоятельное требование Франции выплатить репарации сполна стало невыполнимым из-за французских же действий.

Франция и Великобритания умудрились одновременно дать друг другу шах и мат: Франция — тем, что настаивала на ослаблении Германии посредством односторонних действий и тем самым исключила возможность поддержки со стороны Великобритании; Великобритания — тем, что настаивала на умиротворении, не принимая в расчет соотношения сил и тем самым нанося вред безопасности Франции. Даже разоруженная Германия оказалась достаточно сильной, чтобы свести на нет односторонние действия Франции, — грозное предзнаменование будущего, когда Германия сбросит с себя оковы Версаля.

В 20-е годы, как только демократические страны оказывались в тупике, они предпочитали обращаться к Лиге наций, а не смотреть в лицо геополитическим реалиям. В эту западню угодила даже британский Генеральный штаб. И тот самый меморандум, который цитировался в предыдущей главе и определял Германию как главную угрозу, поскольку Франция будет не в состоянии оказать эффективное сопротивление, оказался не свободен от плоских истин: в качестве вывода Генеральный штаб не придумал ничего лучше, чем «укреплять» Лигу (что это значит, неизвестно) и заключать «союзы по обстоятельствам в таких ситуациях, когда... Германия потеряет голову»[345].

Эта рекомендация была почти что гарантированным рецептом неудачи. Лига была слишком раздроблена, а к тому моменту, как Германия потеряла голову, организовывать альянсы было слишком поздно. Теперь для того, чтобы Германия окончательно обеспечила себе в долгосрочном плане доминирующее положение, — даже более прочное, чем предвоенное, — нужен был государственный деятель, достаточно дальновидный и терпеливый, могущий уничтожить дискриминационные статьи Версальского договора.

Такой лидер появился в 1923 году, когда министром иностранных дел, а затем канцлером стал Густав Штресеман. Методом, при помощи которого он восстанавливал силы Германии, стала политика «выполнения обязательств», что представляло собой полный пересмотр прежней германской политики и прекращение дипломатической партизанской войны, которую его предшественники вели против положений Версальского договора. «Выполнение обязательств» базировалось на извлечении преимуществ из очевидной неловкости, испытываемой Великобританией и Францией в связи с явным разрывом между собственными принципами и условиями Версаля. В обмен на германские усилия по строгому соблюдению более льготной схемы выплаты репараций Штресеман стремился к освобождению от наиболее тяжелых политических и военных условий Версаля по воле самих союзников.

Нация, побежденная в войне и частично оккупированная иностранными войсками, имеет в основном два выбора. Она может бросить вызов победителю в надежде сделать претворение в жизнь условий мира наиболее болезненным; либо может сотрудничать с победителем, накапливая силы для новой конфронтации. После военного поражения сопротивление есть испытание сил в момент наибольшей

слабости; коллаборационизм несет в себе риск деморализации, поскольку политика, угодная победителю, также содержит в себе тенденцию сбивать с толку общественное мнение в среде побежденных.

До Штреземана Германия следовала политике сопротивления. Конфронтационная тактика помогла ей устоять во время рурского кризиса, но германские обиды вряд ли были сняты уходом Франции из Рура. Странно, но возврат Франции Эльзас-Лотарингии под сомнение не ставился. Однако перекройка германских границ с уступкой Польше значительных участков германской территории вызывала страстное противодействие националистического характера. В итоге широко распространилось движение за уничтожение ограничений на германскую военную мощь. И в Германии существовал почти поголовный консенсус в отношении того, что репарационные требования союзников завышены вне всякой меры.

В отличие от националистов Штреземан понимал, что, независимо от того, до какой степени непопулярен Версальский договор, независимо от того, до какой степени ненавидел его он сам, нужна британская и, в какой-то мере, французская помощь, чтобы сбросить с себя наиболее тяжкие ограничения. Взаимопонимание, достигнутое в Рапалло, оказалось тактически полезным: у западных демократических стран слали нервы. Но поскольку Советский Союз был чересчур нищ, чтобы оказать содействие германскому экономическому возрождению, и слишком изолирован, чтобы оказать помощь и поддержку в большинстве случаев дипломатической конфронтации, реальные последствия этой договоренности стали очевидны лишь тогда, когда Германия стала достаточно сильной, чтобы бросить открытый вызов версальскому урегулированию. В конце концов, для восстановления экономической мощи требовались иностранные займы, получить которые в атмосфере конфронтации Германии было бы затруднительно. Таким образом, штреземановская политика «выполнения обязательств» отражала в первую очередь реалистическую оценку потребностей германского политического и экономического восстановления. «Основополагающая слабость Германии в военном отношении, — писал он, — ставит пределы, определяет характер и методы для германской внешней политики»[346]

И хотя политика выполнения обязательств базировалась на реалистическом подходе, этого товара в послевоенной Германии было не более (особенно в консервативных кругах), чем в те времена, когда политика консерваторов столь сильно повлияла на

обстановку, что обеспечила саму возможность начала первой мировой войны. Тот факт, что война окончилась в то время, как германские войска находились на территории стран Антанты, позволил лицам, ответственным за вовлечение Германии в войну, избежать ответственности за свое безумное поведение и одновременно возложить вину за это на своих более умеренных преемников. Ллойд-Джордж предвидел подобный результат, когда 26 октября 1918 года докладывал военному кабинету относительно первых попыток Германии договориться о мире:

«Премьер-министр заявил, что индустриальная часть Франции опустошена, а Германия этой участи избежала. Ибо в первый же миг, как только мы оказались в состоянии опустить свой бич на спину Германии, та заявила: „Я сдаюсь“. И встал вопрос, не следует ли продолжать бичевать ее, как она это делала с Францией»[347].

Коллеги его, однако, сочли, что Великобритания слишком истощена, чтобы следовать подобным курсом. Министр иностранных дел Остин Чемберлен устало заметил, что «мести сегодня обходится слишком дорого»[348].

Как и предсказывал Ллойд-Джордж, новая Веймарская республика была с самого начала атакована националистическими агитаторами. Несмотря на то, что ей удалось получить гораздо более льготные условия мира, чем те, что предлагались Генеральному штабу! Демократические лидеры новой Германии так и не были по достоинству оценены за то, что сохранили самое возможность независимого существования страны в столь трудных обстоятельствах. В политике, однако, мало кто бывает вознагражден за предотвращение ущерба, ибо весьма редко удается доказать, что последствия могли бы быть, гораздо худшими.

Вспомним: двумя поколениями спустя понадобился американский президент-консерватор, чтобы решиться на «открытие» для Америки Китая. Точно так же лишь Штреземан, лидер с безупречным консервативным прошлым, решился, помыслив, положить в основу германской внешней политики сотрудничество в деле претворения в жизнь ненавистного версальского урегулирования. Сотрудничество пусть даже двусмысленное по сути. Сын торговца пивом, Штреземан родился в Берлине в 1878 году и построил свою политическую карьеру на следовании идеям консервативной партии буржуазно-деловых кругов — национально-либеральной партии. В 1917 году он стал ее руководителем. Человек веселый и общительный, он увлекался литературой и историей, и беседы его были постоянно насыщены ссылками на

немецкую классику. Тем не менее его ранние представления о международной политике отражали консервативные расхожие истины. К примеру, он был убежден в том, что Германию вовлекла в войну Великобритания, ревностно охраняющая свое собственное господство.

Еще в 1917 году Штреземан выступал в пользу обширных завоеваний на Западе, на Востоке и за аннексию французских и британских колониальных владений в Азии и Африке. Он также поддержал решение о неограниченной подводной войне — пагубное по своим последствиям, вовлекшее Америку в войну. Но то, что инициатором политики «выполнения обязательств» стал человек, назвавший Версальский договор «величайшим свинством в истории»[349], показалось бы странным разве что не верящим в непреложное: «Realpolitik» способна обучить выгодному применению принципов умеренности.

Штреземан оказался первым послевоенным германским лидером, — и единственным демократическим лидером, — который воспользовался геополитическими преимуществами, полученными Германией в результате версальского урегулирования. Он уразумел непрочность франко-английских отношений и воспользовался этим, чтобы углубить разрыв между союзниками военных лет. Он с умом обратил в свою пользу страх британцев перед катастрофическим ослаблением Германии по отношению к Франции и Советскому Союзу. Один официальный британский аналитик рассматривал Германию как жизненно важный бастион на путях распространения большевизма, привлекая аргументы, свидетельствовавшие о том, что политика выполнения обязательств делает успехи. Получалось, что германское правительство «поддерживается большинством национальной ассамблеи, является подлинно демократическим, намеревается наилучшим способом выполнить требования мирного договора и заслуживает откровенной поддержки со стороны союзников». А в отсутствие британской поддержки Германия «неизбежно склонится в сторону большевизма, а в итоге, возможно, вновь станет абсолютной монархией»[350].

Аргументы Великобритании в пользу содействия Германии определенным образом напоминают мотивы, выдвигаемые Америкой в пользу оказания помощи России при Ельцине. Ни в том, ни в другом случае не брались в расчет последствия «успеха» предлагаемой политики. Если бы преуспела политика «выполнения обязательств»,

Германия постоянно становилась бы сильнее и оказалась бы в состоянии угрожать европейскому равновесию. Соответственно, если программа международной помощи России в период после окончания «холодной войны» достигнет цели, то рост российской мощи повлечет за собой геополитические последствия по всей обширной периферии бывшей Российской империи.

В обоих случаях сторонники умиротворения имели перед собой позитивные, даже весьма перспективные цели. Западные демократии поступили мудро, согласившись с штреземановской политикой «выполнения обязательств» и пойдя ей навстречу. Но они ошиблись в том, что не упрочили связи друг с другом. Ибо политика выполнения обязательств непременно должна была приблизить тот день, который так описал генерал фон Сект: «Мы должны вновь обрести силы и уж тогда, естественно, вернем себе то, что потеряли»[351]. Америка поступила дальновидно, предложив помощь России в период по окончании «холодной войны»; но как только Россия выздоровеет экономически, ее давление на соседние страны обязательно возрастет. Возможно, такую цену стоит заплатить, но было бы ошибкой не замечать, что платить придется.

На ранних этапах политики «выполнения обязательств» конечные цели Штреземана не играли роли. Искал ли он постоянного примирения, желал ли пересмотра существующего порядка — или, что наиболее вероятно, держал в запасе оба варианта, — ему прежде всего надо было высвободить Германию из двусмысленного положения в связи с репарациями. За исключением Франции, остальные союзники в равной степени хотели покончить с этим вопросом и наконец получить хоть какие-то репарации. Что же касается Франции, то она хотела выбраться из устроенной ею же самой для себя западни в форме оккупации Рура.

Штреземан умело предложил вынести новый график репарационных платежей на рассмотрение международного арбитража, полагая, что международный форум будет не столь привередлив, как одна Франция. В ноябре 1923 года Франция согласилась с назначением американского банкира Чарлза Г. Дауэса на роль «беспристрастного арбитра» для рассмотрения вопроса об уменьшении суммы репараций, причитающихся Франции, что явилось верным признаком распада союза военного времени. Рекомендации «комитета Дауэса», согласно которым устанавливался график платежей в ограниченных размерах в течение последующих пяти лет, были приняты в апреле 1924 года.

В течение этих пяти лет Германия выплатила примерно 1 млрд. долларов в форме репараций и получила около 2 млрд. долларов в виде займов, главным образом из Соединенных Штатов. По существу, Америка оплачивала репарации Германии, а Германия использовала остаток от американских займов для модернизации собственной промышленности. До того Франция настаивала на репарациях, чтобы сделать Германию слабой. Вынужденная выбирать между Германией слабой и Германией, способной платить репарации, Франция предпочла последний вариант, но при этом вынуждена была не вмешиваться, видя, как репарации помогали возродить экономическую и в конечном счете военную мощь Германии.

К концу 1923 года Штресеман уже был в состоянии говорить об определенных успехах:

«Все наши меры политического и дипломатического характера, а именно, заранее продуманное сотрудничество с обеими англо-саксонскими державами, отчуждение Италии от ее соседа [Франции], а также колебания в Бельгии, создали в совокупности такую ситуацию для Франции, которую эта страна в течение продолжительного срока выдержать не сможет»[352].

Расчет Штресемана оказался точен. Политика «выполнения обязательств» превратилась в квадратуру круга как для Франции, так и для всего европейского порядка. Безопасность Франции требовала определенной доли дискриминации по отношению к Германии в военной области; иначе бы Германия взяла верх благодаря потенциальному превосходству в живой силе и ресурсах. Но без признания за собой равенства — права на производство вооружений, как у любой другой европейской страны, — Германия никогда не приняла бы версальской системы, и выполнение обязательств прекратилось бы.

Политика «выполнения обязательств» поставила в трудное положение и британских дипломатов. Если Великобритания не предоставит Германии равенства в военном отношении в качестве *quid pro quo* за соблюдение Германией графика репарационных платежей, Германия вновь станет непримиримой, как прежде. Но равенство в военном отношении, обретенное Германией, будет представлять угрозу Франции.

Великобритания могла бы заключить союз с Францией, чтобы противопоставить его Германии, но она не желала связывать себя с союзами Франции в Восточной Европе или оказаться воюющей с Германией из-за куска польской или чешской территории.

Ради „польского коридора“, — заявил Остин Чемберлен в 1925 году, перефразируя изречение Бисмарка по поводу Балкан, — ни одно британское правительство не рискнет и не пожелает рискнуть костями одного-единственного британского гренадера»[353]. Это заявление, как и бисмарковское, было опровергнуто самим ходом событий: Великобритания все равно вступила в войну, как и Германия в начале века, — причем как раз по тому самому поводу, который и в том и в другом случае столь решительно отрицался.

Чтобы избежать подобной дилеммы, Остин Чемберлен в 1925 году выдвинул идею ограниченного альянса между Великобританией, Францией и Бельгией, который бы гарантировал лишь границы этих стран с Германией, то есть, по сути дела, военного союза на случай германской агрессии на Западе. К тому времени, однако, штреземановская политика «выполнения обязательств» настолько продвинулась вперед, что Штреземан обрел почти что право вето в отношении инициатив Антанты. Чтобы предотвратить отождествление Германии с потенциальным агрессором, он заявил, что пакт без Германии — это пакт против Германии.

Будучи наполовину убежден в том, что страх Германии перед окружением со всех сторон сыграл свою роль в формировании ее столь воинственной предвоенной политики, Чемберлен отступил и решился на заключение курьезно-гибридного соглашения, сочетавшего в себе некий сплав традиционного альянса с новыми принципами коллективной безопасности. Чтобы соблюсти ранее предложенные принципы альянса, новый пакт, подписанный в Швейцарии, в Локарно, гарантировал против агрессии границы между Францией, Бельгией и Германией. Верный принципам коллективной безопасности, документ не конкретизировал ни агрессора, ни жертву, но обещал отражение чьей бы то ни было агрессии в любом направлении. «Казус белли» пакта уже не был агрессивный акт конкретной страны, но нарушение юридической нормы любой из стран.

К середине 20-х годов Штреземан, министр побежденной Германии, был ближе к рулю мировой политики, чем Бриан и Чемберлен, представители стран-победительниц. В обмен на отказ от реваншизма в отношении Запада Штреземан добился от Бриана и Чемберлена молчаливого согласия на пересмотр ситуации на Востоке, определенной Версальским договором. Германия признала западную границу с Францией и Бельгией и постоянную демилитаризацию Рейнской области;

Великобритания и Италия гарантировали эту договоренность, пообещав содействие в отражении вторжения через границы или в рейнскую демилитаризованную зону в любом направлении. В то же время Штреземан не признал границу Германии с Польшей, которую другие вступившие в соглашение стороны также отказались гарантировать. Германия заключила арбитражные соглашения со своими восточными соседями, обещая мирное урегулирование всех споров. И все же Великобритания не пожелала распространить гарантию и на это обещание. В конце концов Германия дала согласие на вступление в Лигу наций, тем самым приняв на себя обязательство общего характера разрешать все споры мирным путем, что в теории также распространялось и на непризнанные границы на востоке.

«Пакт Локарно» был встречен с преувеличенным облегчением, как заря нового мирового порядка. Три министра иностранных дел — Аристид Бриан, Франция; Остин Чемберлен, Великобритания; Густав Штреземан, Германия — получили Нобелевскую премию мира. Но среди всех этих восторгов никто не заметил, что государственные деятели ушли в сторону от настоящих проблем: Локарно было не столько умиротворением Европы, сколько определением поля новых битв.

Успокоение, испытанное демократическими странами, как только Германия формально признала свою западную границу, явилось наглядным проявлением степени деморализации и той путаницы в умах, которая была вызвана смещением старого и нового в международных делах. Ибо свершившийся факт признания молчаливо свидетельствовал о том, что Версальский договор, которым завершилась победоносная война, сам по себе был неспособен заставить соблюдать условия мира, выдвинутые победителями, а Германия получила право выбора: соблюдать лишь те условия договора, которые она сочтет нужным подтвердить. В этом смысле нежелание Штреземана признать восточные границы Германии было грозным признаком; а отказ Великобритании гарантировать даже арбитражные договоры санкционировал в международном плане существование двух категорий границ в Европе: признанных Германией и гарантированных другими державами, но также — и не признанных Германией, и не гарантированных другими державами.

Еще больше запутывало дело существование трех классов обязательственных отношений в Европе. К первому принадлежали традиционные альянсы, обладавшие обычным механизмом штабных переговоров и политических консультаций. Выйдя из

моды, они включали в себя лишь французские договоренности с новыми слабыми государствами Восточной Европы — союзы, к которым не захотела подключиться Великобритания. В случае германской агрессии в Восточной Европе Франция очутилась бы лицом к лицу с нежелательными альтернативами: либо бросить на произвол судьбы Польшу и Чехословакию, либо воевать в одиночку, что преследовало ее, как кошмар, с 1870 года и представлялось крайне нежелательным. Ко второму классу относились гарантии особого рода типа локарнских, явно считавшиеся менее обязательными, чем формальные альянсы, чем и объясняется практически беспрепятственное их прохождение через палату общин. Наконец, существовали обязательства Лиги наций по коллективной безопасности, девальвированные на практике посредством Локарно. Ибо если коллективная безопасность была вещью надежной, не нужно было бы Локарно; а раз Локарно было нужно, Лига наций, само собой разумеется, на деле не могла обеспечить безопасность даже ее главным членам-основателям. А поскольку ни гарантии по типу Локарно, ни общая концепция коллективной безопасности не идентифицировали потенциального агрессора, ни то, ни другое не позволяло заниматься перспективным военным планированием. Даже если бы была возможность проведения военной акции в форме «концерта» — чему мы не находим ни единого примера за всю историю существования Лиги, — бюрократическая машина свела бы все к бесконечным проволочкам, устанавливая факты и отработывая прочие примирительные процедуры Лиги.

Все эти беспрецедентные дипломатические оговорки лишь усугубляли неуверенность тех стран, которые считали себя в наибольшей степени находящимися под угрозой. Италия ограничилась тем, что гарантировала... границы по Рейну, который никогда за всю ее историю не ассоциировался с интересами национальной безопасности. Италия в Локарно была в первую очередь заинтересована в том, чтобы ее признали великой державой. Добившись поставленной цели, она более не видела смысла на деле подвергать себя риску — что и продемонстрировала наглядно через десять лет, когда граница на Рейне стала предметом вызова. А для Великобритании Локарно стало первым соглашением, в котором великая держава одновременно давала гарантию давнему союзнику и только что побежденному противнику, изображая беспристрастность по отношению к ним обоим.

Локарно представляло собой не столько примирение между Францией и Германией,

сколько подтверждение военного исхода недавней войны. Германия была побеждена на западе, но одолела Россию на востоке. Так что Локарно на деле подтвердило оба этих результата и заложило основы для окончательной атаки Германией восточного урегулирования.

Локарно, восхвалявшееся в 1925 году как краеугольный камень вечного мира, на самом деле явилось началом конца установленного Версалем международного порядка. С той поры различие между победителем и побежденным стало все более и более зыбким — ситуация, которая была бы выгодной, если бы победитель обрел в результате дополнительную уверенность в собственной безопасности, а побежденный смирился с жизнью в изменившихся обстоятельствах. Не произошло ни того, ни другого. Во Франции разочарование и ощущение бессилия росли с каждым годом. Так же обстояло дело и с националистической агитацией в Германии. Союзники военных лет сняли с себя всякую ответственность: Америка отказалась быть конструктором мира, Великобритания отвергла исторически присущую ей роль регулятора, а Франция сняла с себя бремя ответственности за контроль над реализацией версальского плана урегулирования. Лишь Штресман, лидер побежденной Германии, проводил политику дальнего прицела и неуклонно выводил свою страну на авансцену международной политики.

Оставалась единственная надежда на бескровное установление нового мирового порядка: эмоциональный подъем, заключавшийся в самом факте соглашения, и порождаемые им ожидания, сводимые в лозунг «дух Локарно», должны были бы перевесить его явное и скрытое несовершенство. В противовес учению Вильсона, не широкие массы обеспечивали эту новую атмосферу, а министры иностранных дел тех самых стран, подозрительность и соперничество которых друг с другом предопределили войну и помешали консолидации сил мира, — Чемберлен, Бриан и Штресман.

Поскольку для версальского порядка геополитической основы не существовало, средством поддержания его государственные деятели сделали личные отношения — шаг, абсолютно неведомый для их предшественников. Аристократы, проводившие внешнюю политику в XIX веке, принадлежали к тому миру, где под неприкосновенным понималось одно и то же. Большинству из них было уютно друг с другом. Тем не менее они не верили в то, что их личные отношения могут повлиять на

достижение ими целей, связанных с национальными интересами их стран.

Соглашения никогда не оправдывались созданной ими «атмосферой», а уступки не делались для того, чтобы удержать конкретного лидера у власти. Да и руководители не называли друг друга по именам, чтобы на потребу общественному мнению подчеркнуть взаимную расположенность.

Стиль дипломатии после первой мировой войны переменялся. С того времени усугубилась тенденция персонифицировать официальные отношения. Когда Бриан приветствовал вступление Германии в Лигу наций, то подчеркивал человеческие качества Штреземана, и Штреземан отвечал тем же. Точно так же личные симпатии Остина Чемберлена по отношению к Франции побудили Штреземана форсировать проведение им политики выполнения обязательств и признать западные границы Германии, как только Чемберлен сменил на посту министра иностранных дел в 1924 году более прогерманского лорда Керзона.

Остин Чемберлен происходил из известной семьи. Сын блестящего и деятельного Джозефа Чемберлена, сторонника союза с Германией еще в начале века, он был сводным братом Невилла Чемберлена, будущего творца мюнхенского урегулирования. Как и его отец, он сосредоточивал огромную власть в своих руках, участвуя в коалиционных правительствах. Но точно так же ни разу не занимал самого высокого поста; более того, он был единственным руководителем консервативной партии в XX веке, который так и не стал премьер-министром. Как заявил один мастер светских острот, Остин «всегда принимал участие в игре и всегда проигрывал». Гарольд Макмиллан так отзывался об Остине Чемберлене: «Он говорил хорошо, но никогда не зажигал сердца остальных. Высказывался четко и ясно, но никогда не проникал в глубь событий... Его уважали, но не боялись»[354].

Крупнейшим дипломатическим достижением Чемберлена была сыгранная им роль в процессе формирования «пакта Локарно». Поскольку Чемберлен был известным франкофилом, причем как-то раз он заметил, что «любит Францию, как женщину», Штреземан опасался неизбежности заключения франко-английского союза. И именно эти опасения и побудили Штреземана начать процесс, приведший к Локарно.

Позднее слабость политики, породившей два типа границ в Европе, стала очевидной. Но сам Чемберлен рассматривал это как судьбоносное расширение стратегических обязательств Великобритании, подошедшее к пределу возможной

поддержки со стороны британского общества. Вплоть до начала XVII века граница безопасности Великобритании проходила по Ла-Маншу и Па-де-Кале. В течение всего XIX века эта линия безопасности проходила по границе Нидерландов. Остин Чемберлен попытался продвинуть ее на Рейн, где, в конце концов, Англия не стала ее защищать, когда ее нарушила Германия в 1936 году. А гарантии Польше были за пределами мышления британских государственных деятелей 1925 года.

Аристид Бриан являлся классическим политическим лидером Третьей республики. Начав карьеру как зажигательный оратор левого толка, он стал неотъемлемой принадлежностью французских кабинетов: время от времени в качестве премьер-министра, но чаще в роли министра иностранных дел (в этой должности он входил в состав четырнадцати кабинетов). Он рано понял истинное соотношение сил между Францией и Германией и его постоянное изменение не в пользу Франции и сделал вывод, что примирение с Германией воплощает в себе наиболее реальные надежды на долгосрочную безопасность для своей страны. Будучи человеком веселым, общительным и компанейским, он надеялся, что ему удастся избавить Германию от наиболее тяжелых для нее условий Версальского договора.

Политика Бриана не могла быть популярной в стране, опустошенной германскими армиями. Да и нелегко определить, до какой степени Бриан действительно стремился покончить с вековой враждой и в какой мере он лишь вынужден был соглашаться с настоятельными требованиями «Realpolitik». Во времена кризисов французы отдавали предпочтение суровому и твердому Пуанкаре, который настаивал на неуклонном исполнении требований Версальского договора. Когда кризисы становились чересчур болезненными — как в связи с оккупацией Рура, — вновь появлялся Бриан. Беда со всеми подобными подстановками и переменами заключалась в том, что Франция утратила способность доводить политику, проводимую каждой из этих противостоящих друг другу фигур, до логического завершения: Франция уже не была достаточно сильна, чтобы проводить политику Пуанкаре, а французское общественное мнение не давало простора деятельности Бриана по достижению постоянного перемирия с Германией.

Какими бы ни были конечные мотивы Бриана, он понимал, что если Франция не добьется примирения сама, то его у нее вырвут совместными усилиями англо-саксонских стран и все более крепнущей Германии. Штреземан, будучи страстным

противником Версальского договора, верил в то, что ослабление напряженности в отношениях с Францией ускорит пересмотр статей, касающихся разоружения, и заложит основу для ревизии Западом восточных границ Германии.

27 сентября 1926 года Бриан и Штреземан встретились в деревушке Туари во французских Юрских горах неподалеку от Женевы. Германию только что приняли в Лигу наций, что тепло и красноречиво от всего сердца приветствовал Бриан. И в этой пьянящей атмосфере оба государственных деятеля разработали комплексное соглашение, которое должно было покончить с войной раз и навсегда. Франция должна была вернуть Саар без предусмотренного Версальским договором плебисцита. Предполагалось, что французские войска в течение года уйдут из Рейнской области, а Союзническая военная контрольная миссия удалится из Германии. В обмен на это Германия обязывалась уплатить 300 миллионов марок за саарские шахты, ускорить репарационные выплаты Франции и выполнить "план Дауэса". На деле Бриан торговал наиболее унижительными положениями Версальского договора, обменивая их на помощь в деле экономического возрождения Франции. Соглашение наглядно показало неравенство переговорных позиций обеих стран. Германские достижения носили постоянный и необратимый характер; французские выгоды были единовременны, преходящи и носили характер финансовых поступлений, в отдельных случаях дублировавших прежние обещания Германии.

Это соглашение вызвало проблемы в обеих столицах. Германские националисты яростно, возражали против какого бы то ни было сотрудничества в рамках Версаля, какими бы привлекательными ни выглядели его конкретные условия, а Бриана обвиняли в том, что он выбрасывает на свалку буфер в виде Рейнской демилитаризованной зоны. Были и дополнительные затруднения, связанные с выпуском облигаций для финансирования дополнительных германских затрат. 11 ноября Бриан внезапно прервал переговоры, заявив, что «скорейшая реализация идей Туари разбилась о препятствия технического характера»[355].

Это была последняя попытка всеобъемлющего урегулирования отношений между Францией и Германией в межвоенный период. Правда, неясно, изменилось бы что либо, если бы это соглашение было претворено в жизнь. Ибо оставался нерешенным коренной вопрос, поставленный «дипломатией Локарно»: заставит ли примирение

Германию принять установленный Версалем международный порядок, или оно лишь ускорит способность со стороны Германии бросить ему вызов.

После Локарно вопрос этот стал обсуждаться все интенсивнее. Великобритания настаивала, что примирение — единственный путь, приемлемый в практическом плане, Америка была убеждена, что оно также представляет собой моральный императив. А поскольку стратегический и геополитический анализ вышли из моды, то нации толковали о справедливости даже тогда, когда самым решительным образом расходились в ее определении. Последовал бурный поток договоров, утверждающих общие принципы и апеллирующих к Лиге наций, частью в силу убежденности, частью от усталости, а частью из желания уйти от наиболее болезненных геополитических реалий.

В период после Локарно наблюдалось постепенное отступление Франции от условий версальского урегулирования — вопреки здравому смыслу — под постоянным нажимом Великобритании (и Америки) с требованием идти еще дальше. После Локарно в Германию устремился капитал, в основном американский, ускоряя модернизацию ее индустрии. Союзническая военная контрольная комиссия, созданная для надзора над разоружением Германии, была упразднена в 1927 году, а ее функции были переданы Лиге наций, у которой не было механизма проверки исполнения оговоренного.

Тайное перевооружение Германии шло ускоренными темпами. Еще в 1920 году тогдашний министр промышленности Вальтер Ратенау успокоил германских военных заявлением о том, что, согласно условиям Версальского договора, предусматривавшего ликвидацию тяжелых германских вооружений, будет в первую очередь демонтировано как раз то вооружение, которое само по себе вскоре устареет. Тем более, утверждал он, не существует никаких помех на разработку современного оружия или создание промышленных мощностей, которые позволили бы быстро его изготовить. Присутствуя на военных маневрах в 1926 году, вскоре после ратификации «пакта Локарно» и в тот момент, когда Бриан и Штреземан встречались в Туари, фельдмаршал Фон Гинденбург, командующий германской армией в последние три года войны, только что избранный президентом Германии, заявил: «Сегодня я увидел, что германская армия сохранила свой традиционный морально-профессиональный уровень»[356]. И если это было так, то безопасность Франции оказывалась под

угрозой в тот самый миг, как только снимались количественные ограничения, налагавшиеся на германскую армию.

А как только проблема разоружения вышла на авансцену международной политики, угроза замаячила все ближе. Требуя равенства в политическом отношении, Германия осторожно готовила подходящий политический климат, чтобы позднее настойчиво добиваться равенства в военном отношении. Франция отказывалась разоружаться, не получив дополнительных гарантий собственной безопасности; Великобритания, единственная страна, способная их предоставить, отказалась гарантировать урегулирование на Востоке и не шла далее Локарно в отношении урегулирования на Западе, тем самым подчеркивая тот факт, что Локарно является в меньшей степени обязательством, чем союзом.

Чтобы исключить, или хотя бы отдалить, наступление того дня, когда будет объявлено формальное германское равенство, Франция начала игру в разработку критериев уровней разоружения при содействии экспертов Лиги наций по вопросам разоружения. Она представила аналитический доклад в Подготовительную комиссию Лиги, где излагались данные о соотношении реальной и потенциальной мощи с учетом наличия обученных резервов и демографических тенденций, а также сравнения уже имеющегося оружия со скоростью технологических изменений. Но ни одна из прелестно сотканных теорий не могла обойти основной факт, заключавшийся в том, что при равном, даже предельно низком, уровне вооружений безопасность Франции находилась под угрозой как раз вследствие наличия у Германии более обширного мобилизационного потенциала. Чем более Франция, казалось бы, соглашалась с рекомендациями Подготовительной комиссии, тем большим становился оказываемый на нее нажим. В конце концов все предпринятые Францией маневры различного характера лишь убедили англо-саксонские страны в том, что Франция является истинным препятствием на пути разоружения, а следовательно, и обеспечения мира.

Горечь стоявшей перед Францией дилеммы заключалась в том, что после Локарно Франция была более не в состоянии следовать собственным убеждениям и вынуждена была соглашаться на урегулирование, чтобы победить собственные страхи. Французская политика все в большей степени стала обретать черты оборонительного реагирования. Символичным для подобного рода состояния умов было начало

строительства Францией «линии Мажино», когда еще не прошло и двух лет после Локарно, — то есть тогда, когда Германия все еще была разоруженной, а независимость новых государств Восточной Европы зависела от способности Франции прийти им на помощь. А в случае германской агрессии Восточная Европа могла бы быть спасена только в том случае, если Франция изберет наступательную стратегию, стержнем которой будет использование рейнской демилитаризованной зоны в роли своеобразного заложника. И все же строительство «линии Мажино» доказывало, что Франция намеревается внутри собственных границ придерживаться оборонительной тактики, тем самым развязывая руки Германии, с тем чтобы та могла диктовать свою волю на Востоке. Политическая и военная стратегия Франции окончательно разошлись.

У растерянных лидеров игра на публику нередко приводит к потере ориентации. Одержимый желанием прослыть деятелем, не сидящим сложа руки, Бриан воспользовался десятой годовщиной вступления Америки в войну и представил в Вашингтон в июне 1927 года проект договора, согласно которому оба правительства отвергли бы войну в отношениях друг с другом и согласились бы на урегулирование всех споров мирным путем. Американский государственный секретарь Фрэнк Б. Келлог даже не знал, как ответить на документ, который утверждал то, что считалось само собой разумеющимся, и отвергал то, чего никто не опасался. Однако приближение 1928 года, года выборов, добавило Келлогу ясности ума; «мир» был популярен, а проект Бриана имел то преимущество, что из него не проистекало никаких практических последствий.

В начале 1928 года государственный секретарь Келлог прервал молчание и выразил согласие с проектом договора. И даже предложил Бриану лучший вариант, порекомендовав сделать его открытым для максимального числа наций, которые бы пожелали осудить войну как средство решения международных споров. Предложение оказалось столь же неотразимым, сколь и бессмысленным. 27 августа 1928 года Парижский пакт (ставший широко известным как «пакт Бриана — Келлога»), отвергающий войну как средство ведения национальной политики, был подписан с большим шумом пятнадцатью странами. Его быстро ратифицировали практически все страны мира, включая Германию, Японию и Италию, то есть те нации, чья агрессия сотрясет последующее десятилетие.

Стоило, однако, лишь подписать этот пакт, как государственные деятели в разных странах мира призадумались. Франция уточнила первоначальное предложение, включив оговорку, легализующую войны, носящие характер самообороны, войны во исполнение обязательств, проистекающих из Устава Лиги и локарнских гарантий, а также войны, связанные со всеми союзными обязательствами Франции. Вопрос, таким образом, вернулся к исходной точке, ибо исключения вбирали в себя все практически возможные ситуации. Затем Великобритания стала настаивать на свободе действий в деле защиты империи. Американские оговорки носили самый всеобъемлющий характер: сюда вошли «доктрина Монро», право на самооборону и заявление о праве каждой нации самостоятельно определять критерии самозащиты. Заткнув все возможные прорехи, Соединенные Штаты отказались также от участия в любых акциях принуждения.

Давая свидетельские показания перед сенатским комитетом по иностранным делам, Келлог через несколько месяцев после этого выдвинул невероятнейшую теорию, будто бы Соединенные Штаты согласно пакту не несут никаких обязательств по оказанию помощи жертвам агрессии, ибо сам факт агрессии делает пакт недействительным. «Предположим, что какая-либо иная нация разорвет этот договор; с какой стати мы должны проявлять интерес к этому?» — спросил сенатор от штата Монтана Уолш. «Для этого нет ни малейшей причины», — ответил государственный секретарь[357].

Келлог свел договор к тавтологии, будто бы Парижский пакт сохраняет мир до тех пор, пока он сохраняется. Война была запрещена при всех обстоятельствах, кроме предусмотренных. Неудивительно, что Д.В.Броган высказался по поводу пакта Бриана — Келлога следующим образом: «Соединенные Штаты, покончившие при помощи восемнадцатой поправки со злом выпивки, призвали мир покончить с войной при помощи клятвенного обещания. Мир, не рискуя ни поверить в это, ни усомниться в этом, повиновался»[358].

И потому получилось так, что первоначальная идея Бриана была превращена давними союзниками Франции в средство нажима на нее же. В самом широком плане утверждалось, будто бы, поскольку война объявлена вне закона, Франция обязана ускорить собственное разоружение. Как символ наступления эры доброй воли, союзные державы прекратили оккупацию Рейнской области в 1928 году, за пять лет до

срока.

В свою очередь, Остин Чемберлен довел до всеобщего сведения, что, с точки зрения Великобритании, польская граница Германии может, а по существу, должна быть скорректирована, если только Германия проявит в этой связи цивилизованный подход:

«Если она [Германия] вступит в Лигу и сыграет там свою роль в духе дружбы и примирения, то я лично верю, что в пределах разумного количества лет она достигнет такого положения, когда ее торгово-экономическая поддержка окажется для Польши необходимой, а политическая дружба весьма желательной, так что она, не обращаясь к механизму Лиги, сможет в дружественном порядке договориться обо всем непосредственно с поляками... И если германская публика и пресса проявят сдержанность и не будут говорить слишком много о восточных границах, то решение может быть достигнуто гораздо быстрее»[359]. Штреземан весьма умело воспользовался вступлением Германии в Лигу наций, повысив, с одной стороны, свои шансы на дальнейшее сближение с Советским Союзом и, с другой стороны, усилив германское давление на Францию в целях достижения паритета в области вооружений. К примеру, Штреземан запросил и получил разрешение на неучастие Германии в миротворческих мероприятиях, предусмотренных Уставом Лиги наций (статья 16), базируясь на том, что разоруженная Германия не рискует применением к ней санкций. Затем, вполне в стиле Бисмарка, Штреземан уведомил Москву, что просьба о предоставлении подобного разрешения связана с нежеланием Германии присоединяться к каким бы то ни было антисоветским коалициям.

Намек Москвой был понят. Не прошло и года с момента подписания «пакта Локарно», как в апреле 1926 года в Берлине был подписан договор о нейтралитете между Советским Союзом и Германией. Каждая из сторон согласилась оставаться нейтральной, если на другую сторону будет произведено нападение; каждая из сторон согласилась не присоединяться ни к какому политическому объединению или экономическому бойкоту, направленному против другой стороны, — похоже, независимо от повода. На деле это означало, что эти две страны в отношениях друг с другом выводили себя из системы коллективной безопасности. А Германия уже исключила себя из системы санкций против кого бы то ни было. Берлин и Москва были едины в своем враждебном отношении к Польше, и германский канцлер Вирт так заявлял своему послу в Москве Ульриху фон Брокдорф-Ранцау: «Одно скажу вам

откровенно Польша должна быть ликвидирована... Я не заключаю никаких договоров, которые могли бы усилить Польшу»[360].

Тем не менее французские лидеры, особенно Бриан, сделали вывод, что политика «выполнения обязательств» остается для Франции единственным реалистическим вариантом. Если же оправдаются худшие опасения Франции и Германия вернется к воинственной политике, надежда со временем обрести британскую поддержку и сохранить добрую волю со стороны Америки, безусловно, могла бы рухнуть, если бы Францию можно было бы упрекнуть в срыве политики примирения. Постепенно европейский центр тяжести перемещался в Берлин. Странно, особенно в ретроспективе, выглядит то, что в этот период положение Штреземана внутри страны постоянно ухудшалось. Преобладание национализма просматривалось в отношении к «плану Юнга», который был предложен союзниками по истечении в 1929 году срока действия «плана Дауэса». По «плану Юнга» германские репарации в очередной раз урезались и устанавливалась конечная, пусть даже весьма отдаленная, дата их выплат. В 1924 году «план Дауэса» был принят при поддержке германских консерваторов; в 1929 году «план Юнга», содержащий в себе гораздо более выгодные условия, подвергся яростным атакам со стороны германских консервативных кругов, поддержанных выходящей на поверхность нацистской партией и коммунистами. Он был окончательно принят рейхстагом с перевесом всего в двадцать голосов.

В течение нескольких лет выражение «дух Локарно» знаменовало собой надежды на добрую волю бывших противников по первой мировой войне. Но в немецком языке слово «дух» означает также «носитель потустороннего зла», «злой призрак», так что к концу десятилетия стало модным в националистических кругах делать заявления по поводу «злого призрака Локарно». Столь циничное отношение к первооснове версальского международного порядка существовало еще в золотые дни германского экономического возрождения, пока депрессия не повлекла за собой необратимую радикализацию германской политики.

Штреземан умер 3 октября 1929 года. Он оказался незаменим, ибо у Германии не было другого столь же талантливому лидера, обладавшего такой же тонкостью подхода, тем более реабилитация Германии и умиротворение Европы в значительной части были обязаны верой западных держав в его личность. В течение длительного времени превалировало то мнение, что Штреземан будто бы воплощает в себе все

качества «хорошего европейца». В этом смысле он трактовался как своего рода предтеча Конрада Аденауэра, великого политика, признававшего, что на деле Францию и Германию объединяет общность судьбы, представляющая собой мост через пропасть исторического соперничества.

И все же когда записки Штреземана стали достоянием гласности, они, похоже, находились в противоречии с благостным о нем представлением. В них просматривался расчетливый практик, следовавший принципам «Realpolitik», добивавшийся осуществления германских национальных интересов с беспощадной настойчивостью. Для Штреземана эти интересы представлялись прямолинейно: вернуть Германию к состоянию до 1914 года, сбросить финансовое бремя репараций, добиться военного паритета с Францией и Великобританией, пересмотреть вопрос о восточной границе Германии и добиться объединения (аншлюсса) Австрии с Германией. Эдгар Штерн-, Рубарт, один из помощников Штреземана, описывает задачи, поставленные перед собой его шефом, следующим образом:

«Заветной мечтой Штреземана, как он однажды признался мне, было: освободить Рейнскую область, вернуть Эйпен-Мальмеди и Саар, тщательно организовать аншлюсс с Австрией и получить по мандату или иным образом африканскую колонию, где можно было бы раздобыть жизненно важное тропическое сырье и куда можно было бы направить избыточную энергию молодого поколения»[361].

Штреземан, таким образом, явно не был «хорошим европейцем» в том смысле, как это стало пониматься после второй мировой войны, правда, такого критерия тогда еще не существовало. Большинство государственных деятелей Запада разделяли точку зрения Штреземана, что версальские соглашения требуется пересмотреть, особенно касательно Востока, и что Локарно является лишь этапом этого процесса. Для Франции, конечно, было невыносимо больно иметь дело с Германией, возродившейся после той самой войны, в которую Франция вложила всю себя. И все равно это было точным отражением нового соотношения сил. Штреземан понимал, что даже в рамках Версаля Германия потенциально является самой сильной нацией Европы. Из этого умозаключения он сделал вывод в духе «Realpolitik», что у него появилась возможность восстановить Германию, по меньшей мере, на уровне 1914 года, а то и продвинуться дальше.

Однако в противоположность своим националистическим критикам — и абсолютно

вопреки нацистам — Штреземан полагался на терпение, компромисс и благословение со стороны европейского консенсуса для достижения поставленных перед собою целей. Живой ум позволял ему торговаться при помощи бумажных уступок — к примеру, по столь чувствительному и символическому вопросу; как репарации, — ради того, чтобы покончить с военной оккупацией Германии и добиться в перспективе перемен долгосрочного характера, которые обязательно вывели бы его страну на самые передовые рубежи. Но, в отличие от германских националистов, он не видел необходимости в ревизии Версаля при помощи насилия.

Возможности следовать подобной политике были для Штреземана обусловлены ресурсами и потенциалом Германии. Война не сломила германской мощи, а Версаль улучшил ее геополитические позиции. Даже гораздо более катастрофическое поражение во второй мировой войне не дало своим результатом уменьшение германского влияния в Европе. Штреземан вовсе не был предшественником нацистов, атаковавших западные ценности, — было бы точнее рассматривать нацистские эксцессы как разрыв со штреземановской постепенной и, безусловно, мирной политикой достижения для своей страны решающей роли в Европе.

Со временем тактика для Штреземана могла обратиться в стратегию, а необходимость в убежденность. В нынешние времена первоначальным мотивом сближения президента Садата с Израилем наверняка являлась его попытка подорвать свой сложившийся на Западе имидж воинственного араба и психологически поставить Израиль в положение обороняющегося. Как и Штреземан, Садат попытался построить барьер между своим противником и его друзьями. Выполнив разумные требования Израиля, он надеялся ослабить его постоянную решимость не возвращать арабские, а особенно египетские, земли. Но шло время, и Садат и на деле стал апостолом мира и сторонником ликвидации пропастей в международных отношениях, что первоначально, возможно, было всего лишь позой. Со временем стремление к миру и поиск примирения перестали для Садата быть просто инструментом политики достижения национальных интересов и стали самодовлеющими ценностями. Не шел ли Штреземан по тому же пути? С безвременной кончиной его еще на одну загадку истории стало больше.

К моменту смерти Штреземана вопрос репараций был почти решен, а германская западная граница стала постоянной. Германия оставалась реваншистской лишь в

отношении восточных границ и пересмотра условий разоружения по Версальскому договору. Попытка оказать давление на Германию посредством оккупации ее территории не увенчалась успехом, а более соответствующий веяниям времени локарнский подход на основе принципа коллективной безопасности не приглушил германского требования паритета. Государственные деятели Европы находили, теперь утешение в беззаветной преданности идее разоружения, в которой им виделась самая верная надежда на мир.

Право Германии на паритет надежно угнездилось в умах британцев. Еще во время первого срока пребывания на посту премьер-министр лейбористского правительства Рамсей Макдональд объявил разоружение задачей первостепеннейшей важности. Во время второго срока, начавшегося в 1929 году, он приостановил строительство военно-морской базы в Сингапуре и сооружение новых крейсеров и подводных лодок. В 1932 году его правительство объявило мораторий на строительство аэропланов. Главный советник Макдональда по этому вопросу Филип Ноэль-Бейкер заявил, что только разоружение может предотвратить новую войну.

Главное противоречие между паритетом для Германии и безопасностью для Франции так и осталось неразрешенным, причем скорее всего потому, что было изначально неразрешимым. В 1932 году, за год до прихода Гитлера к власти, французский премьер-министр Эдуард Эррио пророчески заявлял: «У меня нет иллюзий. Я убежден, что Германия желает вновь вооружиться... Мы находимся на поворотном пункте истории. Пока что Германия следовала политике подчинения... Теперь она начинает следовать политике самостоятельной постановки вопросов. Завтра это будет политика территориальных требований»[362]. Самым замечательным аспектом этого заявления является его пассивный, отрешенный тон. Эррио не сказал ничего о французской армии, которая оставалась сильнейшей в Европе; о Рейнской области, демилитаризованной в соответствии с Локарно; о все еще разоруженной Германии; не сказал и об ответственности Франции за безопасность Восточной Европы. Не желая воевать за свои убеждения, Франция просто ожидала решения собственной участи.

Великобритания рассматривала события на континенте с совершенно иной точки зрения. Желая умиротворить Германию, она неустанно оказывала давление на Францию, чтобы та согласилась на германский паритет в области вооружений. А

эксперты по вопросам разоружения печально известны своими способностями сочинять планы, которые формально отвечают требованиям безопасности, но не затрагивают ее сущности. Так, британские эксперты разработали предложение, дающее Германии паритет, но не разрешающее введение всеобщей воинской повинности, тем самым теоретически отдавая предпочтение Франции с ее значительными обученными резервами (словно Германия, если зайдет достаточно далеко, не найдет способа обойти это последнее, по существу, незначительное препятствие).

В тот же самый судьбоносный год перед приходом Гитлера к власти демократическое германское правительство сочло возможным уверенно покинуть конференцию по разоружению в знак протеста против, как было сказано, дискриминации со стороны Франции. Его умоляли вернуться на заседания, обещая «равенство прав в системе, обеспечивающей безопасность для всех наций»[363], — что является обтекаемой фразой, объединяющей теоретическое право на паритет с оговорками относительно «безопасности», что делало и то и другое труднодостижимым. Но общество этих тонкостей не различало. Газета «Нью-стейтсмен», орган лейбористской партии, приветствовала эту формулу как «неограниченное ничем признание принципа равенства государств». По другую сторону британского политического спектра «Тайме» с одобрением отзывалась о «своевременном отказе от неравенства»[364].

Формула «равенства в рамках системы безопасности» была, однако, противоречива по сути. Франция была уже не в силах защититься от Германии, а Великобритания продолжала отказывать Франции в военном союзе, что дало бы лишь грубое приближение к геополитическому равенству (однако, исходя из опыта войны, даже это находилось под вопросом). Даже когда Англия настаивала на определении равенства терминами сугубо формального свойства, чтобы покончить с дискриминацией Германии, она хранила молчание по поводу влияния подобного равенства на европейское равновесие. В 1932 году отчаявшийся премьер-министр Макдональд заявил французскому министру иностранных дел Поль-Бонкуру: «Французские требования всегда создают затруднения, ибо от Великобритании ожидается принятие на себя новых обязательств, а такое в настоящий момент не предвидится»[365]. Это тупиковое состояние деморализации продолжалось до тех пор, пока Гитлер в октябре

1933 года не ушел с переговоров о разоружении.

После десятилетия, когда фокусом дипломатической деятельности была Европа, вдруг — неожиданно — Япония, и именно она, продемонстрировала пустоту и бессодержательность концепции коллективной безопасности, да и деятельности Лиги в целом, начав в 30-е годы десятилетие роста насилия.

В 1931 году японские вооруженные силы оккупировали Маньчжурию, формально являвшуюся частью Китая, хотя власть китайского центрального правительства не осуществлялась здесь уже многие годы. Интервенция такого масштаба за время существования Лиги производилась впервые. Но Лига не обладала механизмом принуждения даже применительно к экономическим санкциям, предусмотренным статьей 16. Сомнения и колебания Лиги отражали фундаментальную дилемму системы коллективной безопасности: ни одна из стран не была готова вести войну против Японии (точнее, не была в состоянии сделать это без американского участия, поскольку в азиатских водах господствовал японский флот). Даже если бы существовал механизм экономических санкций, ни одна из стран не пожелала бы ограничивать торговлю с Японией в период депрессии; но также ни одна из стран не желала смириться с оккупацией Маньчжурии. Никто из членов Лиги не знал, как преодолеть эти возникшие сами собой противоречия.

Наконец была запущена машина совершенного ничегонеделания. Командировались миссии по установлению фактов — стандартный дипломатический прием, когда подается сигнал что желанным исходом является бездействие. Такого рода комиссии вначале формируются, потом они занимаются изучением предмета, потом добиваются консенсуса, и к этому времени, если повезет, предмет изучения может вовсе перестать существовать. Япония чувствовала себя до такой степени уверенно, что сама взяла на себя инициативу рекомендовать такого рода проработку вопроса. И созданная таким манером так называемая «комиссия Литтона» доложила, что Япония имела вполне обоснованные претензии и обиды, но совершила ошибку, не исчерпав первоначально все мирные средства восстановления справедливости. Но даже этот легчайший из выговоров в связи с оккупацией территории, превышающей площадь собственной страны, оказался для Японии чрезмерным, и она ответила на это уходом из Лиги наций. Это оказался первый шаг к развалу самого института.

В Европе весь этот инцидент трактовался как своего рода абберрация, характерная

для дальних континентов. Переговоры по разоружению продолжались, словно и не было маньчжурского кризиса, превращая дебаты относительно противопоставления безопасности паритету в сугубо церемониальный акт. Затем, 30 января 1933 года, в Германии пришел к власти Гитлер и продемонстрировал, что версальская система и на самом деле являлась карточным домиком.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Конец иллюзии: Гитлер и разрушение Версаля

Приход Гитлера к власти обозначил одну из величайших катастроф мировой истории. Но, с его точки зрения, карточный домик, олицетворявший версальский международный порядок, рассыпался тихо и мирно, по крайней мере, безо всякой катастрофы. То, что Германия в процессе этого станет сильнейшей нацией на континенте, было неизбежно; оргия убийств и опустошений началась по воле одной лишь демонической личности.

Гитлер приобрел известность ораторскими выступлениями. В отличие от прочих революционных лидеров, это был политический авантюрист-одиночка, за которым не стояла какая-либо заметная школа политической мысли. Его философия, выраженная в «Майн кампф», металась от банального к фантастическому и представляла собой популяризированное переложение крайних праворадикальных прописных истин. Сам по себе он никогда не смог бы поднять интеллектуальную волну, нашедшую свою кульминацию в революции, как это сделал Маркс своим «Капиталом» или философы XVIII века своими трудами.

Мастерство демагога выбросило Гитлера на поверхность и сделало руководителем Германии. Оно же оставалось неперменным инструментом на протяжении всей его

карьеру. Обладая инстинктами изгоя и безошибочным взглядом, выискивающим психологические слабости, он ставил своих противников во все более и более невыгодные ситуации, пока они, полностью деморализованные, не признавали его верховенства. В международном плане он умело и безжалостно эксплуатировал большую совесть демократических стран в связи с Версальским договором.

В качестве главы правительства Гитлер скорее полагался на инстинкт, а не на анализ. Воображая себя художником, он отвергал усидчивость и находился в движении постоянно и неутомимо. Гитлер терпеть не мог Берлин и находил утешение в своем баварском уединении, где мог проводить подряд по нескольку месяцев, хотя и там ему быстро надоедало. Поскольку он ненавидел упорядоченный режим работы и министрам бывало трудно попасть к нему, политические решения принимались в момент истерических приступов и озарений. Шло в ход все, сочетающееся с припадочно-бурным стилем деятельности; все, что требовало систематических, продолжительных усилий, тянулось до бесконечности.

Сущность демагогии заключается в умении одновременно создать смесь эмоций и недовольства. Умение пользоваться такого рода моментом и достижение гипнотического, почти что чувственного взаимодействия со своим окружением являлось специальностью Гитлера. За границей Гитлер добивался наибольшего успеха, когда мир считал, что он преследует нормальные, ограниченные цели. Все его величайшие внешнеполитические триумфы приходятся на первые пять лет правления; 1933 — 1938 годы, имеют в своей основе предположения жертв, будто целью его было привести версальскую систему в соответствие с провозглашенными ею принципами.

Но едва Гитлер перестал делать вид, будто исправляет допущенные несправедливости, вера в него исчезла. Как только он занялся завоеваниями ради завоеваний, то потерял хватку. Были отдельные интуитивные озарения, вроде плана кампании против Франции в 1940 году или отказа разрешить отступление от Москвы по всему фронту в 1941 году, что наверняка привело бы к краху всей германской армии. Однако судьбоносным для Гитлера был опыт поражения Германии в первой мировой войне. Он без конца рассказывал о том, как узнал об этом, прикованный к госпитальной койке и частично ослепший от горчичного газа. Приписывая поражение Германии предательству, еврейскому заговору и отсутствию воли, он до конца своих дней будет отстаивать тот тезис, что Германия может быть побеждена лишь

собственными силами, а не силами иноземцев. Эта линия мышления переводила поражение 1918 года в план предательства, а неспособность германских лидеров воевать до конца стала постоянной темой одержимой гитлеровской риторики и отупляющих монологов.

Странно, но Гитлеру всегда было мало уже достигнутых побед; в конце ему казалось, что он сможет реализовать свой имидж, избежав неизбежного краха одной лишь силой воли. Возможно, именно в этом психологи найдут объяснение ведению им войны безо всякой политической или стратегической разумной основы до тех пор, пока ресурсы Германии не были им бессмысленно израсходованы и Гитлер не смог окончательно и бесповоротно бросить вызов миру, сидя в бомбоубежище окруженной столицы своей почти полностью оккупированной страны.

Демагогическое мастерство и мания величия были двумя сторонами одной монеты. Гитлер был неспособен к нормальной беседе и либо погружался в длиннейшие монологи, либо уходил в напряженное молчание, когда кто-то из собеседников брал слово, — а по временам он в таких случаях даже засыпал[366]. Гитлер охотно приписывал свой на самом деле чудесный взлет из трущобного мира Вены к единоличной власти над Германией личным качествам, будто бы отсутствующим у любого из современников. Таким образом, рассказ о возвышении Гитлера и его приходе к власти стал надоевшей до умопомрачения частью «застольных бесед», зафиксированных его последователями[367].

Мания величия имела еще более катастрофические последствия: он убедил себя и, что еще важнее, свое окружение, что поскольку он, как личность, уникален, то все стоящие перед ним задачи должны быть им осуществлены еще при жизни. А поскольку, исходя из истории семьи, он рассчитал, что жизнь его будет относительно короткой, он никогда не позволял ни одному из своих успехов созреть и шел вперед согласно расписанию, составленному с учетом его физических возможностей. История не знает подобного примера большой войны, начатой на основе медицинских предпосылок.

И когда все было сказано и сделано, поразительные успехи Гитлера на ранних этапах карьеры представляли собой ускоренный сбор жатвы благодаря возможностям, созданным политикой своих презираемых им предшественников, особенно Штреземана. Как и Вестфальский мир, Версальский договор поставил могучую

страну перед лицом многочисленных малых и незащищенных государств на восточной границе. Разница, однако, заключалась в том, что если по Вестфальскому миру это было сделано преднамеренно, то в отношении Версаля верно было прямо противоположное. Версаль и Локарно вымостили дорогу для Германии в направлении Восточной Европы, где обладающее терпением германское руководство со временем достигло бы мирными средствами преобладающего положения, более того — Запад сам бы предоставил ему таковое. Но бесшабашная мегаломания Гитлера превратила то, что могло бы стать мирной эволюцией, в мировую войну.

Вначале истинная натура Гитлера была скрыта за внешней ординарностью. Ни германский, ни западноевропейский истеблишмент не верили, что Гитлер действительно хочет ниспровергнуть существующий порядок, несмотря на то, что он достаточно часто провозглашал подобные намерения. Уставшее от нападок угрожающе влиятельной нацистской партии, деморализованное экономическим кризисом и политическим хаосом, консервативное германское руководство назначило Гитлера канцлером и для страховки окружило его респектабельными консерваторами (в первом кабинете Гитлера, сформированном 30 января 1933 года, было всего три члена нацистской партии). Гитлер, однако, прошел весь долгий путь не для того, чтобы при помощи парламентских маневров оказаться в чьих-то руках. Благодаря нескольким решительным ударам (включая чистку 30 июня 1934 года, когда было уничтожено значительное число соперников и противников) он за восемнадцать месяцев с момента занятия должности стал диктатором Германии. Первоначальная реакция западных демократий на приход Гитлера к власти заключалась в ускорении выполнения собственных обязательств по разоружению. Германское правительство теперь возглавлялось канцлером, который открыто намеревался сбросить версальский порядок, перевооружиться и затем проводить политику экспансии. Даже при этих обстоятельствах западные демократии не видели нужды в особых мерах предосторожности. Как раз именно приход Гитлера к власти укрепил решимость Великобритании проводить дело разоружения до конца. Отдельные британские дипломаты даже полагали, что Гитлер представляет собой лучшую надежду на мир, чем предшествовавшие ему менее стабильные правительства. «Подпись Гитлера, как никакая другая, обяжет всю Германию»[368], — восторженно писал в министерство иностранных дел британский посол Фиппс. А Рамсей Макдональд утверждал, что

британские гарантии Франции более не нужны, поскольку, если Германия нарушит договор о разоружении, «силу мирового противостояния ей трудно будет даже представить»[369].

Францию, конечно, столь утешительные речи далеко не успокаивали. Главной ее задачей все еще оставалось обеспечение безопасности в условиях, когда Германия перевооружается, а Великобритания отказывается в гарантиях. Если бы мировое общественное мнение действительно было столь решительно настроено по отношению к нарушителям, разве Великобритания стала бы столь сдержанно относиться к выдаче гарантий? Нет, конечно, «общественное мнение в Англии этих гарантий не поддержит», — отвечал сэр Джон Саймон, министр иностранных дел, укрепляя кошмарные страхи французов, что на Великобританию нельзя положиться, ибо она не будет защищать то, чего не гарантирует[370]. Но почему же британское общество не поддержит гарантий? Потому, что оно не рассматривает подобное нападение как возможное, отвечает Стэнли Болдуин, глава консервативной партии и, по существу, фактический глава британского правительства.

«Если может быть доказано, что Германия перевооружается, то немедленно возникнет новая ситуация, перед лицом которой и окажется Европа... И если подобная ситуация возникнет, то правительство Его Величества обязано будет рассмотреть ее весьма серьезно; но пока что такая ситуация еще не возникла»[371].

Аргумент до бесконечности обтекаемый и до бесконечности противоречивый; гарантия одновременно является и чересчур рискованной, и абсолютно излишней; после достижения паритета Германия будет удовлетворена. И все равно гарантия того, на что предположительно Германия и не покушается, оказалась бы слишком чреватой, даже если осуждение мировым общественным мнением остановит нарушителя на полпути. Наконец, лично Гитлер подвел черту под этим уклончивым лицемерием. 14 октября 1933 года Германия навсегда покинула конференцию по разоружению: не потому, что Гитлер получил отпор, но потому, что опасался удовлетворения требования Германии относительно паритета, ибо тогда рушились бы его желания относительно неограниченного перевооружения. Через неделю Гитлер вышел из Лиги наций. В начале 1934 года он объявил о перевооружении Германии. Отгородившись подобным образом от всего мирового сообщества, Германия не испытывала ни малейших видимых неудобств.

Гитлер явно и недвусмысленно бросил вызов, однако демократические страны находились в состоянии неопределенности и не могли понять, что это означает на деле. Разве путем перевооружения Гитлер не воплотил на практике то, на что в принципе уже согласилось большинство членов Лиги? К чему реагировать, пока Гитлер не совершил конкретного акта агрессии? В конце концов, разве не для этого создана система коллективной безопасности? Рассуждая подобным образом, лидеры западных демократических стран уходили от трудных обязанностей по принятию тех или иных решений. Гораздо легче было дожидаться наглядных доказательств дурного поведения Гитлера, ибо в отсутствие таковых нельзя было рассчитывать на поддержку общественностью решительных мер — по крайней мере, так полагали демократические лидеры. Гитлер, однако, имел все основания скрывать свои истинные намерения до тех пор, пока западным демократическим странам принимать меры по эффективной организации сопротивления будет уже слишком поздно. В любом случае демократические государственные деятели межвоенного периода боялись войны больше, чем ослабления равновесия сил. Безопасность, утверждал Рамсей Макдональд, должна достигаться «не военными, но моральными средствами».

Гитлер ловко использовал подобные умонастроения, периодически устраивая мирные наступления, умело нацеленные на создание иллюзий у своих потенциальных жертв. Когда он ушел с переговоров по разоружению, то предложил ограничить германскую армию тремястами тысячами человек, а германскую авиацию — половиной численности французской. Это предложение уводило внимание от того очевидного факта, что Германия уже превзошла предусмотренную Версальским договором цифру в сто тысяч человек и просто делала вид, что согласна на новый потолок, который будто бы будет достигнут лишь через несколько лет, — а в тот момент и эти ограничения окажутся выброшенными за борт.

Франция отвергла это предложение, заявив, что свою безопасность будет обеспечивать сама. Вызывающий характер французского ответа не мог скрыть того факта, что французский кошмар — военный паритет с Германией (или даже хуже) — теперь уже стал превращаться в реальность. А Великобритания пришла к выводу, что разоружение теперь важно, как никогда. Кабинет заявил: «Нашей политикой предотвращения гонки вооружений все еще является поиск посредством международного сотрудничества ограничений и сокращений всемирных вооружений».

в силу наших обязательств согласно Уставу Лиги наций, как единственное средство»[372]. И кабинет действительно принял из ряда вон выходящее решение, по которому наилучшим выбором является ведение переговоров, исходя из позиции слабости. 29 ноября 1933 года, через шесть недель после того, как Гитлер распорядился, чтобы германская делегация покинула конференцию по разоружению, Болдуин обратился к кабинету:

«Если у нас нет надежды достичь какого бы то ни было ограничения вооружений, мы с полным правом можем испытывать беспокойство по поводу состояния не только одних лишь военно-воздушных сил, но также сухопутных и морских. [Британия] использует все возможные средства для продвижения плана разоружения, включающего в себя Германию»[373]. Поскольку Германия занималась перевооружением, а состояние британской обороны вызывало, по словам Болдуина, беспокойство, принятие мер по укреплению британской обороноспособности, казалось, было бы самым подходящим выводом. Но Болдуин избрал путь, совершенно противоположный. Он продолжал линию замораживания производства военных самолетов, избранную в 1932 году. Этот жест был задуман, «как доказательство искренности намерений правительства Его Величества способствовать работе конференции по разоружению»[374]. Болдуин так и не смог бы объяснить, какой стимул, раз Англия избрала курс одностороннего разоружения, подвигнул бы Гитлера продолжать переговоры по разоружению. (Гораздо более щадящим Болдуина объяснением было то, что Великобритания разрабатывала новые модели самолетов, но пока эти модели не были готовы, Болдуину просто нечего было производить, он превращал нужду в добродетель.)

Что касается Франции, то она стала искать утешения в многозначительных раздумьях. Британский посол в Париже докладывал: «Франция на деле стала придерживаться исключительно осторожной политики, она выступает против каких-либо принудительных мер, стоящих на грани с военной авантюрой»[375]. Доклад, направленный Эдуарду Даладье, тогдашнему министру обороны, показывает, что даже Франция стала склоняться к ортодоксальным взглядам Лиги. Французский военный атташе в Берлине объявлял разоружение самым эффективным способом сдерживания Гитлера, убедив себя, что на горизонте маячат более опасные фанатики, чем Гитлер:

«Представляется, что для нас нет другого пути, чем добиваться взаимопонимания, которое охватывало бы... по крайней мере на какое-то время, вопросы германского военного развития... Если Гитлер проявляет искренность, провозглашая стремление к миру, мы по достижении соглашения сможем себя поздравить; если же у него другие планы или если в один прекрасный день он обязан будет уступить место какому-нибудь фанатику, мы тогда, по крайней мере, отсрочим начало войны, что само по себе уже будет достижением»[376].

Великобритания и Франция избрали путь развертывания перевооружения Германии, поскольку в буквальном смысле слова не знали, что делать дальше. Великобритания еще не была готова отказаться и от Лиги, и от идеи коллективной безопасности, а Франция до такой степени пала духом, что не могла действовать даже на основании собственных прогнозов: сама она не рисковала выступать в одиночку, а Великобритания отказывалась от действий в форме «концерта».

Задним числом легко высмеивать нелепость оценок мотивов Гитлера его современниками. Но его амбиции, не говоря уже о криминальных наклонностях, вовсе не лежали на поверхности с самого начала. В течение первых двух лет пребывания у власти Гитлер был озабочен в основном упрочением собственного правления. И в глазах многих британских и французских лидеров агрессивный стиль внешней политики Гитлера более чем уравновешивался его оголтелым антикоммунизмом и успехами в восстановлении германской экономики.

Государственные деятели всегда сталкиваются с дилеммой: когда поле деятельности практически не имеет границ, информация минимальна, к моменту накопления достаточного количества информации поле для решительных действий сужается до предела. В 30-е годы британские лидеры сомневались, верно ли поняты истинные цели Гитлера, а французские лидеры, в силу неуверенности в себе, не могли действовать на основании оценок, справедливость которых не в состоянии были доказать. Цена познания истинной природы Гитлера обошлась в десятки миллионов могил, протянувшихся с одного конца Европы до другого. С другой стороны, если бы демократии оказали решительное сопротивление Гитлеру на ранних этапах его правления, историки спорили бы до сих пор, был ли Гитлер непонятым националистом или маньяком, помешанным на мировом господстве.

Одержимость Запада выяснением истинных мотивов Гитлера была с самого начала

заблуждением. Принцип равновесия сил не должен был оставлять сомнения в том, что обширная и сильная Германия, граничащая на востоке с мелкими и слабыми государствами, является сама по себе опасной угрозой. «Realpolitik» учит, что, независимо от мотивов Гитлера, отношения Германии со своими соседями предопределяются реальным соотношением сил. Западу надо было тратить меньше времени, устанавливая истинные мотивы Гитлера, и больше времени, организуя противовес растущей мощи Германии.

Никто не сумел лучше оценить результат колебаний западных держав выступить против Гитлера, чем Йозеф Геббельс, шеф ведомства дьявольской гитлеровской пропаганды. В апреле 1940 года, накануне нацистского вторжения в Норвегию, он заявил на секретном совещании:

«До настоящего времени нам удавалось держать врага в неведении относительно истинных целей Германии, точно так же, как до 1932 года наши внутренние враги так и не увидели, куда мы шли, а также того, что наша клятва на верность была всего лишь трюком... Они могли бы нас раздавить. Они могли бы арестовать парочку из нас в 1925 году, и тут бы настал конец. Нет, они провели нас через опасную зону. Точно так же дело обстояло и с внешней политикой... В 1933 году любой французский премьер должен был бы сказать так (а если бы я был французским премьером, я бы обязательно сказал так): „Новый канцлер рейха — это человек, который написал "Майн кампф", где говорится то-то и то-то. Присутствие этого человека поблизости от нас нетерпимо. Либо он исчезнет, либо мы выступаем!" Но они этого не сделали. Они оставили нас в покое и дали нам пройти через зону риска, а мы оказались в состоянии обогнуть все опасные рифы. А когда мы стали в полном порядке и хорошо вооружились, лучше, чем они, тут-то они и начали войну!».[377]

Лидеры демократических стран отказались взглянуть в лицо фактам и признать, что, как только Германия достигнет заданного уровня вооружений, истинные намерения Гитлера не будут иметь значения. Быстрый рост германской военной мощи должен был опрокинуть равновесие сил, если бы он не был остановлен или чем-то уравновешен.

Именно к этому сводился одинокий призыв Черчилля. Но в 30-е годы время признания пророков еще не наступило. И потому британские лидеры широчайшего политического спектра проявили редчайшее единодушие и отвергли предупреждения

Черчилля. Исходя из предположения, что не готовность к отпору, а разоружение является ключом к миру, они рассматривали Гитлера как психологическую проблему, а не как стратегическую опасность.

Когда в 1934 году Черчилль настаивал на том, что Великобритания должна откликнуться на перевооружение Германии строительством Королевских военно-воздушных сил, правительство и оппозиция были едины в гневе. Герберт Сэмюэл говорил от лица либеральной партии: «Может показаться, что мы занимаемся не разработкой здравых и обоснованных рекомендаций, а... очертя голову играем в бридж... Все эти формулировки опасны»[378]. Сэр Стаффорд Криппс выступил от имени лейбористской партии с нескрываемым сарказмом:

«Его можно представить себе в облике старого средневекового барона, смеющегося над идеей разоружения всех баронств его страны и подчеркивающего, будто бы единственный путь сохранения им и его феодальными последователями своей безопасности и своих коров — это накопление как можно более обширных арсеналов»[379].

Консервативный премьер-министр Болдуин сделал отчуждение Черчилля полным, когда сообщил палате общин, что «не оставил надежды как на ограничение вооружений, так и на запрет на некоторые виды оружия». Согласно Болдуину, точные сведения о германской военно-воздушной мощи оказалось получить «очень трудно», хотя он так и не пояснил, в чем тут дело[380]. Тем не менее он был уверен в том, что «речь вовсе не идет о быстром достижении Германией равенства с нами»[381]. Болдуин не видел «оснований в данный момент для тревоги и еще менее для паники». Относясь к цифрам Черчилля, как к «преувеличению», он подчеркнул, что «отсутствует непосредственная угроза применительно к нам или к кому бы то ни было еще в Европе в данный момент — так что истинная срочность не имеет места»[382].

Франция пыталась найти убежище в накоплении неохотно заключаемых союзов, превращая односторонние гарантии Польше, Чехословакии и Румынии, выданные в 20-е годы, в договоры о военной взаимопомощи. Это означало, что данные страны обязаны будут прийти на помощь Франции, даже если Германия пожелает свести счеты с Францией еще до того, как повернется на Восток.

Это был пустой по существу, патетический жест. Союзы как французские гарантии

молодым слабым государствам Восточной Европы были достаточно логичны. Но они не годились для того, чтобы заставить Германию вести войну на два фронта. Союзники Франции были слишком слабы, чтобы обуздать Германию на востоке; наступательные операции, облегчающие положение Франции, исключались. Не понимая всей бессмысленности данного мероприятия, Польша решила уравновесить свои обязательства перед Францией пактом о ненападении с Германией, так что в случае нападения на Францию формальные обязательства Польши взаимно исключали друг друга, или, точнее, позволяли Польше беспрепятственно присоединиться к той стороне, от которой в момент кризиса можно было бы ожидать наибольшей выгоды.

Новое франко-советское соглашение 1935 года продемонстрировало весь диапазон французской политической и психологической деморализации. До первой мировой войны Франция охотно шла на политический альянс с Россией и добилась того, что политическое взаимопонимание превратилось в военный пакт. В 1935 году положение Франции в стратегическом смысле было намного слабее, а нужда в советской военной поддержке стала совершенно отчаянной. Тем не менее Франция нехотя заключила союз политического характера с Советским Союзом и решительно отвергла переговоры представителей военных штабов. Даже в 1937 году она не допускала советских наблюдателей на свои ежегодные маневры.

Существовали три причины для столь отстраненного поведения французских лидеров, лишь увеличивавшего врожденное недоверие Сталина к западным демократиям. Во-первых, они опасались, как бы сближение с Советским Союзом не ослабило необходимые для Франции связи с Великобританией. Во-вторых, восточноевропейские союзники Франции, находившиеся между Советским Союзом и Германией, не были готовы допустить советские войска на свою территорию, делая затруднительными переговоры между французским и советским штабами. Наконец, еще в 1938 году французские руководители были до такой степени напуганы Германией, что опасались, будто штабные переговоры с Советским Союзом, по словам тогдашнего премьер-министра Шотана, «вызовут объявление войны Германией»[383].

Франция, таким образом, пришла к заключению военного союза со странами, слишком слабыми, чтобы ей помочь, и установила политический альянс с Советским

Союзом, с которым не осмеливалась сотрудничать в военном отношении.

Стратегически же она находилась в зависимости от Великобритании, которая четко и ясно отказывалась от каких бы то ни было обязательств военного характера. Такого рода договоренности могли повлечь за собой одно лишь нервное расстройство, а не являться признаком наличия великих стратегических замыслов.

Единственным серьезным ходом, сделанным Францией в ответ на рост германской мощи, было обращение к Италии. Муссолини вовсе не был приверженцем принципа коллективной безопасности, но четко осознавал пределы возможностей Италии, особенно в отношении Германии. Он боялся, что германская аннексия Австрии повлечет за собой требование возврата Южного Тироля, немецкого с этнической точки зрения. В январе 1935 года тогдашний министр иностранных дел Пьер Лаваль заключил договор, по сути своей ближе всего подходивший к понятию военного союза. Давая согласие на консультации друг с другом в случае какой бы то ни было угрозы независимости Австрии, Италия и Франция выступили с инициативой военнo-штабных переговоров, на протяжении которых они зашли до такой степени далеко, что обсуждали размещение итальянских войск вдоль Рейна, а французских — вдоль австрийской границы.

Через три месяца после этого Гитлер восстановил всеобщую воинскую повинность, и тут замаячила возможность заключения некоего подобия военного союза между Великобританией, Францией и Италией. Главы их правительств встретились на итальянском курорте Отреза, где договорились об оказании сопротивления любым германским попыткам изменить положения Версальского договора при помощи силы. Как своего рода исторический анекдот выглядело то, что организатором конференции в защиту версальского урегулирования выступил именно Муссолини, уже давно выступавший с критикой Версаля, якобы обделившего Италию.

Отреза была последней попыткой победителей в первой мировой войне предпринять совместные действия. Через два месяца после конференции Великобритания подписала морское соглашение с Германией, которое показало, что в вопросах собственной безопасности Великобритания предпочитает полагаться на двухсторонние договоренности с оппонентом, а не на партнеров по договоренности в Отрезе. Германия согласилась на лимит численности флота в размере 35% от британского на последующие десять лет, правда получив право на равенство по

подводным лодкам.

Не так важны были сами условия морского договора, как показательное состояние умов в демократических странах. Британский кабинет, вне всякого сомнения, отдавал себе отчет в том, что данное военно-морское соглашение, по сути дела, представляет собой молчаливое подтверждение отказа Германии соблюдать военно-морские ограничения Версальского договора и потому, как минимум, противоположно духу «фронта Отрезы». Практический смысл его заключался в том, что на двухсторонней основе устанавливался новый потолок. Потолок, к тому же базирующийся на предельных судостроительных возможностях Германии: этот метод контроля над вооружениями станет все более и более популярен во времена «холодной войны». Подписание этого военно-морского соглашения также означало, что Великобритания предпочитает примирение с противником опоре на партнеров по «фронту Отрезы» — так складывалась психологическая первооснова того, что потом станет известно как «политика умиротворения».

Вскоре после этого «фронт Отрезы» развалился окончательно. Будучи приверженцем «Realpolitik», Муссолини считал само собой разумеющимся, что теперь у него развязаны руки для колониальной экспансии, естественной в период перед первой мировой войной. Соответственно он занялся выкраиванием для себя африканской империи, завоевав в 1935 году Абиссинию, последнюю независимую страну Африки, и тем самым отомстив за испытанное Италией унижение, когда на рубеже века она потерпела поражение от абиссинских войск.

Но если агрессия Муссолини и сошла бы с рук в период перед первой мировой войной, то теперь она имела место в мире, обладающем системой коллективной безопасности и Лигой наций. Общественное мнение, особенно в Великобритании, уже всячески осуждало Лигу за «неспособность» предотвратить японское завоевание Маньчжурии, и потому по ходу дела был введен механизм экономических санкций. К тому моменту, как Италия вторглась в 1935 году в Абиссинию, у Лиги уже имелось законное средство против подобной агрессии. Более того, Абиссиния была членом Лиги наций, хотя и в результате довольно курьезного стечения обстоятельств. В 1925 году Абиссиния была рекомендована в члены Лиги не кем иным, как Италией, которая хотела этим предотвратить осуществление предполагаемых планов Великобритании. Та с неохотой вынуждена была согласиться, хотя и утверждала, что Абиссиния

является слишком варварской страной, чтобы стать полноправным членом международного сообщества.

Теперь каждая из этих стран была поражена своим же собственным снарядом: Италия — тем, что по любым стандартам являлось неспровоцированной агрессией против члена Лиги; Великобритания — тем, что налицо был вызов системе коллективной безопасности, а не очередная колониальная проблема. Ситуация осложнялась еще и потому, что в Отрезе Великобритания и Франция уже согласились, что Абиссиния находится в сфере интересов Италии. Лаваль позднее скажет, что он имел в виду для Италии роль, схожую с ролью Франции в Марокко, — то есть косвенного контроля. Но от Муссолини нечего было ожидать понимания того, что Франция и Великобритания, сделав подобную уступку, рискнут пожертвовать почти что альянсом против Германии из-за различия между аннексией Абиссинии и косвенным контролем над ней.

Франция и Великобритания так и не осознали, что перед ними встали два взаимоисключающих варианта поведения. Коль скоро они пришли к выводу, что Италия является существенно важным фактором защиты Австрии, а косвенно обеспечивает содействие в сохранении рейнской демилитаризованной зоны, гарантированной ею в Локарно, они должны были бы найти какой-то компромисс, чтобы спасти лицо Италии в Африке и сохранить в целостности и сохранности «фронт Отрезы». Если Лига действительно была наилучшим инструментом сдерживания Германии и мобилизации западного общества против агрессии, то в качестве альтернативы первому варианту было бы необходимо добиться применения санкций и продемонстрировать этим, что агрессия не приносит никаких выгод. Середины не было.

А демократические страны, потеряв уверенность в себе, не способные определить для себя, что же им на самом деле нужно, искали именно промежуточного варианта поведения. По настоянию Великобритании была пушена в ход система экономических санкций Лиги. В то же время Лаваль в частном порядке заверил Муссолини, что доступ Италии к нефти не будет прекращен. Великобритания преследовала, в сущности, ту же самую цель, когда вежливо зондировала почву в Риме, не приведут ли нефтяные санкции к войне. Когда Муссолини — вполне предсказуемо и лживо — отвечал утвердительно, британский кабинет получал алиби, которое ему требовалось,

чтобы сочетать поддержку Лиги с призывом к самым широким слоям общественности предотвратить войну. Выражением этой политики явился лозунг: «Все санкции, за исключением войны».

Позднее премьер-министр Стэнли Болдуин как-то сказал весьма задумчиво, что если бы санкции сработали, они бы обязательно привели к войне. Такова цена мнения, будто бы экономические санкции являются альтернативой применению силы в деле отражения агрессии. — аргумент, который пятьдесят лет спустя возродится к жизни в Соединенных Штатах в связи с тем, как поступить по поводу аннексии Ираком Кувейта, хотя и с более счастливым исходом.

Министр иностранных дел Сэмюэль Хор понял, что Великобритания пустила под откос собственную стратегию. Чтобы противостоять растущей германской угрозе, лидерам Великобритании следовало бы вступить в конфронтацию с Гитлером и умиротворить Муссолини. Они же сделали прямо противоположное: занялись умиротворением Гитлера и вступили в конфронтацию с Италией. Осознав абсурдность подобной ситуации, Хор и Лаваль разработали компромисс в декабре 1935 года: Италия получит плодородные равнины Абиссинии; Хайле Селассие будет продолжать править в обширных горных районах, являвшихся исторической территорией его королевства; Великобритания поможет осуществлению этого компромисса на практике, дав замкнутой на суше Абиссинии выход к морю через Британское Сомали. Ожидалось, что Муссолини целиком и полностью примет этот план, а Хор представит его на утверждение Лиги.

План Хора — Лавалья свелся к нулю, поскольку просочился в прессу еще до представления в Лигу наций, — событие исключительно редкое в те времена. Прозвучавшие в результате этого крики возмущения заставили Хора подать в отставку — он стал жертвой поиска практического компромисса перед лицом возбужденного общественного мнения. Его преемник Антони Иден быстро вернулся в кокон коллективной безопасности и экономических санкций — не желая, однако, прибегать к силе.

Точно так же, как это случалось и во время последующих кризисов, демократические страны, чтобы оправдать собственное нежелание прибегнуть к силе, значительно переоценивали военные возможности противника. Лондон убедил себя, что не справится с итальянским флотом без французской помощи. Франция нехотя

пошла навстречу и перевела свой флот в Средиземное море, еще более запутывая отношения с Италией, будучи одним из гарантов Локарно и партнером по Стрезе. И, даже накопив столь мощные силы, Лондон и Париж так и не рискнули пойти на нефтяные санкции. А обычные санкции сработали недостаточно быстро, чтобы предотвратить падение Абиссинии, — если они вообще способны были сработать.

Завоевание Италией Абиссинии было завершено в мае 1936 года, когда Муссолини провозгласил короля Италии Виктора-Эммануила императором Абиссинии, только что переименованной в Эфиопию. Менее чем через два месяца, 30 июня, Совет Лиги наций собрался, чтобы рассмотреть свершившийся факт. Звучавшее в пустоте личное обращение Хайле Селассие было, по существу, похоронным звоном по системе коллективной безопасности:

«Вопрос касается не просто урегулирования в связи с итальянской агрессией. Вопрос касается системы коллективной безопасности и имеет отношение к самому существованию Лиги, к доверию государств к международным договорам, к цене обещаний малым государствам относительно сохранения их целостности и независимости — ко всему тому, что следует обеспечивать и уважать. Речь идет о выборе между принципом равноправия государств и навязыванием малым государствам уз вассальных отношений»[384].

15 июля Лига сняла все санкции, наложенные на Италию. Через два года, на волне Мюнхена, Великобритания и Франция пренебрегут возражениями морального характера и подчинят их страху перед Германией, признав захват Абиссинии. Система коллективной безопасности приговорила Хайле Селассие к потере всей территории своей страны, а если бы воплотился в жизнь составленный на основе принципов «реальной политики» план Хора — Лавалья, то у него осталась бы хотя бы ее половина.

В плане военной мощи Италия даже отдаленно не напоминала Великобританию, Францию или Германию. Но пустота, существовавшая вследствие неучастия Советского Союза в Лиге наций, сделала Италию полезным придатком в деле сохранения независимости Австрии и, в определенной степени, поддержания демилитаризации Рейнской области. Пока Великобритания и Франция оказывались на поверку сильнейшими нациями Европы, Муссолини поддерживал версальское урегулирование, особенно поскольку испытывал глубочайшее недоверие к Германии и

поначалу с презрением относился к личности Гитлера. Обида, связанная с Эфиопией, в сочетании с анализом истинного соотношения сил убедила Муссолини в том, что продолжение пребывания в составе «фронта Стрезы» может кончиться тем, что на Италию обрушится вся тяжесть германской агрессии. Эфиопия, таким образом, обозначила начало неизбежного сближения Италии с Германией, в равной степени мотивированного экспансией и страхом.

Однако именно в Германии поражение Эфиопии воспринималось с особым интересом. Британский посол в Берлине докладывал: «Итальянская победа открыла новую главу. В стране, где обожествляют силу, престиж Англии обязательно должен был упасть»[385]. Когда Италия вышла из «фронта Стрезы», единственным препятствием на пути Германии в Австрию и Центральную Европу оставалась открытая дверь рейнской демилитаризованной зоны. И Гитлер, не теряя времени, ее захлопнул.

Воскресным утром 7 марта 1936 года Гитлер приказал своей армии войти в рейнскую демилитаризованную зону, что означало уничтожение последнего из оставшихся предохранительных клапанов версальского урегулирования. Согласно Версальскому договору, германские вооруженные силы не имели права находиться в Рейнской области и в зоне на протяжении 50 км к востоку от нее. Германия подтвердила это условие в Локарно; Лига наций признала Локарно, а Великобритания, Франция, Бельгия и Италия его гарантировали.

Если бы Гитлер укрепился в Рейнской области, Восточная Европа оказалась бы брошена на милость Германии. Ибо ни одно из новых государств Восточной Европы не имело ни единого шанса устоять против реваншистской Германии — ни собственными усилиями, ни совместными усилиями друг друга. Единственной их надеждой была Франция, которая могла бы предотвратить германскую агрессию при помощи угрозы вступления в Рейнскую область.

И опять западные демократии мучились в неопределенности относительно намерений Гитлера. Технически он просто вновь вводил войска на германскую территорию. И одновременно предлагал всевозможные гарантии, включая пакт о ненападении с Францией. И вновь звучало утверждение, будто бы Германия будет полностью удовлетворена, как только получит право защищать собственные национальные границы, считающееся для любого европейского государства само

собой разумеющимся. Неужели британские и французские лидеры обладали моральным правом рисковать жизнью своих народов ради поддержания столь откровенно дискриминационных установлений? А с другой стороны, разве не было их моральным долгом выступить против Гитлера, пока Германия еще полностью не вооружилась, и тем самым, возможно, спасти несказанное количество жизней?

История уже дала свой ответ; но современники испытывали болезненные сомнения. Ибо в 1936 году Гитлер все еще продолжал извлекать выгоду из уникальной комбинации психопатологической интуиции и демонической силы воли.

Демократические страны все еще полагали, что имеют дело с нормальным, хотя и хватающим через край, национальным лидером, который хочет восстановить для своей страны равноправное положение в Европе. Великобритания и Франция пытались сосредоточенно прочесть, что у Гитлера на уме. Был ли искренним? Действительно ли хотел мира? Конечно, вопросы были вполне резонны, но внешняя политика, пренебрегающая реальным соотношением сил и полагающаяся на догадки относительно чужих намерений, строится на зыбучем песке.

Обладая невероятной способностью эксплуатировать слабости противников, Гитлер совершенно точно выбрал момент для введения германских войск в Рейнскую область. Лига наций, потерпевшая провал в деле наложения санкций на Италию, не испытывала особого желания пойти на конфронтацию с еще одной могучей державой. Война в Абиссинии провела черту между западными державами и Италией, одним из гарантов Локарно. Великобритания, еще один гарант, только что воздержавшийся от введения санкций на морские перевозки нефти в Италию, обладая господством на море, еще в меньшей степени захотела бы рисковать, вступив в войну на суше за дело, не связанное с нарушением ее национальных границ.

И хотя ни одна из стран не делала столь высоких ставок на демилитаризацию Рейнской области, как Франция, ее поведение в отношении сопротивления нарушению со стороны Германии было наиболее двусмысленным. Наличие «линии Мажино» выдавало приверженность Франции идее стратегической обороны, а военное оснащение и методика подготовки французской армии не оставляли сомнений в том, что первая мировая война погасила ее традиционный наступательный дух. Франция, казалось, смирилась с мыслью ожидать решения собственной судьбы, сидя за «линией Мажино», и не идти на риск за пределами собственных границ — ни

в Восточной Европе, ни, как в данном случае, в Рейнской области.

Тем не менее введение войск в Рейнскую область было со стороны Гитлера азартной игрой. Всеобщая воинская повинность действовала еще меньше года. Германская армия была далека от готовности к войне. И небольшой авангард, вступавший в демилитаризованную зону, получил приказ отступать с боями при первых признаках французского вторжения. Гитлер, однако, компенсировал военную слабость гигантской психологической решимостью. Он завалил демократические страны предложениями, намекавшими на его готовность обсудить вопросы ограничения численности войск в Рейнской области и возвращения Германии в Лигу наций. Гитлер играл на широко распространенном недоверии к Советскому Союзу и заявлял, что его шаг обусловлен подписанием Франко-советского пакта в 1935 году. Он предложил установить пятидесятикилометровую демилитаризованную зону по обе стороны от германской границы и заключить сроком на двадцать пять лет договор о ненападении. Предложение о демилитаризации создавало то двойное удобство, что, с одной стороны, создавало иллюзию, будто прочный мир находится на кончике пера, а с другой стороны, аккуратно подводило к необходимости демонтажа «линии Мажино», вплотную примыкавшей к германской границе.

Партнерам Гитлера по переговорам не требовалось особого приглашения для того, чтобы избрать пассивный образ действий. Удобное алиби то тут, то там оправдывало их тактику ничегонеделания. Со времен Локарно кардинальным принципом французской политики было никогда не идти на риск войны с Германией в отсутствие союза с Великобританией, хотя британская помощь технически была не нужна, пока Германия оставалась разоруженной. Упрямо и прямолинейно добиваясь этого союза, французские руководители глотали на этом пути бесконечное число обид и поддерживали массу инициатив в области разоружения, которые, как они сами в душе понимали, были по существу мертворожденными.

Всеподавляющая психологическая зависимость от Великобритании способна объяснить тот факт, почему Франция не предпринимала никаких военных приготовлений, несмотря даже на то, что французский посол в Берлине Андре Франсуа Понсе предупреждал 21 ноября 1935 года, что введение Германией войск в Рейнскую область произойдет обязательно, — это было сделано за добрых три с половиной месяца до фактически свершившегося события[386]. И все же Франция,

чтобы ее не обвинили в провоцировании того самого, чего она больше всего боялась, не рискнула ни произвести мобилизацию, ни предпринять превентивные меры военного характера. Она даже не решалась поднимать этот вопрос на переговорах с Германией, ибо не знала, как поступить, если та проигнорирует ее предупреждения или открыто заявит о намерениях.

Но совершенно необъяснимым в поведении Франции в 1935 году остается то, что французский Генеральный штаб вообще не принял никаких мер в рамках внутреннего планирования даже после предупреждения Франсуа Понсе. Неужели французский Генеральный штаб не верил собственным дипломатам? Неужели это произошло потому, что Франция не могла заставить себя выйти из-под защиты фортификационных сооружений даже в целях обороны жизненно важной буферной зоны, которую и представляла собой демилитаризованная Рейнская область? А может быть, Франция до такой степени ощущала себя обреченной, что ее основной целью стала отсрочка войны в надежде, что какие-либо непредвиденные перемены изменят ситуацию в ее пользу, хотя она сама уже не была способна обеспечить подобные перемены собственными действиями?

Наипоказательнейшим символом подобного состояния умов была, конечно, сама «линия Мажино», в которую Франция вложила огромные средства, сооружая ее в течение десяти лет. Тем самым Франция обрекла себя на стратегическую оборону в тот самый год, когда она гарантировала независимость Польши и Чехословакии. Знаком такого же умопомрачения было переходящее за все рамки здравого смысла решение оборвать строительство «линии Мажино» у бельгийской границы, что полностью противоречило опыту первой мировой войны. Ибо если все же считалась возможной франко-германская война, то почему же отвергать возможность германского наступления через Бельгию? А если Франция боялась того, что Бельгия падет духом, когда узнает, что главная линия французской обороны обходит эту страну, то Бельгии мог быть предоставлен выбор: либо согласиться с тем, что «линия Мажино» будет продолжена вдоль бельгийско-германской границы, либо, если в этом будет отказано, «линия Мажино» могла быть продлена до моря по линии франко-бельгийской границы. Франция не сделала ни того, ни другого.

Когда политические лидеры что-то решают, разведывательные службы стремятся отыскать оправдание этим решениям. Массовая литература и фильмы часто рисуют

противоположное: как разработчики политического курса выступают в роли беспомощных орудий в руках специалистов-разведчиков. В реальном мире оценка разведок чаще всего следуют за политическими решениями, а не их направляют. Возможно, это объясняет дикие преувеличения германской мощи, разрушившие военные расчеты Франции. В момент введения германских войск в Рейнскую область французский главнокомандующий, генерал Морис Гамелен, заявил гражданским руководителям, что обученные резервы Германии уже равняются французским и что Германия обладает большим количеством боевой техники, чем Франция, — оценка, абсурдная для второго года перевооружения Германии. И расцветшие пышным цветом политические рекомендации исходили как раз из этого ошибочного предположения относительно германской военной мощи. Гамелен сделал вывод, что Франция не должна предпринимать никаких военных контрмер, не проведя всеобщей мобилизации, — а пойти на такой шаг политические лидеры не рискнули бы, не заручившись поддержкой Великобритании, — и это тогда, когда общая численность вошедших в Рейнскую демилитаризованную зону германских войск не превышала двадцати тысяч, а постоянная французская армия насчитывала без всякой мобилизации пятьсот тысяч.

Все теперь возвращалось к той же дилемме, которая сводила с ума демократические страны в течение двадцати лет. Великобритания признавала одну-единственную угрозу европейскому равновесию сил — нарушение границ Франции.

Преисполненная решимости никогда не воевать в Восточной Европе, она не видела для себя никаких жизненно важных интересов в Рейнской области, пусть даже игравшей на Западе роль заложника. Не пошла бы Великобритания на войну и как гарант Локарно. Иден заявил об этом четко и ясно за месяц до оккупации Рейнской области. В феврале 1936 года французское правительство наконец-то собралось с силами и запросило Великобританию, какова будет ее позиция, если Гитлер осуществит то, о чем докладывал Франсуа-Понсе. Толкование Иденом потенциального нарушения сразу двух международных соглашений: версальского и локарнского — звучало, как начало коммерческого торга:

«...Поскольку эта зона была в первую очередь создана для обеспечения безопасности Франции и Бельгии, именно эти два правительства должны с самого начала решить для себя, какую ценность для них имеет ее сохранение и какую цену

они готовы за это платить... Было бы предпочтительнее для Великобритании и Франции вступить, пока есть время, в переговоры с германским правительством для определения условий передачи наших прав в этой зоне, пока такая передача все еще имеет переговорную ценность»[387].

По существу, Иден встал на ту точку зрения, что наилучшее, на что следовало бы надеяться, — это переговоры, в процессе которых союзники в обмен на установленные и общепризнанные права (которые Великобритания не удосужилась почтить собственной гарантией) получают — что именно? Время? Иные гарантии? Великобритания возложила выбор *quid pro quo* на Францию, но собственным поведением показала, что воевать во исполнение торжественного обязательства по поводу рейнской демилитаризованной зоны не является частью британской стратегии.

И когда Гитлер промаршировал в Рейнскую область, отношение Великобритании проявилось еще более четко и определенно. На следующий день после германского шага британский военный министр заявил германскому послу:

«...Хотя британский народ готов воевать за Францию в случае германского вторжения на французскую территорию, он не прибегнет к оружию в связи с недавней оккупацией Рейнской области. ...Большинство [британского народа] по-видимому, придерживается той точки зрения, что им „наплевать“ на введение германских войск на германскую же территорию»[388].

Сомнения Великобритании вскоре распространились даже на контрмеры невоенного характера. Министерство иностранных дел заявило американскому поверенному в делах: «Англия предпримет все шаги, чтобы предотвратить введение военных или экономических санкций против Германии»[389].

Министр иностранных дел Франции Пьер Фланден тщетно пытался объяснить, в чем тут дело. Он пророчески заявил англичанам, что, как только Германия укрепит Рейнскую область, Чехословакия будет потеряна, а вскоре после этого неизбежно разразится мировая война. И хотя Фланден оказался прав, так и не было ясно, то ли он искал британской поддержки французским военным действиям, то ли искал оправданий для Франции на случай бездействия. Черчилль явно думал последнее, сухо заметив: «Храбрые слова; но действия звучат громче»[390].

Великобритания осталась глуха к мольбам Фландена. Огромное большинство ее лидеров все еще верило в то, что мир зависит от разоружения и что новый

международный порядок будет основываться на примирении с Германией. Англичане полагали, что важнее исправить ошибки Версаля, чем следовать на практике обязательствам, принятым в Локарно. В протоколах заседания кабинета от 17 марта — через десять дней после предпринятого Гитлером шага — говорится, что «наше собственное отношение базируется на желании использовать предложения герра Гитлера, чтобы добиться перманентного урегулирования»[391].

То, что кабинет вынужден был говорить «сотто воче», оппозиция могла произносить свободно и без оговорок. В ходе дебатов по вопросам обороны в тот же месяц в палате общин депутатом от лейбористской партии Артуром Гринвудом было заявлено:

«Герр Гитлер сделал заявление, замахнувшись одной рукой, но протягивая оливковую ветвь другой, что и следует принять так, как оно есть. Возможно, это окажется самым важным из всех сделанных жестов... Пустословием было бы оценивать эти заявления как неискренние... Речь идет о мире, а не об обороне»[392].

Иными словами, оппозиция открыто призывала к ревизии Версаля и отказу от Локарно. Она хотела, чтобы Великобритания сидела и ждала, когда станут яснее намерения Гитлера. Политика эта была разумной в той степени, в какой проводники ее понимали, что с каждым годом возрастает очевидная цена сопротивления, если эта политика потерпит неудачу.

Нет нужды следить шаг за шагом, как Франция и Великобритания пытались превратить стратегический шлак в политическое золото, а именно, крах преобразовать в возможность проведения политики умиротворения. Важно то, что в результате этого процесса в Рейнской области были сооружены укрепления. Восточная Европа оказалась вне пределов военной досягаемости Франции, а Италия все приближалась к тому, чтобы стать первым союзником гитлеровской Германии. И если Франция согласилась на Локарно из-за двусмысленной британской гарантии, ценность которой в глазах самих британцев была гораздо ниже ценности альянса, то ликвидация Локарно вызвала на свет еще более двусмысленное британское обязательство направить две дивизии на защиту Франции в случае нарушения французской границы.

И опять Великобритания умело обошла необходимость принятия на себя обязательств по защите Франции в полном объеме. Но что это конкретно дало? Франция, конечно, видела всю уклончивость поведения Великобритании, но восприняла это, как пусть даже половинчатый шаг в сторону заключения

долгожданного формального союза. Великобритания же истолковывала предоставление двух дивизий как средство сдерживания Франции от оборонительных действий в Восточной Европе. Ибо британское обязательство теряло силу, если французская армия вступит в Германию в целях защиты Чехословакии или Польши. С другой стороны, две британские дивизии не имели даже отдаленного отношения к решению проблемы отражения германского нападения на Францию. Великобритания, прародительница политики «равновесия сил», как бы «позабыла» ее основополагающие принципы — во всяком случае, не собиралась ими руководствоваться в своих действиях.

Гитлеру же введение войск в Рейнскую область открывало дорогу в Центральную Европу как в военном, так и в психологическом отношении. Стоило демократическим странам смириться с этим, как со свершившимся фактом, исчезала стратегическая основа сопротивления Гитлеру в Восточной Европе. «Если 7 марта вы не смогли защитить самих себя, — заявил своему французскому коллеге румынский министр иностранных дел Николае Титулеску, — как же вы защитите нас против агрессора?»[393] Вопрос, по мере того как проводилось укрепление Рейнской зоны, все более и более повисал в воздухе.

Психологически воздействие пассивности демократических стран оказалось еще более глубоким. Умиротворение теперь стало официальной политикой, а исправление несправедливостей Версаля — расхожей истиной. На Западе исправлять больше было нечего. Но здравый смысл подсказывал, что если Франция и Великобритания не стали защищать Локарно, по поводу чего они давали гарантию, то нет ни малейшего шанса на поддержку ими версальского урегулирования в Восточной Европе, которое Великобритания ставила под сомнение с самого начала и недвусмысленно отказалась гарантировать превеликое множество раз — последний по счету отказ вылился в обязательство направить во Францию две дивизии.

К этому времени Франция порвала даже с традициями Ришелье. Она более не полагалась на самое себя, но искала спасения от опасностей посредством германской доброй воли. В августе 1936 года, через пять месяцев после введения войск в Рейнскую зону, министр экономики Германии д-р Ялмар Шахт был принят в Париже Леоном Блюмом — премьер-министром правительства Народного Фронта, куда входили коммунисты и один еврей. «Я марксист и еврей, — заявлял Блюм, — однако...

мы не сможем ничего добиться, если будем считать идеологические баррикады непреодолимыми»[394]. Министр иностранных дел в правительстве Блюма Ивон Дельбос не нашел других слов, чтобы передать, что это означает на практике, кроме как «надо уступать Германии, подкармливая ее в мирное время, чтобы избежать войны»[395]. Не объяснил он и того, настанет ли этому конец. Франция, страна, в течение двухсот лет ведшая бесконечные войны в Центральной Европе, с тем чтобы самой быть хозяином своей судьбы, теперь дошла до того, что хваталась за любую возможность обеспечения собственной безопасности, торгуя уступками ради выигрыша времени и надеясь при этом, что либо по ходу дела германские аппетиты будут удовлетворены, либо появится очередной «*deus ex machina*» и устранил опасность.

Политику умиротворения, которую Франция проводила нехотя, Великобритания осуществляла рьяно. В 1937 году, через год после ремилитаризации Рейнской зоны, британский министр иностранных дел лорд Галифакс стал символом морального отступления демократии, посетив гитлеровское «орлиное гнездо» в Берхтесгадене. Он восхвалял нацистскую Германию как «бастион Европы против большевизма» и перечислил ряд вопросов, по которым «возможно наметить предполагаемые изменения, осуществимые со временем». Конкретно были упомянуты Данциг, Австрия и Чехословакия. Единственная оговорка Галифакса относилась к методам достижения этих перемен: «Англия заинтересована в том, что все эти изменения пройдут курсом мирной эволюции и будет исключено применение таких методов, которые смогли бы вызвать далеко идущие последствия»[396].

Менее решительный лидер, чем Гитлер, задумался бы над тем, отчего Великобритания, проявляя готовность согласиться с корректировкой в отношении Австрии, Чехословакии и «польского коридора», останавливается перед методом, при помощи которого Германия намеревается совершить эту корректировку. Согласившись по сути, зачем Великобритания проводит грань в вопросах процедуры? Неужели Галифакс думал, что найдется умиротворяющая аргументация, способная убедить жертву в достоинствах самоубийства? Прописные истины Лиги и доктрина коллективной безопасности наводили на мысль о том, что сопротивляться следует лишь методу перемен; история, однако, учит, что нации прибегают к войне, чтобы оказать сопротивление самому факту перемен.

Ко времени посещения Галифаксом Гитлера стратегическое положение Франции ухудшилось еще более. В июле 1936 года военный заговор под руководством генерала Франсиско Франко стал началом гражданской войны в Испании. Франко открыто снабжался значительными количествами военной техники, отгружаемой из Германии и Италии; вскоре были направлены немецкие и итальянские «добровольцы», фашизм, казалось, чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы распространять свои идеи силой. Перед Францией встала та же проблема, с которой пытался справиться Ришелье триста лет назад: возможность появления враждебных правительств по всем ее границам. Но, в отличие от своего великого предшественника, французские правительства 30-х годов колебались, будучи неспособны решить, чего им бояться больше: самих опасностей или средств для их преодоления.

Великобритания: участвовала в войнах за «испанское наследство» еще в начале XVIII века, а против Наполеона в Испании — по прошествии столетия. В каждом из этих случаев Великобритания противодействовала попыткам наиболее агрессивной европейской державы втянуть Испанию в свою орбиту. Теперь она либо не видела в победе фашизма в Испании угрозы равновесию сил, либо воспринимала фашистскую угрозу в Испании как меньшее зло по сравнению с вовлечением леворадикальной Испании в одну связку с Советским Союзом (что для многих казалось наиболее вероятной альтернативой). Но превыше всего Великобритании хотелось избежать войны. Кабинет предупредил Францию, что Великобритания оставляет за собой право сохранять нейтралитет, если в результате французских поставок оружия республиканской Испании возникнет война — пусть даже, согласно международному праву, Франция на вполне законных основаниях могла продавать оружие законному же испанскому правительству. Франция заколебалась, а затем провозгласила эмбарго на поставки оружия, правда, периодически мирясь с его нарушением. Эта политика, однако, лишь деморализовала друзей Франции и лишила ее уважения со стороны противников.

В этой ситуации французские и британские руководители встретились в Лондоне 29 — 30 ноября 1937 года, чтобы выработать единый курс. Невилл Чемберлен, сменивший Болдуина на посту премьер-министра, сразу перешел к делу. Он предложил обсудить обязательства Франции, вытекающие из союза с Чехословакией. Такого рода мероприятия дипломаты устраивают тогда, когда ищут лазейки, чтобы

уйти от выполнения собственных договорных обещаний. Похоже, независимость Австрии вообще не стоила того, чтобы о ней велся разговор.

Французский министр иностранных дел Дельбос ответил так, что всем стало ясно: до него дошла суть поставленного вопроса. Рассмотрение проблемы Чехословакии под юридическим, а не политическим или стратегическим углом зрения приводило к сугубо юридической трактовке французских обязательств:

«...Этот договор накладывает обязательства на Францию в том случае, если Чехословакия станет жертвой агрессии. Если же возникнет восстание среди немецкого населения и оно будет поддержано вооруженной интервенцией Германии, то договор обязывает Францию лишь в той степени, какая будет определена в зависимости от тяжести фактов»[397].

Дельбос не обсуждал геополитической важности Чехословакии или того, насколько подорвется вера во Францию, оставившую в беде своего союзника, у других стран Восточной Европы, независимость которых Париж обещал обеспечить. Вместо этого Дельбос подчеркивал, что французские обязательства могут быть как применимы, так и неприменимы к единственно реально существующей угрозе — беспорядкам среди германского меньшинства в Чехословакии, поддержанным германскими вооруженными силами. Чемберлен ухватился за предоставленную ему возможность и превратил ее в рациональное обоснование умиротворения:

«Представляется желательным попытаться достигнуть какого-либо соглашения с Германией по Центральной Европе, каковы бы ни были цели Германии, даже если она захочет включить в свой состав кого-либо из соседей; можно будет на деле надеяться на отсрочку осуществления германских планов и даже на сдерживание рейха на такое время, в течение которого планы эти станут в долгосрочной перспективе непрактичными»[398].

Но если проволочки не сработают, что останется делать Великобритании? Согласившись на то, что Германия имеет право пересмотреть свои восточные границы, пойдет ли Великобритания на войну из-за графика такого пересмотра? Ответ напрашивался сам собой: страны не прибегают к войне из-за скорости перемен, на которые уже заведомо дано согласие. Чехословакия была обречена не в Мюнхене, а в Лондоне, годом ранее.

Случилось так, что Гитлер примерно в это же время занялся набросками

собственного долгосрочного стратегического плана. По этому поводу были собраны почти все высшие военачальники Германии, и перед ними 5 ноября 1937 года Гитлер откровенно раскрыл свои стратегические воззрения. Его адъютант Хоссбах вел детальный протокол. Никто из присутствовавших на этом совещании не имел повода жаловаться позднее, будто бы не знал, в каком направлении поведет его руководитель страны. Ибо Гитлер заявил четко и ясно, что цели его не ограничиваются восстановлением предвоенного положения Германии. Гитлер подчеркнул то, что уже было им обрисовано в программе, содержащейся в «Майн кампф», — завоевание значительных территорий Восточной Европы и Советского Союза для последующей колонизации. Гитлер прекрасно знал, что осуществление подобного проекта натолкнется на сопротивление: «Германская политика вынуждена [будет] считаться с наличием Двух ненавистных антагонистов: Англии и Франции»[399]. Он подчеркнул, что Германии Удалось тихой сапой обогнать Великобританию и Францию в области вооружений, но это преимущество преходяще и к 1943 году начнет исчезать с повышенной скоростью. Следовательно, война должна быть начата до этого срока.

Генералы Гитлера были обеспокоены обширностью этих планов и срочностью их осуществления. Но они покорно проглотили требования Гитлера. Кое-кто из военных Руководителей носился с идеей заговора, как только Гитлер отдаст приказ о фактическом вступлении в войну. Но Гитлер всегда двигался чересчур быстро. Его потрясающие успехи на ранних этапах лишали генералов морального оправдания (в собственных глазах) подобного шага — да и заговоры против конституционной власти никогда не были специальностью германских генералов.

Что касается западных демократических стран, то они так и не уразумели, какая идеологическая пропасть отделяет их от германского диктатора. Они верили в мир, как в конечную цель, и напрягали каждый свой нерв, лишь бы избежать войны. Гитлер, с другой стороны, боялся мира и жаждал войны. «Человечество стало сильным в вечной борьбе, — писал он в „Майн кампф“, — и погибнет оно только от вечного мира»[400].

К 1938 году Гитлер почувствовал себя достаточно сильным, чтобы пересечь национальные границы, установленные Версалем. Первой целью стала его родина Австрия, которая очутилась в ненормальном положении вследствие Сен-Жерменского (1919) и Трианонского (1920) договоров (эквивалентов Версаля для Австро-

Венгерской империи). До 1806 года Австрия была центром Священной Римской империи; до 1866 года была ведущим — для некоторых единственным ведущим — германским государством. Лишенная своей исторической роли в Германии Бисмарком, она перенесла тяжесть внешнеполитических устремлений на Балканы и в свои центральноевропейские владения, пока не растеряла их все во время первой мировой войны. Бывшая империя сжалась до немецкоговорящей сердцевины. А Версальским договором Австрии запрещалось присоединяться к Германии — причем это положение находилось в вопиющем противоречии с принципом самоопределения. И даже хотя аншлюсе с Германией оставался целью многих политиков по обе стороны австро-германской границы (включая Штресемана), он был вновь заблокирован странами Антанты в 1930 году.

Таким образом, союз Германии и Австрии нес в себе печать двусмысленности, столь важной для ранних успехов Гитлера. Он отвечал принципу самоопределения, но в то же время подрывал равновесие сил, на которое государственные деятели ссылались все меньше и меньше, когда хотели оправдать применение силы. После месяца нацистских угроз и австрийских уступок, а потом новых раздумий, 12 марта 1938 года германские войска вошли в Австрию. Сопrotивления не было, а австрийское население, радовавшееся до безумия, казалось, ощущало, что, лишившись империи и оставшись в одиночестве в Центральной Европе, ему лучше избрать для себя будущее германской провинции, а не второстепенного актера на европейской сцене.

Демократические страны вполсилы протестовали против аннексии Австрии Германией и едва-едва выражали моральную озабоченность, уходя в сторону от каких-либо конкретных мер. И поскольку по системе коллективной безопасности уже прозвонил погребальный колокол, Лига наций хранила молчание в то время, как государство — член Лиги было проглочено могучим соседом. Демократии теперь стали вдвойне приверженцами умиротворения, ибо надеялись, что Гитлер остановит свой марш, когда вернет всех этнических немцев в Фатерланд.

Судьба избрала Чехословакию в качестве предмета эксперимента. Как и прочие государства — преемники Австро-Венгрии, оно было почти столь же многонациональным, как и сама прежняя империя. Из 15 млн. населения почти треть не принадлежала ни к чехам, ни к словакам, а словацкая приверженность к единому государству была весьма шаткой. В состав нового государства входили 3,5 млн.

немцев, почти 1 млн. венгров и около 0,5 млн. поляков. Положение усугублялось еще и тем, что эти меньшинства жили на территориях, прилегающих к их этническим отечествам, что делало их требования о присоединении к соответствующим странам еще более весомыми в свете превалирующего версальского принципа самоопределения.

В то же время Чехословакия политически и экономически была наиболее передовой из всех государств-преемников. Она была подлинно демократической страной, а ее уровень жизни был сопоставим со швейцарским. Она обладала крупной армией, и большая часть ее превосходной военной техники была сконструирована и изготовлена у себя, в Чехии; она была связана военными союзами с Францией и Советским Союзом. С точки зрения традиционной дипломатии, было бы поэтому нелегко оставить Чехословакию без помощи; в рамках же принципа самоопределения было бы в равной степени затруднительно ее защищать. Воодушевленный успехом ремилитаризации Рейнской области, Гитлер начал в 1937 году угрожать Чехословакии от имени этнических немцев. Поначалу эти угрозы имели целью заставить чехов предоставить особые права немецкому меньшинству в «Судетенланде», как германская пропаганда окрестила эту территорию. Но в 1938 году Гитлер стал буквально выходить из себя, риторически заявляя, что намеревается присоединить Судетскую область к Германскому рейху при помощи силы. Франция приняла на себя обязательства защищать Чехословакию, как и Советский Союз, хотя советская помощь чехам была обусловлена предварительным оказанием помощи со стороны Франции. Более того, остается весьма сомнительным, пропустили бы Польша или Румыния советские войска, следующие на защиту Чехословакии, через свою территорию.

С самого начала Великобритания избрала путь умиротворения. 22 марта, вскоре после аннексии Австрии, Галифакс напомнил французским руководителям, что гарантия Локарно распространяется только на французскую границу и может потерять силу, если Франция воплотит в жизнь договорные обязательства, связанные с Центральной Европой. Меморандум министерства иностранных дел предупреждал: «Эти обязательства [гарантия Локарно] являются, по нашему мнению, немалым вкладом в дело поддержания мира в Европе, и, хотя мы не имеем намерений их отозвать, мы также не видим, каким образом их можно дополнить»[401].

Едиственная граница безопасности Великобритании проходит по границам Франции; если же заботы о безопасности Франции простираются дальше, а конкретно, если она собирается защищать Чехословакию, это ее личное дело.

По прошествии нескольких месяцев британский кабинет направил в Прагу миссию под руководством лорда Ренсимена для выявления возможных путей мирного решения сложившейся ситуации. Практическим последствием этой миссии стало то, что Великобритания как бы открыто объявила о своем нежелании защищать Чехословакию. Факты были уже общеизвестны; любое мало-мальски значимое умиротворение потребовало бы определенного расчленения Чехословакии. Поэтому Мюнхен был не капитуляцией, а состоянием умов и почти неизбежным следствием усилий демократических стран поддержать геополитически ущербное урегулирование риторикой относительно коллективной безопасности и права на самоопределение.

Даже Америка, страна, которой в основном и обязана Чехословакия своим созданием, отъединилась от кризиса на самой ранней его стадии. В сентябре президент Рузвельт предложил провести переговоры на какой-либо нейтральной территории[402]. И все же, если американские посольства слали из-за границы точные доклады, у Рузвельта не должно было быть иллюзий, с каким настроением прибудет Франция, а особенно Великобритания, на подобную конференцию. Рузвельт даже усугубил подобные настроения, заявив, что «правительство Соединенных Штатов... не свяжет себя никакими обязательствами относительно проведения данных переговоров»[403].

Ситуация словно была скроена по мерке для того, чтобы во всю силу мог развернуться талант Гитлера в ведении психологической войны. В течение всего лета он нагнетал истерию по поводу неизбежности войны, не произнося, по существу, никаких конкретных угроз. Наконец, после того, как Гитлер позволил себе злобные личные выпады против чешского руководства на ежегодном съезде нацистской партии в Нюрнберге в сентябре 1938 года, нервы у Чемберлена сдали. Хотя не было предъявлено никаких формальных требований и не имело места никакого реального обмена дипломатическими документами, Чемберлен решил покончить с напряженностью 15 сентября, посетив Гитлера. Гитлер выказал свое раздражение, избрав местом встречи Берхтесгаден, — место, наиболее удаленное от Лондона и наименее доступное. В те времена путешествие из Лондона в Берхтесгаден означало

пятичасовой полет на самолете, который для Чемберлена в возрасте шестидесяти девяти лет оказался первым.

Выслушав в течение нескольких часов причитания Гитлера относительно якобы дурного обращения с судетскими немцами, Чемберлен согласился на расчленение Чехословакии. Все чехословацкие области, где немецкое население составляло более пятидесяти процентов, передавались Германии. Детали предполагалось разработать на второй встрече через несколько дней в Бад-Годесберге, в Рейнской области. Для переговорного стиля Гитлера являлось симптоматичным назвать новое место переговоров «уступкой»; правда, оно было гораздо ближе к Лондону, чем первое, но все-таки находилось в глубине территории Германии. В промежутке между встречами Чемберлен «убедил» чехословацкое правительство принять это предложение — «с прискорбием», как говорили чешские лидеры[404].

В Бад-Годесберге 22 сентября Гитлер снова завелся и дал ясно понять, что он преследует цель максимально унизить Чехословакию. Он не соглашался на длительную процедуру плебисцитов по областям и демаркации границы, требуя немедленной эвакуации судетской территории, причем этот процесс должен был начаться 26 сентября, то есть через четыре дня, и продолжаться сорок восемь часов. Чешские военные сооружения должны были остаться нетронутыми для нужд германских вооруженных сил. Чтобы ослабить государство-обрубок еще сильнее, Гитлер потребовал корректировки границ с Венгрией и Польшей от имени соответствующих меньшинств. Когда Чемберлен возразил, говоря, что ему, по существу, предъявляют ультиматум, Гитлер с фальшивой улыбкой указал на слово «Меморандум», стоящее в заглавии документа. После нескольких часов едких споров Гитлер сделал еще одну «уступку»: он давал Чехословакии срок для ответа до двух часов дня 28 сентября, а начало эвакуации с судетской территории отсрочил до 1 октября.

Чемберлен не мог себе позволить допустить подобного унижения Чехословакии, а французский премьер-министр Даладье проводил грань еще решительнее. В течение нескольких дней война казалась неизбежной. В британских парках рыли траншеи. Именно в это время Чемберлен меланхолично заметил, что Великобританию позвали вступить в войну за далекую страну, о которой она ничего не знает, — и это были слова руководителя страны, которая в течение столетий сражалась на подступах

к Индии, не моргнув глазом.

Но каков же «казус белли»? Великобритания уже признала принцип расчленения Чехословакии и самоопределения для судетских немцев. Великобритания и Франция приближались к решению вступить в войну не ради поддержки союзника, но из-за разницы в несколько недель — когда именно от него будут отрезать куски, и в связи с территориальными изменениями, ничтожными по сравнению с теми, на которые уже было дано согласие. Возможно, помог Муссолини, сняв всех с крючка и предложив, чтобы совещание министров иностранных дел Италии и Германии, уже запланированное заранее, было расширено и включило в себя глав правительств Франции (Даладье), Великобритании (Чемберлен), Германии (Гитлер) и Италии (Муссолини).

Четверо руководителей встретились 29 сентября в Мюнхене, на родине нацистской партии, что представляло собой особый символ для победителей. На переговоры ушло немного времени: Чемберлен и Даладье попытались нехотя вернуться к первоначальному предложению; Муссолини достал лист бумаги, содержащий бад-годесбергское предложение Гитлера; Гитлер определил круг вопросов в форме саркастического ультиматума. Поскольку превращение 1 октября в крайнюю дату давало повод обвинить его в том, что переговоры шли в атмосфере насилия, он заявил, что поставленная задача заключается в том, чтобы «исключить действия подобного характера»[405]. Иными словами, единственной целью конференции было принятие бад-годесбергской программы Гитлера мирным путем до того момента, как он прибегнет к войне, чтобы ее навязать.

Поведение Чемберлена и Даладье в продолжение предшествующих месяцев оставляло им единственный выбор: принять проект Муссолини. Чешские представители томились в приемных, пока их страну делили на части. Советский Союз вообще не был приглашен. Великобритания и Франция тешили свою больную совесть, предложив гарантии тому, что осталось от разоруженной Чехословакии, — нелепый жест, исходящий от наций, которые отказались с уважением отнестись к гарантии, выданной целостной, хорошо вооруженной братской демократической стране. Само собой разумеется, эти гарантии так и не были реализованы.

Мюнхен вошел в наш словарь, как отклонение особого рода — как наказание за уступку шантажу. Мюнхен, однако, был не единичным актом, а кульминацией

подхода, начавшегося в 20-е годы и усиливавшегося с каждой новой уступкой. В продолжение более чем десятилетия Германия раз за разом сбрасывала с себя ограничения Версаля: Веймарская республика освободила Германию от репараций, от Союзной военной контрольной комиссии и от союзной оккупации Рейнской области. Гитлер отверг ограничения на вооружения, запрет на введение в Германии всеобщей воинской повинности, отверг он и условия Локарно, касающиеся демилитаризации. Даже в 20-е годы Германия ни разу не признала восточные границы, а страны Антанты так и не настояли на их признании. В конце концов, как это часто бывает, решения, накладываясь одно на другое, стали сами по себе предопределять ход событий.

Соглашаясь с тем, что версальское урегулирование таило в себе элементы неравенства, победители подрывали психологическую основу для защиты этих элементов. Победители в наполеоновских войнах заключили великодушный мир, но они также организовали Четырехсторонний альянс, с тем чтобы устранить какие бы то ни было сомнения в решимости этот мир защищать. Победители в первой мировой войне заключили карательный мир, а после того как сами же создали максимум побудительных мотивов для его пересмотра, осуществляли сотрудничество в демонтаже своего собственного творения.

В течение двух десятилетий само понятие равновесия сил то отвергалось, то высмеивалось; лидеры демократических стран говорили своим народам, что отныне мировой порядок будет основываться на принципах высокой морали. А когда наконец новому мировому порядку был брошен вызов, демократии — Великобритания искренне и убежденно, Франция с сомнением, смешанным с отчаянием, — испили до дна чашу умиротворения, демонстрируя своим народам, что Гитлера на самом деле умиротворить нельзя.

Отсюда ясно, почему Мюнхенское соглашение большинством современников было встречено с бурной радостью. Среди поздравивших Чемберлена был и Франклин Рузвельт. «Хороший человек!» — сказал он[406]. Руководители стран Британского содружества были еще более красноречивы. Премьер-министр Канады писал:

«Осмелюсь передать горячие поздравления канадского народа и вместе с ними выражение его искренней благодарности, которое ощущается по всему доминиону из конца в конец. Мои коллеги и правительство разделяют со мной безграничное

восхищение услугой, оказанной вами человечеству»[407].

Не желая, чтобы его кто-либо переплюнул, австралийский премьер-министр писал: «Мои коллеги вместе со мной желают выразить самые горячие поздравления в связи с исходом переговоров в Мюнхене. Австралийцы вместе со всеми народами Британской империи чувствуют себя в неоплатном долгу перед вами и выражают благодарность по поводу ваших непрестанных усилий в деле сохранения мира»[408].

Странно, но свидетели того, как протекала Мюнхенская конференция, единодушно заявляют, что Гитлер не только не вел себя, как триумфатор, но, напротив, был угрюм и хмур. Он жаждал войны, которую рассматривал как необходимую для реализации собственных амбиций. Возможно, он нуждался в ней и по причинам психологического характера; почти все его публичные высказывания, которые он рассматривал как наиболее важный аспект своей общественной жизни, тем или иным способом увязывались с собственным военным опытом. Несмотря на то, что гитлеровские генералы резко отрицательно относились к войне, причем до такой степени, что даже были готовы запланировать свержение руководителя Германии, если он примет окончательное решение о нападении, Гитлер покинул Мюнхен с ощущением, будто его провели. И, согласно логике свойственного ему извращенного мышления, возможно, был абсолютно прав. Ибо если бы ему удалось устроить войну из-за Чехословакии, сомнительно, чтобы демократические страны охотно пошли на жертвы, необходимые для того, чтобы эту войну выиграть. Повод был бы слишком несовместим с принципом самоопределения, а общественное мнение не было в достаточной степени готово для восприятия вполне вероятных поражений на начальных стадиях войны. Парадоксально, но Мюнхен стал для линейной стратегии Гитлера психологическим тупиком. До этого он всегда мог апеллировать к чувству вины, имевшемуся у демократических стран в связи с несправедливостями Версаля; потом его единственным оружием стала грубая сила, и существовал предел, далее которого даже те, кто больше всего боялся войны, не могли уступить шантажу и воздерживаться от оказания сопротивления.

В особенности это относилось к Великобритании. Своим поведением в Бад-Годесберге и Мюнхене Гитлер исчерпал последние резервы британской доброй воли. Несмотря на глупое заявление по прибытии в Лондон о том, что он будто бы привез «мир на все времена», Чемберлен был преисполнен решимости никогда более не

поддаваться шантажу и запустил в действие внушительную программу перевооружения.

На самом деле поведение Чемберлена во время мюнхенского кризиса было гораздо более сложным, чем это представляется потомкам. Безумно популярный после Мюнхена, он стал затем всегда ассоциироваться с капитуляцией. Демократическое общество никогда не прощает катастрофических поражений, даже если они происходят вследствие исполнения сиюминутных желаний этого общества. Репутация Чемберлена рухнула, как только стало ясно, что он не обеспечил «мира на все времена». Гитлер вскоре нашел другой предлог для войны, а к тому времени Чемберлену уже было отказано в признательности даже за то, что он стоял у истоков процесса, благодаря которому Великобритания сумела, как единое целое, выстоять в бурю, обладая возрожденными военно-воздушными силами.

Задним числом легче легкого с пренебрежением отзываться о часто наивных заявлениях умиротворителей. И все же большинство из этих людей были люди приличные, искренне пытавшиеся воплотить на деле порожденные вильсоновским идеализмом новые положения, возникшие на фоне всеобщего разочарования традиционной европейской дипломатией, близкой к духовному и физическому истощению. Никогда ранее британский премьер-министр не оправдывал заключенного соглашения такими словами, какими Чемберлен высказывался о Мюнхене, который бы «устранил подозрения и вражду, долгое время отравлявшие воздух»[409], — можно подумать, что внешняя политика является одним из ответвлений психологии. И все же подобные воззрения явились следствием идеалистической попытки перешагнуть через наследие «Realpolitik» и европейской истории посредством апелляции к разуму и справедливости.

Гитлеру не потребовалось длительного срока, чтобы расшатать иллюзии умиротворителей, ускорив тем самым свое неизбежное падение. В марте 1939 года, менее чем через шесть месяцев после Мюнхена, Гитлер оккупировал обрубок, оставшийся от Чехословакии. Чешская ее часть стала германским протекторатом; Словакия превратилась в формально независимое государство, само собой, ставшее немецким сателлитом. Хотя Великобритания и Франция предложили Чехословакии гарантии в Мюнхене, это обещание так и не было — да и не могло быть — официально оформлено.

Разрушение Чехословакии не имело ни малейшего геополитического смысла; оно показывало, что Гитлер вышел за рамки рациональных расчетов и настроился на войну. Лишенная оборонительных рубежей и не имеющая возможности воспользоваться оборонительными союзами с Францией и Советским Союзом, Чехословакия не имела возможности остаться вне германской сферы влияния, а Восточная Европа наверняка обязана была приспособиться к новым силовым реальностям. Советский Союз только что произвел чистку всего своего политического и военного руководства и на какое-то время перестал быть фактором внешнего порядка. Гитлеру оставалось только ждать, поскольку в обстановке фактической нейтрализации Франции Германия обязательно должна была стать господствующей державой в Восточной Европе. Но конечно, выжидание являлось как раз тем, к чему Гитлер эмоционально менее всего был готов.

Британская и французская попытка (инсценированная Лондоном) не отступить далее ни на шаг в равной степени не имела смысла в рамках традиционной силовой политики. Захват Праги не менял ни соотношения сил, ни предсказуемого течения событий, но в рамках принципов Версаля оккупация Чехословакии представляла собой водораздел, поскольку продемонстрировала, что Гитлер стремился к господству в Европе, а не отстаивал принципы самоопределения и равноправия.

Ошибкой Гитлера являлось не столько нарушение исторических принципов равновесия, сколько оскорбительное отношение к моральным предпосылкам британской послевоенной внешней политики. Грубейшим его нарушением было включение в рейх негерманского населения — тем самым Гитлер пограл принцип самоопределения, на базе которого имело место терпимое отношение ко всем предыдущим его выходкам. Терпение Великобритании вовсе не являлось неистощимым; не являлось оно и следствием слабости национального характера; так что Гитлер наконец совершил поступок, подпадающий с точки зрения британского общественного мнения под понятие «агрессия», даже если до этого еще в тот момент не дошло британское правительство. Поколебавшись несколько дней, Чемберлен ввел свою политику в русло британского общественного мнения. Начиная с этого момента, Великобритания стала оказывать сопротивление Гитлеру не ради следования историческим теориям «равновесия сил», а просто-напросто потому, что Гитлеру больше доверять было нельзя.

По иронии судьбы вильсонианский подход к международным отношениям, облегчивший выход Гитлера за рамки того, что любая из предыдущих европейских систем сочла бы приемлемым, на определенном этапе заставил Великобританию подвести черту более решительно и четко, чем если бы это было сделано в мире, где господствовали бы принципы «Realpolitik». Если вильсонианство помешало оказать сопротивление Гитлеру на раннем этапе, оно одновременно заложило основы неумолимого ему противостояния, как только он недвусмысленно нарушил соответствующие моральные критерии.

Когда Гитлер в 1939 году заявил о своих претензиях на Данциг и потребовал изменения «польского коридора», суть дела не слишком отличалась от постановки вопроса год назад. Данциг был чисто немецким городом, а его статус «вольного города» имел такое же отношение к принципу самоопределения, как и присоединение территории Судет к Чехословакии. И хотя население «польского коридора» было более смешанным, кое-какая корректировка границ, более отвечающая принципу самоопределения, была бы вполне возможна, по крайней мере, теоретически. Но за пределами понимания Гитлера осталось то, что стоило ему перейти черту морально допустимого, как то же самое неукоснительное следование моральным принципам, которое прежде делало западные демократии более уступчивыми, превратило их в абсолютно непреклонных оппонентов. После того как Германия оккупировала Чехословакию, британское общественное мнение более не желало терпеть никаких уступок; с этого момента начало второй мировой войны стало лишь вопросом времени - тем более, что вести себя спокойно для Гитлера оказалось психологически невозможным.

Но прежде чем наступило это судьбоносное событие, международная система получила еще один удар - на этот раз со стороны другой реваншистской державы, существование которой игнорировалось на всем протяжении бурных 30-х годов: от сталинского Советского Союза.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Сталинский базар

Если бы внешняя политика предопределялась одной лишь идеологией, то Гитлер и Сталин никогда не шли бы рука об руку, точно так же, как триста лет назад не шли бы рука об руку Ришелье и турецкий султан. Но общность, геополитических интересов является могучей связующей силой, и она неумолимо сводила друг с другом давних врагов — Сталина и Гитлера.

Когда это случилось, демократические страны не могли поверить в реальность происшедшего; испытанное ими потрясение доказывало, однако, что они в равной степени не понимали ни ментальности Сталина, ни ментальности Гитлера. Оба в начале карьеры находились на задворках общества. Но Сталину потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь абсолютной власти. Полагаясь на блеск своей демагогии, Гитлер готов был все поставить на кон, бросая кости один-единственный раз. Сталин вел долгий глубинный подкоп под своих соперников внутри коммунистической бюрократии, которая не воспринимала зловещую фигуру из Грузии в качестве серьезного соперника— и добился своего. Гитлер преуспел, подавив своих приближенных дьявольски-победной одноплановостью мышления. Сталин обрел власть именно тем, что умел до поры оставаться в тени. ,

Гитлер даже богемные привычки и неспособность к усидчивой работе умудрился обратить себе на пользу: ошеломляя собственное правительство мгновенными озарениями и дилетантским всезнайством, он добивался нужного ему решения. Сталин слил воедино усердную методичность в работе, с молодых ногтей усвоенную еще в духовной семинарии, с неумолимым следованием жесткому большевистскому взгляду на мир и превратил идеологию в орудие политического контроля. Гитлер витал в облаках и купался в фимиаме обожания масс. Сталин был слишком параноидальной личностью, чтобы полагаться на столь интимный подход к политике. Он стремился к конечной и окончательной победе гораздо больше, чем к сиюминутным восторгам по собственному поводу, и предпочитал идти к ней,

уничтожая поодиночке всех потенциальных соперников.

Гитлер жаждал претворения — и притом немедленного — в жизнь своих личных амбиций; делая заявления, он выступал исключительно от собственного имени. Сталин страдал подобной же мегаломанией, но рассматривал себя как носителя исторической истины. В отличие от Гитлера он обладал невероятным терпением. Как ни один из лидеров демократических стран, Сталин был готов в любую минуту заняться скрупулезным изучением соотношения сил. И именно в силу своей убежденности, что он — носитель исторической правды, отражением которой служит его идеология, он твердо и решительно отстаивал советские национальные интересы, не отягощая себя бременем лицемерной, как он считал, морали или личными привязанностями.

Истинный монстр, в вопросах проведения внешней политики Сталин, однако, был в высшей степени реалистом: терпеливым, проницательным и непреклонным — Ришелье своего времени. Сами того не осознавая, западные демократии испытывали судьбу, полагаясь на непримиримость идеологического конфликта между Сталиным и Гитлером. Они рисковали, поддразнивая Сталина пактом с Францией, не предусматривавшим военного сотрудничества, отстраняя Советский Союз от участия в Мюнхенской конференции, а затем в весьма двусмысленной форме вступая с советским лидером в военные переговоры уже тогда, когда заключение им пакта с Гитлером становится необратимым делом. Лидеры демократических стран не могли уразуметь, что за тяжеловесными, несколько теологическими по построению речами Сталина кроется целенаправленная жестокость мысли и действия. И все же эта жестокость — следствие незыблемой верности коммунистической идеологии — не мешала ему проявлять, где необходимо, исключительную тактическую гибкость.

Не говоря уже об этих психологических загадках, философский характер Сталина делал его почти совершенно непонятым для западных лидеров. Будучи старым большевиком, он прошел через тюрьмы, ссылки и нужду. И терпел их в течение десятилетий ради своих убеждений, прежде чем пришел к власти. Гордясь своей якобы исключительной проницательностью в понимании исторической динамики, большевики отводили себе роль ближайших помощников этой самой истории в реализации ее объективных закономерностей. С их точки зрения, разница между ними и некоммунистами была такой же, как между учеными и широкой публикой.

Анализируя физические явления, ученый сам их не создает; но он понимает причину их возникновения, их объективную природу, и это позволяет ему время от времени управлять процессом. В том же духе большевики воспринимали себя как ученых-историков — они помогали ходу истории, даже несколько его ускоряя, но никогда не меняя его неумолимой направленности.

Коммунистические лидеры представляли себя людьми, лишенными колебаний, неумолимо следующими по пути исполнения исторической задачи, причем их нельзя было переубедить обычными аргументами, особенно аргументами от инаковерующих. Коммунисты полагали, что они наделены особым даром в сфере дипломатии и потому понимают своих собеседников лучше, чем те понимают сами себя. Для коммуниста возможна единственная уступка — в пользу «объективной реальности», а не в ответ на убедительные аргументы дипломатов, с которыми ведутся переговоры.

Дипломатия, таким образом, являлась частью процесса, при помощи которого можно было перевернуть существующий порядок; а будет ли он перевернут при помощи дипломатии мирного сосуществования или посредством военного конфликта, зависело от расчета соотношения сил.

В сталинском мире бесчеловечных и холодных расчетов бытовала аксиома: нет оправдания безнадежным битвам за сомнительные цели. С философской точки зрения, идеологический конфликт с нацистской Германией был частью всеобщего конфликта с капитализмом, а значит, с точки зрения Сталина, не следовало доверять также Франции и Великобритании. На какую конкретно страну в итоге падет бремя советской враждебности, кого считать на данный момент наибольшей угрозой, — зависело исключительно от Москвы.

В моральном смысле Сталин не делал различий между отдельными капиталистическими государствами. Его истинное мнение по поводу стран, проповедующих добродетели всеобщего мира, недвусмысленно высказано после подписания в 1928 году пакта Бриана — Келлога:

«Они болтают о пацифизме; они говорят о мире между европейскими государствами. Бриан и [Остин] Чемберлен обнимаются друг с другом... Все это чепуха. Из истории Европы мы знаем, что как только подписывались договоры, предусматривавшие новую расстановку сил для новых войн, их называли договорами о мире...»[410]

Конечно, самым кошмарным видением Сталина была коалиция из всех капиталистических стран, нападающих на Советский Союз одновременно. В 1927 году Сталин говорит о советской стратегии почти в тех же выражениях, как Ленин десятилетие назад: «...Очень многое... зависит от того, удастся ли нам оттянуть войну с капиталистическим миром... до того момента... пока капиталисты не передерутся между собой...»[411] Чтобы обеспечить себе подобную перспективу, Советский Союз заключил Рапалльское соглашение с Германией в 1922 году и Берлинский договор о нейтралитете в 1926 году, возобновленный в 1931 году и содержащий четкое условие относительно неучастия в капиталистических войнах.

Что касается лично Сталина, то для него площадной антикоммунизм Гитлера не служил непреодолимым препятствием к наличию добрых отношений с Германией. Как только Гитлер пришел к власти, Сталин, не теряя времени, стал делать примирительные жесты. «Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии, — заявил Сталин на XVII съезде партии в январе 1934 года. — Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной... Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР, и только на СССР. И если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, не заинтересованными в нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний».[412]

Сталин, великий идеолог, на самом деле ставил свою идеологию на службу «Realpolitik». Ришелье или Бисмарк без труда бы поняли его стратегию. Идеологически зашорены были лишь государственные деятели демократических стран; отвергнув силовую политику, они полагали, что предпосылкой добрых отношений между нациями является всеобщая вера в принципы коллективной безопасности и что идеологическая враждебность исключает какую бы то ни было практическую возможность сотрудничества между фашистами и коммунистами.

Демократические страны были в обоих случаях неправы. Сталин своим чередом переместится в антигитлеровский лагерь, но весьма неохотно и лишь после того, как его заигрывания с нацистской Германией получают отпор. Убедившись наконец, что вся гитлеровская антибольшевистская риторика может оказаться вполне серьезной, Сталин решил заняться созданием максимально широкой коалиции противостояния и сдерживания. Эта новая стратегия впервые дала себя знать на VII (и последнем)

конгрессе Коммунистического Интернационала в июле — августе 1935 года[413]. Призывая к созданию единого фронта всех миролюбивых народов, конгресс ознаменовал отказ от коммунистической тактики 20-х годов, когда в попытке парализовать европейские парламентские институты коммунистические партии систематически голосовали заодно с антидемократическими группировками, включая фашистов.

Главным носителем новой советской внешней политики стал Максим Литвинов, для того и назначенный министром иностранных дел. Изысканно-светский, свободно говорящий по-английски, он происходил из еврейской буржуазной семьи: женат он был на дочери английского историка. Его анкетные данные вполне подходили бы классовому врагу, но никак не человеку, которому предназначалось сделать карьеру в мире советской дипломатии. Под эгидой Литвинова Советский Союз вступил в Лигу наций и стал одним из самых громких пропагандистов коллективной безопасности. Сталин был вполне готов воспользоваться вильсоновской риторикой, чтобы подстраховаться и не дать Гитлеру избрать своей основной мишенью Советский Союз, а также — реально осуществить все то, что было им намечено в «Майн кампф». Как подчеркнул ученый-политолог Роберт Легвольд, Сталин хотел добиться максимального содействия своим замыслам капиталистического мира, а не искал примирения с ним[414].

В отношениях между демократическими странами и Советским Союзом превалировало глубочайшее чувство взаимного недоверия. Сталин подписал в 1935 году пакт с Францией, а в последующем году — с Чехословакией. Но французские лидеры 30-х годов избрали противоположный курс и отказались от военно-штабных переговоров. Само собой, Сталин истолковал это как приглашение для Гитлера вначале напасть на Советский Союз. Чтобы подстраховаться, он обусловил советскую помощь Чехословакии предварительным исполнением французских обязательств перед этой страной. Это, конечно, открывало перед Сталиным возможность натравить империалистов друг на друга. Франко-советский договор вряд ли был союзом, заключенным на небесах.

Желание Франции устанавливать с Советским Союзом политические связи и одновременно отвергать военные наглядно показывает, на какой «ничьей земле» очутились западные демократии в межвоенный период. Демократические страны

высоко ценили риторику коллективной безопасности, но отказывались наполнить ее оперативным содержанием. Первая мировая война должна была преподать урок Великобритании и Франции, что самостоятельно, пусть даже в альянсе, вести войну с Германией — ненадежное предприятие. В конце концов Германия чуть не победила в 1918 году, несмотря на то, что к союзникам присоединилась Америка. Расчет на то, чтобы сражаться без советской или американской помощи, являлся сочетанием психологии «линии Мажино» с гигантской переоценкой собственных сил.

Только исключительным стремлением не видеть очевидного можно объяснить широчайшее распространение среди лидеров демократических стран веры в то, что Сталин, большевик до мозга костей и твердокаменный приверженец так называемых объективных материальных факторов, примет юридическую и моральную доктрину коллективной безопасности как свою собственную. Ибо Сталин и его коллеги имели не только идеологические причины без энтузиазма воспринимать установившийся международный порядок. В конце концов границы с Польшей были навязаны Советам силой, а Румыния захватила Бессарабию, которую Советский Союз считал своей.

Да и потенциальные жертвы Германии в Центральной Европе не желали советской помощи. Комбинация из версальского урегулирования и русской революции создавала в Восточной Европе неразрешимую проблему для любой системы коллективной безопасности: без Советского Союза она не срабатывала в военном отношении; с Советским Союзом она не срабатывала политически.

Западная дипломатия сделала весьма мало, чтобы устранить у Сталина параноидальное представление о якобы существующем антисоветском капиталистическом сговоре. С Советским Союзом не консультировались в дипломатическом порядке по поводу аннулирования «пакта Локарно», а на Мюнхенскую конференцию его вообще не пригласили. Его вовлекли в дискуссии по поводу системы безопасности для Восточной Европы лишь с большой неохотой и крайне поздно — уже после оккупации Чехословакии в 1939 году.

Тем не менее не стоит возлагать вину за появление пакта между Сталиным и Гитлером в основном на политику Запада. Это было бы ошибочным толкованием сталинской психологии. Паранойя Сталина в достаточной степени демонстрируется устранением им всех своих потенциальных внутренних соперников и убийством или депортацией миллионов и миллионов тех, кто выступал против него лишь в его

собственных фантазиях. Но, несмотря на это, когда дело доходило до международной политики, Сталин выказывал себя мастером холодного расчета и весьма гордился тем, что не позволял себя спровоцировать на поспешные шаги, особенно капиталистическими лидерами, чью способность понимать соотношение сил он ставил значительно ниже собственной.

Можно лишь догадываться о сталинских намерениях во времена Мюнхена. И все же наименее возможным для него курсом в тот момент, когда он заставил свою страну корчиться в конвульсиях после многочисленных чисток, было бы автоматическое и самоубийственное следование договору о взаимопомощи. Поскольку договор с Чехословакией накладывал обязательства на Советский Союз лишь после вступления Франции в войну, перед Советским Союзом открывалось множество возможностей. К примеру, он мог бы, потребовав права прохода через Румынию и Польшу, воспользоваться почти что обязательным отказом этих стран, как алиби, и ждать исхода битв в Центральной и Западной Европе. Или, в зависимости от оценки последствий, вновь захватить русские территории, отошедшие к Польше и Румынии после русской революции, что он и сделал год спустя. Самым невероятным был бы выход Советского Союза на баррикады в качестве последнего защитника версальского территориального урегулирования во имя коллективной безопасности.

Без сомнения, Мюнхен подтвердил сталинские подозрения относительно демократических стран. И все же первейшей обязанностью большевика, от которой его ничто не могло отвлечь, отсчитал затравливание капиталистов друг на друга. Любой ценой нельзя было допустить, чтобы Советский Союз стал жертвой этих войн, — вот чего добивался Сталин. Следствием Мюнхена, однако, была перемена сталинской тактики. Теперь он открыл базар и устроил торг, рассматривая предложения о вступлении в пакт с Советским Союзом, — в подобных торгах демократические страны не имели ни малейшего шанса выиграть при готовности Гитлера сделать серьезное предложение. И когда 4 октября 1938 года французский посол нанес визит в советское Министерство иностранных дел, чтобы дать разъяснения по Мюнхенскому соглашению, заместитель народного комиссара иностранных дел Владимир Потемкин встретил его таким угрожающим заявлением: «Мой бедный друг, что же вы наделали? Для нас я не вижу другого выхода кроме; четвертого раздела Польши»[415].

Этот афоризм был отражением холодного подхода Сталина к международной политике. После Мюнхена следующей мишенью Гитлера была Польша. Поскольку Сталин не желал ни встречаться с германской армией на существующей границе, ни вступать в схватку с Гитлером, четвертый раздел Польши представлялся единственной альтернативой (собственно, точно такой же ход мыслей привел Екатерину Великую к необходимости вместе с Пруссией и Австрией произвести первый раздел Польши в 1772 году). Тот факт, что Сталин выжидал целый год, прежде чем Гитлер сделает первый шаг, свидетельствует о его стальных нервах, — да и как бы иначе он проводил свою внешнюю политику?

Четко поставив перед собою цель, Сталин сделал следующий ход и убрал Советский Союз с линии огня. 27 января 1939 года лондонская газета «Ньюс кроникл» опубликовала статью своего дипломатического корреспондента (известного своей близостью к московскому послу Ивану Майскому), где обрисовывалась возможная сделка между Советским Союзом и Германией. Автор повторял стандартный тезис Сталина об отсутствии принципиальной разницы между западными демократиями и фашистскими диктаторами и предполагал, что это освободит Советский Союз от автоматического следования обязательствам, вытекающим из системы коллективной безопасности:

«В настоящее время Советское правительство явно не имеет намерений оказать какую-либо помощь Великобритании и Франции, если последняя вступит в конфликт с Германией или Италией... С точки зрения Советского правительства, между позицией британского и французского правительств, с одной стороны, и германского и итальянского — с другой, нет большой разницы, которая бы оправдала серьезные жертвы, приносимые в защиту западной демократии»[416].

Поскольку Советский Союз не видел необходимости в выборе между отдельными капиталистическими странами на базе идеологии, разногласия между Москвой и Берлином могли быть разрешены на практической основе. А чтобы этот момент был усвоен каждым, Сталин решился на беспрецедентный шаг: статья эта дословно была воспроизведена в «Правде», официальной газете Коммунистической партии.

10 марта 1939 года, за пять дней до оккупации Гитлером Праги, Сталин лично выступил с авторитарным утверждением новой стратегии Москвы. Сделал он это по случаю XVIII съезда партии, первого форума подобного рода с той поры, как пять лет

назад Сталин примкнул к политике коллективной безопасности и «единого фронта». Господствующим чувством среди делегатов съезда было, вероятно, несказанное облегчение в связи с тем, что они все еще живы, ибо чистки произвели в их рядах неслыханное опустошение: из двух тысяч делегатов, присутствовавших на съезде пять лет назад, здесь находились только тридцать пять; тысяча сто делегатов прошлого съезда были арестованы за контрреволюционную деятельность; из ста тридцати одного члена Центрального комитета девяносто восемь были ликвидированы, как и трое из пяти маршалов Красной Армии, как все одиннадцать заместителей народного комиссара обороны, все командующие военных округов и семьдесят пять из восьмидесяти членов Высшего военного совета[417]. XVIII съезд партии был чем угодно, только не праздником в честь неизменного порядка вещей. Его делегаты в значительно большей степени были озабочены проблемами личного выживания, чем таинственными хитросплетениями внешней политики.

Как в 1934 году, главной темой выступления Сталина перед трясущейся от страха аудиторией были миролюбивые устремления Советского Союза, находящегося во враждебном окружении. Выводы его, однако, представляли собой решительный разрыв с концепцией коллективной безопасности, признанной на предыдущем съезде. Ибо, по сути дела, Сталин декларировал советский нейтралитет в случае конфликта между капиталистами:

«Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна. Мы стоим за мир и укрепление деловых отношений со всеми странами. Такова наша позиция; и мы будем ее придерживаться до тех пор, пока эти страны поддерживают подобные же отношения с Советским Союзом и пока они не пытаются злоупотребить интересами нашей страны»[418].

Чтобы лишний раз забить гвоздь в головы тупых капиталистических лидеров, Сталин повторил почти дословно основной аргумент статьи из «Ньюс кроникл», а именно, что, поскольку демократические страны и Германия имеют одинаковую социальную структуру, различия между Германией и Советским Союзом не более непреодолимы, чем различия между ним и любой другой капиталистической страной. Подводя итог, он высказал решимость сохранить свободу действий и обозначил готовность Москвы продать свою добрую волю в надвигающейся войне тому, кто даст больше всех. Своим зловещим заявлением Сталин призвал «быть осмотрительными и

не допустить, чтобы нашу страну втянули в конфликты поджигатели войны, привыкшие заставлять других таскать для них каштаны из огня»[419]. По существу, Сталин призывал нацистскую Германию выступить с инициативным предложением.

Новая политика Сталина отличалась от старой лишь акцентом. Даже в золотые дни поддержки принципов коллективной безопасности и «единого фронта» Сталин всегда так представлял советские обязательства, что обеспечивал себе возможность заключения сепаратной сделки после начала войны. Но теперь, весной 1939 года, пока Германия еще не оккупировала оставшийся кусок Чехословакии, Сталин сделал еще один шаг. Он начал маневрировать, чтобы обеспечить себе возможность заключения сепаратной сделки еще до начала войны. Не следует жаловаться, будто Сталин держал свои намерения в тайне; шок, испытанный демократическими странами, проистекал от их неспособности понять, что Сталин, страстный революционер, был при всем при том хладнокровным стратегом.

После оккупации Праги Великобритания отказалась от политики умиротворения по отношению к Германии. Британский кабинет теперь преувеличивал нацистскую угрозу — ровно настолько, насколько он ранее ее недооценивал. Для него не было сомнений в том, что Гитлер вслед за ликвидацией Чехословакии совершит еще одно нападение: либо на Бельгию, либо на Польшу. В конце марта 1939 года распространились слухи, что целью является Румыния, не имевшая даже общей границы с Германией. И все же для Гитлера были крайне нехарактерны нападения со столь малым разрывом во времени. Гораздо более типичной для него была тактика паузы после очередного удара, с тем чтобы его последствия деморализовали очередную жертву еще до нанесения нового удара. Во всяком случае, мы знаем, что у Великобритании было гораздо больше времени на разработку собственной стратегии, чем полагали ее лидеры. Более того, тщательно проанализируй британский кабинет сталинские заявления на XVIII съезде партии, — и стало бы ясно: чем более охотно Англия пошла бы на организацию сопротивления Гитлеру, тем более отстраненно вел бы себя Сталин, чтобы увеличить возможности воздействия на любую из сторон.

Британский кабинет стоял теперь перед лицом фундаментального стратегического выбора, хотя не существует доказательств тому, что он отдавал себе в этом отчет. Оказывая сопротивление Гитлеру, он обязан был решить, будет ли этот подход базироваться на создании системы коллективной безопасности или на традиционном

союзе. В первом случае для участия в антинацистском сопротивлении приглашалась бы самая широкая группа стран, во втором — Великобритании предстояли компромиссы — с тем чтобы увязать свои интересы с интересами потенциальных союзников, подобных Советскому Союзу.

Кабинет избрал коллективную безопасность. 17 марта были направлены ноты Греции, Югославии, Франции, Турции, Польше и Советскому Союзу, в которых запрашивалось, как бы они реагировали на предполагаемую угрозу Румынии, — предполагались одинаковая заинтересованность и единый подход. Похоже, Великобритания решила вдруг предложить то, от чего отказывалась начиная с 1918 года: территориальные гарантии для всех стран Восточной Европы.

Ответы различных стран лишней раз продемонстрировали, в чем изначальная слабость доктрины коллективной безопасности — в предпосылке, будто бы все нации, и в первую очередь потенциальные жертвы, равно заинтересованы в отражении агрессии. Каждая из восточноевропейских наций представляла собственные проблемы как особый случай и подчеркивала свои национальные, а не коллективные заботы. Греция ставила свое решение в зависимость от Югославии; Югославия запрашивала, каковы намерения Великобритании, то есть возвращалась к исходной точке. Польша указала, что не готова выбирать между Великобританией и Германией или вставать на защиту Румынии. Польша и Румыния не соглашались на участие Советского Союза в защите их стран. А ответом Советского Союза было предложение созвать в Бухаресте конференцию всех стран, кому был адресован британский запрос.

Это был умный маневр. Если бы конференция состоялась, она бы установила принцип советского участия в обороне стран, которые боялись Москвы точно так же, как и Берлина; если бы эта инициатива была отвергнута, то у Кремля появилось бы оправдание для того, чтобы стоять в стороне и выяснять возможность достижения договоренности с Германией. Москва, по существу, требовала от стран Восточной Европы назвать главной угрозой своему существованию Германию и бросить ей вызов еще до того, как Москва прояснит свои намерения. А поскольку ни одна из восточноевропейских стран не была к этому готова, Бухарестская конференция так и не состоялась.

Отсутствие энтузиазма в ответах заставило Невилла Чемберлена искать другие варианты. 20 марта он предложил совместную декларацию о намерениях между

Великобританией, Францией, Польшей и Советским Союзом, где было бы заявлено о совместных консультациях в случае возникновения угрозы независимости любому из европейских государств, «имея в виду совместные действия». Как своего рода Тройственное согласие перед началом первой мировой войны, это предложение ничего не говорило о разработке, на случай необходимости, военной стратегии или перспектив сотрудничества между Польшей и Советским Союзом, которое считалось само собой разумеющимся.

Со своей стороны, Польша, романтически переоценивавшая свои военные возможности, в чем ей вторила Великобритания, отказывалась от совместных действий с Советским Союзом, что заставляло Великобританию выбирать между Польшей и Советским Союзом. Если она даст гарантию Польше, для Сталина исчезнут побудительные мотивы участвовать в совместных оборонительных действиях. Поскольку Польша располагалась между Германией и Советским Союзом, Великобритании пришлось бы вступить в войну прежде, чем Сталин примет решение. С другой стороны, если Великобритания сконцентрирует свои усилия на заключении пакта с Советским Союзом, Сталин наверняка потребует свой фунт мяса за помощь Польше и будет настаивать на перемещении советской границы к западу, в направлении «линии Керзона».

Взвинченный общественным недовольством и убежденный в том, что отступление еще более ослабит позиции Великобритании, британский кабинет отказался жертвовать оставшимися странами независимо от диктата геополитики. Одновременно британские лидеры стали жертвами ложных оценок, предположив, что Польша в военном отношении несколько сильнее Советского Союза и что Красная Армия не имеет наступательной ценности, - ошибка, впрочем, простительная в свете только что прошедших массовых чисток среди советских военных руководителей. И, что самое главное, британские лидеры испытывали глубочайшее недоверие к Советскому Союзу. «Вынужден признаться, - писал Чемберлен, - в собственном предельном недоверии к России. У меня нет ни малейшей уверенности в том, что она в состоянии развернуть эффективные наступательные действия, даже если этого захочет. И я не доверяю ее мотивам, которые, как мне кажется, имеют самое незначительное отношение к нашим идеалам свободы, ибо ее единственное желание - заставить всех остальных встать на уши»[420].

Полагая, что находится в страшнейшем цейтноте, Великобритания заторопилась и объявила о выдаче такого рода континентальных гарантий мирного времени, от которых систематически отказывалась с момента подписания Версальского мира. Обеспокоенный сообщениями о неминуемости германского нападения на Польшу, Чемберлен даже не сделал паузы, чтобы провести переговоры о заключении двухстороннего соглашения с Польшей. Вместо этого он собственной рукой набросал проект односторонней гарантии Польше 30 марта 1939 года и на следующий день передал его в парламент. Гарантия представлялась тормозом для предотвращения нацистской агрессии, причем выяснилось, что эта угроза основывалась на ложной информации. За гарантией последовала менее поспешная проработка возможности создания широкой системы коллективной безопасности. Вскоре были выданы односторонние гарантии такого же типа Греции и Румынии.

Под воздействием морального негодования и стратегического замешательства Великобритания, таким образом, обратилась к выдаче гарантии таким странам, по поводу которых все ее премьер-министры послевоенных лет настоятельно утверждали, что не смогут и не сумеют их защитить. Послеверсальские реалии Восточной Европы стали до такой степени далеки от Великобритании, что британский кабинет даже не отдавал себе отчета в том, что своим выбором он многократно усилил желание Сталина обратить свой взор к Германии и облегчил ему выход из предлагаемого «единого фронта».

Лидеры Великобритании были всецело уверены в том, что политика Сталина является составной частью их стратегии, и поверили, будто способны контролировать сроки и степень его участия в событиях. Министр иностранных дел лорд Галифакс настаивал на том, чтобы Советский Союз пока подержали в резерве и «пригласили подать руку помощи при определенных обстоятельствах в наиболее удобной форме»[421]. Конкретно Галифакс имел в виду лишь поставку военного снаряжения, но не перемещение советских войск за пределы собственных границ. Он даже не пояснил, какие могут быть у Советского Союза стимулы играть столь второстепенную роль.

На самом же деле британские гарантии Польше и Румынии у Советов последний стимул для вступления в серьезные переговоры относительно союза с западными демократиями. С одной стороны, эти гарантии распространились на все

границы европейских соседей Советского Союза, за исключением балтийских государств, и, по крайней мере на бумаге, сдерживали советские амбиции точно так же, как и немецкие. (Тот факт, что Великобритания оказалась слепа и глуха к подобным реалиям, продемонстрировал, до какой степени в головах западных политиков засел «единый фронт миролюбивых стран».) Но, что самое главное, односторонние британские гарантии оказались дорогим подарком для Сталина, ибо они обеспечивали его максимумом того, что нужно для любых переговоров на пустом месте. Если Гитлер двинется на восток, Сталин мог рассчитывать на вмешательство в войну Великобритании еще до того, как немцы дойдут до советской границы. Сталин, таким образом, пожинал плоды союза «де-факто» с Великобританией, не будучи ничем ей обязанным.

Гарантия Великобритании Польше покоилась на четырех предпосылках, каждая из которых оказалась неверной: что Польша является значительной военной державой, возможно, в большей степени, чем Советский Союз; что Франция и Великобритания, вместе взятые, достаточно сильны, чтобы нанести поражение Германии без помощи других союзников; что Советский Союз заинтересован в сохранении статус-кво в Восточной Европе; и что идеологическая пропасть между Германией и Советским Союзом непреодолима, а значит, рано или поздно Советский Союз обязательно присоединится к антигитлеровской коалиции.

Польша вела себя героически, но значительной военной державой не была. Да и как бы могла она справиться со стоявшей перед ней задачей, если французский Генеральный штаб ввел ее в заблуждение относительно собственных намерений? Делая намеки на возможность самостоятельного французского выступления наступательного характера, Франция на самом деле придерживалась оборонительной стратегии. Это вынудило Польшу принять на себя всю ярость германского натиска — а противостоять Германии в одиночку было за пределом ее возможностей, что западным руководителям следовало бы хорошо понимать. В то же время Польша не соглашалась принять советскую помощь, ибо ее руководители были убеждены в том (и, как выяснилось, были правы), что советская армия-«освободительница» тотчас же превратится в армию оккупационную. Демократические же страны рассчитывали на то, что им удастся самостоятельно справиться с Германией даже в случае поражения Польши.

А советской заинтересованности сохранить статус-кво в Восточной Европе, если вообще таковая существовала, пришел конец на XVIII съезде партии. В решительный момент Сталин сделал выбор — обратился к Гитлеру, и, после того как Польше были выданы английские гарантии, он мог разыграть нацистскую карту без особой для себя опасности. Задача его облегчалась тем, что западные демократии отказались вникнуть в его стратегию, которая была бы совершенно ясна Ришелье, Меттерниху, Пальмерстону или Бисмарку. Суть ее была проще простого и сводилась к тому, что Советский Союз всегда должен последним из великих держав брать на себя какие-либо обязательства. Это давало Сталину свободу действий на организованном им базаре, где офферент, предлагающий на торгах самую высокую цену, мог выторговать советское сотрудничество или советский нейтралитет.

До того момента, как Польша получила от Великобритании гарантии, Сталин должен был соблюдать сугубую осторожность, заигрывая с Германией, ибо это могло заставить демократические страны умыть руки и оставить его один на один с Гитлером. Зато после выдачи гарантии он не только убедился в том, что Великобритания будет отстаивать его западные границы, но и в том, что война начнется на шестьсот миль западнее, на германско-польской границе.

Сталина теперь беспокоили только две вещи. Во-первых, он должен был убедиться в том, что британская гарантия Польше — солидная; во-вторых, ему следовало выяснить, действительно ли существует германский вариант. Парадоксально, но факт: чем явственнее Великобритания демонстрировала добрую волю по отношению к Польше, что было необходимо для запугивания Гитлера, тем большее пространство для маневра приобретал Сталин применительно к Германии. Великобритания стремилась сохранить восточноевропейский статус-кво. Сталин задался целью обеспечить для себя широчайший выбор вариантов и поломать версальское урегулирование. Чемберлен хотел предотвратить войну. Сталин, ощущавший, что война неизбежна, рассчитывал получить от нее выгоды, в ней не участвуя.

Соблюдая декорум, Сталин делал пируэты, адресуясь к той и другой стороне. Но итог был predetermined. Один лишь Гитлер мог реально предложить интересующие Сталина территориальные приобретения в Восточной Европе, а за это последний готов был расплатиться европейской войной, в которой бы Советский Союз не участвовал. 14 апреля Великобритания предложила Советскому Союзу сделать

одностороннее заявление, что «в случае любого акта агрессии по отношению к любому европейскому соседу Советского Союза, которому соответствующая страна оказала бы сопротивление, могла бы быть предложена помощь со стороны Советского правительства»[422]. Сталин отказался совать голову в петлю и отверг это наивное предложение одностороннего характера. 17 апреля он ответил контрпредложением, состоящим из трех вариантов: союз между Советским Союзом, Францией и Великобританией: военная конвенция для превращения его в реальность; гарантия для всех стран между Балтийским и Черным морями.

Сталин не мог не знать, что такого рода предложение никогда не будет принято. Во-первых, потому, что восточноевропейские страны его не хотели. Во-вторых, обсуждение военной конвенции заняло бы больше времени, чем было в наличии. И наконец, Великобритания воздерживалась от альянса с Францией на протяжении полутора десятилетий не для того, чтобы теперь пойти на него ради страны, которая, по ее мнению, была достойна лишь второстепенной роли поставщика военного снаряжения. «Не стоит предполагать, — заявил Чемберлен, — что такого рода альянс необходим для того, чтобы малые страны Восточной Европы получали военное снаряжение»[423].

Переступив черту, британские лидеры в течение нескольких недель уступали дюйм за дюймом, идя навстречу условиям Сталина, а тот все повышал и повышал планку. В мае Вячеслав Молотов, доверенное лицо Сталина, заменил Литвинова на посту министра иностранных дел. Это означало, что Сталин лично берет в свои руки переговоры и что добрые отношения между участниками переговоров больше для Советского Союза не играют роли. В надрывно-педантичной манере Молотов потребовал, чтобы все страны вдоль западной границы Советского Союза получили двухстороннюю гарантию, причем он их конкретно перечислил (обеспечив тем самым формальный отказ хотя бы некоторых из них). Он также настаивал на расширении толкования термина «агрессия», добиваясь, чтобы в него была бы включена «непрямая агрессия», определяемая, как уступки германским угрозам даже без фактического применения силы. А поскольку Советский Союз оставлял за собой право определять, что такое «уступки», Сталин, по существу, требовал для себя неограниченного права вмешательства во внутренние дела всех европейских соседей Советского Союза.

К июлю Сталин понял, что британские лидеры согласятся — пусть с неохотой — на союз, близкий к его условиям. 23 июля советские и западные участники переговоров договорились по поводу проекта соглашения, который, очевидно, оказался удовлетворительным для обеих сторон. Теперь у Сталина появилась страховочная сетка, и он смог заняться детальным выяснением того, что конкретно Гитлер в состоянии ему предложить.

Всю весну и лето Сталин осторожно подавал сигналы готовности к рассмотрению германского предложения. Гитлер, однако, воздерживался от первого шага, чтобы Сталин не воспользовался этим для получения более выгодных условий от Великобритании и Франции. Сталин, в свою очередь, испытывал подобные же опасения. Он также не решался сделать первый шаг, ибо, если этот шаг стал бы достоянием гласности, Великобритания могла бы снять с себя обязательства применительно к Востоку и вынудить его оставаться с Гитлером один на один. К тому же Сталин не торопился; в отличие от Гитлера, он не ставил себе сроков, а нервы у него были крепкие. Итак, Сталин выжидал, вызывая беспокойство у Гитлера.

26 июля Гитлер призывно подмигнул. Если он собирался напасть на Польшу до начала осенних дождей, то не позднее 1 сентября ему необходимо было знать, что Сталин намеревается делать. Карлу Шнурре, главе германской делегации, ведшей переговоры о заключении торгового соглашения с Советским Союзом, были даны инструкции начать затрагивать в беседах политические вопросы. Пользуясь, как связующим звеном, взаимной враждебностью к Западу, он заверял своего советского партнера по переговорам, что от Балтийского до Черного моря или на Дальнем Востоке «нет таких проблем между двумя странами, которые нельзя было бы разрешить»[424]. Шнурре обещал продолжить обсуждение этих вопросов на политической встрече с советскими представителями высокого уровня.

Выказанная поспешность редко ускоряет ход переговоров. Ни один опытный государственный деятель не приступает к решению вопроса только оттого, что его собеседник ограничен во времени; он скорее воспользуется подобным нетерпением, чтобы зыгадать еще больше. Во всяком случае, Сталин был не из тех, кто помчится по первому зову. Так что лишь в середине августа Молотов получил инструкции принять германского посла фон дер Шуленбурга с вопросником, чтобы уточнить, что конкретно предлагает Шнурре. Оказать давление на японцев, чтобы те оставили в

покое Сибирь? Пакт о ненападении? Пакт относительно балтийских государств?
Сделку по поводу Польши?

К этому времени Гитлер спешил до такой степени, что, несмотря на нелюбовь действовать подобным образом, готов был уступить по всем пунктам. 11 августа он заявил верховному комиссару Данцига:

«Все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы уразуметь это, я вынужден буду пойти на договоренность с Россией, разбить Запад, а потом, после его поражения, повернуться против Советского Союза со всеми накопленными силами»[425].

Это действительно было четким отражением первоочередных задач Гитлера: от Великобритании он желал невмешательства в дела на континенте, а от Советского Союза он хотел приобрести Lebensraum, то есть «жизненное пространство». Мерой сталинских достижений следует считать то, что он, пусть даже временно, поменял местами приоритеты Гитлера.

В ответ на вопросы Молотова фон дер Шуленбург сообщил, что Гитлер готов направить своего министра иностранных дел Иохима фон Риббентропа в Москву немедленно, дав ему всю полноту полномочий для решения всех остающихся вопросов. Сталин не мог не заметить, что Гитлер согласен вести переговоры на уровне, которого Великобритания постоянно избегала, ибо за все долгие месяцы переговоров Москву не посетил ни один британский министр, хотя кое-кто из членов британского правительства отважился забраться в восточном направлении до самой Варшавы.

Не желая открывать карты до тех пор, пока не станет ясно, что ему предлагают, Сталин еще более усилил давление на Гитлера. Молотову были даны инструкции: высоко оценить готовность Риббентропа прибыть в Москву, но добавить, что в принципе хорошо было бы иметь текст соглашения прежде, чем будет решен вопрос о целесообразности визита. Гитлеру как бы предлагалось сформулировать точное и конкретное предложение, включая секретный протокол по отдельным территориальным вопросам. Даже тупица Риббентроп не мог не понять смысл просьбы Молотова. Любая утечка информации касалась бы германского проекта; руки Сталина оставались чистыми, а неудачу переговоров можно было бы приписать отказу Советского Союза идти в ногу с германским экспансионизмом.

Теперь уже Гитлер нервничал как в лихорадке. Ибо решение о нападении на Польшу надо было принимать в считанные дни. 20 августа он написал непосредственно Сталину. Само по себе это письмо представляло собой загадку для германской протокольной службы. Поскольку единственным титулом Сталина было «Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза», ибо он не занимал никакой государственной должности, протоколисты никак не могли решить, как к нему обращаться. В конце концов письмо было направлено просто «Г-ну Сталину, Москва». Оно гласило: «Я убежден, что содержание дополнительного протокола, желательного для Советского Союза, может быть уточнено в кратчайший возможный срок, если ответственный германский государственный деятель будет иметь возможность лично прибыть в Москву для переговоров»[426].

Сталин выиграл партию благодаря тому, что сделал окончательный выбор лишь в последнюю секунду. Ибо Гитлер явно был готов бесплатно предложить ему то, что при наличии любого союза с Великобританией и Францией советский вождь мог бы получить лишь после кровопролитной войны с Германией. 21 августа Сталин дал ответ, выразив надежду, «что германо-советский пакт о ненападении станет символом решающего поворота в деле улучшения политических отношений между нашими двумя странами...»[427] Риббентроп был приглашен прибыть в Москву через сорок восемь часов, 23 августа.

Не пробыв в Москве и часа, Риббентроп предстал перед лицом Сталина. Советский руководитель проявил небольшой интерес к пакту о ненападении и еще меньший к заверениям в дружбе, которые Риббентроп то и дело вставлял в свои реплики. Предметом озабоченности Сталина был секретный протокол о разделе Восточной Европы. Риббентроп предложил, чтобы Польша была разделена по границе 1914 года с одним лишь принципиальным различием— Варшава должна была войти в германскую сферу влияния. Будет ли придана некая видимость польской независимости, или Германия и Советский Союз просто аннексируют завоеванные ими территории, оставалось открытым. Что касается Балтийских государств, Риббентроп предложил чтобы Финляндия и Эстония вошли в русскую сферу влияния (что давало Сталину долгожданную буферную зону вокруг Ленинграда), Литва отошла бы к Германии, а Латвия была поделена. Когда Сталин затребовал себе всю Латвию, Риббентроп телеграфировал Гитлеру, и тот уступил — точно так же, как он

пошел навстречу сталинскому требованию относительно Бессарабии, которую Советский Союз хотел отобрать у Румынии. Возбужденный Риббентроп вернулся в Берлин, где в состоянии эйфории его приветствовал Гитлер, назвав «вторым Бисмарком»[428]. С момента направления исходного послания Гитлера Сталину и до завершения дипломатической революции прошло всего три дня.

Позднее, как всегда, началось выявление задним числом, кто же несет ответственность за столь шокирующий поворот событий. Кое-кто винил Великобританию за неохотно-снисходительный стиль переговоров. Историк Э. Дж. П. Тэйлор продемонстрировал, что при обмене посланиями и проектами документов между Великобританией и Советским Союзом Советы, что для них весьма нехарактерно, отвечали на британские предложения гораздо быстрее, чем британцы на советские. Из этого факта Тэйлор делает вывод, на мой взгляд, некорректный, что Кремль гораздо более жаждал союза, чем Лондон. Я же полагаю, что скорее всего Сталин, не желая, чтобы Великобритания досрочно вышла из игры, не хотел ее отпугивать — по крайней мере, до тех пор, пока не определятся досконально намерения Гитлера.

Британский кабинет, вне всякого сомнения, совершил ряд грубейших психологических ошибок. Не только ни один из министров не посетил Москву, но, вдобавок, Лондон задерживал переговоры о совместном военном планировании до начала августа. Даже тогда во главе британской делегации был поставлен адмирал, хотя главным, если не единственным, вопросом, занимавшим умы советской стороны, были сухопутные силы. В довершение ко всему, делегация направилась в Советский Союз пароходом, что заняло у нее пять дней пути, так что это не свидетельствовало о стремлении к срочности. Наконец, независимо от моральных соображений, сдержанность Великобритании в вопросе гарантии независимости балтийских государств была истолкована параноидальным лидером в Москве как приглашение для Гитлера совершить нападение на Советский Союз, минуя Польшу.

И все же не неуклюжее поведение британской дипломатии привело к заключению нацистско-советского пакта. Реальная проблема заключалась в том, что Великобритания не могла пойти на сталинские условия, не поступившись всеми принципами, которые она отстаивала со времен окончания первой мировой войны. Не было смысла подводить черту под картиной изнасилования малых стран Германией,

если при этом надо было предоставить привилегию Советскому Союзу обойтись с малыми странами точно так же. Более циничное британское руководство провело бы черту по советской границе, а не по польской, тем самым резко улучшив переговорные позиции Великобритании в отношении Советского Союза и побудив Сталина самым серьезным образом вести переговоры относительно защиты Польши. В моральном плане достижением демократических стран явилось то, что они не пожелали санкционировать очередной раунд агрессии, даже во имя собственной безопасности. «Realpolitik» продиктовала бы анализ стратегических последствий британской гарантии Польше, а установленный Версалем международный порядок требовал от Великобритании следовать исключительно правовым и моральным соображениям. У Сталина была стратегия, но не было принципов, а демократические страны защищали принципы, не разработав стратегии.

Польшу нельзя было защитить инертным пребыванием французской армии внутри «линии Мажино», в то время как советская армия выжидала бы внутри собственных границ. В 1914 году нации Европы пошли на войну, потому что военное и политическое планирование утеряли связь друг с другом. Пока Генеральные штабы доводили до совершенства свои планы, политические лидеры либо их не понимали, либо у них отсутствовали политические цели и задачи, сопоставимые с размахом предусмотренных военных усилий.

В 1939 году политическое и военное планирование вновь разошлись, но на этот раз по совершенно противоположным причинам. Западные державы имели перед собой вполне разумную и высокоморальную политическую цель — остановить Гитлера. Но они так и не сумели разработать военную стратегию, соответствующую этой цели. В 1914 году стратеги шли напролом; в 1939 году — вели себя чересчур скромно. В 1914 году военные всех стран рвались к войне; в 1939 году у них было столько отговорок (даже в Германии), что они полностью передоверились политическим лидерам. В 1914 году была стратегия, но не было политики; в 1939 году имелась политика, но отсутствовала стратегия.

Россия сыграла решающую роль в развязывании обеих войн. В 1914 году Россия обусловила начало военных действий, неуклонно придерживаясь союзнических обязательств по отношению к Сербии и следуя жесткому мобилизационному графику; в 1939 году, когда Сталин избавил Гитлера от страха войны на два фронта, он, должно

быть, знал, что делает всеобщую войну неизбежной. В 1914 году Россия пошла на конфликт, чтобы сохранить честь; в 1939 году она подстрекала к войне, чтобы урвать свою долю из завоеваний Гитлера.

Германия, однако, вела себя совершенно одинаково перед началом обеих мировых войн — нетерпеливо и недальновидно. В 1914 году она прибегла к силе оружия, чтобы поломать союз, который, в отсутствие вызывающего поведения со стороны Германии, сам бы не сохранился: в 1939 году она не желала дожидаться неизбежного превращения в главнейшую нацию Европы. А это потребовало бы прямо противоположного стратегии Гитлера: нужен был некий срок, чтобы устоялись послемюнхенские геополитические реалии. В 1914 году эмоциональная неуравновешенность германского императора и отсутствие у него четкой концепции национальных интересов не позволили ему выждать; в 1939 году самый настоящий психотик в пике физических сил, преисполненный решимости развязать войну, отмел в сторону все рациональные расчеты. Бессмысленность германского решения прибегнуть к войне в обоих случаях доказывает тот факт, что, несмотря на два сокрушительных поражения и потерю примерно трети территории, имевшейся перед первой мировой войной, Германия остается в Европе самой сильной и, возможно, наиболее влиятельной нацией.

Что же касается Советского Союза в 1939 году, то он тогда был неважно подготовлен к неизбежной борьбе. И все же к концу второй мировой войны он уже считался глобальной супердержавой. Как это сделал Ришелье в XVII веке, Сталин в XX веке воспользовался раздробленностью Центральной Европы. Приобретение Соединенными Штатами статуса супердержавы было предопределено их индустриальной мощью. Советский рывок вверх был обусловлен безжалостными манипуляциями на сталинском базаре.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Нацистско-советский пакт

Вплоть до 1941 года Гитлер и Сталин преследовали нетрадиционные цели при помощи традиционных средств. Сталин ждал наступления того дня, когда миром — конечно, коммунистическим — можно будет управлять из Кремля. Гитлер же был одержим безумной перспективой расово-чистой империи, управляемой германской «расой господ», как это описано в его книге «Майн кампф». Трудно представить себе два более революционных видения. Зато средства и Гитлера, и Сталина, кульминацией которых явился пакт 1939 года, вполне могли быть заимствованы из трактата на тему искусства государственного управления XVIII века. На определенном уровне нацистско-советский пакт как бы повторил раздел Польши, осуществленный Фридрихом Великим, Екатериной Великой и императрицей Марией-Терезией в 1772 году. Но, в отличие от этих троих монархов, Гитлер и Сталин были идеологическими оппонентами. На некоторое время их общий национальный интерес, заключавшийся в прикарманывании «польского наследия», оказался выше идеологических разногласий. Но как только пакт исчерпал себя в 1941 году, разразилась величайшая война за всю историю человечества, по существу, по воле одного человека. Невероятно, но факт, что судьба XX века, века всеобщего волеизъявления и безличных сил, была столь круто повернута немногими личностями, и его величайшую катастрофу можно было бы предотвратить устранением одного-единственного деятеля.

Когда германская армия раздавила Польшу менее чем за месяц, французские силы, которым противостояли лишь недоукомплектованные немецкие дивизии, пассивно ждали, укрывшись за «линией Мажино». Настал период, получивший название «странная война», в течение которого деморализация Франции дошла до предела. В течение сотен лет Франция вела войну ради достижения конкретных политических целей: сохранения раздробленности Центральной Европы или, как в первую мировую войну, возврата Эльзас-Лотарингии. Теперь предполагалось, что она воюет во имя страны, которая уже была покорена и для защиты которой она не шевельнула и пальцем. На деле лишенное духовного стимула население Франции столкнулось с

очередным свершившимся фактом и окунулось в войну, лишенную фундаментальной стратегии.

Да и как Великобритания и Франция намеревались победить в войне против страны, которая почти что взяла верх, когда на их стороне в качестве союзников были Россия и Соединенные Штаты? Они надеялись отсидеться за «линией Мажино», пока британская блокада Германии не принудит ее к сдаче. Но какой был резон Германии сидеть тихо и пассивно воспринимать медленное удушение? И зачем бы она стала атаковать «линию Мажино», когда дорога через Бельгию была открыта, на этот раз для всей германской армии, в отсутствие Восточного фронта? Оборона являлась характерным признаком той войны, в которую верил французский Генеральный штаб, несмотря на прямо противоположный вывод из польской кампании. А значит — какая еще судьба могла ожидать французский народ, кроме второй в пределах жизни одного поколения, войны на истощение? И это — в обстановке, когда страна еще не оправилась после первой!

В то время как Франция выжидала, Сталин ухватился за предоставившуюся ему политическую возможность. Но еще прежде, чем воплотился в жизнь секретный протокол относительно разделения Восточной Европы, Сталин пожелал его ревизовать. Как государь XVIII века, распоряжающийся территорией, относительно самоопределения которой он и знать ничего не хочет, Сталин предложил Германии новую сделку в пределах месяца с момента подписания нацистско-советского пакта: обмен польской территории между Варшавой и «линией Керзона», которая, согласно секретному протоколу, отходила Советскому Союзу, на Литву, отходившую к Германии. Целью Сталина, конечно, было создать дополнительный буфер для Ленинграда. И, похоже, он не видел нужды маскировать эти свои геостратегические маневры каким-либо оправданием, кроме потребностей безопасности Советского Союза. Гитлер принял предложение Сталина.

Сталин не тратил времени даром, собирая причитающееся ему по секретному протоколу. Пока в Польше все еще бушевала война, Советский Союз предложил военный союз трем крошечным балтийским государствам, где предусматривалось право создавать военные базы на их территории. Отказавшись от помощи Запада, эти маленькие республики роковым образом приблизились к потере собственной независимости. 17 сентября 1939 года, менее чем через три недели после начала

войны, Красная Армия оккупировала ту часть Польши, которая предназначалась для вхождения в советскую сферу влияния.

К ноябрю настала очередь Финляндии. Сталин потребовал создания советских военных баз на финской территории и передачи Карельского перешейка, неподалеку от Ленинграда. Но Финляндия оказалась крепким орешком. Она отвергла советские требования и, когда Сталин начал войну, стала сражаться. Несмотря на то, что финские войска нанесли Красной Армии серьезный урон — тем более, она все еще не могла оправиться от сталинских массовых чисток, — в итоге сработал закон больших чисел. Через несколько месяцев героического сопротивления Финляндия уступила сокрушительному превосходству Советского Союза.

В рамках большой стратегии второй мировой войны советско-финская война была мелкой стычкой. И все же она сумела показать, до какой степени Франция и Великобритания потеряли ощущение стратегической реальности. Ослепленные временным затишьем, когда финны вынужденно уступили подавляющему превосходству сил, Лондон и Париж соблазнили себя самоубийственными рассуждениями на тему, а не представляет ли Советский Союз мягкое подбрюшье «оси Берлин — Рим — Токио» (к которой, однако, он не принадлежал). Начались приготовления к отправке тридцати тысяч войск в Финляндию через Норвегию и Швецию. По пути они должны были отрезать Германию от железной руды, добываемой в Северной Норвегии и Швеции и отгружаемой в Германию через северный норвежский порт Нарвик. Тот факт, что ни одна из этих стран не предоставляла транзитных прав, не охладил энтузиазма французских и британских штабистов.

Угроза союзной интервенции, возможно, и помогла бы Финляндии обеспечить себе лучшие условия по сравнению с первоначальными советскими требованиями, но в конце концов ничто уже не могло остановить Сталина в перемещении советской линии обороны подальше от Ленинграда. Для историков остается загадка, какая нечистая сила толкала Великобританию и Францию оказаться на волоске от войны одновременно с Советским Союзом и нацистской Германией за три месяца до того, как разгром Франции доказал: весь этот план просто-напросто — мыльный пузырь.

В мае 1940 года окончилась «странная война». Германская армия повторила маневр 1914 года и прошла через Бельгию, с той разницей, что теперь удар пришелся по

центру, а не по правому флангу. Уплатив свою цену за полтора десятилетия сомнений и умолчаний, Франция пала. Хотя эффективность германской военной машины стала самоочевидной, наблюдателей потрясло, с какой быстротой она маршем прошла через всю Францию. В первую мировую войну Германия в течение четырех лет пыталась прорваться к Парижу, и все напрасно: каждая миля давалась с тяжелейшими людскими потерями. В 1940 году по Франции прокатился немецкий блицкриг; к концу июня германские войска маршировали по Елисейским Полям. Гитлер, казалось, стал хозяином континента. Но, подобно многим другим завоевателям прошлого, Гитлер не знал, как закончить войну которую столь славно начал. У него было три варианта выбора: он мог попытаться разгромить Великобританию; он мог, напротив, заключить мир с ней или же сделать все, чтобы покорить Советский Союз и, овладев его обширными ресурсами, двинуть все свои силы на запад, и завершить разгром Великобритании.

Летом 1940 года Гитлер попробовал оба первых варианта. В хвастливой речи 19 июля он намекнул, что готов заключить компромиссный мир с Великобританией. На самом деле он просил возврата довоенных германских колоний и невмешательства в дела на континенте. В ответ он бы гарантировал существование Британской империи[429].

Предложение Гитлера было аналогично тому, какое Великобритании делала императорская Германия за два десятилетия до начала первой мировой войны, хотя тогда оно было сформулировано более мирно, а стратегическое положение Англии было несравненно благоприятнее. Возможно, если бы Гитлер был более конкретен относительно того, как будет выглядеть Европа, организованная Германией, кое-кто из британских лидеров, к примеру лорд Галифакс, — но ни в коем случае не Черчилль! — лелеявших идею переговоров с Германией, могли бы поддасться искушению. Но поскольку Германия, по существу, ждала от Великобритании, чтобы та предоставила ей полную свободу действий на континенте, Гитлер сам напросился на традиционный британский ответ. Такой же, какой дал в 1909 году сэр Эдуард Грей на предложение, сделанное гораздо более здравомыслящими германскими лидерами, чем Гитлер (да еще тогда, когда Франция продолжала пребывать великой державой), заметив при этом, что, если Великобритания отдаст континентальные нации на милость Германии, рано или поздно будет совершено нападение на Британские острова (см. гл. 7). Не

могла Великобритания и рассматривать всерьез «гарантию» существования собственной империи. Ни один германский руководитель так и не удосужился вникнуть в суть британской точки зрения, заключающейся в том, что если существует на свете нация, способная защитить империю, то эта же нация способна и ее завоевать. Это, кстати, уже отмечал в своем меморандуме 1907 года прославившийся этим сэром Эйр Кроу (см. гл. 7).

Черчилль, конечно, был слишком умудрен опытом и слишком хорошо знал историю, чтобы тешить себя иллюзиями, будто по окончании войны Великобритания останется первой державой мира или даже просто будет одной из первых. Это положение будут оспаривать Германия и Соединенные Штаты. Непреклонность Черчилля по отношению к Германии летом 1940 года может быть, таким образом, истолкована как решение в пользу американской, а не германской гегемонии. Американская гегемония временами может оказаться неудобной, но крайней мере, имеется близость языка и культуры: отсутствует почва для откровенного столкновения интересов. Наконец, всегда существуют перспективы установления «особых» отношений между Великобританией и Америкой, невозможных с нацистской Германией. К лету 1940 года Гитлер поставил себя в такое положение, что сам превратился в «казус белли».

Затем Гитлер избрал второй вариант и стал стремиться к уничтожению британских военно-воздушных сил и, в случае необходимости, к вторжению на Британские острова. Но он ограничился лишь вынашиванием этой идеи. Наземные операции не являлись частью довоенного операционного планирования, и проект этот был отставлен ввиду нехватки десантных средств и неспособности люфтваффе уничтожить Королевские военно-воздушные силы. К концу лета Германия вновь оказалась в положении, весьма схожем с тем, в котором очутилась в ходе первой мировой войны; добившись крупных успехов, она не смогла превратить их в конечную победу.

Гитлер, конечно, имел великолепную возможность перейти к стратегической обороне: Великобритания была недостаточно сильна для того, чтобы бросить вызов германской армии в одиночку; для Америки вступление в войну находилось на грани возможного; а Сталин, как бы ни носился с идеей военного вмешательства, в конце концов нашел бы причины для отсрочки ее осуществления. Но ожидать, чтобы взяли на себя инициативу другие, противоречило натуре Гитлера. Поэтому у него

закономерно возникла идея нападения на Советский Союз.

Еще в июле 1940 года Гитлер распорядился о подготовке штабной документации предварительного характера по поводу советской кампании. Он заявил своим генералам, что, как только Советский Союз будет побежден, Япония сможет бросить все свои вооруженные силы против Америки, отвлекая внимание Вашингтона на Тихоокеанский театр военных действий. А изолированная Великобритания, лишившись надежд на американскую поддержку, будет вынуждена прекратить схватку. «Надеждой Британии являются Россия и Соединенные Штаты, — верно отмечал Гитлер. — А если надеждам, возлагаемым на Россию, не суждено будет сбыться, то Америка тоже окажется на обочине, поскольку ликвидация России усилит в исключительной степени дальневосточную мощь Японии...»[430] Гитлер, однако, еще не был вполне готов, чтобы отдать приказ о нападении. Сначала он попытается изучить возможность втравить Советы в осуществление совместного нападения на Британскую империю и устранение Великобритании, прежде чем двинуться на Восток.

Сталин слишком хорошо понимал затруднительность собственного положения. Разгром Франции обманул ожидания, разделявшиеся, наряду со Сталиным, всеми западными военными экспертами относительно того, что последует продолжительная серия боев на истощение, как это было в первую мировую войну. Улетучилась заветная мечта Сталина о том, как Германия и западные демократии будут доводить себя до полной потери сил. А если падет и Великобритания, то германская армия высвободится для броска на Восток, причем окажется в состоянии целиком воспользоваться ресурсами Европы в соответствии с концепцией, пропагандируемой Гитлером в «Майн кампф».

Реагировал Сталин всегда стереотипно. Ни в один из моментов собственной карьеры он не выказывал страха, даже когда не мог его не испытывать. Убежденный в том, что, обнаруживая собственную слабость, можно побудить противника зависеть требования, он всегда пытался затуманить дилеммы стратегического выбора внешней непреклонностью. Если бы Гитлер попытался воспользоваться победой на Западе для оказания давления на Советский Союз, то Сталин сделал бы перспективы уступок с его стороны максимально болезненными и непривлекательными. Осторожный и расчетливый до маниакальности, Сталин, однако, не сумел должным образом принять

в расчет невротический характер личности Гитлера и потому не предусмотрел возможности ответа Гитлера на брошенный ему вызов посредством войны на два фронта, каким бы отчаянным ни являлся подобный курс. Сталин избрал двойную стратегию. Он торопился забрать остатки добычи, причитавшейся ему согласно секретному протоколу. В июне 1940 года, пока Гитлер еще был занят Францией, Сталин предъявил Румынии ультиматум с требованием уступить Бессарабию, а также пожелал забрать Северную Буковину. Последняя в секретном протоколе не фигурировала, и обладание ею давало возможность разместить советские войска вдоль всего протяжения румынской части Дуная. В тот же месяц он включил балтийские государства в состав Советского Союза, вынудив их пойти на организацию бутафорских выборов, в которых приняло участие менее 20% населения. А когда этот процесс завершился, Сталин вернул всю территорию, которую Россия потеряла в конце первой мировой войны; тем самым союзники заплатили последний взнос в счет штрафа за исключение как Германии, так и Советского Союза из участия в мирной конференции 1919 года.

Одновременно с укреплением собственных стратегических позиций Сталин не жалел усилий, чтобы задобрить грозного соседа, и снабжал военную машину Гитлера сырьем. Еще в феврале 1940 года, за несколько месяцев до победы Германии над Францией, в присутствии Сталина было подписано торговое соглашение, обязывавшее Советский Союз поставлять Германии значительные количества сырьевых материалов. Германия, в свою очередь, снабжала Советский Союз углем и промышленными товарами. Советский Союз scrupulously выполнял условия соглашения и, как правило, опережал график. И буквально вплоть до того момента, когда Германия в конце концов совершила нападение, советские товарные вагоны пересекали вместе с грузом пограничные контрольные пункты.

Ни один из сталинских шагов, однако, не менял геополитических реалий, а именно, того, что Германия стала господствующей державой в Центральной Европе. Гитлер дал понять четко и ясно, что не потерпит советской экспансии за пределы предусмотренного секретным протоколом. В августе 1940 года Германия и Италия заставили Румынию, которую Сталин к тому времени уже рассматривал как часть советской сферы влияния, вернуть две трети Трансильвании Венгрии, почти что союзнику держав «оси». Преисполненный решимости уберечь Румынию как источник

снабжения нефтью, Гитлер в сентябре еще явственней провел черту, дав гарантии независимости Румынии и введя в страну для подкрепления выданной гарантии моторизованную дивизию и самолеты военно-воздушных сил.

В тот же месяц напряженность возникла на другом конце Европы. В нарушение секретного протокола, делавшего Финляндию частью советской сферы влияния, Финляндия согласилась дать разрешение германским войскам пройти через ее территорию в Северную Норвегию. Более того, имели место значительные поставки германского вооружения, единственной разумной целью которых было усиление Финляндии для противостояния советскому давлению. Когда Молотов запросил у Берлина более конкретную информацию, ему были даны уклончивые ответы. Советские и немецкие войска сошлись лицом к лицу на всем протяжении линии противостояния, шедшей через всю Европу.

Для Сталина, однако, наиболее грозным днем стало 27 сентября 1940 года, когда Германия, Италия и Япония подписали Трехсторонний пакт, обязывающий каждую из этих стран вступать в войну с любой прочей страной, вставшей на сторону Великобритании. По правде говоря, пакт сознательно не касался отношений каждой из подписавших его стран с Советским Союзом. Это означало, что Япония не берет на себя обязательства участвовать в германо-советской войне независимо от того, кто начнет первым, но обязана будет сражаться с Америкой, если та вступит в войну против Германии. И хотя Трехсторонний пакт был совершенно очевидно направлен против Вашингтона, Сталин не чувствовал себя спокойно. Каковы бы ни были конкретные условия этого соглашения, он не мог не ощущать, что в один прекрасный день три участника пакта вполне способны обернуться против него. Что Сталин был для них лишний, свидетельствовал тот факт, что его даже не извещали о переговорах до тех пор, пока пакт не был подписан.

К осени 1940 года напряженность нарастала такими темпами, что оба диктатора предприняли, как оказалось, последние дипломатические усилия переиграть друг друга хитростью. Целью Гитлера было вовлечь Сталина в совместное выступление против Британской империи, чтобы разгромить его тогда, когда тыл Германии будет полностью обеспечен. Сталин пытался тянуть время в надежде, что как-нибудь сумеет обмануть Гитлера, а заодно определить, чем можно будет поживиться по ходу дела. Ничего не получилось из попыток организовать личную встречу между Гитлером и

Сталиным после подписания Трехстороннего пакта. Каждый из лидеров сделал все от него зависящее, чтобы избежать этой встречи, заявляя, что не может покинуть страну, а, казалось бы, естественное место встречи — в Брест-Литовске, на границе — несло в себе слишком много тяжелых исторических воспоминаний.

13 октября 1940 года Риббентроп написал пространное письмо Сталину, давая собственную интерпретацию событиям, происшедшим за год, истекший с момента его поездки в Москву. Для министра иностранных дел это было невероятным нарушением протокола — адресоваться не к своему визави, но к руководителю, формально не занимавшему никакой государственной должности (Сталин тогда являлся исключительно Генеральным секретарем Коммунистической партии).

Отсутствие дипломатической утонченности в письме Риббентропа компенсировалось пышностью слога. Возникновение советско-германских разногласий по поводу Финляндии и Румынии он объяснял «британскими махинациями», не уточняя, как это Лондону удалось добиться подобного успеха. И он настаивал на том, что Трехсторонний пакт не направлен против Советского Союза, а наоборот, участие Советского Союза в дележе послевоенной добычи между европейскими руководителями и Японией будет только приветствоваться. В заключение Риббентроп пригласил Молотова нанести ответный визит в Берлин. По этому случаю Риббентроп остановился на возможности обсуждения вопроса присоединения Советского Союза к Трехстороннему пакту[431].

Сталин был чересчур осторожен, чтобы делить пока еще отсутствующую добычу или выходить на передний край конфронтации, затеянной другими. И все же хотел оставить за собой право участвовать в разделе наследия, захваченного Гитлером в случае падения Великобритании, как он это сделает в 1945 году, когда вступит в войну с Японией на последнем ее этапе и получит за это хорошую цену. 22 октября Сталин ответил на письмо Риббентропа, выражая готовность к встрече, смешанную с иронией. Поблагодарив Риббентропа за «поучительный анализ недавних событий», он, однако, воздержался от их личной оценки. И, возможно, чтобы показать, что в игры с протоколом могут играть двое, он от имени Молотова принял приглашение приехать в Берлин и при этом в одностороннем порядке назвал очень близкую дату: 10 ноября, менее чем через три недели с того момента[432].

Гитлер принял это предложение тотчас же, что стало поводом нового

недоразумения. Сталин истолковал скорость, с которой ответил Гитлер, как доказательство того, что отношения с Советами были для Гитлера столь же жизненно важными, как и год назад, и, следовательно, твердая политика давала свои плоды. Готовность Гитлера, однако, проистекала из необходимости как можно скорее приступить к разработке планов нападения на Советский Союз, коль скоро он собирался сделать это весной 1941 года.

Глубина недоверия потенциальных партнеров друг к другу проявилась еще до начала встречи. Молотов отказался ехать в немецком поезде, направленном к границе, чтобы доставить его в Берлин. Советская делегация, безусловно, была озабочена тем, что элегантность немецких вагонов могла равняться совершенству повсеместно установленных подслушивающих устройств. (В конце концов немецкие вагоны были прицеплены в хвост советского поезда, тележки которого были специально изготовлены так, чтобы их можно было на границе приспособить к более узкой европейской колее.)

Наконец 12 ноября начались переговоры. Молотов, обладавший способностью выводить из себя гораздо более уравновешенных личностей, чем Гитлер, вел себя с нацистским руководством колоче и яростно-неуступчиво. Врожденная его агрессивность подкреплялась паническим страхом перед Сталиным, которого он боялся гораздо больше, чем Гитлера. Молотов был одержим ужасом — состоянием, типичным для дипломатов в продолжение всего советского периода, но особенно остро проявлявшимся во времена Сталина. Участники переговоров с советской стороны всегда были озабочены тем, какие проблемы возникнут у них дома, а не положением на международной арене.

Поскольку министры иностранных дел редко являлись членами Политбюро (Громыко стал им лишь в 1973 году, через шестнадцать лет после назначения министром иностранных дел), им всегда грозила опасность превратиться в козлов отпущения, если переговоры пойдут не так. Более того, поскольку Советы питали уверенность в том, что история в конечном счете на их стороне, они скорее готовы были стоять насмерть, чем идти к поиску широкомасштабных решений. Любые переговоры с советскими дипломатами превращались в испытания на выносливость; нельзя было ждать никаких уступок до тех пор, пока советский руководитель переговоров не убеждался сам — и в особенности не убеждал тех, кто в Москве читал

его телеграммы, — что у другой стороны исчерпана вся ее гибкость до последней капли. На основе подобного рода дипломатической партизанщины они добивались всего того, чего можно было добиться давлением и настойчивостью, но обычно пропускали возможность достижения настоящего дипломатического прорыва.

Советские участники переговоров, где настоящим мастером игры был Громыко, умели блестяще выматывать оппонентов, шедших с заранее сформулированными идеями к возможно более скорому решению вопроса. С другой стороны, советские дипломаты имели обыкновение за деревьями не видеть леса. Так, в 1971 году они упустили возможность саммита с Никсоном еще до того, как он избрал путь установления отношений с Пекином, потеряв много месяцев на утряску по существу бессмысленных предварительных условий, которые целиком и полностью отпали сами собой, как только Вашингтон избрал китайский вариант.

Сочетание двух менее коммуникабельных людей, чем Гитлер и Молотов, трудно себе представить. Во всяком случае, Гитлер вообще был не из тех, кто годился для переговоров, ибо предпочитал произносить перед собеседниками бесконечные монологи, не проявляя ни малейшего желания выслушивать ответ, если он вообще давал время для ответа. Встречаясь с иностранными лидерами, Гитлер обычно ограничивался страстными утверждениями общих принципов. В те немногие разы, когда он реально участвовал в переговорах — как это было с австрийским канцлером Куртом фон Шушнигом или с Невиллом Чемберленом, — он действовал в вызывающе-дерзкой манере и выдвигал предварительные условия, от которых редко отступал. С другой стороны, Молотова интересовали не столько принципы, сколько их практическое применение — пространства для компромисса у него не было.

В ноябре 1940 года Молотов очутился по-настоящему в трудном положении. Сталину вообще мудрено было угодить, поскольку он разрывался между нежеланием внести свой вклад в германскую победу и тревогой за то, что, если Германия победит Великобританию без советской помощи, можно лишиться своей доли в завоеваниях Гитлера. Что бы ни произошло, Сталин был преисполнен решимости никогда не возвращаться к версальским установлениям и пытался укрепить свою позицию, просчитывая каждый шаг. Содержание секретного протокола и последующие события внесли полнейшую ясность для немцев в отношении того, как советский руководитель представляет; себе соответствующее урегулирование. Действительно,

все стало ясно до мелочей. В этом смысле визит Молотова в Берлин представлялся как возможность разработки конкретных деталей. Что же касается западных демократий, то Сталин воспользовался визитом к нему в июле 1940 года вновь назначенного британского посла сэра Стаффорда Криппса, чтобы отвергнуть какую бы то ни было возможность возвращения к версальскому порядку вещей. Когда же Криппс выступил с утверждением, что падение Франции должно заставить Советский Союз быть заинтересованным в восстановлении равновесия сил, Сталин ледяным тоном заметил:

«Так называемое европейское равновесие до сих пор угнетало не только Германию, но и Советский Союз. Поэтому Советский Союз примет все меры, чтобы предотвратить восстановление прежнего равновесия сил в Европе»[433].

На дипломатическом языке выражение «все меры» обычно включает в себя возможность войны.

Для Молотова ставки и так были достаточно высоки. Поскольку прежнее поведение Гитлера не оставляло ни малейших сомнений в том, что 1941 год обязательно будет ознаменован какой-либо крупной кампанией, представлялось вполне вероятным, что, если Сталин не присоединится к нему в нападении на Британскую империю, тот прекрасно сможет напасть на Советский Союз. Таким образом, Молотову был предъявлен ультиматум де-факто, замаскированный под соблазн, — а Сталин переоценил степень продолжительности отсрочки.

Риббентроп начал переговоры заявлением о неизбежности германской победы. Он призывал Молотова присоединиться к Трехстороннему пакту, не обращая внимания на то, что этот договор являлся логическим продолжением ранее существовавшего «антикоминтерновского пакта». На этой основе, утверждал Риббентроп, было бы возможно «установить сферы влияния для России, Германии, Италии и Японии на весьма широкой основе»[434]. По словам Риббентропа, это не сулило конфликта, ибо каждый из будущих партнеров был более всего заинтересован в продвижении на юг. Япония двинется в Юго-Восточную Азию, Италия — в Северную Африку, а Германия потребует себе свои бывшие колонии в Африке. После множества оговорок, предназначенных для того, чтобы подчеркнуть свой исключительный ум, Риббентроп в итоге определил, какого рода приз придерживается для Советского Союза: «...Не пожелает ли Россия в перспективном плане обратиться к Югу, чтобы получить

естественный выход к открытому морю, столь важный для России»[435]

Каждый, кто был хотя бы мало-мальски знаком с публичными выступлениями Гитлера, мог бы понять, что это полнейшая бессмыслица. Африка всегда низко котировалась у нацистов. Не только для Гитлера она никогда не представляла особого интереса, но и Молотов, вероятно, вволю начитавшись «Майн кампф», осознавал, что на самом деле Гитлеру нужно «жизненное пространство» в России. Тихо выслушав программное заявление Риббентропа, Молотов затем деловито спросил даже с некоторой долей вызова, к какому конкретно морю Советский Союз ищет выход. Вновь погрузившись в помпезное красноречие, Риббентроп в конце концов упомянул Персидский залив, точно он уже принадлежал Германии и она им распоряжалась:

«Вопрос заключается в том, можно ли будет и в будущем продолжать доброе сотрудничество... нельзя ли будет в долгосрочном плане найти выгодный для России выход к морю в направлении Персидского залива и Аравийского моря, а также нельзя ли будет реализовать и иные чаяния России в этой части Азии, не представляющей для Германии никакого интереса».[436]

Молотова столь сногшибательное предложение совершенно не заинтересовало. Германия еще не овладела тем, что намеревалась предложить, а Советский Союз не нуждался в Германии, чтобы завоевать эти территории для себя. Выразив в принципе готовность присоединиться к Трехстороннему пакту, Молотов немедленно ограничил эту уступку заявлением, что «требуется исключительная точность при определении сфер влияния на довольно длительный срок»[437]. Это, конечно, нельзя было завершить в рамках одной поездки в Берлин, и потребовались бы дополнительные консультации, в частности, ответный визит Риббентропа в Москву.

В середине того же дня Молотов встретился с Гитлером в только что отстроеной и отделанной мрамором Канцелярии. Все было сделано для того, чтобы внушить благоговейный трепет пролетарскому министру из Москвы. Молотов был проведен по широкому коридору, по обеим сторонам которого с интервалом в несколько ярдов стояли статные ээсовцы в черных мундирах по стойке «смирно» и брали «на караул», отдавая нацистское приветствие. Двери в кабинет Гитлера доходили до самого потолка, и их распахнули двое ээсовцев высоченного роста, — их поднятое вверх оружие образовывало арку, под которой Молотов прошел в помещение, где уже находился Гитлер. Сидя за письменным столом у дальней стены огромного зала,

Гитлер несколько секунд молчаливо глядел на вошедших, а затем вскочил и, не говоря ни слова, пожал руки каждому члену советской делегации. Когда он пригласил их сесть в гостевые кресла, раздвинулись занавеси, и к собравшимся присоединился Риббентроп с группой советников[438].

Произнеся перед гостями речь о нацистском понимании сущности величия, Гитлер перешел к цели встречи. Он предложил договориться относительно стратегии долгосрочного характера, поскольку как в Германии, так и в Советском Союзе «у кормила власти стоят люди, обладающие достаточным авторитетом, чтобы заставить своей страны развиваться в определенном направлении»[439]. Гитлер, оказывается, имел в виду разработку вместе с Советским Союзом своеобразной «доктрины Монро» для Европы и Африки, колониальные территории которых Германия и Советы поделили между собой.

Демонстрируя, что на него ни в малейшей степени не произвела впечатление церемония приема, ибо заложенная в нее трактовка величия, похоже, позаимствована из какой-нибудь венской оперетты, Молотов занялся постановкой конкретных вопросов: в чем конечная цель Трехстороннего пакта? Как Гитлер определяет провозглашенный им «новый порядок»? Что такое «расширенная азиатская сфера влияния»? Каковы германские намерения на Балканах? Сохраняется ли до сих пор понимание того, что Финляндия находится в советской сфере влияния?

Никто еще не беседовал с Гитлером подобным образом и не подвергал его такого рода перекрестному допросу. В любом случае Гитлер не мог потерпеть, чтобы ограничивалась свобода действий Германии там, куда способны были добраться его армии, — и уж конечно, не в Европе.

На следующий день перед встречей с Гитлером был дан спартанский завтрак, но существенного продвижения вперед так и не произошло. Гитлер, по обыкновению, начал с продолжительного монолога, в продолжение которого объяснял, как намерен поделить мир вместе со Сталиным:

«После завоевания Англии Британская империя станет крупнейшим в мире обанкротившимся имением... И внутри этих обанкротившихся владений для России найдется доступ к незамерзающему и по-настоящему открытому океану. Пока что сорок пять миллионов англичан правят шестьюстами миллионами обитателей Британской империи. Но это меньшинство вот-вот будет сломлено...

При данных обстоятельствах возникают перспективы мирового масштаба... Участие России в разрешении всех этих проблем вполне может быть организовано. Все страны, которые заинтересованы в имуществе банкрота, должны прекратить споры друг с другом и заняться исключительно решением судьбы Британской империи»[440].

Сардонически ответив, что, исключая непонятное, он склонен согласиться с понятным, Молотов пообещал доложить остальное в Москве. Принимая в принципе заявление Гитлера, что у Советского Союза и Германии нет конфликтных интересов, он тотчас же решил проверить его утверждение на практике и спросил, какой будет реакция Германии, если Советский Союз выдаст гарантию Болгарии, сходную с той, что Германия выдала Румынии (это, по существу, заблокировало бы дальнейшее распространение германского влияния на Балканы). И что будет, если Советский Союз аннексирует Финляндию? Да, принцип самоопределения не входил в число критериев советской внешнеполитической деятельности, и Сталин бы не поколебался аннексировать территории, заселенные нерусским населением, если бы был уверен в невмешательстве Германии. Мертвы были не только территориальные, но и моральные принципы версальского урегулирования.

Напряженная атмосфера встречи так и не разрядилась, когда Гитлер довольно раздраженно бросил, что Болгария, похоже, не обращалась с просьбой о вступлении в союз с Советами. А против аннексии Финляндии он возражал на том основании, что это выходит за рамки секретного протокола, как бы не замечая того, что именно проблемы, выходящие за рамки этого протокола, и были целью визита Молотова в Берлин. Встреча окончилась на грустной ноте. Когда Гитлер встал, бормоча нечто относительно возможности британского воздушного налета, Молотов в очередной раз повторил свое основное заявление: «Советский Союз, как великая держава, не может оставаться в стороне от великих свершений в Европе и Азии»[441]. Не уточняя, чем ответит Советский Союз, если Гитлер удовлетворит его пожелания, Молотов просто пообещал, что после доклада Сталину передаст Гитлеру соображения своего вождя относительно подходящей сферы влияния.

Гитлер был так раздражен, что не посетил обед, данный Молотовым в советском посольстве, хотя большинство нацистских руководителей там присутствовали. Обед был прерван воздушной тревогой в связи с налетом англичан, и, поскольку в

советском посольстве не было бомбоубежища, гости рассыпались во все стороны. Нацистские лидеры унеслись в лимузинах, советская делегация помчалась во дворец Бельвю (где в настоящее время останавливается президент Германии во время посещения Берлина), а Риббентроп забрал с собой Молотова и отправился с ним в расположенное неподалеку личное бомбоубежище. Там он продемонстрировал немецкий проект документа о присоединении Советского Союза к Трехстороннему пакту, похоже, не понимая, что у Молотова не было ни намерений, ни полномочий выходить за рамки сказанного Гитлеру. Молотов, со своей стороны, проигнорировал этот проект и вновь затронул как раз те самые проблемы, от которых ушел Гитлер, в который раз подчеркнув, что Советский Союз не может быть обойден ни в одном из европейских вопросов. Затем он конкретно перечислил Югославию, Польшу, Грецию, Швецию и Турцию, преднамеренно не касаясь блестящих перспектив, связанных с Индийским океаном, ранее развернутых перед ним Риббентропом и Гитлером[442].

За вызывающей непреклонностью Молотова скрывалась попытка выиграть время и дать возможность Сталину разрешить почти неразрешимую головоломку. Гитлер предлагал партнерство в деле разгрома Великобритании. Но не требовалось особого воображения, чтобы понять, что после этого Советский Союз окажется гол и беззащитен перед лицом предполагаемых партнеров по Трехстороннему пакту, бывших в свое время коллегами по «антикоминтерновскому пакту». С другой стороны, если Великобритании суждено было рухнуть без участия Советского Союза, для Советского Союза было бы желательным укрепить свои стратегические позиции перед неизбежным столкновением с Гитлером.

В конце концов Сталин так и не решил, какого курса придерживаться. 25 ноября Молотов направил Риббентропу сталинские условия присоединения к Трехстороннему пакту. Германия должна была вывести свои войска из Финляндии и предоставить Советскому Союзу свободу действий в этой стране; Болгарии предписывалось вступить с Советским Союзом в военный союз и позволить ему иметь военные базы на ее территории; Турции предлагалось допустить наличие советских баз на ее территории, включая Дарданеллы. Германия должна была оставаться в стороне, если Советскому Союзу придется добиваться осуществления своих стратегических целей на Балканах и в Дарданеллах при помощи силы. В дальнейшем развитие предложения, уже сделанного Гитлером, что территория к югу

от Баку и Батуми будет считаться признанной сферой советских интересов, Сталин теперь определил эту сферу, как включающую в себя Иран и простирающуюся до Персидского залива. Что касается Японии, то ей ничего иного не оставалось, как отказаться от претензий на право разработки полезных ископаемых на острове Сахалин[443]. Сталин обязан был знать, что эти условия никогда не будут приняты, ибо они ставили предел дальнейшей германской экспансии на Востоке и в них не содержалось советских сопоставимых ответных мер.

Сталинский ответ Гитлеру являлся, таким образом, сигналом того, что Сталин полагал входящим в советскую сферу интересов, и предупреждением, что Советы будут сопротивляться ее сужению, по крайней мере, дипломатическим путем. В течение последующего десятилетия, используя тактику царей, Сталин займется созданием этой сферы, где можно, при помощи соглашений, где необходимо, при помощи силы. Он добивался достижения целей, поставленных в меморандуме от 25 ноября, вначале в унисон с Гитлером, затем на стороне демократических стран против Гитлера и, наконец, посредством конфронтации с демократическими странами. А затем, где-то ближе к концу жизни, Сталин, похоже, намеревался предпринять попытку договориться с демократическими странами в самом широком плане в целях сохранения того, что он непрестанно считал советской сферой влияния (см. гл. 20).

Гитлер, однако, уже рвался ковать железо, пока горячо. Стоило только Молотову прибыть в Берлин, как Гитлер отдал распоряжение продолжать подготовительную работу по разработке плана нападения на Советский Союз с расчетом принять окончательное решение тогда, когда будет утвержден оперативный план[444]. По мнению Гитлера, решение это должно было заключаться в том, до или после разгрома Великобритании следует напасть на Советский Союз. А с визитом Молотова решился и этот вопрос. 14 ноября, в тот день, когда Молотов покинул Берлин, Гитлер распорядился, чтобы штабные планы на лето приняли форму оперативной концепции нападения на Советский Союз летом 1941 года. Получив сталинское предложение от 25 ноября, он отдал распоряжение ответа не посылать. Да Сталин его и не запрашивал. Германские военные приготовления к войне с Россией развернулись во всю мощь.

Все время продолжают серьезные споры относительно того, осознавал ли Сталин влияние избранной им тактики на личность, подобную Гитлеру. Ибо ему, по аналогии

с самим собой, представлялось, что Гитлер холоден и расчетлив и не бросит по собственной воле свои силы на огромные пространства России прежде, чем завершит войну на Западе. В этом смысле Сталин был неправ. Гитлер верил в то, что все препятствия возможно преодолеть посредством силы воли. Типичной его реакцией на сопротивление был перевод его в план личного противостояния. Гитлер никогда не позволял благоприятным условиям полностью созреть, ибо скорее всего воспринимал процесс выжидания как символ того, что обстоятельства могут брать верх над его волей.

Сталин был не только терпеливее, но и, как коммунист, в большей степени уважал силы исторического процесса. За почти тридцать лет своего правления он ни разу не ставил все одним махом на карту и ошибочно полагал, что Гитлер тоже никогда не пойдет на это. Но Сталин безумно боялся того, что поспешное советское развертывание сил может спровоцировать германский превентивный удар. И он неверно понял поспешность Гитлера, с какой тот стремился зачислить его в число участников Трехстороннего пакта, приняв эту поспешность за доказательство того, что 1941 год нацисты собираются посвятить дальнейшим попыткам сломить Великобританию. Похоже, Сталин был уверен, что следующий за ним 1942 год и будет решающим годом войны с Германией. Сталинский биограф Дмитрий Волкогонов сказал мне, что Сталин держал в запасе вариант превентивного нападения на Германию, и это может объяснить, почему в 1941 году было начато столь дальнее развертывание советских войск. Ожидая, что Гитлер, прежде чем напасть, предъявит какие-либо существенные требования, Сталин, возможно, готов был в значительной части пойти ему навстречу, по крайней мере, в 1941 году.

Все эти расчеты провалились, ибо базировались на том, что Гитлер также прибегает к разумным расчетам; однако Гитлер считал для себя необязательным заниматься нормальными вычислениями степени риска. Вряд ли найдется хоть один год, когда бы Гитлер не предпринимал каких-либо шагов, опасных с точки зрения его окружения: перевооружение в 1934 — 1935 годах; введение войск в Рейнскую демилитаризованную зону в 1936 году; оккупация Австрии и Чехословакии в 1938 году; нападение на Польшу в 1939 году; кампания против Франции в 1940 году: И Гитлер не собирался делать 1941 год исключением. С учетом особенностей его личности, он мог бы отказаться от конфронтации с Советским Союзом только в том

случае, если бы тот с минимумом оговорок примкнул к Трехстороннему пакту и принял бы участие в военных операциях против Великобритании на Среднем Востоке. Но, конечно, когда Великобритания была бы разбита, а Советский Союз изолирован, он обязательно обратился бы к исполнению заветной мечты о завоеваниях на Востоке.

И никакие умные маневры Сталина не давали его стране избежать прошлогодней участи Польши. Польское правительство могло спастись от германского нападения в 1939 году, лишь согласившись отдать «польский коридор» и Данциг, а также присоединившись к нацистскому крестовому походу против Советского Союза, по окончании которого Польша все равно оказалась бы во власти Гитлера. Теперь, годом позже, казалось, что Советский Союз может откупиться от германской агрессии, лишь приняв нацистские предложения (ценой полнейшей изоляции и посредством вступления в рискованную войну против Великобритании). В итоге, однако, Советский Союз все равно оказался бы перед лицом нападения Германии.

Обладая стальными нервами, Сталин следовал двойственной политике: сотрудничал с Германией и одновременно геополитически ей противостоял, словно не боялся никакой опасности. И хотя Сталин не желал вступать в Трехсторонний пакт, он все же предоставил Японии то единственное преимущество, которое бы ей дало членство Советского Союза в Трехстороннем пакте. Японии был обеспечен тыл для азиатских авантур.

Хотя Сталин безусловно не знал инструкций, которые Гитлер давал своим генералам, о том, что нападение на СССР даст возможность Японии открыто выступить против Соединенных Штатов, советский руководитель пришел к такому выводу самостоятельно и занялся устранением подобного побудительного мотива. 13 апреля 1941 года он заключил в Москве договор о ненападении с Японией, следуя в основном той же самой тактике в отношении роста напряженности в Азии, какую применил в отношении польского кризиса восемнадцатью месяцами ранее. В каждом из этих случаев он устранял для агрессора риск борьбы на два фронта и отводил войну от советской территории, подстрекая, как он считал, капиталистическую гражданскую войну в других местах. Пакт Гитлера — Сталина дал ему двухлетнюю передышку, а договор о ненападении с Японией позволил через шесть месяцев перебросить армейские части с Дальнего Востока для участия в битве под Москвой,

битве, которая решила исход войны в его пользу.

После заключения договора о ненападении Сталин сделал беспрецедентный жест и проводил японского министра иностранных дел Иосуге Мацуоку на вокзал. Это было признаком особой важности для Сталина договора с Японией, а также поводом в присутствии всего дипломатического корпуса призвать Германию к переговорам и одновременно придать себе еще больший вес как партнеру. «Европейская проблема может быть разрешена естественным путем, если Япония и СССР будут сотрудничать», — заявил Сталин министру иностранных дел достаточно громко, чтобы все могли это слышать. Возможно, для того, чтобы намекнуть этим, что теперь, когда для восточной границы обеспечена безопасность, его положение в Европе, как партнера по переговорам, улучшилось. Так что теперь Германии незачем воевать с Советским Союзом, чтобы обеспечить Японии тыл в войне с Соединенными Штатами.

«Не только европейская проблема», — отвечал японский министр иностранных дел Мацуока. «Да, во всем мире все можно будет урегулировать!» — согласился Сталин. Если, конечно, воевать будут другие, должно быть, подумал он, а Советский Союз получит компенсацию за их успехи.

И чтобы довести свои слова до сведения Берлина, Сталин затем подошел к германскому послу фон дер Шуленбургу, обнял его за плечи и объявил: «Мы должны оставаться друзьями, а вы должны сделать все для этого». Чтобы наверняка использовать все каналы, включая военный, и довести свои слова до нужного адреса, Сталин затем подошел к исполняющему обязанности германского военного атташе и громко произнес: «Мы останемся с вами друзьями, что бы ни произошло»[445]

У Сталина были причины опасаться поведения Германии. Как Молотов намекнул в Берлине, делался нажим на Болгарию в целях принятия советской гарантии. Сталин также в апреле 1941 года вел переговоры о заключении с Югославией договора о дружбе и ненападении, как раз в тот самый момент, когда Германия запрашивала права на транзитный проход своих войск через Югославию для удара по Греции, — такого рода действия, само собой, подкрепляли сопротивление Югославии германскому нажиму. Как выяснилось, советский договор с Югославией был подписан всего за несколько часов до того, как германская армия пересекла югославскую границу.

Главная слабость Сталина как государственного деятеля заключалась в том, что он имел тенденцию приписывать своим оппонентам ту же самую способность к холодному расчету, какой обладал он сам и чем весьма гордился. Это привело Сталина к недооценке последствий собственной неуступчивости и переоценке возможностей собственного воздействия в плане умиротворения, как бы редко они ни представлялись. Именно подобный подход испортил отношения с демократическими странами после войны. В 1941 году он был безоговорочно убежден до самого момента пересечения немцами границы, что в последнюю минуту способен отвести нападение, организовав переговоры, в ходе которых могли бы обсуждаться крупномасштабные уступки.

Сталин, бесспорно, делал серьезнейшие попытки предотвратить нападение Германии. 6 мая 1941 года советский народ узнал, что Сталин возложил на себя обязанности премьер-министра, которые прежде исполнял Молотов, — тот, правда, стал заместителем премьер-министра и оставался министром иностранных дел. Так Сталин впервые вышел из партийного уединения и открыто принял на себя ответственность за повседневный ход дел.

Лишь в обстановке исключительной опасности мог Сталин отказаться от ореола угрожающей загадочности, который был его любимым прикрытием. Тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Вышинский заявил послу вишійской Франции, что занятие Сталиным государственного поста «является величайшим событием за всю историю Советского Союза с момента его возникновения»[446]. Фон дер Шуленбург полагал, что разгадал намерения Сталина. «По моему мнению, — заявил он Риббентропу, — можно с уверенностью утверждать, что Сталин поставил перед собой внешнеполитическую задачу исключительной важности и надеется разрешить ее ценою личных усилий. Я твердо уверен в том, что Сталин в нынешней серьезной, с его точки зрения, международной обстановке поставил перед собою цель уберечь Советский Союз от конфликта с Германией»[447].

Несколько последующих недель подтвердили точность предвидения германского посла. Как бы посылая успокоительный сигнал Германии, ТАСС в сообщении от 8 мая отрицал факт необычной концентрации советских войск на западных границах. В течение следующих недель Сталин разорвал дипломатические отношения со всеми европейскими правительствами в изгнании, базирующимися в Лондоне, сопровождая

это болезненными разъяснениями, что теперь все вопросы будут решаться с германским посольством. Одновременно Сталин признал марионеточные правительства, которые Германия поставила на некоторых из оккупированных территорий. В целом, Сталин лез вон из кожи, чтобы заверить Германию в признании им всех ее фактических завоеваний.

Чтобы устранить любой возможный предлог для агрессии, Сталин не дал передовым советским соединениям перейти на повышенную боевую готовность. И оставил без внимания британские и американские предупреждения о неминуемом германском нападении — частично, возможно, потому, что подозревал англо-саксов в желании втравить его в схватку с Германией. Хотя Сталин запрещал открывать огонь по все чаще нарушающим границы самолетам-разведчикам, в отдалении от границы он разрешал проведение учений по противовоздушной обороне и призыв резервистов. Сталин явно решил, что наилучший шанс для сделки в последний момент заключается в том, чтобы убедить Германию в отсутствии у него дурных намерений, особенно поскольку ни одна из контрмер не могла иметь решающего значения.

13 июня, за девять дней до нападения Германии, ТАСС опубликовал очередное официальное заявление, отрицавшее широко распространившиеся слухи о неизбежности войны. Советский Союз, говорилось в заявлении, намеревается соблюдать все существующие соглашения с Германией. В сообщении ТАСС также делался намек в широком плане на возможность проведения новых переговоров, чтобы добиться более приемлемых решений по всем спорным вопросам. То, что Сталин был действительно готов пойти на крупные уступки, видно из реакции Молотова, когда 22 июня фон дер Шуленбург прибыл к последнему с германской декларацией об объявлении войны. Молотов жалобно запротестовал и уверил, что Советский Союз был готов убрать все войска с границы, чтобы успокоить Германию, а все прочие проблемы разрешить путем переговоров. Молотов заявил, как бы защищаясь, что было для него весьма нехарактерно: «Такого мы не заслужили!»[448]

Похоже, Сталин был до такой степени потрясен тем, что Германия объявила ему войну, что впал в некое подобие депрессии, продолжавшееся около десяти дней. Однако 3 июля он вновь взял бразды правления в свои руки и произнес по радио программную речь. В отличие от Гитлера, Сталин не был прирожденным оратором. Он редко выступал публично, а когда выступал, был исключительно педантичен? В

этом выступлении он тоже сухо говорил о гигантских задачах, вставших перед народами России. Однако даже подобная констатация фактов вселяла некую решимость и вызывала ощущение того, что с этим делом, каким бы огромным оно ни казалось, можно справиться.

«История показывает, — заявил Сталин, — что непобедимых армий нет и не бывало». Давая приказ на уничтожение всего промышленного оборудования и подвижного состава и на формирование партизанских отрядов за линией фронта, Сталин зачитывал ряды цифр, словно бухгалтер. Единственную уступку риторике он сделал в начале речи. Никогда еще Сталин не обращался к народу на личном уровне — и никогда больше этого не сделает: «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»[449]

Гитлер наконец-то получил войну, которую хотел. И predetermined свою судьбу, которую, если это возможно, он тоже возжаждал. Германские руководители, воюющие теперь на два фронта, второй раз за одно поколение переоценили себя. Примерно 70 миллионов немцев воевали, имея против себя примерно 700 миллионов противников, — именно так и получилось, когда Гитлер в декабре 1941 года вовлек в войну Америку.

Похоже, что даже Гитлер был потрясен задачей, которую сам перед собой поставил. За несколько часов до нападения он заявил своему штабу: «У меня такое ощущение, будто бы я толчком распахиваю дверь в темную комнату, где раньше никогда не бывал и не знаю, что находится за этой дверью»[450].

Сталин делал ставку на рациональность поведения Гитлера проиграл; Гитлер сделал ставку на скорое падение Сталина и тоже проиграл. Но если сталинская ошибка была поправимой, то гитлеровская — нет.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Америка возвращается на международную арену:

Франклин Делано Рузвельт

Для современных политических руководителей, правящих при помощи опросов общественного мнения, роль Рузвельта в деле привлечения изоляционистского народа к участию в войне является предметным уроком по содержанию понятия «руководство» в демократическом обществе. Рано или поздно угроза европейскому равновесию сил вынудила бы Соединенные Штаты вмешаться, с тем чтобы остановить стремление Германии к мировому господству. Очевидная для всех, всевозрастающая мощь Америки не могла не вовлечь ее в центр международных событий. Но то, что это случилось так быстро и столь бесповоротно, — заслуга Франклина Делано Рузвельта.

Все великие лидеры шествуют в одиночку. Их неповторимость проистекает из способности распознать вызов, еще далеко не очевидный для их современников. Рузвельт вовлек изоляционистскую нацию в войну между странами, конфликт между которыми несколькими годами ранее считался несовместимым с американскими ценностями и не имеющим значения для американской безопасности. После 1940 года Рузвельт убедил Конгресс, за несколько лет до того подавляющим большинством голосов принявший серию законов о нейтралитете, санкционировать всевозрастающую американскую помощь Великобритании, остановившись лишь перед непосредственным участием в военных действиях, а иногда даже переступая эту черту. В конце концов японское нападение на Пирл-Харбор устранило последние сомнения. Рузвельт оказался в состоянии убедить общество, которое в течение двух столетий было уверено в собственной неуязвимости, до какой степени смертельно опасна победа стран «оси». И он проследил за тем, чтобы на этот раз вовлеченность Америки означала бы лишь первый шаг на ее пути к постоянным обязательствам международного характера. Во время войны именно его руководство скрепляло союз и формировало многосторонние институты, которые продолжают обслуживать международное сообщество и по сей день.

Ни один из президентов, за исключением Авраама Линкольна, не сыграл столь решающей исторической роли в переменах в поведении Америки. Рузвельт принес

присягу при вступлении в должность тогда, когда нация испытывала неуверенность, когда вера Америки в безграничные способности Нового Света была серьезнейшим образом поколеблена «Великой депрессией». Везде демократии, казалось, терпели поражение, и антидемократические правительства как левого, так и правого толка возникали на их месте.

И когда Рузвельт вернул надежду своей собственной стране, судьба возложила на него обязанность защищать демократию по всему земному шару. Никто не описал эту сторону заслуг Рузвельта лучше, чем Исая Берлин:

«[Рузвельт] глядел в будущее спокойным взором, словно хотел сказать: „Пусть оно настанет, каким бы оно ни было, и послужит зерном для помола на нашей великой мельнице. Мы используем его целиком на благо..." В безответственном мире, казалось, поделенном злобными фанатиками, рвущимися к его разрушению, при наличии сбитого с толку населения, бегущего неведомо куда, лишенных энтузиазма мучеников за дело, смысла которого они не понимали, он верил в собственную способность выстроить, пока он у рычагов власти, плотину и остановить этот жуткий поток. Он обладал силой характера, энергией и ловкостью диктаторов, а был на нашей стороне»[451].

Рузвельт уже успел побывать заместителем министра военно-морского флота в правительстве Вильсона и кандидатом от демократической партии на пост вице-президента на выборах 1920 года. Многие из лидеров, и среди них де Голль, Черчилль и Аденауэр, вынуждены были в период отхода от общественной жизни примириться с одиночеством — неотъемлемой расплатой за пройденный путь к величию. Рузвельту одиночество было навязано полиомиелитом, которым он заболел в 1921 году. Благодаря исключительной концентрации воли он сумел преодолеть немощь и научился стоять, опираясь на помочи, и даже делать несколько шагов, появляясь перед публикой, словно он вовсе не парализован. И до доклада Конгрессу по поводу Ялты в 1945 году Рузвельт всегда произносил важные речи стоя. А поскольку средства массовой информации были заодно с Рузвельтом и помогали ему играть роль с достоинством, подавляющее большинство американцев понятия не имело о степени инвалидности Рузвельта, и к их представлению о нем не примешивалось чувство жалости.

Рузвельт, лидер, преисполненный энтузиазма, использовавший собственное

очарование, чтобы поддерживать остроту, представлял собой противоречивое сочетание политического манипулятора и визионера. Он чаще правил, повинаясь инстинкту, чем благодаря анализу, и вызывал прямо противоположные ощущения[452]. Как это подытожил Исайя Берлин, Рузвельт обладал серьезными недостатками, включая беспринципность, безжалостность и цинизм. И все же Берлин делает вывод, что в итоге они бесспорно перевешивались его положительными чертами:

«Его недостатки уравнивались в глазах его сторонников качествами редкого и вдохновляющего характера: он был великодушен и обладал широчайшим политическим горизонтом, богатейшим воображением, пониманием времени, в котором жил, и направления движения великих новых сил, порожденных двадцатым столетием...»[453]

Таков был президент, придавший Америке ведущую роль в международном масштабе; вопросы войны и мира, прогресса или загнивания на всем земном шаре стали зависеть от его провидения и его действий.

Путь Америки от вступления в первую мировую войну до активного участия во второй оказался долгим — ибо был прерван почти полным поворотом нации к изоляционизму. Глубина тогдашнего отвращения американцев к международной политике наглядно иллюстрирует величие рузвельтовских достижений. И потому необходимо дать краткий обзор исторического фона, на котором действовал Рузвельт как политик.

В 20-е годы настроение Америки было противоречивым по сути: страна колебалась между готовностью утверждать универсально применимые принципы и необходимостью их оправдывать в рамках изоляционистской внешней политики. Американцы взялись с еще большим пылом выступать на традиционные темы своей внешней политики: об уникальном характере миссии Америки как образца свободы, о моральном превосходстве демократической внешней политики, о тождестве личной и общественной морали, о важности открытой дипломатии и о замене принципа равновесия сил международным консенсусом в рамках Лиги наций.

Все эти предположительно универсальные принципы применялись во имя американского изоляционизма. Американцы все еще не верили в то, что за пределами Западного полушария может в принципе существовать угроза их безопасности.

Америка 20 — 30-х годов отвергала даже свою собственную доктрину коллективной безопасности, коль скоро она могла вовлечь ее в свары отдаленных, воинствующих сообществ. Условия Версальского договора воспринимались как мстительные, а репарации как самоубийственные. Когда французы оккупировали Рур, Америка воспользовалась этим, чтобы вывести из Рейнской области еще оставшиеся там оккупационные войска. Устанавливая столь исключительные критерии для международного порядка, вильсонизм делало его несбыточно-недостижимым, ибо ни один международный порядок не мог соответствовать этим критериям.

Разочарование в результатах войны в значительной степени стерло различия между интернационалистами и изоляционистами. Даже самые что ни на есть либералы-интернационалисты более не считали, что в американских интересах поддерживать послевоенный порядок, изобиловавший ошибками и просчетами. И ни у одной политически значимой группировки не могло найтись ни единого доброго слова на тему равновесия сил. Тогдашний интернационализм был тождествен с членством в Лиге наций, а не с повседневным участием в международной дипломатии. И даже наиболее преданные интернационалисты настаивали на том, что «доктрина Монро» стоит превыше Лиги наций, и не признавали участия Америки в принудительных мероприятиях Лиги, даже если это были только экономические санкции.

Изоляционисты доводили эти основополагающие тезисы до логического завершения. Они нападали на Лигу наций из принципа, на том основании, что она подрывала обе исторические составляющие американской внешней политики — «доктрину Монро» и изоляционизм. Лига считалась несовместимой с «доктриной Монро» потому, что принцип коллективной безопасности позволял Лиге, мало того, требовал от Лиги вмешиваться в конфликты в пределах Западного полушария. Лига также считалась несовместимой с изоляционизмом потому, что обязывала бы Америку ввязываться в споры за пределами Западного полушария.

Во взглядах изоляционистов был определенный смысл. Если Западное полушарие целиком и полностью исключается из системы коллективной безопасности, что может помешать прочим странам мира организовать собственные региональные группировки и вывести их за пределы деятельности Лиги? В этом случае само существование Лиги наций явилось бы побудительным мотивом для воссоздания системы равновесия сил, пусть даже на региональной основе. На деле

интернационалисты и изоляционисты сходились на том, что поддерживали принцип двуединой внешней политики. Обе группировки отвергали иностранное вмешательство в дела Западного полушария, а также участие в механизмах принуждения Лиги за его пределами. Они поддерживали проведение конференций по разоружению, поскольку имел место безоговорочный консенсус в том смысле, что оружие порождает войны, а сокращение вооружений способствует миру. Они положительно относились к международно признанным принципам мирного урегулирования, вроде тех, что легли в основу пакта Бриана — Келлога, поскольку эти принципы не требовали подкрепления их силой. Наконец, Соединенные Штаты всегда с готовностью оказывали техническую помощь в финансовых вопросах, не порождающих никаких политических последствий, например, в разработке согласованных графиков выплаты репараций.

Пропасть в американском мышлении, разделявшая признание принципа и участие в его реализации путем принуждения, стала трагически очевидной после Вашингтонской конференции по морским делам 1921 — 1922 годов. Конференция была важна в двух отношениях. Она определяла по толки военно-морских вооружений для Соединенных Штатов, Великобритании и Японии и предоставила Соединенным Штатам право на флот, равный по размерам флоту Великобритании, а Японии — в размере трех-пятых от Флота Соединенных Штатов. Это условие подтверждало новую роль Америки как господствующей на Тихом океане наравне с Японией. Роль Великобритании на этом морском театре с тех пор становилась второстепенной. И, что было еще важнее, был создан еще один документ, так называемый «Договор четырех держав»: Японии, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, — предусматривавший мирное урегулирование споров и заменивший прежний англо-японский альянс 1902 года, что как бы открывало эру сотрудничества на Тихом океане. Но если бы один из участников «Договора четырех держав» отказался от соблюдения его условий, могли ли остальные трое принять против строптивца меры? «Четырехсторонний договор не включает в себя военных обязательств... Там нет обязательств, связанных с вооруженными силами, нет положений о союзе, нет письменно-юридических или моральных обязательств о совместной обороне...» — объяснял президент Гардинг скептически настроенному американскому сенату[454].

Государственный секретарь Чарлз Эванс Хьюз подкрепил слова президента ссылкой на известную всем участникам соглашения оговорку о том, что Америка ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в мероприятиях принудительного характера. Но сенат и это не удовлетворило. При ратификации «Договора четырех держав» сенат добавил собственную оговорку, гласившую, что этот договор не обязывает Соединенные Штаты к применению вооруженных сил даже в случае отражения агрессии[455]. Иными словами, соглашение как бы существовало само по себе; несоблюдение его не влекло за собой никаких последствий. Америка должна была принимать решение в каждом отдельном случае, как если бы никакого соглашения не существовало.

В рамках обычной многовековой дипломатической практики такого рода заявление выглядело невероятным: официально подписанный договор не предусматривал права на санкции за его нарушение, причем такого рода санкции следовало обсуждать с Конгрессом в каждом отдельном случае. Это было как бы преддверие дебатов между администрацией Никсона и Конгрессом в январе 1973 года после заключения мирного соглашения с Вьетнамом, когда Конгресс утверждал, что соглашение, ради которого американский народ воевал при трех президентах, принадлежавших к обеим партиям, не может повлечь за собой применения санкций в случае его нарушения. Согласно подобной теории, соглашения с Америкой лишь отражают настроение Вашингтона на данный момент; проистекающие из них последствия соответственно зависят от настроения Вашингтона на какой-либо иной момент— такого рода подход не очень-то внушает доверие к обязательствам Америки.

Сдержанность сената не помешала президенту Гардингу отнестись с энтузиазмом к «Договору четырех держав». На церемонии подписания он воздавал ему хвалу за то, что этот договор защищал Филиппины и означал «начало новой и лучшей эпохи человеческого прогресса». Как мог договор, не предусматривающий санкций, защищать такую золотую жилу, как Филиппины? Несмотря на то, что Гардинг находился по другую сторону политического спектра, он призвал себе на помощь стандартную вильсонианскую проповедь. Мир, заявил он, накажет нарушителей, заклеив «гноусность вероломства и бесчестного поведения»[456]. Гардинг, однако, не брался объяснить, как будет определяться общественное мнение и каким образом и на какую тему будет задаваться вопрос, поскольку Америка отказалась вступить в

Лигу наций. Пакт Бриана — Келлога, воздействие которого на Европу обсуждалось в главе 11, явился очередным примером отношения Америки к принципам, которые, по ее мнению, должны были сами собой воплощаться в жизнь. И хотя американские руководители с энтузиазмом провозглашали исторический характер этого договора, ибо шестьдесят две нации отвергли войну как инструмент национальной политики, они наотрез отказывались обеспечить механизм для его реализации, не говоря уже о санкциях. Президент Калвин Кулидж в одном из своих словоизвержений перед Конгрессом в декабре 1928 года утверждал: «Соблюдение Устава Лиги наций... обещает гораздо более для мира во всем мире, чем любое когда-либо заключенное международное соглашение»[457].

Но как же тогда подобную утопию сделать реальностью? Страстная защита Кулиджем пакта Бриана — Келлога заставила интернационалистов и сторонников Лиги заявить, причем весьма обоснованно, что, коль скоро война объявлена вне закона, само понятие «нейтралитет» лишается всякого смысла. С их точки зрения, коль скоро Лига задумана для того, чтобы определять агрессора, обязанность международного сообщества — сделать так, чтобы он понес соответствующее наказание. «Неужели хоть кто-то верит, — спрашивал один из сторонников подобной точки зрения, — что агрессивные устремления Муссолини можно пресечь лишь благодаря доброй воле итальянского народа и силе общественного мнения?»[458]

Точность постановки вопроса не помогла. Даже в процессе обсуждения договора, носящего его имя, государственный секретарь Келлог, выступая перед Советом по международным отношениям, подчеркивал, что для обеспечения соблюдения пакта никогда не будет применяться сила. Опора на силу, утверждал он, превратит стремление к длительному миру в тот самый военный союз, какие должны быть упразднены вообще. Не должен также пакт включать в себя определение агрессии, поскольку любое определение может оказаться узким и, следовательно, ослабит благородство формулировок пакта[459]. Для Келлога слово было не только в начале, оно же было и в конце:

«Нация, заявляющая, что действует в порядке самообороны, обязана будет оправдаться перед судом общественного мнения, а также перед участниками договора. По этой причине я отказался включить в текст пакта определение агрессора или понятия самообороны, ибо я полагаю, что всеобъемлющая юридическая

формулировка не может быть составлена заранее... Это не облегчит, а затруднит для страны-агрессора доказательство собственной невиновности»[460].

На сенат утопии Келлога произвели не большее впечатление, чем шестью годами ранее пространные разъяснения Гардинга, отчего «Договор четырех держав» не означает того, что в нем написано. Теперь сенат добавил три собственных «толкования»: с точки зрения сената, договор не ограничивает ни права на самооборону, ни применение «доктрины Монро», а также не создает обязательств оказывать содействие жертвам агрессии. Это означало, что все мыслимые случаи исключены из сферы его действия. Сенат ратифицировал пакт Бриана — Келлога как декларацию принципов и в то же время настаивал на том, что этот договор не имеет практического значения. Следовал вопрос: стоило ли вообще привлекать Америку к провозглашению принципов, если даже это неизбежно влечет за собой оговорки ограничительного характера? Если Соединенные Штаты отвергали союзы и бросали тень сомнения на эффективность функционирования Лиги, как же можно было бы уберечь систему Версаля? Ответ Келлога оказался гораздо менее оригинальным, чем замечание его критиков, и просто представлял собой ссылку на давний дежурный довод — силу общественного мнения:

«...Если посредством этого договора все нации официально выскажутся против войны как института разрешения международных споров, то мир этим самым сделает шаг вперед, создав общественное мнение, мобилизовав великие моральные силы во всем мире для надзора за соблюдением договора и приняв на себя торжественное обязательство, благодаря которому будет значительно труднее, чем прежде, ввергнуть мир в новый грандиозный конфликт»[461].

Четырьмя годами позднее преемник Келлога Генри Стимсон, один из самых выдающихся и искушенных государственных деятелей Америки за весь межвоенный период, не мог придумать лучшего средства против агрессии, чем пакт Бриана — Келлога, само собой разумеется, опирающегося на силу общественного мнения:

«Пакт Бриана — Келлога не предусматривает никаких силовых санкций... Вместо этого он полагается на санкции общественного мнения, которые смогут стать одними из самых действенных санкций в мире... Критики, глядящие на это свысока, еще не осознали во всей полноте эволюции общественного мнения со времен Великой войны»[462].

Для дальней островной державы — какой Соединенные Штаты выглядели по отношению к Европе и Азии — европейские споры часто представлялись загадочными и в большинстве случаев не имеющими к Америке никакого отношения. Она обладала значительным запасом прочности, оберегавшим ее от опасностей, которые угрожали европейским странам. Европейские страны служили для Америки чем-то вроде предохранительных клапанов. Примерно такого же рода аргументация приводила к отстраненности Великобритании от будней европейской политики в период «блестящей изоляции».

Существует, однако, фундаментальное различие между «блестящей изоляцией» Великобритании XIX века и изоляционизмом Америки XX века. Да, Великобритания тоже стремилась отдалиться от повседневных европейских свар и дрязг. Она, однако, осознавала, что ее собственная безопасность зависит от равновесия сил, и всегда была готова защищать это равновесие традиционными методами европейской дипломатии. В противоположность этому Америка никогда не признавала важности как равновесия сил, так и дипломатии европейского типа. Веря, что она извечно находится под сенью Божьей благодати, Америка просто не желала ничего на себя брать, а если даже и брала, то лишь ради целей общего характера и в соответствии со своим собственным методом дипломатической деятельности — который по сравнению с европейским был значительно более публичным, более легалистским и идеологичным.

Взаимодействие европейского и американского методов дипломатии в межвоенный период обладало, таким образом, тенденцией совместить худшее из обоих стилей. Чувствуя себя под угрозой, европейские страны, особенно Франция и новые нации Восточной Европы, не принимали американского наследия в виде коллективной безопасности и международного арбитража, а также правового определения войны и мира. Нации, обратившиеся к американским критериям, в особенности Великобритания, не имели опыта в проведении политики на этой основе. И тем не менее все эти страны были абсолютно уверены в том, что Германию невозможно победить без помощи Америки. После окончания войны соотношение сил еще резче менялось не в пользу Антанты. Было ясно: в любой новой войне с Германией американская помощь будет еще нужней и потребуется еще скорее, чем это было в последний раз, особенно в связи с тем, что Советский Союз более не уступал как полевой игрок мировой политики.

Практическим результатом этого смещения страха и надежды стало то, что европейская дипломатия все дальше дрейфовала в сторону от привычных причалов и во все большей степени стала эмоционально зависеть от Америки, порождая тем самым двойное вето: Франция не действовала без Великобритании, а Великобритания не действовала в нарушение представлений, свойственных Вашингтону. Не говоря уже о том, что американские руководители не уставали настоятельно заявлять, что они ни при каких обстоятельствах не пойдут на риск войны ради европейских споров.

Настойчивый отказ Америки в течение всех 20-х годов взять на себя обязательство охранять версальскую систему явился грозной психологической подготовкой к 30-м годам, когда международная напряженность породила вулканические взрывы. Предвестником будущего стал 1931 год, когда Япония вторглась в Маньчжурию, отделила ее от Китая и превратила в государство-сателлит. Соединенные Штаты осудили действия Японии, но отказались участвовать в коллективных санкциях против нее. Америка как бы ввела собственные санкции, которые в то время казались уходом в сторону, но спустя десятилетие в руках Рузвельта они оказались оружием, при помощи которого Японии было навязано противостояние. Санкция эта представляла собой политику непризнания территориальных перемен, совершенных при помощи силы. Начатая Симпсоном в 1932 году, она была вызвана к жизни Рузвельтом осенью 1941 года посредством требования ухода Японии из Маньчжурии и прочих завоеванных земель.

30 января 1933 года мировой кризис стал настоящим, как только Гитлер занял пост германского канцлера. Судьбе было угодно, чтобы менее чем через четыре недели Франклин Делано Рузвельт, сделавший все возможное, чтобы низринуть Гитлера, принял присягу при вступлении в должность президента. И все же во время первого срока президентства Рузвельта ничто не предсказывало подобного разворота событий. Рузвельт редко отходил от стандартной риторики межвоенного периода и повторял изоляционистские клише своих предшественников. В речи в «Фонде Вудро Вильсона» 28 декабря 1933 года Рузвельт остановился на предстоящем истечении срока действия морских соглашений 20-х годов. Он предложил пролонгировать эти договоры, расширив их за счет призыва к уничтожению всех наступательных вооружений и — поклон Келлогу! — торжественного обязательства каждой из стран не вводить свои вооруженные силы на территорию другой страны.

Предмет этот был столь же знаком, сколь и средство, предлагаемое Рузвельтом в связи с возможными нарушениями сути его предложений. И вновь осуждение со стороны общественного мнения было названо единственно возможным решением:

«...Ни одно генеральное соглашение по устранению агрессии или оружия наступательной войны не будет иметь ни малейшей ценности, если все нации без исключения не подпишут подобное соглашение, дав торжественное обязательство... А тогда, мои друзья, сравнительно просто окажется отделить агнцев от козлищ...

Подхватив вызов Вудро Вильсона, мы предложим новому поколению, чтобы отныне войну волей правительств сменил мир волей народов»[463].

Не говорилось, однако, что станет с козлищами, коль скоро они будут отделены от агнцев. Предложение Рузвельта было спорным уже в момент его высказывания, ибо за два месяца до этого Германия покинула конференцию по разоружению и возвращаться отказывалась. В любом случае, в повестку дня Гитлера запрет наступательных вооружений не входил. Да и, как выяснилось, не страдал Гитлер от всеобщего неодобрения, когда избрал путь перевооружения.

Первый срок президентства Рузвельта совпал с пиком переоценок первой мировой войны. В 1935 году специальная комиссия сената под председательством сенатора от штата Северная Дакота Джеральда Ная опубликовала доклад на 1400 страницах, где вина за вступление Америки в войну возлагалась на фабрикантов оружия. Вскоре вышел бестселлер Уолтера Миллса «Дорога к войне», популяризирующий этот тезис в среде массового читателя[464]. Участие Америки в войне стало объясняться преступным сговором и предательством, а не фундаментальными или перманентными интересами.

Чтобы предотвратить новое вовлечение Америки в войну, Конгресс принял в промежутке между 1935 и 1937 годами три так называемых «закона о нейтралитете». Порожденные докладом Ная, эти законы воспрещали предоставление займов и иной финансовой помощи воюющим странам (независимо от причин войны) и налагали эмбарго на поставку оружия всем сторонам конфликта (независимо от того, кто был жертвой). Закупки невоенных товаров за наличные разрешались лишь в том случае, если они вывозились на неамериканских судах[465]. Конгресс не столько отказывался от прибыли, сколько оберегал себя от риска. И пока агрессоры прибирали к рукам Европу, Америка устраняла различие между агрессором и жертвой посредством

введения для них обоих одинаковых законодательных ограничений.

Национальные интересы определялись скорее правовыми, а не геополитическими факторами. В марте 1936 года государственный секретарь Хэлл дал Рузвельту в чисто правовом плане совет в отношении важности ремилитаризации Рейнской области, перевернувшей военное соотношение сил в Европе и поставившей в беззащитное положение страны Восточной Европы. «Из краткого анализа следует, что действия германского правительства составляют нарушение как Версаля, так и Локарнского пакта, но в той степени, в какой это касается Соединенных Штатов, они не представляют собой нарушения нашего договора[466] с Германией от 25 августа 1921 года»[467].

После блестящей победы на выборах 1936 года Рузвельт далеко вышел за пределы существующих ограничений. Несмотря на занятость главным образом проблемами депрессии, он ухватил суть вызова со стороны диктаторов лучше, чем какой бы то ни было европейский лидер, за исключением Черчилля. Поначалу президент просто провозглашал моральную преданность Америки делу демократии. Рузвельт начал процесс ликвидации политической неграмотности так называемой «карантинной речью», произнесенной в Чикаго 5 октября 1937 года. Это было первым предупреждением Америке о надвигающейся опасности и первым публичным заявлением относительно, возможности возложения на себя Америкой в связи с этим определенной доли обязательств. Возобновление Японией военной агрессии в Китае в сочетании с провозглашением в предшествующем году «оси Берлин — Рим», обеспечивали фон, на котором озабоченность Рузвельта приобретала глобальный характер:

«Мир, свобода и безопасность для девяноста процентов населения земного шара находятся под угрозой со стороны остальных десяти процентов, которые угрожают разрушением всех международных законов и установлений... Похоже, к несчастью, верно, что эпидемия всемирных беззаконий распространяется вширь. Когда эпидемия заразной болезни начинает распространяться в разные стороны, общество объединенными усилиями устраивает карантин для больных, с тем чтобы защитить здоровье остальных и предотвратить распространение заразы»[468].

Рузвельт осмотрительно не уточнял, что значит «карантин» и какие конкретные меры, возможно, имеются в виду. Если бы его речь призывала к каким-либо

действиям, они бы находились в противоречии с Актами о нейтралитете, которые были приняты Конгрессом подавляющим большинством голосов и только что подписаны президентом.

Неудивительно, что «карантинная речь» подверглась нападкам изоляционистов, которые потребовали разъяснений намерений президента. Они страстно настаивали на том, что разделение стран на «миролюбивые» и «воинственные» согласно американской системе ценностей потребует отказа от политики невмешательства, в приверженности которой поклялись и Рузвельт и Конгресс. Через два года Рузвельт так описывал последовавший за «карантинной речью» взрыв: «К сожалению, эти соображения были высказаны глухим, враждебно-негодующе настроенным человеком... Они были охаяны как подстрекательство к войне; они были осуждены как преднамеренное вмешательство в международные дела; они даже высмеивались, как нервное выискивание „под кроватью“ опасности войны, которой будто бы не существовало»[469].

Рузвельт мог бы покончить с создавшейся двусмысленностью, прямо отвергнув приписываемые ему намерения. Но, несмотря на натиск критиков, Рузвельт говорил достаточно неоднозначно и на пресс-конференции только намекнул на возможность какого-либо рода коллективной обороны. Согласно журналистской практике того времени, президент всегда встречался с прессой без протокола, нельзя было цитировать президента или на него ссылаться, и правила эти соблюдались и уважались.

Через много лет историк Чарлз Берд опубликовал запись, свидетельствующую о том, что Рузвельт говорил уклончиво, уходил от вопросов, но никогда не отрицал того, что «карантинная речь» знаменует новый подход в международных отношениях, хотя и отказывался рассказать, в чем этот новый подход заключается[470]. Рузвельт настаивал на том, что его речь предполагает действия, выходящие за рамки морального осуждения агрессии: «В мире имеется множество методов, которые еще не были испробованы»[471]. А когда Рузвельта спросили, означает ли это, что у него есть определенный план, тот ответил: «Я не могу вам даже дать намек. Вам придется догадываться самим. Но план у меня есть»[472]. Он так и не объяснил, в чем этот план заключался.

Как государственный деятель, Рузвельт мог предупредить о надвигающейся

опасности; как политический руководитель, Рузвельт обязан был лавировать между тремя течениями американского общественного мнения: небольшой группировкой, призывающей к безоговорочной поддержке всех «миролюбивых» наций; несколько более значительной группировкой, согласной с оказанием поддержки другим странам до тех пор, пока не встанет вопрос войны; и подавляющим большинством, поддерживающим букву и дух законодательства о нейтралитете. Умелый политический руководитель всегда держит открытыми максимум вариантов действий. Он предпочтет сохранить генеральный курс, действуя не под давлением событий, а согласно оптимальному выбору. И никто из современных американских президентов не владел столь совершенно навыком тактического маневрирования, как Рузвельт.

В «беседе у очага», в основном посвященной внутренним делам и состоявшейся 12 октября 1937 года, через неделю после «карантинной речи», Рузвельт попытался удовлетворить все три группы населения. Подчеркнув приверженность миру, он с одобрением отметил приближение конференции участников Вашингтонского морского соглашения 1922 года и назвал участие Соединенных Штатов в этой конференции демонстрацией «наших целей сотрудничать со всеми договаривающимися сторонами соглашения, включая Китай и Японию»[473].

Успокоительный тон как бы свидетельствовал о стремлении к миру, даже с Японией; в то же время он должен был явиться наглядной демонстрацией доброй воли на тот случай, если бы сотрудничество с Японией оказалось невозможным. Столь же неопределенно Рузвельт говорил о роли Америки в международных планах, вспоминая о своем опыте военных лет, когда он был заместителем министра военно-морского флота: «...Памятуя, что с 1913 по 1921 год я лично был весьма близок к мировым событиям и что в те времена я выучился многому, что следует делать, я хочу сказать, что тогда же я узнал многое, чего делать не следует»[474].

Рузвельт, безусловно, не возражал бы, если его аудитория интерпретировала бы столь двусмысленное заявление как признание того факта, что военный опыт президента свидетельствует о важности следования принципу невовлеченности. С другой стороны, если Рузвельт имел в виду именно это, то он приобрел бы гораздо большую популярность, если бы сказал об этом прямо. В свете позднейших действий Рузвельт скорее всего подразумевал, что будет более реалистически следовать вильсоннианской традиции.

Несмотря на враждебную реакцию на его заявления, Рузвельт в разговоре, состоявшемся в октябре 1937 года, заявил полковнику Эдуарду Хаузу, давнему поверенному Вильсона: понадобится время для того, чтобы «заставить людей осознать, что война будет представлять для нас гораздо большую опасность, если мы закроем все окна и двери, вместо того чтобы выйти на улицу и, используя все наше влияние, подавить мятеж»[475]. Это был иносказательный способ заявить, что Соединенным Штатам придется-таки принять участие в международных делах, дабы пресечь распространение агрессии.

Сиюминутной проблемой Рузвельта был взрыв изоляционистских настроений. В январе 1938 года палата представителей чуть было не приняла конституционную поправку, требующую национального референдума для объявления войны, за исключением случаев вторжения на территорию Соединенных Штатов. Рузвельт вынужден был лично вмешаться, чтобы предотвратить принятие подобного положения. При данных обстоятельствах он рассматривал скрытность как неотъемлемую часть доблести. В марте 1938 года правительство Соединенных Штатов не реагировало на аншлюс Австрии, следуя линии поведения европейских демократий, ограничившихся формальным протестом. Во время кризиса, приведшего к Мюнхенской конференции, Рузвельт чувствовал себя обязанным до бесконечности повторять, что Америка не присоединится к единому фронту против Гитлера. Тем самым он разочаровывал как своих подчиненных, так и близких друзей, которые неоднократно намекали ему на такую возможность.

В начале сентября 1938 года на обеде, посвященном дружественным франко-американским отношениям, американский посол во Франции Вильям К. Буллит повторил стандартную фразу о том, что Франция и Соединенные Штаты «едины в войне и мире»[476]. Этого было довольно, чтобы дать толчок изоляционистским воплям. Рузвельт, не знавший о замечаниях Буллита заранее, ибо они являлись частью возвышенной риторики, к которой послы прибегали на собственное усмотрение, тем не менее счел своим долгом отвергнуть как «сто процентно ложную» инсинуацию, будто бы Соединенные Штаты объединяются с европейскими демократиями[477]. В конце того же месяца, когда война представлялась неизбежной и Чемберлен уже дважды встречался с Гитлером, Рузвельт 26 и 28 сентября направил Чемберлену два послания, настаивая на проведении конференции с участием всех заинтересованных

сторон, что при сложившихся обстоятельствах привело бы лишь к усилению давления на чехов с целью добиться от них крупных уступок Германии.

Но, похоже, Мюнхен был поворотным пунктом, заставившим Рузвельта объединиться с европейскими демократиями, поначалу политически, а со временем и в материальном плане. Отныне приверженность президента политике сокрушения диктаторов станет неизменной, через три года кульминацией этой политики будет вступление Америки во вторую мировую войну. В демократической стране игра между лидерами и публикой всегда носит сложный характер. Лидер, приспособляющийся в период потрясений к опыту народа, может приобрести временную популярность ценой осуждения в будущем, поскольку требованиями будущего он в этом случае пренебрегнет. Если же лидер значительно опережает свое общество, то становится непонимаем. Великий лидер должен быть педагогом, заполняющим пропасть между своими предвидениями и обыденностью. Но он должен также быть готов двигаться в одиночку, чтобы общество затем последовало по избранному им пути.

Каждому великому лидеру обязательно присуща доля хитрости, позволяющая иногда для вида упрощать характер цели, иногда сужать размах поставленной задачи. Но главное в лидере — воплощает ли он истинные ценности своего общества и сущность его чаяний. Этими качествами Рузвельт обладал в невероятной степени. Он глубоко верил в Америку; он был убежден, что нацизм одновременно является и злом, и угрозой американской безопасности, а также обладал исключительной хитростью. И еще Рузвельт был готов единолично взвалить на себя тяжесть принятия решения. Как канатоходец, он обязан был двигаться осторожными, вызывающими душевный трепет шажками, перебираясь через провал, отделяющий цель от реального состояния общества, и тем самым демонстрируя, что на том конце гораздо безопаснее, чем в привычном окружении.

26 октября 1938 года, менее чем через четыре недели после заключения Мюнхенского соглашения, Рузвельт вернулся к тематике «карантинной речи». В радиообращении к «Форуму газеты „Геральд трибюн"» он предупреждал об опасности неназванных, но легко распознаваемых агрессоров, чья «национальная политика преднамеренно берет на вооружение такой инструмент, как угрозу войны»[478]. Затем, поддерживая разоружение в принципе, Рузвельт также призвал

Америкукрепить свою оборонную мощь:

«...Мы неуклонно подчеркивали, что ни мы, ни какая-либо другая нация не согласится с разоружением, когда соседние нации вооружаются до зубов. И если нет всеобщего разоружения, то мы сами должны продолжать вооружаться. Это шаг, делать который не нравится и не хочется. Но пока не будет всеобщего отказа от вооружения, пригодного для агрессии, обычные правила национального благоразумия и здравого смысла этого требуют»[479].

По секрету Рузвельт уже зашел гораздо дальше. В конце октября 1938 года в беседах по отдельности с британским министром авиации и с близким другом премьер-министра Невилла Чемберлена он выдвинул план, как обойти «законы о нейтралитете». Предлагая откровенное пренебрежение законом, который он только что подписал, Рузвельт предложил организовать сооружение британских и французских авиасборочных заводов в Канаде, неподалеку от американской границы. Соединенные Штаты поставляли бы все компоненты, оставляя на долю Великобритании и Франции одну лишь сборку. Такого рода договоренность формально позволила бы подобному проекту оставаться в рамках «законов о нейтралитете», очевидно, на том основании, что компоненты, узлы и детали являются гражданскими товарами. Рузвельт заявил посланцу Чемберлена, что «в случае войны с диктаторами за спиной британского премьера окажутся все промышленные ресурсы американской нации»[480].

План Рузвельта помочь демократическим странам восстановить свои военно-воздушные силы потерпел крах, как и следовало ожидать, хотя бы потому, что логически невозможно было усилия такого размаха сохранить в тайне. Но с этого момента поддержка Рузвельтом Англии и Франции носила ограниченный характер только в тех случаях, когда Конгресс и общественное мнение нельзя было ни обойти, ни обыграть. В начале 1939 года в послании «О положении в стране» Рузвельт назвал нации-агрессоры поименно, указав, что это Италия, Германия и Япония. Делая аллюзии на тему «карантинной речи», он подчеркнул, что «имеется много методов, не военных, но более сильных и эффективных, чем простые слова, чтобы довести до сознания агрессивных правительств чувства, охватившие наш народ»[481].

В апреле 1939 года, в течение месяца с момента нацистской оккупации Праги, Рузвельт в первый раз назвал агрессию против малых стран тотальной угрозой

американской безопасности. На пресс-конференции 8 апреля 1939 года Рузвельт заявил репортерам, что «сохранение политической, экономической и социальной независимости любой малой нации положительно воздействует на нашу национальную безопасность и благополучие. Если же любая из них исчезает, то это ослабляет нашу национальную безопасность и уменьшает наше благополучие»[482]. В речи на заседании Панамериканского союза 14 апреля он сделал еще один шаг вперед и заявил, что интересы безопасности Соединенных Штатов не могут более сводиться к «доктрине Монро»:

«Вне всякого сомнения, через незначительное число лет воздушные флоты будут пересекать океан так же легко, как они сейчас пересекают закрытые европейские моря. Экономическое функционирование мира становится, таким образом, в обязательном порядке единым целым; любое его нарушение где бы то ни было может повлечь за собой в будущем всеобщее разбалансирование экономической жизни.

Старшее поколение, занимаясь панамериканскими делами, было озабочено созданием принципов и механизмов, посредством которых все наше полушарие могло действовать совместно. Однако следующее поколение возьмет на себя заботы о методах, посредством которых Новый Свет сможет мирно жить со Старым»[483].

В апреле 1939 года Рузвельт напрямую обратился с посланиями к Гитлеру и Муссолини. Диктаторы осмеяли их, и напрасно: на самом деле послания были умно составлены, демонстрируя американскому народу, что страны «оси» на самом деле лелеют агрессивные планы. Будучи, безусловно, одним из наиболее светски изощренных и хитроумных президентов, Рузвельт запрашивал диктаторов — но не Великобританию или Францию, — дадут ли они гарантии ненападения на тридцать одну конкретную страну Европы и Азии на протяжении десяти лет[484]. Затем Рузвельт сделал то же применительно к Германии и Италии. Наконец, он предложил, что Америка будет участвовать в любой конференции по разоружению, которая может явиться следствием ослабления напряженности.

Нота Рузвельта не войдет в историю дипломатии как образец методичной подготовительной работы. К примеру, Сирия и Палестина, соответственно французский и британский мандаты, были названы как независимые государства[485]. Гитлер устроил себе развлечение, воспользовавшись посланием Рузвельта как основой одной из речей в рейхстаге. На всеобщее посмешище Гитлер медленно

зачитывал длинный перечень стран, которые Рузвельт умолял его оставить в покое. Когда фюрер произносил одно за другим названия стран в насмешливом тоне, по рейхстагу прокатывался громовой хохот. Затем Гитлер запросил каждую из стран, перечисленных в ноте Рузвельта, многие из которых уже дрожали перед ним, ощущают ли они на самом деле угрозу с его стороны. Те, конечно, самым решительным образом отвергали даже намек на это.

И хотя Гитлер добился ораторского успеха, Рузвельт выполнил поставленную перед собой политическую задачу. Запрашивая гарантии лишь у Гитлера и Муссолини, он заклеил их как агрессоров перед единственной аудиторией, что-то значившей в тот момент для Рузвельта, — американским народом. Чтобы американская публика стала поддержкой и опорой демократических стран, необходимо было облечь вопрос в такую форму, которая бы исключала его толкование в рамках равновесия сил и подчеркивала, что речь идет о защите невинных жертв злобного агрессора. Как сам текст ноты, так и реакция Гитлера на нее поспособствовали достижению этой цели.

Преодоленный Америкой психологический барьер Рузвельт быстро обратил в стратегическую выгоду. В течение того же месяца, апреля 1939 года, ему удалось несколько приблизить Соединенные Штаты к военному сотрудничеству де-факто с Великобританией. Соглашение между двумя странами позволило Королевскому военно-морскому флоту беспрепятственно сконцентрировать все свои силы в Атлантическом океане, в то время как Соединенные Штаты переводили основную массу своих военных судов в Тихий океан. Такого рода разделение труда означало, что Соединенные Штаты берут на себя ответственность по защите азиатских владений Великобритании против Японии. Перед первой мировой войной аналогичная договоренность между Великобританией и Францией (приведшая к сосредоточению французского флота в Средиземном море) была использована в качестве аргумента в пользу моральной обязанности Великобритании вступить в первую мировую войну и защищать атлантическое побережье Франции.

Изоляционисты, наблюдая за действиями Рузвельта, были глубоко обеспокоены. В феврале 1939 года, еще до начала войны, сенатор Артур Ванденберг красноречиво защищал дело изоляционизма:

«Да, верно то, что мы живем в мире, где, по сравнению с временами Вашингтона, время и пространство сжались до предела. Но я все еще благодарю Господа за два

океана, отъединяющих нас от остального мира; и даже если они теперь не столь обширны, с нами до сих пор пребывает благословение Всевышнего, ибо они могут быть широкомасштабно и с толком использованы...

Мы от всей души сочувствуем жертвам национальных и интернациональных эксцессов по всему земному шару; но мы не являемся и не можем являться мировым спасателем или мировым полицейским»[486].

А когда в ответ на германское вторжение в Польшу Великобритания 3 сентября 1939 года объявила войну, у Рузвельта не оставалось иного выбора, кроме как ввести в действие «закон о нейтралитете». В то же время он быстро сделал шаги в направлении пересмотра законодательства, с тем чтобы дать возможность Великобритании и Франции закупать американское оружие.

Рузвельт сумел избежать применения «законов о нейтралитете» к войне между Японией и Китаем — формально потому, что война не объявлялась, а на деле потому, что он полагал, что эмбарго повредит Китаю гораздо больше, чем Японии. Но когда война разразилась в Европе, она объявлялась официально, и уже невозможно было бы изыскивать обходные пути в отношении «законов о нейтралитете». Поэтому еще в начале 1939 года Рузвельт призвал к пересмотру «законов о нейтралитете» на том основании, что они «могут привести к неравноправию и несправедливости — на деле обеспечить помощь агрессору, отказывая в ней его жертве»[487]. Конгресс бездействовал до тех пор, пока не разразилась европейская война. А до этого в том же году предложение Рузвельта отклонялось три раза, что свидетельствовало о силе изоляционистских настроений.

В тот самый день, когда Великобритания объявила войну, Рузвельт созвал на 21 сентября специальную сессию Конгресса. На этот раз он победил. Так называемый «Четвертый закон о нейтралитете» от 4 ноября 1939 года позволял воюющим странам закупать оружие и военное снаряжение в Соединенных Штатах при условии, что оплата будет производиться наличными, а купленный товар перевозиться на собственных или нейтральных судах. А поскольку вследствие британской блокады так могли действовать лишь Великобритания и Франция, «нейтралитет» все более и более превращался в формальное понятие. «Законы о нейтралитете» прожили ровно столько, сколько понадобилось, чтобы сам смысл нейтралитета потерял силу.

Во время так называемой «странной войны» американские руководители все еще

полагали, что от них требуется только материальная помощь. Расхожее мнение гласило, что французская армия, находясь за «линией Мажино» и поддерживаемая Королевским военно-морским флотом, удушит Германию посредством сочетания наземной оборонительной войны и морской блокады.

В феврале 1940 года Рузвельт направил заместителя государственного секретаря Самнера Уэллеса с миссией в Европу для выяснения возможностей заключения мира в период «странной войны». Французский премьер-министр Даладье намекал на то, что Уэллес настаивает на компромиссном мире, который оставил бы под контролем Германии всю Центральную Европу, хотя большинство собеседников Уэллеса вовсе не воспринимали его соображения подобным образом, а у Даладье собственные желания, похоже, порождали подобные мысли[488]. А целью Рузвельта при командировании Уэллеса в Европу было вовсе не ведение переговоров, но желание продемонстрировать изоляционистски настроенным американцам преданность президента делу мира.

Он также хотел застолбить право Америки на участие в переговорах, если действительно кульминацией «странной войны» станет мирное урегулирование. Но нападение Германии через несколько недель на Норвегию положило конец данной миссии.

10 июня 1940 года, когда началось падение Франции перед лицом нацистского вторжения, Рузвельт отказался от формального нейтралитета и выступил с красноречивым заявлением в поддержку Великобритании. В своей энергичной речи, произнесенной в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, он язвительно заклеил Муссолини, чьи армии в тот день напали на Францию, и провозгласил обязательство Америки оказывать всестороннюю материальную помощь любой из стран, противостоящей германской агрессии. Одновременно объявлялось, что Америка будет крепить свою собственную оборонную мощь:

«Сегодня, десятого июня 1940 года, в этом университете, основанном первым американским великим учителем демократии, мы возносим молитвы и шлем наши наилучшие пожелания тем, кто за морями ведет с огромным мужеством битву за свободу.

Мы, американцы, в полном единстве будем одновременно следовать двумя естественными для нас курсами: предоставим противникам силы материальные

ресурсы нации и одновременно подстегнем и ускорим использование этих ресурсов, с тем чтобы мы сами на всем Американском континенте обладали необходимым снаряжением и подготовкой, соответствующей любой задаче чрезвычайного характера и любым потребностям обороны»[489].

Речь Рузвельта в Шарлоттсвилле стала этапной. Перед лицом возможного поражения Великобритании любой американский президент счел бы Королевский военно-морской флот существенно важным фактором безопасности Западного полушария. Но трудно представить, кто из современников Рузвельта, принадлежащих к любой из двух ведущих политических партий, смог бы, прозорливо распознав вызов, решительно, шаг за шагом подвести свой изоляционистски настроенный народ к принятию обязательств сделать все необходимое для победы над нацистской Германией.

Появившаяся вследствие этого надежда на то, что Америка рано или поздно станет союзником Великобритании, была, бесспорно, одним из решающих факторов, обусловивших решение Черчилля продолжать войну в одиночку:

«Мы пойдем до конца... И даже, во что я ни на миг не верю, если этот остров или значительная его часть будут покорены и доведены до изнеможения, наша империя заморями, огражденная и защищенная британским флотом, продолжит борьбу до тех пор, пока Новый Свет, со всей своей силой и мощью, не выступит ради спасения и освобождения Старого»[490].

Методы Рузвельта были сложными и изощренными: возвышенная постановка целей, хитроумная тактика, конкретное определение задач и не слишком откровенное освещение подоплеки отдельных событий. Многие из действий Рузвельта были на грани конституционности. Ни один из президентов того времени не смог бы, пользуясь методами Рузвельта, надеяться на то, что останется у власти. Но Рузвельт четко представлял себе, что запал прочности Америки почти исчерпан, а победа держав «оси» сведет фактор безопасности государства на нет. И самое главное, он обнаружил, что Гитлер — олицетворенное отрицание всех исторических американских ценностей.

После падения Франции Рузвельт неустанно обращал внимание на наличие непосредственной угрозы американской безопасности. Для Рузвельта война в Атлантике имела такое же значение, какое Ла-Манш и Па-де-Кале имели для

британских государственных деятелей. С точки зрения национальных интересов он полагал жизненно важным, чтобы над ним не установил свое господство Гитлер. Так, например, в послании «О положении в стране» от 6 января 1941 года Рузвельт увязывал безопасность Америки с сохранением Королевского военно-морского флота:

«Я не так давно подчеркивал, как быстро современная война может переброситься и на нашу страну, и нам следует ожидать физического нападения, если диктатуры выиграют войну.

Слышится много пустой болтовни на тему нашей защищенности От прямого и непосредственного вторжения из-за океана. Само собой разумеется, пока британский военно-морской флот сохраняет свои силы, такого рода опасности не существует»[491].

Конечно, раз это так, то Америка была бы обязана предпринять все возможные усилия для предотвращения поражения Великобритании — в крайнем случае, даже сама вступить в войну.

В течение многих месяцев Рузвельт действовал, исходя из вероятности вступления Америки в войну. В сентябре 1940 года он разработал оригинальную схему передачи Великобритании пятидесяти якобы устаревших эсминцев в обмен на право создания американских баз в восьми владениях Великобритании — от Ньюфаундленда до территорий на южноамериканском материке. Позднее Уинстон Черчилль назовет этот поступок «решительно антинейтральным актом»: ибо эсминцы были гораздо важнее для Великобритании, чем базы для Америки. Большинство из них находилось на значительном отдалении от какого-либо возможного театра военных действий, а некоторые даже дублировали уже существующие американские базы. Более чем что бы то ни было, сделка с эсминцами представляла собой прецедент на будущее, причем она базировалась на юридическом совете рузвельтовского назначенца генерального прокурора Фрэнсиса Биддла, которого вряд ли можно было бы назвать объективным сторонним наблюдателем.

Рузвельт не запрашивал ни одобрения Конгресса, ни изменения «законов о нейтралитете» для совершения сделки «эсминцы в обмен на базы». И его никто за это не упрекал, как ни странно это выглядит в свете тогдашних нравов. Этот шаг, предпринятый в самом начале президентской предвыборной кампании, доказывает степень озабоченности Рузвельта возможностью победы нацистов и меру принятой

им на себя ответственности за поднятие боевого духа британцев. (К счастью для Великобритании и для дела американского единства, взгляды на международную политику у оппонента Рузвельта, Уэнделла Уилки, отличались от рузвельтовских весьма незначительно.)

Одновременно Рузвельт резко увеличил американский военный бюджет и в 1940 году призвал Конгресс ввести всеобщую воинскую обязанность в мирное время. Но изоляционистские настроения были до такой степени сильны, что летом 1941 года, за четыре месяца до фактического начала войны, всеобщая воинская обязанность была восстановлена палатой представителей большинством всего в один голос.

Сразу же после избрания Рузвельт предпринял шаги по изменению условия Четвертого «закона о нейтралитете», обязывающего закупать американские военные материалы только за наличные. В «беседе у очага» — термин Рузвельт позаимствовал у Вильсона — он призвал Соединенные Штаты стать «арсеналом демократии»[492]. Юридическим инструментом, обеспечившим это мероприятие, стал закон о займе и аренде (ленд-лизе), который давал президенту полномочия по собственному усмотрению отдавать займы, в аренду, продавать или поставлять на основе бартерных сделок, заключенных на любых приемлемых для него условиях, любые изделия оборонного назначения «правительству любой страны, оборону которой президент полагает жизненно важной для защиты Соединенных Штатов». Государственный секретарь Хэлл, обычно выступавший как страстный последователь Вильсона и поборник системы коллективной безопасности, весьма нехарактерно для себя стал из стратегических соображений защищать закон о ленд-лизе. Без массивной американской помощи, утверждал он, Великобритания падет, и контроль над Атлантическим океаном перейдет во враждебные руки, ставя под угрозу безопасность Западного полушария[493].

Америка могла бы избежать участия в войне только в том случае, если бы Великобритания была в состоянии самостоятельно разделаться с Гитлером, во что не верил даже Черчилль. Сенатор Тафт, выступая против ленд-лиза, подчеркивал невозможность победы Великобритании в схватке с Германией один на один. Изоляционисты организовались в так называемый комитет «Америка превыше всего» под председательством генерала Роберта Э. Вуда, главы правления фирмы «Сирз, Роубак энд Кам-пэни», причем его поддерживали знаменитости из всех сфер, и среди

них Кэтлин Норрис, Ирвин С. Кооб, Чарльз А. Линдберг, Генри Форд, генерал Хью С. Джонсон, Честер Боулз и дочь Теодора Рузвельта миссис Николас Лонгворт.

Опасения, лежавшие в основе изоляционистской оппозиции ленд-лизу, лучше всего выразил в своем комментарии по этому поводу сенатор Артур Ванденберг, один из наиболее дальновидных ее представителей, 11 марта 1941 года: «Мы выбросили, как мусор, „Прощальное обращение" Вашингтона. Мы кинулись прямо в пучину силовой политики и силовых войн Европы, Азии и Африки. Мы сделали первый шаг в направлении, откуда уже не будет пути назад»[494]. Анализ Ванденберга был верен, но необходимость подобного поведения диктовала обстановка в мире; и заслугой Рузвельта является то, что он разглядел и признал эту необходимость.

После предложения о введении ленд-лиза Рузвельт со всей решимостью отдался делу приближения победы над нацистами. Еще до принятия закона главы британского и американского Генеральных штабов, предвидя его одобрение, встретились, чтобы организовать использование наличных ресурсов. Планирование велось и из расчета на то, что Соединенные Штаты станут активным участником войны. Для этих штабистов оставалось неизвестным лишь время конкретного вступления Америки в войну. Рузвельт не парафировал так называемой «дерективы АБЦ — 1», согласно которой в случае войны обеспечению боевых действий против Германии будет отдаваться приоритет. Но было ясно, что это произошло лишь вследствие внутренних обстоятельств, с которыми приходилось считаться, и конституционных ограничений, а не вследствие сомнения в конечных целях такой дерективы.

Зверства нацистов все больше стирали разницу между борьбой за утверждение американских ценностей и борьбой за безопасность Америки. Гитлер зашел так далеко, попирая общепринятые нормы морали, что борьба против него сливалась воедино победою добра над злом и битвою ради выживания. Так в январе 1941 года Рузвельт свел воедино цели и задачи Америки, которые он совокупно назвал «четырьмя свободами»: свободой слова, свободой вероисповедания, свободой от нужды и свободой от страха. Эти цели шли гораздо дальше целей любой из европейских войн. Даже Вильсон не провозглашал такого рода социальную задачу, как свободу от нужды, в качестве цели войны.

В апреле 1941 года Рузвельт сделал еще один шаг в направлении войны, дав полномочия на заключение с датским представителем в Вашингтоне (в ранге

посланника) соглашения, разрешающего американским вооруженным силам оккупировать Гренландию. Поскольку Дания находилась под германской оккупацией и поскольку не существовало датского правительства в изгнании, дипломат, лишенный страны, принял на себя решения «уполномочить» создание американских баз на датской земле. Одновременно Рузвельт в частном порядке проинформировал Черчилля, что отныне американские суда будут патрулировать северную часть Атлантического океана к западу от Исландии, покрывая примерно две трети пространства всего океана и «сообщая о местоположении возможного агрессора на море и в воздухе»[495]. Через три месяца по приглашению местного правительства американские войска высадились в Исландии — еще одном владении Дании, — чтобы заменить там силы Великобритании. Затем, без одобрения Конгресса, Рузвельт объявил всю территорию между датскими владениями и Северной Америкой частью системы обороны Западного полушария.

В продолжительном радиообращении 27 мая 1941 года Рузвельт объявил чрезвычайное положение и вновь подчеркнул приверженность Америки делу экономического и социального прогресса:

«Мы не примем мир, где бы господствовал Гитлер. И мы не примем мир, подобный послевоенному миру двадцатых годов, где бы можно было вновь посеять и взрастить семена гитлеризма.

Мы примем только такой мир, который был бы предан делу свободы слова само выражения — свободы каждого почитать Бога собственным путем—свободы .от нужды и свободы от страха»[496].

Выражение «мы не примем» должно было означать, что Рузвельт считает обязанностью Америки идти на войну ради четырех свобод, если их нельзя обеспечить иным путем.

Немногие американские президенты были столь чувствительны и проницательны, как Франклин Делано Рузвельт, в отношении психологии своего народа. Рузвельт понимал, что лишь угроза собственной безопасности может оправдать в глазах американцев военные приготовления. Но, вовлекая свой народ в войну, он знал, что необходимо воззвать к идеализму примерно так же, как это сделал Вильсон. С точки зрения Рузвельта, безопасность Америки могла быть с лихвой обеспечена установлением контроля над Атлантикой, но цели войны требовали дать людям

представление о новом мировом порядке. И потому термин «равновесие сил» никогда не встречается в речах и публичных заявлениях Рузвельта, за исключением тех случаев, когда этот термин используется в отрицательном смысле. Рузвельт стремился к тому, чтобы мировое сообщество обладало демократическими и социальными идеалами, соотносимыми с американскими, что и являлось бы лучшей гарантией мира.

В этой атмосфере президент формально нейтральных Соединенных Штатов и воплощенный военный лидер Великобритании Уинстон Черчилль встретились в августе 1941 года на борту крейсера у побережья Ньюфаундленда. Положение Великобритании несколько улучшилось, когда в июне Гитлер вторгся в Советский Союз, но Англия была еще весьма далеко от верной победы. Тем не менее совместное заявление этих двух лидеров тематически отражало не традиционную постановку целей войны, а план совершенно нового мира, несущего на себе отпечаток Америки. Атлантическая хартия провозгласила ряд «общих принципов», на которых президент и премьер-министр основывали «свои надежды на лучшее будущее для всего мира»[497]. Эти принципы были еще шире «четырех свобод», первоначально названных Рузвельтом, а дополнительно включали в себя право, равного доступа к сырьевым материалам и совместные усилия по улучшению социальных условий на земном шаре.

Атлантическая хартия выдвигала проблемы послевоенной безопасности исключительно в вильсонском стиле и не содержала в себе никаких геополитических компонентов. «После окончательного уничтожения нацистской тирании» свободные нации откажутся от применения силы и введут перманентное разоружение для тех наций, «которые угрожают... агрессией». Это приведет к поощрению «всех прочих практических мер, которые облегчат для миролюбивых народов сокрушительное бремя вооружений»[498]. Предусматривались две категории стран: «страны-агрессоры» (конкретно Германия, Япония и Италия), которые будут принудительно разоружены на бессрочной основе, и «миролюбивые страны», которым будет позволено сохранить вооруженные силы, но, как надеялись, в значительно сокращенном виде. Национальное самоопределение послужит краеугольным камнем нового мирового порядка.

Различие между Атлантической хартией и планом Питта, при помощи которого

Великобритания предлагала покончить с наполеоновскими войнами, показывает, до какой степени Великобритания превратилась в младшего партнера по англоамериканским отношениям. Ни разу в Атлантической хартии не упоминается о новом равновесии сил, в то время как в плане Питта не говорится ни о чем другом. Дело было даже не в том, что Великобритания вдруг стала равнодушна к проблеме равновесия сил, да еще после наиболее напряженной войны за всю свою историю; Черчилль скорее осознавал, что само по себе вступление Америки в войну обязательно изменит соотношение сил в пользу Великобритании. И потому в данный момент подчинял долгосрочные цели Британии задачам первой необходимости, а во время наполеоновских войн Великобритании так поступать ни разу не было нужно.

Когда была провозглашена Атлантическая хартия, германские армии приближались к Москве, а японские силы готовились к вторжению в Юго-Восточную Азию. Черчилль был более всего озабочен устранением всех и всяческих препятствий к вступлению Америки в войну. Ибо он прекрасно понимал, что сама по себе Великобритания не сможет одержать решительной победы даже при участии в войне Советского Союза и американской материальной поддержки. В дополнение к этому Советский Союз вполне мог рухнуть, и всегда существовала возможность достижения компромисса между Гитлером и Сталиным, что вновь обрекало Великобританию на изоляцию. Черчилль не видел смысла в дебатах по поводу послевоенной структуры, ибо еще не был уверен, будет ли таковая.

В сентябре 1941 года Соединенные Штаты перешли черту, отделявшую их от прямого участия в военных действиях. Распоряжение Рузвельта о передаче британскому флоту данных о местонахождении германских подводных лодок рано или поздно неизбежно привело бы к столкновению. 4 сентября 1941 года американский эсминец «Грир» был торпедирован, когда передавал британским самолетам сигналы о местонахождении германской подводной лодки. 11 сентября, не вдаваясь в обстоятельства, Рузвельт осудил германское «пиратство». Сравнивая германские подводные лодки с гремучей змеей, свернувшейся в кольцо перед прыжком, он распорядился, чтобы флот Соединенных Штатов топил «по мере появления» любые германские или итальянские подводные лодки, замеченные в ранее установленной зоне американской обороны, простирающейся вплоть до Исландии. С практической точки зрения, Америка на море находилась в состоянии войны с

державами «оси»[499].

Одновременно Рузвельт принял вызов Японии. В ответ на оккупацию Японией Индокитая в июле 1941 года он прекратил действие торгового договора с Японией, запретил продажу ей металлолома и поддержал голландское правительство в изгнании, решившее запретить экспорт нефти в Японию из Голландской Ост-Индии: (нынешней Индонезии). Этот нажим привел к переговорам с Японией, начавшимся в октябре 1941 года. Рузвельт выдал инструкции американской делегации на переговорах требовать от Японии возвращения всех захваченных территорий, включая Маньчжурию, ссылаясь на прежний отказ Америки «признать» подобные акты.

Рузвельт, должно быть, знал, что Япония ни при каких обстоятельствах на это не пойдет. 7 декабря 1941 года, повторяя начало русско-японской войны, Япония неожиданно напала на Пирл-Харбор и уничтожила значительную часть американского Тихоокеанского флота. 11 декабря Гитлер отдал дань имеющемуся у него договору с Токио, объявив войну Соединенным Штатам. Почему Гитлер таким образом позволил Рузвельту сконцентрировать военные усилия Америки против страны, которую американский президент всегда считал первейшим врагом, так никто и не сумел удовлетворительно объяснить.

Вступление Америки в войну явилось кульминацией исключительных дипломатических усилий великого и смелого лидера. Менее чем за три года Рузвельт сумел вовлечь свой сугубо изоляционистский народ в глобальную войну. Еще в мае 1940 года 64% американцев считали сохранение мира более важной задачей, чем разгром нацистов. Через восемнадцать месяцев, в декабре 1941 года, накануне нападения на Пирл-Харбор, пропорция оказалась обратной: лишь 32% предпочитали мир предотвращению нацистского триумфа[500].

Рузвельт терпеливо и неуклонно шел к достижению цели, просвещая свой народ шаг за шагом относительно неизбежного хода событий. Публика пропускала его слова через сито собственных предубеждений и не всегда понимала, что конечной целью президента является война, хотя и не сомневалась, что речь идет о конфронтации. На деле Рузвельт не столько стремился к войне, сколько к разгрому нацистов; просто со временем становилось ясно, что нацистов можно будет победить только тогда, когда Америка вступит в войну.

Вступление в войну показалось столь внезапным американскому народу в силу трех факторов: у американцев не было опыта из соображений безопасности вступления в войну за пределами Западного полушария; многие верили, что европейские демократии сумеют справиться с агрессором сами, в то время как немногие понимали суть дипломатической деятельности, предшествовавшей японскому нападению на Пирл-Харбор и поспешному объявлению Гитлером войны Соединенным Штатам.

Мерой глубоко укоренившегося в сознании нации изоляционизм может, дослужить ,то, что понадобилось сбросить бомбы на Пирл-Харбор, чтобы Соединенные Штаты ;вступили в войну на Тихом океане, и то, что в Европе Соединенным Штатам войну должен был объявить Гитлер, а не наоборот.

Начав военные действия, державы «оси» разрешили мучившую Рузвельта дилемму, как подвигнуть американский народ к вступлению в войну. Если бы Япония сфокусировала атаки на Юго-Восточной Азии, а Гитлер не объявил бы войну Соединенным Штатам, простые американцы не так-то быстро приняли бы взгляды своего президента. В свете провозглашенных Рузвельтом морально-стратегических убеждений нет ни , малейшего сомнения в том, что в итоге он бы нашел какой-нибудь способ ввести Америку в борьбу, столь решающую, по его мнению, для будущего свободы и для американской безопасности.

Последующие поколения американцев гораздо выше оценили полнейшую откровенность своего главы исполнительной власти. Но Рузвельт, как и Линкольн, ощущал, что на карту поставлена сама возможность выживания страны и сохранения ею собственных ценностей и что лишь история возложит на него ответственность за результаты совершенных им единоличных шагов. И, как это было с Линкольном, мудрость единоличных инициатив Франклина Делано Рузвельта просто-напросто никем о более не ставится под сомнение. И это мерило того, в какой степени свободные народы обязаны этому американскому президенту.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Три подхода к миру: Рузвельт, Сталин и Черчилль во время второй мировой войны

Когда Гитлер напал на Советский Союз, он затеял самую крупномасштабную сухопутную войну в истории человечества. Ужасы этой войны были беспрецедентны даже в сравнении с варварством, сопровождавшим предшествующие европейские войны. Это была борьба на уничтожение до конца. Когда германские армии углубились в территорию России, Гитлер объявил войну Соединенным Штатам, превратив европейскую войну в глобальную схватку. Германская армия опустошала Россию, но оказалась неспособна нанести решающий удар. Зимой 1941 года она была остановлена на подступах к Москве. Затем, зимой 1942/43 года, новое германское наступление, на этот раз нацеленное на юг России, было перемолото и остановлено. В ожесточенной битве в промерзшем Сталинграде Гитлер потерял всю свою 6-ю армию. Хребет германской военной машины был сломан. Лидеры союзников — Черчилль, Рузвельт и Сталин — теперь уже могли задуматься о победе и будущем облике мира.

Каждый из победителей выступал с точки зрения собственного национально-исторического опыта. Черчилль хотел восстановить традиционное равновесие сил в Европе. Это означало бы перестройку Великобритании, Франции и даже побежденной Германии таким образом, чтобы они вместе с Соединенными Штатами способны были противостоять советскому колоссу на востоке. Рузвельт представлял себе послевоенный порядок таким образом, чтобы три победителя плюс Китай действовали в качестве всемирного совета директоров, силой обеспечивая мир и ограждая от посягательств любого потенциального злоумышленника, каким Рузвельт прежде всего считал Германию. Эта точка зрения стала известна как теория «четырех полицейских». Сталинский подход отражал сплав коммунистической идеологии и традиционной российской внешней политики. Он стремился получить наличными за победу его страны и распространить русское влияние на Центральную Европу. И еще он намеревался превратить страны, завоеванные советскими войсками, в буферные зоны для защиты России от любой будущей германской агрессии.

Рузвельт оказался значительно прозорливее собственного народа, предвидя, что победа Гитлера поставит под угрозу безопасность Америки. Но он был на уровне своего народа, когда отвергал традиционный мир европейской дипломатии. Настаивая на том, что нацистская победа будет угрожать Америке, он не имел в виду вовлечение Америки в войну ради восстановления европейского равновесия сил. Для Рузвельта целью войны было устранение Гитлера, ибо последний являлся препятствием на пути к международному порядку, основанному на гармоничном сотрудничестве, а не на равновесии сил.

Рузвельт поэтому истово придерживался общих мест, будто бы вытекающих из уроков истории. Он отвергал представление о том, что тотальное поражение Германии создаст вакуум, который, возможно, попытается заполнить победоносный Советский Союз. Он отказывался предусматривать контрмеры против возможного послевоенного соперничества между победителями, поскольку ради этого надо было восстанавливать равновесие сил, то есть то самое, что он хотел навеки разрушить. Мир следовало сохранять посредством системы коллективной безопасности, поддерживаемой союзниками военных лет, действующими в форме «концерта». Предполагались добрая воля друг друга, а также постоянная бдительность.

Поскольку предполагалось поддерживать не равновесие сил, а всеобщий мир, Рузвельт решил, что после поражения нацистской Германии Соединенные Штаты должны будут отозвать свои вооруженные силы на родину. Рузвельт не имел ни малейшего желания держать американские войска в Европе, тем более в качестве противовеса Советам. Этого, по его мнению, американское общество никогда бы не приняло. 29 февраля 1944 года, еще до высадки американских войск во Франции, он писал Черчиллю:

«Умоляю, не просите меня оставить американские войска во Франции. Я просто не могу этого сделать! Мне надо будет вернуть их домой. Как я уже говорил ранее, я отказываюсь опекать Бельгию, Францию и Италию: это вам следует воспитывать и наказывать собственных детей. С учетом того, что в будущем они могут стать вашим бастионом, вы, по крайней мере, должны заняться их обучением прямо сейчас!»[501]

Иными словами, Великобритания должна будет защищать Европу, не рассчитывая на помощь Америки.

В том же духе Рузвельт отвергал какую бы то ни было ответственность Америки за

экономическую реконструкцию Европы:

«Я не хочу, чтобы Соединенные Штаты брали на себя бремя перестройки Франции, Италии и Балкан. Это не наша задача, коль скоро мы отдалены от этих мест более чем на три с половиной тысячи миль. В решении этой задачи британцы, безусловно, заинтересованы гораздо больше, чем мы»[502].

Рузвельт значительно переоценивал послевоенные возможности Великобритании, если возлагал на нее одновременное осуществление обороны и реконструкции Европы. Такая переоценка роли Великобритании проистекала из-за его глубочайшего презрения по отношению к Франции. В феврале 1945 года в Ялте, на самой важной конференции стран-победительниц, Рузвельт упрекал Черчилля в присутствии Сталина за то, что тот будто бы «искусственно» пытается превратить Францию в сильную державу. И как будто абсурдность подобной затеи подразумевалась сама собой, он высмеивал мотивацию Черчилля, — ему казалась нелепой попытка возвести оборонительную линию вдоль восточной границы Франции, за которой Великобритания сумела бы собрать собственную армию[503]. В те времена это представлялось Черчиллю единственным доступным способом сдерживания советского экспансионизма.

Не будучи готов возложить на Америку функции постоянного характера, Рузвельт хотел, чтобы победоносные союзники надзирали за разоружением и разделом Германии и подчиняли ряд других стран собственному контролю (поразительно, но в категорию стран, подлежащих контролю, Рузвельт включал и Францию). Еще весной 1942 года по случаю визита советского министра иностранных дел Молотова в Вашингтон Рузвельт обрисовал свое представление о «четыре полицейских», призванных при помощи силы обеспечивать мир в послевоенном обществе. Гарри Гопкинс рассказывал в письме Черчиллю о ходе мыслей президента:

«Рузвельт говорил с Молотовым относительно системы, позволяющей только великим державам: Великобритании, Соединенным Штатам, Советскому Союзу и, возможно, Китаю — обладать оружием. Эти „полицейские“ будут трудиться совместно ради сохранения мира»[504].

Наконец, Рузвельт был преисполнен решимости положить конец существованию британской и французской колониальных империй:

«Когда мы выиграем войну, я посвящу все свои силы тому, чтобы Соединенными

Штатами более не принимались какие бы то ни было планы, поощряющие империалистические амбиции Франции, или планы помощи словом и делом Британской империи в ее имперских амбициях»[505].

Политика Рузвельта представляла собой возвышенную мешанину из традиционных представлений об американской исключительности и вильсоновского идеализма, проникшего в американскую душу, которая наградам и наказаниям предпочитала цели универсального характера. Черчилль чересчур преуспел в поддержании иллюзии, будто бы Великобритания все еще была великой державой, способной самостоятельно противостоять советскому экспансионизму. Ибо только подобной убежденностью можно объяснить приверженность Рузвельта такому мировому порядку, при котором американские войска выводятся из-за океана, Германия разоружена, а Франция низводится до положения второразрядной державы, причем Советский Союз остается перед лицом открывающегося перед ним вакуума. Таким образом, послевоенный период оказался поучительным для Америки, ибо показал, насколько она необходима для нового равновесия сил.

Рузвельтовский план «четырех полицейских», которые должны были бы гарантировать глобальный мир, представлял собой компромисс между традиционным черчиллевским подходом с точки зрения равновесия сил и безграничным вильсонизмом советников Рузвельта, как афористично выразился государственный секретарь Корделл Хэлл. Рузвельт был преисполнен решимости избежать в будущем недостатков Лиги наций и системы, установленной по окончании первой мировой войны. Он хотел какой-нибудь формы коллективной безопасности, однако знал из опыта 20-х годов, что коллективная безопасность требует наличия тех, кто будет ее обеспечивать при помощи силы, и именно такая роль отводилась «четырем полицейским».

Рузвельтовская концепция «четырех полицейских» напоминала Священный союз Меттерниха, хотя американских либералов охватил бы ужас, уясни они это. Обе системы представляли собой попытку сохранить мир при помощи коалиции победителей-единомышленников. Система Меттерниха сработала, потому что защищала истинное равновесие сил, причем ключевые ее страны на самом деле обладали общностью ценностей, а Россия, хотя и проявляла по временам своеволие, но более или менее шла навстречу остальным. Концепция Рузвельта не могла быть

воплощена на практике, поскольку в результате войны не возникло какого бы то ни было равновесия сил. Между победителями существовала непреодолимая идеологическая пропасть. Сталин, как только освободился от угрозы со стороны Германии, позволял себе беспрепятственно добиваться осуществления советских политических и идеологических интересов, пусть даже ценой конфронтации со своими прежними союзниками.

Рузвельт не продумал, что может случиться, если один из потенциальных полицейских откажется играть предназначенную для него роль — особенно если этим полицейским окажется Советский Союз. Ибо в таком случае надо будет восстанавливать столь презираемое равновесие сил. И чем более методично будут выбрасываться за борт элементы традиционного равновесия, тем более геркулесовым станет труд по созданию нового.

Обыщи Рузвельт весь мир, он не нашел бы собеседника, столь разительно отличавшегося от него, как Сталин. В то время как Рузвельт желал воплотить в жизнь вильсоновскую концепцию международной гармонии, идеи Сталина касательно ведения внешней политики строго соответствовали принципам «Realpolitik» Старого Света. Когда один американский генерал на Потсдамской конференции, желая польстить Сталину, заметил, как радостно ему было видеть русские войска в Берлине, тот едко ответил: «Царь Александр I дощёл и до Парижа».

Сталин определял потребности обеспечения мира точно так же, как это делали русские государственные деятели на протяжении столетий, — в виде широчайшего пояса безопасности по всей обширной периферии Советского Союза. Он приветствовал настоятельное требование Рузвельта о безоговорочной капитуляции их общих противников, ибо оно устранило державы «оси» как фактор мирного урегулирования и предотвращало появление германского подобия Талейрана на мирной конференции.

Идеология подкрепляла традицию. Как коммунист, Сталин отказывался видеть разницу между демократическими и фашистскими странами, хотя он, без сомнения, считал демократии менее безжалостными и, возможно, мене стойкими. Сталин не обладал концептуальным мышлением, которое бы могло позволить ему отдавать территорию в обмен на добрую волю или жертвовать «объективной» реальностью ради требований момента. Поэтому он должен был запросить у своих

демократических союзников тех же уступок, которые он просил у Гитлера год назад. Сотрудничество с Гитлером не сделало для него более симпатичным нацизм, точно так же, как последующий альянс с демократическими странами не заставил его оценить достоинства институтов свободного мира. Он брал от каждого временного партнера то, что возможно, при помощи дипломатии, а то, что ему свободно не давали, — при помощи силы, пока это не влекло за собой риск войны. Его путеводной звездой оставались советские национальные интересы, преломлявшиеся через призму коммунистической идеологии. Перефразируя Пальмерстона, можно сказать, что у него не было друзей, только интересы.

Сталин проявил готовность обсуждать послевоенные цели и задачи именно тогда, когда его военное положение было наиболее трудным. Нож в буквальном смысле был приставлен к его горлу, и вот тогда он попытался заняться этими вопросами в декабре 1941 года во время визита в Москву министра иностранных дел Антони Идена, а затем в мае 1942 года, когда направил Молотова в Лондон, а потом — в Вашингтон. Его усилия, однако, были сведены на нет, поскольку Рузвельт категорически возражал против какого бы то ни было детального обсуждения задач мирного времени. После Сталинградской битвы Сталин не сомневался уже, что, когда окончится война, Советский Союз будет обладать подавляющим большинством спорных территорий. Все менее и менее полагаясь на переговоры, Сталин передоверил формирование облика послевоенного мира авангардам собственных армий.

Черчилль предпочел бы вступить в переговоры со Сталиным относительно послевоенного европейского порядка прежде, чем Сталин окажется в состоянии требовать приза. В конце концов, экспансионистские союзники не раз встречались на протяжении английской истории и с ними удавалось справляться. Если бы Великобритания была более могущественной, Черчилль, безусловно, вырвал бы практические уступки у Сталина, когда он все еще нуждался в помощи, точно так же, как Кэслри получил от своих союзников гарантии свободы Нидерландов еще до окончания наполеоновских войн.

Черчилль участвовал в войне дольше, чем любой из его партнеров. В течение года после падения Франции в июне 1940 года Великобритания в одиночку противостояла Гитлеру, и тогда ей некогда было думать о послевоенных задачах. Выживание поглощало всю ее энергию, а исход войны был весьма неопределенным. Даже при

наличии массивной американской материальной помощи Великобритания не могла надеяться на победу. Если бы Америка и Советский Союз не вступили в войну тогда, когда это произошло, Великобритания в конце концов вынуждена была бы согласиться на компромисс или потерпеть поражение.

Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, японское нападение на Пирл-Харбор 7 декабря 1941 года и бездумное объявление Гитлером войны Соединенным Штатам гарантировало Великобритании уже через несколько дней после этого пребывание в стане победителей независимо от того, сколь долгой и трудной окажется война. Только начиная с этого момента Черчилль мог реалистично обдумывать цели войны. Он должен был это делать в ситуации, беспрецедентной для Великобритании. По мере развертывания военных действий становилось все более и более очевидным, что традиционная цель Великобритании, заключающаяся в поддержании равновесия сил в Европе, становилась недостижимой и что после того, как Германии будет навязана безоговорочная капитуляция, Советский Союз станет господствующей державой на континенте, особенно если Соединенные Штаты выведут свои войска.

Военная дипломатия Черчилля, таким образом, сводилась к маневрированию между двумя бегемотами, угрожавшими положению Великобритании, хотя и с разных сторон. Приверженность Рузвельта праву на самоопределение во всемирном масштабе являлась вызовом Британской империи; попытка Сталина выдвинуть Советский Союз в центр Европы угрожала подрывом британской безопасности.

Оказавшись в ловушке между вильсонианским идеализмом и русским экспансионизмом, Черчилль сделал максимум возможного, находясь в положении относительной слабости, чтобы утвердить традиционную политику своей страны: то есть если мир не должен достаться самому сильному и безжалостному, то урегулирование должно основываться на каком-то подобии равновесия. Он также ясно отдавал себе отчет в том, что к концу войны Великобритания уже будет не в состоянии самостоятельно защищать жизненно важные для себя интересы и тем более командовать соблюдением равновесия сил. Каким бы самоуверенным Черчилль ни выглядел внешне, он знал, причем лучше, чем его американские друзья которые все еще верили, что Великобритания самостоятельно сможет обеспечивать европейское равновесие, что роль, которую его нация сыграет в военное время, будет последней в

качестве истинно независимой державы глобального масштаба. Для Черчилля, таким образом, не было более важного аспекта дипломатических отношений между союзниками, чем упрочение уз дружбы с Америкой до такой степени, чтобы Великобритании не пришлось в одиночестве очутиться в послевоенном мире. Вот почему в итоге он отдавал предпочтение американским интересам, хотя ему часто удавалось убедить американского партнера, что стратегические интересы Вашингтона весьма близки интересам Лондона.

Это оказалось грандиозной задачей. Ибо Рузвельт и его окружение с глубочайшим подозрением относились к британским мотивам, особенно к возможности со стороны Черчилля продвигать на первый план британские национальные и имперские интересы и стремиться скорее к установлению равновесия сил, а не к совместному созданию нового мирового порядка.

Многие другие страны восприняли бы британскую защиту национальных интересов, как нечто совершенно естественное. Однако для американских лидеров это было врожденным недостатком британского характера. На частном обеде вскоре после нападения на Пирл-Харбор Рузвельт высказал это следующим образом:

«Представление, бытующее в нашем обществе относительно этой роли, может быть не вполне объективным, а с британской точки зрения — стопроцентно неверным, но дело обстоит именно так; и я все время пытаюсь сообщить ему [Черчиллю], что он обязан это учитывать.. Это недоверие, эта нелюбовь и даже ненависть к англичанам являются частью американской традиции...»[506]

Поскольку Рузвельт не желал обсуждать цели войны до Сталинграда и поскольку Сталин предпочитал облик мира определить при помощи линий фронта в конце войны, большинство идей относительно послевоенного устройства мирового общества исходило от Черчилля. Американская реакция на них была метко схвачена государственным секретарем Хэллом в ноябре 1943 года в выражениях, в высшей степени непочтительных по отношению к традиционным британским истинам:

«...Более не будет нужды в сферах влияния, альянсах, равновесии сил или прочих особых установлениях, посредством которых в несчастливом прошлом нации стремились обеспечить собственную безопасность или добиться осуществления своих интересов»[507].

В продолжение войны Рузвельт был в человеческом плане весьма близок к

Черчиллю. И все же по конкретным вопросам он мог быть более жесток к премьер-министру, чем к Сталину. В Черчилле он видел товарища по оружию военных лет; в Сталине же — партнера в деле сохранения послевоенного мира.

Двойственность отношения Америки к Великобритании сфокусировалась на трех вопросах: собственной антиколониальной традиции Америки; характере военной стратегии; облике послевоенной Европы. Честно говоря, Россия тоже была огромной империей, но российские колонии являлись составной частью ее территории, и русский империализм не воспринимался американским сознанием точно так же, как британский колониализм. Черчилль мог жаловаться, что сравнение Рузвельтом «тринадцати колоний» с британскими владениями XX века демонстрировало «затруднительность сопоставления ситуаций в разные столетия, когда обстановка и материальные факты разительно отличаются друг от друга...»[508]. Рузвельт, однако, стремился не столько к безупречным историческим аналогиям, сколько к утверждению фундаментальных американских принципов. На первой же встрече с Черчиллем, когда оба лидера провозгласили Американскую хартию, Рузвельт настаивал на том, чтобы хартия была применима не только к Европе, но и ко всему миру, включая колониальные территории:

«Я твердо придерживаюсь того убеждения, что если мы собираемся обеспечить стабильный мир, он должен включать в себя развитие отсталых стран... Не могу поверить, что мы можем вести войну против фашистского рабства и в то же время бездействовать в деле освобождения людей по всему миру от последствий отсталой колониальной политики»[509].

Британский кабинет военного времени отверг подобную интерпретацию: «...Атлантическая хартия... была адресована нациям Европы, которые мы надеемся освободить от нацистской тирании, а не предназначалась для решения внутренних вопросов Британской империи или для оценки отношений между Соединенными Штатами и, к примеру, Филиппинами»[510]. Ссылка на Филиппины была специально сделана Лондоном для того, чтобы ввести в рамки «избыток чувств» со стороны Америки и показать американским лидерам, что они могут потерять, если доведут свои аргументы до логического завершения. И все же это был выстрел, не достигший цели, ибо Америка на деле следовала тому, что проповедовала, и уже решила предоставить независимость своей единственной колонии, как только кончится война.

Англо-американские дебаты по поводу колониализма на этом не кончились. В 1942 году в обращении по поводу Дня памяти павших в Гражданской войне 1861 — 1865 годов друг и доверенное лицо Рузвельта, заместитель государственного секретаря Самнер Уэллес вновь подчеркнул историческое неприятие Америкой колониализма:

«Если нынешняя война является на деле войной за освобождение народов, она должна обеспечить суверенное равноправие всех народов мира, в частности, на всем Американском континенте. Наша победа должна повлечь за собой освобождение всех народов... Эпоха империализма окончилась»[511].

Рузвельт вслед за этим направил памятную записку государственному секретарю Хэллу, уведомлявшую его, что заявление Уэллеса было санкционировано, — такого рода жест не вполне может быть причислен к числу тех, что укрепляют узы взаимной приязни между государственным секретарем и его заместителем, ибо он намекает на то, что у заместителя более тесные отношения с президентом. Хэллу в итоге удалось добиться снятия Уэллеса.

Взгляды Рузвельта на колониализм оказались провидческими[512]. Он хотел, чтобы Америка встала во главе неизбежного освобождения колониальных территорий, пока стремление к самоопределению не переросло в расовую борьбу, в чем Рузвельт признавался своему советнику Чарлзу Тауссигу:

«Президент заявил, что его беспокоит судьба желтокожих людей на Востоке. Он сказал, что их один миллиард сто миллионов. Во многих странах Востока ими управляет горстка белых, и коренные народы этого не вынесут. Мы должны помочь им в достижении независимости — один миллиард сто миллионов потенциальных врагов представляют для нас опасность»[513].

Дебаты на тему колониализма не имели практических последствий вплоть до самого конца войны, а к этому времени Рузвельта уже не будет в живых. Но стратегические противоречия имели сиюминутные последствия, отражая резко отличающиеся друг от друга национальные концепции войны и мира. В то время как американские лидеры полагали, что военная победа и есть итог войны, их британские коллеги стремились соотнести военные операции с точным дипломатическим планом устройства послевоенного мира.

Наиболее значительный военный опыт Америка обрела в проходившей на ее собственной территории гражданской войне, где борьба шла до конца, и в первой

мировой войне. Обе они завершились тотальной победой. С точки зрения американского мышления, внешняя политика и стратегия раскладывались по полочкам, как последовательные стадии национальной политики. В идеальном американском мире дипломаты не занимались стратегией, а военный персонал завершал выполнение задачи к тому времени, как дипломатия вступала в действие, — за приверженность этой точке зрения Америке пришлось заплатить дорогую цену в Корейской и Вьетнамской войнах. В противоположность этому, для Черчилля военная стратегия и внешняя политика были неразрывно связаны друг с другом. Поскольку ресурсы Великобритании были гораздо более ограничены, чем ресурсы Соединенных Штатов, генштабисты Черчилля все время концентрировали свое внимание не только на целях, но и на средствах их достижения. А поскольку страна чуть-чуть не истекла кровью во время первой мировой войны, британские лидеры были преисполнены решимости не допустить повторного жертвоприношения такого рода. И им годилась любая стратегия, сводившая число жертв к минимуму.

Почти сразу же после вступления Америки в войну Черчилль предложил нанести удар по, как он выразился, мягкому подбрюшью «оси» в Южной Европе. К концу войны настойчиво, но тщетно он умолял Эйзенхауэра брать Берлин, Прагу и Вену до подхода советских войск. Для Черчилля привлекательность такой постановки задачи заключалась не в уязвимости Балкан (которые на самом деле являются исключительно трудным театром военных действий), не в наличии каких-то военно-стратегических качеств у центральноевропейских столиц, но в полезности пребывания там для ограничения послевоенного влияния Советского Союза.

Американские военные руководители реагировали на рекомендации Черчилля с раздражением, граничащим с яростью. Рассматривая стратегию «мягкого подбрюшья» как очередной пример попытки воспользоваться Соединенными Штатами для достижения британских национальных интересов, они отвергли это предложение на том основании, что не собираются рисковать человеческими жизнями ради достижения целей второстепенного характера. С самого начала совместного планирования операций американское командование стремилось открыть второй фронт во Франции. Полагая, что конкретные линии фронта не играют роли, коль скоро война должна закончиться полной победой, оно настаивало на том, что только действиями подобного рода удастся вовлечь в сражение главные силы германской

армии. В марте 1942 года генерал Джордж Маршалл, начальник штаба сухопутных сил США, взбешенный британским противодействием его плану открытия второго фронта, угрожал пересмотром так называемой «директивы АБЦ — 1», принятой годом ранее, которая отдавала преимущество европейскому театру войны, и переключить главные военные усилия Америки на Тихий океан.

Теперь Рузвельт доказал, что столь же силен как руководитель военного времени, как силен он был, когда вовлекал нацию в войну. Дезавуировав Маршалла, Рузвельт напомнил ссорящимся генералам, что первоначальное решение сделать первоочередным разгром Германии было принято в общих интересах, а не в виде одолжения Великобритании:

«В высшей степени важно не забывать, что поражение Японии не означает поражения Германии и что концентрация американских сил в текущем, 1943 году против Японии повышает шансы на абсолютную германскую гегемонию в Европе и Африке... Поражение же Германии будет означать поражение Японии, возможно, без единого выстрела и без единой жертвы»[514].

Рузвельт в основном соглашался со стратегией Черчилля, за исключением высадки на Балканах. Рузвельт поддержал высадку в Северной Африке в ноябре 1942 года, а после завоевания северного побережья Средиземного моря — высадку в Италии весной 1943 года, выведшую Италию из войны. Второй фронт в Нормандии открылся лишь в июне 1944 года, причем к этому времени Германия была до такой степени ослаблена, что потери союзников оказались минимальными, а до решающей победы оставалось всего ничего.

Сталин был таким же страстным пропагандистом открытия второго фронта, как и американские военные руководители, но его мотивы были скорее геополитические, чем военные. В 1941 году он, конечно, желал снятия германских сил с русского фронта. Он до такой степени жаждал военной помощи, что даже предложил Великобритании направить экспедиционный корпус на Кавказ[515]. В 1942 году, во время германского продвижения на юг России, он продолжал неуклонно настаивать на открытии второго фронта, хотя больше не говорил об экспедиционном корпусе союзников.

Стремление Сталина добиться открытия второго фронта не ослабло даже тогда, когда Сталинградская битва в конце 1942 года повернула события не в пользу

Германии. Наиболее привлекательным для Сталина во втором фронте была отдаленность последнего от Восточной и Центральной Европы, где западные и советские интересы обязательно вступили бы в противоречие. И это также гарантировало, что капиталисты не выйдут из войны чистенькими. Характерно, что Сталин, даже когда настаивал на праве голоса при принятии союзниками военных решений на Западе, отказывал демократическим странам даже в минимальном доступе к советским военным планам и давал лишь жизненно необходимый минимум сведений о расположении советских войск.

Как потом выяснилось, союзникам удалось переключить как раз столько немецких дивизий на Италию — примерно 33, — сколько Сталин просил отвлечь на Францию при открытии второго фронта (он называл цифру от 30 до 40)[516]. И все же Сталин продолжал протестовать против избрания южного стратегического варианта, главным недостатком которого, с его точки зрения, была географическая близость к странам, представлявшим собой предмет советских амбиций. Сталин настаивал на втором фронте в 1942 и 1943 годах по той же самой причине, по какой Черчилль настаивал на его отсрочке: потому что это оттянуло бы силы союзников от политически спорных районов.

В спорах по поводу первопричин «холодной войны» кое-кто из именитых участников дискуссии утверждал, что отказ союзников открыть второй фронт в более ранние сроки обернулся неуступчивостью Сталина в отношении Восточной Европы. Если следовать подобным доводам, получается, что задержка с открытием второго фронта — главная причина злости и цинизма Советского Союза[517]. Невозможно, однако, поверить, чтобы старый большевик, только что заключавший пакт с Гитлером и ведший с нацистским руководителем переговоры о разделе мира, мог быть разочарован «Realpolitik», если союзники действительно следовали ее принципам. Трудно представить себе, чтобы организатор показательных процессов и чисток, устроивший массовые убийства в Катыни, стал циником из-за стратегического решения подчинить военные цели политическим. Он разыгрывал гамбит второго фронта точно так же, как делал все остальное: холодно, расчетливо и реалистично.

Объединенный комитет начальников штабов в данном случае лишь отражал убеждения американского политического руководства, что следует отложить какие бы то ни было дискуссии на тему послевоенного устройства мира до победы. Это было

роковое решение, определившее облик послевоенного мира и сделавшее «холодную войну» неизбежной.

Как правило, в общем и целом страны, стремящиеся к стабильности и равновесию, должны делать все, что в их силах, чтобы добиваться основополагающих условий мира, пока еще идет война. Когда враг все еще находится на поле боя, его сила косвенно усиливает более миролюбивую сторону. Если этим принципом пренебречь и оставить главные вопросы нерешенными вплоть до мирной конференции, то более решительная держава загребет выигрыши, с которыми сможет расстаться лишь в результате решительной конфронтации.

Договоренность между союзниками о целях послевоенного урегулирования или хотя бы обсуждение этих целей были особенно необходимы по ходу второй мировой войны еще и потому, что в январе 1943 года Рузвельтом и Черчиллем в Касабланке был провозглашен принцип безоговорочной капитуляции. Рузвельт выдвинул этот принцип по целому ряду причин. Он опасался, что обсуждение условий мирного договора может породить раздоры, а он хотел сконцентрировать всю энергию союзников на достижение победы над Германией. Он также хотел успокоить Сталина, находившегося тогда на завершающем этапе битвы за Сталинград, что сепаратного мира не будет. Но главное — Рузвельт стремился предотвратить новый раунд германского реваншизма и позднейших претензий по поводу того, что Германию невыполненными обещаниями заманили в ловушку и обманом вынудили прекратить войну.

И все же отказ Рузвельта обсуждать облик послевоенного мира, пока еще шла война, привел к тому, что мощное влияние Америки оказалось не востребованным, а на исходе войны отсутствовали такие ключевые элементы урегулирования, как равновесие сил или какие-либо иные критерии политических решений. Во всех тех вопросах, где действовали вильсонские положения об основополагающей гармонии, Рузвельт в формировании послевоенного мира сыграл огромную роль. Под его эгидой состоялась серия международных конференций, разработавших компоненты сотрудничества в послевоенном мире: относительно будущей Организации Объединенных Наций (в Думбартон-Оксе), международных финансов (в Бреттон-Вудсе), по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (в Хот-Спрингсе), гражданской авиации (в Чикаго), обсуждались проблемы помощи жертвам войны и

перемещенным лицам (в Вашингтоне)[518]. Но при этом Рузвельт твердо стоял на своем, отвергая обсуждение целей войны, ибо хотел избежать риска несогласия со стороны Советского Союза по этим вопросам.

Поначалу Сталин воспринимал уход Рузвельта от обсуждения послевоенного устройства на геополитическом уровне как тактический маневр, имеющий целью воспользоваться его военными затруднениями. Для Сталина война должна была создать новое и более благоприятное соотношение сил на основе вакуума, после неминуемого развала держав «оси». Будучи слишком традиционным политиком и не желая ждать, когда Запад станет ставить условия мира в зависимости от исхода военных действий, Сталин попытался привлечь Идена в декабре 1941 года к решению вопроса о послевоенном устройстве мира, даже несмотря на то, что немецкие войска продвигались к пригородам Москвы. Вступительные замечания Сталина по этому поводу давали ясно понять, что речь шла не об Атлантической хартии. Декларации о принципах, сказал он, это нечто вроде алгебры; он же предпочитал прикладную арифметику. Сталин не хотел терять время из абстракции и предпочитал обсуждать возможные взаимные уступки, лучше всего в форме территорий.

То, что Сталин имел в виду, представляло собой прямую и неприкрытую старомодную «Realpolitik». Германия должна быть расчленена, а Польша передвинута на запад. Советский Союз вернется к границам 1941 года, что конкретно означало границу с Польшей по «линии Керзона», и возвратит себе балтийские государства, — явное нарушение принципа самоопределения, провозглашенного Атлантической хартией. В ответ Советский Союз поддержал бы любые требования Великобритании относительно баз во Франции, Бельгии, Нидерландах, Норвегии и Дании[519] — причем все эти страны являлись британскими союзниками. Сталин рассматривал ситуацию с точки зрения государя XVIII века: добыча принадлежит победителю.

С другой стороны. Сталин пока еще не делал заявлений по поводу политического будущего восточноевропейских стран и даже выказал неожиданную гибкость относительно границы с Польшей. Тем не менее Великобритания не могла полностью отвергнуть Атлантическую хартию всего лишь через три месяца после ее провозглашения. А американские руководители не стали бы особенно заниматься тем, что являлось, по их мнению, возвратом к секретным договоренностям, столь характерным для дипломатии периода первой мировой войны. Даже с учетом этого,

предложенные Сталиным предельно жесткие условия оказались лучше тех, что были обусловлены исходом войны, причем их наверняка можно было бы смягчить в процессе переговоров. Иден вышел из тупика при помощи обещания доложить о беседах со Сталиным Рузвельту и Черчиллю и продолжить диалог позднее.

Несмотря на отчаянное положение на фронте — а может быть, и вследствие этого, — Сталин вернулся к этой теме весной 1942 года. Черчилль был вполне готов воспользоваться советским *quid pro quo* в обмен на признание границ 1941 года. Но Рузвельт и его советники, твердо решившие избегать каких бы то ни было намеков на переговоры по вопросу равновесия сил, отказались от обсуждения послевоенного устройства. Хэлл писал Черчиллю по уполномочию Рузвельта:

«...Курс отказа от наших широковещательных основополагающих деклараций политического, принципиального и практического характера был бы сомнительным... Если будут иметь место отступления от одного-двух важных положений, как вы это предлагаете, то тогда страны-участницы декларации лишатся опоры в виде прецедента или постоянно действующих правил, исходя из которых, можно было бы настаивать на том, чтобы не только мы сами, но и другие правительства ими руководствовались»[520].

Сталин затем попытался продвинуть вопрос на самый высокий уровень, направив Молотова в Лондон в мае 1942 года. На предварительных переговорах по поводу этого визита в апреле 1942 года советский посол Иван Майский выдвинул сталинские условия четырехмесячной давности[521]. Причем теперь уже Советский Союз требовал пактов о взаимопомощи с Румынией и Финляндией на послевоенный период. И это при том, что германские армии все еще находились в глубине территории Советского Союза! Сталин менее всего считался с реальными обстоятельствами, уже тогда выдвигая задачи долгосрочного характера. Хотя нельзя не заметить, что эти требования значительно уступали по охвату и содержанию тем, что выдвинулись им в конце войны и привели, в отсутствие соглашения, к созданию целой орбиты сателлитов.

Что касается проведения такого рода бесед, то Черчилль столкнулся с яростным противодействием Вашингтона. Хэлл назвал англо-советский обмен мнениями противоречием Атлантической хартии, вызовом историческому неприятию Америкой территориальных захватов и возвратом к силовой политике дискредитировавшего себя

прошлого[522]. Рузвельт примерно в том же плане обрушил тяжесть подобной аргументации на Сталина. Сталин ответил коротенькой памятной запиской, подтверждавшей получение послания Рузвельта, но не комментирующей его содержание, что было четким и ясным сигналом неблагоприятного к нему отношения. В памятной записке, одновременно направленной Черчиллю, Сталин призывал его проигнорировать «американское вмешательство»[523].

В самом начале войны Сталин был явно готов согласиться с урегулированием на основе границ 1941 года; и он был чересчур циничен, чтобы не ожидать какого-либо *quid pro quo*. Нет более пустого занятия, чем исторические гадания на тему «что было бы, если бы...»; цена, которую Сталин готов был уплатить, так никогда и не будет известна, ибо Рузвельт прервал англо-советский диалог, пригласив Молотова в Вашингтон.

Во время визита Идена в Москву в декабре 1941 года Сталин выказал гибкость по вопросу польских границ, назвав его «открытым»[524]. Попробуем как бы воспользоваться историческим биноклем двадцатикратного приближения. Оглядываясь назад, можно предположить, что Сталин готов был в ответ на признание границ 1941 года признать, в свою очередь, восточноевропейские правительства в изгнании (на которые он пока еще не замахнулся). В резерве у него имелся бы вариант возвращения балтийских государств к статусу 1940 года с правом иметь советские базы на их территории. Возможно, это привело бы к формированию Восточной Европы по финскому образцу — уважающей проблему советской безопасности, но также демократической и свободной следовать внешнеполитическому курсу неприсоединения. По сравнению с тем, что вышло на самом деле, это было бы лучше для народов Восточной Европы, да и в конечном счете для Советского Союза.

Все эти планы ушли в небытие, как только Молотов прибыл в Вашингтон в конце мая 1942 года и узнал, что Америка хочет от Советского Союза не политического урегулирования, но согласия на новый подход к организации мирового порядка. Рузвельт предложил Молотову американскую альтернативу сталинским (и черчиллевским) идеям относительно сфер влияния. Говоря попросту, его формула представляла собой возврат к вильсонской концепции коллективной безопасности, модернизированной при помощи идеи относительно «четырех полицейских». Такого рода договоренность, настаивал Рузвельт, обеспечит Советскому Союзу большую

безопасность, чем традиционная система равновесия сил[525].

Почему Рузвельт верил, будто Сталин, делавший столь макиавеллистские предложения Черчиллю, найдет для себя привлекательной идею мирового правительства, не вполне ясно. Возможно, он полагал, что, если произойдет самое худшее и Сталин будет настаивать на удержании территории, завоеванной его армией, морально будет легче смириться со свершившимся фактом, чем согласиться на требования Сталина, пока исход военных действий все еще оставался неопределенным.

Гораздо более конкретно Рузвельт высказался по вопросу колоний. Он предложил ввести международную опеку над всеми бывшими колониями, которые «ради нашей собственной безопасности должны быть отобраны у слабых наций» (в эту категорию он включал и Францию)[526]. Он также пригласил Советский Союз стать одним из членов-учредителей Совета по опеке.

Если бы Молотов был в большей степени философом, он, возможно, задумался бы над кругооборотом истории: в течение восемнадцати месяцев его дважды приглашали стать членом различных противоположных друг другу альянсов: Гитлер и Риббентроп — Трехстороннего пакта, состоящего из Германии, Италии и Японии; а Рузвельт — коалиции, включающей в себя Соединенные Штаты, Великобританию и Китай. В каждом отдельном случае Молотова пытались завлечь экзотическими странами Юга: Берлин предлагал Ближний и Средний Восток, Вашингтон — опеку над колониями. Но ни в одном из случаев он не позволил отвлечь себя от первоочередных советских задач, решение которых было доступно советским войскам.

Не видел Молотов нужды и в том, чтобы приравнивать собственную тактику к каждому конкретному собеседнику. В Берлине он согласился в принципе на вступление в соглашение, как было предложено. А то, что, войдя в число «четырех полицейских», он окажется в обществе заклятых врагов группировки, в состав которой его вовлекали восемнадцать месяцев назад, Молотова, похоже, ничуть не смущало. Да и дав, как в Берлине, согласие в принципе, он вовсе не отказался от защиты сталинских территориальных требований в Европе. Молотов настойчиво требовал признания советских границ 1941 года, господствующего положения в Болгарии, Румынии и Финляндии, а также специальных прав в отношении черноморских проливов. И в том и в другом случае колониальные дела он отложил на

более поздний срок.

Вероятнее всего, Сталин ушам своим не поверил, когда Молотов сообщил ему об отказе Вашингтона обсуждать вопросы политического урегулирования до окончания войны. Ибо это означало, что ему не придется делать уступок, пока германская армия все еще находится на поле боя. Знаменательно: когда Сталин понял, что Америка откладывает политическое урегулирование на послевоенный период, он отказался от своего назойливо-задиристого стиля постановки вопроса и более эту тему не затрагивал. И поскольку его положение как договаривающейся стороны укреплялось с каждым шагом союзников к победе, Сталин получал наибольший выигрыш, откладывая политические дискуссии и захватывая как можно больше добычи, хотя бы для того, чтобы воспользоваться этими территориальными трофеями, как фишками в азартной игре, во время мирной конференции. Никто не осознавал в большей степени, чем Сталин, смысл старинного изречения: обладание есть девять десятых законности владения.

Нежелание Рузвельта ставить под угрозу послевоенное сотрудничество с Советским Союзом преждевременным обсуждением целей войны могло иметь под собой как стратегическое, так и вильсонское обоснование. Рузвельт не мог не осознавать размах советского экспансионизма, но он, возможно, оказался в западне между убеждениями собственного народа и маячащими на горизонте стратегическими опасностями. Чтобы поддерживать военные усилия, Рузвельту все время надо было взывать к американским идеалам, отвергавшим политику сфер влияния и равновесия сил. Ведь прошло всего несколько лет с того момента, как Конгресс с энтузиазмом принял Акты о нейтралитете, причем подпитывавшие их идеи совсем не исчезли. Рузвельт мог прийти к выводу, что, каковы бы ни были советские намерения, оптимальной стратегией будет дать возможность Сталину самоутвердиться. Ибо лишь на таком фоне появляется шанс мобилизовать Америку для противостояния советскому послевоенному экспансионизму, если таковой действительно проявится.

Именно такого мнения придерживается Артур Шлезингер-младший, утверждающий, что Рузвельт подготовил укрепленный плацдарм на тот случай, если советско-американские отношения станут кислыми: «огромная армия, сеть баз на других континентах, планы всеобщей военной подготовки в мирное время и англо-американская монополия на атомную бомбу»[527].

Да, все эти средства действительно имелись у Рузвельта в распоряжении. Но мотивацией их создания и накопления было скорее достижение победы, а не возведение барьера советскому экспансионизму. Базы были организованы ради перегона эсминцев в Великобританию; атомная бомба предназначалась для использования против нацистов и Японии; и все данные говорят о том, что Рузвельт собирался в кратчайший срок демобилизовать армию и вернуть ее домой, — ведь это им утверждалось многократно. Без сомнения, если бы Рузвельт убедился в недобросовестности Сталина, он стал бы умелым и решительным противником советского экспансионизма и воспользовался в связи с этим уже описанными инструментами воздействия. Однако почти отсутствуют свидетельства тому, что он когда-либо вообще приходил к подобному выводу или рассматривал свои военные возможности в рамках гипотетической конфронтации с Советским Союзом.

Когда война стала близиться к завершению, Рузвельт и на самом деле стал выказывать крайнее раздражение тактикой Сталина. И все же в продолжение всей войны Рузвельт был последователен и откровенен в деле преданности советско-американскому сотрудничеству и считал самой главной для себя задачей преодолеть сталинское недоверие. Возможно, Уолтер Липпман был прав, когда говорил о Рузвельте: «Он не доверял никому. И полагал, что сможет перехитрить Сталина. Но это было уже совсем другое»[528]. Если его намерения были действительно таковы, то они не увенчались успехом.

Рузвельт полагался на личные отношения со Сталиным, чего никогда бы не сделал Черчилль. Когда Гитлер вторгся в Советский Союз, Черчилль объяснял решение Великобритании поддержать Сталина заявлением, не содержащим ни моральных, ни личностных обязательств: «Если бы Гитлер вторгся в ад, то он [Черчилль] постарался бы по меньшей мере отнестись самым благоприятным образом к Дьяволу!»[529] Рузвельт не выказал такой же сдержанности. Вскоре после вступления Америки в войну он сделал попытку организовать встречу со Сталиным в Беринговом проливе в отсутствие Черчилля. Это должна была быть «неофициальная и совершенно обычная совместная поездка на несколько дней для нас двоих», чтобы добиться «общего понимания вещей». Рузвельт собирался взять с собой только Гарри Гопкинса, переводчика и стенографиста, а свидетелями были бы лишь моржи и чайки.[530]

Встреча в Беринговом проливе так и не состоялась. Но две встречи на высшем

уровне действительно имели место: в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года и в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года. И в том и в другом случае Сталин лез вон из кожи, чтобы показать Черчиллю и Рузвельту, что им встреча нужна гораздо больше, чем ему; даже места встреч были выбраны так, чтобы разубедить англичан и американцев в возможности заставить его пойти на уступки. Тегеран — это всего лишь несколько сотен миль от советской границы, а Ялта, само собой, находилась на советской территории. В каждом из этих случаев западным лидерам приходилось ехать тысячи миль, что было особенно трудно для человека типа Рузвельта, не обладавшего особо крепким здоровьем уже во времена Тегеранской встречи. К моменту Ялтинской конференции президент был смертельно болен.

Ялта стала символом позора с точки зрения формирования облика послевоенного мира. И все же, когда проходила эта конференция, советские войска уже давно перешагнули все границы 1941 года и были в состоянии односторонне навязать советский политический контроль над всей остальной Восточной Европой. Если бы вообще послевоенное устройство стало темой какого-то из саммитов, то самое время обсуждать его было бы в Тегеране, пятнадцатью месяцами ранее. До этого момента Советский Союз воевал, чтобы избежать поражения; к моменту Тегеранской конференции битва под Сталинградом была уже выиграна и победа обеспечена, а предположение о сепаратной советско-нацистской сделке выглядело в высшей степени невероятно.

В Тегеране Рузвельт первоначально планировал остановиться в американской миссии, находившейся на некотором расстоянии от британского и советского посольств, стоявших стена к стене. И потому постоянно в воздухе витало беспокойство, что, следуя на заседание на советской или британской территории, Рузвельт может пасть жертвой какого-нибудь бомбометателя, симпатизирующего державам «оси». Поэтому на первом же пленарном заседании, проводившемся в здании американской миссии, Рузвельт принял приглашение Сталина занять виллу на советской территории. Она была меблирована в претенциозно-безвкусном стиле, любимом высшими советскими руководителями, и, без сомнения, была по такому случаю напичкана подслушивающими устройствами.

Рузвельт, безусловно, проявил доверие и добрую волю, приняв предложение Сталина разместиться у него. И все же этот жест не имел значительного влияния на

сталинскую стратегию, суть которой заключалась в наказании Черчилля и Рузвельта за задержку с открытием второго фронта. Сталин любил заставлять своих собеседников защищаться. В данном случае это было особенно выгодно, поскольку переключало внимание на регион, отдаленный от места возможного соперничества. Сталин выжал официальное обещание открыть второй фронт во Франции к весне 1944 года. Трое союзников также договорились о полной демилитаризации Германии и о своих будущих зонах оккупации. А когда Сталин стал настаивать на ликвидации пятидесяти тысяч германских офицеров, Черчилль покинул зал заседаний и вернулся лишь тогда, когда Сталин, вышедший за ним вслед, заверил его, что это была только шутка. Но, если вспомнить о ставшем теперь известном массовом уничтожении польских офицеров в Катыни, он вовсе не шутил[531]. А затем в частном разговоре Рузвельт обрисовал скептически настроенному Сталину идею относительно «четырех полицейских». Таким образом, переговоры по послевоенному устройству мира передвигались на более поздние сроки. Эти вопросы были затронуты лишь в самый последний день конференции. Рузвельт согласился со сталинским планом сдвинуть границы Польши на запад и заметил, что не собирается давить на Сталина в отношении балтийских стран. Если советские войска оккупируют балтийские государства, заявил он, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не собираются их оттуда «выставлять», хотя он при этом порекомендовал устроить там плебисцит. Дело заключалось в том, что Рузвельту в Тегеране в такой же степени не хотелось детально обсуждать устройство послевоенного мира, как и за восемнадцать месяцев до этого, во время визита в Вашингтон Молотова. Президент выдвигал собственные соображения по поводу сталинских планов послевоенного устройства Восточной Европы весьма осторожно, чуть ли не извиняющимся тоном. Рузвельт пытался обратить внимание Сталина на наличие в Америке шести миллионов избирателей польского происхождения, которые могли бы оказать влияние на его переизбрание в последующем году. И «хотя лично он был согласен с точкой зрения маршала Сталина относительно необходимости восстановления польского государства и ему бы хотелось видеть восточную границу этого государства несколько сдвинутой к западу, а западную границу отодвинутой даже к реке Одер, он все же надеялся, что маршал поймет, что по уже указанным политическим причинам он не может принимать участия в выработке каких бы то ни было решений по данному вопросу как здесь, в

Тегеране, так и будущей зимой, и не может он публично заниматься такого рода переговорами в настоящее время»[532]. Такого рода заявление меньше всего давало понять Сталину, что тот идет на большой риск, принимая решение односторонне; наоборот, заявление таило в себе намек на то, что согласие Америки после выборов — дело в основном решенное.

Причина, по которой Рузвельт столь непоследовательно защищал в Тегеране американские политические цели, заключалась в том, что он считал основной целью конференции принятие концепции «четырех полицейских». И одним из способов завоевать доверие Сталина было резкое дистанцирование от Черчилля, как он потом сообщал г-же Фрэнсис Перкинс, старому другу и министру труда в его правительстве:

«Уинстон багровел и выходил из себя, но чем больше он это делал, тем больше Сталин улыбался. Наконец Сталин от всего сердца расхохотался, и впервые за три дня я увидел свет надежды. Я тоже рассмеялся, и вот уже мы со Сталиным смеялись вместе, и тут я назвал его „дядя Джо“. Возможно, за день до этого он счел бы это фамильярностью, но тут он вновь рассмеялся, встал и пожал мне руку.

С этого момента наши отношения стали носить дружественно-личный характер—Лед был сломан, и мы разговаривали, как двое мужчин-побратимов»[533].

Превращение Сталина, организатора кровавых чисток и недавнего сотоварища Гитлера, в «дядю Джо», символ умеренности, было, конечно, наивысшим триумфом надежды, победившей опыт. И все же упор Рузвельта на добрую волю Сталина не был личным заблуждением, но отражал подход народа, больше верящего не в геополитический анализ, а в то, что человек от природы добр. Они предпочитали видеть в Сталине милого дядюшку, а не тоталитарного диктатора. В мае 1943 года Сталин распустил Коминтерн, официальное орудие Коммунистической партии в деле достижения мировой революции. Это произошло в тот момент, когда мировая революция вряд ли являлась первостепенной задачей советского государства или вообще могла рассматриваться всерьез. И все же сенатор Том Коннелли, штат Техас, один из ведущих членов сенатского комитета по иностранным делам, который вскоре станет его председателем, приветствовал шаг Сталина как фундаментальный поворот в сторону западных ценностей: «Русские в течение многих лет занимались изменением своей экономики и тем самым шли к отказу от коммунизма, и теперь весь западный мир будет с благодарностью воспринимать счастливый исход этих

усилий»[534]. Даже журнал «Форчун», бастион американского капитализма, писал в том же ключе[535].

Вот почему по окончании Тегеранской конференции американский народ не воспринял как нечто необычное заявление своего президента, подытоживающее достигнутое через оценку советского диктатора:

«Могу сказать, что я „великолепно поладил" с маршалом Сталиным. Это человек, в котором огромная, не знающая усталости решимость сочетается с добрым в своей основе нравом. Я полагаю, что Сталин воистину воплощает в себе душу и сердце России; и еще я полагаю, что мы великолепнейшим образом найдем общий язык и с ним, и с народом России — самым что ни на есть великолепнейшим образом»[536].

И когда в июне 1944 года союзники высадились в Нормандии и двинулись с запада на восток, Германия оказалась обречена. А поскольку положение на фронте необратимо переменялось в пользу Сталина, тот стал завышать свои требования. В 1941 году он просил лишь признания границ 1941 года (допуская возможность их корректировки) и выражал готовность признать базирующихся в Лондоне свободных поляков. В 1942 году — стал предъявлять претензии по поводу состава польского правительства в изгнании. В 1943 году — создал ему альтернативу в виде так называемого Свободного Люблинского комитета. К концу 1944 года он признал Люблинскую группу, возглавляемую коммунистами, и отверг лондонских поляков. В 1941 году главной заботой Сталина были границы; к 1945 году ею стал политический контроль над территориями, находящимися за пределами этих границ.

Черчилль понимал, что происходит. Но Великобритания стала слишком зависимой от Соединенных Штатов, чтобы предпринимать единоличные инициативы. Да и не была Великобритания достаточно сильной, чтобы противостоять в одиночку все более и более решительному формированию Сталиным сферы советского влияния в Восточной Европе. В октябре 1944 года Черчилль отважился на почти что донкихотское предприятие — решить напрямую со Сталиным вопросы будущего Восточной Европы. Во время визита в Москву, продолжавшегося восемь дней, Черчилль составил проект договоренности о разделе сфер влияния и вручил его Сталину. Там он обрисовал разграничение в форме процентов: Великобритания получала 90% в Греции, а Советский Союз — 90% в Румынии и 75% в Болгарии; Венгрия и Югославия были поделены по принципу «50:50». Сталин принял этот

проект с ходу — хотя Молотов, в лучших советских традициях торга барышников, во время диалога с Иденом сумел-таки урезать британские проценты, выцыганив для Советского Союза большую долю в каждой из восточноевропейских стран, исключая Венгрию[537].

В британской попытке просматривалась доля дерзкого отчаяния. Никогда еще сферы влияния не определялись в процентах. Не существовало никаких критериев соответствия или средств контроля за соблюдением принципа долевого дележа. Влияние всегда определялось присутствием соперничающих армий. Вследствие этого Греция подпадала под влияние Великобритании, с соглашением или без, а все прочие страны — за исключением Югославии — стали советскими сателлитами независимо от отведенного им процента. Даже свобода действий у Югославии проистекала не из соглашения между Черчиллем и Сталиным, а из того факта, что эта страна находилась в условиях советской оккупации весьма короткий срок, до той освободившись от германской военной оккупации собственными усилиями посредством массовой партизанской войны.

К моменту начала Ялтинской конференции 1945 года от соглашения между Черчиллем и Сталиным ничего не осталось. Советские войска занимали все спорные территории, превращая вопрос о границах в нечто зыбкое и неопределенное. Более того, уже началось крупномасштабное вмешательство Советского Союза в вопросы внутреннего устройства оккупированных стран.

Будучи серьезно болен, Рузвельт должен был лететь с Мальты в крымский аэропорт Саки, а оттуда ехать на машине девяносто миль до Ялты в течение почти пяти часов по тяжелой, заснеженной дороге. Его апартаменты размещались в трех комнатах Ливадийского дворца (в XIX веке Ливадия была любимым зимним курортом царей: в 1877 году именно там Александр II планировал вторжение на Балканы; а в 1911 году царь Николай II выстроил белый гранитный дворец на утесах, возвышающихся над Черным морем, и именно этот дворец стал местом конференции «Большой Тройки»).

Тактика участников встречи не переменилась от перемены места встречи. Черчилль жаждал обсуждать вопросы послевоенного политического устройства, однако против этого возражали двое его коллег, каждый из которых действовал по заранее продуманной схеме. Рузвельт стремился к решению вопроса о порядке голосования в Организации Объединенных Наций и к обязательному привлечению Советского

Союза к войне с Японией. Сталин с огромной радостью принял участие в обсуждении этих проблем, поскольку затраченное на них время отнималось от дискуссий по Восточной Европе и потому, что он очень хотел вступить в войну с Японией (а не отмахивался от нее, как полагали некоторые американцы), ибо это давало ему надежду воспользоваться плодами и этой победы.

Черчилля больше всего тревожило европейское равновесие сил. Он хотел вернуть Франции статус великой державы, противостоять расчленению Германии и ограничить чрезмерные советские требования относительно репараций. Хотя Черчилль с успехом справился со всеми этими тремя проблемами, они носили всего лишь второстепенный характер по сравнению с восточноевропейским урегулированием, решать вопросы которого с каждым днем становилось все труднее и труднее вследствие действий Красной Армии. К этому времени Сталин уже был готов отвергать мольбы Рузвельта, опасавшегося гнева внутренней оппозиции из-за отсутствия уступок со стороны Советского Союза: когда Рузвельт попросил оставить город Львов в составе Польши, чтобы умиротворить критикующих его в Америке лиц польского происхождения, Сталин ответил, что хотя ему бы очень хотелось сделать Рузвельту приятное, но у него самого тогда возникнут непреодолимые проблемы с его собственным украинским населением[538].

В конце концов Черчилль и Рузвельт согласились на границы 1941 года для России, что было болезненным шагом для Черчилля, чья страна вступила в войну, чтобы сохранить территориальную целостность Польши. Они также согласились о перемещении западной границы Польши по линии рек Одер и Нейссе. Но поскольку существовали две реки, носящие название Нейссе, то окончательная линия границы была не определена. Черчилль и Рузвельт признали созданное Москвой люблинское правительство с условием, что оно будет расширено за счет включения в него отдельных демократических деятелей из базирующегося в Лондоне польского правительства в изгнании.

Уступкой Сталина союзникам явилась совместная «Декларация об освобожденной Европе», где давалось обещание о проведении в Восточной Европе свободных выборов и установлении там демократических правительств. Сталин явно полагал, что дает обещание в отношении советской версии свободных выборов, поскольку Красная Армия уже оккупировала данные страны. Именно это и случилось, хотя

Сталин в серьезнейшей степени недооценил уважение, которое американцы традиционно питают к документам юридического характера. Позднее, когда Америка решилась организовать сопротивление советскому экспансионизму, она это сделала, исходя из того, что Сталин не сдержал своего слова, данного в Ялте, в том виде, в каком это понимали американские руководители и американская общественность.

Реакция Сталина на призыв Рузвельта вступить в войну против Японии иллюстрирует, как отличны от рузвельтовских были правила игры и взгляды Сталина на коалицию. На переговорах, к участию в которых Черчилль допущен не был, несмотря на то, что Великобритания одной из первых стала жертвой японской агрессии, ничего не говорилось о единстве союзников, а лишь о потенциальном вознаграждении, и не затрагивались политические вопросы реализации идеи «четырех полицейских». Сталин ни чуточки не стеснялся требовать для себя особых выгод, пока война еще шла, стремясь, чтобы эти выгоды носили стратегический, а не эмоциональный характер. Требуемое им *quid pro quo* восходило еще ко временам царей.

Сталинские претензии на южную часть Сахалина и на Курильские острова, положим, хоть как-то соотносились с вопросами советской безопасности и имели опору в русской истории. Но требование свободно распоряжаться портами Дайрена и Порт-Артура и получить право на управление маньчжурскими железными дорогами бралось прямо из царско-империалистических прописей начала века. И потому наименее доступным пониманию является решение Рузвельта в Ялте пойти на удовлетворение всех этих требований и оформить их секретным соглашением, которое предусматривало возвращение Москве господствующей роли в Маньчжурии, утерянной в результате русско-японской войны; роль эта сохранялась до тех пор, пока китайские коммунисты не заняли Пекин в 1949 году.

После Ялтинской конференции радости не было конца. Докладывая Конгрессу, Рузвельт делал упор на договоренности по Организации Объединенных Наций, а не на решениях, предопределявших политическое будущее Европы и Азии. Второй раз в продолжение жизни одного поколения американский президент возвращался из Европы и провозглашал конец эпохи. «Ялтинская конференция, — утверждал Рузвельт, — должна знаменовать собой конец системы односторонних действий, узких союзов, сфер влияния, равновесия сил и всех прочих отживших свой век

установлений, пускавшихся в ход на протяжении столетий и никогда не приносивших пользы. Мы предлагаем заменить все это универсальной организацией, куда в конечном счете могут вступить все миролюбивые нации. Я убежден, что и Конгресс, и американский народ воспримут результаты конференции как начало перманентного мира»[539].

Иными словами, Рузвельт предоставил Сталину сферу влияния в Северном Китае для того, чтобы сделать для него привлекательным участие в создании такого мирового порядка, при котором не будет нужды в сферах влияния.

Когда Ялтинская конференция окончилась, сплошь и рядом восхвалялось единство между союзниками военного времени; трения, которые разрушат этот союз, до поры до времени вовсе не брались в расчет. Царствовала надежда, и на «дядюшку Джо» смотрели как на надежного партнера. Вспоминая Ялту, Гарри Гопкинс выражал озабоченность, как бы Сталин, предположительно умеренный политик, не сдался под давлением сторонников твердой линии в Кремле:

«Русские показали, что они могут быть разумными и дальновидными, и ни у президента, ни у нас не было ни малейшего сомнения в том, что мы сможем жить бок о бок с ними и мирно идти рука об руку сколь угодно долго. Но я вынужден сделать в этой связи одну оговорку: я полагаю, всех смущало, что невозможно предсказать, каким будет ход событий, если что-нибудь случится со Сталиным. Мы были уверены, что на него можно рассчитывать, как на разумного, здорового и понимающего человека, но мы никогда не представляли себе, кто или что может быть у него за спиной в Кремле»[540].

Мысль о том, что лицо, занимающее высшую должность в Кремле, является в глубине души умеренным и миролюбивым политиком, нуждающимся в защите от давления неуступчивых коллег, оставалась во все времена постоянной темой американских дискуссий независимо от того, кто конкретно был советским руководителем. Более того, рассуждения подобного рода перешли и на посткоммунистический период и применялись сначала к Михаилу Горбачеву, а затем к Борису Ельцину.

Важность личностных отношений между лидерами и существование основополагающей гармонии между нациями продолжали пропагандироваться Америкой по мере приближения окончания войны. 20 января 1945 года в четвертом

послании по случаю вступления в должность президента Рузвельт воспользовался цитатой из Эмерсона: «...Единственный способ приобрести друга — самому быть таковым»[541]. Вскоре после Ялты Рузвельт давал следующую характеристику Сталину на заседании кабинета: «В нем есть что-то еще, кроме революционного большевизма». Эти особые качества в Сталине он усматривал и в том, что тот первоначально, в детстве, готовился пойти по священнической стезе. «Я думаю, что его личность впитала в себя нечто, присущее поведению джентльмена-христианина»[542].

Сталин, однако, был не джентльмен-христианин, а мастер применения принципов «Realpolitik» на практике. По мере продвижения советских войск он осуществлял то, на что намекал в частной беседе тогдашнему югославскому коммунистическому лидеру Миловану Джиласу:

«Война теперь не такая, как в прошлом; тот, кто занимает территорию, вводит на ней свою собственную социальную систему. Каждый вводит свою систему везде, куда может дойти его армия. Иначе и быть не может»[543].

Сталинские правила игры были трагически продемонстрированы на завершающих этапах войны. В апреле 1945 года Черчилль давил на Эйзенхауэра, как на главнокомандующего союзными войсками, чтобы тот брал Берлин, Прагу и Вену, опередив приближающиеся советские войска. Американские начальники штабов даже не пожелали рассматривать этот вопрос. Они не преминули дать заключительный урок своему британскому союзнику, как надо осуществлять планирование военных операций без оглядки на политические соображения: «Психологические и политические выгоды, которые могли бы проистекать из возможного занятия Берлина ранее русских, не перевешивают военных соображений настоящего свойства, какими, в нашем понимании, являются уничтожение и расчленение германских вооруженных сил»[544].

Поскольку уже не существовало сколько-нибудь значительных германских вооруженных сил, которые надо было бы «расчленять и уничтожать», отказ пойти навстречу призыву Черчилля отражал лишь принципиальную точку зрения американских начальников штабов. При этом последние до такой степени твердо отстаивали свою точку зрения, что генерал Эйзенхауэр решился лично написать Сталину 28 марта 1945 года. Он сообщил ему, что не будет продвигаться на Берлин, и

предложил, чтобы американские и советские войска встретились неподалеку от Дрездена.

Безусловно, потрясенный тем, что генерал обращается к главе государства по какому бы то ни было поводу, а тем более по вопросу исключительной политической важности, Сталин решил тем не менее не изменять своим привычкам и не отказываться от бесплатных политических подношений. 1 апреля он ответил Эйзенхауэру, что согласен с его расчетами; он тоже считает Берлин стратегически второстепенным и выделит лишь незначительные советские силы для его захвата. Маршал согласился и на то, чтобы местом встречи назначить Эльбу в районе Дрездена. Получив подобный дар, Сталин не преминул продемонстрировать, что уж для него-то первоочередные задачи политического характера стоят на первом плане. В противоположность заверениям, данным Эйзенхауэру, он распорядился, чтобы направлением главного удара для советских сухопутных сил стал Берлин, дав маршалам Жукову и Коневу две недели для подготовки атаки, которая, по словам Сталина в письме Эйзенхауэру, планировалась лишь на вторую половину мая[545].

К апрелю 1945 года, через два месяца после Ялты, нарушения Сталиным Ялтинской декларации об освобождении народов Европы стали вопиющими, особенно применительно к Польше. Черчилль дошел до того, что направил слезное письмо «моему другу Сталину». Соглашаясь со сталинским предложением, чтобы в новом польском правительстве не участвовал ни один человек, враждебно относящийся к Советскому Союзу, Черчилль упрашивал включить в его состав некоторых из членов польского правительства в изгнании, находившегося в Лондоне, которые бы удовлетворяли этому требованию. Но к этому времени одного лишь отсутствия враждебных чувств Сталину было мало; годилось лишь полностью дружественное правительство. 5 мая 1945 года Сталин ответил:

«...Мы не можем довольствоваться тем, что лица, имеющие отношение к формированию будущего польского правительства, как вы выражаетесь, „в основе своей не являются антисоветскими“, или тем, чтобы из участия в его работе были бы исключены лишь лица, по вашему мнению, „исключительно недружественные к России“.

Ни один из этих критериев нас удовлетворить не может. Мы настаиваем и будем настаивать, чтобы в консультации по поводу формирования будущего польского

правительства были вовлечены только те лица, которые активно продемонстрировали дружественное отношение к Советскому Союзу, кто честно готов сотрудничать с советским государством»[546].

Определения «активно» и «дружественный» были, конечно, применимы только к членам Польской коммунистической партии и, уж конечно, только к тем из них, которые были целиком и полностью преданы Москве. Но через четыре года даже истовые коммунисты-поляки оказались заподозрены в национальных чувствах и подверглись чистке...

Но существовала ли альтернативная стратегия вообще? Или, быть может, демократические страны делали все от них зависящее с учетом географических и военных реалий того времени? Это вопросы дьявольские по сути, ибо по прошествии времени все, что произошло, стало казаться неизбежным. Чем больше становится разрыв во времени, тем труднее представить себе альтернативный исход или доказать его возможность. А историю нельзя прокрутить назад, как бобину киноплёнки, к которой можно по желанию приделать другой конец.

Предотвратить восстановление границ 1941 года представлялось практически невозможным. При условии более динамичной западной политики можно было бы, конечно, добиться кое-каких корректив, к примеру, возврата балтийским государствам какой-либо формы независимости. Советский Союз мог бы удовлетвориться договорами о взаимопомощи и наличием на их территории советских военных баз. Однако такой вариант годился бы лишь для 1941 года или 1942 года, когда Советский Союз находился на грани катастрофы. Но, само собой разумеется, Рузвельт остерегался обременять верхушку советской политики столь малоприятным выбором в тот момент, когда Америка только-только вступила в войну и больше всего опасалась советского краха.

Однако после Сталинградской битвы вопрос будущего Восточной Европы можно было выдвигать смело, не опасаясь ни советского краха, ни сепаратного мира с Гитлером. Тогда и следовало сделать усилие по определению политической структуры территорий, сопредельных советским границам, и добиться для них статуса, подобного финскому.

Заклучил бы Сталин сепаратный мир с Гитлером, если бы демократические страны повели себя более настойчиво? Сталин никогда не выдвигал подобной угрозы, хотя

ему удавалось создавать впечатление, что такая возможность имеется. Известны лишь два эпизода, свидетельствующие о том, что Сталин, возможно, задумывался об отдельной договоренности. Первый относится к раннему этапу войны, когда паника была всеобщей. По слухам, Сталин, Молотов и Каганович попросили болгарского посла выяснить с Гитлером возможность примирения за счет балтийских государств, Бессарабии и кусков Белоруссии и Украины — в сущности, речь шла о советских границах 1938 года, но посол предположительно не взялся передать послание[547]. При этом Гитлер бы обязательно отказался от подобного урегулирования, в то время как германские армии направлялись к Москве, Киеву и Ленинграду и уже прошли за ту черту, которую предполагало «мирное предложение», если таковое было. Нацистский план заключался в том, чтобы опустошить Советский Союз вплоть до линии Архангельск — Астрахань, которая находилась весьма далеко от Москвы, а ту часть населения, которая избежит уничтожения, обратить в рабов[548].

Второй эпизод еще более сомнителен. Он относится к сентябрю 1943 года — через восемь месяцев после Сталинграда и через два месяца после Курска, — где в битве германской армией был в общем и целом утрачен наступательный дух. Риббентроп угостил Гитлера весьма странненькой сказочкой. Заместитель советского министра иностранных дел, бывший одно время послом в Берлине, в этот момент посетил Стокгольм, и Риббентроп истолковал это как возможность зондажа по поводу заключения сепаратного мира на основе границ 1941 года. Это было наверняка самообманом, поскольку в тот момент советские войска сами по себе подходили к границам 1941 года.

Гитлер якобы отверг эту возможность и будто бы заявил своему министру иностранных дел: «Знаете, Риббентроп, если я договорюсь с Россией сегодня, я все равно обязательно нападу на нее завтра — просто не смогу удержаться». В том же плане он говорил с Геббельсом. Время было «целиком и полностью неподходящим»; переговорам должна была предшествовать «решающая военная победа»[549]. Даже в 1944 году Гитлер все еще верил, что, закрыв второй фронт, он окажется в состоянии покорить Россию.

В конце концов, сепаратный мир, даже в границах 1941 года, не решил бы ничего ни для Сталина, ни для Гитлера. Сталин бы очутился, как и раньше, лицом к лицу с мощной Германией и с перспективой, что в будущем конфликте западные демократии

не поддержат столь неверного партнера. А Гитлером такой мир был бы истолкован как выдвижение советских войск в сторону Германии без малейшей гарантии на то, что они при первой же возможности не возобновят войну.

Рузвельтовская концепция «четырех полицейских» разбилась о ту же преграду, о какую расшиблась более широкая концепция Вильсона относительно коллективной безопасности: «четверо полицейских» просто не воспринимали единообразно свои глобальные функции. Опаснейшая сталинская комбинация паранойи, коммунистической идеологии и русского империализма переводила представление о «четырех полицейских», беспристрастно оберегающих мир во всем мире на базе общности ценностей, в план либо советских возможностей, либо капиталистических ловушек. Сталин знал, что Великобритания как таковая не является противовесом Советскому Союзу, и это либо создаст гигантский вакуум у передовых российских рубежей, либо явится прелюдией к более поздней конфронтации с Соединенными Штатами (как большевик первого поколения, Сталин, должно быть, считал это наиболее вероятным исходом). Обе эти гипотезы делали поступки Сталина четкими и ясными: он постарается выдвинуть советскую мощь на запад как можно дальше либо для прикармливания добычи, либо для обеспечения себе наиболее благоприятной переговорной ситуации на случай более позднего дипломатического противостояния.

С учетом всего этого Америка оказалась неподготовленной к восприятию последствий реализации президентской идеи относительно «четырех полицейских». Если бы эта концепция сработала, Америка должна была бы охотно противостоять любой угрозе миру. И все же Рузвельт не уставая твердил своим друзьям-союзникам, что ни американские войска, ни американские ресурсы не будут привлекаться для восстановления Европы, а сохранение мира станет британской и русской задачей. В Ялте он заявил своим коллегам, что американские войска будут исполнять оккупационные обязанности не долее двух лет[550].

Если бы это было так, то Советский Союз неизбежно стал бы господствующей силой в Центральной Европе, оставив Великобритании неразрешимую проблему. С одной стороны, та сама по себе была уже не в состоянии поддерживать равновесие сил с Советским Союзом. С другой стороны, если бы Великобритания предприняла какого-то рода односторонние инициативы, она наверняка бы встретила с традиционными возражениями со стороны Америки. К примеру, в январе 1945 года

газета «Нью-Йорк тайме» предала гласности тайную попытку Рузвельта связаться с Черчиллем в связи с британским стремлением создать в Греции некоммунистическое правительство. Согласно сообщению газеты, Рузвельт заявил совершенно однозначно, что положительное отношение американской общественности к послевоенному англо-американскому сотрудничеству весьма хрупко: «...Британцам было сказано твердо и авторитетно, что настроение американского народа может перемениться так же мгновенно, как переменчива английская погода, стоит только ему проникнуться идеей, будто бы эта война... [есть] еще одна схватка между соперничающими империалистами»[551].

Но откажись Америка защищать Европу, при том, что британские попытки действовать в одиночку были бы заклеены как империалистические, — доктрина «четырех полицейских» вызвала бы в случае применения такой же вакуум, как и концепция коллективной безопасности в 30-е годы. И до появления перемен в американских основополагающих представлениях сопротивление советскому экспансионизму оказалось бы невозможным. К тому времени как Америка осознала бы опасность и ввязалась в драку, результатом ее было бы только появление сфер влияния, более или менее очерченных, чего Америка столь решительно избегала на протяжении всей войны. В итоге случилось так, что от геополитики отмахнуться оказалось невозможным. Америка была силком притянута к Европе; Япония и Германия восстанавливались для перестройки равновесия сил; а Советский Союз в течение сорока пяти лет шел по пути создания напряженности и стратегически перенапрягся, что и привело его к краху.

Азия представляла собой еще одну трудную проблему. Рузвельт включил в число «четырех полицейских» Китай отчасти из вежливости, отчасти для того, чтобы иметь азиатский якорь для своих глобальных планов. Однако Китай был еще в меньшей степени, чем Великобритания, способен выполнять возложенную на него Рузвельтом миссию. К концу войны он являлся слаборазвитой страной, стоявшей на пороге гражданской войны. Как же эта страна могла служить мировым полицейским? Когда Рузвельт обсуждал идею относительно «четырех полицейских» в Тегеране, Сталин задал резонный вопрос, а как будут реагировать европейцы, если их споры возьмется решать Китай. Он добавил, что, по его мнению, Китай недостаточно силен для подобной глобальной роли, и предложил вместо этого создавать региональные

комитеты по поддержанию мира[552]. Рузвельт отверг это соображение как таящее в себе тенденцию воссоздавать сферы влияния; мир следовало защищать на глобальной основе или вообще не следовало защищать.

И все же, с учетом всех этих противоречий, окружающих Рузвельта, стоит задаться вопросом, нашел бы какой-либо иной подход поддержку американского народа. В конце концов, американцы всегда были более склонны верить в то, что система, основанная на четком отрицании демократических принципов, способна внезапно повернуться на сто восемьдесят градусов, а не в то, что можно многому научиться на опыте предшествующих попыток мирного урегулирования, ни одна из которых на деле не преуспела, если не учитывала равновесия сил и не существовала продолжительное время в отсутствие морального консенсуса.

Черчиллевский геополитический анализ оказался гораздо более точен, чем рузвельтовский. И все же нежелание Рузвельта рассматривать мир в геополитическом плане было оборотной стороной того же самого идеализма, который вовлек Америку в войну и позволил ей защитить дело свободы. Если бы Рузвельт следовал рецептам Черчилля, он, возможно, улучшил бы переговорное положение Америки, но пожертвовал бы ее способностью выдержать противостояние в «холодной войне», которое было еще впереди

То, что Рузвельт во время войны прошел больше, чем легендарную «лишнюю милю», стало предпосылкой тех великих инициатив, при помощи которых Америка восстановила глобальное равновесие сил, хотя Соединенные Штаты отрицали всякий раз, что занимались именно этим. Рузвельтовская концепция послевоенного мира, возможно, выглядела чересчур оптимистичной. Но в свете американской истории позиция такого рода наверняка обеспечивала ту самую точку опоры, от которой Америка должна была оттолкнуться, если надеялась преодолеть предстоящий кризис. В конце концов, Рузвельт провел свое общество через два самых гигантских кризиса за его историю. Он, безусловно, не сумел бы столь преуспеть в этих начинаниях, если бы в большей степени проникся чувством исторического релятивизма.

Итак, пусть даже это было неизбежно, война окончилась, создав геополитический вакуум. Равновесие сил было разрушено, а всеобъемлющий мирный договор так и маячил где-то в отдалении. Мир разделился на идеологические лагеря. Послевоенный период превращался в продолжительную и болезненную борьбу за достижение

урегулирования, которым до окончания войны лидеры пренебрегли.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Начало «холодной войны»

Подобно Моисею, Франклин Делано Рузвельт видел землю обетованную, но не дано ему было достичь ее. Когда он умер, союзные войска находились уже в глубине Германии, а битва за Окинаву, прелюдия к планируемому союзному вторжению на основные Японские острова, только началась.

Смерть Рузвельта 12 апреля 1945 года не была неожиданностью. Врач Рузвельта, встревоженный резкими колебаниями кровяного давления у пациента, сделал вывод, что президенту удастся выжить, только если он будет избегать какой бы то ни было умственной нагрузки. С учетом требований президентского поста, это заявление было равносильно смертному приговору[553]. В какой-то безумный миг Гитлер и Геббельс, загнанные в западню в окруженном Берлине, поверили в придуманную ими же самими сказку, будто бы они сейчас явятся свидетелями повторения исторического события, названного в учебниках «чудом Бранденбургского дома»: когда в Семилетнюю войну, в то время как русские армии стояли у ворот Берлина, Фридрих Великий был спасен благодаря внезапной смерти русской императрицы и восшествия на престол дружественно настроенного царя. История, однако, в 1945 году не повторилась. Нацистские преступления обусловили, по крайней мере, одну общую для всех союзников цель: ликвидировать нацизм как источник бед.

Крах нацистской Германии и необходимость заполнить образовавшийся в результате этого вакуум силы привели к распаду военного партнерства. Просто-напросто цели союзников коренным образом расходились. Черчилль стремился не допустить

господства Советского Союза в Центральной Европе. Сталин хотел получить в оплату советских военных усилий и героических страданий русского народа территорию. Новый президент Гарри Ш. Трумэн поначалу стремился следовать заветам Рузвельта и крепить союз. Однако к концу его первого президентского срока исчезли последние намеки на гармонию военного времени. Соединенные Штаты и Советский Союз, два периферийных гиганта, теперь противостояли друг другу в самом центре Европы.

Социальное происхождение Гарри Ш. Трумэна, как небо от земли, отличалось от происхождения его великого предшественника. Рузвельт был признанным членом космополитического северо-восточного истэблшмента; Трумэн происходил из среднезападного деревенского среднего класса. Рузвельт получал образование в лучших подготовительных школах и университетах; Трумэн так и не поднялся выше уровня неполной средней школы, хотя Дин Ачесон со страстью и восхищением называл его настоящим йельцем в лучшем смысле этого слова. Вся жизнь Рузвельта была посвящена подготовке к занятию высшей государственной должности в стране; Трумэн был продуктом политической машины Канзас-Сити.

Избранный на роль вице-президента лишь после того, как первый назначенец Рузвельта Джеймс Бирнс был забракован профсоюзным движением, Гарри Трумэн своей прошлой политической карьерой не давал даже намека на то, что из него выйдет недюжинный президент. Не имея реального внешнеполитического опыта и руководствуясь лишь неясными намеками, оставленными в наследие Рузвельтом, Трумэн взялся за выполнение задачи по завершению войны и строительству нового международного порядка даже в условиях развала первоначальных планов, принятых в Тегеране и Ялте.

Как выяснилось, президентство Трумэна совпало с началом «холодной войны» и становлением политики сдерживания, которая в итоге и победила. Он вовлек Соединенные Штаты в первый за всю их историю союз мирного времени. Под его руководством Рузвельтовскую концепцию «четырёх полицейских» сменила беспрецедентная система коалиций, которая оставалась в течение сорока лет основой американской внешней политики. Будучи воплощением американской веры в универсальность ее ценностей, этот простой житель Среднего Запада призвал поверженных врагов вернуться в сообщество демократических стран. Он покровительствовал реализации «плана Маршалла» и «программы Четвертого

пункта», посредством которых Америка выделяла ресурсы и технологию на дело восстановления и развития стран, далеких от нее.

Я встречался с Трумэном лишь однажды, в начале 1961 года, когда был доцентом Гарварда. Плановое выступление в Канзас-Сити дало мне возможность встретиться с экс-президентом в Трумэновской президентской библиотеке неподалеку от Индепенденса, штат Миссури. Прошедшие годы не отразились на его прекрасном расположении духа. Устроив экскурсию по библиотеке, Трумэн затем пригласил меня к себе в кабинет, оказавшийся точной копией Овального кабинета Белого дома во времена его президентства. Услышав, что я по совместительству работаю консультантом у Кеннеди в Белом доме, он спросил меня, что я из этого извлек. Опираясь на стандартную вашингтонскую коктейльную мудрость, я ответил, что бюрократия представляется мне четвертой ветвью власти, серьезно ограничивающей свободу действий президента. Трумэн не нашел это замечание ни забавным, ни поучительным. В нетерпении оттого, что с ним разговаривают, как он это назвал, «по-профессорски», он ответил резкостью и колкостью, а затем развернул передо мной свое представление о роли президента: «Если президент знает, чего он хочет, ему не может помешать никакой бюрократ. Президент обязан знать, когда следует остановиться и больше не спрашивать советов».

Быстро вернувшись на привычную академическую почву, я спросил Трумэна, каким именно внешнеполитическим решением он хотел бы более всего остаться в памяти. Он ответил без колебаний: «Мы полностью разгромили наших врагов и заставили их сдаться. А затем мы же помогли им подняться, стать демократическими странами и вернуться в сообщество наций. Только Америка сумела бы это сделать». После этого Трумэн прошел вместе со мной по улицам Индепенденса к простому дому, где он жил, чтобы познакомить меня со своей женой Бесс.

Я пересказываю эту краткую беседу, потому что она полностью отразила суть трумэновской истинно американской натуры: ощущение величия президентского поста и ответственного характера президентской деятельности, гордость могуществом Америки и, превыше всего, веру в то, что истинное призвание Америки — служить светочем свободы и прогресса для всего человечества.

Трумэн приступил к самостоятельному исполнению президентских обязанностей, выйдя из глубокой тени Рузвельта, который после смерти превратился в почти

мифическую личность. Трумэн искренне восхищался Рузвельтом, но в конце концов, как и подобает каждому новому президенту, стал рассматривать свой пост, унаследованный от него, как проекцию собственного опыта и собственных ценностей.

Став президентом, Трумэн ощущал гораздо в меньшей степени, чем Рузвельт, эмоциональную обязанность хранить единство союзников; для выходца из изоляционистского Среднего Запада единство между союзниками было скорее предпочтительным с практической точки зрения, чем эмоционально или морально необходимым. Не испытывал Трумэн и преувеличенного восторга по поводу военного партнерства с Советами, на которые он всегда взирал с величайшей осторожностью. Когда Гитлер напал на Советский Союз, тогда еще сенатор Трумэн оценивал обе диктатуры как морально эквивалентные друг другу и рекомендовал, чтобы Америка поощряла их сражаться насмерть: «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы обязаны помогать России, а если будет побеждать Россия, то мы обязаны помогать Германии, и пусть таким образом они убивают друг друга как можно больше, хотя мне ни при каких обстоятельствах не хотелось бы видеть победителем Гитлера. Ни один из них ни во что не ставит данное им слово»[554].

Несмотря на ухудшение состояния здоровья Рузвельта, Трумэна за все три месяца пребывания на посту вице-президента ни разу не привлекали к участию в выработке ключевых внешнеполитических решений. Не был он и введен в курс дела относительно проекта создания атомной бомбы.

Трумэн получил в наследство международную обстановку, где демаркационные линии определялись сходящимися друг с другом передовыми рубежами армий с востока и с запада. Политическая судьба стран, освобожденных союзниками, еще не решилась. Большинство традиционных великих держав приспособивались к новой для себя роли. Франция оказалась повержена; Великобритания хотя и победила, но была истощена; Германию разрезали на четыре оккупационные зоны: если с 1871 года она пугала Европу своей силой, то теперь, бессильная, угрожала хаосом. Сталин передвигал советскую границу на шестьсот миль к западу, до Эльбы, по мере того как перед фронтом его армий образовывался вакуум вследствие слабости Западной Европы и планируемого вывода американских войск.

Первоначальным инстинктивным порывом Трумэна было поладить со Сталиным, особенно поскольку американские начальники штабов все еще жаждали советского

участия в войне против Японии. Хотя Трумэна обескуражила непреклонность Молотова во время первой встречи с советским министром иностранных дел в апреле 1945 года, он объяснял трудности разностью исторического опыта. «Нам надо твердо держаться с русскими, — заявил Трумэн. — Они не умеют себя вести. Они похожи на слона в посудной лавке. Им всего двадцать пять лет. Нам уже больше ста, а британцы на несколько веков старше. Мы вынуждены научить их, как себя вести»[555].

Это было типично американским заявлением. Основываясь на предположении о наличии основополагающей гармонии, Трумэн объяснял разногласия с Советами не противоположностью геополитических интересов, а «неумением себя вести» и «политической незрелостью». Иными словами, он верил в возможность склонить Сталина к «нормальному» поведению. И когда он осознал, что на самом деле напряженность между Советским Союзом и Соединенными Штатами проистекает не по причине какого-то недоразумения, а носит врожденный характер, началась история «холодной войны».

Трумэн унаследовал главных советников Рузвельта, и его президентство началось с попытки и далее развивать концепцию своего предшественника относительно «четырех полицейских». В обращении от 16 апреля 1945 года, через четыре дня после вступления в должность, Трумэн в мрачных тонах обрисовал контраст между мировым содружеством наций и хаосом и счел, что единственная альтернатива глобальной коллективной безопасности — анархия. Трумэн вновь подтвердил верность идеям Рузвельта, заявив, что специфической обязанностью союзников военных лет остается сохранение единства между ними, чтобы установить и сберечь новый мирный международный порядок, а самое главное — защищать принцип отказа от применения силы при разрешении международных конфликтов:

«Ничто не может быть столь важным для будущего мира во всем мире, как непрерывное сотрудничество между нациями, собравшими все свои силы, чтобы сорвать заговор держав „оси" в целях достижения ими мирового господства.

И поскольку эти великие государства обладают особыми обязательствами в отношении сбережения мира, то основой для них является обязанность всех государств, больших и малых, не применять силу в международных отношениях иначе, как в защиту права»[556].

Похоже, составителя речей Трумэна не думали, что обязаны вносить в его тексты

какое-то разнообразие, а возможно, считали свой стандартный текст не нуждающимся в правке, ибо это положение было дословно повторено в речи Трумэна от 25 апреля на организационной конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско.

Но, несмотря на цветистую риторику, голые геополитические факты приземляли ситуацию. Сталин вернулся к прежней тактике веления внешней политики и требовал платы за свои победы в единственной валюте, воспринимаемой им всерьез, — в форме контроля над территориями. Он понимал, что такое сделка, и готов был участвовать в торге, но лишь постольку, поскольку речь шла о конкретных *quid pro quo* — как-то сферах влияния, или он мог торговать коммунистическим влиянием в Восточной Европе в обмен на конкретные выгоды вроде массивной экономической помощи. Зато абсолютно вне пределов понимания этого одного из наиболее беспринципных лидеров, когда-либо возглавлявших великую державу, находилось то, что внешнюю политику можно основывать на коллективной доброй воле и на фундаменте международного права. С точки зрения Сталина, встречи лидеров мирового масштаба с глазу на глаз могут зафиксировать соотношение сил или расчет национальных интересов, но не способны их изменить. И потому он никогда не отвечал на призывы Рузвельта или Черчилля вернуться к товариществу военного времени.

Не исключено, что огромный престиж, приобретенный Рузвельтом, мог бы еще какое-то время удерживать Сталина в рамках умеренности. В итоге все равно Сталин бы делал уступки только «объективной» реальности; для него дипломатия была всего лишь одним из аспектов более всеобъемлющей и неизбежной борьбы за определение соотношения сил. Проблема, встававшая перед Сталиным в его взаимоотношениях с американскими лидерами, заключалась в том, что он с огромным трудом понимал, какую важную роль для них играли мораль и право применительно к внешнеполитическому мышлению. Сталин искренне не осознавал, почему для американских лидеров такое значение имеет внутреннее устройство восточноевропейских государств, коль скоро они не представляют для них никакого стратегического интереса. Американская приверженность принципу вне связи с каким-либо конкретным интересом, который лежал бы на поверхности, заставляла Сталина искать потаенные мотивы. «Боюсь, — докладывал Аверелл Гарриман в бытность послом в Москве, — что Сталин не понимает и никогда не поймет

полностью нашей принципиальной заинтересованности в свободной Польше. Он реалист... и ему трудно осознать нашу приверженность абстрактным принципам. Ему затруднительно понять, отчего нам вдруг хочется вмешиваться в советскую политику в странах типа Польши, которые он считает чрезвычайно важными с точки зрения безопасности России, если у нас не имеется каких-либо скрытых мотивов...»[557]

Сталин, мастер практического применения принципов «Realpolitik», должно быть, полагал, что Америка хочет воспрепятствовать установлению нового геополитического баланса, возникшего благодаря присутствию Красной Армии в центре Европейского континента. Человек с железными нервами, он был не из тех, кто может пойти на предварительные уступки; он, вероятно, решил, что гораздо лучше держать при себе все накопленные фишки и настороженно следить за обретенными выигрышами в ожидании переговоров, на которых следующий шаг пусть делают союзники. При этом Сталин воспринимал всерьез только такие шаги, последствия которых можно было бы проанализировать с точки зрения риска и вознаграждения за него. И когда союзники не оказывали на него никакого давления, он просто подозревал подвох. Сталин вел себя в отношении Соединенных Штатов столь же дерзко, как привык действовать по отношению к Гитлеру в 1940 году. В 1945 году Советский Союз, ослабленный потерей десятков миллионов жизней и опустошением трети своей территории, очутился лицом к лицу с не пострадавшей от войны Америкой, обладающей атомной монополией; в 1940 году перед ним оказалась Германия, осуществляющая контроль над всем остальным континентом. В каждом из этих случаев Сталин, вместо того чтобы идти на уступки, укреплял позиции советского государства и пытался блефовать перед лицом потенциальных оппонентов, что скорее двинется еще дальше на запад, чем отступит. И в каждом из этих случаев ошибочно рассчитал реакцию оппонентов. В 1940 году визит Молотова в Берлин укрепил решимость Гитлера нападать; в 1945 году тот же самый министр иностранных дел сумел превратить добрую волю Америки в конфронтацию «холодной войны».

Черчилль понял дипломатические расчеты Сталина и вознамерился им противодействовать, предприняв два собственных шага. Он настоял на как можно более ранней встрече на высшем уровне трех союзников военных лет, чтобы решить назревшие вопросы еще до того, как консолидируется советская сфера влияния. С

учетом этого он хотел бы, чтобы западные державы заполучили как можно больше переговорных выгод. Возможность для этого заключалась хотя бы в том, что советские войска встретились с армиями союзников значительно восточнее, чем было предусмотрено, и что в результате этого союзные силы контролировали около трети территории, выделенной советской зоне оккупации Германии, включая подавляющую часть промышленных районов. Черчилль предложил использовать эту территорию в качестве рычага воздействия на последующих переговорах. 4 мая 1945 года он протелеграфировал инструкции министру иностранных дел Идену, собиравшемуся встретиться с Трумэном в Вашингтоне:

«...Союзникам не следует отступить с занимаемых позиций к линиям зон оккупации до тех пор, пока мы не будем удовлетворены относительно Польши, а также относительно временного характера русской оккупации Германии и условий, устанавливаемых в русифицированных или подконтрольных России придунайских странах, в частности в Австрии и Чехословакии и на Балканах»[558].

Новая американская администрация, однако, была не более благожелательна к британской «Realpolitik», чем Рузвельтовская. Дипломатическая схема военных лет повторилась. Американские лидеры были в достаточной степени обрадованы и дали согласие на встречу на высшем уровне в Потсдаме, под Берлином, во второй половине июля. Но Трумэн еще не был готов принять предложение Черчилля действовать со Сталиным, раздавая награды и назначая наказания, с тем чтобы достичь желаемых результатов. Так что Трумэновская администрация оказалась столь же готовой, как и ее предшественница, преподать урок Черчиллю, показав ему, что дни дипломатии равновесия сил давным-давно миновали.

В конце июня, менее чем за месяц до назначенной встречи, американские войска отошли на согласованную демаркационную линию, не оставляя Великобритании иного выбора, как последовать их примеру. Более того, точно так же, как Рузвельт в значительной степени переоценивал возможности Великобритании, администрация Трумэна уже видела себя в роли посредника между Великобританией и Советским Союзом. Преисполненный решимости не произвести впечатления готовности на сговор против Сталина, Трумэн, к огорчению Черчилля, отклонил предложение остановиться по пути в Потсдам в Великобритании, чтобы отпраздновать англо-американскую победу.

Трумэн, однако, не испытывал угрызений совести в отношении встречи со Сталиным в отсутствие Черчилля. Прибегнув к тому же предлогу, каким воспользовался Рузвельт, когда хотел увидеться со Сталиным в Беринговом проливе — то есть указав, что он в отличие от Черчилля никогда не встречался со Сталиным, — Трумэн предложил организовать для него отдельную встречу с советским руководителем. Но Черчилль оказался столь же чувствителен к исключению из советско-американского диалога, сколь серьезно отнеслись советники Трумэна к созданию иллюзии, будто Вашингтон и Лондон работают в тандеме. Согласно мемуарам Трумэна, Черчилль раздраженно уведомил Вашингтон, что он не будет присутствовать на встрече на высшем уровне, являющейся продолжением конференции между Трумэном и Сталиным[559]. Чтобы выполнить взятую на себя роль посредника и установить прямой контакт с лидерами союзников, Трумэн решил направить эмиссаров в Лондон и Москву.

Гарри Гопкинс, давний поверенный Рузвельта, был направлен в Москву; гонец, снаряженный к Черчиллю, был, как это ни странно, отобран с точки зрения доверия к нему Сталина, а не в силу понимания этим доверенным лицом замыслов британского премьер-министра. Это был Джозеф Э. Дэвис, довоенный посол в Москве, написавший бестселлер «Миссия в Москву». И хотя Дэвис был банкиром-инвестором, то есть, в глазах коммунистов, архикапиталистом, он обладал склонностью, характерной для большинства американских послов, особенно не принадлежащих к числу дипломатов карьеры, превращаться в самозванных пропагандистов тех стран, в которых они аккредитованы. Книга Дэвиса о приключениях посла попугайски копировала все тезисы советской пропаганды по всевозможным вопросам, включая утверждения о виновности жертв показательных процессов. Направленный Рузвельтом в военное время с миссией в Москву, уверовавший в явный подлог, Дэвис позволил себе невероятно бестактный поступок и показал фильм, снятый по мотивам его бестселлера, группе высших советских руководителей в американском посольстве. Официальный отчет сухо констатировал, что советские гости смотрели фильм с «хмурым любопытством», когда на экране доказывалась вина их бывших коллег[560]. (И недаром. Они не только знали, что к чему, но не могли не принимать в расчет возможности, что этот фильм раскрывает их будущую судьбу.) Так что Трумэн вряд ли мог найти более неподходящего человека, чтобы послать его на Даунинг-стрит и с

пониманием выслушать точку зрения Черчилля на послевоенный мир.

Визит Дэвиса в Лондон в конце мая 1945 года оказался столь же сюрреалистичным, как и его военная миссия в Москву. Дэвис был гораздо более заинтересован в продолжении американского партнерства с Советским Союзом, чем в создании благоприятных условий для развития англо-американских отношений. Черчилль выразил американскому посланцу свои опасения относительно того, что Сталин хочет проглотить Центральную Европу, и подчеркнул важность объединенного англо-американского фронта для противостояния этому. На анализ Черчилля в отношении советского вызова Дэвис отреагировал тем, что сардонически спросил «Старого Льва», не сделали ли «он и Британия ошибки, не поддержав Гитлера, ибо, как я понял, теперь высказывается доктрина, которую провозглашал Гитлер и Геббельс, и берется реванш за прошедшие четыре года попыткой разрушить единство союзников при помощи принципа «разделяй и властвуй»[561]. А, по мнению Дэвиса, дипломатические отношения между Востоком и Западом могли бы зайти в никуда, если бы не базировались на вере в добрую волю Сталина.

Именно в этом духе Дэвис докладывал Трумэну. Что же касалось величия Черчилля, то, с точки зрения Дэвиса, он был «вчера, сегодня и всегда» великим англичанином, более заинтересованным в сохранении положения Англии в Европе, чем в сохранении мира[562]. Адмирал Леги, первоначально рузвельтовский, а теперь трумэновский начальник штаба, подкрепил точку зрения Дэвиса, ибо она была широко распространена, и сопроводил доклад Дэвиса следующим замечанием: «Это соответствует нашей штабной оценке поведения Черчилля во время войны»[563].

Трудно придумать лучшую иллюстрацию шарахания Америки от «Realpolitik». Дэвис и Леги выражали открытое недовольство тем, что британский премьер-министр прежде всего заботится о британских национальных интересах — государственный деятель любой страны счел бы это за самую естественную вещь на свете. И даже несмотря на то, что поиск Черчиллем равновесия сил на континенте являлся воплощением трехвековой истории британской политики, американцы смотрели на это, как на некую аберрацию, и противопоставляли желанию установить равновесие стремление к миру, словно цели и средства противоположны друг другу, а не дополняют друг друга.

Гопкинс, который несколько раз посещал Москву в качестве эмиссара военного

времени, не осознал изменения атмосферы и стремился действовать, как и прежде. Даже с учетом этого не исключено, что его встречи со Сталиным непреднамеренно углубили пропасть в отношении Восточной Европы и ускорили начало «холодной войны». Ибо Гопкинс следовал модели поведения военных лет, подчеркивая гармонию и не обращая внимания на конфронтацию. Он не рискнул сообщить Сталину, до какой степени его курс способен повлечь за собой серьезные неприятности, всполошив американскую общественность. На протяжении всей своей дипломатической карьеры Гопкинс действовал, исходя из той предпосылки, что любые разногласия можно уладить в атмосфере понимания и доброй воли, но эти категории практически находились вне пределов сталинского понимания.

Сталин виделся с Гопкинсом шесть раз в конце мая и начале июня. Применяя обычную тактику постановки собеседника в положение обороняющегося, Сталин пожаловался на прекращение ленд-лиза и общее охлаждение советско-американских отношений. Он предупредил, что Советский Союз никогда не уступит оказываемому на него давлению, — стандартный дипломатический ход, используемый, когда участник переговоров ищет способ сохранить достоинство и одновременно определить, каких от него хотят уступок, не делая намека на то, что он на них пойдет. Сталин задался целью показать, будто не понимает озабоченности Америки свободными выборами в Польше. В конце концов, ведь Советский Союз не поднимал сходного вопроса применительно к Италии и Бельгии, где выборы тоже еще не прошли. Почему западные страны столь озабочены положением в Польше и государствах Дунайского бассейна, находящихся так близко от советских границ?

Гопкинс и Сталин фехтовали вполсилы, причем Гопкинс так и не сумел дать понять Сталину, что американцы вполне серьезно озабочены вопросами самоопределения Восточной Европы. Более того, Гопкинс следовал практике большинства американских дипломатов и выдвигал даже бесспорно серьезные доводы в такой манере, которая не позволила бы обвинить его в неуступчивости. В ожидании компромисса они дают возможность своему собеседнику найти достойный выход из положения. Обратной стороной подобного подхода является то, что когда участники переговоров с американской стороны убедятся в отсутствии у их партнеров доброй воли, они имеют тенденцию становиться непреклонными, а по временам и жесткими.

Слабость переговорного стиля Гопкинса усугублялась тем, что оставался еще

огромный запас доброй воли в отношении Сталина и Советского Союза, сохранившийся с военного времени. К июню 1945 года Сталин односторонне установил как восточные, так и западные границы Польши, путем зверского насилия ввел в правительство советских марионеток и откровенно нарушил данное в Ялте обещание провести свободные выборы. Даже в данных обстоятельствах Гарри Гопкинс считал для себя возможным назвать советско-американские разногласия в разговоре со Сталиным «цепью событий, малозначительных по отдельности, но наложившихся на польский вопрос»[564]. Веря в эффективность тактики Рузвельта времен Тегерана и Ялты, он попросил Сталина изменить свои требования по Восточной Европе, с тем чтобы снять давление на администрацию Трумэна внутри страны.

Сталин сделал вид, что готов выслушать соображения по поводу того, как сделать новое польское правительство соответствующим американским принципам. Он призвал Гопкинса назвать четыре-пять демократических деятелей, которых можно было бы включить в варшавское правительство, созданное, по его утверждению, Советским Союзом в «силу военной необходимости»[565]. Конечно, символическое представительство в коммунистическом правительстве не было главной целью — ею были свободные выборы. А коммунисты уже выказали потрясающее умение разваливать коалиционные правительства. В любом случае, когда Гопкинс признался, что у него нет конкретных имен лиц, которых можно было бы порекомендовать для участия в польском правительстве, у Сталина не сложилось впечатления того, что американцы в курсе всех дел, имеющих отношение к Польше.

Настаивая на свободе действий по отношению к соседям, Сталин следовал традиционной российской практике. С того момента, как Россия двумя столетиями ранее появилась на международной арене, ее руководители пытались решать споры со своими соседями путем прямых переговоров, а не посредством международных конференций. Ни Александр I в 20-е годы XIX века, ни Николай I тридцатью годами позднее, ни Александр II в 1878 году не понимали, отчего Великобритания настоятельно вмешивается в отношения между Россией и Турцией. В этих и сходных случаях русские руководители вставляли на ту точку зрения, что они имеют право на свободу действий в отношениях со своими соседями. Если им оказывалось противодействие, они стремились прибегнуть к силе. А раз прибегнув к силе, уже не

отступали, разве что под угрозой войны.

Визиты Трумэновских эмиссаров в Лондон и Москву доказали, кроме всего прочего, что Трумэн все еще пытался найти средний курс между рузвельтовской точкой зрения на поддержание мира, где у Америки не было бы партнеров, и ростом собственного раздражения советской политикой в Восточной Европе, по поводу которой он пока не выработал образа действий. Трумэн не был готов посмотреть в лицо геополитическим реалиям, порожденным победой, или выбросить за борт рузвельтовское видение мира, порядок в котором поддерживается «четырьмя полицейскими». Да и Америка еще не смирилась с тем, что равновесие сил — это необходимый элемент международного порядка, а не aberrация европейской дипломатии.

Мечта Рузвельта по поводу «четырех полицейских» развеялась на Потсдамской конференции, продолжавшейся с 17 июля по 2 августа 1945 года. Трое руководителей встретились в Цецилиенгофе — мрачноватом загородном особняке английского типа, окруженном обширным парком, который являлся резиденцией последнего германского кронпринца. Потсдам был выбран в качестве места проведения конференции потому, что находился в советской зоне оккупации, имел железнодорожный подъезд (Сталин ненавидел самолеты) и мог быть прикрыт советскими войсками госбезопасности.

Прибывшая американская делегация находилась во власти представлений военных лет о новом мировом порядке. Инструктивный документ госдепартамента, служивший для нее путеводной нитью, утверждал, что определение сфер интересов — величайшая угроза международному миру. Опираясь на стандартные вильсонские представления, документ гласил: сферы интересов «будут представлять собой силовую политику в чистом и неприкрытом виде со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями... Нашей первейшей задачей будет устранение причин, заставляющих нации полагать, что такого рода сферы необходимы для обеспечения их безопасности, а не содействие одним странам накапливать силы против других стран»[566]. Государственный департамент не пояснил, что, в отсутствие силовой политики, может побудить Сталина пойти на компромисс или что может являться причиной конфликта, как не столкновение интересов. Тем не менее вездесущий Джозеф Дэвис, выступивший в роли советника президента по вопросам взаимоотношений с советскими руководителями, был явно в

восторге от собственных рекомендаций, сводившихся к тому, что надо потакать Сталину во всем. Как-то даже, по ходу весьма напряженного обмена мнениями, Дэвис передал Трумэну записку, где говорилось: «По-моему, Сталин чувствует себя обиженным, будьте с ним поласковее»[567].

Ублажать кого бы то ни было, а особенно коммунистов, не было свойственно Трумэну. И все же он сделал героическую попытку. Первоначально ему более импонировал краткий, деловой стиль Сталина, чем черчиллевское многословие. Он писал матери: «Черчилль все время разговаривает, а Сталин лишь ворчит по временам, зато ясно, чего он хочет»[568]. На частном обеде 21 июля Трумэн пустился во все тяжкие, как он потом признавался Дэвису: «...Мне хотелось убедить его, что мы вполне „на уровне“, заинтересованы в мире и пристойной международной обстановке и не имеем враждебных намерений по отношению к ним; что мы не хотим для себя ничего, кроме безопасности для нашей страны, мира, дружбы и добрососедских отношений, и что добиться этого — наша совместная работа. Я „обильно мазал хлеб маслом“, и, думаю, он мне поверил. Каждое мое слово было абсолютно искренним»[569]. К сожалению, Сталин не привык иметь дело с собеседниками, выказывающими свою незаинтересованность в обсуждаемых вопросах.

Руководители на Потсдамской конференции постарались избежать организационных проблем, так мешавших ходу Версальской конференции. Вместо того, чтобы углубляться в детали и работать под давлением времени, Трумэн, Черчилль и Сталин ограничились обсуждением общих принципов. Последующая работа по уточнению деталей мирных соглашений с побежденными державами «оси» и их союзниками была возложена на министров иностранных дел.

Даже с учетом этих ограничений, повестка дня конференции была весьма обширной, включая в себя репарации, будущее Германии и статус таких союзников Германии, как Италия, Болгария, Венгрия, Румыния и Финляндия. Сталин дополнил этот перечень представленным им сводом требований, в свое время предъявленных Молотовым Гитлеру в 1940 году и повторенных Идену годом позже. Эти требования включали в себя более благоприятные для России условия прохода через проливы, наличие советской военной базы на Босфоре и долю итальянских колоний. Повестка дня такого объема физически не могла быть рассмотрена обеспокоенными главами правительств за двухнедельный срок.

Потсдамская конференция быстро превратилась в диалог глухих. Сталин настаивал на консолидации его сферы влияния. Трумэн и, в меньшей степени, Черчилль требовали воплотить их принципиальный подход на практике. Сталин пытался выставить условием советского признания Италии признание Западом навязанных Советским Союзом правительств Болгарии и Румынии. Одновременно Сталин стоял как стена на пути требования демократических стран провести свободные выборы в странах Восточной Европы.

В конце концов каждая из сторон воспользовалась правом вето во всех возможных случаях. Соединенные Штаты и Великобритания отказались признать сталинское требование относительно выплаты Германией репараций в размере 20 млрд. долларов (половина которых должна была пойти Советскому Союзу), а также выделение активов собственных зон на эти цели. С другой стороны, Сталин продолжал укреплять позиции коммунистических партий во всех странах Восточной Европы.

Сталин также воспользовался двусмысленностью текста Ялтинского соглашения в отношении рек Одер и Нейссе, чтобы продвинуть границы Польши еще далее на запад. В Ялте было решено, что эти реки послужат разграничительной линией между Польшей и Германией; хотя, как уже было отмечено, никто до этого не обратил внимания, что на самом деле существуют две реки под названием «Нейссе». Черчилль понимал, что границей послужит восточная. Но в Потсдаме Сталин объявил, что он отвел всю территорию между восточной и западной реками под названием «Нейссе» Польше. Сталин четко рассчитал, что неприязнь между Германией и Польшей станет и вовсе непримиримой, если Польша получит исторические германские территории, включая старинный немецкий город Бреслау, и изгонит еще пять миллионов немцев. Американский и британский лидеры смирились со сталинским «свершившимся фактом», оградив себя бессмысленной оговоркой, что оставляют за собой окончательное мнение по вопросам границ, которое будет высказано на мирной конференции. Эта оговорка, однако, лишь увеличила зависимость Польши от Советского Союза и представляла собой немногим больше, чем пустое сотрясение воздуха, ибо речь шла о территориях, откуда уже было изгнано германское население. Черчилль приехал в Потсдам, не слишком прочно чувствуя себя дома. И действительно, ритм конференции был фатальным образом прерван 25 июля 1945 года, когда британская делегация запросила перерыв и выехала на родину, чтобы

дождаться результатов всеобщих выборов, проводившихся впервые с 1935 года. Черчилль так и не вернулся в Потсдам, потерпев сокрушительное поражение. Его место в качестве нового премьер-министра занял Клемент Эттли, а в качестве министра иностранных дел прибыл Эрнест Бевин.

Потсдам почти ничего не решил. Многие из требований Сталина были отвергнуты: база на Босфоре, заявка на советскую опеку над какой-либо из африканских территорий, принадлежавших Италии, а также стремление установить четырехсторонний контроль над Руром и признание Западом поставленных Москвой правительств Румынии и Болгарии. Трумэн тоже потерпел поражение по ряду предложений, самым крупным из которых был проект интернационализации Дуная. Трое глав государств все же сумели добиться кое-каких соглашений. Так, был установлен четырехсторонний механизм по рассмотрению связанных с Германией вопросов. Трумэну удалось уговорить Сталина принять его точку зрения по репарациям: каждая держава будет получать их от своей зоны оккупации. Ключевой вопрос относительно западной границы Польши был пущен на самотек: Соединенные Штаты и Великобритания согласились на сталинскую линию по Одере — Нейссе, но оставили за собой право пересмотреть это решение в более поздний срок. Наконец, Сталин согласился оказать содействие в ведении войны против Японии. Многое осталось недоделанным и в подвешенном состоянии, и, как это часто бывает, когда главы государств не способны договориться, наиболее жгучие проблемы были переданы министрам иностранных дел для дальнейшего обсуждения.

Возможно, наиболее значительный инцидент во время Потсдамской конференции был связан с событием, не предусмотренным повесткой дня. В какой-то момент Трумэн отвел Сталина в сторону и сообщил ему о существовании атомной бомбы. Сталин, конечно, уже знал об этом от советских шпионов; по правде говоря, он узнал о ней задолго до Трумэна. Будучи параноиком, он, без сомнения, решил, что за сообщением Трумэна скрывается прозрачная попытка его запугать. И он предпочел не отреагировать на появление новой технологии и обесценить факт ее возникновения, не проявляя особого любопытства. «Русский премьер, — пишет Трумэн в своих мемуарах, — не выказал особого интереса. Он лишь сказал, что рад это слышать и что он надеется, что мы найдем „надлежащее применение этому против японцев"»[570]. Такой и оставалась советская тактика в отношении ядерных вооружений до тех пор,

пока у Советского Союза не появились свои собственные.

Позднее Черчилль говорил, что если бы он был переизбран, то поставил бы в Потсдаме вопросы ребром и постарался бы настоять на их урегулировании[571]. Он никогда не уточнял, что конкретно имел в виду. Истина заключается в том, что Сталина можно было принудить к урегулированию лишь благодаря исключительно сильному давлению, и то только в самый последний момент, если вообще его можно было к чему-то принудить. Стремление Черчилля к достижению всеобъемлющего решения лишь подчеркивало стоявшую перед Америкой дилемму: ни один из американских государственных деятелей не был готов выдвинуть такие угрозы или осуществить такой нажим, который бы соответствовал сталинской психологии. Американские руководители еще не прониклись реальностью того, что чем больше времени будет отведено Сталину на создание однопартийных государств в Восточной Европе, тем труднее будет заставить его переменить курс. К концу войны американская публика устала от военных действий и конфронтации и превыше всего хотела, чтобы мальчишки вернулись домой. Она еще не была готова к новой конфронтации и в гораздо меньшей степени — к угрозе ядерной войны в защиту границ и политического плюрализма в Восточной Европе. Единодушие в отношении противостояния дальнейшему коммунистическому натиску равнялось единодушию в отношении нежелательности идти на новый военный риск.

Любая конфронтация со Сталиным отнюдь не была похожа на салонное чаепитие. Степень готовности Сталина применять любой нажим для достижения собственных дипломатических целей была разъяснена мне Андреем Громыко, когда я беседовал с ним уже после его отставки в 1989 году. Я спросил у него, почему Советский Союз рискнул пойти на блокаду Берлина вскоре после опустошительной войны и перед лицом ядерной монополии Америки. Значительно подбодренный в отставке, Громыко ответил, что ряд советников высказывали те же самые соображения Сталину, но тот отверг их, исходя из трех предпосылок: во-первых, Соединенные Штаты, по его словам, никогда не применят ядерное оружие в связи с Берлином; во-вторых, если Соединенные Штаты попытаются провести конвой в Берлин по автостраде, им окажет сопротивление Красная Армия; наконец, если Соединенные Штаты вознамерятся атаковать по всему фронту, Сталин оставлял право принятия окончательного решения лично за собой. Похоже, если бы дело дошло до этой точки, он бы пошел на

урегулирование.

Практическим результатом Потсдамской конференции было начало процесса, разделившего Европу на две сферы влияния, то есть стал осуществляться тот самый сценарий, которого американские руководители военных лет столь тщательно старались избежать. Неудивительно, что совещание министров иностранных дел оказалось не более продуктивным, чем саммит их руководителей. Обладая меньшими полномочиями, они также обладали и меньшей гибкостью. Для Молотова политическое и физическое выживание зависело от того, насколько жестко он будет следовать инструкциям Сталина.

Первая встреча министров иностранных дел состоялась в Лондоне в сентябре — начале октября 1945 года. Целью ее была выработка мирных договоров с Финляндией, Венгрией, Румынией и Болгарией, странами, воевавшими на стороне Германии. Американская и советская позиции со времени Потсдама не изменились. Государственный секретарь Джеймс Бернс настаивал на свободных выборах; Молотов не желал и слышать об этом. Бернс надеялся, что демонстрация ужасающей силы атомной бомбы в Японии усилит положение Америки на переговорах. Вместо этого Молотов вел себя столь же нервно, как всегда. К концу конференции стало ясно, что атомная бомба не сделала Советы стоворчивее — по крайней мере, в отсутствие более явственной дипломатии угроз. Бернс заявил своему предшественнику Эдварду Р. Стеттинусу:

«...Перед нами оказалась новая Россия, полностью отличная от той, с которой мы имели дело год назад. Пока они нуждались в нас по ходу войны и мы их снабжали, между нами были удовлетворительные отношения, но теперь, когда война закончилась, они прибегают к агрессивной тактике и безапелляционно настаивают на политико-территориальных вопросах»[572].

Мечта о «четырех полицейских» умирала трудно. 27 октября 1945 года, через несколько недель после столь неудачной конференции министров иностранных дел, Трумэн, выступая на праздновании Дня военно-морского флота, свел воедино вопросы, касающиеся американской внешней политики, с призывом к советско-американскому сотрудничеству. Соединенные Штаты, заявил он, не ищут себе ни территорий, ни баз, не желают «ничего, что принадлежит любой другой державе». Американская внешняя политика, будучи отражением моральных ценностей нации,

«твердо основывается на фундаментальных принципах справедливости и права» и на отказе от «компромисса со злом». Ссылаясь на традиционное для Америки тождество между частной и общественной моралью, Трумэн пообещал, что «мы не пожалеем сил, чтобы ввести евангельское «золотое правило» в международные отношения во всем мире». То, что Трумэн подчеркивал моральный аспект внешней политики, послужило прелюдией к призывам укрепить советско-американское примирение. Не существует «безнадежных или непримиримых» разногласий между союзниками военных лет, уверял Трумэн. «Между победоносными державами не существует столь глубокого конфликта интересов, чтобы его нельзя было разрешить»[573].

Такого, однако, не случилось. На следующей конференции министров иностранных дел в декабре 1945 года возникли своеобразные советские «уступки». Сталин принял Бирнса 23 декабря и предложил трем западным демократиям направить комиссию в Румынию и Болгарию, чтобы дать рекомендации правительствам этих стран, как они могли бы расширить свои кабинеты, включив в их состав ряд демократических политиков. Цинизм этого предложения конечно же заключался в том, что Сталин был совершенно уверен в коммунистическом господстве над этими сателлитами и вовсе не уверовал в постулаты демократии. Таково же было мнение Джорджа Кеннана, который заклеил сталинские уступки, назвав их «фиговым листом демократической процедуры, призванным скрыть обнаженную суть сталинистской диктатуры»[574].

Бирнс, однако, истолковал инициативу Сталина как демократический жест во исполнение Ялтинского соглашения и позволил себе признать Болгарию и Румынию еще до подписания мирного договора с этими странами. Трумэн был взбешен тем, что Бирнс пошел на компромисс, не посоветовавшись с ним. Правда, слегка поколебавшись, Трумэн согласился с Бирнсом, но это стало началом отчуждения между президентом и его государственным секретарем, что в течение года привело к отставке Бирнса.

В 1946 году состоялись еще две встречи министров иностранных дел в Париже и Нью-Йорке. Там была доведена до конца выработка текстов сопутствующих договоров, но там же проявилось и усиление напряженности, вызванное превращением Восточной Европы в политический и экономический придаток Советского Союза.

Культурная пропасть между американскими и советскими руководителями

способствовала началу «холодной войны». Американские участники переговоров действовали так, словно одно лишь упоминание своих юридических и моральных прав должно привести к желаемым результатам. Но Сталину требовались гораздо более убедительные причины, которые бы заставили его переменить свой курс. Когда Трумэн говорил о евангельском «золотом правиле», американская аудитория воспринимала его буквально и искренне верила в возможность существования мира, управляемого на основе норм права. Для Сталина слова Трумэна представляли собой бессмыслицу, если не очередную хитрость. Тот новый международный порядок, который имел в виду Сталин, представлял собой панславизм, подкрепленный коммунистической идеологией. Югославский коммунист диссидент Милован Джилас припоминает беседу, в ходе которой Сталин заявил: «Если славяне останутся едины и проявят солидарность, то никто в будущем не будет в состоянии даже шевельнуть пальцем. Одним только пальцем!» — повторил Сталин, подчеркивая мысль угрожающим движением указательного перста[575].

Парадоксально, но сползание к «холодной войне» ускорялось тем, что Сталин прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько на самом деле слаба его страна. Советская территория к западу от Москвы была опустошена, ибо стандартной практикой отступающих армий — вначале советской, потом немецкой — было взрывать чуть ли не каждую трубу, чтобы лишить наступающих преследователей крова в условиях ужасного русского климата. Число советских потерь от войны (включая гражданских лиц) — свыше 20 миллионов. В дополнение к этому реестр жертв сталинских чисток, пребывания в лагерях, принудительной коллективизации и преднамеренно организованного голода составляет еще примерно 20 миллионов, при 15 миллионах, которым удалось пережить заключение в ГУЛАГе[576]. И теперь эта изможденная страна оказалась лицом к лицу с Америкой, совершившей технологический прорыв и создавшей атомную бомбу. Неужели это означало, что наконец-то настал тот самый миг, которого так страшился Сталин, и капиталистический мир теперь сможет навязать свою волю? Неужели все страдания и лишения, невыносимые даже по российским предельно антигуманным и тираническим стандартам, не принесли ничего лучшего, чем одностороннюю выгоду для капиталистов?

С почти отчаянной бравадой Сталин предпочел делать вид, будто Советский Союз

действует с позиции силы, а не слабости. Добровольные уступки, по представлению Сталина, являются признанием собственной уязвимости, а любую демонстрацию подобного рода он воспринимал как призыв к новым требованиям и новому нажиму. Поэтому он держал свои войска в центре Европы, где постепенно насаждал советские марионеточные правительства. Заходя еще дальше, Сталин создавал имидж столь неумолимой свирепости, что многие даже предполагали, что он готовится к прыжку к Ла-Маншу — впоследствии эти опасения были признаны химерическими.

Сталин сочетал преувеличение советской мощи и воинственности с систематическими попытками принизить могущество Америки, особенно ее наиболее мощного оружия — атомной бомбы. Сталин первым задал тон в этом хоре показной индифферентности, когда Трумэн известил его о существовании бомбы. Коммунистическая пропаганда, подкреплённая заявлениями благонамеренных академических попутчиков по всему земному шару, старалась внушить, что якобы появление ядерного оружия не отменяет законов военной стратегии и что стратегическая бомбардировка может оказаться неэффективной. В 1946 году Сталин заложил основы официальной доктрины:

«Атомные бомбы предназначены для того, чтобы пугать слабонервных, но они не могут решить исхода войны...»[577] В советских публичных выступлениях это заявление Сталина было мгновенно положено в основу различия между «временным» и «постоянным» стратегическими факторами, где атомная бомба классифицировалась как фактор временного характера. «Поджигатели войны, — писал в 1949 году маршал авиации Константин Вершинин, — преувеличивают роль военно-воздушных сил сверх всякой меры... [рассчитывая на то], что народы СССР и стран народной демократии будут напуганы так называемой „атомной" или „кнопочной" войной»[578].

Обычный лидер избрал бы для общества, измученного войной и нечеловеческими лишениями, ей предшествовавшими, передышку. Но демонический советский Генеральный секретарь не пожелал сделать никакого послабления: он, вероятно, рассчитал — и, по-видимому, был прав, — что стоит дать своему обществу вздохнуть полной грудью, оно начнет задавать вопросы, касающиеся самих основ коммунистического правления. В своем обращении к командному составу победоносной Красной Армии вскоре после перемирия в мае 1945 года Сталин в

последний раз воспользовался эмоциональной риторикой военного времени.

Обратившись к собравшимся: «Мои друзья, мои соотечественники!», он так описал отступление 1941 и 1942 года:

«Другой народ мог бы сказать правительству: „Вы не оправдали нашего доверия, уходите; мы поставим новое правительство, которое подпишет с немцами мир и даст нам передышку“. Но русский народ не пошел этим путем, потому что верил в политику своего правительства. Спасибо тебе, великий русский народ, за доверие!»[579]

Это было последнее признание Сталиным своей способности совершать ошибки и последнее его обращение к народу в качестве главы правительства. (Интересно, что в своем обращении Сталин отдает должное только русскому народу, но не другим национальностям советской империи.) В течение нескольких месяцев Сталин опять вернется на прежний пост Генерального секретаря Коммунистической партии, который станет основой его власти, и его манера обращения к советскому народу вновь включит в себя стандартное коммунистическое «товарищи» — Коммунистической партии он отдавал исключительные заслуги в деле победы советского народа.

В еще одной основополагающей речи, 9 февраля 1946 года, Сталин определил порядок действий на послевоенный период:

«Наша победа означает прежде всего, что победил наш советский общественный строй, что советский общественный строй успешно выдержал испытания в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность... [Война показала, что]... советский общественный строй является вполне жизнеспособной и устойчивой формой организации общества по сравнению с несоветским общественным строем...»[580]

Описывая причины возникновения войны, Сталин выказал истинно коммунистическую убежденность: война, заявлял он, была вызвана не Гитлером, но порождена самой капиталистической системой:

«Марксисты утверждают, что капиталистическая система мирового хозяйствования содержит в себе элементы кризиса и войны, что развитие мирового капитализма происходит не по прямой и не в одном направлении, а следует путем кризисов и катастроф. Неравномерное развитие капиталистических стран со временем приводит к резкому ухудшению отношений между ними, и группа стран, считающих себя

обделенными сырьем и рынками сбыта, обычно пытается изменить подобную ситуацию, изменить положение вещей в свою пользу посредством вооруженной силы»[581].

Если бы сталинский анализ был верен, то не было бы существенной разницы между Гитлером и союзниками СССР в войне с Гитлером. Новая война рано или поздно становилась неизбежной, и то состояние, в котором находился Советский Союз, представляло собой перемирие, а не настоящий мир. Задача, которую Сталин ставил перед Советским Союзом, была та же самая, что и перед войной: стать достаточно сильными, чтобы превратить неизбежный конфликт в капиталистическую гражданскую войну и отвести удар от коммунистического отечества. Уходит в небытие неясная перспектива мирной передышки и облегчения повседневной участи советских народов. Делается упор на развитие тяжелой промышленности, продолжение коллективизации сельского хозяйства и сокращение внутренней оппозиции.

Речь Сталина соответствовала стандартному довоенному образцу: она представляла собой катехизис, где Сталин вначале ставил вопросы, а потом отвечал на них. Для потрясенной аудитории рефрен был слишком знаком: пока еще неназванным врагам угрожали уничтожением за попытку помешать строительству социализма. С учетом личного опыта почти каждого советского человека эти заявления вовсе не воспринимались как пустые угрозы. Одновременно Сталин выдвигал новые амбициозные задачи: удесятерить производство чугуна, увеличить в пятнадцать раз выплавку стали и учетверить добычу нефти. «Только в этом случае наша страна будет гарантирована от случайностей. На это, вероятно, уйдет три пятилетки, если не больше. Но это выполнимо, и мы должны это сделать»[582]. Три пятилетки означали, что никто из уцелевших в период чисток и во время второй мировой войны не дожидается нормальной жизни.

Когда Сталин произнес эту речь, министры иностранных дел победоносного союза все еще регулярно встречались, американские войска быстрыми темпами выводились из Европы, а Черчилль еще не произнес свою речь про «железный занавес». Сталин восстанавливал политику конфронтации с Западом, потому что понимал, что сформированная им Коммунистическая партия не устоит в условиях международного и внутреннего окружения, нацеленного на мирное сосуществование.

Не исключено — я даже думаю, наиболее вероятно, — что Сталин не столько специально создавал систему стран-сателлитов, сколько набирал карты-козыри для неизбежного дипломатического противостояния. На деле вызов сталинскому абсолютному контролю над Восточной Европой делался демократическими странами чисто риторически и не воспринимался Сталиным действительно серьезно. В результате этого Советский Союз оказался в состоянии превратить военную оккупацию в сеть режимов-сателлитов.

Реакция Запада на собственную ядерную монополию усугубляла патовую ситуацию. По иронии судьбы ученые, задавшиеся целью предотвратить ядерную войну, начали поддерживать потрясающее предположение, будто бы ядерное оружие якобы не отменяет уроков, преподанных второй мировой войной, а именно того, что стратегические бомбардировки решающим фактором не являются[583]. В то же самое время широчайшим образом распространялась кремлевская пропаганда относительно неизменности стратегической обстановки. Но причина того, что американская военная доктрина 40-х годов соответствовала именно этой точке зрения, имеет под собой также чисто бюрократическое обоснование. Начальники американских военных служб, отказываясь признать один вид оружия решающим, делали свои организации более незаменимыми. В оправдание этого они разработали концепцию, согласно которой ядерное оружие рассматривалось, как просто более мощная и эффективная взрывчатка, которую можно использовать в общестратегических целях на основе опыта второй мировой войны. В период относительно большего могущества демократических стран эта концепция приводила к ложной оценке, будто бы Советский Союз сильнее в военном отношении, поскольку располагает более крупными традиционными вооруженными силами.

Как и в 30-е годы, Черчилль, ныне лидер оппозиции, попытался призвать демократические страны решать насущные задачи. 5 марта 1946 года в городе Фултоне, штат Миссури, он забил в набат по поводу советского экспансионизма[584], заявив о «железном занавесе», который опустился «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике». Советы, сказал Черчилль, установили прокоммунистические правительства в каждой стране, которая была оккупирована Красной Армией, а также в советской зоне послевоенной Германии. При этом он не мог удержаться и не заметить, что наиболее полезная часть последней была передана Советам

Соединенными Штатами. В итоге это давало «побежденным немцам обрести возможность выставить себя на аукцион между Советами и западными демократиями».

Черчилль сделал вывод, что необходим союз между Соединенными Штатами и Британским Содружеством наций для того, чтобы отразить надвигающуюся угрозу. Долгосрочным решением, однако, по его словам, является европейское единство, «от которого не может быть навеки отлучена ни одна страна». Черчилль, первый и ведущий оппонент Германии 30-х, стал, таким образом, первым и ведущим защитником Германии 40-х. Центральной темой Черчилля, однако, было то, что время не на стороне демократических стран и всеобщего урегулирования надо добиваться как можно скорее:

«Я не верю в то, что Советская Россия жаждет войны. То, чего они хотят, — это плодов войны и безграничного распространения своей власти и своих доктрин. Но сегодня, пока еще остается время, мы здесь должны рассмотреть возможность перманентного предотвращения войны и создания в самый кратчайший срок условий для свободы и демократии в каждой стране. Наши затруднения и опасения не могут быть устранены, если мы закроем на них глаза. Они не будут устранены, если мы станем пассивно смотреть, что случится; не будут они и устранены при помощи политики умиротворения. Необходимо именно урегулирование, и чем дольше оно будет откладываться, тем более трудным станет и тем большими станут наши опасения»[585].

Взывающие к разуму пророки редко почитаются в своем отечестве, ибо их роль переходит пределы опыта и воображения своих современников. Они добиваются признания только тогда, когда их предвидение обращается в опыт, короче говоря, когда их проницательность уже не дает возможности обрести преимущества. Судьбою Черчилля стало быть отвергнутым своими соотечественниками, за исключением короткого времени, когда на карту было поставлено их выживание. В 30-е годы он призывал свою страну вооружаться, в то время как его современники стремились вести переговоры; в 40-е и 50-е он настаивал на дипломатическом противостоянии, в то время как его современники, зачарованные выдуманной ими же представлением о собственной слабости, были более заинтересованы в накапливании сил.

В конце концов, орбита советских сателлитов формировалась постепенно, причем

отчасти по недосмотру. Анализируя речь Сталина, где упоминались три пятилетки, Джордж Кеннан писал в своей знаменитой «длинной телеграмме», как Сталин отреагирует на серьезное давление извне: «Интервенция против СССР, какой бы катастрофической она ни оказалась для тех, кто ее предпримет, вновь задержала бы развитие советского социализма и должна быть предотвращена любой ценой»[586]. Сталин не мог одновременно модернизировать Советский Союз и идти на конфронтацию с Соединенными Штатами. Многократно упоминавшееся в прессе советское вторжение в Западную Европу было всего лишь фантазией; вероятнее всего, Сталин бы отступил перед лицом серьезной конфронтации с Соединенными Штатами — хотя поначалу, конечно, прошел бы определенный путь, чтобы подвергнуть испытанию серьезность решимости Запада.

Сталин сумел навязать Восточной Европе свои границы, не подвергая себя неоправданному риску, поскольку его войска уже оккупировали территории, о которых шла речь. Но когда дело дошло до введения в этих странах режимов советского типа, он оказался более осмотрительным. В первые два послевоенных года только Югославия и Албания установили у себя коммунистические диктатуры. Прочие пять стран, которые позднее стали советскими сателлитами: Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша и Румыния — имели коалиционные правительства, где коммунисты были самой сильной, но не неуязвимой партией. Две из этих стран: Чехословакия и Венгрия — провели выборы в первый же год после войны, и у них была настоящая многопартийная система. Да, конечно, велось систематическое шельмирование некоммунистических партий, особенно в Польше, но еще не практиковалось непосредственное их подавление Советами.

Еще в сентябре 1947 года Андрей Жданов, который какое-то время считался ближайшим соратником Сталина, выделял две категории государств, входивших, согласно его терминологии, в «антифашистский фронт» Восточной Европы. В речи, провозглашающей образование Коминформа, официального объединения коммунистических партий мира, ставшего наследником Коминтерна, он назвал Югославию, Польшу, Чехословакию и Албанию «странами новой демократии» (что довольно странно звучало применительно к Чехословакии, где коммунистический переворот еще не свершился). Болгария, Румыния, Венгрия и Финляндия были помещены в другую, пока еще безымянную категорию[587].

Означало ли это, что сталинский запасной вариант по Восточной Европе представлял собой предоставление этим странам статуса, аналогичного Финляндии, — демократического национального государства, однако с уважением относящегося к советским интересам и проблемам? Пока не будут раскрыты советские архивы, мы вынуждены довольствоваться догадками и предположениями. Зато мы знаем наверняка, что когда Сталин заявлял Гопкинсу в 1945 году, что он хочет иметь дружественное, но не обязательно коммунистическое правительство в Польше, его проконсулы на деле занимались абсолютно противоположным. Через два года, когда Америка приступила к осуществлению греко-турецкой программы помощи и стала формировать из трех западных оккупационных зон Германии государство, получившее затем наименование «Федеративная Республика» (см. гл. 18), Сталин имел очередную беседу с американским государственным секретарем. В апреле 1947 года, после восемнадцати месяцев тупиковых по сути и все более острых по форме встреч министров иностранных дел четырех держав и целой серии советских угроз и односторонних шагов, Сталин пригласил Маршалла на встречу, оказавшуюся весьма продолжительной. В ходе ее он подчеркнул, что придает огромное значение всеобъемлющей договоренности с Соединенными Штатами. Тупики и конфронтации, утверждал Сталин, «были лишь первыми незначительными схватками и стычками рекогносцировочных сил»[588]. Сталин заявлял, что компромисс возможен по «всем основным вопросам», и настаивал на том, что «необходимо проявить терпение и не впадать в пессимизм»[589].

Если Сталин говорил серьезно, то мастер расчетов просчитался. Ибо, коль скоро была уже разрушена вера Америки в его добрую волю, путь назад для него становился тернист. Сталин зарвался, отстаивая свою позицию, ибо никогда не понимал психологии демократических стран, особенно Америки. Результатом стал «план Маршалла», Атлантический пакт и наращивание Западом военных потенциалов, что, безусловно, в его условия игры не входило.

Черчилль почти наверняка был прав: лучшим временем для политического урегулирования был момент сразу же после окончания войны. Пошел бы Сталин на значительные уступки или нет, зависело тогда от правильности выбора времени для переговоров и от серьезности, с которой ему были бы поданы предложения и обрисованы последствия его отказа. Чем скорее бы это состоялось, тем больше были

бы шансы на успех при минимальных потерях. По мере ускорения американского ухода из Европы ухудшалось переговорное положение Запада — по крайней мере, до тех пор, пока не были провозглашены «план Маршалла» и НАТО.

На момент сталинской беседы с Маршаллом в 1947 году советский диктатор обыграл сам себя. Теперь в Америке ему так же не доверяли, как раньше полагались на его добрую волю. Даже если скачок Америки от доброй воли в чистом виде к неприкрытой подозрительности и был чересчур стремительным, он тем не менее явился отражением новых международных реалий. Теоретически можно было бы провести консолидацию единого фронта демократических стран и одновременно вести переговоры с Советским Союзом по поводу всеобщего урегулирования. Но американские лидеры и их коллеги в Западной Европе были убеждены, что единство и моральный уровень Запада чересчур хрупки, чтобы испытывать их двойственно-противоречивой стратегией. Как во Франции, так и в Италии коммунисты являлись второй по величине партией. Федеративная Республика Германии, которая тогда находилась в процессе формирования, разошлась по вопросу, не следует ли ей искать национального единства посредством нейтрализма. В Великобритании так же, как и в Соединенных Штатах, громкий голос движения за мир бросал вызов только что нарождающейся политике «сдерживания».

В радиообращении 28 апреля государственный секретарь Маршалл указал, что Запад прошел точку, за которой уже нет возврата, в своих отношениях с Советским Союзом. Он отверг сталинский намек на компромисс на том основании, что «мы не можем игнорировать связанный с этим фактор времени. Восстановление Европы идет гораздо более медленными темпами, чем мы надеялись. Силы распада действуют все более явственно. Состояние здоровья больного ухудшается, в то время как доктора совещаются. И потому я полагаю, что действие не может ждать компромисса посредством истощения... Любые возможные действия, способные справиться с этими насущными проблемами, должны быть предприняты незамедлительно»[590].

Америка предпочла западное единство переговорам Востока с Западом. Другого выбора у нее, по правде говоря, не было, ибо она более не могла рисковать и следовать намекам Сталина. Правда была слишком ясна: он использует переговоры, чтобы подорвать новый международный порядок, который пыталась создавать Америка. Сдерживание стало ведущим принципом западной политики, и оно

оставалось таковым на протяжении последующих сорока лет.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. Успехи и горести политики «сдерживания»

В конце 1945 года ответственные американские политики оказались в замешательстве. Потсдам и последовавшие за ним конференции министров иностранных дел дали нулевой результат. Сталин, похоже, навязывал свою волю Восточной Европе, не обращая ни малейшего внимания на американские мольбы о демократии. В Польше, Болгарии и Румынии американские дипломаты все время наталкивались на советскую неуступчивость. В побежденных Германии и Италии Москва, похоже, позабыла значение слова «партнерство». Что оставалось делать ответственным американским политикам?

Весной 1946 года Трумэн перешел к «жесткой» политике и преуспел, потребовав от Советов ухода из Иранского Азербайджана. Но сделал он это в вильсоновском ключе. Как и Рузвельт, Трумэн отрицал равновесие сил, отказывался искать оправдания американским действиям в рамках понятия безопасности и стремился везде, где это возможно, обосновывать их общими принципами, применимыми ко всему человечеству и находящимися в соответствии с новым Уставом Организации Объединенных Наций. Трумэн воспринимал надвигающуюся борьбу между Соединенными Штатами и Советским Союзом как схватку добра и зла, а не как имеющую отношение к сферам политического влияния.

И все же сферы влияния зарождались на самом деле, независимо от того, как их называли американские политики, и им суждено было существовать на протяжении четырех десятилетий, пока не настал крах коммунизма. Под руководством

Соединенных Штатов произошла консолидация западных оккупационных зон Германии, в то время как Советский Союз стал превращать страны Восточной Европы в свои придатки. Бывшие державы «оси»: Италия, Япония, а после 1949 года Федеративная Республика Германия — постепенно склонялись к союзу с Соединенными Штатами. Хотя Советский Союз начал цементировать свое господство в Восточной Европе посредством Варшавского пакта, этот номинально существовавший союз крепился только принуждением. Одновременно Кремль делал все, что от него зависело, чтобы помешать процессу консолидации Запада, путем подпитывания партизанской войны в Греции и поощрения массовых выступлений западноевропейских коммунистических партий, особенно во Франции и в Италии.

Американские руководители знали, что им обязательно следует противостоять дальнейшей советской экспансии. Но национальная традиция вынуждала их искать оправдание противостоянию, беря за основу что угодно, только не призыв к сохранению традиционного равновесия сил. Поступая так, американские руководители не лицемерили. Когда они наконец осознали, что идея Рузвельта относительно «четырех полицейских» не может быть воплощена в жизнь, они предпочли истолковывать это как временное отступление на пути к изначально гармоничному мировому порядку. Тут они столкнулись с вызовом философского свойства. Была ли советская неуступчивость просто преходящей фазой, которую Вашингтону следует переждать? А вдруг американцы, как уже намекал вице-президент Генри Уоллес, непроизвольно вызывают у Советов параноидальные ощущения, не будучи в состоянии адекватно донести свои мирные намерения до Сталина? Действительно ли Сталин отвергает послевоенное сотрудничество с самой сильной нацией в мире? Неужели он не хочет быть другом Америки?

Пока в высоких политических сферах Вашингтона рассматривались все эти вопросы, прибыл документ, составленный одним из экспертов по России, неким Джорджем Кеннаном, дипломатом сравнительно невысокого ранга из американского посольства в Москве, причем этот документ стал философской и концептуальной базой осмысления сталинской внешней политики. Этот один из редких докладов из посольств, которому было суждено изменить взгляд Вашингтона на мир, стал известен как «длинная телеграмма»[591]. Кеннан настаивал на том, что Соединенным Штатам следует перестать винить самих себя за советскую неуступчивость, ибо

истоки советской внешней политики находятся внутри самой советской системы. По существу, настаивал он, советская внешняя политика представляет собой сплав идеологического коммунистического рвения и давнего экспансионизма времен царизма.

Согласно Кеннану, сталинский подход к миру насквозь идеологичен. Сталин рассматривает западные капиталистические державы как изначально враждебные коммунизму. Трения между Советским Союзом и Америкой, таким образом, не проистекают из какого-либо недопонимания или нечеткости контактов между Вашингтоном и Москвой, но являются органическим следствием восприятия Советским Союзом внешнего мира:

«В этой [коммунистической] догме, изначально покоящейся на альтруизме цели, они находят оправдание своему инстинктивному страху перед внешним миром, диктатуре, без которой не знают, как управлять, жестокостям, от которых не осмеливаются воздержаться, жертвам, которые вынуждены требовать. Во имя марксизма, применяя свой метод и тактику, они пренебрегли всеми без исключения этическими ценностями. Сегодня они не могут обойтись без этого. Это фиговый листок, свидетельствующий об их моральной и интеллектуальной респектабельности. Без него они бы стояли перед лицом истории в лучшем случае как всего лишь последние в длинном ряду сменяющих друг друга жестоких и никчемных российских правителей, которые безудержно толкали свою страну к новым высотам военной мощи, чтобы гарантировать внешнюю безопасность своих внутренне слабых режимов...»[592]

С незапамятных времен, утверждал Кеннан, цари стремились расширить свои владения. Они старались подчинить себе Польшу и превратить ее в зависимое государство. Они рассматривали Болгарию как составную часть российской сферы влияния. Они также рвались овладеть незамерзающим портом на Средиземном море, обеспечивающим контроль над черноморскими проливами.

«В основе невротического восприятия Кремлем мировых событий лежит традиционное и инстинктивное русское чувство неуверенности в собственной безопасности. Первоначально это была неуверенность мирного, земледельческого народа, пытающегося выжить на открытых равнинных пространствах в непосредственной близости от воинственных кочевых племен. На это, по мере того как Россия вступала в контакт с экономически передовым Западом, стал

накладываться страх перед более компетентными, более могущественными, более высокоорганизованными сообществами. Такой вид неуверенности в собственной безопасности скорее характерен не для русского народа, а для русских властей; ибо последние не могли не ощущать, что их правление относительно архаично по форме, хрупко и искусственно в своем психологическом обосновании и не способно выдержать сравнение или сопоставление с политическими системами западных стран. По этой причине они всегда боялись иностранного проникновения, опасались прямого контакта западного мира с их собственным, опасались последствий того, что русские узнают правду о внешнем мире, а иностранцы узнают все об их внутренней жизни. И они привыкли искать безопасность не в союзе или взаимных компромиссах с соперничающей державой, а в терпеливой, но смертельной борьбе на полное ее уничтожение»[593].

Именно таковы, настаивал Кеннан, и были стоящие перед Советским Союзом цели, и никакие американские льстивые увещевания их не изменят. Америке, утверждал Кеннан, надлежит быть готовой к длительной борьбе; цели и философские принципы Соединенных Штатов и Советского Союза непримиримы.

Первое систематизированное представление о новом подходе воплотилось в меморандуме Государственного департамента, переданном комитету по связи с правительственными учреждениями 1 апреля 1946 года. Составленный служащим государственного департамента Х. Фрименом Мэтьюзом, этот меморандум представляет собой попытку перевести в основном философские наблюдения Кеннана в план оперативной внешнеполитической деятельности. Впервые американский политический документ трактует разногласия с Советским Союзом как врожденное свойство советской системы. Москву следует убедить «в первую очередь дипломатическими средствами, а если придется, то и при помощи военной силы, коль это будет рекомендовано аналитически, в том, что ее нынешний внешнеполитический курс может привести Советский Союз только к катастрофе»[594].

Означали ли столь смелые слова, высказанные менее чем через год по окончании второй мировой войны, что Соединенные Штаты встанут на защиту каждой находящейся под угрозой территории по всему обширному периметру советских границ? Мэтьюз отступает перед собственной смелостью и добавляет два предварительных условия. Америка, утверждает он, господствует на море и в воздухе;

Советский Союз не имеет себе равных на суше. Обращая внимание на «нашу военную неэффективность на огромных пространствах евразийских земель», меморандум Мэтьюза ограничивает использование силы теми районами, где мощь «советских войск может быть встречена оборонительным противодействием военно-морских, амфибийных и военно-воздушных сил США и их потенциальных союзников»[595]. Второе предварительное условие исключает односторонние действия: «Устав Организации Объединенных Наций предоставляет наилучшие и наиболее неуязвимые средства, с помощью которых США могут воплотить в жизнь свое противодействие советской физической экспансии»[596].

Но где же могут быть выполнены эти два предварительных условия? Документ Мэтьюза оговаривает, что следующие страны или территории могут стать зонами риска. «Финляндия, Скандинавия, Восточная, Центральная и Юго-Восточная Европа, Иран, Ирак, Турция, Афганистан, Синьцзян и Маньчжурия»[597]. Беда заключалась в том, что ни одно из этих мест не находилось в пределах досягаемости соответствующих американских сил. Демонстрируя продолжающуюся переоценку Америкой возможностей Великобритании, меморандум взывает к ней, чтобы возложить на нее ту самую роль регулятора, которую американские лидеры столь рьяно отрицали в принципе еще несколькими годами ранее (см. гл. 16);

«Если Советской России придется отказываться в праве на гегемонию в Европе, Великобритании надлежит сохранять за собой роль главной державы Западной Европы в экономическом и военном отношении. Вследствие этого США... должны оказать всевозможную политическую, экономическую и, в случае необходимости, военную поддержку Соединенному Королевству в рамках Организации Объединенных Наций...»[598]

Меморандум Мэтьюза не поясняет, каким образом стратегическая досягаемость Великобритании превышает аналогичные возможности Соединенных Штатов.

Второе условие выполнить не легче. За свою короткую и пустую жизнь Лига наций чрезвычайно мало преуспела в организации коллективных действий против великой державы. Вдобавок страна, которая обозначена в меморандуме Мэтьюза как главный носитель угрозы безопасности, является членом Организации Объединенных Наций и обладает правом вето. Если Организация Объединенных Наций будет играть пассивную роль, а Соединенные Штаты не смогут реализовать свои планы, то

предполагаемая роль Великобритании сведется к выполнению функций временной затычки.

Кларк Клиффорд, получив одно из первых заданий за время своей продолжительной и замечательной карьеры президентского советника, снял двусмысленности и ограничения меморандума Мэтьюза. В совершенно секретном докладе от 24 сентября 1946 года Клиффорд придерживался мнения, что Кремль сможет кардинально изменить свою политику только при наличии противовеса советской мощи. «Основной сдерживающей силой для советского нападения на Соединенные Штаты или для нападения на те районы мира, которые жизненно важны для нашей безопасности, явится военная мощь данной страны»[599].

Теперь это уже стало расхожим местом, но Клиффорд использовал это как точку опоры, отталкиваясь от которой, провозглашал глобальную миссию Америки по обеспечению безопасности, охватывающую «все демократические страны, для которых СССР может представлять угрозу или опасность любого вида»[600]. Неясно, что имелось в виду под «демократическими». Ограничивал ли подобный термин оборонные обязательства Америки одной лишь Западной Европой, или это был термин вежливости, применимый к любой угрожаемой зоне и требующий от Соединенных Штатов одновременной защиты джунглей Юго-Восточной Азии, пустынь Ближнего Востока и густонаселенной Центральной Европы? Со временем последняя интерпретация стала преобладающей.

Клиффорд отрицал какое бы то ни было сходство между нарождающейся политикой сдерживания и традиционной дипломатией. С его точки зрения, советско-американский конфликт был вызван не столкновением национальных интересов — что по своей сути могло бы стать предметом переговоров, — но моральной ущербностью советского руководства. Поэтому задачей американской политики было не столько восстановление равновесия сил, сколько трансформация советского общества. Так же как в 1917 году Вильсон возлагал ответственность за необходимость объявления войны Германии на кайзера, а не говорил об угрозе американской безопасности со стороны Германии, так и Клиффорд считал источником напряженности «небольшую правящую клику, а не советский народ»[601]. Для того чтобы заключение всеобъемлющего советско-американского соглашения оказалось возможным, требовались существенная перемена образа мыслей советского

руководства и, возможно, появление новой группы лидеров. В какой-то критический момент эта новая группа сможет «выработать вместе с нами новое справедливое и равноправное урегулирование, когда поймет, что мы слишком сильны, чтобы нас можно было разбить, и в достаточной мере преисполнены решимости, чтобы нас можно было запугать»[602].

Ни Клиффорд, ни кто-либо из появившихся позднее американских государственных деятелей, вовлеченных в дискуссию по поводу «холодной войны», не выдвигал конкретных условий для окончания конфронтации или начала процесса, который мог привести к переговорам на эту тему. Пока Советский Союз сохранял свою идеологию, переговоры считались бессмысленными. После перемены образа мыслей урегулирование достигалось бы почти автоматически. В каждом из этих случаев предварительная выработка условий подобного урегулирования сковывала бы американскую свободу действий — точно такой же аргумент выдвигался во время второй мировой войны, чтобы избежать дискуссий по послевоенному устройству мира.

Теперь у Америки была концептуальная основа для оправдания практического противодействия советскому экспансионизму. С конца войны советский нажим осуществлялся согласно историческим российским стереотипам. Советский Союз контролировал Балканы (за исключением Югославии), а в Греции разгоралась партизанская война, поддерживаемая с базы в коммунистической Югославии и просоветской Болгарии. Предъявлялись территориальные претензии Турции одновременно с запросом на предоставление Советскому Союзу баз в проливах примерно в том же ключе, в каком 25 ноября 1940 года были предъявлены Сталиным требования Гитлеру (см. гл. 14).

Едва окончилась война, Великобритания стала поддерживать как Турцию, так и Грецию и в экономическом, и в военном отношении. Зимой 1946/47 года правительство Эттли проинформировало Вашингтон, что более не может нести это бремя. Трумэн был готов принять на себя роль Великобритании по сдерживанию русского продвижения в Средиземноморье, но ни американская общественность, ни Конгресс не в состоянии были понять традиционную британскую геополитическую обязанность. Сопrotивление советскому экспансионизму должно было проистекать из принципов, строго базирующихся на американском подходе к вопросам внешней

политики.

Этот императив стал очевиден на ключевой по значению встрече 27 февраля 1947 года в Овальном кабинете. Трумэн, государственный секретарь Маршалл и заместитель государственного секретаря Дин Ачесон пытались убедить делегацию Конгресса, возглавляемую сенатором-республиканцем от штата Мичиган Артуром Ванденбергом в исключительной важности помощи Греции и Турции, что было непростым предприятием, поскольку традиционно изоляционистские республиканцы контролировали обе палаты Конгресса.

Маршалл начал с беспристрастного анализа, очерчивающего связь между предлагаемыми программами помощи и американскими интересами. Результатом было стереотипное ворчание на тему «вытаскивания британских каштанов из огня», безнравственности равновесия сил и обременительности помощи зарубежным странам. Осознавая, что администрация вот-вот проиграет дело, Ачесон шепотом спросил Маршалла, будет ли он вести борьбу в одиночку или допустит выступление кого-либо еще на своей стороне. И когда Ачесону дали слово, тот начал, как выразился один из помощников, «выдергивать все заглушки». Ачесон храбро обрисовал собравшимся перспективы сурового и мрачного будущего, когда силы коммунизма наверняка возьмут верх:

«В мире останутся только две великие державы... Соединенные Штаты и Советский Союз. Мы дошли до той точки, когда создавшаяся ситуация имеет параллели лишь в античных временах. Со времен противостояния Рима и Карфагена на земле не было такой поляризации сил... Для Соединенных Штатов принятие мер по усилению стран, которым угрожает советская агрессия или коммунистический заговор... равносильно защите самих Соединенных Штатов — равносильно защите свободы как таковой»[603].

Когда стало ясно, что Ачесону удалось тронуть сердца делегации, администрация могла рассчитывать на принципиальное одобрение мероприятия. С этого момента программа помощи Греции и Турции рисовалась, как часть глобальной схватки между демократией и диктатурой. И когда 12 марта 1947 года Трумэн выступил с доктриной, которая позднее стала называться его именем, он опустил стратегический аспект ачесоновского анализа и заговорил в традиционных рамках вильсонизма по поводу борьбы между двумя образами жизни:

«Один образ жизни базируется на воле большинства и определяется свободными институтами, представительным правительством, свободными выборами, гарантиями личной свободы, свободы слова и вероисповедания и свободы от политического угнетения. Второй образ жизни целиком основывается на воле меньшинства, насильственно навязываемой большинству. Она имеет в своей основе террор и угнетение, контролируемые прессу и радио, заранее просчитанные выборы и подавление личных свобод»[604].

Более того, при защите независимых стран Соединенные Штаты действовали от имени демократии и мирового сообщества, даже если советское вето мешало формальной санкции Организации Объединенных Наций: «Оказывая помощь свободным и независимым нациям отстаивать свою свободу, Соединенные Штаты будут проводить в жизнь принципы Устава Организации Объединенных Наций»[605].

Если бы советские руководители лучше знали американскую историю, они бы поняли грозную суть того, о чем говорил президент. «Доктриной Трумэна» Америка бросила перчатку в моральном смысле, с «Realpolitik» в том виде, в котором Сталин понимал ее лучше всего, было покончено раз и навсегда, и взаимное согласование уступок заведомо исключалось. С той поры разрешением конфликта могли быть только перемена в советских устремлениях либо крах советской системы, а то и оба обстоятельства, вместе взятые.

Трумэн провозгласил свою доктрину как «политику Соединенных Штатов в поддержку свободных народов, которые противостоят попыткам порабощения вооруженным меньшинством или давлению со стороны»[606]. Само собой разумеется, это вызвало двухстороннюю критику интеллектуалов: одни протестовали на том основании, что Америка защищает страны, недостойные в моральном плане; другие возражали на том основании, что Америка связывает себя обязательствами защищать сообщества, не важно, свободные или нет, которые не имеют жизненно важного значения для безопасности Америки. Эта двусмысленность так и не исчезла, открыв дорогу дебатам на тему американских целей и задач в почти каждом из кризисов, которые не стихают по сей день. С той поры американская внешняя политика вынуждена лавировать между теми, кто клеймит ее за аморализм, и теми, кто критикует ее за переход через рамки национальных интересов посредством крестоносного морализаторства.

Когда по существу речь пошла не больше не меньше, как о судьбах демократии, Америка покончила с ожиданием фактического возникновения гражданских войн, как это было в Греции; в американском национальном характере заложено стремление отыскать противодействие злу. 5 июня, менее чем через три месяца после провозглашения «доктрины Трумэна», государственный секретарь Маршалл во время обращения по случаю присуждения ученых степеней в Гарварде сделал именно это. когда объявил о принятии Америкой на себя задачи искоренения социальных и экономических предпосылок, понуждающих к агрессии. Америка поможет восстановлению Европы, объявил Маршалл, чтобы избежать «политических беспорядков» и «отчаяния», чтобы восстановить мировую экономику и поддерживать свободные институты. Поэтому «любое правительство, выражающее желание оказать содействие в выполнении этой задачи, встретит, как я уверен, полнейшее сотрудничество со стороны правительства Соединенных Штатов»[607]. Иными словами, участие в «плане Маршалла» было открыто даже для правительств советской сферы влияния — намек этот тотчас же нашел отклик в Варшаве и Праге, за которым последовал сокрушительный удар со стороны Сталина.

Вставшие на платформу социальной и экономической реформы, Соединенные Штаты объявили, что будут выступать не только против любого правительства, но и против любой организации, которая станет препятствовать процессу европейского восстановления. Маршалл конкретно определил их как коммунистические партии и прикрывающие их организации: «...Правительства, политические партии и группировки, стремящиеся увековечить человеческие страдания, чтобы извлечь из этого политическую или иную выгоду, встретятся с противодействием Соединенных Штатов»[608].

Только столь идеалистическая, столь готовая к освоению неизведанных пространств, столь относительно неопытная страна, как Соединенные Штаты, могла выдвинуть план глобального экономического возрождения на базе одних лишь собственных ресурсов. И всего лишь намек на подобную перспективу вызвал общенациональную поддержку, которая станет опорой поколения «холодной войны» вплоть до окончательной в ней победы. Программа экономического восстановления, заявил государственный секретарь Маршалл, будет «направлена не против какой-либо страны или доктрины, но против голода, нищеты, отчаяния и хаоса»[609]. И точно так

же, как и при провозглашении Атлантической хартии, глобальный крестовый поход против голода и отчаяния американцам более импонировал, чем призыв к защите насущных интересов страны или восстановление равновесия сил.

В итоге всех этих более или менее разрозненных инициатив возник документ, который на протяжении жизни более чем одного поколения послужит библией политики «сдерживания». Все различные направления американской послевоенной мысли были сведены воедино в этой исключительной по содержанию статье, опубликованной в журнале «Форин аффэйрз» в номере за июль 1947 года. Хотя под ней стояла анонимная подпись «Икс», автором ее, как выяснилось позднее, оказался Джордж Ф. Кеннан, тогда уже руководитель аппарата политического планирования государственного департамента. Из тысяч статей, написанных после окончания второй мировой войны, кеннановские «Истоки советского поведения» представляют собой совершенно особое явление. Эта, написанная ясным языком, наполненная страстной аргументацией, литературная адаптация кеннановской «длинной телеграммы» поднимает вопросы советского вызова до уровня философии истории.

Ко времени появления статьи Кеннана советская неуступчивость стала общим местом инструктивно-политических документов. И весомым вкладом Кеннана стало объяснение того, почему враждебность к демократическим странам являлась неотъемлемой частью советского внутреннего устройства и почему советские государственные структуры невосприимчивы к западной политике умиротворения.

Трения с внешним миром — изначальное свойство коммунистического мировоззрения и, что самое главное, существенная составляющая внутреннего функционирования советской системы. Внутри страны единственной организованной группой является только партия, а остальное общество раздроблено на рудиментарные массы. Таким образом, непримиримая враждебность Советского Союза к внешнему миру проистекает из попытки приспособить международные дела к ритму внутренней жизни. Главной концепцией советской политики является требование «удостовериться в том, что ей удалось заполнить каждую трещину и щель, доступную ей в пространстве мировой мощи. Но если на ее пути окажутся непроходимые препятствия, она философски смиряется с их существованием и приспособляется к ним... В советской психологии нет ни малейшего намека на представление, что та или иная цель обязана быть достигнута в любое конкретно

заданное время».[610]

Советскую стратегию можно победить лишь при помощи «политики твердого сдерживания, предназначенной для противодействия русским при помощи всегда имеющейся в наличии противостоящей силы в любой точке, где появляются признаки покушения на интересы мирного и стабильного мира»[611].

Как и в почти всех внешнеполитических документах того времени, в статье Кеннана, за подписью «Икс», отсутствует разработка постановки конкретных дипломатических целей. Обрисованное им представляет собой вековую американскую мечту, пусть даже описанную более возвышенным языком и изображенную с гораздо большей проницательностью, чем это сделал бы любой его современник, о достижении мира путем обращения противника в свою веру. Зато Кеннан отличался от всех прочих экспертов тем, что описал механизм, посредством которого рано или поздно, в результате той или иной силовой схватки, советская система фундаментально трансформируется. Поскольку у этой системы никогда не было «законного» порядка передачи власти, Кеннан полагал возможным, что в какой-то момент различные соискатели верховной власти «смогут спуститься в недра политически незрелых и неопытных масс, чтобы найти у них поддержку своим определенным требованиям. И если это когда-либо случится, то отсюда будут проистекать невероятные последствия для коммунистической партии: ибо членство в ней в широком плане основывается на железной дисциплине и повиновении, а не на искусстве компромисса и взаимного приспособления... Если вследствие указанного произойдет что-либо, что разрушит единство партии и эффективность ее как политического инструмента, Советская Россия за одну ночь из одного из самых сильных национальных сообществ превратится в одно из самых слабых и жалких»[612].

Ни одно из документальных предвидений не оказалось столь точным и соответствующим реальному положению вещей после прихода к власти Михаила Горбачева. И теперь, после полнейшего краха Советского Союза, было бы ненужной придиркой заявлять о том, какую сногшибательную задачу поставил Кеннан своему народу. Ибо он возложил на Америку противодействие советскому давлению в течение неопределенного срока на обширных пространствах, вобравших в себя культуру Азии, Ближнего и Среднего Востока и Европы. Более того, Кремль свободно

выбирал для себя точки атаки, предпочтительно там, где, по его расчетам, он получит наибольшую выгоду. В продолжение последующих кризисов задачей американской политики считалось сохранение статус-кво, чтобы совокупными усилиями обеспечить окончательный крах коммунизма лишь после продолжительной серии внешне незавершенных конфликтов. Когда столь умудренный опытом наблюдатель, как Джордж Кеннан, отвел своему обществу такую глобальную, жесткую и в то же время динамичную роль, он совершенно справедливо положился на национальный оптимизм и ничем не омраченное чувство уверенности американцев в себе.

Эта непреклонная, даже героическая доктрина вечной борьбы призвала американский народ к бесконечным схваткам по правилам, отдававшим инициативу противнику и сводящим роль Америки к усилению стран, уже стоящих на разделительной черте, — поведение, типичное для политики сфер влияния. Отвергая переговоры как таковые, политика «сдерживания» потеряла драгоценное время в период величайшего относительного могущества Америки, обладавшей атомной монополией. И вот, еще на стадии «сдерживания» — позицию силы надо было еще создать, — «холодная война» оказалась милитаризированной и насыщенной ложными и неточными представлениями об относительной слабости Запада.

Обращение Советского Союза в истинную веру становилось, таким образом, конечной политической целью; стабильность могла возникнуть только тогда, когда будет изгнано зло. И не случайно статья Кеннана заканчивалась ораторским пассажем, призывающим миролюбивых соотечественников оценить такую добродетель, как терпение, и осмысливать собственную роль в международных делах как испытание достоинства собственной страны.

«Вопрос советско-американских отношений является, по существу, испытанием того, достойны ли Соединенные Штаты быть во всех отношениях нацией среди наций... Мыслящий наблюдатель русско-американских отношений не станет жаловаться в связи с тем, что Кремль бросил вызов американскому обществу. Он скорее будет в определенной степени благодарен Провидению за наличие столь жестокого вызова, поставившего безопасность нации в зависимость от того, сможет ли она сплотиться и принять на себя обязанности морально-политического лидерства, явно предназначенные для нее историей»[613].

Одной из бросающихся в глаза черт столь благородного заявления является его

крайняя двусмысленность. Оно возлагает на страну глобальную миссию, но делает задачу столь сложной, что Америке грозит буквально разорваться на части, если она попытается ее исполнить. И все же сама амбивалентность сдерживания, похоже, явилась мощным стимулом американской политики. Хотя в дипломатическом плане политика «сдерживания» по отношению к Советскому Союзу являлась изначально пассивной, она вызвала к жизни недюжинные творческие силы, когда дело дошло до создания «позиции силы» в военной и экономической областях. Это произошло потому, что политика «сдерживания» вобрала в себя уроки и представления, извлеченные из двух наиболее важных испытаний предшествующего поколения американцев: «новый курс» показал правильность представления о том, что угрозы политической стабильности проистекают в первую очередь из разрыва между экономическими и политическими ожиданиями и реальностью, и потому возник «план Маршалла»; вторая мировая война научила Америку тому, что наилучшей защитой от агрессии является наличие преобладающих сил и готовность их использовать, и потому возник Атлантический пакт. «План Маршалла» был предназначен для того, чтобы дать Европе возможность экономически встать на ноги. Организация Северо-Атлантического пакта (НАТО) обязана была проследить за ее безопасностью.

НАТО был первым в истории Америки военным союзом, в который она вступила в мирное время. Непосредственным толчком создания пакта послужил коммунистический переворот в Чехословакии в феврале 1948 года. После провозглашения «плана Маршалла» Сталин усилил коммунистический контроль над Восточной Европой. Он стал относиться жестко, если не параноидально, к вопросам верности восточноевропейских стран Москве. Старые коммунистические лидеры, заподозренные в наличии у них даже намека на национальные чувства, были подвергнуты чисткам. В Чехословакии в результате свободных выборов коммунисты оказались самой сильной партией и контролировали правительство. Но и этого Сталину было недостаточно. Избранное правительство было свергнуто, а некоммунист, министр иностранных дел Ян Масарик, сын основателя Чехословацкой республики, разбился насмерть, выпав из окна кабинета, наверняка после того, как его оттуда вытолкнули коммунистические палачи. В Праге установилась коммунистическая диктатура.

Вторично на протяжении одного десятилетия Прага стала символом сопротивления тоталитаризму. Точно так же, как оккупация Праги нацистами стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Великобритании в 1939 году, коммунистический переворот через девять лет после этого заставил Соединенные Штаты и демократии Западной Европы объединиться, чтобы предотвратить повторение подобного в любой из европейских стран.

Зверская жестокость чешского переворота вызвала к жизни опасения, что Советы могут организовать такого же рода захват власти в других местах — к примеру, содействовать насильственному захвату власти коммунистами, признать новое коммунистическое правительство и поддержать его при помощи военной силы. Поэтому в апреле 1948 года ряд европейских стран объединился в Брюссельский пакт — оборонительный пакт, имеющий целью противодействовать любым попыткам свергнуть силой демократические правительства. Однако все анализы соотношения сил показывали, что Западная Европа не обладает достаточной мощностью, чтобы отразить советское нападение. Так возникла организация Северо-Атлантического пакта, посредством которой Америка привязывалась к обороне Западной Европы. НАТО явился беспрецедентным отклонением от обычной американской внешней политики: американские и канадские войска подключились к европейским армиям под международным командованием НАТО. Результатом стала конфронтация между двумя военными союзами и появление двух сфер влияния на протяжении всей разграничительной линии в Центральной Европе.

В Америке, однако, этот процесс воспринимался не так. Вильсонианство было еще слишком сильным, чтобы позволить Америке называть союзом любую организацию, защищающую статус-кво в Европе. Каждый из представителей администрации Трумэна лез из кожи вон, чтобы показать различие между НАТО и коалицией традиционного типа, создаваемой для защиты равновесия сил. С учетом провозглашенного принципа создания «позиции силы» это требовало весьма обширной изобретательности. Но представители администрации оказались на уровне поставленной задачи.

Когда Уоррен Остин, бывший сенатор, ставший послом в Организации Объединенных Наций, давал показания от имени НАТО в сенатском комитете по международным делам в апреле 1949 года, он справился с этой проблемой, объявив

равновесие сил мертвым:

«Старый ветеран, принцип равновесия сил, получил полную отставку, как только была образована Организация Объединенных Наций. Взятые на себя народами, входящими в Организацию Объединенных Наций, обязательства объединять свои усилия в международном сотрудничестве ради сохранения мира и безопасности во всем мире и принимать в этих целях эффективные меры коллективной безопасности, ввели в официальную практику категорию накопления преобладающих сил ради мира. Так ушел в прошлое наш старый знакомый — принцип равновесия сил»[614].

Сенатский комитет по иностранным делам с радостью воспринял эту концепцию. Большинство свидетелей, выступавших от имени Атлантического союза, в значительной степени заимствовали свою аргументацию из подготовленного государственным департаментом документа, озаглавленного: «Различия между Северо-Атлантическим пактом и традиционными военными союзами»[615]. Этот исключительный в своем роде документ претендовал на анализ в историческом плане семи союзов, начиная с первой половины XIX века — от Священного союза 1815 года вплоть до нацистско-советского пакта 1939 года. Вывод гласил, что Северо-Атлантический пакт отличается от них всех «и буквой и духом». В то время как «большинство традиционных союзов клятвенно отвергали агрессивные или экспансионистские намерения», цели их часто отличались от чисто оборонительных.

Поразительно, но документ, составленный государственным департаментом, утверждал, что НАТО задуман вовсе не для того, чтобы защищать статус-кво в Европе, — последнее, безусловно, для союзников Америки явилось бы открытием. Там говорилось, что для Атлантического союза важен принцип, а не территория; он не отвергает изменений, а лишь противодействует применению силы для совершения подобных изменений. Из сделанного государственным департаментом анализа вытекало, что Северо-Атлантический пакт «не направлен ни против кого конкретно; он направлен исключительно против агрессии как таковой. Он не преследует цели повлиять на изменения „равновесия сил“, но создан, чтобы сохранить „равновесие принципов“». Документ восхвалял как Северо-Атлантический пакт, так и одновременно с ним подписанный «Пакт Рио» по поводу защиты Западного полушария и полагал, что они являются «дальнейшим развитием концепции коллективной безопасности», тем самым предвосхищая утверждение председателя

сенатского комитета Тома Коннелли, что этот пакт — не военный союз, а «союз против войны как таковой»[616].

Ни один студент исторического факультета не получил бы за подобный анализ проходной балл. Исторически в союзных договорах редко упоминались страны, против которых эти союзы были направлены. Вместо этого там оговаривались условия, при которых союзные обязательства вступали в силу, — что и имелось налицо в Северо-Атлантическом пакте. Поскольку в 1949 году единственным потенциальным агрессором в Европе был Советский Союз, то по сравнению с прошлым называть конкретные страны было еще меньше нужды. А настоятельные утверждения о том, что Соединенные Штаты защищают принцип, а не территорию, всегда были квинтэссенцией американского политического мышления, хотя вряд ли подобное заявление могло бы успокоить страны, как огня боявшиеся советской территориальной экспансии. Утверждение же, будто Америка выступает только против силовых преобразований, а не против перемен как таковых, было в равной степени дымовой завесой и источником тревоги; в продолжение всей истории Европы вряд ли возможно насчитать значительное количество территориальных изменений, произведенных не при помощи силы, если таковые вообще имели место.

Тем не менее мало какой из документов государственного департамента был встречен со столь единодушным одобрением со стороны обычно преисполненного подозрительности сенатского комитета. Сенатор Коннелли неумоимо развивал выдвинутый администрацией тезис, будто бы смыслом НАТО является противодействие самой концепции агрессии, а не какой-либо конкретной нации. Примером безграничного энтузиазма со стороны Коннелли может служить выдержка из свидетельских показаний государственного секретаря Дина Ачесона.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (сенатор Коннелли). Итак, господин секретарь, вы заявили достаточно четко — повторение этих слов никому не повредит, — что данный договор не направлен против какой-либо из наций конкретно. Он направлен лишь против любой из наций, или любой из стран, которая готовит или реально осуществляет вооруженную агрессию против подписавших пакт договаривающихся сторон. Это верно?

СЕКРЕТАРЬ АЧЕСОН. Это верно, сенатор Коннелли. Он не направлен против какой-либо страны; он направлен только против вооруженной агрессии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Иначе говоря, если какая-либо нация, не являющаяся участником договора, не предполагает, не задумывает и не осуществляет агрессию или вооруженное нападение по отношению к другой нации, ей нечего опасаться данного договора.

СЕКРЕТАРЬ АЧЕСОН. Совершенно точно, сенатор Коннелли, и мне представляется, что если какая-либо из стран утверждает, что этот договор направлен против нее, ей следует припомнить библейскую притчу о том, как человек, чувствуящий за собой вину, бежит, хотя его никто не преследует[617].

И едва комитет проникся тем, как подается данный вопрос, Коннелли практически сам начинает свидетельствовать от имени всех прочих свидетелей, как, к примеру, это имело место во время обмена репликами с министром обороны Луисом Джонсоном.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. По существу, этот договор не является ни в каком смысле военным союзом общего характера. Он ограничивает себя защитой против вооруженного нападения.

МИНИСТР ДЖОНСОН. Верно, сэр.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это полностью противоречит самому принципу военного союза.

СЕНАТОР ТАЙДИНГС. Он исключительно оборонительный.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Он исключительно оборонительный. Это мирный союз, если вообще кто-либо желает пользоваться словом «союз».

МИНИСТР ДЖОНСОН. Мне нравится ваш язык.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это союз против вооруженного нападения, это союз против войны, и в договоре отсутствуют какие бы то ни было существенные признаки основополагающих обязательств, характерных для военного союза в том виде, в котором мы вообще представляем себе военный союз; это верно?

МИНИСТР ДЖОНСОН. Именно так, сэр[618].

Иными словами, Атлантический союз, не будучи на самом деле союзом, претендовал на некую моральную универсальность. Он объединял мировое большинство, противостоящее беспокойному меньшинству. В какой-то степени роль Атлантического союза сводилась к тому, чтобы действовать до тех пор, пока Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не «примет меры, необходимые для восстановления мира и безопасности»[619].

Дин Ачесон был в высшей степени умудренным опытом государственным секретарем, который знал, что к чему. Можно представить себе, как сардонически он усмехался про себя, когда председатель сенатского комитета поучал его по его же собственной шпаргалке. Ачесон ясно и отчетливо представлял себе, что следует делать, чтобы сохранить равновесие сил, свидетельством чему являются проводимые им тонкие наблюдения аналитического характера по конкретным геостратегическим вопросам[620]. Но одновременно он был в достаточной мере американцем с точки зрения подхода к собственной дипломатической деятельности и не сомневался, что если Европу оставить вариться в собственном соку, то вместо равновесия сил налицо будет хаос, а для того, чтобы понятие равновесия сил приобрело хоть какую-то значимость для американцев, надо было заложить в него некий более возвышенный идеал. В речи, произнесенной перед Ассоциацией выпускников Гарвардского университета, уже по прошествии значительного времени с момента ратификации договора, Ачесон все еще продолжал защищать Атлантический союз в типично американской манере, заявляя, что это новый подход к международным делам:

«Он поднял международное сотрудничество на новую высоту в целях поддержания мира, в целях дальнейшего утверждения прав человека, в целях поднятия уровня жизни и в целях достижения уважительного отношения к принципу равноправия и самоопределения народов»[621].

Короче говоря, Америка охотно отдавала должное Атлантическому союзу, но не соглашалась открыто называть его союзом. Она готова была включиться в освященную историей политику коалиций при условии, что такого рода действия можно было бы оправдать в рамках доктрины коллективной безопасности, которую впервые, в качестве альтернативы системе союзов, выдвинул еще Вильсон. Таким образом, европейская система равновесия сил была возрождена к жизни при помощи

американской риторики.

Огромную роль для Атлантического союза сыграло, пусть даже почти не замеченное американской публикой, создание Федеративной Республики Германии посредством слияния американской, британской и французской оккупационных зон. Конечно, появление этого нового государства означало, по существу, отказ от трудов Бисмарка, ибо на неопределенный срок Германия становилась разделенной. Однако само существование Федеративной Республики Германии становилось непрекращающимся вызовом советскому присутствию в Центральной Европе, поскольку Федеративная Республика не собиралась признавать коммунистическое восточногерманское советское государство (созданное Советами из своей зоны оккупации). На протяжении двух десятилетий Федеративная Республика отказывалась признавать то, что стало называться Германской Демократической Республикой, и угрожала разрывом дипломатических отношений с любой страной, которая ее признает. После 1970 года Федеративная Республика отступила от так называемой «доктрины Хальштейна» и установила дипломатические отношения с восточногерманским сателлитом, не отказываясь, однако, от претензий выступать от имени всего немецкого населения.

Решительность, с которой Америка бросилась заполнять вакуум силы в Европе, удивила даже самых ревностных сторонников политики «сдерживания». «Я не мог даже подумать, — позднее рассуждал Черчилль, — когда 1944 год подходил к концу, что не пройдет и двух лет, как государственный департамент, поддержанный преобладающей массой американской общественности, не только примет и начнет осуществлять заложенный нами курс, но и осуществит смелые и дорогостоящие мероприятия, даже военного характера, чтобы он принес свои плоды»[622].

Через четыре года после безоговорочной капитуляции держав «оси» международный порядок был во многом сходен с периодом перед самым началом первой мировой войны: имело место наличие двух жестко организованных союзов при весьма ограниченном пространстве для дипломатического маневра, но на этот раз в масштабе всего земного шара. Было, правда, одно отличие кардинального характера: союзы перед началом первой мировой войны спланировали опасение каждой из сторон, как бы перемена партнерства любым из членов союза не привела к краху сооружения, которое как бы обеспечивало их безопасность. Иными словами, наиболее

воинственный из партнеров получал возможность толкать всех остальных в пропасть. Во время «холодной войны», однако, каждый из союзов возглавлялся сверхдержавой, без которой союз в значительной степени не мог существовать и которая в достаточной степени была заинтересована в том, чтобы сдерживать риск вовлечения мира в войну со стороны любого из своих союзников. А наличие ядерного оружия исключало иллюзии 1914 года относительно того, что война якобы может быть короткой и безболезненной.

Американское руководство союзом гарантировало то, что новый международный порядок можно будет оправдать моральными, а то и духовно-провидческими категориями. Американские лидеры шли на жертвы и лишения, беспрецедентные для коалиции мирного времени, во имя фундаментальных ценностей и достижения всеобъемлющих решений, а не исходя из расчетов в рамках национальной безопасности и равновесия сил, что было столь характерно для европейской дипломатии.

Позднее критики этой политики станут подчеркивать цинизм, с их точки зрения, подобной моральной риторике. Но ни один человек, знакомый со стратегами политики «сдерживания», не усомнится в их искренности. И никогда Америка не выдержала бы четыре десятилетия тяжелейшего напряжения сил во имя политики, не отражавшей ее основополагающие ценности и идеалы. Это в полной мере демонстрируется тем, что даже в документах наивысшей степени секретности, абсолютно не предназначенных для сведения общественности, альфой и омегой являются моральные категории.

Примером может послужить документ Совета по вопросам национальной безопасности (СНБ-68), подготовленный в апреле 1950 года в качестве официального обоснования стратегии Америки в период «холодной войны». Он определяет национальные интересы преимущественно в рамках моральных принципов. Согласно заложенным в нем представлениям, моральный ущерб гораздо более опасен ущерба материального:

«Поражение свободных общественных институтов где бы то ни было является поражением всеобщего характера. Шок, испытанный нами при уничтожении Чехословакии, вызывался не мерой материальной важности Чехословакии для нас. В материальном смысле ее потенциальные возможности уже находились в

распоряжении Советского Союза. Но когда была уничтожена вся система чехословацких общественных установлений, то гораздо более разрушительным, чем ущерб в материальном плане, оказался понесенный нами ущерб в сфере незыблемых моральных ценностей»[623].

И как только жизненно важные интересы стали тождественны моральным принципам, американские стратегические цели стали формулироваться при помощи терминов морально-оценочного характера, а не с точки зрения соотношения сил, — как раз для того, чтобы «сделать себя сильными и в том, как нами утверждаются наши ценности по ходу развертывания нашей национальной жизни, и в том, как мы развиваем наше политическое и экономическое могущество»[624]. Доктрина американских «отцов-основателей», гласившая, что их нация — маяк свободы для всего человечества, пронизывала всю американскую философию «холодной войны». Отвергая то направление американского мышления, которое было сформулировано в словах Джона Квинси Адамса, предостерегавшего против «похода за границу в поисках подлежащих уничтожению чудовищ», составители цитируемого документа видели Америку в роли крестоносца: «Истинным сокрушительным ответом на планы Кремля будет утверждение на практике как за рубежом, так и у себя дома незыблемости наших основополагающих ценностей»[625].

В рамках подобных представлений целью «холодной войны» является обращение оппонента в истинную веру: «Способствовать фундаментальным переменам в характере советской системы», определявшимся, как «принятие Советским Союзом конкретных и четко определенных международных условий, при наличии которых могут расцвести свободные установления и благодаря которым народы России получат новый шанс определить свою собственную судьбу»[626].

Хотя в документе назывались различные военно-экономические мероприятия, жизненно важные для создания «позиции силы», центральной его темой не были ни традиционная дипломатия взаимных уступок, ни апокалиптическая финальная схватка. Нежелание воспользоваться ядерным оружием или угрожать его использованием в период американской атомной монополии обосновывалось типично американской аргументацией: победа в подобной войне даст преходящий, следовательно, неудовлетворительный результат. Что же касается переговоров, то тогда «единственной предполагаемой базой для всеобщего урегулирования явилось

бы установление сфер влияния, а также ничейных сфер, а именно такое „урегулирование" Кремль с готовностью использовал бы для себя с максимальной выгодой»[627]. Иными словами, Америка отказывалась рассматривать вариант военной победы или даже достижения всеобъемлющего урегулирования, который бы не приводил к обращению оппонента в свою веру.

Несмотря на предельно трезвый реализм, указанный документ начинается с похвального слова демократии и завершается утверждением, что история в конце концов сделает выбор в пользу Америки. Примечательной чертой этого документа является сочетание призывов универсального характера с отказом от опоры на силу. Еще никогда великая держава не ставила перед собой цель, столь обременительную для собственных ресурсов, с расчетом не на какой-либо ответный конкретный результат, но лишь на возможность распространения собственных национальных ценностей. Достигнуть этого можно было лишь путем глобальной реформы, а не обычным для крестоносцев путем глобального завоевания. Случилось так, что на момент постановки столь внушительной по сути задачи могущество Америки, хотя и в краткосрочном плане, было исключительно велико, даже несмотря на то, что Америка убедила себя в относительной военной слабости.

На этих ранних этапах следования Америки политике «сдерживания» никто даже представить себе не мог, какое всевозрастающее напряжение будет испытывать она по мере развертывания цепи конфликтов, единственная цель которых — внутренняя трансформация оппонента, причем в отсутствие каких бы то ни было оценочных критериев успеха каждого промежуточного шага. Тогда преисполненным уверенности в себе американским лидерам показалось бы невероятным, что понадобится всего два десятилетия, чтобы от мучительных сомнений в правильности избранного направления перейти к уверенности в том, что предполагаемый крах коммунизма наверняка свершится. В тот момент они были всецело озабочены новой ролью своей страны в международных делах и отражением критики революционного поворота американской внешней политики.

По мере того как политика «сдерживания» медленно, но верно принимала конкретные очертания, критика ее осуществлялась представителями трех различных школ общественной мысли. Первой из них можно считать школу «реалистов», типичный представитель которой Уолтер Липпман утверждал, будто бы политика

«сдерживания» приведет к психологическому и геополитическому перенапряжению при одновременном истощении американских ресурсов. Наиболее ярко отобразил ход мыслей сторонников второй школы Уинстон Черчилль, возражавший против отсрочки переговоров до тех пор, пока не будет обеспечена «позиция силы». Черчилль заявлял, что позиция Запада никогда вновь не станет столь же сильной, как в самом начале «холодной войны», и потому переговорные его возможности будут только ухудшаться. Наконец, был и Генри Уоллес, который отрицал за Америкой вообще какое бы то ни было моральное право прибегать к политике «сдерживания». Постулируя фундаментальное моральное равноправие обеих сторон, он утверждал, что Советский Союз на вполне законном основании обладает сферой влияния в Центральной Европе, а сопротивление этому со стороны Америки лишь усиливает напряженность. Настаивая на возвращении к тому, что он полагал рузвельтовской политикой, он требовал, чтобы Америка в одностороннем порядке покончила с «холодной войной».

Будучи наиболее красноречивым защитником дела «реалистов», Уолтер Липпман отвергал предположение Кеннана относительно того, что советское общество уже несет в себе семена собственного упадка. Он считал эту теорию слишком умозрительной, чтобы лечь в основание американской политики:

«По оценке мистера Икса, резервы на черный день отсутствуют. Нет запаса прочности на случай неудачного стечения обстоятельств, недостатков управления» ошибок и непредвиденных ситуаций. Он призывает принять как данность, что советская власть уже движется под уклон. Он изо всех сил старается заверить нас в том, что наши самые сокровенные мечтания вот-вот реализуются»[628].

Политика «сдерживания», настаивал Липпман, загонит Америку в дальний угол по направлению от все расширяющихся внешних границ советской империи, включающей в себя, с его точки зрения, множество стран, не являющихся государствами в современном смысле слова. А военные обязательства так далеко от дома ослабят решимость Америки и не будут способствовать ее безопасности. Политика «сдерживания», если верить Липпману, позволит Советскому Союзу выбирать точки максимального дискомфорта для Соединенных Штатов и сохранять при этом не только дипломатическую, но и военную инициативу.

Липпман подчеркивал важность выработки критериев для определения того, в каких районах противодействие советской экспансии жизненно важно с точки зрения

американских интересов. В отсутствие подобных критериев Соединенные Штаты вынуждены будут организовывать «разнокалиберную смесь сателлитов, клиентов, иждивенцев и марионеток», что позволит вновь появившимся союзникам Америки эксплуатировать политику «сдерживания» в своих собственных интересах. Соединенные Штаты попадут в западню, будучи вынуждены поддерживать нежизнеспособные режимы, что поставит Вашингтон перед печальным выбором между «умиротворением и поражением с потерей лица или... их поддержкой [союзников США] любой, даже самой невероятной, ценой»[629].

Это, конечно, был пророческий анализ того, что предстояло Соединенным Штатам, однако средство, предложенное Липпманом, вряд ли соответствовало универсалистской американской традиции, к которой гораздо ближе оказывалось апокалиптическое предвидение Кеннана. Липпман призывал к тому, чтобы американская внешняя политика руководствовалась разовым анализом каждой конкретной ситуации по мере ее возникновения, а не общими принципами, предположительно обладающими универсальностью применения. С его точки зрения, американская политика в гораздо меньшей степени должна быть ориентирована на свержение коммунистической системы, а в гораздо большей — на восстановление нарушенного войной равновесия сил в Европе. Политика «сдерживания» предполагает раздел Европы до бесконечности, в то время как истинные интересы Америки заключаются в том, чтобы не позволить советской мощи пребывать в центре европейского континента:

«Уже более сотни лет все российские правительства пытались распространить свое влияние на Восточную Европу. Но лишь тогда, когда Красная Армия вышла на реку Эльбу, правители России оказались в состоянии реализовать амбициозные планы Российской империи в сочетании с идеологическими целями коммунизма. И потому настоящая политика должна иметь конечной целью такое урегулирование, которое повлекло бы за собой эвакуацию из Европы... Американскую мощь следует использовать не для того, чтобы „сдерживать" русских в разбросанных там и сям точках, но держать под контролем всю русскую военную машину и осуществлять всевозрастающее давление в поддержку дипломатической политики, имеющей конкретной целью урегулирование, следствием которого явится вывод войск»[630].

Судьба и впрямь одарила Америку в послевоенный период множеством талантов.

Американские политические лидеры были замечательными и многоопытными людьми. А за ними стояли столь многочисленные и выдающиеся личности, как Джон Макклой, Роберт Ловетт, Дэвид Брюс, Элсворт Банкер, Аверелл Гарриман и Джон Фостер Даллес, то и дело входившие в то или иное правительство, всегда готовые послужить президенту на внепартийной основе.

А из числа интеллектуалов Америка всегда могла избирать мыслителей как липпмановского, так и кеннановского плана, особенно тогда, когда оба эти теоретика достигли вершины своих возможностей. Кеннан верно оценил фундаментальную слабость коммунизма; Липпман точно предсказал затруднения, сопряженные с проведением в жизнь политики «сдерживания», вынужденной лишь реагировать на уже свершившееся. Кеннан призывал к терпению и выдержке, чтобы дать истории реализовать необратимые тенденции; Липпман призывал проявить дипломатическую инициативу и обеспечить европейское урегулирование, пока мощь Америки все еще являлась преобладающей. Кеннан обладал большей проницательностью в смысле интуитивного понимания действующих механизмов американского общества; Липпман же осознал всевозрастающий характер напряжения, которое порождалось бы бесконечной патовой ситуацией и сомнительностью поддерживаемых Америкой целей в процессе осуществления политики «сдерживания».

В конце концов анализ Липпмана завоевал себе именитых сторонников, хотя в основном из среды оппонентов конфронтации с Советским Союзом. Правда, согласие их базировалось лишь на одном из аспектов липпмановской аргументации, подчеркивавшемся ими точно так же, как и ее критиками, при полном игнорировании ее выводов. Они обращали внимание на призыв Липпмана к постановке более ограниченных целей, но пренебрегали его рекомендациями в отношении усиления наступательного характера дипломатии. И случилось так, что в 40-е годы наиболее привлекательной стратегической альтернативой доктрине «сдерживания» оказалась внешнеполитическая программа, разработанная не кем иным, как Уинстоном Черчиллем, тогдашним лидером парламентской оппозиции.

Черчилль снискал широчайшую признательность, как человек, объявивший о начале «холодной войны» в речи о «железном занавесе», произнесенной в Фултоне, штат Миссури. На всех этапах второй мировой войны Черчилль в попытке улучшить послевоенные переговорные возможности демократических стран стремился

ограничить советский экспансионизм. Черчилль поддерживал политику «сдерживания», но для него она никогда не была самоцелью. Не желая пассивно ждать, когда же наступит крах коммунизма, он стремился формировать ход истории, а не полагаться на то, что она сделает за него свое дело. А стремился он к урегулированию путем переговоров.

В «фултонской речи» Черчилля на переговоры делался лишь намек. 9 октября 1948 года в валлийском городке Лландудно Черчилль вновь вернулся к своей аргументации относительно того, что переговорная позиция Запада никогда не улучшится по сравнению с нынешним моментом. В речи, которую тогда не почтили особенным вниманием, он заявил:

«Встает вопрос: что произойдет, когда у них самих появится атомная бомба и они накопят значительный атомный запас? Можете судить сами, что случится, исходя из того, что происходит сейчас. Если такое творится весной, то что же произойдет осенью?.. Никто в здравом уме и твердой памяти не поверит, что в нашем распоряжении ничем не лимитируемый срок. Мы обязаны поставить вопрос ребром и произвести окончательное урегулирование. Хватит бегать вокруг да около, действовать непредусмотрительно и некомпетентно в ожидании, когда что-нибудь да проявится, причем я понимаю это так, что проявится нечто, для нас скверное. И западные нации скорее смогут добиться долгосрочного урегулирования и избежать кровопролития, если они сформулируют свои справедливые требования, пока атомное оружие находится только в нашем распоряжении и пока русские коммунисты еще не овладели атомной энергией»[631].

Через два года после этого Черчилль повторил аналогичный призыв в палате общин: демократические страны достаточно сильны, чтобы пойти на переговоры, а выжиданием они лишь себя ослабят. В речи в защиту перевооружения в рамках НАТО 30 ноября 1950 года он предупредил, что вооружение Запада само по себе не изменит его переговорного потенциала, который, в конце концов, зависит от атомной монополии Америки:

«...В то время как верен сам по себе курс на быстрое наращивание наших сил, в пределах упомянутого мною периода этот процесс как таковой не лишит Россию эффективного превосходства в области, как мы теперь говорим, обычных вооружений. Все, что этот курс способен обеспечить, — это рост европейского единства и

увеличение возможностей противостояния агрессии... Поэтому я выступаю в пользу усилий по достижению урегулирования с Советской Россией, как только предоставится первая же подходящая возможность, и усилия эти следует предпринимать, пока еще имеется в наличии огромное и несоизмеримое превосходство Соединенных Штатов в деле организации производства атомной бомбы, перевешивающее советское преобладание во всех прочих военных областях»[632].

Для Черчилля «позиция силы» уже наличествовала; для американских лидеров ее еще требовалось создать. Черчилль думал о переговорах как о способе подчинения силы дипломатии. И хотя он никогда не высказывался конкретно, из его публичных заявлений со всей вероятностью вытекает, что он имел в виду своего рода дипломатический ультиматум со стороны демократических стран Запада. Американские лидеры пасовали перед использованием собственной атомной монополии даже в качестве угрозы. Черчилль желал сузить район советского влияния, но был готов сосуществовать с советской властью, ограничив ее масштабы распространения. Американские лидеры чуть ли не утробно ненавидели само понятие сфер влияния. Они хотели добиться уничтожения, а не сужения сфер проникновения своего оппонента. Они предпочли бы ждать всеобщей победы и краха коммунизма, в каком бы отдаленном будущем это ни свершилось, и искать вильсонского решения проблемы мирового порядка.

Расхождение проистекало из различия исторического опыта Великобритании и Америки. Черчиллевское общество было слишком хорошо знакомо с тем, к чему приводят несовершенные решения; Трумэн и его советники принадлежали традиции, согласно которой стоило лишь признать существование проблемы, как ее обычно можно было разрешить посредством привлечения в этих целях обширных ресурсов. Отсюда предпочтение, отдаваемое Америкой окончательным решениям, и недоверие с ее стороны к тем самым компромиссам, которые стали отличительной чертой Великобритании. У Черчилля не было концептуальных затруднений в отношении одновременного создания «позиции силы» и ведения активной дипломатии, оказывающей давление в целях урегулирования. Американские руководители воспринимали эти усилия, как последовательные этапы — точно так же, как они это делали во время второй мировой войны и будут делать в Корее и Вьетнаме.

Американская точка зрения взяла верх, поскольку Америка была сильнее, чем Великобритания, и поскольку Черчилль в положении лидера британской оппозиции не имел возможности оказывать давление в деле реализации своей стратегии.

В конце концов, наиболее громкий и настойчивый вызов американской политике «сдерживания» раздался не со стороны «реалистической школы» Липпмана или со стороны Черчилля, мыслящего категориями равновесия сил, но со стороны традиции, уходящей глубокими корнями в почву, породившую американское радикальное мышление. В то время как и Липпман и Черчилль соглашались с основополагающим тезисом администрации Трумэна относительно наличия серьезной угрозы со стороны советского экспансионизма и лишь расходились в отношении конкретной стратегии противостояния, радикальные критики отвергали абсолютно все аспекты политики «сдерживания». Генри Уоллес, вице-президент в период третьего срока пребывания Рузвельта на посту президента, а при Трумэне побывавший министром сельского хозяйства и министром торговли, был главным представителем этого направления.

Воплощение американской популистской традиции, Уоллес проявлял типичное для янки всеподавляющее недоверие к Великобритании. Как и большинство американских либералов со времен Джефферсона, он утверждал, что «те же самые моральные принципы, которыми руководствуются в частной жизни, должны быть также определяющими в международных делах»[633]. С точки зрения Уоллеса, Америка утратила моральные ориентиры и проводит свою внешнюю политику, основываясь на «макиавеллистских принципах обмана, применения силы и недоверия», как заявил он, выступая в Мэдисон-сквер-гарден 12 сентября 1946 года[634]. А поскольку предрассудки, ненависть и страх как раз и являются коренными причинами международных конфликтов. Соединенные Штаты не имеют морального права вмешиваться в дела за рубежом, пока не искоренят это зло у себя дома.

Новый радикализм восстанавливал исторический образ Америки как маяка свободы, но по ходу дела обернулся против самого себя. Постулирование моральной эквивалентности американских и советских действий стало характерной чертой радикальной критики в течение всего периода «холодной войны». Сама идея международной ответственности Америки выглядела в глазах Уоллеса примером бахвальства силой. Британцы, утверждал он, морочили голову легковверным

американцам и использовали их в своих интересах: «Британская политика четко направлена на то, чтобы сеять недоверие между Соединенными Штатами и Россией и таким образом готовить почву для третьей мировой войны»[635].

Согласно Уоллесу, демонстрация Трумэном сути конфликта как противостояния между демократией и диктатурой была чистейшим вымыслом. В 1945 году, когда советские послевоенные репрессии стали видны невооруженным глазом, а зверства коллективизации более не вызывали сомнений в самых широких кругах общественности, Уоллес заявлял, что «сегодняшние русские обладают большей политической свободой, чем когда бы то ни было». Он также обнаружил «признаки всевозрастающей религиозной терпимости» в СССР и утверждал, что «имеет место отсутствие фундаментального конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом»[636].

Уоллес полагал, что движущей силой советской политики является скорее не экспансионизм, а страх. В марте 1946 года, будучи еще министром торговли, Уоллес писал Трумэну:

«События последних нескольких месяцев отбросили Советы назад, возродив у них существовавшие до 1939 года страхи перед «капиталистическим окружением» и ошибочную веру в то, что западный мир, включая США, изначально и единодушно им враждебен»[637].

Через шесть месяцев в своей речи в Мэдисон-сквер-гарден Уоллес -бросил прямой вызов Трумэну, после чего президент потребовал его отставки:

«Нам может не нравиться то, что Россия делает в Восточной Европе. Ее вариант земельной реформы, промышленная экспроприация и подавление основных свобод оскорбляют подавляющее большинство населения Соединенных Штатов. Но нравится нам это или нет, русские пытаются социализировать свою сферу влияния, точно так же, как мы пытаемся демократизировать нашу сферу влияния... Русские представления о социально-экономической справедливости способны восторжествовать на одной трети земного шара. Наши представления о демократии свободного предпринимательства будут торжествовать на большинстве остальной территории.. И оба эти представления будут стремиться показать, какое из них даст наибольшее удовлетворение простому человеку в соответствующих районах политического преобладания»[638].

Произошла странная перемена ролей: самозванный защитник морали в международных отношениях признавал советскую сферу влияния в Восточной Европе на практической основе, а администрация, на которую он нападал, обвиняя ее в проведении циничной силовой политики, отвергала существование советской сферы влияния на моральной основе.

Согласно Уоллесу, Америка не должна распространять свое право одностороннего вмешательства на весь земной шар. Оборона становилась законной лишь с одобрения Организации Объединенных Наций (независимо от того, что Советский Союз обладал там правом вето), а экономическое содействие следовало оказывать посредством международных институтов. А поскольку «план Маршалла» этим критериям не соответствовал, то, предсказывал Уоллес, результатом его осуществления станет направленная на Америку ненависть человечества[639].

Вся словесность Уоллеса превратилась в пустой звук после коммунистического заговора в Чехословакии, Берлинской блокады и вторжения в Южную Корею. Как кандидат на президентских выборах 1948 года, он собрал всего один миллион голосов — в большинстве своем в Нью-Йорке — против более чем двадцати четырех миллионов за Трумэна, что ставило его на четвертое место позади кандидата от «диксикратов» Строма Термонда. Тем не менее Уоллес сумел задать тон, который останется неизменным для всей американской радикальной критики на протяжении «холодного» периода и выйдет на первый план во время войны во Вьетнаме.

Шаблоном станет подчеркивание моральной несостоятельности Америки и ее друзей; основополагающая моральная эквивалентность между Америкой и бросающими ей вызов коммунистами; утверждение, будто Америка не имеет обязательств защищать любой район мира против в значительной степени воображаемых угроз; а также та точка зрения, будто бы мировое общественное мнение является в большей степени определяющим фактором внешней политики, чем геополитические концепции. Когда впервые было выдвинуто предложение об оказании помощи Греции и Турции, Уоллес настаивал на том, чтобы администрация Трумэна поставила этот вопрос на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Если «русские воспользуются правом вето, то вся моральная ответственность ляжет на них... [Если] мы будем действовать независимо... вся моральная ответственность ляжет на нас»[640].

Высокоморальные рассуждения значили больше, чем обеспечение американских

геополитических интересов.

Несмотря на то, что уоллесовская радикальная критика американской послевоенной внешней политики потерпела крах в период 40-х годов, ее основополагающие тезисы отражали глубинное течение американского идеализма, продолжавшее магнетически влиять на душу нации. Те же самые моральные убеждения, которые наполнили энергией американские обязательства международного характера, обладали также потенциалом, способным обратиться на самих себя вследствие разочарования в окружающем мире или из-за несовершенства самой Америки. В 20-е годы изоляционизм заставил Америку уйти в себя на том основании, что она будто бы была чересчур хороша для остального мира; в масштабах движения Уоллеса это направление возродилось, основываясь на предположении, будто Америка обязана уйти потому, что она недостаточно хороша для остального мира.

И все же, когда Америка впервые взяла на себя в мирное время международные обязательства постоянного характера, где-то в будущем замаячила систематическая неуверенность в себе. Поколение, которое создало «новый курс» и выиграло вторую мировую войну, обладало гигантской верой в себя и в безграничные возможности американской предприимчивости. И идеализм наций оказался как раз к месту для того, чтобы справиться с ситуацией возникновения в мире двух ведущих держав, для чего хитроумные комбинации традиционной дипломатии равновесия сил были уже малопригодны. Только общество, обладающее огромной верой в свои собственные достижения и в свое будущее, могло направить и свою решимость, и свои ресурсы на достижение такого мирового порядка, при котором были бы умиротворены побежденные враги, восстановлены силы пострадавших союзников и обращены в истинную веру противники. Часто путь к заветной цели не свободен от определенной доли наивности.

Одним из результатов политики «сдерживания» явилось то, что Соединенные Штаты ограничились пассивной дипломатией как раз в тот самый период, когда мощь Сталина была наивысшей. Вот почему политика «сдерживания» во всевозрастающей степени оспаривалась еще одним политическим направлением, наиболее ярким представителем которого был Джон Фостер Даллес. Это были консерваторы, признававшие основополагающие тезисы политики «сдерживания», но ставившие под сомнение ее принципиальную медлительность. Даже если бы в

результате осуществления политики «сдерживания» советское общество оказалось подорвано, утверждали эти ее критики, это потребовало бы слишком долгого времени и слишком крупных затрат. Независимо от того, чего можно достичь при помощи политики «сдерживания», надо ускорять осуществление стратегии освобождения. К концу срока пребывания Трумэна на посту президента политика «сдерживания» оказалась под перекрестным огнем со стороны тех, кто считал ее слишком воинственной (сторонников Уоллеса), и тех, кто полагал ее чересчур пассивной (консерваторов-республиканцев).

Это противоречие обострилось с ускоренной силой, ибо, как и предсказывал Липпман, международные кризисы все интенсивнее перемещались на периферию земного шара, где моральные вопросы выглядели спорно и где трудно было продемонстрировать прямую угрозу американской безопасности. Америка оказалась втянутой в войны в районах, не защищенных союзами, причем ведущиеся за цели сомнительного свойства и не имеющие решительного исхода. От Кореи и до Вьетнама эти предприятия становились питательной средой для радикальной критики, неудовлетворенной моральной подоплекой политики «сдерживания».

Так обнаружился новый вариант американской исключительности. При всех своих несовершенствах Америка XIX века полагала себя маяком свободы; в 60-е и 70-е годы XX века заговорили о том, что факел начинает мерцать и гаснуть и что его следует зажечь заново прежде, чем Америка вернется к осуществлению своей исторической роли вдохновителя дела свободы. Дебаты по поводу политики «сдерживания» превратились в борьбу за самую душу Америки.

Уже в 1957 году даже Джордж Кеннан вынужден был в свете этого дать новую интерпретацию политике «сдерживания», когда писал:

«Моим соотечественникам, которые часто спрашивали меня, куда лучше приложить руки, чтобы противодействовать советской угрозе, я соответственно вынужден был отвечать: к нашим американским недостаткам, к тем вещам, которых мы стыдимся и которые — бельмо у нас на глазу, или к тем, которые нас тревожат: к расовой проблеме, к условиям жизни в больших городах, к вопросам образования и социального окружения молодежи, к растущему разрыву между специальным знанием и массовым пониманием»[641].

Десятилетием ранее, когда Джордж Кеннан еще не был разочарован тем, что

называл милитаризацией его замысла, он бы понял, что такого выбора не существует. Страна, требующая от самой себя морального совершенства в качестве критерия собственной внешней политики, не сможет достичь ни совершенства, ни безопасности. И мерой достижений Кеннана явилось то, что в 1957 году, когда все бастионы свободного мира были реально укомплектованы защитниками, решающим вкладом во все это явились его собственные воззрения. Тогда, на фоне этих эффективно укомплектованных бастионов, Америка позволила себе заняться самокритикой.

Теория «сдерживания» была исключительной по сути: одновременно трезвой и идеалистичной, глубокой в оценке советских побудительных мотивов, но удивительно абстрактной в своих выводах. Насквозь американская в своем утопизме, она исходила из того, что крах тоталитарного оппонента может быть достигнут посредством изначального добра и миролюбия. И хотя эта доктрина была сформулирована в момент абсолютного могущества страны, она проповедовала относительную слабость Америки. Постулируя великое дипломатическое противостояние в момент кульминации, теория «сдерживания» не отводила дипломатии никакой роли до той самой финальной развязки, когда мужчины в белых шляпах примут обращение мужчин в черных шляпах.

С учетом всех этих своих качеств, доктрина «сдерживания» была той самой теорией, которая воодушевляла Америку более чем четыре десятилетия строительства, борьбы и в итоге привела страну к триумфу. Жертвой ее двусмысленного характера оказались не народы, на защиту которых встала Америка — в целом успешно, — а американское сознание. Мучая себя традиционным стремлением к моральному совершенству, Америка вышла из борьбы, которую она вела на протяжении жизни более чем одного поколения, израненной, отягченной противоречиями, но достигнувшей почти всего, чего поставила своей целью достигнуть.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. Дилемма политики «сдерживания»: Корейская война

Соединенные Штаты не «вернули ребят домой», как ожидал Рузвельт. Вместо этого у Америки нашлось множество неотложных дел, в частности в Европе, где она учреждала установления и программы, чтобы не допустить советских вторжений и оказывать везде, где только можно, давление на советскую сферу влияния.

В течение трех лет политика «сдерживания» срабатывала, как и было задумано. Атлантический союз служил укрепленной крепостью, защищающей от советской экспансии, а «план Маршалла» укреплял Западную Европу экономически и социально. Греко-турецкая программа помощи защитила Восточное Средиземноморье, а берлинский воздушный мост показал, что демократические страны готовы пойти на риск войны, чтобы отразить угрозу своим зафиксированным правам. В каждом из этих случаев Советский Союз шел на попятный, не решаясь на прямое противостояние Соединенным Штатам.

Но у теории «сдерживания» был крупный недостаток, вынуждавший американских руководителей действовать, исходя из двух ошибочных предположений: что вызовы будут носить столь же недвусмысленный характер, как и во время второй мировой войны, и что, во-вторых, коммунисты будут пассивно ждать, когда же рухнет их собственное правление (это принималось за аксиому теорией «сдерживания»):. Возможность, что коммунисты попытаются осуществить где-нибудь прорыв, избирая в качестве цели район в максимальной степени политически или стратегически сложный для Соединенных Штатов, вообще не рассматривался. Теорию «сдерживания» удалось всучить настороженному Конгрессу благодаря Европе. Страх перед советским вторжением в Средиземноморье способствовал принятию программы помощи Греции и Турции, а опасность советского нападения на Западную Европу привела к организации Северо-Атлантического пакта. Возможность советского прорыва в других местах воспринималась не более как побочная гипотеза, если вообще приходила в голову.

И вот 25 июня 1950 года Америка внезапно оказалась перед лицом последствий двусмысленности самой сущности политики «сдерживания», ибо столкнулась с агрессией со стороны коммунистического государства-суррогата против страны, по поводу которой Вашингтон заявил, что она находится за пределами оборонного периметра Соединенных Штатов (за год до этого откуда были выведены американские войска). Агрессором явилась Северная Корея, а жертвой — Южная Корея, причем оба эти государства находились максимально далеко от Европы — средоточия американской стратегии, И все же буквально через несколько дней после северокаорейского нападения Трумэн в спешке собирает экспедиционный корпус из числа плохо обученных оккупационных войск, находящихся в Японии, чтобы осуществить стратегию «местной обороны», которая никогда не предусматривалась американской системой военного планирования и не представлялась Конгрессу в процессе слушаний. Американская послевоенная политическая и стратегическая доктрина просто проигнорировала возможность подобного рода агрессии.

Американские лидеры определили лишь два вероятных случая возникновения войны: неожиданное советское нападение на Соединенные Штаты или вторжение Красной Армии в Западную Европу. «Планы обеспечения национальной безопасности, — свидетельствовал в 1948 году генерал Омар Н. Брэдли, занимавший тогда должность начальника штаба сухопутных сил, — должны рассматривать возможность превращения Соединенных Штатов в объект удара по воздуху и с воздуха в самом начале конфликта. Возможность и практическая осуществимость подобного нападения возрастает день ото дня... Мы [поэтому] вынуждены будем немедленно обезвредить базы, с которых враг в состоянии будет нас атаковать по воздуху. Затем нам надо будет предпринять немедленную контратаку... предпочтительнее по воздуху... Чтобы осуществить контрудар, нужны будут базы, которых у нас сейчас нет. Захват и удержание [тех] баз потребует участия подразделений сухопутных войск»[642].

Брэдли не был в состоянии объяснить, каким образом и почему Советский Союз через три года после опустошительной войны может осуществить подобную стратегию при наличии у Соединенных Штатов атомной монополии и отсутствии, насколько известно, у Советского Союза возможности наносить дальние удары по воздуху.

В поведении Америки не было ничего такого, что позволило бы лицам, принимающим решения в Москве и Пхеньяне, столице Северной Кореи, ожидать со стороны США, когда северокорейские войска перейдут тридцать восьмую параллель, чего-то большего, чем дипломатический протест. Они, должно быть, оказались столь же удивлены, как и Саддам Хуссейн, когда Америка от политики умиротворения в 80-х перешла к политике активной вовлеченности в дела Персидского залива в 90-е. Коммунисты в Москве и Пхеньяне приняли за чистую монету заявления ведущих американских политических деятелей о вынесении Кореи за пределы периметра американской обороны. Они предполагали, что Америка не будет сопротивляться коммунистическому захвату половины Кореи после того, как она смирилась с победой коммунистов в Китае, который был гораздо более лакомым куском. Они явно не поняли, что многочисленные американские декларации, объявлявшие моральным долгом противостояние коммунистической агрессии, были для лидеров, принимающих в Америке политические решения, куда весомей, чем стратегический анализ. Таким образом, Корейская война явилась следствием двойного недоразумения: коммунисты, проводя политический анализ с точки зрения американских интересов, не сочли вероятным, что Америка будет сопротивляться на оконечности полуострова, уже отдав большую часть азиатского материка коммунистам; а Америка, восприняв вызов с точки зрения принципа, меньше всего интересовалась геополитической важностью Кореи. Главным для американских руководителей оказалось пресечь коммунистическую агрессию.

Смелое решение Трумэна выступить в защиту Кореи было прямо противоположно тому, что американские руководители провозглашали еще гол назад. В марте 1949 года генерал Дуэглэс Мэкартур, командующий американскими войсками на Тихом океане, в нижеследующем газетном интервью четко поместил Корею за пределы оборонного периметра Америки:

«...Наша линия обороны идет по цепи островов, окаймляющих азиатское побережье. Она начинается на Филиппинах и продолжается через архипелаг Рюкю, включая в себя его главный бастион Окинаву. Затем она изгибается и идет через Японию и цепь Алеутских островов к Аляске»[643].

В речи в Национальном пресс-клубе 12 января 1950 года государственный секретарь Дин Ачесон зашел еще дальше. Он не только подтвердил вывод Кореи за пределы

американского оборонного периметра, но и конкретно отказался от каких бы то ни было намерений давать гарантии территориям, находящимся непосредственно на азиатском материке:

«Что же касается военной безопасности прочих территорий в Тихоокеанском бассейне, то должно быть ясно, что ни одно лицо не может гарантировать этим территориям защиту от военного нападения. Но одновременно должно быть ясно, что такая гарантия вряд ли разумна и осмысленна в рамках практических взаимоотношений»[644].

В 1949 году президент Трумэн, действуя по рекомендации Объединенного комитета начальников штабов, вывел все американские вооруженные силы из Кореи. Южнокорейская армия была обучена и вооружена в основном для выполнения обычных полицейских функций, поскольку Вашингтон опасался, что Южная Корея, если ей представится хоть малейшая возможность, может поддаться искушению объединить страну силой.

В мемуарах Хрущева утверждается, будто бы вторжение в Корею явилось детищем северокорейского диктатора Ким Ир Сена. Сталин поначалу был настороже, но якобы согласился с этим планом, потому что позволил убедить себя в том, будто это предприятие легко осуществимо[645]. Как Москва, так и Пхеньян не поняли роли моральных ценностей в американском подходе к вопросам внешней политики. Когда Макартур и Ачесон рассуждали об американской стратегии, они думали о войне всеобщего характера с Советским Союзом — единственной войне, постоянно занимавшей умы американских лидеров. В подобной войне Корея, конечно, находилась бы за пределами американского оборонного периметра, и решающие сражения разыгрались бы в других местах.

Американские лидеры просто никогда не думали о том, как реагировать на агрессию, ограниченную Кореей или любым подобным районом. Ну, а столкнувшись с этой ситуацией лицом к лицу вскоре после блокады Берлина, переворота в Чехословакии и коммунистической победы в Китае, они расценили случившееся как доказательство того, что коммунизм находится на марше и должен быть остановлен в большей степени из принципа, чем вследствие какой-либо военной стратегии.

Решение Трумэна выступить в защиту Кореи имело под собой в качестве солидного основания также и традиционную концепцию национальных интересов. Встав на путь

экспансии, коммунизм наращивал вызов с каждым послевоенным годом. Коммунизм почувствовал себя уверенно в Восточной Европе в 1945 году благодаря оккупационному присутствию Красной Армии. Он одержал победу в Чехословакии вследствие внутреннего заговора в 1948 году. Он распространился на Китай в 1949 году в результате гражданской войны. Стало ясно: если коммунистические армии теперь в состоянии будут переходить через международно признанные границы, то мир вернется к состоянию довоенного времени. Поколение, бывшее свидетелем Мюнхена, не могло не отреагировать. Успех вторжения в Корею имел бы катастрофические последствия для Японии. Япония, отделенная от Кореи лишь узким Японским морем, всегда считала последнюю ключевой в стратегическом отношении территорией в Северо-Восточной Азии. Ничем не сдерживаемый коммунистический контроль вызвал бы к жизни призрак маячащего на горизонте общеазиатского монолитного коммунистического монстра и подорвал бы прозападную ориентацию Японии.

Мало было столь трудных решений, как эта импровизированная военная акция, которая никогда не предусматривалась. И все же Трумэну эта задача оказалась по плечу. Уже 27 июня, через два дня после пересечения северокорейскими войсками тридцать восьмой параллели, он приказал американским военно-воздушным и военно-морским силам начать военные действия. А 30 июня он уже направил в бой сухопутные силы, до того несшие оккупационную службу в Японии.

Советская неуступчивость помогла Трумэну вовлечь свою страну в войну. Советский посол в Организации Объединенных Наций в течение многих месяцев бойкотировал заседания Совета Безопасности и других органов ООН в знак протеста против отказа всемирной организации предоставить должные полномочия Пекину. Если бы советский посол меньше страшился Сталина или оказался в состоянии быстрее получить инструкции, он бы обязательно наложил вето на резолюцию Совета Безопасности, предложенную Соединенными Штатами и требующую от Северной Кореи прекратить боевые действия и отойти за тридцать восьмую параллель. Ввиду отсутствия на заседании и, следовательно, неспособности наложить вето, советский посол дал возможность Трумэну организовать сопротивление как решение мирового сообщества и оправдать американскую роль в Корее посредством знакомой вильсонской терминологии, где свобода противопоставлялась диктатуре, а добро

— злу. Америка, заявлял Трумэн, идет на войну, чтобы выполнить распоряжения Совета Безопасности[646]. Она, таким образом, вовсе не вмешивалась в отдаленный локальный конфликт, но выступала против нападения на свободный мир в целом:

«Нападение на Корею делает, вне всякого сомнения, ясным, что коммунизм уже миновал стадию подрывных действий для завоевания независимых наций и теперь перешел к вооруженному вторжению и войне. Он пренебрег решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятым в целях сохранения международного мира и обеспечения безопасности»[647].

Хотя у Трумэна были в наличии убедительные геополитические аргументы в пользу вмешательства в Корею, он обратился к американскому народу, апеллируя к его коренным ценностям, и обрисовывал интервенцию, как защиту универсальных принципов, а не американских национальных интересов: «Возвращение к господству силы в международных делах имело бы далеко идущие последствия. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать господство права»[648]. Что Америка защищает принципы, а не интересы, право, а не силу, стало чуть ли не священным тезисом национального мышления при вовлечении своих вооруженных сил. Эту убежденность американцы пронесли через две мировые войны и через эскалацию войны во Вьетнаме в 1965 году, вплоть до боевых действий в Персидском заливе в 1991 году.

Как только вопрос был поставлен как выходящий за рамки силовой политики, стало исключительно трудно определять практические цели ведущейся кампании. В войне общего характера, которую и предусматривала американская стратегическая доктрина, речь шла о тотальной победе и безоговорочной капитуляции противника, как это было во второй мировой войне. Но какова политическая цель ограниченной войны? Та, что соответствует букве резолюции Совета Безопасности: вытеснить северокорейские войска на первоначальные позиции вдоль тридцать восьмой параллели? Но если не будет возмездия за агрессию, то как отбить охоту у будущих агрессоров? Если потенциальные агрессоры поймут, что им, самое худшее, угрожает лишь восстановление предвоенного статус-кво, политика «сдерживания» превратится в бесконечную последовательность ограниченных войн, ослабляющих силы Америки, как это и предсказывал Липпман.

С другой стороны, какого рода возмездие сопоставимо с ограниченным характером

войны? Стратегия ограниченной войны, в которую прямо или косвенно вовлечены сверхдержавы, имеет своей неотъемлемой частью физическую возможность любой из них поднимать ставки; и именно это придает им статус сверхдержав. Следовательно, встает вопрос равновесия. И преимущество окажется на той стороне, которая сумеет убедить другую, что готова принять на себя больший риск. В Европе Сталин, вопреки любому рациональному анализу соотношения сил, сумел, блефуя, убедить демократии в том, что его готовность подойти к самому краю (и переступить его) превосходит их готовность. В Азии коммунистическая сторона получила подкрепление в виде нависшей угрозы со стороны Китая, который только что был захвачен коммунистами и мог потенциально поднять ставки в игре, даже не вовлекая напрямую Советский Союз. Демократические страны, таким образом, в большей степени, чем их оппоненты, опасались эскалации,— или, по крайней мере, сами демократии верили в это.

Еще один фактор, оказывавший «сдерживающее» влияние на американскую политику, был связан с приверженностью к многостороннему подходу посредством Организации Объединенных Наций. В начале Корейской войны Соединенные Штаты получили широчайшую поддержку со стороны стран НАТО, например, Великобритании и Турции, которые послали в Корею значительные войсковые контингенты. Хотя сама судьба Кореи была этим странам безразлична, они поддержали принцип коллективных действий, который позднее мог бы найти применение в их собственной обороне. Но коль скоро цель была достигнута, большинство Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не испытывало особого рвения брать на себя дополнительный риск, связанный с осуществлением возмездия. Таким образом, Америка оказалась вовлеченной в ограниченную войну, доктрина которой отсутствовала, и обороняла отдаленную страну, не представлявшую для нее, согласно ее же заявлению, стратегического интереса. Попав в двусмысленное положение, Америка не преследовала каких-либо национальных стратегических интересов на Корейском полуострове; принципиальной целью ее вмешательства было продемонстрировать, что существует возмездие за агрессию. Чтобы заставить Северную Корею заплатить эту цену, не опасаясь развязывания более широкомасштабной войны, Америка должна была убедить страны, способные на эскалацию, особенно Советский Союз и Китай, что

американские цели были и на самом деле ограниченными.

К сожалению, теория «сдерживания», во имя которой Америка оказалась вовлечена в этот конфликт, вызвала к жизни искушение совершенно противоположного характера: она побудила Трумэна и его коллег расширить политическое поле боя. Все без исключения ключевые фигуры трумэновской администрации поверили в то, что имеет место осуществление коммунистического плана глобального характера, и сочли агрессию в Корее первым шагом согласованной китайско-советской стратегии, который вполне мог быть прелюдией к всеобщему натиску. В Корее американские войска стали искать способ воплотить в жизнь решимость Америки противостоять коммунистической агрессии во всем бассейне Тихого океана. Одновременно с объявлением об отправке войск в Корею Седьмому флоту был отдан приказ защищать Тайвань от коммунистического Китая: «Оккупация Формозы коммунистическими силами означала бы прямую угрозу безопасности Тихоокеанского региона и силам Соединенных Штатов, выполняющим в этом регионе законную и необходимую функцию»[649]. Более того, Трумэн увеличил военную помощь французским вооруженным силам, противостоящим возглавляемому коммунистами движению за независимость Вьетнама. (Правительственные решения зачастую мотивируются более чем одним доводом; с точки зрения Трумэна, эти действия имели то дополнительное преимущество, что привлекали на его сторону так называемое «китайское лобби» в сенате Соединенных Штатов, который в высшей степени критически отнесся к «оставлению на произвол судьбы» американской администрацией континентального Китая.)

Для Мао Цзедуна, только что восторжествовавшего в китайской гражданской войне, заявления Трумэна выглядели, как зеркальное отражение страха Америки перед коммунистическим заговором; он воспринял их, как дебютный ход в американской попытке переиграть закончившуюся победой коммунистов китайскую гражданскую войну. Защищая Тайвань, Трумэн поддерживал его руководство, которое Америка в то время признавала как законное китайское правительство. Расширенная программа помощи Вьетнаму воспринималась Пекином как капиталистическое окружение. Все это, вместе взятое, давало Пекину стимул совершать противоположное тому, что Америка сочла бы желательным: Мао имел все основания сделать вывод, что если он не остановит Америку в Корее, то, возможно, вынужден будет сражаться с Америкой

на китайской территории; как минимум,, он не имел оснований думать иначе. «Американские империалисты лелеют надежду, — писала „Женьминьжибао", — что их вооруженная агрессия против Тайваня не позволит нам его освободить. В частности, их планы создания блокады вокруг Китая напоминают растянувшегося змея. Начиная от Южной Кореи, он тянет свое тело через Японию, острова Рюкю, Тайвань, а также Филиппины, а потом забрасывает себя во Вьетнам»[650].

Так американская военная стратегия столкнулась с ложной интерпретацией Китаем намерений Америки. Как уже отмечалось ранее, американские руководители традиционно рассматривали дипломатию и стратегию, как два разных вида деятельности. Согласно общепринятым среди американских военных взглядам, они вначале добиваются завершения войны, а потом дело берут в свои руки дипломаты; никто из них не говорит другому, как добиваться своих целей. А в ограниченной войне, где с самого начала не синхронизированы военные и политические цели, всегда присутствует опасность сделать слишком много или слишком мало. Если делается слишком много и военный элемент становится преобладающим, стирается грань, отделяющая ограниченную войну от всеобщей, и это побуждает противника повышать ставки. Если делается слишком мало и господствовать предоставляется дипломатической стороне, то появляется риск утопить цели войны в переговорной тактике и искушение произвести урегулирование в форме пата.

В Корее Америка угодила в обе эти ловушки. На ранних этапах войны американские экспедиционные силы сосредоточились по периметру вокруг портового города Пусана на самой южной оконечности полуострова. Главной задачей было выстоять; а взаимоотношения между войной и дипломатией были чужды мышлению американских лидеров. Командующим являлся Дуглас Макартур, самый талантливый американский генерал нынешнего столетия. В отличие от большинства своих коллег, Макартур вовсе не был сторонником широко распространенной американской стратегии войны на измор. Во время второй мировой войны, несмотря на приоритет, отдаваемый европейскому театру военных действий, Макартур разработал стратегию «островных прыжков», благодаря которой обходились японские укрепленные точки и концентрировались усилия на взятии слабо защищенных островов, что позволило за два года американским силам продвинуться от Австралии до Филиппин. Макартур теперь применил ту же самую стратегию в Корее. Вопреки совету более

ортодоксально мыслящих начальников в Вашингтоне, он высадил американские войска в Инчоне (порте Сеула), в тылу противника на расстоянии двухсот миль от передовой, перерезав линии снабжения северокорейцев из Пхеньяна. Северокорейская армия развалилась, и дорога на север оказалась открыта.

Эта победа повлекла за собой самое роковое решение за всю Корейскую войну. Если бы Америка собиралась соотнести военные цели с политическими задачами, настало самое время для этого. У Трумэна были три варианта выбора. Он мог отдать приказ остановиться на тридцать восьмой параллели и восстановить довоенный статус-кво. Он мог разрешить продвижение далее на север, чтобы осуществить возмездие за агрессию. Он мог дать указания Макартуру объединить Корею вплоть до китайской границы; иными словами, позволить подчинить исход войны сугубо военным соображениям. Наилучшим решением было бы продвинуться до самой узкой части Корейского полуострова, то есть остановиться в ста милях от китайской границы. Этот рубеж стал бы оборонительной линией, за которой находилось бы 90% населения полуострова, включая столицу Северной Кореи Пхеньян. И был бы достигнут гигантский политический результат без опасения бросить вызов Китаю.

Хотя Макартур был блестящим стратегом, он был менее проницателен в вопросах политического анализа. Забыв о наличии у Китая исторической памяти по поводу японской агрессии в Маньчжурии, шедшей тем же путем через Корею, Макартур распорядился продвигаться до самой китайской границы по реке Ялу. Слепленный неожиданным успехом командующего под Инчоном, Трумэн с этим смирился. Не выбрав среднего решения между восстановлением довоенного статус-кво и тотальной победой, Трумэн пренебрег географической и демографической выгодой рубежа по самой узкой части Корейского полуострова. Он отказался от стомильной оборонительной линии на значительном расстоянии от китайской границы ради необходимости защищать четырехсотмильный фронт в непосредственной близости от мест основного сосредоточения китайских коммунистических сил.

Для Китая, по-видимому, было нелегким решением бросить вызов крупнейшей военной державе мира после страданий, опустошений и людских потерь, порожденных японским вторжением и ожесточенной гражданской войной. Пока не будут открыты китайские архивы, не станет ясно, вмешался бы Мао Цзедун, если бы американские силы просто перешли тридцать восьмую параллель, независимо от

того, насколько незначительно они бы продвинулись на север и насколько далеко туда он бы позволил им пройти. Но искусство политики заключается в том, что надо уметь рассчитывать риски и выгоды, которые бы опрокидывали расчеты противника. Одним из способов повлиять на китайское решение о вмешательстве было бы остановиться в самом узком месте корейского полуострова и предложить демилитаризировать остальную часть страны под каким-либо международным контролем.

Вашингтон уже мыслил в этом направлении, когда приказал Макартуру не выходить к реке Ялу некорейскими силами. Но приказ не породил политического предложения Пекину и даже не был доведен до сведения общественности. Во всяком случае, Макартур пренебрег директивой, сочтя ее «непрактичной». А Вашингтон, верный традиции не поправлять полевого командира, не настаивал. Макартур добился до такой степени неожиданного успеха под Инчоном, что американские политические лидеры были более чем наполовину убеждены, что он понимал Азию лучше, чем они.

И когда ударила китайская Народная армия, то шок от неожиданности привел к почти паническому отступлению американских войск от Ялу до рубежей к югу от Сеула, города, который был оставлен вторично за шесть месяцев. В отсутствие доктрины ограниченной войны этот кризис вызвал у Трумэновской администрации потерю контроля над политическими целями войны. В зависимости от переменчивости военной ситуации они определялись как прекращение агрессии, объединение Кореи, обеспечение безопасности войск Организации Объединенных Наций, гарантирование прекращения огня по линии тридцать восьмой параллели и предотвращения расширения масштабов войны.

Когда американские наземные войска вступили в бой в начале июля 1950 года, целью их применения было объявлено «отражение агрессии», хотя этому термину так и не было придано конкретного значения. После высадки в Инчоне в сентябре и развала северокорейской армии, цель стала именоваться «объединением». Трумэн провозгласил это 17 октября 1950 года, но не выдвинул политической схемы взаимоотношений с Китаем. Заявления Трумэна для Пекина не выходили за рамки сакраментальных заверений относительно доброй воли, что и требовалось Мао. «Единственной целью нашего пребывания в Корее, — заявлял Трумэн, отдавая приказ двигаться на север, — является установление мира и обеспечение независимости. Наши войска останутся там лишь на тот срок, который потребуется Организации

Объединенных Наций для этих целей. Мы не ищем территориальных приобретений или иных особых привилегий как в Корее, так и где бы то ни было. У нас нет агрессивных планов в отношении Кореи или иного места на Дальнем Востоке, равно как и где бы то ни было»[651].

Мао был не в состоянии положиться на заверения со стороны своего основного капиталистического противника, который в данный момент защищал его смертельных врагов на Тайване. Трумэн также не определил конкретно, что понимается под «агрессивными планами», которые он публично отвергал, и не устанавливал предельных сроков вывода американских войск из Северной Кореи. Единственно, что могло бы удержать Мао от вмешательства, если вообще такое было возможно, — это выдвижение предложения об установлении какого-либо рода буферной зоны вдоль китайской границы. Таких попыток вообще не было предпринято.

В течение последующих нескольких месяцев американские войска показали, на какой огромный риск пошли китайские руководители. Их первоначальные победы на реке Ялу были связаны с фактором неожиданности и разбросом американских сил вдоль линии фронта. Вскоре стало очевидным, что китайская армия не обладает достаточной огневой мощью, чтобы выбить американские войска из оборонительных позиций, и что в отсутствие внезапности они не в состоянии прорвать заранее подготовленные линии обороны, — к примеру, поперек самого узкого участка полуострова. И как только американские силы произвели перегруппировку, обнаружилось, что на данном этапе китайского военного строительства огневая мощь их значительно превосходит китайскую.

Стоило Китаю вступить в войну, как Америка вновь произвела смену целей боевых действий — буквально в течение нескольких дней. 26 ноября 1950 года китайцы начали контрнаступление; 30 ноября Трумэн обнародовал заявление, где уже не считал объединение Кореи целью войны и относил решение этого вопроса на «более позднее время путем переговоров». И опять основной задачей Америки стала неопределенная формула «пресечения агрессии»:

«Вооруженные силы Организации Объединенных Наций находятся в Корее для того, чтобы покончить с агрессией, угрожающей не только структуре Организации Объединенных Наций, но и всем надеждам человечества на мир и справедливость. Если Организация Объединенных Наций уступит силам агрессии, ни одна из наций не

сможет чувствовать себя спокойно и в безопасности»[652].

В начале января 1951 года линия фронта проходила примерно в пятидесяти милях южнее тридцать восьмой параллели, и Сеул вновь оказался в руках коммунистов. В этот момент китайцы повторили ошибку Макартура трехмесячной давности. Если бы они предложили урегулирование по линии тридцать восьмой параллели, Вашингтон бы, безусловно, согласился, а Китай прославился бы тем, что победил армию Соединенных Штатов всего лишь через год после победы в собственной гражданской войне. Но, как и Трумэн шесть месяцев назад, Мао увлекся неожиданными успехами и вознамерился вообще удалить американские силы с полуострова. Но тут их ожидала крупная неудача. Китайцы стали нести сокрушительные потери, как только атаковали укрепленные американские позиции к югу от Сеула.

В апреле 1951 года произошел очередной перелом в ходе военных действий, и американские войска во второй раз перешли тридцать восьмую параллель. Но, как выяснилось, боевые действия оказались не единственным аспектом этой войны. Ибо трумэновская администрация была до такой степени травмирована самим фактом китайского вмешательства, что главной ее целью стало избегать риска.

Однако произведенный в Вашингтоне расчет факторов риска был основан на ряде ложных предположений. Америка сочла — как это будет десятилетием позже применительно к Вьетнаму, — что она имеет дело с централизованно руководимым коммунистическим заговором в целях захвата всего мира. И если выстрелы звучат по заказу из Москвы, то это означает, что ни Китай, ни Корея не вступили бы в войну, если бы не были уверены в советской поддержке. Кремль, как убедил себя Вашингтон, не смирится с поражением; он будет поднимать планку после каждой неудачи своих верных слуг. И, нацеливаясь на ограниченную победу, Америка может тем самым вызвать войну всеобщего характера с Советским Союзом.

Коммунистический блок заплатит любую цену, лишь бы не проиграть.

Реальность не имела с этими умозаключениями ничего общего. Сталин согласился на северокорейское нападение лишь тогда, когда Ким Ир Сен заверил его, что риск войны минимален. А если Сталин и склонил китайцев к вмешательству, то скорее всего лишь для того, чтобы увеличить зависимость Китая от Советского Союза. Настоящие фанатики этого дела сидели в Пекине и Пхеньяне; Корейская война вовсе не была кремлевским заговором, затеянным, чтобы выманить Америку в Азию, а

затем атаковать Европу. Противовесом советскому нападению на Европу являлось Стратегическое командование военно-воздушных сил, которое не было задействовано в Корее. Советский Союз имел весьма малые ударные ядерные силы — если имел. С учетом неравенства ядерной мощи Сталин терял в случае войны всеобщего характера несравненно больше, чем Соединенные Штаты. И независимо от неравенства в размерах сухопутных сил в Европе Сталин никогда не рискнул бы пойти на войну с Соединенными Штатами из-за Кореи. Да и на помощь Китаю Сталин шел неохотно и требовал за нее расчета в наличных, что и заложило основу для китайско-советского разрыва.

Американские лидеры полагали, что осознали опасность эскалации, но так и не сумели понять всю опасность патовых ситуаций на будущее. «Мы воюем, чтобы отразить ничем не прикрытую агрессию в Корее. — заявил Трумэн в апреле 1951 года. — При этом стараемся не допустить распространения корейского конфликта на другие районы. Однако в то же время военные действия необходимо вести таким образом, чтобы обеспечить безопасность наших вооруженных сил. Это существенно важно, поскольку они собираются продолжать войну до тех пор, пока враг не откажется от безжалостных попыток уничтожить Корейскую Республику»[653].

Но вести войну ради «безопасности наших вооруженных сил» стратегически бесцельно. Поскольку война сама по себе уже представляет собой риск для их безопасности, превращать «безопасность наших вооруженных сил» в самоцель — значит находиться в плену тавтологии. Поскольку Трумэн не придумал иной цели войны, кроме как вынудить врага отказаться от своих попыток, то есть, иными словами, в самом лучшем случае, добиться предвоенного статус-кво, порожденное этим разочарование ляжет в основу давления в пользу победы. Макартур не рассматривал бы «вечный шах» в качестве осмысленной цели. Он настоятельно и красноречиво утверждал, что опасность эскалации заложена уже в самом решении прибегнуть к военному вмешательству и что ее нельзя уменьшить посредством сдержанности при проведении военных операций. И по правде говоря, продолжение войны лишь увеличит подобные риски. Давая свидетельские показания в 1951 году, Макартур подчеркивал: «У вас на плечах сидит война, и вы не можете просто сказать: „Пусть эта война продолжается до бесконечности, а я буду готовиться к какой-нибудь другой войне...“»[654] И поскольку Макартур не соглашался с точкой зрения

администрации относительно того, что корейскую войну будто бы следует вести таким образом, чтобы не давать Советам повода развернуть широкомасштабное нападение, то он защищал стратегию разгрома китайских армий, по крайней мере в Корее.

В состав предложений Макартура входил «ультиматум, требующий, чтобы либо он [Китай] в течение разумного срока явился на переговоры и согласовал условия прекращения огня, либо его действия в Корее будут считаться объявлением войны нациям, там присутствующим, и тогда эти нации предпримут такие шаги, какие сочтут нужными, чтобы довести дело до завершения»[655]. Макартур то и дело требовал бомбить базы в Маньчжурии, объявить блокаду Китаю, усилить американские войска в Корее и перебросить силы националистического Китая с Тайваня в Корею, причем основывался на том, что все это является «нормальным способом» «обеспечить справедливый и почетный мир в кратчайший возможный срок с минимальной потерей человеческих жизней путем использования всего вашего потенциала»[656].

Ряд рекомендаций Макартура выходил далеко за пределы полномочий командующего театром военных действий. К примеру, введение в Корею сил националистического Китая было бы равносильно объявлению войны всеобщего характера против Китайской Народной Республики. И если бы китайская гражданская война была перенесена на корейскую почву, ни одна из китайских сторон не согласилась бы на ее окончание, не одержав решительной победы; и Америка оказалась бы в эпицентре бесконечного конфликта.

И все же основополагающим стал не вопрос адекватности конкретных рекомендаций Макартура, а выставленное им требование ключевого характера: существует ли выбор между патовой ситуацией и войной всеобщего свойства? 11 апреля 1951 года, когда Трумэн сместил Макартура, дебаты разгорелись в открытую. Как всегда решительный, Трумэн не мог позволить себе ничего иного, кроме как сместить командующего, выказавшего публичное неповиновение. Но он также тем самым предпочел стратегию, оставлявшую инициативу в руках противника. Ибо, делая соответствующее заявление, Трумэн опять скорректировал формулировку стоящих перед Америкой целей. Впервые «отражение агрессии» определялось как достижение урегулирования по существующей линии прекращения огня, где бы она

ни пролегал, — причем это создавало дополнительный повод для китайцев интенсифицировать военные усилия для обеспечения себе наилучшей из возможных линий:

«Реальный мир может быть достигнут посредством урегулирования на основе следующих факторов.

Первый: боевые действия должны прекратиться.

Второй: должны быть предприняты конкретные шаги для того, чтобы обеспечить невозобновление боевых действий.

Третий: агрессии должен быть положен конец»[657].

Объединение Кореи, которого шесть месяцев назад Соединенные Штаты пытались добиться силой оружия, откладывалось на будущее: «Урегулирование, основанное на данных составляющих факторах, открыло бы путь к объединению Кореи и выводу всех иностранных вооруженных сил»[658].

Макартура встречали как героя, и он принял участие в серии широко освещавшихся слушаний в сенате. Макартур строил свою защиту на анализе, по его выражению, традиционных взаимоотношений между внешней политикой и военной стратегией:

«Определением общего характера, бывшим в ходу в течение многих десятилетий, являлась фраза: „Война есть конечное средство политики“, то есть, если исчерпаны все прочие политические средства, вы обращаетесь к применению силы, а когда это сделано, возникает вопрос сбалансированного контроля, сбалансированности концепций, учета и анализа основополагающих интересов, но в ту минуту, когда начнется уничтожение противника, контроль перейдет в руки военных...

Я безоговорочно заявляю, что, когда люди вступают в схватку, не может быть никаких искусственных решений во имя политики, которые ставили бы ваших собственных людей в невыгодное положение, уменьшали бы их шансы на победу и увеличивали бы потери среди них»[659].

Макартур был прав, когда выступал против взаимного выжидания как национальной политики. Он, однако, сделал политические ограничения неизбежными, выступив против постановки каких бы то ни было политических целей, даже таких, какие требуются для поддержания победы в местном масштабе. Если дипломатия исключалась бы из определения целей войны, то любой конфликт автоматически превращался бы во всеобщую войну, независимо от ставок и рисков, что является

далеко не последним соображением в век ядерного оружия.

Администрация Трумэна тем не менее пошла еще дальше. Она не только отвергла рекомендации Макартура, но настаивала на том, что альтернативы стратегической паузе не существует. Генерал Брэдли, ставший председателем Объединенного комитета начальников штабов, определил три варианта хода военных действий:

«Либо мы уходим и бросаем Южную Корею на произвол судьбы, либо пытаемся вести бой в общем и целом там, где мы сейчас находимся, не вовлекая в сражение слишком большие силы, либо переходим к войне всеобщего характера и вводим в действие силы, достаточные для того, чтобы выбить всю эту публику из Кореи. В настоящее время мы действуем по второму варианту»[660].

В практике американской системы управления документы многовариантного характера, как правило, из трех версий в качестве предпочтительной рекомендуют среднюю. А поскольку внешнеполитические учреждения имеют тенденцию раскладывать пасьянсы из своих рекомендаций в пространстве между ничегонеделанием и всеобщей войной, опытные бюрократы знают, что моральный уровень их подчиненных резко повышается, когда они избирают средний путь. Именно это и имело место с тремя вариантами Брэдли, хотя фраза «вести бой в общем и целом... не вовлекая в сражение слишком большие силы» просто отражает дилемму политики, не имеющей четко очерченных задач.

Дин Ачесон подтвердил на языке дипломатии, что целью Америки в Корею и на самом деле является поддержание состояния бездействия. Задачей Америки в Корею было «покончить с агрессией, обеспечить невозможность ее повторения и восстановить мир»[661]. Не дав определения ни одному из этих терминов, Ачесон переходит к сомнениям в эффективности мер, предложенных Макартуром: «В отношении сомнительных преимуществ переноса войны в первоначально ограниченной манере на территорию материкового Китая, — заявляет государственный секретарь, — следует взвесить меру риска войны общего характера с Китаем, риска советского вмешательства и третьей мировой войны, а также возможных последствий для солидарности внутри коалиции стран свободного мира»; ибо «затруднительно представить себе, как Советский Союз сможет проигнорировать прямую атаку на материковую территорию Китая»[662].

Если Соединенные Штаты не осмеливались победить, но не могли позволить себе

проиграть, то какой оставался конкретный выбор? И если общие заявления перевести на язык фактов, то речь шла о застойном бездействии на поле боя и, соответственно, за столом переговоров. В своих мемуарах Трумэн так сводит воедино точки зрения всех своих подчиненных — как военных, так и гражданских лиц:

«Каждое из принимавшихся мной решений в связи с корейским конфликтом имело под собой одну осознанную цель: не допустить третьей мировой войны и ужасающих разрушений, которые она бы могла принести цивилизованному миру. Это означало, что мы обязаны были не предпринимать ничего, что создало бы оправдание для Советов и ввергло бы свободные нации в полномасштабную всеобщую войну»[663].

Вера в то, что Советский Союз готов сделать выбор в пользу всеобщей войны, доказывает, до какой степени было утеряно представление об истинном соотношении сил. Сталин вовсе не искал предлога, чтобы начать всеобщую войну; он более всего стремился ее избежать. Если бы он жаждал конфронтации, то было более чем достаточно поводов для этого в Европе или в тех военных действиях, которые уже велись в Корее. И неудивительно то, что ни на одном из этапов войны Советский Союз не угрожал вмешательством или действиями военного характера. В осторожной и подозрительной натуре Сталина не было ничего от отчаянного авантюриста; он всегда предпочитал действовать втихомолку и обходным путем, а не идти на фактическую конфронтацию, и проявлял особую осмотрительность, чтобы не пришлось идти на риск военного столкновения с Соединенными Штатами, и не без причины. С учетом несопоставимости ядерных возможностей обеих сторон, именно Советский Союз во всеобщей войне терял все.

Потрясающе, но все свидетели со стороны администрации подчеркивали прямо противоположную точку зрения. Маршалл утверждал, что Соединенным Штатам потребуется еще два или три года, чтобы быть готовыми ко всеобщей войне[664]. Брэдли считал, что «мы находимся не в наилучшем положении, чтобы встретить лицом к лицу глобальную войну»[665]. Отсюда его знаменитое изречение, что схватка всеобщего характера по поводу Кореи «вовлечет нас не в ту войну, не в том месте, не в то время и не с тем противником»[666]. Ачесон также полагал, что требуется больше времени, чтобы «создать эффективные силы противодействия»[667].

Почему, в свете наращивания Советским Союзом ядерных возможностей, американские лидеры могли думать, будто значение их сил противодействия возрастет

по прошествии времени? Это можно объяснить лишь одним из странных предположений, легших в основу теории «сдерживания». А именно — будто Америка слаба, хотя на самом деле она в то время обладала атомной монополией, и что ее «позиция силы» может быть улучшена, хотя в это время Советский Союз наращивал свой ядерный арсенал. Сталин преуспел в том, что не дал Соединенным Штатам возможности попытаться достигнуть ограниченной победы в Корее, сделав капитал на их гипнозе самовнушения и не совершив ничего, конкретно угрожающего.

После вмешательства китайцев Америка более не ставила всерьез вопрос о возможностях достижения ограниченной победы. Деятельность администрации Трумэна основывалась на аксиоме, что добиться чего-то большего, чем воздерживания от военных действий, либо невозможно, либо чревато всеобщей войной. На деле это не исчерпывало диапазона имевшихся вариантов.

Промежуточный курс, подобный тому, что я рассматривал ранее, а именно — установление разграничительной линии по самому узкому месту полуострова при демилитаризации всей остальной части страны под международным наблюдением, мог бы быть реализован, а если бы противник его отверг — и навязан в одностороннем порядке. У Китая, вероятно, не было возможностей предотвратить это, как полагал и преемник Макартура генерал Мэтью Риджуэй, но от рекомендаций подобного рода он, однако, воздерживался[668].

Макартур почти наверняка был прав, когда утверждал, что «Китай использует против нас максимум своих сил»[669]. Что же касается Советского Союза, то ему предстояло бы решать, оправдывает ли себя в свете американского ядерного превосходства и советской экономической слабости американское продвижение на сравнительно короткое расстояние от тридцать восьмой параллели до сужения полуострова риск войны всеобщего характера. Конечно, Китай бы с этим не смирился, но он бы и не воевал, а лишь сохранял бы угрожающую позу, как только такая линия была бы установлена. Но эта ситуация не слишком бы отличалась от той, которая в итоге сложилась вокруг тридцать восьмой параллели. Китай наверняка прекратил бы свои угрозы, почувствовав страх перед советской агрессией, и тогда его шаги в направлении Соединенных Штатов были бы закономерны. Если первый же коммунистический вызов Соединенным Штатам закончился бы явной неудачей, то прочие воинственные силы повели бы себя с гораздо большей осторожностью в таких

районах, как Индокитай. А разрыв между Китаем и Советским Союзом произошел бы гораздо быстрее.

Весной 1951 года новое американское наступление под командованием генерала Риджуэя пробивало себе путь на север при помощи традиционной американской тактики брать противника измором. Был освобожден Сеул, пересечена тридцать восьмая параллель, как вдруг в июне 1951 года коммунисты предложили переговоры о перемирии. Тогда Вашингтон приказал прекратить наступательные действия; с этого момента все операции на уровне батальона и выше подлежали утверждению Верховным Главнокомандующим: сделав этот жест, администрация Трумэна полагала, что таким образом она улучшит атмосферу на переговорах, демонстрируя китайцам, что Вашингтон вовсе не нацелен на победу.

Это был классический американский жест. Вследствие убежденности в том, что мир — состояние нормальное, а добрая воля — проявление естественное, американские руководители обычно стремились облегчить переговоры, устраняя элементы, вызывающие трения, и односторонне демонстрируя добрую волю. Но действительно ли односторонние действия на переговорах безоговорочно идут в актив? Обычно дипломаты редко платят за уже оказанные услуги, особенно в военное время. Типичным фактором, вынуждающим к переговорам, является нажим на поле боя. А снятие такого нажима лишает противника стимула вести переговоры всерьез, и его одолевает искушение затягивать переговоры до бесконечности в надежде, не последуют ли новые односторонние жесты.

Именно это и случилось в Корее. Американская сдержанность позволила Китаю прервать процесс, по ходу которого его армия перемалывалась благодаря американскому материально-техническому превосходству. И потому с того момента без особого риска китайцы могли пользоваться военными операциями, чтобы увеличивать потери противника и обострять раздражение американцев, стремящихся поскорее покончить с войной. Во время паузы коммунисты заняли почти неприступные позиции в непроходимой горной местности, постепенно лишая американцев возможности угрожать возобновлением военных действий[670]. Результатом этого стала затянувшаяся война на измор, которая пришла к концу лишь потому, что установилось болезненное равновесие между ограниченными физическими возможностями Китая и психологическими барьерами американцев. И

при этом цена затишья оказалась такова, что число жертв, понесенных Америкой за период переговоров, превысило цифру за предшествующий период полномасштабной войны.

Затишье, к которому стремилась Америка, распространилось как на военный, так и на дипломатический фронт. Воздействие военной паузы на войска красочно описано официальным британским наблюдателем бригадиром А. К. Фергюсоном:

«Мне представляется, что заданная цель пребывания сил ООН в Корее, гласящая: „Отразить агрессию и восстановить мир и безопасность в регионе“, сформулирована слишком неопределенно, чтобы при данных обстоятельствах задать высшему начальствующему лицу на поле боя военную цель, достижение которой приведет военные действия к завершению... Множество британских и американских офицеров и военных разных рангов уже задают вопросы типа: „Когда закончится война в Корее?“, „Когда, по вашему мнению, войска ООН смогут быть выведены из Кореи?“, „Какова цель нашего пребывания в Корее?“ Такие вопросы наводят меня на мысль, что, пока перед британскими и американскими силами в Корее не будет поставлена какая-то конкретная задача, на которой им следует сосредоточиться, командующему полевыми войсками с огромным трудом удастся поддерживать их боевой дух...»[671]

Избрав паузу в боевых действиях, Америка впервые после войны всерьез нарушила консенсус в области внешней политики. Для Макартура и его сторонников Корейская война была сплошным разочарованием, поскольку введенные для нее ограничения гарантировали военно-политический пат. Для администрации Трумэна война в Корее была кошмаром, поскольку она была чересчур крупномасштабна для своих политических целей и слишком мала с точки зрения стратегической доктрины. Макартур настаивал на решительной схватке по поводу Кореи, даже если бы это повлекло за собой войну против Китая, в то время как администрация предпочитала беречь силы Америки на случай отражения советского прорыва в Западную Европу, предусмотренного теорией «сдерживания».

Таким образом, война в Корее отразила как силу, так и ограниченный характер политики «сдерживания». С точки зрения традиционной государственной политики, Корея была испытанием в целях определения разграничительной линии между двумя соперничающими сферами влияния, находившимися тогда в процессе формирования. Но американцы воспринимали этот конфликт совершенно иначе: как столкновение

между добром и злом и как схватку от имени всего свободного мира. Такая интерпретация наполняла действия Америки могучим побудительным мотивом и исключительной самоотдачей. Она также заставляла политику «сдерживания» колебаться между практическим и апокалиптическим. Великие акты созидания, такие, как восстановление Европы и Японии, осуществлялись при наличии серьезнейшего пренебрежения аналитическими тонкостями и исключительной переоценки советских возможностей. Вопросы, которые можно было облечь в моральные или юридические формулы, разрешались хорошо и тщательно; но одновременно проявилась тенденция концентрировать внимание скорее на формуле, чем на той задаче, выполнению которой она была призвана способствовать. Оценивая степень успеха Америки в Корее, Ачесон в меньшей мере интересовался исходом столкновения на поле боя, чем утверждением концепции коллективной безопасности: «Идея коллективной безопасности была подвергнута испытанию и выдержала его. Нации, являющиеся приверженцами коллективной безопасности, показали, что могут держаться вместе и сражаться вместе»[672]. Утверждение принципа коллективной безопасности оказалось гораздо важнее, чем конкретный исход, коль скоро удалось уйти от поражения.

Эти аспекты политики «сдерживания» возложили, по-видимому, непомерное бремя на американский народ, который должен был смириться с тяжелыми потерями, пока его политические руководители стремились проплыть узеньким проходом между сопротивлением агрессии и недопущением войны всеобщего характера, не придавая при этом ни одному из этих понятий оперативного смысла. Последствием подобного подхода было спонтанное разочарование и поиск козлов отпущения. Маршалла и особенно Ачесона поносили на все лады. Якобы имевшее место коммунистическое проникновение в Вашингтон систематически эксплуатировалось демагогами наподобие сенатора Джозефа Маккарти.

Тем не менее наиболее важным аспектом реакции американской общественности на войну в Корее было не недовольство бесконечной войной, но терпеливое ее восприятие. Перед лицом всех разочарований Америка твердо приняла на себя бремя глобальной ответственности в, казалось бы, непрекращающейся борьбе, сопряженной с тяжелыми потерями и не приводящей к определенному исходу. В конце концов Америка добилась цели, но более дорогой ценой и по истечении более

продолжительного срока, чем это было необходимо. Полтора десятилетиями позднее американцы испытают еще более тяжкие душевные страдания по поводу конфликта в Индокитае.

Существует, однако, коренное различие между вызовом Корейской войне внутри страны и болью, позднее испытанной Америкой в связи с Индокитаем. Критики Корейской войны настаивали на победе, в то время как критики Вьетнамской войны проповедовали признание, а иногда и важность поражения. Противоречия, связанные с войной в Корее, давали администрации Трумэна опорную точку на переговорах; Трумэн и его советники могли пользоваться наличием оппозиции у себя в стране, как угрозой против Северной Кореи и Китая, поскольку альтернативой было более энергичное ведение войны. По Индокитаю действительным было обратное. Противники войны, проповедовавшие безоговорочный вывод американских войск из Вьетнама, ослабляли переговорное положение Америки.

Если подводить окончательный итог, все участники военных действий в Корее извлекли для себя поучительный урок. Американские государственные деятели того периода заслуживают того, чтобы их запомнили за ту прозорливость, с которой они направили вооруженные силы в отдаленную страну, объявленную всего за несколько месяцев до этого «несущественной» с точки зрения безопасности Америки. Когда был брошен вызов, они оказались в состоянии полностью изменить свой подход, ибо поняли, что смириться с коммунистической оккупацией Кореи означало бы подорвать американские позиции в Азии, в частности, нанести вред предельно важным для Америки отношениям с Японией.

В начале периода мирового лидерства Америка сдала свой первый экзамен, пусть даже с трудом. И все же американское простодушие было лишь оборотной стороной исключительной способности к самоотдаче, что позволило американцам перенести гибель и увечья 150 тыс. своих сограждан в войне, не приведшей к решительному исходу. Кризис в Корее привел к накоплению сил в Европе и созданию организации Северо-Атлантического пакта, что сделало возможным выдержать долгое испытание на выносливость, явственно предлагаемое «холодной войной». А вот революционным лидерам — в Юго-Восточной Азии и в других местах — Америке пришлось заплатить свою цену, ибо те открыли методику ведения боевых действий, при которой они уклонялись от вовлечения в крупномасштабные наземные сражения и все же

сохраняли способность истощать решимость сверхдержавы.

Урок для Китая оказался более болезненным. Несмотря на свою явную материальную слабость, Китай умудрился добиться военной паузы в схватке со сверхдержавой благодаря комбинации дипломатических и военных маневров. Но он также узнал, чего стоит фронтальная схватка с американской военной машиной. За весь период «холодной войны» больше не будет китайско-американских военных столкновений. А неохотная и скудная поддержка Пекина Советским Союзом посеяла семена китайско-советского разрыва.

Самым крупным проигрышем Корея оказалась для Советского Союза, страны, которая, как думали американские руководители, будто бы и организовала все это мероприятие. В течение двух лет с момента вторжения в Корею Америка сумела привлечь на свою сторону все страны, находившиеся за всемирной демаркационной линией. Соединенные Штаты утроили оборонные расходы и преобразовали Атлантический союз из политической коалиции в единую военную организацию, во главе которой встал американский командующий. На горизонте замаячила возможность перевооружения Германии, и была сделана попытка создать европейскую армию. Вакуум, существовавший перед фронтом советских войск в Центральной Европе, оказался заполнен. Пусть даже можно предположить, что Америка способна была добиться в Корее большего, но, тем не менее, Советы с той поры вынуждены будут соизмерять свои успехи с размерами потерь и, возможно, выдвигать на первый план разнообразных коммунистических авантюристов, особенно в Индокитае. Но в ответ они столкнутся с могучим противостоянием пришедших в равновесие с ними сил благодаря перевооружению союзников и усилению связи между ними.

И этот сдвиг, который марксисты называют изменением соотношения сил, не прошел незамеченным для лидера, который привык строить свою политику на основе подобного анализа. Не прошло и восемнадцати месяцев с момента вторжения в Южную Корею, как Сталин выступил с инициативой пересмотра советской политики, а кульминацией этого процесса стал наиболее значительный дипломатический ход Советского Союза непосредственно после окончания второй мировой войны.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. Переговоры с коммунистами: Аденауэр, Черчилль и Эйзенхауэр

В марте 1952 года, еще до окончания войны в Корее, Сталин сделал дипломатический ход в целях прекращения «холодной войны» по причинам, совершенно противоположным ожиданиям творцов теории «сдерживания». Эта инициатива была вызвана вовсе не трансформацией советской системы, как они предсказывали. Вместо этого архиидеолог пытался защитить коммунистическую систему от тягот гонки вооружений, с которой, как он, по-видимому, убедился, справиться будет невозможно. Получалось, что, несмотря на комбинацию из марксизма и паранойи, Сталин первоначально даже не поверил, что Америка пойдет на мобилизацию столь ощутимой мощи в, казалось бы, поначалу чисто оборонительных целях.

В сталинском предложении ничего не говорилось об установлении гармоничного мирового порядка. Вместо того чтобы покончить с предпосылками «холодной войны», он призвал к взаимному признанию «черта рогатого» с точки зрения американского мышления: наличия двух сфер влияния — одной для Америки в Западной Европе, другой для Советского Союза в Восточной Европе, а посередине — объединенной, вооруженной, нейтральной Германии.

С той поры историки и политические лидеры спорят, рассматривать ли предложение Сталина как упущенную возможность окончания «холодной войны», или целью этого продуманного шага было втянуть демократические страны в переговоры, сам факт открытия которых блокировал бы перевооружение Германии. Пытался ли Сталин толкнуть Запад на действия, которые бы подорвали его внутреннее единство, или он хотел дать обратный ход углублявшейся конфронтации между Востоком и Западом?

Ответ, по-видимому, заключается в том, что Сталин, вероятно, сам не знал, как далеко он готов будет зайти, чтобы ослабить напряженность в отношениях с Западом. Хотя он сделал предложения, которые демократии охотно бы приняли четырьмя годами ранее, поведение Сталина в промежуточный период не давало возможности подвергнуть испытанию его искренность, более того, оно делало его искренность ничего не значащей. Ибо независимо от конечных целей Сталина такого рода проверка вызвала бы серьезные трения внутри Атлантического союза и тем самым сняла бы предпосылки, приведшие в первую очередь к разработке подобного предложения.

В любом случае этот мастер хитроумных расчетов пренебрег одним из решающих факторов: тем, что сам он смертен. Через год после того, как Сталин сделал это предложение, он уже лежал мертвый. Его преемники не проявили упорства и настойчивости в отношении переговоров всеобъемлющего характера, да и не обладали достаточной властью, чтобы делать уступки огромного масштаба, без чего о такого рода действиях не могло быть и речи. В итоге эта мирная инициатива осталась загадочным эпизодом, более всего демонстрирующим, насколько различной была исходная мотивировка поведения обеих сторон в период «холодной войны».

Исходя из предпосылки, что юридические обязательства создают свою собственную реальность, Америка ожидала от Сталина воплощения в жизнь Ялтинского и Потсдамского соглашений. Считая соглашения обязательными только в том случае, если они правильно отражают соотношение сил, Сталин предполагал: демократические страны будут настаивать на своих правах таким образом, что это даст ему возможность подсчитать риски и выгоды в случае выполнения договоренности. А в отсутствие этого Сталин бы тянул время, набирая как можно больше переговорных плюсов в ожидании конкретного шага со стороны демократических стран или того, что Сталин мог бы принять за конкретный шаг.

Казалось, этот момент наступил в начале 50-х годов. Соединенные Штаты разработали «план Маршалла» в 1947 году и ввели в действие организацию Северо-Атлантического пакта в 1949 году. Федеративная Республика Германия родилась на свет под эгидой Запада. Первоначальная реакция Сталина была, как обычно, жестокой: отсюда блокада Берлина, заговор в Чехословакии и согласие на вторжение в Южную Корею. Тем не менее Соединенным Штатам удалось шаг за шагом создать

сферу влияния, охватывающую все передовые в промышленном отношении страны мира.

Со своей стороны, Сталин преуспел в сооружении пояса безопасности в Восточной Европе, однако это достижение равнялось распространению вширь собственной слабости. Мастер силовых расчетов обязан был понимать, и, вероятно, лучше, чем лидеры демократических стран, что он не добился истинной концентрации сил и что, с точки зрения равновесия, орбита сателлитов окажется каналом утечки советских ресурсов. В противоположность этому страны НАТО и Япония представляли собой обширный потенциал индустриальных резервов. Долгосрочные тенденции, столь любимые марксистскими аналитиками, благоприятствовали американской сфере влияния. С точки зрения «Realpolitik», империю Сталина охватила глубочайшая тревога.

Руководимая Америкой группировка во время Корейской войны, если можно так выразиться, отточила зубы и создала обширный военный потенциал. Сталин, похоже, отдавал себе отчет в том, что его вызов единству демократических стран рикошетом ударил по нему самому. Его безжалостная политика по отношению к Восточной Европе сплотила единство коалиции западных стран и обеспечила появление на горизонте перевооруженной Германии.

Гармоничный мир, бывший аксиоматическим порождением американского мышления военного времени, на деле превратился в два вооруженных лагеря, одержимых страхом, на поверку беспочвенным. Американские руководители усматривали в Корейской войне советскую стратегию хитрого вовлечения Америки в отдаленный азиатский конфликт для облегчения советского нападения на позиции союзников в Европе. Это являлось грандиозной переоценкой как советской мощи, так и способности Сталина на решительные действия. Ни на одном из этапов своей карьеры этот скрупулезный и трезвый аналитик не бросал на чашу весов всё сразу. В то же время Сталин воспринимал наращивание мощи Западом не как оборонительное мероприятие, каким оно и было, а как предлог для военного противостояния, чего он всегда опасался и чего настоятельно стремился избежать. Обе стороны, по существу, готовились к такому развороту событий, какой не отражал намерений ни одной из них, — к прямому полномасштабному конфликту военного характера.

Сталин не желал проверять, соответствует ли его кошмар реальному положению

вещей. Как только Сталин оказывался перед лицом возможности возникновения военного конфликта с Америкой, он неизменно шел на попятный. Он сделал это в 1946 году, когда Трумэн потребовал вывода советских войск из Иранского Азербайджана, и он покончил с блокадой Берлина 1948 — 1949 годов прежде, чем она перешла в активные военные действия. Теперь он энергично взялся за ликвидацию конфронтации, которую сам же и породил, подавая сигнал о предстоящей перемене курса при помощи одного из обтекаемых заявлений, на которые он был мастер.

В данном случае Сталин шел исключительно окольным путем, поскольку не хотел давать противнику даже малейшего намека на собственную слабость, в то время как тот ускоренным образом приступал к формированию политики с «позиции силы». Целью его было показать, что он желает избежать конфронтации, но так, чтобы никто не заподозрил, будто он от нее уклоняется. Обоснованием для поведения Сталина явилась точка зрения, высказанная в чисто теоретическом труде, опубликованном за несколько лет до этого экономистом Евгением Варгой[673]. Автор утверждал, что капиталистическая система стабилизируется, и, следовательно, исчезает фактор неизбежности войны внутри этой системы. Если Варга был прав, то стратегия, которой Сталин пользовался начиная с 20-х годов, играя на противоречиях между отдельными капиталистическими странами и натравливая их друг на друга, переставала быть действенной. Капиталисты, весьма далекие от идеи собственных перекрестных войн, вполне способны пойти на объединение против родины социализма, и в пользу такой возможности говорило создание НАТО и японо-американского союза.

Сталин парировал эту аргументацию в тщательно продуманном собственном труде, озаглавленном «Экономические проблемы социализма в СССР» и опубликованном в октябре 1952 года в преддверии предстоящего съезда партии[674]. В этой статье Сталин вновь выдвинул постулаты истинно коммунистической веры, пропагандируемые им в 1934, 1939 и 1946 годах, в том смысле, что капитализм, чуждый стабильности, находится перед лицом все ускоряющегося кризиса:

«Говорят, что противоречия между капитализмом и социализмом сильнее, чем противоречия между капиталистическими странами. Теоретически, конечно, это верно. Это верно не только сейчас, сегодня; это было верно и перед второй мировой войной. И это было более или менее понятно руководителям капиталистических

стран. И все же вторая мировая война началась не как война с СССР, а как война между капиталистическими странами»[675].

Как только Сталин вновь пускал по кругу знакомую проповедь неизбежности войны между капиталистами, единоверцы понимали, что он желает их успокоить. Согласно усложненной сталинской аргументации, перспектива конфликта между капиталистами означала, что война между ними и Советским Союзом не является неизбежной. Статья Сталина была, таким образом, инструкцией для советской дипломатии откладывать прямое столкновение до тех пор, пока внутренние конфликты между капиталистами в достаточной степени их не ослабят.

В 1939 году заявление подобного рода явилось сигналом готовности Сталина искать договоренности с Гитлером. Этот анализ, утверждал теперь Сталин в 1952 году, оставался верен и до сих пор, ибо, поскольку война является неотъемлемым свойством капиталистов, они меньше рискуют, воюя друг с другом, чем если вступят в войну с Советским Союзом: «...Если война между капиталистическими странами ставит под вопрос лишь превосходство отдельных капиталистических стран над другими, то война с СССР обязательно должна будет поставить под вопрос само существование капитализма»[676].

Тяжеловесные теоретические построения являлись методом передачи Сталиным утешительных посланий капиталистам, особенно Соединенным Штатам. На деле он заявлял, что капиталистам нечего предпринимать упреждающие военные действия, поскольку Советский Союз не намеревается бросать вызов военного характера:

«...Капиталисты, хотя они и кричат в пропагандистских целях об агрессивности Советского Союза, сами не верят, что он агрессивен, потому что им известно о мирной политике Советского Союза и они знают, что сам он не нападет на капиталистические страны»[677].

Иными словами, капиталистам следует правильно понимать правила игры, которую вел Сталин: он хотел увеличивать советскую мощь и влияние, но готов был остановиться задолго до того, как давление с его стороны способно будет перерасти в войну.

Сталин знал, что для его товарищей такого рода идеологических пророчеств вполне достаточно, но он понимал, что его капиталистическим оппонентам требуется гораздо более солидный улов. Для того, чтобы ослабить напряженность и возродить надежду

на возврат к старой игре стравливания капиталистов друг с другом, Москве надо было снять хотя бы часть давления, приведшего к тому, что Сталин называл искусственным чувством единства внутри капиталистического мира.

Сталин предпринял подобное усилие на дипломатическом уровне и на языке, понятном демократиям, когда 10 марта 1952 года выступил с так называемой «мирной нотой по Германии». После многих лет конфронтации и неуступчивости Советский Союз внезапно оказался заинтересован в урегулировании. Привлекая внимание к отсутствию мирного договора с Германией, Сталин передавал проект текста трем прочим оккупационным державам, настаивая на том, чтобы он был рассмотрен «на соответствующей международной конференции с участием всех заинтересованных правительств» и чтобы договор был заключен «в самом ближайшем будущем»[678]. «Мирная нота» призывала к созданию на основе свободных выборов объединенной, нейтральной Германии, которой будет разрешено иметь собственные вооруженные силы, причем все иностранные войска должны будут покинуть ее территорию в течение года.

Тем не менее «мирная нота» содержала немало оговорок, позволявших оттягивать договоренность до бесконечности, даже если бы Запад признал принцип германского нейтралитета. К примеру, в проекте запрещались «организации, враждебные демократии и сохранению мира». По советской терминологии это могло подразумевать все партии западного стиля, что уже имело место в Восточной Европе. И потом, стоило бы западным демократиям согласиться сесть за стол переговоров, как глава советской делегации, которым наверняка был бы упрямый Молотов или иной политический деятель такого же плана, сделал бы все от него зависящее, чтобы ослабить связи Германии с Западом. Это стало бы наградой Советскому Союзу за принятие принципа нейтралитета и освобождало бы его от платы за объединение Германии.

И все же тон и точность выражений сталинской ноты предполагали, что цели ее выходят за рамки чисто пропагандистских и что скорее всего она является дебютным ходом к переговорам, где Советский Союз, впервые за послевоенный период, готов платить значительную цену за ослабление напряженности. И что было весьма нетипичным, сталинская нота включала в себя абзац, предполагавший некоторую гибкость: «Предлагая к рассмотрению данный проект, Советское правительство...

выражает готовность также рассмотреть другие возможные предложения по данному вопросу»[679].

Если бы Сталин выступил со своей так называемой «мирной нотой» четырьмя годами ранее — до Берлинской блокады, чешского переворота и Корейской войны, — она почти наверняка убила бы в зародыше возможность членства Германии в НАТО. Не исключено даже, что вообще не встал бы вопрос о членстве Германии в Атлантическом союзе. Ибо нота намекала на такого рода переговоры, к которым как раз и призывал Черчилль во время и после войны.

Однако в период начиная с 1948 года Атлантический союз уже был сформирован, а вооружение Германии уже началось. Европейское оборонительное сообщество (ЕОС), задуманное как политическое оформление перевооружения Германии, стало предметом дебатов в европейских парламентах. А в Федеративной Республике тайным голосованием в парламенте канцлером был избран Аденауэр, правда, большинством всего в один голос (скорее всего, его собственный), в то время как находящиеся в оппозиции социал-демократы, будучи абсолютно демократической партией, настаивали на том, что надо добиваться не альянса с Западом, а объединения Германии.

Западные руководители отдавали себе отчет в том, что в случае, если они начнут рассматривать советское предложение, все эти инициативы будут заморожены и, будучи раз заморожены, уже никогда не сойдут с мертвой точки. В ряде европейских парламентов, что самое главное, во Франции и Италии, коммунистическим партиям принадлежала примерно треть мест, то есть пропорция была та же самая, как в Чехословакии накануне переворота. А западноевропейские коммунистические партии были страстными противниками всех мероприятий, связанных с атлантической или европейской интеграцией. Более того, договор, определяющий судьбу Австрии, обсуждался уже несколько лет, переговоры по перемирию в Корее тоже велись почти целый год. И демократические страны вправе были предполагать, зная описываемое в этой книге, что целью призыва Сталина к открытию переговоров вполне мог быть подрыв единства западных союзников и консолидация орбиты собственных сателлитов.

Наверняка это было оптимальной задачей Сталина. Однако совокупность данных говорит также за то, что он был готов заодно попробовать добиться полного

урегулирования. Одним из указаний на то, что он стремился сохранить за собой возможность многовариантного выбора, является реакция маршала на ответы Запада по поводу его «мирной ноты». 25 марта три западные оккупационные державы — Франция, Великобритания и Соединенные Штаты — прислали идентичные ответы, ставящие своей целью не открытие переговоров, а закрытие этой темы. Они соглашались с принципом объединения Германии, но отвергали идею нейтралитета. Объединенная Германия, подчеркивали они, вольна будет вступить «в ассоциации, соответствующие целям и задачам Организации Объединенных Наций», — иными словами, оставаться в НАТО. В западном ответе признавался принцип свободных выборов, но он увязывался с такими условиями, как немедленное предоставление права на свободу собраний и свободу слова, причем и то и другое могло подрвать советский контроль над восточногерманским коммунистическим режимом задолго до проведения выборов[680]. Целью западных нот было поставить все на свое место, а не поощрять сделку.

Невероятно, но Сталин немедленно ответил в примирительном тоне. Более того, он с той же скоростью отвечал на каждое последующее возражение со стороны демократических стран. На западную ноту от 25 марта был дан ответ 9 апреля; нота от 13 мая получила ответ 24 мая; а на ноту от 10 июля было отвечено 23 августа. В каждом из советских ответов делался сдвиг в сторону западной позиции. Лишь на ноту от 23 сентября не было дано ответа[681]. Но в это время Сталин был полностью погружен в подготовку к предстоящему XIX съезду партии и, без сомнения, ждал исхода американских президентских выборов.

Будучи уже серьезно нездоров, Сталин выступил с краткой речью на съезде партии, где воинственно-идеологизированной стилистикой маскировал доктрину мирного сосуществования[682]. Сразу же за партийным съездом, в декабре 1952 года, Сталин объявил, что готов встретиться с новоизбранным президентом Дуайтом Д. Эйзенхауэром. С предложением о подобной встрече в верхах он никогда не обращался ни к Рузвельту, ни к Трумэну или Черчиллю, каждого из которых Сталин своими маневрами заставлял сделать первый шаг.

Одновременно возобновление внутренних чисток в Советском Союзе носило зловеще-знакомый характер предупреждения о грядущих изменениях в области политики. Сталин при проведении новой политики никогда не полагался на кадры,

которые до того им использовались при прокладке иного курса, даже если тогда эти люди рабски следовали его директивам, а скорее всего именно поэтому. Сталин считал объективную возможность сопоставления зародышем нелояльности и полагал наиболее верным средством уничтожение тех, на кого возлагалась ответственность за осуществление подлежащего изменению политического курса. В 1952 году явно готовилось нечто подобное, где потенциальными жертвами могли стать преданные сотрудники прошлых лет: министр иностранных дел Вячеслав Молотов; Лазарь Каганович — старый большевик, член Политбюро; и Лаврентий Берия, глава тайной полиции. Для исполнения сталинских дипломатических предначертаний требовался новый круг лиц.

Сущностью сталинского дипломатического наступления было, как минимум, выяснить, что Советский Союз сможет получить, если он выкинет за борт восточногерманский коммунистический режим. Сталин никогда не воспринимал этот режим как полноправное суверенное государство и дал ему статус, отличный от всех прочих восточноевропейских сателлитов, как раз для того, чтобы держать Восточную Германию в запасе на случай сделки, когда объединение Германии будет обсуждаться всерьез.

По мнению Сталина, такой момент настал в 1952 году. Предлагая объединение на базе свободных выборов, Сталин как бы подавал сигнал, что готов пожертвовать восточногерманским коммунистическим режимом. Ибо, даже если бы коммунисты победили на восточногерманских выборах, чего опасались западные союзники, гораздо большее по численности население Федеративной Республики обеспечило бы решающую победу прозападных демократических партий. И поскольку только лично Сталин обладал достаточной силой воли и безжалостностью, чтобы заставить измученный народ вступить в схватку с демократическими странами, он и был единственным коммунистическим лидером, полномочным разделаться с советским сателлитом.

Когда Сталин совершил просчет, то случилось это из-за предположения, что его партнеры, как и он, действуют в рамках «Realpolitik», причем столь же хладнокровно. В годы, непосредственно следовавшие за окончанием войны, он явно полагал, что ему либо удастся их запугать, либо, как минимум, дать им ощутить: любая попытка добиться уступок от Советского Союза окажется болезненной и продолжительной. Но

он также в своих действиях исходил из того, что, когда настанет время урегулирования. Соединенные Штаты пойдут на это исходя из сложившейся ситуации и предадут забвению происходившее ранее. Сталин, казалось, был убежден, что ему не придется платить за бесцеремонное обращение с демократическими странами.

Все эти предположения оказались в корне неверными. Соединенные Штаты не придерживались принципов «Realpolitik», по крайней мере, в том виде, как их понимал Сталин. Для американских лидеров моральные заповеди были реальностью, а юридические обязательства имели смысл. Сталин, возможно, считал блокаду Берлина способом набрать очки для предстоящих переговоров по Германии, а то и возможностью заставить пойти на такие переговоры. А войну в Корее он, вероятно, рассматривал как проверку границ политики «сдерживания». Но Америка противостояла этим актам агрессии отнюдь не ради защиты сферы государственных интересов; Америка напрягла все свои силы, чтобы выступить против оскорбления, нанесенного универсальному принципу, а не нарушения местного статус-кво.

Точно так же, как в 1945 году, когда Сталин проигнорировал наличие у Америки доброй воли, в 1952 году он недооценил, до какой степени западные страны разочарованы его действиями на протяжении данного отрезка времени. В период с 1945 по 1948 год американские руководители были готовы пойти на урегулирование с Советским Союзом, но не желали и были еще не в состоянии оказывать на Сталина массированное давление. В 1952 году Сталин уже воспринимал давление со стороны Америки как достаточно серьезное, но к этому моменту западные лидеры уже неоднократно убедились в наличии у него заведомо дурных намерений. И потому они воспринимали его шаг, как просто очередной тактический ход в «холодной войне», результат которой — либо победа, либо поражение. Компромисс со Сталиным стал неактуален.

Для сталинского шага трудно было выбрать столь неподходящее время. «Мирная нота» появилась менее чем за восемь месяцев до президентских выборов, в которых Трумэн, то есть лицо, тогда занимавшее эту должность, участия не принимал. Даже если бы случилось совершенно невероятное и Трумэн с Ачесоном оказались бы склонны вести переговоры со Сталиным, у них вряд ли хватило бы времени довести этот процесс до конца.

Для администрации Трумэна «мирная нота» в любом случае предлагала меньше,

чем это казалось на первый взгляд. Проблема заключалась не в условиях, которые можно было бы отрегулировать, а в том, каким в рамках этой ноты видится мир. Германии предстояло стать нейтральной, но вооруженной, причем с ее территории в течение года должны были быть выведены иностранные войска. И все же каков был точный смысл этих терминов? Каково должно было быть определение «нейтралитета», и кто будет наблюдать за его соблюдением? Не получит ли Советский Союз постоянного голоса в германских делах, а быть может, и права вето во имя сохранения нейтрального статуса Германии? И в какие места будут выведены иностранные войска? Для западных оккупационных войск ответ был четок и ясен: в Европе не было подходящего для базы географического пункта. В 50-е годы Франция, возможно, и готова была бы принять значительные американские силы, но ненадолго и не без оговорок. Да и американский Конгресс не одобрил бы подобной передислокации в случае образования нейтральной, буферной зоны между советскими и американскими войсками. В то время, как американские солдаты должны будут вернуться в Америку, советские вооруженные силы должны будут отойти всего-навсего к польской границе, то есть на сто миль к востоку. Короче говоря, буквальное воплощение предложения Сталина в жизнь заключалось бы в демонтаже только что возникшего НАТО в обмен на уход советских войск на расстояние всего сто миль.

Если бы даже статья о выводе войск трактовалась бы так, что советские войска обязаны были бы отступить на советскую территорию, возникли бы новые осложнения. Ибо вряд ли любой из режимов стран-сателлитов мог бы выжить, если бы не присутствие советских войск или безусловная возможность советской интервенции в случае восстания. Согласился бы Сталин на запрет введения войск в Восточную Европу, даже если бы свергалось коммунистическое правительство? В условиях 1952 года ответ на вопрос напрашивался сам собой. Демократические лидеры и представить себе не могли — и были абсолютно правы, — что Сталин, старый большевик, согласится на такое.

Но самой главной причиной, почему Трумэн и Ачесон не встретили с распростертыми объятиями ход Сталина, было то, каким в «мирной ноте» виделось будущее Германии в долгосрочном плане. Ибо даже если оказалось бы возможным дать такое определение германского нейтралитета, при котором исключалась бы

постоянная угроза советской интервенции и был бы установлен такой уровень германских вооружений, который не оставлял бы Германию на милость Советского Союза, это лишь вернуло бы к жизни дилемму, перед лицом которой оказалась Европа после объединения Германии в 1871 году. Сильная, единая Германия, находящаяся в центре континента и проводящая чисто национальную политику, — как подобное совместить с миром в Европе? Такая Германия была бы сильнее любой из наций Западной Европы, а возможно, сильнее их всех, вместе взятых. А в 50-е годы ее бы искушали реваншистские мечты, обращенные на Восток, откуда прибыли только что 15 миллионов беженцев, живших на территориях, которые большинство немцев считали частью своей страны. И это было бы судьбоносным искушением выпустить на свободу объединенную, нейтральную Германию, да еще так скоро после окончания войны. И кроме всего прочего, такого рода исход стал бы дискредитацией крупнейшего германского государственного деятеля со времен Бисмарка, который сыграл выдающуюся историческую роль, уведя Германию прочь от наследия Бисмарка.

Конрад Аденауэр родился в 1876 году в католическом Рейнланде, который вошел в состав Пруссии лишь после Венского конгресса и исторически всегда относился с предубеждением к централизованной Германской империи, управляемой из Берлина. Аденауэр работал в должности обербургомистра Кёльна начиная с 1917 года, пока не был смещен нацистами в 1933 году. В период правления Гитлера он ушел от политики и проводил время в монастыре. Восстановленный союзниками в должности обербургомистра Кельна в марте 1945 года, он был в конце 1945 года вновь снят, на этот раз британскими оккупационными властями, неодобрительно относившимися к его независимой манере держаться.

Обладая словно высеченным из камня обликом римского императора, Аденауэр также имел острые скулы и слегка раскосые глаза, что давало предположение о наличии в его роду какого-нибудь завоевателя-гунна, прошедшего по Рейнской области в предыдущее тысячелетие. Церемонные манеры Аденауэра, усвоенные им еще в юности, пришедшейся на период перед первой мировой войной, отражали душевную ясность и безмятежность, удивительные для руководителя побежденной страны, где мало кто из взрослых сограждан мог бы гордиться своим политическим прошлым.

В кабинете Аденауэра во дворце Шаумбург, пышном белом сооружении вильгельмовского периода, шторы были всегда задернуты, и каждому, кто туда входил, казалось, будто он попал в замкнутое пространство, где время остановилось. Душевная ясность как раз и была тем качеством, которое больше всего требовалось руководителю, дающему стране, имеющей все основания с сомнением относиться к своему прошлому, смелость глядеть в лицо неведомому будущему. К тому моменту, как Аденауэр в возрасте семидесяти трех лет был избран канцлером, стало казаться, будто вся его предыдущая жизнь была лишь подготовкой к принятию на себя ответственности за восстановление самоуважения у своей оккупированной, деморализованной и разделенной страны.

Аденауэровское чувство внутренней уверенности в себе проистекало скорее из веры, чем анализа. Он не был книжником или знатоком истории, как Черчилль или де Голль. Но он провел время ухода от мира в размышлении: как бы заново прошел весь путь общественных потрясений, пережитых его страной, и приобрел исключительную интуицию в отношении тенденций своего времени. Ему также было свойственно проницательнейшее понимание психологии своих современников, особенно их слабостей. Как-то раз я отвечал Аденауэру, сетовавшему на отсутствие сильных лидеров в Германии 50-х годов. И когда я назвал ему имя одного из его современников с весьма драматической судьбой, тот ответил в обычной своей лапидарной манере: «Никогда не путайте энергию с силой».

Аденауэр стремился преодолеть бешеные страсти, свойственные Германии, и создать своей стране — при всем ее историческом экстремизме и склонности к романтике — репутацию надежности. Аденауэр был достаточно стар, чтобы помнить, как канцлером был Бисмарк. Ревностное католическое дитя Рейнланда, он никогда не принимал в расчет принципы «Realpolitik», даже когда Германия объединилась, а кайзеровскую громогласно-многословную «Weltpolitik» он полагал противопоказанной своему трезвому и деловому стилю работы. Аденауэр не испытывал пиетета перед классом юнкеров, создавшим императорскую Германию. Он полагал, что крупнейшей ошибкой Бисмарка было класть в основу безопасности Германии умелое маневрирование между Востоком и Западом. С его точки зрения, могучая, но плавающая по воле волн в центре Европы Германия представляла собой угрозу всем подряд с ущербом Для собственной безопасности.

Аденауэровский ответ на хаос, возникший сразу после окончания войны, заключался в том, что разделенная, оккупированная страна, оторванная от исторических корней, нуждается в постоянном и твердом политическом курсе, если она хочет восстановить контроль над собственным будущим. Аденауэр отказывался сойти с этого пути ради ностальгии по прошлому или ради традиционной германской любви-ненависти к России. Он безоговорочно избрал Запад, пусть даже ценой отсрочки объединения Германии.

Внутренние оппоненты Аденауэра, социал-демократы, могли тоже похвастаться незапятнанным прошлым — оппозицией нацистскому режиму. Их исторической опорной базой была советская зона оккупации Германии, которую силой вынудили стать коммунистической, — такому ходу событий социал-демократы бесстрашно противодействовали. Подозрительно относясь к политике «сдерживания», с такой же страстью, с какой они были привержены демократии, социал-демократы считали более первостепенной задачей достижение единства Германии, а не укрепление атлантических связей. Они противостояли прозападной ориентации Аденауэра и охотно заплатили бы за достижение прогресса в области национальных целей Германии принятием обязательства стать нейтральными. (В середине 60-х годов социал-демократы сменили курс: они признали Атлантический союз и вступили в «большую коалицию» с христианскими демократами в 1966 году, сохраняя, однако, большую тактическую гибкость в отношении Востока, чем аденауэровские христианские демократы.)

Аденауэр отвергал сделку по поводу нейтралитета, на которую были готовы пойти социал-демократы, частично из философских соображений, частично по причинам сугубо практического характера. Старейший канцлер не желал возродить националистические искушения, тем более когда уже существовали два германских государства, которые, как предупреждал Черчилль в речи о «железном занавесе», могут выставить себя на аукцион. И он понимал гораздо лучше своих оппонентов внутри страны, что в исторической обстановке своего времени объединенная, нейтральная Германия может возникнуть лишь в результате мирного урегулирования, организованного против Германии. На новое государство наложат жесткие ограничения, и будет установлен международный контроль. Могущественные соседи обретут постоянное право вмешательства. Аденауэр полагал такого рода

перманентную подчиненность психологически более опасной для Германии, чем разделенность. Он избрал равенство и интеграцию с Западом и респектабельность своей страны.

Теперь так и не станет известно, смог бы Сталин преодолеть нежелание Аденауэра и прочих демократических лидеров и довести дело до крупномасштабной дипломатической конференции, или какие конкретно уступки, если он собирался на них идти, он был бы готов сделать. Его предложение относительно широкомасштабной конференции наверняка было бы поддержано Черчиллем. Во всяком случае, смерть Сталина сделала все эти соображения пустым звуком. Где-то в промежутке между ранними часами 1 марта 1953 года, когда он расстался с коллегами, вместе с которыми смотрел фильм, и тремя часами утра 2 марта, когда он был обнаружен лежащим на полу дачи, со Сталиным случился удар. Время, когда это случилось, точно назвать нельзя, ибо охрана боялась войти к нему в комнату ранее положенного срока, так что вполне возможно, что он пролежал много часов, прежде чем о его состоянии стало известно. Ближайшие помощники Сталина, среди которых были Маленков и Берия, дежурили у его постели, пока он не умер через три с половиной дня[683]. Естественно, действия вызванных медиков были не свободны от двусмысленности. В конце концов, они вполне могли стать очередными жертвами сталинской чистки по делу «кремлевских врачей».

Преемникам Сталина еще больше, чем их бывшему руководителю, нужна была передышка от напряженности с Западом. Они, однако, не обладали полнотой его власти, его хитрой расчетливостью, его пронизательностью, и, что самое главное, между ними не было политического единства, необходимого для следования столь сложным курсом. Преемников Сталина с неизбежностью ожидала борьба за власть. В отчаянной войне всех против всех, где каждый пытался сколотить свою фракцию, чтобы подкрепить этим свои претензии на власть, никто не взял бы на себя ответственность пойти на уступки капиталистам. Это стало ясно хотя бы из того, каким именно образом была объяснена ликвидация Берии. На самом деле грех его заключался в том, что он слишком много знал и тем самым представлял угрозу для своих могущественных коллег. Тем не менее его арестовали на заседании Политбюро и казнили вскоре после этого по обвинению в заговоре с целью отдать Восточную Германию — даже несмотря на то, что в этом заключался смысл сталинской «мирной

ноты» предшествующего года и всей его последующей переписки с Западом.

Согласно мемуарам Хрущева, преемники Сталина были встревожены, не воспользуется ли Запад смертью Сталина для того, чтобы вступить в давно ожидаемый прямой конфликт с коммунистическим миром. Возможно, для того, чтобы исключить даже мысли о заговоре, тиран часто предупреждал своих приближенных, что Запад свернет им шеи, как цыплятам, как только его не станет[684]. В то же время подозрительность сталинских наследников в отношении Запада перевешивалась сиюминутными потребностями отчаянной схватки друг с другом. Даже несмотря на то, что новое руководство жаждало передышки в «холодной войне», каждый соперник в борьбе за власть знал, что дипломатическая гибкость может оказаться фатальной, пока он не добьется абсолютной власти. Но они чувствовали себя неуютно в условиях продолжающейся напряженности. В 1946 году Черчилль заметил, что Сталин хочет получить плоды войны без войны; в 1953 году преемники Сталина хотели получить плоды ослабления напряженности, не идя на какие-либо уступки. В 1945 году Сталин создал дипломатический тупик, чтобы сохранить переговорные преимущества перед Западом; в 1953 году его наследники искали убежища в дипломатическом тупике, чтобы сохранить свободу выбора сторонников в борьбе друг с другом.

Когда государственные деятели хотят выиграть время, они предлагают переговоры. 16 марта, менее чем через две недели с момента смерти диктатора, Маленков, ставший теперь премьер-министром, призвал к переговорам, не конкретизируя их содержания:

«В настоящее время нет таких запутанных или нерешенных вопросов, которые нельзя было бы разрешить мирными средствами на базе взаимной договоренности заинтересованных стран. Это касается наших отношений со всеми государствами, включая Соединенные Штаты Америки»[685].

Но Маленков не сделал конкретных предложений. Новые советские руководители не были уверены в том, как именно следует добиваться ослабления напряженности, и обладали гораздо меньшей властью, чем Сталин, в деле выработки новых подходов. В то же самое время новая администрация Эйзенхауэра была столь же осторожна в отношении предложений относительно переговоров с Советами, как и Советы в отношении уступок американцам.

Причины настороженности были одинаковы по обе стороны демаркационной

линии: как Советский Союз, так и Соединенные Штаты опасались, что станет с «белыми пятнами». И у той, и у другой стороны были свои трудности, связанные с приспособлением к изменениям, происшедшим в международной обстановке после окончания войны. Кремль боялся, что отдать Восточную Германию тогда, — как и поколением позднее, — означает разорвать орбиту спутников. Если же не отдавать Восточную Германию, то нечего было и говорить об истинном ослаблении напряженности. А Соединенные Штаты были озабочены тем, что начало переговоров по Германии взорвет НАТО изнутри и, по существу, в обмен на союз они получают конфронтацию.

Для того чтобы решить, упустил ли Запад какую-либо возможность после смерти Сталина, надо ответить на три вопроса. Мог ли Атлантический союз вести широкомасштабные переговоры с Советским Союзом и не распасться? Мог ли Советский Союз в случае нажима пойти на имеющие смысл предложения? Могло ли советское руководство воспользоваться переговорами как средством прекращения вооружения Германии и западной интеграции, не отдавая на деле восточногерманского спутника и не ослабляя хватки в Восточной Европе?

Американские лидеры были правы в своем предположении, что фактический задел уступок для переговоров исключительно мал. Нейтральная Германия могла представлять собой либо опасность, либо объект шантажа. В дипломатии бывают такие эксперименты, на которые нельзя идти, ибо неудача влечет за собой необратимый риск. А риск краха всего, созданного в рамках Атлантического союза, представлялся существенным!

На деле всеобщий интерес заключался в том, что Федеративная Республика остается частью интегрированной системы Запада — в первую очередь в интересах Советского Союза, хотя никто из не уверенных в себе советских руководителей не был в состоянии признать это. Если Германия останется в составе Атлантического союза, можно будет договориться об ограничении военного вовлечения вдоль новых демаркационных линий (что, по существу, снизило бы военный потенциал объединенной Германии). Но если бы нейтральная территория включала в себя всю Германию, НАТО оказался бы выхолощен, а Центральная Европа превратилась бы либо в вакуум, либо в потенциальную угрозу.

Наследников Сталина можно было бы заставить смириться с вхождением

объединенной Германии в состав НАТО (пусть даже с военными ограничениями) лишь в том случае, если бы демократические страны угрожали военными последствиями или, по меньшей мере, интенсификацией «холодной войны». Именно это, вероятно, имел в виду Черчилль, который в 1951 году, еще тогда, когда Сталин был жив, вновь стал премьер-министром. Личный секретарь Черчилля Джон Колвилл зафиксировал:

«У[инстон] несколько раз делился со мною надеждами на то, что возможным станет совместное обращение к Сталину с последующим приглашением его на конгресс в Вену, где вновь будет открыта и продолжена Потсдамская конференция. Если русские откажутся сотрудничать, «холодная война» с нашей стороны могла быть интенсифицирована: «Наши молодые люди, — заявил мне У., — скорее погибнут за правду, чем умрут понапрасну»[686].

Но другие западные лидеры не были готовы идти на такой риск или на выдвижение таких предложений, которые критиками Атлантического союза могли быть охарактеризованы как чересчур односторонние. Американские лидеры поэтому противостояли любой крупной инициативе и по ходу дела помешали серьезным попыткам воспользоваться советским замешательством немедленно после смерти Сталина. С другой стороны, они сберегли внутреннее единство Атлантического союза.

Ценой паузы стал перенос спора с проблемы сущности переговоров на их желательность. И именно Черчилль, близившийся к концу карьеры, выступил в роли главного защитника переговоров, содержание которых он так и не уточнял. Была, конечно, некоторая горечь в том, как вступивший в девятый десяток Черчилль, всю свою жизнь отстаивавший принцип равновесия сил, настаивает на встрече на высшем уровне как на самоцели.

Американские руководители приписывали готовность Черчилля вести переговоры ущербной непоследовательности возрастного характера. На самом же деле Черчилль был абсолютно последователен в своих действиях, ибо он отстаивал переговоры как во время войны, так и сразу же после ее окончания, а также в тот момент, когда впервые был сформулирован принцип сдерживания (см. гл. 17 и 18). Изменялись лишь условия, при которых Черчилль делал эти предложения. В 50-е годы Черчилль никогда не конкретизировал детали глобального урегулирования, на котором он настаивал. Во время войны он основывался на том предположении, что Америка

выведет войска из Европы или, по крайней мере, не будет их там размещать на постоянной основе, как многократно повторял Рузвельт. И тогда, и будучи лидером оппозиции в 1945—1951 годах, Черчилль, по-видимому, так представлял себе компоненты полномасштабного урегулирования с Советским Союзом: нейтральная, объединенная Германия; система западного альянса вдоль франко-германской границы; отвод советских войск к польско-советской границе и создание правительств на базе финской модели во всех государствах, граничащих с Советским Союзом, — то есть нейтральных демократических правительств, уважающих советскую безопасность, но, по существу, свободных вести собственную независимую внешнюю политику.

Урегулирование в подобном направлении до 1948 года восстановило бы Европу в исторических масштабах. Во время войны и в первые послевоенные годы Черчилль значительно опережал свое время. Если бы он не проиграл выборы 1945 года, он бы, возможно, дал нарождающейся «холодной войне» иную направленность — при условии, что Америка и прочие союзники готовы были бы пойти на риск конфронтации, что, похоже, лежало в основе избранной Черчиллем стратегии.

Но к 1952 году урегулирование, которое виделось Черчиллю, стало почти невозможным и было бы разве что эквивалентно политическому землетрясению. И мерой величия Аденауэра является та Федеративная Республика, которую он создал, что почти нельзя было себе представить до 1949 года. Через три года после этого мир, родившийся в воображении Черчилля после 1944 года, потребовал бы прекращения интеграции Федеративной Республики с Западом и вернул бы ее к первоначальному статусу свободно катящегося куда попало национального государства. В 1945 году режимы финского типа в Восточной Европе были бы возвращением к норме. В 1952 году их более нельзя было установить путем переговоров; они могли лишь стать следствием краха Советского Союза или крупномасштабной конфронтации. Более того, такого рода конфронтация могла бы возникнуть по поводу объединения Германии — и ни одна из западноевропейских стран не была бы готова пойти на такой риск ради побежденного врага вскорости после окончания войны.

Если бы Атлантический союз был единой нацией, способной на унифицированную политику, он мог бы проводить дипломатическую линию, ведущую к всеобщему урегулированию в рамках, очерченных Черчиллем. Но в 1952 году Атлантический

союз был слишком хрупок для таких азартных игр. Президенты от обеих главных политических партий Америки не имели иного выбора, кроме как с болью в сердце следовать курсу ожидания внутренних советских перемен, стоя на «позиции силы».

Назначенный Эйзенхауэром новый государственный секретарь Джон Фостер Даллес воспринимал конфликт Восток — Запад как моральную проблему и стремился избежать переговоров до тех пор, пока не произойдет коренной трансформации советской системы, — а потому это находилось в острейшем противоречии с издавна существующими британскими взглядами. За всю свою историю Великобритания никогда не ограничивала себя ведением переговоров лишь с дружественными или идеологически близкими странами — это рассматривалось ею как непозволительная роскошь. Никогда не обладая, даже в зените могущества, такими преимуществами с точки зрения безопасности, как Америка, Великобритания вела переговоры с идеологическими оппонентами безо всякого стеснения и договаривалась по практическим вопросам, связанным с сосуществованием. И всегда четкое рабочее определение национальных интересов позволяло британской публике судить об эффективности деятельности своих политиков. Британцы могли время от времени спорить у себя относительно условий какого-то конкретного урегулирования, но никогда о том, правильно ли было прибегнуть к переговорам.

Верный британской традиции, Черчилль стремился к более терпимому сосуществованию с Советским Союзом посредством более или менее постоянных переговоров. Американские руководители, с другой стороны, скорее хотели изменить советскую систему, чем вести с нею переговоры. Таким образом, англо-американский спор неизменно превращался в обсуждение желательности, а не существа переговоров. Во время избирательной кампании 1950 года, которая обернулась поражением, Черчилль предложил встречу четырех держав — подобного рода встреча на высшем уровне была на данном этапе «холодной войны» весьма революционной идеей:

«И все же я не могу не вернуться к идее новых переговоров с Советской Россией на самом высшем уровне. Эта идея импонирует мне, как попытка перекинуть мост через водораздел между двумя мирами, с тем чтобы каждый из них мог жить своей жизнью если не в дружбе, то, по крайней мере, без ненависти холодной войны»[687].

Дин Ачесон, только-только сформировавший Атлантический союз, счел данное

предприятие преждевременным:

«Единственный способ иметь дело с Советским Союзом, как мы убедились на тяжком опыте, — это создать „ситуацию силы"... Как только мы устраним все слабые места, мы сможем — мы будем в состоянии — выработать рабочие соглашения с русскими... Ничего хорошего не выйдет, если мы возьмем в данный момент на себя инициативу призыва к переговорам...»[688]

Черчилль вернулся на пост премьер-министра лишь в октябре 1951 года и предпочел не оказывать нажима по поводу этой встречи в течение всего срока пребывания Трумэна на посту президента. Вместо этого он решил ждать прихода к власти новой администрации во главе со старым товарищем военных лет Дуайтом Д. Эйзенхауэром. А по ходу дела он занялся защитой идеи встречи на том основании, что, независимо от личности советского руководителя, он окажется восприимчив к идее заключения соглашения на высшем уровне. В 1952 году этим руководителем был Сталин. В июне указанного года Черчилль заявил Джону Колвиллу, что, если будет избран Эйзенхауэр, он попытается «сделать еще одну попытку добиться мира посредством встречи „Большой Тройки"... Он полагал, что, пока Сталин жив, мы находимся в большей безопасности от нападения, чем когда он умрет и его помощники начнут бороться друг с другом, чтобы определить, кто станет его преемником».[689]

Когда вскоре после того, как Эйзенхауэр стал президентом, Сталин умер, Черчилль выступил в пользу переговоров с новым советским лидером. Эйзенхауэр, однако, был не более восприимчив к идее возобновления переговоров с Советами, чем его предшественник. В ответ на шаг, предпринятый Маленковым 17 марта 1953 года, Черчилль настойчиво просил Эйзенхауэра 5 апреля не упускать шанс «выяснить, как далеко режим Маленкова готов пойти в деле всеобщей разрядки обстановки»[690]. Эйзенхауэр в ответ попросил Черчилля подождать общеполитического заявления, которое он намеревался сделать 16 апреля на заседании Общества американских газетных издателей, где, по существу, отверг основополагающие тезисы Черчилля[691]. Эйзенхауэр утверждал, что причины напряженности столь же общеизвестны, как и средства от нее: перемирие в Корее, Государственный договор с Австрией и «окончание прямых и косвенных покушений на безопасность Индокитая и Малайи». Этим он свел воедино Китай и Советский Союз, что было следствием ложной оценки китайско-советских отношений, как покажут последующие события, и

это привело к постановке явно невыполнимых условий, ибо события в Малайе и Индокитае были в основном Советскому Союзу неподконтрольны. Переговоров не требовалось, заявил Эйзенхауэр: настало время не слов, а дел.

Заранее ознакомившись с проектом речи Эйзенхауэра, Черчилль забеспокоился, что «внезапные заморозки погубят весеннюю завязь». Затем, для того чтобы показать, что доводы Эйзенхауэра его не убедили, Черчилль предложил встречу держав, ведущих переговоры в Потсдаме, которой бы предшествовала подготовительная встреча Черчилля с Молотовым, недавно вновь ставшим министром иностранных дел. Специально прилагая проект приглашения к письму Эйзенхауэру, Черчилль ссылается на призрачные узы дружбы между ним и Молотовым:

«...Мы могли бы возобновить наши отношения военного времени, и... я мог бы встретиться с господином Маленковым и другими вашими руководителями. Само собой разумеется, я не предполагаю, что нам удастся разрешить какие бы то ни было вопросы острого характера, предопределяющие ближайшее будущее мира... И конечно, мне бы хотелось внести ясность, что я ожидаю от нашей неформальной встречи не кардинальных решений, но лишь восстановления приятных и дружественных отношений между нами...».[692]

Для Эйзенхауэра, однако, встреча на высшем уровне представляла собой опасную уступку Советам. С определенной долей раздражения он повторил свое требование, чтобы Советы выполнили ряд предварительных условий:

«В моей ноте вам от 25 апреля я выразил ту точку зрения, что нам не следует чересчур торопить события и что мы не должны позволять существующему в наших странах стремлению к встрече между главами государств и правительств подталкивать нас в направлении преждевременных инициатив...»[693]

Хотя Черчилль с этим не согласился, он отдавал себе отчет в том, что зависимость его страны от Соединенных Штатов не позволяла ему роскоши самостоятельных инициатив в тех вопросах, по которым позиция Вашингтона была столь негибаема. Не вступая в непосредственный контакт с Маленковым, он сделал наилучшее в подобной ситуации и высказал в палате общин значительную часть того, что намеревался сообщить советскому премьер-министру в частном порядке. 11 мая 1953 года он показал, в какой степени его анализ отличается от анализа Эйзенхауэра и Даллеса: если американские лидеры боялись повредить внутреннему единству

Атлантического союза и перевооружению Германии, Черчилль более всего опасался повредить обнадеживающей эволюции, имевшей место внутри Советского Союза:

«...Было бы достойно сожаления, если бы естественное желание добиться всеобщего урегулирования в области международной политики помешало спонтанной и здоровой эволюции, которая, возможно, имеет место внутри России. Я рассматриваю некоторые проявления внутреннего характера и явное изменение настроения, как гораздо более важные и значительные, чем то, что происходит вовне. И я опасаясь, как бы постановка внешнеполитических вопросов державами НАТО не подавила или обесмыслила то, что, возможно, является глубочайшим изменением русского мироощущения»[694].

Перед смертью Сталина Черчилль стремился к переговорам, полагая, что Сталин является тем самым советским лидером, который наилучшим образом может гарантировать исполнение обещанного. Теперь Черчилль настаивал на саммите, с тем чтобы сберечь обнадеживающие перспективы, возникшие после смерти диктатора. Иными словами, переговоры были нужны независимо от того, что происходит внутри Советского Союза и кто контролирует советскую иерархию. Конференция на самом высшем уровне, утверждал Черчилль, могла бы решить вопрос принципов и направления будущих переговоров:

«На этой конференции не следует отдаваться во власть тщательно разработанной и жесткой повестке дня или углубляться в дебри и джунгли технических деталей, ревностно подтверждаемых ордами экспертов и чиновников, огромное число которых будет только давить на ход событий. Конференция должна включать в себя минимально возможное количество держав и лиц... Возможно, случится и так, что не будет достигнуто ни единого соглашения по острым и животрепещущим вопросам, но при этом у собравшихся может создаться такое общее для всех ощущение, что они смогут сделать что-нибудь более полезное, чем разорвать человеческую расу, включая самих себя, на мелкие кусочки»[695].

Но что конкретно Черчилль имел в виду? Как могли руководители стран выразить свою решимость не совершать коллективного самоубийства? Единственное конкретное предложение, высказанное Черчиллем, был призыв к заключению соглашения типа Локарнского пакта 1925 года, когда Германия и Франция признали границы друг друга, а Великобритания гарантировала защиту каждой из сторон от

агрессии со стороны другой (см. гл. 11).

Пример был не из лучших. Локарно прожило всего лишь десять лет, и при его помощи не было разрешено ни единого кризиса. Само представление о том, что Великобритания или любая другая нация могла быть столь индифферентна к сущности потенциального противостояния, что одновременно гарантировала бы (причем при помощи одного и того же инструмента) границу как своего союзника, так и основного противника, было достаточно безумным уже в 1925 году, а в эпоху идеологических конфликтов, воцарившуюся через три десятилетия, положение явно не улучшилось. Кто будет гарантировать какую из границ против каких опасностей? Уж не будут ли державы, встречавшиеся в Потсдаме, гарантировать все европейские границы против любой агрессии? В таком случае дипломатия совершала бы полный круг, возвращаясь к рузвельтовской идее «четырех полицейских». Или это означало бы, что сопротивление воспрещается до тех пор, пока его единодушно не разрешат все державы, участвовавшие в Потсдамском совещании? В таком случае подобная идея — «карт-бланш» для советской агрессии. Поскольку Соединенные Штаты и Советский Союз рассматривали каждую сверхдержаву как главную проблему для своей безопасности, какая совместная гарантия решала бы вопрос для них обеих сразу? Локарно было задумано как альтернатива военному союзу между Францией и Великобританией, и именно так было представлено парламенту и общественности. Подменит ли новое соглашение по модели Локарно уже существующие союзы?

Постановка вопроса Черчиллем не зависела, однако, от каких-либо конкретных позиций на переговорах. 1 июля 1953 года он отверг теорию, будто бы политика Кремля остается всегда неизменной, а Советский Союз каким-то образом является первым на свете обществом, не подвергающимся коренным переменам в ходе исторического процесса. По словам Черчилля, дилемма для Запада заключается в сочетании нежелания признать существование орбиты советских сателлитов и моральной неготовности пойти на риск войны, чтобы изменить эту ситуацию. Единственный выход — «разведка боем», которая определила бы намерения, проистекающие из новой советской реальности. Он писал Эйзенхауэру:

«Я не более, чем в Фултоне или в 1945 году, настроен на то, чтобы меня одурачили русские. Однако я полагаю, что имеют место изменения во всемирном соотношении сил, в основном вследствие американских действий и перевооружения, но также и

вследствие кризиса коммунистической философии, что оправдывает хладнокровное изучение фактов свободными нациями, остающимися едиными и сильными»[696].

Черчилль надеялся на то, что «десять лет смягчения обстановки плюс плоды научного творчества создадут новый мир»[697]. Он более не предлагал глобальное урегулирование, но провозглашал политику, которая позднее станет называться «разрядкой». Черчилль признал: затруднение, связанное с проведением политики «сдерживания» в ее первоначальном варианте, заключалось в том, что, независимо от глубины и точности анализа, эта политика пропагандировала выдержку как самоцель вплоть до того самого дня, когда где-то в отдаленном будущем советская система трансформирует сама себя. «Сдерживание» несет в себе весьма впечатляющие цели, но мало предлагает в смысле выдержки на пути к ее достижению. Альтернативным ему является немедленное всеобъемлющее урегулирование, которое представляет собой более легкий путь к менее заманчивой цели. А также несет в себе риск возникновения трений внутри Атлантического союза и прекращения интеграции Германии с Западом. Непомерная цена за любое мыслимое *quid pro quo*, если этого не запросят сами германские руководители! Черчилль предлагал то, что являлось срединным вариантом: мирное сосуществование, позволявшее времени делать свое дело при наличии менее жесткой долгосрочной советской политики.

Психологическая нагрузка эпохи конфронтации в отсутствие конкретного повода сказалась в изменении отношения со стороны Джорджа Ф. Кеннана. Понимая, что его первоначальная трактовка Советского Союза превращается в рациональное оправдание бесконечной военной конфронтации, он разработал концепцию всеобщего урегулирования, весьма сходную с той, какую, по-видимому, Черчилль имел в виду в 1944 - 1945 годах.

Основной целью так называемой «схемы разделения» Кеннаном ставился вывод советских войск из центра Европы. Ради этого Кеннан готов был заплатить сопоставимым выводом американских вооруженных сил из Германии. Страстно утверждая, будто Германия окажется в состоянии защитить себя обычным оружием, как это всегда имело место, особенно коль скоро советским войскам придется проходить через Восточную Европу, пока они не достигнут германских границ, Кеннан отвергал чрезмерные упования на применение ядерной стратегии. Он поддержал предложение польского министра иностранных дел Адама Рапацкого о

создании безъядерной зоны в Центральной Европе, которая включала бы в себя Германию, Польшу и Чехословакию[698].

Трудности, которые несли с собой схема Кеннана и план Рапацкого, были теми же, что возникли бы при осуществлении на практике положений «мирной ноты» Сталина: германская интеграция с Западом обменивалась на вывод советских войск из Восточной Германии и частично из Восточной Европы, что в отсутствие гарантий против советской интервенции для защиты коммунистических режимов привело бы к двойному кризису: одному в Восточной Европе и другому, связанному с нахождением для Германии ответственной национальной роли, которую, как выяснилось, точно определить оказалось невозможно начиная с 1871 года[699].

В свете расхожих представлений того времени концепция Рапацкого — Кеннана, в рамках которой увод американских войск на расстояние 3000 миль был эквивалентен отводу советских войск на расстояние нескольких сотен миль, несла в себе еще и риск придания дополнительных выгод той категории вооружений, по которой, как тогда полагали, налицо было советское преобладание. Ядерное же оружие клеймилось и осуждалось, ибо оно, как минимум, делало агрессию непредсказуемой для ее инициаторов. Точно так же в те времена рассуждал и я[700].

Черчилль, как и множество раз до этого, оказался провидцем, пусть даже на данный момент он не мог предложить адекватного решения. Общественность демократических стран не могла до бесконечности жить в обстановке конфронтации, если правительство не продемонстрирует ей, что испробовало все альтернативы конфликту. И если демократические страны не в состоянии были разработать конкретные программы ослабления напряженности с Советами, то и их общественность, и их правительства могли прийти в восторг от мирных инициатив, в которых им виделась бы давно ожидаемая трансформация советского общества, а на самом деле в основе этого мирного наступления не лежало бы ничего более существенного, чем перемена тональности советских заявлений. И если демократические страны не хотели отныне колебаться между крайностями непреклонности и умиротворения, то им следовало вести свою дипломатическую деятельность в весьма узких рамках: балансируя между бесконечной конфронтацией, которая становилась все более угнетающей по мере накопления ядерных запасов обеими сторонами, и такого рода дипломатией, которая убаюкивала восприятие

народами «холодной войны», не улучшая ситуации.

Но демократические страны на деле находились в выгодном положении, чтобы действовать в этих узких рамках, поскольку их сфера влияния была намного сильнее советской и поскольку экономический и социальный разрыв между сверхдержавами со временем мог только расширяться и углубляться. История, казалось, была на их стороне, при условии, что они смогут совместить воображение и дисциплину. Таким, по крайней мере, существовало рациональное обоснование политики разрядки, которую позднее стал проводить Никсон (см. гл. 28). По существу, эта политика явилась воспроизведением намеков Черчилля в письме Эйзенхауэру от 1 июля 1953 года, где он говорил, что «десять лет смягчения обстановки плюс плоды научного творчества» послужат созданию лучшего мира.

Наряду с Аденауэром Джон Фостер Даллес принадлежал к тем западным государственным деятелям, которые самым настоятельным образом возражали против риска утратить достигнутое с таким трудом единство Запада в обмен на неопределенные по характеру и исходу переговоры. Оценка Даллесом опасностей предложения Сталина и более поздних соображений сторонников теории разъединения была по существу правильной. Но она в определенном смысле страдала психологической уязвимостью, ибо Даллес утверждал, будто наилучшим способом сохранить западное единство является полный отказ от переговоров, как об этом свидетельствует предупреждение составителю речей Белого дома, сделанное в апреле 1953 года:

«...Существует настоящая опасность даже в том, если мы только для виду пойдем навстречу советским инициативам. Ведь совершенно очевидно, что их вынуждает на это только давление извне, и я не знаю лучшего для нас образа действий, чем наращивать это давление прямо сейчас»[701].

Подобными заявлениями Даллес заводил политику «сдерживания» в тупик. Демократическому обществу требовалась какая-то цель, оправдывающая «холодную войну», а не просто призыв к терпению и выдержке. Хотя политическая программа, лежащая на столе, была несовместима с интересами демократии, нужно было разработать альтернативную политическую концепцию мирной эволюции Центральной Европы — какую-то программу, которая бы делала упор на сохранении Германии в рамках западных институтов и одновременно предусматривала бы меры

по ослаблению напряженности вдоль разделительной линии в Европе. Даллес предпочитал не обращать внимания на наличие подобной необходимости и замораживать переговоры министров иностранных дел, остававшихся на знакомых позициях, с тем чтобы выиграть время для консолидации Атлантического союза и перевооружения Германии. Для Даллеса подобная политика исключала разлад между союзниками; для растерянного постсталинского руководства этим снималась необходимость напряжения при принятии болезненных решений.

Но как только советские руководители осознали, что демократические страны не будут оказывать нажим по центральноевропейским вопросам, то начали стремиться к необходимой для них передышке в отношениях с Западом посредством сосредоточения усилий на том, что Эйзенхауэр и Дагес назвали испытанием доброй воли: на Корее, Индокитае и Государственном договоре с Австрией. Но соглашения эти не стали пригласительным билетом на переговоры по Европе, как того хотел Черчилль в 1953 году. Увы! Они обернулись их суррогатом... В январе 1954 года встреча министров иностранных дел по германскому вопросу быстро зашла в тупик. Даллес и Молотов, по существу, пришли к одному и тому же выводу. Никто из них не хотел обращаться к методам подвижной дипломатии; каждый предпочитал консолидацию своей собственной сферы влияния посредством более рискованной внешней политики.

Однако позиции обеих сторон были далеко не симметричными. Пауза играла на руку непосредственно тактическим и внутривластным целям Москвы, но одновременно срабатывала в пользу американской долгосрочной стратегии, даже если все без исключения американские руководители этого не осознавали в полной мере. Поскольку Соединенные Штаты и их союзники не могли не выиграть гонку вооружений, а их сфера влияния обладала большим экономическим потенциалом, правильно воспринимаемые долгосрочные цели Советского Союза, по существу, предопределяли необходимость подлинного ослабления напряженности и реалистического урегулирования центральноевропейских проблем. Молотов избегал уступок, которые, какими бы болезненными они ни были, возможно, помогли бы Советскому Союзу избежать стратегического перенапряжения и спасли бы его в конечном счете от краха; Даллес исключал гибкий подход, за что пришлось заплатить ненужными внутривластными осложнениями и уязвимостью применительно к

советским мирным инициативам поверхностного характера, но что в итоге заложило основу конечной стратегической победы Америки.

Даллес использовал передышку, чтобы добиваться интеграции Германии внутри НАТО. Проблема введения Федеративной Республики в военную структуру Запада была весьма щекотливой. Французы не слишком-то жаждали видеть полностью перевооруженную Германию и не хотели жертвовать своей национальной обороноспособностью ради интегрированной оборонной системы Запада, включающей в себя Германию. Ибо это означало бы доверить обеспечение обороны своей страны в какой-то мере тем, кто десятилетие назад разорял Францию и этим ограничил ее возможности вести колониальные войны. Вот почему планы создания Европейского оборонительного сообщества натолкнулись на сопротивление Франции. Тогда Даллес и Антони Иден обратились к иной альтернативе: включению Федеративной Республики Германии в НАТО. Париж уступил давлению, однако настоял на том, чтобы британские войска на постоянной основе были размещены на германской земле. И когда Иден согласился на это предложение, Франция получила конкретную военную гарантию, в которой ей после первой мировой войны столь настойчиво отказывали англичане. Поэтому британские, французские и американские войска размещались в Германии как союзники Федеративной Республики. То, что началось как сталинская инициатива покончить с разделением Германии (что какое-то время опосредованно поддерживал Черчилль), кончилось подтверждением раздела Европы. По иронии судьбы Черчилль, защитник и пропагандист сфер влияния, в конце концов стремился смягчить последствия их возникновения и, возможно, уничтожить их вообще; в то время как Даллес, государственный секретарь в правительстве страны, всегда в принципе отвергавшей сферы влияния как таковые, оказался главным проводником политики, заморозившей их существование.

Америка, убедившись в наличии солидарности внутри собственной сферы влияния, решила, что теперь с русскими говорить безопасно. Но дело обстояло так, что по мере консолидации американского и советского блоков в Европе говорить постепенно становилось не о чем. Обе стороны чувствовали себя в значительной степени свободно в отношении согласия на проведение встречи на высшем уровне не потому, что хотели покончить с «холодной войной», а как раз именно потому, что на такой встрече не были бы затронуты какие бы то ни было вопросы фундаментального

характера. Черчилль ушел в отставку и на покой, Федеративная Республика была введена в НАТО, а Советский Союз решил, что сохранить собственную сферу влияния в Восточной Европе гораздо важнее, чем попытаться выманить Федеративную Республику из объятий Запада.

И потому Женевское совещание на высшем уровне, состоявшееся в июле 1955 года, оказалось бледной копией первоначально предложенного Черчиллем. Вместо того чтобы подвергнуть рассмотрению причины напряженности, руководители, приехавшие на эту встречу, даже не упоминали проблемы, породившие «холодную войну». Повестка дня охватывала широчайший диапазон тем, начиная от попыток каждой из сторон заработать пропагандистские очки и кончая стремлением разрешить проблемы отношений между Востоком и Западом при помощи психологического подхода на любительском уровне. Предложение Эйзенхауэра о введении политики «открытого неба», то есть права воздушной разведки территорий друг друга, не несло в себе никакого риска; ибо принятие его не открыло бы Советам ничего такого, что было бы им неизвестно из разведывательных данных и открытых источников информации, зато сняло бы покров тайны с загадок советской империи для американской разведки. Я знаю из первых рук, что принадлежавшие к окружению Эйзенхауэра авторы этого предложения, работавшие в основном под руководством Нельсона Рокфеллера, бывшего в то время советником президента, были бы весьма удивлены, если бы оно было принято. Да и отказ от него Хрущева не нес в себе никаких негативных последствий для Советского Союза. Вопрос о будущем Центральной Европы был спущен на уровень министров иностранных дел при отсутствии согласованных руководящих указаний.

Главным результатом встречи была демонстрация психологической необходимости передышки для демократических стран после десятилетия конфронтации. Твердо отвергая все конкретные сталинские предложения прежних лет, демократические страны теперь поддались на перемены в тональности советских высказываний. Они напоминали бегуна-марафонца, который, уже завидев линию финиша, уселся бы от усталости на обочине и позволил бы соперникам себя нагнать.

Эйзенхауэр и Даллес умело и тщательно отмежевывались от остатков предложений сталинской «мирной ноты» и многословных призывов Черчилля к встрече, настаивая на конкретных решениях по столь же конкретным проблемам. Но в конце концов они

сделали вывод, что ожидание внутренних перемен в Советском Союзе может повлечь за собой чересчур суровый вызов, а разработка альтернативных переговорных позиций просто разделит стороны. Политику «сдерживания» общественность примет только тогда, когда ей будет предложена какого-либо рода надежда на окончание «холодной войны». Но вместо выступления с собственной политической программой они стали жертвами того, чего сами больше всего опасались: роста тенденции интерпретировать менее вызывающий стиль поведения Хрущева и Булганина как знак кардинальных перемен в советском образе действий. Сам факт встречи, не носившей характера конфронтации, как бы мало, в сущности, она ни принесла, давал демократическим странам иллюзию надежды, что давно предсказанная трансформация советской системы уже началась.

Еще до начала встречи тон задал Эйзенхауэр. Отвергая прежнюю приверженность его администрации конкретным и тщательно проработанным достижениям, он обозначил цели дипломатических контактов Запада с Востоком в основном как психологические:

«Многие наши послевоенные конференции характеризовались чрезмерным вниманием к деталям, усилиями, откровенно направленными на разрешение отдельных проблем, а не установлением соответствующей атмосферы подхода к ним»[702].

Реакция средств массовой информации граничила с экстазом, и все они сходились на том предположении, что на этой встрече произошло нечто фундаментальное, хотя что именно, так и оставалось неясным. «Мистер Эйзенхауэр совершил нечто большее, чем победа над противником на поле боя, что ему было поручено десять лет назад, — говорилось в передовой статье „Нью-Йорк тайме“. — Он сделал такое, что битвы более не повторятся... Другие, возможно, противопоставили бы силе силу. Мистер Эйзенхауэр воспользовался своим даром втягивать других в собственный круг доброй воли, чтобы изменить подход, если не политическую линию небольшой группы гостей из-за Эльбы»[703].

Даже Даллес проникся «духом» Женевы. «Вплоть до Женевы, — заявил он через два месяца министру иностранных дел Великобритании Гарольду Макмиллану, — советская политика основывалась на нетерпимости, которая являлась лейтмотивом советской доктрины. Теперь советская политика основывается на терпимости, что

включает в себя добрые отношения со всеми...»[704] Встреча как таковая и окружавшая ее атмосфера оказались самодостаточны.

Принимая этот же образ мышления, Гарольд Макмиллан утверждал, что истинное значение Женевского совещания на высшем уровне заключается не в достижении каких-либо конкретных соглашений, а в личных отношениях между лидерами, которые оно помогло установить. Даже в стране, являющейся родиной дипломатии равновесия сил, атмосфера вдруг стала ключевым элементом внешней политики:

«Почему эта встреча дала заряд надежды и ожидания всему миру? Примечательны были не сами дискуссии... Воображение всего мира потряс тот факт, что имела место дружественная встреча между главами двух великих групп, на которые поделен мир. Эти люди, несущие на своих плечах непомерное бремя, встречались, разговаривали и шутили, как простые смертные... Я никак не могу отделаться от мысли, что летняя женевская идиллия — это не сон и не театральная постановка»[705].

Если бы история умела прощать, то она бы оценила правоту американских лидеров в их более ранних предположениях, что «холодная война» является результатом советских действий, а не советской риторики или чьего-то личного поведения. Отказ руководителей обеих сторон назвать своими именами причины напряженности привел к ее увековечению и ужесточению. Если сам факт встречи так подействовал на общественное мнение Запада, то какие могли быть у Советов дополнительные стимулы значительных уступок? И действительно, на политическом уровне на протяжении полутора десятилетий не возникал ни один.

Обособились сферы влияния по обе стороны германской демаркационной линии. Со времени образования НАТО и до момента открытия переговоров между демократическими странами и Советским Союзом, приведших к подписанию Хельсинкских соглашений 1975 года, единственными политическими переговорами были те, что явились следствием советских ультиматумов по Берлину. Дипломатия все время перемещалась в сферу контроля над вооружениями, что являлось обратной стороной подхода «с позиции силы». Сторонники такого подхода стремились превратить ограничение вооружений или контроль над ними в суррогат политического диалога; или, выражаясь языком политики «сдерживания», ограничить «позицию силы» низшим уровнем, приемлемым для отражения натиска. Но точно так же, как «позиция силы» не переходит автоматически в переговоры, контроль над

вооружением не переходит автоматически в ослабление напряженности.

Несмотря на то, что Женевское совещание восхвалялось на Западе как начало «оттепели» в «холодной войне», оно на самом деле дало толчок самой опасной ее фазе. Ибо советские руководители сделали из него совсем иные выводы, чем лидеры демократических стран. Наследники Сталина пришли в себя после всеобщей растерянности и неуверенности в том, а не воспользуются ли демократические страны всеобщей неурядицей, чтобы отыграть назад советские послевоенные завоевания. Ведь уже в июне 1953 года, всего лишь через три месяца после смерти тирана, новые советские руководители сумели подавить восстание в Восточном Берлине, формально в городе, находящемся под четырехсторонней оккупацией, без какой-либо реакции на это со стороны Запада. Запад же готов был ждать объединения Германии и не оказал сопротивления, а коммунистическому политическому контролю над Центральной и Восточной Европой делался вызов только на словах. И в итоге на Женевском совещании советское руководство получило аттестат хорошего поведения без серьезного рассмотрения каких бы то ни было проблем из числа тех, что привели к «холодной войне».

Убежденные марксисты, они сделали единственный вывод, совместимый с их идеологией: соотношение сил сдвигается в их пользу. Без сомнения, эта вера подкреплялась ростом, пусть даже относительно малым, запасов ядерного оружия и успехами в деле создания водородной бомбы. В своих мемуарах Хрущев так подводит итог этой встрече: «...Наши враги теперь поняли, что мы в состоянии отразить их нажим и видим все их трюки насквозь»[706]. В феврале 1956 года, через семь месяцев после совещания в Женеве, на том же самом съезде партии, где он осудил Сталина, Хрущев дал оценку международному положению, уничижительную для демократических стран:

«Общий кризис капитализма продолжает углубляться... Международный лагерь социализма оказывает всевозрастающее влияние на ход мировых событий... Позиция империалистических сил становится слабее...»[707]

Основной причиной непонимания лидерами демократических стран своих визави в СССР является настоятельное применение первыми критериев, выведенных на основании собственного внутреннего опыта, к советской номенклатуре. Это являлось глубочайшим заблуждением концептуального характера. Второе поколение советских

руководителей было сформировано таким прошлым, которое представлялось бы немислимым в условиях демократической страны. Прислужничество Сталину гарантировало психологическую деформацию. Только безудержный карьеризм и безграничная жажда власти давали возможность выдержать всепроникающий страх, порожденный угрозой смерти или жизни в ГУЛАГе за малейший ложный шаг, — а то и в связи с переменой политики со стороны самого диктатора.

Поколение, выросшее при Сталине, могло уменьшить для себя личный риск только услужливостью по отношению к прихотям хозяина и систематическим доношением на своих коллег. Свое кошмарное существование они делали более терпимым лишь при помощи страстной веры в систему, которой они обязаны были своими карьерами. И лишь следующее поколение советских руководителей испытает шок разочарования в иллюзиях.

Как раскрывают материалы по Сталину в мемуарах Громыко, подчиненные Сталина прекрасно знали о зверствах, творимых во имя коммунизма[708]. И все же они успокаивали свою совесть, и так не слишком-то развитую, тем, что приписывали сталинизм абберациям отдельно взятой личности, а не фиаско коммунистической системы. Кроме того, у них было мало возможностей для сосредоточенных раздумий, ибо Сталин следил за тем, чтобы происходила постоянная смена высшего руководства. А уход с должности при сталинском режиме вовсе не означал возвращение к нормальной жизни в «частном секторе»; ибо для тех немногих счастливых, кому удалось уцелеть, это означало публичное поношение и полную изоляцию от прежних коллег.

Болезненная подозрительность, ставшая образом жизни советской номенклатуры, была характерна для ее поведения и в период, непосредственно следовавший за смертью Сталина. Преемники Сталина провели почти пять лет в борьбе за всю полноту власти: в 1953 году был казнен Берия; в 1955 году был снят со своего поста Маленков; в 1957 году Хрущев одержал победу над так называемой «антипартийной группой» Молотова — Кагановича — Шепилова — Маленкова, а в 1958 году он приобрел абсолютную власть после смещения Жукова. Этот бесконечный кругооборот сделал ослабление напряженности с Западом необходимостью для кремлевского руководства, хотя и не помешал им продавать оружие Египту или подавлять венгерскую революцию.

Перемена тональности со стороны советского руководства не означала принятие им западного представления о мирном сосуществовании. В 1954 году, когда Маленков говорил об опасности ядерной войны, он, пожалуй, впервые отразил нарождающееся беспокойство Советского Союза по поводу реалий ядерного века. В равной степени возможно и то, что он попытается подорвать уверенность демократических стран в оружии, на котором они основывали свою безопасность. Осуждение Хрущевым Сталина могло быть сигналом смягчения коммунизма, но он четко воспользовался этим как оружием против бывших приближенных Сталина, являвшихся главной его оппозицией, и как средством достижения контроля над Коммунистической партией.

Верно, что у Хрущева хватило смелости разделаться с Берией, или, по крайней мере, он признал необходимость этого хотя бы ради собственного выживания; к тому же он умело экспериментировал как с интеллектуальной «оттепелью», так и с десталинизацией в Восточной Европе. Хрущев был предтечей Горбачева в том, что начал процесс перемен, смысл которого он не понимал и конечное развитие которого привело бы его в отчаяние. Под этим углом зрения можно было бы сказать, что крах коммунизма начался с Хрущева.

Крах оказался столь всеобъемлющим, что вызывает искушение кое у кого забыть, как отчаянно Хрущев бросал вызовы международному сообществу. У него был крестьянский инстинкт нащупывать нервные сплетения у стран, чью идеологию он определял как империалистическую. Хрущев спровоцировал ближневосточный кризис, предъявил серию ультиматумов по Берлину, поощрял войны за национальное освобождение и разместил ракеты на Кубе. Но, причиняя Западу множество неудобств, Хрущев не добился никаких выгод постоянного характера для Советского Союза, поскольку он умел начинать кризисы, но не знал, как их разрешать. И поскольку, несмотря на первоначальное замешательство, Запад в конце концов находил ответ, результатом агрессивных действий Хрущева была огромнейшая растрата советских ресурсов в отсутствие какой бы то ни было выгоды стратегического плана и потрясающее унижение во время Кубинского ракетного кризиса.

Женевская встреча 1955 года явилась отправной точкой всех этих трех авантюр. По пути домой из Женевы Хрущев остановился в Восточном Берлине, где признал суверенность восточногерманского коммунистического режима. Сталин на подобный

шаг не пошел. На весь оставшийся период «холодной войны» вопрос объединения Германии исчезнет из международной повестки дня, поскольку Москва отнесла его к компетенции переговоров между двумя германскими государствами. А поскольку политическая ценность этих государств была несопоставимой и ни одно из них не собиралось совершать самоубийства, объединение могло произойти лишь в результате политического краха одного из них. Таким образом, Берлинский кризис 1958 — 1962 годов был порожден Женевой.

В 1955 году, через десять лет после смерти Рузвельта, наконец-то настало послевоенное урегулирование в Европе, но не путем переговоров между победителями во второй мировой войне, а в результате их неспособности провести переговоры по урегулированию. Произошло как раз то, чего Рузвельт так старался избежать: в центре континента оказались друг против друга два вооруженных лагеря, а Америка приняла на себя ощутимые обязательства военного характера в Европе, то есть произошел раздел сфер влияния во всех смыслах. Но именно этот раздел и обеспечил определенную стабильность. Германский вопрос хотя и не был разрешен, но, по крайней мере, оказался в центре внимания. Советам пришлось смириться с существованием западногерманского государства, если не признать его, а американцы вынуждены были сделать то же самое в отношении Восточной Германии.

Но Никита Хрущев был не из тех, кто позволил бы американской сфере влияния процветать безнаказанно. Он стал бросать вызов Западу в таких местах международной арены, которые Сталин всегда считал стоящими вне границ советской сферы государственных интересов, благодаря чему горячие точки советско-американского соперничества сдвинулись за пределы Европы. Первая из этих горячих точек проявилась тогда, когда возник так называемый Суэцкий кризис 1956 года.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. «Сдерживание» в виде чехарды: Суэцкий кризис

Все разговоры о мирном сосуществовании, порожденные Женевской конференцией 1955 года, не меняли основополагающей реальности: удаленные друг от друга Соединенные Штаты и Советский Союз, преобладающие в мире державы, оказались в состоянии геополитического соперничества. Выигрыш для одной из сторон являлся в широком плане проигрышем для другой. К середине 50-х годов американская сфера влияния в Западной Европе процветала, а готовность Америки защищать эту сферу при помощи военной силы отвращала советский авантюризм. Но затишье в Европе не означало затишья во всем мире. В 1955 году, ровно через два месяца после Женевской встречи на высшем уровне, Советский Союз совершил крупную сделку с Египтом посредством бартерного обмена оружия на хлопок, которого тогда в Египте было в избытке. Это явилось смелым шагом, распространившим советское влияние на Ближний Восток. Сделав подобную заявку на установление влияния в Египте, Хрущев как бы «перепрыгнул» санитарный кордон, установленный Соединенными Штатами вокруг Советского Союза, поставив перед Вашингтоном задачу противостояния Советам в тех районах, которые прежде считались находящимися в безопасном тылу западной сферы влияния.

Сталин никогда не делал ставок на развивающийся мир, беря под сомнение надежность Советского Союза. Ибо полагал, что эти территории находятся далеко от дома и слишком нестабильны, их лидеров трудно контролировать, а Советский Союз еще не настолько силен, чтобы предаваться столь дальним авантюрам, — хотя, возможно, со временем рост советского военного могущества изменил бы его точку зрения. Еще в 1947 году Андрей Жданов, бывший в то время одним из ближайших советников Сталина, все еще называл Ближний и Средний Восток районом, где господствуют американские и британские империалисты, соперничая друг с другом[709].

Советские руководители не могли не отдавать себе отчета в том, что их первая продажа оружия в развивающуюся страну подольет масла в огонь арабского национализма, сделает арабо-израильский конфликт еще более неразрешимым и будет воспринята как крупномасштабный вызов западному преобладанию на Ближнем

Востоке. К тому времени как рассеется дым, Суэцкий кризис лишит как Великобританию, так и Францию статуса великой державы. За пределами Европы Америка отныне будет обязана защищаться в «холодной войне» преимущественно в одиночестве.

Первый ход Хрущева был достаточно осторожным. Советский Союз вообще не фигурировал при первоначальной продаже оружия, хотя камуфляж вскоре был отброшен. Каким бы замаскированным он ни был, но приход советского оружия на Ближний Восток явился нажимом на нервные окончания Западной Европы, особенно Великобритании, для которой Египет после Индии представлял собой наиболее существенное наследие имперского прошлого. В XX веке Суэцкий канал стал основной нефтеносной артерией для Западной Европы. Даже в ослабленном состоянии непосредственно по окончании второй мировой войны Великобритания продолжала считать себя преобладающей державой на Ближнем и Среднем Востоке. В своей политике она опиралась на два столпа: на Иран, поставлявший нефть через совместную «Англо-Иранскую компанию», и на Египет, как на стратегическую базу. В 1945 году по инициативе Антони Идена была создана Лига арабских стран, как политическая основа противостояния постороннему проникновению на Ближний и Средний Восток. Значительное количество британских войск находилось в Египте, Ираке и Иране. Британский военнослужащий, генерал Джон Глабб (Глабб-паша), командовал иорданским «Арабским легионом».

В 50-е годы весь этот мир распался. Под аплодисменты первого поколения только что получивших независимость стран иранский премьер-министр Мосаддык национализировал в 1951 году иранскую нефтяную промышленность и потребовал вывода английских войск, защищавших нефтеперерабатывающий комплекс в Абадане. Великобритания более не считала себя достаточно сильной, чтобы предпринять военные действия столь близко от советской границы без американской поддержки, а таковая оказана не была. Однако Великобритания полагала, что у нее все еще имеется опорная позиция в виде крупной базы на Суэцком канале.

Мосаддык поплатился за свой вызов через два года, когда при поддержке Соединенных Штатов он был свергнут в результате заговора. (В те времена Вашингтон все еще полагал тайные операции более законными, чем военное вмешательство.) Однако преобладающее влияние Великобритании в Иране так и не

было восстановлено. А к 1952 году военные позиции Великобритании в Египте тоже стали шаткими. Молодые офицеры, настроенные националистически и антиколониалистски, причем эти настроения были характерны для всего региона, свергли продажного короля Фарука. Ведущей фигурой среди них был полковник Гамаль Абдель Насер.

Сильная личность, обладавшая значительным шармом, Насер усилил свою харизму, обратившись к арабскому национализму. Для него было глубочайшим оскорблением поражение арабов в войне 1948 года с Израилем. В организации еврейского государства он усматривал кульминацию векового колониального господства со стороны Запада. Он был преисполнен решимости вытеснить Великобританию и Францию из региона.

Появление на сцене Насера сделало явным тлеющий конфликт между Соединенными Штатами и их основными союзниками по НАТО по вопросу колониализма. Еще в апреле 1951 года Черчилль, тогда еще лидер оппозиции, стал призывать к совместным действиям на Ближнем и Среднем Востоке:

«Мы уже не настолько сильны, чтобы единолично взваливать на себя в полном объеме политическое бремя, до того лежавшее на наших плечах в Средиземноморье, или принимать на себя ведущую роль в дипломатическом контроле за данным театром. Но Соединенные Штаты и Великобритания при помощи Франции... втроем окажутся в наиболее сильном положении при разрешении египетской проблемы и всего комплекса вопросов защиты Суэцкого канала»[710].

Но когда дело касалось Ближнего и Среднего Востока, Америка отказывалась от роли, которую играла в Греции и Турции, и, отвергая старую европейскую политику, не позволяла связывать себя с колониальной традицией. Как Трумэн, так и Эйзенхауэр решительно выступили против британских военных действий в Иране и Египте, официально основываясь на том, что споры подобного рода должны разрешаться через Организацию Объединенных Наций. На самом деле они не хотели, чтобы их воспринимали как наследников колониальной Великобритании, которую они совершенно справедливо политически сочли несостоятельной

И все же Америка поверила в собственные иллюзии, одна из которых заключалась в том, что движение за независимость в мире развивающихся стран идет параллельно ее собственному опыту и что поэтому новые нации поддержат американскую

внешнюю политику, стоит им только понять, что отношение США к колониализму резко отлично от отношения старых европейских держав. Но лидеры движений за независимость ничуть не походили на американских «отцов-основателей». Пользуясь риторикой демократии, они не отдавали себя до конца во власть ее принципов, как это сделали составители американской конституции, которые искренне верили в систему справедливого воздаяния за содеянное. Подавляющее большинство руководителей развивающихся стран было авторитарными правителями. Многие — марксистами. И почти все усматривали в конфликте «Восток — Запад» возможность опрокинуть то, что они называли «старой империалистической системой». Как бы Америка ни отмежевывалась от европейского колониализма, американские руководители, к величайшему своему огорчению, обнаруживали, что в развивающихся странах их рассматривают как полезных помощников из империалистического лагеря, но уж ни в коем случае не как настоящих партнеров.

В итоге Америка была втянута в ближневосточные и средневосточные дела той же теорией «сдерживания», предусматривавшей противостояние советской экспансии в любом регионе, и доктриной коллективной безопасности, которая поощряла создание организаций типа НАТО для противодействия фактической или потенциальной военной угрозе. Однако по большей части нации Ближнего и Среднего Востока не разделяли стратегических воззрений Америки. Они рассматривали Москву в первую очередь как полезный рычаг для извлечения уступок у Запада, а не как угрозу своей независимости. Многие из этих новых наций с успехом делали вид, будто захват их коммунистами более опасен для Соединенных Штатов, чем для них самих, и потому им нечего платить какую бы то ни было цену за защиту со стороны Америки. И кроме всего прочего, правители-популисты типа Насера не мыслили для себя будущего в отождествлении с Западом. Они хотели, чтобы изменчивая общественность стран Востока воспринимала их как людей, обеспечивших не только независимость, но и свободу маневра в отношении демократических государств. Неприсоединение для них было не только внешнеполитическим выбором, но и внутривластной необходимостью.

Поначалу ни Великобритания, ни Америка не осознали до конца, что собой представляет Насер. Обе страны действовали, исходя из предположения, будто бы противостояние Насера их политике связано с каким-то конкретным набором обид и

может быть сведено на нет. И даже если для проверки истинности этой гипотезы существовал, предположим, хотя бы один шанс, им так и не воспользовались из-за существенных различий в подходе к проблеме со стороны демократических стран. Великобритания пыталась добиться от Насера признания ее исторического преобладания, а Соединенные Штаты желали вовлечь Насера внутрь системы своей грандиозной стратегии «сдерживания». Советский Союз тотчас же увидел для себя возможность обойти с фланга «капиталистическое окружение» и завести себе новых союзников, снабжая их оружием, но (в отличие от Восточной Европы) не беря на себя ответственность за их внутреннюю форму правления. Насер умно использовал столкновение всех этих побудительных мотивов, чтобы противопоставить соперников друг другу.

Поток советского оружия, поступающий на беспокойный Ближний Восток, ускорил этот процесс. Лучшим ответом со стороны Великобритании и Соединенных Штатов была бы изоляция Насера до тех пор, пока не стало бы очевидным, что советское оружие ничего ему не принесло, а за этим, если бы Насер более не поддерживал связей с Советским Союзом или, еще лучше, был бы заменен на более умеренного руководителя, им следовало бы выступить с какой-либо великодушной дипломатической инициативой. Такой была американская стратегия в отношении Анвара Садата через Двадцать лет. В 1955 году демократические страны избрали противоположную тактику: они изо всех сил пытались умиротворить Насера, идя навстречу многим из его требований.

Подобно миражам в пустыне, надежды держав-«аутсайдеров» испарялись, как только делалась попытка воплотить их в жизнь. Великобритания обнаружила, что как бы она ни старалась, ее военное присутствие в регионе все равно оказывается не по вкусу местным правительствам. А шизофренические попытки Америки отделить себя от британской ближневосточной политики, с тем чтобы сделать Насера партнером Великобритании в масштабах глобальной антисоветской стратегии, так ничего и не дали. У Насера не было осязаемого стимула порвать связи с Советским Союзом. Его побудительные мотивы оказались прямо противоположны, и он пытался сбалансировать каждое из преимуществ, полученных от Соединенных Штатов, с каким-либо шагом в сторону Советов или нейтралистских радикалов, а еще лучше тех и других сразу. Чем больше Вашингтон пытался привлечь на свою сторону Насера,

тем больше тот тяготел к Советам, тем самым поднимая планку и прикидывая, как бы вдоволь пожить за счет Соединенных Штатов.

По ходу дела Советский Союз тоже испытывает разочарование в отношении группы неприсоединившихся стран. Ранние этапы проникновения на Ближний Восток приносили Советам одни лишь выгоды. За ничтожную плату со стороны Москвы демократические страны были поставлены Москвой в положение обороняющихся. Имел место рост внутривосточных конфликтов, ибо советское присутствие стало ощутимо в тех районах, которые до того безоговорочно принадлежали западной сфере влияния. Однако по прошествии времени обуреваемые страстями советские ближневосточные прислужники вовлекали Москву в ситуации, чреватые непропорциональным ожидаемой выгоде риском. А как только Советский Союз пытался соотнести риск со своими национальными интересами, это влекло за собой недовольство, если не сказать презрение, со стороны новоявленной клиентуры. Такой оборот событий позволял западной дипломатии продемонстрировать неспособность Советов добиться поставленных их клиентурой целей, кульминацией чего стал поворот Саудата в сторону от Москвы, начавшийся в 1972 году.

Великобритания оказалась первой, кому пришлось распрощаться с иллюзиями относительно Ближнего и Среднего Востока. Ее военная база на Суэцком канале считалась одним из последних значительных империалистических аванпостов, персонал которой насчитывал порядка 80 тыс. военнослужащих. И все же Великобритания была не в состоянии держать крупные силы в зоне Суэцкого канала при наличии оппозиции со стороны Египта и в отсутствие американской поддержки. В 1954 году под давлением Соединенных Штатов Великобритания согласилась вывести войска с суэцкой базы в 1956 году.

Американские руководители пытались совместить два несовместимых подхода: покончить с имперской ролью Великобритании и одновременно эксплуатировать остатки британского влияния для создания на Ближнем и Среднем Востоке структуры «сдерживания». Администрация Эйзенхауэра разработала концепцию «Северного пояса наций». В его состав входили Турция, Ирак, Сирия и Пакистан, а позднее его участником мог бы стать Иран. Будучи средневосточной версией НАТО, этот блок имел бы целью «сдерживать» Советский Союз вдоль его южных границ.

Концепция нашла свое практическое применение в созданном под эгидой

Великобритании Багдадском пакте, но он по ряду пунктов оказался дефектным. Чтобы союз был эффективным, он должен строиться на единстве целей, одинаковом восприятии общей для всех опасности и способности действовать рука об руку. Ничего подобного в Багдадском пакте не было. Разлад между нациями региона и вражда их друг к другу оказались сильнее, чем общий для них страх перед советской экспансией. Сирия отказалась присоединиться к пакту; Ирак, хотя и служил в течение двух лет штаб-квартирой пакту, был более озабочен отражением арабского радикализма, чем агрессивностью Советского Союза; Пакистан же видел угрозу своей безопасности не в Советском Союзе, а в Индии.

Да и вооруженные силы отдельных членов Багдадского пакта не годились для того, чтобы помочь соседям в случае нападения сверхдержавы; основной их целью было обеспечение внутренней безопасности. В довершение ко всему Насер, как наиболее динамичная сила в регионе, преисполненный решимости взорвать этот пакт, ибо воспринимал этот союз как зловредный маневр, направленный на восстановление колониального господства на Ближнем и Среднем Востоке и на изоляцию его лично и его товарищей-радикалов.

Слишком по-разному мыслящие, чтобы совместно разработать карательные меры противостояния советскому влиянию в регионе, Великобритания и Соединенные Штаты попробовали уговорить Египет отвернуться от Москвы, наглядно продемонстрировав преимущество принадлежности к западному лагерю. В связи с этим ставились две задачи: обеспечение мира между Египтом и Израилем и помощь Насеру в строительстве Асуанской плотины.

Мирная инициатива основывалась на вере в то, что создание в 1948 году еврейского государства силой оружия было основным источником арабского радикализма. Почетный мир, как представлялось, устранил ощущение унижения. Но в данный момент арабские радикалы и националисты не искали мира с Израилем, почетного или какого-то еще. Для них еврейское государство являлось чужеродным вкраплением в традиционно арабские земли, да еще на базе претензий двухтысячелетней давности и в виде искупления за страдания евреев отнюдь не по вине арабских народов.

И если бы Насер заключил настоящий мир с Израилем, то есть добился бы урегулирования, обеспечивающего сосуществование, то он бы утратил право на лидерство в арабском мире. Преисполненный решимости не уронить свой престиж в

глазах поддерживающих его арабов, Насер предложил, чтобы Израиль отдал весь Негев — южный пустынный регион, завоеванный в 1948 году и составляющий свыше половины территории Израиля, — и чтобы сотням тысяч палестинских беженцев, изгнанных в 1948 году, дано было право на возвращение[711].

Израиль никогда бы не согласился лишиться половины своей территории или разрешить репатриацию всех арабских беженцев, которые бы заполнили то, что осталось бы от государства. Чтобы выйти из этого положения, Израиль стал в ответ настаивать на заключении официального мирного соглашения при наличии открытых границ — просьба эта звучала довольно безобидно, но как раз это требование арабским лидерам было труднее всего удовлетворить, ибо оно подразумевало постоянное признание с их стороны существования нового государства. А поскольку Израиль требовал мира, не отдавая территории, а арабские страны требовали территорию, не определяя условий мира, тупик был неизбежен. Эти первые переговоры породили клише, которым следовал Египет вплоть до прихода к власти Салата, а остальной арабский мир — еще двадцать лет, пока в сентябре 1993 года не было подписано соглашение между ООН и Израилем.

Тогда же Соединенные Штаты и Великобритания расходились по множеству вопросов. Хотя Даллес благосклонно отнесся к стратегии «Северного пояса», он был раздражен тем, что руководство им приняла на себя Великобритания. Ему хотелось бы, чтобы Багдадский пакт имел своей опорой Египет, который, в свою очередь, отбивался от участия в пакте руками и ногами. Великобритания предпочла бы свергнуть Насера; Америка, какие бы неудобства ей ни причиняла сделка Египта с Советским Союзом относительно поставки оружия, считала более разумным приручить этого политика.

Желая восстановить свое сильно поколебленное единство, англо-американские руководители обратили затем свое внимание на широкомасштабный проект сооружения так называемой Асуанской высотной плотины: 365 футов в высоту и три мили в длину. Она возводилась на Верхнем Ниле, неподалеку от границы Египта с Суданом. Плотина должна была бы регулировать поступление воды в долину Нила, от плодородия которой с незапамятных времен зависело существование населения Египта и которая освободила бы жителей страны от ежегодной зависимости от разливов Нила.

Антони Иден, непримиримейший враг Насера, первым подал идею совместной англо-американской поддержки сооружения высотной плотины, причем львиную долю забот (около 90%) взяла бы на себя Америка. Почему Иден, жаждущий освободиться от Насера, вдруг стал главным защитником строительства Асуанской плотины, может быть объяснено лишь его стремлением укрепиться в дипломатическом плане на Ближнем Востоке и предвосхитить советскую попытку вслед за военной помощью приступить к экономическому проникновению. 14 декабря 1955 года Великобритания и Соединенные Штаты сделали официальное предложение о строительстве плотины в два этапа: для подготовительной стадии выделялись бы определенные ограниченные средства, и устанавливался размер и характер содействия на следующей стадии, включавшей в себя собственно строительство плотины.[712]

Это было странное решение. Два правительства брали на себя ответственность за осуществление монументального инженерно-финансового мероприятия, даже несмотря на желание сместить Насера, который все более сближался с Советским Союзом. Два действующих враждебной союзника утешали себя тем, что если первоначальный: дар не поможет завоевать Насера, то осуществление второго этапа работ сделает Египет финансово зависимым в той же мере, в какой строительство Суэцкого канала позволило в XIX веке Западу осуществлять финансовый контроль над Египтом.

Вместо того чтобы умерить пыл Насера, проект сооружения Асуанской плотины; лишь укрепил его в сознании собственной важности. С тем чтобы сохранить за собой рычаги воздействия при переговорах, он быстро совершил ряд действий в противовес, случившемуся. Мелочно торгуясь по поводу финансовых условий, он отверг американские попытки оказать помощь в проведении арабо-израильских переговоров. А когда Великобритания попыталась убедить Иорданию вступить в Багдадский пакт, разразились проегипетские бунты, которые вынудили короля Хусейна сместить Глабб-пашу, британского командующего «Арабским легионом», в марте 1956 года[713].

16 мая Насер объявил о непризнании правительства Чан Кайши и об установлении дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой.. Это был прямой выпад против Соединенных Штатов и лично Даллеса, глубоко преданного делу

поддержки Тайваня. В июне в Египет прибыл новый советский министр иностранных дел Дмитрий Шепилов с предложением о финансировании и строительстве Асуанской плотины, что позволило Насеру заняться своим любимым делом: сражаться сверхдержавы друг с другом.

19 июля Даллес рискнул наконец разрешить эту загадку. Признание египетским лидером коммунистического Китая оказалось последней каплей, вынудившей Даллеса преподать ему урок. Когда египетский посол прибыл из Каира с инструкциями принять все американские технические предложения, Даллес ответил, что Вашингтон пришел к выводу, что плотина находится вне пределов экономических возможностей Египта. Помощь оказываться не будет.

Даллес полагал, что он вполне подготовлен к отражению мощной египетской реакции на это. Он сказал Генри Люсу, издателю журнала «Тайм», что решение относительно Асуанской плотины было «шахматным ходом, которого дипломатия США не делала в течение долгого времени». Насер, утверждал он, «попал в адскую ситуацию, которая при любом способе разрешения может быть использована на благо Америки. Если он теперь обратится к русским, а те скажут „нет“, это подорвет всю сеть советских подачек во всем мире... Если Советы согласятся дать Насеру его плотину, тогда мы найдем способ объяснить странам-сателлитам, что их жизненные условия скудны потому, что Советы вбухивают миллионы в Египет»[714]. В замечаниях Даллеса, однако, отсутствовала готовность поддержать «значительный ход» и взять на себя в связи с этим значительный риск. Это был очередной пример свойственной Даллесу тенденции преувеличивать роль пропаганды, особенно за «железным занавесом».

Какой бы неосновательной ни была политическая подоплека, позволившая первоначально сделать предложение по поводу плотины, сам характер отзыва американского предложения не мог не вызвать к жизни крупномасштабный кризис. Французский посол в Вашингтоне Морис Кув де Мюрвиль (который потом станет у де Голля министром иностранных дел) точно предсказал то, что потом и случилось: «Они что-нибудь сделают с Суэцем. Это единственный способ для них затронуть западные страны»[715].

Выступая перед огромной толпой в Александрии 26 июля 1956 года, Насер дал ответ Даллесу, облекая свой выпад в форму призыва к арабскому национализму: «Это,

о сограждане, есть битва, в которую мы теперь вовлечены. Это битва против империализма, методов и тактики империализма, и битва против Израиля, авангарда империализма...

Арабский национализм делает успехи. Арабский национализм празднует победу. Арабский национализм движется вперед; он знает свою дорогу и он знает свою силу. Арабский национализм знает, кто его враги и кто его друзья...»[716]

Преднамеренно бросая вызов Франции, он заявлял толпе: «Мы никогда не скажем, что битва в Алжире — не наша битва». В середине речи он произнес имя Фердинанда де Лессепса, француза, построившего Суэцкий канал. Оно было сигналом для египетских вооруженных сил взять в свои руки контроль над каналом. Это позволило Насеру ближе к концу выступления объявить возбужденным слушателям: «В данный момент, когда я с вами говорю, другие ваши братья-египтяне... начали брать в свои руки компанию по эксплуатации канала и ее имущество и осуществлять контроль за судоходством на канале — на канале, расположенном на египетской территории, который... является частью Египта и который принадлежит Египту»[717].

Демократические страны по-разному оценили последствия собственных действий, явившихся прелюдией к Суэцкому кризису. Но так или иначе, ничего хорошего из этого не вышло. Иден, ставший в прошлом году премьер-министром после столь долгого ожидания, едва ли был в нужной форме для принятия решений под давлением обстоятельств. Быть непосредственным преемником Черчилля — и без того тяжкое бремя, к тому же за Иденом утвердилась репутация сильного человека, хотя в действительности британский премьер был слаб и психологически, и даже физически. Лишь за несколько месяцев до этого он перенес серьезную операцию, и ему требовалось постоянное медицинское наблюдение и лечение. Кроме того, Иден все еще находился в плену колониальных предрассудков высококолых. Свободно владея арабским, он сложился как личность в период британского господства на Ближнем и Среднем Востоке и готов был остановить Насера, если понадобится, даже в одиночку.

Франция была еще более враждебна Насеру. Основные ее интересы, связанные с арабским миром, были сосредоточены в Марокко и Алжире, причем первый был французским протекторатом, а второй — департаментом французской метрополии, где число проживающих французов достигало миллиона. Обе североафриканские страны находились в процессе обретения независимости, политика Насера давала им

эмоциональную и политическую опору. Советские поставки оружия породили перспективы превращения Египта в передаточную инстанцию для вооружения алжирских партизан. «Все это находится в трудах Насера, так же как гитлеровская политика зафиксирована в „Майн кампф“, — заявлял новый премьер-министр Франции Ги Молле. — Насер амбициозно рвется повторить завоевания ислама»[718].

Аналогия с Гитлером была не совсем уместной. Делая намек на то, что насеровский Египет решил покорять чужие страны, Ги Молле объявлял незыблемыми границы ближне- и средневосточных государств, которые арабскими националистами не признавались. Границы внутри Европы, за исключением балканских, отражали в своей основе общность истории и культуры. В противоположность этому границы на Ближнем и Среднем Востоке проводились иностранными, зачастую европейскими державами, чтобы облегчить их господство над регионом. В представлении арабских националистов, они разрезали арабскую нацию и отвергали общность арабской культуры. Устранение их не означало установления господства одной нации над другой; это был способ создания арабской нации, точно так же Кавур построил Италию, а Бисмарк создал Германию из мешанины суверенных государств.

Сколь бы неточна ни была эта аналогия, но стоило Идену и Молле поднять свой флаг на мачте корабля, сражающегося с умиротворением, как стало ясно, что они не отступят. Они, в конце концов, принадлежали к тому поколению, которое воспринимало умиротворение как смертный грех, а Мюнхен — как вечный упрек. Сравнение лидера с Гитлером или Муссолини для них означало, что возможности компромисса исключаются. Они должны или взять верх, или отказаться от претензий на верховенство — в первую очередь в собственных глазах.

На национализацию Суэцкого канала Иден и Молле реагировали яростно. На следующий день после речи Насера Иден направил Эйзенхауэру телеграмму: «Если мы не будем [твердо стоять на своем], наше и ваше влияние на всем Ближнем и Среднем Востоке будет, по нашему убеждению, окончательно подорвано»[719]. Через три дня в палате общин он отсекал какую бы то ни было возможность отступления:

«Не могут быть правительством Ее Величества признаны какие бы то ни было условия функционирования этого великого международного водного пути, оставляющие его под ничем не ограниченным контролем одной державы, которая, как показали недавние события, способна эксплуатировать его исключительно в

интересах национальной политики»[720].

Франция оказалась столь же тверда. 29 июля французский посол в Лондоне проинформировал британского министра иностранных дел, что Франция готова предоставить свои вооруженные силы под британское командование и вывести войска из Алжира для совместных действий против Египта[721].

Когда Даллес прибыл 1 августа в Лондон для консультаций, он, казалось, тоже разделял эту точку зрения. Заявляя, что контроль одной нации над Суэцким каналом является неприемлемым, особенно если эта нация — Египет, он настоятельно требовал:

«Следует найти способ заставить Насера выплюнуть то, что он пытается проглотить... Мы должны предпринять недвусмысленные усилия, чтобы заставить общественное мнение с одобрением отнестись к международной операции на канале... Следовало бы сделать возможным создание столь отрицательного мирового общественного мнения в отношении Насера, чтобы тот оказался в изоляции. А затем, если потребуется, предпринять военную операцию, она пройдет с гораздо большим успехом, чем если бы она предпринималась до этого, и не повлечет за собой отрицательных последствий серьезного характера»[722].

Даллес предложил в течение двух недель собрать в Лондоне конференцию по вопросам мореплавания и судоходства в составе двадцати четырех главных морских наций и выработать систему международного свободного судоходства по Суэцкому каналу,

Призыв Даллеса к конференции стал началом путаного, а для Великобритании и Франции — выводящего из себя и в итоге чреватого унижением процесса. Даже первый шаг Даллеса был попыткой соединить лексику непримиримости с дипломатией оттяжек и проволочек. Почти сразу же стало ясно, что в отношении кризиса между союзниками единодушия нет. Иден и Молле воспринимали свержение или унижение Насера как самоцель, а Эйзенхауэр и Даллес рассматривали кризис под углом долгосрочных отношений с арабским миром. Обе стороны действовали, основываясь на ошибочных предпосылках: Иден и Молле полагали, что устранение Насера восстановит ситуацию, которая была до его прихода к власти; Эйзенхауэр и Даллес, казалось, верили в то, что если не Насер, то какой-либо иной националистический лидер в регионе все же может быть вовлечен в создание ближне-

и средневосточной системы безопасности типа НАТО. Кроме того, они придерживались той точки зрения, что военные действия против Насера подольют масла в огонь арабского национализма, так что западное влияние на долгое время — жизнь целого поколения — будет подорвано; гораздо более мрачный сценарий, чем потеря контроля над каналом.

Ни одно из этих предположений не оказалось верным. Донасеровский Египет исчез навсегда. Националистические лидеры, сформировавшие себя по образу и подобию Насера, не поддавались пению сирен, прославлявших политику «сдерживания». Их главным переговорным плюсом была «холодная война» как таковая, которую они в той же степени эксплуатировали, в какой и осуждали. А самым существенным оказалось то, что эти лидеры в еще большей степени подогревали арабский национализм, так что речь уже шла либо о полной победе, либо о сокрушительном разгроме Насера.

С чисто аналитической точки зрения, Америка должна была бы согласиться с прогнозом Великобритании и Франции, что насеровский вариант воинствующего национализма является непреодолимым препятствием для конструктивной ближневосточной политики. Наглядная демонстрация того, что надежда на советское оружие никаких положительных результатов не принесет, могла бы предотвратить десятилетия беспорядков и возмущений в мире развивающихся стран. С этой точки зрения, было бы желательно встретить вызов Насера лицом к лицу. Однако если бы Соединенные Штаты осуществили разгром Насера, они все равно не смогли бы быть соучастниками восстановления Великобританией и Францией своего колониального господства. Иными словами, Америка должна была бы отойти в сторону от своих союзников — и то лишь в том случае, если бы это оказалось абсолютно необходимым — не в начале Суэцкого кризиса, а по его успешному завершении. И вслед за демонстрацией того, что расчет на советскую поддержку оказался для Египта губительным, следовало бы оказать поддержку умеренному преемнику Насера в проведении разумной националистической политики, примерно так, как Америка потом, в 70-е годы, отреагировала на Садата.

Демократические страны, однако, еще не были готовы к столь сложным стратегическим ходам. Великобритания и Франция не собирались в качестве предварительного условия свержения Насера удовлетворить многие из его требований

в случае прихода к власти более умеренного его преемника. А Америка не понимала, как важно для ее же собственной политики, чтобы два ее ближайших союзника по НАТО получили возможность приспособиться к новым обстоятельствам, не подрывая свой собственный имидж великих держав. Ибо, как только подорван имидж нации, пропадает и ее готовность играть ведущую роль в мировой политике. Вот почему Гарольд Макмиллан, бывший тогда канцлером казначейства, заявил эмиссару Даллеса, послу Роберту Мерфи, что если Великобритания сейчас не выступит против Насера, она «станет еще одними Нидерландами»[723]. Руководители Америки, однако, избрали для себя шанс победить радикальных националистов, вначале дипломатически отъединившись от Великобритании и Франции, а затем публично выступив против них и показав, насколько ограничены их возможности влиять на ближневосточные события по собственному усмотрению, — иными словами, доводя до их сведения, что их роль как великих держав на Ближнем и Среднем Востоке сыграна.

Рассматривая режим Суэцкого канала как вопрос юридического характера, Даллес сфокусировал свое внимание на возможном нарушении сложившихся трасс мирового судоходства и предложил весьма плодотворную правовую формулу для преодоления возможных препятствий свободному проходу через канал. Иден и Молле, однако, были преисполнены решимости не признавать национализации Суэцкого канала; они пытались превратить ее в повод для низвержения Насера или, как минимум, для его публичного унижения. Насер же в итоге заставил время работать на него, как часто делают революционеры после свершившегося факта. Чем дольше их действие остается без ответа, тем труднее вернуть все в прежнее положение — особенно путем применения силы.

Эйзенхауэр был категоричен в своем противодействии применению силы даже в поддержку публично провозглашенного Даллесом в Лондоне принципа свободного судоходства через Суэцкий канал. Даллес привез с собою письмо от президента Идену, в котором подчеркивалось «отсутствие мудрости даже в рассмотрении в данный момент вопроса использования военной силы...». При этом Эйзенхауэр зашел так далеко, что намекнул: односторонние британские действия могут повлечь за собой пересмотр готовности Америки сохранять членство в НАТО, что, соответственно, обрекало бы союзников Америки надеяться на милость Москвы. Если разразится

война, гласило письмо, прежде чем Великобритания отчетливо продемонстрирует, что исчерпала все мирные средства разрешения кризиса, то это «в самой серьезной степени повлияет на чувства наших народов в отношении западных союзников. Не хочу преувеличивать, но смею заверить вас: это может обостриться до такой степени, что будет иметь самые что ни на есть далеко идущие последствия»[724].

Казалось бы, трудно найти две такие страны, разрыв между которыми был бы до такой степени невозможен, как Великобритания и Соединенные Штаты. К тому же обе они руководились людьми, которых объединяла общность совместной деятельности в военные годы. Иден не мог поверить, что Эйзенхауэр от недовольства односторонним характером действий Великобритании и Франции перейдет к открытому противодействию. А Эйзенхауэр был убежден, что в итоге Франция и Великобритания не осмелятся действовать без поддержки Америки. Британские и американские руководители высоко ценили свои «особые отношения», которые подкреплялись партнерством военного времени и личной дружбой. Но во время Суэцкого кризиса на них крайне отрицательно повлияла фундаментальная несовместимость личностных подходов: британские лидеры сочли Даллеса ершистым визави на переговорах, а у Идена Лично выработалась к нему крайняя неприязнь.

Семейная традиция и личное призвание делали Джона Фостера Даллеса исключительно подходящей кандидатурой на пост государственного секретаря. Его дед Джон Фостер занимал должность государственного секретаря при президенте Бенджамине Гаррисоне; его дядя Роберт Лансинг был государственным секретарем в администрации Вильсона в период Версальской мирной конференции. Хотя Джон Фостер Даллес вплоть до весьма зрелого возраста был специалистом по корпоративному праву, любимым его занятием все же оставалась внешняя политика.

Американские государственные секретари традиционно отстаивали американскую Искключительность и универсальную применимость американских ценностей. Даллес ничем от них не отличался, разве что трактовка им этой исключительности носила скорее религиозный, чем философский характер. Первым его опытом в международных делах была деятельность в качестве главы протестантской комиссии по обеспечению всеобщего мира. Как-то он заявил с гордостью: «Никто в государственном департаменте не знает Библии лучше, чем я»[725]. И он стремился применять жесткие и негибкие принципы пресвитерианства к повседневному

осуществлению американской внешней политики. «Я убежден, — писал он в 1950 году, — что мы здесь нуждаемся в том, чтобы более ревностно отражать в собственном политическом мышлении и практической деятельности нашу религиозную убежденность, ибо человек сотворен Богом, и судьба его находится в руках Господних»[726]. Хотя Даллес представлял собой классический американский феномен, который для гладстоновского поколения англичан был бы ясен и понятен, послевоенное поколение британских руководителей отвергало его праведность и считало его скорее лицемером, чем носителем духовного начала.

К сожалению, привычка Даллеса читать проповеди своим собеседникам часто брала верх над его великолепным знанием международной политики и, в частности, над его вдумчивым анализом динамики советской системы. Черчилль называл Даллеса «суровым пуританином в очках, с огромным белым лицом, на котором рот выглядел грязной нашлепкой», а в более легкомысленные минуты именовал его «Даллитом» — «воплощением тоски и скуки». Иден с самого начала относился к Даллесу с явным недоверием. В 1952 году, еще до того, как Эйзенхауэр назначил Даллеса государственным секретарем, Иден высказал надежду, что его коллегой на этом посту окажется кто-нибудь другой: «Не думаю, что я сумел бы с ним сработаться»[727].

У Даллеса было множество качеств, сделавших его исключительно влиятельным. Его рабочая этика и принципиальность произвели огромное впечатление на Эйзенхауэра. Конрад Аденауэр воспринимал Даллеса как «самого великого человека» из всех, кого он знал, и как личность, «умеющую держать слово»[728]. Жесткая приверженность Даллеса концепции биполярного мира, бдительно-настороженное противостояние уговорам и нажиму, целью которых были бы уступки Москве, — эта суровая решимость делала его симпатичным для Аденауэра и других руководителей, опасавшихся сепаратной советско-американской сделки.

В Лондоне, однако, приверженность Даллеса принципам высокой морали воспринималась как лишнее доказательство разности перспективного мышления Лондона и Вашингтона. Даллес все время громогласно поддерживал провозглашенные Великобританией и Францией цели, но столь же неуклонно отвергал применение силы ради их осуществления. Он был исключительно богат идеями, как преодолеть кризис, однако при ближайшем рассмотрении все эти идеи оказывались подчиненными тактике проволочек, которые бы помешали Англии и

Франции взять курс на войну. Если бы Даллес был готов настойчиво проводить в жизнь свои собственные предложения, то как знать — возможно, они и послужили бы практической основой разрешения Суэцкого кризиса, с исходом не самым предпочтительным для Великобритании и Франции, но все же приемлемым.

И все же стоило Даллесу вернуться в Соединенные Штаты, как он отказался от применения силы даже в подкрепление своих же собственных предложений на конференции по вопросам морского судоходства, если эти предложения будут отвергнуты Насером. 3 августа он заявил:

«Мы не хотим... отвечать насилием на насилие. Мы хотим прежде всего выявить мнение множества жизненно заинтересованных наций, ибо полагаем, что все нации, кого это касается, включая Египет, с уважением отнесутся к трезвому мнению наций, являющихся участниками международного договора 1888 года и признающих его условия, направленные на их общее благо»[729].

Морализаторская риторика не меняла того факта, что отказ Даллеса от рассмотрения возможности применения силы загонял дипломатию союзников в тупик.

Единственным способом заставить Насера принять предложенный Даллесом режим Суэцкого канала было бы пригрозить ему британской и французской военной интервенцией в случае его отказа. И все же Даллес противопоставлял каждому из своих планов международного контроля над каналом собственное же категорическое заявление того или иного рода, отрицающее применение силы, что практически побуждало Насера эти планы отвергнуть.

Даллес поддержал призыв Великобритании и Франции созвать конференцию двадцати четырех основных пользователей канала, включая восемь стран — участниц Константинопольской конвенции 1888 года, установившей режим Суэцкого канала, который Насер попытался ликвидировать. Соединенные Штаты голосовали вместе с составившими большинство восемнадцатью странами, предложившими новый режим для канала, причем признавался египетский суверенитет над ним и участие египетского персонала в его эксплуатации, но участники" конференции де-факто делались управляющими каналом. Какими бы плодотворными ни были своевременно выдвигавшиеся Даллесом идеи, им сопутствовало полнейшее его нежелание прибегнуть для их реализации к иным мерам воздействия, кроме общественного мнения. Отвергая явное несоответствие между его предложениями и мерами, на

которые он готов пойти ради их реализации, Даллес настаивал на том, что в конце концов сила морального воздействия заставит Насера уступить. С его точки зрения, большинство людей «...с приличествующим уважением относится к мнению человеческого сообщества... И поэтому я верю в то, что на нынешней конференции будет выработано суждение такой моральной силы, которое позволит Суэцкому каналу и далее функционировать так же, как он функционировал уже сто лет, чтобы послужить в будущем интересам человечества мирным путем»[730]

Однако случилось так, что моральное давление оказалось недостаточным именно в той самой степени, в какой исключалось физическое применение силы. 10 сентября Насер отверг предложения Лондонской конференции по морскому судоходству.

Через три дня Даллес выдвинул еще одну оригинальную идею. На этот раз он предложил, чтобы канал эксплуатировала ассоциация пользователей и чтобы она же собирала плату за проход через канал при помощи своего рода корабельных линейных пикетов подле портов Порт-Саид и Суэц как раз за пределами египетских территориальных вод, по обе стороны канала. Если Насер не согласится, ассоциация пользователей обойдется без него, если он пойдет на это, то тем самым откажется от доходов от эксплуатации канала в пользу международного органа. Эта сложная и тщательно продуманная схема могла бы сработать, если бы Даллес, как и на конференции по морскому судоходству, не обесценил бы сам свое же предложение. На пресс-конференции 2 октября Даллес в очередной раз осудил применение силы. И вдобавок воспользовался этой возможностью, чтобы лишний раз прочесть лекцию Идену о неприемлемости представления о том, будто бы НАТО следует привлекать для разрешения кризисов типа Суэцкого:

«Существует определенное различие подходов к проблеме Суэцкого канала. Это различие покоится на вещах довольно фундаментального характера. В определенных районах три нации воедино связаны договорами, скажем, в границах действия Атлантического пакта... Там все трое... выступают воедино.

Другие проблемы связаны с другими районами и имеют то или иное отношение к так называемой проблеме колониализма. В связи с этими проблемами Соединенные Штаты играют несколько отличную, независимую роль»[731].

Правовая интерпретация Даллеса, однако, приобрела особую юридическую силу в будущем, когда все развернулось шиворот-навыворот. Ибо союзники Америки

воспользовались именно этой аргументацией, когда Америке потребовалась их поддержка во Вьетнаме и в прочих так называемых «внедоговорных районах». Так, например, во время войны на Ближнем Востоке 1973 года европейские союзники Америки запретили ей прокладку воздушного моста в Израиль над их территориями, перевернув наизнанку суэцкий сценарий. С той поры именно американские союзники отказывались распространять свои обязательства по НАТО за пределы четко очерченных границ этого договора. Ибо Великобританию и Францию в 1956 году буквально взбесила не только и не столько чисто правовая интерпретация ситуации Даллесом, сколько его подчеркнутый намек на то, что на Ближнем и Среднем Востоке Соединенные Штаты определяют для себя жизненно важные интересы совершенно иным способом, чем их европейские союзники.

Как особо наглую выходку это воспринял Лондон, ибо всего лишь за день до пресс-конференции Даллеса Иден телеграфировал Эйзенхауэру, что речь идет уже не о Насере, но о Советском Союзе:

«Мы про себя уже не сомневаемся в том, что Насер, нравится ему это или нет, на самом деле в настоящее время находится в руках русских, так же как Муссолини находился в руках Гитлера. Было бы столь же неэффективным выказать свою слабость Насеру, с тем чтобы привлечь его на свою сторону, как если бы такая слабость была выказана Муссолини»[732].

Для Идена заявление Даллеса означало, что Соединенные Штаты не согласны с его основополагающим заявлением относительно того, что истинная угроза Египту проистекает из Советского Союза. Он хотел поставить египетский вопрос в рамки теории «сдерживания», а Даллес, похоже, списал все дело в разряд колониальных споров, которых Соединенные Штаты, желая сохранить имидж моральной незапятнанности, якобы знать не знали.

Трудно поверить, чтобы Даллес не отдавал себе отчета в том, какую он ведет опасную игру. Хотя он и действовал, словно верил, будто американская публика лучше всего воспримет возвышенные, самоуверенно-морализаторские проповеди, но он ведь обладал обширным практическим опытом. Даллес так потом и не объяснил, чем руководствовался во время Суэцкого кризиса. Допустимо, однако, что он тогда разрывался между двумя противоречившими друг другу побудительными мотивами. С учетом его отношения к коммунизму, Даллес, по всей вероятности, соглашался с

анализом Идена и Молле относительно опасности советского проникновения на Ближний и Средний Восток. Возможно, этим объясняется сходство его интерпретации мотивов поведения Насера с иденовской, а также резкость его отказа в отношении Асуанской высотной плотины, резкость, которая удивила даже британский кабинет (в целом предупрежденный об этом шаге).

Но одновременно Даллес являлся государственным секретарем у президента, который был до такой степени страстным противником войны, каким может быть только опытный военный. Эйзенхауэра не интересовали нюансы баланса сил: даже если на Ближнем и Среднем Востоке в долгосрочном плане и существовала опасность для глобального равновесия, то Эйзенхауэр полагал, что Америка достаточно сильна, чтобы отразить ее на более позднем этапе, причем задолго до того, как встанет вопрос выживания. Для Эйзенхауэра Суэцкий кризис был не настолько угрожающим, чтобы удостоиться применения силы. Независимо от доброй улыбки на его лице, Эйзенхауэр был весьма сильной личностью и не слишком приятной в общении для тех, кто ему противоречил.

Как заявил однажды Дин Ачесон, эффективность действий государственного секретаря зависит от того, знает ли он, кто такой его президент. Даллес, безусловно, знал, а вот Иден и Молле, полагавшие, что Эйзенхауэр всего лишь номинальная фигура с приятной внешностью, не знали. Они предпочли не обратить внимания на намеки, содержащиеся в письме Эйзенхауэра Идену от 2 сентября относительно конференции по вопросам морского судоходства, где он еще раз предупреждал в отношении применения силы:

«...Народы Ближнего Востока и Северной Африки, а в определенной степени и всей Азии, и всей Африки консолидируются против Запада в такой степени, что, как я опасаюсь, этого нельзя будет преодолеть не только в течение жизни одного поколения, но и в продолжение целого столетия, особенно если не забывать об умении русских вносить смуту»[733].

Даллес оказался между решительным Эйзенхауэром и рассерженной группой европейских союзников. Иден и Молле перешли ту грань, когда отступление было еще возможно, и их бесило несоответствие между твердостью постановки Даллесом задач и постоянным отказом от средств практического их достижения. Они так и не поняли, до какой степени Эйзенхауэр был убежденным противником применения

силы и до какой степени решающей была его точка зрения. Для Даллеса пропасть между его союзниками и Насером представляла меньшую проблему, чем пропасть между президентом и его личными друзьями в Европе. Он делал ставку на собственную одаренность и ловкость, чтобы маскировать эту пропасть, в надежде на то, что время может изменить точку зрения либо их, либо Эйзенхауэра, а то и вынудит Насера совершить какую-то ошибку, и эта ошибка разрешит дилемму. А в итоге — Даллес вынудил Францию и Великобританию рискнуть всем.

Дилемма даллесовской тактики нашла свое полное отражение в вопросе одного из журналистов на пресс-конференции 13 сентября: «Господин секретарь, коль скоро Соединенные Штаты объявили заранее, что не будут применять силу, и коль скоро Советский Союз оказывает пропагандистскую поддержку Египту, не отдает ли это козырные карты в руки Насеру?»[734] И хотя Даллес дал туманный ответ, будто бы победу одержит моральная сила, вопрос попал прямо в точку.

Растущие расхождения между демократическими странами заставили Кремль поднять ставки. Потрясши Вашингтон, он заменил западную помощь в деле сооружения Асуанской плотины своей собственной и увеличил объемы поставок оружия на Ближний Восток. Неистовствующий Хрущев заявил югославскому послу: «Не забывайте, что, если начнется война, мы будем всемерно поддерживать Египет. Если бы ко мне пришел мой сын и сказал, что собирается добровольцем сражаться в Египте, я бы сам одобрил его решение»[735].

После пресс-конференции Даллеса 2 октября, когда тот вторично исключил применение силы, отчаявшиеся Великобритания и Франция решились действовать самостоятельно. До начала британско-французской военной интервенции оставалось лишь несколько тактических шагов. Одним из них было окончательное обращение к Организации Объединенных Наций, сыгравшей во всем этом весьма странную роль. Поначалу Великобритания и Франция, полагаясь на американскую поддержку, решили вообще не привлекать к этому делу Организацию Объединенных Наций, опасаясь солидарности группы неприсоединившихся стран с Египтом. Когда же дипломатические расхождения достигли предела, Франция и Великобритания все же обратились к Организации Объединенных Наций. Это было нечто вроде последнего отчаянного жеста, долженствующего продемонстрировать: из-за беспомощности международной организации у них не остается иного выбора, кроме как действовать

самостоятельно. Таким образом, Организация Объединенных Наций, призванная разрешать международные споры, превращалась в последний барьер, через который следует перескочить, прежде чем прибегнуть к силе, и даже в своего рода оправдание для подобного шага.

Неожиданно и на сравнительно короткий срок Организация Объединенных Наций оказалась на высоте положения. Частные консультации с египетским, британским и французским министрами иностранных дел привели к договоренности по шести принципам, которые были весьма близки к мнению большинства на конференции по вопросам морского судоходства. Были учреждены египетский оперативный совет управляющих и надзорный совет пользователей каналом. Споры между двумя советами подлежали разрешению посредством арбитража. Эйзенхауэр был в восторге, когда он выступил перед телезрителями 12 октября:

«У меня есть новость. У меня, как мне кажется, есть самая лучшая на сегодня для Америки новость.

Ход урегулирования Суэцкого спора сегодня днем в Организации Объединенных Наций оказался в высшей степени удачен. Египет, Британия и Франция встретились друг с другом в лице своих министров иностранных дел и договорились о совокупности принципов, на основе которых вести переговоры; и, похоже, дело обстоит так, что теперь очень крупный кризис остался у нас за спиной»[736].

Хотя Эйзенхауэр и не сказал прямо: «Вот-вот настанет мир», — но радость, вызванная его заявлением, все равно оказалась преждевременной. На следующий же вечер, 13 октября, когда от Совета Безопасности ожидалось подтверждение «шести принципов», произошел неприятный сюрприз. Двумя отдельными этапами голосования принципы были одобрены единогласно, но меры по их воплощению в жизнь были забаллотированы Советским Союзом, наложившим вето.

«Шесть принципов» были последним шансом урегулирования кризиса мирным путем. Американское давление на Египет могло бы побудить эту страну обратиться к Советскому Союзу, чтобы тот снял свое вето, если, конечно, предположить, что вето возникло не в результате предварительного сговора этих стран. Затем, конечно, следовало ожидать американского давления на Советский Союз — предупреждения, что в случае прямого противостояния Соединенные Штаты выступят на стороне своих союзников. И это, возможно, удержало бы Советский Союз от приверженности

наложенному им вето. Но Соединенные Штаты преисполнились решимости как сохранить дружбу со своими союзниками, так и одновременно не закрывать пути к сближению с группой неприсоединившихся стран. Попытка Америки силком свести воедино самостоятельные, не связанные друг с другом направления политики сделала войну неизбежной.

Иден и Молле соглашались с каждой из формул, предложенных для того, чтобы избежать войны: с конференцией по вопросам мореплавания и судоходства, с учреждением ассоциации пользователей канала, а теперь и с «шестью принципами». В каждом отдельном случае начало было многообещающим; Америке ни разу не приходилось использовать свое дипломатическое влияние для того, чтобы открыть дорогу разработанным Даллесом или согласованным с ним предложениям. Но даже несмотря на то, что у Великобритании и Франции было множество вполне понятных причин прибегнуть к войне, они возложили на себя фатально тяжкое бремя тем, что разработали в качестве предлога очевидную до смешного стратегию. Разработанная Францией схема требовала, чтобы Израиль вторгся в Египет и стал продвигаться к Суэцкому каналу, а затем Великобритания и Франция стали бы настаивать на том, чтобы во имя свободы судоходства как Египет, так и Израиль отошли бы на десять миль от канала. В случае отказа Египта, который заранее имелся в виду, Великобритания и Франция оккупировали бы зону канала. Что бы предпринималось потом, остается неясным. План следовало пустить в ход за неделю до президентских выборов в Америке.

От этого замысловатого плана проиграли все. Во-первых, он абсолютно не вязался с дипломатией, проводимой с момента захвата Насером Суэцкого канала, ибо целью ее было установление какого-то подобия международного контроля над каналом. А поскольку все предлагавшиеся международные гарантии свободы навигации были отвергнуты, то следующим логическим шагом напрашивалось введение в действие Великобританией и Францией одного из этих отвергнутых планов при помощи силы. И хотя, без сомнения, их односторонние действия встретились бы с широчайшим их неприятием, они, по крайней мере, были бы понятны в свете предшествующей дипломатической деятельности. В противоположность этому реальный, предпринятый Францией и Англией маневр был чересчур прозрачен и чересчур циничен.

Каждому из партнеров было бы лучше, если бы они добивались своих целей независимо друг от друга. Великобритания и Франция поставили под сомнение свои претензии на статус великих держав, поскольку получилось, будто им не обойтись без помощи Израиля, чтобы приняться за Египет. Израиль утратил моральное преимущество, обретенное из-за отказа соседа обсуждать установление мира, тем, что позволил использовать себя как орудие колониализма. Позиция Великобритании в Иордании и Ираке, ключевых своих бастионах на Среднем Востоке, была ослаблена. Эйзенхауэр был глубоко оскорблен маневром, который явно увязывался с его предполагаемым нежеланием делать избирателей-евреев своими антагонистами в последнюю неделю предвыборной кампании[737]. Требуется особенное умение, чтобы найти такой внешнеполитический ход, который вбирал бы в себя недостатки каждого возможного курса, или создать такую коалицию, которая бы делала каждого из ее членов слабее. Великобритания, Франция и Израиль ухитрились в этом преуспеть.

Явно не обращая внимания на ожидающее их международное возмущение, Великобритания и Франция усугубили свои политические проблемы тем, что избрали для себя изощренную военную стратегию, внешне выглядевшую как преднамеренное промедление. 29 октября Израиль вторгся на Синай. 30 октября Великобритания и Франция потребовали, чтобы обе стороны отошли от канала, которого израильские войска еще не достигли. 31 октября Великобритания и Франция объявили, что введут свои сухопутные силы. И все же британские и французские войска высадились в Египте только через четыре дня, причем так и не выполнили поставленную им перед ними задачу захватить канал за те несколько дней, что они находились на этой территории.

Зато никто не рассчитывал, что Америку вдруг охватит праведное негодование. 30 октября, через сутки после исходного выступления Израиля, Соединенные Штаты поставили на голосование в Совете Безопасности жесткую резолюцию, требующую от израильских вооруженных сил «немедленно отойти... за установленные линии перемирия»[738]. Не было предъявлено требования осудить подстрекаемый Египтом терроризм или незаконную арабскую блокаду Акабского залива. Когда Великобритания и Франция вступили в конфликт 31 октября, Эйзенхауэр накинулся и на них в своем телевизионном обращении в тот же день:

«Точно так же, как самоочевидное право любой из этих наций — принятие подобных решений и совершение подобных действий, наше право — если это продиктовано нашим об этом суждением — с ними не соглашаться. Мы полагаем, что эти действия предприняты ошибочно. Ибо мы не принимаем использования силы в качестве мудрого и надлежащего способа урегулирования международных споров»[739].

Столь абсолютный отказ от применения силы вовсе не был принципом, распространяемым администрацией Эйзенхауэра на самое себя, — к примеру, когда она двумя годами ранее организовала свержение правительства Гватемалы. Не вела она себя так и двумя годами позднее, когда Эйзенхауэр приказал американским войскам вступить в Ливан. Зато теперь в первый и единственный раз Соединенные Штаты голосовали вместе с Советским Союзом против своих ближайших соратников. Эйзенхауэр заявил американскому народу, что, поскольку он ожидал применения Великобританией и Францией в Совете Безопасности права вето, он передаст вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, где права вето не существует.

2 ноября Генеральная Ассамблея потребовала положить конец военным действиям, проголосовав за это подавляющим большинством: шестьдесят четыре голоса против пяти. А во время заседания в ночь с третьего на четвертое ноября была вынесена еще более решительная резолюция, и началось обсуждение вопроса о направлении миротворческих сил ООН в зону Суэцкого канала. Это явилось символическим шагом для облегчения эвакуации британских и французских войск, ибо войска ООН никогда не находятся на территории суверенной страны против ее желания, а Насер наверняка бы потребовал их удаления.

К 5 ноября были сформированы миротворческие силы ООН. В тот же самый день Великобритания и Франция объявили, что их войска уйдут, как только силы ООН придут на место, — вероятно, не без задней мысли, что их войска могут стать частью контингента ООН. В довершение к мучительному для Америки объединению с Советским Союзом в деле унижения ее ближайших союзников советские войска в тот же самый день раздавили венгерских борцов за свободу, встретившись лишь с отрешенно вежливым «осуждением» со стороны ООН.

В ночь с 5 ноября, через неделю после британско-французского ультиматума и через двадцать четыре часа после того, как советские танки стали крушить венгерское

восстание, Советский Союз подал голос. Явный разрыв между Америкой и ее союзниками позволил Москве выступить в роли защитника Египта с минимальным риском, завалив всех буквально лавиной бумаг. Министр иностранных дел Шепилов написал председателю Совета Безопасности; премьер-министр Булганин обратился к Идену, Молле, Эйзенхауэру и премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону. Тема всех пяти посланий была одна и та же: «заранее запланированная агрессия» против Египта должна прекратиться; Организации Объединенных Наций следует предпринять совместные усилия на этот счет; Советский Союз готов сотрудничать путем предоставления своих военно-морских и военно-воздушных сил.

И, словно все эти заявления не носили достаточно угрожающий характер, в послании Булганина содержались конкретные предупреждения, приспособленные к каждому из адресатов. Иден, к примеру, удостоился первой четко выраженной советской угрозы применения ракет против западного союзника Америки, пусть даже в форме риторического вопроса:

«В каком положении оказалась бы Великобритания, если бы она была атакована более сильными государствами, обладающими всеми видами современного разрушительного оружия? А ведь эти страны могут в настоящее время воздержаться от направления морских или воздушных сил к берегам Британии и воспользоваться иными средствами — например, ракетным оружием»[740].

И чтобы это было правильно понято, Булганин прибавил еще одно угрожающее заявление: «Мы полны решимости сокрушить агрессоров силой и восстановить мир на Ближнем Востоке»[741]. Точно такие же предупреждения были направлены Молле. А послание Бен-Гуриону хотя и было менее конкретным, зато еще более устрашающим, поскольку там подчеркивалось, что действия Израиля «ставят под угрозу само существование Израиля как государства»[742].

И наконец, в послании Эйзенхауэру Булганин предлагал предпринять совместную советско-американскую военную акцию, чтобы положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Он даже зашел до такой степени далеко, что сделал намек на третью мировую войну: «Если эта война не будет пресечена, то она может принести с собой опасность перерастания в третью мировую войну»[743]. А поскольку это заявление исходило от единственной, кроме Америки, страны, способной начать такого рода войну, то намек был весьма зловещим.

Советские угрозы несли в себе бесшабашную браваду, которая являлась отличительной чертой хрущевской дипломатии. В тот самый момент, когда советские войска со зверской жестокостью давили борцов за свободу в Венгрии, Советский Союз лицемерно оплакивал судьбу предполагаемых жертв западного империализма. Только безудержность характера могла позволить Хрущеву во весь голос угрожать третьей мировой войной в 1956 году, в то время как Советский Союз был безгранично слабее, чем Соединенные Штаты, особенно в ядерной области. Советский Союз не только не был готов к открытой схватке, но, как стало совершенно очевидно, Хрущев в таком случае был бы принужден к столь же позорному отступлению, как это на деле случилось через шесть лет в период Кубинского ракетного кризиса.

Эйзенхауэр с возмущением отверг предложение о совместных с Советским Союзом военных действиях и предупредил, что Соединенные Штаты выступят против любого советского одностороннего военного шага. Одновременно советское предупреждение интенсифицировало нажим Соединенных Штатов на Великобританию и Францию. 6 ноября давление на фунт стерлингов приобрело тревожные размеры. В противоположность прежнему образу действий Америка осталась в стороне и отказалась предпринять шаги по успокоению рынка.

Подвергшийся нападкам в палате общин, практически лишенный опоры со стороны стран Содружества, целиком и полностью брошенный на произвол судьбы Соединенными Штатами, Иден подошел к канатам ринга и показал белое полотенце. 6 ноября он согласился на прекращение огня, начиная со следующего дня. Британские и французские войска находились на месте менее сорока восьми часов.

Британско-французская экспедиция была из рук вон плохо продумана и полюбительски осуществлена; будучи запланирована от отчаяния и лишенная четкой политической цели, она была обречена на неудачу. Соединенные Штаты никогда не поддержали бы столь ущербное по сути предприятие. И все же остается гнетущий вопрос, должна ли Америка была отмежеваться от союзников столь грубо. Действительно ли Соединенные Штаты должны были выбирать одно из двух: поддержать британско-французскую авантюру или открыто ей противостоять? С правовой точки зрения, у Соединенных Штатов не было обязательств перед Великобританией и Францией за пределами четко очерченной территории, охватываемой НАТО. Но вопрос стоял не только и не столько правовой.

Действительно ли национальные интересы Соединенных Штатов заключались в том, чтобы научить уму-разуму двух ближайших союзников Америки до такой степени безжалостным образом, чтобы полностью лишить их возможности совершать самостоятельные действия?

Соединенные Штаты вовсе не были обязаны подталкивать Организацию Объединенных Наций на скоропалительные решения, что, однако, было сделано, или поддерживать резолюции, игнорировавшие источники провокации и целиком сконцентрированные на ее прямых последствиях. Соединенные Штаты могли бы обратить внимание на различные аспекты международного характера - на незаконную арабскую блокаду Акабского залива или на подстрекаемые Насером террористические рейды в глубь Израиля. Более того, они были обязаны связать осуждение британских и французских действий с осуждением советских действий в Венгрии. Действуя так, словно Суэцкий вопрос является исключительно морально-правовым и лишенным какой бы то ни было геополитической основы, Соединенные Штаты уходили от учета реального положения вещей. Они словно бы не видели, что безоговорочная победа Насера, при которой Египет не давал бы абсолютно никаких гарантий в отношении функционирования канала, была бы также победой радикальной политики, подпитываемой поставками советского оружия и поддерживаемой советскими угрозами.

Суть проблемы была концептуальной. Американские руководители во время Суэцкого кризиса выдвинули три принципа, каждый из которых отражал давнишние аксиомы: то, что американские обязательства в отношении своих союзников определяются конкретными документами юридического характера; что обращение к силе со стороны любой нации нетерпимо, за исключением узкопонимаемых случаев самозащиты; и, самое главное, что Суэцкий кризис открыл для Америки возможность реализовать на деле свое истинное призвание, а именно, быть лидером мира развивающихся стран.

Первое было подчеркнуто в обращении Эйзенхауэра 31 октября, где он обрушил на Великобританию и Францию всю дипломатическую мощь Америки. «Не может быть мира вне права. И не может быть такого права, когда мы будем требовать от тех, кто противостоит нам, одного кодекса международного поведения, а от наших друзей — другого»[744]. Представление, будто международные отношения целиком и

полностью определяются в рамках международного права, уходит своими корнями в глубь американской истории. Предположение, будто Америке следует вести себя как беспристрастному, базирующемуся только на нормах морали арбитру поведения стран, независимо от собственных национальных интересов, геополитики или союзных обязательств, является частью ностальгии по давно прошедшим временам. В реальном же мире дипломатия включает в себя, хотя бы отчасти, умение делать выбор в каждом отдельном случае и отличать друзей от оппонентов.

Строго конструктивистская точка зрения, заключающаяся в том, что единственным законным поводом для войны является самооборона, была выдвинута в декабре 1956 года Джоном Фостером Даллесом, который толковал статью I договора о создании НАТО именно как создающую подобное обязательство:

«...Вопрос заключается в том, что мы воспринимаем данное нападение при данных обстоятельствах как нарушающее Устав Организации Объединенных Наций и статью I собственно Северо-Атлантического пакта, требующую от всех договаривающихся сторон отказаться от применения силы и разрешать все свои споры мирным путем. В этом и заключается суть нашей жалобы: в том, что был нарушен договор, а не в том, что отсутствовали консультации»[745].

Никто до этого еще не интерпретировал статью I договора о Северо-Атлантическом пакте столь пацифистски; никто этого не делал и после. Само представление о том, что устав военного союза предусматривает обязательное для его членов требование разрешать все споры мирным путем, может свести с ума кого угодно. Во всяком случае, вопрос не был чисто правовым: требовалось уяснить, предполагает ли общее членство возможность иметь свои собственные жизненно важные интересы, или это напрочь исключается. Разве столь предосудительно для каждого из союзников питать некую надежду на понимание, независимо от расхождения во взглядах по тому или иному поводу?

Джордж Кеннан и Уолтер Липпман, двое великих оппонентов в споре на раннем этапе зарождения политики сдерживания, безоговорочно думали именно так. Джордж Кеннан призывал к терпеливому пониманию:

«Мы спотыкались в ряде случаев в прошлом; но наши друзья не использовали это против нас. Более того, на нас лежит тяжкая доля ответственности за то отчаяние, которое подвигло французское и британское правительства на столь плохо

продуманную и жалкую акцию»[746].

Уолтер Липпман пошел еще дальше и стал утверждать, что успех Великобритании и Франции — в интересах Америки:

«Франко-британскую акцию будут судить по результатам... Американские интересы, пусть даже мы дистанцировались от принятия самого решения, заключаются в том, что Франция и Британия должны теперь добиться успеха. Как бы нам ни хотелось, чтобы они вовсе не начинали, мы не можем теперь хотеть, чтобы их постигла неудача»[747].

Третья предпосылка американской политики — тайная мечта стать лидером мира развивающихся стран — оказалась неосуществимой. Ричард Никсон, возможно, лучше всех из числа послевоенных американских руководителей изучивший, в чем заключаются национальные интересы страны, поставил Америку в авангард антиколониальной борьбы 2 ноября, за четыре дня до выборов, когда провозгласил:

«Впервые в истории мы продемонстрировали независимость от англо-французской политики в отношении Азии и Африки, которая представляется нам отражением колониальной традиции. И эта декларация независимости наэлектризовала весь мир»[748].

В свете более поздних заявлений Никсона трудно поверить, что это заявление отражало что-то большее, чем следование указаниям.

И это еще не все, что случилось. Насер вовсе не стал вести более умеренную политику как в отношении Запада, так и в отношении своих арабских союзников. Его радикализм не позволил ему признать, что он был спасен лишь благодаря американскому нажиму, даже если бы он и был склонен размышлять по этому поводу. Наоборот, чтобы произвести впечатление на свое радикальное окружение, он ужесточил нападки на умеренные прозападные правительства на Среднем Востоке. В течение двух лет с момента Суэцкого кризиса было свергнуто прозападное правительство Ирака, и на его месте возник один из самых радикальных режимов арабского мира, в свое время породивший Саддама Хуссейна. Сирия также становилась все более и более радикальной. Через пять лет египетские войска вступили в Йемен, как оказалось, в бесплодной попытке свергнуть существующий режим. А поскольку в итоге стратегические позиции, оставленные Великобританией, унаследовала Америка, именно на Америку обрушилась вся ярость насеровского

радикализма, кульминацией чего явился разрыв дипломатических отношений в 1967 году.

Не улучшила Америка и своего положения среди прочих неприсоединившихся стран. Не прошло и нескольких месяцев с момента Суэцкого кризиса, как она уже стала котироваться среди неприсоединившихся стран не выше, чем Великобритания. Дело было не в том, что большинство неприсоединившихся стран вдруг почему-то разочаровалось в заокеанской великой державе, — они просто осознали свои дипломатические возможности. Если говорить о Суэцком кризисе, эти нации помнили не то, что Соединенные Штаты поддержали Насера, а то, что Насер добился успеха, ловко натравливая сверхдержавы друг на друга. Суэцкий кризис также впервые послужил неприсоединившимся странам базовым уроком основополагающих истин «холодной войны»: оказание давления на Соединенные Штаты обычно приводило к заверениям с их стороны в добром отношении и к попыткам снять источник недовольства, в то время как попытки давления на Советский Союз могли оказаться рискованными, ибо неизменным ответом Советского Союза была порция неприятных контрмер.

На протяжении десятилетий после Суэцкого кризиса эти тенденции в значительной степени усилились. Осуждение американской политики превратилось в ритуал конференций неприсоединившихся стран. Осуждение советских действий в качестве одного из итогов периодически проводимых встреч неприсоединившихся стран было весьма редким и непрямым. Поскольку статистически невероятно, что Соединенные Штаты всегда неправы, направленность неприсоединившихся стран отражала расчет интересов, а не моральность суждений.

Наиболее глубокие последствия Суэцкий кризис вызвал по обеим сторонам разграничительной линии в Центральной Европе. Тогдашний главный пропагандист Египта Анвар Садат писал 19 ноября:

«Сегодня в мире есть-только две великие державы, Соединенные Штаты и Советский Союз... Ультиматум поставил Великобританию и Францию на свое место — держав не крупных и не сильных»[749].

Союзники Америки сделали тот же вывод. Суэцкий кризис заставил их осознать, что один из основополагающих принципов Атлантического союза, а именно, полное совпадение интересов Европы и Соединенных Штатов, в лучшем случае, верен лишь

частично. С этого момента аргументация в пользу ненужности для Европы ядерного оружия, ибо этот континент всегда может рассчитывать на американскую поддержку, наталкивалась на воспоминания о Суэце. Конечно, Великобритания всегда имела независимое мнение на этот счет. Что же касается Франции, то статья во французской ежедневной газете «Попюлер» от 9 ноября 1956 года отразила будущее твердое убеждение Франции: «Французское правительство, без сомнения, вскоре примет решение о производстве ядерного оружия... Советская угроза применения ракет развеяла все мечты и иллюзии»[750].

Не только участники событий в Суэце ощутили на себе отдачу от чересчур резкого размежевания Америки со своими союзниками. Канцлер Аденауэр, лучший из друзей Америки в послевоенной Европе, какого только можно себе представить, откровенно восхищался Даллесом. Но даже он рассматривал американскую дипломатическую деятельность в связи с Суэцем как потенциальное предостережение относительно возможности достижения договоренности глобального характера между Соединенными Штатами и Советским Союзом, при наличии которой дело кончится тем, что Европа вынуждена будет заплатить свою цену.

Случилось так, что Аденауэр был в Париже 6 ноября, в тот самый день, когда Иден и Молле решили уступить американскому давлению. Как сообщает французский министр иностранных дел Кристиан Пино, Аденауэр заявил:

«Франция и Англия никогда не будут державами, сопоставимыми с Соединенными Штатами и Советским Союзом. Германия тоже. Для них остается единственный способ играть решающую роль в мире; а именно, объединиться в масштабе Европы. Англия еще для этого не созрела, но происшедшее в Суэце поможет подготовить ее духовно. Нам некогда терять время: Европа станет вашим ответом»[751].

Это заявление выявляет предпосылки, приведшие к позднейшей выработке совместной франко-германской политики, кульминацией которой явился заключенный в 1963 году при де Голле договор о дружбе и консультациях, подписанный им и Аденауэром.

Великобритания, сделав в значительной степени те же выводы из анализа своей относительной слабости, как и Франция, поставила их на службу совершенно иной политике. Отвернувшись от европейского единства, Великобритания предпочла постоянное подчинение американцам. Еще до Суэца Великобритания вполне осознала

свою зависимость от Соединенных Штатов, хотя и продолжала вести себя, как великая держава. После Суэца она стала толковать «особые отношения» с Америкой как основы оказания максимального влияния на принимаемые, в основном в Вашингтоне, решения.

Наиболее пагубно Суэцкий кризис отразился на Советском Союзе. В пределах года с момента зарождения «духа Женевы» Советский Союз умудрился проникнуть на Ближний Восток, подавить восстание в Венгрии и начать угрожать ракетным нападением на Западную Европу. При всем при этом международное недовольство сфокусировалось на Великобритании и Франции, в то время как гораздо более безжалостное поведение Советского Союза в Венгрии нашло, в лучшем случае, лишь формальное осуждение.

Идеологические воззрения и личные качества Хрущева вынуждали его объяснять поведение Америки скорее слабостью, чем приверженностью высоким принципам. То, что началось как пробная продажа советского оружия Египту через Чехословакию, превратилось в крупный советский стратегический прорыв, который внес разлад в Атлантический союз и вызвал поворот развивающихся стран в сторону Москвы с целью добиться максимальных переговорных выгод. Хрущев был в эйфории. Великолепное настроение кремлевского лидера влекло его стремительным образом от одной конфронтации к другой, начиная с Берлинского ультиматума 1958 года и кончая унизительно завершившимся Кубинским ракетным кризисом 1962 года.

Но, несмотря на все неприятные побочные явления, Суэцкий кризис стал знаком восхождения Америки по ступеням мирового лидерства. С чувством облегчения Америка воспользовалась Суэцем, чтобы отделить себя от союзников, которых она всегда считала ответственными за внесение неприятных для нее тенденций «Realpolitik» и ошибочной, с ее точки зрения, приверженности концепции равновесия сил. Но жизнь брала свое, и Америка не могла позволить себе оставаться в девственно-неизменном состоянии. Суэц оказался посвящением Америки в реальное принятие на себя глобальной роли. Одним из его уроков стало, что вакуум всегда заполняется, важно лишь определить, чем или кем именно. Лишив Великобританию и Францию их исторической роли на Ближнем и Среднем Востоке, Америка, как держава, обнаружила, что теперь ответственность за равновесие сил в регионе ложится на ее плечи.

29 ноября 1956 года правительство Соединенных Штатов, приветствуя недавнюю встречу руководителей стран Багдадского пакта — Пакистана, Ирака, Турции и Ирана, — заявило: «Угроза территориальной целостности или политической независимости странам — членам пакта будет рассматриваться Соединенными Штатами со всей серьезностью»[752]. Это было дипломатическим способом заявить о том, что Соединенные Штаты берут на себя роль защитника государств, входящих в Багдадский пакт, ибо Великобритания для этого стала слишком слаба и слишком дискредитирована.

5 января 1957 года Эйзенхауэр направил послание Конгрессу, запрашивая одобрение того, что стало известно под названием «доктрины Эйзенхауэра», а именно, тройственной программы для Ближнего и Среднего Востока, охватывающей экономическую помощь, содействие в военном отношении и защиту от коммунистической агрессии[753]. В послании о положении в стране от 10 января 1957 года Эйзенхауэр пошел еще дальше и объявил об обязанности Америки защищать весь свободный мир:

«Во-первых, жизненно важные интересы Америки распространяются на весь земной шар, охватывая оба полушария и каждый из континентов.

Во-вторых, у нас имеется общность интересов с каждой из наций свободного мира.

В-третьих, взаимозависимость интересов требует приличествующего уважения прав и мира для всех народов»[754].

Попытка Америки отъединиться от Европы обязывала ее принять на себя бремя защиты каждой свободной (то есть некоммунистической) нации в любом из регионов земного шара. И хотя во время Суэцкого кризиса Америка все еще пыталась справиться с двойственным характером равновесия сил в мире развивающихся стран через Организацию Объединенных Наций, через два года, во исполнение «доктрины Эйзенхауэра», Америка непосредственно высадит свои войска в Ливане.

Десятилетием позже Америка будет сражаться в одиночку во Вьетнаме, причем большинство союзников постараются отмежеваться от нее, прикрываясь в значительной степени аргументацией времен Суэца, сочиненной самой же Америкой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. Венгрия: тектонический сдвиг в империи

В 1956 году два хронологически совпавших события трансформировали послевоенную схему международных отношений. Суэцкий кризис покончил с «эрой невинности» в рамках Западного альянса; с этого момента западные союзники никогда более не примут на веру свои же собственные заверения о якобы идеальной симметрии интересов. В то же самое время кровавое подавление венгерского восстания продемонстрировало, что Советский Союз намерен сохранить сферу собственных интересов, причем если понадобится, то путем применения силы, и разговоры об освобождении — всего лишь пустая болтовня. Не оставалось более сомнений, что «холодная война» будет продолжительной и преисполненной горечи, а враждебные друг другу армии так и будут стоять по обеим сторонам разграничительной линии сколь угодно долго.

Обреченная в зародыше, борьба венгров против советского господства возникла из взрывчатой смеси традиционного русского империализма, советской идеологии и яростного венгерского национализма. В определенном смысле Венгрия была одной из многочисленных жертв русского экспансионизма, — число этих жертв безгранично росло со времен Петра Великого. В историческом плане российское государство стремилось подчинять себе пограничные России нации, пытавшиеся вести на деле независимую политику, причем это искушение сохранилось и в период после окончания «холодной войны». Но это, как правило, ничего хорошего самой России не приносило. После удушения независимости той или иной сопредельной страны русские вынуждены были обеспечивать в этом соседнем государстве дорогостоящее военное присутствие, что истощало материальные ресурсы России, но не прибавляло ей безопасности. Как писал Джордж Кеннан, «...царский режим, по существу, погиб от несварения желудка, наглотавшись западных меньшинств в Европе, которых он по

глупости отправил в рот»[755].

Тот же образ действий повторился при коммунистическом правлении. Сталин вернул себе всю территорию, принадлежавшую царям и утерянную в конце первой мировой войны. Мало того: он добавил к ней то, что стало называться орбитой сателлитов в Восточной Европе. В нее вошло немало стран, оккупированных Красной Армией и контролируемых правительствами в советском стиле. Имперское правление, которое и при царях не было простым, становилось еще более чревато множеством проблем при коммунистах. Эти последние умудрялись усугубить ненависть подвластного им местного населения посредством навязанной ему нежизнеспособной экономической системы.

Централизованное планирование в советском стиле стало с течением времени нетерпимым даже в самом Советском Союзе; а в странах-сателлитах явилось гибельным с самого начала. Перед второй мировой войной уровень жизни в Чехословакии выдерживал сопоставление с Швейцарией. Затем он был низведен до серого, монотонного уровня, характерного для всей коммунистической сферы влияния. Польша обладала промышленной базой столь же крупной, как и Италия, и гораздо более значительными природными ресурсами, но была приговорена к сохранению восточноевропейского уровня декретированной бедности. Восточные немцы видели в коммунистической системе единственное препятствие к достижению экономического благополучия Федеративной Республики Германии. Население любой из восточноевропейских стран было убеждено в том, что оно жертвует собственным благополучием ради коммунистической идеологии и советской гегемонии.

Если в Советском Союзе коммунизму удалось представить себя как естественное внутреннее порождение, то Восточной Европе он, без всяких сомнений, был навязан со стороны силой и задушил давние национальные традиции. Даже обладая полнейшим контролем над полицией, средствами массовой информации и системой образования, коммунисты в странах-сателлитах не могли не осознавать, что они — осажденное меньшинство. Ленин писал, что со стороны большевиков было бы глупостью следовать политике царя Николая II и навязывать свой образ действий соседям. Однако к моменту смерти Сталина основным различием между коммунистическим правлением и правлением царя-самодержца являлось лишь то, что Сталин на деле оказался гораздо более груб, жесток и скор на расправу. В итоге

советская политика столкнулась с той же проблемой, которая осложняла существование России в более ранний исторический период: Восточная Европа, коммунизированная ради усиления безопасности советского государства, поглощала ресурсы и требовала внимания на самом высоком уровне, становясь скорее бременем, чем стратегическим приобретением.

Сталин полагал, что восточноевропейских сателлитов можно удержать на месте только посредством полного и всеобъемлющего контроля из Москвы. В 1948 году Тито, единственный коммунистический правитель в Восточной Европе, пришедший к власти в основном благодаря собственным усилиям, дал понять, что Белград будет следовать собственным курсом, независимым от директив Москвы. Сталин нанес ответный удар, исключив Югославию из Коминформа. Вопреки сталинским ожиданиям быстрого его краха, Тито выжил благодаря помощи западных демократий, которые временно позабыли об идеологических расхождениях и прибегли к старомодным, но верным расчетам равновесия сил.

Сталин отреагировал на демонстрацию независимости со стороны Тито испытанным способом поддержания дисциплины — показательными процессами по орбите стран-сателлитов. Целая серия юридических убийств! Так было покончено со всеми, способными независимо мыслить. Как и пострадавшие во время московских чисток предыдущего десятилетия, лишь немногие из жертв новейшего террора занимались оппозиционной деятельностью, если вообще о ней можно говорить всерьез. Ведь они в первую очередь были коммунистами всю свою жизнь и служили инструментом практического осуществления навязанной Советами коммунистической политики: и Рудольф Сланский в Чехословакии, и Ласло Райк в Венгрии, и Трайчо Костов в Болгарии, и Владислав Гомулка в Польше (единственный, кто уцелел). Чистка, которой подверглись эти ставленники Москвы, стала свидетельством банкротства коммунистической системы в моральном плане — даже в глазах тех немногих, кто искренне верил в постулаты коммунизма.

Слишком неуверенные в себе, чтобы продолжать репрессии в духе тирана, преемники Сталина были к тому же слишком разьединены, чтобы позволить многообразие мнений внутри советского блока. Они попадали в тиски двух взаимоисключающих страхов: если репрессии в Восточной Европе грозили разрушить столь желанное ослабление напряженности в отношениях с Западом, то

либерализация в странах-сателлитах могла привести к тому, что рухнет все здание коммунистического целого. (Страх перед реакцией Запада, однако, не удержал их от того, чтобы бросить танки на подавление восстания в Восточной Германии в июле 1953 года.) К 1955 году они смирились с восточноевропейским национализмом при условии, что руководство страной будет осуществляться все в том же сугубо коммунистическом духе, и соответствующим символом нового подхода стало примирение с Тито. В мае 1955 года Хрущев и Булганин посетили Белград, чтобы закрыть пробоины в прежних отношениях. Однако, как это бывало с каждой очередной попыткой реформ, усилия по либерализации лишь помогали прорывать плотины.

После речи Хрущева на XX съезде партии в феврале 1956 года, где конкретно были названы сталинские преступления, коммунизм был дискредитирован в еще большей степени. Исключением оставалась Югославия, где выручала преданность делу национализма. Вскоре стало ясно, что Сталин верно понял угрозу со стороны Тито Советскому Союзу. Ибо лидеры стран-сателлитов оказались перед лицом парадоксальной ситуации: чтобы добиться хотя бы какого-то общественного одобрения, они должны были заручиться своего рода верительными грамотами национализма. Они должны были представлять себя не марионетками Кремля, а коммунистами польскими, чешскими или венгерскими. Как следствие хрущевского визита в Белград, контроль Кремля над режимами стран-сателлитов Восточной Европы испытывал возрастающее давление.

Во время всех этих событий Соединенные Штаты вели себя, по существу, пассивно. Вместо того чтобы фронтально противостоять советскому контролю над Восточной Европой, они предпочли пустить дело на самотек: мол, освобождение этих стран — дело времени. Во время президентской кампании 1952 года Джон Фостер Даллес нападал на подобную политику в статье «Политика отваги», опубликованной в журнале «Лайф». Даллес утверждал, что нации Восточной Европы — для которых он изобрел термин «порабощенные нации» — близки к отчаянию, «потому что Соединенные Штаты, исторический лидер сил свободы, похоже, сосредоточились на „равенстве противостояния"». Он настаивал, чтобы Соединенные Штаты «публично заявили о том, что они желают и ожидают освобождения»[756].

И все же как это «освобождение» понимать оперативно? Даллес слишком прилежно

и всерьез изучал советскую политику, чтобы усомниться в готовности Советского Союза подавить любое восстание. В конце концов, когда он писал свою статью, Сталин был еще жив. И потому Даллес безоговорочно отрицал «серию кровавых восстаний и актов возмездия», вместо этого имея в виду «мирное отделение от Москвы» по титовской модели при поддержке со стороны американской пропаганды и при помощи иных мер невоенного характера.

В то время как Ачесон поддерживал Тито после разрыва с Москвой на основе принципов «Realpolitik», Даллес, будучи, по существу, приверженцем той же политики, добавил в нее элемент универсального идеализма, назвав ее «освобождением». На практике даллесовская теория «освобождения» была лишь попыткой заставить Москву платить более дорогую цену за усилия по консолидации собственных завоеваний, не увеличивая при этом риск для Соединенных Штатов. Даллес поддерживал титоизм, а не демократию, и разница между его идеями и идеями Ачесона сводилась в итоге всего лишь к ораторскому нюансу.

Кстати, критики Даллеса приписывали ему наличие конкретных идей относительно освобождения Восточной Европы, в то время как он таковые никогда не высказывал. Симптоматично, однако, что он подобные заявления не опровергал и уточнений не делал. Даллес являлся основным покровителем таких учреждений, как «Радио „Свободная Европа"» и «Радио „Свобода"», главной задачей которых было не позволять загасить едва тлеющий факел свободы в Восточной Европе и поощрять настроения, способные стать детонатором возмущения. В подходе радиостанции «Свободная Европа» к большой проблеме не было ничего утонченного: поскольку теоретически ее заявления не носили официального характера, она выступала за «освобождение» в наиболее буквальном и воинственном смысле этого слова. К сожалению, различия между высказываниями «частного» и «официального» характера со стороны американского учреждения, финансируемого правительством, оказались чересчур зыбки, чтобы их смогли уяснить себе восточноевропейские борцы за свободу.

Случилось так, что, когда западные демократии были целиком и полностью заняты Суэцем, Советский Союз очутился в состоянии серьезнейшей конфронтации с двумя из ключевых своих сателлитов: Польшей и Венгрией.

Польша воспламенилась первой. В июне произошло кровавое подавление бунтов в

промышленном городе Познани, результатом чего были десятки убитых и сотни раненых. В октябре те из руководящих деятелей Центрального комитета Польской коммунистической партии, кому удалось уцелеть во время сталинских чисток прошлых лет, решили связать себя с делом польского национализма. Гомулка, став жертвой чистки и обесчещенный в 1951 году, был призван вернуться и занять пост первого секретаря коммунистической партии, и 13 октября 1956 года он провел первое заседание политбюро. Советский маршал Константин Рокоссовский, в свое время назначенный министром обороны и еще в 1949 году навязанный в качестве члена политбюро, был снят со своего поста, — так пал унижительный символ советской опеки. Польская коммунистическая партия сделала заявление, согласно которому Польша с того момента должна будет следовать «национальным путем к социализму», причем этот документ, с учетом страстных националистических чувств и безразличия к социализму, имевшихся налицо в Польше, вряд ли мог устроить Москву.

Какое-то время Кремль вынашивал идею военной интервенции. Советские танки начали движение по направлению к главным городам страны, и вдруг, 19 октября, в Польшу прилетели Хрущев и его коллеги по политбюро — Каганович, Микоян и Молотов.

Польские руководители в Варшаве и глазом не моргнули. Они проинформировали советского генерального секретаря, что его визит воспринимается не в порядке межпартийных встреч и обменов, и потому он не будет принят в резиденции центрального комитета коммунистической партии. Вместо этого советской делегации было предложено разместиться в Бельведерском дворце — месте приема государственных делегаций.

В последний момент Хрущев дал отбой. 20 октября советским войскам было приказано вернуться на свои базы. 22 октября Хрущев признал назначение Гомулки генеральным секретарем коммунистической партии в обмен на обещание новых руководителей сохранить верность социализму и членство Польши в Варшавском пакте. Формально советская оборонительная система оставалась монолитной. Тем не менее надежность польских войск в случае какой бы то ни было войны с Западом более не могла считаться, мягко говоря, абсолютной.

Советский Союз отступил и позволил национал-коммунизму воцариться в Польше

отчасти потому, что репрессии означали бы противодействие со стороны более чем тридцатимиллионного населения. А это население еще не забыло об угнетении со стороны России в предшествующую историческую эпоху, как, впрочем, и о советских зверствах, а отваги и воли к сопротивлению ему было не занимать. Но самым главным оказалось то, что одновременно Кремль подвергся еще более суровому испытанию в Венгрии.

Венгрия, с ее населением в девять миллионов человек, прошла тот же цикл советского угнетения, что и ее соседи. С сороковых годов ею правил Матьяш Ракоши, правоверный сталинист. В 30-е годы Сталин буквально выкупил его из будапештской тюрьмы в обмен на венгерские знамена, взятые в качестве трофея царскими войсками в 1849 году. Многие из венгров имели все основания сожалеть о свершившейся сделке, когда Ракоши вернулся вместе с Красной Армией и установил такую систему репрессий, которая считалась суровой даже по сталинским стандартам.

Вскоре после берлинского восстания 1953 года время Ракоши наконец истекло. Будучи вызван в Москву, он очутился в руках Берии, который в свирепой привычной сталинской манере объявил ему, что хотя Венгрией управляли короли самых разных национальностей, ею до сих пор никогда не правил еврейский царь, и советское руководство этого не допустит[757]. Ракоши сменил Имре Надь, пользовавшийся репутацией коммуниста-реформатора, и — так уж случилось — он тоже был евреем. Правда, пользовался менее тираническими методами, чем его предшественник. Через два года, после свержения Георгия Маленкова в Москве, Надь был снят -и на пост премьер-министра вернулся Ракоши. И опять возобладала строжайшая коммунистическая ортодоксия. Начались репрессии против художников и интеллектуалов, а Имре Надь был исключен из коммунистической партии.

Преемники Сталина, однако, не обладали его целенаправленной смертельной решимостью. Надю не только было позволено выжить, — ему удалось опубликовать трактат, ставивший под сомнение право Советского Союза вмешиваться во внутренние дела братских коммунистических государств. В то же время Ракоши, пришедший во второй раз к власти, оказался не более восприимчив к чаяниям собственного народа, чем это было в первый раз. После осуждения Хрущевым Сталина на XX съезде партии Ракоши вновь был смещен, на этот раз в пользу близкого соратника, Эрне Гере.

И хотя Гере объявил себя националистом, он настолько тесно был связан с Ракоши, что не сумел оказаться на гребне волны патриотизма, захлестнувшей страну. 23 октября, на следующий день после официального возвращения Гомулки к власти в Польше, в Будапеште кипело общественное возмущение. Студенты распространяли список требований, выходявших далеко за рамки реформ, осуществленных в Польше; туда, в частности, входили: свобода слова, проведение суда над Ракоши и его окружением, вывод советских войск и возвращение Надя к власти. Когда Надя появился перед огромной толпой на площади у парламента, он все еще был коммунистом-реформатором, и программа его заключалась в дополнении коммунистической системы рядом демократических процедур. Он призвал разочарованную толпу сохранять уверенность в том, что коммунистическая партия осуществит все необходимые реформы.

Но было уже слишком поздно просить венгерский народ доверить ненавистной коммунистической партии исправление собственных прегрешений. А далее случилось то, что бывает в кино, когда главный герой оказывается вынужден принять на себя миссию, которую сам для себя не выбирал, но которая становится его судьбой. Стойкий и верный коммунист на протяжении всей своей жизни, пусть даже и реформист, Надя поначалу, на ранних этапах восстания, был преисполнен решимости спасти и сохранить коммунистическую партию, как это сделал Гомулка в Польше. Но с каждым днем всенародные страсти преображали его в живой символ истины, описанный де Токвилем столетием ранее:

«...Опыт подсказывает, что самым опасным моментом для злодейского правительства является начало самореформирования. Лишь величайшая ловкость и сообразительность способны спасти государя, давшего послабление своим подданным после долгого угнетения. Страдания, терпеливо сносившиеся как неизбежные, становятся совершенно невыносимыми в тот миг, когда оказывается, что, возможно, имеется выход. И тогда реформа лишь помогает разглядеть более отчетливо, где именно и в чем все еще сохраняется гнет, теперь тем более нетерпимый»[758].

Надю предстояло заплатить жизнью за позднее прозрение и переход на сторону демократии. После того как Советы сокрушили революцию, ему была предоставлена возможность покаяться. Отказ от покаяния и последующая казнь отвели Надю место в

пантеоне восточноевропейских мучеников за дело свободы.

Вот как все это случилось.

24 октября уличные демонстрации превратились в полномасштабную революцию. Советские танки, поспешно ввязавшиеся в драку, поджигались, а правительственные здания оказались в осаде. В тот же день Надь был назначен премьер-министром, а два члена советского Политбюро — Микоян и Сулов — прибыли в Венгрию для оценки ситуации на месте. К 28 октября советские визитеры, похоже, сумели достигнуть договоренности, сходной с той, какой добился Хрущев в Варшаве, — то есть, по существу, дали согласие на преобразование Венгрии в рамках «югославской модели». Советские танки стали уходить из Будапешта. Но даже этот шаг не смог, в отличие от Польши, привести к умиротворению. Демонстранты теперь требовали ни больше ни меньше, чем установления многопартийной системы, удаления советских войск со всей территории Венгрии и выхода из Варшавского пакта.

По ходу разворота столь бурных событий американская политика тем не менее сохраняла демонстративно-осмотрительный характер. Несмотря на все разговоры об «освобождении», Вашингтон оказался явно не готов ко всему произошедшему. Казалось, он разрывается между желанием максимально помочь развернувшемуся процессу и страхом перед тем, что чересчур прямолинейная политика может дать Советам предлог для интервенции. Самое же главное, Вашингтон продемонстрировал, что он редко бывает в состоянии справиться с двумя крупномасштабными кризисами одновременно. Когда венгерские студенты и рабочие сражались на улицах с советскими танками, Вашингтон хранил молчание. Москва так и не получила ни единого предупреждения на тот счет, что не только применение силы, но и угроза ее применения могут испортить отношения с Вашингтоном.

Правда, Соединенные Штаты обратились в Совет Безопасности 27 октября в свете «ситуации, созданной деятельностью иностранных военных сил в Венгрии»[759]. Но делалось это столь сумбурно, что последовавшая за этим обращением резолюция Совета Безопасности была принята только 4 ноября, то есть тогда, когда советская интервенция уже свершилась.

Пустоту заполнила радиостанция «Свободная Европа», которая взяла на себя трактовку американского отношения к ситуации и настаивала на том, чтобы венгры ускорили темп революции и отвергали любой компромисс. К примеру, 29 октября

«Свободная Европа» приветствовала принятие Имре Надем поста премьер-министра столь враждебной к нему радиопередачей:

«Имре Надь и его сторонники хотят взять на вооружение и осовременить эпизод с троянским конем. Им требуется перемирие для того, чтобы правительство, стоящее ныне у власти в Будапеште, могло удерживать позиции как можно дольше. Те, кто борется за свободу, не должны ни на минуту упускать из виду планы противостоящего им правительства»[760].

Но вот 30 октября Надь уничтожил однопартийную систему и назначил коалиционное правительство, состоящее из представителей всех демократических партий, участвовавших в последних свободных выборах 1946 года. Однако радиостанцию «Свободная Европа» и это не убедило:

«Министерство обороны и министерство внутренних дел все еще находятся в коммунистических руках. Борцы за свободу, не дайте этому сохраниться! Не вешайте оружие на стену»[761].

Хотя радиостанция «Свободная Европа» финансировалась американским правительством, управлялась она независимым советом директоров и администраторами, не получавшими официальных указаний от властей. Однако бессмысленно было бы ожидать от венгерских борцов за свободу умения делать различие между политикой правительства Соединенных Штатов и заявлениями радиостанции, родившейся на свет именно как инструмент проведения в жизнь политики «освобождения» — детища самого государственного секретаря.

В те же немногие разы, когда администрация Эйзенхауэра позволяла себе непосредственно высказаться, она из кожи вон лезла, чтобы успокоить Советы, однако ее высказывания непреднамеренно оказывались почти столь же зажигательными, как и радиопередачи «Свободной Европы». 27 октября, когда казалось, что советские войска полностью выводятся из венгерской столицы, Даллес произнес речь в Далласе, из которой могло сложиться представление, будто Соединенные Штаты вознамерились хитростью свести Венгрию с советской орбиты, да так, чтобы Москва этого не заметила. Любая восточноевропейская страна, которая порвет с Москвой, заявил Даллес, сможет рассчитывать на американскую помощь. При этом помощь не будет обусловлена «принятием этими странами определенной формы общественного устройства». Иными словами, для того, чтобы претендовать на американскую

помощь, восточноевропейская страна не обязательно должна превращаться в демократическую; ей достаточно следовать югославской модели и выйти из Варшавского пакта. Типично по-американски Даллес присовокупил к этому заявлению заверение об отсутствии у Соединенных Штатов своекорыстных интересов. По словам государственного секретаря, США «не исходили из скрытых мотивов, желая независимости странам-сателлитам», и не рассматривали их как «потенциальных военных союзников»[762].

Будучи далеко не убедительным, этот избитый прием американской дипломатической риторики — утверждение об отсутствии скрытых мотивов — обычно истолковывается как признак политически непредсказуемого, произвольного поведения, причем даже немарксистскими руководителями. В любом случае Москву в гораздо большей степени беспокоили действия Америки, а не ее мотивы. Восемью годами ранее Москва наложила вето на участие Восточной Европы в «плане Маршалла», ибо видела в американской экономической помощи своеобразную капиталистическую западню. Предложение Даллеса об оказании помощи беглецам из числа стран — членов Варшавского пакта неминуемо подкрепляло реальность маячившего призрака. Потенциальное политическое землетрясение могло стать вполне реальным из-за безапелляционного намека Даллеса на то, что переход Венгрии в другой военный блок не состоялся в первую очередь из-за американской сдержанности в этом вопросе.

Параллельно успокоительной по отношению к Советам и в то же время поджигательной по сути речи Даллеса состоялось выступление Эйзенхауэра 31 октября, которое примечательно отсутствием даже малейшего намека на то, что Советский Союз может столкнуться с нежелательными санкциями, если прибегнет к репрессиям. Эйзенхауэра, возможно, убедили придерживаться примирительного тона потому, что за день до этого Советский Союз объявил о выработке им конкретных, пусть даже спорных, критериев для размещения советских войск в Восточной Европе. В то же время Эйзенхауэр, должно быть, был уже уведомлен о массированных передвижениях советских войск в остальной части Венгрии, начатых повсюду одновременно. Сдержанность Эйзенхауэра применительно к Советскому Союзу была тем более примечательна, что сочеталась с сильнейшими нападками на Великобританию и Францию в связи с Суэцем, содержащимися в той же речи.

А применительно к Венгрии Эйзенхауэр подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты и надеются на окончание господства Советского Союза в Восточной Европе, «мы, конечно, не можем осуществлять политику такого рода при помощи силы»[763]. Ибо подобный курс «противоречил бы истинным интересам восточноевропейских народов и соблюдению принципов Организации Объединенных Наций»[764], причем эта истина в равной степени ускользнула и от внимания радиостанции «Свободная Европа», и от борцов за свободу, которые в тот момент молили об американской помощи. Одновременно, продолжал Эйзенхауэр, он стремится «снять не соответствующие истине опасения, будто мы рассматриваем новые правительства в указанных восточноевропейских странах как потенциальных военных союзников. У нас нет подобных подспудных мотивов. Мы смотрим на эти народы как на друзей и просто желаем, чтобы эти наши друзья были свободны»[765].

То, что Америка дезавуировала наличие у нее подспудных мотивов, звучало для , Кремля из уст президента не более убедительно, чем до того из уст государственного секретаря. Советы, чья внешняя политика представляла собою смесь из марксистской идеологии и русских национальных интересов, просто не могли воспринимать всерьез отказ Америки на словах от наличия у нее каких-либо эгоистических мотивов. Однако отказ от применения силы Политбюро устраивал: теперь ничто не мешало ему сводить счеты с Восточной Европой, чем оно явно в данный момент и занималось.

Ирония судьбы заключалась в том, что оба официальных заявления администрации Эйзенхауэра в разгар революции в Венгрии оказались непреднамеренно провокационны. Заверения по поводу того, что Америка якобы не ищет союзников в Восточной Европе, обеспокоили кремлевских лидеров тем, что в них будто бы содержался намек на право Восточной Европы сменить членство в том или ином оборонительном союзе; а отказ Америки от применения силы подливал масло в огонь кризиса тем, что снимал настороженность со стороны Советского Союза по поводу американской реакции на подавление восстания Красной Армией.

Тем временем события в Будапеште вышли из-под контроля даже реформаторского политического руководства. 30 октября революционеры захватили Будапештский горком коммунистической партии и истребили всех его обитателей, включая, как это ни странно, одного из ближайших сподвижников Надя. А в середине того же дня Надя объявил об образовании нового правительства на базе договоренности 1945 года,

когда правила коалиция демократических партий. Конец однопартийного коммунистического правления был ознаменован наличием в составе кабинета Бела Ковача в качестве представителя буржуазной партии мелких сельских хозяев. За несколько лет до этого Ковач был осужден за измену. Вдобавок кардинал Миндсенти, долгое время — символ оппозиции коммунизму, был выпущен из тюрьмы? и стал выступать перед восторженными толпами. Требуя вывода советских войск со всей территории Венгрии, Надь повел переговоры с двумя эмиссарами Политбюро, Микояном и Сусловым, по связанным с этим конкретным проблемам. Масса политических партий открыла свои представительства и приступила к изданию газет и брошюр.

Создав у Надя впечатление, будто его предложения вполне могут быть предметом переговоров, Микоян и Суслов отбыли в Москву, делая вид, что готовятся к следующему раунду переговоров. В тот же самый вечер 31 октября как «Правда», так и «Известия» опубликовали официальное кремлевское заявление, подготовленное за день до этого, где говорилось, что размещение иностранных войск в братской коммунистической стране требует одобрения самой страны и всех членов Варшавского пакта:

«...Размещение войск того или иного государства, являющегося членом Варшавского договора, на территории другого государства — члена Договора производится по согласованию со всеми его членами и лишь с согласия государства, на территории которого и по просьбе которого эти войска размещаются или их планируется разместить»[766].

Опираясь на эти слова, Эйзенхауэр включил в свое выступление по радио 31 октября, о котором уже говорилось, в высшей степени оптимистическую интерпретацию заявления Советского правительства: «...Если Советский Союз и на деле будет неуклонно следовать провозглашенным им намерениям, мир станет свидетелем величайшего скачка вперед, в направлении справедливости, доверия и взаимопонимания между народами, совершенного в период жизни нашего поколения»[767].

Восприняв с точки зрения общего принципа советское заявление как многообещающее, Вашингтон проигнорировал два критически важных момента. Во-первых, утверждение, что вывод войск требует той же процедуры, что и их

размещение. Это предоставляло Советскому Союзу право вето. Во-вторых, абзацы, конкретно относящиеся к Венгрии, где содержалось злое предостережение относительно того, что Советский Союз «не позволит» бросить на произвол судьбы то, что определялось как «достижения социализма» в Венгрии:

«Защита достижений социализма в народно-демократической Венгрии является в настоящий момент первейшим и священным долгом рабочих, крестьян, интеллигенции, всех венгерских трудящихся.

Советское правительство выражает уверенность в том, что народы социалистических стран не позволят реакционным силам за рубежом и внутри страны расшатать основы народно-демократического строя... Они будут крепить братский союз и взаимопомощь социалистических стран, чтобы отстоять великое дело мира и социализма»[768].

Страна, которая в заявлении названа «народно-демократической Венгрией», к тому моменту уже перестала себя так именовать и была на деле не способна сберечь в равной степени и себя, и так называемые достижения социализма. Надь, всю свою жизнь принадлежавший к числу кадровых партийных работников, не мог не понять всей важности советского предупреждения, а также перемен, производившихся под его эгидой. И к этому времени Надь, оказавшийся в ловушке между собственным разгневанным народом и неуступчивыми коммунистическими союзниками, очутился на гребне волны, ему не повинующейся и им не управляемой. В отличие от польского народа, венгры требовали не либерализации коммунистического режима, а его уничтожения; не равноправия с Советским Союзом, а полного разрыва с ним.

1 ноября, уже сформировав то, что, по существу, представляло собой коалиционное правительство, Надь предпринял последний, решающий шаг и объявил о нейтралитете Венгрии и выходе ее из Варшавского пакта. Это также далеко выходило за рамки предпринятого Гомулкой в Польше. Надь выступил по венгерскому радио с преисполненным достоинства заявлением, ставшим для него смертным приговором:

«Венгерское национальное правительство с глубочайшим чувством ответственности по отношению к венгерскому народу и венгерской истории, выражая единодушную волю миллионов венгров, объявляет о нейтралитете Венгерской Народной Республики.

Венгерский народ, основываясь на собственной независимости и равенстве и в

соответствии с духом Устава ООН, желает поддерживать истинно дружественные отношения со своими соседями, с Советским Союзом и всеми народами мира. Венгерский народ желает упрочения и дальнейшего углубления достижений национальной революции, не присоединяясь ни к какому из военных блоков»[769].

Одновременно Надь обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой о признании нейтралитета Венгрии. Ответа он так и не получил.

Пафос обращения Надя равнялся безразличию, которым оно было встречено так называемым «мировым сообществом». Ни Соединенные Штаты, ни их европейские союзники не предприняли никаких шагов, чтобы побудить Организацию Объединенных Наций рассмотреть послание Надя в срочнейшем порядке. А Советы не поддавались никаким призывам к умеренности. Утром 4 ноября советские войска, стягивавшиеся в Венгрию в течение ряда дней, ударили без предупреждения и варварски подавили венгерскую революцию. Янош Кадар, жертва сталинских чисток, которого Надь возвысил до уровня Генерального секретаря коммунистической партии и который загадочным образом исчез за несколько дней до этого, вернулся вместе с советскими войсками и организовал новое коммунистическое правительство. Пал Малетер, командующий венгерской армией, был арестован в ходе переговоров с командующим советскими вооруженными силами в Венгрии по поводу вывода советских войск. Надь, нашедший убежище в югославском посольстве, согласился с обещанием безопасного проезда в Югославию, но был арестован, как только покинул здание. Кардинал Миндсенти нашел убежище в американской миссии, где и оставался до 1971 года. Надь и Малетер были позднее казнены. Дух Сталина в Кремле пребывал в добром здравии.

И лишь 4 ноября Организация Объединенных Наций, в течение всего критического периода наращивания советских сил занимавшаяся исключительно осуждением Великобритании и Франции по поводу Суэца, обратилась наконец к тому, что уже стало венгерской трагедией. На резолюцию Совета Безопасности, призывающую Советский Союз к выводу своих войск, советский посол в ООН мгновенно наложил вето. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи поставили на голосование аналогичную резолюцию, подтверждающую право Венгрии на независимость и требующую направления наблюдателей ООН в Венгрию. Это была вторая резолюция столь судьбоносного дня, ибо только что Генеральная Ассамблея сформировала

чрезвычайные силы ООН для Ближнего Востока. Резолюцию по Ближнему Востоку приняли единогласно, причем к консенсусу присоединились даже Великобритания и Франция. Резолюция по Венгрии была принята пятьюдесятью голосами против восьми при пятнадцати воздержавшихся. Советский блок голосовал против. Лидеры группы неприсоединившихся стран Индия и Югославия воздержались, это же сделали и все арабские страны. Резолюция по Ближнему Востоку была претворена в жизнь, резолюция по Венгрии была проигнорирована.

После жестокого подавления венгерского восстания встал вопрос, могла ли более сильная и прозорливая западная дипломатия предотвратить или облегчить трагедию. Да, конечно, советские войска в Венгрии получали в течение нескольких дней мощные подкрепления. Были ли демократии в силах удержать их от удара? Американское правительство подняло знамя освобождения первым. Его пропаганда посредством радиостанции «Свободная Европа» породила взлет надежды, превзошедший даже то, что предсказывал Даллес в своей статье 1952 года в журнале «Лайф». Когда в Венгрии произошел взрыв, американская миссия в Будапеште, должно быть, передавала в государственный департамент то, что знал каждый журналист: а именно, что политическая структура коммунистической Венгрии разваливается. Имея в своем распоряжении столь блистательный набор специалистов по СССР, как-то Чарлз Болен, Ллуэлин Томпсон, Фой Колер и Джордж Кеннан, государственный департамент — ибо в противное трудно поверить — не мог не рассматривать хотя бы перспективную возможность советского военного вмешательства. В любом случае, администрация Эйзенхауэра не сделала ни малейших попыток поднять цену советской интервенции.

Во время венгерского переворота Америка плелась в хвосте собственной риторики. Нежелание идти на риск возникновения войны ради уничтожения коммунистического контроля над Восточной Европой было в течение прошедшего десятилетия четко выраженной американской политикой. Но нежелание Вашингтона всерьез рассмотреть любой вариант, не связанный с войной, с тем чтобы повлиять на разворот событий, разверзло огромнейшую пропасть между тем, что Вашингтон провозглашал, и тем, что он на деле готов был поддерживать. Соединенные Штаты так и не объяснили пределы поддержки только что вылупившемуся из яйца, не имеющему опыта венгерскому правительству. Ни по одному из имеющихся в их распоряжении

каналов они не дали совета венграм, как закрепить достижения, прежде чем предпринимать дальнейшие, уже необратимые шаги. В сношениях с кремлевским руководством Соединенные Штаты в значительной степени полагались на публичные заявления, на деле побудившие Советы к свершениям совершенно противоположного свойства, чем те, на которые надеялась администрация Эйзенхауэра.

Более твердый и ясный американский подход, возможно, оказался бы существенным фактором, лишаящим советское решение предсказуемости последствий или видимой безнаказанности. Кремль мог бы быть предупрежден, что репрессии в Венгрии могут повлечь за собой крупные политические и экономические потери и заморозить в обозримом будущем отношения между Востоком и Западом. Реакция Америки и ООН на происшедшее в Венгрии могла бы быть более скоординированной с реакцией на Суэц. Вместо этого Америка и ее союзники вели себя так, словно они являются сторонними наблюдателями и не имеют прямой заинтересованности в характере исхода.

Демократии были не в состоянии начать войну из-за Венгрии, но они могли расширить спектр политических и экономических потерь СССР вследствие подавления восстания. Получилось же так, что Кремль заплатил буквально ничтожнейшую цену за свои действия и не понес никаких экономических санкций. Немногим более чем через два года с момента венгерской трагедии и невзирая на советский ультиматум по Берлину, британский премьер-министр Гарольд Макмиллан впервые после войны посетил Москву как лицо подобного ранга; через три года Эйзенхауэр и Хрущев будут в восторге от «духа Кемп-Дэвида».

Суэц предоставил возможность арабским нациям, а также таким лидерам неприсоединившихся стран, как Индия и Югославия, лишней раз лягнуть Великобританию и Францию. Когда же речь зашла о Венгрии, все они отказались критиковать советские действия, не говоря уже об осуждении этих действий в рамках Организации Объединенных Наций. А ведь была бы желательна определенная взаимосвязь между голосованиями по Венгрии и Суэцу. По меньшей мере, американское вступление против Великобритании и Франции должно было бы быть увязано с ответными шагами неприсоединившихся стран в связи с советскими действиями в Венгрии. Как выяснилось, акции Советского Союза в Венгрии не стоили ему и крохи влияния среди неприсоединившихся стран, в то время как

Соединенные Штаты не приобрели дополнительного влияния на эту группу стран в результате выбора ими позиции по поводу Суэца.

В 50-е годы неприсоединившиеся страны олицетворяли новаторский подход к вопросу международных отношений. Само собой, нейтральные страны существовали всегда, но существенной их чертой была пассивность внешней политики. В противоположность им неприсоединившиеся страны периода «холодной войны» не понимали свою нейтральность как невмешательство. Они были активными, а иногда и шумными игроками, требовательно проводящими в жизнь повестки дня, разработанные на форумах, целью которых являлось слияние сил и расширение сфер влияния, иными словами, формирование альянса присоединившихся друг к другу «неприсоединившихся». Хотя они весьма крикливо жаловались на существование международной напряженности, они знали, как извлекать из нее выгоду. Эти страны научились натравливать сверхдержавы друг на друга. А поскольку они боялись Советского Союза больше, чем Соединенных Штатов, то, как правило, выступали на стороне коммунистов, не считая при этом нужным применять к Советскому Союзу те же самые моральные критерии самого строгого характера, как к Соединенным Штатам.

16 ноября премьер-министр Джавахарлал Неру представил индийскому парламенту свои собственные напыщенные рассуждения по поводу того, почему Индия отказалась одобрить резолюцию Организации Объединенных Наций, осуждающую советские действия в Венгрии[770]. Факты, как он заявил, выглядели «туманно»; резолюция была неверно сформулирована; а призыв к свободным выборам под наблюдением Организации Объединенных Наций являлся якобы нарушением венгерского национального суверенитета.

Факты могли быть какими угодно, но только не туманными, а реакция Индии целиком и полностью вписывалась в рамки «Realpolitik». Просто-напросто Индия не желала лишаться поддержки СССР на международных форумах; она не видела смысла в том, чтобы навлекать на себя советский гнев и жертвовать потенциальными поставками оружия ради какой-то отдаленной европейской страны, в то время как Китай и Пакистан стояли на ее границах, да и сам Советский Союз находился не так уж далеко.

Индия вовсе не воспринимала внешнюю политику, как дебаты в Оксфордском клубе

студенческих братств, однако дипломаты ее делали вид, будто находятся в требовательной аудитории, избирающей победителей исключительно в силу их моральных заслуг. Индийские лидеры обучались в английских школах и читали американскую классику. Они сочетали риторику Вильсона и Гладстона с практикой Дизраэли и Теодора Рузвельта. С их точки зрения, это было вполне осмысленно, пока партнеры верили, что индийская риторика была ключом к индийской практике и что внешняя политика Индии подчинялась нормам абстрактной, высокой морали.

18 декабря, через шесть недель после венгерской трагедии, Даллес стал на пресс-конференции разъяснять логические построения, легшие в основу американской реакции на восстание. Поразительно, но он все еще пытался заверить Советский Союз в мирных устремлениях Америки:

«...Мы не имеем ни малейшего желания окружить Советский Союз кольцом враждебных ему государств и вернуть к жизни из прошлого так называемый «санитарный кордон», который в основном был задуман французами по окончании первой мировой войны в целях окружения Советского Союза враждебными силами. Мы четко и ясно объявили о нашей политике в этом вопросе, базирующейся на надежде на ускорение эволюции — мирной эволюции — государств-сателлитов в направлении подлинной независимости»[771].

По смыслу это заявление было потрясающим. Что же такое, в конце концов, представляла собой политика «сдерживания», как не попытку окружить Советский Союз силами, способными противодействовать его экспансионизму? В равной степени примечательным был извиняющийся тон Даллеса непосредственно сразу же за демонстрацией советской беспощадности в Венгрии и одновременным сабельным лязгом на Ближнем Востоке. На пресс-конференции в Австралии 13 марта 1957 года Даллес храбро суммировал все стороны американского подхода. Юрист по натуре, он построил свое представление вопроса на факте отсутствия каких бы то ни было юридических обязательств:

«...Не было основания для оказания нами военной помощи Венгрии. У нас не имелось обязательств совершать это, и мы не думаем, чтобы подобные действия оказали помощь как народу Венгрии, так и народу Европы или всем остальным народам мира»[772].

Даллес продолжал не замечать сути дела. Вопрос не носил юридического характера;

он заключался не в том, выполнила ли Америка свои обязательства, а в том, действовала ли она в соответствии со своими собственными заявлениями.

Провозгласив миссию универсального характера, Америка неизбежно должна была столкнуться с несоответствием принципов национальным интересам. Наложение Суэца и Венгрии друг на друга стало одним из подобных случаев. Величайшей американской мечтой всегда была внешняя политика, ставящая во главу угла аксиомы всеобъемлюще-универсального характера. И все же на протяжении десятилетия американские политики высшего звена были повергнуты в отчаяние противоречиями, порождаемыми мировым лидерством, — уступками сомнительным предприятиям, составляющим грубый хлеб повседневной дипломатической деятельности, а также вниманием, которое следует уделять точкам зрения союзников с совершенно иным историческим прошлым и перспективным видением мира. Суэц, казалось, предоставил возможность исправить этот недостаток и привести политику в соответствие с принципами. Сама по себе боль, связанная с выступлением против ближайших союзников, послужила своего рода искуплением на пути к возврату к первоначальной американской чистоте моральных помыслов.

Венгрия оказалась гораздо более сложным случаем, ибо требовала применения силы в любой форме. И все же американские руководители не желали рисковать жизнями американцев ради дела, пусть даже оскорбительного для совести, но не связанного с непосредственной защитой интересов американской безопасности. Принцип не позволяет двусмысленности и градаций. Применительно к Суэцу Америка могла настаивать на воплощении моральных аксиом в чистом виде, ибо последствия не таили для нее ни малейшего риска. В Венгрии пришлось учитывать факторы «реальной политики», как это сделала бы на месте Америки любая другая нация, ибо настоятельное требование соблюдения принципов могло повлечь за собой неизбежный риск возникновения войны, быть может, даже ядерной. А когда на карту ставятся человеческие жизни, то государственный деятель обязан объяснить своему народу и самому себе, как соотносятся риск и интересы, сколь бы расширительно они ни толковались. Советский Союз был, бесспорно, готов идти на большой риск ради сохранения своих позиций в Восточной Европе, чем Соединенные Штаты могли бы себе позволить ради освобождения Венгрии. Это уравнение обойти было невозможно. С точки зрения риторики, перед восстанием американская политика по отношению к

Венгрии была, безусловно, слабой. С точки зрения национальных интересов, отказ пойти на риск возникновения войны был равно неизбежен и верен, хотя и не объясняет нежелание поднять невоенными средствами цену советской интервенции.

Соотношение Венгрии и Суэца задавало координаты следующей фазе «холодной войны». Советский Союз сумел сохранить свои позиции в Восточной Европе; демократии — включая и Соединенные Штаты — претерпели относительное ослабление своих позиций на Ближнем Востоке. Советский Союз нашел путь обойти «сдерживание». В тот самый день, когда его войска терзали Будапешт и бои все еще продолжались, Хрущев угрожал Западной Европе ядерным нападением и призывал Соединенные Штаты к совместным военным действиям на Ближнем Востоке против своих ближайших союзников. Соединенные Штаты оставили Венгрию дрейфовать в море исторической эволюции, а своим союзникам внушили чувство беспомощности.

Одна вещь была в то время, не понята: изначальная слабость Советского Союза. По иронии судьбы коммунистические пропагандисты принципа соотношения сил вовлекли себя в предприятие, осуществлять которое оказались неспособны.

Коммунистические лидеры могли вещать относительно объективных факторов сколько душе угодно, но факт остается фактом: единственные революции, имевшие место в развитых странах, совершались лишь в пределах сферы влияния советских коммунистов. В долгосрочном плане Советский Союз находился бы в большей безопасности, был бы экономически сильнее, если бы окружил себя восточноевропейскими правительствами финского типа, ибо тогда ему не надо было бы брать на себя ответственность за внутреннюю стабильность и экономический прогресс этих стран. Тогда как осуществление имперской политики в Восточной Европе истощало советские ресурсы и пугало западные демократии, не укрепляя советского могущества. Коммунизм никогда не мог даже в условиях контроля над органами управления и средствами массовой информации добиться общественного признания. Если коммунистическим лидерам Восточной Европы не хотелось сидеть исключительно на советских штыках, они вынуждены были подстраивать свои программы под своих националистических оппонентов. И потому после начального периода кровавого террора Кадар постепенно стал сдвигаться в направлении целей, начертанных Надем, хотя он и не рискнул выйти из Варшавского пакта. Поколением позднее латентная советская слабость позволила считать венгерское восстание

предвестником окончательного банкротства коммунистической системы. Несмотря на все случившееся, через десять лет Венгрия станет намного внутренне свободнее, чем Польша, а ее политика будет в большей степени независима от Советского Союза. А еще через тридцать пять лет, во время очередной фазы московских попыток либерализации, Советы полностью потеряют контроль над ходом событий.

Итог 1956 года лег в основу страданий и гнета, выпавших на долю очередного поколения. Каким бы кратким ни казался историкам промежуток времени, оставшийся до окончательного краха, им нельзя измерить отчаяние, выпавшее на долю стран — жертв тоталитарного характера системы. Непосредственным следствием случившегося было то, что Москва, давая столь же неправильную оценку соотношению сил, как это делали капиталисты, имела все основания быть удовлетворенной. Истолковывая события года как сдвиг соотношения сил в свою пользу, Политбюро решилось на самый серьезный вызов «холодной войны» — берлинские ультиматумы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. Хрущевский ультиматум: Берлинский кризис 1958 - 1963 годов

На Потсдамской конференции трое победителей решили, что Берлин будет управляться четырьмя оккупирующими его державами: Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Советским Союзом — и они же совместно будут править Германией. Как выяснилось, четырехстороннее управление Германией продолжалось чуть более года. В 1949 году западные зоны слились в Федеративную Республику, а русская зона стала Германской Демократической Республикой.

Согласно четырехсторонней договоренности по Берлину, город этот не являлся частью Германии — безразлично, Восточной или Западной, — а официально находился под властью четырех победоносных союзников во второй мировой войне. Советы оккупировали крупный сектор в восточной части города, у американцев был сектор на юге, а британцы и французы соответственно обладали западом и севером. Весь Берлин превратился в остров внутри того, что стало Германской Демократической Республикой. Шли годы, и восточные немцы вместе с Советами стали воспринимать три западных сектора Берлина, как бревно в глазу, витрину процветания посреди удручающей серости жизни коммунистического блока. Что еще важнее, Западный Берлин служил сборным пунктом для тех восточных немцев, которые желали эмигрировать на Запад: им просто надо было сесть на метро и проехать в один из западных секторов города, а потом подать заявление об эмиграции.

Поразительно, но, несмотря на совершенно очевидный четырехсторонний статус города, так никогда и не были выработаны не вызывающие споров и двусмысленных толкований договоренности по доступу в город. Хотя четыре державы выделили разнообразные дороги и воздушные коридоры для этой цели, они четко не договорились о механизме пользования ими для проезда в Берлин. В 1948 году Сталин попытался воспользоваться этим пробелом для того, чтобы ввести блокаду Берлина на том техническом основании, что выделенные для доступа в Берлин дороги ставятся на ремонт. После того как в течение года действовал налаженный Западом воздушный мост, доступ в Берлин был возобновлен, но юридические обоснования оставались по-прежнему зыбко-неопределенными.

В годы, непосредственно следовавшие за блокадой, Берлин превратился в крупный индустриальный центр, потребности которого в случае возникновения экстренных ситуаций более не могли быть удовлетворены при помощи воздушного моста. Хотя Берлин в техническом смысле все еще оставался городом под четырехсторонним управлением, а за доступ в него нес ответственность Советский Союз, фактически трассы из столицы контролировал восточногерманский сателлит. Поэтому положение Берлина было в высшей степени уязвимым. Линии шоссе, железнодородных и воздушных сообщений представлялись легкой добычей для самых тривиальных попыток прервать их функционирование. Этому было очень трудно противостоять силой, даже если бы речь шла об угрозе свободе города.

Теоретически весь военный транспорт проходил через находящийся под советским контролем пропускной пункт, но это было всего лишь фикцией: контролировала все проходы восточногерманская стража, а советские офицеры находились в расположенной неподалеку дежурке на случай возникновения споров.

Неудивительно, что Хрущев, заинтересованный поиском места, где можно было бы продемонстрировать необратимый сдвиг в соотношении сил, решил поэксплуатировать уязвимость Берлина. В своих мемуарах он замечает: «Грубо говоря, на американской ноге, стоящей в Европе, появился нарыв. Это был Западный Берлин. Как только нам хотелось наступить на ногу американцам и заставить их почувствовать боль, нам требовалось всего лишь затруднить связи Запада с городом через территорию Германской Демократической Республики»[773].

Вызов со стороны Хрущева позициям Запада в Берлине произошел в тот самый момент, когда демократии убедили себя в том, что нынешний Генеральный секретарь — вся их надежда на мир. Даже столь скептический наблюдатель за происходящим на советской политической арене, как Джон Фостер Даллес, отреагировал на речь Хрущева на XX съезде партии в феврале 1956 года, возвестив, что он заметил «значительный сдвиг» в советской политике. По его словам, советские руководители сделали вывод, что «настало время коренным образом изменить свой подход к некоммунистическому миру... Теперь они стремятся к достижению своих внешнеполитических целей с меньшими проявлениями нетерпимости и меньшим упором на насилие»[774]. По той же самой модели в сентябре 1957 года, менее чем через год после Суэцкого и Венгерского кризисов, посол Ллуэлин Томпсон докладывал из Москвы, что Хрущев «действительно хочет и почти принужден к проведению разрядки в отношениях с Западом»[775].

Поведение Хрущева не подкрепляло подобный оптимизм. Когда в октябре 1957 года Советы запустили искусственный спутник — «спутник» — на околоземную орбиту, Хрущев истолковал это, по существу, разовое достижение как доказательство того, что Советский Союз перегоняет демократические страны в научном и в военном отношении. Даже на Западе стала набирать силу концепция, будто бы система плановой экономики может в итоге оказаться выше экономики рыночной.

Президент Эйзенхауэр оказался чуть ли не в одиночестве, отказываясь разделить всеобщую панику. Будучи военным человеком, он понимал разницу между

прототипом и военно-оперативным образцом вооружения. С другой стороны, Хрущев, воспринимая собственное хвастовство всерьез, начал дипломатическое наступление на широком фронте. Предполагаемое советское ракетное превосходство он вознамерился превратить в какой-либо прорыв дипломатического характера. В январе 1958 года Хрущев заявил датскому журналисту:

«Запуск советских спутников в первую очередь показывает... что произошли серьезные изменения в соотношении сил между странами социализма и капитализма в пользу стран социализма»[776].

В мире хрущевских фантазий Советский Союз был не только впереди Соединенных Штатов в военной и научной отраслях, но и должен был вскоре превзойти их по объему промышленного производства. 4 июля 1958 года он заявил на VII съезде Болгарской коммунистической партии: «Мы твердо убеждены, что близится время, когда социалистические страны перегонят наиболее развитые капиталистические страны не только по темпам роста, но и по объему промышленного производства»[777].

Будучи преданным коммунистом, Хрущев практически не мог не пытаться перевести предполагаемое изменение соотношения сил в дипломатическую звонкую монету. Берлин стал первой его целью. Хрущев начал противостояние тремя инициативами. 10 ноября 1958 года он произнес речь, где потребовал прекращения для Берлина четырехстороннего статуса и предупредил, что Советский Союз намеревается передать контроль за доступом в город своему восточногерманскому сателлиту. Начиная с этого дня Хрущев призывал: «Пусть США, Великобритания и Франция строят собственные отношения с Германской Демократической Республикой и договариваются с нею, если они заинтересованы в вопросах, касающихся Берлина»[778]. 27 ноября Хрущев превратил суть этой речи в официальные ноты Соединенным Штатам, Великобритании и Франции, где объявлял соглашение четырех держав по Берлину утерявшим силу и настаивал на превращении Западного Берлина в демилитаризованный «вольный город». Если в течение шести месяцев соглашение не будет достигнуто, то Советский Союз подпишет мирный договор с Восточной Германией и передаст свои оккупационные права и контроль над коммуникациями Германской Демократической Республике[779]. Так Хрущев предъявил западным союзникам эквивалент ультиматума.

10 января 1959 года Хрущев передал трем остальным оккупационным державам проект мирного договора, где устанавливался новый статус как Берлина, так и Восточной Германии. В конце того же месяца Хрущев выступил с обоснованием подобной политики на XXI съезде коммунистической партии. Как мошенник, расхваливающий свой товар, он по ходу дела еще более завысил оценку советской мощи, заявив, что в совокупности с Китайской Народной Республикой Советский Союз уже производит половину мировой промышленной продукции; отсюда следовало, что «международное положение изменится радикальным образом»[780].

Хрущев избрал пункт атаки с величайшим мастерством. Вызов, таившийся в передаче Восточной Германии права контроля над подъездами в Берлин, не носил прямого характера. Он заставлял демократии сделать выбор между признанием восточногерманского сателлита или войной по поводу того, кто технически будет штамповать транзитные документы. В то же время хрущевская бравада, к которой он был склонен по натуре, маскировала истинную слабость советской позиции. Восточная Германия теряла людей сотнями тысяч, поскольку ее граждане, чаще всего наиболее талантливые профессионалы, бежали в Западную Германию через Берлин. Берлин превращался в гигантскую дыру в «железном занавесе». Если бы эта тенденция продолжалась, то в Восточной Германии, провозгласившей себя «раем для рабочих», рабочих бы вообще не осталось.

Восточногерманское государство было самым слабым звеном в цепи советской сферы влияния. Имея перед собой гораздо более крупную, гораздо более процветающую пограничную Западную Германию и будучи признана только такими же советскими сателлитами, Восточная Германия нуждалась в подтверждении законности своего существования. Утечка рабочей силы через Берлин ставила под угрозу выживание ГДР как таковое. Если что-то не будет срочно сделано, настаивали восточноберлинские руководители, через несколько лет государство рухнет. Это означало бы сокрушительный удар по советской сфере влияния, которую Хрущев пытался сплотить. Перерезая пути побега, Хрущев надеялся дать восточногерманскому сателлиту вторую жизнь. А вынуждая Запад отступить, Хрущев надеялся ослабить связи с ним Федеративной Республики.

Хрущевский ультиматум разил политику Аденауэра прямо в сердце. В течение неполного десятилетия Аденауэр систематически отвергал все предложения об

ускорении объединения путем отказа от связей с Западом. Советский Союз помахивал нейтраллизмом перед носом германской публики еще в сталинском «мирном плане» 1952 года, причем внутригерманские оппоненты Аденауэра это поддерживали. Аденауэр ставил на карту будущее Германии, исходя из той предпосылки, что американские и германские интересы идентичны. Молчаливая сделка заключалась в том, что Федеративная Республика присоединится к атлантической оборонительной системе, причем союзники сделали бы объединение Германии неотъемлемой частью дипломатических отношений «Восток — Запад». Поэтому для Аденауэра Берлинский кризис вовсе не сводился к вопросу относительно процедур доступа в город. Он явился проверкой мудрости ориентации Федеративной Республики на Запад.

В той мере, в какой это касалось лично Аденауэра, нельзя было обойти тот факт, что любое поднятие статуса Восточной Германии подкрепляло советское требование относительно того, чтобы вопросы объединения решались путем прямых переговоров между двумя германскими государствами. Поскольку в те времена социал-демократическая партия еще стояла на нейтралистских позициях, такого рода признание де-факто Германской Демократической Республики со стороны союзников революционизировало бы всю внутреннюю политику Германии. По словам де Голля, Аденауэр на встрече руководителей западных стран в декабре 1959 года заявил следующее:

«Если Берлин окажется потерян, моя политическая позиция мгновенно станет несостоятельной. К власти в Бонне придут социалисты. И приступят к осуществлению прямых договоренностей с Москвой, а это будет означать конец Европы»[781].

С точки зрения Аденауэра, ультиматум Хрущева был в первую очередь задуман как средство изоляции Федеративной Республики. Советская программа переговоров ставила Бонн в безвыходную ситуацию. В ответ на любые возможные уступки Запад в лучшем случае получал то, что уже имел: право доступа в Берлин. Одновременно восточногерманский сателлит обретал право вето в вопросах объединения Германии, что могло привести либо к патовой ситуации, либо к результату, обрисованному в мемуарах Аденауэра таким образом:

«...Мы не могли себе позволить купить объединение Германии ценой ослабления связей Германии с западным блоком и отказа от достижений европейской интеграции.

Ибо в результате появилась бы незащищенная, не связанная никакими союзами страна в центре Европы, и у такой Германии обязательно появилось бы искушение играть на противоречиях между Востоком и Западом»[782].

Короче говоря, Аденауэр не видел ни малейшей выгоды в проведении переговоров на условиях, обрисованных Хрущевым. Однако если переговоры -окажутся неизбежными, он хотел бы, чтобы они послужили доказательством мудрости ориентации его на Запад. И категорически возражал против ответа на хрущевский ультиматум уступками, причем предпочитал бы, чтобы Запад основывал свои планы воссоединения Германии на результатах проведения свободных выборов.

Точка зрения Аденауэра не разделялась, однако, его англо-американскими союзниками, причем в наименьшей степени была с ним согласна Великобритания. Премьер-министр Гарольд Макмиллан, как, впрочем, и весь британский народ, проявлял сдержанность в отношении возможного риска возникновения войны по поводу столицы поверженного врага, который к тому же в значительной степени несет ответственность за потерю его нацией господствующей роли великой державы. В отличие от Франции, Великобритания не отождествляла собственную безопасность в долгосрочном плане с будущим Германии. Дважды в пределах жизни одного поколения Великобритания оказалась благодаря вмешательству Америки буквально в последний момент спасена от прямого нападения Германии, покорившей почти всю Европу. Будь у Великобритании возможность выбора, она предпочла бы сохранить Атлантический союз, но под давлением силы она скорее согласилась бы на изоляцию от Европы, чем на отчуждение от Америки. Внутриполитические дилеммы Аденауэра интересовали британских лидеров в гораздо меньшей степени, чем проблемы Эйзенхауэра; в случае наступления судьбоносного кризиса способность последнего обеспечить внутреннюю поддержку своей внешней политике сыграла бы гораздо более значительную роль в деле, по существу, выживания Великобритании. Вот почему британские руководители воздерживались от крупных ставок в пользу германского единства и истолковывали сомнения Аденауэра как национализм, прячущийся за юридической педантичностью.

Прагматики в душе, британские руководители полагали сумасбродством пойти на риск возникновения ядерной войны по поводу передачи полномочий советских должностных лиц восточногерманским марионеткам в деле постановки транзитного

штемпеля. В свете катастрофических последствий ядерной войны лозунг «Pourquoi mourir pour Danzig?» («Зачем умирать за Данциг?»), сыгравший огромную роль в деморализации Франции 1940 года, безусловно, поблек бы по сравнению с гораздо более отвратительным внешне лозунгом «Зачем умирать за транзитный штемпель?».

Именно поэтому Макмиллан стал страстным пропагандистом идеи переговоров — любых переговоров, — которые могли бы «усовершенствовать» процедуру доступа в Берлин и, как минимум, протянули бы время. «Если бы все главы государств то и дело сновали по территории друг друга, трудно было бы поверить в возможность внезапного и фатального взрыва», — позднее вспоминал он[783].

Из всех глав союзных государств Эйзенхауэр нес на себе самое тяжелое бремя ответственности, ибо решение пойти на риск возникновения ядерной войны ложилось почти исключительно на его плечи. И потому для Соединенных Штатов Берлинский кризис означал осознание того, что ядерное оружие, представлявшееся на протяжении десятилетия американской ядерной монополии, или почти монополии, наиболее быстрой и относительно недорогой дорогой к обеспечению безопасности, стало в эпоху приближения к ядерному паритету все более тяжелой гирей, сковывающей готовность Америки идти на риск и потому ограничивающей свободу дипломатического маневра.

Пока Америка обладала естественным иммунитетом от прямого нападения, ядерное оружие предоставляло ей никогда не имевшееся ни у одной из наций преимущество. И, как это часто бывает, наиболее развернутый анализ всех этих преимуществ был произведен как раз в тот момент, когда они оказались на грани исчезновения. Примерно в конце периода американской ядерной монополии, или почти монополии, Даллес разработал концепцию «массированного возмездия» для отражения советской агрессии и исключения на будущее застойных ситуаций типа корейской. И тогда вместо того, чтобы сопротивляться агрессии в точке ее возникновения, Соединенные Штаты могли бы наносить удар по первоисточнику нарушения спокойствия в такое время и таким оружием, которое было бы им наиболее удобно. Однако Советский Союз стал разрабатывать свое собственное термоядерное оружие и свои межконтинентальные стратегические ракеты как раз тогда, когда была провозглашена стратегия «массированного возмездия». Таким образом, практическое значение подобной стратегии стало очень быстро сводиться на нет — причем в мыслях еще

быстрее, чем в реальности. Всеобщая ядерная война стала средством, выходящим просто-напросто за рамки большинства возможных кризисов, включая и Берлинский. По правде говоря, руководители демократических стран восприняли дикие преувеличения Хрущева по поводу претензий на ракетную мощь чересчур буквально (единственным достойным исключением был Эйзенхауэр). Но в 1958 году уже не было ни малейших сомнений в том, что всеобщая ядерная война в считанные дни породит столько жертв, что совокупное число погибших в обеих мировых войнах покажется ничтожным.

Столь поразительный факт высветил изначальную несовместимость дипломатических шагов, требующихся, чтобы угроза ядерной войны воспринималась как реальная, и необходимости обращения к общественному мнению демократических стран, без поддержки которого о готовности пойти на риск апокалиптического характера не могло быть и речи. А наличие уверенности в оправданности перед лицом Армагеддона влечет за собой готовность мгновенно отреагировать на вызов и продемонстрировать безрассудство, до такой степени выходящее за пределы нормы, что ни один агрессор не решится подвергнуть ее испытанию. Однако общественное мнение демократических стран по праву желало спокойной, рациональной, трезвой и гибкой дипломатии, — но в этом случае противник наверняка усомнился бы в решимости Америки пойти на столь крайнее средство, как всеобщая ядерная война.

Еще в самом начале Берлинского кризиса Эйзенхауэр решил, что ни в коем случае нельзя, успокаивая американскую публику, пугать советских руководителей. На пресс-конференциях 18 февраля и 11 марта 1959 года он выдвинул ряд предложений, уменьшавших угрозу ядерной войны, лежавшую в основе американской стратегии. «Мы, безусловно, не собираемся вести наземную войну в Европе»[784], — заявил он и конкретно подвел защиту Берлина под эту категорию. Он представил как невероятную возможность, что Соединенные Штаты будут «пробивать себе дорогу в Берлин»[785]. С тем чтобы не оставалось ни единой двусмысленности, он также исключил возможность защиты Берлина при помощи ядерного оружия: «Не знаю, как можно ядерным оружием освободить кого бы то ни было»[786]. Эти заявления, безусловно, порождали представление о том, что готовность Америки пойти на риск ядерной войны в связи с Берлином весьма ограниченная.

Умеренность реакции Эйзенхауэра частично объясняется тем, как он оценивал личность Хрущева, которого он, вместе с большинством американских лидеров, считал надеждой Запада на мир. Ультиматум Хрущева по Берлину не переменял у посла Томпсона высказанной им два года назад точки зрения. 9 марта 1959 года Томпсон повторил свое утверждение, что, по сложившемуся у него впечатлению, главные заботы Хрущева носят внутренний характер. По словам посла, хрущевские крайности — это способ прийти к форме сосуществования, которая обеспечила бы предпосылки к экономической реформе и внутренней либерализации[787]. Как может угроза войны создать основы сосуществования, не объяснялось.

Такого рода анализ не производил ни малейшего впечатления на еще одного участника международного квартета — французского президента Шарля де Голля, который только что вернулся к власти после двенадцати лет политического небытия. Он не соглашался с англо-американским анализом хрущевской мотивации и был убежден: Берлинский кризис должен продемонстрировать Аденауэру, что Франция является незаменимым партнером Федеративной Республики. Он гораздо сильнее боялся опасности очередного пробуждения германского национализма, чем угрозы Хрущева. Как минимум, Шарль де Голль хотел снабдить Аденауэра якорем на Западе; если это окажется возможным, он бы хотел постараться вовлечь лишившегося иллюзий Аденауэра в европейскую структуру, в меньшей степени руководимую Америкой.

В то время как Эйзенхауэр и Макмиллан пытались отыскать какое-либо из советских требований, которое могло бы быть удовлетворено с минимальным ущербом в долгосрочном плане или при полном его отсутствии, де Голль решительнейшим образом выступал против подобной стратегии. Он отвергал «рекогносцировочные переговоры», на которые его подталкивали англо-американские партнеры, ибо не видел никакой выгоды для Запада от подобной рекогносцировки. Он отрицательно относился к планам процедурных перемен, разрабатываемым в Вашингтоне и Лондоне, и отвергал аргументацию касательно того, что эти планы будто бы облегчат доступ в Берлин. Ибо Хрущев, в конце концов, предъявил этот ультиматум вовсе не для того, чтобы облегчить западным державам доступ в город. По мнению де Голля, корни советского вызова следует искать во внутренней структуре СССР, а не в каких-либо конкретных советских претензиях. Эйзенхауэр

понимал, что в военном отношении Советский Союз стоит весьма низко; де Голль сделал еще один шаг и сделал вывод, что хрущевский ультиматум базируется на изначально дефектной, хрупкой и стоящей на исключительно низком уровне политической системе:

«...В шумном потоке проклятий и требований, организованном Советами, есть нечто столь двусмысленное и столь нарочитое, что волей-неволей хочется обосновать это либо преднамеренной демонстрацией безумных амбиций, либо желанием отвлечь внимание от огромнейших затруднений: вторая гипотеза представляется мне более соответствующей истине, ибо, несмотря на принуждение, изоляцию от остального мира и воздействие силой, благодаря чему коммунистическая система осуществляет господство над странами, попавшими под ее иго, на самом деле провалы, недостатки, внутренняя ущербность системы и, что самое главное, характер осуществляемого системой бесчеловечного гнета ощущаются теперь в гораздо большей степени как элитой, так и массами, которые становится все труднее и труднее обманывать и принуждать к повиновению»[788].

Советская военная мощь, таким образом, — всего лишь фасад, прикрывающий бесконечную внутреннюю борьбу, органичную для советской системы:

«...В этом лагере борьба между политическими течениями, интриги кланов, соперничество отдельных лиц периодически приводят к неразрешимым кризисам, последствия которых — или даже предвещающие их симптомы — не могут не расшатывать его...»[789]

Уступка советскому давлению лишь поощрит Хрущева на новые, еще более крупные зарубежные авантюры, которые послужат способом отвлечь внимание от коренного внутреннего кризиса системы, что может заставить Германию «...искать на Востоке то самое будущее, которому она с отчаянием ищет гарантий на Западе»[790].

Де Голль вполне мог себе позволить столь непримиримую прозорливость, ибо, в отличие от американского президента, на нем не лежала окончательная ответственность за развязывание ядерной войны. Когда дело бы дошло до нажатия кнопки, в высшей степени сомнительно, чтобы де Голль был более готов рискнуть возможностью возникновения ядерного столкновения, чем Эйзенхауэр, а с учетом уязвимости его страны — в гораздо меньшей степени, чем американский президент. Но как раз вследствие убежденности в том, что основная опасность возникновения

войны таилась в нерешительности Запада и что Америка является единственной нацией, способной противостоять Советам, де Голль позволял себе такую свободу маневра, которая заставила бы Америку твердо стоять на своем или принять на себя всю полноту ответственности за все возможные уступки. Игра была не из самых красивых, но *raison d'etat* преподает и не такие уроки. И именно исходя из *raison d'etat*, де Голль вывернул наизнанку традицию Ришелье держать подле себя Германию слабой и расчлененной, что в течение трехсот лет составляло сущность французской политики в Центральной Европе.

Де Голль стал ревностным сторонником франко-германской дружбы не вдруг и не в результате внезапного приступа сентиментальности. Со времен Ришелье целью французской политики было держать злонамеренного германского соседа в состоянии слабости или раздробленности, предпочтительно в том и другом сразу. В XIX веке Франция пришла к выводу, что она неспособна сдерживать Германию в одиночку; следствием этого были союзы с Великобританией, Россией и множеством малых стран. По окончании второй мировой войны такой вариант исключался. Даже совместных усилий Великобритании и Франции оказалось недостаточно, чтобы победить Германию в каждой из двух мировых войн. А с учетом того, что советские войска находятся вдоль Эльбы, а Восточная Германия превратилась в советского сателлита, результатом союза с Москвой может быть, скорее, советское господство в Европе, чем «сдерживание» Германии. Вот почему де Голль отказался от традиционного противостояния Германии и вверил будущее Франции дружбе с историческим врагом.

Берлинский кризис предоставил де Голлю возможность применить подобную стратегию на практике. Он осторожно продвигал Францию на роль защитника европейской самобытности и целостности и воспользовался Берлинским кризисом, чтобы продемонстрировать понимание Францией европейских реалий и принятие ею близко к сердцу национальной озабоченности Германии. Подход де Голля носил комплексный характер и требовал точнейшего балансирования между открытой поддержкой стоящих перед Германией целей национального характера и отсутствием поощрения достижения их Германией в одиночку или посредством сговора с Советским Союзом. Ибо у де Голля возникли опасения: раз Москва мертвой хваткой вцепилась в Восточную Германию, советские руководители могут вдруг выступить в

роли поборников германского единства или пристроить на французской границе свободно плавающую в море политику Германии. Преследующий Францию многовековой, связанный с Германией кошмар мог реализоваться в кошмар вполне вероятной германо-советской сделки.

Де Голль ответил на это с характерной для него отвагой. Франция смирилась с наличием у Германии военно-экономической мощи, даже с ее преобладанием в этих областях, и поддержит объединение Германии в обмен на признание Бонном политического лидерства Франции в Европе. Это был холодный расчет, а не великая страсть; де Голль, безусловно, скончался с чувством исполненного долга, ибо на его веку Германия еще не объединилась.

Пытаясь найти нечто среднее между броской непримиримостью де Голля и стремлением Макмиллана к переговорам во что бы то ни стало, Даллес прибег к знакомой тактике подмены сущности спора погружением в юридические детали, что так сработало в его пользу во время Суэцкого кризиса. 24 ноября 1958 года, через две недели после угрожающей речи Хрущева, Даллес начал выявлять варианты перемены процедуры доступа, не уступая, однако, по сути. Он писал Аденауэру, что попытается «заставить Советский Союз придерживаться своих обязательств», одновременно «имея „де-факто" дело с мелкими [гедеэровскими] функционерами в той мере, в какой они будут являться лишь точными исполнителями нынешних договоренностей»[791]. На пресс-конференции 26 ноября Даллес выдвинул положение, будто бы восточногерманские официальные лица действуют в качестве «агентов» Советского Союза, — ход этот заставляет вспомнить историю с его «Ассоциацией пользователей каналом» времен Суэцкого кризиса (см. гл. 21)[792].

На пресс-конференции 13 января 1959 года Даллес сделал еще один шаг и возвестил об исторической перемене американской позиции в отношении воссоединения Германии. После сделанного им заявления относительно того, что свободные выборы являются «естественным способом» объединения Германии, он добавил: «Но я бы не сказал, что это единственный способ, которым могло бы быть достигнуто объединение»[793]. Даллес даже сделал намек на то, что возможна какая-либо форма конфедерации обоих германских государств: «Существуют самые разнообразные способы, сводящие воедино страны и народы...»[794] И он подчеркнуто намекнул на то, что ответственность за воссоединение Германии должна быть переложена с

союзников на самих немцев, чем рубил под корень существо политики Аденауэра.

Германская реакция была предсказуемой, хотя никто не потрудился ее предсказать. Вилли Брандт, тогдашний обер-бургомистр Берлина, заявил, что испытывает «потрясение и недоумение». Даллесовская теория «агентов», сказал Брандт, подвигнет Советы на еще более «бескомпромиссное» поведение[795].

Агрессивность не являлась нормальным стилем поведения Аденауэра. Кроме того, он в высшей степени восхищался Даллесом. Тем не менее он отреагировал на словесные упражнения Даллеса точно так же, как Иден во времена Суэца. В беседе с послом Дэвидом Брюсом Аденауэр сделал эмоциональное заявление, утверждая, что высказывания Даллеса полностью подрывают политику его правительства, стремящегося к объединению через Запад и на основе свободных выборов. «Конфедерация в любой форме», настаивал он, будет «абсолютно неприемлемой»[796].

Разница в перспективном видении стала болезненно очевидна в середине января 1959 года, когда Аденауэр направил заместителя постоянного статс-секретаря по политическим вопросам министерства иностранных дел Херберта Дитмана в Вашингтон, чтобы выразить «шок» по поводу советского предложения относительно мирного договора с Германией и настоять на переговорной позиции, исходящей из традиционной политики Запада. Визави Дитмана, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Ливингстон Мерчант, дал ясно понять, что в данном кризисе Аденауэр не может рассчитывать на обычную для Даллеса безоговорочную поддержку во всем. Даллес, настаивал он, хочет избежать каких бы то ни было «крайних позиций» и «заполучить русских за столом переговоров». Немцам лучше всего было бы «снабдить нас новыми идеями»[797]. По мере расширения кризиса, как только Америка и Великобритания заявляли о поиске «новых идей», они тем самым выдвигали эвфемизм — повышение статуса восточногерманского режима или отыскание формулы удовлетворения определенных советских требований.

По иронии судьбы Великобритания и Соединенные Штаты подталкивали Германию на курс, почти наверняка ведущий к росту германского национализма, в то время как Аденауэр, в значительно меньшей степени доверявший своим согражданам, сохранял твердую решимость не подвергать их подобному искушению. Эйзенхауэр и Макмиллан полагались на обращение их в истинную веру; Аденауэр же не позволял

себе забыть их первородный грех.

Макмиллан был первым, кто нарушил строй. 21 февраля 1959 года он на свой страх и риск отправился в путешествие в Москву для «переговоров рекогносцировочного характера». Поскольку Аденауэр не одобрял все это предприятие с самого начала, да и среди союзников на этот счет консенсуса не существовало, «рекогносцировки» Макмиллана по поводу возможных уступок, должно быть, сводились к уже знакомому набору «усовершенствований» в процедуре доступа вместе с обычным для британского премьера призывом к миру на базе личных отношений между мировыми лидерами.

Хрущев истолковал визит Макмиллана как лишнее подтверждение изменения соотношения сил и преддверье еще более благоприятных перемен. Во время визита Макмиллана Хрущев выступил с крикливой речью, утверждая свои требования в бескомпромиссной форме. В последующей речи, уже после отбытия премьер-министра, он высмеял предположение Макмиллана относительно облегчения пути к миру благодаря хорошим личным взаимоотношениям между мировыми лидерами: «История учит, что не на конференциях меняются границы государств. Решения, принятые на конференциях, могут лишь отражать новое соотношение сил. А оно является результатом победы или поражения в конце войны или следствием других обстоятельств»[798]. Это была откровенная пропаганда принципов «Realpolitik», которая вполне могла прозвучать из уст Ришелье или Бисмарка.

После взрыва со стороны Аденауэра Даллес отступил. 29 января он отказался от теории «агента» и перестал намекать на то, что конфедерация может оказаться путем к германскому единству. Отход Даллеса от прежних позиций был, однако, по преимуществу тактическим. Не переменились ни убеждения, ни действующие лица. Как и во время Суэцкого кризиса за два года до этого, американская политика зависела от сведения воедино тончайших нюансов подхода Эйзенхауэра и Даллеса. С учетом собственного анализа советской системы Даллес наверняка понимал точку зрения Аденауэра и в значительной степени ее разделял. Но, как и ранее, Даллес вынужден был делать расчет, каким именно образом сочетать свою стратегию с гораздо более элементарным подходом со стороны Эйзенхауэра.

Потому что независимо от сказанного и сделанного большинство вопросов, бывших предметом заботы Аденауэра, воспринимались Эйзенхауэром как теоретические, если

не как лишенные какого бы то ни было отношения к делу. Счастье, что Хрущеву не были досконально известны частные суждения Эйзенхауэра на этот счет. Еще 28 ноября 1958 года, то есть в тот самый день, когда Хрущев официально предъявил свой ультиматум, Эйзенхауэр намекнул в телефонном разговоре с Даллесом, что он бы положительно отнесся к идее вольного города без американских войск при условии, что Берлин и подходы к нему находились бы под юрисдикцией Организации Объединенных Наций.

Когда президентские советники или члены кабинета расходятся во мнениях со своим шефом, то они обязаны решить, настаивать ли на своем, пока расхождение еще носит чисто теоретический характер, или подождать, когда будет приниматься решение по существу. От ответа на этот вопрос зависит степень будущего влияния, поскольку президенты, как правило, — лица с сильной волей, которым можно противоречить лишь определенное число раз. Если советники предпочтут сделать предметом спора гипотетические случаи, то могут вызвать ненужное к себе предубеждение, ибо президент способен передумать самостоятельно. С другой стороны, если ждать самих событий, советники рискуют вылететь с треском. Даллес выбрал срединный путь. Предостерегая Эйзенхауэра относительно «соглашений на бумаге», он предупредил, что для того, чтобы Берлин оставался свободным, необходимо присутствие американских войск[799]. Как выяснилось, время принятия решений так и не настало. Ибо в итоге Даллес смертельно заболел и через шесть месяцев, 24 мая 1959 года, скончался.

1 июля Эйзенхауэр вернулся к теме нахождения общей точки зрения. На встрече с заместителем советского премьер-министра Фролом Козловым он так ответил на советскую жалобу по поводу того, что американская позиция по Берлину нелогична: «Мы согласны, что она нелогична, но мы не откажемся от своих прав и от лежащей на нас ответственности — если не найдется способ, при помощи которого мы бы смогли сделать это»[800]. Настаивать на своих правах, пока не будет изыскан способ от них отказаться, — все это вряд ли напоминает вдохновенный боевой клич.

В Кемп-Дэвиде в сентябре 1959 года Эйзенхауэр заявил Хрущеву, что Америка не намеревается оставаться в Берлине вечно. «Совершенно ясно, — сказал он, — что мы не собираемся пятьдесят лет его оккупировать»[801]. Намерение пойти на риск возникновения ядерной войны из-за города, который с нетерпением жаждут оставить,

тоже мало напоминает боевой клич.

28 сентября Эйзенхауэр зашел еще дальше, по существу признав базовую предпосылку советского вызова, а именно, что ситуация в Берлине является на деле «ненормальной»:

«Она была порождена концом войны, прекращением огня по завершении военных действий, перемирием, и странным образом поставила некоторое количество — или значительное количество — свободных людей в весьма затруднительное положение»[802].

Что могло бы случиться, если бы Хрущев либо настоял на советских требованиях, либо сформулировал какой-нибудь «компромисс» на базе многочисленных намеков, трудно и больно себе представить. К счастью, ограниченность поля обзора у Хрущева, неверная оценка Хрущевым своей относительной мощи и, возможно, раскол среди советского руководства сошлись воедино и придали советскому образу действий странную незавершенность. Хрущевские ультиматумы чередовались с застойными периодами, и срок их истеки незаметно, а советские лидеры и не думали настаивать либо на исполнении своих требований, либо на переговорах. Первое бы выявило истинную степень решимости союзников; второе подвергло бы испытанию наличие, по крайней мере, у Великобритании и Соединенных Штатов готовности изменить порядок доступа в Берлин и статус города. Неспособность Хрущева настоять на поставленных им же самим требованиях спасла Атлантический союз, который мог бы охватить величайший кризис.

Хрущев не был последователен ни в отношении конфронтации, ни применительно к переговорам. Уже одно это должно было бы породить в западных умах сомнение в согласованности функционирования советской системы. Угрожать ядерной войной и бросать вызов европейскому статус-кво, не имея на этот счет разработанной стратегии, целью которой было бы, по крайней мере, дипломатическое противостояние на переговорах, — подобная ситуация оказалась предвестником паралича, охватившего советскую систему через двадцать лет. Хрущев, по-видимому, испытывал давление одновременно и со стороны «ястребов» в своем Политбюро, которые, поверив в его хвастливые заявления относительно сдвига в соотношении сил, полагали, что Запад предлагает недостаточно, и со стороны «голубей», знавших истинные реалии военного характера и потому не желавших возникновения даже

малейшего риска войны с Соединенными Штатами.

Посреди столь странного процесса Хрущев позволил истечь сроку первого ультиматума, не подкрепив свои требования ничем, кроме конференции министров иностранных дел, назначенной за две недели до наступления этой даты. На встрече не было достигнуто никакого прогресса, ибо Андрей Громыко, только что назначенный министром иностранных дел, использовал это мероприятие, чтобы довести до совершенства и без того недюжинное умение воздвигать каменные стены, при помощи которого он терзал целое поколение министров иностранных дел демократических стран. Но на деле Советам вовсе не требовался тупик к моменту истечения срока ультиматума. Тупик этот, однако, позволил Эйзенхауэру выиграть время посредством приглашения Хрущева в Соединенные Штаты.

Советский правитель объезжал Соединенные Штаты в период с 15 по 27 сентября 1959 года, вызвав точно такую же общественную эйфорию, которую породило четыремя годами ранее Женевское совещание. И опять встреча двух глав правительств породила восприятие атмосферы в ущерб сути, что и символизировалось лозунгом «дух Кемп-Дэвида». Журнал «Ньюсуик» опубликовал карточку подсчета очков, из которой следовало, что число достижений в значительной степени превышает количество неудач. А какими бы ни были эти неудачи, говорилось там, они в основном касались неспособности лидеров добиться прогресса по поводу Берлина, — точно это был какой-то мелкий вопрос. Перечень достижений включал в себя культурные обмены, рост объемов торговли, расширение научного сотрудничества, то есть вопросы, для достижения договоренности по которым вовсе не требуется визит главы правительства. Чаще всего положительным следствием визита называлось то, что советский лидер будто бы лучше узнал пригласивших его хозяев. Это отражало стандартное американское суждение о том, будто конфликты между нациями порождаются не столкновением интересов, а скорее всего отсутствием взаимопонимания. Мол, нет такого человека, который бы приехал в Америку, побыл в ней и уехал, оставшись враждебным к ее образу жизни!

Согласно опросу, проведенному журналом «Ньюсуик», американцы полагали, что Хрущев наконец-то понял, «что американцы, начиная с самого президента, на деле хотят мира»[803]. И если Хрущев на самом деле пришел к подобному выводу, то эффект оказался обоюдоострый. В любом случае он сделал это открытие

государственной тайной. Выступая через несколько недель, в начале декабря, Хрущев похвалялся, что «капиталистический мир трещит под ударами социалистического лагеря... У нас есть воля к победе»[804].

Эйзенхауэр тоже ушел со встречи с тем же убеждением, с которым пришел на нее: он желал, если не жаждал, переменить статус Берлина. В конце визита, 1 октября, Эйзенхауэр обрисовал свою идею надлежащего выхода из кризиса советнику по вопросам национальной безопасности Гордону Грею:

«Мы обязаны помнить, что Берлин представляет собой ненормальную ситуацию; Что мы вынуждены были с ней смириться, и что она была порождена рядом ошибок наших руководителей — Черчилля и Рузвельта»[805]. Однако он [Эйзенхауэр] ощущает, что должен быть какой-то способ создания свободного города, который каким-то образом должен быть частью Западной Германии, из чего, возможно, следует, что ООН должна будет стать стороной, гарантирующей свободу, безопасность и неприкосновенность города, имеющего невооруженный статус, за исключением полицейских сил. Он повторил, что настанет время, и, возможно, скоро, когда мы просто-напросто выведем оттуда свои силы.

Поскольку Хрущев, к счастью, проявил нежелание прорабатывать эти или какие-либо еще идеи, западные союзники посредством воздержания от обсуждения вопроса достигли главной цели — выигрыша времени. В 1955 году Женевское совещание позволило Хрущеву добиться ослабления напряженности без существенных уступок; в 1959 году Эйзенхауэр добился точно такого же результата, вызвав к жизни так называемый «дух Кемп-Дэвида».

Принципиальным результатом Кемп-Дэвида была еще одна отсрочка. Эйзенхауэр и Хрущев договорились организовать встречу четырех держав, оккупирующих Берлин. Но Эйзенхауэр хотел сначала проконсультироваться со своими союзниками. Де Голль отказывался от приглашения на встречу до тех пор, пока Хрущев не нанесет государственный визит в Париж. С учетом всех этих предварительных условий самым ранним сроком проведения встречи оказывался май 1960 года, а местом проведения — Париж. Наконец, за две недели до встречи над Советским Союзом был сбит американский самолет-шпион У-2. Полет этого самолета дал Хрущеву предлог поломать договоренность о проведении конференции, планы которой вынашивались уже более года. Но все это, как выяснилось, было только к лучшему, ибо

американским резервным вариантом по Берлину был план создания «гарантированного города», куда входило множество идей, высказанных Эйзенхауэром Гордону Грею. На практике эта схема отличалась от хрущевского «вольного города» в первую очередь ярлыком, обозначающим новый его статус.

Хотя в течение нескольких дней западные союзники были озабочены тем, что Хрущев наконец-то получил предлог для открытого конфликта, весьма скоро стало очевидным, что советский лидер жаждал как раз противоположного — предлога, чтобы избежать конфликта. И агрессивность на словах подменила ту самую конфронтацию, которой Хрущев угрожал так же настойчиво, как настойчиво стремился ее избежать. В противоположность всем ожиданиям, когда Хрущев остановился по пути с сорванной им Парижской конференции в Берлине, то объявил о переносе очередного крайнего срока — на этот раз до проведения в Америке президентских выборов.

К тому моменту как Джон Ф. Кеннеди приступил к исполнению своих президентских обязанностей, прошло уже почти три года с предъявления Хрущевым первого ультиматума. С течением времени постепенно снижалась убедительность угрозы и пропадало всепоглощающее ощущение опасности. Но когда, казалось, берлинский вопрос улегся сам собой, администрация Кеннеди совершила неудачную попытку свергнуть Кастро путем высадки в заливе Свиней, а нерешительность по поводу Лаоса, очевидно, убедила Хрущева в том, что Кеннеди — личность мягкотелая. На встрече с Кеннеди в Вене в начале июня 1961 года Хрущев установил очередной шестимесячный срок, начав тем самым один из наиболее интенсивных периодов конфронтации за все время «холодной войны».

Докладывая по поводу встречи 15 июня, Хрущев объявил миру, что заключение мирного договора с Германией не может более быть отсрочено: «Мирное урегулирование в Европе должно быть достигнуто в этом году». Во время одной из своих речей Хрущев появился в форме генерал-лейтенанта — это звание во время войны было пожаловано ему Сталиным. По другому случаю Хрущев заявил британскому послу, что потребуется лишь шесть атомных бомб, чтобы уничтожить Англию, и девять, чтобы стереть с лица земли Францию[806]. В сентябре 1960 года Хрущев покончил с неофициальным запретом на ядерные испытания, который обе стороны соблюдали уже три года. Как часть испытательной программы, Советский

Союз произвел взрыв-монстр мощностью в пятьдесят мегатонн.

Хрущевские требования послевоенного урегулирования были не новы. Черчилль настаивал на послевоенном урегулировании еще в 1943 году; Сталин предлагал нечто подобное в «мирной ноте» 1952 года; Джордж Кеннан был сторонником германского урегулирования в середине 50-х годов. Но в отличие от всех прочих войн, вторая мировая война не повлекла за собой послевоенного урегулирования. Зато были шаг за шагом созданы американская и советская сферы влияния, причем не путем официальных соглашений, а путем молчаливого признания свершившихся фактов.

Заключительный акт разграничения европейских сфер влияния начался в утренние часы 13 августа 1961 года. Западноберлинские жители проснулись и обнаружили, что в буквальном смысле находятся в тюрьме. Восточные немцы выстроили проволочные заграждения между советским сектором Берлина и секторами, оккупированными западными державами, и соорудили ограду вокруг всего города. Семьи по обеим сторонам стены оказались разлучены. Со временем стена была укреплена: бетон, наземные мины и сторожевые собаки стали символом разделенного города и коммунистической антигуманности. Банкротство коммунистического режима, неспособного стимулировать пребывание собственных граждан в границах своей страны, было продемонстрировано всему миру. Тем не менее коммунистическим лидерам удалось заделать дыру в плотине советского блока — по крайней мере, временно.

Сооружение стены породило у демократических стран берлинскую дилемму особого рода. Они были готовы защищать свободу Берлина против откровенной агрессии, но не решили, как реагировать, если угроза окажется на более низком уровне, или даже как определять агрессию. Кеннеди почти сразу же заявил, что строительство стены не подпадает под американское понимание агрессии, и решил не отвечать на него вызовом военного характера. Американская попытка спустить на тормозах сооружение стены нашла себе наглядное подтверждение в том, что в день ее возведения Кеннеди отплыл на яхте, а государственный секретарь Раек отправился на бейсбольный матч. Кризисной атмосферы в Вашингтоне не было.

На деле военные возможности Кеннеди были весьма ограничены. Если бы американские войска сняли барьер на секторной границе, то восстановленная стена появилась бы всего в нескольких сотнях ярдов от этого места. Вошли бы они в

Восточный Берлин, чтобы ее скрыть? Поддержало бы общественное мнение Запада войну за право свободного передвижения внутри Берлина, в то время как на практике Восточный Берлин уже давно был признан в качестве столицы восточногерманского коммунистического сателлита?

Когда стало ясно, что Америка не будет сопротивляться сооружению стены посредством применения силы, Западный Берлин и Федеративная Республика испытали некое подобие шока, проистекавшего из столкновения с реальностью, существование которой предполагалось подсознательно, но не признавалось открыто. Самое позднее после венгерской революции должно было стать ясно, что Запад не будет бросать военный вызов существующим сферам влияния. Брандт позднее признается, что его «восточная политика», приведшая к признанию восточногерманского режима, была порождена разочарованием в реакции Америки на строительство стены. Однако при всем при этом шок в Германии был бы еще сильнее, если бы усилия скрыть стену породили войну. Даже Аденауэр заявил Ачесону, что он не желал бы, чтобы Берлин защищали при помощи ядерной войны, прекрасно отдавая себе отчет в том, что другого средства защиты не существует.

Обе сверхдержавы продолжали эквилибристику, пытаясь уточнить как свои обязательства, так и их пределы. В июле Кеннеди, значительно увеличив американский оборонный бюджет, призвал резервистов и отправил дополнительные силы в Европу. В августе 1961 года, когда стена была уже построена, Кеннеди направил 1500 военнослужащих по «автобану» через советскую зону, бросая вызов Советам, которые не дерзнули этот контингент остановить. Прибыв беспрепятственно, войска были встречены приветственной речью вице-президента Джонсона, который прилетел заранее, чтобы их воодушевить. Генерал Люшес Клей, герой Берлинской блокады 1948 года, был назначен личным представителем президента в Берлине. Кеннеди поставил на карту веру Америки в то, что Берлин останется свободным.

Хрущев опять собственными маневрами загнал себя в такой же тупик, как и во времена администрации Эйзенхауэра. Его очередной блеф вызвал такую американскую реакцию, которой он уже не осмеливался противостоять. А сообщения от полковника Олега Пеньковского, знаменитого американского «крота» в системе советской военной разведки, раскрывали тот факт, что высокопоставленные советские

офицеры были целиком и полностью осведомлены об отсутствии надлежащей боевой готовности и часто ворчали в обществе друг друга по поводу безрассудных выходок Хрущева[807]. Еще в 1960 году Эйзенхауэр раскусил хрущевскую браваду, сказав как-то посетителю, что в случае войны его бы гораздо больше заботило радиоактивное заражение местности от собственного оружия, чем возможность возмездия со стороны Советского Союза. Как только Кеннеди стал президентом, то сразу же сообразил, что Советский Союз стоит гораздо ниже с точки зрения общего стратегического могущества.

Состояние дел шло на пользу той стороне, которая желала бы сохранить статус-кво. В то же время Кеннеди был еще более откровенен, чем Эйзенхауэр, высказываясь по поводу нежелания идти даже на самый незначительный риск возникновения ядерной войны из-за Берлина. По пути домой- после встречи с Хрущевым в Вене он выступил со следующими размышлениями:

«...Представляется особенно глупым рисковать гибелью миллиона американцев по поводу спора за право доступа по „автобану" ... или в связи с тем, что немцы хотят воссоединения Германии. Если бы я собирался угрожать России ядерной войной, то по гораздо более крупным и важным поводам, чем эти»[808].

Стратегия Эйзенхауэра базировалась на первоначальном сценарии осуществления политики «сдерживания». Эйзенхауэр стремился заблокировать Советы, как только они бросали вызов Западу. Цели Кеннеди были более амбициозны. Кеннеди надеялся положить раз и навсегда конец советско-американскому конфликту путем прямых переговоров сверхдержав и использовать Берлинский кризис как поворотный пункт. Таким образом, Белый дом во времена Кеннеди оказывал более сильный нажим в отношении гибкости дипломатии по Берлину, причем, если надо, даже односторонней. Для Эйзенхауэра Берлин был вызовом, который надо было выдержать и перетерпеть; для Кеннеди это была досадная задержка в осуществлении собственных планов и достижении нового мирового порядка. Эйзенхауэр или Даллес выступили бы с формулой, как отвести конкретную угрозу; Кеннеди желал ликвидировать постоянное препятствие к миру.

Различным было и отношение обоих президентов к НАТО. В то время как Эйзенхауэр во время войны командовал объединенными силами в Европе, Кеннеди участвовал в войне на Тихом океане, где американские усилия носили в гораздо

большей степени национально-односторонний характер. Кеннеди не был готов предоставлять союзникам право вето по ходу переговоров и на деле предпочел бы иметь переговорные контакты непосредственно с Советским Союзом, что со всей очевидностью следует из президентской директивы государственному секретарю Дину Раску от 21 августа 1961 года, то есть через неделю после возведения Берлинской стены.

«Как календарь переговоров, так и сущность позиции Запада остаются несогласованными, и я более не верю, что удовлетворительный прогресс может быть достигнут на одних лишь четырехсторонних переговорах. Полагаю, что нам надо срочно выработать твердую позицию США по обоим вопросам и дать ясно понять, что мы не потерпим вето со стороны любой другой державы.

...Мы должны на этой неделе недвусмысленно довести до сведения трех наших союзников, что именно это мы намереваемся сделать, а они могут либо присоединиться к нам, либо отойти в сторону»[809].

Во исполнение этой директивы Дин Раек отказался от четырехсторонних переговоров в пользу прямого диалога с Москвой. Раек и Громыко той осенью встречались несколько раз в Организации Объединенных Наций. Прочие переговоры велись между послом Томпсоном и Громыко в Москве. И все же Советы не давали окончательного согласия по повестке дня переговоров по берлинскому вопросу.

Беда заключалась в том, что каждая из сторон находилась в западне, характерной для ядерного века. Они могли воспользоваться ядерными силами, чтобы обеспечить собственное выживание, но ядерное оружие не могло послужить целям позитивных перемен. Каким бы ни был рассчитан теоретический уровень превосходства, риск ядерной войны не шел ни в какое сравнение с достигаемыми целями. Даже пятипроцентный риск возникновения войны неприемлем, если следствием явится полное уничтожение собственного общества, то есть цивилизации. Тогда в итоге каждая из сторон пойдет на попятный перед лицом риска возникновения войны.

В то же время ни одна из сторон не в состоянии подменить дипломатию силой. Несмотря на рост напряженности, аргументы в пользу статус-кво всегда представляются сильнее побуждений изменить его. Со стороны союзников достичь консенсуса демократических стран оказалось невозможно; с коммунистической стороны хрущевское хвастовство, должно быть, пробудило у его коллег столь великие

ожидания, что даже крупные уступки, на которые готов был пойти Запад, могли показаться кремлевским сторонникам жесткого курса недостаточными. В конце концов Хрущев попытался выйти из тупика посредством бесславной авантюры с размещением ракет на Кубе, что показывает, насколько высоки были ставки, чтобы военная сила смогла повлиять на дипломатию.

Эти застойные тенденции обрекали на неудачу усилия администрации Кеннеди вырваться из тупика посредством дипломатических инициатив. Любые уступки, безусловно приемлемые для Хрущева, ослабили бы Атлантический союз, а урегулирование, терпимо воспринимаемое демократическими странами, ослабило бы Хрущева.

Усилия администрации Кеннеди найти в перечне советских требований такие, которые можно было бы удовлетворить безо всякого риска, были обречены на неудачу. 28 августа 1961 года Макджордж Банди, советник Кеннеди по вопросам национальной безопасности, суммировал суть мышления Белого дома в памятной записке президенту: «Главное направление мышления тех, кто в настоящее время работает над сущностью нашей переговорной позиции, таково, что мы можем и обязаны сделать существенный сдвиг в направлении признания ГДР, границы по Одере — Нейссе, заключения пакта о ненападении и даже принятия идеи двух мирных договоров»[810]. В памятной записке не указывалось, что Соединенные Штаты ожидают получить взамен.

Такого рода программы делали неизбежным постепенный отход Вашингтона от Аденауэра. 22 сентября администрация намеренно допустила следующую утечку информации:

«Авторитетный американский источник обратился сегодня к Западной Германии с призывом признать в своих же собственных интересах „реальность" существования двух германских государств.

Источник сообщает, что Западная Германия обретет лучшие шансы достижения воссоединения Германии, если „будет говорить с восточными немцами вместо того, чтобы их игнорировать"»[811].

В декабре 1961 года Банди попытался разуверить Бонн, сославшись на «основополагающую» задачу Америки обеспечить, чтобы германский народ «не имел законной причины сожалеть о доверии к нам». Одновременно он предостерегал

против того, чтобы понимать это заверение, как «карт-бланш»: «Мы не можем предоставить Германии — и ни один германский государственный деятель у нас этого не просил — право вето по поводу политики Запада. Партнерство свободных людей не может приводиться в действие по призыву лишь одного из его членов»[812].

На самом деле эти успокоительные фразы взаимно исключали друг друга. Поскольку вышеуказанные американская и германская позиции точек соприкосновения не имели и поскольку Германия целиком и полностью зависела от Соединенных Штатов в отношении защиты Берлина, отказ Бонну в праве вето мог повлечь за собой лишь два варианта поведения: рискнуть возможностью возникновения войны ради дела, в которое, как заявляла администрация Кеннеди, она сама не верила, или навязать Бонну точку зрения, отвергнутую германскими руководителями. Первый вариант не прошел бы через американский Конгресс и не нашел бы поддержки у общественного мнения; второй повредил бы связям Германии с Западом и нарушил бы внутреннее единство Атлантического союза.

Отношения между Вашингтоном и Бонном постепенно становились все более и более неровными. Боясь тупика и разрыва с Аденауэром, государственный департамент несколько месяцев жил по принципу «еле-еле душа в теле» и не претворял в жизнь директиву Кеннеди об ускорении прямых переговоров с Москвой, — точнее, он организовывал встречи, но не предлагал на них значительного числа новых идей. Если бы Хрущев обладал чувством меры, до него бы, наверное, дошло, что настал тот самый момент, когда можно определиться, какие из многочисленных намеков Запада можно перевести в твердую политическую валюту. Вместо этого он продолжал повышать ставки и избегал переговоров.

В период дипломатической паузы и напряженности между союзниками я имел косвенное отношение к формированию политики в Белом доме в качестве консультанта Совета национальной безопасности. Хотя мне и были известны темы дебатов и многочисленные подводные течения, водоворотом вихрящиеся вокруг президента, в принятии окончательных решений я лично не участвовал.

Традиционалисты НАТО — в частности Ачесон, который исполнял функции внештатного консультанта в те промежутки времени, когда придерживал свой острый язык, раздражавший многих, — в принципе испытывали отвращение к переговорам. Подобно де Голлю и Аденауэру, они не видели, какие существенные улучшения могут

принести новые процедуры доступа в Берлин, и ничего, кроме горького осадка на душе, не ожидали от попыток обсуждения вопроса воссоединения Германии.

Как бы я ни восхищался Ачесоном, я не верил, что стратегия «каменной стены» может продолжаться до бесконечности. Хрущев в любой момент способен силой навязать переговоры; ни один из западных лидеров, даже де Голль, не может объявить своему обществу о необходимости решительного противостояния, если он поначалу не продемонстрирует, что использовал все имеющиеся в наличии иные средства. Полагая опасным вести переговоры на базе советской повестки дня, я считал жизненно важным заранее разработать американский план относительно будущего Германии. Я опасался, смогут ли союзники действовать сообща на конференции или их решения окажутся наспех увязанными с истечением установленных противоположной стороной крайних сроков. С точки зрения процедуры, я стоял за переговоры; с точки зрения существа вопроса, я стоял за традиционный подход, соответствующий позициям Ачесона и Аденауэра.

Моя краткая связь с Белым домом во времена Кеннеди породила ряд контактов с Аденауэром. И мне становилось мучительно больно, когда я осознавал, до чего же велико недоверие друг к другу у прежде столь близких союзников, порожденное Берлинским кризисом. В 1958 году, вскоре после публикации книги «Ядерное оружие и внешняя политика»[813], Аденауэр пригласил меня, ее автора, к себе, хотя тогда я был еще сравнительно малоизвестным доцентом. Во время состоявшейся беседы Аденауэр горячо посоветовал мне не обманываться якобы существующим монолитным единством коммунистического блока от Балтики до окраин Юго-Восточной Азии: с его точки зрения, разрыв между Китаем и Советским Союзом был неизбежен. Он заявил, что демократические страны, когда это случится, сумеют, как он надеется, извлечь из этого пользу.

Такого рода предположение я услышал впервые и, надо сказать, не поверил. Аденауэр, должно быть, истолковал мое потрясенное молчание как согласие, ибо при встрече с Кеннеди через три года он в заключение пространного заявления на тему неминуемого китайско-советского разрыва добавил, что с его собственной совпадает моя точка зрения. Чуть позднее я получил записку от Кеннеди, где говорилось, что он был бы весьма благодарен, если бы начиная с данного момента я делился своими геополитическими прозрениями не только с германским канцлером, но заодно и с

ним.

Очевидно, этот разговор Аденауэра с Кеннеди дал повод предположить, что я ближе к Аденауэру, чем это было на самом деле, и потому Белый дом обратился ко мне в начале 1962 года с просьбой попытаться сгладить все более громкие претензии германского канцлера по поводу берлинской политики администрации Кеннеди. Я обязан был просветить Аденауэра относительно американского подхода к переговорам, планов направления военных контингентов в Берлин, а также, в качестве особого знака внимания, ядерных возможностей Америки, причем, как мне объяснили, эта информация ранее не передавалась никому из союзников, за исключением Великобритании.

Задача оказалась нелегкой. Я только начал свое выступление, как Аденауэр перебил меня: «Все это мне уже говорили в Вашингтоне. Там это на меня не произвело никакого впечатления; почему же вы думаете, что на меня это произведет впечатление здесь?» Я резко заметил, что не нахожусь на государственной службе, что меня попросили нанести ему визит и смягчить его озабоченность и что меня сначала стоило бы выслушать, а потом уж делать выводы.

Аденауэр оказался в замешательстве. Он спросил, сколько времени я посвящаю работе в качестве консультанта Белого дома, и, услышав, что примерно 25 процентов, тихо проговорил: «В таком случае я полагаю, что вы сообщите мне 75 процентов правды». Это было сказано в присутствии американского посла Уолтера К. Доулинга, который, согласно формуле Аденауэра, должно быть, все время лгал.

Но даже в тот момент, когда германо-американские отношения находились на столь низком уровне, Аденауэр продемонстрировал, что для него доверие является моральным императивом. Хотя ядерная стратегия не принадлежала к сфере наиболее интересных для него вопросов, Аденауэр в высшей степени оценил знак доверия, которое оказал ему Вашингтон, передав через меня ядерную информацию.

Эмигрировав из Германии в возрасте пятнадцати лет двадцатью пятью годами ранее, я, естественно, не считал свой запас немецких слов адекватным для обсуждения проблем ядерного оружия и потому эту часть беседы провел по-английски. Нашим переводчиком был один из сотрудников аппарата канцлера. Через двадцать пять лет этот чиновник, к тому времени пожилой человек, уже вышедший на пенсию, написал мне, что, как любой переводчик, достойный своей профессии, он сделал запись

ядерной части беседы и представил ее Аденауэру. Канцлер, давший слово, что эта информация будет считаться конфиденциальной, решил: даже единственный экземпляр подобной записи, подшитый в дело, явится нарушением данного обещания. И он распорядился, чтобы все письменные документы, относящиеся к этому разделу беседы, были уничтожены.

Тем не менее в апреле 1962 года германо-американские отношения вырвались из-под контроля. 21 апреля стало известно об американском плане, призывающем к созданию Международного совета по доступу в Берлин, который бы урегулировал въезд в город и выезд из него. В него должны были входить пять западных сторон (три западные оккупационные державы, Федеративная Республика и Западный Берлин), пять коммунистических участников (Советский Союз, Польша, Чехословакия, Германская Демократическая Республика и Восточный Берлин), а также три нейтральные страны (Швеция, Швейцария и Австрия). Объединению будет способствовать создание ряда комитетов при равном представительстве западно- и восточногерманских официальных лиц.

Неудивительно, что Аденауэр стал ревностным противником создания совета: ведь Восточная и Западная Германия должны были обладать в нем равным статусом. Более того, наличие представителей как от Восточного, так и от Западного Берлина подрывало бы и без того зыбкий четырехсторонний статус города и повысило бы роль Восточной Германии. Поскольку количество коммунистов в Совете равнялось бы количеству представителей от демократических стран, три слабые нейтральные страны, которые легко могли бы стать объектом советского шантажа, получили бы решающий голос. Канцлер счел все это весьма скверным заменителем непосредственно взятых на себя Америкой обязательств.

Аденауэр решил вскрыть нарыв хирургическим путем, совершив беспрецедентный для себя шаг и выступив с критикой главного своего союзника. На пресс-конференции 7 мая 1962 года он решительно отверг идею создания Международного совета:

«Мне представляется, что весь этот план нежизнеспособен. Вам известно, что, в конце концов, решающим голосом будут обладать три страны, поскольку голоса Востока и Запада, по-видимому, окажутся сбалансированными. Что ж, тогда мне следует спросить вас, ответят ли эти страны утвердительно, если им зададут вопрос, нравится ли им подобная роль. Что до меня, то я так не думаю!»[814]

Чтобы подчеркнуть степень своего недовольства, Аденауэр едко высмеял попытку администрации Кеннеди отдать предпочтение проблемам развивающегося мира:

«Да, я против существования колоний и обеими руками за оказание помощи развивающимся странам. Но я также требую, чтобы шестнадцати миллионам немцев [в Восточной Германии] было позволено жить собственной жизнью. Мы будем говорить об этом и нашим друзьям, и нашим врагам»[815].

Эти разногласия так и не нашли своего разрешения. 17 июля 1962 года Кеннеди все еще говорил Анатолию Добрынину, новому советскому послу, что «возможно, существуют и другие проблемы, по поводу которых мы могли бы быть готовы оказать весьма сильное давление на немцев, например, по вопросу структуры Международного совета»[816]. Поскольку Аденауэр уже публично пояснил, и весьма подробно, почему он возражает как против состава, так и функций такого совета, Хрущев не мог не понимать, что он держит в своих руках ключ к развязыванию крупнейшего кризиса внутри Атлантического союза.

Поразительно, что именно тогда, когда советский успех казался неизбежным, Хрущев сошел с взятого ранее курса. Пытаясь одним махом осуществить прорыв, которого он так и не мог совершить последние три года, Хрущев разместила Кубе советские ракеты средней дальности. Очевидно, Хрущев рассчитал, что, если ему удастся эта авантюра, его положение на возможных переговорах по Берлину будет наисильнейшим. По той же самой причине Кеннеди не мог допустить распространения советской стратегической мощи на Западное полушарие. Его отважное и умелое поведение во время кризиса не только вынудило Хрущева убрать советские ракеты, но и по ходу дела лишило его дипломатические усилия касательно Берлина какой бы то ни было степени доверия.

Понимая, что цель стала недостижимой, Хрущев объявил в январе 1963 года, что «успех», связанный с сооружением Берлинской стены, сделал сепаратный мирный договор с Берлином ненужным. Берлинский кризис наконец-то кончился. Он продолжался пять лет. В продолжение этого кризиса союзники сохранили свои позиции по большинству главнейших вопросов — несмотря на целый ряд колебаний. Со своей стороны, Хрущев добился лишь постройки стены, чтобы не позволить восточногерманским подданным поневоле дать деру из коммунистического «рая».

К счастью для Запада, Хрущев блефовал, имея на руках пустую карту, ибо

Атлантический союз был близок к развалу. Американская позиция как при Эйзенхауэре, так и при Кеннеди базировалась на традиционном принципе противодействия со стороны Америки переменам под угрозой силы, а не переменам как таковым. В качестве академического заявления это было бы в порядке вещей, но лишь при условии единодушного понимания того, что об исходе кризиса следует судить по существу, а не с точки зрения метода.

И если говорить по существу, то разнообразные схемы, рассматривавшиеся администрацией как Эйзенхауэра, так и Кеннеди, были исключительно рискованными. У всех у них был общий недостаток — они меняли существующий порядок вещей в направлении, продиктованном Советами. А по-другому и быть не могло, ибо Советский Союз, безусловно, не начал бы кризиса, чтобы ухудшить собственное положение. Любое предлагаемое *quid pro quo* обязывало бы Советский Союз снять очередную заведомо невыполнимую угрозу, а в обмен получить вполне реальное улучшение статуса восточногерманского сателлита и выгодное для себя изменение существующих процедур доступа в Берлин. Двойной кошмар Аденауэра: что, если восточногерманские коммунисты обретут средство эксплуатировать уязвимость Берлина, и что, если произойдет разрыв между обязательствами Бонна в отношении Атлантического союза и чаяниями в сфере национального единства? Этот двойной кошмар являлся неотъемлемой частью каждой из предполагаемых схем переговоров.

Дин Ачесон, который, по его собственному выражению, «присутствовал при акте творения» послевоенной системы альянсов, ясно это видел. В письме Трумэну от 21 сентября 1961 года он предсказывал унижительное поражение Запада в вопросе о Берлине, «выраженное в якобы создании нового порядка»[817]. Если такого рода поражение станет неизбежным, утверждал Ачесон, будущее Западного альянса будет зависеть от того, кто возьмет на себя ответственность за это поражение. «Лучше, — писал он генералу Люшесу Клею в январе 1962 года, — чтобы последователи покинули лидера, нежели наоборот. Кто же тогда соберет осколки? Кому можно будет доверить руководство от новой отправной точки?»[818] Это была стратегия де Голля шиворот-навыворот.

В ходе Берлинского кризиса сдвинулись германские приоритеты. В течение всего послевоенного периода главной опорой и ориентиром Аденауэра были Соединенные

Штаты. Через год после ультиматума Хрущева это уже было не так. Разведывательно-аналитическая сводка государственного департамента от 26 августа 1959 года отмечала разочарование Аденауэра: единодушие среди союзников отсутствовало! Согласно этому документу, Аденауэр все еще надеялся на восстановление единства союзников. Но если «комбинация США — Великобритания будет явно двигаться в направлении взаимопонимания с Хрущевым, Аденауэр вынужден будет вместо них в основном полагаться на Францию»[819].

В продолжение всего кризиса Хрущев вел себя, как шахматист, который, совершив блистательный дебют, сидит и ждет, что его противник сдастся, продумав стоящую перед ним дилемму, и не доиграет партию до конца. Читая дипломатические документы, трудно понять, почему Хрущев так и не воспользовался ни одной из представившихся возможностей переговоров, ни одним из обсуждавшихся и часто напрямую доводившихся до его сведения предложений. Таких, в частности, как Международный совет, два мирных договора и концепция «гарантированного города». В итоге Хрущев ни разу не предпринял никаких действий по истечении им же самим назначенных сроков, а также по возникавшим вариантам вовлечения западных союзников в переговоры. Через три года ультиматумов и угроз, от которых в жилах застывала кровь, единственным реальным «успехом» Хрущева стало строительство Берлинской стены, в итоге ставшей символом провала советской политики по Берлину.

Хрущев запутался в сотканной им же самим многослойной паутине. Очутившись в западне, он обнаружил, что выполнение его требований обозначает войну. Но для этого он никогда не был готов. С другой же стороны, он не решался вступить в переговоры с Западом, ибо мог быть обвинен «ястребами» в Кремле и массами китайских коммунистов, что согласился на ничтожно малое. Слишком слабый, чтобы направить «голубей» на курс конфронтации, слишком неуверенный в себе, чтобы вынудить «ястребов» пойти на уступки, Хрущев тянул время сколько мог, а потом в отчаянии поставил сразу все на кон, разместив ракеты на Кубе.

Берлинский кризис, кульминацией которого был Кубинский ракетный кризис, явился поворотным пунктом в «холодной войне», хотя тогда этого не осознавали. Если бы демократические страны не были столь сильно поглощены спорами между собой, они смогли бы истолковать Берлинский кризис, проникнув в его суть, а

именно, как демонстрацию изначальной советской слабости. В конце концов Хрущев вынужден был смириться с существованием западного аванпоста в глубине советской территории, так и не сумев достичь ни одной из целей, о которых протрубил, вызвав кризис. Таким образом, вновь подтвердилось разделение Европы на два блока, как это было в период венгерской революции 1956 года. Обе стороны могли печалиться по поводу подобного положения вещей, но ни одна не пыталась изменить его силой.

Совокупный результат неудач хрущевских инициатив по Берлину и Кубе заключался в том, что Советский Союз более ни разу не рискнул бросить прямой вызов Соединенным Штатам, разве что в период короткой вспышки на Ближнем Востоке войны 1973 года. Хотя у Советов накопилась значительная мощь ракет дальнего радиуса действия, Кремль не считал этого количества достаточным, чтобы напрямую угрожать уже установившимся американским правам. Вместо этого советское военное давление уходило в сторону поддержки так называемых войн за национальное освобождение в таких районах развивающегося мира, как Ангола, Эфиопия, Афганистан и Никарагуа.

В течение десятилетия Советы не делали более попыток помешать доступу в Берлин, который продолжался согласно установленной процедуре. Постепенно был признан восточногерманский режим, причем это было решение Западной Германии, поддержанное всеми крупными партиями страны, а не инициатива, навязанная Соединенными Штатами. Со временем союзники, воспользовавшись стремлением Советов к признанию ими Восточной Германии, настояли, как на обязательном предварительном условии, на том, чтобы Советский Союз строжайшим образом обеспечил точнейшее выполнение процедуры доступа в Берлин и подтвердил его четырехсторонний статус. Советы официально приняли все эти условия и подписали Четырехстороннее соглашение 1971 года. Более не было никаких вызовов в отношении Берлина или путей доступа в город, а в 1989 году была снесена стена, и вслед за этим произошло объединение Германии. Политика «сдерживания» все-таки сработала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Концепции западного единства: Макмиллан, де Голль, Эйзенхауэр и Кеннеди

Берлинский кризис обозначил окончательное оформление двух сфер влияния, которые в течение почти двух десятилетий сходились вплотную на разграничительной линии, разделившей Европейский континент. В течение первой фазы процесса, с 1945 по 1948 год, Сталин заложил основы советской сферы влияния, превратив страны Восточной Европы в государства-сателлиты и, соответственно, угрожая Западной Европе. Во время второй фазы, с 1949 по 1956 год, демократии отреагировали тем, что создали НАТО, консолидировали свои оккупационные зоны в Федеративную Республику и начали процесс западноевропейской интеграции.

В продолжение периода консолидации каждым лагерем периодически делались попытки нарушить границы сфер влияния друг друга — в свою, понятно, пользу. Все эти планы потерпели неудачу. Сталинская «мирная нота» 1952 года, целью которой было выманить Федеративную Республику из западного лагеря, повисла в воздухе — отчасти из-за смерти Сталина. Бессодержательность даллесовской стратегии «освобождения» Восточной Европы была наглядно продемонстрирована во время неудачного Венгерского восстания 1956 года. Хрущевский берлинский ультиматум 1958 года представлял собой еще одну попытку отделить Федеративную Республику от Запада. Но в итоге Советы вынуждены были довольствоваться тем, что окончательно прибрали к рукам восточногерманского сателлита. А после Кубинского ракетного кризиса Советы сконцентрировали свои усилия на проникновении в мир развивающихся стран. Результатом стала биополярная стабильность в Европе, парадоксальный характер которой был резюмирован в 1958 году великим французским философом и ученым-политологом Раймоном Ароном:

«Нынешняя ситуация в Европе ненормальна, а то и абсурдна. Зато она имеет четкий облик, причем все знают, где проходит демаркационная линия, и никто особенно не

боится того, что может произойти. Если что-нибудь случится по ту сторону „железного занавеса" — а мы уже испытали подобный опыт год назад, — на этой стороне не произойдет ничего. Таким образом, четкое разделение Европы воспринимается, независимо от истины, как менее опасное, чем какое бы то ни было иное устройство»[820].

Именно эта стабильность и позволила латентным разногласиям внутри так называемого Атлантического сообщества всплыть на поверхность. Сразу же по окончании Берлинского кризиса Макмиллан в Великобритании, де Голль во Франции и Кеннеди в Соединенных Штатах вынуждены были примирить друг с другом свои столь несхожие планы и прогнозы по поводу будущего характера сообщества, роли ядерных вооружений и перспектив для Европы.

Макмиллан был первым британским премьер-министром, четко осознавшим ту болезненную реальность, что его страна более не является мировой державой. Черчилль имел дело с Америкой и Советским Союзом на равных. Несмотря на то, что его поведение не отражало истинного соотношения сил, Черчилль благодаря своей гениальности и способности возглавить героические усилия Великобритании в годы войны сумел заполнить брешь между возвышенными мечтаниями и действительностью. Когда Черчилль настаивал на проведении переговоров с Москвой непосредственно по окончании войны, будучи лидером оппозиции, и вновь после смерти Сталина в 1953 году, став опять премьер-министром, то выступал от имени великой державы, которая пусть и не стояла в самых первых рядах, но тем не менее была способна повлиять на расчеты других. На протяжении Суэцкого кризиса Иден все еще вел себя так, как глава правительства в достаточной мере автономной великой державы, способной на односторонние действия. Но к тому моменту, когда Макмиллан очутился перед лицом Берлинского кризиса, иллюзию, будто Великобритания может сама по себе менять стратегические расчеты сверхдержав, поддерживать более было уже невозможно.

Элегантный, светски-изысканный скептик Макмиллан представлял собой последнего из тори прежних времен, он был продуктом эпохи короля Эдуарда, когда Великобритания была доминирующей державой мира, а «Юнион Джек» развевался буквально в каждом уголке земного шара. Несмотря на то, что Макмиллан обладал весьма нелицеприятным чувством юмора, в его облике присутствовала какая-то

меланхолия, неотделимая от необходимости соучаствовать в неуклонном падении роли Англии, начиная с болезненного опыта первой мировой войны, испытанного, когда страна находилась еще в зените славы. Макмиллан имел обыкновение трогательно вспоминать встречу четверых уцелевших из его класса в колледже Крайстчерч Оксфордского университета. Во время забастовки работников угольной промышленности в 1984 году Макмиллан, уже двадцать лет как отошедший от дел, говорил мне, что, хотя он в высшей степени уважает миссис Тэтчер и понимает, чего она добивается, он никогда не был бы в состоянии вести войну до победного конца с сыновьями людей, которых он вынужден был посылать в горнило первой мировой войны и которые проявили чудеса самопожертвования.

Макмиллана в дом номер десять по Даунинг-стрит вознес позор Суэца, события, послужившего отправной точкой падения глобальной роли его страны. Он играл свою партию щегольски, но не без определенной неохоты. Как бывший канцлер казначейства, Макмиллан великолепно знал, что экономика Великобритании идет к упадку, а военная роль страны несопоставима с огромными ядерными арсеналами сверхдержав. Первое предложение о вступлении в «Общий рынок» Великобритания отвергла. Когда Чемберлен назвал в 1938 году Чехословакию маленькой, отдаленной страной, о которой британцы почти ничего не знали, это было нормальным парадоксом; держава, ведшая в течение полутора столетий колониальные войны на другом конце света, взирала на кризисы в Европе в нескольких сотнях миль от себя, как на нечто, весьма далекое.

Но к концу 50-х годов Великобритания больше не могла взирать на Европу с почтительного расстояния и видеть в ней лишь место, куда время от времени направлялись британские вооруженные силы, чтобы избавиться от очередного потенциального тирана. Макмиллан отказался от позиции стороннего наблюдателя и обратился с просьбой о принятии Великобритании в члены Европейского экономического сообщества. И все же, несмотря на суэцкое поражение, главной заботой его оставалось сохранение и упрочение «особых отношений» Великобритании с Соединенными Штатами.

Великобритания не воспринимала себя как исключительно европейская держава. В конце концов; в Европе чаще всего зарождались угрожавшие ей опасности, а спасение приходило с того берега Атлантического океана. Макмиллан не признавал воззрений

голлистов, будто бы европейская безопасность становится надежнее по мере дистанцирования от Соединенных Штатов. Когда все уже было сказано и сделано, Великобритания была, по меньшей мере, готова точно так же воевать за Берлин, как и Франция, хотя мотивом была бы не защита весьма зыбкой концепции оккупационных прав союзников, а поддержка Америки в силу истинности ее точки зрения о наличии угрозы глобальному равновесию сил.

После Суэца Франция и Великобритания сделали диаметрально противоположные выводы из перенесенного ими унижения со стороны Америки. Франция ускорила обретение независимости; Великобритания выбрала укрепление партнерских отношений с Америкой. Раздумья о возможности англо-американского партнерства, по правде говоря, относятся еще к периоду, предшествовавшему второй мировой войне, и с тех пор находили благодатную почву. Еще в 1935 году премьер-министр Стэнли Болдуин обрисовал их следующим образом, выступая в Альберт-холле:

«Я всегда полагал, что наибольшая безопасность в случае войны в любой части света, будь то в Европе, на Востоке или где-либо еще, обеспечивалась бы тесным сотрудничеством Британской империи и Соединенных Штатов Америки... Пока не будет достигнута желанная цель, может пройти сотня лет; а может быть, все это так и останется чем-то недостижимым. Но иногда мы предаемся своим мечтам. Я вглядываюсь в будущее и вижу, как возникает союз сил мира и справедливости, и я не могу не думать, что в один прекрасный день, пусть даже сегодня подобное еще нельзя пропагандировать открыто, настанет время, когда те, кто будут жить после нас, возможно, увидят это...»[821]

Для того, чтобы мечта Стэнли Болдуина стала былью, сотни лет не понадобилось. Начиная со второй мировой войны Великобритания и Соединенные Штаты были связаны общей нуждой, даже если эта нужда прошла через фильтры различного исторического опыта.

Важнейшим фактором, позволившим выковать столь прочную связь между двумя нациями, была исключительная способность Великобритании приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Быть может, как подчеркивал Дин Ачесон, Великобритания слишком долго цеплялась за имперскую иллюзию и не могла определить для себя соответствующей времени роли внутри Европы[822]. С другой стороны, в своих взаимоотношениях с Вашингтоном Великобритания

демонстрировала практически повседневно, что, какой бы старой страной она ни была, по поводу фундаментальных проблем она не обманывалась. Трезво рассчитав, что она не может более надеяться формировать американскую политику традиционными методами уравнивания выгод и рисков, британские лидеры предпочли — особенно после Суэца — вымостить иной путь к расширению собственного влияния. Британские лидеры, принадлежащие к обеим партиям, сумели сделать себя до такой степени незаменимыми как элемент процесса принятия Америкой решений, что президенты и их окружение стали рассматривать консультации с Лондоном не как особое снисхождение по отношению к более слабому союзнику, а как жизненно важный компонент осуществления ими функций управления.

Это, однако, вовсе не означало, что Великобритания соглашалась с американскими философскими воззрениями по поводу международных отношений. Британцы никогда не разделяли американской точки зрения на человека как на совершенное творение и вовсе не предавались пропаганде моральных абсолютов. С философской точки зрения, британские лидеры, как правило, придерживались взглядов Гоббса. Ожидая от человека худшего, они редко бывали разочарованы. В международной политике Великобритания все время имела тенденцию применять на практике удобную для себя форму этического эгоизма: что хорошо для Великобритании, считалось хорошим и для всего остального мира.

Для того чтобы проводить в жизнь подобную концепцию, нужна была значительная доля самоуверенности, не говоря уже о врожденном чувстве превосходства. Когда в XIX веке один французский дипломат заявил британскому премьер-министру Пальмерстону, что тот в последний момент дипломатической игры вынимает карту из рукава, отважный англичанин ответил: «Карты туда положил Господь». И все же Великобритания претворяла национальный эгоизм в жизнь с таким интуитивным чувством умеренности, что часто возникало ощущение, будто она и впрямь является носителем всеобщего добра.

Именно при Макмиллане завершился переход Великобритании от могущества к влиянию. Он решил ввести британскую политику в русло американской политики и расширить для Великобритании рамки выбора, умело строя отношения с Вашингтоном. Макмиллан никогда не спорил по философским или концептуальным

вопросам и редко бросал открытый вызов ключевым направлениям американской политики. Он с готовностью уступал Вашингтону центральное место на сцене, но зато стремился влиять на ход драмы из-за кулис. Де Голль часто вел себя довольно вызывающе, и игнорировать его становилось весьма болезненно; Макмиллан же сделал для Соединенных Штатов процесс выяснения мнений Великобритании столь легким, что игнорировать его было бы просто неприличным.

Тактика Макмиллана в период Берлинского кризиса включала в себя и этот подход. Доступ в Берлин не стоил для него ядерной катастрофы. С другой стороны, риск потери связей с Америкой оказался бы еще большим проклятием. Он встал бы плечом к плечу с Америкой даже в случае ядерного противостояния, чего большинство союзников явно не могли бы гарантировать. Однако прежде чем пришлось бы сделать окончательный выбор, Макмиллан был преисполнен решимости выявить все имеющиеся в наличии альтернативы. Претворив необходимость в достоинство, он принял на себя роль главного на Западе глашатая мира, стал сдерживать чересчур поспешные американские действия, демонстрируя британской публике, что «ее лидеры не пожалели усилий, чтобы достигнуть взаимопонимания и договоренности»[823].

Средство превратилось в самоцель. Макмиллан был в достаточной степени уверен в собственной ловкости и попытался вырвать жало у советского вызова путем вовлечения предъявившей требования стороны в умело организованные переговоры. Образ мыслей Макмиллана подсказывал ему, что сам по себе дипломатический процесс может послужить обезвреживанию содержащихся в хрущевском ультиматуме угроз посредством смены одной серии не приведших к окончательному итогу встреч последующей их серией, позволяющей отодвинуть любые крайние сроки, назначенные нетерпеливым советским лидером.

К крайнему неудовольствию Аденауэра, Макмиллан предпринял одиннадцатидневную поездку в Советский Союз в феврале — марте 1959 года, даже несмотря на то, что к этому моменту Хрущев уже отодвигал несколько раз крайний срок своего ультиматума. Макмиллан не добился ничего существенного, зато Хрущев воспользовался его приездом, чтобы повторить изначальные угрозы. Тем не менее премьер-министр неумолимо и целенаправленно добивался установления графика проведения серии совещаний в качестве наиболее практичного средства обхода

установленных Хрущевым крайних сроков. Он вспоминает в своих мемуарах:

«Я стремился претворить в жизнь концепцию серии встреч, последовательно переходящих от рассмотрения одного пункта к рассмотрению другого пункта, чтобы „мирное сосуществование" (пользуясь жаргоном того времени) — если не мир как таковой — безраздельно царствовало в мире»[824].

Однако когда переговоры становятся самоцелью, то отдаются на милость той стороны, которая в наибольшей степени готова их прервать, а точнее, той стороны, которая способна создать подобное впечатление. Именно таким образом Хрущев оказался в состоянии определять, что конкретно может «быть предметом переговоров». Желая не прекращать диалога, Макмиллан проявлял чудеса изобретательности, умело выискивая в советской повестке дня темы, которыми можно было бы относительно безопасно заниматься. На следующий день после получения официальной хрущевской ноты по Берлину от 27 ноября 1958 года Макмиллан писал своему министру иностранных дел Селвину Ллойд: «Мы не сумеем избежать переговоров. Как их следует вести? Обязательно ли они сосредоточатся на вопросах будущего объединенной Германии и, быть может, „плане разъединения"?»[825]

Общей чертой различных планов разъединения было установление зон ограничения вооружений в Центральной Европе, куда по определению входили Германия, Польша и Чехословакия, и вывод из этих стран ядерного оружия. Для Макмиллана и в меньшей степени для американских руководителей размещение такого оружия носило в первую очередь символический характер. Поскольку в основе ядерной стратегии лежало положение об использовании американского ядерного арсенала (подавляющая часть которого располагалась вне Европейского континента), обсуждение плана разъединения сил с Советами представлялось для Макмиллана относительно безобидным способом выигрыша времени.

Аденауэр выступал против любой из этих схем, поскольку стоило вывести ядерное оружие из Германии, как оно вернулось бы в Америку, и тем самым разрывалось бы, по мнению Аденауэра, критически важное политическое звено ядерной обороны между Европой и Америкой. Его доводы — или, по крайней мере, доводы его экспертов по вопросам обороны — сводились к тому, что, пока ядерное оружие размещено на немецкой земле, Советский Союз не рискнет напасть на Центральную Европу; ведь для этого потребуется ядерная атака, на которую американский ответный

удар последовал бы автоматически.

А вот если бы американское ядерное оружие было вывезено в Америку, это открывало бы возможность нападения на Германию при помощи классического оружия. И Аденауэр не был уверен, ответят ли американские руководители в таком случае ядерной войной в свете возможных опустошений в собственной стране. И проверка переговорных возможностей становилась применительно к Берлину суррогатом непрекращающихся дебатов относительно военной стратегии Атлантического союза.

Стоило как Макмиллану, так и Эйзенхауэру единолично предпринять какую-либо политическую инициативу, как реакция партнера часто становилась наглядной иллюстрацией того, что государственным деятелям тщеславие никогда не было чуждо. Хотя они оба были настоящими друзьями, но в начале 1959 года Эйзенхауэр был раздражен вылазкой Макмиллана в Москву; а осенью того же года Макмиллан точно с цепи сорвался, когда узнал, что Эйзенхауэр пригласил Хрущева в Кемп-Дэвид:

«Президент, ранее связавший себе руки доктриной „никакой встречи на высшем уровне, если не будет прогресса на встрече министров иностранных дел“, теперь, похоже, хочет от этой доктрины отделаться. И придумал для этого единственный способ: заменить дискуссии приятным времяпровождением. А потому пригласил Хрущева побыть с ним в Америке, пообещав в ответ прокатиться к нему в Россию. Все это с точки зрения дипломатии выглядит довольно странно»[826].

Не столько странно, сколько неизбежно. Ибо как только Хрущев понял, что Великобритания неотделима от Америки, он сконцентрировал все свое внимание на Эйзенхауэре. С точки зрения Хрущева, Макмиллан сыграл свою роль, побудив Вашингтон вести переговоры. Ибо окончательный анализ показывал, что единственным собеседником, способным дать то, чего жаждал Хрущев, являлся американский президент. И потому главными и существенными оказались дискуссии между Хрущевым и Эйзенхауэром в Кемп-Дэвиде и между Хрущевым и Кеннеди в Вене. И все же чем больше Америка и Советский Союз монополизировали международный диалог, тем инициативнее члены НАТО пытались обеспечить себе определенную свободу маневра. Поскольку советская угроза Западной Европе становилась все слабее по мере исчезновения всеобщего страха перед Москвой, разногласия внутри Атлантического союза стали таить в себе меньший риск, а де

Голль попытался использовать сложившееся положение вещей для проведения более независимой европейской политики.

Но для Великобритании выбор ведущего не представлял проблемы. Поскольку Макмиллан предпочитал подчинение Америке подчинению Европе, у него не было побудительных мотивов поощрять замыслы де Голля, и он никогда не поддерживал шаги, направленные на отделение Европы от Америки, не важно, под каким предлогом. Тем не менее, защищая жизненно важные британские интересы, Макмиллан был до мозга костей столь же стоек и упорен, как и де Голль. Это стало очевидным во время так называемого «дела со „Скайболтом»».

Чтобы продлить жизнь своему устаревающему бомбардировочному флоту, Великобритания решила закупить «Скайболт» — американскую ракету дальнего радиуса действия, запускаемую в воздухе, которая тогда находилась в стадии разработки. Осенью 1962 года без предварительного предупреждения администрация Кеннеди прекратила работу над «Скайболтом» якобы по техническим соображениям, на самом же деле чтобы уменьшить зависимость от авиации, которую тогда полагали более уязвимой, чем ракеты, и почти наверняка для того, чтобы не способствовать развитию автономных ядерных возможностей Великобритании. Одностороннее американское решение, принятое без предварительных консультаций с Великобританией, обрекало британскую бомбардировочную авиацию на быстрое моральное старение. Похоже, сбывались французские предупреждения относительно зависимости от Вашингтона.

Однако последующая фаза «дела со „Скайболтом»» продемонстрировала выгоды наличия «особых отношений» с Америкой. Макмиллан бросил на игорное поле приобретенные им за время пестования связей с Америкой фишки и не особенно при этом церемонился:

«Если трудности, возникшие при разработке „Скайболта", используются или представляются используемыми как метод принуждения Британии отказаться от развития собственных независимых ядерных возможностей, результаты будут весьма и весьма серьезными. Они будут встречены с неодобрением как теми у нас, кто благожелательно относится к наличию независимых ядерных возможностей, так и теми, кто выступает против. Это будет воспринято как удар по чувству национальной гордости, и этому будут сопротивляться всеми имеющимися у нас в наличии

средствами»[827].

Кеннеди и Макмиллан встретились в Нассау, и там 21 декабря они договорились усовершенствовать англо-американское ядерное партнерство. Америка взялась компенсировать Великобритании отсутствие ракет «Скайболт» путем продажи пяти подводных лодок «Поларис» с комплектом ракет, для которых Великобритания разработает собственные боеголовки. А чтобы пойти навстречу озабоченности Америки по поводу сохранения централизованного контроля над ядерной стратегией, Великобритания дала согласие «передать» эти подводные лодки НАТО, исключая, однако, случаи, когда «на карту ставятся высшие национальные интересы»[828].

Интеграция британских сил в составе НАТО оказалась в основном чисто символической. Поскольку Великобритания была вольна пользоваться подводными лодками, коль скоро речь шла о «высших национальных интересах», и поскольку, по сути дела, о применении ядерного оружия речь могла пойти только в том случае, когда действительно ставились на карту высшие национальные интересы, Нассауское соглашение на деле передало Великобритании посредством консультаций те же самые права на свободу действий, какие Франция пыталась выторговать путем конфронтации. Различие в отношении Великобритании и Франции к ядерному оружию заключалось в том, что Великобритания была готова пожертвовать формой ради сущности, в то время как де Голль, стремясь вновь подчеркнуть самостоятельность Франции, ставил между формой и содержанием знак равенства.

Франция, конечно, была в совершенно иной ситуации, ибо не имела ни малейших перспектив обретения такого же влияния на американские решения, каким обладала Великобритания. Поэтому под руководством де Голля Франция поднимала философский вопрос относительно характера атлантического сотрудничества таким образом, который превращал все это в соперничество за лидерство в Европе, а для Америки — в повторное знакомство с историческим стилем европейской дипломатии.

Соединенные Штаты с конца второй мировой войны фактически правили миром таким способом, который прежде не был доступен ни одной из наций: они производили почти треть мирового количества товаров и объема услуг. Опираясь на огромный прорыв в области ядерной технологии, Америка сохраняла подавляющее превосходство над любым мыслимым соперником или комбинацией соперников.

На протяжении нескольких десятилетий сочетание благоприятных обстоятельств

побуждало американских руководителей не вспоминать о том, насколько отличается поведение опустошенной, временно бессильной, а потому склонной к уступкам Европы от Европы тех времен, когда она в продолжение двух столетий играла доминирующую роль в мировых делах. Они не вспоминали о европейском динамизме, позволившем дать толчок промышленной революции, о политической философии, породившей понятие суверенитета отдельной нации; или о дипломатии европейского стиля, на протяжении почти трех столетий позволявшей дирижировать сложнейшей системой равновесия сил. По мере возрождения Европы — при неопределимой помощи Америки — некоторые из традиционных моделей дипломатии обязательно должны были возродиться, особенно во Франции, где при Ришелье и возникло современное представление о внешней и внутренней государственной политике.

Никто не ощущал этой потребности более остро, чем Шарль де Голль. В 60-е годы, в период наибольшего обострения противоречий с Соединенными Штатами, стало модным обвинять французского президента в мании величия. На самом деле стоявшая перед ним проблема была прямо противоположного характера: как восстановить ощущение собственной значимости у страны, охваченной чувством проигрыша и уязвимости. В отличие от Америки Франция не обладала всеподавляющей мощью; в отличие от Великобритании она не рассматривала вторую мировую войну как опыт национального сплочения, и даже как опыт поучительного характера. Мало какая страна оказывалась в столь же трудном положении, как Франция, потерявшая значительную часть молодежи во время первой мировой войны[829]. Пережившие катастрофу осознавали, что Франция второго такого испытания не перенесет. И в этом смысле вторая мировая война стала овеществленным кошмаром, превратив крушение Франции в 1940 году в несчастье не только военного, но и психологического характера. И хотя формально Франция вышла из войны в качестве одного из победителей, французские руководители слишком хорошо знали, что в основном страна оказалась спасена благодаря усилиям других.

Мир не стал передышкой. Четвертая республика характеризовалась точно такой же нестабильностью правительств, как и Третья, и в довершение к этому ей надо было пройти иссушающий душу путь деколонизации. После унижений 1940 года французская армия едва-едва была воссоздана, и тут же ей пришлось в течение двух десятилетий вести безнадежные колониальные войны, вначале в Индокитае, а затем в

Алжире. Обе закончились поражением. Благодаря наличию стабильного правительства и благословенной уверенности в себе, подкрепленной победой тотального характера, Соединенные Штаты могли безоглядно предаваться выполнению любой задачи, продиктованной их ценностями. Управляя страной, на протяжении целого поколения разрываемой конфликтами и пережившей десятилетия унижения, де Голль избирал образ действий, руководствуясь не столько прагматическими критериями, сколько тем, можно ли будет подобным образом способствовать восстановлению у Франции самоуважения.

Возникший в результате этого конфликт между Францией и Соединенными Штатами наполнился еще большей горечью от того, что при наличии глубочайшего взаимного непонимания обе стороны, казалось, никогда не говорили на одну и ту же тему. Хотя как личности американские руководители обычно не были людьми с претензиями, они страдали избытком самоуверенности в отношении практических рецептов. Де Голль, поскольку народ его страны стал скептиком после стольких разбитых вдребезги надежд и стольких мечтаний, рассеявшихся словно дым, счел необходимым компенсировать глубоко укоренившееся в обществе чувство непрочности и неуверенности высокомерно-властным поведением. Взаимодействие между личной скромностью американских руководителей и их историческим высокомерием, с одной стороны, и личным высокомерием и исторической скромностью де Голля, с другой, стало определяющим фактором возникновения барьера между Америкой и Францией.

Поскольку Вашингтон считал не вызывающей сомнений предпосылкой членства в Атлантическом союзе полное совпадение интересов входящих в него стран, то рассматривал консультации как панацею при любых разногласиях. С точки зрения Америки, союз представлялся как нечто подобное корпорации на паях; влияние внутри нее определялось долей имущественного владения, которой обладала каждая из сторон-участниц, и оно должно было рассчитываться в прямой пропорции к материальному взносу каждой из стран на общее дело.

Многовековая французская традиция дипломатической деятельности никоим образом не могла привести к подобному выводу. Еще со времен Ришелье Франция всегда основывала собственные инициативы на сопоставлении выгод и риска. Будучи порождением традиции, де Голль в наименьшей степени интересовался механизмом

консультаций, а в наибольшей — обретением возможностей выбора на случай возникновения разногласий. Де Голль был уверен, что наличие такого рода возможностей укрепляет переговорные позиции. Для де Голля здоровые отношения между нациями зависели от расчета взаимных интересов, а не от формальных процедур урегулирования споров. Он не считал гармонию естественным состоянием, но чем-то выкристаллизовывающимся из столкновения интересов:

«Человек, „ограниченный по своей природе“, одновременно „безграничен в своих желаниях“. Мир, таким образом, раздираем противостоящими друг другу силами. Конечно, человеческая мудрость часто не позволяет подобному соперничеству деградировать в чреватые убийством конфликты. Но столкновение усилий является условием жизни... Итоговый анализ, как всегда, показывает, что лишь равновесие в этом мире обеспечивает мир»[830].

В период своего краткого знакомства с де Голлем я имел возможность в весьма решительной форме приобщиться к его принципам. Наша первая встреча состоялась во время визита Никсона в Париж в марте 1969 года. В Енисейском дворце, где де Голль устроил большой прием, его помощник специально разыскал меня в толпе и сказал, что французский президент желает со мной поговорить. Несколько потрясенный, я приблизился к возвышающейся над всеми фигуре. Завидев меня, он отошел от собравшейся вокруг него группы и, не поздоровавшись и не обменявшись со мной какими бы то ни было общепринятыми приветствиями, встретил меня вопросом: «Почему вы не уходите из Вьетнама?» Я ответил не вполне уверенно, что односторонний уход подорвет доверие к Америке. На де Голля это не произвело впечатления, и он спросил, в какой именно области может произойти утрата доверия. А когда я назвал Ближний и Средний Восток, недоверие сменилось меланхолией, и он заметил: «Как странно! А я-то думал, что как раз на Ближнем и Среднем Востоке проблема доверия возникла именно у ваших врагов».

На следующий день после встречи с французским президентом Никсон позвал меня к себе, чтобы обсудить со мной заявление де Голля относительно видения им Европы как целого, состоящего из национальных государств, — знаменитой «Европы из отдельных стран». Во время очередной встречи я спросил сдуру — ибо де Голль не снисходил до споров с помощниками или, в данном конкретном случае, до споров в присутствии помощников, — как Франция намеревается предотвратить господство

Германии в Европе его мечты. Де Голль явно счел этот вопрос не заслуживающим дельного ответа. «Par la guerre» («Путем войны») — коротко ответил он. И это через Какие-то шесть лет после подписания им договора о вечной дружбе с Аденауэром.

Прямолинейная преданность национальным интересам Франции окрашивала отчужденно-бескомпромиссный стиль дипломатии де Голля. В то время как американские руководители подчеркивали принцип партнерства, де Голль делал упор на обязанности государств самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. В то время как Вашингтон хотел бы разложить на всех членов союза выполнение этой задачи общего характера, де Голль был убежден в том, что подобное разделение низведет Францию до роли подчиненного и разрушит чувство самоуважения.

«Для великого государства нетерпимо оставлять собственную судьбу на усмотрение иного государства, принимающего решения и осуществляющего действия, каким бы дружественным оно ни было... Интегрированная страна теряет интерес к национальной обороне, поскольку она не несет за нее ответственность».[831]

Этим объясняется почти стереотипная для де Голля дипломатическая процедура выдвижения предложений при минимуме объяснений. Если они отвергались, Франция стремилась реализовать их в одностороннем порядке. Для де Голля ничто не представляло из себя большей значимости, чем возможность для французов видеть себя своими глазами и глазами других как совершающих любое действие исключительно по собственной воле. Де Голль воспринимал унижение 1940 года как временное отступление, которому подведет черту суровое и бескомпромиссное руководство. Согласно его принципам мышления, Франция никогда не согласится ни с малейшим намеком на подчиненность, пусть даже столь уважаемому американскому союзнику, наводящему на всех страх:

«В отношении Соединенных Штатов — богатых, деятельных и могущественных — Франция оказалась в положении подчинения. Франции постоянно требовалось их содействие, чтобы избежать краха собственной валюты. Именно из Америки она получила вооружение для своих солдат. Безопасность Франции целиком и полностью зависела от их защиты... Мероприятия такого рода под маской интеграции автоматически превращали авторитет Америки в аксиому. Это относится и к проекту создания так называемой наднациональной Европы, в которой бы Франция как таковая исчезла... Возникла бы Европа без политической реальности, без

экономических стимулов, без способности обороняться и, следовательно, обреченная перед лицом советского блока на неизбежное подчинение великой западной державе, имеющей и собственную политику, и собственную экономику, и собственную систему обороны, — Соединенным Штатам Америки»[832].

Де Голль не был антиамериканцем в принципе. Он был готов к сотрудничеству в любой момент, когда, как ему казалось, французские и американские интересы совпадают на самом деле. Так, во время Кубинского ракетного кризиса американские официальные лица были потрясены безоговорочностью поддержки де Голля — самой неограниченной по сравнению с остальными западными лидерами союзных стран. Он также решительно выступал против любого из планов разграничения в Центральной Европе, в первую очередь потому, что в результате американские вооруженные силы оказывались далеко, а советские вооруженные силы — очень близко:

«...Этот „вывод войск" или „разграничение" как таковые для нас бессмысленны, ибо не несут в себе ничего ценного. Ибо если разоружение не распространяется на зону, столь же близкую к Уралу, как и к Атлантике, как может Франция считать себя в безопасности? Что же тогда в случае конфликта остановит агрессора от прыжка или перелета через незащищенную германскую нейтральную полосу?»[833]

Настойчивая приверженность де Голля идее независимости оставалась бы теоретической, если бы он ее не связывал с рядом предложений, практическим последствием которых было бы ослабление роли Америки в Европе. Первым из них было утверждение, что нельзя положиться на вечное американское присутствие в Европе. Европа обязана готовить себя — под французским руководством — к самостоятельному взгляду на будущее. Де Голль не утверждал, что такой выход предпочтительнее, и, казалось, оставался равнодушен к трактовке подобного предсказания, носящего характер автоматически действующего пророчества.

Во время визита в Париж в 1959 году президент Эйзенхауэр взял быка за рога, спросив французского руководителя: «Почему вы сомневаетесь в том, что Америка свяжет свою судьбу с Европой?»[834] В свете поведения Эйзенхауэра во время Суэцкого кризиса этот вопрос звучал довольно странно и чересчур самоуверенно. Де Голль вежливо ответил, напомнив Эйзенхауэру о более отдаленных уроках истории. Америка пришла на помощь Франции во время первой мировой войны только по истечении трех лет смертельной опасности для страны, а во время второй мировой

войны — только тогда, когда Франция была уже оккупирована. В ядерный век такого рода вмешательство выглядело бы безнадежно запоздалым.

Де Голль не упускал ни единой возможности лишний раз показать, что по конкретным вопросам суждения Америки были менее европейскими, чем Франции, и он безжалостно эксплуатировал берлинский ультиматум Хрущева. Де Голль хотел, чтобы Бонн воспринимал его как более надежного союзника, чем Америка, и постепенно признал французское, а не американское лидерство. А когда вследствие односторонних американских инициатив отдельные до того неприкосновенные аспекты послевоенной политики западных держав по Берлину становились предметом дипломатических переговоров, растущее беспокойство Аденауэра представляло собой не только опасность, но и исключительные возможности для Франции. Опасность потому, что, «если германский народ перейдет на другую сторону, европейское равновесие окажется нарушено, а это может стать сигналом для войны»: возможности потому, что германские опасения могли бы увеличить французское влияние в Европе[835].

То, что имел в виду де Голль, представляло из себя Европу, организованную по принципам бисмарковской Германии, то есть объединение на базе государств, одно из которых (Франция) будет играть ведущую роль, обладая теми же функциями, как и Пруссия внутри императорской Германии. Каждый исполнял бы какую-то роль в деголлевском возрождении старинной мечты Ришелье о преобладающей Франции: Советский Союз обеспечивал бы разделение Германии; Соединенные Штаты — безопасность Западной Европы по отношению к Советскому Союзу; Франция — переориентацию германских национальных чаяний в направлении европейского единства. Но, в отличие от Пруссии. Франция не была самым сильным государством Западной Европы; у нее не было достаточной экономической мощи, чтобы доминировать над другими, и, в конце концов, она не была в состоянии регулировать соотношение сил между сверхдержавами и тем их сдерживать.

Эти разногласия вполне можно было бы оставить на суд времени, тем более что Аденауэр отчаянно жаждал быть как можно ближе к Соединенным Штатам. А поскольку все германские руководители отдавали себе отчет в том, до какой степени велик разрыв в силе между Францией и Соединенными Штатами, то они и не собирались менять американскую ядерную защиту на большую преданность Франции

вопросам политического характера.

Однако существовала одна проблема, где национальное несогласие между Францией и Америкой составило ее суть, и дело не терпело отлагательств: речь идет о контроле над военной стратегией в ядерный век. Здесь американское настоятельное требование относительно интеграции и французский призыв к автономии точек соприкосновения вообще не имели, и никакого буфера для сглаживания разногласий не существовало. Поскольку мощь ядерного оружия оказалась беспрецедентной, история не в состоянии была предложить надежной аналогии для формулирования ядерной стратегии. Для любого из политических деятелей полетом с завязанными глазами являлась попытка оценить влияние новой технологии как на политику, так и на стратегию; выводы на эту тему носили чисто академический, теоретический характер, ибо эмпирический опыт или конкретные данные отсутствовали.

В первое десятилетие послевоенной эры представлялось, что ядерная монополия превратила мечты Америки о всемогуществе в явь. Но к концу 50-х годов становилось очевидно, что любая из ядерных сверхдержав вскоре окажется в состоянии навлечь на другую такой уровень опустошения, какое не способно было вообразить ни одно из прежде существовавших обществ. Само сохранение цивилизации, таким образом, оказывалось под угрозой.

Осознание этого стало первоосновой грядущих революционных перемен сущности международных отношений. Хотя вооружение постоянно совершенствовалось, разрушительный эффект его вплоть до конца второй мировой войны все еще оставался довольно ограниченным. Войны требовали широчайшей мобилизации ресурсов и живой силы, для накопления и собирания которых требовалось время. Потери росли относительно постепенно. Теоретически войну можно было остановить задолго до того, как она выйдет из-под контроля.

Поскольку военный потенциал можно было увеличивать в относительно малых пропорциях, само предположение, будто в распоряжении государства может образоваться мощь, избыточная для достижения разумных политических целей, представилось бы невероятным. И все же в ядерный век произошло именно это. Центральной стратегической дилеммой сверхдержав стало не накопление дополнительной мощи, а подчинение конкретным целям находящегося в их распоряжении арсенала. Ни одной из сторон так и не удалось развязать этот гордиев

узел. Политические трения, которые ранее почти обязательно привели бы к войне, сдерживались страхом ядерного столкновения, что создавало порог риска, благодаря которому полстолетия сохранялся мир. Но подобное положение дел также влекло за собой чувство политической безнадежности и делало вызов неядерного характера более реальным и более частым. Никогда еще разрыв между сверхдержавой и неядерным государством не был столь велик; и никогда еще он не был столь «бумажным». Ни Северной Корее, ни Северному Вьетнаму американский ядерный арсенал не помешал достигнуть поставленных целей, даже в ходе противостояния американским вооруженным силам; да и афганским партизанам не мешали ядерные возможности Советского Союза.

Впервые в истории наступление ядерной эры позволило изменять соотношение сил посредством прогресса, имевшего место исключительно в пределах территории одного суверенного государства. Приобретение одной конкретной страной атомной бомбы меняло соотношение сил более существенно, чем любые территориальные завоевания прошлого. И все же, за единственным исключением израильского удара по иракскому ядерному реактору в 1981 году, ни одна страна за всю историю «холодной войны» не прибегала к силе, чтобы предотвратить такого рода нарастание мощи противника.

Ядерный век превратил стратегию в устрашение, а устрашение — в эзотерическое интеллектуальное упражнение. Поскольку устрашение проявляется только негативно — посредством событий, которые на самом деле не происходят, и поскольку никогда невозможно продемонстрировать, почему именно не произошло то или иное событие, становится исключительно трудно оценить, является ли нынешняя политика наилучшей из возможных или просто достаточно эффективной. Ибо, быть может, устрашение было даже ненужно, поскольку невозможно доказать, собирался ли противник атаковать вообще. И наличие столь бесконечно малых, не поддающихся учету факторов заставляет внутригосударственные и международные споры колебаться в диапазоне от пацифизма до непреклонности, от парализующих сомнений до безграничной уверенности в собственных силах и от недоказуемых оборонительных теорий до нереализуемых теорий контроля над вооружениями.

Потенциальный источник напряжения любого союза — возможность расхождения интересов — лишь усиливается подобной неопределенностью. С исторической точки

зрения нации в общем и целом, хотя и далеко не всегда, старались держаться заключенных союзов, ибо отказаться от союзника считалось гораздо более рискованным, чем выполнить взятые на себя обязательства. В ядерный век это правило более не было аксиомой: отказ от союзника означал лишь потенциальную опасность, зато участие в ядерной войне на стороне союзника гарантировало немедленную катастрофу.

Чтобы сделать ядерное устрашение еще эффективнее, Америка и ее союзники имели все основания подчеркивать как неотвратимость, так и свирепость реакции на вызов. Как сделать угрозу более достоверной, но вместе с тем уменьшить масштабы опустошения, если стратегия устрашения не сработает? Америка обрела еще больший стимул найти способ сделать ядерную войну более предсказуемой по конкретным показателям и менее катастрофичной. Конкретное определение целей, централизованное командование и управление, а также стратегия гибкого реагирования стали в высшей степени модными в среде американских интеллектуалов от обороны. И все же все американские союзники отвергли эти меры, ибо опасались, что, если ядерная война станет более предсказуемой в цифровом плане и более терпимой, это лишь поощрит агрессию. И вдобавок в последний момент Америка может все отыграть назад, так и не разрешив пустить в ход свой ядерный арсенал, несмотря на ограниченный стратегический выбор, так что Европа может оказаться лицом к лицу с обоими худшими из зол: снижением уровня устрашения для противника и отказом от воплощения в жизнь ядерной стратегии. Страхи эти были далеко не тривиальны. Вряд ли тривиальными были и опасения, связанные с озабоченностью американских руководителей проблемой множества пусковых кнопок в связи с наличием автономных французских и английских ядерных сил. Если европейские силы надумают ударить по Советскому Союзу, то могут тем самым вовлечь Америку в ядерную войну. Ибо в высшей степени возможно нанесение Советами удара возмездия по Америке, чтобы та не извлекла выгоды из ущерба, нанесенного им. Однако еще более вероятным сценарием оказался бы тот, когда ответ Советского Союза на удар американских союзников оказался бы столь мощным, что встал бы вопрос, может ли Америка сидеть сложа руки, когда опустошают территорию ее ближайших союзников, независимо от того, чем это спровоцировано.

И потому американские лидеры были преисполнены решимости избежать

вовлечения США в ядерную войну против их воли. Решение пойти на риск уничтожения собственного общества было и так достаточно одиозным, чтобы в дополнение к нему беспокоиться, не будет ли оно навязано союзниками. С другой стороны, американское «решение» подобной дилеммы — отказ союзникам в самостоятельности действий — противоречило всем историческим кошмарам европейской истории. Европейские лидеры были слишком знакомы с ситуацией, когда либо им самим приходилось оставлять собственных союзников, либо те бросали их, причем по причинам, намного менее уважительным, чем ядерное опустошение. С их точки зрения, само их выживание зависело от того, удастся ли им предотвратить в максимальной степени выбор Америкой варианта отмежевания от Европы в случае реальной перспективы возникновения ядерной войны, или, если таковое не удастся, от наличия в их распоряжении дополнительной подстраховки в форме национальных ядерных сил. Разница в американском и европейском подходе к вопросам ядерной стратегии представляла собой неразрешимую дилемму. Желание Великобритании и Франции сохранить определенный контроль над принятием решений, влияющих на их судьбу, было понятно и находилось в соответствии с их историческим опытом. Но и американская озабоченность возможностью нагнетания ужасов ядерного века посредством изолированной инициативы союзников имела под собой также весьма веские основания. С точки зрения устрашения, было, бесспорно, определенное достоинство в том, что британцы и французы оказались преисполнены решимости создать дополнительные центры принятия решений; положение агрессора окажется более сложным, если в расчет придется принимать существование независимых ядерных сил. С точки зрения наличия терпимой стратегии ведения войны, настойчивое требование Америки относительно объединенного контроля в равной степени имело смысл. Конфликтный характер озабоченности каждой из сторон исключал примирение и отражал попытку наций предопределить собственную судьбу в беспрецедентных обстоятельствах и перед лицом непредсказуемых опасностей. Реакцией Америки на дилемму была попытка «разрешить» ее; де Голль же, полагая ее неразрешимой, стремился укрепить французскую независимость.

Американская политика распадается на два существенных этапа, каждый из которых отражал личностные особенности президента, управлявшего в данный момент. Подход Эйзенхауэра заключался в том, чтобы убедить непреклонного де Голля в

ненужности французских независимых ядерных сил и трактовать попытки создать таковые как символ недоверия. С характерной для американца смесью легализма и идеализма Эйзенхауэр искал формальный способ преодоления кошмарной для Америки ситуации, когда ядерная война окажется развязанной ее союзниками. В 1959 году, по случаю визита в Париж, он спросил у де Голля, как различные национальные ядерные силы внутри союза будут интегрированы в рамках единого военного планирования. В этот момент Франция уже объявила ядерную программу, но еще не проводила испытаний.

Этим вопросом Эйзенхауэр напросился на ответ, который не готов был еще принять. Ибо для де Голля интеграция являлась политической, а не формально-юридической проблемой. Симптоматичным для наличия разрыва между двумя концепциями было то, что Эйзенхауэру, похоже, не было известно, что де Голль уже ответил на этот его вопрос годом ранее, когда было сделано предложение относительно Директората. Эйзенхауэр стремился к стратегическим решениям; де Голль искал политические. Эйзенхауэра в первую очередь интересовала эффективная командная структура военного времени. Де Голля в значительно меньшей степени интересовали планы ведения всеобщей войны (которую он заранее считал все равно проигранной), чем накопление многовариантности в дипломатической сфере, обеспечивающей для Франции свободу действий до начала какой бы то ни было войны.

17 сентября 1958 года де Голль направил Эйзенхауэру и Макмиллану меморандум, содержащий идеи относительно наиболее подходящей структуры НАТО. Он предложил создание внутри Атлантического союза политического Директората, состоящего из глав правительств Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Директорат будет встречаться периодически, иметь совместный штат и планировать совместную стратегию, особенно в отношении кризисов за пределами территории НАТО:

«...Политико-стратегические вопросы мировой важности следует доверить новому органу, состоящему из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. Этот орган должен взять на себя ответственность за принятие совместных решений по всем политическим вопросам, влияющим на безопасность во всем мире, и за составление, а при необходимости воплощение в жизнь стратегических планов, особенно тех, что связаны с применением ядерного оружия. Он также должен будет

нести ответственность за возможную организацию обороны отдельных оперативных регионов, таких, как Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Эти регионы могли бы, если возникнет нужда,делиться на отдельные подрайоны».

Чтобы подчеркнуть степень серьезности этих предложений, де Голль сопровождал их угрозой выхода Франции из НАТО. «Французское правительство, — отмечал он, — считает наличие подобной организации безопасности абсолютно необходимым. И потому нынешнее участие в НАТО как таковое зависит от этого»[836].

Внешне де Голль как будто требовал для Франции статус, равный «особым отношениям» Соединенных Штатов с Великобританией. На глубинном уровне, однако, он предлагал такую организацию безопасности, которая больше всего напоминала идею Рузвельта относительно «четырех полицейских», где Франция в качестве участника заменяла Советский Союз, — потрясающая концепция глобальной коллективной безопасности, базирующаяся на наличии ядерного оружия, хотя, конечно, на данный момент французские ядерные возможности существовали лишь в зародыше.

Де Голль проник в самую глубину ядерной проблемы: в мерный век не могло существовать никаких технических стимулов обеспечения координации. Потенциальный риск использования любого ядерного оружия был столь огромен, что его отсутствие представляло бы собой тенденцию обеспечить отдельным участникам игры возможность достижения в высшей степени национальных и замкнутых на самих себя целей. Единственной надеждой на совместные действия могло бы стать наличие политических отношений, до такой степени тесных, что различные участники процесса консультаций воспринимали бы друг друга как единое целое. И все же как раз подобные отношения и являются наиболее труднодостижимыми для суверенных наций, а дипломатический стиль де Голля делал их достижение почти невозможным.

Не смотрел ли де Голль на Директорат, как своего рода затычку, пока французские ядерные силы не станут достаточно мощными, чтобы угрожать автономными действиями? Или он ставил целью добиться нового, беспрецедентного сотрудничества, благодаря которому Франция бы обрела роль особого лидера на континенте? Ответа мы так никогда и не узнаем, ибо идея создания Директората

встретила весьма холодный отклик со стороны как Эйзенхауэра, так и Макмиллана. Великобритания не была готова обесценить «особые отношения» с Соединенными Штатами; Америка не имела ни малейшего желания стимулировать распространение ядерного оружия путем создания Директората, состоящего из одних только ядерных держав, да еще к тому же потенциальных. Остальные члены НАТО отвергли идею на том основании, что тогда создаются две категории членства: одна для ядерных держав, а другая для всех прочих. А американские лидеры воспринимали НАТО как единое целое, хотя с недавними разногласиями по Суэцу и Берлину это совмещалось плохо.

Официальная реакция Эйзенхауэра и Макмиллана была уклончивой. Привыкнув к относительно сговорчивым, исключительно недолговечным премьер-министрам Четвертой республики, они ответили на предложение де Голля выдвижением в высшей степени бюрократических по сути схем в надежде на то, что по прошествии времени оно само собой уйдет в небытие. Они приняли принцип регулярных консультаций, но постарались снизить их уровень, чтобы эти встречи происходили не между главами правительств, а также указали, что предпочтительнее всего было бы, если бы повестка дня такого рода совещаний ограничивалась чисто военными вопросами.

Тактика Эйзенхауэра и Макмиллана — то есть стремление утопить суть в процедуре — только тогда имела бы смысл, если бы верным оказалось предположение, что де Голль — человек болтливый и легкомысленный, которому некуда деваться. Но обе эти предпосылки оказались в корне неверны. Ощувив желание с ними не считаться, де Голль прибег к тактике подписания документов, дававших его собеседникам понять, что у него на самом деле есть и другие варианты выбора. Он распорядился убрать с французской территории американское ядерное оружие, вывел французский флот целиком и полностью из-под объединенного командования НАТО, а в 1966 году вообще вывел Францию из военной организации НАТО. Но прежде чем совершить столь судьбоносный шаг, де Голль успел вступить в стычку с молодым, динамичным американским президентом Джоном Ф. Кеннеди.

Кеннеди олицетворял новое поколение американских лидеров. Они воевали во вторую мировую войну, но не на командных постах; они поддерживали создание послевоенного мирового порядка, но не входили в число его творцов.

Предшественники Кеннеди, «присутствовавшие в момент творения», концентрировали свои усилия на сохранении того, что было ими выстроено. А администрация Кеннеди была сторонником нового архитектурного стиля. Ибо Трумэн и Эйзенхауэр полагали, что целью Атлантического союза является отражение советской агрессии; Кеннеди же хотел, чтобы родилось атлантическое сообщество, которое бы проложило дорогу к тому, что позднее стало именоваться «новый мировой порядок».

Ради достижения этой цели администрация Кеннеди разработала двухсторонний подход, пытаясь одновременно найти и рациональное применение ядерному оружию, и точное в политическом смысле понимание сущности будущего атлантического содружества. Кеннеди был потрясен носящими характер катаклизма последствиями господствовавшей тогда военной доктрины «массированного возмездия». Под руководством блистательного министра обороны Роберта Макнамары он стремился разработать такую стратегию, которая способна была бы предусмотреть иные варианты развития военных событий, кроме Армагеддона и капитуляции.

Администрация Кеннеди сделала больший упор на классические виды вооружений и попыталась найти формулу дифференцированного применения ядерного оружия. Растущая уязвимость Америки по отношению к ядерному нападению со стороны Советского Союза привела к появлению так называемой стратегии «быстрого реагирования», система управления при которой и варианты действий были запроектированы таким образом, чтобы Соединенные Штаты смогли определиться, до какой степени противник готов пойти на сотрудничество, как и каким оружием будет вестись война и на каких условиях она может закончиться.

Но для того, чтобы такого рода система сработала, ядерное оружие должно было находиться, под централизованным, то есть американским, управлением. Кеннеди отозвался о французской ядерной программе, как «враждебной» принципам НАТО, а его министр обороны заклеил самое идею европейских ядерных сил, включая сюда и Великобританию, причем с применением ряда эмоционально окрашенных прилагательных, среди которых были и такие, как «опасный», «дорогой», «быстро устаревающий», «недостаточно надежный». Заместитель министра Джордж Балл подкрепил это тезисом, будто «дорога к распространению ядерных вооружений не имеет логического конца»[837].

Поэтому администрация Кеннеди настаивала на «интеграции» всех ядерных сил НАТО и выступила с проектом для достижения этой цели — создания многосторонних ядерных сил НАТО (МСЯС). Несколько сот ракет среднего радиуса действия с дальностью полета от 1500 до 2000 миль должны были быть установлены на суда под командованием НАТО. Чтобы подчеркнуть союзный характер этих сил, команды судов должны были быть многонациональными, из различных стран-участниц[838]. Но поскольку за Соединенными Штатами сохранялось право вето, МСЯС не решали основополагающей ядерной дилеммы НАТО; они оказывались бы либо избыточны, либо бесполезны.

4 июля 1962 года Кеннеди провозгласил величественную Декларацию взаимозависимости Соединенных Штатов и объединенной Европы. Политически и экономически интегрированная Европа стала бы равным партнером Соединенных Штатов, разделяя с ними бремя и обязанности мирового лидера[839]. Развивая далее столь преисполненную символизма тему во время более поздней по времени речи во франкфуртской Паульскирхе, где в 1848 году собиралась либеральная Германская национальная ассамблея, Кеннеди объединил перспективы атлантического партнерства с европейской интеграцией:

«Только слившаяся воедино Европа может предохранить нас от дробления союза. Только такая Европа способна обеспечить полнейшую взаимность в трактовке по обе стороны океана вопросов, находящихся в атлантической повестке дня. Только при наличии такой Европы для нас возможна полная взаимная самоотдача, равенство в распределении ответственности и равный уровень самопожертвования»[840].

Красноречивый вызов Кеннеди угодил в трясину двусмысленного положения Европы, рост экономического могущества у которой сочетался с ощущением военного бессилия, особенно в ядерной области. Как раз те самые качества, которые делали «гибкое реагирование» столь привлекательным и столь необходимым для Соединенных Штатов, порождали сомнения среди их союзников по НАТО. Практические последствия применения стратегии «гибкого реагирования» заключались в том, что она обеспечила бы Вашингтону большую свободу политического выбора применительно к решению о начале войны, — то есть была бы достигнута та самая желанная для де Голля цель, которой он пытался добиться при помощи «ударных сил», как он называл французские ядерные силы, когда они

наконец появились на свет в 60-е годы. Само сочетание решимости и гибкости, столь желанное для Америки, подкрепляло французские доводы в пользу автономии в ядерном отношении в качестве преграды на пути пересмотра Америкой своих решений в момент кризиса. Хотя целью Америки было сделать «устрашение» наглядным, чтобы ядерная угроза выглядела еще более достоверно, большинство союзников предпочитало строить стратегию «устрашения» на иной основе — посредством повышения для противника степени риска благодаря выбору стратегии «массированного возмездия» независимо от нигилистичности последствий. Что делать, если блеф не сработает, так никогда и не обсуждалось, хотя вариант сдачи не мог исключаться.

Дебаты относительно военной интеграции приобрели прямо-таки теологические свойства. В мирное время командование НАТО представляет собой по преимуществу орган военного планирования: в операционном смысле вооруженные силы каждого из союзников остаются под национальным командованием, и право вывода сил из-под командования НАТО до такой степени само собой разумеется, что никогда не оспаривалось. Это продемонстрировал вывод французских войск для использования их в Алжире, неоднократный вывод американских войск во время ряда ближневосточных кризисов: в 1958 году в Ливане, в 1973 году во время очередной арабо-израильской войны и в 1991 году в период «войны в Заливе». Обсуждая священную суть и достоинства интеграции», ни Соединенные Штаты, ни Франция так и не определили, какие совместные действия возможны под вывеской «интеграции», а какие не вписываются даже в весьма расширительное толкование Францией понятия «сотрудничества». Никакая договоренность относительно порядка осуществления командования не способна разрешить политическую по сути проблему, сформулированную де Голлем:

«Американцы, наши союзники и друзья, в течение длительного времени одни обладали ядерным арсеналом. Пока они были единственными его обладателями и пока проявляли волю к немедленному его использованию в случае нападения на Европу... американцы действовали таким образом, что для Франции в принципе не вставал вопрос вторжения, ибо такого рода атака лежала за пределами вероятности... Но затем Советы также обзавелись ядерным арсеналом, и этот арсенал достаточно мощен, чтобы поставить под угрозу само существование Америки. Естественно, я не

делаю цифровых сравнений, ибо вряд ли возможно найти соотношение между значимостью одной из смертей и значимостью другой — но новый, гигантский фактор уже присутствует»[841].

Спор по поводу «Скайболта» вывел все эти латентные конфликты на поверхность. В продолжение всей своей политической жизни де Голль выступал против наличия «особых отношений» между Америкой и Великобританией именно потому, что символический статус Великобритании как великой державы, равной Соединенным Штатам, сводил Францию на уровень державы второстепенной. Не будем грешить против истины: Кеннеди предложил Франции точно такую же помощь в осуществлении ракетной программы, как и Великобритании. Но для де Голля нюанс между интеграцией и координацией и определял сущность истинно независимой политики. В любом случае, тот факт, что Нассауское соглашение англо-американскими руководителями обсуждалось, а до сведения де Голля было лишь доведено, предопределял гарантированный отказ последнего. Не желал он и привязывать свою страну в отношении ядерных ее возможностей к технологии, разработка которой, как в случае со «Скайболтом», в любой момент может быть прекращена. На пресс-конференции 14 января 1963 года де Голль в публичном порядке, то есть точно так же, как получил сведения о предложении Кеннеди, от него отказался, при этом едко заметив: «Конечно, я говорю об этом предложении и соглашении лишь потому, что они опубликованы и их содержание известно»[842].

Проводя черту, де Голль также воспользовался этой возможностью, чтобы наложить вето на вступление Великобритании в «Общий рынок», и отверг мнение Кеннеди относительно того, что европейская часть двойной опоры союза должна быть организована на сверхнациональной основе:

«Любая система, сущность которой будет состоять в передаче нашего суверенитета августейшим международным ассамблеям, являлась бы несовместимой с правами и обязанностями Французской Республики. И в довершение к этому такая система, без сомнения, оказалась бы бессильной возобладать и повести за собой народы, в первую очередь наш собственный народ, в такие дали, где само существование их души и тела оказалось бы под вопросом»[843].

Сущность вызова де Голля, брошенного американскому руководству, стала ясна через несколько дней. Де Голль и Аденауэр подписали договор о дружбе,

предусматривающий постоянные взаимные консультации по всем главным вопросам:

«Оба правительства будут консультироваться друг с другом до принятия каких бы то ни было решений по всем важным вопросам внешней политики, и в первую очередь по вопросам, представляющим взаимный интерес, имея в виду выработку в максимально возможной степени аналогичной позиции»[844].

Содержание договора не представляло собой ничего примечательного. По правде говоря, документ напоминал порожний сосуд, который можно было заполнить чем угодно в продолжение последующих лет по воле французских и германских руководителей. Символична, однако, существенная значимость этого договора. С момента удаления Бисмарка от власти в 1890 году во время всех международных кризисов Франция и Великобритания выступали против Германии. А теперь, когда Франция не допустила Великобританию в «Общий рынок», несмотря на сильное давление со стороны Америки, именно германский канцлер оказал содействие в выведении Франции из состояния изоляции. Возможно, Франция не была достаточно сильной, чтобы навязывать по нерешенным вопросам собственное мнение, но при поддержке Германии оказывалась достаточно сильна, чтобы блокировать варианты решения, предложенные другими.

В конце концов, дело касалось того, почему нации сотрудничают друг с другом. С американской точки зрения, все разумные люди в итоге приходят к одним и тем же выводам, потому общность целей более или менее принимается за аксиому, и упор делается на механизм, при помощи которого можно воплощать на практике изначальную гармонию. Европейский же подход имеет в своей основе продолжительную историю конфликтов между национальными интересами; примирение этих интересов друг с другом и являлось сущностью европейской дипломатии. Европейские руководители воспринимали гармонию, как нечто, нуждающееся время от времени в извлечении из окружающего хаоса посредством конкретных шагов в области межгосударственных отношений. И именно это лежало в основе вопроса об управлении ядерными силами, вставшего в 60-е годы; он явился стержнем отказа де Голля от национальной Европы и возник вновь во время дебатов по Маастрихтскому договору в 90-е. Без сомнения, де Голль был влеком не только столь философско-возвышенными мотивами. Будучи учеником Ришелье, он видел во вступлении Англии в «Общий рынок» угрозу руководящей роли Франции в

Европейском экономическом сообществе, причем как из-за веса Великобритании, так и из-за теснейшей ее близости к Соединенным Штатам.

И потому, сколь бы эгоистичными ни были ответы де Голля, вопросы эти касались самой сути роли Америки в международном плане, ставшие особенно актуальными в эпоху после окончания «холодной войны». Ибо один из труднейших уроков, который Америке еще предстоит усвоить, заключается в том, что нации сотрудничают друг с другом в течение длительного периода лишь тогда, когда они разделяют общие политические цели, и что американская политика должна сосредоточиваться преимущественно на этих целях, а не на одних лишь механизмах их достижения. Функциональный международный порядок должен обеспечивать достаточно места разнообразным национальным интересам. И хотя в его рамках должны делаться попытки их объединения, от них нельзя просто-напросто отмахиваться.

Возвышенные представления Кеннеди об атлантическом партнерстве базировались на наличии двух опор у крыши единого дома — Европы и Америки, и именно это представление вызывало отчаянное противодействие со стороны де Голля, выдвигавшего гораздо более изоощренную, пусть даже менее одухотворенную, систему отношений. Обе концепции имели в своей основе конкретные исторические ценности каждой отдельно взятой страны. Кеннеди осовременивал наследие Вильсона и Франклина Делано Рузвельта; де Голль выступал с весьма сложно-многоплановой версией классического европейского равновесия сил, в основе которого лежало наличие разделенной Германии, западногерманское экономическое преобладание, французское политическое господство в Европейском экономическом сообществе и, в качестве подстраховки, американская ядерная защита.

Но когда все было сказано и сделано, де Голль оказался побежден самим фактом безграничной приверженности старомодным национальным интересам, столь мощно выведенным им на поверхность. И у мудрого государственного руководства имеются свои пределы. Блестящие аналитические расчеты де Голля оказались перечеркнуты нежеланием принять во внимание несовместимость французских национальных интересов с продолжающимся отчуждением от Соединенных Штатов до такой степени, что это могло побудить Америку отъединиться от Европы, притом тогда, когда Советский Союз все еще представлял собой единое целое. Да, Франция обладала способностью нанести ущерб тем или иным американским планам, но

никогда не была до такой степени сильной, чтобы навязать свои собственные.

Пренебрегал ли де Голль истиной или был чересчур горд, чтобы признать ее, но он нередко превращал чисто теоретические построения в конкретный удар по американским намерениям, точно внесение систематического недоверия внутрь союза и являлось сущностью французской политики. Однако по ходу дела де Голль свел на нет свой же собственный замысел. Его исходный постулат, заключающийся в том, что решения по вопросу войны и мира в глубочайшем смысле слова носят политический характер, был изначально верен. А его идея Директората правильно обращала внимание на настоятельную необходимость наличия «концерта» политических целей, особенно за пределами территории деятельности Атлантического союза.

И все же у де Голля преобладала тенденция возводить весомые доводы в ранг самоотрицающих крайностей. Одно дело — отвергать структуры, превращавшие договоренность в нечто обязательное, а также имевшие целью процедурными средствами предотвращать автономные действия, и совсем другое — вести атлантические взаимоотношения в форме перманентной конфронтации между Европой и Америкой. Его высокомерная тактика чересчур противоречила американскому представлению о международных отношениях, особенно союзах, и оказалась несопоставима с поведением других членов НАТО, и когда тем пришлось выбирать между Вашингтоном и Парижем, они всегда делали выбор в пользу Вашингтона.

Это с особенной ясностью проявилось применительно к взаимоотношениям Франции и Германии. Де Голль сделал франко-германское сотрудничество стержнем внешней политики. Но хотя он обеспечил себе поддержку Германии по вопросу политики в отношении Берлина и значительную симпатию с ее стороны применительно к взглядам по поводу контроля над ядерными силами, существовал предел, далее которого ни один германский государственный деятель не мог бы и не хотел бы пойти в смысле отчуждения от Соединенных Штатов. Какие бы у них ни существовали возражения по поводу конкретных политических шагов Америки, германские лидеры не имели ни малейшего желания оставаться лицом к лицу с Советским Союзом при наличии одной лишь поддержки со стороны Франции. Независимо от того, как германские руководители оценивали относительные достоинства англо-американской позиции по поводу контроля за ядерными

вооружениями и европейской интеграции, никто из них на деле не рискнул бы полагаться на сравнительно малые французские силы, а не на обширный американский ядерный арсенал, не предпочел бы политическую поддержку Франции поддержке Соединенных Штатов. Таким образом, существовал внутренний предел тому, чего де Голль в состоянии был достигнуть, избирая антиамериканский курс; его усилия по предотвращению появления националистической Германии могли породить риск искушения для германского национализма избрать путь многовариантных маневров.

Особенностью кризисов 60-х годов было то, что все они уходили в песок. После Берлинского кризиса 1958 — 1963 годов более не было фронтальных советских вызовов западным интересам в Европе. После внутриамериканского кризиса 1960 — 1966 годов вопросы, связанные с НАТО, превратились в мирное сосуществование американской и французской концепции. В 70-е годы администрация Никсона во время так называемого «Года Европы» попыталась оживить хотя бы частично дух подхода Кеннеди на базе более скромных предложений. Однако она наткнулась на ту же самую скалу голлистской оппозиции, причем по аналогичным причинам. Время от времени Франция пыталась создавать независимые на деле европейские военные возможности, но американская сдержанность и двусмысленность германского поведения не давали этим планам обрести значительность. Шли годы, десятилетия, и как американский, так и французский подход оказались перечеркнуты реальным развитием событий.

По иронии судьбы в мире, существующем после окончания «холодной войны», оба политических оппонента оказались в окружении, в условиях которого обязательность сотрудничества между ними явилась ключом к продуктивным атлантическим и внутриевропейским отношениям. Вильсоновские представления относительно сообщества демократических государств, действующего на основе единства целей и разделения труда, подходили к международному порядку 50 — 60-х годов, характеризовавшемуся преобладанием внешней угрозы со стороны тоталитарной идеологии и наличием американской почти полной ядерной монополии и американского экономического превосходства. Однако исчезновение единой, объединяющей угрозы и идеологический крах коммунизма вместе с появлением более равного распределения экономической мощи налагали на международный порядок

требование более тонкого балансирования национальных и региональных интересов. Коммунизм действительно рухнул, как это предсказывали Кеннан, Ачесон и Даллес. Однако в конце пути оказался не мир, построенный по законам вильсоновского идеализма, но заразная форма того самого национализма, который Вильсоном и его последователями был назван «старомодным». Де Голля этот новый мир бы не удивил. Да и вряд ли он счел бы его «новым». Он бы утверждал, что мир этот наличествовал все время, только был какой-то период прикрыт тоненькой оболочкой преходящего феномена гегемонии двух держав.

Однако в то же самое время крах коммунизма и объединение Германии перечеркнули большинство деголлевских постулатов. Скептически относившийся ко всему, кроме международной роли собственной страны, де Голль переоценивал возможности Франции самостоятельно управлять ходом исторического процесса. «Новый мировой порядок» оказался не более милостив к мечтаниям де Голля относительно французского политического преобладания в Европе, чем к идее неоспоримого американского глобального лидерства. Объединенная Германия более не нуждалась в подтверждении со стороны союзников своей исконной законности применительно к восточногерманскому сопернику. А по отношению к Советскому Союзу прежние его восточноевропейские сателлиты стали равноправными участниками игры на международной сцене, причем Франция обнаружила, что не обладает достаточными силами, чтобы в одиночку обеспечить новое европейское равновесие. Традиционный французский политический выбор сближения с Россией как способ сдерживания Германии исключен любым из возможных вариантов эволюции бывшего Советского Союза: если результатом ее будет хаос и развал, то Россия окажется слишком слабой, чтобы выступать в роли противовеса Германии; если возобладает русский национализм и произойдет ре-централизация, то новое государство, все еще обладающее тысячами единиц ядерного оружия, может оказаться слишком сильным, чтобы ограничиваться ролью партнера Франции. Как минимум, столь же привлекательным для нее был бы союз с Америкой или Германией. Кроме того, любая попытка окружения Германии вызвала бы к жизни тот самый национализм, который германским лидерам удавалось сдерживать и который в прошлом являлся для Франции вечным кошмаром. В этом случае Америка становится наиболее надежным, пусть даже концептуально наиболее трудным, партнером

Франции, а также единственной ее подстраховкой в деле проведения абсолютно необходимой политики дружбы с Германией.

Итак, в конце пути, первоначально задуманного де Голлем, чтобы сделать отношения с Америкой необязательными, в то время как Америка считала этот путь средством более полной своей интеграции в составе НАТО, сотрудничество между столь давними друзьями-оппонентами — чем-то напоминающее «особые отношения» Америки с Великобританией — выкристаллизовалось в качестве ключевого элемента равновесия сил, каким оно должно было стать двумя поколениями ранее, когда Вильсон появился во Франции, чтобы освободить Старый Свет от прежнего безрассудства и расширить его кругозор за рамки государства-нации.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. Вьетнам: прямиком в трясины; Трумэн и Эйзенхауэр

Все началось с наилучшими намерениями. В продолжение двух десятилетий по окончании второй мировой войны Америка приняла на себя ведущую роль в строительстве нового международного порядка из осколков разбитого вдребезги мира. Она вернула к жизни Европу, восстановила Японию, стеной встала на пути коммунистического экспансионизма в Греции, Турции, Берлине и Корее, впервые связала себя в мирное время договорами союзного свойства и запустила программу технического содействия развивающемуся миру. Страны, находящиеся под американским зонтиком, наслаждались миром, процветанием и стабильностью.

Однако в Индокитае потерпели крах все прежние принципы, определявшие действия Америки за рубежом. Впервые в XX веке Америку подвел накопленный прежде опыт внешнеполитической деятельности, когда отношения между ценностями

нации и ее достижениями носили прямой, чуть ли не причинно-следственный характер. Чересчур универсальное применение этих ценностей вынудило американцев задаться вопросом, а ценности ли это вообще и почему в первую очередь эти ценности должны были привести американцев во Вьетнам. Разверзлась пропасть между верой американцев в исключительность их национального опыта и сомнительностью компромиссов, являющихся неотъемлемой частью геополитической деятельности, связанной со сдерживанием коммунизма. В горниле Вьетнама американская исключительность обратилась против самой себя. В американском обществе, в отличие от других, возникли не споры по поводу практических недостатков в политике страны, но по поводу морального права Америки играть какую-бы то ни было роль на международной арене. Именно этот аспект споров относительно Вьетнама оказался столь болезненным и повлек за собой столь труднозаживающие раны.

Редко когда последствия действий той или иной нации оказались бы столь далекими от первоначальных намерений. Во Вьетнаме Америка утратила связь с основополагающим принципом внешней политики, сформулированным Ришелье еще три столетия назад: «...Дело заключается в том, что предмет поддержки и силы, при помощи которых его поддерживают, должны находиться в геометрической пропорции друг к другу» (см. гл. 3). Геополитический подход применительно к анализу национальных интересов должен был бы дать дифференцированный ответ, что является стратегически важным, а что носит лишь периферийный характер. Следовало бы задать вопрос, почему Америка сочла для себя безопасным стоять в стороне, когда в 1948 году коммунисты завоевали значительную часть Китая, и восприняла как проблему национальной безопасности ситуацию в гораздо меньшей азиатской стране, лишившейся независимости сто пятьдесят лет назад и никогда не обладавшей независимостью в нынешних границах.

Когда в XIX веке Бисмарк, признанный мастер «Realpolitik», обнаружил, что два ближайших его союзника, Австрия и Россия, готовы столкнуться лбами из-за беспорядков на Балканах, находившихся в нескольких сотнях миль от германских границ, то четко и ясно заявил, что Германия в связи с Балканами воевать не собирается, ибо Балканы, по его словам, не стоили того, чтобы там сложил кости даже один-единственный померанский гренадер. Но Соединенные Штаты в своих

внешнеполитических расчетах подобными алгебраическими формулами не пользовались. В XIX веке столь трезвый и искусенный политик, как президент Джон Квинси Адаме, предостерегал своих соотечественников, что им незачем устраивать вылазки за рубеж в поисках «чудовищ». И все же вильсонский подход к вопросам внешней политики не делал различия между подлежащими уничтожению чудовищами. Универсалистски трактуя мировой порядок как таковой, Вильсон и его последователи не снисходили до конкретного анализа сравнительной важности отдельных стран. Америка была обязана сражаться за то, что являлось правым делом, независимо от местных обстоятельств и в отрыве от геополитики.

На протяжении всего XX века один президент за другим провозглашал отсутствие У Америки «эгоистических» интересов; получалось, что ее основной, если не единственной, целью в области мировой политики является достижение всеобщего мира и прогресса. В этом плане Трумэн в инаугурационном обращении 20 января 1949 года широковещательно поставил перед своей страной задачу построения мира, где бы «все нации и все народы были бы свободны избирать для себя наиболее, с их точки зрения, подходящую систему правления...». Не преследовалось ничего похожего на национальный интерес в чистом виде: «Мы не искали для себя новых территорий. Мы никому не навязывали свою волю. Мы не просили для себя привилегий, которые мы бы не предоставили другим». Соединенные Штаты «крепили» бы «мощь свободолюбивых наций, дающую возможность противостоять опасностям агрессии» путем предоставления «военных консультаций и имущества свободным нациям, желающим сотрудничать с нами в деле поддержания мира и обеспечения безопасности»[845]. Свобода каждой взятой в отдельности независимой нации становится национальной задачей для Соединенных Штатов, независимо от ее стратегической важности для Америки.

В обоих инаугурационных обращениях Эйзенхауэр разрабатывал ту же тему, причем в еще более возвышенных выражениях. Он говорил о мире, где опрокидывались троны, сметались с лица земли обширные империи и возникали новые нации. И посреди всего этого хаоса сама судьба возложила на Америку задачу защищать свободу независимо от географических соображений и расчета национальных интересов. Более того, Эйзенхауэр настаивал на том, что подобные расчеты шли бы вразрез с системой американских ценностей, в рамках которой все нации и народы

трактуются одинаково: «Понимая, что дело защиты свободы, как и сама свобода, едино и неделимо, мы относимся ко всем странам и народам с равным уважением и почестями. Мы отвергаем любые инсинуации на тот счет, будто та или иная раса, тот или иной народ в каком бы то ни было смысле ниже или являются лишними»[846].

Эйзенхауэр говорил о внешней политике Америки, как о явлении, не свойственном ни одной из наций; она ему представлялась как следствие моральных обязательств Америки, а не как результат сопоставления рисков и выгод. Лакмусовой бумажкой американской политики была не ее рациональность — считавшаяся само собой разумеющейся, — а осмысленность. «Ибо история не вверит на долгий срок защиту свободы нерешительным и слабым»[847]. Лидерство уже само по себе является моральным воздаянием; выгода Америки определялась как привилегия помогать другим стать в состоянии помочь самим себе. Подобным образом трактуемый альтруизм не мог иметь ни политических, ни географических границ.

В единственном своем инаугурационном обращении Кеннеди разрабатывал тему свободных от эгоизма обязанностей Америки в общемировом плане еще дальше и глубже. Объявляя свое поколение прямыми наследниками первой в мире демократической революции, он возвышенным языком призывал собственную администрацию не допустить «медленного и последовательного обесценения тех самых прав человека, делу которых наша нация была предана всегда и которому мы преданы теперь как дома, так и по всему свету. Пусть это станет известно каждой из наций, независимо от того, желает ли она нам добра или зла, что мы заплатим любую цену, возложим на себя любое бремя, вынесем любые тяготы, поддержим любого друга и выступим против любого врага, чтобы обеспечить сохранение и триумф свободы»[848]. Всеобъемлющие обязательства Америки, носящие глобальный характер, не были привязаны к каким-то конкретным интересам национальной безопасности и не делали исключений для какой-либо страны или региона. Красноречивые утверждения Кеннеди были прямо противоположны девизу Пальмерстона, гласившему, что у Великобритании нет друзей, а имеются только интересы. Америка же в деле защиты свободы не имела интересов, а имела только друзей.

К моменту инаугурации Линдона Б. Джонсона 20 января 1965 года общественное мнение утвердилось в том предположении, что обязательства Америки за рубежом,

естественным образом вытекающие из демократической системы правления, полностью стерли грань между внутренней и внешней политикой в плане ответственности. Для Америки, утверждал Джонсон, не существует посторонних, лишившихся надежды: «Ужасающие опасности и беды, которые мы когда-то называли „чужими“, постоянно живут теперь среди нас. И если должны быть принесены в жертву американские жизни, если должны быть истрачены американские сокровища, причем в странах, о которых нам почти ничего не известно, то лишь потому, что такова цена перемен, потребных в силу нашей убежденности и наличия у нас бремени моральных обязанностей высшего плана»[849].

Гораздо позднее стало модным цитировать подобные заявления как примеры силовой бравады или как лицемерный предлог для предъявления Америкой претензии на мировое господство. Столь бездумный цинизм выворачивает наизнанку сущность американского символа политической веры, который, будучи по сути как бы «наивен», самой своей наивностью создает стимул для исключительного подвижничества. Большинство стран вступает в войну ради отражения конкретных, четко определяемых угроз собственной безопасности. В нынешнем столетии Америка вступала в войну — начиная с первой мировой войны и кончая войной 1991 года в Персидском заливе — в основном ради того, что ей виделось в форме морального обязательства по отражению агрессии или ликвидации несправедливости в качестве доверенного лица, действующего во имя коллективной безопасности.

Это обязательство особенно остро ощущалось тем поколением американских руководителей, которое в юности стало свидетелем трагедии Мюнхена. Глубоко в душу запал им урок, суть которого сводится к тому, что неспособность отразить агрессию — где и когда бы она ни свершилась — предопределяет с абсолютной точностью, что ее придется отражать позднее и при гораздо худших обстоятельствах. Начиная от Корделла Хэлла, все государственные секретари, как один, высказывались на эту тему. Это был единственный пункт, по которому существовало согласие между Дином Ачесоном и Джоном Фостером Даллесом[850]. Геополитический анализ конкретных опасностей порождаемых коммунистическим завоеванием отдаленной страны, считался второстепенным перед лицом двух лозунгов: абстрактного противостояния агрессии и предотвращения дальнейшего распространения коммунизма. Победа коммунистов в Китае подкрепила убежденность творцов

американской политики в том, что дальнейшее распространение коммунизма не может быть терпимо.

Документы по вопросам внешней политики и официальные заявления того периода показывают, что такого рода постулат воспринимался в основном без возражений. В феврале 1950 года, за четыре месяца до начала корейского конфликта, в документе 64 Совета национальной безопасности был сделан вывод, что Индокитай является «ключевым районом Юго-Восточной Азии и находится под непосредственной угрозой»[851]. Этот меморандум представлял собой дебют так называемой «теории домино», гласившей применительно к данному случаю, что если падет Индокитай, за ним вскоре последуют Бирма и Таиланд, и тогда «равновесие сил в Юго-Восточной Азии подвергнется серьезнейшей опасности»[852].

В январе 1951 года Дин Раек заявил, что «следование нынешнему курсу не на пределе возможностей окажется губительным для наших интересов в Индокитае, а вследствие этого — и во всей остальной части Юго-Восточной Азии»[853]. В апреле предшествовавшего года в документе 68 Совета национальной безопасности делался вывод, что Индокитай ставит под угрозу глобальное равновесие сил: «...Любое дальнейшее значительное расширение господства Кремля в данном районе обусловило бы невозможность создать коалицию, противостоящую Кремлю превосходящими силами»[854].

Но соответствовало ли истине утверждение документа, будто бы любое достижение коммунизма в данном районе оказывалось в интересах Кремля, особенно с учетом наличия «югославской модели»? И имелся ли смысл в том, что включение Индокитая в состав коммунистического лагеря могло само по себе опрокинуть глобальное равновесие сил? Поскольку подобные вопросы не ставились, Америка так и не осознала той геополитической реальности, что в Юго-Восточной Азии она подходила к точке перехода глобальных обязательств в перенапряжение сил — то есть там происходило как раз то самое, против чего ранее предостерегал Уолтер Липпман (см. гл. 18).

На деле, однако, существовали различия в характере угрозы. В Европе главная угроза порождалась советской сверхдержавой. В Азии угроза американским интересам исходила от держав второстепенных, обладавших в лучшем случае лишь слабым подобием советской мощи, контроль СССР над которыми был — или должен

был быть — весьма сомнительным. На самом же деле, как только разразилась война во Вьетнаме, Америке пришлось воевать с подобием подобия, каждое из которых глубочайшим образом не доверяло старшему партнеру. Согласно американскому анализу, глобальному равновесию сил угрожал Северный Вьетнам, предположительно контролируемый Пекином, а тот, в свою очередь, как представлялось, контролировался Москвой. В Европе Америка защищала исторически сложившиеся государства; в Индокитае Америка имела дело с обществами, которые в данных масштабах создавали государства впервые. Европейские нации имели давние традиции сотрудничества в области защиты сложившегося равновесия сил. В Юго-Восточной Азии государственность только возникала, концепция «равновесия сил» представлялась чуждой, а прецедента сотрудничества среди имеющихся государств попросту не существовало.

Столь фундаментальные геополитические различия между Европой и Азией, а также между американскими интересами в каждой из этих частей света, оказались погребенными под универсалистским, идеологизированным подходом Америки к вопросам внешней политики. Заговор в Чехословакии, блокада Берлина, испытания советской атомной бомбы, победа коммунистов в Китае и коммунистическое нападение на Южную Корею — все это было свалено американскими руководителями в одну кучу и воспринималось как единая угроза глобального характера, а то и как контролируемый из единого центра глобальный заговор. Согласно принципам «Realpolitik», Корейская война трактовалась бы в максимально узких рамках; зато манихейское восприятие этого конфликта Америкой срабатывало в противоположном направлении. Придавая Корее глобальное значение, Трумэн в дополнение к отправке туда американских войск объявил о значительном увеличении военной помощи Франции, которая вела тогда собственную войну против коммунистических партизан в Индокитае (именовавшихся тогда Вьет-Минем), и о направлении Седьмого флота на защиту Тайваня. Американские политики проводили аналогию между одновременным ударом Германии и Японии во второй мировой войне соответственно по Европе и Азии и маневрами Москвы и Пекина в 50-е годы, причем Советский Союз выступал в роли Германии, а Китай подменял Японию. В 1952 году треть французских расходов в Индокитае субсидировалась Соединенными Штатами.

Обращение Америки к Индокитаю вызвало к жизни совершенно новую с моральной

точки зрения постановку вопроса. НАТО защищало демократические страны; американская оккупация Японии привела к появлению у этой нации демократических институтов; Корейская война велась для того, чтобы неповадно было покушаться на независимость малых стран. В Индокитае же, однако, сдерживание первоначально носило почти исключительно геополитический характер, что делало еще более затруднительным увязать этот случай с господствовавшей в Америке идеологией. С одной стороны, защита Индокитая откровенно противоречила американской традиции антиколониализма. В юридическом смысле все еще французские колонии, государства Индокитая не были ни демократическими, ни тем более независимыми. Хотя в 1950 году Франция преобразовала все эти три колонии — Вьетнам, Лаос и Камбоджу — в «ассоциированные государства, входящие во Французский Союз», новое их обозначение еще не свидетельствовало о наличии у них реальной независимости, поскольку Франция опасалась, что если этим территориям предоставить полный суверенитет, придется сделать то же самое и для трех североафриканских владений: Туниса, Алжира и Марокко.

Американские антиколониальные настроения времен второй мировой войны особенно остро сфокусировались на Индокитае. Рузвельт терпеть не мог де Голля и потому не принадлежал к числу обожателей Франции, особенно после ее краха в 1940 году. В продолжение войны Рузвельт носился с идеей передать Индокитай под опеку Организации Объединенных Наций[855], хотя, начиная с Ялты, он об этом плане молчал. А администрация Трумэна полностью от него отказалась, ибо жаждала французской поддержки в деле создания Атлантического союза.

В 1950 году администрация Трумэна решила, что для безопасности свободного мира требовалось не допустить попадания Индокитая в руки коммунистов, что на практике означало подчинение американских антиколониалистских принципов необходимости поддержки французской борьбы в Индокитае. Трумэн и Ачесон не видели иного выбора, ибо Объединенный комитет начальников штабов пришел к выводу, что американские вооруженные силы напряжены до предела вследствие одновременного выполнения ими обязательств по НАТО и Корею, и ничего нельзя выделить на защиту Индокитая, даже если туда вторгнется Китай[856]. И потому оставалось полагаться на Французскую армию, которая обязана была сдерживать индокитайских коммунистов при материальной и финансовой поддержке Америки. После победы в этой борьбе

Америка намеревалась вернуться к собственным стратегическим и антиколониальным принципам и оказать давление в отношении предоставления этим территориям независимости.

Как потом выяснилось, первоначальная вовлеченность Америки в дела Индокитая еще в 50-е годы заложила основы для будущих обязательств: достаточно масштабных, чтобы Америка оказалась ими связана, но недостаточно существенных по объему, чтобы вмешательство Америки оказалось решающим. На ранних стадиях головоломки это было в основном результатом незнания реальных условий и почти полной невозможности проводить операции при наличии двух слоев французской колониальной администрации, а также бесчисленных местных властей, которые было позволено создавать так называемым ассоциированным государствам — Вьетнаму, Лаосу и Камбодже.

Не желая носить клеймо пособников колониализма, Объединенный комитет начальников штабов и государственный департамент старались защитить моральные линии обороны собственной страны путем оказания нажима на Францию, с тем чтобы та дала клятвенное обещание о предоставлении независимости[857]. Столь деликатный акробатический номер закончился тем, что дело целиком и полностью попало в руки государственного департамента, который выказал свою полную осведомленность обо всех связанных с этим сложностях тем, что назвал свою программу по Индокитаю операцией «Яичная скорлупа». К несчастью, в это название оказалось заложено гораздо больше пророческого смысла, ибо содержание ее приближало желанное решение весьма медленно. Идея заключалась в том, чтобы побудить Францию действовать в направлении предоставления независимости Индокитаю, в то же время настаивая на продолжении антикоммунистической войны[858]. Никто не способен был объяснить, с какой стати Франции рисковать жизнями своих граждан в войне, рассчитанной на то, чтобы сделать ее присутствие в этом районе необязательным.

Дин Ачесон, как всегда едко, прокомментировал эту дилемму. С одной стороны, заявил он, Соединенные Штаты могут «все растерять», если будут продолжать поддерживать «старомодные колониальные устремления» Франции; с другой стороны, если нажим окажется чересчур силен, Франция может полностью самоустраниться, приводя, к примеру, такой довод: «Ну, ладно, забирайте всю страну

себе. Нам она не нужна»[859]. «Решение», избранное Ачесоном, оказалось лишь подтверждением уже наличествующих в американской политике противоречий: увеличить размер американской помощи Индокитаю и одновременно требовать от Франции и от поставленного ею местного правителя Бао Дая «привлечь националистов на свою сторону»[860]. Для разрешения этой дилеммы Ачесон никакого плана не предложил.

К тому времени как истек срок пребывания у власти трумэнговской администрации, уклонение от решительных действий превратилось в официальную политику. В 1952 году в документе Совета национальной безопасности «теория домино» получила формальное подтверждение и обрела максимально широкую трактовку. Называя военное нападение на Индокитай опасностью, «являющейся неотъемлемой частью самого факта существования враждебного и агрессивного коммунистического Китая»[861], документ настоятельно утверждал, будто потеря даже одной южноазиатской страны приведет «к относительно быстрому подчинению коммунистам или присоединению к коммунизму оставшихся стран Юго-Восточной Азии. Более того, скорее всего произойдет последовательное присоединение к союзу коммунистических стран не только прочих стран Юго-Восточной Азии и Индии, но и, в долгосрочном плане, стран Среднего Востока (где возможными исключениями могли бы стать разве что Пакистан и Турция)»[862].

Само собой разумеется, если бы этот расчет носил реалистический характер, крах такого рода обязательно представил бы угрозу для безопасности и стабильности Европы, а также «создал бы исключительные трудности для предотвращения постепенного приспособления Японии к коммунизму»[863]. Меморандум Совета национальной безопасности не содержал анализа, доказывающего, почему крах произойдет автоматически и будет носить столь глобальный характер. Самое главное, в нем не делалось попытки проработать вопрос, как можно было бы воздвигнуть брандмауэр на границах Малайи и Таиланда, стран, обладающих гораздо большей стабильностью, чем Индокитай, причем британских лидеров это обстоятельство приводило в восторг. Увы, европейские союзники Америки не разделяли ее перспективного видения грядущих опасностей и потому в будущем систематически отказывались от участия в защите Индокитая.

Вслед за этим анализом, из которого следовало, что в Индокитае зреет

потенциальная катастрофа, началось использование средства, даже отдаленно не сопоставимого с сущностью проблемы, — да и вряд ли в данном случае этот образ действий можно было бы назвать «средством». Ибо патовая ситуация в Корее уничтожила — хотя бы на время — готовность Америки вести еще одну наземную войну в Азии. «Мы не можем позволить себе еще одной Корее, мы не можем ввести сухопутные войска в Индокитай», — настаивал Ачесон. Ибо будет «напрасным и ошибочным защищать Индокитай в Индокитае»[864]. Столь загадочное по смыслу замечание должно было бы, по-видимому, означать, что коль скоро Индокитай и впрямь является препятствием на пути достижения глобального равновесия сил и коль скоро возмутителем спокойствия, по существу, является Китай, то Америке следует атаковать как раз Китай, по крайней мере, при помощи военно-воздушных и военно-морских сил, то есть совершить то самое, против чего Ачесон столь рьяно выступал применительно к Корее. При этом оставался открытым вопрос, как следует Америке поступать, если французы и их индокитайские союзники потерпят поражение от местных коммунистических сил, а не вследствие вступления в войну Китая. Если Ханой был подставным лицом Пекина, а Пекин — слугой Москвы, как в это верили и законодательная и исполнительная ветви власти, Соединенным Штатам придется делать выбор между геополитическим подходом и антиколониальными принципами.

Сегодня нам известно, что вскоре после победы в гражданской войне коммунистический Китай стал рассматривать Советский Союз как самую серьезную угрозу своей независимости и что исторически Вьетнам испытывал точно такой же страх перед Китаем. Поэтому победа коммунистов в Индокитае в 50-е годы, по всей вероятности, обострила бы все эти линии соперничества. Это также явилось бы вызовом Западу, но вовсе не как глобальный заговор, руководимый из единого центра.

С другой стороны, аргументы, содержащиеся в меморандуме Совета национальной безопасности, были вовсе не столь легковесны, как это представлялось позднее. Даже в отсутствие заговора, носившего централизованный характер, «теория домино» все равно могла оказаться правильной. Мудрый и сообразительный премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю полагал именно так, а он благодаря ясности мышления обычно оказывался прав. В эпоху, непосредственно следовавшую после мировой войны, коммунизм все еще обладал значительным идеологическим динамизмом. Наглядная

демонстрация банкротства его экономических идей, воплощенных на практике, состоится поколением позднее. Многие в демократических странах, не говоря уже о государствах, только что обретших независимость, полагали, что коммунистический мир неминуемо превзойдет мир капиталистический в экономическом отношении. Правительства многих только что обретших независимость стран были неустойчивы и находились под угрозой внутренних беспорядков и мятежей. В тот самый момент, когда был подготовлен меморандум Совета национальной безопасности, в Малайе коммунисты начали партизанскую войну.

Вашингтонские политики имели все основания опасаться захвата Индокитая движением, которое уже захлестнуло Восточную Европу и подчинило себе Китай. Независимо от того, была ли коммунистическая экспансия организована из единого центра или нет, она, похоже, обладала достаточной движущей силой, чтобы смести новые хрупкие нации Юго-Восточной Азии в антизападный лагерь. Вопрос на самом деле заключался не в том, выпадут ли определенные костяшки домино в Юго-Восточной Азии, что было бы вполне вероятно, но в том, можно ли отыскать лучшие места в регионе, где реально было бы провести ограничительную черту, — к примеру, вокруг тех стран, где политика и безопасность шли в большей степени рука об руку, как в Малайе и Таиланде. И конечно, вывод политического характера, сделанный Советом национальной безопасности, а именно, будто бы падение Индокитая заставит даже Европу и Японию поверить в то, что приливный натиск коммунизма нельзя повернуть вспять и соответственно ввести в русло, оказался чересчур далеко идущим.

Наследием Трумэна, доставшимся его преемнику Дуайту Д. Эйзенхауэру, оказались программа военной помощи Индокитаю на сумму порядка 200 миллионов долларов (то есть свыше миллиарда в долларах 1993 года) и стратегическая теория, все еще не имевшая под собой политической базы. Администрация Трумэна не была обязана обращать внимание на потенциальный разрыв между стратегической доктриной и моральными убеждениями или делать выбор между рациональной геополитикой и американскими возможностями. На Эйзенхауэра легла ответственность применительно к первой части дилеммы; на Кеннеди, Джонсона и Никсона — применительно ко второй.

Администрация Эйзенхауэра не ставила под сомнение унаследованные ею обязательства по обеспечению Америкой безопасности Индокитая. Она стремилась

примирить стратегическую доктрину с собственными моральными принципами посредством усиления давления в сторону реформ в Индокитае. В мае 1953 года, то есть через четыре месяца после принятия президентской присяги, Эйзенхауэр настоятельно потребовал от американского посла во Франции Дугласа Диллона оказать нажим на французов, чтобы те назначили новых руководителей, достаточно авторитетных, чтобы «добиться победы» в Индокитае, и одновременно сделали «четкие и недвусмысленные заявления публичного характера, повторяемые по мере надобности», что независимость будет предоставлена, «как только налицо будет победа над коммунизмом»[865]. В июле Эйзенхауэр пожаловался сенатору Ральфу Фландерсу, что обещания французского правительства в отношении предоставления независимости сделаны «в столь туманной и обтекаемой манере — вместо того чтобы прозвучать смело, прямо и настойчиво»[866].

Ибо для Франции вопрос давно уже вышел за рамки политической реформы. Ее вооруженные силы в Индокитае уже давно увязли в изматывающей партизанской войне, опыта ведения которой у них вообще не было. В обычной войне с установившейся линией фронта превосходящая огневая мощь обычно играет первую скрипку. В противоположность этому партизанская война, как правило, не ведется на заранее подготовленных позициях, а партизанская армия растворяется среди населения. В обычной войне речь идет о территории, в партизанской — о безопасности людей. Поскольку партизанская армия не привязана к защите конкретной территории, она вправе сама определять для себя потенциальное поле боя со значительной степенью широты выбора и регулировать людские потери с обеих сторон.

В традиционной войне семидесятипятипроцентный успех является гарантией победы. В партизанской войне защита населения в течении 75 % времени равняется поражению. Стопроцентная защита на семидесяти пяти процентах территории значительно лучше семидесятипроцентной защиты на ста процентах территории страны. Если обороняющиеся силы не могут обеспечить практически полной безопасности для населения — хотя бы на тех территориях, которые они считают для себя жизненно важными, — партизаны рано или поздно победят.

Базовое уравнение партизанской войны столь же просто, сколь сложно его воплотить на практике: партизанская армия побеждает столько раз, сколько раз она не

терпит поражения; обычная армия обречена на поражение, если не одержит решительной победы. Патовая ситуация почти никогда не имеет места. Любая страна, вовлеченная в партизанскую войну, должна приготовиться к длительной схватке. Партизанская армия может применять тактику кратковременных набегов в течение достаточно продолжительного времени, даже если ее силы все время убывают. Наглядная и безоговорочная победа случается крайне редко; успешная партизанская война обычно продолжается достаточно долго. Наиболее примечательными являются примеры победы над партизанскими силами в Малайе и Греции, где обороняющиеся одержали верх, поскольку партизаны оказались отрезаны от источников снабжения (в Малайе — в силу причин географического характера, в Греции — вследствие разрыва Тито с Москвой).

Ни французская, ни американская армии так и не разрешили загадку партизанской войны. И та и другая вели, каждая в свое время, единственно понятную для себя войну, которой их обучали и для которой их оснащали, — классическую, обычную войну, боевые действия в которой основывались на наличии четко очерченных линий фронта. Обе эти армии, полагаясь на превосходство огневой мощи, стремились вести войну на истощение. Но обе увидели, как эта стратегия обернулась против них самих по воле противника, который, ведя боевые действия в собственной стране, способен был измотать их своей стойкостью и выдержкой и побудить к прекращению конфликта. Потери росли, а критерии успеха оставались зыбкими.

Франция признала поражение гораздо быстрее, чем Америка, поскольку ее войска были распределены более или менее равномерно и потому весьма неплотно. Она не могла охватить ими территорию всей страны, причем по численности эти войска составляли треть сил, направленных потом Америкой для защиты лишь половины этой территории. Франция металась точно так же, как через десять лет Америка: стоило сконцентрировать армию вокруг крупных населенных пунктов, как коммунисты овладевали почти всей сельской местностью; когда же войска направлялись на защиту сельской местности, коммунисты начинали нападения на города и форты по очереди. Во Вьетнаме было что-то такое, отчего туманился разум у попадавших туда иностранцев. По странной прихоти судьбы для французов развязка вьетнамской войны наступила на пересечении дорог в местечке, именуемом Дьенбьенфу, расположенном в отдаленном северо-западном уголке Вьетнама

неподалеку от лаосской границы. Франция направила туда отборные войска в надежде заставить коммунистов вести войну на истощение, но по ходу дела загнала себя в тупик и исключила возможность победы. Если бы коммунисты пренебрегли французскими маневрами, войска понапрасну бы очутились на позициях, отдаленных от районов, имеющих хотя бы какое-то стратегическое значение. Если бы коммунисты ухватили приманку, единственной мотивацией подобного поведения оказалась бы вера в возможность решительной победы. Франция свела все варианты выбора к неопределенности или поражению.

Французы в значительной степени недооценили стойкость и изобретательность своих противников, точно так же, как и американцы десятилетием позднее. 13 марта 1954 года северовьетнамцы начали общее наступление на Дьенбьенфу, и уже в ходе начальной стадии атаки им удалось овладеть двумя передовыми фортами, предположительно господствовавшими над возвышенностью. Им удалось это сделать благодаря использованию артиллерии, о существовании которой никто не подозревал и которая была поставлена Китаем по окончании Корейской войны. С этого момента стало лишь вопросом времени, когда остатки французских сил будут уложены навек. Истощенное собственноручно развязанной войной на измор, не видящее смысла в военных действиях лишь ради того, чтобы потом под давлением американцев уйти из страны, французское правительство в конце концов приняло советское предложение провести в апреле того же года в Женеве конференцию по Индокитаю.

Неминуемость конференции заставила коммунистов усилить военный натиск и вынудила администрацию Эйзенхауэра сделать выбор между теорией и возможностями. Падение Дьенбьенфу вынуждало Францию уступить значительную часть Вьетнама, если не всю его территорию, коммунистам. Ибо Дьенбьенфу можно было бы спасти лишь такого рода эскалацией военных усилий Франции, на которое у страны уже не было ни ресурсов, ни воли. Теперь Соединенным Штатам предстояло решить, подкрепить ли «теорию домино» непосредственным военным вмешательством.

И когда начальник Генерального штаба Франции генерал Поль Эли посетил 23 марта Вашингтон, адмирал Артур Рэдфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, дал ему понять, что он бы рекомендовал нанести массированный удар с воздуха по коммунистическим позициям в окрестностях Дьенбьенфу—

возможно, даже с применением ядерного оружия. Даллес, однако, был слишком большим приверженцем идеи коллективной безопасности, чтобы рассматривать подобный шаг, не подкрепив его в какой-то мере дипломатически. В программной речи 29 марта 1954 года он на деле настаивал на совместных военных действиях по спасению Индокитая от коммунизма, приводя при этом классический довод школы противников умиротворения, а именно, что отказ от немедленных действий повлечет за собой гораздо дороже обходящиеся действия в процессе разворота событий:

«...Навязывание Юго-Восточной Азии политической системы коммунистической России и ее китайского коммунистического союзника представляло бы собой острейшую угрозу всему свободному миру. Соединенные Штаты ощущают, что подобного рода возможность не может быть воспринята пассивно, но должна быть встречена совместными действиями. Это может повлечь за собой рискованнейшие последствия, но они намного слабее, чем те, перед лицом которых мы окажемся через несколько лет, если не осмелимся на решительные действия сегодня...»[867]

Под знаменем «совместных действий» Даллес предложил организовать коалицию в составе Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Австралии и объединенных государств Индокитая для прекращения коммунистического распространения в Индокитае. Его поддержал Эйзенхауэр в деле призыва к коллективным действиям, хотя он, бесспорно, отвергал интервенцию, а не пропагандировал ее. Начальник штаба у Эйзенхауэра Шерман Адаме так описывал поведение президента: «Уже избежав одной тотальной войны с Красным Китаем год назад в Корее, где он [Эйзенхауэр] пользовался поддержкой Организации Объединенных Наций, он был не в настроении провоцировать подобного же рода войну в Индокитае... при отсутствии опоры в виде британского и других западных союзников»[868].

Эйзенхауэр явился живым воплощением странного феномена американской политики, когда президенты, внешне выглядевшие наиболее цельными, на поверку выступают, как личности наиболее сложные и противоречивые. В этом смысле Эйзенхауэр был предшественником Рональда Рейгана, ибо ему удавалось скрыть исключительное умение манипулировать под покровом простоты и доступности. Как это будет через два года в связи с Суэцем и позднее в связи с Берлином, слова Даллеса как бы намекали на проведение жесткой линии — в данном случае на воплощение в

жизнь плана воздушных ударов, предложенного Рэдфордом, или какого-либо его варианта. Эйзенхауэр же почти наверняка предпочел бы обойтись без военного вмешательства вообще. Он слишком хорошо знал военное дело, чтобы поверить, будто единичный воздушный удар может иметь решающее значение, а к идее массированного возмездия по отношению к Китаю (что являлось официальной стратегией) относился более чем сдержанно. И у него не было настроения вести продолжительную наземную войну в Юго-Восточной Азии. Более того, Эйзенхауэр обладал достаточным опытом коалиционной дипломатии, чтобы понимать, насколько невероятно добиться договоренности о «совместных действиях» за то время, когда еще можно было бы решить судьбу Дьенбьенфу. Эйзенхауэру это обстоятельство, бесспорно, обеспечивало удобный вариант выхода, ибо он предпочитал потерю Индокитая клейму приверженца колониализма, которое бы было наложено на Америку. В неопубликованном разделе мемуаров он писал:

«...Положение Соединенных Штатов как самой мощной антиколониальной державы является бесценным активом для всего свободного мира... И потому моральную позицию Соединенных Штатов следовало защищать гораздо сильнее, чем Тонкинскую дельту, а то и Индокитай в целом»[869].

Но, независимо от личных предубеждений, Даллес и Эйзенхауэр предприняли всевозможные усилия, чтобы договориться о совместных действиях. 4 апреля 1954 года Эйзенхауэр в пространном письме обращался к Черчиллю, бывшему тогда последний год премьер-министром:

«Если они [во Франции] проморгают все это и Индокитай попадет в руки коммунистов, итоговые последствия для нашей и вашей глобальной позиции стратегического плана с учетом последующего сдвига в соотношении сил как по всей Азии, так и на Тихом океане, могут оказаться катастрофическими и, насколько мне известно, неприемлемыми ни для вас, ни для меня. Трудно представить себе, как тогда можно будет предотвратить переход Таиланда, Бирмы и Индонезии в руки коммунистов. Этого мы допустить не можем. Угроза Малайе, Австралии и Новой Зеландии станет непосредственной. Разорвется цепь прибрежных островов. Экономическое давление на Японию, которая лишится некоммунистических рынков и источников сырья и продуктов питания, окажется через некоторое время таким, что трудно будет предугадать, как Японии удастся уйти от сотрудничества с

коммунистическим миром, который тогда в состоянии будет объединить людские ресурсы и природные богатства Азии с промышленным потенциалом Японии»[870].

Черчилля, однако, это не убедило, и Эйзенхауэр больше не делал попыток привлечь его на свою сторону. Даже будучи ревностным приверженцем так называемых «особых отношений» с Америкой, Черчилль был прежде всего англичанином и видел в связи с Индокитаем больше опасностей, чем грядущих выгод. Он не признавал истинности предположения, будто костяшки домино откроются с неумолимой обязательностью или будто потеря одной колониальной территории автоматически повлечет за собой глобальную катастрофу.

Черчилль и Антони Иден полагали, что наилучшим местом для защиты Юго-Восточной Азии являются границы Малайи; Черчилль потому направил ни к чему не обязывающий ответ, что Иден передаст решение кабинета Даллесу, намеревавшемуся вылететь в Лондон. Уход Черчилля от сути дела не оставлял ни малейших сомнений относительно того, что Великобритания ищет способы смягчить удар в связи с отказом участвовать в совместных действиях. Если бы новости были благоприятны, Черчилль бы, безусловно, сообщил их сам. Более того, нелюбовь Идена к Даллесу уже стала притчей во языцех. Еще до прибытия государственного секретаря Иден «полагал нереалистичным ожидать, будто непобежденному противнику могут быть навязаны условия, какие мог бы выработать только победитель»[871].

26 апреля Черчилль выразил свою озабоченность лично адмиралу Рэдфорду, прибывшему в Лондон. Согласно официальным отчетам, Черчилль сделал предупреждение относительно «войны на окраинах, где русские сильны и способны пробудить энтузиазм националистически настроенных угнетенных народов»[872]. И действительно, не существовало политически разумных побудительных мотивов для участия Великобритании в мероприятии, которое Черчилль обрисовал следующим образом:

«На британский народ не произведет особенного впечатления то, что происходит в отдаленных джунглях Ю.-В. Азии; но зато им известно, что существует мощная американская база в Восточной Англии и что война с Китаем, которая приведет в действие китайско-советский пакт, может означать удар водородными бомбами по этим островам»[873].

Что самое главное, такая война обратила бы в прах заветную мечту старого воина,

осуществление которой он задумал воплотить в жизнь в последний год своего пребывания у власти, — провести встречу на высшем уровне с постсталинским руководством, «рассчитанную на то, чтобы довести до сознания русских полное представление о силе Запада и чтобы до них дошло, каким безумием явилась бы война»[874] (см. гл. 20).

Но к этому моменту уже прошло достаточно времени, так что, независимо от решения Великобритании, совместные действия уже не могли спасти Дьенбьенфу, ибо он пал 7 мая, хотя в это время дипломаты уже вели переговоры по поводу Индокитая в Женеве. Как это часто бывает в тех случаях, когда заходит речь о коллективной безопасности, организация совместных действий превратилась в своеобразное алиби для ничегонеделания.

Дебаты по поводу интервенции в Дьенбьенфу показали прежде всего, что вьетнамская политика начинает становиться путаной и возрастают трудности сведения воедино геополитического анализа, стратегической доктрины и моральных убеждений. И если действительно коммунистическая победа в Индокитае заставит костяшки домино раскрыться на всем пространстве от Японии до Индонезии, как Эйзенхауэр предсказывал в письме Черчиллю и на пресс-конференции 7 апреля, Америке пришлось бы подвести черту независимо от реакции других стран, тем более что военный вклад потенциальных участников совместных действий все равно оказался бы в значительной степени чисто символическим. Хотя коллективные усилия были бы предпочтительнее, они, безусловно, не были предварительным условием для защиты глобального равновесия сил, если бы таковое на самом деле оказалось под угрозой. С другой стороны, примерно тогда же, когда администрация пыталась организовать коллективные действия, она сменила военную доктрину, выдвинув принцип «массированного возмездия». Предполагая удар по источнику агрессии, эта доктрина на практике означала войну с Китаем по поводу Индокитая. И все же не было в наличии ни морального, ни политического обоснования воздушным ударам против страны, лишь косвенно участвующей во вьетнамской войне, причем ради дела, которое Черчилль назвал в беседе с Рэдфордом периферийным по масштабу, но достаточно опасным. Какой же в таком случае смысл излишне долго занимать им общественное мнение?

Вне всякого сомнения, постсталинские лидеры Кремля с огромной неохотой

ввязались бы, находясь первый год у власти, в конфронтацию с Америкой из-за Китая. Однако поскольку военные руководители Америки были не в состоянии либо назвать примерные цели массированного возмездия против Китая (или в данном случае против Индокитая), либо обрисовать возможный результат и поскольку независимость Индокитая была только в проекте, не существовало никакого реалистического обоснования для интервенции. Эйзенхауэр мудро откладывал военное противостояние на потом, пока не будет достигнута гармония между отдельными линиями американского подхода к этому вопросу. К сожалению, и через десять лет гармония не была достигнута, и все же Америка, пренебрегая масштабностью стоящей перед нею задачи, уверенно взялась за осуществление предприятия, которое Франция провалила столь позорно. Поскольку американской интервенции опасались как Советский Союз, так и Китай, проводимая Эйзенхауэром — Даллесом дипломатия скрытых угроз способствовала принятию на Женевской конференции таких решений, которые на поверку оказались гораздо лучше, чем могла бы диктовать ситуация, сложившаяся на полях наземных сражений. Женевские соглашения, подписанные в июле 1954 года, предусматривали разделение Вьетнама по линии семнадцатой параллели. Чтобы держать путь к объединению страны открытым, линия разделения была названа не «политической границей», но административной мерой для облегчения перегруппировки вооруженных сил перед проведением выборов под международным контролем. Они должны были состояться в течение двух лет. Все посторонние силы надлежало вывести с территорий трех индокитайских государств в течение трехсот дней; запрещалось создавать на этих территориях иностранные базы, а также вступать с другими странами в военный союз.

Если раскладывать по полочкам различнейшие условия и положения, то может создаться ложное впечатление, будто бы Женевские соглашения носили официальный и жесткий характер. Различные части соглашения были скреплены множеством подписей, но там не было договаривающихся сторон, а следовательно, «коллективных обязательств»[875]. Ричард Никсон так суммарно охарактеризовал всю эту кашу: «Девять стран собрались на конференцию и произвели на свет шесть односторонних деклараций, три двухсторонних соглашения о прекращении огня и одно неподписанное заявление».[876]

Все это вместе взятое означало, что найден способ покончить с военными действиями, разделить Вьетнам и оставить политические решения на будущее. Любительский анализ часто трактует двусмысленность подобных соглашений как наглядное доказательство непоследовательности или двоедушия участников переговоров — подобное обвинение позднее было навешено в качестве ярлыка на Парижские мирные соглашения 1973 года. Увы, в большинстве случаев двусмысленные документы, подобные Женевским соглашениям, являются отражением реального положения дел; они урегулируют лишь то, что можно урегулировать, причем стороны полностью отдают себе отчет в том, что дальнейшая шлифовка договоренностей возможна лишь при новом повороте событий. Иногда интерлюдия позволяет новому политическому созвездию воссиять на небесах безо всяких конфликтов; иногда конфликт разгорается вновь, и это вынуждает каждую из сторон пересмотреть принятые на себя обязательства.

В 1954 году возникла неловкая пауза, которую пока что ни одна из сторон не в состоянии была прервать. Советский Союз не был готов к конфронтации так скоро после смерти Сталина, и национальные интересы его в Юго-Восточной Азии были чисто символическими; Китай опасался новой войны с Америкой менее чем через год по окончании корейского конфликта (особенно в свете новой американской доктрины «массированного возмездия»); Франция находилась в процессе ухода из региона; Соединенным Штатам недоставало ни разработанной стратегии, ни поддержки со стороны общественного мнения, чтобы решиться на интервенцию; а вьетнамские коммунисты еще не были достаточно сильны, чтобы продолжать войну, не имея внешних источников снабжения.

В то же время достигнутое на Женевской конференции соглашение ничуть не изменило основополагающие взгляды ее участников. Администрация Эйзенхауэра так и не отказалась от прежнего убеждения, будто Индокитай является ключом к азиатскому — а возможно, и глобальному — равновесию сил; не отказалась она и от самой идеи интервенции как таковой, не устраивала ее только интервенция на стороне колониальной Франции. А Северный Вьетнам не отказался от ранее поставленной перед собой цели объединить весь Индокитай под властью коммунистов, ради чего его руководители сражались два десятилетия. Новое советское руководство продолжало приносить клятвы верности делу классовой борьбы в международном

масштабе. С точки зрения доктрины, Китай выступал как самая радикальная из коммунистических стран, хотя, как стало известно через несколько десятилетий, его идеологические убеждения преломлялись через призму собственных национальных интересов. Китайское же понимание собственных национальных интересов таило в себе глубинные противоречия, ибо речь шла о возникновении на южной границе крупной державы, пусть и вследствие объединения Вьетнама под коммунистическим руководством.

Даллес умело маневрировал среди всех этих хитросплетений. Почти наверняка он предпочел бы военное вмешательство и разгром коммунизма даже на Севере. К примеру, 13 апреля 1954 года он заявил, что «удовлетворительным» результатом был бы полный уход коммунистов из Вьетнама[877]. Вместо этого он очутился на конференции, стремящейся придать законность правлению коммунистов в Северном Вьетнаме, что, в свою очередь, позволило бы коммунистическому влиянию распространиться на весь Индокитай. Ведя себя, как «пуританин, попавший в дом с дурной славой»[878], Даллес попытался выработать такое урегулирование, которое, «будучи предметом наших забот и раздумий», оказалось бы, однако, «свободным от французского колониального клейма»[879]. Впервые за все время американской вовлеченности во Вьетнаме совпали стратегический анализ и моральная убежденность. Даллес определил задачу, стоящую перед Америкой, как «выработку решений, которые помогут нациям региона мирно пользоваться плодами территориальной целостности и политической независимости при стабильных и свободно избранных правительствах, имея при этом возможность развивать и укреплять собственную экономику»[880].

Непосредственная трудность, само собой, заключалась в том, что Соединенные Штаты отказались принять официальное участие в Женевской конференции. Они пытались одновременно присутствовать и отсутствовать — в достаточной степени пребывать на сцене, чтобы подкреплять свои принципы, и в то же время в достаточной степени находиться в стороне, чтобы избежать домашних упреков по поводу отказа хотя бы от некоторых из них. Двусмысленность поведения Америки лучше всего проявляется в заключительном заявлении, где провозглашалось, что Соединенные Штаты «принимают к сведению» положения окончательных деклараций и «воздержатся от угрозы применения силы, равно как и от собственно ее

применения, ради их нарушения». Одновременно заявление предостерегало, что «они будут рассматривать любое возобновление агрессии в нарушение вышеуказанных договоренностей с серьезной озабоченностью и будут полагать это серьезной угрозой международному миру и безопасности»[881]. Я не знаю другого такого случая за всю историю дипломатии, когда бы нация гарантировала урегулирование, под которым она отказалась подписаться и по поводу которого имела столь серьезные оговорки.

Даллес не сумел предотвратить коммунистическую консолидацию в Северном Вьетнаме, но понадеялся, что предотвратит выпадение соответствующих костяшек домино в остальном Индокитае. Перед лицом того, что он с Эйзенхауэром называл двойной угрозой колониализма и коммунизма, он выбросил за борт французский колониализм и с той поры развязал себе руки в деле сдерживания коммунизма. Он считал достоинством Женевских соглашений создание политической основы, позволившей найти гармонию между политическими и военными задачами Америки и обеспечившей правовой фундамент для отражения дальнейших атак коммунизма.

Со своей стороны коммунисты были озабочены созданием собственной системы правления к северу от семнадцатой параллели, причем эту задачу они решали с характерным для себя остервенением, убив по меньшей мере 50 тыс. человек и заключив еще 100 тыс. в концентрационные лагеря. От 80 до 100 тысяч коммунистических партизан переместились на Север, а почти миллион северовьетнамцев обратились в бегство, направившись в Южный Вьетнам, где Соединенные Штаты открыли в Нго Динь Дьеме лидера, которого можно поддерживать. У него оказалась ничем не запятнанная репутация националиста; к сожалению, преданность демократии к числу его достоинств не относилась.

Мудрое решение Эйзенхауэра не связываться в 1954 году с Вьетнамом оказалось тактическим, а не стратегическим. После Женевы и он и Даллес оставались при своем мнении, будто бы Индокитай имеет решающее стратегическое значение. В то время как Индокитай сам собою отпал, Даллес навел последний глянец на систему коллективной безопасности, которая так и не сработала в начале года. Организация Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), появившаяся на свет в сентябре 1954 года, состояла, в дополнение к Соединенным Штатам, из Пакистана, Филиппин, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и Франции. Зато у нее не было ни общей политической цели, ни средств для взаимной поддержки. Да и страны,

отказавшиеся вступить в СЕАТО, были гораздо значительнее, чем члены этой организации. Индия, Индонезия, Малайя и Бирма предпочли обрести безопасность посредством нейтрализма, а Женевские соглашения запрещали всем трем государствам Индокитая вступить в какие бы то ни было союзы. Что же касается европейских союзников Америки — Великобритании и Франции, — то они не стремились рисковать ради региона, откуда их только что вытеснили. И наверняка Франция, а в меньшей степени и Англия потому вступили в СЕАТО, чтобы приобрести право вето на случай, как они полагали, потенциально опрометчивых американских инициатив.

Формальные обязательства, предусмотренные договором о создании СЕАТО, носили весьма туманный характер. Требуя от договаривающихся сторон ответить на «общую опасность» при помощи своих «конституционных процедур», договор вовсе не устанавливал ни критериев определения общей опасности, ни механизма, обеспечивающего совместные действия в отличие от НАТО. Тем не менее СЕАТО отвечало намерениям Даллеса, обеспечивая юридические рамки для защиты Индокитая. Вот почему, как это ни странно, СЕАТО гораздо более конкретно трактует понятие коммунистической агрессии против трех наций Индокитая — которым участие в договоре запрещено Женевскими соглашениями, чем понятие коммунистического нападения на страны — участницы договора. Отдельным протоколом угрозы Лаосу, Камбодже и Южному Вьетнаму определялись, как угрожающие миру и безопасности договаривающихся сторон, что, по сути дела, являлось односторонней гарантией[882].

Теперь все зависело от того, превратятся ли новые государства Индокитая, особенно Южный Вьетнам, в полноценно функционирующие нации. Ни одна из них еще никогда не управлялась, как политически единое образование, в рамках существующих границ. Древней столицей империи был город Гуэ. Французы разделили Вьетнам на три области: Тонкий, Аннам и Кохинхину, — соответственно управляемые из Ханоя, Гуэ и Сайгона. Территории вокруг Сайгона и в дельте реки Меконг были колонизованы вьетнамцами сравнительно недавно, лишь в XIX веке, причем почти одновременно с приходом французов. Существующая власть представляла собой комбинацию из чиновников, прошедших обучение во Франции, и мешанины тайных обществ — так называемых сект, — часть которых обладала

религиозными связями, но которые все без исключения занимались самообеспечением и поддержкой автономного статуса за счет вытряхивания средств из населения.

Новый правитель Дьем был сыном чиновника при императорском дворе в Гуэ. Получив образование в католических учебных заведениях, он в течение ряда лет работал чиновником колониальной администрации в Ханое, но ушел в отставку, когда французы отказались проводить в жизнь некоторые из предложенных им реформ. Последующие два десятилетия он провел в собственной стране, как ученый-отшельник, а также в качестве добровольного изгнанника за рубежом, в основном в Америке, отказываясь от предложений японцев, коммунистов • и поддерживаемых французами вьетнамских лидеров войти в состав различных правительств.

Лидеры так называемых освободительных движений, как правило, не обладают демократическими устремлениями, ибо они в течение долгих лет изгнания и тюрем поддерживали себя видениями будущих преобразований, которые они осуществят, стоит только им прийти к власти. Смирение редко принадлежит к числу их личных качеств; ибо тогда они бы не были революционерами. Создание правительства, руководитель которого был бы сменяем — а в этом и состоит сущность демократии, — представляется для большинства из них неразрешимым противоречием. Лидеры борьбы за независимость стремятся быть героями, а в обществе героев, как правило, неуютно.

Черты личности Дьема сформировались под влиянием конфуцианской политической традиции Вьетнама. В отличие от теории демократии, согласно которой истина рождается в столкновении мнений, конфуцианство утверждает, что истина объективна и может быть познана лишь путем упорных занятий и посредством получения образования, на что способны лишь весьма немногие. При поиске истины противоречащие друг другу идеи вовсе не рассматриваются как равнозначные, что характерно для теории демократии. Поскольку существует одна-единственная истина, то, что не является истиной, не может претендовать на признание и не может обрести силу, соперничая с другими мнениями. Конфуцианство по сути иерархично и элитарно, оно делает упор на верность семье, лояльность по отношению к государственным установлениям и авторитету. Ни одно из обществ, находящихся под влиянием этой идеологии, пока еще не породило нормально функционирующей

плюралистической системы (ближе всего к ней в 90-е годы подошел Тайвань).

В 1954 году в Южном Вьетнаме почти не существовало фундамента для формирования нации и еще меньше — для демократии. Но ни в американских стратегических расчетах, ни в проектах спасения Южного Вьетнама посредством демократических реформ эти реалии не были приняты во внимание. С энтузиазмом невинных младенцев администрация Эйзенхауэра с головой окунулась в дело защиты Южного Вьетнама от коммунистической агрессии и в организацию национального строительства ради того, чтобы дать возможность обществу, культура которого резко отличается от американской, сохранить только что обретенную независимость и воплотить на практике принципы свободы в американском смысле слова.

Даллес настаивал на безоговорочной поддержке Дьема на том основании, что это «единственная годная лошадка». В октябре 1954 года Эйзенхауэр, превратив необходимость в добродетель, написал Дьему, пообещав ему помощь, обусловленную уровнем «мероприятий... по проведению необходимых реформ». Американская помощь «будет соотноситься» со степенью независимости Вьетнама, в зависимости от «наличия у него сильного правительства... идущего навстречу националистическим чаяниям своего народа» и вызывающего уважение к себе как внутри страны, так и за рубежом[883].

В течение ряда лет все, казалось, встало по местам. К концу срока пребывания у власти администрации Эйзенхауэра Соединенные Штаты передали Южному Вьетнаму в виде помощи свыше одного миллиарда долларов; в Южном Вьетнаме находился американский персонал в количестве 1500 человек, а посольство Соединенных Штатов в Сайгоне стало одной из крупнейших дипломатических миссий мира. Американская военно-консультативная группа, состоявшая из 692 человек, превзошла все лимиты, установленные Женевскими соглашениями для иностранного военного персонала[884].

Вопреки ожиданиям и благодаря массивной американской помощи разведывательного характера, Дьем подавил деятельность тайных обществ, стабилизировал экономику и сумел поставить все под контроль центральной власти — то есть добился потрясающих достижений, что было хорошо воспринято в Америке. После поездки во Вьетнам в 1955 году сенатор Майк Мэнсфилд докладывал, что Дьем олицетворяет «неподдельный национализм» и взялся «за,

казалось бы, проигранное дело свободы, вдохнув в него новую жизнь»[885]. Сенатор Джон Ф. Кеннеди согласился с тем, что Америка строит свою вьетнамскую политику, опираясь на двойной фундамент, — безопасность и демократию, и называл Вьетнам не просто краеугольным камнем безопасности Юго-Восточной Азии, но «испытательным полигоном демократии в Азии»[886].

События вскоре показали, что Америка праздновала лишь затишье перед новой коммунистической бурей. Предположение Америки относительно того, что ее уникальный сорт демократии вполне годится на экспорт, оказалось ложным. На Западе политический плюрализм достиг своего расцвета в многосоставных обществах, где общественный консенсус уверенно и прочно присутствует уже в течение достаточно длительного времени, обеспечивая терпимость к оппозиции и не ставя этим под угрозу жизнеспособность государства. Но там, где нацию только предстоит создать, оппозиция может оказаться угрозой самому национальному существованию, особенно когда отсутствует гражданское общество, выступающее в роли страховочной сетки. При данных обстоятельствах сильным, и даже всеподавляющим, является искушение ставить знак равенства между оппозицией и предательством.

Все тенденции такого рода в партизанской войне усиливаются многократно. Ибо стратегия партизан заключается в том, чтобы подорвать единство, уже достигнутое при помощи институтов управления. Во Вьетнаме партизанская деятельность никогда не прекращалась, а в 1959 году она вышла на новые рубежи. Любимыми объектами нападения стали худшие и лучшие правительственные чиновники. Нападения на худших производились ради завоевания популярности и симпатий посредством «наказания» продажных или притесняющих население чиновников; нападения на лучших производились потому, что это был наиболее эффективный путь помешать правительству приобрести облик законности и сорвать эффективное функционирование гражданских служб общенационального характера.

По состоянию на 1960 год, ежегодно уничтожалось 2500 южновьетнамских официальных лиц[887]. Лишь небольшое количество подвижников идеи и гораздо большее количество самых продажных готовы были пойти на риск. И так как для реформ требовалось значительно больше времени, чем для того, чтобы погрузить страну в хаос, то, даже если бы Дьем был реформатором американского типа,

сомнительно, успел бы он осуществить свои начинания. Но, по правде говоря, даже если бы его страна не погрязла в пучине партизанской войны, Дьем не смог бы себя показать демократичным лидером. Будучи мандарином, он брал за образец правителя-конфуцианца, правящего в силу добродетели, а не консенсуса, и благодаря успеху добившегося законности собственного правления, то есть «мандата небес». Дьем инстинктивно отшатывался от самой концепции наличия законной оппозиции, как, впрочем, и все руководители китайского стиля, от Пекина до Сингапура, и почти все руководители в Юго-Восточной Азии, испытывавшие гораздо меньшие внутренние затруднения. Какое-то время достижения Дьема в области национального строительства уводили на задний план медленные темпы проведения демократических реформ. Однако по мере того, как снижался уровень внутренней безопасности в Южном Вьетнаме, скрытый конфликт между американскими ценностями и южновьетнамскими традициями не мог не обостриться.

Несмотря на строительство под эгидой Америки южновьетнамских вооруженных сил, степень безопасности внутри страны все более и более снижалась. Американские военные, как и все американские политические реформаторы, исходили в своей деятельности из уверенности в собственных силах. И те и другие не сомневались, что найдут какую-нибудь панацею успеха для этой разрываемой на части страны, географически и культурно далекой от Соединенных Штатов. Вьетнамскую армию они создавали наподобие собственной. Американские вооруженные силы были подготовлены к войне в Европе; единственным их опытом в развивающемся мире была Корея, где перед ними стояла задача сражаться при всеобщей поддержке населения с армией в обычном смысле слова, пересекшей международно признанную демаркационную линию, то есть ситуация была весьма похожа на предполагаемое специалистами по военному планированию положение в Европе. Но во Вьетнаме война велась в отсутствие четких линий фронта; враг, снабжаемый из Ханоя, ничего не защищал и нападал по собственному усмотрению; он был одновременно везде и нигде.

С того момента, как американский военный истэблишмент обосновался во Вьетнаме, начали применяться знакомые ему методы ведения войны: акцент делался на огневой мощи, механизации и мобильности. Все эти методы во Вьетнаме были неприменимы. Обученная американцами южновьетнамская армия вскоре оказалась в

той же ловушке, в которой десятилетие назад очутились французские экспедиционные силы. Война на истощение срабатывает лишь против такого противника, который принужден защищать что-то для себя ценное. Но партизаны редко обладают чем-то ценным, что стоило бы защищать. Механизация и дивизионная структура делали вьетнамскую армию почти непригодной для вооруженной защиты собственной страны.

На ранней стадии американского присутствия во Вьетнаме партизанская война находилась еще во младенчестве, и военные проблемы не приобрели пока что господствующего характера. И потому казалось, что имеет место подлинный прогресс. И лишь к концу срока пребывания администрации Эйзенхауэра у власти Ханой запустил партизанскую войну на полную мощь. Причем должно было еще пройти определенное время, прежде чем северовьетнамцы сумели создать и наладить систему снабжения, питающую крупномасштабную партизанскую войну. Для достижения этой цели они вторглись в Лаос, маленькую, мирную, нейтральную страну, через которую они проложили то, что стало потом называться «тропой Хо Ши Мина».

Когда Эйзенхауэр готовился к передаче дел, главным предметом его забот был Лаос. В своей книге «Борьба за мир» он называл эту страну стержнем «теории домино»:

«...Падение Лаоса вследствие захвата коммунистами означало бы последовательное падение — по мере выпадания сочетающихся друг с другом костяшек домино — все еще свободных соседей: Камбоджи и Южного Вьетнама, а также, по всей вероятности, Таиланда и Бирмы. Такая цепь событий открыла бы дорогу коммунистическому захвату всей Юго-Восточной Азии»[888].

Эйзенхауэр полагал независимость Лаоса до такой степени критически важным фактором, что готов был «воевать... совместно с союзниками или без них»[889]. Защита Лаоса была самой конкретной из рекомендаций, данных вновь избранному президенту Кеннеди во время переходного периода вплоть до января 1961 года.

Во время смены администрации уровень и характер американской вовлеченности в Индокитае еще не достигли такого масштаба, который ставил бы под сомнение доверие к Америке как таковое, причем пути назад бы не было. Американские усилия пока что в какой-то мере еще соотносились с реальными задачами обеспечения региональной безопасности; тогда они еще не достигли такого размаха, при котором

их защита станет актом самооправдания.

«Теория домино» стала расхожей истиной и редко ставилась под сомнение. Но, как и само вильсонство, «теория домино» была не столько неверна, сколько применялась недифференцированно. Поднятые Вьетнамом вопросы на самом деле заключались вовсе не в том, надо ли коммунизм сдерживать в Азии, а в том, является ли семнадцатая параллель тем самым местом, где проходит черта; не в том, что случится в Индокитае, если выпадет вьетнамская костяшка домино, но в том, не следует ли провести иную оборонительную линию, допустим, вдоль границы Малайи.

Вопрос этот в рамках геополитики никогда тщательно не изучался. Поскольку для данного поколения американских политиков самым горьким уроком явился Мюнхен, отступление считалось лишь действием, усугубляющим трудности, да еще вдобавок моральной ошибкой. Именно подобным образом Эйзенхауэр защищал вовлеченность Америки во Вьетнаме в 1959 году:

«...Наши собственные национальные интересы диктуют нам необходимость оказания определенной помощи для поддержания во Вьетнаме высокого морального духа, обеспечения экономического прогресса, а также создания военной мощи, достаточной для неуклонного пребывания в состоянии свободы... [Цена] продолжительного пренебрежения этими проблемами оказалась бы гораздо большей, чем мы сейчас обязаны платить, — гораздо большей, чем мы бы сумели выдержать»[890].

Американская универсалистская традиция просто не позволила бы делать выбор между потенциальными жертвами на базе стратегической необходимости. Когда американские лидеры говорили о бескорыстии собственной нации, они искренне в это верили; они скорее пошли бы защищать чужую страну, чтобы утвердить собственные принципы, чем ради обеспечения национальных интересов Америки.

Избрав Вьетнам местом, где пролегает грань между Америкой и коммунистическим экспансионизмом, Соединенные Штаты тем самым предопределили появление в будущем дилемм самого серьезного свойства. Если политическая реформа была средством одержания победы над партизанами, означал ли рост их сил, что американские рекомендации неправильно претворяются в жизнь, или эти рекомендации попросту оказывались неподходящими, по крайней мере, на данном этапе борьбы? А если Вьетнам действительно был настолько важен для глобального

соотношения сил, как это утверждали почти все американские руководители, то означало ли это, что геополитическая необходимость в конечном счете перевесит все прочее и вынудит Америку вступить в войну на расстоянии двенадцати тысяч миль от дома? Ответы на эти вопросы пришлись на долю преемников Эйзенхауэра — Джона Ф. Кеннеди и Линдона Б. Джонсона.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. Вьетнам: на пути к отчаянию; Кеннеди и Джонсон

Став третьим по счету президентом, обязанным заниматься Индокитаем, Джон Ф. Кеннеди получил в наследство набор укоренившихся политических истин. Как и его предшественники, Кеннеди рассматривал Вьетнам как ключевое звено глобальной геополитической позиции Америки. Он точно так же, как и Трумэн и Эйзенхауэр, верил в то, что предотвращение победы коммунистов во Вьетнаме отвечает американским интересам высшего характера. И, подобно своим предшественникам, он рассматривал коммунистическое руководство в Ханое как представителей Кремля. Короче говоря, он полностью соглашался с точкой зрения двух предыдущих администраций, будто бы защита Южного Вьетнама жизненно важна для осуществления всемирной стратегии глобального «сдерживания».

Хотя во многих отношениях вьетнамская политика Кеннеди была продолжением политики Эйзенхауэра, имели место и существенно важные отличия. Эйзенхауэр рассматривал конфликт с точки зрения солдата — как войну между двумя различными обществами, Северным и Южным Вьетнамом. Для команды Кеннеди нападения Вьетконга на Южный Вьетнам не выглядели традиционной войной, как, впрочем, и псевдогражданский конфликт, характерной чертой которого стало сравнительно новое

явление: боевые действия партизанского характера. Предпочтительным для команды Кеннеди решением было строительство при помощи Соединенных Штатов южновьетнамского государства — в социальном, политическом, экономическом и военном плане — так, чтобы оно смогло нанести поражение партизанам, не ставя под угрозу жизни американцев.

В то же время команда Кеннеди воспринимала военный аспект конфликта в еще более апокалиптических тонах, чем ее предшественники. В то время как Эйзенхауэр рассматривал военную угрозу Вьетнаму сквозь призму войны обычного типа, команда Кеннеди полагала — как выяснилось, преждевременно, — что между Соединенными Штатами и Советским Союзом уже существует ядерный паритет, что, по словам министра обороны Макнамары, делает всеобщую войну невыносимой. Администрация была убеждена, что наращивание вооружений исключит для коммунистов возможность развязывать ограниченные войны типа Корейской. Методом исключения она пришла к выводу, что партизанская война является предвестником будущего, а противостояние ей представляет собой решительное испытание способности Америки осуществлять «сдерживание» коммунизма.

6 января 1961 года, за две недели до инаугурации Кеннеди, Хрущев объявил «национально-освободительные войны» «священными» и гарантировал им свою поддержку. С точки зрения родившейся при Кеннеди политики «новых рубежей», эта гарантия воспринималась, как объявление войны надеждам Америки на концентрацию усилий ради придания нового смысла отношениям с миром развивающихся стран. Сегодня речь Хрущева в самом широком смысле воспринимается, как нацеленная против идеологических мучителей из Пекина, которые обвиняли его в пренебрежении ленинизмом, ибо он только что в третий раз продлил срок действия ультиматума по Берлину и часто высказывал серьезнейшие оговорки в отношении ядерной войны. Но в тот момент Кеннеди — в своем первом послании «О положении страны» 31 января 1961 года — рассматривал речь Хрущева как доказательство наличия у Советского Союза и Китая поползновений на мировое господство — поползновений, отчетливо провозглашенных почти только что[891].

В сентябре 1965 года точно такое же недоразумение имело место уже при Джонсоне применительно к Китаю, когда министр обороны Китая Линь Бяо в своем манифесте по поводу «народной войны» объявил в высокопарном стиле об «окружении»

промышленных держав мира при помощи революций в странах «третьего мира»[892]. Администрация Джонсона истолковала это как предупреждение относительно возможности китайской интервенции на стороне Ханоя, игнорируя подтекст, имеющийся у Линя, а именно, упор на «собственные силы» революционеров. Подкрепленное утверждением Мао относительно того, что китайские войска не будут направляться за границу, это заявление одновременно еще и означало, причем достаточно отчетливо, что Китай не намерен вновь участвовать в коммунистических освободительных войнах. Похоже, обе стороны извлекли из войны в Корее один и тот же урок; и они преисполнились решимости больше подобных вещей не повторять.

Толкование коммунистических пророчеств администрациями Кеннеди и Джонсона заставляло рассматривать Индокитай как нечто большее, чем просто одну из многочисленных битв «холодной войны». С точки зрения политики «новых рубежей», Индокитай являлся той самой решающей схваткой, которая позволит установить, можно ли прекратить партизанские действия и выиграть «холодную войну». Восприятие Кеннеди этого конфликта как скоординированного глобального заговора заставило его прийти к выводу, что именно в Юго-Восточной Азии следует восстановить веру в Америку после того, как над ним взял верх Хрущев на Венской встрече в июне 1961 года. «Теперь перед нами стоит проблема, — заявил Кеннеди Джеймсу Рестону, бывшему тогда ведущим обозревателем „Нью-Йорк тайме“, — заставить поверить в нашу силу всерьез, и Вьетнам для этого, как представляется, самое лучшее место»[893].

Словно в классической трагедии, где герой незаметно, шаг за шагом влеком роком посредством на первый взгляд незначительных событий, администрация Кеннеди была приведена к Вьетнаму посредством кризиса, незнакомого ее предшественникам, — кризиса по поводу будущего Лаоса. Мало можно найти народов, которые в меньшей степени заслужили бы выпавшие на их долю страдания, чем добрые, миролюбивые лаотяне. Укрытые неприступными горными хребтами, обращенными к Вьетнаму, и огражденные широкой рекой Меконг, обозначающей собой границу с Таиландом, народы Лаоса хотели от своего воинственного соседа только одного: чтобы их оставили в покое. Но именно этого их желания Северный Вьетнам не исполнял никогда. Стоило Ханоею начать в 1959 году партизанскую войну в Южном Вьетнаме, как его давление на Лаос стало неизменно усиливаться. Если бы Ханой

попытался переправлять партизанские силы на Юг, ограничиваясь вьетнамской территорией, им бы пришлось заниматься инфильтрацией через демилитаризованную зону — так называлась демаркационная полоса, шириной примерно в сорок миль, пролежавшая вдоль семнадцатой параллели. Это пространство могла при американском содействии наглухо закрыть армия Южного Вьетнама. Другим вариантом могло бы быть одно лишь непосредственное военное нападение через семнадцатую параллель силами регулярной армии, что наверняка повлекло бы за собой вмешательство Америки и, возможно, СЕАТО, — но идти на подобный риск Ханой не желал вплоть до 1972 года, то есть до заключительной стадии войны во Вьетнаме.

Путем хладнокровных логических построений, характеризовавших коммунистическую стратегию на протяжении всей войны, Ханой пришел к выводу, что инфильтрация в Южный Вьетнам через нейтральные Лаос и Камбоджу повлечет за собой меньшие отрицательные последствия в международном плане, чем прямой прорыв через семнадцатую параллель. Даже несмотря на то, что нейтралитет Лаоса и Камбоджи был гарантирован Женевскими соглашениями 1954 года и подкреплен договором об образовании СЕАТО, Ханой твердо придерживался принятого им решения. По существу, Ханой аннексировал узкую полосу суверенного Лаоса и организовал на этой территории, как и в Камбодже, базы, не встретив значительного противодействия со стороны мирового сообщества. Более того, за мировое общественное мнение стали выдавать безумные логические конструкции Ханоя: именно попытки Америки и Южного Вьетнама прервать ведущуюся с размахом инфильтрацию через нейтральную территорию стали осуждать, как «расширение масштабов войны».

Узкая полоса лаосской земли обеспечивала северовьетнамцев маршрутами подхода под прикрытием джунглей на протяжении примерно 650 миль южновьетнамской границы с Лаосом и Камбоджей. Свыше 6000 северовьетнамских солдат вошли в 1959 году в Лаос под предлогом оказания поддержки коммунистическому движению Патет-Лао, навязанному Ханоем после подписания Женевских соглашений 1954 года северовосточным провинциям вдоль вьетнамской границы.

Как человек военный, Эйзенхауэр понимал, что защита Южного Вьетнама начинается с Лаоса. Он наверняка рассказал Кеннеди в период передачи дел, что готов

был произвести интервенцию в Лаосе, если надо, то в одностороннем порядке. Первое заявление Кеннеди по Лаосу совпадало с рекомендациями Эйзенхауэра. На пресс-конференции 23 марта 1961 года он предостерегал: «Безопасность всей Юго-Восточной Азии окажется под угрозой, если Лаос лишится статуса независимого нейтрального государства. Безопасность этой страны предопределяет безопасность для всех нас — и ее истинный нейтралитет должен соблюдаться всеми»[894]. И все же когда Кеннеди через пять дней после этого представлял свою новую политику по вопросам обороны, то настоятельно утверждал, что «коренные проблемы сегодняшнего мира не поддаются военному решению»[895]. Хотя это заявление полностью не противоречило решимости защищать Лаос, оно также не было зовом боевой трубы к началу военных действий. Ханой никогда не тешил себя иллюзиями, будто войны на самом деле нет, и готов был использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы эту войну выиграть. Кеннеди же вел себя двусмысленно. Он надеялся, что ему удастся сдерживать коммунистов в основном политическими средствами, и если надо, то при помощи компромисса.

В апреле 1961 года, потрясенный неудачей высадки в заливе Свиней, Кеннеди принял решение не прибегать к интервенции, а вместо этого положиться на переговоры как средство обеспечения нейтралитета Лаоса. Стоило угрозе американского вмешательства исчезнуть, как на переговорах по нейтралитету обязательно должна была возобладать твердая позиция Ханоя. По правде говоря, Ханой вторично предавал нейтралитет Лаоса, взяв на Женевской конференции 1954 года обязательство уважать его.

Разрабатывая сеть снабжения, которой суждено было в будущем дублировать «тропу Хо Ши Мина», северовьетнамцы затянули переговоры на целый год. Наконец в мае 1962 года Кеннеди направил в соседний Таиланд морскую пехоту. Это повлекло за собой быстрое завершение переговоров. Все иностранные войска и советники должны были покинуть Лаос, пройдя через контрольно-пропускные пункты, находящиеся под международным контролем. Все тайские и американские советники ушли в соответствии с графиком; из 6000 человек вьетнамского военного персонала, вошедших в Лаос, равным счетом сорок человек (вот именно, сорок) прошли через международные контрольно-пропускные пункты. Что же касается остального контингента, то Ханой ничтоже сумняшеся отрицал, что он вообще вводился в Лаос.

Теперь дорога в Южный Вьетнам была широко распахнута.

Эйзенхауэр оказался прав. Если Индокитай действительно являлся краеугольным камнем американской безопасности в районе Тихого океана, как утверждали вашингтонские руководители на протяжении десятилетия, то регион в целом следовало защищать скорее в Лаосе, чем во Вьетнаме; по правде говоря, Индокитай можно было защищать как раз только там. Даже несмотря на то, что Лаос был отдаленной страной без выхода к морю, северовьетнамцы, будучи там наводящими страх ненавистными чужеземцами, не в состоянии были бы развязать на этой земле партизанскую войну. Тогда Америка смогла бы вести там войну обычного типа, которую на деле сумела бы осуществить обученная этому армия, а тайские войска почти наверняка поддержали бы американские военные усилия. Перед лицом подобной перспективы Ханой наверняка бы уступил, ожидая более подходящего момента для развязывания полномасштабной войны.

Столь трезвый стратегический анализ был, однако, сочтен неподходящим для конфликта, воспринимаемого в основном в идеологическом плане. (Моя точка зрения в те времена тоже была не такой.) В течение десятилетия американские руководители выступали как ярые приверженцы идеи защиты Вьетнама, являвшегося, с их точки зрения, ключевым элементом азиатской оборонительной концепции; ревизия подобной стратегии посредством внезапного превращения далекого, отсталого горного королевства в центральное звено «теории домино» могла бы разрушить консенсус внутри собственной страны.

Исходя из всех этих положений, Кеннеди и его советники сделали вывод, что Индокитай следует защищать в Южном Вьетнаме, на чьей территории коммунистическая агрессия имела для американцев какой-то смысл, абстрагируясь от того факта, что только что принятое ими решение делает поставленную задачу в военном смысле почти невыполнимой. Ибо открыты были не только пути снабжения через Лаос, но и налицо было решение, принятое хитрым и деятельным правителем Камбоджи принцем Сиануком, полагавшим, что ставки сделаны, и согласившимся с организацией цепи коммунистических баз на всем протяжении границы Камбоджи с Южным Вьетнамом. Возникла очередная безвыходная ситуация в стиле «уловки номер 22»: если районы баз на территории Камбоджи оставить в покое, то северовьетнамцы смогут совершать нападения на юг страны и благополучно отходить

в безопасные места на отдых и переформирование, что делало защиту Южного Вьетнама задачей, превышающей человеческие возможности; если совершать нападения на территорию баз, то Южный Вьетнам и его союзники будут выставлены у позорного столба, как совершающие «агрессию» против «нейтральной» страны.

Перед лицом Берлинского кризиса было понятно нежелание Кеннеди идти на риск войны в Лаосе, на границе с Китаем, в стране, о которой наверняка слышало менее одного процента американского населения. Но альтернатива полного отказа от Индокитая даже не рассматривалась. Кеннеди не пожелал подвести черту под усилиями, приложенными в этом направлении в течение истекшего десятилетия администрациями от обеих партий, особенно после залива Свиней. Уход из Индокитая означал бы также признание поражения перед лицом испытания, каким воспринималось противостояние новой коммунистической стратегии партизанской войны. И, что самое главное, Кеннеди верил в данный ему совет, а именно в то, что американская помощь позволит южновьетнамским вооруженным силам одержать победу над коммунистическими партизанами. В те преисполненные невинного неведения дни ни один из американских руководителей, к какой бы партии он ни принадлежал, ни в малейшей степени не в состоянии был предвидеть, что Америка прямиком направляется в центр головоломки.

Кеннеди был известен тем, что в течение десятилетия публично высказывался по вопросам Индокитая. Еще в ноябре 1951 года он ухватился за тему, с которой больше никогда не слезал: одной силы для того, чтобы остановить коммунизм, недостаточно; американским союзникам в этой борьбе следует построить политический фундамент.

«Контролировать продвижение коммунизма на юг имеет смысл, но не только полагаясь на силу оружия. Задача скорее заключается в том, чтобы создать на месте прочное антикоммунистическое мироощущение и полагаться скорее на него, а не на легионы генерала де Латтра [французского командующего в Индокитае], как на ударную силу обороны»[896].

В апреле 1954 года, во время организации Даллесом кампании «объединенных усилий» по спасению Дьенбьенфу, Кеннеди произнес в сенате речь, в которой возражал против интервенции, пока Индокитай остается французской колонией[897]. В 1956 году, после ухода Франции и получения независимости Южным Вьетнамом, Кеннеди готов был подписаться под тогдашними расхожими истинами: «Это наше

детище — и мы не можем его бросить на произвол судьбы». В то же самое время он подчеркивал, что этот конфликт представляет собой не столько военный, сколько политический и моральный вызов «в стране, где концепции свободного предпринимательства и капитализма лишены смысла, где нищета и голод — это не враги, грозящие с той стороны семнадцатой параллели, но враги, находящиеся в самой ее гуще... Мы обязаны предложить им именно революцию: политическую, экономическую и социальную революцию, гораздо более превосходящую то, что им могут предложить коммунисты». На карту была поставлена ни больше ни меньше сама вера в Америку: «И если эта страна падет жертвой любой из бед, угрожающих ее существованию, будь то коммунизм, политическая анархия, нищета и все прочее, тогда Соединенные Штаты вполне оправданно будут нести за это ответственность; а наш престиж в Азии упадет еще ниже»[898]. Фокус, как явно намекал Кеннеди, заключался в том, чтобы жертва была менее податлива агрессии. В основе такого подхода лежала новая, ранее отсутствовавшая в дипломатическом языке концепция, существующая у нас и поныне, — понятие «национального строительства».

Предпочтительной для Кеннеди стратегией было усиление Южного Вьетнама, с тем чтобы он смог самостоятельно противостоять коммунистам. Упор делался на гражданскую деятельность и внутренние реформы, а официальная риторика приняла новый облик, заключая в себе намек на то, что на линии обстрела во Вьетнаме находится не безопасность Америки, а американский престиж и доверие Америке.

Каждая новая администрация, обязанная иметь дело с Индокитаем, похоже, все глубже увязала в трясине. Трумэн и Эйзенхауэр приняли программу военной помощи; упор Кеннеди на реформы привел к росту американской вовлеченности в вопросы внутренней политики Южного Вьетнама. Проблема заключалась в том, что реформы и национальное строительство в Южном Вьетнаме могли принести плоды только через несколько десятилетий. В Европе 40 — 50-х годов Америка обеспечила подъем уже существующих стран с прочными политическими традициями посредством распространения на них «плана Маршалла» и включения их в военный союз НАТО. Но Вьетнам был страной совершенно новой, и там не было институтов, которые могли бы явиться фундаментальной опорой. Центральной дилеммой стало то, что политические цели Америки, направленные на укоренение стабильной демократии во Вьетнаме, не могли быть достигнуты за то время, которое требовалось для

предотвращения победы партизан, то есть для достижения америкой своей стратегической цели. Америке следовало менять либо военные, либо политические задачи.

Когда Кеннеди вступил в должность, партизанская война в Южном Вьетнаме достигла такого уровня насилия, при котором уже можно было помешать консолидации сил вокруг правительства Нго Динь Дьема, но пока еще не возникало сомнений в жизнеспособности национальной администрации. Кажущееся затишье в партизанской борьбе вызывало у администрации Кеннеди иллюзии, будто надо приложить еще одно небольшое усилие, и полная победа обеспечена. Временный спад, однако, был в первую очередь связан с занятостью Ханоя делами в Лаосе; как выяснилось, это оказалось затишьем перед бурей. Как только открылись новые пути снабжения через Лаос, партизанская война на Юге стала усиливаться, и стоящие перед Америкой дилеммы постепенно превращались в неразрешимые.

Администрация Кеннеди вступила на путь погружения во вьетнамскую трясину в мае 1961 года, когда в Сайгон направился вице-президент Джонсон для «оценки обстановки». Такого рода миссии почти всегда являются свидетельством того, что решение уже принято. Ни один вице-президент не в состоянии прийти к независимому суждению относительно введущейся целое десятилетие партизанской войне за двух-или трехдневный визит. Хотя ему, как правило, доступны в самом широком плане сообщения разведывательного и аналитического характера (что, конечно, зависит от личности президента), исследования этих материалов ведется недостаточно глубоко, а контроль и вовсе отсутствует. Заграничные миссии вице-президентов обычно осуществляются для подкрепления американского престижа или для обеспечения базы уже принятым решениям.

Поездка Джонсона во Вьетнам была классическим примером подтверждения подобных правил. Прежде чем объявить об этой миссии, Кеннеди встречался с председателем сенатского комитета по иностранным делам сенатором Дж. Уильямом Фулбрайтом и предупредил его, что американские войска могут быть направлены во Вьетнам и в Таиланд. Сенатор Фулбрайт обещал отнестись к этому положительно и оказать поддержку при условии, что сами эти страны запросят американского содействия[899]. Фулбрайт был олицетворением классической американской реакции. Какой-нибудь Ришелье, Пальмерстон или Бисмарк задал бы вопрос, каким конкретно

национальным интересам это послужит. Фулбрайта же более беспокоила правовая и моральная сторона поведения Америки.

Вслед за отбытием Джонсона Совет национальной безопасности издал 11 мая директиву, согласно которой предотвращение коммунистического господства в Южном Вьетнаме объявлялось национальной задачей Америки. Стратегия заключалась в том, чтобы «создать в этой стране жизнеспособное и все время демократизирующееся общество» посредством действий военного, политического, экономического, психологического и тайного характера[900]. «Сдерживание» превратилось в национальное строительство.

Джонсон докладывал, что самую большую опасность в Индокитае представлял не вызов со стороны коммунистов — который он по необъяснимым причинам назвал «преходящим», — но голод, невежество, нищета и болезни. Джонсон считал Дьема очаровательным, но «далеким» от собственного народа; у Америки, утверждал он, нет другого выбора, кроме как либо поддерживать Дьема, либо уходить[901]. Южный Вьетнам можно спасти, заявлял он, если Соединенные Штаты будут действовать быстро и решительно, Джонсон не объяснил, как Соединенные Штаты могут искоренить голод, нищету и болезни за тот срок, который был бы соразмерен с темпами нарастания партизанской войны.

Провозгласив принцип, администрация была обязана выработать политику. И все же в течение трех месяцев она была занята Берлинским кризисом. К тому моменту, когда она снова оказалась в состоянии обратиться к Вьетнаму, то есть к осени 1961 года, ситуация ухудшилась до такой степени, что безопасность могла быть восстановлена лишь посредством американского военного вмешательства в той или иной мере.

Советник президента по военным вопросам генерал Максвелл Тейлор и директор управления политического планирования государственного департамента Уолт Ростоу были направлены во Вьетнам для разработки подходящего образа действий. В отличие от вице-президента Тэйлор и Ростоу принадлежали к ближайшему кругу советников; подобно Джонсону, они придерживались давно сформировавшихся взглядов на американскую политику во Вьетнаме, с которыми они и покинули Вашингтон. Истинной целью их миссии было определение масштабов и способов увеличения степени вовлеченности Америки во вьетнамские дела.

Как выяснилось, Тэйлор и Ростоу рекомендовали гигантское расширение роли

американских советников на всех уровнях вьетнамской администрации. Следовало командировать так называемую группу по вопросам военного снабжения в количестве 8 тыс. человек якобы для оказания содействия в преодолении отрицательных последствий разливов реки Меконг в районе дельты, но оснащенных достаточным количеством военного снаряжения, чтобы защитить себя; значительное увеличение числа гражданских советников также являлось частью рекомендаций.

На деле результатом явился компромисс между теми представителями администрации Кеннеди, - кто желал бы ограничить вовлеченность Америки во Вьетнаме советнической ролью, и теми, кто выступал в пользу немедленного введения боевых подразделений и частей. Представители последней школы были далеки от единодушия по вопросу, в чем должна была состоять миссия американских войск; но все они, как один, недооценивали масштабность проблемы. Исполняющий обязанности заместителя министра обороны Вильям Банди сделал расчет, сводившийся к тому, что введение во Вьетнам вплоть до сорока тысяч военнослужащих, как это было рекомендовано Объединенным комитетом начальников штабов, давало семидесятипроцентный шанс «заморозить происходящее»[902]. Поскольку в партизанской войне не существует середины между победой и поражением, «замораживание происходящего», само собой, просто-напросто отсрочивало разгром, ставя при этом на карту веру в Америку в глобальном масштабе. Банди пророчески добавил, что обозначенные им тридцать процентов шансов на неудачу могут повлечь за собой такой же исход, который постиг Францию в 1954 году. Одновременно министр обороны Роберт Макнамара и Объединенный комитет начальников штабов подсчитали, что для достижения победы в случае открытого военного вмешательства Пекина и Ханоя потребуется присутствие 205 тыс. американцев[903]. Как выяснилось позднее, это количество составляло менее половины войск, в итоге направленных Америкой для борьбы с одним лишь Ханоем.

Бюрократический компромисс часто отражает подсознательную надежду на то, что по ходу дела произойдет нечто, и от этого проблема разрешится сама собой. Но применительно к Вьетнаму не было никакого разумного основания для подобных надежд. И если официальные расчеты колебались между 40 тыс. человек для сохранения положения в неизменном виде и 205 тыс. человек для достижения победы, то администрация Кеннеди не могла не рассматривать командирование 8 тыс. человек

как число, либо плачевно недостаточное, либо представляющее собой лишь первый взнос на дело возвеличения всевозрастающей роли Америки. Взвешивая все «за» и «против» (причем доля «за» составляла 70 %), следовало бы положить на чашу весов и глобальное воздействие катастрофы, которую потерпела Франция, но это не было сделано.

Налицо был стимул двигаться в сторону количественного наращивания вовлеченности, ибо Кеннеди так и не изменил первоначальное представление о том, что именно поставлено на карту. 14 ноября 1961 года он заявил своему аппарату: реакцию Соединенных Штатов на коммунистическую «агрессию» будут «изучать по обеим сторонам „железного занавеса“... в качестве мерил намерений и решимости администрации». Если Америка вместо направления подкрепления изберет путь переговоров, ее «могут на деле счесть еще более слабой, чем в Лаосе»[904]. Он отверг предложение Честера Боулза и Аверелла Гарримана о проведении «переговоров» относительно выполнения Женевских соглашений 1954 года — эвфемизм отказа от усилий, связанных с Южным Вьетнамом.

Но если идея переговоров отвергалась, а направление подкреплений трактовалось как неизбежность, американской вовлеченности с неведомым результатом можно было бы избежать лишь в том случае, если бы Ханой отступил. Для этого, однако, потребовалось бы массивное, а не постепенное направление подкреплений, если такое вообще было осуществимо. Америка еще не была готова усесться в крапиву и понять, что истинный выбор следует делать между тотальной вовлеченностью и немедленным уходом, а постепенная эскалация является самым опасным курсом.

К сожалению, постепенная эскалация была в то время модной. Предназначенная для того, чтобы остановить агрессию без излишнего применения силы, она выполняла еще более широкую по охвату задачу исключить упреждение политического планирования военными решениями, как это случилось накануне первой мировой войны. Строго рассчитанный ответ был, согласно первоначальному замыслу, сущностью стратегии ядерной войны — постепенная эскалация, позволяющая избежать всеобщего уничтожения. Но применительно к партизанской войне она таила в себе риск отрыва эскалации от результата. Каждое действие ограниченного масштаба таило в себе опасность истолкования подобной сдержанности как нежелание делать решительный шаг и тем самым поощряло бы партизан лезть по

лестнице эскалации еще выше. Известно: обладая достаточным временем для принятия решения, противник берется за ум лишь в том случае и только тогда, когда риск становится непереносимым.

Более внимательное отношение к анналам истории навело бы на мысль о том, что лидеров в Ханое нельзя было заставить отказаться от задуманного при помощи понятных лишь посвященным американских стратегических теорий, ибо эти люди гениально ставили себе на службу западную технологию, а демократия не была ни их конечной целью, ни системой, вызывающей у них восхищение. Радости мирного созидательного труда ничуть не привлекали недавних заключенных французских тюремных одиночек и ветеранов партизанских сражений. Американская версия реформ вызывала у них презрение. Они всю свою жизнь боролись и страдали лишь для того, чтобы создать единый коммунистический Вьетнам и избавиться от иностранного влияния. Единственной их профессией была революционная война. Если бы Америка обшарила весь мир, она бы не нашла более твердокаменного противника.

Согласно Роджеру Хилсмену, бывшему в то время директором Бюро по вопросам разведки и исследовательской деятельности государственного департамента, целью Америки было низведение Вьетконга до уровня «голодных банд стоящих вне закона мародеров, тратящих все свои силы на то, чтобы остаться в живых»[905]. Но была ли такая партизанская война в истории, которая оставила бы подобный прецедент? В Малайе она отняла жизнь у 80 000 британских и вдвое большего числа малайских военнослужащих и потребовала почти тринадцать лет на то, чтобы победить не более 10 000 человек, не имевших значительной поддержки со стороны и надежных линий коммуникаций. Во Вьетнаме партизанская армия исчислялась десятками тысяч, а Север превратил себя в тыл вооруженной борьбы, создал базовые территории на протяжении сотен миль границы и сохранял за собой право выбора, когда именно ввести в действие опытную в боевом отношении северовьетнамскую армию, если партизанские войска окажутся под чрезмерным давлением.

Америка своими маневрами загнала себя в такую ситуацию, которую в лучшем случае можно было бы назвать равновесием сил в духе Банди, для консервации которой требовалось, по его расчетам, 40 тыс. военнослужащих, а в наличии их было гораздо меньше. Когда Кеннеди вступил в должность, численность американского

военного персонала во Вьетнаме не превышала 900 человек. К концу 1961 года цифра возросла до 3164; к моменту убийства Кеннеди в 1963 году — до 16 263. Военная ситуация, однако, улучшилась лишь незначительно.

Чем больше росла военная роль Америки в Южном Вьетнаме, тем настоятельнее делался упор на политической реформе. И чем настойчивее вел себя Вашингтон в отношении внутренних перемен, тем заметнее американизировалась война. Во время своего первого обзорного выступления по вопросам обороны 28 марта 1961 года Кеннеди вновь подчеркнул фундаментальное положение своей программы: независимо от мощи американских стратегических вооружений, ее могут медленно теснить на периферии «посредством подрывной деятельности, инфильтрации, запугивания, косвенной или скрытой агрессии, внутренних революций, дипломатического шантажа, партизанской войны»[906] — то есть при помощи опасных ситуаций, выходом из которых в конечном счете могли бы стать только политические и социальные реформы, которые бы позволили потенциальным жертвам оказать помощь самим себе.

Администрация Кеннеди воспринимала как трюизм то, что потом станет одной из множества неразрешимых дилемм, связанных с Индокитаем; настоятельное требование одновременного осуществления политических реформ и достижения военной победы создавало порочный круг. Партизаны в широких пределах имели возможность самостоятельно определять степень интенсивности боевых действий, а следовательно, и уровень безопасности, который в краткосрочном плане совершенно не зависел от темпов реформ. Чем меньшим был уровень безопасности у сайгонского правительства, тем тяжелее становилась его рука. А чем больше Вашингтон воспринимал успехи партизан как результат, пусть даже частичный, отставания с проведением реформ, тем более расширялась для Ханоя свобода маневра, с тем чтобы увеличить со стороны Америки давление на сайгонское правительство, которое Северный Вьетнам жаждал и стремился взорвать. Очутившись в западне между идеологами-фанатиками в Ханое и неопытными идеалистами в Вашингтоне, правительство Дьема постепенно стиралось с лица земли.

Даже политический руководитель, в меньшей степени подвластный мандаринским традициям, чем Дьем, счел бы для себя опасным строительство плюралистического демократического общества в разгар партизанской войны, да еще в стране,

раздробленной на регионы, секты и кланы. Все это предприятие неуклонно подрывало доверие к Америке, и не столько потому, что ее руководители обманывали общественное мнение, сколько потому, что они обманывали самих себя относительно собственных возможностей, включая предполагаемую, по их мнению, легкость перенесения знакомых институтов в среду иной культуры. В основном администрация Кеннеди претворяла в жизнь вильсонские аксиомы. Точно так же, как Вильсон полагал, будто американское понимание демократии и дипломатии можно пересадить в Европу посредством «Четырнадцати пунктов», администрация Кеннеди стремилась приобщить вьетнамцев к истинно американским правилам самоуправления. Если на Юге можно будет свергнуть деспотов и привести к власти порядочных демократов, то конфликт, бушующий в Индокитае, угаснет сам собой.

Каждая новая американская администрация стремилась поставить увеличение помощи в зависимость от проведения реформ. Эйзенхауэр поступил так в 1954 году; Кеннеди добивался того же в 1961 году еще более настойчиво, увязывая массивное расширение объемов помощи с предоставлением Соединенным Штатам советнической роли на всех уровнях управления. Как и следовало ожидать, Дьем отказался; лидеры борьбы за независимость редко видят выгоду в опеке. Сенатор Мэнсфидд, посетивший Вьетнам в конце 1962 года, пересмотрел свое прежнее суждение (см. гл. 25), признав, что правительство Дьема «скорее отходит от представления об ответственном перед народом и ответственно действующем правительстве, чем приближается к нему»[907].

Это суждение было верным. И все же ключевой вопрос заключался в том, сложилась ли подобная ситуация в силу неадекватности правительства как такового, вследствие наличия культурного разрыва между Вьетнамом и Америкой, или из-за разрушительных набегов партизан. Отношения между администрацией Кеннеди и Дьемом ухудшались в течение всего 1963 года. Информация из Сайгона, до того всецело поддерживавшего американскую вовлеченность в Индокитае, становилась враждебной. Критические замечания не касались целей Америки, как это будет позднее, но ставили под сомнение возможность возникновения некоммунистического демократического Южного Вьетнама при наличии во главе его столь репрессивного лидера, как Дьем. Дьема даже стали подозревать в поисках компромисса с Ханоем, то есть в выборе того самого курса, за отказ от которого подвергнется осуждению

последующий южновьетнамский президент Нгуен Ван Тхиву.

Окончательный разрыв с Сайгоном был вызван конфликтом между южновьетнамскими буддистами и Дьемом, правительство которого издало распоряжение, запрещающее публичное использование собственных флагов сектам, религиозным группам и политическим партиям. Выполняя приказ, войска обстреляли буддистскую демонстрацию протеста, убив несколько человек в Гуэ 8 мая 1963 года. У протестующих были реальные поводы для жалоб, вскоре подхваченные международными средствами массовой информации, хотя отсутствие демократии в их число не входило. Буддисты, столь же авторитарные, как и Дьем, отказались назвать условия, на которые должен был бы согласиться Дьем, будь у него к этому склонность. В сущности, вопрос стоял не о демократии, а о власти. Парализованное партизанской войной и неадекватностью собственной деятельности, правительство Дьема на уступки пойти отказалось. Вашингтон многократно усилил давление на Дьема, настаивая на отстранении от власти его брата, Нго Динь Нью, стоявшего во главе сил безопасности, причем Дьем воспринял этот демарш как силовые игры, имеющие целью отдать его на милость врагам. Окончательный разрыв произошел 21 августа, когда агенты Нью произвели налет на ряд пагод и арестовали 1400 монахов.

24 августа вновь прибывший посол Генри Кэбот Лодж получил инструкции потребовать от Дьема устранения Нью и передать ему предупреждение, что в случае отказа Соединенные Штаты «могут оказаться перед лицом невозможности сохранения у власти самого Дьема»[908]. Сайгонских военных руководителей следовало официально предупредить, что будущая американская помощь зависит от устранения Нью с поста, а вьетнамские собеседники Лоджа поняли это так, что Дьема следует свергнуть. Кеннеди и Макнамара постоянно повторяли публично, по существу, одни и те же требования. А чтобы генералы поняли намек получше, им сообщили, что Соединенные Штаты обеспечат их «непосредственной поддержкой в течение любого переходного периода на случай слома централизованного механизма государственного управления»[909]. Южновьетнамским генералам понадобилось почти два месяца, чтобы собрать воедино всю свою отвагу и действовать согласно настойчивым намекам союзника. Наконец 1 ноября они свергли Дьема, причем в ходе переворота и он и Нью были убиты.

Поощряя свержение Дьема, Америка сделала свою вовлеченность во Вьетнаме

необратимой. Любая революционная война в конечном счете ставит под сомнение легитимность правительства; подрыв законной власти является основной целью партизан. Свержение Дьема оказалось бесплатным одолжением Ханюю. Следствием феодального характера системы управления при Дьеме явилось то, что устранение Дьема повлияло на все звенья гражданской администрации вплоть до уровня отдельной деревни. Структуру власти следовало восстанавливать снизу доверху. А история учит железному закону революций: чем более всеобъемлющий характер носит устранение существующей власти, тем более ее преемники должны полагаться на голую силу в целях самоутверждения. Ибо, в конце концов, легитимность включает в себя признание власти без дополнительного принуждения; а отсутствие легитимности превращает любое соперничество в силовой поединок. До совершения переворота хотя бы теоретически существовала возможность того, что Америка откажется от непосредственного участия в военных операциях, как это сделал Эйзенхауэр, когда остановился у опасной грани десятилетие назад в связи с Дьенбьенфу. А поскольку оправданием переворота явилось требование обеспечения более эффективного ведения войны, самоустранение как политический вариант поведения Америки теперь уже исключалось.

Устранение Дьема не сплотило народ вокруг генералов, как на то надеялся Вашингтон. Хотя «Нью-Йорк тайме» восхваляла переворот, как обеспечивающий возможность «прекращения дальнейшего коммунистического внедрения на всем пространстве Юго-Восточной Азии»[910], произошло как раз противоположное. Плюралистическое общество немислимо без консенсуса основополагающих ценностей, что четко ставит границы претензиям соперничающих личностей и группировок. Следует начать с того, что во Вьетнаме такого рода консенсус был слаб. Переворот разрушил структуру, создаваемую на протяжении целого десятилетия. Вместо нее возникла группа соперничающих генералов, не имеющих ни' политического опыта, ни последователей.

За один лишь 1964 год правительство менялось еще семь раз, и ни одна из этих перемен не повлекла за собой возникновения даже подобия демократии, ибо все они были результатом того или иного переворота. Преемники Дьема, лишенные его престижа как националиста и не представляющие собой фигуры отцов нации в мандаринском понимании, не имели иного выбора, кроме как вверить ведение войны

американцам. После свержения Дьема справедливо утверждалось: «вопрос будет заключаться не в том, как способствовать появлению в Южном Вьетнаме режима, который бы поддержала Америка, а в том, как найти такой режим, который будет поддерживать Америку в борьбе против ликующих коммунистов»[911].

Поклонники силы в Ханое мгновенно ухватились за предоставившуюся возможность. На заседании Центрального Комитета Коммунистической партии в Ханое была принята новая стратегия: партизанские подразделения следовало усилить, а инфильтрацию на Юг ускорить. Что самое главное, это решение, принятое в декабре 1963 года, предусматривало также подключение регулярных частей: «Настало время для Севера увеличить помощь Югу, Север должен с еще большим старанием играть роль революционной базы для нации в целом»[912]. Вскоре после этого Триста двадцать пятая северовьетнамская регулярная дивизия начала передвижение на Юг. До переворота инфильтрация с Севера проводилась в основном силами перегруппировавшихся в 1954 году южан; после этого число северян стало неуклонно расти, а после наступления в праздник Тэт 1968 года почти все инфильтраторы уже были северовьетнамцы. А когда в дело были введены регулярные северовьетнамские армейские формирования, каждая из сторон перешла свой рубикон.

Вскоре после свержения Дьема был убит Кеннеди. Новый президент Линдон Бэйнс Джонсон воспринял вмешательство в конфликт регулярных северовьетнамских частей как классический случай неприкрытой агрессии. Разница заключалась в том, что Ханой следовал определенной стратегии, а Вашингтон имел в своем распоряжении соперничающие друг с другом теории, ни одна из которых не была доведена до логического конца.

Находясь в подвешенном состоянии между желанием одержать победу невоенным путем и предвидением военной катастрофы, Америка очутилась в центре трагической головоломки. 21 декабря 1963 года Макнамара докладывал новому президенту, что с точки зрения безопасности положение в Южном Вьетнаме весьма и весьма тревожно. Америка долее не может уклоняться от выбора, который уже давно напрашивался сам собой: либо драматическая эскалация военной вовлеченности, либо падение Южного Вьетнама. Администрация Кеннеди опасалась вступать в войну на стороне недемократического союзника; администрация Джонсона в большей степени опасалась оставления нового недемократического сайгонского правительства на

произвол судьбы, чем участия в войне.

Если оглянуться, то последний момент, когда Америка могла уйти из Вьетнама, заплатив терпимую, хотя и достаточно высокую цену, был перед самым свержением Дьема или сразу же после него. Администрация Кеннеди была права в своих оценках относительно невозможности победы при наличии Дьема. Администрация Джонсона вводила себя в заблуждение тем, что верила, будто можно одержать победу при его преемниках. В свете последовавшего переворота для Америки было бы легче самоустраниться и дать Дьему пасть вследствие собственной неадекватности или, как минимум, не стоять на пути переговоров, которые, как подозревали, он планировал вести с Ханоем. Кеннеди оказался в аналитическом смысле совершенно прав, отвергая любые планы подобного рода на том основании, что воплощение их на практике неизбежно приведет к захвату власти коммунистами. Проблема заключалась в том, что Америка не была готова как глядеть в лицо последствиям спасительных решений, так и смириться с возможными осложнениями в случае пуска дела на самотек.

Кое-кто из бывших членов администрации Кеннеди утверждал, будто после президентских выборов 1964 года президент, с которым они работали, собирался полностью вывести американские войска, численность которых пока что увеличивалась. Другие столь же высокопоставленные лица это отрицали. Можно сказать только одно по поводу обсуждения задним числом намерений Кеннеди: каждое последовательно направляемое подкрепление во Вьетнам ужесточало возможности выбора, причем последствия как полной вовлеченности, так и ухода становились все более тяжелыми и болезненными. И с каждым месяцем ставки поднимались все выше, поначалу лишь в военном отношении, но вскоре и с точки зрения международного положения Америки.

Убийство Кеннеди сделало уход Америки из Вьетнама еще более затруднительным. Если до Кеннеди действительно дошло, что страна следует невыгодным для себя курсом, то ему предстояло отменять лишь свое собственное решение; Джонсон же вынужден был бы выбрасывать за борт очевидную для всех политику высокочтимого павшего предшественника. Это особенно подчеркивалось тем обстоятельством, что ни один из советников, унаследованных от Кеннеди, не давал рекомендации самоустраниться (заметным исключением был заместитель государственного

секретаря Джордж Болл, который, однако, к ближайшему кругу не принадлежал). Требовался руководитель, исключительно уверенный в себе и обладающий огромными знаниями, чтобы предпринять отступление подобного масштаба сразу же после занятия должности. А когда дело касалось вопросов внешней политики, Джонсон чувствовал себя исключительно неуверенно.

В ретроспективном плане новому президенту в высшей степени следовало бы произвести анализ, достижимы ли вообще военные и политические цели, во имя которых Америка положила на алтарь уже много, какие для этого нужны средства и в течение какого отрезка времени, — в общем и целом верны ли были исходные предпосылки, породившие эти обязательства со стороны Америки. Но, даже не говоря о том, что Джонсон получил от много мудрых советников, унаследованных от Кеннеди, единодушную рекомендацию пытаться одержать победу во Вьетнаме (и вновь исключением оказался Джордж Болл), представляется сомнительным, что, если бы и предпринимался упомянутый тут анализ, результат бы был существенно иным. И это при том, что министерство обороны под руководством Макнамары и аппарат Белого дома под руководством Банди были прямо-таки любителями всевозможных анализов и что оба руководителя были людьми исключительно сообразительными и рассудительными. Но у них отсутствовали критерии оценки вызова, столь разнящегося с американским опытом и американской идеологией.

Исходной мотивацией вовлеченности Америки было представление, будто бы потеря Вьетнама приведет к катастрофе во всей некоммунистической Азии и заставит Японию смириться с коммунизмом. В рамках подобного анализа Америка, защищая Южный Вьетнам, вела войну ради себя самой, независимо от того, был ли Южный Вьетнам демократической страной и способен ли он когда-либо стать таковой. Однако такого рода анализ был бы для американцев чересчур геополитичен и чересчур сориентирован на соотношение сил, и потому его заменил вильсоновский идеализм. Одна администрация за другой ставила перед собой двуединую задачу, каждая из частей которой, взятая по отдельности, была и без того трудновыполнимой: разгром партизанской армии, обладающей безопасными базами по обширной периферии, и демократизация общества, где отсутствуют традиции плюрализма.

Во вьетнамском «котле» Америке следовало познать, что есть пределы даже самым священным верованиям. Ей предстояло под давлением обстоятельств смириться с тем,

что существует разрыв между силой и принципами. И именно потому, что Америка с крайней неохотой усваивала уроки, противоречащие ее собственному историческому опыту, она обнаружила, что уменьшить число собственных потерь исключительно трудно. Испытанная боль разочарования была результатом лучших, а не худших качеств страны. Отказ Америки от восприятия национальных интересов в качестве фундамента внешней политики пустил страну в дрейф по волнам универсально применяемых моральных истин.

В августе 1964 года предположительно северовьетнамское нападение на эскадренный миноносец «Меддокс» повлекло за собой американский ответный удар по Северному Вьетнаму, почти единодушно одобренный сенатом посредством так называемой «Тонкинской резолюции». Резолюцией этой пользовались и ранее, за несколько месяцев до этого, чтобы оправдать воздушные рейды возмездия. В феврале 1965 года нападение на казармы американских советников в расположенном на Центральном нагорье городе Плейку повлекло за собой совершение ответного американского воздушного налета на Северный Вьетнам, что быстро превратилось в систематическую бомбардировочную кампанию под кодовым названием «Надвигающийся гром». К июлю 1965 года американские боевые части были полностью введены в действие, а число американских военнослужащих стало расти, составив в начале 1969 года 543 тыс. человек.

Позднее вопрос о том, была ли администрация Джонсона целиком и полностью откровенна с американским народом относительно нападения на «Меддокс», стал частью весьма острых и едких дебатов по Вьетнаму. Целью их было дискредитировать «Тонкинскую резолюцию» и участие Америки в непосредственных боевых действиях. По правде говоря, «Тонкинская резолюция» и впрямь не основывалась на всей совокупности фактов, даже с учетом того, что в суматохе боя сбор их был затруднителен. Но эта резолюция и не была основополагающим фактором, побудившим Америку к участию в наземных боевых действиях во Вьетнаме. Она скорее была маленьким шажком по дорожке, ведущей Америку в тот же пункт назначения при условии, что все руководящие личности убеждены в правильности избранного пути.

Методы, при помощи которых было обеспечено принятие «Тонкинской резолюции», сегодня были бы отвергнуты, ибо американская демократия тоже извлекла из этого

уроки на будущее. В то же время тактика и решимость Джонсона не отличались в значительной степени от соответствующих качеств Франклина Делано Рузвельта, когда тот подтолкнул Америку к участию во второй мировой войне, — к примеру, не совсем откровенный рассказ Рузвельта о торпедировании эсминца «Грифер» стал предлогом вовлечения Америки в морскую войну в Атлантическом океане в 1941 году. В каждом из упомянутых случаев президент в одностороннем порядке определял, чего Америка не потерпит: германской победы в 40-е годы, захвата Индокитая в 60-е годы. Оба президента оказались готовы преградить при помощи вооруженных сил собственной страны дорогу злу и дать ответ, если это зло и на самом деле столкнется с ними, что было вполне вероятно. В каждом из этих случаев окончательное решение вступить в войну базировалось на соображениях гораздо более широкого плана, чем сами эти инциденты.

Кошмар Вьетнама заключался не только в способе вступления Америки в войну, но и в самом факте этого вступления, не подкрепленном более выверенными оценками возможных издержек. Нация не должна направлять полмиллиона молодых людей на далекий континент, ставить на карту свой международный престиж и внутреннее единство собственного народа, если ее лидеры не способны вразумительно раскрыть свои политические цели и предложить реалистическую стратегию их достижения, как это позднее сделал президент Буш по поводу войны в Заливе. Вашингтону следовало задаться двумя основными вопросами: возможно ли более или менее одновременно установить демократию и добиться военной победы? И добавить еще один, гораздо более важный: стоит ли овчинка выделки? Президенты и президентские советники, которые вовлекли Америку в сухопутные военные действия во Вьетнаме, считали положительный ответ само собой разумеющимся.

Успешное ведение партизанской войны требует тонкого объединения военной и политической стратегии. Американские военные руководители, однако, чувствовали себя неуютно, подчиняя военные цели политическим. На протяжении всей Вьетнамской войны средства для достижения заданных целей оказывались недостаточными, а пойти ради этого на еще больший риск Вашингтон никогда не был готов.

Одним из основных уроков, который следовало бы извлечь из войны в Корее, был такой: продолжительные, не приводящие к бесспорному результату войны разрушают

единство американской нации. Но, похоже, Вашингтон извлек из этой войны урок совершенно противоположного свойства: причиной неудовлетворительности результатов войны в Корее будто бы явилось продвижение Маккартура к реке Ялу и его стремление к победе всеобъемлющего характера. В свете этого исход Корейской войны истолковывался как успех, благодаря которому удалось не допустить китайской победы. Американская вовлеченность во Вьетнаме оказалась сознательно обусловлена подобной же задачей: не провоцируя китайское вмешательство, продемонстрировать Северному Вьетнаму, что ему не будет позволено захватить Южный Вьетнам, и, следовательно, единственным выбором являются переговоры. Переговоры — но с какой целью? Особенно если учесть, что противник отождествляет компромисс с поражением. Американские руководители наверняка позабыли, что в последние два года войны в Корее и весь период маккартизма американское общество было почти что разорвано на части из-за неопределенности сложившегося положения.

Теоретически в период партизанской войны имеют шанс на преобладание лишь два варианта стратегии. Один — целиком оборонительный, целью которого является лишить противника возможности контроля над населением. Такого рода стратегия предполагает обеспечение практически стопроцентной безопасности для достаточного количества населения, с тем чтобы успехи партизан среди остальной его части оказались несопоставимы со сложившейся у их противников политической базой. Генерал Максвелл Тейлор, по-видимому, имел в виду именно этот вариант стратегии, когда рекомендовал создать цепь анклавов, защищенных американскими войсками, так что южновьетнамской армии не придется для предотвращения консолидации четко очерченной коммунистической зоны день и ночь удерживать каждый заштатный район. Вторым возможным вариантом стратегии являлись бы атаки на цели, которые партизаны вынуждены были бы защищать, — такие, как, к примеру, убежища, склады и базы на собственной территории: к примеру, если бы наземные силы перерезали «тропу Хо Ши Мина» и блокировали как северовьетнамские, так и камбоджийские порты, обслуживающие лагеря-убежища. Такая стратегия — по крайней мере концептуально — возможно, сделала бы войну на истощение относительно короткой, чего так жаждали американские военные, и вынудила бы в итоге враждебную сторону пойти на переговоры.

Зато заведомо не могла сработать стратегия, на деле принятая Америкой:

призрачное обеспечение стопроцентной безопасности на ста процентах территории страны и попытки измотать партизан операциями поиска и уничтожения. Независимо от численности экспедиционных сил, их всегда окажется недостаточно для борьбы с врагом, линии снабжения которого находятся за пределами Вьетнама и у которого имеются обширные лагеря-убежища и железная воля. В конце 1966 года северовьетнамский премьер-министр Фам Ван Донг заявил Гаррисону Солсбери из «Нью-Йорк тайме», что хотя Соединенные Штаты неизмеримо сильнее в военном отношении, они в конце концов проиграют, ибо умереть за Вьетнам готовы гораздо больше вьетнамцев, чем американцев, причем вьетнамцы готовы воевать так долго, как это потребует, чтобы «пересидеть» американцев[913]. Эта оценка оказалась верной.

Джонсон решительно отвергал какое бы то ни было «расширение» масштабов войны. Вашингтон убедил себя, что четыре государства Индокитая являются самостоятельными политическими единицами, несмотря на то, что коммунисты в течение двух десятилетий трактовали их как единый театр военных действий и координировали собственную стратегию применительно ко всем им, взятым в совокупности. Более того, оценка Вашингтоном конфликта в целом в более широком международном аспекте заставила его чересчур много думать о возможности китайского вмешательства, не обращая внимания на заявление Линь Бяо относительно того, что китайские армии не отправятся за рубеж, причем это положение было подтверждено Мао в беседе с американским журналистом Эдгаром Сноу, симпатизировавшим китайским коммунистам: Мао заявил Сноу, что у Китая нет войск за пределами собственных границ и что у него нет намерений сражаться с кем бы то ни было, если на его территорию не будет совершено нападение[914]. Случилось так, что в продолжение двух отдельных войн, отстоящих друг от друга на полтора десятилетия, Америка заплатила соответствующую цену за то, что не воспринимала китайские заявления всерьез: в Корее она проигнорировала китайские предупреждения и промаршировала до самой Ялу, спровоцировав китайское вмешательство; во Вьетнаме она не снизошла к заверениям китайцев о том, что они не собираются вмешиваться, и это заставило Америку отвергнуть единственную стратегию, которая, возможно, обеспечила бы ей победу.

Опасаясь китайского вмешательства, будучи преисполнен решимости добиться

ослабления напряженности с Советским Союзом, а также желая сохранить консенсус в отношении внутривластной программы создания «великого общества», Джонсон пошел по пути полумер, что поставило на карту международный престиж Америки, не обеспечив достижения поставленных целей. Пытаясь увязать задачу отражения глобального заговора и желание избежать глобального конфликта, Америка умудрилась проводить такую политику, которая выставляла ее на посмешище.

Войны на истощение не могло получиться, коль скоро партизаны были в состоянии выбирать, когда и где сражаться. Воздушные операции против Северного Вьетнама, задуманные как источник прогрессивно нарастающих неприятностей, оказались бесцельными, ибо транспортная система Северного Вьетнама находилась в рудиментарном состоянии, и по этой простой причине бомбардировки с воздуха не могли вывести ее из строя. А поскольку она не играла существенной роли в жизни страны, из-за ее состояния ни у кого не болела голова. Патовая ситуация была на руку Ханю — особенно такая, которая бы ограничивалась территорией Южного Вьетнама и влекла за собой рост американских потерь. Все эти разочарования дали толчок росту оппозиции войне внутри Америки — оппозиции, призывавшей прекратить эту самую бомбардировочную кампанию, смысл которой как раз и заключается в том, чтобы убедить Ханю, что победить он не в состоянии.

Вашингтон пытался доказать, что агрессия не оправдывает себя и что партизанская война вовсе не является характерной чертой будущего. Он, однако, не сумел понять, что его противник умудрился трезво подсчитать прибыли и убытки. Джонсон полагал, что выход заключается в демонстрации умеренности, в проявлении готовности успокоить Ханю, предложив ему компромисс. Но все эти действия скорее вызвали у Ханю желание проявлять все большую настойчивость и по ходу дела преподать Америке урок, заключающийся в том, что за поражение вследствие проявления умеренности и сдержанности наград не дают. Джонсон же разъяснял цели Америки следующим образом:

«Мы не собираемся стирать с лица земли Северный Вьетнам. Мы не собираемся менять там систему управления. Мы не пытаемся получить на постоянной основе базы в Южном Вьетнаме...

...Мы находимся там, потому что пытаемся заставить коммунистов из Северного Вьетнама прекратить стрелять в своих соседей... продемонстрировать, что

партизанская война, развязанная одной нацией против другой нации, не может никогда преуспеть... [Мы] должны стойко стоять на своем до тех пор, пока коммунисты в Северном Вьетнаме не поймут, что цена агрессии чересчур высока, — и либо согласятся на мирное урегулирование, либо прекратят борьбу...»[915]

Он хотел, чтобы коммунистические лидеры в Ханое поняли: «...стоит вам осознать, что военная победа исключается, и отказаться от использования силы, как вы найдете нас готовыми ответить взаимностью... Мы хотим почетного мира во Вьетнаме. В ваших руках ключ к этому миру. Вам надо лишь его повернуть»[916].

Джонсон не заслужил ненависти и насмешек, последовавших за подобными призывами. Он всего лишь в очередной раз повторял американские прописные истины. Но ни он сам, ни его общество не обладали концептуальным пониманием противника, для которого подобные заверения выглядели насмешкой; противника, для которого, кроме всего прочего, американское понимание компромисса ассоциировалось с призывом к капитуляции во время битвы за дело всей жизни.

Для неуступчивых, преданных своему делу лидеров из Ханоя концепция стабильности не имела оперативного смысла. Всю свою сознательную жизнь они боролись, чтобы победить, вначале против Франции, теперь против одной из сверхдержав. Во имя коммунизма они навлекли неисчислимые страдания на свой народ. «Оставить соседа в покое» было как раз той самой вещью, на которую ханойские лидеры были органически не способны. Бисмарк как-то сказал, что германское единство никогда не будет достигнуто путем разговоров, но лишь «кровью и железом», что в точности соответствовало точке зрения Ханоя на вьетнамское единство.

Американцы всех вероисповеданий беспрестанно обращались к Ханю, чтобы тот принял участие в поиске какого-либо демократического выхода из создавшегося положения, и ломали голову над разработкой действенных схем выборов. И все же ни одно из направлений американской мысли в области международных отношений ни в малейшей степени не привлекало Ханю, разве что в качестве инструмента, при помощи которого можно было бы сбить американцев с толку. Создав одну из самых жестких и непримиримых диктатур в мире, ханойское политбюро никогда бы не согласилось на то, чтобы стать лишь одной из множества политических партий Юга. Ханю не имел ощутимого стимула к прекращению применения силы; в конце концов,

отсутствие проигрыша предопределяло для него победу, а он явно не проигрывал — тем более американская стратегия, четко нацеленная на консервацию ситуации, исключала проигрыш для Ханоя. Предложение Джонсона о проведении всеобъемлющей реконструкции, программа которой будет открыта для всех, включая Северный Вьетнам, провалилось в пустоту[917]. Ханой жаждал победы, а не содействия в деле экономического развития и с характерной для себя самоуверенностью действовал так, как будто у него не было нужды делать альтернативный выбор.

Как только волна американского общественного мнения обратилась против войны, критикующие Джонсона стали обвинять его еще более решительно в создании дипломатического тупика. А поскольку эти обвинения предполагали отсутствие у Джонсона желания вести переговоры, они били мимо цели. Готовность Джонсона начать переговоры была до такой степени очевидной, что граничила с самоуничижением. И это убеждало Ханой, что способность тянуть время может вызвать к жизни еще более выгодные предложения. Джонсон объявлял одну за другой паузы в бомбардировках (в своих мемуарах он насчитывает их шестнадцать), тем самым не оставляя сомнения в том, что Соединенные Штаты готовы в одностороннем порядке заплатить сколь угодно высокую входную плату на переговоры, лишь бы только они начались; Ханой же имел все поводы стремиться сделать эту плату максимально высокой.

Я был лично связан с одной из таких инициатив, которая продемонстрировала как готовность администрации Джонсона вести переговоры, так и исключительное умение Ханоя использовать эту готовность для достижения собственных целей. Мои собственные связи с Вьетнамом возникли постепенно. На протяжении 50-х годов мои рассуждения на тему внешней политики концентрировались на Европе и на ядерной стратегии. В состав администрации Кеннеди входило множество личностей, которыми я восхищался, и я был благоприятно настроен по отношению к ее усилиям, связанным с Индокитаем, не особенно вдаваясь в суть вопроса. Всерьез я стал задумываться по поводу Вьетнама после поездок в эту страну — в 1965 и 1966 годах — в качестве консультанта по вопросам умиротворения при поселе Лодже. Это дало мне возможность поехать по ряду провинций Южного Вьетнама и поговорить с так называемыми «провинциальными докладчиками» американского посольства,

представлявшими собой группу исключительно способных и преданных делу молодых чиновников иностранной службы, находившихся в различных районах страны. Эти поездки убедили меня в том, что путем следования нынешней стратегии войну выиграть нельзя и что Америке придется вступить в изнурительные переговоры с Ханоем, хотя тогда отчетливого представления о тематике подобных переговоров у меня не было.

Летом 1967 года я присутствовал на одной из так называемых «пагуошских конференций», проводимых учеными, занимающимися вопросами ядерного разоружения. Двое участников конференции, прослышав о моих поездках в Индокитай, обратились ко мне с как будто бы заманчивым предложением. Раймон Обрак, чиновник Всемирной организации здравоохранения, оказывается, познакомился с Хо Ши Мином еще в 1946 году, когда вьетнамский коммунистический лидер останавливался у него в парижском доме во время переговоров с Францией. Обрак вызвался поехать в Ханой в сопровождении еще одного ученого, принадлежащего к движению сторонников мира, Герберта Марковича, и лично обратиться к Хо Ши Мину по поводу переговоров. Я проинформировал Банди, ставшего к тому времени заместителем государственного секретаря, и министра обороны Макнамару. Они одобрительно отнеслись к поездке при условии, что оба ученых направятся в качестве частных лиц и не будут пытаться представлять официальную американскую точку зрения.

Обрак и Маркович совершили путешествие в Ханой, где были приняты Хо Ши Мином. После ритуального осуждения американской «агрессии» Хо Ши Мин намекнул, что Ханой был бы готов к переговорам, если бы Америка прекратила бомбардировки Северного Вьетнама. Май Ван Бо, дипломатический представитель Ханоя в Париже, был назначен на роль лица, осуществляющего официальные контакты.

Последовал обмен посланиями, многократно проведенный сложными и решительно недипломатическими процедурными методами. Поскольку Ханой не желал напрямую связываться с Вашингтоном до прекращения бомбардировок, я, как частное гражданское лицо, исполнял функции посредника. Даже при данных обстоятельствах Ханой, используя переговорные выгоды до конца, отказывался дать полномочия своему представителю вести переговоры пусть с неофициальным лицом, но

гражданином Америки. Таким образом, послания, поступавшие ко мне из Вашингтона, обычно от министра Макнамары, переходили от меня к двоим французам, а они уже доставляли их Маю Ван Бо вместе со всеми пояснениями, которые я имел полномочия передать. Макнамара жаждал покончить с войной и многократно умолял меня вырвать у моих невидимых собеседников хотя бы намек, пусть даже косвенный, который позволил бы ему защищать дело результативных переговоров.

Я присутствовал на части совещания президента Джонсона со своими советниками, где готовилось окончательное американское предложение. Грустный опыт. Было ясно, что Джонсон инстинктивно и от всей души восстает против перерыва в бомбардировках. Как обычно, неспособный проводить твердую внешнеполитическую линию, Джонсон все же был в достаточной степени искушен в вопросах политического плана, чтобы усомниться в разумности начала переговоров с односторонней уступки. И все же он отчаянно желал покончить с войной, будучи под обстрелом критиков внутри страны и не желая перечить своим советникам, уповающим на дипломатию. В конце концов Джонсон сдался. В итоге родилась так называемая «формула Сан-Антонио», разработанная уже после того, как я ушел с совещания, и представленная Джонсоном во время речи, произнесенной в городе, по имени которого и названа формула. 29 сентября 1967 года:

«Соединенные Штаты выражают готовность прекратить все бомбардировки Северного Вьетнама с моря и с воздуха, если этот шаг повлечет за собой быстрый переход к результативным переговорам. Мы, конечно, исходим из того, что во время переговоров Северный Вьетнам не будет извлекать выгод из прекращения или ограничения бомбардировок»[918].

«Формула Сан-Антонио» стала одним из решающих поворотных пунктов в войне. Америка предложила прекратить военные действия против Северного Вьетнама — конкретное обязательство — в обмен на «результативные» переговоры, пока Ханой не будет извлекать выгоду из прекращения бомбардировок. Никаких критериев определения понятий «результативный» и «выгода» предложено не было. Так что Ханой, продемонстрировав свои возможности манипулировать американскими внутриполитическими дебатами, почти не сомневался в том, что любая попытка прервать паузу и возобновить бомбардировки вызовет возражения и потребует

времени для претворения в жизнь. То, что Ханой «не будет извлекать выгод» во время паузы, безусловно, не означало, что он обязан будет прекратить партизанскую войну, или, в данном конкретном случае, перестать делать что бы то ни было из уже совершаемого; самое большее, подобное условие означало бы, что Ханой не будет заниматься эскалацией стратегии победы.

Для переговорной тактики Ханоя было характерно то, что даже столь одностороннее по характеру предложение наверняка должно было быть отклонено. На деле Ханой использовал это предложение для подстраховки, чтобы защитить претворение в жизнь военных мероприятий всеобщего характера, уже готовых к осуществлению. В считанные дни мой канал с выходом на Ханой закрылся. Северовьетнамцы, сообразив, что цена прекращения Америкой бомбардировок оказалась столь же скромной, сколь и невразумительной, попытались увеличить давление на Джонсона еще до того, как сесть за стол переговоров и начать обсуждать конкретное предложение. Всего лишь через несколько месяцев начнется наступление в праздник Тэт.

Ханой угадал совершенно верно, что рост тревоги среди американцев не даст им смириться с замораживанием ситуации во Вьетнаме, как это имело место в Корее. И все же было качественное различие в характере внутренних споров в каждом из этих случаев. Мудрость американского вмешательства в Корею никогда не была под вопросом; разногласия касались лишь мер по обеспечению успеха. Применительно к Вьетнаму первоначально имевший место консенсус самого широкого плана по поводу проводимой Соединенными Штатами политики внезапно рассыпался в прах. В отношении Кореи администрацию критиковали потому, что хотели, чтобы Соединенные Штаты сделали еще больше; альтернативой политике Трумэна была макартуровская стратегия эскалации. В отношении же Вьетнама подавляющее большинство критикующих настаивало на сокращении масштабов американских усилий, а в свое время — на полном их прекращении; разброс точек зрения был огромен: от корректировки американской стратегии до безоговорочного ухода. В Корее, если бы взяла верх оппозиция, противникам Америки пришлось бы очутиться перед лицом гораздо худшей из альтернатив. Во Вьетнаме, как только размер внутренних разногласий стал самоочевиден, Ханой быстро сообразил, что дипломатия проволочек в сочетании с военным давлением сработает в его пользу.

Вину за тупиковые ситуации возложат на отсутствие инициативы со стороны администрации Джонсона, а рост американских потерь приведет к призывам к деэскалации, если не прекращению, войны.

Критика американской политики во Вьетнаме началась в весьма упорядоченной форме и представляла собой разумные вопросы, можно ли вообще выиграть эту войну и каково в ней соотношение целей и средств. 11 марта 1968 года Уолтер Липпман выступил с давно проводимой им критикой теории «сдерживания» применительно к Вьетнаму. Америка, утверждал он, находится в состоянии перенапряжения, а политика «сдерживания» разрушает какое бы то ни было разумное соотношение между задачами общенационального характера и ресурсами, при помощи которых их следует разрешать:

«Факт заключается в том, что цели его [Л. Б. Дж.] войны не ограничены: они, похоже, претендуют на умиротворении всей Азии в целом. При столь неограниченных целях не существует возможности выиграть войну ограниченными средствами. А поскольку наши цели не ограничены и беспредельны, нас наверняка, так сказать, разгромят»[919].

Для того, чтобы символически обозначить неприменимость традиционных категорий мышления к Вьетнаму, Липпман сопроводил слово «разгромят» оговоркой «так сказать», тем самым подчеркивая полнейшую несущественность Вьетнама с точки зрения американской безопасности. В этом смысле уход укрепил бы глобальные позиции Америки.

Подобного рода заявление уже было сделано в 1966 году, когда сенатор Фулбрайт критиковал Соединенные Штаты за то, что они поддались «упоению силой» и путают мощь с добродетелью, а бремя ответственности с миссией универсального характера»[920]. За два года до этого Фулбрайт упрекал де Голля за то, что тот «запутывал ситуацию», предлагая сделать Вьетнам нейтральным. Уже тогда Фулбрайт предупреждал, что подобный курс «может породить цепь непредвиденных событий, ибо она [Франция] не является на Дальнем Востоке ни крупной военной, ни крупной экономической силой, а потому вряд ли окажется в состоянии контролировать события, которые может обусловить такого рода инициатива, или даже просто оказывать значительное на них влияние». В 1964 году Фулбрайт видел лишь два «реалистических» варианта событий: «расширение конфликта тем или иным

способом» или «возобновление усилий по укреплению мощи Южного Вьетнама, с тем чтобы успешно вести военные действия в их нынешнем масштабе»[921].

Что же произошло всего лишь за два года, чтобы сенатор понизил статус Вьетнама с жизненно важного до периферийного? И почему применительно к действиям администрации Джонсона, по существу, выполнявшей обе рекомендации Фулбрайта, употреблен термин «упоение»? Американские руководители, верные своей национальной традиции, не довольствовались соображениями безопасности в качестве фундамента для американской помощи Вьетнаму, ибо такой подход рано или поздно обусловил бы дебаты по поводу соотношения выгод и понесенных затрат. Если же проблема состояла во внедрении демократии в Юго-Восточной Азии, наращивание усилий оказывалось беспредельным, а в смысле возможности своевременного ухода исключалась всякая логика.

Противники войны шли тем же путем, что и руководители, ведшие ее, только в противоположном направлении. Они начинали строить свои умозаключения на вполне практической основе: войну выиграть нельзя, издержки преобладают над получаемыми преимуществами, Америка же перенапрягается. Но эти критики, являвшиеся порождением того же самого американского идеализма, быстро распространили критику и на моральный план, причем поэтапно: поначалу на том основании, что с моральной точки зрения нет существенной разницы между Ханоем и Сайгоном, аккуратно расправлялись с идеологическими причинами войны; затем истолковывали настоятельное желание Америки продолжать войну как отражение внутренней гнили морального фундамента американской системы. В результате политика, пользовавшаяся поначалу почти всеобщей поддержкой, превратилась в течение двух лет в символ аморальности всей американской внешней политики, а через некоторое время — в основу для критики американского общества как такового.

В период после окончания второй мировой войны Америке, к счастью, никогда не приходилось делать выбор между моральной убежденностью и стратегическим анализом. Все ее ключевые решения с готовностью оправдывались тем, что они одновременно способствовали распространению демократии и обеспечивали сопротивление агрессии. Южный Вьетнам, однако, даже при наличии самого богатого воображения и отдаленно нельзя было причислить к демократическим странам. Все режимы, следовавшие за дьемовским, чувствовали себя как бы в осаде;

южновьетнамские генералы, до того времени малоизвестные широкой публике, совершенно не стремились проверить уровень собственной популярности у избирательных урн. Убедительным аргументом мог бы служить тот довод, будто новые правители Сайгона гораздо менее репрессивны, чем ханойские. Действительно, этот аргумент приводился довольно часто, но его никогда не принимали всерьез. Моральный релятивизм был неприемлем для нации, привыкшей видеть абсолютную противоположность между добром и злом.

Критики настоятельно утверждали, что если Сайгон не будет полностью соответствовать всем демократическим стандартам в полной мере — что в глубине души они признавали как нечто невозможное, — его следует напрочь выбросить за борт. По ходу дела «теория домино», центральная предпосылка принципа обеспечения безопасности, в течение двух десятилетий лежавшая в основе действий по защите Южного Вьетнама, поначалу была отброшена, а затем высмеяна. В одной из своих наиболее всеобъемлющих работ профессор Йельского университета Ричард Ренфилд сочетал критическое отношение Липпмана к стратегическому перенапряжению с обвинением обеих сторон вьетнамского конфликта в моральной эквивалентности; а потому война оказывалась бессмысленной. Во Вьетнаме, утверждал он, Америка не столько противостоит агрессии, сколько поддерживает силы консерватизма против социальных перемен[922].

Критики указывали на многочисленные недостатки Сайгона, чтобы продемонстрировать моральную неприемлемость американских усилий. В 1968 году Джеймс Рестон задал вопрос, мучивший множество американцев: «В чем заключается цель, оправдывающая бойню? Как мы спасем Вьетнам, если мы разрушаем его в процессе военных действий?»[923] В 1972 году Фулбрайт объявил, что Джонсон никогда не понимал, «что вопрос заключается не в противостоянии „свободного народа“ „тоталитарному режиму“, но в противостоянии двух соперничающих тоталитарных режимов; и факт заключается в том, что это не война, вызванная агрессией международного характера, „прямой“ или какой-либо иной, но антиколониальная война, перешедшая в гражданскую»[924].

Телевидение тогда только-только начало становиться самостоятельной силой. Регулярные вечерние передачи новостей привлекали аудиторию, состоявшую из десятков миллионов человек, то есть гораздо большее количество людей, чем то,

которое даже самый популярный журналист, сотрудничающий в органах печати, способен был охватить за всю свою жизнь. А тележурналисты пользовались тем преимуществом, что в их распоряжении находились зрительные образы, на фоне которых и разворачивался непрерывный комментарий программы. Такого рода передачи новостей отражали страсть к драматизации и картинности, что даже с самыми благими намерениями сбалансировать было нельзя, пусть даже только потому, что по техническим причинам оказывалось невозможно показать зверства вьетконговцев в подконтрольных им районах. Ведущий теленовостей превращался в политическую фигуру в том смысле, что лишь президент имел одновременный доступ к подобной широкой аудитории людей, но, уж конечно, не столь регулярно.

На протяжении всей послевоенной эпохи американцы откликались на призывы собственных руководителей пожертвовать многим ради оказания содействия отдаленным от Америки обществам. В горниле Вьетнама американская исключительность, иными словами, сыгравшая столь важную роль стимула в послевоенной реконструкции вера в то, что американские ценности обладают универсальной применимостью, обернулась против самой себя и приняла форму морального эквивалента политики «выжженной земли». По мере роста потерь критикующие американскую внешнюю политику перешли от постановки под сомнение ее эффективности к неверию в ее необходимость, начиная от атак на моральный облик американского союзника во Вьетнаме и кончая вызовом моральному облику самой Америки — не только во Вьетнаме, но и в глобальном масштабе.

Особую горечь нападкам на моральное право Америки вести политику глобального характера придавало то, что в значительной степени эти нападки шли от университетов и других интеллектуальных сообществ, которые до того времени были преданными защитниками американского интернационального идеализма[925]. Вовлеченные при Кеннеди в процесс принятия решений, многие из интеллектуальных лидеров были потрясены, когда убийство президента прервало курс на «новые рубежи», и не меньшим потрясением для них стало участие их студентов в антивоенных протестах. Условия выхода из Вьетнама их более не интересовали; под нажимом со стороны собственных студентов многие из профессоров стали настаивать на одностороннем, безоговорочном уходе.

Бросая вызов основополагающим предпосылкам двухпартийной внешней политики на протяжении двадцати лет, радикальное крыло протестующих по поводу Вьетнама, высмеивало антикоммунизм как нечто архаичное: «[Мы] отказываемся быть антикоммунистами, — заявили двое своего рода паломников, отправившихся в Ханой, Стафтон Линд и Том Хейден. — Мы утверждаем, что этот термин утерял все свое конкретное содержание, которое когда-то в него вкладывалось. Вместо этого им пользуются как основной категорией абстрактного мышления, при помощи которой американцы имеют обыкновение оправдывать внешнюю политику, часто не более утонченную, чем изнасилование»[926]. Даже Ганс Моргентау, глава американских философов, придерживающихся принципов национального интереса, перешел на позиции провозглашения американской аморальности: «Когда мы говорим о нарушении правил ведения войны, мы не должны упускать из виду, что фундаментальным нарушением, породившим нарушения локальные, является само по себе развязывание подобного рода войны».[927]

Для лидеров поколения, воспитанного на, по существу, не подвергавшихся сомнению истинах «холодной войны», такого рода всплески были поистине шокирующими. Линдон Джонсон, будучи лично одним из основных создателей формулы послевоенного консенсуса, оказался в растерянности, не зная, как справиться с атакой со стороны мужчин и женщин из ведущих университетов страны, чьего одобрения он жаждал во всевозрастающей пропорции по мере роста неспособности найти общий язык с ними. Дэвид Холберстэм, ставший в 1966 году непримиримым противником войны, сам ранее утверждал, что «Вьетнам является законной составляющей глобальных обязательств [США] ...и, возможно, одной из пяти или шести наций в мире, на деле жизненно важных с точки зрения интересов США. И раз эта составляющая важна до такой степени, то заслуживает гораздо большего вклада с нашей стороны»[928].

Джонсон отвечал ссылками на ортодоксальные заявления своих предшественников, начиная от Трумэна и вплоть до Кеннеди включительно. Однако эти истины уже звучали для критиков не только устаревшими, но и не относящимися к делу. Его предложения вступить в переговоры с ханойскими лидерами отвергались, ибо те были весьма искушены и не собирались спускать пар внутренних беспорядков в Америке. Чтобы успокоить надвигающийся вал, Джонсон постепенно менял переговорные

позиции, переходя от требования вывода северовьетнамских войск еще до прекращения Америкой боевых действий к «формуле Сан-Антонио» относительно прекращения бомбардировок до начала переговоров; от отказа иметь дело с ханойским прикрытием на Юге — Фронтом национального освобождения (ФНО) до согласия вести беседы с конкретными его представителями и, наконец, к согласию на участие ФНО в переговорах как самостоятельной политической единицы. Он также пытался соблазнить Ханой программой экономической помощи для всего Индокитая. Каждый из этих шагов отвергался Ханоем как недостаточный, а большинством критикующих внутри США — как неискренний. Произошла поляризация предмета внутринационального спора: от победы, для которой отсутствовала стратегия, до ухода, не подкрепленного политически.

Более умеренные критики администрации, к группе которых принадлежал и я, настаивали на компромиссе посредством переговоров. Истинным препятствием к этому был, однако, не Вашингтон, а Ханой. Северовьетнамские коммунисты не для того провели всю свою жизнь в смертельной борьбе, чтобы в итоге с кем-то делиться властью или произвести деэскалацию партизанской войны — наиболее эффективного средства оказания давления. Вьетнамские коммунисты были не более способны, чем ранее Сталин, ухватиться за возможность переговоров, не имеющих под собой фундамента в форме соотношения сил. Надежда на них была столь же нереальна, как на переговоры, предоставленные самим себе ради процесса как такового. Неоднократные заверения Джонсона о том, что он будет вести себя гибко и непредубежденно, представлялись для Ханоя как наивными, так и не относящимися к делу.

По иронии судьбы Америка должна была бы заплатить одинаковую цену как за компромисс, так и за победу. Ханой пошел бы на компромисс только в том случае, если бы ощутил себя слишком слабым, чтобы добиться победы, — иными словами, после того, как он окажется разбит. Америка же готова была демонстрировать умеренность лишь после войны, но не по ходу боевых действий. Все стандартные «решения», предлагаемые как администрацией, так и ее умеренными критиками, делались неприемлемыми из-за упрямой решимости Ханоя. Перемирие, которое для американцев представлялось желательным способом покончить с бойней, устранило бы, с точки зрения Ханоя, стимул для Америки к уходу. Коалиционное правительство,

которое было чуть больше, чем просто фиговый листок на пути к окончательному захвату власти коммунистами, представлялось ханойским лидерам гарантией выживания Сайгона.

Истинный выбор, который предстояло сделать Америке, был не между победой и компромиссом, а между победой и поражением. Различие между северовьетнамцами и американцами заключалось в том, что Ханой верно улавливал, что происходит на самом деле, в то время как и Джонсон, и его умеренные критики не в состоянии были заставить себя смириться с реальным положением дел. Мастера «Realpolitik» в Ханое были убеждены в том, что судьба Вьетнама решится в зависимости от соотношения сил на поле боя, а не за столом переговоров.

Оглядываясь назад, видишь, что, без сомнения, Америке совершенно незачем было платить какую бы то ни было цену за начало переговоров. Ханой принял решение об участии в переговорах еще до американских президентских выборов 1968 года хотя бы для того, чтобы заставить обе политические партии ориентироваться на переговоры как исход войны. Но ханойские лидеры не желали приступать к переговорам, не сделав предварительно всех усилий добиться военного перевеса в свою пользу. Инструментом улучшения переговорной позиции стало наступление в праздник Тэт, то есть лунный новый год. Каждый год, включая 1968, на этот период устанавливалось перемирие. Тем не менее 30 января коммунистические силы развернули крупномасштабное наступление на тридцать южновьетнамских провинциальных столиц. Добившись полнейшей внезапности, они захватили ключевые объекты в Сайгоне, подошли даже к территории посольства Соединенных Штатов и штаба генерала Уэстморленда. Древняя столица Гуэ пала и оставалась в руках коммунистов в течение двадцати пяти дней.

В военном отношении, как теперь общепризнано, Тэт стал крупнейшим поражением коммунистов[929]. В первый раз партизаны вышли из подполья и оказались вовлечены в непосредственные боевые действия. Решение произвести нападение в общенациональном масштабе вынудило их бороться на полях сражений, чего они при нормальных обстоятельствах всегда избегали. Превосходящая огневая мощь Америки смела почти всю партизанскую инфраструктуру, как это и предусматривали уставы и наставления армии США. На всем протяжении имевших место после этого военных действий партизаны Вьетконга перестали быть эффективной боевой силой; почти все

сражения велись теперь силами регулярных северовьетнамских войск.

В определенном смысле Тэт подтвердил абсолютную правильность американской военной доктрины. Вынужденные разом все поставить на кон, коммунисты приняли участие в войне на истощение, столь желанной с точки зрения американской стратегии. Возможно, потери их были гораздо большими, чем это приводилось в официальных сообщениях; а возможно, они рассчитывали на американскую готовность вести переговоры, как на собственное спасение.

Тем не менее наступление в праздник Тэт превратилось в крупную психологическую победу Ханоя. Можно теперь меланхолично рассуждать, каким бы стал ход событий, если бы американские руководители усилили нажим на северовьетнамские главные силы, лишившиеся партизанского щита. Если бы Америка на деле пошла ва-банк, вероятнее всего, Джонсону удалось бы добиться начала переговоров без каких-либо предварительных условий, а возможно, даже безоговорочного прекращения огня. Это подтверждается той быстротой, с которой — менее чем за семьдесят два часа — было получено согласие Ханоя на новое предложение о начале переговоров в сочетании с частичным прекращением бомбардировок на базе «формулы Сан-Антонио».

Однако американским руководителям все уже надоело, и вовсе не потому, что от них отвернулось общественное мнение. Опросы показали, что 61% американцев считали себя «ястребами», 23% — «голубями», причем 70% высказались в пользу продолжения бомбардировок[930]. Группа, потерявшая выдержку, состояла из фигур самого что ни на есть истэблишмента, которые всегда неизменно поддерживали интервенцию. Джонсон созвал совещание руководящих работников предыдущих администраций, в большинстве своем «ястребов», включая таких твердокаменных политиков, как Дин Ачесон, Джон Макклой, Макджордж Банди и Дуглас Диллон. В подавляющем большинстве они рекомендовали прекратить эскалацию и начать демонтаж войны. С учетом отношения Ханоя, которое тогда до конца еще не было понято, это решение должно было стать началом поражения. Честно говоря, я тогда в общем и целом был согласен с группой «мудрецов», и это доказывает, что поворотные пункты гораздо легче распознать в ретроспективе, чем в момент, когда они наступают.

27 февраля 1968 года телевизионный комментатор Уолтер Кронкайт, достигший тогда вершины своего влияния, направил ударную волну на Белый дом, предсказывая

неудачу:

«Теперь представляется более очевидным, чем когда бы то ни было, что кровавый опыт Вьетнама, должно быть, окончится тупиковой ситуацией. Лето почти наверняка будет застойным, и это завершится либо настоящими переговорами со взаимными уступками сторон, либо ужасающей эскалацией; но по каждому средству, при помощи которого мы должны будем производить эскалацию, враг в состоянии сравняться с нами...»[931]

Последнее предположение заслуживает большого вопросительного знака; просто-напросто не может соответствовать истине, будто Северный Вьетнам является единственной страной за всю историю человечества, которой безразличен разумный подсчет выгод и рисков. Верно, однако, что у нее гораздо более высокий порог переносимых страданий, чем почти у любой другой страны, но такой порог все равно существует. И последнее, что действительно интересовало Ханой, — это переговоры на основе взаимных уступок. Но все же гипербола Кронкайта содержала в себе основной элемент истины: точка разрыва на прочность у Ханоя была гораздо выше по шкале, чем у Америки.

«Уолл стрит джорнэл», до того момента поддерживавший администрацию, также решил спешно покинуть корабль, задавая риторический вопрос, не превратил ли ход событий «наши первоначальные, вполне понятные и разумные цели в кашу?.. Если практически ничего не остается ни от нации, ни от правительства, то что же тогда следует спасать?» «Джорнэл» полагал: «Американский народ должен подготовить себя к тому, чтобы признать, если он этого еще не сделал, что существует перспектива обреченности вьетнамского дела в целом»[932]. 10 марта «Эн-би-си» провела специальную программу по Вьетнаму, где быстро стал звучать всеобщий рефрен: «Отставляя в сторону все прочие аргументы, надо признать, что настало время, когда мы должны решать, не является ли пустым занятием разрушение Вьетнама ради его спасения»[933]. К этому хору 15 марта присоединился журнал «Тайм»: «1968 год довел до нашего сведения тот факт, что победа во Вьетнаме, или даже благоприятное для нас урегулирование, может оказаться просто не под силу величайшей державе мира»[934].

В драку ввязались ведущие сенаторы. Мэнсфилд заявил: «Мы находимся не там, где надо, и ведем войну не ту, какую надо»[935]. Фулбрайт поставил вопрос о

«полномочиях администрации на расширение войны без согласия Конгресса и в отсутствие дебатов в Конгрессе при рассмотрении этого вопроса»[936].

Под влиянием подобных атак Джонсон сдался. 31 марта 1968 года он объявил об одностороннем частичном прекращении бомбардировок территории к северу от двадцатой параллели, за которым последует полное прекращение бомбардировок, как только начнутся переговоры по существу. Он указал, что существенных подкреплений во Вьетнам больше посылаться не будет, и вновь повторил столь частое заверение, что «наша цель в Южном Вьетнаме никогда не заключалась в полном уничтожении врага»[937]. Через шесть недель после того, как Ханой нарушил официальное перемирие и произвел опустошительное нападение на американские установки и учреждения и уничтожил тысячи гражданских лиц в одном только Гуэ, Джонсон пригласил ханойских лидеров принять участие в экономическом развитии Юго-Восточной Азии, делая тем самым прозрачный намек на перспективы оказания экономической помощи. Он также объявил, что на предстоящих выборах выдвигать свою кандидатуру не будет президент, направивший 500 тыс. военнослужащих во Вьетнам, возложил их вывод на своего преемника.

Это было одно из наиболее судьбоносных президентских решений за весь послевоенный период. Если бы Джонсон не сделал столь драматического заявления, он вполне мог бы участвовать в выборах, делая ставкой Вьетнам, и тем или иным способом обеспечить себе мандат народа. А если здоровье не позволяло ему оставаться на посту второй срок, то Джонсону следовало давить на Ханой как можно сильнее в течение оставшегося срока, с тем чтобы оставить своему преемнику наилучшие возможности выбора, какие бы решения ни были согласованы после выборов между ним и Конгрессом. Поскольку после Тэта Ханой был явно слаб, политика давления, проводимая в 1968 году, безусловно, обеспечила бы гораздо лучший фон для переговоров, чем тот, что реально проявился в итоге.

Одновременно проводя деэскалацию, снимая свою кандидатуру и предлагая переговоры, Джонсон свел воедино все отрицательные факторы. Его потенциальные преемники соперничали друг с другом, обещая мир, однако без указания срока. Так были созданы предпосылки для общественного разочарования в момент фактического начала переговоров. По существу, Ханой приобрел приостановление бомбардировок в обмен на беседы процедурного характера и получил возможность восстановить свою

инфраструктуру на Юге, хотя и с северовьетнамским персоналом. У него не было стимула договариваться с Джонсоном, зато наличествовали все на свете искушения повторить испытания силы с его преемником.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. Вьетнам: окончательный уход; Никсон

На долю администрации Никсона пришлось выводить Америку из первой на ее счету неудачной войны и освобождать от первых в истории внешнеполитических обязательств, при осуществлении которых американские моральные убеждения вступили в противоречие с ее возможностями. Немногие внешнеполитические задачи оказались столь заковыристыми; ни одной стране не удавалось совершить подобный переход, не претерпев душевных страданий.

Хотя уход Франции из Алжира неоднократно предлагался Америке в качестве примера для подражания, де Голлю на деле потребовалось несколько больше, чем четыре года, понадобившиеся Никсону для прекращения американской вовлеченности в Индокитае. Организуя уход Франции из Алжира, де Голль вынужден был взвалить себе на плечи бремя оставления на произвол судьбы миллиона французских поселенцев, причем семьи многих из них жили там уже не одно поколение. Выводя американские войска из Вьетнама, Никсон обязан был свести к нулю обязательство, которое четыре американских президента на протяжении двух десятилетий объявляли жизненно важным для безопасности всех свободных народов.

Никсон принял на себя столь душераздирающую обязанность при наличии самого значительного внутреннего раскола в стране со времен гражданской войны. Даже теперь, обращаясь к событиям двадцатипятилетней давности, испытываешь шок,

вспоминая, как в Америке разом рухнул общенациональный консенсус по Вьетнаму. В 1965 году Америка посвятила себя, при наличии всеобщего на то одобрения, делу победы в партизанской войне, воспринимавшейся тогда как глобальный коммунистический заговор, и строительства институтов свободного мира в Юго-Восточной Азии; двумя годами позже, в 1967 году, эта же самая деятельность стала восприниматься не только как ошибочная и обреченная на проигрыш, но и как плод вздорной политики помешанных на войне политиканов. В какой-то момент интеллектуальное сообщество праздновало приход молодого, прогрессивного президента; почти сразу же оно осуждало его преемника, обвиняя в зверствах, систематической лжи и воинственности, невзирая на то, что стратегия нового президента, или, по крайней мере, его стратегов, была в основном той же самой, что и у его оплакиваемого предшественника. В 1968 году, к концу своего президентского срока, Джонсон не мог более появляться на публике, разве что на военных базах и в прочих подобных местах, где приверженцы методов буйного протеста могли быть отстранены физически. Несмотря на то, что Джонсон был законно выдвинутым и избранным президентом, он даже не считал для себя возможным появиться в 1968 году на съезде собственной партии.

После паузы, длившейся всего несколько месяцев, возобновилась яростная оппозиция войне, которая даже усилилась при преемнике Джонсона Ричарде Никсоне. Внутриполитические споры становились особенно горькими и трудноразрешимыми еще и потому, что обнародованные разногласия были лишь ширмой глубинных философских противоречий. Никсон готов был вести переговоры о почетном уходе, и этот уход мог заключать в себе все, только не передачу северовьетнамским коммунистам миллионов людей, которым его предшественники внушали веру в Америку. Он воспринимал понятия доверия и чести всерьез, поскольку они предопределяли способность Америки формировать мирный международный порядок.

С другой стороны, лидеры движения за мир считали войну до такой степени отвратительной, что почетный уход из Вьетнама звучал для них как абсурд. То, что администрация Никсона воспринимала как потенциальное национальное унижение, протестующие по поводу Вьетнама трактовали как желаемый национальный катарсис. Администрация искала выход, который позволил бы Америке продолжать играть

свою послевоенную международную роль опоры и защиты свободных народов, то есть ту самую роль, с которой хотело бы покончить движение за мир, рассматривая ее как бахвальство и самодовольство со стороны погрязшего в пороках общества.

На протяжении одного поколения Америка прошла через вторую мировую войну, войну в Корее и полтора десятилетия кризисов «холодной войны». Вьетнам оказался в смысле напряжения сил лишним, в смысле жертв непереносимым, поскольку все это противоречило традиционным американским ценностям и ожиданиям. В 20 - 30-х годах, когда поколение Никсона и Джонсона вступало в пору юности, американцы полагали себя выше макиавеллистских деяний европейцев. В 40 — 50-е годы, когда это поколение вступило в сознательный возраст, Америка верила в то, что призвана выполнять праведную глобальную миссию. И действительно, она стала бесспорным лидером свободного мира. К тому времени как эти люди в 60-е годы достигли пика политической карьеры, движение за мир во Вьетнаме ставило эту глобальную миссию под сомнение. В 70-е годы на сцену вышло новое поколение американцев, которое более не считало Америку воплощением святости. Чтобы заслужить право действовать в мировом масштабе, Америке, по его мнению, требовалось в течение определенного периода сосредоточиться на внутренних проблемах и их разрешении.

Таким образом, смена поколений произошла в тот самый момент, когда Америка оказалась перед лицом самого спорного по содержанию морального вызова за весь послевоенный период. Критики были потрясены графическим отражением на телевидении жестокостей войны и были все более и более неуверены в отношении морального статуса союзника Америки. Будучи убеждены, что просто-напросто не может не существовать хотя бы какой-то выход, способный немедленно положить конец убийствам, они сразу же прониклись пессимизмом. Американская исключительность легла в основу одной из самых великих эпох в истории американской политики благодаря своему идеализму, первозданное и самоотверженности; теперь она породила непреклонность в требовании того же самого морального совершенства у союзников Америки. И никаких двусмысленных критериев при их выборе! В отсутствие этого в перспективе виделся лишь позор для Америки и роковая обреченность для ее союзника.

Моральная праведность Америки мешала гибкой дипломатии. Вьетнам, в лучшем случае, предлагал несовершенные альтернативы и душераздирающие варианты

выбора. Интуитивным импульсом движения за мир был отход от реальностей этого мира, так хотелось найти опору в первоначальном видении Америкой самой себя как неколебимого столпа добродетели! Возможно, харизматический лидер наподобие Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди или Рональда Рейгана нашел бы способ справиться с подобным рода ностальгией. Но даже исключительных талантов Ричарда Никсона для этого оказалось недостаточно. В отличие от Джонсона Никсон был в высшей степени искушен в международных делах. Он вступил в должность президента, будучи убежден, как и многие противники войны, что победа во Вьетнаме практически невозможна. С самого начала Никсон понимал, что судьба втянула его в неблагодарную игру, где выигрышем был бы любой выход из деморализующего конфликта. Понятно, что он хотел выполнить задачу отступления с честью, на то он и президент. Но как смириться с тем фактом, что выпускники лучших учебных заведений и члены истеблишмента, кем он восхищался и кому завидовал, настойчиво рекомендовали такой образ действий, который, с его точки зрения, приводил к унижительному краху для Америки и предательству ею своего союзника? Душа протестовала, разум отказывался понимать...

Никсон предпочитал истолковывать протесты, часто бурные, со стороны «цвета общества», как он считал, против его политики, как кульминацию личной неприязни к нему. В его представлении это переносило вопрос о Вьетнаме из внешней сферы во внутреннюю. И тут пронизательный и тонкий в вопросах дипломатии Никсон становился настоящим уличным бойцом, едва дело касалось внутренней политики. Все шло в ход — он брал на вооружение приемы и методы своих предшественников и пользовался этим профессиональным «арсеналом» мастерски.

Неизвестно, впрочем: будь он и поуступчивее, смогла бы подобная снисходительность президента успокоить яростное возмущение, которое стало нарастать задолго до вступления Никсона в должность? К концу 60-х годов бурные протесты студенчества превратились в глобальный феномен. Помимо Америки они охватили Францию, Нидерланды и Германию, причем ни одна из этих стран не сталкивалась с ситуацией наподобие Вьетнама или с расовыми проблемами в американском смысле. Во всяком случае, положение Никсона было слишком непрочным и слишком уязвимым, чтобы на данном этапе попытаться реально осуществить план достойного отступления.

Да и как бы он мог это сделать, если истеблишмент, когда все уже было сказано и сделано, оставил его лицом к лицу с проблемой? Высшие руководители предыдущих администраций, вовлекших Америку во вьетнамскую войну, разделяли многие из убеждений администрации Никсона. Люди, подобные Авереллу Гарриману или бывшему министру обороны Кларку Клиффорду, были в числе главных проводников послевоенной идеи двухпартийного консенсуса по вопросам внешней политики. При обычных обстоятельствах они бы и рады были сохранять определенную степень национального единства во времена кризиса и выработать какую-нибудь взаимоприемлемую мирную программу-минимум. Но обстоятельства-то, вот именно, были не совсем обычны!

И потому создатели послевоенного внешнеполитического консенсуса не смогли обрести уверенности поддержать своего президента. Они сами оказались первыми мишенями демонстраций в защиту мира — и это событие воспринималось ими с особой горечью, ибо в авангарде движения за мир находились люди, которыми они восхищались и которых давно считали своей надеждой и опорой. Высшие руководители были когда-то рядовыми движения к «новым рубежам» и метафорически, если не реально, видели в протестующих своих последователей. Не одобряя методов движения за мир, ключевые фигуры администрации Джонсона скатились к союзу «де-факто» с наиболее радикальными из его участников. Что, естественно, усиливало недовольство президента: ведь подобная двойственность делала общенациональный консенсус невозможным.

Никсон решил биться ради достижения почетного мира. И поскольку я был его главным помощником в осуществлении этих усилий на практике, на мой рассказ об этом неизбежно оказывает влияние та роль, которую я играл, и мое согласие с основными ее предпосылками.

В промежутке между выборами и инаугурацией Никсон попросил меня проинформировать северовьетнамцев о своей преданности делу мира, который мог бы быть достигнут путем переговоров. Ответом было предъявление нам стандартного с того времени требования Ханоя: безоговорочный уход Америки, сопряженный со свержением правительства Нгуена Ван Тхиеу в Сайгоне.

Ханой даже не задался целью проверить искренность заявлений Никсона. Не успели пройти три недели с момента инаугурации Никсона, как он начал новое наступление

— так называемое мини-наступление праздника Тэт, — по ходу которого в продолжение четырех месяцев каждый месяц убивали в среднем по тысяче американцев. Ясно, что компромиссное предложение Никсона не вызвало у этих непреклонных лидеров ни малейшего желания пойти ему навстречу. И Ханой ни в малейшей степени не чувствовал себя связанным достигнутым в 1968 году «взаимопониманием» с администрацией Джонсона: что он-де не воспользуется в своих целях перерывом в бомбардировках.

Администрация Никсона приступила к исполнению своих обязанностей в надежде достичь национального консенсуса посредством разумных компромиссных предложений и тем самым выступить перед Ханоем, как объединенная по существу нация. Вскоре стало ясно, что, подобно своим предшественникам, Никсон недооценил упорство и решимость Ханоя. Хо Ши Мин все более утверждался в том, что при наличии бессильного руководства в Сайгоне и в отсутствие нарастания американской вовлеченности силы Ханоя способны одержать безоговорочную победу. Приверженец «Realpolitik» на практике, Хо не собирался отдавать за столом переговоров то, что, как он ожидал, способен был завоевать на поле боя.

Не могло быть менее подходящих адресатов для предложений о компромиссном мире, чем суровые и непреклонные герои, из которых состояло ханойское руководство. Когда администрация Никсона приступила к исполнению своих обязанностей, в демократической партии, запустившей вьетнамскую авантюру, произошел решительный раскол между официальной платформой и позицией «голубей», оказавшихся в меньшинстве (но получивших поддержку от таких руководителей, как сенаторы Тед Кеннеди, Джордж Макговерн и Юджин Маккарти), ибо национальный съезд демократической партии эту позицию отверг. Через девять месяцев после вступления в должность республиканская администрация Никсона превзошла даже платформу «голубей» в демократической партии. Ханой беззастенчиво клал в карман каждую из американских уступок без малейшего намека на взаимность и неуклонно требовал безоговорочного вывода американских сил и замены сайгонского правительства коммунистическим режимом. Ханой настаивал на том, что иначе американские пленные так и не будут освобождены. По существу, Ханой требовал капитуляции, сопряженной с бесчестьем.

Президенты, однако, не могут отказаться от выполнения задачи по той только

причине, что она оказалась более трудной, чем ожидалось. Еще до инаугурации Никсон распорядился подготовить систематический обзор на тему, как можно привести войну к завершению. Были проанализированы три варианта: односторонний уход; столкновение с Ханоем посредством сочетания военного и политического давления; а также поэтапный перенос ответственности за ведение войны на сайгонское правительство, с тем чтобы позволить Соединенным Штатам постепенно самоустраниться.

Первый вариант, а именно односторонний уход, позднее станет предметом множества рассуждений ревизионистского характера. Последуют утверждения, будто по вступлении в должность Никсон должен был объявить дату ухода и кончить войну посредством одностороннего американского решения[938].

Но это чистейшей воды журнализм. Хотя президенты имеют достаточную возможность держать свои намерения в секрете, они связаны политическим окружением и находятся под давлением существующей реальности. Когда Никсон вступил в должность в 1969 году, ни одна из политических партий не пропагандировала одностороннего ухода и ни один опрос общественного мнения не выступил в его пользу. Платформа «голубей», отвергнутая в 1968 году национальным съездом демократической партии, призывала к ограничению проводимых Соединенными Штатами наступательных операций, взаимному выводу посторонних сил (включая северовьетнамские) и поощрению политики взаимного примирения между сайгонским правительством и Фронтом национального освобождения. В основе ее лежал принцип взаимности, и об одностороннем выводе сил не было ни единого упоминания.

Мирная программа администрации Джонсона была выражена в «манильской формуле», в которой предлагалось начать вывод американских войск только через шесть месяцев после ухода северовьетнамцев и лишь тогда, когда резко снизится уровень насилия. Причем даже в этом случае во Вьетнаме должны были остаться значительные американские силы по образцу Кореи. Официальная демократическая платформа призывала к свободному политическому состязанию в Южном Вьетнаме, но лишь после окончания военных операций. Наконец, республиканская платформа призывала к «деамериканизации» войны, перемене военной стратегии и переговорам, базой которых не будет служить «мир любой ценой». Во всех случаях без исключений

настоятельно предлагались условия, которые Ханой обязан был выполнить еще до того, как Соединенные Штаты совершат уход. Все это предполагало компромисс, а не капитуляцию.

Немедленный, безоговорочный и односторонний уход поставил бы перед Америкой неразрешимые в практическом плане проблемы. Более полумиллиона американцев воевали на стороне южновьетнамской армии, насчитывавшей около 700 тыс. человек, им же противостояли по меньшей мере 250 тыс. военнослужащих регулярной северовьетнамской армии и аналогичное количество партизан. В начальный период деятельности администрации Никсона принятие обязательства по немедленному одностороннему уходу из Вьетнама загнало бы обширный американский экспедиционный корпус в ловушку, причем он оказался бы между двух огней: гневом южновьетнамцев, очутившихся в положении преданных Америкой союзников, и неизбежным натиском северовьетнамцев.

Министерство обороны произвело расчет, согласно которому получалось, что упорядоченный вывод войск может быть организован самое меньшее в течение пятнадцати месяцев, причем в продолжение этого периода позиции американских войск будут постепенно ослабевать, так что последние группы могут стать заложниками обеих вьетнамских сторон. Даже если предположить, что южновьетнамская армия скорее будет разбита, чем обернется против своего американского союзника, результатом все равно будет уход посреди неопишуемого хаоса, тем более что Ханой обязательно постарается воспользоваться своим господствующим положением, чтобы навязать как можно более жесткие условия мира. Односторонний уход грозил обернуться трагическим и кровавым фиаско.

Более того, администрация Никсона была убеждена в том, что односторонний уход способен превратиться в геополитическую катастрофу. Вера в надежность Америки с муками создавалась на протяжении двадцати лет. Она была ключевым компонентом структуры свободного мира. Поворот на сто восемьдесят градусов в отношении главного американского обязательства, принятого на себя последовательно четырьмя администрациями, причем со стороны президента, до того отождествлявшегося с консервативным курсом в области внешней политики, вызвал бы глубочайшее разочарование среди союзников Америки. Особенно среди тех, кто в наибольшей степени зависел от американской поддержки вне связи с тем, согласны ли они с

детальями американской политики во Вьетнаме.

При данных обстоятельствах администрация Никсона пришла к выводу, что ей требуется выработать стратегию, которая поколебала бы уверенность Ханоя в полной победе и не позволила бы ему навязать американцам односторонний уход. Поэтому рассматриваемый второй вариант предполагал добиться быстрого завершения войны посредством сочетания политических и военных мер. Эта стратегия была мне лично по душе, поскольку я полагал, что она положит конец изнуряющей внутренней борьбе и позволит администрации перейти к выполнению в большей степени объединяющих нацию задач. Этот вариант включал в себя три компонента: (1) согласие Конгресса на продолжение войны; (2) крупномасштабные усилия на переговорах, где Америка будет вправе делать любые возможные уступки, за исключением прямого содействия захвату власти коммунистами; и (3) смена военной стратегии, которая в пределах Южного Вьетнама сведется к защите густонаселенных районов и к стремлению нарушить линии снабжения Ханоя путем прекращения движения по «тропе Хо Ши Мина» в Лаосе. Предполагалась и ликвидация районов баз на территории Камбоджи и минирования северовьетнамских портов. В течение четырех лет все эти меры были последовательно приняты, что заставило Ханой согласиться в 1972 году на те условия, которые он последовательно отвергал в течение десятилетия. Если бы все эти меры были осуществлены одновременно, причем тогда, когда у Америки во Вьетнаме еще были крупные наземные силы, воздействие их могло бы оказаться решающим.

В самом начале своего президентского срока Никсон, возможно, и обратился бы к Конгрессу, очертил бы свои идеи относительно почетного окончания войны во Вьетнаме и попросил бы их одобрения, подчеркнув, что в его отсутствие у него не останется иного выхода, как пойти на односторонний уход, какими бы печальными ни были последствия. Однако Никсон отказался от подобного шага, отклонив рекомендации на этот счет, причем по двум причинам. Во-первых, он рассматривал такой шаг как отказ от возложенной на него, как на президента, ответственности. Во-вторых, будучи в течение шести лет членом Конгресса, он был убежден в том — и наверняка был прав, — что Конгресс обязательно уйдет от четкого решения и сделает свое одобрение весьма двусмысленным по содержанию, отяготив его таким количеством условий, что лишь усугубит проблему.

Поначалу Никсон не решался нанести удар по вьетнамской системе снабжения. Отношения с Советским Союзом и Китаем, носившие в те времена весьма напряженный характер, могли еще более ухудшиться, и взаимоотношения по принципу треугольника, которые позднее придали американской внешней политике столь необходимую гибкость, родились бы гораздо позже или бы вовсе не появились на свет. Обманутые надежды на ослабление напряженности во Вьетнаме могли бы далее воспламенить пыл участников движения за мир. Результат военных действий выглядел слишком неопределенным, а внутренние последствия могли оказаться неуправляемыми. При этом «стратегия прорыва» могла встретить столь сильное сопротивление со стороны ближайших советников Никсона, что ее можно было бы претворить в жизнь только после перетряски кабинета, а такого рода трата президентской энергии могла бы лишь помешать осуществлению жизненно важных инициатив долгосрочного характера.

Американский народ, похоже, требовал от правительства одновременного достижения двух несовместимых друг с другом целей: им хотелось, чтобы война окончилась и чтобы Америка не капитулировала. Эти двойственные чувства разделялись также и Никсоном, и его советниками. Стремясь провести американскую политику через это море противоречий, Никсон избрал третий вариант — так называемый путь «вьетнамизации», не потому, что он считал это блестящим выходом из положения, но потому, что согласно его суждению это был относительно безопасный способ сохранить равновесие между тремя ключевыми составляющими американского ухода из Вьетнама: поддержанием морального состояния внутри Америки на должном уровне, предоставлением Сайгону честного шанса самостоятельно встать на ноги и обеспечением для Ханоя стимула к урегулированию. Поддержание всех этих трех сложно сочетающихся политических факторов стало бы решающей проверкой умения Америки претворить в жизнь решение уйти из Вьетнама.

Американская публика была бы успокоена выводом американских войск и серьезностью усилий по организации переговоров; Южный Вьетнам смог бы защищать себя при наличии массивной американской помощи и обученного персонала; Ханю же были бы предложены и пряник — в виде мирных инициатив, и кнут — в форме периодических акций возмездия с расчетом на истощение.

Комплексная стратегия «вьетнамизации» тем не менее заключала в себе огромный риск того, что резерва времени может уже не оказаться, и проводящий подобную политику с треском провалится между двух, а тем паче — трех стульев. Само предприятие было в лучшем случае ненадежным, ибо каждое отступление поощряло бы Ханой в его агрессивных действиях, а каждый прощальный выстрел доводил бы до точки кипения движение за мир.

В меморандуме от 10 сентября 1969 года, значительная часть которого была подготовлена Энтони Лейком, тогда являвшимся моим ответственным помощником, а ныне занимающим пост советника при президенте Клинтоне, я высказал Никсону все опасения, связанные с «вьетнамизацией»[939]. Если «вьетнамизация» потребует слишком много времени, утверждалось в меморандуме, общественное недовольство скорее усилится, чем сойдет на нет. Тогда администрация очутится в «мертвой зоне» между «ястребами» и «голубями»: чересчур угодливая с точки зрения «ястребов», чересчур воинственная с точки зрения «голубей». Правительственные заявления, рассчитанные на то, чтобы расположить в свою пользу обе эти группы, возможно, и собьют с толку Ханой, но также и усилят его желание нас выпроводить.

Далее утверждалось следующее:

«...,„Вьетнамизация" создаст всевозрастающие по своей серьезности проблемы, если мы будем следовать в ее направлении.

Вывод войск США превратится в нечто, подобное соленому арахису для жаждущей американской публики: чем больше американских войск отправится домой, тем больше будут требовать возврата остальных. На деле это может привести к требованиям одностороннего ухода — возможно, в течение года.

Чем больше войск будет выведено, тем более это поощрит Ханой...

Каждый выводимый американский солдат будет в относительном плане представлять все большую важность для осуществления усилий на Юге, поскольку будет представлять собой более значительный процент сил США, чем его предшественник...

Станет все труднее и труднее поддерживать моральный уровень тех, кто остается, не говоря уже об их матерях.

„Вьетнамизация" может и не привести к снижению потерь в войсках США вплоть до самых окончательных этапов, ибо наш уровень потерь может не соотноситься с

общей численностью американских войск в Южном Вьетнаме. Чтобы убить примерно 150 американских солдат за неделю, враг может атаковать лишь незначительное количество наших сил...»[940]

Если все это так, говорилось в меморандуме, то Ханой сосредоточит свои усилия на том, чтобы нанести Соединенным Штатам не военное, а психологическое поражение; он будет затягивать войну, загонять переговоры в тупик и выжидать, как будет разворачиваться ситуация внутри Америки. В общем и целом эта предсказание оказалось верным.

Меморандум предвидел многие из наших будущих трудностей; но вдобавок он был обречен на невнимание. С одной стороны, хотя он и был передан президенту, я не ходил в Овальный кабинет, чтобы подкрепить его действенность. В Вашингтоне идеи не пропагандируют сами себя. Авторы меморандумов, не желающие за них бороться, скорее всего увидят потом в своих словах оправдания задним числом, а не руководство к действию. Отступив перед возможностью решительного противостояния и внутренних беспорядков, которые могла бы повлечь за собой попытка силового противостояния Ханую, я так и не настоял на тщательном рассмотрении этого варианта. Да и президент не вдавался в подробности, думаю, что по этой же самой причине. У Никсона не было стимула пересматривать ранее принятое решение в пользу «вьетнамизации», коль скоро ни одно из государственных учреждений, имеющих отношение к Вьетнаму, не высказало оговорок или возражений. А их не последовало в первую очередь потому, что они были до такой степени контужены демонстрациями, что были не в силах добровольно выйти на линию огня.

Я напоминаю о душевных страданиях, связанных с подобным выбором, чтобы показать: к тому времени, как Никсон вступил в должность, во Вьетнаме можно было выбирать только среди равновеликих зол. Тот факт, что «вьетнамизация» может оказаться мучительно трудной, не делал другие варианты выбора более привлекательными. Эта фундаментальная истина ускользала от внимания критиков войны в Корее. Ускользала она от внимания значительной части американского общества и в других обстоятельствах: внешнеполитическая деятельность часто влечет за собой принятие решений при недостаточности возможностей выбора. И выбор, перед лицом которого стоял Никсон во Вьетнаме, надо было делать между вовсе

несъедобным и неудобоваримым. После двадцати лет «сдерживания» Америка платила свою цену за перенапряжение.

Хотя «вьетнамизация» была рискованным курсом, по здравом рассуждении она оказалась наилучшим из всех имеющихся вариантов. Она имела то преимущество, что постепенно приучала американский и южновьетнамский народы к неизбежности ухода Америки. И если бы в процессе неумолимого сокращения численности американских сил Америке удалось бы укрепить Южный Вьетнам — а администрация Никсона надеялась именно на это, — цели Америки были бы достигнуты. Ну а если бы так не получилось и единственным оставшимся вариантом был бы односторонний уход, то все-таки к тому времени американские силы во Вьетнаме уменьшились бы до такой степени, что риск хаоса и унижения был бы сведен к минимуму.

По мере претворения этой политики в жизнь Никсон преисполнился решимости сделать крупное усилие в направлении переговоров и попросил меня заняться этим делом. Французский президент Жорж Помпиду дал краткое резюме того, что меня ожидало впереди. Поскольку его аппарат взял на себя организационные мероприятия, связанные с моими секретными переговорами в Париже с северовьетнамцами, я вводил его в курс дела после каждого заседания. Однажды, когда я был в совершеннейшем отчаянии по поводу, казалось, непреодолимого тупика, Помпиду заметил, словно это было нечто само собой разумеющееся: «Вы обречены на успех».

Государственные служащие не выбирают конкретное время служения своей стране и стоящие перед ними задачи. Если бы я обладал в данном вопросе правом выбора, я бы, безусловно, предпочел более покладистого партнера по переговорам, чем Ле Дык Тхо. Опыт подтвердил верность идеологического учения и мнения коллег по ханойскому политбюро — а именно того, что партизанская война знает только победу или поражение, но не компромисс. На ранних этапах «вьетнамизация» не производила на него никакого впечатления. «Как вы предполагаете взять верх при помощи одной только южновьетнамской армии, если она не смогла победить при содействии 500 тыс. американцев?» — спрашивал до предела уверенный в себе Ле Дык Тхо в 1970 году. Этот мучительный по смыслу вопрос доводил нас до белого каления. Правда, за четыре года усиление Сайгона в сочетании с ослаблением Ханоя сделало положительный ответ в пределах досягаемости. Но даже при этих обстоятельствах

потребовались блокада, провал северовьетнамского наступления и интенсивные бомбардировки, чтобы вынудить Ханой заключить соглашение.

Феномен абсолютно неколебимого противника, незаинтересованного в компромиссе, более того, превращающего тупиковую ситуацию в оружие, был чужд американскому опыту. Все большее число американцев жаждало компромисса. Но ханойские лидеры развязали войну, чтобы победить, а не чтобы заключить сделку. Поэтому категории, которыми оперировали во время внутриамериканских дебатов — множество предложений о прекращении бомбардировок, о перемириях, о назначении крайнего срока вывода американских сил, о создании коалиционного правительства, — никогда не входили в расчеты Ханоя. Ханой начинал торговаться только тогда, когда на него оказывалось серьезное давление, — в частности, когда Америка возобновила бомбардировки, и в наибольшей степени тогда, когда были заминированы северовьетнамские порты. Однако возврат к оказанию давления более всего воспламенял критиков внутри страны.

Переговоры с северовьетнамцами шли на двух уровнях. Были официальные встречи четырех сторон конфликта в отеле «Мажестик» в Париже, в которых участвовали Соединенные Штаты, правительство Тхьеу, ФНО (ханойская южновьетнамская организация-ширма) и ханойское правительство. В продолжение месяцев время уходило на то, чтобы выяснить, какой должна быть форма стола, чтобы предоставление места ФНО не влекло за собой признания его Сайгоном, так что официальные переговоры немедленно ушли в песок. Форум оказался слишком велик, общественное внимание — слишком безжалостно, а Ханой проявил полнейшее нежелание предоставить равный статус не только Сайгону, но в данном случае даже собственному сателлиту, ФНО.

Поэтому администрация Никсона продолжала вести так называемые переговоры частного характера, то есть секретные, в которых принимали участие только американская и северовьетнамская делегации и которые были начаты еще Авереллом Гар-риманом и Сайрусом Вэнсом в последние месяцы деятельности администрации Джонсона. Характерно то, что прибытие Ле Дык Тхо в Париж означало готовность Ханоя к данному раунду переговоров. Хотя в ханойской иерархии он занимал пятое место, Ле Дык Тхо из соображения маскировки называл себя специальным советником Зуана Тхи, функционера из министерства иностранных дел, который

формально являлся главой северовьетнамской делегации в отеле «Мажестик».

Американская позиция на переговорах заключалась в том, чтобы отделять друг от друга военный и политический аспекты, и она оставалась неизменной вплоть до 1971 года. Эта программа призывала к прекращению огня, за которым последовал бы полный вывод американских войск. Никакого снабжения, никакой живой силы с Севера. Политическое будущее Южного Вьетнама вверялось свободному политическому состязанию. Ханой вплоть до прорыва в октябре 1972 года требовал одного: установить срок безоговорочного вывода всех американских сил и ликвидации правительства Тхиеу. Установление этого срока было своего рода входной платой для начала переговоров по всем другим вопросам, причем он обязан был бы соблюдаться независимо от успеха дискуссий на другие темы. Америка рассчитывала на компромисс; Ханой — на капитуляцию. Срединного пути не было до тех пор, пока соотношение сил в наземных сражениях не сделало соглашение временно возможным.

На встречах неизменно настаивала американская сторона, при этом в роли посредника выступал генерал Верной Уолтере, военный атташе посольства Соединенных Штатов в Париже. (Уолтере затем сделал заметную карьеру в качестве заместителя директора Центрального разведывательного управления, постоянного представителя в Организации Объединенных Наций и посла в Германии, кроме того, ему доверялись весьма деликатные президентские миссии.) Маневрировать Соединенными Штатами, с тем чтобы заставить их сделать первый шаг, было одним из излюбленных приемов Ханоя, — таким образом они обеспечивали себе психологическое превосходство. Эта тактика показывает, как ловко сумел Ханой использовать внутриамериканский кризис. Если бы во время продолжительного пребывания Ле Дык Тхо в Париже с ним бы не вступило в контакт правительство Соединенных Штатов, он бы наверняка намекнул разок-другой журналистам или приезжающим туда членам Конгресса на неспособность администрации Никсона воспользоваться откровенно миролюбивыми намерениями Ханоя. С учетом американских внутривнутриполитических противоречий такого рода намеки принимались бы за чистую монету даже тогда, когда переговоры уже велись по существу. Во время каждого из приездов Ле Дык Тхо в Париж в промежутке между 1970 и 1972 годами за шестимесячный отрезок времени состоялось пять или шесть встреч. (Имел место

также ряд встреч с Зуаном Тхи. В отсутствие Ле Дык Тхо они оказались пустой тратой времени.)

Переговоры следовали стереотипной процедуре. Будучи формально главой вьетнамской делегации на переговорах, Зуан Тхи имел обыкновение начинать встречу бесконечным повторением вьетнамской позиции, знакомой нам по встречам в отеле «Мажестик». Затем он «предоставлял слово специальному советнику Ле Дык Тхо». Одетый в безупречную коричневую или черную «маоцзедуновку», Ле Дык Тхо произносил столь же длинную речь, нацеленную на философские вопросы в его представлении и насыщенную эпическими повествованиями на тему предшествовавших войн вьетнамцев за независимость.

Почти до самого конца переговоров тема высказываний Ле Дык Тхо оказывалась неизменной: соотношение сил сложилось в пользу Ханоя и во все большей степени будет таковым; войны ведутся ради достижения политических целей, и потому американское предложение о прекращении огня и обмене пленными является абсурдным и неприемлемым; а политическое решение следует начать со свержения Соединенными Штатами южновьетнамского правительства. (В какой-то момент Ле Дык Тхо даже услужливо предложил метод осуществления выполнения этой задачи — убийство Тхиеу.)

Все это с безупречной вежливостью, замороженным высокомерием, несущим в себе осознание морального превосходства, подавалось при помощи марксистского словаря, заведомо непонятного непросвещенным империалистам, то и дело вставляющим свои реплики. Ле Дык Тхо не упускал ни малейшей возможности заняться по любому, даже самому пустяковому, поводу идеологическим просвещением. Как-то раз мне надо было сделать перерыв в переговорах, и я для этого воспользовался достаточно, по моему мнению, тактичной марксистской формулировкой: «объективная необходимость» делает перерыв необходимым. Это, однако, побудило Ле Дык Тхо прочесть очередную десятиминутную лекцию на тему недопустимости для империалиста вроде меня использования марксистской терминологии.

Фундаментальной стратегией, лежащей в основе ледяной холодности Ле Дык Тхо во время переговоров, было желание до нашего сведения, что время работает на него, поскольку он в состоянии использовать внутренний раскол американского общества себе на благо. В ходе первых встреч в период с февраля по апрель 1970 года

он отвергал прекращение огня, пятнадцатимесячный график вывода войск[941], деэскалацию боевых действий и обеспечение нейтралитета Камбоджи. (Весьма интересно то, что в перечне обид, подробном до невозможности, Ле Дык Тхо ни разу не упомянул «тайные» бомбардировки лагерей-убежищ на территории Камбоджи.)

Во время второго тура переговоров, с мая по июль 1971 года, Ле Дык Тхо достиг незаурядного уровня низости и цинизма. На открытом заседании ФИО объявил о плане, состоящем из семи пунктов. Ле Дык Тхо предложил несколько отличную от этого плана и более конкретную схему из девяти пунктов и специально подчеркнул, что именно она послужит основой для настоящих переговоров. В то же время представители коммунистов требовали ответа на публично объявленный план из семи пунктов, и администрация Никсона оказалась под обстрелом в связи с тем, что не отвечает на предложение, по поводу которого сами вьетнамские участники переговоров четко и ясно заявили, что обсуждать его не собираются. Головоломная шарада занимала умы до тех пор, пока Никсон публично не разоблачил этот маневр, после чего Ханой обнародовал состоящее из двух пунктов «уточнение» к состоящему из семи пунктов плану. Это вызвало очередную волну общественного давления на Никсона. По окончательному завершению переговоров я спросил Ле Дык Тхо, что именно уточняли эти два пункта. «Ничего», — ответил тот с улыбкой.

Во время третьего раунда переговоров, проходившего с августа 1972 года по январь 1973 года, произошел прорыв. 8 октября Ле Дык Тхо отказался от стандартного требования к Америке свергнуть сайгонское правительство и согласился на прекращение огня. С этого момента дело стало быстро двигаться к завершению. Ле Дык Тхо продемонстрировал, что он так же изобретателен в поиске решений, как он был упрям в период жесткого противостояния. Этот хитроумец даже изменил содержание вступительной речи, — при всей ее пространности, в ней зазвучало слово «вперед». Однако начало серьезных переговоров не помешало наклонности Ле Дык Тхо к чтению нравоучений. Каждое утро он, как начало новой молитвы, произносил одну и ту же фразу: «Вы делаете большое усилие, и мы сделаем большое усилие». Однажды, впрочем, он опустил прилагательное, заявив, что Америке следует сделать «большое усилие», на которое будет отвечено просто «усилием». Для того, чтобы нарушить монотонность этой речи, я обратил внимание Ле Дык Тхо на отсутствие определения. «Рад, что вы это заметили, — проговорил мой невозмутимый

собеседник. — Ведь вчера мы сделали большое усилие, а вы сделали просто усилие. Так что сегодня мы поступим наоборот: вам следует сделать большое усилие, мы же сделаем просто усилие».

Беда отчасти заключалась в том, что Ле Дык Тхо преследовал одну-единственную цель, в то время как Америка, будучи сверхдержавой, не могла не иметь их много. Ле Дык Тхо хотел завершить свою карьеру революционера победой; Америка же должна была находить равновесие между соображениями внутреннего и международного порядка и учитывать проблемы будущего Вьетнама применительно к сохранению глобальной роли Америки. Ле Дык Тхо последовательно бил в одну точку; администрация же Никсона была обязана вести бой на таком множестве фронтов, что весьма редко ей представлялась возможность вести дипломатическую деятельность наступательного характера.

И действительно, с самого начала переговоров и в течение всего времени их проведения администрация Никсона вынуждена была тратить огромное количество энергии, чтобы отбивать нападки, ставившие под сомнение добрые намерения президента. Несмотря на множество односторонних, без расчета на взаимность жестов, совершенных Никсоном в пользу Ханоя, президент почти сразу же после вступления в должность стал подвергаться критике, будто бы он недостаточно предан делу мира. В сентябре 1969 года Соединенные Штаты предложили ФНО участие в политическом процессе и смешанных избирательных комиссиях, вывели 10% своих вооруженных сил и согласились на полный вывод остальных, после урегулирования получив в ответ на эти уступки не более чем бесконечные повторения стандартных заклинаний коммунистов с требованием одностороннего ухода и свержения сайгонского правительства.

Тем не менее 25 сентября 1969 года сенатор-республиканец от штата Нью-Йорк Чарлз Гуделл объявил, что он внесет на обсуждение резолюцию, требующую вывода всех американских вооруженных сил из Вьетнама к концу 1970 года. 15 октября по всей стране состоялись так называемые демонстрации в пользу моратория. Двадцатитысячная толпа направилась на полуденный митинг в финансовом районе Нью-Йорка, чтобы послушать, как Билл Мойерс, помощник и пресс-секретарь президента Джонсона, осуждает войну. Тридцать тысяч собрались в Нью-Хэйвене. Пятьдесят тысяч заполнили пространство возле памятника Вашингтону, в поле зрения

Белого дома. В Бостоне в историческом центре города 100 тыс. человек внимали речам сенатора Макговерна, в то время как самолет «нарисовал» над их головами символ мира, намекая тем самым на то, что администрация этого мира не желает.

В той форме, в какой это воплотилось в движении за мир, американская исключительность не допускала возможности обсуждения практической стороны ухода и трактовала попытки такого рода как сокровенное желание администрации продолжать войну. Превратив войну во внутренний конфликт между добром и злом в самой своей стране, движение за мир предпочло бы — по соображениям, которые оно считало высокоморальными, — разгром Америки во Вьетнаме такому «почетному» выходу, который разжег бы аппетит правительства к новым заграничным авантюрам.

Вот почему оказалось невозможным найти точки соприкосновения между движением за мир и правительством. Никсон сократил численность американских войск во Вьетнаме в продолжение трех лет с почти 550 тыс. до 20 тыс.; потери снизились с примерно 16 000, то есть 28% от общего количества, в 1968 году до примерно 600, то есть приблизительно одного процента от общего количества, в 1972 году, последнем году войны. Но это не уменьшило ни недоверия, ни боли. Ибо фундаментальные разногласия не могли быть преодолены: Никсон хотел покинуть Вьетнам с честью, а движение за мир полагало, что честь диктует Америке, по существу, безоговорочный уход из Вьетнама.

Если окончание войны становилось единственной целью, то сайгонское правительство воспринималось глазами его противников скорее как препятствие, чем как союзник. Прежнее положение, будто Южный Вьетнам является ключевым элементом американской безопасности, было давным-давно отброшено. Оставалось только ощущение того, что во Вьетнаме Америка находится в дурной компании. Новым стандартным утверждением критиков стало требование заменить правительство Тхиеу на коалиционное правительство, если надо, то путем снижения американского финансирования Южного Вьетнама. Идея коалиционного правительства превратилась в панацею, предлагаемую во время внутривнутриполитических дебатов. Но именно тогда северовьетнамские участники переговоров дали ясно понять, что, согласно их собственному определению, коалиционное правительство — это лишь эвфемизм захвату коммунистами Юга.

Северовьетнамцы на деле разработали весьма продуманную формулу, позволившую

сбить с толку американскую общественность. Они утверждали, что целью их является создание «трехстороннего» коалиционного правительства, куда вошли бы ФНО (их пешки), нейтралистские элементы и члены сайгонской администрации, стоящие за «мир, свободу и независимость». Помня все хитроумные маневры Ханоя, надо было читать между строк, чтобы понять истинный смысл подобных предложений. И только тогда становилось ясно, что этот трехсторонний орган должен был не управлять Сайгоном, но вести переговоры с ФНО об окончательном урегулировании. Иными словами, орган, подвластный коммунистам, вел бы переговоры с чисто коммунистической группировкой относительно политического будущего Южного Вьетнама. Ханой предлагал кончить войну посредством... диалога с самим собой.

Однако в ходе внутриамериканских дискуссий этот вопрос ставился вовсе не так. В книге «Гигант-калека» сенатор Дж. Уильям Фулбрайт утверждал, что речь идет о сведении счетов между соперничающими тоталитаристами[942]. Сенатор Макговерн, который в 1971 году говорил о перспективах создания «смешанного правительства» в Сайгоне, в 1972 году, накануне выдвижения своей кандидатуры от демократической партии на пост президента, настаивал на выводе войск США и на резком сокращении военной помощи Южному Вьетнаму[943]. Администрация Никсона была готова рискнуть правительством Тхиеу ради свободных выборов под международным наблюдением. Но она отказывалась свергнуть союзное правительство, созданное при предыдущей администрации, чтобы обеспечить уход Америки.

С точки зрения движения за мир, критерием успеха был просто сам факт окончания войны. А если ответ был отрицательным, то переговорная позиция Америки воспринималась как ошибочная. Движение за мир не осуждало Ханой ни за его позицию на переговорах, ни за методы ведения войны, что тем самым давало Ханой стимул твердо стоять на своем. К 1972 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вывели 500 тыс. военнослужащих. Сайгон официально предложил провести свободные выборы, а Америка — вывести все остающиеся войска в течение четырех месяцев с момента заключения соглашения. Тхиеу согласился подать в отставку за месяц до выборов. Соединенные Штаты предложили создать смешанную комиссию для наблюдения за выборами, причем все это обуславливалось прекращением огня под международным контролем и возвращением военнопленных. Но ни одна из этих мер не ослабила нападки на их мотивы и политический характер.

С течением времени дебаты внутри страны все больше и больше сосредоточивались на поставленном Ханой предварительном условии назначить в одностороннем порядке твердую дату вывода американских войск в качестве формулы окончания войны. Предложения по установлению крайних сроков вывода войск быстро превратились в стандартное содержание антивоенных резолюций Конгресса (в 1971 году их было примерно двадцать две, а в 1972 году — тридцать пять). То, что они носили необязательный характер, полностью развязывало их авторам руки: отчуждение от администрации и полное отсутствие ответственности за последствия. Ничего, казалось, не было проще, чем кончить войну путем простого ухода с поля боя, — с той, однако, оговоркой, что во Вьетнаме все не так просто, как кажется.

После встречи с участниками переговоров со стороны Северного Вьетнама и ФНО члены американского движения за мир непрерывно заявляли, что они «знают»: освобождение военнопленных и урегулирование прочих вопросов не замедлят после того, как Соединенные Штаты примут на себя обязательство в конкретный, не подлежащий изменению срок произвести вывод войск. На самом деле Ханой никогда не давал подобного обещания, придерживаясь того же старого и обманчиво двусмысленного сценария, как и во время прекращения бомбардировок в 1968 году. Установление крайнего срока вывода войск, утверждал Ле Дык Тхо, создаст «благоприятные условия» для решения прочих проблем, но когда дело дошло до конкретного обсуждения, то он настаивал на том, что этот крайний срок, будучи установлен, останется обязательным независимо от того, что произойдет на переговорах на другие темы, — касательно прекращения огня или освобождения пленников. На деле Ханой обуславливал освобождение пленников и прекращение огня свержением сайгонского правительства. Как беспрестанно объяснял Ле Дык Тхо, словно вел семинар политграмоты для начинающих, именно поэтому в первую очередь и велась война.

Величайшей иронией судьбы, выяснившейся в процессе внутривнутриполитических споров, было то, что Ханой на деле вовсе не был заинтересован в одностороннем выводе американских войск. Этот вопрос до сих пор понимается в значительной части литературы о войне превратно. Почти до самого конца Ханой никогда не отклонялся от стандартной формулы: необратимый срок вывода американских войск в сочетании с обязательством Америки свергнуть при уходе южновьетнамское правительство.

Ханой был принципиально незаинтересован в нюансах различных вариантов графика вывода, которые прекраснодушные члены Конгресса готовы были бросить к его ногам, разве что в той степени, в какой это могло способствовать расколу американского общества. Предложить более утешительный график — вовсе не означало повлиять на позицию Северного Вьетнама. Исход конфликта, как это мыслилось Ханойю, предопределяла только сила. Он охотно проглатывал любые подслащенные пилюли, но это не влияло на его переговорную позицию. Противники войны полагали, что Ханой поведет себя разумно, если Америка уступит ему лишнюю милю. В этом они глубоко ошибались. Все, что слышал Вашингтон от Ханоя, сводилось к бесконечному требованию о капитуляции: безоговорочному уходу, за которым должно было последовать свержение тогдашней администрации в Южном Вьетнаме, ее замене ханойскими марионетками, а затем, когда у Америки на руках не останется карт, пройдут переговоры относительно пленных, которых легко можно будет задержать у себя, чтобы выжать дополнительные уступки.

Как выяснилось позднее, дебаты на тему вывода войск оказались поворотным пунктом во вьетнамской войне, показав, что многие из побед администрации были на самом деле пирровыми. Никсон твердо стоял на той точке зрения, что на конкретную крайнюю дату вывода войск можно соглашаться лишь в том случае, если в обмен на это будет обеспечено достижение других существенно важных для Америки целей. Но тогда ему пришлось бы платить свою цену за полный уход уже после того, как эти условия будут выполнены. Ибо Южный Вьетнам должен был тогда самостоятельно защищать себя от гораздо более непримиримого противника, чем те, с которыми приходилось сталкиваться другим ее союзникам, и при таких условиях, на которые Америка не вынуждала идти никого из других своих союзников. Американские войска находились в Европе на протяжении жизни двух поколений; перемирие в Корее защищалось американскими силами уже более сорока лет. Только во Вьетнаме Соединенные Штаты, в силу внутренних разногласий, не соглашались оставить какие-либо войска; и по ходу дела они лишили себя какого бы то ни было задела с точки зрения безопасности, когда речь зашла о защите уже достигнутых соглашений.

Никсон изложил американские условия урегулирования в двух программных речах — 25 января и 8 мая 1972 года. Условия эти были таковы: прекращение огня под международным наблюдением; возврат и подсчет пленных; продолжение

экономической и военной помощи Сайгону; решение политического будущего Южного Вьетнама вьетнамскими политическими партиями на основе свободных выборов. 8 октября 1972 года Ле Дык Тхо принял ключевые предложения Никсона, и Ханой наконец отказался от требования соучастия Америки в установлении коммунистического правления в Сайгоне. Он согласился на прекращение огня, на возврат американских пленных, на предоставление отчета по поводу пропавших без вести. Правительство Тхиеу оставалось на месте, а Соединенным Штатам позволялось продолжать оказывать ему военную и экономическую помощь.

До этого Ле Дык Тхо вообще отказывался обсуждать подобные условия. И потому он внес собственное предложение, означавшее, по существу, прорыв на переговорах, сопроводив его следующим заявлением:

«...Данное новое предложение полностью совпадает с тем, что предлагал сам президент Никсон: прекращение огня, конец войны, освобождение пленных, вывод войск... и мы дополнительно предлагаем ряд принципов решения политической проблемы. Вы также их предлагали. А урегулирование этих вопросов мы оставляем на усмотрение южновьетнамских партий»[944].

Ни одна из последующих трагедий и дискуссий не в состоянии стереть из памяти чувство воодушевления, овладевшее теми из нас, кто формировал американскую политику, когда мы осознали, что находимся на пороге достижения того, к чему стремились на протяжении четырех мучительных лет, и что Америка не бросит на произвол судьбы тех, кто на нее положился. Никсон заявлял множество раз, что, как только его условия будут приняты, он быстро пойдет на урегулирование. 14 августа 1972 года я заявил Тхиеу, что, если Ханой примет предложения президента Никсона как есть, Америка быстро заключит соглашение. Мы обязаны сдержать слово. И у нас нет иного выбора, кроме как его сдержать. Если бы мы промедлили, Ханой бы опубликовал свое предложение, вынуждая администрацию к объяснениям, почему она отвергла свои же собственные условия, и этим ускорил бы голосование в Конгрессе по поводу сокращения выделяемых средств.

Сочетание обстоятельств заставило Ханой принять то, что до этого систематически отвергал: уменьшение поставок по нарастающей в результате минирования северовьетнамских портов, удары по лагерям на территории Лаоса и Камбоджи в 1970 и 1971 годах, провал весеннего наступления в 1972 году, отсутствие политической

поддержки из Москвы и Пекина в момент возобновления Никсоном бомбардировок Севера и страх перед тем, что Никсон, будучи переизбран, доведет дело до решительного столкновения.

Решающим фактором, возможно, было то, что, оценивая последствия президентских выборов 1972 года, тщательно рассчитывающий все свои шаги Ханой на этот раз совершил крупный просчет. Ханой, похоже, поверил, что чуть ли не подавляющая победа Никсона на выборах развяжет ему руки в отношении продолжения войны. Администрация Никсона знала, что новый Конгресс не будет более дружественно настроен по отношению к политике Никсона во Вьетнаме и, возможно, будет к нему лично еще более враждебен. Могла пройти одна из буквально сотен резолюций Конгресса по сокращению финансирования войны — возможно, применительно к оплате дополнительных расходов, представленных на утверждение конгресса в начале 1973 года и связанных с разгромом весеннего наступления коммунистов в 1972 году.

Я приветствовал перспективы мира в надежде, что они позволят Америке начать процесс национального выздоровления и вновь выковать двухпартийный консенсус, сформировавший американскую послевоенную внешнюю политику. В конце концов движение за мир добилось цели и обеспечило мир, а те, кто стремился к почетному завершению войны, могли чувствовать себя удовлетворенными, поскольку их терпение дало свои результаты. В моем кратком сообщении, где были очерчены условия окончательного соглашения, я протянул руку оппонентам в четырехлетней внутренней борьбе:

«...Теперь становится ясно, что никто в связи с этой войной не обладает монополией на душевную боль и никто из участников дебатов не имеет монополии на моральную убежденность; и теперь, когда наконец мы достигли такого соглашения, согласно которому Соединенные Штаты не предопределяют политического будущего своим союзникам, соглашения, сохраняющего достоинство и самоуважение для всех сторон, мы, залечивая раны в Индокитае, сможем начать залечивать раны в Америке»[945].

Туманные перспективы национального единства, однако, необратимо рассеялись по поводу Камбоджи. Поскольку Камбоджа была единственным театром войны в Индокитае, не унаследованным Никсоном от своих предшественников, она подлила масла в огонь межпартийных дебатов. Завязался еще один гордиев узел противоречий вьетнамской эры.

В мои намерения не входит вновь напоминать об этих противоречиях. Подробности их уже рассмотрены в другом месте[946]. По сути дела, обвинения со стороны критиков администрации сводятся к двум центральным пунктам: что Никсон беспричинно распространил войну на территорию Камбоджи и что по ходу дела именно эта американская политика породила у администрации всю тяжесть ответственности за геноцид, осуществленный коммунистическими «красными кхмерами» после одержанной ими победы в 1975 году.

Само представление, будто Никсон бездумно расширил границы войны, восходит к стратегической концептуальной ошибке по поводу Лаоса, относящейся к 1961 — 1962 годам, а именно, будто роль Америки в войне ограничивается Южным Вьетнамом, даже несмотря на то, что Ханой вел войну во всех трех странах индокитайского театра военных действий. Северовьетнамская армия построила внутри Камбоджи целую сеть лагерей-убежищ непосредственно по ту сторону границы с Южным Вьетнамом, откуда на американские и южновьетнамские силы совершались нападения в масштабе дивизий. Лагеря снабжались либо по «тропе Хо Ши Мина» через Лаос, либо через камбоджийский морской порт Сиануквилль — причем все это представляло собой откровенное нарушение нейтралитета Камбоджи. По мере ускорения ухода американских войск боевые позиции как южновьетнамских, так и американских сил было бы невозможно защищать, если бы сеть снабжения осталась нетронутой, а уменьшающимся американским войскам противостояли бы по-прежнему многочисленные северовьетнамские части с неограниченными возможностями снабжения извне. Поэтому администрация Никсона приняла тактическое решение нанести удар по территории лагерей с воздуха в 1969 году и наземными силами в 1970-м. Воздушные удары были ответом на волну северовьетнамских атак на Юге, где убивали 400 американцев в неделю и нарушали «взаимопонимание» Ханоя с президентом Джонсоном, достигнутое во времена прекращения бомбардировок в 1968 году; наземные удары были стратегическим ходом для защиты уходящих американских войск, вывод которых совершался в количестве 150 тыс. в год.

В отсутствие удара по северовьетнамским базам снабжения не сработала бы никакая, даже тщательнейшим образом продуманная стратегия вывода американских войск. В каждом отдельном случае американские наступательные действия

приветствовались камбоджийскими властями, которые видели в них защиту камбоджийского нейтралитета; в конце концов, никто северовьетнамцев в Камбоджу не приглашал.

Тем не менее и тот и другой американские военные шаги вызвали весьма эмоциональный отклик в Соединенных Штатах. Начались дебаты, перешедшие границы чисто военно-стратегических вопросов. Камбоджа быстро стала неотъемлемой частью фундаментальной вьетнамской проблемы. Политика администрации являлась отражением стратегии; критика сосредоточивалась на моральной обоснованности войны как таковой. Этот подход вдобавок отразил неспособность нации проникнуть в глубину сущности и непримиримости революционной идеологии. Есть все доказательства тому, что «красные кхмеры» стали идеологическими фанатиками еще во времена своего студенчества в Париже в 50-е годы. Они были преисполнены решимости вырвать с корнем и стереть с лица земли существующее камбоджийское общество и воплотить на практике своего рода безумную утопию путем уничтожения всех, даже в самой малой степени затронутых «буржуазным» образованием[947]. Предположение о том, будто их превратило в убийц поведение Америки, имеет под собой точно такое же моральное основание, как утверждение, будто холокост был вызван американскими стратегическими бомбардировками Германии.

Цель этих страниц — не поиск окончательного суждения по тем вопросам, по поводу которых страсти достигали подобного накала и по ходу дела породили собственную культовую литературу. Но Америка обязана отдать себе отчет в том, что, независимо от окончательных суждений по поводу мудрости американских тактических решений применительно к Камбодже, трагические обстоятельства сложились так, что убийцами являлись «красные кхмеры», а камбоджийцы платили кровавую дань за раскол в американском обществе. Критикующие сделали невозможным для Америки содействие камбоджийскому правительству в его усилиях противостоять натиску «красных кхмеров», не осознавая того, что устранение Америки повлечет за собой кровавую бойню, коль скоро они выступали за прекращение помощи и добились этого. Последующие события, безусловно, потрясли их до глубины души. И все же их недооценка тех, кто сотворил геноцид, не вызвала у них раскаяния даже задним числом — в гораздо большей степени они были увлечены

осуждением собственных соотечественников.

Общество проверяется тем, может ли оно поступиться своими разногласиями в стремлении к общей цели и способно ли оно осознать, что различные сообщества способны сделать рывок вперед благодаря примирению, а не конфликтам. Америка в Индокитае этого испытания не выдержала.

Раны, однако, оказались столь глубоки, что мир принес мало радости. Каким бы ни был шанс того, что соглашение станет инструментом национального исцеления, шанс этот стал значительно меньше вследствие трехмесячного перерыва между первоначальной договоренностью и подписанием документа и, что самое главное, вследствие бомбардировок самолетами В-52 района Ханоя во второй половине декабря 1972 года. Хотя ущерб гражданским лицам и имуществу был минимален, возникшая в результате этого вспышка антивоенных демонстраций, заставившая подписать соглашение 27 января 1973 года, вызвала в первую очередь ощущение усталости и тягостное чувство.

Ибо протестующих, в свою очередь, не успокоило принятие Ханоем американских условий мира. Они опасались того, что, если сохранится выдвинутое Никсоном понятие «почетного мира», Америка вновь сможет подвергнуться искушению взять на себя выполнение очередной интернациональной сверхзадачи, отвратительным символом которой и стал Вьетнам. И потому они встретили мирный договор с тем же цинизмом, с которым они взирали на ход военных действий и дипломатическую деятельность. Каждый из критиков утверждал свое: и то, что соглашение является политическим фокусом, и то, что те же условия были достижимы четыре года назад, и то, что оно представляет собой предательство по отношению к Тхиеу, — невзирая на тот факт, что требование свержения Тхиеу было центральной темой движения сторонников мира в течение многих лет.

Ничто не было дальше от истины, чем утверждение, будто бы соглашение с Ханоем было заключено, чтобы повлиять на общенациональные выборы. Напротив, Никсон считал заключение соглашения перед выборами минусом; его преимущество на выборах было бесспорным, и его положение могло лишь пошатнуться в результате обсуждения условий мира[948]. Но, что бы ни полагали критики, он не хотел, чтобы предвыборные соображения стояли на пути заключения соглашения, многократно обещанного американскому народу, как только будут приняты условия, выставленные

администрацией.

Один из наиболее широко распространенных мифов относительно политики администрации Никсона во Вьетнаме — будто Никсон бессмысленно продлил войну на четыре года, поскольку четырьмя годами ранее можно было договориться на тех же условиях. Утверждение это пренебрегает всеми известными фактами. Исторические данные показывают, что Америка быстро согласилась на урегулирование, как только предложенные ею условия, до того постоянно отвергавшиеся северовьетнамцами в продолжение этих самых четырех лет, были приняты.

Само собой, американские усилия в Индокитае в 1975 году окончились крахом, который мог произойти гораздо раньше, если бы целью Америки была капитуляция. Но ни администрация, ни американский народ никогда не стремились к этой цели; во время избирательной кампании 1968 года все кандидаты на пост президента стояли за компромисс, а не за капитуляцию. В 1972 году кандидат, настаивавший на капитуляции, был забаллотирован намертво. При данных обстоятельствах читатель волен делать вывод, оглядываясь назад, действительно ли в 1969 году капитуляция являлась желанной целью. Ничто в политической кампании 1969 года не намекало на то, что американский народ или политические партии приветствуют подобный исход.

Муки с подписанием Парижских соглашений не окончились. Стоило войне завершиться, как начались споры по поводу права Америки силой обеспечивать выполнение соглашения. Не было ни одного из руководящих деятелей администрации Никсона, кто бы не сомневался в рискованности заключенного соглашения. Мы дошли до края возможных уступок, как всегда утверждал Никсон. А домашние неурядицы не оставляли администрации пространства для маневра.

Тем не менее мы с Никсоном, наряду со многими из высших должностных лиц администрации звена, полагали, что военные и экономические условия соглашения позволят Южному Вьетнаму противостоять вполне реальному нажиму со стороны Севера, при условии, что Северный Вьетнам будет выполнять ту часть соглашения, которая воспрещала возобновление инфильтрации. Никсон, однако, всегда отдавал себе отчет в том, что нарушения вполне возможны, причем такого масштаба, которому нельзя будет ни противостоять, ни оказать сопротивление без содействия со стороны Америки. Он был готов способствовать Вьетнаму присоединиться к международному сообществу при помощи программы экономического содействия. Но если все это не

сработает, то никогда не отвергалась возможность использования воздушных сил для обеспечения выполнения соглашения, причем как в умах представителей администрации Никсона, так и в публичных речах.

Когда настал конец войны, администрация со скрежетом зубным приготовилась к испытанию силой, которое, исходя из опыта, наверняка предстояло на стадии претворения соглашения в жизнь. Мы твердо верили, что у нас есть право — более того, обязанность — защищать соглашение, ради которого умерли 50 тыс. американцев. В противном случае любое мирное соглашение с Соединенными Штатами было бы юридическим эквивалентом капитуляции. Условия, не поддающиеся защите, равносильны сдаче. Если нации не позволено действовать, чтобы обеспечить претворение в жизнь условий мира, то гораздо лучше в таком случае отступить честно и открыто. Никсон и его ведущие советники бесконечное число раз[949] объявляли о своем намерении защищать соглашение — к примеру, 3 мая 1973 года, когда Никсон выступал с ежегодным отчетом по вопросам внешней политики: «Такого рода курс [всеобъемлющие нарушения] поставит под угрозу с таким трудом достигнутый мир в Индокитае. Он чреват риском возобновления конфронтации с нами...[950] Мы заявили Ханой как в частном, так и в официальном порядке, что мы не потерпим нарушений соглашения»[951].

Повторилась привычная схема предшествующих пяти лет. Возможно, ничем не запятнанный, только что переизбранный президент мог бы настоять на периодических решительных мерах военного характера, потребных для реализации соглашения. Но когда над президентом уже нависла тень «уотергейта», для этого не оставалось ни малейшей возможности. Даже несмотря на то, что тысячи северовьетнамских грузовиков двигались по «тропе Хо Ши Мина», что почти 50 тыс. северовьетнамских военнослужащих проникли во Вьетнам, а Ханой в вопросе, касавшемся американцев, пропавших без вести, стоял неколебимо и хранил по этому поводу вызывающее молчание. Противники политики, приведшей к заключению соглашения, настаивали на том, что Никсон не обладает полномочиями по принудительному обеспечению претворения этого соглашения в жизнь, сколь бы серьезно оно ни нарушалось. А раз так — что это, как не односторонний уход, к которому они все время призывали. В июне 1973 года Конгресс отказал в дальнейшем выделении фондов для «прямой или косвенной поддержки боевых действий вооруженных сил Соединенных Штатов в

Камбодже, Лаосе, Северном Вьетнаме и Южном Вьетнаме или в связи с ними» после 15 августа, включая воздушную разведку[952]. В июле 1973 года стало ясно, что у программы экономического содействия Северному Вьетнаму поддержки в Конгрессе не будет.

Мирное соглашение, как, впрочем, и ни одно соглашение подобного рода, не могло претвориться в жизнь само собой. Северный Вьетнам все еще ставил перед собой задачу обеспечить объединение Вьетнама под его руководством, и клочок бумаги, подписанный в Париже, не в состоянии был повлиять на изначальные планы Ханоя. Парижские соглашения избавляли Соединенные Штаты от непосредственного участия в военном конфликте во Вьетнаме, но срок существования, отпущенный Южному Вьетнаму, зависел от американской поддержки. Решать, продолжать ли в Индокитае политику в рамках стратегии сдерживания уже после ухода американских войск, обязан был Конгресс. А решение его оказалось отрицательным.

Ухудшалось даже экономическое содействие Южному Вьетнаму. В 1972 году Конгресс проголосовал за оказание помощи на сумму в два миллиарда долларов; в 1973 году эта сумма была уменьшена до 1,4 миллиарда долларов, а в 1974 году произошло сокращение наполовину, хотя цены возросли в четыре раза. В 1975 году Конгресс обсуждал выделение завершающего ассигнования на эти цели в размере 600 миллионов долларов. Камбоджа была отрезана целиком, причем под предлогом сохранения человеческих жизней — так эвфемистически было названо оставление страны на произвол судьбы, что выглядело мрачной шуткой в свете последовавшего геноцида. В 1975 году Камбоджа и Южный Вьетнам с интервалом в две недели были захвачены коммунистами, что положило конец американским, но не индокитайским душевным мукам.

Американский идеализм, в значительной степени явившийся душой сложившегося после войны мирового порядка, победил себя своим же собственным оружием. Четыре президента полагали Вьетнам жизненно важным с точки зрения американской безопасности. Два президента от различных партий отождествляли честь Америки с верностью слову, данному тем, кто на нее положился. Никсон выиграл выборы 1972 года с подавляющим перевесом голосов именно на базе подобного утверждения. В классической американской манере обе стороны, участвовавшие в дебатах по Вьетнаму, преподносили свои цели и задачи как моральные аксиомы и никогда не в

состоянии были перебросить мосты через разделяющую их пропасть.

Даже по прошествии двадцати лет американские общественные споры на эту тему так и не обрели объективной перспективы, и стороны скорее готовы перекладывать вину друг на друга, чем учиться на опыте. Победа коммунистов быстро разрешила один из вечных споров вьетнамской эры: был или нет призрак неминуемой кровавой бойни после захвата власти коммунистами просто-напросто плодом воображения политиков, искавших предлог для продолжения войны.

Само собой, в Камбодже геноцид действительно имел место. Новые правители перебили по меньшей мере 15% своего населения. Во Вьетнаме до этого не дошло. И все же сотни тысяч южновьетнамцев были согнаны в «лагеря перевоспитания», иными словами, в концентрационные лагеря. В начале 1977 года коммунистические власти признавали наличие 50 тыс. политических заключенных, в то время как большинство независимых наблюдателей утверждают, что истинная цифра приближается к 200 тыс.[953]. Что же касается так называемого Фронта национального освобождения Южного Вьетнама (ФНО), который на протяжении целого десятилетия воплощал для Запада чуть ли не знамя коалиционного демократического правительства, победоносные северовьетнамцы четко и ясно дали понять, что их истинные планы не имеют к этому никакого отношения. В 1969 году ФНО был реорганизован в так называемое «Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам», или ВРП. В июне 1975 года, через два месяца после падения Сайгона, на заседании «кабинета» ВРП было принято решение о восстановлении в ограниченном масштабе банковской системы Южного Вьетнама; были организованы консультативные комитеты для облегчения управления страной, в которые среди прочих вошли некоммунистические политические деятели, находившиеся в оппозиции к Тхиеу; ВРП установило дипломатические отношения с восемьюдесятью двумя странами.

Однако Ханюю меньше всего хотелось бы иметь независимый Южный Вьетнам, пусть даже коммунистический; поползновения в сторону «Югославской модели» следовало пресечь в зародыше. Решение «кабинета» было немедленно аннулировано, консультативные комитеты лишились какой бы то ни было роли, а послы ВРП так никуда и не были направлены. Управление Южным Вьетнамом оставалось в руках местных военных комитетов, управлявшихся северовьетнамской коммунистической

партией и военными властями. В июне 1975 года ханойские лидеры и пресса начали широковещательную кампанию в пользу скорейшего объединения страны — то есть официальной аннексии Юга, — которое и было завершено в течение года[954].

Хотя в строгом смысле этого слова единственными выпавшими костяшками домино оказались Камбоджа и Лаос, антизападные революционеры во множестве других районов земного шара приободрились. Сомнительно, пошел бы Кастро на интервенцию в Анголе или Советский Союз — в Эфиопии, если бы Америка не ощутила, что потерпела поражение в Индокитае, деморализована «уотергейтом», и не ушла бы после этого в себя. Одновременно с достаточным основанием выдвигалось утверждение, что если бы Южный Вьетнам пал в начале 60-х, то заранее продуманный коммунистический переворот в Индонезии, почти удавшийся в 1965 году, мог бы привести к свержению правительства и породить еще одну стратегическую катастрофу.

Во всяком случае, Америка заплатила за свою авантюру во Вьетнаме такую цену, которая была несоизмерима с любыми благоприобретенными выгодами. Совершенно ясно, что столь крупная ставка на достижение весьма туманно очерченных целей была ошибочной. Америка в первую очередь оказалась вовлеченной в войну потому, что безоговорочно применила принципы-аксиомы своей удачной европейской политики к региону с диаметрально противоположной политической и социально-экономической ситуацией. Вильсонианский идеализм исключал культурную дифференциацию, в то время как теория коллективной безопасности утверждала, что, поскольку безопасность неделима, то, если выдернется хотя бы одна нить, распустится вся ткань единого международного порядка. Слишком идеалистичная, чтобы строить собственную политику, исходя из принципов национального интереса, и слишком сосредоточенная на требованиях, предъявляемых войной всеобщего характера к стратегической доктрине, Америка оказалась не в состоянии справиться с незнакомой стратегической проблемой, где переплелись политические и военные цели.

Пропитанная верой в универсальную привлекательность собственных ценностей, Америка в огромном смысле недооценила препятствия, стоящие на пути демократизации в обществе, сформированном конфуцианством, где народ сражался за политическую самобытность, очутившись в самом центре натиска посторонних сил.

Возможно, наиболее существенным и уж конечно наиболее болезненным

результатом войны во Вьетнаме было выпадение костяшки домино в виде сплочения американского общества. Американский идеализм породил как у официальных лиц, так и у их критиков ложное представление о том, будто бы вьетнамское общество может быть относительно легко и быстро преобразовано в демократию американского типа. Когда столь оптимистический прогноз рухнул и стало очевидно, что Вьетнам от демократии весьма далек, разочарование было неизбежным. Существовало еще одно столь же ложное представление касательно сущности военной проблемы. В отсутствие критериев для суждения официальные лица часто страдали непониманием ее сущности и потому неверно ставили вопросы. А когда эти официальные лица утверждали, будто видят свет в конце тоннеля, то большинству из них и вправду это казалось. Как бы ни расходились с реальностью их оценки, обманывали-то они в первую очередь самих себя.

Дело всегда заключается в том, что те вопросы, которые доходят до политиков высшего уровня, неизменно являются весьма сложными; простые, не вызывающие споров вопросы решаются на более низких уровнях государственного управления посредством консенсуса. И все же, как только решение принято, политический деятель, независимо от степени охватывающего его лично сомнения, целиком и полностью обязан этому решению следовать; и потому внешняя видимость уверенности, с которой преподносится это решение, часто бывает обманчивой. Более того, эти ложные впечатления зачастую усугубляются вечной тенденцией бюрократов преувеличить собственные достижения.

Вывести на свет преднамеренные искажения сути дела со стороны исполнительной ветви нашей власти является критически важной функцией средств массовой информации и Конгресса. Не существует оправданий для заведомых искажений. Но существуют весьма малые основания для утверждения, будто главные цели во Вьетнаме претерпели негативные изменения из-за так называемых «пробелов в области доверия». Америка вступила во Вьетнам с развернутыми флагами; никто ее туда не проводил с заднего хода. Конгресс был целиком в курсе степени вовлеченности Америки и ежегодно голосовал за соответствующие ассигнования. Возможно, само стремление уберечь новую нацию от захвата ее коммунистами и выглядит наивно, но отсюда вовсе не вытекает, что следует нападать на фундаментальные ценности Америки, вокруг которых и возникли общенациональные

дебаты.

Это горестное противостояние продолжает затуманивать суть того, что же на самом деле произошло в Индокитае, отчего создался интеллектуальный вакуум, охвативший период свыше двух десятилетий, на который пришлась деятельность четырех администраций от обеих политических партий. Америка только тогда, выздоровеет после Вьетнама, когда начнет извлекать из этого рвущего душу и сердце опыта уроки в духе внешнеполитического консенсуса обеих партий.

Урок первый заключается в том, что прежде, чем Соединенные Штаты примут на себя обязательство принять участие в боевых действиях, они должны получить четкое представление о характере угрозы, с которой придется столкнуться, и о целях, которые реально можно будет достигнуть. Они должны обладать четкой и ясной военной стратегией и недвусмысленно определить для себя, что именно явится успехом в политическом плане.

Урок второй заключается в том, что, если Америка принимает на себя обязательство предпринять военные действия, альтернативы победе не существует, как заявлял генерал Дуглас Макартур. Растерянность нельзя преодолеть нерешительными действиями; продолжительное выжидание наносит удар по терпению американского народа и, следовательно, ослабляет его волю. Поэтому требуется тщательная разработка сущности политических целей и характера военной стратегии для их достижения еще до того, как будет принято решение вступить в войну.

Урок третий заключается в том, что демократическая страна не может вести серьезную внешнюю политику, если соперничающие внутривнутриполитические течения не будут проявлять хотя бы минимальную сдержанность по отношению друг к другу. Если победа над внутренними оппонентами становится единственной целью политики, то исчезает моральное единство. Никсон был убежден, что наивысшим долгом президента является защита национальных интересов, даже если это идет вразрез с мнением самых страстных инакомыслящих внутри страны, — скорее всего именно в подобных случаях. И все же Вьетнам показал, что президенты не могут вести войну одними лишь средствами, находящимися в распоряжении исполнительной власти. Перед лицом бурных демонстраций, при наличии резолюций Конгресса, постепенно подталкивающих к одностороннему выводу вооруженных сил, а также из-за враждебности средств массовой информации, Никсону следовало

обратиться к Конгрессу в самом начале срока пребывания на посту президента, обрисовать свою стратегию и потребовать ясного и недвусмысленного одобрения своей политики. А при отсутствии подобного одобрения он должен был бы запросить голосования по поводу прекращения войны и тем самым вынудить Конгресс принять на себя всю полноту ответственности.

Как уже упоминалось ранее, Никсон отверг подобный совет, ибо чувствовал, что история никогда не простит ему ужасающих последствий того, что он считал добровольным отказом от ответственности, возложенной на исполнительную власть. Это было честное — причем в высшей степени моральное и интеллектуально верное — решение. Но в американской системе сдержек и противовесов бремя, принятое на себя Никсоном, не положено нести одному человеку.

В период войны во Вьетнаме Америка вынуждена была смириться с существованием предела своим возможностям. На протяжении почти всей истории страны американская исключительность порождала чувство морального превосходства, подкрепляемого материальным изобилием нации. Но во Вьетнаме Америка оказалась вовлеченной в войну, ставшую морально двусмысленной, где материальное превосходство Америки в основном не имело ни малейшего отношения к делу. Совершенные, как на картинке, семьи, устаивавшие своим появлением телевизионные экраны 50-х годов, являлись группой культурной поддержки высокоморальных раздумий Даллеса и рвущего душу идеализма Кеннеди. Обманутая в своих чаяниях, Америка обратилась к поискам душевных сил и выступила против самой себя. Бесспорно, ни одно общество не проявило бы сходную с американской уверенность в изначальном своем моральном единстве и не пошло бы столь решительно на раскол, не сомневаясь в том, что способно вновь объединиться. Ни один другой народ не повел бы себя столь самоотверженно, рискнув пойти на разрыв, чтобы затем дать сигнал духовному единению.

С точки зрения непосредственного результата внутривнутриполитическая драма представляла собой по жанру трагедию; однако в долгосрочном плане душевная боль становилась той ценой, которую Америка обязана была заплатить, с тем чтобы соотносить свое стремление к моральному совершенству, вдохновившее так много начинаний Америки, с потребностями международного окружения, менее восприимчивого и более многопланового, чем когда-либо в прошлом.

Опыт Вьетнама оказался прочно впечатан в американское общественное сознание, в то время как история, похоже, приберегла для себя наиболее наглядные уроки. После периода мучительной рефлексии Америка возродила уверенность в себе, а Советский Союз, несмотря на внешне монолитный облик, заплатил смертельную для себя цену за моральное, политическое и экономическое перенапряжение. После экспансионистского рывка Советский Союз очутился в тенетах противоречий и наконец рухнул.

Эти события наводят на довольно ироничные размышления о природе уроков истории. Соединенные Штаты вошли во Вьетнам с целью поставить преграду тому, что они сочли руководимым из единого центра коммунистическим заговором, и потерпели поражение. Из этого поражения Америки Москва сделала вывод, которого так опасались сторонники «теории домино»: что историческое соотношение сил сместилось в ее пользу. В результате она попыталась осуществить экспансию в Йемен, Анголу, Эфиопию и, наконец, в Афганистан. Но по ходу дела она обнаружила, что геополитические реальности точно так же влияют на коммунистические общества, как и на капиталистические. На деле же, будучи менее эластичным, советское общество испытало перенапряжение, породившее не катарсис, как в Америке, но распад[955].

Остается вопрос, двигались бы события в том же направлении, если бы Америка просто оставалась пассивной и предоставила исторической эволюции самой противостоять коммунистическому вызову. А вдруг такое самоустранение создало бы стимул убежденности в неизбежной победе коммунизма, которого было бы достаточно, чтобы задержать, а может быть, и остановить крах Советов?

Каким бы ни был чисто академический ответ, государственный деятель не может счесть самоустранение принципом политики. Возможно, он обучится умерять собственную веру в свои достижения и делать поправку на непредвиденное; но полагаться на неизбежность краха грозного противника означало бы следовать политике, не дарующей утешение миллионам потенциальных жертв и превращающей принятие политических решений в головоломное интуитивное гадание. Душевная боль Америки по поводу Вьетнама явилась дополнительным свидетельством моральной обеспокоенности, которая сама по себе является подходящим ответом на все вопросы касательно этической важности американского опыта. По прошествии

сравнительно короткого отрезка времени американцы восстановили свое самоуважение в 80-е годы. А в 90-е годы — свободные народы вновь повсеместно обращаются к Америке за руководством в деле строительства совершенно нового мирового порядка. И теперь они больше всего опасаются не самоуверенного вмешательства Америки в мировые дела, но, как и раньше, ее от них самоустранения. Вот почему горечь воспоминаний об Индокитае должна послужить напоминанием о том, что американское единство — это одновременно и долг перед миром, и надежда мира.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. Внешняя политика как геополитика; дипломатический треугольник Никсона

Для Никсона тягостный процесс ухода Америки от Вьетнама свелся в итоге к проблеме сохранения места Америки в мире. Но даже в отсутствие подобного морального чистилища на повестке стояла бы серьезная переоценка характера американской внешней политики дня, ибо эпоха почти абсолютного превосходства Америки на мировой арене подходила к концу. Ядерное превосходство Америки сходило на нет, а экономическому ее превосходству бросали вызов динамично развивающиеся Европа и Япония, причем каждый из этих регионов был в свое время восстановлен при помощи американских ресурсов и находился под защитой американских гарантий безопасности. В конце концов Вьетнам подал сигнал, что настало время пересмотреть роль Америки в мире развивающихся стран и найти какую-то приемлемую платформу между самоустранением и перенапряжением.

По ту сторону барьера для американской дипломатии открылись новые

возможности, поскольку появились серьезные трещины в том, что на протяжении «холодной войны» выглядело как коммунистический монолит. Сделанные Хрущевым в 1956 году разоблачения жестокостей сталинского правления и советское вторжение в Чехословакию в 1968 году ослабили идеологическую привлекательность коммунизма для остальных районов мира. В еще большей степени этому послужили претензии Москвы на лидерство над всем коммунистическим движением, подрываемые расколом между Китаем и Советским Союзом. Все эти события указывали на возникновение пространства для дипломатического маневра.

На протяжении двадцати лет вильсониа́нский идеализм позволял американским руководителям осуществлять свою глобальную роль с миссионерским рвением. Но Америка конца 60-х годов, очутившаяся в тупике Индокитая и разрываемая внутренними конфликтами, требовала более сложного и богатого нюансами определения своей международной роли. Вильсон руководил страной, которая была новичком в международных делах, зато уверена в своей способности заниматься плотно и тщательно любой проблемой вплоть до ее окончательного решения; Никсон получил в наследство общество, охваченное разочарованием, при том, что будущее этого общества зависело от способности обрисовать для себя достижимые долгосрочные цели и преуспеть в достижении этих целей, не поддаваясь внутренним сомнениям даже в условиях прямой конфронтации с противником.

Ричард Милхауз Никсон унаследовал страну, находящуюся в состоянии, близком к гражданской войне. Относясь с глубочайшей подозрительностью к истеблишменту и соответственно став объектом недоверия со стороны множества его представителей, он тем не менее твердо придерживался убеждения, что ведущая демократическая страна мира не может ни отказаться от лежащей на ней ответственности, ни уйти от предначертанной ей судьбы. Немногие президенты были столь сложными личностями, как Никсон: застенчивый, но решительный; неуверенный в себе, но твердый и непреклонный; не доверяющий интеллектуалам, но в глубине души склонный к раздумьям; нередко безапелляционный в своих заявлениях, но терпеливый и дальновидный в области стратегического планирования. Никсон очутился в положении руководителя Америки в переходный период от гегемонии к лидерству. Неуступчивый и чаще всего неспособный создать атмосферу личного обаяния, Никсон тем не менее сдал при самых трудных обстоятельствах тяжелейший

экзамен на лидерство, переместив свое общество из уже известного мира в мир, до того времени неведомый.

Ни один из американских президентов не обладал большими познаниями в международных делах. Никто из них, за исключением Теодора Рузвельта, так часто не ездил за границу и не проявлял столь неподдельного интереса к пониманию точек зрения других руководителей. Никсон не занимался систематическим изучением истории, как это делали Черчилль и де Голль. Он просто запомнил кое-какие сведения о прошлом страны и собирал рудиментарные факты, относящиеся к тем или иным обстоятельствам, причем мог обходиться и без этого. И все же он обладал невероятными способностями схватить самую суть политического динамизма той или иной страны, привлекавшей его внимание. А его понимание геополитических реалий было поистине замечательным. Подход Никсона к внутривнутриполитическим вопросам был по временам омрачен амбициями и личной неуверенностью. Но когда дело доходило до внешней политики, его могучий аналитический ум и исключительная геополитическая интуиция были всегда жестко сфокусированы на обеспечение американских интересов.

Никсон не признавал вильсонских прописных истин относительно доброты человека от природы и фундаментальной гарантии любой из наций, поддерживаемой при помощи коллективной безопасности. Вильсону страны представлялись как идущие в направлении мира и демократии; миссией Америки представлялась помощь на этом неизбежном пути. Для Никсона все человечество разделялось на друзей и антагонистов; он выделял арены сотрудничества и районы конфликтующих интересов. В представлении Никсона спокойствие и гармония не соответствовали естественному порядку вещей, но были лишь временными оазисами в преисполненном погибели мире, где стабильность можно сберечь лишь отчаянными усилиями.

Никсон старался плавать в бурном море житейском под флагом национальных интересов Америки, и его не смущало, что эта идея представлялась отвратительной множеству идеалистов-традиционалистов. Если великие державы, включая Соединенные Штаты, будут добиваться обеспечения собственных интересов рационально и предсказуемо, как полагал Никсон в духе философии Просвещения XVIII века, тогда равновесие сил возникнет само, как следствие столкновения

соперничающих интересов. Подобно Теодору Рузвельту, но в противоположность другим американским президентам XX века, Никсон полагался на то, что равновесие сил обеспечит стабильность, и считал, что без сильной Америки глобальное равновесие невозможно.

Обе эти точки зрения были в те времена в высшей степени не модны. Никсон в интервью журналу «Тайм» 3 января 1972 года утверждал следующее:

«Мы должны помнить, что единственным условием продолжительных исторических периодов мира было равновесие сил. Ведь именно тогда, когда одна из наций становится значительно сильнее своего потенциального соперника, возникает опасность войны. Поэтому я полагаюсь на мир, где Соединенные Штаты обладают могуществом. Я думаю, что такой мир будет и лучше и безопаснее, когда у нас будут здоровые и сильные Соединенные Штаты, Европа, Советский Союз, Китай, Япония, взаимно уравновешивающие друг друга, не действующие друг против друга, создающие баланс сил»[956].

В то же время Никсон являлся воплощением изначальной противоречивости своего общества — нужно выглядеть целеустремленно-решительным, оставаясь в зависимости от традиционного идеализма как источника сил. Невероятно, но президентом, наиболее почитаемым Никсоном, хотя его собственные принципы были в высшей степени далеки от вильсоновства, был как раз сам Вудро Вильсон. Каждый новый президент избирает, портреты каких своих предшественников будут висеть у него в кабинете. Никсон выбрал Вильсона и Эйзенхауэра. А когда он распорядился, чтобы в Овальном кабинете поставили старый письменный стол Вильсона, получилось, словно улыбка истории шла за Никсоном по пятам: стол, который добыл заведующий хозяйственной частью Белого дома, оказался принадлежащим не Вудро Вильсону, а Генри Вильсону, вице-президенту при Улиссе Гранте.

Никсон часто пользовался стандартной вильсоновской риторикой. «У нас действительно есть судьбоносное предназначение, — заявил он, — и нет никакого смысла демонстрировать, подобно другим нациям в прошлом... пример духовного лидерства и идеализма, который не в состоянии обеспечить материальная сила или военное могущество»[957]. И он на деле, а не только на словах, разделял великую американскую мечту о внешней политике, свободной от цинизма:

«Говоря о Соединенных Штатах, я могу утверждать следующее: мы не претендуем

ни на чью территорию; мы не ищем господства ни над каким народом; мы претендуем на право жить в мире, причем не только наше собственное, но и для всех народов мира. Наша мощь может использоваться лишь для того, чтобы сохранять мир, но не для того, чтобы его разрушать, лишь для того, чтобы защищать свободу, а не для того, чтобы ее губить»[958].

Призыв к альтруизму со стороны президента, который неустанно настаивал, чтобы будущее мира определялось пятью великими державами, преследующими собственные национальные интересы, явился составной частью новаторского синтеза американского опыта. Никсон воспринимал американский идеализм всерьез в том смысле, что разделял страстный интернационализм Вильсона и веру его в незаменимость Америки. Но он чувствовал себя в равной степени обязанным соотносить миссию Америки с собственными выводами по поводу того, как на самом деле функционирует мир. Даже если Никсону хотелось, чтобы его страна придерживалась вильсоновских ценностей, он также с болью осознавал, что на его долю выпала судьба исполнить неблагодарную обязанность обеспечить прекращение Америкой крестовых походов в защиту этих ценностей посредством посылки своих вооруженных сил по всему свету.

Отправной точкой для Никсона послужила американская исключительность, хотя широкие знакомства с иностранными руководителями научили его тому, что альтруистов среди них маловато; если бы им можно было дать «сыворотку правды», то большинство из них высказалось бы в пользу большей предсказуемости в американской внешней политике, и они сочли бы национальные интересы Америки более надежным внешнеполитическим фундаментом, чем альтруизм. Вот почему Никсон предпочитал одновременно действовать в двух направлениях: объяснять свои цели при помощи вильсоновской риторики и апеллировать к национальным интересам Америки для подкрепления собственной тактики.

По иронии судьбы такое понимание Никсоном роли Америки в достижении мира во всем мире могло бы поставить президента в оппозицию множеству достойных американцев — его современников, которые ранее придерживались вильсоновства, а теперь настаивали на проведении политики, которая, по мнению Никсона, была тождественна отказу Америки играть какую бы то ни было роль в мировой политике.

Никсон, великолепно отдавая себе отчет в том, что его собственное, достаточно

прагматичное, видение характера глобальной ответственности Америки аналогично, с точки зрения его предшественников, отступлению от прежних рубежей, поставил перед собой задачу сформулировать приемлемую для идеалистической Америки задачу в беспрецедентно сложной международной обстановке — такую, где, по мнению Никсона, вильсоновство и «Realpolitik» слились бы воедино.

Стратегия «сдерживания» раннего послевоенного периода выдвинула Америку на передовые рубежи любого из международных кризисов; рвущая сердце риторика периода Кеннеди выдвигала задачи, стоявшие вне пределов физических и эмоциональных возможностей Америки. В результате этого американская моральная праведность превратилась в ненависть к самой себе, а критика перенапряжения сил в самоустранение. В подобной обстановке Никсон считал первоочередной задачей воспользоваться опытом Вьетнама в перспективном плане. Соединенные Штаты оставались жизненно важным фактором международной стабильности, но они оказались не в состоянии выдерживать безудержный интервенционизм, загнавший свыше 500 тыс. американцев в Индокитай в отсутствие стратегии победы. Выживание человечества коренным образом зависело от отношений между двумя сверхдержавами, но мир во всем мире зависел от того, сможет ли Америка провести грань между обязательствами, где ее роль чисто вспомогательная, и моральными акциями, где ее собственное участие обязательно, причем сумеет ли она при этом выполнить последнее без саморазрушения.

Никсон воспользовался довольно необычным поводом, чтобы предложить ответ на подобные дилеммы. 25 июля 1969 года президент оказался на острове Гуам, откуда он начинал поездку по всему земному шару — от Юго-Восточной Азии до Румынии. В начале дня он был свидетелем посадки на воду неподалеку от острова Джонсона в Тихом океане первых астронавтов, совершивших высадку на Луну. Современный журнализм, неспособный подолгу освещать даже самую новейшую историческую драму, нуждается в новом событии для каждого цикла новостей, особенно во время президентских поездок. А Гуам по отношению к месту приводнения находится по ту сторону линии перемены дат (вот почему посадка астронавтов считается происшедшей 24 июля) и потому явился частью другого цикла новостей.

Осознавая это, Никсон воспользовался случаем, чтобы выдвинуть принципы, определяющие новый подход его страны к международным делам. Хотя Никсон и его

советники часто обсуждали этот новый подход, представить его широкой общественности именно при данных конкретных обстоятельствах не планировалось. И потому для всех, включая и меня, было полнейшей неожиданностью, когда Никсон объявил о новых критериях, предопределяющих вовлеченность Америки за рубежом[959]. Получившие с тех пор название «доктрина Никсона», они были подробно представлены в речи в ноябре 1969 года, а затем в феврале 1970 года в первом годовом отчете президента по вопросам внешней политики — нововведении того времени, когда Никсон обрисовал фундаментальные основы своей внешней политики.

«Доктрина Никсона» дала объяснение тому парадоксу, что обе послевоенные кампании Америки военного характера — Корея и Вьетнам — осуществлялись ради стран, по отношению к которым у Америки не было официальных обязательств, и в регионах, которые формально находились вне сферы деятельности оборонительных союзов. Применительно к этим регионам доктрина Никсона находила средний путь между перенапряжением и самоустраниением посредством установления трех критериев американской вовлеченности:

«Соединенные Штаты будут верны своим договорным обязательствам.

Соединенные Штаты „обеспечат щит на случай, если одна из ядерных держав будет угрожать свободе союзной нам нации или нации, чье выживание жизненно важно с точки зрения нашей безопасности”.

В случаях неядерной агрессии Соединенные Штаты „позаботятся о нации, испытывающей непосредственную угрозу, и примут на себя основную ответственность по обеспечению живой силы для организации обороны”».[960]

Реальность, однако, с трудом укладывалась в рамки формальных критериев. Заверения в том, что Америка будет верна принятым на себя обязательствам, были ударом железной палки по днищу пустого ведра; как и уверения в целомудрии, они не отличались особой убедительностью, ибо вряд ли отказ от обязательств мог быть громогласно провозглашен до начала событий. При любых обстоятельствах ключевым вопросом ядерной эры было не соблюдение обязательств как таковых, а их определение и толкование. «Доктрина Никсона» не содержала указаний на то, как следует разрешать разногласия между союзниками по поводу ядерной стратегии: то есть будет ли использовано ядерное оружие вообще, а если да, то, грубо говоря, на

чьей территории; будут ли союзники полагаться на ядерную войну всеобщего характера, которая в основном затронет сверхдержавы, или на некую версию стратегии «гибкого реагирования», которая преимущественно ставила под удар территории жертв агрессии.

Заявление, гласящее, что Соединенные Штаты обеспечат щит для стран, «чьё выживание жизненно важно с точки зрения нашей безопасности», в случае если им будет угрожать ядерная держава, содержало в себе два противоречия: если Соединенные Штаты защищают страны, жизненно важные для нашей безопасности, только тогда, когда им угрожает ядерная держава, как поведут себя Соединенные Штаты, если стране, жизненно важной для нашей безопасности, будет угрожать неядерная держава или если эта ядерная держава предпочтет не применять ядерное оружие? А если поддержка перед лицом ядерной угрозы более или менее автоматическая, то нужны ли официально оформленные оборонительные союзы?

«Доктрина Никсона» также требует от находящихся под угрозой стран принимать на себя большее бремя применительно к защите при помощи обычных вооружений. Но что будет делать Америка, если страна, находящаяся под угрозой, будет рассчитывать на американскую поддержку независимо от того, сможет ли она нести свою долю усилий по обеспечению обороны — особенно перед лицом давления со стороны ядерной державы? По иронии судьбы упор, который делала администрация Никсона на обеспечение собственных национальных интересов, потенциально таил в себе стимул для прочих наций проигнорировать призыв к совершению больших усилий в области обороны. Ибо если определяющими на деле являются именно национальные интересы, то Америка обязана будет защищать любую территорию, значимую с точки зрения собственной безопасности, независимо от достоинств жертвы или ее вклада в обеспечение всеобщей безопасности. Вот тут-то и таятся все дилеммы, которые позднее выступят на передний план под рубрикой распределения бремени усилий в области обороны между всеми союзниками.

Отсюда следует, что «доктрина Никсона» имела в первую очередь отношение к кризисам в периферийных районах мира, не покрываемых официальными оборонительными союзами и испытывающих угрозу со стороны каких-нибудь советских марионеток, причем, как выяснилось, таких кризисов оказалось весьма немного. Пытаясь выработать «доктрину» для избежания повторного конфликта типа

вьетнамского, администрация Никсона разработала такую доктрину, которая прежде всего относилась как раз к ситуациям, подобным вьетнамской, то есть таким, какие администрация была преисполнена решимости не повторять.

При этом к тому моменту, как Никсон вступил в должность, сами по себе отношения между Востоком и Западом крайне нуждались в пересмотре. Конфликт с Советским Союзом породил глобальные обязательства Америки, и требовалось заново рассмотреть стратегию этого конфликта в свете вьетнамской травмы. К тому же пересмотр становился затруднительным из-за того, что на протяжении всего периода «холодной войны» значительная часть внутренних споров относительно политики сдерживания велась в классически американских категориях, исключая геополитику, когда одна из групп рассматривала внешнюю политику как раздел теологии, а ее оппоненты рассматривали внешнюю политику как раздел психиатрии.

Авторы политики «сдерживания» — Ачесон, Даллес и их коллеги, — несмотря на всю свою искушенность в вопросах внешней политики, рассматривали творение рук своих в основном под теологическим углом зрения. Поскольку они полагали, что советское стремление к мировому господству является врожденным, они не считали советских лидеров подходящими партнерами по переговорам, пока Кремль не откажется от своей идеологии. А поскольку основная задача американской внешней политики представлялась как обеспечение возможности свержения советской власти, всеобъемлющие переговоры или даже дипломатическая к ним подготовка являлись бесцельными (если не аморальными), пока достижение «позиции силы» не повлечет за собой перемену в постановке Советами целей и задач.

Общество, лишенное опыта в области неразрешимых конфликтов и обладающее всепобеждающей верой в компромисс как средство разрешения споров, оказывается в затруднении, когда от него требуется сохранять терпение при осуществлении столь косного курса. Многие из тех, кто верил в моральные аксиомы Ачесона и Даллеса, пытались ускорить наступление переговоров заявлениями о том, что советская система уже переродилась или находится на грани перерождения. Жажда американской общественности положить конец конфронтации сделала даже неумолимых последователей принципа «сдерживания» уязвимыми по отношению к изменениям в атмосфере, соответственно получившим наименование «духа Женевы» или «духа Кемп-Дэвида», когда государственным секретарем был Даллес.

Согласно учению «психиатрической школы», советские лидеры не слишком отличались от американских в своем стремлении к миру. Они вели себя непримиримо отчасти потому, что Соединенные Штаты вынуждали их чувствовать себя неуверенно. «Психиатрическая школа» призвала к терпению, с тем чтобы усилить миролюбивое звено советского руководства, которое, как утверждали, делилось на «ястребов» и «голубей» почти точно так же, как и американское правительство. Общенациональные дебаты во все большей и большей степени сводились к тому, сколь масштабны внутренние перемены в Советском Союзе, но не способны были разрешить основополагающую дилемму политики «сдерживания», не знающей середины между конфронтацией и статус-кво и не способной ответить на вопрос, по поводу чего вести переговоры.

В начале 70-х годов обеим этим школам общественной мысли бросил вызов новый радикализм. Подход Генри Уоллеса времен 40-х годов был возрожден из небытия и снабжен новыми ярлыками, порождавшими гораздо более потрясающую риторику, ставящую концепцию «сдерживания» вверх ногами. Новый радикализм не только утверждал, как и его предтечи, что Америка не имеет морального права выступать против коммунизма, но и заявлял, будто бы противостояние коммунизму на самом деле коммунизм укрепляет. В соответствии с концепцией нового радикализма коммунизм нуждается не в «сдерживании», а в выживании. Ибо в конце концов сама история нанесет ему поражение, если он этого поражения заслуживает.

Описывая марш на Вашингтон, романист Норман Мейлер обобщает подобную точку зрения, защищая безоговорочный уход из Вьетнама:

«...Если коммунисты победят в Азии... возникнут фракции, ереси и секты... Поэтому оставление Азии будет в точности равносильно обеспечению равновесия сил... Чем большей будет экспансия коммунизма, тем монументальнее будут встающие перед ним проблемы, тем более вялыми окажутся его попытки завоевать весь мир. Экспансия коммунизма сама по себе является фактором его сдерживания»[961].

Утверждая, что коммунизм скорее будет побежден своими победами, и только ими, а не противодействием со стороны Америки, новый радикализм проповедовал нечто противоположное теории «сдерживания». Поскольку перенапряжение лежит в основе коммунистической слабости, чем далее будет продвигаться коммунизм, тем очевиднее он рухнет. Заявление, будто бы самоустранение Америки от дела сопротивления

коммунизму будет способствовать победе над ним, поистине является писательским парадоксом.

Поэтические мудрствования Мейлера были подкреплены тезисами гораздо более академически искушенного аналитика, который уже не выражал столь явной идиосинкразии. «Теория конвергенции», развернутая таким интеллектуальным тяжеловесом, как Джон Кеннет Гэлбрейт[962], по сути дела, утверждала, будто для Америки бессмысленно идти на крупный риск и противостоять коммунизму, когда оба общества неминуемо приобретут все большее и большее сходство в силу естественного хода событий.

Отношения между Востоком и Западом достигли мертвой точки. Традиционная концепция «сдерживания» завела в дипломатический тупик. Его основной альтернативой являлась ересь, которая предполагала отказ от всех фундаментальных положений, лежавших в основе политики «сдерживания» на протяжении жизни целого поколения. И все же ни один ответственный американский президент не мог просто так вверить судьбу страны предполагаемым силам истории. В конце концов не было утешением для Карфагена то, что через несколько сот лет после того, как он будет стерт с лица земли римскими завоевателями, Рим тоже исчезнет.

Никсон отверг все три школы общественной мысли и занялся утверждением национальных интересов в качестве базового критерия долгосрочной американской внешней политики. Самым главным инструментом подобных усилий, стал ежегодный президентский доклад по вопросам внешней политики. Начиная с 1970 года было опубликовано четыре таких доклада. Подготовленные моим аппаратом и мною лично, эти доклады отражали точку зрения президента и публиковались от имени Никсона. Для любых подобных заявлений авторство менее важно, чем принятие президентом ответственности за их содержание. Хотя эти доклады обрисовывали концептуальные подходы новой администрации, преуспели они в этом не полностью. Средства массовой информации, настроенные скорее на события, чем на концепции, в значительной части содержание этих документов проигнорировали, за исключением разделов, относящихся к Вьетнаму. А иностранные руководители трактовали эти документы как аппаратные произведения, которыми стоит заняться лишь тогда, когда на деле возникнут обстоятельства, в них описанные.

Тем не менее для человека, изучающего этот период, эти документы являются

наилучшим путеводителем в мире внешней политики эпохи Никсона, равно как и для журналистов, и для иностранных руководителей. Последние, как выяснилось, не обратили внимания на ряд очевидных намеков, увлекшись повседневными материалами дипломатических сообщений. Лейтмотивом этих докладов являлось то, что отныне американская внешняя политика будет нацелена на анализ национальных интересов. Утверждалось, что Америка будет заниматься делами политического характера, а не демонстрацией правовых принципов. В первом же ежегодном докладе президента по вопросам внешней политики, представленном 18 февраля 1970 года, говорилось:

«Нашей целью в первую очередь является подкрепление наших интересов в долгосрочном плане при помощи здоровой внешней политики. Чем более эта политика базируется на реалистической оценке наших и чужих интересов, тем более эффективной становится наша роль в мире. Мы связаны с миром не потому, что у нас имеются обязательства; у нас имеются обязательства потому, что мы связаны с миром. Наши интересы должны определять наши обязательства, а не наоборот»[963].

В британском или французском документе государственного характера такого рода заявления были бы восприняты как трюизмы, и никто не считал бы необходимым особо это подчеркивать. В Америке же для президента было беспрецедентным строить свою внешнюю политику на откровенном утверждении национальных интересов. Никто из предшественников Никсона на протяжении этого столетия — за исключением Теодора Рузвельта — не трактовал американский идеализм как один фактор из числа многих, а будущее — в рамках постоянной вовлеченности в противоположность конкретным крестовым походам с четко определенными конечными целями.

Что касается отношений с Советским Союзом, указывалось в докладе, американская политика будет базироваться на доскональном понимании характера советской системы, не допуская ни недооценки глубины коммунистической идеологической убежденности, ни рабского следования иллюзии, будто коммунистические лидеры «уже отказались от своих верований или готовы это сделать...»[964]. Не позволит себе Америка и эмоциональной зависимости от отношений с Советским Союзом. Критерием прогресса будет суть конкретных договоренностей, отражающих взаимные интересы, а не атмосферу. Что самое главное, ослабление напряженности должно иметь место на широком фронте:

«Мы будем видеть в наших коммунистических оппонентах в первую очередь нации, преследующие свои собственные интересы в том виде, как они им представляются, точно так же, как мы следуем нашим собственным интересам... Мы будем оценивать своих оппонентов по их делам, и такой же оценки по отношению к нам ожидаем от них. Конкретные договоренности и способ достижения мира, вырабатываемый при их помощи, будут проистекать из реалистического приспособления конфликтующих интересов друг к другу»[965].

Доклад 1971 года повторно проводил ту же тему. «Внутреннее устройство СССР как таковое не является предметом нашей политики, хотя мы не скрываем нашего неприятия многих его черт. Наши отношения с СССР, как и с другими странами, определяются его поведением в международном плане»[966].

Упор на национальные интересы не мог не вызвать интенсивной атаки консерваторов, особенно после окончания Вьетнамской войны и уменьшения стремления к ослаблению международной напряженности. Истинная проблема заключалась, однако, вовсе не в том, полагается ли Никсон в чрезмерной степени на советских руководителей, как следовало из критических замечаний того времени. Такой упрек был абсурдом, ибо известна приверженность Никсона конкретным обстоятельствам и пессимистический взгляд его на сущность человеческой природы. Но вот вопрос: является ли эта стратегия наилучшей, чтобы пресечь советский экспансионизм? Никсон верил в то, что в хаосе Вьетнама национальные интересы — наилучший критерий противостояния коммунистическому экспансионизму и обеспечения общественной поддержки. Критики же его считали упор на национальные интересы формой морального разоружения.

С учетом решимости предотвратить дальнейшее распространение коммунизма, точка зрения администрации Никсона была неотличима как от точки зрения ее предшественников — Ачесона и Даллеса, так и от точки зрения ее преемника Рейгана. Даже в разгар Вьетнамской войны администрация Никсона болезненно реагировала на любую возможную геополитическую или стратегическую угрозу со стороны Советского Союза. Так было в 1970 году в связи со строительством советской военно-морской базы на Кубе, по поводу перемещения советских ракет класса «земля — воздух» в направлении Суэцкого канала и в ответ на сирийское вторжение в Иорданию. То же — в 1971 году, когда Никсона не устроила советская роль в индо-

пакистанской войне; и в 1973 году — когда последовала непрямая угроза Брежнева относительно возможности непосредственного военного вмешательства в арабо-израильскую войну. Точно так же вела себя и администрация Форда, реагируя на направление кубинских войск в Анголу.

В то же время подход администрации Никсона к проблеме «сдерживания» отличался от подхода Ачесона и Даллеса, поскольку Никсон не считал внутреннюю трансформацию советского общества предварительным условием переговоров. Никсон разошелся с авторами теории «сдерживания» и избрал путь, наиболее близкий Черчиллю, который в 1953 году после смерти Сталина призывал к переговорам с Москвой. Никсон верил в то, что процесс переговоров и длительный период мирного соревнования ускорят трансформацию советской системы и укрепят демократии.

То, что Никсон называл эпохой переговоров, породило стратегию, позволившую Америке взять в свои руки дипломатическую инициативу, пока еще шла война во Вьетнаме. Целью Никсона было ограничить деятельность движения за мир вьетнамской проблемой и не дать ему парализовать все направления американской внешнеполитической деятельности. Подход Никсона не был чисто тактическим. Он и его советники полагали, что существовало вполне возможное временное совпадение интересов обеих ядерных сверхдержав применительно к ослаблению напряженности. Ядерный баланс, похоже, приближался к состоянию стабильности или мог быть сделан таковым либо в одностороннем порядке, либо через переговоры по контролю над вооружениями. Америке требовалась передышка от Вьетнама. Нужно было выстроить новую политику для послевьетнамской эры. У Советского Союза, возможно, тоже были еще более основательные причины искать передышки. Сосредоточение советских дивизий на китайской границе наталкивало на мысль, что Советский Союз, испытывая напряженность на двух фронтах, удаленных друг от друга на тысячи миль, может проявить готовность к поиску политических решений, связанных с Америкой. Особенно если нам удастся продолжить путь в Китай, что, кстати, и явилось краеугольным камнем стратегии Никсона. Независимо от идеологической убежденности, советское руководство могло быть в достаточной степени готово поставить многое на карту ради установления отношений с Западом и отсрочки конфронтации. С нашей точки зрения, чем дольше откладывалась советская конфронтация с Западом, тем все неуправляемей становилась задача удержания

советской империи, особенно если ее политические проблемы усугублялись экономической стагнацией. Иными словами, Никсон и его советники полагали, что время работает на Соединенные Штаты, а не на коммунистический мир.

Взгляд Никсона на Москву отличался от взгляда его предшественников наличием множества нюансов. Никсон воспринимал отношения с Советским Союзом не как аксиому типа «все или ничего», но как смесь проблем, разрешимых в разной степени. Он осмелился свести воедино весь пестрый хаос частных, из которых складываются взаимоотношения сверхдержав, и выработать на этой основе подход общего характера, который не был бы полностью конфронтационным (как у «теологов») или полностью примиренческим (как у «психиатров»). Идея заключалась в том, чтобы подчеркнуто выявить те области, по которым сотрудничество представлялось возможным, и использовать это сотрудничество как рычаг для воздействия на Советы там, где обе страны были на ножах. Именно это, а не карикатурное утрирование, характерное для последующих дебатов, администрация Никсона понимала под словом «разрядка».

Существовало множество препятствий, мешавших политике «взаимосвязанных решений» — то есть увязыванием сотрудничества в одной области с прогрессом в другой. Чуть ли не одержимость многих влиятельных американцев идеей контроля над вооружениями оказалась одним из таких подводных камней. Переговоры по разоружению в 20-е годы, которые были сосредоточены на снижении уровня вооружений до безопасных размеров, потерпели катастрофическую неудачу. Цель эта в ядерный век оказалась еще более сложной, поскольку «безопасный» уровень ядерных вооружений содержит в себе терминологическое противоречие. Никто также не мог измыслить, как проверить достижение предписанных низких уровней на столь обширной территории, как Советский Союз. Только по мере приближения к концу «холодной войны» началось настоящее сокращение вооружений. Однако на протяжении 60-х и 70-х годов разоружение было сведено к устранению конкретных, определенных опасностей, причем наиболее значительными были усилия по предупреждению внезапного нападения, — это предприятие проходило под названием контроля над вооружениями.

Политики вовсе не предполагали, что сокращение риска внезапного нападения станет ключевым пунктом переговоров по контролю над вооружениями. Здравый

смысл, казалось, предполагал, что огромный разрушительный потенциал сверхдержав перечеркнет возможности друг друга и каждая сторона окажется в состоянии нанести непоправимый урон вне зависимости от того, что сделает противник. Затем в 1959 году в одной из действительно оригинальных статей периода «холодной войны» тогдашний аналитик «Рэнд Корпорейшн» Альберт Вольштеттер показал, что здравый смысл не является адекватным руководством для ядерных взаимоотношений. Тот факт, что ядерное оружие транспортировалось на самолетах, сосредоточенных на относительно немногих базах, мог сделать технически возможным уничтожение стратегических сил противника еще до введения их в действие[967]. В подобных обстоятельствах нападающая сторона могла бы свести ответный удар до терпимого уровня и оказаться в положении, при котором она была бы в состоянии диктовать свою волю. По той же схеме страх перед внезапным нападением может повлечь за собой упреждающий удар, то есть нападение, целью которого является лишь предупреждение предполагаемого внезапного нападения.

Согласно Вольштеттеру, ядерное равновесие на деле в высшей степени нестабильно. Предполагаемый разрыв между так называемыми возможностями первого и второго удара превратился в предмет одержимости у аналитиков, занимающихся проблемами обороны, и экспертов по контролю над вооружениями. Возникла идея, будто бы обе стороны, возможно, заинтересованы в переговорном процессе, чтобы уберечь себя от крайней опасности. На академических семинарах в Гарварде, Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде и Калифорнийском технологическом разрабатывались теории и практические предложения по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, которые занимали умы политиков на протяжении последующих двух десятилетий.

Статья Вольштеттера имела такое же значение для стратегического анализа, как кеннановская статья 1947 года, опубликованная под псевдонимом «Икс», — для анализа политического. Начиная с того времени дипломатия контроля над вооружениями концентрировала свои усилия на ограничении состава и операционных характеристик стратегических сил, чтобы снизить до минимума риск внезапного нападения.

Но контроль над вооружениями породил собственные сложности. Предмет был до такой степени деликатный и понятный лишь посвященным, что лишь увеличивал

тревоги как политиков, так и широкой публики. С одной стороны, чересчур упрощался характер проблемы. Решение начать ядерную войну должно было приниматься не учеными, знакомыми с этим оружием, но перепуганными политическими лидерами, знающими, что малейший просчет разрушит их собственное общество, если не цивилизацию вообще. Ни одна из сторон не обладала оперативным опытом, относящимся к новой технике, и для того, чтобы взять верх в ядерной войне, надо было бы одновременно запустить тысячи ядерных боеголовок. Однако за весь период «холодной войны» Советский Союз ни разу не испытывал более трех ракет одновременно, а Соединенные Штаты ни разу не запустили даже одной ракеты из шахт оперативного назначения (дело в том, что американские шахты оперативного назначения расположены в центре страны, а Вашингтон боялся возникновения лесных пожаров в случае падения на землю испытательной ракеты. Такова была степень доверия!).

Таким образом, опасность внезапного нападения еще и преувеличивалась обеими группировками с взаимоисключающими целями: теми, кто хотел значительного увеличения военного бюджета, чтобы уберечься от опасности внезапного нападения, и теми, кто пугал опасностью внезапного нападения для того, чтобы резко сократить военный бюджет. Поскольку вопросы являлись до предела сложными, выигрывал тот, кто говорил с большей убедительностью. При этом все до такой степени находилось во власти эмоций, что даже трудно было сказать, пришли ли эксперты к своим выводам в результате научной проработки вопроса или воспользовались наукой, чтобы подкрепить заранее принятые решения относительно желаемых выводов, — чаще имело место как раз последнее. Можно было только пожалеть политиков, которые становились заложниками ученых с широчайшим разбросом мнений, посвятивших больше лет на изучение ядерных проблем, чем политики — часов, отпущенных на их рассмотрение. Дебаты по поводу столь зыбких материй, как уязвимость, точность попадания и предсказуемость результата, приобрели запутанный характер средневековых диспутов теологического свойства, где на деле суть заслонялась последствиями долговременных философских разногласий, относящихся еще к первым дням появления концепции «сдерживания».

Во время напряженнейших дебатов по вопросам контроля над вооружениями в 70-е годы консервативные критики предупреждали о ненадежности советских

руководителей и враждебности советской идеологии. Защитники контроля над вооружениями подчеркивали роль соглашений по контролю над вооружениями в деле создания общей разреженной атмосферы независимо от конкретных достоинств отдельных соглашений. Возрождался старый спор между «теологами» и «психиатрами», ныне рядившийся в технологические одежды.

Поначалу контроль над вооружениями просто составлял часть теории «сдерживания». Опора на «позицию силы» была подкреплена с каждой из сторон концепцией контроля над вооружениями, введенной, чтобы сделать «сдерживание» менее опасным. Со временем стало очевидно, что контроль над вооружениями превращал «сдерживание» в нечто более длительное. Все реже и реже говорили о политическом урегулировании, и почти не делалось попыток вести переговоры по этому поводу. И действительно, чем безопаснее представлялся мир тем, кто занимался контролем над вооружениями, тем меньше причин находили государственные деятели для того, чтобы покидать насиженные позиции и бросаться в не обозначенное на картах море политических договоренностей.

Кризисы возникали и рассасывались. Отдельные вспышки имели место от Юго-Восточной Азии до Карибского моря и Центральной Европы, но обе стороны, казалось, ждали, когда под воздействием исторической эволюции произойдет более или менее автоматический крах оппонента. А в перерыве, пока не станет ясно, чья точка зрения на историческую эволюцию победит, жизнь будет сделана более терпимой путем переговоров по контролю над вооружениями. Получалось, что международная ситуация обречена на застой: политическая доктрина («сдерживание») не давала ответа по поводу гонки вооружений, а стратегическая теория (контроль над вооружениями) не содержала в себе решений для политического конфликта.

Вот в какой атмосфере Никсон вступил в должность и сразу же испытал на себе давление. Конгресса и средств массовой информации. Ему вменялось в обязанность как можно скорее приступить к переговорам с Советами по поводу контроля над вооружениями. Он же не имел никакого желания заниматься дипломатической деятельностью, игнорируя тот факт, что прошло всего шесть месяцев после того, как советские войска оккупировали Чехословакию. Как минимум, он не хотел допускать, чтобы контроль над вооружениями превратился в предохранительный клапан для

советского экспансионизма. Администрация Никсона решилась выяснить, нельзя ли воспользоваться советской готовностью умиротворить администрацию, которую советская сторона считала более сильной, чем предыдущая, — и следовательно, представляющей большую угрозу для советских интересов. Предполагалось заставить Советы пойти на сотрудничество в устранении угрозы Берлину, ослаблении напряженности на Ближнем Востоке и, что самое главное, в деле окончания войны во Вьетнаме. Этот подход был назван «увещевания» и вызвал множество решительных возражений.

Одна из главнейших задач, стоящих перед государственным деятелем высшего уровня, — уяснить, какие вопросы действительно связаны друг с другом и как ими можно воспользоваться, чтобы усилить свою позицию по каждому из них. В большинстве случаев политик не обладает возможностью выбора; в итоге события связывает друг с другом реальность, а не политика. Роль государственного деятеля заключается в том, чтобы распознать взаимосвязь там, где она существует на деле, — иными словами, создать цепь стимулов и запретов, добиваясь наиболее благоприятного исхода.

Эту точку зрения Никсон выразил в письме членам кабинета, связанным с вопросами национальной безопасности, 4 февраля 1969 года, то есть через две недели после принесения присяги при вступлении в должность президента:

«...Я безоговорочно верю в то, что кризис или конфронтация, с одной стороны, и реальное сотрудничество, с другой, не могут идти рука об руку продолжительное время. Я понимаю, что предыдущая администрация придерживалась того мнения, что, если у нас с СССР появляется общий интерес по какому-либо вопросу, мы должны стремиться к достижению соглашения, оставляя в стороне прочие конфликтные ситуации. Возможно, это вполне пригодно в области культурных и научных обменов. Но, что касается критических проблем нынешнего времени, я уверен, что мы должны стремиться к продвижению на достаточно широком фронте, чтобы дать понять, что мы видим определенную взаимосвязь между политическими и военными проблемами»[968].

Дебаты по поводу «увещевания» продолжались достаточно долго, чтобы затуманить всю простоту основополагающих предложений команды Никсона. «Холодная война» представляла собой противостояние между двумя сверхдержавами. Никсон сказал не

больше — но и не меньше — того, что, с его точки зрения, было бы абсурдным выбирать для улучшения ситуации одну из областей взаимоотношений и продолжать конфронтацию в остальных. Избирательный подход к ослаблению напряженности представлялся советникам Никсона стратегией, гарантирующей подрыв позиций демократических стран. Полнейшей бессмыслицей выглядело использование столь сложного и специфичного вопроса, как контроль над вооружениями, в качестве лакмусовой бумажки для определения перспектив мира, в то время как советское оружие подпитывало конфликт на Ближнем Востоке и убивало американцев во Вьетнаме.

Концепция «увещевания» вызвала штормовую погоду в обители специалистов по международным отношениям. Американская внешнеполитическая бюрократия в основном укомплектована за счет лиц, которые посвятили себя тому, что в американском обществе считается не совсем нормальной карьерой, ради возможности провозглашать и претворять в жизнь свои взгляды по поводу усовершенствования мира. Более того, их мнения проверяются системой, в которой политика рождается в результате бюрократических схваток, результат которых, как позднее подчеркнул государственный секретарь Джордж Шульц, никогда не бывает окончательным. Раздробленная на серии конкретных, а по временам изолированных друг от друга инициатив, касающихся в высшей степени специфических проблем, американская внешняя политика весьма редко трактуется с точки зрения какой-либо обобщающей концепции. У ведомственного подхода — с точки зрения текущего момента — больше горячих приверженцев, чем у обобщающей стратегии просто сторонников. Нужен невероятно сильный и решительный президент, знающий все вашингтонские ходы и выходы, чтобы поломать эту традицию.

Попытка Никсона увязать начало переговоров по стратегическим вооружениям с прогрессом по политическим вопросам шла вразрез со страстной убежденностью специалистов по контролю над вооружениями, которые жаждали ограничить гонку вооружений. Недовольны были и специалисты по СССР, убежденные в том, что американская внешняя политика должна подкреплять позиции кремлевских «голубей» против «ястребов» во время их предполагаемых политических споров. Бюрократия «располовинила» политическую линию, очерченную в письме президента, провозгласив контроль над вооружениями как самоцель и преднамеренно организовав

поступление подобной информации в прессу. Хотя эти сведения никогда не были «санкционированы», они также никогда не были дезавуированы. В «Нью-Йорк тайме» от 18 апреля 1969 года «официальные источники» объявляли соглашения по вопросам вооружений с Советским Союзом «преобладающей целью внешней политики Никсона»[969]. 22 апреля «Таймс» ссылалась на «американских дипломатов», предсказывающих начало переговоров по ограничению стратегических вооружений («ОСВ») в июне[970]. 13 мая «Вашингтон пост» цитировала источники, связанные с администрацией, в том смысле, что не позднее 29 мая будет установлена дата начала переговоров[971]. Этот совокупный нажим в сторону прогрессивного изменения заранее объявленной позиции Никсона никогда не проявлялся, как вызов в лоб; вместо этого применялась тактика публикаций изо дня в день таких комментариев, которые сглаживали углы, формируя позицию, предпочтительную для бюрократии.

Аналитики из неправительственных кругов вскоре выступили с собственными критическими замечаниями. 3 июня 1969 года «Нью-Йорк тайме» назвала американские торговые ограничения, увязываемые с прочими вопросами, «самоубийственными». Они были названы «порождением политики «холодной войны», «несовместимыми с теорией, выдвинутой администрацией Никсона, будто бы уже настало время переходить от эпохи конфронтации к эпохе переговоров и сотрудничества»[972]. «Вашингтон пост» выдвигала подобный же аргумент. «Реальность — вещь чересчур сложная и щекотливая, — писала она 5 апреля, — чтобы позволить любому из президентов поверить в то, что он сможет рассадить на одном насесте самых разных уток. Контроль над вооружениями обладает независимой ценностью и срочностью и не имеет никакого отношения к разрешению политических вопросов»[973]. Никсон намеревался расширить рамки диалога с Москвой путем отсрочки переговоров по ОСВ. Бюрократический маятник и основополагающие разногласия в сочетании друг с другом пускали на ветер те преимущества, которые Никсон намеревался приберечь на будущее.

И потому было бы неверно заявить, что подход администрации увенчался успехом с самого начала. В апреле 1969 года окончилась провалом попытка направить будущего государственного секретаря Сайруса Вэнса в Москву, наделив его полномочиями одновременного ведения переговоров по ограничению стратегических вооружений и по Вьетнаму[974]. Эти два вопроса оказались несоизмеримы; исход переговоров по

стратегическим вооружениям был чересчур неопределенным, ханойское руководство оказалось сверх меры упрямо, а график времени, потребного для каждого из направлений переговоров, синхронизировался с огромным трудом.

Но в результате Никсону и его советникам удалось преуспеть в благоприятном сочетании отдельных направлений политики. Принцип «увещевания» заработал, поскольку администрация Никсона сумела создать основополагающий стимул для советской умеренности, добившись прорыва в китайском направлении. Один из элементарных уроков для начинающих шахматистов гласит: при выборе хода нет ничего хуже, чем не сделать предварительного подсчета клеток, попадающих под контроль при каждом из потенциальных ходов. В общем и целом, чем большим числом клеток оперирует игрок, тем шире у него выбор и тем ограниченнее выбор у его оппонента. Точно так же и в дипломатии: чем больше вариантов находится в распоряжении одной из сторон, тем меньше их остается на долю другой стороны и тем более осторожно она должна себя вести, добиваясь собственных целей. И такое положение дел должно со временем стать стимулом для оппонента стремиться к тому, чтобы из оппонентов перейти в союзники.

Если бы Советский Союз больше не мог рассчитывать на постоянную враждебность друг к другу самых могущественных наций мира — тем более если эти две нации на деле приступили к организации взаимного сотрудничества, — пределы советской неуступчивости сузились бы, а может быть, даже вообще бы исчезли. Советские руководители вынуждены были бы соразмерять свои требования, поскольку угрожающее поведение укрепляло бы китайско-американское сотрудничество. В обстановке конца 60-х годов улучшение китайско-американских отношений становилось для стратегии администрации Никсона применительно к Советскому Союзу ключевым фактором.

Историческое чувство дружбы между Америкой и Китаем разрушилось, когда коммунисты победили в гражданской войне в 1949 году и вступили в войну в Корею в 1950-м. На его место пришла политика преднамеренной изоляции коммунистических правителей в Пекине. Наглядным символом подобного рода умонастроений был отказ Даллеса пожать руку Чжоу Эньлаю на Женевской конференции 1954 года по Индокитаю, и память об этом у китайского премьера вовсе не стерлась, когда тот приветствовал меня в Пекине через семнадцать лет и осведомился, был ли я среди тех

американцев, которые отказались пожать руки китайским руководителям.

Единственный действующий дипломатический контакт между двумя нациями осуществлялся через соответствующих послов в Варшаве, да и те во время своих нерегулярных встреч обменивались нападками друг на друга. Во время китайской «культурной революции» конца 60 — 70-х годов, число жертв которой сопоставимо со сталинскими чистками, все китайские послы (за исключением, в силу каких-то непостижимых причин, посла в Египте) были отозваны в Китай, что прервало варшавские переговоры и лишило Вашингтон и Пекин каких-либо дипломатических и политических контактов вообще.

Интересно, что лидерами, впервые осознавшими возможности, проистекающие из китайско-советского разрыва, оказались два ветерана европейской дипломатии: Аденауэр и де Голль. Аденауэр, полагаясь на только что прочитанную им книгу, заговорил об этом где-то в 1957 году, хотя Федеративная Республика была еще не в состоянии вести глобальную политику. Де Голль не ощущал для себя ни малейших ограничений. Он верно вычислил в начале 60-х годов, что у Советов возникают серьезные проблемы на всем протяжении обширной границы с Китаем, и это заставит их в большей степени склоняться к сотрудничеству в своих отношениях с Западом. Будучи де Голлем, он верил, что этот факт позволит ускорить франко-советскую разрядку. С учетом наличия у Москвы китайской проблемы Москва и Париж могли соответственно провести переговоры по устранению «железного занавеса» и добиться осуществления мечты де Голля о «Европе от Атлантики до Урала». Но деголлевская Франция ни в коей мере не обладала достаточной силой для проведения подобной дипломатической революции. Москва не видела в Париже равного партнера для разрядки. Однако хотя политические выводы де Голля были искажены видением через французскую призму, лежащий в основе их анализ отличался точностью. В течение продолжительного времени американские политики, ослепленные идеологическими предвзятостями, так и не могли осознать, что советско-китайский разрыв представлял собою стратегические возможности для Запада.

Американское общественное мнение относительно Китая в том виде, в каком оно тогда сложилось, оказалось разделенным знакомыми разграничительными линиями «холодной войны». Небольшая группа синологов рассматривала раскол, как психологический; они настаивали на том, чтобы Америка пошла навстречу китайским

обидам и предоставила все китайские права в Организации Объединенных Наций Пекину, а также ослабила напряженность посредством широкомасштабных контактов. Абсолютное большинство информированных лиц, однако, считало коммунистический Китай неизлечимо экспансионистским, фанатично идеологизированным и безоговорочно преданным идее мировой революции. Америка в значительной степени пошла на вовлеченность в Индокитае, чтобы разгромить «коммунистический заговор», устроенный, как она предполагала, Китаем с целью захвата Юго-Восточной Азии. Как ранее применительно к Советскому Союзу, утверждалось, что китайская коммунистическая система обязательно должна трансформироваться, прежде чем с нею можно будет вести переговоры.

Это мнение получило подтверждение из неожиданных источников. Советологи, которые уже на протяжении десятилетия настаивали на постоянном диалоге с Москвой, придерживались совершенно противоположной точки зрения в отношении Китая. Еще в начале первого срока пребывания Никсона на посту президента группа бывших послов в Советском Союзе, обеспокоенная первыми пробными поисками контактов с Пекином, высказала президенту серьезную озабоченность. Советские руководители, настаивали они, были преисполнены такой паранойей по отношению к коммунистическому Китаю, что любая попытка улучшить американские отношения с Пекином повлечет за собой абсолютно неприемлемый риск конфронтации с Советским Союзом.

Администрация Никсона не разделяла подобные взгляды на международные отношения. Исключать такую огромную страну, как Китай, из сферы деятельности американской дипломатии означало бы, что Америка действует на международной арене с одной рукой, завязанной за спиной. Мы были убеждены, что рост многовариантности в американской внешней политике смягчит, а не ужесточит поведение Советов. Политическое заявление, составленное мною для Нельсона Рокфеллера, выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента от республиканской партии в 1968 году, гласило: «...Я начну диалог с коммунистическим Китаем. В треугольнике отношений между Вашингтоном, Пекином и Москвой мы найдем для себя возможности урегулирования с каждым оппонентом, поскольку мы расширяем границы выбора применительно к обоим»[975]. Никсон высказывал идентичные воззрения еще ранее, но языком, более приспособленным к традиционным

американским понятиям относительно мирового сообщества. В октябре 1967 года он писал в журнале «Форин аффэрз»:

«С долгосрочной точки зрения мы просто не можем себе позволить вечно держать Китай вне пределов семьи наций, заставляя его лелеять свои фантазии, вынашивать ненависть и угрожать соседям. Эта планета слишком мала, чтобы один миллиард потенциально наиболее способных людей жил бы на ней в злобной изоляции»[976].

Вскоре после того, как Никсон был выдвинут кандидатом на пост президента, он стал выражаться более конкретно. В журнальном интервью в сентябре 1968 года он заявил: «Мы не должны забывать про Китай. Следует все время изыскивать возможности для разговора с ним, так же как и с СССР... Мы не можем просто ждать перемен, наша задача — эти перемены осуществить».[977]

По ходу дела Никсону удалось достичь своей цели, хотя для Китая стимулом присоединения к сообществу наций послужили скорее не перспективы диалога с Соединенными Штатами, но страх нападения со стороны мнимого союзника — Советского Союза. Администрация Никсона; поначалу не осознавшая такого аспекта китайско-советских отношений, обратила на это внимание благодаря усилиям самого Советского Союза. Не в первый и не в последний раз неуклюжая советская политика ускорила то, чего Кремль больше всего опасался.

Весной 1969 года произошла серия столкновений между китайскими и советскими вооруженными силами на отдаленном участке китайско-советской границы вдоль реки Уссури в Сибири. Исходя из опыта истекших двух десятилетий, Вашингтон поначалу не сомневался в том, что эти стычки были спровоцированы фанатичным китайским руководством. Но именно тяжеловесная советская дипломатия заставила в этом усомниться. Ибо советские дипломаты стали предоставлять детальные свидетельства советской версии событий в Вашингтон и заодно спрашивать, как Америка отнесется к тому, если произойдет эскалация этих столкновений.

Беспрецедентная советская готовность консультироваться с Вашингтоном относительно вопроса, по поводу которого Америка не проявила особенной озабоченности, заставила нас задать себе вопрос, не являются ли подобные брифинги зондированием почвы перед советским нападением на Китай. Подозрения только усилились, когда проработка вопроса американской разведкой, на которую ее подтолкнули советские брифинги, показала, что стычки неизменно имели место

неподалеку от крупных советских баз военного снабжения и вдали от центров китайских коммуникаций: такого рода схема соответствовала лишь тому, что агрессором на деле были как раз советские вооруженные силы. Новым подтверждением такого вывода послужил факт беспрецедентного сосредоточения советских сил вдоль всей советско-китайской границы протяженностью в 4 000 миль, численность которых за короткий срок составила свыше сорока дивизий.

Если анализ администрации Никсона был верен, то назревал крупный международный кризис, даже если большинству об этом не было известно. Советское военное вторжение в Китай означало бы самую серьезную угрозу глобальному соотношению сил со времен Кубинского ракетного кризиса. Распространение «доктрины Брежнева» на Китай предполагало бы, что Москва попытается сделать пекинское правительство столь же смиренным и покорным, каким в предшествующем году стало не по своей воле правительство Чехословакии. Наиболее многочисленная из наций мира была бы подобным образом подчинена одной из ядерных сверхдержав — зловещая комбинация! Она привела бы к восстановлению столь опасного китайско-советского блока, монолитный характер которого внушал такой страх в 50-е годы. Способен ли был Советский Союз воплотить на практике подобный проект, до сих пор остается весьма неясным. Однако стало очевидным, особенно для администрации, основывающей свою внешнюю политику на геополитических концепциях, что на такой риск идти нельзя. Если говорить о соотношении сил всерьез, то тогда даже перспектива геополитического переворота должна получить отпор; ибо к тому времени, как перемены действительно произойдут, противодействовать им окажется слишком поздно. Как минимум, стоимость противостояния возрастет в невероятной степени.

Такого рода соображения заставили Никсона принять летом 1969 года два решения чрезвычайного характера. Первое — отказаться от постановки всех тех вопросов, которые являлись содержанием имевшего место китайско-американского диалога. На Варшавских переговорах была разработана повестка дня столь же сложная, сколь и отнимающая время. Каждая из сторон подчеркивала свои обиды: китайские касались будущего Тайваня и китайских активов, секвестрированных в Соединенных Штатах; Соединенные Штаты добивались отказа от применения силы в отношении Тайваня, участия Китая в переговорах по контролю над вооружениями и урегулирования

американских экономических претензий к Китаю.

Вместо этого Никсон решил сосредоточиться на более широких аспектах китайского подхода к диалогу с Соединенными Штатами. В первую очередь следовало определить объем и контуры китайско-советско-американского треугольника. Если бы стало очевидным, что Советский Союз и Китай больше боятся друг друга, чем Соединенных Штатов, у американской дипломатии появились бы беспрецедентные возможности. Если на этой основе отношения улучшатся, традиционные вопросы повестки дня решатся сами собой; если же отношения не улучшатся, традиционные вопросы повестки дня так и останутся неразрешенными. Иными словами, практические вопросы будут решены как следствие китайско-американского сближения, а не в качестве его предпосылки.

Реализуя стратегию превращения мира, основанного на противостоянии двух держав, в стратегический треугольник, Соединенные Штаты предприняли в июле 1969 года серию односторонних инициатив, чем продемонстрировали перемену подхода. Был снят запрет на поездки американцев в Китайскую Народную Республику; американцам было разрешено ввозить в Соединенные Штаты изготовленные в Китае товары на сумму в сто долларов; а также были разрешены ограниченные отгрузки зерна из Америки в Китай. Эти меры, пусть даже незначительные сами по себе, наглядно показывали новаторство подхода Америки к решению накопившихся международных проблем.

Государственный секретарь Уильям П. Роджерс раскрыл суть этих намеков в программной речи, одобренной Никсоном. Он заявил в Австралии 8 августа 1969 года, что Соединенные Штаты приветствовали бы, если бы коммунистический Китай стал играть важную и существенную роль в азиатских и тихоокеанских делах. Если китайские руководители откажутся от интроспективного «видения мира», то Америка «откроет каналы связи». В самом теплом заявлении, сделанном американским государственным секретарем относительно Китая на протяжении двадцати лет, Роджерс привлек внимание к односторонним инициативам, предпринятым Америкой в экономической области, назвав их шагами, предназначенными для того, чтобы «помочь напомнить людям континентального Китая о нашей исторической дружбе с ними»[978].

Но коль скоро имелась реальная опасность советского нападения на Китай летом

1969 года, могло не хватить времени для постепенного развертывания столь сложных маневров. Поэтому Никсон пошел, вероятно, на самый смелый шаг за все время своего пребывания на посту президента и предупредил Советский Союз, что Соединенные Штаты не останутся в стороне, если тот соберется напасть на Китай. Независимо от тогдашнего отношения Китая к Соединенным Штатам, Никсон и его советники считали независимость Китая обязательной для глобального равновесия сил и полагали наличие дипломатических контактов с Китаем существенно важным для гибкости американской дипломатии. Предупреждение Никсона Советам явилось также наглядным выражением нового подхода администрации, заключавшегося в том, что она стала базировать политику Америки на тщательном анализе национальных интересов.

Озабоченный наращиванием советской военной мощи вдоль китайской границы, Никсон санкционировал твердое, обоюдоострое заявление от 5 сентября 1969 года, гласившее, что Соединенные Штаты «глубоко озабочены» возможностью китайско-советской войны. Заместителю государственного секретаря Эллиоту Ричардсону было поручено обнародовать послание; занимая достаточно высокое в иерархическом плане место, чтобы исключить всякие сомнения в том, что он говорит по уполномочию президента, Ричардсон не был столь заметной фигурой, чтобы его слова воспринимались, как непосредственный вызов Советскому Союзу:

«Мы не стремимся воспользоваться ради собственной выгоды враждебными действиями между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой.

Идеологические разногласия между двумя коммунистическими гигантами нас не касаются. Однако мы не можем не быть глубоко озабочены эскалацией этого спора и превращением его в массированное нарушение международного мира и спокойствия»[979].

Когда страна отказывается от намерения воспользоваться в своих интересах конфликтом между двумя другими сторонами, это означает, что на деле она подает знак, что обладает возможностями это сделать и что каждой из сторон лучше всего позаботиться о нейтралитете. Вдобавок, когда нация выражает «глубокую озабоченность» по поводу возможных обстоятельств военного характера, она этим желает сообщить, что будет содействовать — каким образом, она пока что не указывает — жертве того, что она определит как агрессию. Никсон — уникальная

фигура среди американских президентов XX века, ибо он проявил готовность поддержать страну, с которой у Соединенных Штатов на протяжении двадцати лет не было дипломатических отношений. И это при том, что у его администрации пока что не было с Китаем совершенно никаких контактов, и при том, что китайские дипломаты и средства массовой информации клеймили американский «империализм» на каждом шагу. Это означало возврат Америки в мир «Realpolitik».

Чтобы подчеркнуть этот новый подход, важность улучшения отношений между Китаем и Соединенными Штатами особо оговаривалась в каждом из ежегодных президентских докладов по вопросам внешней политики. В феврале 1970 года, еще до того, как возникли прямые контакты между Вашингтоном и Пекином, в докладе содержался призыв к переговорам с Китаем по практическим вопросам и подчеркивалось, что Соединенные Штаты не будут объединяться с Советским Союзом против Китая. Это, конечно, было обратной стороной предупреждения Москве; предполагалось, что подобный выбор всегда имелся в распоряжении Вашингтона, если обстоятельства принудят его сделать. Доклад, представленный в феврале 1971 года, вновь подтвердил готовность Америки установить контакт с Китаем и заверил Китай в отсутствии у Америки враждебных по отношению к нему намерений:

«Мы готовы установить диалог с Пекином. Мы не можем согласиться с его идеологическими аксиомами, а также с утверждением, будто бы коммунистический Китай должен осуществлять гегемонию над всей Азией. Но мы также не желаем ставить Китай в такое положение в международном плане, которое бы препятствовало ему в защите законных национальных интересов»[980].

И вновь в докладе настоятельно утверждался нейтралитет Америки в конфликте между двумя крупнейшими коммунистическими центрами:

«Мы ничего не предпримем, чтобы обострить этот конфликт или его поощрять. Абсурдно предполагать, что мы способны объединиться с одной из сторон против другой...

В то же время мы не можем позволить ни коммунистическому Китаю, ни СССР диктовать нам политику и образ действий по отношению к противоположной стороне... Мы будем судить о Китае, как и об СССР, не по их риторике, а по их действиям»[981].

Демонстративный отказ от объединения с любым из коммунистических гигантов подталкивал каждого из них улучшить отношения с Вашингтоном и являлся предупреждением относительно последствий продолжения враждебных действий. В том смысле, в каком Китай и Советский Союз в состоянии были сделать расчет, что они либо нуждаются в американской доброй воле, либо опасаются американского шага в направлении их противника, у них обоих появлялся стимул к улучшению отношений с Соединенными Штатами. И каждому из них было сказано четко и ясно — ибо все это было написано черным по белому, — что предпосылкой для сближения с Вашингтоном является отказ от угроз жизненно важным американским интересам.

Как выяснилось, оказалось легче обрисовать новую структуру отношений с Китаем, чем претворить ее в жизнь. Изоляция в отношении между Америкой и Китаем была до такой степени полной, что ни одна из стран не знала, как вступить в контакт с другой и как убедить другую сторону, что сближение не обернется ловушкой.

Китай испытывал большие трудности, отчасти потому, что дипломатия Пекина была не прямой и до такой степени изобиловала нюансами, что большая их часть просто не воспринималась в Вашингтоне. 1 апреля 1969 года — через два месяца после того, как Никсон принял присягу при вступлении в должность, — в докладе Линь Бяо, китайского министра обороны, который вот-вот должен был быть провозглашен наследником Мао, на IX национальном съезде коммунистической партии впервые не прозвучало стандартное до сих пор утверждение, что Соединенные Штаты являются главным врагом Китая. Линь Бяо назвал Советский Союз, по крайней мере, равной с ними угрозой, и это означало — основополагающая предпосылка дипломатии треугольника была налицо. Линь Бяо также повторил заявление Мао, сделанное в 1965 году в беседе с журналистом Эдгаром Сноу: у Китая не имеется вооруженных сил за рубежом и у него нет намерения воевать с кем бы то ни было, если на его территорию не будет совершено нападение.

Одной из причин, почему на сигналы Мао реакции не последовало, была существенная переоценка Китаем значения личности Эдгара Сноу в Америке. Сноу, американский журналист, издавна симпатизировавший китайским коммунистам, считался пекинскими лидерами лицом, пользующимся особым доверием в Соединенных Штатах в отношении китайского вопроса. Вашингтон, однако, воспринимал его как орудие коммунистов и не был готов доверять ему свои тайны.

Жест Мао, поместившего Сноу рядом с собой на трибуне парада по случаю китайского Дня независимости в октябре 1970 года, пропал для нас втуне. Точно то же произошло с интервью, полученным Сноу от Мао в декабре 1970 года, когда тот пригласил Никсона посетить Китай либо в качестве туриста, либо — президента Америки. Хотя Мао распорядился, чтобы его переводчик сверил записи со Сноу (чтобы удостовериться в точности передачи), Вашингтон так и не узнал об этом приглашении до того момента, когда вопрос, связанный с визитом Никсона, уже через несколько месяцев после этого был урегулирован по другим каналам. А пока что в декабре 1969 года в Варшаве возобновились контакты между Соединенными Штатами и Китаем. Они оказались не более удовлетворительными, чем в прошлом. Никсон проинструктировал Уолтера Стессела, исключительно способного и скрытного американского посла в Варшаве, обратиться к китайскому поверенному в делах на первом же протокольном мероприятии, куда будут приглашены оба, и попросить его о возобновлении переговоров на уровне послов. Такая возможность предоставилась Стесселу 3 декабря 1969 года при довольно необычных обстоятельствах: на показе югославской моды в варшавском Дворце культуры. Китайский поверенный в делах, не имеющий абсолютно никаких инструкций на случай обращения к нему американского дипломата, поначалу просто убежал. И только тогда, когда Стессел в прямом смысле загнал в угол его переводчика, он смог передать сообщение. К 11 декабря поверенный в делах, однако, уже получил инструкции, как вести себя с американцами, и пригласил Стессела в китайское посольство для возобновления давно начатых варшавских переговоров.

И почти сразу же они зашли в тупик. Повестка дня, включавшая в себя стандартные вопросы каждой из сторон, не оставляла места для рассмотрения подспудных геополитических проблем, которые, с точки зрения Никсона — и, как выяснилось, Мао и Чжоу, — должны были определить будущее китайско-американских отношений. Более того, эти вопросы вентилировались американской стороной посредством громоздких консультаций с Конгрессом и основными союзниками, а это значило, что решение поставленной задачи окажется долгим и мучительным. А в итоге — еще неизвестно, не будет ли наложено на достигнутое множество разных вето!

Результатом переговоров в Варшаве явилось то, что они породили гораздо больше

споров внутри правительства Соединенных Штатов, чем на встречах сторон. Мы с Никсоном испытали своего рода чувство облегчения, когда узнали, что Китай прерывает переговоры на уровне послов в знак протеста против американского удара по лагерям в Камбодже в мае 1970 года. С тех пор обе стороны стали искать более подходящий канал. Эту потребность затем удовлетворило пакистанское правительство. Кульминацией этих контактов, происходивших в ускоренном темпе, явилась моя тайная поездка в Пекин в июле 1971 года.

Я еще не встречал таких собеседников, которые были бы столь восприимчивы к никсоновскому стилю дипломатии, как китайские руководители. Как и Никсон, они считали традиционные вопросы повестки дня делом второстепенным, и прежде всего их заботило выяснение того, возможно ли сотрудничество на базе согласования интересов. Вот почему позднее одним из первых замечаний Мао, адресованных Никсону, было: «Маленьким вопросом является Тайвань; большим вопросом является весь мир».

А конкретно китайские руководители хотели получить заверения в том, что Америка не будет сотрудничать с Кремлем в деле реализации «доктрины Брежнева»; Никсон же желал знать, до какой степени Китай сможет сотрудничать с Америкой в области противодействия советской геополитической угрозе. Цели каждой из сторон были, по существу, концептуальны, хотя рано или поздно каждая из них должна была адекватно претвориться в дипломатическую практику. Ощущение наличия взаимных интересов должно было родиться из убедительности представления каждой из сторон своего видения мира — задачи, для которой в высшей степени годился Никсон. По этой причине ранние стадии китайско-американского диалога концентрировали свое внимание на сопоставлении концепций и фундаментальных подходов. Мао, Чжоу, а позднее и Дэн оказались выдающимися личностями. Мао был визионером, жестким, безжалостным, часто кровожадным революционером; Чжоу — элегантным, очаровательным, блестящим администратором; а Дэн — реформатором глубинных убеждений. Все трое являлись воплощением общих традиций усерднейшего анализа и совмещения опыта древнейшей страны и инстинктивного разграничения между перманентным и тактически обусловленным.

Их переговорный стиль разительно отличался от стиля советской стороны. Советские дипломаты почти никогда не обсуждают вопросы концептуального

характера. Их тактикой является упор на проблему, интересующую Москву в данный конкретный момент, и настоятельное упорство в достижении ее разрешения, рассчитанное не столько на то, чтобы убедить собеседников, сколько на то, чтобы их вымотать. Настойчивость и упорство, с которыми советские участники переговоров проводили в жизнь решения Политбюро, отражали железный характер дисциплины и внутренний стиль советской политической деятельности, превращая высокую политику в изнурительную мелочную торговлю. Квинтэссенцию подобного подхода к внешнеполитической дипломатической деятельности олицетворял Громыко.

Китайские руководители представляли собой в эмоциональном плане более прочное сообщество. Их не столько интересовали тонкости формулировок, сколько установление обстановки доверия. На встрече Никсона с Мао китайский руководитель не тратил времени на заверения президента в том, что Китай не будет применять силу против Тайваня. «Мы в настоящее время обходимся без него (Тайваня) и займемся этим через сто лет»[982]. Мао не просил взаимности, сделав заявление, которого Америка ждала двадцать лет.

Составляя проект Шанхайского коммюнике с Чжоу Эньлаем, я как-то попросил его снять обидно звучащую фразу в китайском проекте и предложил убрать что-нибудь в американской версии, против чего мог бы возражать Чжоу. «Так мы никуда не продвинемся, — ответил мне Чжоу. — Если вы сумеете убедить меня, почему наша фраза звучит обидно, я вам отдам ее и так».

Отношение Чжоу было проявлением не абстрактной доброй воли, а уверенного понимания долгосрочных приоритетов. В данный момент Китай добивался взаимного доверия; коллекционирование спорных вопросов было ему ни к чему. Как полагал Мао, главную угрозу безопасности представлял собой Советский Союз: «В данный момент вопрос агрессии со стороны Соединенных Штатов или агрессии со стороны Китая относительно невелик... Вы хотите вывести кое-какие из своих войск на свою территорию; наши за границу не направляются»[983]. Иными словами, Китай не опасался Соединенных Штатов даже в Индокитае; он не собирался бросать вызов жизненно важным американским интересам (независимо от того, что Соединенные Штаты собирались делать во Вьетнаме) и был в основном озабочен угрозами со стороны Советского Союза (и, как выяснилось позднее, со стороны Японии). Чтобы подчеркнуть важность для него глобального равновесия сил, Мао отбросил

собственные антиимпериалистические заклинания, как «стрельбу из незаряженных пушек».

Концептуальный характер подхода облегчил наши первые встречи. В феврале 1972 года Никсон подписал Шанхайское коммюнике, которое стало путеводным ориентиром для китайско-американских отношений на последующее десятилетие. Коммюнике обладало беспрецедентной особенностью: более половины текста было посвящено констатации противоположных точек зрения обеих сторон по вопросам идеологии, международных отношений, Вьетнама и Тайваня. Станным образом перечень расхождений придавал большее значение тем вопросам, по которым обе стороны договорились. В коммюнике утверждалось, что:

— прогресс в направлении нормализации отношений между Китаем и Соединенными Штатами служит интересам всех стран;

— обе стороны желают уменьшить опасность возникновения международного военного конфликта;

— ни одна из сторон не претендует на гегемонию в азиатско-тихоокеанском регионе и каждая из них будет противостоять усилиям любой другой страны или группы стран установить подобную гегемонию;

— ни одна из сторон не собирается вести переговоры от имени любой третьей стороны, или вступать в соглашения, или устанавливать взаимопонимание с другими, направленными против прочих государств[984].

Если убрать дипломатический жаргон, то смысл этих соглашений заключался, по меньшей мере, в том, что Китай не будет ничего делать, чтобы обострить ситуацию в Индокитае или Корее, что ни Китай, ни Соединенные Штаты не будут сотрудничать с советским блоком и что обе страны будут противостоять попыткам любой из стран добиться господства в Азии. Поскольку единственной страной, способной добиться господства в Азии, был Советский Союз, в силу вступала молчаливая договоренность союзного характера блокировать советский экспансионизм в Азии (по типу Антанты между Великобританией и Францией в 1904 году и между Великобританией и Россией в 1907 году).

В пределах года взаимопонимание между Соединенными Штатами и Китаем превратилось в нечто более конкретное и нечто более глобальное: в коммюнике, опубликованном в феврале 1973 года, Китай и Соединенные Штаты договорились

совместно (уровень выше, чем «обязательства, принимаемые на себя каждой из сторон») противодействовать (уровень выше, чем «противостоять» в Шанхайском коммюнике) попыткам любой из стран установить мировое (уровень выше, чем «над Азией») господство. На протяжении каких-то полутора лет китайско-американские отношения превратились из откровенно враждебных и изоляционистских по отношению друг к другу в де-факто союзные против преобладающей угрозы.

Шанхайское коммюнике и предшествовавшая ему дипломатическая деятельность позволили администрации Никсона создать то, что она назвала, пусть, быть может, слишком высокопарно, новой структурой сохранения мира. Как только Америка объявила о сближении с Китаем, характер международных отношений резко переменился. Позднее отношения с Китаем стали именоваться на Западе китайской «картой», как будто политика неуступчивых лидеров, правящих из Запретного Города, могла замышляться в Вашингтоне. На деле китайская «карта» либо разыгрывала себя сама, либо вовсе не существовала. Роль американской политики заключалась в том, чтобы очертить определенные границы готовности каждой из наций поддержать другую, когда их национальные интересы совпадают.

Согласно анализу Никсона и его советников, пока Китаю в большей степени есть чего опасаться со стороны Советского Союза, чем со стороны Соединенных Штатов, собственные интересы Китая заставят его сотрудничать с Соединенными Штатами. Согласно той же схеме, Китай будет противостоять советскому экспансионизму не в качестве услуги Соединенным Штатам, пусть даже это пойдет на пользу и Америке, и Китаю одновременно. Допустим, что на Никсона произвела впечатление ясность мысли китайских руководителей — особенно премьера Чжоу Эньлая. И все же Соединенным Штатам незачем было безоговорочно вставать на одну из конфликтных сторон. Переговорная позиция Америки становилась наиболее сильной, когда Америка оказывалась ближе к каждому из коммунистических гигантов — Китаю и Советскому Союзу, — чем они сами друг к другу.

Американское сближение с Китаем является хорошим учебным примером роли личности в проведении внешней политики. То, что потомки назовут отправной точкой нового курса, на самом деле представляет собой серию более или менее разрозненных актов, где трудно отличить, какие из них совершены сознательно, а какие — спонтанно, под влиянием момента. Поскольку китайско-американские отношения

родились через двадцать лет почти полной изоляции, все было новым и, следовательно, значимым с точки зрения последующих событий. Обеим сторонам нужда диктовала обязательность сближения, и попытка должна была быть предпринята независимо от того, кто правит в какой стране. Но беспрепятственность и быстрота развития событий, а также приобретенный ими размах обязаны в значительной мере проницательности и целеустремленности руководителей с обеих сторон, а также, что касается американцев, — беспрецедентному вниманию к анализу собственных национальных интересов.

Мао, убежденный коммунист, черпал силы из осознания того, что он является наследником традиции никогда не прерывавшегося самоуправления собственной страны, охватывающей три тысячелетия. После того как он заставил свою страну испытать идеологическое опьянение и устроить отвратительное кровопускание под видом «культурной революции», Мао переключился на внешнюю политику и стал наполнять ее «практическим смыслом». В течение столетий Среднее Царство обеспечивало себе безопасность, натравливая отдаленных варваров на своих ближайших соседей. Будучи глубоко обеспокоен советским экспансионизмом, Мао применил ту же самую стратегию в отношениях с Соединенными Штатами.

Мотивы Мао были для Никсона не важны. Его главной целью было восстановление для Америки инициативной внешней политики. Стремясь к тому, что он потом назвал «эрой переговоров» между Советским Союзом и Соединенными Штатами с тем чтобы преодолеть вьетнамскую травму, Никсон не полагался ни на личные взаимоотношения, ни на трансформацию Советов, но лишь на равновесие стимулов как на способ сделать Кремль более сговорчивым.

После американского сближения с Китаем Советский Союз стоял перед лицом вызова на двух фронтах: со стороны НАТО на Западе и со стороны Китая на Востоке. В период, который в другом смысле был вершиной советской уверенности в себе и точкой падения для Америки, администрации Никсона удалось перетасовать колоду. Она продолжала следить за тем, чтобы всеобщая война оставалась чересчур рискованной для Советов. После сближения с Китаем советское давление ниже уровня всеобщей войны становилось точно так же чересчур рискованным, поскольку потенциально могло ускорить столь опасное китайско-американское примирение. Как только Америка встала на путь сближения с Китаем, наилучшим выбором для

Советского Союза стало, в свою очередь, ослабление напряженности с Соединенными Штатами. Поскольку в теории Кремль мог предложить Соединенным Штатам больше, чем Китай, он даже лелеял мечты преуспеть в том, чтобы искусными маневрами убедить Америку заключить нечто вроде союза, направленного против Китая, что и было топорно предложено Брежневым Никсону как в 1973, так и в 1974 году[985].

Применяя новый подход в области внешней политики, Америка вовсе не собиралась поддерживать более сильного против более слабого в любой из ситуаций, связанных с наличием равновесия сил. Будучи страной с наибольшими физическими возможностями нарушить мир, Советский Союз обретал стимул умерять существующие кризисы и не создавать новых, коль скоро его ожидало противодействие на двух фронтах. А Китай, возможности которого позволяли нарушить равновесие сил в Азии, сдерживался бы необходимостью сохранять добрую волю Америки, ставящей пределы советскому авантюризму. И на этом фоне администрация Никсона могла бы попытаться решить практические вопросы с Советским Союзом, одновременно поддерживая глобальный концептуальный диалог с Китаем.

Хотя многие эксперты по Советскому Союзу предупреждали Никсона, что улучшение отношений с Китаем отрицательно повлияет на советско-американские отношения, случилось как раз прямо противоположное. До моей секретной поездки в Китай Москва в течение года замораживала организацию встречи на высшем уровне между Брежневым и Никсоном. Посредством своего рода обратной взаимозависимости она пыталась подчинить встречу на высшем уровне целому ряду условий. И вдруг, не прошло и месяца с моего визита в Пекин, как Кремль резко переменял свою позицию и пригласил Никсона в Москву. Ускорились все советско-американские переговоры, едва лишь советские руководители оставили попытки добиться односторонних уступок со стороны Америки.

Никсон был первым президентом со времен Теодора Рузвельта, проводившим американскую внешнюю политику, в основном исходя из национальных интересов страны. Недостатком подобного подхода был слабый эмоциональный резонанс среди американского народа. Хотя Никсон часто говорил о структуре сохранения мира, структуры — это не то, что способно само по себе вызвать отклик в сердцах и умах общественности, особенно учитывая традиции американской исключительности.

Более того, не всегда те или иные национальные интересы самоочевидны, как бы ни подчеркивал их президент в своих ежегодных докладах по вопросам внешней политики. В отсутствие установившейся традиции американское руководящее звено чувствует себя не слишком уютно по отношению к концепции национальных интересов в противоположность, скажем, руководителям Великобритании, Франции или Китая. Даже при наличии наиболее оптимальных обстоятельств потребовалась бы, в смысле времени, «львиная доля» президентства, чтобы создать внешнеполитическую традицию, базирующуюся на подходе Никсона.

В течение своего первого срока пребывания на посту президента Никсон почти не имел возможности взять на себя такого рода просветительскую задачу, ибо общество бурно протестовало, считая, будто бы правительство Соединенных Штатов занимается одной лишь коммунистической угрозой. С самого начала второго президентского срока перед Никсоном маячил призрак «уотергейта». Президент, находящийся перед лицом импичмента, вряд ли может быть воспринят, как лидер, берущий на себя попытки переформировать традиционное мышление.

Дело заключалось еще и в том, что Никсон и его окружение выдвинули подобный подход, резко дисгармонирующим с американскими идеологическими традициями образом. Двадцатью годами ранее Джон Фостер Даллес облачил свои трезвые анализы в риторику исключительности; десятью годами позднее Рональд Рейган подвигнул американскую публику поддержать внешнеполитическую линию, которая в оперативных деталях не слишком-то отличалась от линии Никсона, придав идеалистическую окраску. Поскольку Никсон занимал свой пост в эру Вьетнама, он отдавал себе отчет в том, что риторика в стиле Даллеса — или, соответственно, Рейгана — просто-напросто подольет масла в огонь. Да и в более спокойные времена человек никсоновского склада ума вряд ли взял бы на вооружение риторику в стиле Даллеса или Рейгана.

Поскольку достижения внешней политики Никсона считаются само собой разумеющимися, а опасности, которых с ее помощью удалось избежать, в расчет не принимаются, подход к делу Никсона (а также и мой) стал восприниматься все более и более противоречиво. В отсутствие «уотергейта» Никсону, возможно, удалось бы побудить страну признать его стиль дипломатии и наглядно продемонстрировать, что на деле именно подобный стиль является наиболее практичным средством

утверждения американского идеализма. Но комбинация Вьетнама и «уотергейта» помешала возникновению нового консенсуса. Даже несмотря на то, что Никсону удалось, невзирая на трагедию Индокитая, вывести свою страну на главенствующие международные рубежи, второй срок его президентства стал временем необычайно острых дебатов по поводу роли нации в мире, а особенно по поводу ее отношения к коммунизму.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. Разрядка и ее тревоги

Избавив Соединенные Штаты от деморализующего кровопускания Вьетнама и переключив внимание нации на международные вопросы более широкого плана, администрация Никсона сосредоточилась на том, что она иногда высокопарно называла «структурой сохранения мира». Треугольник отношений между Соединенными Штатами, СССР и Китаем лег в основу целого ряда крупных прорывов: и окончания войны во Вьетнаме; и договоренности о гарантированном доступе в разделенный Берлин; и драматического сокращения советского влияния на Ближнем и Среднем Востоке и начала арабо-израильского мирного процесса; и Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (завершенного при администрации Форда). Каждое из этих событий оказывало воздействие на все прочие. Принцип увязки действовал во всю мощь.

Разрядка дала новую жизнь европейской дипломатии, театру внешнеполитической деятельности, буквально оказавшемуся на точке замерзания после окончательной консолидации сфер влияния Востока и Запада в 1961 году. Пока Вилли Брандт не был избран канцлером в сентябре 1969 года, все западногерманские правительства

последовательно настаивали на том, что единственное законное германское правительство находится в Бонне. Федеративная Республика отказывалась признавать восточногерманский режим и порывала дипломатические отношения со всеми правительствами (за исключением России), шедшими на такое признание, — в силу так называемой «доктрины Хальштейна».

После сооружения Берлинской стены в 1961 году вопрос объединения Германии стал исчезать из повестки дня в переговорах между Востоком и Западом, а германское стремление к единству было временно отложено в долгий ящик. В эти годы де Голль решил прозондировать возможность ведения переговоров с Москвой независимо от Соединенных Штатов посредством провозглашения политики «разрядки, согласия и сотрудничества» с Восточной Европой. Надеялся он на то, что, если Москва будет воспринимать Европу как самостоятельно действующую сторону, а не как американского сателлита, кремлевские руководители, с учетом наличия у них проблем с Китаем, возможно, ослабят мертвую хватку, которой они удерживали Восточную Европу. Де Голль хотел, чтобы Западная Германия в какой-то мере отошла бы от Вашингтона и последовала бы за Францией в ее обращении к Советам.

Анализ, сделанный де Голлем, был совершенно верен, но он переоценил возможности Франции воспользоваться быстротекущими изменениями в международном положении. Федеративная Республика не была настроена поворачиваться спиной к могущественной Америке. Тем не менее концепция де Голля нашла определенный отклик у некоторых западногерманских лидеров, которые пришли к мысли, что Федеративная Республика обладает такими переговорными плюсами, которых нет в распоряжении Франции. Брандт, являвшийся министром иностранных дел, когда генерал разыгрывал свой гамбит, понял, что лежало в основе представлений де Голля. Немцы, поддерживавшие инициативу де Голля, вспоминает он, «не смогли уяснить, что генерал не собирается претворять в жизнь их мечту о европейских силах ядерного устрашения (он твердо исключал германское в них участие). Они также не обращали внимания на тот факт, что он занимался разработкой такой политики разрядки, которую никогда бы не поддержало правое крыло Союза (германской консервативной партии) и которая во многих отношениях прокладывала дорогу нашей будущей „восточной политике"»[986].

Советское вторжение в Чехословакию положило конец инициативе де Голля, но по

иронии судьбы открыло дорогу Брандту, когда в 1969 году настал его черед быть западногерманским руководителем.

Брандт тогда выдвинул парадоксальный для того времени тезис, будто, поскольку надежда на Запад завела страну в тупик, объединение Германии может быть достигнуто путем германского примирения с коммунистическим миром. Он настаивал на том, чтобы его страна признала восточногерманское государство-сателлит, согласилась с польской границей (по линии Одер — Нейссе) и улучшила отношения с Советским Союзом. А когда ослабнет напряженность в отношениях между Востоком и Западом, Советский Союз, не исключено, окажется гораздо менее жестким в вопросах объединения. По крайней мере, могут быть значительно улучшены условия жизни восточногерманского населения.

Первоначально у администрации Никсона преобладала острейшая настороженность по поводу того, что Брандт называл «восточной политикой». Поскольку каждое из германских государств стремилось увлечь за собой другое, они могли в конце концов сойтись на какой-нибудь националистической, нейтралистской программе, чего опасались Аденауэр и де Голль. Федеративная Республика обладала более привлекательной политической и социальной системой; у коммунистов было то преимущество, что если их государство признают, то факт этот станет необратимым, и в их руках будет находиться ключ к объединению. Более всего администрация Никсона опасалась за единство Запада. Де Голль уже разорвал объединенный фронт Запада против Москвы, выведя Францию из НАТО и проводя собственную политику разрядки с Кремлем. Призрак Западной Германии, вырывающейся на волю и действующей самостоятельно, бросал Вашингтон в дрожь.

И все же, по мере развития инициативы Брандта, до Никсона и его окружения стало доходить, что, несмотря на все тернии «восточной политики», альтернатива была еще рискованнее. Внезапно стало до предела ясно, что «доктрина Халштейна» нежизнеспособна. К середине 60-х годов сам Бонн вынужден был ее скорректировать применительно к восточноевропейским коммунистическим правительствам на том весьма зыбком основании, что они не обладают свободой самостоятельного принятия решений.

Проблема, однако, оказалась гораздо глубже. В 60-е годы и в голову не могло прийти, что Москва позволит своему восточногерманскому сателлиту рухнуть без

какого бы то ни было кризиса. А любой кризис, который мог бы оказаться результатом настоящего стремления Германии к осуществлению своих национальных чаяний или мог быть воспринят подобным образом, нес бы в себе мощнейший разрушительный потенциал для Западного альянса. Ни один из союзников не пожелал бы пойти на риск возникновения войны ради объединения страны, ставшей причиной стольких страданий в военное время. Никто не ринулся на баррикады, когда Никита Хрущев пригрозил передать пути доступа в Берлин под контроль восточногерманских коммунистов. Все без исключения западные союзники смирились с сооружением стены, разделившей Берлин и ставшей символом разделенной Германии. В течение многих лет демократические страны на словах выступали в защиту идеи германского единства, но ничего не делали ради ее осуществления. Этот подход исчерпал все пределы своих возможностей. Германская политика Атлантического союза терпела крах.

Поэтому Никсон и его советники пришли к признанию «восточной политики» необходимостью, даже полагая, что Брандт, в отличие от Аденауэра, никогда не был эмоционально близок Атлантическому союзу. Существовали только три державы, способные нарушить послевоенный статус-кво в Европе: обе сверхдержавы и Германия, если бы она решила пожертвовать всем ради объединения. В 60-е годы деголлевская Франция попыталась перекроить сложившиеся сферы влияния и потерпела неудачу. Но если бы Германия, экономически самая мощная из стран Европы и обладающая наибольшими поводами для недовольства в территориальном плане, попыталась разрушить послевоенный порядок, последствия могли бы быть самыми серьезными. И когда Брандт выказал намерения самостоятельно сделать шаг по направлению на Восток, администрация Никсона сделала вывод, что Соединенным Штатам следует его поддержать, а не препятствовать его усилиям и идти на риск отрыва Федеративной Республики от связующей общности НАТО. Ведь это автоматически освободит ее от ограничений, налагаемых членством в Европейском экономическом сообществе!

Более того, поддержка «восточной политики» давала в руки Америки рычаги, необходимые для того, чтобы покончить с двадцатилетним кризисом по поводу Берлина. Администрация Никсона настаивала на строжайшей взаимосвязи «восточной политики» и вопроса доступа в Берлин, а также между обеими этими

проблемами и советской сдержанностью в общем плане. Поскольку «восточная политика» базировалась на конкретных германских уступках: признании линии Одер — Нейссе и восточногерманского режима в обмен на столь неосязаемые вещи, как улучшение отношений, — Брандт никогда бы не получил парламентского одобрения, если бы это не было увязано с конкретными новыми гарантиями доступа в Берлин и свободы города-анклава. Иначе Берлин оказался бы жертвой коммунистических издевательств, будучи расположен на 110 миль в глубь территории восточногерманского сателлита, суверенитет которого был бы теперь признан международным сообществом, — то есть возникла бы как раз та самая ситуация, которую пытались породить Сталин и Хрущев при помощи блокад и ультиматумов. В то же время Бонн не обладал достаточными средствами для самостоятельного решения берлинского вопроса. Только Америка была настолько сильна, чтобы преодолеть потенциальное давление, унаследованное вместе с изоляцией Берлина, и обладала дипломатическими рычагами, чтобы изменить процедуру доступа.

Юридический статус Берлина как анклава, располагающегося в глубине находящейся под советским контролем территории, основывался на правовой фикции, будто бы он с формальной точки зрения «оккупирован» четырьмя державами — победительницами во второй мировой войне. Таким образом, переговоры по Берлину вынужденно сводились к дискуссиям между Соединенными Штатами, Францией, Великобританией и Советским Союзом. По ходу дела как советское руководство, так и Брандт (через своего исключительно умелого помощника Эгона Бара) обратились к Вашингтону с просьбой о помощи в выходе из тупика. В результате сложнейших переговоров летом 1971 года было подписано новое соглашение четырех держав, гарантирующее свободу Западного Берлина и доступ Запада в город. С того момента Берлин исчез из перечня международных кризисных точек. В следующий раз он появится в мировой повестке дня тогда, когда рухнет стена и настанет крах Германской Демократической Республики.

В дополнение к соглашению по Берлину «восточная политика» Брандта принесла с собой договоры о дружбе между Западной Германией и Польшей, между Западной и Восточной Германией и между Западной Германией и Советским Союзом. То, что Советы делали такой упор на признание Западной Германией границ, установленных Сталиным, на деле являлось признаком слабости и неуверенности в себе.

Федеративная Республика, будучи усеченным государством, по сути дела, не в состоянии была бы бросить вызов ядерной сверхдержаве. В то же время эти договоры дали Советам гигантский стимул к сдержанности поведения хотя бы на период их обсуждения и ратификации. Когда эти договоры оказались на рассмотрении западногерманского парламента, Советы воздерживались от чего бы то ни было, что могло бы повредить их одобрению; а потом они проявляли особую осторожность, чтобы не побуждать Германию вернуться вспять, к политике Аденауэра. И потому, когда Никсон решил заминировать северовьетнамские порты и возобновить бомбардировки Ханоя, Москва в ответ в основном помалкивала. Пока положение Никсона во внутривнутриполитическом плане было прочным, разрядка с успехом сводила воедино целый ряд проблем отношений Востока и Запада в масштабах всего земного шара. И если Советы хотели пожать плоды разрядки напряженности, они также были обязаны внести свой вклад в ее успех.

В то время как в Центральной Европе администрация Никсона была в состоянии связать отдельные переговоры друг с другом, на Ближнем Востоке она использовала политику разрядки как подстраховку в процессе уменьшения политического влияния Советского Союза. В 60-е годы Советский Союз стал основным поставщиком оружия для Сирии и Египта и организационно-технической опорой радикальных арабских группировок. На международных форумах Советский Союз действовал, как глашатай арабской позиции, причем весьма часто поддерживал наиболее радикальную точку зрения.

И пока такого рода ситуация существовала, дипломатический успех приписывался советской поддержке, а тупиковые ситуации были чреватые риском повторения кризисов. Выход из тупика мог бы быть найден только тогда, когда все заинтересованные стороны трезво оценили бы основополагающую геополитическую реальность Ближнего Востока: Израиль был слишком силен (или мог быть сделан таковым), чтобы его смогли победить даже сообща все его соседи, а Соединенные Штаты не останутся безучастными в случае советского вмешательства. Поэтому администрация Никсона настаивала на том, чтобы все стороны, а не только союзники Америки, проявили готовность пойти на жертвы, прежде чем Америка окажется вовлечена в мирный процесс. Советский Союз обладал достаточно внушительными возможностями поднять уровень напряженности, но у него не было в распоряжении

средств довести кризис до стадии разрешения или защищать дело своих друзей дипломатическими средствами. Он мог угрожать интервенцией, как это было в 1956 году, но опыт доказывал слишком часто, что перед американским противодействием Советы предпочитали отступать.

Ключ к миру на Ближнем Востоке, следовательно, находился в Вашингтоне, а не в Москве. Если бы Соединенные Штаты аккуратно разыграли свои карты, либо Советский Союз вынужден был бы сделать вклад в подлинное разрешение конфликта, либо один из арабских его клиентов шагнул бы из строя в сторону Соединенных Штатов. В любом случае сократилось бы советское влияние на радикальные арабские государства. Вот почему в самом начале первого срока пребывания Никсона на посту президента я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы заявить журналисту: новая администрация постарается устранить советское влияние на Ближнем Востоке. Хотя столь неосторожное замечание произвело фурор, оно точно обрисовывало стратегию, к которой собиралась прибегнуть администрация Никсона.

Не понимая стоящей перед ними стратегической дилеммы, советские руководители попытались побудить Вашингтон к оказанию поддержки дипломатическим шагам, исход которых укрепил бы советские позиции в арабском мире. Но пока Советский Союз продолжал снабжать радикальные ближне- и средневосточные государства горами оружия, а их дипломатические программы были идентичны, Соединенные Штаты не интересовало сотрудничество с Москвой, — хотя это было не совсем ясно тем, кто считал сотрудничество с Советским Союзом самоцелью. С точки зрения Никсона и его советников, наилучшей стратегией была бы демонстрация того, что возможности Советского Союза создавать кризисы не соответствовали его способностям их разрешать. Арабская умеренность вознаграждалась бы предоставлением ответственным арабским руководителям американской помощи и поддержки в тех случаях, когда их жалобы носили законный характер. Советский Союз тогда вынужден был бы либо принимать в этом участие, либо отойти на задворки ближневосточной дипломатии.

В процессе достижения этих целей Соединенные Штаты следовали двумя дополняющими друг друга путями: они блокировали любой шаг арабов, который проистекал бы из советской военной поддержки или мог бы повлечь за собой возникновение советской военной угрозы; а также брали в свои руки мирный

процесс, как только разочарование из-за тупиковой ситуации заставляло ведущих арабских лидеров отъединяться от Советского Союза и поворачиваться к Соединенным Штатам. Такого рода обстоятельства создались после арабо-израильской войны 1973 года.

До этого времени Соединенным Штатам приходилось следовать по каменистой дороге. В 1969 году государственный секретарь Роджерс предложил план, который затем был назван его именем. Согласно этому плану узаконивались израильские границы 1967 года с «малыми» уточнениями в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение. Его постигла судьба всех подобных инициатив, предпринятых до того, как изменилась лежащая в их основе реальность: Израиль его отверг, отказываясь согласиться с данными границами; арабские страны не приняли его, поскольку они еще не готовы были взять на себя мирные обязательства (какими бы зыбкими и неопределенными они ни были).

Серьезная военная конфронтация произошла в 1970 году. Первое ее проявление имело место вдоль Суэцкого канала, где Египет начал так называемую войну на истощение против Израиля. Израиль ответил крупными воздушными ударами в глубоком тылу Египта, а Советский Союз отреагировал на них, разместив в Египте крупномасштабную систему противовоздушной обороны, обслуживавшуюся советским военным персоналом численностью примерно в 15 тыс. человек.

Опасная ситуация не ограничивалась Египтом. В том же году, только несколько позднее, Организация освобождения Палестины (ООП), создавшая в Иордании буквально государство в государстве, захватила четыре самолета и угнала их в Иорданию. Тогда король Хусейн приказал своей армии нанести удар по ООП и изгнал ее лидеров из страны; в Иорданию вторглась Сирия; Израиль произвел мобилизацию. Казалось, что Ближний Восток очутился на грани войны. Соединенные Штаты произвели массированное усиление своих военно-морских сил в Средиземном море и дали понять, что не потерпят никакого постороннего вмешательства. Вскоре стало очевидно, что Советский Союз не пойдет на риск конфронтации с Соединенными Штатами. Сирия вывела свои войска, и кризис завершился, хотя и успел продемонстрировать арабскому миру, какая из сверхдержав имеет большее отношение к формированию будущего в этом регионе.

Первый признак того, что стратегия Никсона начинает оказывать влияние,

появился .в 1972 году. Египетский президент Анвар Садат отказался от услуг всех советских военных советников и попросил советских технических специалистов покинуть страну. Одновременно начались тайные дипломатические контакты между Садатом и Белым домом, хотя они и были достаточно ограниченными: вначале из-за американских президентских выборов, а потом из-за «уотергейта».

В 1973 году Египет и Сирия начали войну против Израиля. Это явилось полной неожиданностью как для Израиля, так и для Соединенных Штатов. Такой возможности никак не предполагали основанные на предвзятых мнениях разведывательные прогнозы!^[987] Американский прогноз был до такой степени подчинен идее о всеподавляющем превосходстве Израиля, что все арабские предупреждения отбрасывались как блеф. Нет доказательств тому, что Советский Союз активно подталкивал Египет и Сирию к войне, а Садат позднее рассказывал нам, что советские руководители с самого начала призывали к прекращению огня. Да и советские дополнительные поставки своим арабским друзьям даже отдаленно не напоминали по объему и качеству воздушный мост из Америки в Израиль.

По окончании войны стало ясно, что арабские армии воевали гораздо более эффективно, чем в любом из предыдущих конфликтов. Зато Израиль форсировал Суэцкий канал в точке, находящейся на расстоянии примерно двадцати миль от Каира, и занял сирийскую территорию вплоть до самых пригородов Дамаска. Потребовалась американская поддержка, во-первых, для того, чтобы восстановить довоенный статус-кво, а затем, чтобы продвинуться к миру. .

Первым арабским лидером, признавшим это, оказался Садат, который отказался от своего прежнего принципа «все или ничего» и, отвернувшись от Москвы, обратился к Вашингтону в поисках содействия в постепенном продвижении к миру. Даже сирийский президент Хафез Асад, считавшийся наиболее радикальным из двух лидеров и более близкий к Советскому Союзу, обратился с призывом к американской дипломатии по поводу Голанских высот. В 1974 году были заключены промежуточные соглашения с Египтом и Сирией, с которых начался уход Израиля с арабских территорий в обмен на гарантии безопасности. В 1975 году Израиль и Египет заключили второе соглашение о разведении войск. В 1979 году Египет и Израиль заключили официальное мирное соглашение под эгидой президента Картера. С того времени каждая из американских администраций вносила свой крупный вклад

в процесс мирного урегулирования, включая первые прямые переговоры между арабами и израильтянами в 1991 году, организованные государственным секретарем Джеймсом Бэйкером, и израильско-палестинское соглашение, заключенное под эгидой Клинтона в сентябре 1993 года. Кремль ни в одной из этих инициатив не играл существенной роли.

На этих страницах невозможно углубляться в детали ближневосточной дипломатии, чьей основной целью являлось использование Соединенными Штатами отношений с Москвой для уменьшения советского влияния на Ближнем Востоке, без создания при этом крупномасштабного кризиса. Во время дебатов 70-х годов критики Никсона любили высмеивать якобы имевшееся у него желание вовлекать Советский Союз в заключение соглашений ради самих соглашений, чтобы создать иллюзию разрядки напряженности. И все же ближневосточная дипломатия Никсона является прекрасной иллюстрацией того, как Никсон и его советники претворяли в жизнь «структуру» достижения мира, о которой так часто говорил президент. И речь тут шла вовсе не о «сотрудничестве ради сотрудничества», о котором говорилось бы с умоляющими интонациями и с горящими глазами, но о методике осуществления геополитического соперничества. Американская стратегия базировалась на предположении, что перед Советским Союзом должен быть поставлен выбор: либо отделить себя от радикальных арабских клиентов, либо смириться с сокращением влияния. В конце концов эта стратегия сократила-таки советское влияние и поместила Соединенные Штаты на передовые рубежи ближневосточной дипломатии.

Администрация Никсона следовала двумя курсами для достижения этой цели. Во время войны на Ближнем Востоке она почти ежедневно пользовалась каналом связи с Кремлем, чтобы избежать принятия скоропалительных решений на основе недостаточной информации. Это не могло исключить напряженность, неизбежно возникающую в случае столкновения интересов, но снижало опасность возникновения кризиса из-за недопонимания. Одновременно мы вели переговоры по самому широкому спектру проблем, чтобы дать советским руководителям шанс, который им бы не захотелось упустить. Переговоры по Берлину обеспечивали советскую сдержанность на Ближнем Востоке вплоть до 1973 года. Позднее Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе помогало умерять советскую реакцию на разнообразные дипломатические пертурбации, уводившие Советский

Союз на периферию ближневосточной дипломатии. Требовалось соблюдать хрупкое равновесие между определением значимых критериев прогресса и заключением самодостаточных соглашений, тем самым вызывающих зависимость от советской доброй воли. Разрядка не только сделала международную обстановку более спокойной, она создала запреты, которые вынудили советских руководителей смириться с тем, что вылилось в крупномасштабное геополитическое отступление.

Невзирая на все эти успехи, администрация Никсона все время сталкивалась с растущим противодействием по вопросам внешней политики. Любой сдвиг в области внешней политики обязательно вызывает сопротивление со стороны приверженцев предыдущего курса; каждые увенчивающиеся успехом переговоры проходят сквозь строй тех, кто убежден, что достигнутое соглашение отражает не взаимные уступки, а одностороннюю выгоду. Взаимосвязанность решений шла вразрез с леггалистской традицией американского внешнеполитического истеблишмента. Сближение с Китаем нанесло оскорбление китайскому лобби. Комбинация противостояния и сотрудничества, неотъемлемая от разрядки с Советским Союзом, встречалась в штывы сторонниками традиционного черно-белого воззрения, будто бы каждая из стран была либо дружественной, либо враждебной, но не комбинацией обоих качеств, как это бывает в реальном мире.

Эти разногласия были весьма сходны с теми, с которыми Вильсон сталкивался в 1915 — 1919 годах, когда он наделил изоляционистскую страну ролью мирового масштаба; с которыми встретился Рузвельт в 1939 — 1941 годах, когда привел Америку к выступлению на стороне Великобритании; и с которыми вынужден был сражаться Трумэн в 1946 — 1949 годах, когда формировал облик «холодной войны».

Различием основополагающего характера было то, что эти споры шли в самый разгар неурядиц во Вьетнаме, а затем сразу же последовал «уотергейт». В американской системе управления единственной фигурой, избираемой в общенациональном масштабе, является президент; он также является единственной инстанцией, определяющей общенациональные цели и задачи. Прочие институты могут высказывать свои суждения по вопросам внешней политики, но только президент обладает возможностью проводить эту политику в жизнь в течение продолжительного отрезка времени. Конгресс, как законодательный орган, имеет тенденцию дробить проблемы на ряд индивидуальных решений, которые он затем

постарается претворить на практике посредством взаимных компромиссов. Средства массовой информации могут рекомендовать курс, но они не в состоянии иметь дело с нюансами повседневной деятельности. Однако сущность внешней политики как раз и заключается в том, чтобы суметь извлечь все из нюансов ради достижения долгосрочных целей. Таким образом, прокладка курса на карте возлагается на президента. И хотя прочие институты могут его корректировать или даже препятствовать его осуществлению, не в их силах предложить вразумительную альтернативу.

Все крупные прорывы в американской внешней политике явились результатом взаимодействия сильного президента с прочими американскими институтами. Президент выступает в роли просветителя, чье моральное провидение обрисовывает рамки дебатов. Если бы не «уотергейт», Никсон, возможно, сумел бы превратить весьма осязаемые внешнеполитические успехи первого срока пребывания на президентском посту в постоянные рабочие принципы — примерно так же, как Франклин Делано Рузвельт создал, а затем консолидировал новый подход к вопросам американской внутренней политики, а Трумэн и Ачесон начертали курс политики «сдерживания».

Но способность Никсона вести людей за собой рухнула в результате «уотергейта». Здесь не место вникать в эту трагедию; для целей данного изложения достаточно подчеркнуть, что «уотергейт» лишил Никсона морального авторитета, существенно необходимого для исполнения функций просветителя, чего требовала его политика. Что касается повседневных вопросов, то президент до конца своего пребывания на посту продолжал действовать решительно и проницательно. Но что касается спорных проблем долгосрочного или концептуального порядка, президент по-прежнему мог ставить проблемы фундаментального характера, но не имел уже достаточных сил для их разрешения. А там, где нет балансира в обличье сильного президента, — каждая из соперничающих группировок способна доводить свою конкретную точку зрения до абсурда. Таким образом, значительная часть 70-х годов превратилась в период углубления конфликтов по поводу предыдущих крупных американских инициатив, — но в отсутствие синтеза, который в другие периоды формирования так способствовал всем американским прорывам.

Новый подход Никсона к вопросам внешней политики бросал вызов американской

исключительности, в том числе ее императивному требованию, чтобы политика базировалась на утверждении непреходящих ценностей. Этот вызов со стороны Америки, как он представлялся Никсону и его советникам, заключался в том, чтобы приспособить эти традиционные истины к новой международной обстановке. Американский внутривнутриполитический опыт привел к толкованию международного порядка как изначального воплощения добра, а дипломатии — как выражения доброй воли и готовности к компромиссу. При таком порядке вещей враждебные действия воспринимались как аберрация. С другой стороны, внешняя политика Никсона исходила из понимания того, что реальный мир исполнен противоположных устремлений и что каждая нация влекома собственным интересом, а не абстрактной и якобы вечно существующей доброй волей. Короче говоря, этот мир может быть управляем, но над ним нельзя господствовать и от него нельзя абстрагироваться. В подобном мире не бывает ясно обозначенного пункта назначения, а решение одной проблемы скорее всего превращается в пропуск по направлению к другой.

Такого рода мир предопределяет внешнюю политику, ориентированную на сохранение силы, а также на спасение. Традиционные американские ценности, в отличие от вильсоновской эпохи, более не могут служить путеводной нитью при сиюминутных конкретных решениях. Вместе с тем они по-прежнему необходимы для сбережения внутренней силы Америки, чтобы можно было пройти через все сомнения к миру, который, как все надеются, будет лучше, чем раньше, но никогда не приобретет законченности.

Никсон и его советники не видели противоречия в том, чтобы относиться к коммунистическому миру одновременно и как к оппоненту, и как к сотрудничающей стороне: оппоненту в фундаментально-идеологическом смысле и в связи с необходимостью предотвратить нарушение коммунизмом глобального равновесия сил; сотрудничающей стороне в том смысле, чтобы воспрепятствовать превращению идеологического конфликта в ядерную войну. И все же, пройдя до конца эмоциональный путь освобождения Америки от иллюзий относительно Вьетнама, многие американцы в очередной раз стали искать утешения не в расчете национальных интересов, а в нравственно-идеальных обязательствах.

Поскольку президентская власть не имела моральной убедительности, многие из тех, кто был возвращен на традиционном подходе к американской внешней политике —

как в либеральном, так и в консервативном лагере, — объединили усилия в противостоянии новаторскому подходу Никсона. Либералы поступали так, потому что считали появившийся упор на национальные интересы аморальным, консерваторы — потому, что они были более привержены идеологическому состязанию с Москвой, чем геополитическому.

Американское мышление применительно к внешней политике было сформировано либеральными идеями со времен Вудро Вильсона, но вот приверженцев никсоновского стиля дипломатии налицо еще не имелось. Никсон не придерживался прагматического подхода к каждому случаю в отдельности, предпочтительного для специалистов в области внешней политики и юристов, внесших столь значительный вклад в формирование американских либеральных взглядов на внешнюю политику и международные отношения. Не считал он своими и вильсоновианские концепции коллективной безопасности, правового разрешения споров и исключительное внимание к вопросам разоружения, как единственному или, в лучшем случае, основному пути к международному порядку. В результате либералы обнаружили, что очутились в неудобной и запутанной ситуации: дипломатические результаты, одобряемые ими по существу, как, например, ослабление напряженности с Советским Союзом или сближение с Китаем, проистекали из принципов, воспринимаемых как проклятие вильсоновианской традицией, таких, как упор на национальные интересы и равновесие сил. Даже когда администрация Никсона с успехом проводила политику, проистекавшую из вильсоновианских идей, как, например, в пользу роста эмиграции из Советского Союза, тенденция добиваться этих целей посредством тайной дипломатии не устраивала приверженцев исторического направления американской внешней политики.

Для консерваторов стратегия Никсона рассматривать Советский Союз как геополитический феномен была незнакома и чужда. Огромное большинство этих людей расценивало конфликт с коммунизмом, как чисто идеологический. Убежденные в американской неуязвимости перед лицом геополитических вызовов, они воспринимали вопросы, встающие на передовых линиях сдерживания, как маргинальные и имеющие чересчур тесную связь с традиционным соперничеством европейских держав, а потому в целом не являющиеся предметом их забот и, в общем, с их точки зрения, не очень-то достойные рассмотрения. Они еще во времена

администрации Джонсона отказались от Вьетнама, полагая его уходом в сторону от основного направления борьбы — а не критически важным ее компонентом, как считал Никсон. Будучи моральными абсолютистами, они совершенно не верили в переговоры с Советским Союзом, рассматривая компромисс как отступление. Консервативное крыло республиканской партии еще готово было со скрежетом зубным согласиться на сближение с Китаем, видя в этом вклад в дело расшатывания моральной самоуверенности Москвы и тактически необходимый ход в процессе ухода Америки из Вьетнама. Но они испытывали серьезнейшие сомнения в отношении переговоров с Москвой и считали в наибольшей степени приемлемым для себя изначальный подход Ачесона и Даллеса, суть которого состояла в ожидании краха коммунизма и одновременном пребывании на позиции силы. Консерваторы относились к широкомасштабным переговорам по военно-политическим вопросам, как к забвению моральных принципов.

К представителям традиционно-консервативного направления постепенно присоединялись добровольцы из совершенно неожиданного лагеря: крайне антикоммунистически настроенных либералов-демократов, отделившихся от собственной партии, поскольку там взяло верх радикальное крыло. Выдвижение на президентские выборы 1972 года кандидатуры Макговерна довело крушение иллюзий у этих доморощенных неоконсерваторов до предела, а на Ближнем Востоке война 1973 года предоставила им первую возможность связно заявить о своих внешнеполитических взглядах в общенациональном масштабе.

Будучи сознательными и убежденными антикоммунистами, эти неоконсерваторы теоретически должны были бы стать моральной опорой администрации, которая настоятельно утверждала свои принципы по Вьетнаму, в основном чтобы поддержать претензии Америки на то, что именно она является главным бастионом антикоммунизма. Однако, как и сами консерваторы, неоконсерваторы были более озабочены вопросами идеологии, чем геополитики. Наиболее влиятельные из их рядов были страстными противниками Вьетнамской войны. И они перенесли при переходе в новый лагерь все свои предубеждения против Никсона, при этом ни во что не ставя всю его преисполненную горечи борьбу за почетный мир. А поскольку они не любили Никсона и не доверяли ему, то опасались, что он способен пожертвовать жизненно важными интересами страны, лишь бы удержаться на президентском посту.

Деликатное обращение Белого дома с правительственно-бюрократическим истеблишментом еще более усложняло положение дел. Во время первого срока пребывания на посту президента Никсон перенес значительную часть дипломатической деятельности непосредственно в Белый дом, как он и обещал во время предвыборной кампании. Как только советские руководители сообразили, что Никсон никогда никому не передоверит ключевых решений в области внешней политики, начались закулисные прямые контакты между советским послом Добрыниным и Белым домом. Таким способом президент и высшее кремлевское руководство оказались в состоянии непосредственно иметь дело друг с другом по наиболее важным вопросам.

Не так страшен черт, как обиженный бюрократ, а никсоновский Белый дом усугубил проблему нечувствительным отношением к установившимся до того процедурам. По сути своей переговоры — это взаимное выторговывание уступок. А потому те, кто отстранен от переговорной повседневности, дают волю своим фантазиям на переговорные темы, где якобы все уступки должна была бы делать только противоположная сторона, а уступок со стороны Америки вообще не было бы, если бы совет спросили у них. Лишившись обычного бюрократического предохранительного барьера и находясь под обстрелом неуютно чувствующих себя консерваторов, разочарованных либералов и агрессивных неоконсерваторов, Белый дом при Никсоне очутился в странном положении, прибегая к оборонительным действиям по поводу успешной внешней политики.

По сути дела, критики администрации заставляли ее вступить на курс конфронтации, причем именно тогда, когда Америка шаталась и колебалась под натиском движения за мир, когда по поводу президента ставился вопрос об импичменте (его преемник, Джеральд Р. Форд, был скорее назначен, чем выбран), а каждая из сессий Конгресса ограничивала полномочия президента угрожать применением силы и одновременно стремилась в очередной раз сократить оборонный бюджет. Как это представлялось администрации Никсона, непосредственной задачей текущего момента было перешагнуть через Вьетнам без геополитических потерь и выработать такую политику в отношении коммунистов, которая была бы сориентирована на подходящие для этой цели поля сражений. Никсон представлял себе разрядку, как тактику в долгосрочной геополитической схватке; его либеральные

критики воспринимали разрядку как самоцель, в то время как консерваторы и неоконсерваторы отвергали геополитический подход как ни больше, ни меньше исторический пессимизм, предпочитая политику ничем не сдерживаемой идеологической конфронтации.

По иронии судьбы к 1973 году политика Никсона привела к такому умиротворению отношений между Востоком и Западом, что стало безопасно бросать ей вызов дома. Глубинной сутью противоречий являлся вопрос коренного характера: возможно или только желательно отделять американскую политику от веры в конечный результат и эпизодичность политической вовлеченности. Никсон утверждал, что в многополюсном мире перемены следует искать только посредством эволюции. Это требует терпения, а не традиционного постоянства усилий американской дипломатии. Критики Никсона, следуя традициям американской исключительности, настаивали на том, что Америка должна немедленно посвятить себя переделке и реформированию советского общества, — такой задачи Америка никогда перед собой не ставила, даже в период наличия у нее атомной монополии. Крупные дебаты общенационального характера были как необходимы, так и неизбежны между сторонниками восприятия внешней политики как стратегии и теми, кто воспринимал ее как крестовый поход; между теми, кто полагал, что наиболее мудрый курс — ставить сверхдержаву-соперника на место, и теми, кто настаивал на силовом наказании зла. Зато к числу не являющихся неизбежными факторов относился крах данного президентства, что помешало осмысленному завершению дебатов.

В отсутствие какого-либо самодовлеющего набора принципов каждая из несогласных сторон концентрировала свое внимание на различных по сути угрозах. Кошмаром, преследующим Никсона, была геополитическая уязвимость перед лицом ползучего советского экспансионизма. Консерваторы же опасались морального разоружения или апокалиптической ядерной схватки, которая вполне могла осуществиться благодаря какому-нибудь советскому технологическому прорыву. Либералов заботила чрезмерная увлеченность Америки вопросами военной безопасности. Консерваторы боялись советского военного превосходства. Либералы хотели избежать перенапряжения. Никсон искал приемлемую долгосрочную стратегию.

Результатом стал вихрь противоречащих друг другу и неразрешимых по сути

требований. Либералы внимательно следили за появлением каких-либо признаков откровенного согласия с принципами контроля над вооружениями. Никсон стойко сопротивлялся геополитическим угрозам от Кубы до Ближнего Востока.

Консерваторы критиковали то, что представлялось им отступлением от идеологической конфронтации и ядерной стратегии. Это приводило к появлению странной ситуации, когда либералы нападали на оборонную программу Никсона, считая ее завышенной, а консерваторы осуждали политику Никсона по контролю над вооружениями, считая ее слишком примирительной. Оборонные программы проводились Никсоном через Конгресс при помощи консерваторов, при этом приходилось преодолевать оппозицию со стороны либералов, а меры по контролю над вооружениями одобрялись Конгрессом — если такое одобрение требовалось — при помощи либералов вопреки оппозиции некоторых консерваторов.

Сущность большинства критических замечаний (в конце концов, даже со стороны либералов) сводилась к призыву вернуться к первоначальным положениям политики «сдерживания» и поджидать трансформации советской системы при наличии сильной защиты. Никсон соглашался с необходимостью наличия сильной защиты, но не верил в политику, которая позволила бы Москве формировать содержание дипломатии и делать американский внутривнутриполитический кризис бесконтрольным. Критики считали, что активная дипломатическая деятельность, связанная с отношениями между Востоком и Западом, притупит бдительность американского народа. Никсон же полагал, что дипломатическая гибкость требуется для того, чтобы укрепить американскую готовность противостоять коммунизму. Он был преисполнен решимости противодействовать любому советскому проявлению экспансионистского характера, что, в свою очередь, некоторые критики истолковывали, как введение европейского типа геополитики в изначально идеологический конфликт.

В июне 1974 года сенатор Генри Джексон распространил у себя в подкомитете по вопросам контроля над вооружениями критический материал по разрядке, подготовленный группой известных ученых, где утверждалось:

«Согласно нынешней советской терминологии, разрядка, или „мирное сосуществование“, представляет собой стратегическую альтернативу применительно к открыто воинственному антагонизму по отношению к так называемым „капиталистическим странам“. В это понятие не входит отказ Советского Союза и его

союзников от конфликта с либеральными странами Запада. Лобовой конфликт уступает место непрямым методам борьбы с использованием невоенных средств, называемых „идеологическими“: в советской практике этот термин включает в себя подрывные действия, пропаганду, политический шантаж и разведывательные операции»[988].

Джордж Мини, президент АФТ — КПП, выразил те же мысли, но на непрофессиональном языке, выступая перед сенатским комитетом по иностранным делам:

«Вот как Советский Союз представляет себе разрядку: детант базируется на слабости Соединенных Штатов. Разрядка означает интенсификацию идеологической войны, а также — подрыв НАТО и абсолютное советское военное преобладание над Западом. Разрядка — не что иное, как признание Западом права собственности Советского Союза на Восточную Европу. Разрядка означает, наконец, вывод американских сил из Европы»[989].

Такого рода критика выводила из себя администрацию Никсона, которая никогда не сомневалась в том, что Кремль рассматривал разрядку, как нечто полезное хотя бы для некоторых из стоящих перед Советами целей, иначе Москва так бы к нему не стремилась. Но вопрос заключался в том, выгодна ли разрядка одновременно и Америке. Никсон и его советники полагали, что время работает на демократические страны, поскольку период мира в отсутствие экспансии усилит центробежные силы внутри коммунистического мира.

Я подготовил анализ, делающий упор на разрядку, в марте 1976 года, во времена администрации Форда, которая на деле следовала той же политике, что и администрация Никсона, и приобрела себе тех же противников:

«Советская сила в своих составляющих неравноценна; слабости и несбывшиеся надежды советской системы вопиющи и уже четко задокументированы. Несмотря на неизбежный рост могущества, Советский Союз остается далеко позади нас и наших союзников по любой оценке обобщенного характера применительно к его могуществу в военном, экономическом и технологическом отношении; со стороны Советского Союза было бы до предела безответственно бросать вызов промышленно развитым демократическим странам. А советское общество более не изолировано от влияния и привлекательного воздействия внешнего мира и не ограждено намертво от

необходимых для него внешних контактов»[990].

С течением времени теоретические по сути дебаты на тему разрядки были бы разрешены самим ходом событий. Но интеллектуальный лидер критиков, грозный сенатор Генри Джексон вовсе не был готов подвергнуть разрядку испытанию временем и объявил мобилизацию сторонников, с тем чтобы остановить ее на полпути. Сенатор-демократ от штата Вашингтон и один из самых заметных общественных деятелей Америки, Джексон всерьез изучал проблемы международных отношений, в особенности с Советским Союзом, и являлся экспертом мирового класса по вопросам обороны. Он сочетал в себе эрудицию с мастерским умением манипулировать различными ветвями власти, объединяя Конгресс с симпатизирующими ему элементами в исполнительных структурах. Аппарат Джексона, возглавляемый проницательным Ричардом Перлом, был вполне равен ему по эрудиции и даже превосходил его в тонкостях искусства манипулирования.

Хотя Джексон был первым кандидатом Никсона на пост министра обороны, ему суждено было стать наиболее непримиримым противником политики администрации в отношении Советского Союза. Почти на протяжении всего первого срока пребывания Никсона на посту президента Джексон сохранял разумную стойкость применительно к вьетнамским делам. Тогда он показал себя решительным сторонником усилий Никсона по сбережению костяка американской оборонительной системы, выдерживая непрерывное давление со стороны Конгресса в направлении одностороннего сокращения бюджета. Джексон оказал незаменимую услугу в проведении предложенного Никсоном проекта создания системы противоракетной обороны (ПРО) через сенат. Тем не менее к концу первого срока президентства Никсона их пути разошлись, даже несмотря на то, что понимание ими советских целей и задач было почти идентичным. Джексон не соглашался с договором по ПРО, который ограничивал число противоракетных оборонительных комплексов для каждой из обеих сторон до двух, и вскоре он распространил свое неприятие на всю сферу отношений между Востоком и Западом.

Первоначальная программа Никсона по вопросам противоракетной обороны (ПРО) включала в себя дюжину оборонительных комплексов по периметру Соединенных Штатов. Это могло бы оказаться полезным для противодействия малым ядерным силам типа китайских и для отражения ограниченных советских ядерных атак,

причем эта система способна была бы стать основой будущей крупномасштабной комплексной защиты от Советского Союза.

Однако Конгресс каждый год сокращал численность этих комплексов, и в 1971 году Пентагон заложил в очередной бюджет всего лишь два таких комплекса. Такого рода мероприятие уже не имело разумной стратегической целенаправленности; единственная польза от него сводилась к чисто экспериментальной. В дополнение к этому антивоенная ментальность того времени проявлялась еще и в том, что большинство в Конгрессе на каждой из его сессий имело обыкновение резать предлагаемый оборонный бюджет (не говоря уже о программах, которые администрация Никсона не решалась предлагать, ибо знала, что обязательно потерпит поражение).

Давление подобного рода превращало министерство обороны в неожиданного и необычного для подобного ведомства сторонника мероприятий по контролю над вооружениями. В начале 1970 года заместитель министра обороны Дэвид Паккард настоял на том, чтобы Никсон немедленно выступил с новой инициативой в области ОСВ, «при помощи которой мы могли бы надеяться на достижение договоренности в Вене к середине октября или, самое позднее, в ноябре». Он считал скорейшее заключение соглашения жизненно важным, пусть даже оно будет носить лишь частичный характер, поскольку перспективы «выкручивания национального бюджета» «предположительно» могли бы повлечь за собой «крупные сокращения оборонных программ», «включая стратегические силы». В отсутствие этого односторонние решения Конгресса постоянно «отнимали бы у нас один за другим рычаги переговорного воздействия»[991].

В подобной политической обстановке Никсон летом 1970 года вступил в переписку с советским премьер-министром Алексеем Косыгиным, где закладывались рамки соглашения по ограничению стратегических вооружений (ОСВ), заключенного через два года. До этого времени Советский Союз настаивал на том, чтобы переговоры по контролю над вооружениями ограничивались сокращением оборонительных вооружений, по которым у Соединенных Штатов имелись технологические преимущества, но исключали установление лимитов по наступательным ракетам, которые Советский Союз производил в год по двести единиц самых разных типов, а Соединенные Штаты — ни одной. Никсон дал ясно понять, что с подобного рода

односторонней сделкой он никогда не согласится. Итогом переписки между Косыгиным и Никсоном явилось то, что Советы дали согласие на одновременное ограничение как наступательного, так и оборонительного оружия.

В результате последовавших переговоров было заключено два соглашения. Договор ПРО 1972 года ограничивал число оборонительных комплексов двумя, состоящими из двухсот пусковых установок, что было явно недостаточно для отражения даже весьма ограниченного нападения. Никсон согласился на этот потолок, чтобы сохранить ядро системы противоракетной обороны, ибо он опасался, что в противном случае Конгресс снимет даже экспериментальную программу. В те времена ограничения по оборонительным вооружениям были относительно свободны от двусмысленностей и противоречий.

Масло в огонь подлило Временное соглашение сроком на пять лет. Оно обязывало обе стороны заморозить на согласованном уровне все стратегические наступательные ракетные силы как наземного, так и морского базирования. Соединенные Штаты сами пять лет назад установили для себя предельные уровни и, полагая их достаточными, никогда не прорабатывали программы их увеличения. Советский же Союз выпускал по двести ракет в год. Чтобы добиться согласованного предела, он должен был демонтировать 210 ракет дальнего радиуса действия устаревших типов. Бомбардировщики (по которым Соединенные Штаты обладали преимуществом) по численности не ограничивались. Обе стороны сохраняли за собой право свободного совершенствования технологии применительно к своим ядерным силам.

Трудно было сравнивать ракетные вооружения обеих сторон. Американские ракеты были меньше и точнее; половина из них была оснащена разделяющимися боеголовками (то есть каждая из ракет несла несколько ядерных устройств). Советские ракеты были крупнее, грубее и менее гибкие по применению. Они также превышали численностью американские примерно на 300 единиц. Пока каждая из сторон самостоятельно принимала решения, такая разница, похоже, никого не беспокоила, без сомнения, потому, что у Америки было крупное превосходство по самолетам и, в силу наличия разделяющихся боеголовок, непрерывный рост преимущества по ним, которое только увеличилось бы за те пять лет, в течение которых действовало бы это соглашение.

Тем не менее, как только соглашение ОСВ было подписано на московской встрече в

мае 1972 года, отсутствие паритета по согласованному количеству пусковых установок вдруг стало предметом противоречивых споров. Положение дел выглядело весьма странно. Еще когда переговоров по ОСВ не было и в проекте, Соединенные Штаты сами установили существовавший тогда потолок. Пентагон не делал ни малейших попыток увеличить эти уровни на всем протяжении первого срока пребывания Никсона на посту президента; не было получено от Пентагона ни единого запроса по поводу увеличения стратегических сил, и уж, само собой, ни один такой запрос не был отклонен. И даже после того, как по дополнительному соглашению, заключенному в 1974 году во Владивостоке, эти пределы были подняты и уравнены, министерство обороны так ни разу и не предложило увеличить количество пусковых установок по сравнению с цифрой, принятой в 1967 году.

Однако пришелец с Марса, который бы наблюдал за разворачивающимися внутри-американскими дебатами, услышал бы потрясающую сказочку о том, как правительство Соединенных Штатов «согласилось» с ракетным неравенством и дало обязательство ограничиться своей собственной односторонней программой, которую в отсутствие договора ОСВ никто и не пытался менять и никто так и не поменял, даже тогда, когда через два года ограничения были сняты, — не поменяла ее даже администрация Рейгана. Уровень сил, добровольно принятый Соединенными Штатами, ибо он обеспечивал Америку большим числом боеголовок, чем находилось в распоряжении Советского Союза, и который Соединенные Штаты не в состоянии были менять в период действия соглашения, внезапно был назван опасным, когда он был подтвержден как часть договоренности[992].

К несчастью для Никсона и его советников, «неравенство» относится к числу тех самых ключевых терминов, которые порождают собственную реальность. Ко времени опровержения со стороны администрации, когда был сделан сравнительный подсчет пусковых установок и боеголовок, когда уже был рассчитан и оговорен потолок, глаза у всех остекленели, а на душе оставалось лишь неприятное ощущение, будто бы администрация защищает «ракетное неравенство», неблагоприятное для Соединенных Штатов.

Администрация Никсона видела в договоре по ОСВ средство защиты существенно важных оборонительных программ против нападков Конгресса, причем двояко: она настаивала на том, чтобы ограничения, установленные соглашением, рассматривались

бы Конгрессом, лишь как отметки уровней, а представление соглашения в Конгресс она сопроводила запросом на увеличение оборонного бюджета на 4,5 миллиарда долларов на модернизацию. Даже теперь, по прошествии двадцати лет, до сих пор являются действующими большинство стратегических программ ключевого характера (бомбардировщик В-1, бомбардировщик «Стелс», ракета MX, крылатые ракеты, ракеты и подводные лодки типа «Трайдент»), родившихся во времена администраций Никсона и Форда в период действия соглашения ОСВ.

То, что внешне выглядело, как дебаты по поводу ракетных сил обеих сторон, на самом деле явилось знаменательным отражением озабоченности более глубокого и весьма существенного характера. Джексон и его сторонники видели во всевозрастающем внимании к проблеме контроля над вооружениями — и действительно, как средства массовой информации, так и академические круги были прямо-таки одержимы ею — потенциальную угрозу любой серьезной оборонной политике. Новые военные программы во все большей степени оправдывались тем, что они могли бы послужить предметами переговорного давления на будущих встречах по поводу новых соглашений типа ОСВ. Силы, поддерживающие Джексона, опасались того, что подобные тенденции могут снять какое бы то ни было стратегическое рациональное обоснование решений по вопросам обороны. В конце концов, какой же смысл ассигновывать скудные ресурсы на дорогостоящие программы только для того, чтобы в первую очередь предложить их в обмен на снятие какой-либо проблемы?

В данном контексте дебаты по поводу условий соглашения были в итоге направлены на то, как совместить их с принципом американского стратегического превосходства. Теоретически на протяжении десятилетия понималось, что разрушительное действие ядерного оружия обуславливало взаимный тупик, то есть исключало победу любой ценой, и с этим соглашался любой разумный политический руководитель. Именно осознание этого факта способствовало выработке администрацией Кеннеди доктрины «гарантированного уничтожения», согласно которой политика устрашения базировалась на способности каждой из сторон произвести опустошение у другой.

Далекая от того, чтобы разрешить дилемму, эта стратегическая доктрина лишь ее переименовала. Национальная стратегия, полагающаяся на угрозу самоубийства, не могла рано или поздно не зайти в тупик. А ОСВ довело до сведения широкой публики то, что эксперты уже знали, по крайней мере, на протяжении десятилетия. Внезапно

на ОСВ обрушились обвинения за состояние дел, которое являлось еще более дисгармоничным, когда гонка вооружений ничем не сдерживалась. Дилемма была достаточно реальной, но ее породило не ОСВ. Пока устрашение было тождественно взаимному разрушению и уничтожению, психологическая неприязнь к ядерной войне была всеобъемлющей. Америка изготовляла оружие, предназначенное лишь для того, чтобы удержать оппонента от применения ядерного оружия, а не для существенного воздействия на исход любого предполагаемого политического кризиса. Как только такого рода понимание сути дела проникло бы в умы, «взаимно гарантированное уничтожение» подорвало бы моральный дух и разрушило бы существующие союзы. Это, а не ОСВ, представляло собой истинную ядерную дилемму.

Таким образом, дебаты по поводу ОСВ — и разрядки, — по существу, отражали неприятие мира, где смертельный идеологический конфликт уравнивался неизбежной стратегической патовой ситуацией. Истинная схватка по поводу ОСВ имела в своей основе две совершенно различные оценки ядерного пата. Никсон и его советники сделали вывод, что какая бы из сторон ни была в состоянии бросать вызов на грани ядерной войны, ей бы со временем удалось нарастить достаточный для шантажа потенциал и проводить политику ползучего экспансионизма. Вот почему Никсон делал такой упор на сдерживании геополитической угрозы. В отсутствие способности к противодействию — способности разоружить противника при первом ударе — американская стратегическая мощь становится менее и менее пригодной для защиты заморских территорий, включая сюда, в конце концов, даже Европу (см. гл. 24).

Группировки, связанные с Джексоном, понимали это и жаждали реставрации американского стратегического превосходства. Но они рьянили свои заботы в одежды страха, будто бы не только Америка лишится способности к первому удару — что было правдой, — но и что со временем Советский Союз такую способность приобретет, — что правдой уже не было, по крайней мере, в пределах временных рамок этих дебатов.

Кошмаром Джексона являлась уязвимость стратегическая; кошмаром Никсона — геополитическая; Джексон был озабочен соотношением степени военного могущества; Никсон главным образом — глобальным распределением политического могущества[993]. Джексон и его приверженцы пытались использовать ОСВ, чтобы

вынудить Советский Союз переформировать все свои стратегические силы согласно американскому выбору. Никсон и его советники не верили в то, что Америка обладает рычагами для осуществления подобного замысла в период наложенных Конгрессом ограничений на оборонный бюджет, хотя позднее Рейган продемонстрирует политическую полезность преднамеренного американского наращивания сил. Джексон и его приверженцы в первую очередь концентрировали свое внимание на вопросах стратегического равновесия, угрозу которому они трактовали как в основном технологическую проблему. Администрация Никсона стремилась подготовить Америку к роли, новой для ее истории, но старой как мир для всех остальных государств: предотвратить накопление противником, казалось бы, ничтожных геополитических приобретений, которые со временем были бы способны опрокинуть равновесие сил. Силы, связанные с Джексоном, были относительно терпимы к геополитическим изменениям (Джексон проголосовал против помощи некоммунистической стороне в Анголе в 1975 году), зато ревностно относились к возможности практического применения самого технологически сложного вооружения.

Этот тупик превратил дебаты по ОСВ в еще более невразумительные мудрствования, но в итоге противоречия разрешились посредством тактико-технического анализа систем вооружений, находящегося вне' пределов разумения неспециалиста и явившегося предметом глубочайших расхождений между самими экспертами по вопросам вооружений. На протяжении будущего десятилетия аргументация относительно соотношения между крылатыми ракетами и советскими бомбардировщиками «Бэкфайр», между равными количествами ракет и неравными количествами разделяющихся боеголовок будет читаться, как средневековые трактаты, зафиксированные писцами какого-нибудь отдаленного монастыря.

Вопросы, задававшиеся по ходу дебатов, были фундаментальными и неизбежными. Тупик породила личная трагедия президента, сделавшая выработку общего взгляда на вещи невозможной. Американский идеализм царствовал безраздельно, не ограничиваемый никакими стимулами к политическому компромиссу. Президент не мог наложить санкций или предложить какое-либо вознаграждение, ибо в его аппарате у критикующих не было политических побуждений изменить свою точку зрения. Дебаты приобрели облик ученого совета, на котором выступают профессора,

слушающие только самих себя. Историки, однако, только выгадают, ибо позиции были на этот раз высказаны гораздо более четко, чем это бывает типично для процесса формирования политики. Америка заплатила за это самобичевание задержкой на десятилетие окончательного осознания своих геополитических нужд.

Коммунизм в конце концов рухнул отчасти в результате собственного склероза, отчасти в результате давления со стороны вновь воспринявшего духом Запада. Вот почему окончательный суд истории, без сомнения, отнесется более милостиво к соперничавшим лагерям, ведшим в Америке внутривнутриполитические дебаты, чем они сами относились друг к другу. Он воспримет подход Никсона и его консервативных критиков, как взаимно дополняющие, а не исключаящие друг друга, когда одна сторона дебатов подчеркивала геополитический, а другая — технологический аспект борьбы, моральное содержание которой воспринималось и теми и другими одинаково.

Контроль над вооружениями оказался технически чересчур громоздким, чтобы принять на себя всю тяжесть философских противоречий, заложенных в американской внешней политике. Постепенно дебаты перенеслись на иной предмет, более созвучный традиционному американскому идеализму и способный вызвать большой резонанс у широкой публики, — а именно, на тот постулат, что права человека должны числиться среди первоочередных целей американской внешней политики.

Дебаты по правам человека начались с призывов — оказать влияние на Советский Союз в целях улучшения обращения последнего со своими гражданами, но постепенно превратились в стратегию внутривнутриполитических перемен в стране. Так же как и в отношении контроля над вооружениями, суть спора не связывалась с его предметом, который был бесспорен, но касалась той степени, в которой идеологическая конфронтация могла бы быть первостепенным вопросом американской внешней политики.

Как предмет дипломатических переговоров вопрос еврейской эмиграции из Советского Союза был порождением администрации Никсона. До 1969 года ничего подобного никогда не стояло в повестке дня при диалоге между Востоком и Западом; все прочие администрации обеих партий трактовали его как предмет внутренней юрисдикции Советского Союза. В 1968 году только 400 евреям было позволено эмигрировать из Советского Союза, и ни одна из демократических стран этого

вопроса не затронула.

По мере улучшения американо-советских отношений администрация Никсона начала обсуждать проблему эмиграции в форме президентских закулисных переговоров, сопровождая это тем доводом, что советские действия не остаются незамеченными на самых высоких уровнях власти в Америке. Кремль начал реагировать на американские «соображения», особенно после того, как советско-американские отношения стали улучшаться. Каждый год росло число еврейских эмигрантов, и к 1973 году общее их число достигло 35 тыс. в год. Кроме того, Белый дом регулярно направлял советским руководителям перечень трудных случаев: когда конкретным лицам отказывали в выездной визе, или когда разлучались семьи, или когда кто-то попадал в тюрьму. Большинству из этих советских граждан было позволено эмигрировать.

Все это осуществлялось посредством того, что при изучении начального курса дипломатии именуется «молчаливым торгом». Не делается никаких официальных запросов, не дается никаких официальных ответов. Советские действия совершаются, не получая формального подтверждения. Но порядок эмиграции из Советского Союза постоянно совершенствовался, хотя Вашингтон никогда не предъявлял по этому поводу конкретных претензий. Администрация Никсона до того строго придерживалась подобных правил, что никогда не ставила себе в заслугу смягчение участи советских эмигрантов — даже во время избирательных кампаний — до тех пор, пока Генри Джексон не превратил вопрос еврейской эмиграции в предмет общественной конфронтации.

Джексона подвигло на это курьезное решение Кремля летом 1972 года наложить «выездной сбор» на эмигрантов, якобы для того, чтобы возместить советскому государству расходы на образование отъезжающих граждан. Никаких объяснений дано не было; возможно, это была попытка подать себя наиболее выгодным образом в арабском мире, непрочность позиции которого наглядно продемонстрировало удаление из Египта советских боевых подразделений. А может быть, налог на отъезжающих был придуман как средство изыскания источников поступления иностранной валюты в надежде на то, что ее заплатят американские сторонники роста эмиграции. Боясь, что поток эмиграции иссякнет, еврейские группировки обращались как к администрации Никсона, так и к их неизменной опоре — Генри Джексону.

В то время как администрация Никсона продолжала действовать тихой сапой, чтобы разрешить этот вопрос с послом Добрыниным, Джексон изобрел оригинальное средство публичного оказания давления на Советский Союз. В рамках встречи 1972 года было подписано соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом, предоставляющее Советскому Союзу статус наиболее благоприятствуемой нации в обмен на урегулирование оставшихся со времен войны долгов по ленд-лизу. В октябре 1972 года Джексон предложил поправку, запрещающую предоставление статуса наиболее благоприятствуемой нации любой из стран, искусственно ограничивающих эмиграцию. Это был блестящий в тактическом отношении ход. Сами слова «статус наибольшего благоприятствования» звучат весьма значительно, хотя по сути это означает всего лишь отсутствие дискриминации. Статус этот не дает никаких особых привилегий, но просто предоставляет реципиенту привилегии, имеющиеся у всех наций, с которыми Соединенные Штаты поддерживают нормальные коммерческие отношения (а число их тогда превышало сотню). Режим наибольшего благоприятствования способствует развитию нормальной торговли на базе коммерческой взаимности. С учетом состояния советской экономики объем такого рода торговли заведомо не мог быть большим. Зато при помощи поправки Джексона удалось достичь того, что советская эмиграционная практика стала не только предметом открытой дипломатической деятельности, но и законодательной деятельности американского Конгресса.

По существу предмета разногласий между администрацией и Джексоном не было. Более того, администрация заняла твердую точку зрения и по ряду других вопросов, связанных с правами человека. К примеру, я неоднократно и настойчиво обращался к Добрынину по поводу писателя-диссидента Александра Солженицына, что способствовало его отъезду из Советского Союза. Джексон, однако, не поощрял тихой дипломатии применительно к правам человека и настаивал на том, чтобы американская преданность этому делу демонстрировалась открыто и напоказ, — чтобы успехи вознаграждались, а неудачи влекли за собой негативные последствия.

Поначалу давление со стороны Конгресса служило полезным подкреплением усилий администрации в том же направлении. Вскоре, однако, различие перестало быть чисто методическим. Никсон, который первоначально выработал концепцию поощрения еврейской эмиграции, совершил это в качестве гуманного жеста (а

возможно, и погранично-политического, хотя он никогда не пользовался этим публично). Но он проводил черту, не позволявшую подчинять весь комплекс отношений между Востоком и Западом вопросу еврейской эмиграции, ибо не считал, что в этом деле в значительной степени присутствуют американские национальные интересы.

Для Джексона и его сторонников вопрос еврейской эмиграции был внешним выражением идеологической конфронтации с коммунизмом. Неудивительно, что каждую советскую уступку они рассматривали с точки зрения успешности своей тактики давления. Советские руководители отменили выездной сбор: вследствие ли представлений со стороны Белого дома, или в силу поправки Джексона, или благодаря и тому и другому, что наиболее вероятно, — мы, однако, сможем точно узнать это лишь тогда, когда раскроются советские архивы. Воспрямые духом критики администрации потребовали увеличения вдвое численности еврейской эмиграции и снятия запретов на эмиграцию других национальностей в соответствии со схемой, подлежащей одобрению со стороны Соединенных Штатов. Силами сторонников Джексона были также законодательно оформлены ограничения по займам и кредитам Советскому Союзу со стороны Экспортно-импортного банка (поправка Стивенсона), так что в коммерческих вопросах Советский Союз в итоге очутился в худшем положении после начала разрядки по сравнению с ситуацией до начала ослабления напряженности между Востоком и Западом.

Будучи руководителем страны, которая только-только начинала приходить в себя после изнурительной войны, но зато входила в полосу кризиса президентской власти, Никсон шел только на такой риск, который соответствовал его концепции национальных интересов и который его страна была бы готова поддержать. Зато его критики желали, чтобы американская дипломатия довела советскую систему до краха посредством требования односторонних уступок в деле контроля над вооружениями, ограничения торговли и демонстративной защиты прав человека. По ходу дела произошло кардинальное изменение позиций ряда основных участников общенациональных дебатов. «Нью-Йорк таймс» в одной из передовых статей в 1971 году предупреждала, что «тактика ограничения торговли с Америкой в качестве рычага позднейших уступок по поводу не связанных с этим вопросов в еще меньшей степени способна положительно повлиять на советскую политику, чем сама

торговля...»[994]. Через два года автор передовиц сменил курс. Он осудил поездку министра финансов Джорджа Шульца в Советский Союз, объявив ее свидетельством того, что «администрация до такой степени заинтересована в торговле и разрядке, что готова отодвинуть в сторону в равной степени весомую озабоченность американского народа вопросами прав человека где бы то ни было»[995].

Никсон старался поощрять умеренность в поведении Советского Союза на международной арене посредством лакмусовой бумажки роста торговли с Америкой, показывающей качество советской внешней политики. Его оппоненты пытались провести принцип увязки еще дальше, чтобы попытаться при помощи торговли стимулировать радикальные внутренние перемены в Советском Союзе в те времена, когда Советский Союз был еще силен и уверен в себе. Всего за четыре года до этого осуждаемый как глашатай «холодной войны», Никсон теперь подвергался осуждению за исключительную мягкость и доверчивость в отношении Советского Союза — безусловно, впервые такого рода обвинение адресовалось человеку, который начал свою политическую карьеру антикоммунистическими расследованиями конца 40-х годов.

Вскоре был брошен вызов самой концепции улучшения советско-американских отношений, как это было сделано в передовой статье «Вашингтон пост»:

«Самый трудный вопрос по поводу того, что же является сущностью советско-американской разрядки, переходит из фазы дебатов в фазу политики. Значительное число американцев, похоже, приходит к убеждению, что „детант" нежелателен, невозможен и небезопасен в смысле улучшения отношений с Советским Союзом, пока Кремль не либерализирует кое-какие вопросы своей внутренней политики»[996].

Америку относил назад, в направлении истинной веры Ачесона и Даллеса и к доктрине 68 Совета национальной безопасности: к уверенности в том, что фундаментальные перемены в постановке Советами перед собой внешнеполитических целей и задач, а также во внутренней политике должны предшествовать серьезным переговорам между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Но если прежние сторонники курса «холодной войны» довольствовались политикой «сдерживания», полагаясь на то, что именно она обеспечит в свое время эти перемены во всей их полноте, то их преемники обещали, что советская система претерпит важные и многообещающие перемены в результате прямого давления со

стороны Америки и прямо объявленных американских требований.

В ряде случаев во времена брежневской эры Никсон и его окружение оказывались в состоянии прямой конфронтации с советским руководством, когда еще не сошла на нет советская воля к усилению и распространению собственной власти. И мы обнаружили, что это оппонент грозный и могущественный. Комплексный натиск на коммунистическую систему в условиях ядерного паритета, похоже, представлялся делом долгим и малообещающим. После Вьетнама и в разгар «уотергейта» мы очутились в положении пловца, который, только что чуть не утонул и сейчас никак не поддается на уговоры переплыть Ла-Манш, а когда он не проявляет энтузиазма по поводу подобного предложения, его обвиняют в пессимизме. Джексон прославил себя на бастионах геополитической борьбы с коммунизмом и готов был действовать в том же духе. Этого не скажешь о многих его последователях, чью искренность мы ставим под сомнение гораздо меньше, чем твердость убеждений.

Во время международного кризиса президент неизбежно является центром внимания применительно к действиям правительства. С одной лишь этой точки зрения период «уотергейта» вряд ли был идеальным моментом для начала продуманной политики советско-американской конфронтации. Шел процесс импичмента президента; раны Вьетнама все еще были открыты; а недоверие к администрации было настолько велико, что после того, как Советы недвусмысленно выступили с угрозой интервенции на Ближнем Востоке, весьма уважаемый журналист на пресс-конференции в октябре 1973 года счел для себя возможным задать вопрос, уж не были ли вооруженные силы Соединенных Штатов приведены в состояние повышенной готовности для того, чтобы отвлечь внимание от «уотергейта»:

Споры превратились в дебаты, суть которых была известна еще со времен Джона Квинси Адамса и заключалась в том, должны ли Соединенные Штаты довольствоваться утверждением собственных моральных ценностей или обязаны начинать в их защиту крестовый поход. Никсон пытался соотнести цели и задачи Америки с ее возможностями. В этих пределах он был готов воспользоваться влиянием Америки для пропаганды ее ценностей, что доказывается его поведением по вопросу еврейской эмиграции. Критики требовали от него немедленного воплощения в жизнь универсальных принципов и отмахивались с нетерпением от понятия целесообразности, считая ссылку на него доказательством морального

несоответствия или исторического пессимизма. Утверждая исключительность американского идеализма, администрация Никсона полагала, что он исполняет важную просветительскую функцию. В тот момент, когда Америку наставляли, что она на примере Вьетнама должна научиться определять пределы геополитических возможностей, фигуры общенационального масштаба в авангарде критикующих вьетнамскую политику настаивали на том, чтобы страна избрала курс неограниченного и глобального вмешательства в проблемы мировой гуманности. Какая ирония судьбы!

Как потом покажут годы пребывания Рейгана на президентском посту, более решительная политика по отношению к Советскому Союзу породила ряд успехов и достижений, хотя эти успехи стали очевидны лишь на позднейшей стадии советско-американских отношений. Но когда только разгорались дебаты по поводу разрядки, Америке еще предстояло оправиться после Вьетнама и позабыть про «уотергейт». А у советских лидеров должна была произойти смена поколений. Но то, как разворачивались дебаты в начале 70-х годов, тем не менее позволило сохранить определенное равновесие между идеализмом, пронизывающим все великие американские инициативы, и реализмом, предопределенным переменной глобальной обстановки.

Критики разрядки упрощали предмет спора до предела; администрация Никсона во вред себе чересчур педантично отвечала на все вопросы. Уязвленный нападками со стороны бывших друзей и союзников, Никсон отмахивался от критики, как политически мотивированной. Каким бы верным ни было это его предположение, вряд ли надо обладать глубинной проницательностью, чтобы обвинять профессиональных политиков в наличии у них политических мотивов. Администрации следовало бы задать себе вопрос: почему столько политиков сочло для себя целесообразным присоединиться к лагерю Джексона.

Очувтившись в тисках между уравнилительным морализаторством и чрезмерным упором на геополитику, американская политика к концу срока пребывания Никсона на посту президента оказалась в тупике. Пряник роста торговли был припрятан, кнут роста оборонных расходов, или даже готовность противостоять геополитическим конфронтациям, и вовсе отсутствовал. Переговоры об ОСВ замерли; еврейская эмиграция из Советского Союза превратилась в тоненькую струйку; а коммунистическое

геополитическое наступление возобновилось с направлением кубинского экспедиционного корпуса в Анголу, где образовалось коммунистическое правительство, в то время как американские консерваторы выступали против твердого американского ответа на это. Я обрисовал эти трудности следующим образом:

«Если одна группировка критиков подрывает ведение переговоров по контролю над вооружениями и устраняет перспективы более конструктивных связей с Советским Союзом, то другая группировка урезает наши оборонные бюджеты и сокращает разведывательные службы, что становится серьезной помехой сопротивляемости Америки советскому авантюризму, причем объединенное воздействие обеих тенденций, независимо от первоначальных намерений каждой из группировок, в итоге приводит к тому, что разрушает способность нации вести твердую, изобретательную, умеренную и благоразумную внешнюю политику»[997].

Вот почему даже крупные дипломатические достижения этого периода были полны противоречий. Американская дипломатия, добившаяся преобладания на Ближнем и Среднем Востоке после 1973 года и резко сократившая советское влияние в этом стратегически важном регионе, в течение ряда лет объявлялась безуспешной, пока темпы мирного процесса не разбили опасения даже самых отъявленных скептиков.

Та же судьба постигла то, что потомки назовут значительнейшим дипломатическим достижением Запада: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняло участие тридцать пять государств и результатом которого явились Хельсинкские соглашения. Этот громоздкий дипломатический процесс имел в своей основе глубоко укоренившееся у Москвы чувство неуверенности в себе и неумную жажду легитимизации. Даже создав гигантский военный истеблишмент и удерживая при себе более сотни наций, Кремль действовал так, словно постоянно нуждался в подтверждении собственного могущества. Независимо от наличия огромного и постоянно растущего ядерного арсенала, Советский Союз требовал от тех самых стран, которым он угрожал в течение десятилетий и которых приговорил к тому, чтобы они оказались на мусорной свалке истории, той или иной формулировки, при помощи которой освящались бы их приобретения. В этом смысле Европейское Совещание стало брежневским эрзацем хрущевскому мирному договору с Германией, которого Хрущеву так и не удалось добиться при помощи берлинского ультиматума, — и крупномасштабным подтверждением послевоенного статус-кво.

Конкретная выгода, предусмотренная Москвой, вовсе не была самоочевидной. Настоятельное желание колыбели идеологической революции получить подтверждение собственной легитимности со стороны заведомых жертв исторической необходимости являлось симптомом исключительной неуверенности в себе. Возможно, советские руководители делали ставку на вероятность того, что конференция создаст по окончании какие-либо институты, которые либо растворят в себе НАТО, либо лишат его какого бы то ни было значения.

Это являлось чистейшим самообманом. Ни одна из стран НАТО не собиралась подменять декларативно-бюрократическими конструкциями Европейского Совещания военные реалии НАТО или присутствие американских вооруженных сил на континенте. Москва, как выяснилось позднее, теряла от этой конференции гораздо больше, чем демократические страны, ибо в итоге она предоставила всем своим участникам, включая Соединенные Штаты, право голоса в вопросах политического устройства Восточной Европы.

После периода сомнений администрация Никсона согласилась с предложением о проведении Совещания. Отдавая себе отчет в том, что у Советского Союза существует свой, прямо противоположный план его проведения, мы тем не менее воспользовались столь далеко идущими возможностями. Границы стран Восточной Европы давно уже были признаны мирными договорами, заключенными по окончании второй мировой войны между военными союзниками и военными сателлитами Германии в Восточной Европе. Они затем были четко подтверждены в двухсторонних соглашениях, заключенных Вилли Брандтом между Федеративной Республикой и странами Восточной Европы, а также между другими демократическими странами НАТО, особенно Францией, и странами Восточной Европы (включая Польшу и Советский Союз). Более того, все союзники по НАТО настаивали на проведении Европейского Совещания по вопросам безопасности; на каждой из встреч с советскими представителями западноевропейские лидеры делали очередной шаг в сторону принятия советской повестки дня.

И тогда в 1971 году администрация Никсона решила включить Европейское Совещание по безопасности в число своего списка инициатив, стимулирующих советскую сдержанность. Мы применили стратегию «увязывания», итоги которой подвел откровенно и точно советник государственного департамента Хельмут

Зонненфельдт: «Мы воспользовались ею ради заключения Германно-Советского договора, мы воспользовались ею ради соглашения по Берлину, и мы опять-таки воспользовались ею ради начала переговоров МБФР (переговоров по взаимному сбалансированному сокращению вооруженных сил в Европе)»[998]. Вначале администрация Никсона, а затем администрация Форда предопределили исход конференции, обусловив участие в ней Америки сдержанностью советского поведения по всем другим вопросам. Они настояли на удовлетворительном завершении переговоров по Берлину и на начале переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил в Европе. Когда все это было завершено, делегации тридцати пяти наций прибыли в Женеву, хотя тернистый путь этих переговоров почти не освещался западной прессой. Зато в 1978 году Совещание вышло на авансцену, когда было объявлено, что договоренность достигнута и соглашения будут подписаны в Хельсинки во время встречи на уровне глав государств. Американское влияние способствовало сведению положения о признании границ к обязательству не изменять их при помощи силы, что являлось прямым повторением Устава ООН. Поскольку ни одна из европейских стран не обладала возможностью осуществить такого рода насильственные изменения или проводить направленную на это политику, то такого рода формальный отказ вряд ли можно было считать советским достижением. Даже это ограниченное признание их законности перечеркивалось утверждением предшествовавшего этому положению принципа, в основном отстаивавшегося Соединенными Штатами. Он гласил, что нижеподписавшиеся государства «полагают, что их границы могут быть изменены, в соответствии с международным правом, мирными средствами и путем соглашения»[999].

Наиболее важным положением Хельсинкских соглашений явилась так называемая «третья корзина» по вопросам прав человека. («Первая» и «вторая» «корзины» соответственно касались политических и экономических вопросов.) «Третьей корзине» было суждено сыграть ведущую роль в исчезновении орбиты советских сателлитов, и она стала заслуженной наградой всем активистам в области прав человека в странах НАТО. Американская делегация, безусловно, внесла свой вклад в выработку заключительного акта Хельсинкских соглашений. Но особой благодарности заслуживают именно активисты движений за права человека, потому что в отсутствие давления с их стороны прогресс осуществлялся бы гораздо

медленнее и масштабы его были бы куда менее значительны.

«Третья корзина» обязывала все подписавшие соглашения страны претворять в жизнь и обеспечивать определенные, конкретно перечисленные основные права человека. Западные составители этого раздела надеялись, что эти положения создадут международный стандарт, который будет сдерживать советские репрессии против диссидентов и преобразователей. Как выяснилось, герои-реформаторы в Восточной Европе использовали «третью корзину» как фундамент сплочения в борьбе за освобождение своих стран от советского владычества. Вацлав Гавел в Чехословакии и Лех Валенса в Польше обеспечили себе место в пантеоне борцов за свободу благодаря тому, что использовали эти положения как во внутреннем, так и во внешнем плане для подрыва не только советского господства, но и коммунистических режимов в собственных странах.

Европейское Совецание по безопасности, таким образом, сыграло важную роль двоякого характера: на предварительных этапах оно делало более умеренным советское поведение в Европе, а впоследствии — ускорило развал советской империи.

Милосердно стерто из памяти отношение современников к Совецанию в Хельсинки. Президента Форда обвиняли в историческом предательстве за сам факт участия в Совецании и подписание им основного документа — так называемого Заключительного акта — в 1975 году. В передовой «Нью-Йорк тайме» утверждалось:

Совецание по безопасности и сотрудничеству в Европе с участием тридцати пяти наций, близящееся к кульминационному пункту после тридцатидвухмесячного семантического словоблудия, вообще не должно было иметь места. Никогда еще столь многие не сражались так долго за поистине ничтожные вещи. И если уже слишком поздно отозвать Хельсинкскую встречу в верхах... то следует приложить все усилия как публичным, так и частным порядком, чтобы предотвратить эйфорию на Западе»[1000].

Через три недели после этого я суммировал в своей речи отношение ко всему этому администрации Форда:

«Соединенные Штаты осуществляют процесс ослабления напряженности с позиции силы и уверенности в себе. Не мы обороняемся в Хельсинки; не нам бросают вызов все делегации с требованием жить согласно принципам, под которыми ставится наша подпись. В Хельсинки впервые за весь послевоенный период вопросы прав человека и

фундаментальных свобод стали признанными предметами диалога и переговоров между Востоком и Западом. Конференция выдвинула наши стандарты человеческого поведения, которые были и остаются маяком надежды для миллионов»[1001].

Это был грустный период, когда все слова убеждения пропадали втуне. В речи в марте 1976 года я бросил вызов тем, кто бросает вызов, даже с некоторой долей раздражения:

«Никакая политика не способна в скором времени, и вообще когда бы то ни было, устранить соперничество и убрать непримиримые идеологические разногласия между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Не сделает она и их интересы совместимыми. Мы вовлечены в длительный процесс, имеющий свои взлеты и падения. Но не существует альтернативы политике санкций за авантюризм и стимулирования сдержанности. Что конкретно предлагают совершить нашей стране те, кто столь свободно болтает об „улице с односторонним движением" или „превентивных уступках"? В чем конкретно проявилась сдача позиций? Какого уровня конфронтации они жаждут? Какие угрозы они бы предъявили? На какой риск они бы пошли? Какие конкретные перемены в нашей оборонительной структуре, какие расходы на какой период времени они предлагают? Как конкретно они предложили бы осуществлять отношения между США и СССР в эру стратегического равенства сил?»[1002]

Созданная Никсоном «структура сохранения мира» отвечала чаяниям нации положить конец авантюрам в дальних странах. Дело в том, что на протяжении почти всей своей истории американцы воспринимали мир как должное; определять мир как отсутствие войны было бы слишком пассивным и маловдохновляющим предначертанием постоянного направления американской политики. Концепция администрации Никсона в области международных отношений была гораздо более реалистичной, чем унаследованная от предыдущих администраций, и в конечном счете представляла собой основу для необходимых корректив американской внешней политики. Но она не базировалась на знакомых принципах: эту лакуну заполнили последующие администрации. Для Америки геополитическая интерпретация международной деятельности стала столь же необходимой, сколь она была недостаточна сама по себе. Критики Никсона, однако, действовали так, будто международная обстановка сама по себе ничего не значит и будто желанные для

Америки цели могут быть достигнуты в одностороннем порядке и для этого от Америки потребуются всего-навсего их просто провозгласить.

Стремясь разработать жизнеспособный подход к революционным переменам, которые администрация Никсона пыталась взять под контроль, она чересчур отклонилась в сторону геополитической необходимости для Америки. Ее критики и непосредственные преемники попытались скомпенсировать это, привлекая абсолютизированные версии американских принципов. Неизбежные противоречия были сделаны ненужно болезненными посредством разрушения внутреннего единства под двойным давлением Вьетнама и «уотергейта».

И все же, не позволив миру развалиться во время «холодной войны», Америка сумела вновь обрести для себя точку опоры и умудрилась перебросить мяч на полег советского оппонента. А когда геополитическая угроза исчезла вместе с идеологическим вызовом, Америка по иронии судьбы вынуждена была в 90-е годы в одностороннем порядке рассмотреть совершенно по-новому, в чем заключались ее национальные интересы.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. Конец «холодной войны»: Рейган и Горбачев

«Холодная война» началась тогда, когда Америка ожидала наступления эры мира. А закончилась «холодная война» в тот момент, когда Америка готовила себя к новой эре продолжительных конфликтов. Крушение советской империи свершилось еще более внезапно, чем развал ее за пределами границ собственно СССР; с той же скоростью Америка диаметрально изменила собственное отношение к России, за какие-то несколько месяцев перейдя от враждебности к дружбе.

Эти моментальные перемены свершились под эгидой двух совершенно невероятных партнеров. Избрание Рональда Рейгана было своего рода реакцией на кажущееся американское отступление ради утверждения традиционных истин американской исключительности. Горбачев, пробившийся к известности через жесточайшую борьбу на всех уровнях коммунистической иерархии, был преисполнен решимости вдохнуть новую силу в передовую, как он считал, советскую идеологию. И Рейган, и Горбачев верили в конечную победу собственной стороны. Однако существовало знаменательное различие между этими двумя столь неожиданными партнерами: Рейган понимал, какие силы движут его обществом, в то время как Горбачев абсолютно утерял с ними связь. Оба лидера апеллировали к тому лучшему, что видели в своих системах. Но Рейган высвободил дух своего народа, пустив в ход золотой запас инициативы и уверенности в себе. Горбачев же резко ускорил гибель представляемой им системы, призывая к реформам, провести которые он оказался не способен.

Вслед за крахом в Индокитае в 1975 году последовало отступление Америки из Анголы и углубление внутреннего раскола вследствие невероятного всплеска советского экспансионизма. Кубинские вооруженные силы распространились от Анголы до Эфиопии в тандеме с тысячами советских военных советников. В Камбодже вьетнамские войска, поддерживаемые и снабжаемые Советским Союзом, подчиняли себе эту истерзанную страну. Афганистан был оккупирован советскими войсками в количестве более 100 тыс. человек. Правительство прозападного настроенного шаха Ирана рухнуло, и на его место пришел радикально антиамериканский фундаменталистский режим, захвативший пятьдесят два американца, большинство из которых были официальными лицами, в качестве заложников. Независимо от причин, костяшки домино продолжали выпадать.

И все же когда международный престиж Америки опустился до самого низкого уровня, коммунизм начал отступать. В какой-то момент, в начале 80-х, казалось, что коммунизм набрал темп и вот-вот сметет все на своем пути; и почти немедленно, в отмеренное историей время, коммунизм приступил к саморазрушению. В пределах десятилетия прекратила свое существование орбита восточноевропейских сателлитов, а советская империя распалась на части, теряя почти все русские приобретения со времен Петра Великого. Ни одна мировая держава не рассыпалась до такой степени

полностью и так быстро, не проиграв войны.

Отчасти советская империя распалась потому, что собственная история подталкивала ее к перенапряжению. Советское государство возникло вопреки всему, а затем ухитрилось пережить гражданскую войну, изоляцию и последовательное пребывание у власти свирепейших правителей. В 1934 — 1941 годах оно умело превратило маячившую на горизонте вторую мировую войну в так называемую «империалистическую гражданскую войну», а затем преодолело нацистский натиск при содействии западных союзников. Позднее перед лицом американской атомной монополии оно сумело создать цепочку государств-сателлитов в Восточной Европе, а в послесталинский период превратить себя в глобальную сверхдержаву. Поначалу советские армии угрожали лишь сопредельным территориям, но потом дотянулись до отдаленных континентов. Советские ядерные силы росли с такой скоростью, которая заставляла многих американских экспертов опасаться того, что советское стратегическое превосходство неизбежно. Как британские лидеры XIX столетия Пальмерстон и Дизраэли, американские государственные деятели полагали, что Россия повсеместно находится на марше.

Фатальным просчетом раздувшегося империализма Советов было то, что их руководители на этом пути утратили чувство меры и переоценили способности своей системы консолидировать сделанные приобретения как в военном, так и в экономическом отношении, а к тому же позабыли, что они в буквальном смысле бросают вызов всем прочим великим державам при наличии весьма слабого фундамента. Да и не в состоянии были советские руководители признаться самим себе, что их система была смертельно поражена неспособностью генерировать инициативу и творческий порыв; что на самом деле Советский Союз, несмотря на всю свою военную мощь, являлся все еще весьма отсталой страной. Причины, которыми руководствовалось советское Политбюро, душили творческие способности, необходимые для развития общества, и мешали его устойчивости в конфликте, который само Политбюро спровоцировало.

Попросту говоря, Советский Союз не был достаточно силен или достаточно динамичен для исполнения той роли, которую назначили ему советские руководители. Сталин, возможно, имел смутные предчувствия относительно истинного соотношения сил и потому отреагировал на американское наращивание военного потенциала в

период Корейской войны «мирной нотой» 1952 года (см. гл. 20). В переходный период после смерти Сталина его отчаявшиеся преемники ложно истолковали собственное выживание в отсутствие вызова извне как доказательство слабости Запада. И они тешили себя тем, что воспринимали как кардинальный советский прорыв в мир развивающихся стран. Хрущев и его преемники сделали вывод, что они сумеют переплюнуть тирана. Чем раскалывать капиталистический мир, что и было фундаментальной стратегией Сталина, они предпочитали одерживать над ним победу посредством ультиматумов по Берлину, размещения ракет на Кубе и авантюрного поведения на всем пространстве мира развивающихся стран. Эти усилия, однако, до такой степени превысили советские возможности, что превратили стагнацию в крах.

Развал коммунизма стал заметен уже во второй срок пребывания Рейгана на посту президента, а к тому моменту, как он покинул этот пост, стал необратим. Следует отдать должное президентам, предшествовавшим Рейгану, и его непосредственному преемнику Джорджу Бушу, который умело управлял развязкой. Тем не менее поворотным пунктом послужило именно пребывание Рейгана на посту президента.

Рейган вел себя потрясающе, а для ученых наблюдателей — уму непостижимо. Рейган почти не знал истории, а то немного, что он знал, приспособливал, подгоняя под предвзятые суждения, которых он твердо придерживался. Он рассматривал библейские ссылки на Армагеддон как оперативные инструкции. Множество любимых им исторических анекдотов не базировались на фактах в том смысле, как вообще понимается само слово «факт». Как-то в частной беседе он сравнил Горбачева с Бисмарком, утверждая, что оба преодолели идентичное внутреннее сопротивление, уходя от централизованного планирования экономики в мир свободного рынка. Я посоветовал нашему общему другу предупредить Рейгана, чтобы он никогда не сообщал столь нелепого умозаключения германским собеседникам. Друг, однако, счел неразумным передавать это предупреждение, ибо оно бы лишь еще более глубоко врезало подобное сравнение в сознание Рейгана.

Подробности внешнеполитической деятельности Рейгана утомляли. Он усвоил несколько основополагающих идей относительно опасностей умиротворения, зол коммунизма и величия собственной страны, но анализ существенно важных проблем был ему не под силу. Все это послужило для меня поводом к замечанию, сделанному, как мне казалось, вне протокола в обществе собравшихся на конференцию историков

в помещении Библиотеки Конгресса: «Когда вы разговариваете с Рейганом, то иногда удивляетесь, почему кому-то могло прийти в голову, что он может быть президентом или даже губернатором. Но тогда именно вам, историкам, следует объяснить, как столь неинтеллектуальный человек мог управлять Калифорнией восемь лет, а Вашингтоном уже почти семь».

Средства массовой информации стали охотно пережевывать лишь первую часть моего заявления. Однако для историка вторая гораздо более интересна. С учетом всего сказанного и сделанного президент при самой что ни на есть неглубокой академической подготовке сумел разработать внешнюю политику исключительной содержательности и целенаправленности. Да, у Рейгана, возможно, было всего лишь несколько основных идей, но они-то как раз оказались стержневыми внешнеполитическими проблемами того периода. Это доказывает, что ключевыми качествами руководителя являются чувство выбора направления и крепость собственных убеждений. Вопрос о том, кто составлял для Рейгана заявления по внешнеполитическим вопросам — а ни один президент сам их не сочиняет, — почти не имеет отношения к делу. Бытует предание, будто бы Рейган был орудием тех, кто писал ему речи, но подобные иллюзии характерны для большинства работников такого рода. Но в конце концов, ведь именно сам Рейган отбирал себе людей, которые мастерили ему речи, а он произносил их с исключительной убежденностью и убедительностью. Знакомство с Рейганом не оставляет никаких сомнений в том, что эти речи отражали его личные взгляды и что по некоторым вопросам, к примеру, в отношении «стратегической оборонной инициативы», он был значительно впереди собственного окружения.

В американской системе управления, где президент является единственным общенационально избираемым официальным лицом, стыковка внешнеполитических направлений происходит — если таковая вообще наличествует — из президентских заявлений. Они являются наиболее исчерпывающей директивой для расползшейся самодовольной бюрократии и предметом дебатов в обществе и в Конгрессе. Рейган выдвинул внешнеполитическую доктрину, в величайшей степени взаимоувязанную и обладающую значительной интеллектуальной мощью. Он обладал исключительным интуитивным настроением на глубинные источники американской мотивации. Одновременно он осознавал изначальную хрупкость советской системы, а его

проницательность шла вразрез с мнением большинства экспертов, даже в его собственном консервативном лагере.

Рейган обладал незаурядным талантом объединять американский народ. И сам являлся необычайно милой и неподдельно добродушной личностью. Даже жертвы его риторики с огромным трудом могли отыскать что-то, направленное против них лично. Он доводил меня до белого каления, когда ему не удалось выставить свою кандидатуру на президентских выборах 1976 года, но я не мог долго на него сердиться, несмотря на то, что, будучи советником по вопросам национальной безопасности, консультировал его в течение многих лет без единого протеста с его стороны относительно той самой политики, на которую он нападал. Когда все уже было позади, я вспоминал не предсъездовскую риторику, но сочетание здравого смысла с буквально сказочной доброй волей Рейгана во время консультаций. Во время ближневосточной войны 1973 года я сообщил ему, что мы возместим Израилю все потери в авиации, но вопрос в том, как обуздать реакцию арабов. «А почему -бы вам не заявить, что вы возместите все то число самолетов, которое было сбито согласно заявлениям арабов?» — предложил Рейган, поскольку такое предложение обернуло бы беспредельно раздутые пропагандистские заявления арабов против их авторов.

Внешнее добродушие Рейгана скрывало под собой невероятно сложную личность. Он был одновременно близок всем по духу и от всех далек, любитель разделить общее веселье, но в итоге настороженный одиночка. Светскость служила ему способом сохранять дистанцию между собой и всеми прочими. Если он отнесется ко всем одинаково дружелюбно и будет угощать всех одними и теми же историями, никто не сможет претендовать на особые отношения с ним. Запас анекдотов, которые пускались в обращение от беседы к беседе, защищал от односторонности и политической слепоты. Как и многие актеры, Рейган был квинтэссенцией одинокой, личности — столь же очаровательной, сколь и эгоцентричной. Один человек, который, как многие полагали, находился в доверительных с ним отношениях, сказал как-то мне, что Рейган одновременно самый дружелюбный и самый далекий из всех людей, с кем ему доводилось встречаться.

Независимо от риторики времен кампании 1976 года, у администраций Никсона, Форда и Рейгана не имелось существенных концептуальных различий в трактовке международной ситуации. Каждая из этих трех администраций была преисполнена

решимости противодействовать советскому геополитическому наступлению и полагала, что история на стороне демократических стран. Существовала, однако, огромная разница в их тактике и в методике объяснения американскому народу проводимой ею политики.

Потрясенный расколом в обществе из-за войны во Вьетнаме, Никсон полагал, что предварительная демонстрация серьезности намерений на пути к достижению мира является обязательным условием твердости американской позиции в любых последующих конфронтациях, связанных с любой новой советской экспансией. Стоя во главе страны, уставшей отступать, Рейган обосновывал сопротивление советскому экспансионизму в настоятельно конфронтационном стиле. Подобно Вудро Вильсону, Рейган понимал, что американский народ, промаршировавший всю свою историю под барабанный бой собственной исключительности, обретет искомое вдохновение в исторических идеалах, а не в геополитическом анализе. В этом смысле Никсон был для Рейгана тем же, чем Теодор Рузвельт был для Вильсона. Как и Рузвельт, Никсон обладал гораздо большим пониманием сути международных отношений; как и Вильсон, Рейган гораздо увереннее улавливал суть души американца. Риторические утверждения Рейгана относительно уникальности американской морали отражали, как в зеркале, уже многократно сказанное множеством прочих президентов по тому или иному поводу в данном столетии. Зато конкретную рейгановскую трактовку сущности американской исключительности можно считать уникальной из-за буквализма ее интерпретации, как направляющей силы в проведении повседневной внешней политики. В то время как предшественники Рейгана, скажем, при создании Лиги наций или «плана Маршалла», призывали себе на помощь принципы, чтобы подорвать какую-либо конкретную вражескую инициативу, эти принципы Рейган брал на вооружение в повседневной борьбе против коммунизма, как, например, в речи на собрании Американского легиона 22 февраля 1983 года:

«Путем слияния вечных истин и ценностей, которыми всегда дорожили американцы, с реалиями современного мира мы выковали новое в фундаментальном смысле направление в американской внешней политике — политике, основывающейся на откровенных, чуждых демагогии разъяснениях сущности наших бесценных свободных институтов...»[1003]

Рейган отвергал «комплекс вины», отождествляемый им с администрацией Картера,

и гордо защищал достижения Америки как «величайшей силы, действующей в пользу мира во всех местах нынешнего мира»[1004]. На своей первой же пресс-конференции он заклеил Советский Союз как империю разбоя, готовую «совершить любое преступление, солгать, смошенничать», чтобы добиться своих целей[1005]. Это было предтечей заявления 1983 года, в котором Советский Союз именуется «империей зла», то есть предтечей прямого морального вызова, от которого отшатнулись бы все предшественники президента. Рейган пренебрег общепринятой дипломатической мудростью и пошел на сознательное упрощение сущности американских добродетелей, взяв на себя миссию убедить американский народ в том, что идеологический конфликт между Востоком и Западом значим и реален. Борьба на международной арене ведется по поводу того, кто будет победителем, а кто побежденным, и никто не задается вопросом, кто сохранит свое могущество и кто окажется лучшим дипломатом.

Риторика первого срока пребывания Рейгана на посту президента означала официальное окончание периода разрядки. Целью Америки становилось уже не ослабление напряженности, но крестовый поход и обращение противника в свою веру. Рейган был избран, как многообещающий носитель воинствующего антикоммунизма, и остался верен этому до конца. Оказавшись в счастливом положении, когда упадок Советского Союза все более ускорялся, он отверг, как нечто весьма относительное, упор Никсона на национальные интересы и отказался от сдержанности Картера, как чересчур пораженческой по сути. Вместо этого Рейган выступил с апокалиптическим видением конфликта, становящегося более терпимым вследствие исторической неизбежности его итога. В речи на Королевской галерее палаты лордов в Лондоне в июне 1982 года он так описывал ситуацию в Советском Союзе:

«В ироническом смысле Карл Маркс был прав. Мы сегодня являемся свидетелями гигантского революционного кризиса, кризиса, где требования экономического порядка находятся в прямом противоречии с требованиями политического порядка. Однако кризис этот происходит не на свободном, немарксистском Западе, а дома у марксизма-ленинизма, в Советском Союзе...

Сверхцентрализованная, обладающая ничтожными стимулами или вовсе ими не обладающая, советская система направляет большую часть самых ценных своих ресурсов на изготовление орудий разрушения. Постоянное падение показателей

экономического роста наряду с ростом военного производства налагают тяжкое бремя на советский народ.

То, что мы видим, представляет собой политическую надстройку, более не соответствующую экономическому базису, общество, где производительные силы наталкиваются на препятствия со стороны сил политических»[1006].

Когда Никсон и я говорили нечто подобное десять лет назад, это лишь усиливало консервативную критику разрядки. Консерваторы не хотели привлекать историческую эволюции на службу разрядке, ибо опасались, что переговоры с коммунистами приведут к моральному разоружению. Но они сочли концепцию неизбежности победы привлекательной в качестве инструмента конфронтации.

Рейган полагал, что отношения с Советским Союзом улучшатся от разделенного с Америкой страха перед ядерным Армагеддоном. Он был преисполнен решимости довести до сведения Кремля весь риск непрекращающегося экспансионизма. Десятилетием ранее подобная риторика была чревата выходом из-под контроля внутриамериканского движения гражданского неповиновения и могла привести к конфронтации со все еще уверенным в себе Советским Союзом; десятилетием позднее она бы воспринималась как безнадежно устаревшая. В обстановке 80-х годов она закладывала фундамент беспрецедентного диалога между Востоком и Западом.

Само собой разумеется, рейгановская риторика попала под обстрел тех, кто веровал в установившуюся ортодоксию. «ТРБ» в «Ню рипаблик» от 11 апреля 1983 года был взбешен рейгановской оценкой Советского Союза как «империи зла», называя ее «примитивной прозой и апокалиптическим символизмом»[1007] слово «примитивный» присутствовало также в реакции Антони Льюиса в «Нью-Йорк тайме» от 10 марта 1983 года[1008]. В 1981 году distinguished гарвардский профессор Стэнли Хоффман осудил воинственный стиль Рейгана как «лже мужественность», «неонационализм» и как форму «фундаменталистской реакции», которая мало что может дать миру со всеми его сложностями, в котором, как было сказано, экономическая слабость Америки не менее серьезна, чем слабость Советского Союза[1009].

Как выяснилось, рейгановская риторика не помешала вопреки предсказаниям критиков крупномасштабным переговорам. Во время второго срока пребывания Рейгана на посту президента развернулся диалог между Востоком и Западом

невиданный по масштабу и интенсивности со времени никсоновской разрядки. На этот раз, однако, переговоры поддерживались общественностью и шли под аплодисменты консерваторов.

Если подход Рейгана к идеологическому конфликту представлял собой упрощенную версию вильсонианства, то концептуальная решимость вести борьбу в равной степени уходила корнями в американский утопизм. Хотя вопрос подавался, как схватка между добром и злом, Рейган был далек от утверждения, будто конфликт представляет собой войну до победного конца. Скорее — в типично американской манере — он убеждал, что коммунистическая непримиримость в большей степени базируется на невежестве, а не на врожденной злой воле, на непонимании, а не на преднамеренно культивируемой враждебности. Потому, с точки зрения Рейгана, конфликт, по всей вероятности, должен был бы закончиться обращением оппонента на путь истинный. В 1981 году, во время выздоровления после покушения, Рейган направил Леониду Брежневу письмо, написанное от руки, где пытался развеять советскую подозрительность по отношению к Соединенным Штатам, — как будто семьдесят пять лет господства коммунистической идеологии могут быть устранены личным обращением. Это почти дословно соответствовало заверениям, которые в конце второй мировой войны Трумэн предоставил Сталину (см. гл. 17):

«Часто делаются намеки на то... что мы вынашиваем империалистические планы и потому представляем собой угрозу как вашей собственной безопасности, так и безопасности вновь нарождающихся наций. Но не только не существует доказательств, подкрепляющих это обвинение, а, напротив, имеются весомые доказательства того, что Соединенные Штаты, в то время как они могли бы господствовать над миром без всякого для себя риска, не делают ни малейших усилий в этом направлении... Да будет мне позволено заявить, нет абсолютно никакого основания для того, чтобы обвинять Соединенные Штаты в империализме или попытках навязать свою волю другим странам посредством применения силы...

Господин Президент, неужели нам, нашим народам, которые представляете вы и которые представляю я, не следует заняться устранением препятствий, мешающих осуществлению самых сокровенных устремлений?»[1010]

Как совместить умиротворяющий тон письма, автор которого явно полагает, что вполне можно доверять адресату, с заявлением Рейгана, сделанным всего лишь за

несколько недель до направления этого письма, что советские руководители способны на любое преступление? Рейган не ощущал необходимости объяснять столь очевидное несоответствие, возможно потому, что глубоко верил в истинность обоих своих заявлений: в зло советского поведения и одновременно в возможность идеологического обращения советских лидеров.

А затем, после смерти Брежнева в ноябре 1982 года, Рейган направил написанную от руки ноту — 11 июля 1983 года — преемнику Брежнева, Юрию Андропову, вновь опровергая наличие у Америки каких бы то ни было агрессивных устремлений[1011]. Когда Андропов вскоре умер, а на его место пришел пожилой и немощный Константин Черненко (явно промежуточное назначение), Рейган сделал такую запись в дневнике, бесспорно предназначенном для публикаций:

«У меня какое-то подспудное чувство, что мне стоило бы переговорить с ним о наших проблемах, как мужчина с женщиной, и посмотреть, удастся ли убедить его. Мне кажется, что Советы обретут материальную выгоду, если они присоединятся к семье наций, и т. д.»[1012].

Через шесть месяцев, 28 сентября 1984 года, Громыко нанес свой первый визит в Белый дом в период деятельности администрации Рейгана. И вновь Рейган делает запись в дневнике — в том смысле, что первейшей его задачей является устранение у советских руководителей подозрительности по отношению к Соединенным Штатам:

«Меня одолевает чувство, что, пока они будут так же подозрительно относиться к нашим мотивам, как и мы — к их, с сокращением вооружений продвинуться невозможно. Я полагаю, что нам необходимо встретиться и как-то дать им понять, что у нас нет никаких враждебных замыслов в их отношении, но зато мы думаем, что у них имеются такие замыслы в отношении нас»[1013].

Коль скоро на протяжении жизни двух поколений поведение Советов было обусловлено подозрительностью к Соединенным Штатам, Рейган мог бы сделать вывод, что это чувство является органичным и неотъемлемым для советской системы. Пылкая надежда — особенно у столь откровенного антикоммуниста — на то, что советскую настороженность можно устранить одной-единственной беседой с министром иностранных дел (который, кроме всего прочего, лично представлял собой квинтэссенцию коммунистического правления), поддается объяснению лишь в свете непобедимой американской убежденности в том, что взаимопонимание между

людьми — вещь нормальная, а напряженность представляет собой аберрацию, причем доверие может быть достигнуто самоотверженной демонстрацией доброй воли.

И потому случилось так, что Рейган, воплощение гнева Божьего, направленного на коммунизм, не видел ничего странного в том, чтобы так описывать вечер перед первой встречей с Горбачевым в 1985 году и состояние нервного ожидания в надежде, что встреча разрешит конфликт, существующий на протяжении жизни двух поколений, — отношение, не свойственное Ричарду Никсону и скорее характерное для Джимми Картера:

«Еще во времена Брежнева я мечтал о встрече с глазу на глаз с советским руководителем, поскольку полагал, что таким образом можно осуществить то, чего не в состоянии сделать наши дипломаты, поскольку у них нет достаточной власти. Иными словами, я чувствовал, что, если переговоры ведут те, кто на самом верху, и если имеет место личная встреча на высшем уровне, и затем двое участников встречи выходят, держась за руки, и говорят: „Мы договорились о том-то и том-то“, — бюрократы уже не в состоянии испоганить договоренность. До Горбачева я не имел возможности проверить эту идею. Теперь у меня появился шанс»[1014].

Несмотря на риторику относительно идеологической конфронтации и реальности геополитического конфликта, Рейган в глубине души не верил в структурные и геополитические причины напряженности. Он и его окружение считали озабоченность равновесием сил слишком пессимистическим и всепоглощающим занятием. Они стремились не к постепенности решений, но к окончательному разрешению проблемы. Эта вера наделяла команду Рейгана исключительной тактической гибкостью.

Биограф Рейгана описывает одно из его «мечтаний», которое лично высказывалось и при мне:

«Одной из фантазий Рональда Рейгана как президента было то, как он возьмет с собой Михаила Горбачева и покажет ему Соединенные Штаты. Пусть советский руководитель увидит, как живет рядовой американец. Рейган часто говорил об этом. Он представлял себе, как они с Горбачевым полетят на вертолете над рабочим поселком, увидят завод и автостоянку при нем, забитую машинами, а затем сделают круг над жилым районом, расположенным в живописной местности, где у заводских рабочих есть дома „с лужайками и задними дворами, где, возможно, на подъездной

дорожке стоит вторая машина или лодка, — дома, непохожие на бетонные крольчатники, которые я видел в Москве". Вертолет снизился бы, и Рейган пригласил бы Горбачева постучаться в двери и спросить жителей поселка, „что они думают о нашей системе". А рабочие рассказали бы ему, до чего чудесно жить в Америке»[1015].

Рейган искренне верил, что его долгом является ускорить неизбежное осознание Горбачевым или любым другим советским лидером того факта, что коммунистическая философия ошибочна и что стоит только прояснить ложность советских концепций относительно истинного характера Америки, как вскорости наступит эра примирения. В этом смысле, несмотря на все свое идеологическое рвение, точка зрения Рейгана на сущность международного конфликта оставалась строго американско-утопической. Поскольку он не верил в наличие непримиримых национальных интересов, то не мог признать существование неразрешимых конфликтов между нациями. И считал, что, как только советские лидеры переменят свои идеологические воззрения, мир будет избавлен от споров, характерных для классической дипломатии. При этом он не видел промежуточных стадий между перманентным конфликтом и вечным примирением.

Тем не менее, сколь бы оптимистичными, даже «либеральными», ни были взгляды Рейгана на конечный исход борьбы, он собирался добиваться своих целей посредством самой непримиримой конфронтации. Согласно его образу мышления, окончание «холодной войны» не влечет за собой создание «благоприятной» атмосферы и односторонние жесты, которые были так в чести у сторонников перманентных переговоров, не допустимы. В достаточной степени по-американски воспринимая конфронтацию и примирение как последовательные этапы политического курса, Рейган явился первым послевоенным президентом, предпринявшим наступление одновременно идеологическое и геостратегическое.

Советскому Союзу не приходилось иметь дело с таким феноменом со времен Джона Фостера Даллеса — при этом Даллес не был президентом и не предпринимал серьезных попыток воплотить в жизнь свою политику «освобождения». В противоположность этому Рейган и его окружение понимали собственное призвание буквально. Со времени инаугурации Рейгана одновременно преследовали две цели: противодействие советскому геополитическому давлению, пока процесс экспансионизма не будет вначале остановлен, а затем обращен вспять; и, во-вторых,

развертывание программы перевооружения, предназначенной для того, чтобы пресечь советское стремление к стратегическому превосходству и добиться стратегической лабильности.

Идеологическим инструментом перемены ролей был вопрос прав человека, которым Рейган и его советники воспользовались, чтобы подорвать советскую систему. Конечно, его непосредственные предшественники также утверждали важность прав человека. Никсон действовал подобным образом применительно к эмиграции из Советского Союза. Форд совершил самый крупный прорыв посредством «третьей корзины» соглашений Хельсинки (см. гл. 29). Картер сделал права человека альфой и омегой своей внешней политики и пропагандировал их столь интенсивно применительно к американским союзникам, что его призыв к праведности то и дело угрожал внутреннему единству в этих странах. Рейган и его советники сделали еще один шаг и стали трактовать права человека как орудие ниспровержения коммунизма и демократизации Советского Союза, что явилось бы ключом ко всеобщему миру, как подчеркивал Рейган в послании «О положении в стране», от 25 января 1984 года: «Правительства, опирающиеся на согласие управляемых, не затевают войны со своими соседями»[1016]. В Вестминстере в 1982 году Рейган, приветствуя волну демократии, разливающуюся по всему миру, обратился к свободным нациям с призывом «...укреплять инфраструктуру демократии, систему свободной прессы, профсоюзы, политические партии, университеты, что позволяет людям выбирать свой собственный путь, развивать свою собственную культуру, разрешать свои собственные разногласия мирными средствами»[1017].

Призыв совершенствовать демократию у себя дома явился прелюдией к классически вильсонской теме: «Если концу нынешнего столетия суждено быть свидетелем постепенного развития свободы и демократических идеалов, мы должны принять меры, чтобы оказать содействие кампании за демократию»[1018].

На деле Рейган довел вильсонство до его логического завершения: Америке незачем пассивно ждать, пока в результате эволюции появятся свободные институты, и незачем ограничиваться отражением прямых угроз для собственной безопасности; вместо этого она будет активно способствовать распространению демократии, поощряя те страны, которые соответствуют демократичным идеалам, и наказывая те, которые им не соответствуют, даже если они не бросают открытого вызова Америке и

не представляют для нее угрозы. Таким образом, команда Рейгана перевернула вверх ногами призывы времен раннего большевизма: не ценности «Коммунистического манифеста», но демократические ценности грядут, определяя собою будущее. И команда Рейгана вела себя последовательно: оказывала давление как на консервативный режим Пиночета в Чили, так и на авторитарный режим Маркоса на Филиппинах, требуя от них проведения реформ; первый удалось побудить согласиться на референдум и свободные выборы, которые привели к смене руководства; второй был сброшен при американском содействии.

В то же время крестовый поход за демократию породил фундаментальные вопросы, которые приобрели особое значение после окончания «холодной войны». Как можно примирить крестовый поход с давней американской доктриной невмешательства во внутренние дела других государств? До какой степени его нуждам следует подчинять прочие цели, как, например, национальную безопасность? Какую цену готова платить Америка за распространение собственных идеалов? Как избежать перенапряжения и самоостранения? Мир по окончании «холодной войны», когда ранние годы пребывания Рейгана на посту президента уже стали далекой историей, обязан будет ответить на эти вопросы.

И все же, когда Рейган приступил к исполнению президентских обязанностей, эти противоречия беспокоили его не так сильно, как необходимость выработки стратегии, которая бы приостановила неумолимое советское наступление предшествующих лет. Задачей рейгановского геостратегического натиска было дать понять Советам, что они перенапряглись. Отвергая доктрину Брежнева относительно необратимости коммунистических достижений, Рейган своей стратегией отразил убежденность в том, что коммунизм может быть побежден, а не только сдержан. Рейгану удалось добиться отмены поправки Кларка, не позволявшей Америке оказывать помощь антикоммунистическим силам в Анголе, резкого усиления поддержки антисоветских афганских партизан, разработки крупномасштабной программы противостояния коммунистическим партизанам в Центральной Америке и даже предоставления гуманитарной помощи Камбодже. Это стало замечательной наградой единению американского общества: не прошло и пяти лет с момента катастрофы в Индокитае, как преисполненный решимости президент вступает в схватку со всемирной советской экспансией, причем на этот раз добивается успеха.

Было сведено на нет большинство советских политических достижений 70-х годов, хотя отдельные из событий приходятся уже на период деятельности администрации Буша. Вьетнамская оккупация Камбоджи завершилась в 1990 году, а в 1993 году прошли выборы и беженцы стали готовиться к возвращению домой; в 1991 году завершился вывод кубинских войск из Анголы; поддерживаемое коммунистами правительство Эфиопии рухнуло в 1991 году; в 1990 году сандинисты в Никарагуа были вынуждены смириться с проведением свободных выборов — на подобный риск до того не готова была пойти ни одна правящая коммунистическая партия; и возможно, самым главным был вывод советских войск из Афганистана в 1989 году. Все эти события заметно умерили идеологические и геополитические амбиции коммунизма. Наблюдая за упадком советского влияния в так называемом «третьем мире», советские реформаторы стали вскоре ссылаться на дорогостоящие и никчемные брежневские авантюры как на доказательство банкротства коммунистической системы, в которой, как они полагали, следовало срочно пересмотреть недемократический стиль принятия решений[1019].

Администрация Рейгана добилась этих успехов, применяя на практике то, что потом стало именоваться «доктриной Рейгана»: оказание помощи Соединенными Штатами антикоммунистическим антизаговорщическим силам, выводящим свои страны из советской сферы влияния. Такой помощью были вооружение афганских моджахедов в их борьбе с русскими, поддержка «контрас» в Никарагуа и антикоммунистических сил в Эфиопии и Анголе. На протяжении 60 — 70-х годов Советы занимались подстрекательством коммунистических восстаний против правительств, дружелюбно настроенных к Соединенным Штатам. Теперь, в 80-е годы, Америка давала попробовать Советам прописанное ими же лекарство. Государственный секретарь Джордж Шульц разъяснил эту концепцию в речи, произнесенной в Сан-Франциско в феврале 1985 года:

«В течение многих лет мы наблюдали, как наши оппоненты без всякого стеснения поддерживали инсургентов по всему миру, чтобы распространять коммунистические диктатуры... Сегодня, однако, советская империя ослабевает под давлением собственных внутренних проблем и внешних обязательств... Силы демократии во всем мире ценят наше с ними единение. Оставить их на произвол судьбы было бы постыдным предательством — предательством не только по отношению к храбрым

мужчинам и женщинам, но и по отношению к самым высоким нашим идеалам»[1020].

Высокопарные вильсонские высказывания в поддержку свободы и демократии по всему земному шару поднимались на дрожжах почти макиавеллевского реализма. Америка вовсе не отправлялась за границу в поисках чудовищ, которых надо было сразить, как гласило бессмертное высказывание Джона Квинси Адамса; «доктрина Рейгана» скорее представляла собой стратегию помощи врагу моего врага, — что наверняка одобрил бы Ришелье. Администрация Рейгана оказывала помощь не только подлинным демократам (как в Польше), но также исламским фундаменталистам в Афганистане (находящимся в братском союзе с иранскими), правым в Центральной Америке и вождям воинственных племен в Африке. Соединенные Штаты имели столько же общего с моджахедами, сколько Ришелье с султаном Оттоманской империи. Но их объединял общий враг, а в мире национальных интересов это делало их союзниками. Результаты помогали ускорить крушение коммунизма, но оставляли Америку лицом к лицу с мучительным вопросом, от которого она стремилась уйти на протяжении всей своей истории и который всегда является основной дилеммой государственного руководителя: какие цели оправдываются какими средствами?

Наиболее фундаментальным вызовом Рейгана Советскому Союзу явилось наращивание вооружений. Во всех своих избирательных кампаниях Рейган осуждал недостаточность американских оборонных усилий и предупреждал о надвигающемся советском превосходстве. Сегодня мы знаем, что эти опасения отражали чересчур упрощенный подход к характеру военного превосходства в ядерный век. Но независимо от точности проникновения Рейгана в сущность советской военной угрозы, ему удалось мобилизовать и привлечь на свою сторону консервативный круг избирателей в гораздо большей степени, чем Никсону при помощи демонстрации геополитических опасностей.

До начала деятельности администрации Рейгана стандартным аргументом радикального осуждения политики «холодной войны» являлся тот довод, что наращивание вооружений будто бы бессмысленно, поскольку Советы всегда и на любом уровне найдут ответ американским усилиям. Это оказалось еще более неточным, чем предсказание неминуемого советского превосходства. Масштаб и темпы американского наращивания вооружений при Рейгане вновь оживили сомнения, уже одолевавшие умы советского руководства в результате катастроф в

Афганистане и Африке: могут ли они выдержать гонку вооружений в экономическом плане и — что еще более важно — могут ли они ее обеспечить в плане технологическом.

Рейган вернулся к системам вооружений, отвергнутым администрацией Картера, таким, как бомбардировщик В-1, и начал развертывание ракет МХ — первых новых межконтинентальных ракет наземного базирования за десятилетие. Два стратегических решения способствовали больше всего окончанию «холодной войны»: развертывание силами НАТО американских ракет средней дальности в Европе и принятие на себя Америкой обязательств по разработке системы «стратегической оборонной инициативы» (СОИ).

Решение НАТО о развертывании ракет среднего радиуса действия (порядка 1500 миль) в Европе относится еще ко временам администрации Картера. Целью его было успокоить западногерманского канцлера Гельмута Шмидта в связи с односторонним отказом Америки от так называемой нейтронной бомбы, запроектированной таким образом, чтобы сделать ядерную войну менее разрушительной, причем Шмидт поддерживал этот проект, несмотря на оппозицию со стороны собственной социал-демократической партии. Но на деле вооружение среднего радиуса действия (частично баллистические ракеты, частично запускаемые с земли крейсирующие ракеты) были предназначены для решения военной проблемы иного характера: противодействия значительному количеству новых советских ракет (СС-20), способных достичь любой из европейских целей из глубины советской территории. В сущности, доводы в пользу вооружений среднего радиуса действия были политическими, а не стратегическими и проистекали из той же самой озабоченности, которая двадцать лет назад породила дебаты между союзниками по вопросам стратегии; на этот раз, однако, Америка постаралась развеять европейские страхи. В упрощенном смысле вопрос вновь стоял о том, может ли Западная Европа рассчитывать на ядерное оружие Соединенных Штатов в деле отражения советского нападения, имеющего своей целью Европу. Если бы европейские союзники Америки действительно верили в ее готовность прибегнуть к ядерному возмездию при помощи оружия, расположенного в континентальной части Соединенных Штатов или морского базирования, новые ракеты на европейской земле оказались бы ненужными. Но решимость Америки поступать подобным образом как раз и ставилась

европейскими лидерами под сомнение. Со своей стороны, американские руководители имели собственные причины успокоительно ответить на опасения европейцев. Это являлось частью стратегии «гибкого реагирования» и давало возможность избирать промежуточные варианты между войной всеобщего характера, нацеленной на Америку, и уступкой советскому ядерному шантажу.

Существовало, конечно, и более замысловатое объяснение, чем просто сублимированное взаимное недоверие участников Атлантического партнерства. И оно сводилось к тому, что новое оружие поначалу будто бы объединяло стратегическую защиту Европы со стратегической защитой Соединенных Штатов. Утверждалось, что Советский Союз не совершит нападения обычными силами до тех пор, пока не постарается уничтожить ракеты средней дальности в Европе, которые, благодаря близости расположения и точности попадания, могут вывести из строя советские командные центры, что позволит американским стратегическим силам беспрепятственно нанести всеокрушающий первый удар. С другой стороны, нападать на американские ракеты средней дальности, оставляя американские силы возмездия нетронутыми, было бы также чересчур рискованно. Достаточное количество ракет средней дальности могло уцелеть и нанести серьезный урон, давая возможность находящимся в целостности и сохранности американским силам возмездия выступить в роли арбитра происходящего. Таким образом, ракеты среднего радиуса действия закрывали бы пробел в системе «устрашения». На техническом жаргоне того времени оборона Европы и Соединенных Штатов оказывались «в связке»: Советский Союз лишался возможности нападать на любую из этих территорий, не порождая риск неприемлемой для него ядерной войны всеобщего характера.

Эта «связка» также являлась ответом на растущие страхи перед германским нейтраллизмом по всей Европе, особенно во Франции. После поражения Шмидта в 1982 году социал-демократическая партия Германии, похоже, вернулась на позиции национализма и нейтраллизма — причем до такой степени, что на выборах 1986 года один из ее лидеров, Оскар Лафонтен, утверждал, что Германии следует выйти из-под объединенного командования НАТО. Мощные демонстрации против развертывания ядерных ракет потрясли Федеративную Республику.

Почуввав возможность ослабить связь Германии с НАТО, Брежнев и его преемник Андропов сделали противостояние развертыванию ракет средней дальности стержнем

советской внешней политики. В начале 1983 года Громыко посетил Бонн и предупредил, что Советы покинут Женевские переговоры по контролю над вооружениями, как только «першинги» придут в Западную Германию, — угроза, способная воспламенить германских сторонников протеста. Когда Коль посетил Кремль в июле 1983 года, Андропов предупредил германского канцлера, что, если он согласится на размещение «першингов-2», «военная угроза для Западной Германии возрастет многократно. Отношения между нашими двумя странами также обязательно претерпят серьезные осложнения. Что касается немцев в Федеративной Республике Германии и в Германской Демократической Республике, им придется, как недавно кем-то было сказано (в «Правде»), глядеть друг на друга через плотный частокол ракет»[1021].

Московская пропагандистская машина развернула крупномасштабную кампанию в каждой из европейских стран. Массовые демонстрации, организованные различными группами сторонников мира, требовали, чтобы первоочередной задачей считалось разоружение, а не развертывание новых ракет, и чтобы немедленно был введен ядерный мораторий.

Как только казалось, что Германия поддается искушениям нейтралитета, что, в понимании Франции, означало национализм, французские президенты старались сделать максимально привлекательной для Бонна идею европейского или атлантического единства. В 60-е годы де Голль был бескомпромиссным сторонником германской точки зрения по Берлину. В 1983 году Миттеран неожиданно выступил в роли главного европейского сторонника американского плана развертывания ракет средней дальности. Миттеран защищал этот ракетный план в Германии. «Любой, кто играет в отделение Европейского континента от Американского, способен, по нашему мнению, разрушить равновесие сил и, следовательно, помешать сохранению мира», — заявил Миттеран в германском бундестаге[1022]. Совершенно ясно, что для президента Франции французские национальные интересы, связанные с размещением в Германии ракет средней дальности, оказались превыше идеологической общности между французскими социалистами и их братьями — германскими социал-демократами.

Рейган выступил с собственным планом отражения советского дипломатического натиска и предложил в обмен на отказ от развертывания американских ракет средней

дальности демонтировать советские СС-20[1023]. Поскольку СС-20 явились скорее предлогом для развертывания американских ракет, чем его причиной, то это предложение порождало острейшие вопросы относительно «разрыва связки» между оборонительными системами Европы и Соединенных Штатов. Однако, хотя аргументы в пользу «связки» были весьма профессионально-замысловатыми, предложение относительно ликвидации целой категории вооружений было понять нетрудно. И поскольку Советы переоценили свои возможности и отказались обсуждать какую бы то ни было часть предложения Рейгана, так называемый «нулевой вариант» облегчил европейским правительствам процесс развертывания ракет. Это была убедительная победа для Рейгана и германского канцлера Гельмута Коля, который безоговорочно поддерживал американский план. И это доказало, что неустойчивое советское руководство теряет способность запугивать Западную Европу.

Развертывание ракет средней дальности совершенствовало стратегию «устрашения»; но когда 23 марта 1983 года Рейган объявил о своем намерении разработать стратегическую оборону от советских ракет, он уже угрожал стратегическим прорывом:

«...Я обращаюсь к научному сообществу нашей страны, к тем, кто дал нам ядерное оружие, чтобы они обратили теперь свой великий талант на дело выживания человечества и всеобщего мира: дали нам средства сделать это ядерное оружие бессильным и устаревшим»[1024].

Эти последние слова «бессильным и устаревшим», должно быть, бросили Кремль в холодную дрожь. Советский ядерный арсенал являлся ключевым элементом статуса Советского Союза как сверхдержавы. В течение двадцати лет пребывания Брежнева у власти основной целью СССР было достижение стратегического паритета с Соединенными Штатами. Теперь при помощи одного-единственного технологического хода Рейган предлагал стереть с лица земли все, ради чего Советский Союз довел себя до банкротства.

Если призыв Рейгана создать стопроцентно эффективную систему обороны хотя бы приблизится к воплощению в реальность, фактом станет американское стратегическое превосходство. Следовательно, американский первый удар обязательно увенчается успехом, поскольку оборонительная система сумеет сдержать относительно малые и дезорганизованные советские ракетные силы, уцелевшие к этому моменту. Как

минимум, провозглашение Рейганом программы СОИ уведомило советское руководство, что гонка вооружений, которую они столь отчаянно начали в 60-е годы, либо полностью поглотит их ресурсы, либо приведет к американскому стратегическому прорыву.

Предложение Рейгана относительно СОИ затронуло болезненное место в спорах по поводу американской оборонной политики. До наступления ядерного века считалось бы абсурдом полагать фундаментом обороны страны фактор уязвимости ее населения. Но потом дебаты на тему стратегии приобрели новаторский характер, отчасти даже потому, что стали вестись новыми группами участников. До наступления ядерного века военная стратегия была предметом, которым занимались одни лишь Генеральные штабы, да еще, соответственно, военно-учебные академии штабного профиля, ну и немногие сторонние советчики, в основном военные историки типа Б. Х. Лиделл-Гарта. Огромные разрушительные свойства ядерного оружия сделали традиционную военно-экспертную деятельность менее надежной; любой, кто разбирался в современной технологии, мог стать участником игры, а игроками в основном становились ученые-естественники, к которым присоединялось небольшое число представителей иных научных специализаций.

Потрясенные выпущенной ими на свободу разрушительной силой, технические эксперты в большинстве своем убедили себя в том, что политики в значительной степени — люди безответственные, ибо, если дать им хоть малейший шанс превратить ядерную войну в нечто терпимое, у них может появиться искушение развязать ее. Поэтому моральным долгом ученых было предлагать стратегию до такой степени катастрофичную, чтобы напугать даже самого бесшабашного политика. Парадоксальность подобного подхода заключалась в том, что те, которые — совершенно справедливо — полагали себя наиболее озабоченными будущим цивилизации, кончали тем, что выступали в пользу нигилистической военной стратегии гражданского уничтожения.

Ученые, работавшие на оборону, приходили к подобной точке зрения лишь постепенно. Во время первого десятилетия ядерной эры многие из них все еще настаивали на организации обороны против в значительной степени вымышленной угрозы советского нападения с воздуха. Глубоко преданные делу предотвращения ядерной войны, ученые, без сомнения, в глубине души считали полезным отвлечение

ресурсов от дела создания наступательного оружия и тем самым сокращение возможностей превентивного нападения со стороны Америки. Но после появления у Советского Союза всевозрастающих ядерных возможностей и обретения им достаточной мощи, чтобы опустошить Соединенные Штаты, преобладающее направление консультаций со стороны научного сообщества парадоксально переменялось. С той поры большинство ученых страстно отстаивали доктрину «взаимно гарантированного уничтожения», которая полагала фундаментом «устрашения» то предположение, что при достаточно высоком уровне жертв среди гражданского населения ни одна из сторон не начнет ядерную войну.

Появление теории «взаимно гарантированного уничтожения» означало преднамеренный прыжок от рациональности в стратегической теории к обороне, базирующейся на угрозе самоуничтожения. На практике она давала огромное преимущество, в первую очередь психологическое, той из сторон, которая способна была выдвигать угрозы, заведомо зная, что ее оппонент может отделаться от них, лишь прибегнув к всеобщей ядерной войне. В 60-е и 70-е годы такой стороной безоговорочно являлся Советский Союз, чьи вооруженные силы обычного типа, как в основном полагали, в значительной степени превосходили западные. В то же время подобная стратегия гарантировала, что "ядерная война уничтожит цивилизацию как таковую. Таким образом, СОИ нашла себе приверженцев, в особенности среди тех, кто стремился избежать невыносимого выбора между капитуляцией и Армагеддоном.

Большинство средств массовой информации и ученых тем не менее придерживались привычных суждений и выступали против СОИ. Наилучший и наиболее точный свод разнообразных оговорок содержится в книге, изданной Гарольдом Брауном, являвшимся министром обороны в администрации Картера и министром ВВС в администрации Джонсона[1025]. Браун положительно относился к исследовательской работе, но утверждал, что СОИ еще не может быть воплощена в жизнь[1026]. Один из его сотрудников, Ричард Беттс, встал на ту точку зрения, что при любом уровне развертывания Советский Союз найдет способ отвлечь систему обороны на ложные цели, и это обойдется ему гораздо дешевле, чем Америке — собственно развертывание системы[1027]. Профессор Университета Джона Хопкинса Джордж Лиска встал на совершенно противоположную точку зрения. Он исходил из предположения, что СОИ сработает, но, обеспечив защиту себе, Америка, по его

мнению, лишится стимула защищать европейских союзников[1028]. Роберт Осгуд свел воедино все эти критические замечания, связав их с озабоченностью возможным подрывом заключенного в 1972 году договора ПРО и усложнения новых усилий по контролю над вооружениями[1029]. Отражая точку зрения, весьма распространенную среди западных союзников, британский министр иностранных дел Джеффри Хау предостерегал против создания «линии Мажино в космосе»:

«Для развертывания может потребоваться много лет. Годы и годы небезопасности и нестабильности не могут служить нам целью. Все союзники должны продолжать действовать на каждом этапе так, чтобы разделять в одном и том же смысле то фундаментальное положение, что безопасность всей территории НАТО неделима. Иначе обе опоры союза начнут распадаться».[1030]

Это была новаторская и, в долгосрочном плане, деморализующая концепция: ценой сохранения союза является сохранение единой степени уязвимости для всего гражданского населения каждого из союзников. Она также была изначально ошибочной. Ибо, бесспорно, готовность Америки пойти на риск ядерной войны ради своих европейских союзников нарастала почти прямо пропорционально способности Америки защитить свое гражданское население.

На стороне экспертов были всевозможные технические аргументы, но Рейган являлся носителем элементарной политической истины: в ядерном мире руководители, не предпринявшие никаких усилий по защите своих народов против случайностей, безумных противников, распространения ядерного оружия и целого спектра прочих предсказуемых опасностей, рискуют навлечь на себя гнев и презрение потомков, если несчастье все-таки произойдет. То, что на ранних стадиях исследовательской программы нельзя было продемонстрировать максимальную эффективность СОИ, было заложено в самой сложности проблемы; ни один вид оружия не мог бы быть разработан при обязательстве с самого начала соответствовать столь строгим критериям.

Весьма модный аргумент, заключающийся в том, что любая оборонительная система может быть подавлена, если будет полностью отвлечена не по назначению, игнорирует тот факт, что подобное отвлечение не срабатывает по нарастающей. До определенного предела СОИ будет работать почти в соответствии с описаниями Рейгана; и лишь потом начнет во все увеличивающейся степени падать ее

эффективность. Однако если цена ядерной атаки станет достаточно высока, особенно если нападающий не будет знать, какая из ракет прорвется и к какой цели, степень утрашения возрастет. В итоге оборонительная система, способная перехватывать весьма значительное количество советских ракет, будет еще более эффективной против гораздо более ограниченных атак со стороны новых ядерных стран.

Рейган был глух к большинству технических замечаний критического характера, поскольку предлагал СОИ в первую очередь вовсе не из стратегических соображений. Напротив, он предложил ее как «либеральное» начинание, имеющее целью ликвидацию ядерной войны как таковой. Президент послевоенного времени, посвятивший себя в максимальной степени укреплению американского военного могущества, включая ядерную мощь, одновременно обладал пацифистским видением мира без ядерного оружия. Затасканный средствами массовой информации рейгановский афоризм «Ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна начинаться»[1031] ничем не отличался от заявленных целей радикальных критиков. Но при всем своем дуализме подхода к Советскому Союзу Рейган был до предела серьезен, когда провозглашал и необходимость наращивания военной мощи, и свой пацифизм. Рейган описывал свое отношение к ядерному оружию в своих мемуарах следующим образом:

«Никто не способен „выиграть“ ядерную войну. И все же, пока ядерное оружие существует, всегда будет наличествовать риск его применения, а как только первый ядерный заряд будет выпущен на свободу, кто знает, чем это кончится?

И потому моей мечтой становится мир, свободный от ядерного оружия...»[1032]

Личное неприятие Рейганом ядерной войны подкреплялось его верой в буквальность библейского пророчества об Армагеддоне. Я слышал, как однажды он излагал свои взгляды примерно таким же образом, как описывает биограф:

«Словно рассказывая сцену из кинофильма, он поведал устрашающий эпизод из описания Армагеддона, когда армия, вторгшаяся с Востока и насчитывающая 200 миллионов человек, гибнет от чумы. Рейган полагает, что „чума“ представляет собой пророчество ядерной войны, когда „глаза сожженные выпадают из глазниц, а волосы отваливаются от тела“ и т. п. Он верит, что этот текст является конкретным провидческим описанием Хиросимы»[1033].

Ни один из участников движения за мир не смог бы осудить ядерное оружие более

красноречиво, чем это сделал Рональд Рейган. 16 мая 1983 года он связал заявление о развёртывании межконтинентальных ракет МХ с выражением самой искренней надежды на то, что этот процесс можно будет обратить вспять и все ядерное оружие окажется ликвидированным:

«Не верится, что наш мир способен существовать при будущих поколениях, коль скоро по обе стороны нацелено друг на друга такого рода оружие, которое может пустить в ход какой-либо идиот или маньяк. Достаточно несчастного случая — и тогда начнется такая война, которая может подвести черту под нашим существованием в принципе»[1034].

Когда Рейган выдвинул проект СОИ, это было сделано языком столь же страстным, сколь и нестандартным, даже несмотря на то, что этот текст прошел через сито бюрократического «процесса проверки», что является уделом всех президентов. В случае если бы переговоры по контролю над вооружениями чересчур затянулись, Америка покончила бы в одностороннем порядке со страхом перед ядерной опасностью, приступив к созданию СОИ. Американская наука, как полагал Рейган, сделала бы ядерное оружие устаревшим[1035].

На советских руководителей рейгановские призывы морального порядка впечатления не произвели, но они обязаны были всерьез принять в расчет американский технологический потенциал и стратегические последствия от введения в действие пусть даже не вполне совершенной системы обороны. Точно так же, как и четырнадцать лет назад, когда Никсон сделал предложения по ПРО, советская реакция оказалась прямо противоположна той, какую предсказывали сторонники контроля над вооружениями; СОИ помогла отомкнуть двери, преграждающие путь к достижению контроля над вооружениями. Советы вернулись на переговоры по контролю над вооружениями, которые прервали в связи с проблемой ракет средней дальности.

Критики утверждали, будто Рейган вел себя цинично, и нарисованные им сияющие дали мира, избавившегося от ядерного оружия, являются лишь прикрытием ускоренной гонки вооружений. Рейган, однако, был кем угодно, только не циником, и выражал оптимистическую уверенность любого из американцев, что все необходимое достижимо. И действительно, все наиболее красноречивые его высказывания по поводу уничтожения ядерного оружия представляли собой вполне спонтанные

заявления.

Так возник парадокс: тот самый президент, который сделал так много, чтобы модернизировать американский стратегический арсенал, одновременно внес крупнейший вклад в потенциальное объявление его незаконным. Противники или союзники, буквально воспринимавшие то, что Рейган заявлял публично относительно ядерного «оружия, а в частном порядке — по поводу неминуемости Армагеддона, могли отсюда сделать вывод, будто имеют дело с президентом, который в высшей степени неохотно готов прибегнуть к тому самому оружию, на котором была выстроена вся оборонная мощь Америки.

Как часто мог президент повторять свою стандартную фразу «Ядерная война никогда не должна начинаться», прежде чем будет подорвано доверие к реальности ядерной угрозы? Сколько следовало предпринять этапов ядерного разоружения, прежде чем стратегия гибкого реагирования оказалась технически невозможной? К счастью, Советы к тому времени стали слишком слабыми, чтобы подвергнуть испытанию эту потенциальную уязвимость, а тревоги американских союзников уносились ветром по мере ускорения упадка Советского Союза.

То, что Рейган был кем угодно, только не циником, становилось очевидным, как только у него появлялась возможность претворить в жизнь свою мечту о безъядерном мире. Убежденный в том, что устранение из жизни человечества ядерной войны объективно является вопросом столь первостепенной важности, что все разумные люди с ним согласятся, Рейган был абсолютно готов к тому, чтобы действовать вместе с Советским Союзом на двухсторонней основе в отношении вопросов наиболее фундаментального значения без консультаций с союзниками, чьи национальные интересы также этим затрагивались. В наиболее драматической форме это проявилось в 1986 году во время рейгановской встречи с Горбачевым в Рейкьявике. Во время бурных и эмоциональных гонок по пересеченной местности, продолжавшихся сорок восемь часов, Рейган и Горбачев в принципе договорились сократить в течение пяти лет все стратегические силы на 50%, а в течение десяти лет ликвидировать все баллистические ракеты. Рейган тем самым вплотную подошел к принятию советского предложения о ликвидации всех видов ядерного оружия.

В этом смысле Рейкьявик приблизил создание советско-американского кондоминиума, чего уже так долго боялись союзники и нейтральные страны. Если

прочие ядерные державы откажутся пойти в ногу с советско-американской договоренностью, они подвергнутся общественному презрению, нажиму со стороны сверхдержав или окажутся в изоляции; если же они согласятся, то получится, что на деле Великобритания, Франция и Китай будут принуждены Соединенными Штатами и Советским Союзом отказаться от статуса независимых ядерных держав, то есть случится то, к чему обремененные ответственностью правительства Тэтчер и Миттерана и китайские руководители даже отдаленно не были готовы.

Рейкьявикская сделка сорвалась в последний момент по двум причинам. На столь раннем этапе своего правления Горбачев просто переоценил имеющиеся у него на руках карты. Он попытался объединить уничтожение стратегических ракет с запретом на испытания СОИ в течение десяти лет, однако неверно оценил как своего собеседника, так и собственную позицию на переговорах. Умный тактик на месте Горбачева предложил бы опубликовать информацию о достигнутом — а именно, о ликвидации пакетных сил — и передать вопрос испытаний систем СОИ на переговоры в Женеве по вопросам контроля над вооружениями. Это наверняка закрепило бы то, что было уже согласовано, и породило бы крупные кризисы как внутри Атлантического союза, так и в американско-китайских отношениях. Оказывая дальнейший нажим, Горбачев столкнулся с обещанием, данным Рейганом еще до начала встречи: не использовать СОИ как предмет торга. Когда настойчивость Горбачева еще более возросла, Рейган ответил на это так, как никогда бы не посоветовал специалист в области внешней политики: он просто встал и вышел. Через много лет, когда я спросил у одного из ведущих советников Горбачева, присутствовавшего на переговорах в Рейкьявике, почему Советы не согласились на то, что уже было принято Соединенными Штатами, тот ответил: «Мы предусмотрели все, но нам и в голову не пришло, что Рейган сможет покинуть переговоры».

Вскоре после этого Джордж Шульц произнес продуманную речь, показывающую, почему представления Рейгана относительно ликвидации ядерного оружия на деле соответствуют интересам Запада[1036]. Однако лексикон этой речи, искусно сформулированной в поддержку «менее ядерного мира», демонстрировал, что государственный департамент — болезненно переживающий опасения союзников — еще не встал на рейгановскую точку зрения относительно полного устранения ядерного оружия.

После Рейкьявика администрация Рейгана занялась той частью повестки дня встречи, которая была непосредственно реализуема: пятидесятипроцентным сокращением стратегических сил, то есть первой стадией всеобъемлющей договоренности, касающейся запрещения всех видов ракет. Было достигнуто соглашение об уничтожении американских и советских баллистических ракет промежуточной и средней дальности в Европе. Поскольку это соглашение не касалось ракетных сил Великобритании и Франции, межсоюзнические споры двадцатипятилетней давности не проявились вновь. Но в силу тех же обстоятельств начался процесс удаления ядерного оружия с территории Германии, иными словами, процесс ее потенциального отъединения от Атлантического союза. От неминуемого превращения в безъядерную страну Германия бы выиграла только тогда, когда взяла бы на вооружение политику воздержания от первого ядерного удара, что шло целиком и полностью вразрез со стратегией НАТО и развертыванием американских ракет. Если бы «холодная война» продолжалась, то в результате этого Федеративная Республика стала бы следовать более национально ориентированной, менее союзнической внешней политике, вот почему британский премьер-министр Тэтчер была столь обеспокоена тенденциями развития переговоров по контролю над вооружениями.

Рейган превратил то, что прежде было бегом на марафонскую дистанцию, в спринт. Его конфронтационный стиль, граничащий с рискованной дипломатией, возможно, сработал бы в самом начале «холодной войны», когда еще не консолидировались обе сферы интересов, или сразу же после смерти Сталина. Именно на такого рода дипломатии настаивал, в сущности, Черчилль, когда вернулся на свой пост в 1951 году. Но как только раздел Европы был упрочен, а Советский Союз все еще чувствовал себя уверенно, попытка силой навязать урегулирование наверняка вызвала бы крупномасштабный раскол в Атлантическом союзе и привнесла бы в него сильнейшую напряженность; большинство же членов его не желали ненужных испытаний на прочность. В 80-е годы советская стагнация сделала наступательную стратегию вновь возможной. Заметил ли Рейган степень дезинтеграции Советов, или его своеволие наложилось на благоприятные обстоятельства?

В конце концов, не важно, действовал ли Рейган инстинктивно или в результате анализа. «Холодная война» уже не продолжалась, по крайней мере в определенной своей части, поскольку давление со стороны администрации Рейгана перенапрягло

советскую систему. К концу пребывания Рейгана на посту президента повестка дня переговоров между Востоком и Западом вернулась ко временам разрядки. Вновь контроль над вооружениями стал центральной темой переговоров между Востоком и Западом, хотя больший упор стал делаться на сокращение вооружений и появилась большая готовность к устранению целых классов вооружений. Что касается региональных конфликтов, то тут Советский Союз выступал в роли обороняющейся стороны и лишился в значительной степени своих способностей быть инициатором беспорядков. А раз уменьшалась степень озабоченности вопросами безопасности, то по обеим сторонам Атлантики стал расти национализм, хотя по-прежнему провозглашалось единство среди союзников. Америка во все большей и большей степени стала полагаться на оружие, размещенное на собственной территории или имеющее морское базирование, в то время как Европа расширяла проработку политических вариантов, связанных с Востоком. Но в итоге эти негативные тенденции были перекрыты крахом коммунизма.

Радикальнее всего переменялось то, как политические взаимоотношения между Востоком и Западом стали представляться американской общественности. Рейган инстинктивно накладывал друг на друга идеологический крестовый поход и утопическое стремление ко всеобщему миру, прославляя их жесткой геостратегической политикой периода «холодной войны», что одновременно импонировало двум основным направлениям американской общественной мысли в области внешней политики — миссионерскому и изоляционистскому, «теологическому» и «психиатрическому».

На деле Рейган был ближе, чем Никсон, к классическим схемам американского мышления. Никсон никогда бы не использовал по отношению к Советскому Союзу выражения «империя зла», но он также никогда бы не предложил ему полного отказа от всего ядерного оружия и не ожидал бы, что «холодная война» может кончиться путем грандиозного личного примирения с советскими руководителями во время одной-единственной встречи. Идеологические устремления Рейгана служили ему защитой, когда он позволял себе наполовину пацифистские высказывания, за которые поносили бы президента-либерала. А его преданность делу улучшения отношений между Востоком и Западом, особенно в период второго срока пребывания на посту, наряду с достигнутыми им успехами, смягчали остроту его воинственной риторики.

Остается сомнительным, сумел бы Рейган и далее до бесконечности балансировать на канате, если бы Советский Союз продолжал оставаться крупномасштабным соперником. Но второй срок пребывания Рейгана на посту президента совпал с началом распада коммунистической системы — процессом, ускоряемым политикой его администрации.

Михаил Горбачев, седьмой по счету высший советский руководитель начиная от Ленина, вырос в Советском Союзе, обладавшем беспрецедентной мощью и престижем. И именно ему было суждено председательствовать при кончине империи, создание которой было оплачено столь большой кровью и растратой национального богатства. Когда Горбачев пришел к власти в 1985 году, он был руководителем ядерной сверхдержавы, находящейся в состоянии экономического и социального застоя. Когда же он вынужден был уйти с занимаемой должности в 1991 году, Советская Армия оказала поддержку его сопернику Борису Ельцину, Коммунистическая партия была объявлена вне закона, а империя, возводимая на крови всеми русскими правителями, начиная с Петра Великого, развалилась.

Этот крах показался бы фантастикой в марте 1985 года, когда Горбачев был миропомазан на должность Генерального секретаря. Как это имело место в момент прихода к власти любого из его предшественников, Горбачев внушал как страх, так и надежду. Надежду на поворот к давно ожидаемому миру и страх зловещий по сути, исходящий от страны, чей стиль руководства — загадка. Каждое слово Горбачева анализировалось в поисках намека на ослабление напряженности; в эмоциональном плане демократические страны были вполне готовы открыть в Горбачеве зарю новой эры, точно так же они вели себя со всеми его предшественниками после смерти Сталина.

Но на этот раз вера демократических стран оказалась не только набором благих пожеланий. Горбачев принадлежал к иному поколению, чем те советские руководители, чей дух был сломлен Сталиным. У него не было «тяжелой руки» прежних представителей «номенклатуры». В высшей степени интеллигентный и обходительный, он походил на несколько абстрактные фигуры из русских романов XIX века: космополитичный и провинциальный, интеллигентный, но несколько

несобранный; пронизательный, но лишенный понимания сути стоящего перед ним выбора.

Последовал едва слышный вздох облегчения: наконец как будто бы наступил долгожданный для внешнего мира и до того почти неуловимый момент советской идеологической трансформации. До самого конца 1991 года Горбачева считали в Вашингтоне до такой степени незаменимым партнером в строительстве нового мирового порядка, что президент Буш счел украинский парламент, как невероятно бы это ни выглядело, подходящим для себя местом, чтобы именно на этом форуме превознести до небес достоинства данного советского руководителя и заявить о важности сохранения единого Советского Союза. Удержание Горбачева у власти превратилось в основную цель западных политиков, убежденных в том, что с любым другим будет гораздо труднее иметь дело. Во время странного, по видимости антигорбачевского, путча в августе 1991 года все лидеры демократических стран сплотились на стороне «законности» в поддержку коммунистической конституции, поставившей Горбачева у власти.

. Но высокая политика не делает скидок на слабость — даже если сама жертва тут ни при чем. Загадочность Горбачева достигла предела, когда он выступил в роли лидера-умиротворителя идеологически агрессивного, вооруженного ядерным оружием Советского Союза. Но когда политика Горбачева стала скорее отражением растерянности, чем конкретно поставленной цели, положение его пошатнулось. Через пять месяцев после провалившегося коммунистического путча он вынужден был уйти и уступить Ельцину посредством процедуры столь же «незаконной», как и та, что вызвала гнев Запада пять месяцев назад. На этот раз демократические страны быстро сплотились вокруг Ельцина, приводя в поддержку своих действий практически те же доводы, которыми пользовались некоторое время назад применительно к Горбачеву. Игнорируемый окружающим миром, который только что им восторгался, Горбачев вошел в зарезервированный для потерпевших крушение государственных деятелей круг прижизненно загробного бытия, преследуя цели, находящиеся за пределами их возможностей. Горбачев, однако, осуществил одну из самых значительных революций своего времени. Он разрушил Коммунистическую партию, специально созданную для захвата и удержания власти и на деле контролировавшую все аспекты советской жизни. После своего ухода Горбачев оставил за собой поколебленные остатки

империи, напряженно собиравшейся веками. Организовавшиеся независимые государства, все еще боящиеся российской ностальгии по прежней империи, превратились в новые очаги нестабильности. Они испытывали угрозу одновременно со стороны своих прежних имперских хозяев и осколков различных некоренных этнических групп — часто именно русских, — возникших здесь за века русского господства. Ни одного из этих результатов Горбачев даже отдаленно не предвидел. Он хотел добиться своими действиями модернизации, а не свободы; он попытался приспособить Коммунистическую партию к окружающему миру; а вместо этого оказался церемониймейстером краха той самой системы, которая его сформировала и которой он был обязан своим возвышением.

Проклинаемый собственным народом за огромные несчастья, случившиеся, когда он стоял у кормила неограниченной власти, и покинутый демократическими странами, ошарашенными его неспособностью удержать за собой эту власть, Горбачев не заслуживает ни экзальтированных восторгов, ни бесчестья, попеременно бывших его уделом. Ибо он унаследовал поистине неразрешимый комплекс проблем. Когда Горбачев пришел к власти, размеры постигшей Советский Союз катастрофы только-только становились очевидными. Сорок лет «холодной войны» выковали свободно объединившуюся коалицию почти всех промышленно развитых стран против Советского Союза. Первоначальный его союзник Китай в силу целого ряда практических соображений перешел в противоположный лагерь. Единственными союзниками Советского Союза оказались его восточноевропейские сателлиты, удерживаемые в зоне советского влияния угрозой применения силы, являвшейся сущностью «доктрины Брежнева», причем это удержание вело к утечке советских ресурсов, а не к их приращению. Советские авантюры в «третьем мире» оказались как дорогостоящими, так и неполноценными с точки зрения конечного результата. В Афганистане Советский Союз подвергся множеству тех же испытаний, которые выпали на долю Америки во Вьетнаме, причем основное различие заключалось в том, что на этот раз дело происходило у самых границ широко раскинувшейся империи, а не где-то на отдаленных от нее передовых рубежах. От Анголы до Никарагуа возрождающаяся Америка превращала советский экспансионизм в дорогостоящие тупики или дискредитирующие страну неудачи, в то время как наращивание Америкой своих стратегических возможностей, особенно СОИ, бросало

технологический вызов, который застойная и перенапряженная советская экономика не могла принять даже на начальных его стадиях. В тот момент, когда Запад начинал суперкомпьютерно-микрочиповую революцию, новый советский лидер наблюдал за тем, как его страна сползала в яму технологической недоразвитости.

Несмотря на итоговый крах, Горбачев заслуживает, чтобы ему отдали должное за готовность встретить лицом к лицу вставшие перед Советским Союзом дилеммы. Вначале он, казалось, верил в то, что сможет возродить социум, проведя чистку в рядах Коммунистической партии и дополнив централизованное планирование отдельными элементами рыночной экономики. Горбачев и понятия не имел о масштабах того, что его реально ожидает. Однако он совершенно ясно представлял себе, что необходим период внешнеполитического спокойствия, чтобы разобраться во всем происходящем. В этом отношении выводы Горбачева не слишком отличались от тех, которые сделали его предшественники послесталинской поры. Но если Хрущев в 50-е годы был все еще убежден, что советская экономика вскоре превзойдет капиталистическую, Горбачев в 80-е уяснил себе нечто противоположное: Советскому Союзу понадобится очень долгий срок, чтобы достичь такого уровня промышленного производства, который хотя бы в самой отдаленной степени мог бы считаться сопоставимым с капиталистическим.

Чтобы обеспечить себе оперативный простор, Горбачев занялся коренной переоценкой составляющих советской внешней политики. На XXVII съезде партии в 1986 году марксистско-ленинская идеология была почти полностью выброшена за борт. Ранее периоды мирного сосуществования оправдывались как временные передышки, когда менялось соотношение сил и продолжалась классовая борьба. Горбачев был первым советским руководителем, полностью отвергнувшим понятие классовой борьбы и провозгласившим мирное сосуществование самоцелью. Хотя Горбачев и не отрицал наличия идеологических различий между Востоком и Западом, он настаивал на том, что они отходят на задний план перед важностью международного сотрудничества. Более того, сосуществование воспринималось не так, как ранее — то есть как антракт перед очередной конфронтацией, — но как постоянный компонент отношений между коммунистическим и капиталистическим миром. Оно оправдывалось уже не как необходимая стадия на пути к потенциальной победе коммунизма, но как вклад в дело благополучия всего человечества.

В своей книге «Перестройка» Горбачев так описывает новый подход:

«По правде говоря, различия останутся. Но следует ли нам устраивать дуэль по их поводу? Не будет ли более корректным переступить через то, что нас разъединяет, в интересах всего человечества, в интересах жизни на земле? Мы сделали собственный выбор, подкрепляя новые политические воззрения как ответственными заявлениями, так и конкретными акциями и деяниями. Люди устали от напряженности и конфронтации. Они предпочитают стремиться к более безопасному и надежному миру, миру, где каждый сохранит свои философские, политические и идеологические взгляды и свой образ жизни»[1037].

Горбачев уже говорил нечто подобное за два года до этого, на пресс-конференции после первой встречи с Рейганом в 1985 году:

«Международное положение сегодня характеризуется весьма важным обстоятельством, которое мы и Соединенные Штаты Америки должны принять во внимание в нашей внешней политике. Я имею в виду следующее. В нынешней ситуации мы говорим не только о конфронтации между двумя общественными системами, но и о выборе между выживанием и взаимным уничтожением»[1038].

Само собой разумеется, ветераны «холодной войны» испытывали затруднения, пытаясь определить, насколько глубже горбачевский подход к проблеме по сравнению с предыдущими подходами советских руководителей. В начале 1987 года у меня была встреча с Анатолием Добрыниным, тогдашним главой международного отдела Центрального комитета (что более или менее эквивалентно должности советника Белого дома по вопросам национальной безопасности), в похожем на пещеру здании Центрального комитета в Москве. Добрынин позволил себе столько пренебрежительных замечаний в адрес афганского правительства, поддерживаемого Москвой, что я задал ему вопрос, действует ли до сих пор «доктрина Брежнева». Добрынин парировал мой вопрос так: «А отчего вы думаете, что кабульское правительство — коммунистическое?»

Когда я доложил в Вашингтоне, что подобное замечание можно понимать как советский намек на то, что Кремль готов выбросить за борт своих афганских марионеток, всеобщей реакцией на это было мнение, будто бы Добрынин увлекся, желая сделать приятное старому другу, — качество, которого я совершенно не замечал за ним на протяжении почти десяти лет нашего знакомства. Тем не менее скептицизм

их был оправдан, ибо смена Горбачевым внешнеполитических доктрин не сразу сказалась в области текущей политики. Намеренно не вдаваясь в суть новой доктрины, советские лидеры описывали ее как способ «лишить Запад образа врага» и тем самым ослабить единство стран Запада. Так называемое «новое мышление», заявлял Горбачев в ноябре 1987 года, «начало пробивать себе дорогу в международных делах, разрушая стереотипы антисоветизма и подозрительности в отношении наших инициатив и действий»[1039]. Советская тактика на переговорах по контролю над вооружениями казалась перепевом тактики времен первых лет пребывания Никсона на посту президента: делалась комплексная попытка подорвать системы обороны, но при этом сохранялась подспудная наступательная угроза.

Управление великой державой напоминает вождение супертанкера, весящего сотни тысяч тонн и имеющего радиус поворота, превышающий десятки миль. Ее руководители должны уравнивать желаемое воздействие на окружающий мир и моральный уровень собственной бюрократии. Главы правительств обладают формальной прерогативой устанавливать направления политики; но трактовка того, что имели в виду руководители, ложится на правительственную бюрократию. А у глав правительств никогда не бывает ни времени, ни штата, чтобы следить за повседневным претворением в жизнь их директив и замечать все исполнительские нюансы. По иронии судьбы, чем сложнее и шире бюрократический аппарат, тем более очевиден упомянутый факт. Даже в системах управления менее жестких, чем советская, перемены в области политики часто совершаются со скоростью ползущего ледника.

С течением времени горбачёвские перемены уже не могла игнорировать даже бюрократия, сформированная почти тридцатью годами пребывания Громыко в должности министра иностранных дел. Ибо горбачевское «новое мышление» шло гораздо дальше приспособления уже сложившейся советской политики к новой реальности; оно полностью рушило интеллектуальную подоплеку исторически сложившейся советской внешней политики. Когда Горбачев заменил концепцию классово-борьбы вильсонской темой глобальной взаимозависимости, он обрисовывал мир сопоставимых интересов и изначальной гармонии, что было полнейшим отходом от установившейся ленинской ортодоксии и исторического марксизма.

Крах идеологии не только лишил советскую внешнюю политику исторического смысла и убежденности, но усугубил уже наличествовавшие трудности той ситуации, в которой очутился Советский Союз. К середине 80-х годов перед советскими политиками предстал круг вопросов, которые решить по отдельности еще кое-как можно было, но в сочетании друг с другом они становились неразрешимыми. В их число входили: отношения с демократическими странами Запада: отношения с Китаем; напряженное положение на орбите спутников; гонка вооружений; а также стагнация внутренней экономической и политической системы.

Первоначальные шаги Горбачева не очень отличались от стандартного советского поведения с момента смерти Сталина: поиск путей к разрядке напряженности, внешне проявляющейся в туманных намеках, дальше намеков не шел. 9 сентября 1985 года журнал «Тайм» опубликовал интервью с Горбачевым, где тот выдвинул свое понимание принципа мирного сосуществования:

«Вы спросили меня, что является тем главным, что определяет советско-американские отношения. Думаю, что это тот неоспоримый факт, что, независимо от того, нравится нам это или нет, мы можем уцелеть или погибнуть только вместе. Главный вопрос, на который мы должны ответить, заключается в том, готовы ли мы наконец признать, что нет иного способа жить в мире друг с другом, и готовы ли мы переключить наше мышление и образ действий с военных на мирные рельсы»[1040].

Дилемма Горбачева заключалась в том, что, с одной стороны, его заявления рассматривались в том же контексте, в каком тридцать лет назад воспринималось сказанное Маленковым и Хрущевым, а с другой стороны, они были слишком зыбкими и неопределенными, чтобы вызвать конкретный на них ответ. В отсутствие предложений по политическому урегулированию Горбачев оказывался в паутине ортодоксии двух десятилетий, в течение которых дипломатические отношения между Востоком и Западом ассоциировались с контролем над вооружениями.

Контроль над вооружениями превратился в затруднительный для понимания предмет, включавший в себя детали и тонкости, доступные только посвященным, разбираться в которых, даже с наилучшими намерениями, нужно множество лет. Но Советскому Союзу требовалось немедленное высвобождение, причем не просто от напряженности, но от давления экономического характера, особенно из-за гонки вооружений. Не было ни малейшей надежды добиться этого посредством

многотрудных процедур установления согласованных уровней вооруженной мощи, сопоставления несравнимых систем, посредством переговоров относительно тончайших способов проверки, а затем путем претворения всего этого в жизнь на протяжении ряда лет. При данных обстоятельствах переговоры по вопросам контроля над вооружениями становились средством оказания давления на непрочную советскую систему, тем более эффективным, что эти переговоры вовсе не задумывались для подобной цели.

Последняя для Горбачева возможность положить конец гонке вооружений или, по крайней мере, увеличить напряженность внутри Атлантического союза была упущена в Рейкьявике в 1986 году. Но Горбачев, похоже, ощущал себя в западне, как Хрущев по поводу Берлина четверть века назад, очутившись между собственными «ястребами» и «голубями». Не исключено, что он прекрасно понял всю уязвимость американской позиции и почти наверняка осознал свои собственные настоятельные потребности. Но скорее всего, военные советники убедили его, что если он согласится демонтировать все ракеты, а СОВСЕ будет развиваться беспрепятственно, то какая-нибудь американская администрация в будущем способна будет нарушить соглашение и добиться решающего преимущества над сильно сократившимися (а в крайнем случае, полностью ликвидированными) советскими ракетными силами. Технически это было верно, но в равной степени верно было бы и то, что Конгресс почти наверняка отказался бы финансировать СОВСЕ, если бы соглашение о контроле над вооружениями, подписанное по рейкьявикской формуле, повлекло за собой ликвидацию всех ракет. Вдобавок это суждение полностью пренебрегало теми выгодами, которые бы приобрел Советский Союз вследствие почти неизбежной конфронтации, порождаемой рейкьявикским планом, между Соединенными Штатами и всеми другими ядерными державами.

Потомство всегда более склонно возлагать упреки за неудачи на личности, а не на обстоятельства. На деле внешняя политика Горбачева, особенно по вопросам контроля над вооружениями, была изящно обновленной советской послевоенной стратегией. И ее вполне возможным результатом было бы удаление ядерного оружия из Германии, что создало бы предпосылки для более национальной по характеру германской политики на двояком основании: Америка в меньшей степени готова была бы пойти на риск ядерной войны ради страны, которая, обретая защищенность, уходила от

ядерных стратегических рисков ради защиты самой себя, Германия же обретала бы все большее искушение добиваться выведения ядерного оружия со своей территории, чтобы получить какой-либо особый статус.

Горбачев предложил механизм ослабления Атлантического союза в речи на Совете Европы в 1989 году, где выдвинул идею «общеевропейского дома» — зыбкой структуры, простирающейся от Ванкувера до Владивостока, где каждый будет находиться в союзе друг с другом, а само понятие «союз» превратится в бессмыслицу. Чего, однако, Горбачеву недоставало, так это времени — принципиальной первоосновы для того, чтобы та или иная политика вызрела. Лишь какие-то немедленные перемены могли бы дать ему возможность пересмотреть степень первоочередности отдельных мероприятий. Однако после Рейкьявика он вынужден был вернуться к отнимающему время дипломатическому процессу переговоров по пятидесятипроцентному сокращению стратегических сил и «нулевому варианту» по ракетам промежуточного радиуса действия, для завершения чего потребовались бы годы и что не имело отношения к кардинальной проблеме, а именно — к осознанию того, что гонка вооружений иссушает ресурсы Советского Союза.

В декабре 1988 года Горбачев перестал стремиться к достижению долгосрочных выгод, которые уже были у него почти что в руках, и отступил, принявшись за одностороннее сокращение советских вооруженных сил. В программной речи в Организации Объединенных Наций 7 декабря он объявил об одностороннем их сокращении на 500 тыс. человек и 10 тыс. танков, включая половину танков, противостоящих НАТО. Остальные силы, находящиеся в Центральной Европе, подлежали реорганизации для превращения их в чисто оборонительные. Стремясь умиротворить Китай, Горбачев также объявил о выводе «значительной части» советских вооруженных сил из Монголии. Эти сокращения были четко названы «односторонними», хотя Горбачев и добавил довольно жалобно: «Мы действительно надеемся, что Соединенные Штаты и европейцы также предпримут какие-либо шаги»[1041].

Представитель Горбачева Геннадий Герасимов объяснил смысл происходящего: «Мы наконец собираемся покончить с набившим оскомину мифом советской угрозы, угрозы со стороны Варшавского пакта, угрозы нападения на Европу»[1042]. Однако односторонние сокращения подобных масштабов являются свидетельством либо

признаком исключительной уверенности в себе, либо признаком исключительной слабости. На данном этапе развития уверенность в себе вряд ли была свойственна Советскому Союзу. Подобный жест, уму непостижимый на протяжении предшествующих пятидесяти лет, явился также конечным подтверждением первоначальной версии теории «сдерживания» Кеннана: Америка создала для себя «позицию силы», и Советский Союз распадается изнутри.

Государственные деятели нуждаются в удаче точно так же, как нуждаются в добром совете. А фортуна просто не улыбнулась Михаилу Горбачеву. В тот самый день, когда он произносил в ООН столь драматическую по содержанию речь, ему пришлось прервать свой визит в Америку и вернуться в Советский Союз. Опустошительное землетрясение обрушилось на Армению, отвлекая на себя газетные заголовки, в иных обстоятельствах освещавшие бы столь судьбоносный отказ от гонки вооружений.

На китайском фронте никаких переговоров по контролю Над вооружениями не велось, да Пекин и не проявлял к ним должного интереса. Китайцы вели традиционную дипломатическую деятельность и отождествляли ослабление напряженности с тем или иным политическим урегулированием. Горбачев начал делать шаги навстречу Китаю, предложив переговоры по улучшению взаимоотношений. «Мне бы хотелось заявить, — сказал он в речи во Владивостоке в июне 1986 года, — что Советский Союз готов в любое время, на любом уровне обсудить с Китаем вопросы дополнительных мер по созданию атмосферы добрососедства. Мы надеемся, что граница, разделяющая — я бы предпочел сказать, объединяющая нас — вскоре станет линией мира и дружбы»[1043].

Но в Пекине не существовало «психиатрической» школы дипломатии, готовой отреагировать на изменение тона. Китайские руководители выдвинули три условия улучшения отношений: прекращение вьетнамской оккупации Камбоджи; вывод советских войск из Афганистана; а также удаление советских войск с китайско-советской границы. Эти требования не могли быть выполнены немедленно. Они, во-первых, требовали согласия советского руководства, а затем продолжительных переговоров до возможного претворения в жизнь. Горбачеву потребовались добрых три года, чтобы добиться достаточного прогресса по каждому из этих китайских условий. Это побудило несговорчивых мастеров торга в Пекине пригласить его туда и обсудить с ним вопросы общего улучшения отношений.

И опять Горбачеву не повезло. Когда он прибыл в Пекин в мае 1989 года, студенческие демонстрации на площади Тяньаньмынь развернулись во всю мощь; церемония его встречи прерывалась протестами, направленными против хозяев. Выкрики протестующих были позднее слышны даже в комнате переговоров Великого зала народов. Мир внимательно следил не за деталями отношений Пекина с Москвой, но за драматическим стремлением китайского руководства удержать за собою власть. Скорость развития событий вновь лишила Горбачева резерва времени, чтобы приспособиться к ним.

За что бы Горбачев ни брался, перед ним вставала одна и та же дилемма. Он пришел к власти, имея против себя беспокойную Польшу, где начиная с 1980 года «Солидарность» стала еще более мощным фактором. Подавленная генералом Ярузельским в 1981 году, «Солидарность» вновь появилась на сцене как политическая сила, которую Ярузельский более не мог игнорировать. В Чехословакии, Венгрии и Восточной Германии господству коммунистических партий был брошен вызов со стороны групп, требующих больше свободы и ссылавшихся на «третью корзину» соглашений Хельсинки, касающуюся прав человека. А периодические заседания Европейского совещания по безопасности не давали этой теме уйти в песок.

Коммунистические правители Восточной Европы столкнулись с головоломкой: чтобы снять с себя внутривластное давление, они вынуждены были проводить более национально-ориентированную политику, которая, в свою очередь, требовала утверждения собственной независимости от Москвы. Но, поскольку они воспринимались собственным населением как марионетки Кремля, националистической внешней политики было недостаточно, чтобы успокоить собственную общественность. Коммунистические лидеры вынуждены были, чтобы компенсировать отсутствие к себе доверия, демократизировать внутренние структуры. И тут же стало очевидным, что Коммунистическая партия, пусть даже она все еще контролировала средства массовой информации, не была создана для демократического соревнования, будучи инструментом захвата власти и удержания ее от имени меньшинства. Коммунисты знали, как управлять при помощи тайной полиции, но не знали, как это делать при помощи тайного голосования. Коммунистические правители Восточной Европы, таким образом, попали в порочный круг. Чем более националистической становилась их внешняя политика, тем сильнее

становились требования демократизации; чем большей степени достигала демократизация, тем сильнее становилось давление в направлении их смещения.

Советская головоломка оказалась еще более неразрешимой. Согласно «доктрине Брежнева», Кремль обязан был бы задавить потенциальную революцию, зреющую среди сателлитов. Но Горбачев не только не годился по темпераменту для подобной роли, но подорвал бы этим всю свою внешнюю политику. Ибо подавление Восточной Европы укрепило бы НАТО и китайско-американскую коалицию де-факто, а также ускорило бы гонку вооружений. Горбачев во все большей степени оказывался перед дилеммой политического самоубийства и медленной эрозии собственной политической власти.

Горбачевским спасением было ускорение либерализации. Десятью годами ранее это бы сработало; к концу 80-х Горбачев уже не мог угнаться за кривой уравнения власти. Его правление поэтому постепенно во все большей степени характеризовалось отходом от «доктрины Брежнева». Либеральные коммунисты пришли к власти в Венгрии; Ярузельскому было разрешено иметь дело с «Солидарностью» в Польше. В июле 1989 года в речи на Совете Европы Горбачев, похоже, отказался не только от «доктрины Брежнева», обуславливавшей право советской интервенции в Восточной Европе, но и от орбиты сателлитов как таковой, заявив об осуждении наличия «сфер влияния»:

«Общественно-политический порядок в той или иной стране менялся в прошлом и может изменяться в будущем. Но эти перемены являются исключительным делом народа данной страны и его выбором... Любое вмешательство во внутренние дела и любые попытки ограничить государственный суверенитет — дружественных, союзных и прочих стран — недопустимы... Настало время сдать в архив постулаты периода „холодной войны“, когда Европа рассматривалась как арена конфронтации, разделенная на „сферы влияния"»[1044].

Сохранение орбиты сателлитов стало непосильным бременем. Даже речь на Совете Европы выглядела слишком иносказательно, хотя по историческим советским стандартам она была достаточно ясной. В октябре 1989 года Горбачев во время визита в Финляндию безоговорочно отверг «доктрину Брежнева». Его представитель Герасимов шутил с прессой, что Москва приняла «доктрину Синатры» для Восточной Европы. «Знаете песню Фрэнка Синатры „Я сделал это по-своему"? Венгрия и

Польша делают это по-своему»[1045].

Было слишком поздно спасать коммунизм в Восточной Европе или даже, в данном конкретном случае, в Советском Союзе. Горбачевская ставка на либерализацию неминуемо должна была провалиться. Как только Коммунистическая партия теряла свое монолитное единство, она деморализовывалась. Либерализация оказывалась несовместимой с коммунистическим правлением — коммунисты не могли превратиться в демократов, не перестав быть коммунистами: этого уравниения Горбачев так и не понял. Зато понял Ельцин.

Кроме всего прочего, в октябре 1989 года Горбачев посетил Берлин, чтобы принять участие в праздновании сорокалетия Германской Демократической Республики и по ходу дела принудить ее руководителя-сталиниста Эриха Хонеккера проводить более ориентированную на реформы политику. Само собой, он бы, не приехал на эту церемонию, если бы подозревал, что больше такого рода празднеств не будет. Это отразилось в произнесенной им речи:

«Нас постоянно призывают ликвидировать то или иное разделение. Нам часто приходится слышать: „Пусть СССР избавится от» Берлинской стены, тогда мы поверим в его мирные намерения".

Мы не идеализируем порядок, установившийся в Европе. Но факты таковы, что до сих пор мир на континенте обеспечивало признание послевоенной реальности. Каждый раз, когда Запад пытался переписать послевоенную карту Европы, это означало ухудшение международного положения»[1046].

И все же не прошло и четырех недель, как Берлинская стена пала, а через десять месяцев Горбачев согласился на объединение Германии и ее членство в НАТО. К тому времени все коммунистические правительства бывших сателлитов оказались свергнуты, а Варшавский пакт перестал существовать. Ялта ушла в прошлое. История выставила на всеобщее обозрение, какой бессмыслицей было хвастовство Хрущева на тему о том, как коммунизм похоронит капитализм. Советский Союз, доведший себя до истощения сорока годами попыток угрозами и давлением подорвать западное единство, оказался низведен до уровня просителя, вымаливающего у Запада доброе к себе отношение, поскольку нуждался в западной помощи в большей степени, чем в наличии орбиты сателлитов. 14 июля 1989 года Горбачев обратился к «Большой Семерке» — совещанию глав правительств промышленно развитых демократических

стран:

«Наша перестройка неотделима от политики, нацеленной на наше полноправное участие в мировой экономике. Мир может только выиграть от открытия для него рынка столь огромного, как Советский Союз»[1047].

Горбачев сделал ставку на два основополагающих момента: будто бы либерализация модернизирует Советский Союз и будто бы Советский Союз тогда сможет в международном плане выступать как великая держава. Ни одно из этих ожиданий не воплотилось в действительность, и внутренняя социальная база Горбачева рухнула столь же позорно, как провалилась орбита спутников.

Греческий философ и математик Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Революции пожирают своих детей, поскольку революционеры редко осознают, что после определенного момента социального разрушения более не остается конкретных архимедовых точек опоры. Горбачев начинал с убеждения, что реформированная Коммунистическая партия сможет перенести советское общество в современный мир. Но он не смог прийти до понимания того, что коммунизм является проблемой, а не решением. На протяжении жизни двух поколений Коммунистическая партия давила независимую мысль и рушила личную инициативу. К 1990 году централизованное планирование превратилось в нечто окаменелое, а различные организации, созданные, чтобы держать под контролем все стороны жизни, вместо этого заключали пакты о ненападении с теми самыми группами, которые они предположительно обязаны были бы подавлять. Дисциплина превратилась в рутину, и горбачевская попытка высвободить инициативу породила хаос.

Горбачевские трудности проявились на простейшем уровне попыток поднятия производительности труда и введения отдельных элементов рыночной экономики. Почти сразу же стало ясно, что в системе плановой экономики отсутствует саморегулирование, и потому нет в наличии самой существенной предпосылки существования эффективной экономики. Сталинистская теория утверждала господство принимаемого в центре плана, но на практике все было не так. То, что называлось «планом», на самом деле являлось широкомасштабным сговором бюрократической верхушки и представляло собой гигантское мошенничество, дезинформировавшее центральные власти. Директора, отвечающие за производство, министерства, которым было поручено распределение, и плановые органы,

предположительно издающие директивы, играли вслепую, поскольку понятия не имели, каким будет спрос, и не обладали возможностью внесения корректив в раз установленные производственные программы. В результате каждая из ячеек системы ставила перед собой лишь минимальные цели в качестве плановых заданий, покрывая нехватки за счет частных сделок с другими подразделениями за спиной у центральных властей. Все побудительные факторы срабатывали против инноваций, и это положение дел не могло быть исправлено, поскольку соответствующие руководители считали практически невозможным раскрыть истинное положение дел в своем обществе. Советский Союз отбросил себя на ранние исторические этапы существования Российского государства: он превратил себя в гигантскую «потемкинскую деревню».

Попытки реформирования сломались под натиском активно оборонявшегося статус-кво, как уже случилось с Хрущевым и позднее с Косыгиным. Поскольку по меньшей мере 25% национального бюджета уходило на субсидирование цен, не существовало объективного критерия эффективности или оценки экономического спроса. Когда товары скорее распределялись, чем покупались, коррупция стала единственным проявлением рыночных отношений.

Горбачев осознал наличие всеохватывающей стагнации, но не обладал аналитическим умением прорваться через окостенелые структуры. А различные надзорные органы системы со временем сами превращались в часть проблемы. Коммунистическая партия, возникшая как инструмент революции, не обладала иными функциями в развитой коммунистической системе, кроме как надзирать за тем, в чем она не разбиралась, — и эту проблему она разрешала, вступая в сговор с теми, кого она будто бы контролировала. Коммунистическая элита стала мандаринским привилегированным классом; теоретически отвечая за национальную ортодоксию, она концентрировала свое внимание на том, чтобы сохранять свои привилегии.

Горбачев сделал фундаментом своей программы реформ два элемента: перестройку, чтобы добиться поддержки новых технократов, и гласность, с тем чтобы завербовать себе в сторонники долго терзаемую интеллигенцию. Но поскольку не существовало институтов свободного самовыражения и обеспечения подлинных общественных дебатов, гласность замкнулась сама на себя. А поскольку отсутствовали свободные ресурсы, за исключением зарезервированных на военные цели, условия жизни не

улучшались. Таким образом, Горбачев постепенно отказался от опоры на управленческие структуры, но не обеспечил себе более широкой общественной поддержки. Гласность все более вступала в конфликт с перестройкой. Даже атаки на предыдущих лидеров имели побочный эффект. В 1989 году молодой сотрудник аппарата Горбачева, которому было поручено сопровождать меня по пути в Кремль, заметил: «Все это означает, что каждый советский гражданин старше двадцати пяти лет прожил свою жизнь напрасно».

Единственными группами, понимающими необходимость реформ — не будучи, однако, готовыми смириться со средствами их проведения, — являлись службы безопасности. КГБ знал от своего разведывательного аппарата, насколько Советский Союз отставал в технологическом соревновании с Западом. Вооруженные силы были профессионально обязаны определить возможности своего главного противника. Понимание проблемы, увы, не порождало ее решения. Службы безопасности в значительной степени страдали той же двойственностью, что и сам Горбачев. КГБ готов был оказывать поддержку «гласности»* — политической либерализации — лишь постольку, поскольку она не подрывала гражданской дисциплины; военный истеблишмент легко мирился с «перестройкой» — экономической реструктуризацией — лишь постольку, поскольку Горбачев не предпринимал попыток выжать новые ресурсы для программы модернизации за счет сокращения вооруженных сил.

Первое инстинктивное начинание Горбачева — превратить Коммунистическую партию в инструмент реформ — пошло ко дну, налетев на риф шкурных интересов. Следующий его шаг — ослабить, но все же сохранить коммунистическую структуру — разрушил фундаментальный инструмент советского правления. С этим были связаны два конкретных хода: вывести центр тяжести власти Горбачева из партии в параллельную структуру управления и содействовать региональной и местной автономии.

Горбачев просчитался по обоим пунктам. Со времен Ленина Коммунистическая партия являлась единственным органом, вырабатывающим политические решения. Правительство было исполнительным органом, осуществляющим, но не продумывающим политику. Ключевым советским постом была всегда должность Генерального секретаря Коммунистической партии; от Ленина вплоть до Брежнева коммунистический лидер редко занимал правительственный пост. Результатом этого

было тяготение амбициозных и предприимчивых лиц к занятию мест в коммунистической иерархии, в то время как правительственные структуры привлекали к себе администраторов, лишенных политической жилки, а то и просто интереса к формированию политической линии. Смещая фундамент собственной власти, перенося точку опоры с Коммунистической партии на правительственную часть правительственной системы, Горбачев вверил свою революцию армии клерков.

Поощрение Горбачевым региональной автономии завело в такой же тупик. Он считал для себя невозможным совместить желание создать пользующуюся поддержкой народа альтернативу коммунизму со свойственным ленинцу недоверием к народной воле. Потому он разработал систему местных по сути выборов, куда запрещался допуск национальных партий, отличных от Коммунистической. Но когда впервые за всю российскую историю появилась возможность народных выборов местных и региональных органов управления, грехи российской истории проявились сполна. В течение трехсот лет Россия включала в свой состав национальности Европы, Азии и Среднего Востока, но не сумела примирить их с правящим центром. Неудивительно, что многие из только что избранных нерусских правительств, представлявших почти половину населения Советского Союза, начали бросать вызов своим историческим хозяевам.

Горбачеву не хватало надежной законной опоры. Он вызвал к себе антагонизм со стороны характерных для государства ленинского типа многочисленных носителей шкурных интересов, но не сумел привлечь на свою сторону новых сторонников, поскольку не смог выработать и предложить от своего имени надежную концепцию, отличную от коммунизма и от концепции централизованного государства. Горбачев правильно определил проблемы своего общества, но сделал это через шоры своей антигуманной системы, что не позволяло найти нужного решения. Подобно человеку, запертому в комнате с предельно прозрачными, но небьющимися стеклами, Горбачев мог с достаточной ясностью видеть через такие окна окружающий мир, но был принужден в своем заточении оставлять вне пределов понимания истинную суть виденного.

Чем дольше длились перестройка и гласность, тем более изолированным и менее уверенным в себе становился Горбачев. В первый раз, когда я с ним встретился в начале 1987 года, он был веселым и излучал уверенность в том, что

предпринимаемый им текущий ремонт позволит стране обрести форму и возобновить свой марш исторического лидера. Через год уверенности у него поубавилось. «В любом случае, — заявил он, — Советский Союз уже не будет прежним» — странно двусмысленное заявление по поводу столь геркулесовых усилий. Когда же мы встретились в начале 1989 года, он сообщил мне, как они с Шеварднадзе где-то в 70-е годы пришли к выводу, что коммунистическую систему следует изменить с головы до ног. Я спросил, каким же образом он, коммунист, пришел к такому выводу. «Понять, что неправильно, было легко, — заметил Горбачев. — Самое трудное — понять, что правильно».

Горбачев так и не нашел ответа. В течение последнего года пребывания у власти он был человеком, очутившимся в цепях кошмара, видящим надвигающуюся на него катастрофу, но неспособным изменить ее направление или уклониться от встречи. Обычно целью уступок является предоставление возможности спустить пар, чтобы сберечь то, что считается существенно важным. Горбачев добился противоположного. Каждая необходимая новая реформа сводилась к полумерам и потому ускоряла упадок советской системы. Каждая уступка создавала отправной пункт для следующей. В 1990 году отпали от Союза балтийские государства, и Советский Союз начал разваливаться. И по иронии судьбы главный соперник Горбачева воспользовался тем самым процессом, благодаря которому начался распад создававшейся свыше трех столетий Российской империи, чтобы свалить самого Горбачева. Действуя в качестве Президента России, Ельцин заявил о независимости России (и тем самым, по аналогии, — о независимости прочих советских республик), чем на деле упразднил Советский Союз, а вместе с ним и пост Горбачева как президента Советского Союза. Горбачев знал, в чем заключаются его проблемы, но действовал в одно и то же время чересчур быстро и чересчур медленно: чересчур быстро с точки зрения терпимости собственной системы и чересчур медленно, чтобы приостановить набирающий темп развал.

В 80-е годы обеим сверхдержавам требовалось время, чтобы оправиться. Политика Рейгана высвободила энергию американского общества; политика Горбачева вывела на поверхность дисфункцию общества советского. Проблемы Америки поддавались разрешению путем перемены политики; в Советском Союзе реформа привела к ускорению кризиса системы.

К 1991 году демократические страны выиграли «холодную войну». Но стоило им добиться, казалось бы, невероятного, как вновь возникли дебаты на тему основополагающих предпосылок «холодной войны». Был ли Советский Союз вообще угрозой? Не растаял ли бы он под лучами солнца даже без тягот «холодной войны»? Не была ли «холодная война» просто выдумкой переработавшихся политиков, разорвавших изначальную гармонию мирового порядка?

В январе 1990 года журнал «Тайм» объявил Горбачева «Человеком десятилетия», воспользовавшись этой возможностью, чтобы опубликовать статью, раскрывающую суть этого определения. «„Голуби" во время „Великих дебатов" на протяжении последних сорока лет были с самого начала правы», — утверждает автор[1048]. Советская империя никогда не была настоящей угрозой. Американская политика либо не соответствовала ситуации, либо задерживала коренные перемены в Советском Союзе. Политика демократических стран в продолжение четырех десятилетий не заслуживает сколько-нибудь заметной похвалы, даже в благодарность за перемены в советской внешней политике. А раз на деле целенаправленные действия оказались безрезультатными и события происходили сами по себе, то из краха Советской империи нельзя извлечь никаких уроков — в частности, таких, какие бы оправдывали вовлеченность Америки в создание нового мирового порядка, обусловленного концом «холодной войны». Американские дебаты сделали полный круг. Прозвучала старая сладкоголосая песнь американского изоляционизма; не Америка на деле выиграла «холодную войну», а Советский Союз ее проиграл, и четыре десятилетия напряженных усилий оказались потрачены зря, поскольку все сработало бы так же хорошо — а может быть, даже лучше, — если бы Америка оставила Советский Союз в покое.

Еще одна версия подобных же рассуждений сводится к тому, что действительно имела место «холодная война» и что действительно она была выиграна, но победа принадлежит идее демократии, которая бы все равно взяла верх независимо от геостратегических мер, сопутствовавших конфликту Востока и Запада. Это также является версией эскапизма. Политическая демократия и идея свободы, безусловно, представляли собой платформу для сплочения тех, кто не был затронут идеологией коммунистической системы, особенно в Восточной Европе. Репрессии сторонников этой платформы становились все более и более затруднительными по мере падения

морального уровня правящих группировок. Но подобная деморализация была в первую очередь вызвана стагнацией системы и ростом осознания коммунистической элитой — чем выше ее ранг, тем большая вероятность знакомства тех, кто к ней принадлежит, с истинным положением дел — того, что система, по существу, проигрывает борьбу, которую она объявила своей конечной целью и которая велась жестоко и непрерывно. В лучшем случае это было повторение спора о курице и яйце. Демократическая идея спланировала вокруг себя оппозицию коммунизма, но не могла сама по себе до такой степени ускорить ход событий, если бы не свершился крах коммунистической внешней политики, а в конце концов и коммунистического общества.

Таким наверняка был взгляд на происходящее со стороны марксистских толкователей международных событий, которые привыкли анализировать «соотношение сил» и которым было гораздо легче раскрыть причины советского краха, чем американским наблюдателям. В 1989 году Фред Холлидей, профессор-марксист Лондонской экономической школы, сделал вывод, что соотношение сил сдвинулось в пользу Соединенных Штатов[1049]. Холлидей рассматривал это как трагедию, но, в отличие от мысленно самоистязающих себя американцев, отказывающихся отдать должное своей стране и ее руководителям, признал, что основной сдвиг в международной политике произошел в годы президентства Рейгана. Америка до такой степени преуспела в том, чтобы превратить советскую вовлеченность в дела «третьего мира» в непосильное бремя для Советского Союза, что в главе, броско озаглавленной «Социализм в обороне», Холлидей рассматривает горбачевское «новое мышление» как попытку ослабить давление со стороны Америки.

Самое надежное свидетельство в этом плане поступило из советских источников. Начиная с 1988 года советские ученые стали признавать ответственность Советского Союза за прекращение разрядки. Выказывая гораздо большее понимание сущности разрядки, чем американские критики, советские комментаторы подчеркивают, что разрядка являлась способом, при помощи которого Вашингтон стремился удержать Москву от вызова существовавшему тогда военно-политическому статус-кво. Нарушив молчаливое взаимопонимание и устремившись к односторонним выгодам, брежневское руководство вызвало соответствующее противодействие, проявившееся в

годы президентства Рейгана, с которым Советский Союз уже не в состоянии был справиться, ибо это превышало его возможности.

Один из самых ранних и наиболее интересных «ревизионистских» комментариев такого рода — заявление профессора Института экономики мировой социалистической системы Вячеслава Дашичева. В статье, опубликованной «Литературной газетой» 18 мая 1988 года[1050], Дашичев замечает, что исторические «просчеты и некомпетентный подход брежневского руководства» объединили все прочие великие мировые державы в коалицию против Советского Союза и вызвали к жизни такую гонку вооружений, которую Советский Союз уже не мог выдержать. Таким образом, следовало отказаться от традиционной советской политики находиться в стороне от мирового сообщества и в то же время пытаться его подорвать. Дашичев писал:

«...Как это представлялось Западу, советское руководство активно эксплуатировало разрядку, чтобы укреплять свою собственную военную мощь, стремиться к военному паритету с Соединенными Штатами и вообще со всеми противостоящими державами — факт, не имеющий исторического прецедента. Соединенные Штаты, парализованные катастрофой во Вьетнаме, болезненно отреагировали на расширение советского влияния в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.

..Действие эффекта „обратной связи" поставило Советский Союз в исключительно трудное положение во внешнеполитическом и экономическом отношении. Ему противостояли крупнейшие державы мира: Соединенные Штаты, Англия, Франция, ФРГ, Италия, Япония, Канада и Китай. Противостояние столь значительно превосходящему потенциалу в опасной степени превышало потенциальные возможности СССР»[1051].

Те же проблемы были затронуты в речи советского министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе 25 июля 1988 года на встрече в советском Министерстве иностранных дел[1052]. Он перечислил такие советские ошибки, как афганская катастрофа, спор с Китаем, длительная недооценка Европейского экономического сообщества, дорогостоящая гонка вооружений, уход в 1983 — 1984 годах с переговоров в Женеве по контролю над вооружениями, советское решение в принципе развернуть ракеты СС-20, ошибочной придавалась и советская оборонительная доктрина, согласно которой СССР обязан был быть столь же сильным, как и любая

направленная против него потенциальная коалиция государств. Иными словами, Шеварднадзе скептически отнесся почти ко всему, что Советский Союз совершил за двадцать пять лет. Это явилось открытым признанием того, что политика Запада имела прямое влияние на Советский Союз, ибо, если бы демократические страны не налагали санкций за авантюризм, советская политика была бы названа успешной и не нуждалась бы в переоценке.

Конец «холодной войны», являвшийся целью американской политики на протяжении восьми администраций обеих политических партий, весьма напоминал то, что Джордж Кеннан предсказывал в 1947 году. Независимо от того, какую бы услужливую политику ни проводил по отношению к Советскому Союзу Запад, советской системе требовался призрак вечного внешнего врага, чтобы оправдать страдания своего народа и содержание громоздких вооруженных сил и аппарата безопасности. Когда под давлением совокупного отпора со стороны Запада, кульминацией которого явились годы президентства Рейгана, XXVII съезд партии заменил официальную доктрину сосуществования на взаимозависимость, исчез моральный базис внутренних репрессий. Граждане Советского Союза, воспитанные в духе дисциплины, не могли мгновенно переключиться на компромисс и взаимные уступки. А это означало, как и предсказывал Кеннан, что Советский Союз превратится в одночасье в «одно из самых слабых и наиболее вызывающих жалость национальных обществ»[1053].

Как отмечалось ранее, Кеннан по ходу дела пришел к убеждению, что его политика «сдерживания» была чересчур милитаризована. Более точной оценкой было бы, как всегда, такое наблюдение, что Америка колебалась между чрезмерной опорой на военную стратегию и чрезмерной эмоциональной зависимостью от обращения в свою веру противника. Я также критиковал многие из конкретных политических шагов, проходивших под маркой сдерживания. И все же общее направление американской политики отличалось дальновидностью и оставалось исключительно осмысленным, несмотря на смену администраций и потрясающее разнообразие участвовавших в политике личностей.

Если бы Америка не организовала сопротивление тогда, когда уверенная в себе коммунистическая империя действовала, словно за ней будущее, заставляла народы и руководителей во всем мире верить в то, что это, возможно, так и есть, то

коммунистические партии, уже по отдельности самые сильные в послевоенной Европе, вероятно, смогли бы взять верх. Серию кризисов по поводу Берлина нельзя было бы выдержать, причем число кризисов могло бы увеличиться. Эксплуатируя американскую послевьетнамскую травму, Кремль направил силы своих верных сторонников в Африку, а собственные войска в Афганистан. Он мог бы вести себя еще более нагло и самоуверенно, если бы Америка не защитила глобальное равновесие сил и не оказала помощи в восстановлении демократических обществ. То, что Америка не видела себя в роли одной из составляющих равновесия сил, сделало процесс более болезненным и усложнило его, но это же потребовало от американцев беспрецедентной самоотдачи и обеспечило невиданный прилив творческих сил в обществе. И болезненность процессов не отменила того реального достижения, что именно Америка сохранила глобальное равновесие сил и, следовательно, мир на земле.

Победа в «холодной войне» не была, конечно, достижением какой-то одной администрации. Она стала результатом наложения друг на друга сорока лет американских двухпартийных усилий и семидесяти лет коммунистического окостенения. Феномен Рейгана возник из случайного благоприятного сочетания личности с открывшимися перед ней возможностями; десятилетием ранее этот политик казался бы чересчур воинственным; десятилетием позже — чересчур односторонним. Комбинация идеологической боевитости, сплотившей вокруг него американскую общественность, и дипломатической гибкости, которую консерваторы не простили бы никакому другому президенту, была как раз тем, что требовалось в период советской слабости и возникающего сомнения в правильности наших собственных действий.

И все же рейгановская внешняя политика была скорее, по сути, блистательным солнечным закатом, чем зарей новой эры. «Холодная война» явилась почти что по заказу и отвечала фундаментальным представлениям американцев. Имел место доминирующий идеологический вызов, делающий универсальные тезисы, пусть даже в чрезмерно упрощенной форме, применимыми к большинству мировых проблем. И налицо была четкая и явная военная угроза, источник которой не вызывал сомнений. Но даже тогда американское блуждание в потемках от Суэца до Вьетнама явилось результатом применения универсальных принципов к конкретным случаям, которые

оказались для них совершенно неподходящей почвой.

В мире по окончании «холодной войны» нет преобладающего идеологического вызова или, в данный момент, единой геостратегической конфронтации. Почти каждая ситуация имеет конкретное содержание. Исключительность вдохновляла американскую внешнюю политику и давала Соединенным Штатам силу выстоять в «холодной войне». Но эту силу придется применять гораздо более тонко и осторожно в многополюсном мире XXI века. В итоге Америка вынуждена будет оказаться перед вопросом, ответа на который она умудрялась не давать на протяжении почти всей своей истории: маяк она или крестonosец? И насколько широк сужающийся диапазон выбора между тем и другим?

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. Возвращение к проблеме нового мирового порядка

В начале последнего десятилетия XX века вильсонизм, похоже, совершает триумфальное шествие. Коммунистический, идеологический и советский геополитический вызовы оказались преодолены одновременно. Цель моральной оппозиции коммунизму слилась с геополитической задачей сопротивления советскому экспансионизму. Неудивительно, что президент Буш провозгласил свои надежды на новый мировой порядок, облачая их в классическую вильсонизмскую терминологию:

«Перед нами встает видение нового партнерства наций, перешагнувших порог „холодной войны“. Партнерства, основанного на консультациях, сотрудничестве и коллективных действиях, особенно через международные и региональные организации. Партнерства, объединенного принципом и властью права и поддерживаемого справедливым распределением расходов и обязанностей.

Партнерства, целью которого является приращение демократии, приращение процветания, приращение мира и сокращение вооружений»[1054].

Преемник Буша, избранный президентом кандидат от демократической партии Билл Клинтон, описал стоящие перед Америкой задачи в сходных выражениях, высказываясь на тему «расширения демократии»:

«В новую эру опасностей и возможностей нашей всепоглощающей целью должно стать расширение и усиление мирового сообщества стран демократического характера, опирающихся на рыночную экономику. Во время „холодной войны“ мы стремились уменьшить угрозу выживанию свободных институтов. Теперь мы стремимся расширить круг наций, которые живут при наличии свободных институтов, ибо нашей мечтой является тот день, когда мнения и энергия каждого человека на свете найдут полное самовыражение в мире бурно расцветающих демократических стран, сотрудничающих друг с другом и живущих в мире»[1055].

В третий раз на протяжении нынешнего столетия Америка подобным образом провозглашает свои намерения выстроить новый мировой порядок, применяя свои собственные ценности на всем мировом пространстве. И в третий раз Америка, похоже, возвышается над всей международной ареной. В 1918 году Вильсон своей тенью заслонил Парижскую мирную конференцию, где союзники слишком зависели от Америки, чтобы громко высказаться против. К концу второй мировой войны Франклин Делано Рузвельт и Трумэн, казалось, имели возможность перекрыть весь глобус по американской модели.

Конец «холодной войны» породил еще большее искушение переделать мир по американскому образу и подобию. Вильсона ограничивал изоляционизм во внутренней политике, а Трумэн столкнулся со сталинским экспансионизмом. В мире по окончании «холодной войны» Соединенные Штаты остались единственной сверхдержавой, которая обладает возможностью вмешательства в любой части земного шара. Однако могущество их стало менее ощутимым, а вопросы, решаемые военной силой, исчезли. Победа в «холодной войне» поместила Америку в мир, имеющий много общего с системой европейских государств XVIII и XIX веков и с практикой, которую американские государственные деятели и мыслители постоянно подвергали сомнению. Отсутствие всеобъемлющей угрозы как идеологической, так и стратегической дает нациям свободу ведения внешней политики, во все большей

степени базирующейся на сиюминутных национальных интересах. В международной системе, для которой характерно наличие, возможно, пяти или шести великих держав и множества меньших государств, порядок должен возникнуть в основном, как и в прошлые столетия, на базе примирения и балансирования соперничающих национальных интересов.

Как Буш, так и Клинтон говорили о новом мировом порядке, словно он находится за ближайшим углом. На деле он все еще проходит период вызревания, и окончательные его формы станут зримы лишь в пределах будущего столетия. Будучи частично продолжением прошлого, а частично беспрецедентным, новый мировой порядок, как и те, на чье место он приходит, должен возникнуть как ответ на три вопроса. Что является фундаментальными составляющими мирового порядка? Каковы способы их взаимодействия? Каковы цели, ради которых происходит подобное взаимодействие?

Международные системы живут, идя на риск. Каждый «мировой порядок» выражает стремление к постоянству; уже само это определение несет на себе печать вечности. И все же элементы, которые его составляют, находятся в непрерывном движении; действительно, с каждым столетием продолжительность существования международных систем уменьшается. Порядок, выросший из Вестфальского мира, продержался полтора столетия; международная система, созданная Венским конгрессом, прожила сто лет; международный порядок, характерный для «холодной войны», нашел свой конец через четыре десятилетия. (Версальское урегулирование никогда не функционировало как система, приемлемая для великих держав, и представляла собой немногим большее, чем просто перемирие между двумя мировыми войнами.) Никогда еще компоненты мирового порядка, их взаимодействие друг с другом, задачи, которые надо решить, не менялись столь быстро, не были столь глубоки или столь глобальны.

Как только составляющие международной системы меняют свой характер, неизбежно следует период потрясений. Тридцатилетняя война в значительной степени велась в связи с переходом от феодальных обществ, базировавшихся на традиции и претензии на универсальность, к современной государственной системе, опирающейся на *raison d'etat*. Войны времен Французской революции означали переход к государствам-нациям, определяемым наличием общего языка и культуры. Войны XX века были связаны с распадом империи Габсбургов и Османской

империи, вызовом, связанным с претензиями на господство в Европе и концом колониализма. В каждый из этих переходных периодов то, что ранее принималось как должное, вдруг становилось анахронизмом: многонациональные государства XIX века, колониализм XX.

Со времен Венского конгресса внешняя политика стала соотносить народы друг с другом — отсюда термин «международные отношения». В XIX веке появление хотя бы одной новой нации — такой, как объединенная Германия, — порождало десятилетия смуты. После окончания второй мировой войны появилось на свет почти сто наций, нередко имеющих существеннейшие отличия от европейских, исторически сложившихся государств-наций. Крах коммунизма в Советском Союзе и распад Югославии повлекли за собой возникновение еще порядка двадцати наций, многие из которых увлечены и поглощены сведением вековых кровавых счетов.

Европейское государство XIX века имело в своей основе общность языка и культуры и, с учетом технологии того времени, стремилось оптимально возможным способом достичь безопасности, экономического роста и роста своего влияния на международные события. В мире по окончании «холодной войны» традиционные европейские государства-нации — страны, составлявшие «европейский концерт» вплоть до первой мировой войны, — не обладают ресурсами для того, чтобы играть глобальную роль. Консолидация в Европейский Союз предопределит их будущее влияние. Объединенная Европа продолжит свое существование как великая держава; разделенная же на национальные государства — сползет к уровню обладателя второстепенного статуса.

Частично потрясения, связанные с возникновением нового мирового порядка, проистекают из факта взаимодействия, по крайней мере, трех типов государств, зовущих себя «нациями», но обладающих, однако, слишком малым числом исторических атрибутов государства-нации. С одной стороны, это этнические осколки распавшихся империй типа государств — преемников Югославии или Советского Союза. Одержимые историческими обидами и вековым стремлением к самоутверждению, они в первую очередь стремятся взять верх в старинных этнических соперничествах. Цели международного порядка находятся за пределами их интересов, а часто и за пределами их воображения. Подобно мелким государствам, порожденным Тридцатилетней войной, они стремятся оградить свою независимость и

увеличить собственную мощь, не принимая во внимание более космополитические соображения международно-политического порядка.

Кое-какие из постколониальных наций являются примером еще одного любопытного феномена. Ведь у многих из них нынешние границы есть административное порождение, явившееся на свет ради удобства империалистических держав. Французская Африка, обладавшая весьма протяженной береговой линией, была расчленена на семнадцать административных единиц, каждая из которых ныне превратилась в государство. Бельгийская "Африка, тогда именуемая Конго, а ныне Заиром, имела весьма узкий выход к морю, а потому управлялась, как единое целое, хотя и занимала территорию равную Западной Европе. При подобных обстоятельствах государство очень часто означает «армия», которая и становится единственным национальным институтом. Когда такого рода претензия не находит своего воплощения, последствием часто становится гражданская война. Если к таким нациям применять стандарты государственности XIX века или вильсоновские принципы самоопределения, неизбежностью станет радикальная и непредсказуемая переделка границ. Им придется выбирать между территориальным статус-кво и бесконечно жестоким гражданским конфликтом.

Наконец, существуют государства континентального типа, которые, возможно, явятся базовыми ячейками нового мирового порядка. Индийская нация, возникшая при британском колониальном правлении, многоязыка и многорелигиозна. Это, по сути, — множество национальностей. Поскольку она более чувствительно реагирует на религиозные и идеологические течения в соседних государствах, чем европейские нации XIX века, разграничительная линия между внутренней и внешней политикой у нее несколько иная и менее четкая. Соответственно, Китай является конгломератом различных языков, скрепляемых воедино общностью письменности, общностью культуры и общей историей. Такой могла бы стать Европа, если бы не религиозные войны XVII века, и такой она еще сможет стать, если Европейский Союз оправдает чаяния своих сторонников. Соответственно, обе сверхдержавы периода «холодной войны» никогда не были государствами-нациями в европейском смысле. Америка преуспела в создании четко отличимой национальной культуры на базе национального многоязычия; Советский Союз представлял собой империю, включавшую в себя множество национальностей. Его преемники, особенно на момент написания этой

книги, Российская Федерация, раздираемы между дезинтеграцией и деимпериализацией точно так же, как это было с империей Габсбургов и Оттоманской империей в XIX веке.

Все это радикально меняет содержание, методику и, что важнее всего, масштаб международных отношений. Вплоть до современного периода различные континенты действовали в основном в изоляции друг от друга. Невозможно было соразмерить мощь, к примеру, Франции и Китая, поскольку у этих двух стран не было средств взаимодействия. Но как только расширились технологические границы, будущее прочих континентов стало определяться «концертом» европейских держав. Ни один из предыдущих международных порядков не обладал крупными силовыми центрами, размещенными по всему земному шару. И никогда еще государственные деятели не обязаны были заниматься дипломатической деятельностью в такой обстановке, когда события воспринимаются мгновенно и одновременно как лидерами, так и общественностью их стран.

Поскольку число государств увеличивается, а возможности взаимодействия между ними возрастают, на каких принципах может быть организован новый мировой порядок? С учетом сложности новой международной системы могут ли вильсоновские концепции типа «расширения демократии» служить путеводными указателями для американской внешней политики, а также в качестве замены стратегии сдерживания времен «холодной войны»? Ясно, что эти концепции не были ни безоговорочно успешными, ни безоговорочно неудачными. Некоторые из наиболее утонченных свершений дипломатии XX века уходят своими корнями в идеализм Вудро Вильсона: «план Маршалла», самоотверженное обязательство по сдерживанию коммунизма, защита свободы Западной Европы и даже злосчастная Лига наций, а также более позднее ее воплощение — Организация Объединенных Наций.

В то же время вильсоновский идеализм породил превеликое множество проблем. Некритическое применение принципа этнического самоопределения в том виде, как это отражено в «Четырнадцати пунктах», неспособно было учесть соотношение сил и дестабилизирующий эффект прямолинейного преследования этническими группами целей, связанных со скопившимся за продолжительный срок соперничеством и давней ненавистью. Неспособность снабдить Лигу наций механизмом военного принуждения усугубляла проблемы, являвшиеся неотъемлемой частью

вильсоновского понятия коллективной безопасности. Неэффективный пакт Бриана—Келлога, заключенный в 1928 году, согласно которому нации отвергали войну как средство политики, демонстрировал пределы чисто юридических ограничений. Как предстояло доказать Гитлеру, в мире дипломатии заряженное оружие часто обладает большей потенциальной силой, чем юридическое предупреждение. Призыв Вильсона, обращенный к Америке, следовать путем демократии, вызвал деяния великой творческой силы. Он также привел к крестовым походам типа вьетнамского, обратившимся в катастрофу.

Окончание, «холодной войны» создало ситуацию, которую многочисленные наблюдатели называют «однополюсным» или «моносверхдержавным» миром. Но Соединенные Штаты на деле находятся не в столь блестящем положении, чтобы в одностороннем порядке диктовать глобальную международную деятельность. Америка добилась большего преобладания, чем десять лет назад, но по иронии судьбы сила ее стала более рассредоточенной. Таким образом, способность Америки воспользоваться ею, чтобы изменить облик остального мира, на самом деле уменьшилась.

Победа в «холодной войне» сделала еще более затруднительным воплощение вильсоновской мечты о всеобщей коллективной безопасности. В отсутствие потенциально доминирующей державы основные нации не воспринимают угрозы миру единообразно, и, кроме того, они не желают идти на одинаковый риск в преодолении тех угроз, которые действительно признают. (См. гл. 10, 11, 15 и 16.) Мировое сообщество в достаточной степени готово сотрудничать в деле «поддержания мира» — то есть в обеспечении существующих соглашений, не оспариваемых какой-либо из сторон, — но в достаточной мере уклончиво относится к «обеспечению мира», то есть подавлению реальных вызовов мировому порядку. Это не удивительно, ибо даже Соединенные Штаты, до сих пор не выработали ясной концепции того, чему будут противодействовать в одностороннем порядке после окончания «холодной войны».

В качестве подхода к вопросам внешней политики вильсоновство предполагает, что Америка обладает исключительными качествами, проявляющимися в неоспоримых добродетелях и неоспоримой мощи. Соединенные Штаты были до такой степени уверены в собственной силе и высокой моральности своих целей, что

всегда видели себя в роли борца за собственные ценности в мировом масштабе. Американская исключительность должна была стать отправной точкой вильсоновской внешней политики.

По мере приближения XXI столетия могучие глобальные силы трудятся все упорнее, так что по ходу времени Соединенные Штаты лишатся части своей исключительности. В обозримом будущем у американской военной мощи по-прежнему соперников не будет. И все же американское стремление направить эту мощь на мириады крохотных конфликтов, которым мир явится свидетелем в течение надвигающихся десятилетий — типа Боснии, Сомали и Гаити, — явится ключевым концептуальным вызовом для американской внешней политики. Соединенные Штаты, вероятнее всего, в будущем столетии сохранят самую мощную в мире экономику. И все же благосостояние распространится гораздо шире, точно так же, как технология, обеспечивающая благосостояние. И Соединенные Штаты окажутся перед лицом экономической конкуренции такого рода, какая не проявлялась в период «холодной войны».

Америка останется великой и могущественной нацией, но нацией, с которой уже будет кому равняться; «первой среди равных», но тем не менее одной из ряда подобных. Американская исключительность, являвшаяся неотъемлемым фундаментом вильсоновской внешней политики, скорее всего в наступающем столетии в значительной мере утратит свое значение.

Но американцам не стоит рассматривать это как унижение или симптом национального упадка. На протяжении значительной части своей истории Соединенные Штаты были на деле одной из многих наций, а не абсолютной сверхдержавой. Подъем прочих силовых центров: Западной Европы, Японии и Китая — не должен тревожить американцев. В конце концов, совместное использование мировых ресурсов и развитие иных обществ и экономик были типично американской задачей еще со времен «плана Маршалла». Но коль скоро вильсоновство становится все более не соответствующим времени, а обязательные принципы вильсоновской внешней политики: коллективная безопасность, обращение соперников в свою веру и приобщение американскому образу жизни, международная система решения споров юридическим путем и безграничная поддержка этнического самоопределения — во все меньшей степени находят воплощение на практике. На каких же принципах

следует Америке основывать свою внешнюю политику в наступающем столетии? История не предлагает не только путеводителей, но даже более или менее удовлетворительных аналогий. И все же история учит силой примера, а поскольку Америка отправляется в плавание по не нанесенным на карту водам, ей стоило бы сопоставить эпоху, предшествовавшую появлению Вудро Вильсона, и «американский век», чтобы найти подсказки для грядущих десятилетий.

Концепция Ришелье относительно «raison d'etat», иными словами, принцип оправдания интересами данного государства средств, которыми оно пользуется, чтобы обеспечить эти интересы, всегда была отвратительна американцам. Речь идет не о том, чтобы американцы никогда не применяли принцип *raison d'etat*: имеется много примеров, начиная со времен «отцов-основателей», когда проводилась твердая и трезвая политика по отношению к европейским державам в первые десятилетия существования республики, и вплоть до целенаправленного обеспечения западной экспансии, проходившей под лозунгом «судьбоносных проявлений». Но американцы всегда чувствовали себя неловко, открыто признавая наличие у них эгоистических интересов. Воюя в мировых войнах или участвуя в локальных конфликтах, американские руководители всегда заявляли, что сражаются во имя принципа, а не ради собственных интересов.

Для любого, кто изучает европейскую историю, концепция равновесия сил выступает как нечто самоочевидное. Понятие равновесия сил, как, впрочем, и высших интересов государства, первоначально было введено в обиход еще английским королем Вильгельмом III, который пытался обуздать экспансионистские устремления Франции. Следовательно, концепция коалиции более слабых государств, объединяющихся, чтобы стать противовесом более сильному, не является чем-то из ряда вон выходящим. И все же поддержание равновесия сил требует неустанного внимания. В последующем столетии американским руководителям придется сформулировать перед общественностью концепцию национальных интересов и объяснить, как обеспечение национальных интересов — в Европе к Азии — служит поддержанию равновесия сил. Америке потребуются партнеры в деле сохранения равновесия в ряде регионов мира, и этих партнеров не всегда придется выбирать из одних лишь моральных соображений. Потому четкое определение национальных интересов потребуется для того, чтобы существенным образом направлять

американскую политику.

Международная система, просуществовавшая самый длительный срок без большой войны, была та, что возникла на Венском конгрессе. Она сочетала в себе легитимность и равновесие сил, общность ценностей и дипломатию по контролю за соотношением сил. Общность ценностей ограничивала объем требований со стороны отдельных наций, а равновесие сил ставило предел возможностям нажима. В XX веке Америка дважды пыталась создать мировой порядок, почти исключительно основывающийся на ее ценностях. Эти попытки представляют собой героические усилия, в ряде случаев увенчавшиеся успехом. Но вильсонизм не может являться единственной основой в эпоху после окончания «холодной войны».

Рост демократии продолжает оставаться одним из главных чаяний Америки, однако необходимо смотреть в лицо препятствиям, появившимся как раз в момент кажущегося философского триумфа. Сокращение власти центрального правительства являлось главной заботой западных политических теоретиков, в то время как во многих других обществах политическая теория была направлена на укрепление авторитета государства. Нигде не было столь настоятельного требования расширения личных свобод. Эволюция западной демократии привела к созданию гомогенных обществ с продолжительной общей историей (даже Америка, со своим многоязычным населением, создала мощнейшее культурное единство). Общество и, в каком-то смысле, нация предшествовали государству и не нуждались в том, чтобы оно их создало. В подобном обрамлении политические партии представляют собой вариации изначального консенсуса; сегодняшнее меньшинство — это потенциально завтрашнее большинство.

Во многих других частях света государство предшествовало нации; оно было и часто остается главнейшим элементом ее формирования. Политические партии, там, где они существуют, отражают жесткое, как правило, общинное единение; принадлежность к меньшинству или большинству обычно носит постоянный характер. В такого рода обществах политический процесс сводится к вопросу господства, а не к смене пребывания у власти, которая, если вообще имеет место, то скорее посредством неконституционных переворотов. Концепция лояльной оппозиции — сущность современной демократии — редко имеет место. Гораздо чаще оппозиция рассматривается как угроза национальному единству, приравнивается к измене и

появиться угрожающий разрыв в области американской политики между заявленными претензиями и готовностью их подкрепить делом; практически неизбежное разочарование очень легко превратить в оправдание полного самоустранения от международных дел.

В мире по окончании «холодной войны» американскому идеализму потребуется закваска в виде геополитического анализа, чтобы пробиться через толщу новых сложностей. Это будет нелегко. Америка отказалась господствовать над миром, когда обладала ядерной монополией, и с пренебрежением относилась к понятию равновесия сил даже тогда, когда вела, как, например, в период «холодной войны», дипломатию с учетом сфер национальных интересов. В XXI веке, однако, Америке, как и прочим нациям, придется научиться лавировать между жестокой необходимостью и гибкостью выбора, между неизменными принципами международных отношений и элементами, сохраняемыми государственными деятелями в тайне.

А когда установлен баланс между ценностями и необходимостью, внешнеполитическая деятельность должна начинаться с какого-либо определения того, что есть для страны важные интересы, — перемена международной обстановки, случается, до такой степени способна подорвать национальную безопасность, что этой перемене нужно противодействовать независимо от ее характера или видимой ее законности. Будучи в зените своего могущества, Великобритания готова была начать войну, лишь бы предотвратить оккупацию нидерландских портов в Па-де-Кале, хотя бы даже их забрала себе великая держава, во главе которой стояли бы святые. На протяжении значительного отрезка американской истории «доктрина Монро» служила оперативным определением американских национальных интересов. С момента вступления Вудро Вильсона в первую мировую войну Америка избегала определения конкретных национальных интересов и ограничивалась заявлением о том, что она не против изменений как таковых, но возражает лишь против применения силы для осуществления подобных изменений. Ни одно из этих положений более не соответствует реальности; «доктрина Монро» чересчур ограничительна по сути, вильсоnianство носит слишком зыбкий и чрезмерно легистский характер.

Противоречивые споры, сопровождавшие почти все американские военные акции в период по окончании «холодной войны», демонстрируют отсутствие до сих пор более широкого консенсуса по поводу того, где Америке следует переступить черту.

Обеспечить такой консенсус — крупномасштабная задача американского руководства.

Геополитически Америка представляет собою остров между берегами гигантской Евразии, чьи ресурсы и население в огромной степени превосходят имеющееся у Соединенных Штатов. Господство какой-либо одной державы над любым из составляющих Евразию континентов: Европой или Азией — все еще остается критерием стратегической опасности для Америки независимо от наличия или отсутствия «холодной войны». Ибо такого рода перегруппировка стран способна превзойти Америку в экономическом, а в конечном счете и в военном отношении. Опасности этой придется противодействовать, даже если господствующая держава будет по отношению к Америке настроена благожелательно, ибо стоит ее намерениям перемениться, как Америка окажется лишенной значительной части возможностей, обеспечивающих эффективное сопротивление, и во все большей степени начнет утрачивать возможности оказывать решающее воздействие на события.

Америка оказалась вовлечена в «холодную войну» из-за угрозы советского экспансионизма и возлагает многие из собственных надежд по окончании «холодной войны» на факт исчезновения коммунистической угрозы. Точно так же, как отношение Америки к враждебности со стороны Советского Союза сформировало отношение Америки к глобальному порядку — с точки зрения сдерживания, — реформа в России является определяющим фактором американского мышления в отношении мирового порядка после окончания «холодной войны». Американская политика базируется на предположении, что мир может быть обеспечен Россией, закаляющейся в горниле демократии и концентрирующей свою энергию на создании рыночной экономики. В свете этого главной задачей Америки принято считать содействие становлению российских реформ с применением мер, позаимствованных из опыта осуществления «плана Маршалла», а не из традиционных арсеналов внешней политики.

Ни на какую другую страну американская -политика не была ориентирована столь целенаправленно, исходя из оценки ее намерений, а не потенциала или даже политики. Франклин Рузвельт возлагал свои надежды на мирную послевоенную действительность, в значительной степени рассчитывая на сдержанность Сталина. Во времена «холодной войны» оперативная американская стратегия — «сдерживание» — имела своей объявленной целью перемену советских намерений, и дебаты в связи с

этой стратегией сводились в основном к тому, произошла ли уже эта перемена. Из числа американских послевоенных президентов только Никсон постоянно видел в Советском Союзе геополитический вызов и действовал соответственно. Даже Рейган в огромной степени полагался на обращение советских руководителей на путь истинный. Неудивительно, что после краха коммунизма решили было, что враждебные намерения исчезли, а поскольку вильсонские традиции отвергают сам факт наличия конфликтных интересов, американская политика по окончании «холодной войны» велась так, словно традиционные внешнеполитические соображения потеряли силу.

Те, кто изучает геополитику и историю, чувствуют себя неловко перед лицом столь прямолинейного подхода. Они опасаются того, что, переоценивая способности Соединенных Штатов формировать облик внутренней эволюции России, Америка может безо всякой нужды вовлечь себя во внутрироссийские споры, породить ретроградный всплеск национализма и оставить без внимания обычные внешнеполитические задачи. Эти специалисты поддержали бы такую политику, которая была бы направлена на трансформацию традиционной российской агрессивности, и по этой причине благоприятно бы отнеслись к оказанию России экономической помощи и осуществлению совместных с Россией проектов глобального характера. Но, однако, они заявили бы, что Россия, независимо от того, кто ею правит, располагается на территории, которую Хэлфорд Макиндер назвал «геополитической сердцевиной», и является наследницей одной из самых могучих имперских традиций[1056]. Даже если заранее постулированным моральным преобразованиям суждено сбыться, они займут время, а за этот промежуток Америке следует повысить ставки.

Не стоит Америке также ждать, что результаты ее помощи России будут сопоставимы с результатами от осуществления «плана Маршалла». Западная Европа в период, следовавший непосредственно за окончанием второй мировой войны, обладала функционирующей рыночной системой, разветвленным бюрократическим аппаратом и, в большинстве стран, демократической традицией. Западная Европа была привязана к Америке наличием военной и идеологической угрозы со стороны Советского Союза. Прикрытая щитом Атлантического союза, экономическая реформа заставила выйти на поверхность подспудную геополитическую реальность; «план

Маршалла» позволил Европе вновь обрести традиционную систему внутреннего управления.

Сопоставимых условий в России по окончании «холодной войны» просто не существует. Уменьшение страданий и содействие экономической реформе являются важными инструментами американской внешней политики; они, однако, не подменяют серьезных усилий по сохранению мирового равновесия сил применительно к стране с длительной историей экспансионизма.

В момент написания книги обширная Российская империя, создавшаяся на протяжении двух столетий, находится в состоянии распада — почти так же, как это было в период с 1917 по 1923 год, когда она кое-как оправилась, не прерывая своего традиционного экспансионистского ритма. Управлять в условиях упадка дряхлеющей империей — одна из самых трудоемких задач дипломатии. Дипломатия XIX века замедлила процесс расползания Оттоманской империи и предотвратила перерождение его во всеобщую войну; дипломатия XX столетия оказалась неспособной сдержать последствия развала Австро-Венгерской империи. Рушащиеся империи создают два типа напряженности: одну вызывают попытки соседей воспользоваться слабостью имперского центра, а другую — усилия приходящей в упадок империи восстановить свою власть на периферии.

Оба процесса протекают одновременно в государствах — преемниках бывшего Советского Союза. Иран и Турция стремятся повысить свою роль в среднеазиатских республиках, где население в основном мусульманское. Но основным геополитическим прорывом является попытка России восстановить свое преобладание на всех территориях, прежде контролируемых Москвой. Во имя сохранения мира Россия стремится к восстановлению в любой форме русской опеки, а Соединенные Штаты, концентрируя свое внимание на доброй воле «реформаторского» правительства и не желая заниматься геополитическими вопросами, молчаливо с этим соглашаются. Они почти ничего не сделали, чтобы обеспечить государствам-преемникам — за исключением балтийских государств — международное признание. Визиты в эти страны со стороны высших американских официальных лиц довольно немногочисленны и редки; помощь минимальна. Действия российских войск на их территории, или даже просто их присутствие, редко оспаривается. Москва рассматривается де-факто как имперский центр, точно так же,

как она сама трактует себя.

Отчасти это происходит потому, что Америка воспринимает антикоммунистическую и антиимпериалистическую революции, происходящие на земле бывшей Советской империи, как если бы они представляли собой единый феномен. На деле они действуют в противоположных направлениях. Антикоммунистическая революция получает значительную поддержку на всей территории бывшего Советского Союза. Антиимпериалистическая революция, направленная против господства России, весьма популярна в новых нерусских республиках и исключительно непопулярна в Российской Федерации. Ибо российские группировки, стоящие у власти, исторически трактуют свое государство в масштабах «цивилизаторской» миссии (см. гл. 7 и 8); подавляющее большинство ведущих фигур в России, независимо от их политических убеждений, отказываются признать крах Советской империи или легитимность государств-преемников, особенно Украины, колыбели русского православия. Даже Александр Солженицын, когда пишет об освобождении России от дьявольского порождения в лице не желающих в ней оставаться инородцев, настаивает, что под началом Москвы должны оставаться Украина, Белоруссия и населенная славянами почти половина Казахстана[1057], вместе составляющие около 90% прежней империи. На территории бывшего Советского Союза не каждый антикоммунист — демократ и не каждый демократ отвергает русский империализм.

Реалистическая политика будет исходить из того факта, что даже реформаторское российское правительство Бориса Ельцина сохраняет российские войска на территории большинства советских республик, ныне членов Организации Объединенных Наций, часто против конкретно выраженной воли их правительств. Эти вооруженные силы участвовали в гражданских войнах в ряде этих республик. Министр иностранных дел России неоднократно выдвигал концепцию российской монополии на миротворческую деятельность в «ближнем зарубежье», что неотличимо от попыток восстановить господство Москвы. На долгосрочные перспективы мира окажут влияние российские реформы, но краткосрочные перспективы будут зависеть от того, можно ли будет убедить российские войска оставаться дома. Если они вновь появятся вдоль границ прежней империи в Европе и на Среднем Востоке, историческая напряженность — сопровождаемая страхом и взаимными подозрениями — между Россией и ее соседями обязательно возникнет вновь (см. гл. 6 и 7).

Россия вынуждена блюсти свои особые интересы, связанные с ее безопасностью в государствах, которые она называет «ближним зарубежьем», — в республиках бывшего Советского Союза — в отличие от земель за пределами прежней империи. Но дело мира во всем мире требует, чтобы эти интересы были удовлетворены при отсутствии военного давления или одностороннего военного вмешательства. Ключевой вопрос — считать ли взаимоотношения России с новыми республиками международной проблемой, подчиняющейся общепринятым правилам внешнеполитической деятельности? Или это производное от российской практики одностороннего принятия решений, на которые Америка постарается повлиять, если вообще этого захочет, апеллируя к доброй воле российского руководства? В определенных районах — например, в республиках Средней Азии, которым угрожает исламский фундаментализм, — национальные интересы Соединенных Штатов, возможно, параллельны российским, по крайней мере, в той части, в которой речь идет о сопротивлении иранскому фундаментализму. Сотрудничество в этом плане будет вполне возможно в той мере, в какой оно не будет представлять собой сценария возврата к традиционному российскому империализму.

В момент написания этой книги перспективы демократии в России все еще весьма неопределенны, неясно даже, будет ли уже демократическая Россия проводить политику, совместимую с международной стабильностью. На протяжении всей своей драматической истории Россия, в отличие от всего остального западного мира, маршировала под ритм совершенно иного барабанщика. У нее никогда не было церковной автономии; она пропустила Реформацию, Просвещение, век великих географических открытий и создание современной рыночной экономики. Лидеров, обладающих демократическим опытом, очень мало. Почти все российские лидеры — точно так же, как и в новых республиках, — занимали высокие посты при коммунизме; преданность плюрализму не является их первейшим инстинктом, а может оказаться, и вообще им не свойствен.

Более того, переход от централизованного планирования к рыночной экономике оказался болезненным, где бы он ни предпринимался. Управленческий аппарат не имеет опыта рыночной деятельности и использования факторов стимулирования; рабочие растеряли мотивацию; министры никогда не задумывались относительно фискальной политики. Стагнация, даже упадок почти неизбежны. Ни одной из

централизованно планируемых экономик еще не удавалось обойтись без болезненных лишений на пути к рыночной экономике, причем проблема усугубляется попыткой совершить переход разом, одним махом, в соответствии с рекомендациями множества американских советников-экспертов. Неудовлетворенность социально-экономической ценой переходного периода позволила коммунистам добиться существенных успехов в посткоммунистической Польше, Словакии и Венгрии. На российских парламентских выборах в декабре 1993 года коммунистические и националистические партии совместно получили почти 50% голосов.

Даже искренние реформаторы могут увидеть в традиционном русском национализме объединяющую силу для достижения своих целей. А в России национализм исторически носит миссионерский и имперский характер. Психологи могут спорить, является ли причиной этому глубоко укоренившееся чувство неуверенности или природная агрессивность. Для жертв русской экспансии различие носит чисто академический характер. В России демократизация и сдержанная внешняя политика не обязательно идут рука об руку. Вот почему утверждение, будто бы мир в первую очередь может быть обеспечен внутренними российскими реформами, находит мало приверженцев в Восточной Европе, скандинавских странах или в Китае, и именно поэтому Польша, Чешская республика, Словакия и Венгрия так стремятся войти в Атлантический союз.

Курс, принимаемый с учетом внешнеполитических соображений, будет нацелен на создание противовеса предсказуемым тенденциям, а не на полнейшую зависимость от исхода внутренних реформ. Поддерживая российский свободный рынок и российскую демократию, этот курс должен одновременно ставить препятствия российскому экспансионизму. Можно даже на деле утверждать, что реформы только укрепятся, если дать России стимул сосредоточиться — впервые за всю свою историю — на развитии собственной национальной территории, которая, простираясь через одиннадцать часовых поясов от Санкт-Петербурга до Владивостока, не дает повода для появления клаустрофобии.

В период по окончании «холодной войны» американская политика по отношению к посткоммунистической России делает безоговорочную ставку на конкретных лидеров. Во времена администрации Буша это Михаил Горбачев, а при Клинтоне — Борис Ельцин. Оба благодаря будто бы заведомой личной преданности демократии

рассматривались как гаранты миролюбия российской внешней политики и российской интеграции в международном сообществе. Буш с сожалением отнесся к распаду горбачевского СССР, а Клинтон смирился с попытками восстановить прежнюю сферу российского влияния. Американские руководители не желают традиционно дипломатически тормозить российскую политику из опасения спровоцировать предполагаемых националистических оппонентов Ельцина (а до этого Горбачева).

Российско-американским отношениям отчаянно необходим серьезный диалог на внешнеполитические темы. России лучше не станет от того, что ее будут рассматривать как обладающую иммунитетом применительно к нормальным внешнеполитическим соображениям, ибо практическим результатом этого явится более тяжкая плата за то, что она окажется безвозвратно увлечена неверным курсом. Американские руководители не должны бояться откровенных дискуссий на тему, в чем американские и российские интересы совпадают, а в чем разнятся. Ветераны российских внутренних битв — не краснеющие от смущения новички, чья уверенность в себе пошатнется от реалистичного диалога. Они вполне способны постигнуть, что такое политика, основывающаяся на взаимном уважении национальных интересов друг друга. На деле они поймут такого рода расчеты гораздо лучше, чем призывы к абстрактному и далекому от жизни утопизму.

Превращение России в неотъемлемую часть международной системы является ключевой задачей нарождающегося международного порядка. Здесь есть два компонента, которые нужно поддерживать в равновесии: оказание поддержки позитивным российским внешнеполитическим стимулам и ограничение российских эгоистических расчетов. Щедрое экономическое содействие и технические консультации необходимы для облегчения тягот переходного периода, и Россию должны охотно принимать в состав институтов, способствующих экономическому, культурному и политическому сотрудничеству, — таких, как Европейское совещание по безопасности. Но российским реформам поставят преграду, а не окажут помощь, если без внимания будет оставлено возрождение российских исторических имперских претензий. Независимость новых республик, в конце концов признанных Организацией Объединенных Наций, не должна молчаливо принижаться согласием с действиями военного характера, производимыми Россией на их земле.

Американская политика по отношению к России должна отвечать интересам

постоянного характера, а не подстраиваться под колебания российского внутреннего курса. Если американская внешняя политика сделает своим главным приоритетом российскую внутреннюю политику, то она станет жертвой сил, по сути дела, ей не подконтрольных, и лишится всех объективных критериев суждения. Должна ли внешняя политика подгоняться под любое мельчайшее движение революционного по сути процесса? Отвернется ли Америка от России, если там произойдут какие-либо внутренние перемены, которых она не одобрит? Могут ли Соединенные Штаты позволить себе попытаться одновременно отмежеваться от России и Китая и воссоздать во имя внутривосточных предпочтений китайско-советский альянс? Менее назойливая политика по отношению к России в нынешнее время позволит позднее проводить более постоянный по содержанию долгосрочный курс.

Приверженцы того, что я определил в главе 28 как «психиатрическая» школа внешней политики, наверняка отвергнут подобную аргументацию как «пессимистическую». Они заявят, что, в конце концов, Германия и Япония переменили свой характер, так почему бы не Россия? Но верно и то, что демократическая Германия переменилась в противоположном направлении в 30-е годы, и те, кто полагался на ее намерения, внезапно столкнулись лицом к лицу с ее возможностями.

Государственный деятель всегда может уйти от стоящей перед ним дилеммы, делая наиболее благоприятные предположения на будущее; одним из испытаний для него является способность защитить себя от неблагоприятных, и даже непредвиденных, обстоятельств. Новое российское руководство вправе рассчитывать на понимание трудности преодоления последствий семидесятилетнего негодного коммунистического правления. Но оно не вправе рассчитывать, что ему позволят прибрать к рукам сферу влияния, созданную за триста лет царями и комиссарами вокруг обширных границ России. Если Россия хочет стать серьезным партнером в строительстве нового мирового порядка, она должна быть готова к дисциплинирующим требованиям по сохранению стабильности, а также к получению выгод от их соблюдения.

Ближе всего подошла к принятию общепризнанного определения жизненно важных интересов американская политика в отношении своих союзников в районе Атлантики. Хотя Организация Северо-Атлантического пакта обычно описывалась при помощи

вильсонской терминологии, как инструмент коллективной безопасности, а не союз, и тем оправдывалось ее существование, на самом деле она представляла собой институт, где в наибольшей степени соблюдалась гармония между американскими моральными и геополитическими целями (см. гл. 16). Поскольку ее целью было предотвращение советского господства над Европой, она отвечала геополитической задаче — не допустить, чтобы силовые центры Европы и Азии попали под власть враждебной страны, независимо от юридического этому оправдания.

Создатели Атлантического союза не поверили бы своим ушам, если бы им заявили, что победа в «холодной войне» пробудит сомнения относительно будущего этого их творения. Они считали само собой разумеющимся, что наградой за победу в «холодной войне» явится нерушимое атлантическое партнерство. Во имя этой цели затевались и выигрывались многие из решающих политических сражений «холодной войны». В процессе этого Америка оказалась привязанной к Европе при помощи постоянных консультативных институтов и системы объединенного военного командования — структуры, по объему и продолжительности существования уникальной в истории коалиций. То, что стало называться «атлантическим сообществом», — ностальгический термин, ставший гораздо менее модным по окончании «холодной войны», — превращалось в нечто, не отвечающее духу времени после крушения коммунизма. Понижать уровень отношений с Европой явилось признаком хорошего тона. Упор на расширение распространения демократии — не важно где — привел к тому, что Америка, похоже, стала обращать меньше внимания на общества, имеющие сходные с ней институты и с которыми она разделяет общность подхода к правам человека и прочим фундаментальным ценностям, чем на другие регионы мира. Основатели атлантической общности: Трумэн, Ачесон, Маршалл и Эйзенхауэр — разделяли предубеждения многих американцев относительно европейского стиля дипломатии. Но они понимали, что без наличия связей с атлантическими странами Америка окажется в мире наций, с которыми — за исключением Западного полушария — у нее почти не будет моральной общности. При данных обстоятельствах Америка будет вынуждена проводить «Realpolitik» в чистом виде, что по сути несовместимо с американской традицией.

Отчасти подобное ослабление внимания объясняется тем, что, будучи наиболее жизненно важной частью американской политики, НАТО, стал само собой

разумеющейся частью международной обстановки. Но, возможно, гораздо более важным фактором является тот, что поколение американских руководителей, обретшее известность за последние полтора десятилетия, происходит в основном с Юга или Запада, где у людей меньше эмоциональных и личных связей с Европой, чем у жителей старого Северо-Востока. Более того, американские либералы — знаменосцы вильсонианства — часто чувствовали, что над ними берут верх их демократические союзники, которые скорее следуют принципам национальных интересов, чем придерживаются понятия коллективной безопасности или полагаются на международное право; они ссылаются на Боснию и Ближний Восток как на примеры невозможности договориться, несмотря на наличие общности ценностей. В то же время изоляционистское крыло американского консерватизма — еще одно обличье приверженцев принципа исключительности — подвергается искушениям повернуться спиной к тому, что их раздражает, то есть к европейскому макиавеллистскому релятивизму и эгоцентризму.

Разногласия с Европой похожи на домашние неурядицы. Однако со стороны Европы реальное содействие в решении ключевых вопросов всегда много значительнее, чем со стороны любого другого района земного шара. Честно говоря, следует припомнить, что в Боснии на поле боя находились французские и английские войска, а американских не было, хотя публичная болтовня создавала совершенно противоположное впечатление. А во время войны в Заливе наиболее значительными неамериканскими контингентами были опять-таки британский и французский. Дважды на памяти одного поколения общие ценности и интересы приводили американские войска в Европу. В мире по окончании «холодной войны» Европа, возможно, уже не способна сплотиться вокруг новой атлантической политики, но Америка в долгу перед самой собой и не имеет права отказаться от политики трех поколений в час победы. Задача, стоящая перед Атлантическим союзом, заключается в том, чтобы приспособить два основополагающих института, формирующих атлантические отношения, а именно Организацию Северо-Атлантического пакта (НАТО) и Европейский Союз (бывшее Европейское экономическое сообщество) к реалиям мира по окончании «холодной войны».

Организация Северо-Атлантического пакта продолжает оставаться главным организационно-связующим звеном между Америкой и Европой. Когда формировался

НАТО, советские войска стояли на Эльбе в разделенной Германии. Способный, как полагали все, при помощи сил обычного типа пройти через всю Западную Европу, советский военный истеблишмент вскоре заполучил и быстро растущий ядерный арсенал. На протяжении всего периода «холодной войны» безопасность Западной Европы зависела от Соединенных Штатов, и институты НАТО по окончании «холодной войны» все еще отражают подобное состояние дел. Соединенные Штаты контролируют объединенное командование, которое возглавляется американским генералом, и выступают против попыток Франции придать обороне четкий европейский облик.

Движение в направлении европейской интеграции имеет под собою две предпосылки: если бы Европа не перестала говорить и действовать вразнобой, она постепенно сползла бы на обочину мировой политики; разделенную Германию нельзя ставить в такое положение, при котором она будет испытывать искушение лавировать между двумя блоками и играть на противостоящих силах «холодной войны», натравливая их друг на друга. На момент написания этой книги Европейский Союз, первоначально состоявший из шести наций, вырос до двенадцати и находится в процессе расширения, будучи готов принять в свой состав скандинавские страны, Австрию и, в конце концов, часть бывших советских сателлитов.

Основания, на которых покоились оба эти института, оказались поколеблены крахом Советского Союза и объединением Германии. Советская армия более не существует, а российская армия теперь отошла на сотни миль к востоку. В ближайшем будущем внутренние российские потрясения делают нападение на Западную Европу невероятным. В то же время российские тенденции восстановить прежнюю империю пробудили исторические опасения по отношению к русскому экспансионизму, особенно в бывших государствах-сателлитах в Восточной Европе. Ни один из руководителей стран, находящихся в непосредственной близости от России, не разделяет веры Америки в то, что обращение России на путь истинный является ключом к безопасности этой страны. Все предпочитают президента Бориса Ельцина его оппонентам, но лишь как меньшее из двух потенциальных зол, а не как фигуру, которая может покончить с их исторической неуверенностью в собственной безопасности.

Появление объединенной Германии усугубляет эти страхи. Зная, что два

континентальных гиганта исторически либо подминают под себя своих соседей, либо сражаются на их территории, страны, расположенные между ними, опасаются возникающего вакуума безопасности; отсюда их столь интенсивное желание получить защиту Америки, оформляемую членством в НАТО.

Если НАТО испытывает необходимость адаптации к краху советского могущества, перед лицом Европейского Союза встает новая реальность в виде объединенной Германии, существование которой ставит под угрозу молчаливую договоренность, являющуюся стержнем европейской интеграции: признание Федеративной Республикой французского политического лидерства в Европейском сообществе в обмен на решающий голос в экономических вопросах. Федеративная Республика, таким образом, связана с Западом посредством американского лидерства в стратегических вопросах внутри НАТО и французского лидерства в политических вопросах внутри Европейского Союза.

В последующие годы изменятся все традиционные атлантические отношения. Европа не будет, как прежде, ощущать необходимость в американской защите и станет отстаивать собственные экономические интересы гораздо более агрессивно; Америка не захочет идти на значительные жертвы ради европейской безопасности, и перед нею появится искушение изоляционизма в различных обличьях; по ходу дела Германия начнет настаивать на обретении политического влияния, на что ей дает право ее военно-экономическая мощь, и не будет столь эмоционально зависима от американской военной и французской политической поддержки.

Эти тенденции останутся не до конца выявленными, пока у власти будет оставаться Гельмут Коль, наследник аденауэровской традиции (см. гл. 20). И все же он — последний лидер подобного типа. Выходящее на авансцену поколение не имеет личных воспоминаний о войне и о роли Америки в возрождении опустошенной послевоенной Германии. У него нет эмоциональных причин полагаться на наднациональные институты или подчинять собственную точку зрения Америке или Франции.

Величайшим достижением послевоенного поколения американских и европейских руководителей является признание ими того, что если Америка не будет органично связана с Европой, первой придется пойти на вовлеченность в дела второй позднее и при гораздо менее благоприятных обстоятельствах для обеих сторон. Сегодня это

справедливо как никогда. Германия стала до такой степени сильной, что существующие европейские институты не способны сами по себе обеспечить равновесие между Германией и ее европейскими партнерами. Не может и Европа, даже включая Германию, справиться в одиночку как с возрождением, так и с развалом России, причем и то и другое — наиболее угрожающие результаты постсоветских потрясений.

Не в интересах ни одной из стран, чтобы Германия и Россия сконцентрировались друг на друга либо как на главном партнере либо как на главном оппоненте. Если они чересчур сблизятся, то создадут страх перед кондоминиумом; если ссориться, то вовлекут Европу в эскалацию кризисов. У Америки и Европы существует взаимная заинтересованность не допустить, чтобы национальная германская и российская политика бесконтрольно сталкивались в самом центре континента. Без Америки Великобритания и Франция не смогут поддерживать политическое равновесие в Центральной Европе; Германию начнет искушать национализм; России будет не хватать собеседника глобального масштаба. А в отрыве от Европы Америка может превратиться не только психологически, но и географически и геополитически в остров у берегов Евразии.

Порядок, возникший после окончания «холодной войны», ставит перед Северо-Атлантическим союзом три ряда проблем: отношения внутри традиционной структуры союза; отношения атлантических наций с бывшими сателлитами Советского Союза в Восточной Европе; наконец, отношения государств-преемников Советского Союза, особенно Российской Федерации, с североатлантическими нациями и Восточной Европой. Регулирование внутренних противоречий внутри Северо-Атлантического союза проходит под знаком вечной войны между американской и французской точками зрения на атлантические отношения. Америка осуществляет верховенство в НАТО под знаменами интеграции. Франция, выступая за европейскую независимость, формирует облик Европейского союза. Результатом этих разногласий является то, что американская роль в военной области является чересчур доминирующей, чтобы способствовать европейской политической солидарности, в то время как роль Франции в деле европейской политической автономии слишком назойлива, чтобы обеспечить внутреннее единство НАТО.

В интеллектуальном смысле этот спор отражает конфликт между концепциями

Ришелье и идеями Вильсона — между пониманием сущности внешней политики как средства достижения равновесия между различными интересами и пониманием смысла дипломатии как способа утверждения изначальной гармонии. Для Америки объединенное командование НАТО представляет собой выражение союзнического единства; для Франции оно выглядит, как предупреждающий об опасности красный флажок. Американские руководители с огромным трудом пытаются понять, как эта страна может отстаивать право на независимые действия, если Америка вовсе не собирается иметь в своем распоряжении такой вариант, как оставление союзника в беде. Франция же видит в неохотном восприятии Америкой независимой в военном отношении роли Европы скрытую попытку гегемонизма.

На самом деле каждый из партнеров следует концепции международных отношений, усвоенной из собственного исторического опыта. Франция является наследником европейского стиля дипломатии, основоположником которого более трехсот лет назад она же сама и явилась. В то время как Великобритания вынуждена была отказаться от роли стража равновесия сил, Франция, хорошо это или плохо, продолжает отстаивать *raison d'etat* и стоит за четкий расчет этих интересов, а не за стремление достичь абстрактной гармонии. Точно так же убежденно, пусть даже в течение более короткого отрезка времени, Америка претворяла в жизнь вильсонизм. Уверенная в существовании изначальной гармонии, Америка настаивала на том, что, поскольку задачи, стоящие перед Европой и Америкой идентичны, европейская автономия является вещью либо ненужной, либо опасной.

С двумя величайшими европейскими испытаниями современного периода — интеграцией объединенной Германии в систему Запада и отношением Атлантического союза к новой России — нельзя справиться путем буквального применения государственной политики Ришелье или Вильсона. Подход Ришелье поощряет национализм отдельных европейских стран и ведет к фрагментарной Европе. Вильсонизм в чистом виде ослабило бы европейское чувство общности. Попытка построить европейские институты на базе оппозиции Соединенным Штатам в итоге разрушит как европейское единство, так и атлантическую общность. С другой стороны, Соединенным Штатам не следует бояться подчеркнутого европейского единения внутри НАТО, поскольку трудно себе представить автономные европейские военные действия какого бы то ни было масштаба где бы то ни было без

американской политической и материальной поддержки. В конце концов, не объединенное командование обеспечивает единство, а ощущение взаимно разделяемых политических и оборонных интересов. Противоречие между Соединенными Штатами и Францией, между идеалами Вильсона и Ришелье, оказалось в хвосте событий. Как Атлантический союз, так и Европейский Союз являются неотъемлемой составной частью здания нового и стабильного мирового порядка. НАТО — наилучшая защита от военного шантажа, откуда бы он ни исходил; Европейский Союз представляет собой существенно важный механизм обеспечения стабильности в Центральной и Восточной Европе. Оба института необходимы, чтобы приспособить бывших сателлитов Советского Союза и государства-преемники к мирному международному порядку.

Будущее Восточной Европы и государств — преемников Советского Союза не одна и та же проблема. Восточная Европа была оккупирована Красной Армией. Восточная Европа идентифицирует себя, политически и культурно, с западноевропейской традицией. Особенно это относится к странам «Вышеградской группы»: Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Не обладая связями с Западной Европой и атлантическими институтами, эти страны могут стать «ничейной землей» между Германией и Россией. А чтобы эти связи имели осмысленный характер, данная категория стран должна принадлежать как к Европейскому, так и к Атлантическому союзам. Чтобы быть экономически и политически жизнеспособными, они нуждаются в Европейском Союзе; чтобы обеспечить себе безопасность, они обращают взор к Атлантическому союзу. Причем на деле членство в одном из институтов предполагает членство и в другом. Поскольку большинство членов Европейского Союза являются членами НАТО и поскольку невозможно, чтобы они с пренебрежением отнеслись к нападению на одного из них после достижения определенной степени европейской интеграции, членство в Европейском Союзе тем или иным способом приводит к распространению де-факто гарантии со стороны НАТО.

Пока что от этих вопросов уходят, поскольку членство восточноевропейских стран в обоих этих институтах заблокировано. Однако доводы, подкрепляющие оба отказа, столь же различны, сколь велика разница между европейской и американской политическими традициями. Европа приняла решение расширить Европейский Союз на восток, исходя из основополагающих тезисов «Realpolitik»: она признала принцип

и предложила ассоциированное членство восточноевропейским странам при условии реформирования экономик стран Восточной Европы (и по ходу дела ограждая экономику стран Западной Европы от конкуренции на какой-то более продолжительный срок). Это сделает полноправное членство техническим вопросом, который будет решен по прошествии времени.

Американское возражение против членства в НАТО этой категории стран носит принципиальный характер. Возвращаясь к историческим возражениям Вильсона против альянсов, ибо они базируются на ожидании конфронтации, президент Клинтон воспользовался встречей глав государств — членов НАТО в январе 1994 года, чтобы предложить альтернативное воззрение на предмет. Поясняя, почему Соединенные Штаты не поощряют прием в НАТО Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, он в качестве обоснования заявил, что Атлантический союз не может позволить себе «провести новую разграничительную линию между Востоком и Западом, которая сама по себе стала бы предвестником новых конфронтации... Я говорю всем тем в Европе и Соединенных Штатах, кто просто вынуждает нас провести новую разграничительную линию в Европе поближе к востоку, что мы вовсе не должны исключать возможности наилучшего будущего для Европы, в которой демократия и рыночная экономика будет присутствовать везде, как и люди будут сотрудничать везде во имя взаимной безопасности»[1058].

В духе этого президент Клинтон выдвинул схему того, что он назвал «Партнерством во имя мира». Он призвал все государства — преемники Советского Союза и всех бывших восточноевропейских сателлитов Москвы присоединиться к тому, что является неочерченной системой коллективной безопасности. Будучи сплавом вильсонизма и критики со стороны Уоллеса теории «сдерживания», описанной в главе 16, она является воплощением принципов коллективной безопасности и уравнивает жертв советского и российского империализма и тех, кто довлел над ними, дает одинаковый статус среднеазиатским республикам, граничащим с Афганистаном, и Польше, жертве четырех разделов, в которых участвовала Россия. «Партнерство во имя мира» не промежуточная остановка на пути в НАТО, как часто утверждается, искажая суть дела, а альтернатива членству в нем, точно так же как Локарнский договор (см. гл. 11) явился альтернативой британскому союзу с Францией, которого Франция жаждала в 20-е годы.

И все же Локарно показало, что не существует промежуточного пространства между союзом, основанным на единстве целей, и многосторонним институтом, базирующимся не на общности восприятия угрозы, но на выполнении конкретных условий, относящихся к системе внутреннего управления. «Партнерство во имя мира» несет в себе риск создания в Европе двух типов границ: таких, которые защищены гарантиями безопасности, и таких, которым в таких гарантиях отказано, — причем такое состояние дел наверняка явится искушением для потенциальных агрессоров и деморализует потенциальные жертвы. Следует, таким образом, позаботиться о том, чтобы во имя предотвращения конфронтации не была в стратегическом и концептуальном плане создана «ничейная земля» в Восточной и Центральной Европе — источник множества европейских конфликтов.

В рамках международного сообщества окажется невозможным решить, как часть одной проблемы, двойную проблему безопасности в Восточной Европе и интегрирование России в мировое сообщество. Если «Партнерство во имя мира» становится как бы частью НАТО, то оно вполне способно подорвать Атлантический союз путем вовлечения его в побочную деятельность, не относящуюся к его миссии в области практического обеспечения безопасности, увеличит ощущение незащищенности в Восточной Европе и в то же время, будучи в значительной степени двусмысленным по сути, не сможет умиротворить Россию. И действительно, «Партнерство во имя мира» рискует быть воспринято как ненужное, если не опасное потенциальными жертвами агрессии, а в Азии оно может быть истолковано как этнический клуб, направленный в первую очередь против Китая и Японии.

В то же время важно соотнести Россию с атлантическими странами. И потому существует место для института, называющего себя «Партнерством во имя мира», при условии, что он берет на себя миссии, которые все его члены истолковывают в существенной своей части одинаково. Такого рода общность задач существует в области экономического развития, образования и культуры. Сопрежнему по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) могут быть приданы в этих целях расширенные функции, и тогда его и следует переименовать в «Партнерство во имя мира».

В случае осуществления такого рода замысла Атлантический союз будет обеспечивать политическую общность и всеобщую безопасность; Европейский Союз

ускорит членство в нем бывших восточноевропейских сателлитов; а Североатлантический совет по вопросам сотрудничества (НАКК) и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, возможно, переименованное в «Партнерство во имя мира», соотнесут республики бывшего Советского Союза — и особенно Российскую Федерацию — с атлантическими структурами. Зонтик безопасности будет раскрыт и над новыми демократиями Восточной Европы. А если Россия останется в пределах своих границ, то со временем упор с безопасности переместится на партнерство. Общие экономические и политические проекты будут во все большей и большей степени характеризовать отношения между Востоком и Западом.

Будущее Атлантического союза не ограничится одними только отношениями между Востоком и Западом: он сможет стать важнейшим помощником Америке в нахождении своей роли в XXI веке. В момент написания этой книги невозможно предсказать, какие из предположительно поднимающихся сил будут наиболее преобладающими или наиболее угрожающими и в каких сочетаниях: будет ли это Россия, Китай или фундаменталистский ислам. Но способность Америки справиться с любым из этих феноменов эволюции будет подкрепляться сотрудничеством со стороны североатлантических наций. Таким образом, то, что обычно называлось «проблемами, не относящимися к сфере деятельности союза», станет сердцевинной североатлантических взаимоотношений, а сам союз следует с учетом этого реорганизовать.

Растет американская заинтересованность в Азии, символом чего явилось предложение о создании Тихоокеанского сообщества, сделанное Клинтонем на встрече с главами правительств стран Азии в 1993 году. Но термин «сообщество» применим к Азии лишь в весьма ограниченном смысле, ибо отношения в районе Тихого океана фундаментально отличаются от отношений в районе Атлантики. В то время как нации Европы объединены общими институтами, нации Азии рассматривают себя как отличные друг от друга и состязающиеся друг с другом. Отношения основных азиатских наций друг с другом обладают множеством атрибутов европейской системы равновесия сил XIX века. Любое значительное усиление одной из этих наций почти наверняка порождает ответный маневр со стороны других.

Непредсказуемой остается реакция Соединенных Штатов, которые обладают

способностью — но не обязательно убежденностью — действовать в значительной степени точно так же, как действовала Великобритания, поддерживая европейское равновесие сил вплоть до двух мировых войн XX века. Стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие прочного фундамента под столь явственным его процветанием не закон природы, но следствие равновесия сил, на которое необходимо будет обращать все более пристальное и целенаправленное внимание в период по окончании «холодной войны».

Вильсонизм имеет мало последователей в Азии. Отсутствуют претензии по поводу создания системы коллективной безопасности или построения сотрудничества на фундаменте общности внутривосточных ценностей даже со стороны немногих имеющихся там демократических стран. Упор делается на поддержание равновесия сил и обеспечение национальных интересов. Во всех крупных азиатских странах растут военные расходы. Китай уже находится на пути к статусу сверхдержавы. При темпах роста в размере 8 %, что ниже фактического в 80-е годы, показатель валового национального продукта в Китае приблизится к показателю Соединенных Штатов к концу второго десятилетия XXI века. Задолго до этого военно-политическая тень Китая падет на всю Азию и повлияет на расчеты других держав, какой бы сдержанной ни оказалась на деле китайская политика. Прочие азиатские нации, похоже, будут искать противовес все более могущественному Китаю, как они уже это делают применительно к Японии. Хотя страны Юго-Восточной Азии обязательно это заявление дезавуируют, но они уже включают до того наводивший на них ужас Вьетнам в свою группировку (АСЕАН) в основном для того, чтобы уравновесить могущество Китая и Японии. И именно поэтому АСЕАН стремится сохранять вовлеченность Соединенных Штатов в дела этого региона.

Япония непременно приспособится к этим меняющимся обстоятельствам, хотя, следуя национальному стилю, японские руководители произведут перемены посредством цепочки почти неприметных нюансов. Во время «холодной войны» Япония, отказавшись от исторически свойственной для нее опоры на самое себя, наслаждалась покоем под защитой Соединенных Штатов. Преисполненный решимости конкурент в экономическом плане, она оплачивала свободу маневра в экономической области подчинением своей внешней политики и своих мероприятий в области безопасности Вашингтону. Пока Советский Союз мог восприниматься как

главная угроза безопасности обеих стран, имело смысл рассматривать американские и японские национальные интересы, как идентичные.

Такого рода подход вряд ли останется правомерным. В обстановке, когда Корея и Китай набирают военную силу, а наименее ослабленный контингент советских вооруженных сил находится в Сибири, японские специалисты по долгосрочному планированию не будут до бесконечности целиком и полностью априорно отождествлять американские и японские интересы. Каждая новая американская администрация начинает срок своего пребывания у власти заявлением о пересмотре существующей политики (или, по крайней мере, намеком на предстоящие перемены в этой области). Конфронтация по экономическим вопросам становится скорее правилом, чем исключением. В этих условиях трудно утверждать, что американская и японская внешняя политика ни в чем никогда не расходятся. В любом случае перспективы Японии по отношению к материковой Азии отличаются от американских в силу географической близости и исторического опыта. Поэтому японский оборонный бюджет ползет вверх и в итоге стал третьим в мире по размерам, а с учетом внутренних проблем России — вторым по эффективности.

Когда в 1992 году тогдашний японский премьер-министр Киичи Миядзава отвечал на вопрос, согласится ли Япония с наличием у Северной Кореи ядерных возможностей, он с весьма неаппетитной прямотой прибег к одному-единственному слову «нет». Означало ли это, что Япония будет развивать собственные ядерные возможности? Или что она будет стремиться подавить северокорейские? Сам факт, что подобные вопросы задаются, наводит на мысль о том, что Япония, возможно, в какой-то мере освободится от якорей американской системы безопасности и внешней политики.

Гораздо более целенаправленный анализ положения в других крупных державах показал бы, до какой степени переменчивым и даже зыбким может стать соотношение сил в Азии. Политика Соединенных Штатов должна быть достаточно гибкой, чтобы оказывать влияние на все имеющиеся азиатские форумы. В какой-то степени это сейчас и происходит. Вспомогательная роль в АСЕАН (по Юго-Восточной Азии) и крупномасштабное участие в Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АПЕК) уже обеспечены.

Но и границы американского влияния на эти многосторонние институты тоже

очевидны. Предложение Клинтона о большей институционализации тихоокеанского сообщества по европейской модели было воспринято с вежливой остротенностью, в основном потому, что нации Азии не рассматривают себя как сообщество. Они не желают создания институционалистских рамок, которые предоставили бы потенциальным азиатским сверхдержавам — или даже Соединенным Штатам — решающий голос в их делах. Нации Азии открыты обмену идеями с Америкой; они также приветствуют сохранение значительной степени вовлеченности Америки в свои дела, с тем чтобы в экстренных случаях Америка помогла бы ликвидировать угрозу их независимости. Но они слишком подозрительно относятся к могущественным соседям и, в какой-то мере, к самим Соединенным Штатам, чтобы приветствовать создание официальных, охватывающих всю тихоокеанскую зону институтов.

Способность Америки формировать события будет, следовательно, в итоге в первую очередь зависеть от двухсторонних отношений с крупнейшими странами Азии. Вот почему политика Америки по отношению как к Японии, так и к Китаю — на момент написания этой книги сильно погрязшая в противоречиях — приобретает столь критически важное значение. С одной стороны, роль Америки — ключевая в смысле оказания помощи Японии и Китаю сосуществовать, несмотря на взаимные подозрения. В недалеком будущем Япония, которая столкнется с проблемой старения населения и стагнацией экономики, возможно, решит при помощи нажима утвердить свое технологическое и стратегическое превосходство, прежде чем Китай станет сверхдержавой, а Россия восстановит силы. Позднее она может обратиться к великому уравнителю — ядерной технологии.

Применительно к каждой из этих возможностей тесные японо-американские отношения явились бы жизненно важным вкладом в направлении сдержанности со стороны Японии и существенно важным фактором успокоения для других наций Азии. Японская военная мощь, привязанная к американской, беспокоит Китай и прочие нации Азии гораздо меньше, чем чисто национальные японские военные возможности. А Япония решит, что ей требуется меньшая военная мощь, пока существует американская защитная сеть, пусть даже более редкая, чем раньше. Потребуется значительное американское военное присутствие в Северо-Восточной Азии (Япония и Корея). В его отсутствие обязательства Америки играть постоянную роль в Азии лишатся опоры, а Япония и Китай подвергнутся все большему

искушениям следовать национальному политическому курсу, который в итоге может столкнуть не только их, но и находящиеся между ними буферные государства.

Оживление и прояснение японо-американских отношений на базе параллельных геополитических интересов встретит на своем пути немалые препятствия.

Экономические разногласия — вещь уже знакомая; препятствия культурного плана могут оказаться еще более коварными. Наиболее болезненно — а иногда даже безумно-обостренно — они проявляются при сопоставлении различного национального подхода к принятию решений. Америка решает, исходя из конституционных полномочий отдельных лиц: одно из высших должностных лиц, обычно президент, иногда государственный секретарь, избирает предпочтительный курс из набора имеющихся вариантов и делает это более или менее в силу занимаемого положения. Япония действует путем консенсуса. Ни одно отдельно взятое лицо — даже премьер-министр — не обладает полномочиями для принятия решения. Каждый, кто обязан будет выполнять решение, соучаствует в формировании консенсуса, который не считается достигнутым, пока не согласятся все.

Практически это гарантирует, что на встрече между американским президентом и японским премьер-министром существенные разногласия могут усугубляться непониманием. Когда американский президент выражает согласие, он заранее имеет в виду соответствующие действия; когда соглашается японский премьер-министр, он заявляет о своем отношении, что, по сути, означает всего-навсего то, что у него нет возражений по поводу американской позиции, что он ее понимает, а свое согласие передаст на рассмотрение соответствующей группы консенсуса. Он полагает, что это ясно и что собеседник осведомлен, что его полномочия простираются не далее этого. Для того чтобы переговоры относительно будущего Азии прошли с успехом, Америке следует запастись терпением, а Япония должна осознать необходимость осмысленного обсуждения долгосрочной политики, от которой в итоге зависит будущее сотрудничества.

Любопытно, что прочность японо-американских отношений явится обратной стороной китайско-американских отношений. Несмотря на значительную близость к китайской культуре, Япония всегда разрывалась между восхищением и страхом, между желанием дружить и стремлением господствовать. Китайско-американская напряженность создаст для Японии искушение отойти от Соединенных Штатов в

попытке если не усилить собственное влияние в Китае, то, по крайней мере, не ослабить его чересчур рьяным следованием Соединенным Штатам. Одновременно чисто национальный подход со стороны Японии рискует быть истолкован в Пекине как проявление японского стремления к преобладанию. Хорошие американские отношения с Китаем являются, таким образом, предпосылкой прочного союза с Японией, а также способствуют улучшению китайско-японских отношений. В этом треугольнике исчезновение каждой из сторон сопряжено с огромным риском. Он также чреват двусмысленностями, в обстановке которых Соединенные Штаты чувствуют себя неуютно, поскольку это противоречит американской тенденции навешивать на нации ярлыки либо друга, либо врага.,

Из всех великих и потенциально великих держав Китай в наибольшей степени находится на подъеме. Соединенные Штаты уже достигли могущества, Европе следует потрудиться, чтобы выковать прочное единство, Россия — это спотыкающийся гигант, а Япония богата, но пока что робка. Китай, однако, обладая ежегодными темпами экономического роста, приближающимися к десяти процентам, сильным чувством национального единства и еще более могучими военными мускулами, демонстрирует гораздо больший относительный рост статуса среди великих держав. В 1943 году Рузвельт представлял себе Китай одним из «четырёх полицейских», но Китай вскоре после этого погряз в пучине гражданской войны. Появившийся в результате этого маоистский Китай намеревался стать независимой великой державой, но отбрасывался назад, сдерживаемый идеологическими шорами. Избавившись от идеологического фанатизма, китайские руководители-реформаторы стали отстаивать свои национальные интересы умело и решительно. Политика конфронтации с Китаем несла в себе риск изоляции Америки в Азии. Ни одна азиатская страна не захотела бы — и не смогла бы себе позволить — опираться на Америку в любом политическом конфликте с Китаем, считая этот конфликт результатом неверной политики Соединенных Штатов. При подобных обстоятельствах подавляющее большинство азиатских наций в большей или меньшей степени отъединилось бы от Америки, как бы им внутренне это ни было антипатично. Ибо почти каждая из стран смотрит на Америку в надежде создания ею стабильной, долгосрочной конструкции, интегрирующей как Китай, так и Японию, — а такого рода вариант исключается применительно к обеим странам при наличии китайско-

американского конфликта.

Будучи страной с наиболее продолжительной историей ведения независимой внешней политики и традицией основывать свою внешнюю политику на принципах национальных интересов, Китай приветствует вовлечение Америки в дела Азии в качестве противовеса внушающим опасность соседям — Японии и России, а также — в меньшей степени — Индии. И все же американская политика, ставящая перед собой цель обеспечить дружественное отношение одновременно с Пекином и со странами, воспринимаемыми Пекином как потенциально опасные для Китая, — что и представляет собою правильный подход со стороны США — требует проведения продуманного и регулярного диалога между Вашингтоном и Пекином.

В течение четырех лет после событий на площади Тяньаньмынь в 1989 году на этот диалог легла тень американского отказа осуществлять контакты на высоком уровне — такую меру никогда не применяли по отношению к Советскому Союзу даже в разгар «холодной войны». В центре китайско-американских отношений оказался вопрос прав человека.

Администрация Клинтона мудро восстановила контакты на высоком уровне; будущее китайско-американских отношений отныне существенным образом зависит от содержания подобных обменов. Ясно, что Соединенные Штаты не могут отказаться от традиционной озабоченности проблемами прав человека и демократических ценностей. Вопрос заключается не в том, будет ли Америка защищать эти ценности, а в том, в какой степени будут им подчинены все аспекты китайско-американских отношений. Китай считает для себя унижительным намек на то, что китайско-американские отношения базируются не на взаимном совпадении интересов, но на любезности со стороны Америки, которая может быть то проявлена, то отозвана по усмотрению Вашингтона. Такого рода отношение делает Америку как ненадежной, так и назойливой, а то и другое — весьма крупные пороки на взгляд китайцев. У Китая, страны, исторически господствовавшей в своем регионе, точнее, в известном ей мире, любая попытка навязать со стороны свои институты и внутреннюю политику вызовет глубочайшее отвращение. Эта чувствительность в целом усугубляется китайским представлением о роли Запада в его истории. Со времен опиумных войн начала девятнадцатого столетия, принудительно открывших страну для иностранцев, Запад рассматривался китайцами как источник бесконечной серии унижений.

Равенство статуса, настоятельная жесткость политики неподчинения иностранным предписаниям является для китайских руководителей не элементом тактики, но моральным императивом.

То, что Китай жаждет получить от Соединенных Штатов, — это стратегические взаимоотношения, уравнивающие силы соседей, которых он считает одновременно могущественными и завистливыми; Чтобы достичь подобного уровня координации внешней политики, Китай готов пойти на уступки в области прав человека, но при условии, что они будут обставлены так, словно проистекают из его свободного выбора. Однако настойчивость Америки в отношении публично предписываемых условий воспринимается в Китае и как попытка преобразовать его общество по мерке американских ценностей — и, следовательно, унижение, — и как отсутствие серьезности со стороны Америки. Ибо это будто бы предполагает, что у Америки отсутствуют национальные интересы применительно к сохранению равновесия сил в Азии. Но если на Америку в этом смысле нельзя рассчитывать, то Китай не будет заинтересован делать ей уступки. Ключом к китайско-американским отношениям — парадоксально, но даже по вопросам прав человека — является молчаливое сотрудничество по вопросам глобальной, особенно азиатской, стратегии.

Применительно к Европе Америка имеет общие с нею ценности, но до сих пор оказалась неспособна разработать общую с ней политику или соответствующие институты на период после окончания «холодной войны»; применительно к Азии Америка в состоянии определить желаемую общую стратегию, но не общность ценностей. Однако совершенно неожиданно в Западном полушарии прорисовывается совпадение моральных и геополитических целей, слияние принципов вильсонизма и «Realpolitik».

На ранних этапах политика Соединенных Штатов в Западном полушарии представляла собой, по сути, пример интервенционизма великой державы. Провозглашенная в 1933 году Франклином Рузвельтом «политика доброго соседа» ознаменовала поворот в сторону сотрудничества. «Договор Рио» 1947 года и «Боготинский пакт» 1948 года до известной степени укрепили безопасность, институтом которой стала Организация американских государств. Объявленный президентом Кеннеди в 1961 году «Союз ради прогресса» привнес элемент помощи иностранным государствам и экономического сотрудничества, хотя эта дальновидная

политика была обречена из-за пассивной ориентации реципиентов.

Во времена «холодной войны» большинство наций Латинской Америки управлялось авторитарными, в основном военными, правительствами, приверженными принципу государственного контроля над экономикой. Но с середины 80-х годов, Латинская Америка вышла из экономического паралича и с похвальным единодушием двинулась к демократии и рыночной экономике. В Бразилии, Аргентине и Чили военных сменили демократические правительства. В Центральной Америке покончили с гражданскими войнами. Обанкротившаяся из-за бездумного заимствования, Латинская Америка подчинила себя финансовой дисциплине. Почти везде находящаяся под контролем государства экономика постепенно поддалась воздействию рыночных сил.

«Предприятие американской инициативы», провозглашенное Бушем в 1990 году, и битва за Североамериканское соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой, успешно завершённая Клинтоном в 1993 году, знаменуют собой самую новаторскую за всю историю американскую политику по отношению к Латинской Америке. После ряда взлетов и падений Западное полушарие, похоже, вот-вот станет ключевым элементом нового и гуманного глобального порядка. Группировка демократических наций заявила о своей преданности делу народного правления, рыночной экономики и свободы торговли на всем пространстве полушария. Единственной марксистской диктатурой, все еще остающейся в Западном полушарии, является Куба; во всех остальных местах националистические, протекционистские методы управления экономикой заменяются экономикой свободной, гостеприимно относящейся к иностранным капиталовложениям и оказывающей поддержку открытым международным системам торговли. С упором на взаимность обязательств и совместные действия, окончательной и возвышенной целью является создание пространства свободной торговли от Аляски до мыса Горн — подобная концепция еще совсем недавно была бы сочтена безнадежно утопичной.

Система свободной торговли, охватывающая все Западное полушарие, первым шагом к созданию которой послужило Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), придаст обеим Америкам командную роль независимо ни от чего. Если на деле будут реализованы принципы Уругвайского раунда Генерального соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ), по которым велись переговоры в 1993

году, Западное полушарие станет могучей составляющей глобального экономического роста. Если будут преобладать дискриминационные региональные группировки, Западное полушарие с его обширным рынком будет в состоянии успешно конкурировать с прочими региональными торговыми блоками; на деле НАФТА является наиболее эффективным средством предотвратить подобное состязание или выстоять в нем, коль скоро оно проявится. Предлагая ассоциированное членство нациям, находящимся за пределами Западного полушария, если те готовы соблюдать его принципы, НАФТА в расширенном составе способен создать стимулы следованию свободной торговле и применять санкции по отношению к странам, настаивающим на более ограничительных правилах. В мире, где Америка зачастую вынуждена изыскивать равновесие между своими ценностями и практическими нуждами, она обнаружила, что американские идеалы и геополитические задачи в значительной степени восторжествовали в Западном полушарии, где зародились ее чаяния и где проявились ее первые крупные внешнеполитические инициативы.

Посвятив себя в третий раз за нынешнее столетие созданию нового мирового порядка, Америка встала перед основной своей задачей — найти равновесие между двумя искушениями, одновременно являющимися составной частью ее исключительности: понятием, будто бы Америка должна устранять любое зло и стабилизировать любое нарушение равновесия, и врожденным инстинктом замыкаться в себе. Безграничное вовлечение во все этнические беспорядки и гражданские войны в период по окончании «холодной войны» истощит вставшую на путь крестового похода Америку, а Америка, ограничивающаяся совершенствованием своих собственных добродетелей, в конце концов подчинит свою безопасность и процветание решениям, принимаемым иными сообществами в отдалении от нее, над которыми Америка постепенно потеряет контроль.

Когда в 1821 году Джон Квинси Адаме предостерегал Америку от схваток с чудовищами в дальних странах, он даже не мог себе представить, какое количество гигантских чудовищ разведется в нашем мире, мире по окончании «холодной войны». Не всякое зло может быть поражено Америкой, тем более в одиночку. Но некоторые из чудовищ должны быть если не поражены, то по меньшей мере отражены. И здесь более всего требуется критерий отбора.

Американские руководители обычно отдавали предпочтение мотивации, а не

структурным факторам. Им было важнее воздействовать на поведение, чем на расчеты своих оппонентов. В результате этого американское общество отличается весьма двойственным отношением к урокам истории. Американские фильмы часто изображают (иногда весьма назойливо), как какое-либо драматическое событие делает из злодея образчик добродетелей — это представляет собой отражение преобладающего у нации мнения, будто прошлое не играет определяющей роли и всегда можно начать сначала. В реальном мире такого рода превращения редко можно встретить у отдельных людей, а еще реже среди наций, которые представляют собой множество личностных выборов.

Абстрагирование от истории выводит на авансцену прославляемый образ универсального человека, живущего по универсальным законам и не зависящего от прошлого, от географии или от прочих непреложных обстоятельств. А поскольку американская традиция скорее делает упор на универсальные истины, а не на национальные характеристики, американские политики обычно предпочитают многосторонний подход национальному: проблемы разоружения, нераспространения ядерного оружия и прав человека берут верх над сугубо национальными, геополитическими или стратегическими задачами.

Американское нежелание связывать себя историей и настоятельное утверждение возможности перерождения отражают гигантское достоинство и даже красоту американского образа жизни. Страх нации перед тем, что, одержимые историей, сами напророчат себе то, чего они боятся, опирается на великую народную мудрость. И все же изречение Сантаяны, гласящее, что тот, кто пренебрегает историей, обречен ее повторять, может быть подкреплено еще большим числом примеров.

Страна идеалистических традиций, подобная Америке, не может основывать свою политику на принципе равновесия сил как на единственном критерии нового мирового порядка. Но ей надлежит усвоить, что наличие равновесия является основополагающей предпосылкой достижения исторических целей. И эти цели более высокого порядка не могут быть достигнуты риторикой или бездоказательным постулированием. Рождающаяся международная система намного сложнее любой из тех, с которыми прежде сталкивалась американская дипломатия. Внешняя политика должна проволиться такой политической системой, которая обращает внимание на сиюминутное и обеспечивает ряд стимулов на продолжительный срок. Ее

руководители вынуждены иметь дело с обстоятельствами, предопределяющими тенденцию получения информации посредством визуальных образов. Все это придает особую значимость эмоциональному характеру восприятия событий и настроений момента, ибо время требует переосмысления приоритетов и анализа собственных возможностей.

По правде говоря, «Realpolitik» — это не панацея. Равновесие сил достигло зенита за сорок лет, прошедших после наполеоновских войн. Оно беспрепятственно действовало на протяжении этого периода потому, что соотношение сил было преднамеренно запланировано, чтобы обеспечить равновесие, и, что самое главное, оно подкреплялось ощущением общности ценностей, по крайней мере, среди консервативных дворов. После Крымской войны это ощущение общности ценностей постепенно исчезало, а вопросы, возводимые к условиям XVIII века, превращались во все более опасные, вследствие наличия современной технологии и роста роли общественного мнения. Даже деспотические государства могли апеллировать к широкой публике, пользуясь, как заклинанием, иноземной опасностью, и тем самым угроза извне подменяла демократический консенсус. Национальная консолидация государств Европы сокращала число актеров на международной сцене и возможности подменять дипломатическими комбинациями демонстрацию силы, в то время как разрушение легитимистской общности стирало моральные ограничения.

Несмотря на историческую неприязнь Америки к понятию равновесия сил, эти уроки имеют самое прямое отношение к американской внешней политике периода после окончания «холодной войны». Впервые в истории Америка становится частью международной системы, будучи самой сильной ее страной. Несмотря на то, что Америка является сверхдержавой в военном отношении, она более не может навязывать свою волю, ибо ни ее мощь, ни ее идеология не оставляют места имперским амбициям. А ядерное оружие, обеспечивающее американское военное преобладание, имеет тенденцию уравнивать применяемую мощь.

Поэтому Соединенные Штаты во все большей степени оказываются в таком мире, который по множеству параметров обладает сходством с Европой XIX века, пусть даже в глобальном масштабе. Можно лишь надеяться, что появится нечто, подобное системе Меттерниха, где равновесие сил подкреплялось общностью ценностей. А в современную эпоху эти ценности обязаны быть демократическими.

И все же Меттерниху не надо было специально создавать свой легитимный порядок; он, по сути, уже наличествовал. В современном мире демократия — вещь далеко не универсальная, и там, где она провозглашается, она не обязательно выражается в сопоставимых терминах. Для Соединенных Штатов представляется разумным подкрепить равновесие сил моральным консенсусом. Чтобы остаться верной себе, Америка должна попытаться выковать максимально широкий моральный консенсус, базирующийся на глобальной приверженности демократии. Но ей ни в коем случае не следует пренебрегать анализом соотношения сил. Ибо призыв к моральному консенсусу вводит в заблуждение, когда разрушает равновесие сил.

Если вильсонская система, основанная на принципе легитимности, невозможна, Америка должна научиться действовать в рамках системы равновесия сил, каким бы неестественным ей ни казался этот курс. В XIX веке существовало две модели системы равновесия сил: британская модель, характеризующаяся подходом Пальмерстона — Дизраэли; и бисмарковская модель. Британский подход заключался в том, чтобы выжидать, пока не появится прямая угроза существующему равновесию сил, и лишь потом связывать себя обязательствами, причем почти непременно по отношению к более слабой стороне; подход Бисмарка сводился к поискам способов предотвращения появления вызова как такового посредством установления близких отношений с максимально возможным числом сторон путем создания накладывающихся друг на друга систем союзов и путем использования появляющегося в результате этого влияния для сдерживания претензий соперников.

Как ни странно это может показаться с учетом американского опыта общения с Германией на протяжении двух мировых войн, бисмарковский стиль регулирования равновесия сил, возможно, наиболее соответствует традиционному американскому подходу к международным делам. Метод Пальмерстона — Дизраэли потребует дисциплинированного ухода в сторону от споров и безжалостной приверженности сохранению равновесия сил перед лицом угроз. Как споры, так и угрозы должны оцениваться почти исключительно в рамках равновесия сил. Америка сочтет для себя весьма затруднительным придерживаться как остраненности, так и безжалостности, не говоря уже о готовности трактовать международные дела исключительно с точки зрения соотношения сил.

Более поздняя политика Бисмарка была направлена на превентивное Ограничение

силы посредством консенсуса в отношении общности целей, стоящих перед отдельными группировками стран. Во взаимозависимом мире для Америки будет затруднительно воплощать на практике британскую «блестящую изоляцию». Но столь же маловероятно, что она окажется в состоянии разработать всеобъемлющую систему безопасности, равно применимую для всех частей земного шара. Наиболее продуктивным решением было бы создание накладывающихся друг на друга структур, частично используя общность политических и экономических принципов, как в Западном полушарии; частично сочетая общность принципов и соображения безопасности, как в районе Атлантики и Северо-Восточной Азии; все прочее держалось бы на связях экономического характера, как во взаимоотношениях с Юго-Восточной Азией.

В любом случае для истории масштабность стоящей задачи не может служить оправданием поражения. Америка должна навсегда распрощаться с тем временем, когда все варианты выбора казались открытыми и когда она, трезво оценив свои возможности, могла осуществить то, что было не под силу любому другому обществу. На протяжении большей части собственной истории Америка не знала иностранной угрозы собственному выживанию. Когда такая угроза наконец появилась в период «холодной войны», она была полностью сведена на нет. Таким образом, американский опыт подкрепил уверенность в том, что Америка, единственная из наций мира, к угрозам невосприимчива и может выстоять, лишь будучи живым примером моральных достоинств и добрых дел.

В мире по окончании «холодной войны» такого рода отношение может обратить чистоту помыслов в потворство собственным желанием. В то же время, когда Америка не в состоянии ни господствовать над миром, ни отстраниться от него, когда она оказывается одновременно всемогущей и полностью уязвимой, она никоим образом не может отказываться от идеалов, которые обеспечили ей величие. Но она не должна ставить под угрозу собственное величие, питая иллюзии относительно пределов своих возможностей. Мировое лидерство есть неотъемлемая часть могущества и моральных ценностей Америки, но оно не включает в себя привилегию делать вид, будто Америка оказывает любезность другим нациям, вступая с ними в союз, или обладает неограниченной возможностью навязать свою волю, лишая их своей благосклонности. Для Америки любое применение принципов «Realpolitik»

необходимо сочетать с учетом первоначальных ценностей первого в истории общества, специально созданного во имя свободы. И все же выживание и прогресс Америки будут также зависеть от ее способности делать выбор, отражающий современную ей реальность. Иначе внешняя политика превратится в самодовольное произнесение прописных истин. Относительный вес каждого из этих компонентов и цена, связанная с каждым из этих приоритетов, определяются и характером вызова, и масштабностью политических лидеров. Но чего ни один лидер не имеет права делать, так это заявлять, будто выбор не имеет цены или равновесие не нужно поддерживать.

Двигаясь по пути к мировому порядку в третий раз за современную эпоху, американский идеализм сохраняет столь же важное значение, как и всегда, а может быть, обретает значительно большее. Но в условиях нового мирового порядка его роль сведется к тому, чтобы обеспечивать веру, позволяющую Америке пройти через все сомнения выбора в несовершенном мире. Традиционный американский идеализм должен сочетаться с вдумчивой оценкой современных реалий, чтобы выработалось применимое на практике определение американских интересов. В прошлом усилия в области американской внешней политики вдохновлялись утопическими представлениями о некоем конечном пункте, по достижении которого изначальная мировая гармония будет просто воспроизводиться и самоутверждаться.

Но ныне такого рода финалы малоперспективны; воплощение американских идеалов будет идти путем терпеливого накопления частных успехов. Реальность физической угрозы и враждебной идеологии, характерных для времен «холодной войны», исчезла. Убежденность, требующаяся, чтобы управлять нарождающимся мировым порядком, носит более абстрактный характер: представление о будущем, которое не имеет наглядного облика в момент его формирования, и суждение о взаимоотношениях между надеждой и возможностью, которое по сути своей лишь предположительно. Вильсонские цели Америки прошлого: мир, стабильность, прогресс и свобода для всего человечества — должны будут достигаться в процессе пути, которому нет конца. «Путник, дорог не существует, — гласит испанская пословица. — Дороги творит идущий».

1

Robert W. Tucker and David C. Hendrickson. Thomas Jefferson and American Foreign Policy (Такер Роберт У. и Хендриксон Дэвид С. Томас Джефферсон и американская внешняя политика) // Foreign Affairs. V. 69. № 2 (Spring 1990). P. 148.

2

Thomas G. Paterson, J. Garry Clifford and Kenneth J. Hagan. American Foreign Policy. A History (Паттерсон Томас Г., Клиффорд Дж. Гэрри и Хаган Кеннет Дж. Американская внешняя политика: ее история). Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1977. P. 60.

3

Такер и Хендриксон. Томас Джефферсон. С. 140. Цит. по: Letters and Other Writings of James Madison. Philadelphia: J.B.Lippincott, 1865. V. IV. P. 491-492.

4

Монро Джеймс цит. по: William A. Williams (eds.). The Shaping of American Diplomacy (Формирование американской дипломатии). Chicago: Rand McNally, 1956. V. I. P. 122.

5

Прощальное обращение Джорджа Вашингтона от 17 сентября 1796 г. Senate Document № 3, 102nd Cong., 1st sess. (Сенатский документ № 3, первая сессия Конгресса 102-го созыва). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1991. P. 24.

6

Письмо Джефферсона герцогине Довиль от 2 апреля 1790 г. // Paul Leicester Ford (eds.). *The Writings of Jefferson* (Сочинения Джефферсона). N. Y.: G.P.Puthnem's Sons, 1892-1899. V. V. P. 153. Цит. по: Такер и Хендриксон. Томас Джефферсон. С. 139.

7

Thomas Paine. *Rights of Man* (Пэйн Томас. Права человека). Secaucus, N.Y.: Citadel Press, 1974. P. 147.

8

Alexander Hamilton// *The Federalist* № 6 (Гамильтон Александр // Федералист. № 6) in

Edward Mean Earle, ed. N. Y.: Modern Library, 1941. P. 30-31.

9

Письмо Джефферсона Джону Дикинсону от 6 марта 1801 г., в кн.: Adrienne Koch and William Peden (eds.). *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson* (Жизнь и избранные сочинения Томаса Джефферсона). N. Y.: Modern Library, 1944. P. 561.

10

Письмо Джефферсона Джозефу Пристли от 19 июня 1802 г. // Сочинения Джефферсона, Vol. VIII. P. 158 - 159. Цит. по: Robert W. Tucker and David C. Hendrickson. *Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson* (Такер и Хендриксон. Империя свободы: государственная деятельность Томаса Джефферсона). N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1990. P. 11.

11

Такер и Хендриксон, Томас Джефферсон. С 141.

12

Адаме Джон Квинси. Обращение 4 июля 1821 г. // Walter LaFeber (ed.). John Quincy Adams and American Continental Empire (Джон Квинси Адаме и американская континентальная империя). Chicago: Times Books, 1965. P. 45.

13

Послание президента Монро Конгрессу от 2 декабря 1823 г. // Ruhl Bartlett (ed.). The Record of American Diplomacy (Протоколы американской дипломатий). N. Y.: Alfred A. Knopf, 1956. P. 182.

14

Там же.

15

Инаугурационное обращение президента Джеймса Полка от 4 марта 1845 г. // The Presidents Speak (Президенты говорят), annot. by David Newton Lott. N. Y.: Holt, Ranehart and Winston, 1969. P. 95.

16

Цит. по.: Вильямс. Формирование американской дипломатии. Т. I. С. 315.

См.: Paul Kennedy. *The Rise and Fall of Great Powers* (Кеннеди Пол. Подъем и упадок великих держав). N. Y.: Random House, 1987. P. 201, 242 ff. А также: Fareed Zakaria. *The Rise of Great Power, National Strength, State Structure, and American Foreign Policy, 1865-1908* (Закария Фарид. Подъем великой державы: национальное могущество, государственная структура и американская внешняя политика, 1865-1908 (неопубл. докт. дисс, Гарвардский ун-т, 1992). Гл. 3. С. 4 и сл.

Закария, там же. С. 7-8.

Там же. С. 71.

20

Американская внешняя политика. С. 189.

21

Ежегодное послание президента Рузвельта Конгрессу от 6 декабря 1904 г. // Протоколы американской дипломатии. С. 539.

22

Заявление Рузвельта Конгрессу, 1902. Цит. по: John Morton Blum. *The Republican Roosevelt* (Блум Джон Мортон. Республиканец Рузвельт). Cambridge, Mass.: Harvard

Univ. Press, 1967. P. 127.

23

Там же. С. 137

24

Письмо Рузвельта Хьюго Манстербергу от 3 октября 1914 г. // Elting E. Morison (ed.).
The Letters of Theodore Roosevelt (Письма Теодора Рузвельта). Cambridge, Mass.:
Harvard Univ. Press, 1954. V. VIII. P. 824 - 825.

25

Блум, Республиканец Рузвельт. С. 131.

26

Selections from the Correspondence of Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge, 1884-1918 (Избранная переписка Теодора Рузвельта и Генри Кэбота Доджа, 1884-1918). Ed. by Henry Cabot Lodge and Charles E. Redmond. N. Y.; L: Charles Scribner's Sons, 1925. V. II. P. 162.

27

Блум, Республиканец Рузвельт. С. 135.

28

Там же. С. 134.

29

Цит. по.: John Milton Cooper, Jr. Pivotal Decades: The United States, 1900-1920 (Купер-мл. Джон Мильтон. Путеводные десятилетия: Соединенные Штаты в 1900- 1920 годах). N. Y.; L: W.W. Norton, 1990. P. 103.

30

Блум, Республиканец Рузвельт. С. 134.

31

Рузвельт// Outlook. Vol. 107 (22 августа 1914 г.). P. 1012.

32

Рузвельт — Манстербергу, от 3 октября 1914 г. // Письма Теодора Рузвельта. С. 823.

33

Рузвельт — Сесилу Артуру Спринг-Райсу, от 3 октября 1914 г. Там же. С. 821.

34

Рузвельт — Редьярду Киплингу, от 4 ноября 1914 г. // Robert Edicott Osgood. Ideals

and Self-Interest in America's Foreign Relations (Осгуд Роберт Эндикотт. Идеалы и эгоистические интересы в американских внешних сношениях). Chicago: University of Chicago Press, 1953. P. 137.

35

Вильсон Вудро. Ежегодное послание Конгрессу «О положении в стране» от 2 декабря 1913 г. // Arthur S. Link, ed. The Papers of Woodrow Wilson (Документы Вудро Вильсона). Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1966. V. 29. P. 4.

36

Письмо Рузвельта другу, декабрь 1914 г. Цит. по кн.: Ос гуд. Идеалы и эгоистические интересы. С. 144.

37

Вильсон Вудро. Ежегодное послание Конгрессу от 8 декабря 1914 г. Цит по:
Документы Вудро Вильсона. Т. 31. С. 423.

38

Там же. С. 422.

39

Вильсон Вудро. Обращение к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте
от 13 июня 1916 года. Там же. Т. 37. С. 212 и сл.

Вильсон Вудро. Замечания, высказанные на встрече ветеранов-конфедератов в Вашингтоне 5 июня 1917 г. Там же. Т. 42. С. 453.

Вильсон Вудро. Ежегодное послание Конгрессу «О положении в стране» от 7 декабря 1915 г. Там же. Т. 35. С. 297.

Вильсон Вудро. Обращение, произнесенное в театре «Принсесс», город Чейенн, штат Вайоминг, 24 сентября 1919 г. Там же. Т. 63. С. 474

43

Вильсон Вудро. Обращение на совместном заседании обеих палат Конгресса 2 апреля 1917 г. Там же. Т. 41. С. 526 - 527.

44

Там же. С. 523.

45

Вильсон Вудро. Обращение к сенату от 22 января 1917 г. Там же. Т. 40. С. 536.

Seleg Adier. The Isolacionist Impulse: Its Twentieth-Century Reaction (Эдлер Силиг. Изоляционистский импульс: реакция на него в двадцатом столетии). L.; N.Y.: Abelard Schuman, 1957. P. 36.

Там же.

Вильсон Вудро. Обращение от 2 апреля 1917 г. Цит. по кн.: Документы Вудро Вильсона. Т. 41. С. 519 и сл.

49

Вильсон Вудро. Бостонское обращение от 24 февраля 1919 г. Там же. Т. 55. С. 242 - 243.

50

Вильсон Вудро. Обращение от 22 января 1917 г.

51

Там же. Т. 40. С. 536-537

52

Вильсон Вудро. Замечания, сделанные на Шурнеском кладбище в День памяти 30 мая 1919 г. Там же. Т. 59. С. 608-609.

53

Вильсон Вудро. Обращение к Лиге содействия сохранению мира от 27 мая 1916 г. Там же. Т. 37. С. 113 и сл.

54

Вильсон Вудро. Маунт-Вернонское обращение от 4 июля 1918 г. Там же. Т. 48. С. 516.

55

Вильсон Вудро. Обращение к Третьему пленарному заседанию Мирной конференции от 14 февраля 1919 г. Там же. Т. 55. С. 175.

56

Письмо Рузвельта Джеймсу Брайсу от 19 ноября 1918 г. Цит. по кн.: Письма Теодора Рузвельта. Т. VIII. С. 1400.

57

Рузвельт — сенатору Филандеру Чейзу Ноксу (республиканцу от штата Пенсильвания), 6 декабря 1918 г. Там же. С. 1413-1414

58

Louis Auchincloss. Richelieu (Ошенкрос Луи. Ришелье). N. Y.: Viking Press, 1972. P. 256.

59

По кн.: Queilenbuch Geschichte (Австрийские исторические первоисточники) // Ed. by Otto Frass. V. II. Vienna: Birken Verlag, 1959. S. 100.

60

Там же

61

Там же

62

Там же

63

Joseph Strayer, Hans Gatzke and E. Harris Harbison. The Mainstream of Civilization Since 1500 (Стрэйер Джозеф, Гацке Ганс и Харбисон Э. Харрис. Основное направление развития цивилизации начиная с 1500 г.). N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1971. P. 420

64

Цитата приводится в кн.: Carl J. Burchardt. *Richelieu and His Age* (Буркхардт Карл Дж. Ришелье и его эпоха) // Trans, from the German by Bernard Hoy. Harcourt Brace Jovanovich, 1970. V. III Power Politics and the Cardinal's Death. P. 61.

65

Там же. С. 122

66

Jansenius. *Mars Gallicus* (Янсений. Марс Галльский). In William F. Church. *Richelieu and Reason of State* (Черч Вильям Ф. Ришелье и принцип высших интересов государства). Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1972. P. 388

67

Daniel de Priezak. *Defence des Droits et Prerogatives des Roys* (Пръезак Даниэль де. Защита прав и прерогатив королей Франции). Там же. С. 398.

68

Mathieu de Morgues. *Catholicon francois: Treatise of 1636* (Морг Матъе де. Французский католицизм. Трактат 1636 года). Там же. С. 376.

69

Albert Sorel. *Europe Under the Old Regime* (Сорель Альбер. Европа при старом режиме) // Trans, by Francis H. Herrick. Los Angeles: Ward Ritchie Press, 1947

70

По кн.: F.H. Hinsley. Power and the Pursuit of Peace (Хинсли Ф. Х. Могущество и стремление к миру). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1963. С. 162-163

71

Там же. С. 162

72

Там же. С. 166

73

Приводится в кн.: Gordon A. Craig and Alexander L. George. *Force and Statecraft* (Крэйг Гордон Э. и Джордж Александр Л. Сила и искусство государственного управления). N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1983. P. 20

74

G. C. Gibbs. *The Revolution in Foreign Policy* (Гиббс Дж. К. Революция во внешней политике) // Geoffrey Holmes (ed.), *Britain After the Glorious Revolution, 1689-1714* (Британия после Славной революции в 1689— 1714 годах). L.: Macmillan, 1969. P. 61

75

Winston S. Churchill. *The Gathering Storm, The Second World War* (Черчилль Уинстон С. *Надвигающийся шторм. Вторая мировая война*). V. I. Boston: Houghton Mifflin, 1948. P. 208

76

Гиббс. *Революция...* // *Британия после Славной революции*. С. 62.

77

Speech by Secretary of State, Lord John Carteret, Earl of Granville, in the House of Lords, January, 27, 1744 (Речь министра иностранных дел лорда Джона Картерета, графа Грэнвилла, в палате лордов 27 января 1744 г.) // Joel H. Wiener, ed., *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689-1971* (Великобритания: внешняя политика и масштабы империи. 1689-1971 годы). V. I. N.Y.; L.: Chelsea House in association with McGraw-Hill, 1972. P. 84-86

78

Черчилль. Надвигающийся шторм. С. 208

79

План Питта по кн.: Sir Charles Webster (ed.). *British Diplomacy 1813-1815*
(Британская дипломатия в 1813-1815 годах). L.: G.Bell and Sons, 1921. P. 389 ff.

80

Sir Thomas Overbury. *Observations on His Travels* (Овербери Томас, сэр. Наблюдения по поводу его странствий) // *Stuart Tracts 1603-1693* (Трактаты о Стюартах: 1603-1693) I ed. by C.H.Firth. L.: Constable, 1903. P. 227. Цит. по: Martin Wight. *Power Politics* (Уайт Мартин. Силовая политика). N.Y.: Holmes and Meier, 1978. P. 173.

81

Меморандум лорда Кэслри от 12 августа 1815 г. // Британская дипломатия в 1813-1815 годах. С. 361 - 362.

82

Талейран. Цит. по кн.: Harold Nicolson. The Congress of Vienna (Никольсон Гарольд. Венский конгресс). N.Y.; San Diego; L.: Harcourt Brace Jovanovich, paper ed. 1974. P. 155

83

Wilhelm Swarz. Die Heilige Allianz (Шварц Вильгельм. Священный союз). Stuttgart, 1935. S. 52

84

Приводится по кн.: Asa Briggs. *The Age of Improvement 1783— 1867* (Бриггс Аса. *Эпоха прогрессивных свершений: 1783-1867*). L: Longmans, 1959. P. 345.

85

Klemens Metternich. *Aus Metternich's Nachgelassenen Papieren* (Меттерних Клеменс. *Избранное документальное наследие*). 8 vols, ed. by Alfons von Klinkowstroem. Vienna: 1880. V. VIII. S. 557

86

Материал на этих страницах был в свое время приведен автором в кн.: *A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812-1822* (Возрожденный мир: Меттерних, Кэслри и проблемы сохранения мира. 1812-1822 гг.). Boston: Houghton Mifflin, 1973 Sentry Edition.

87

Там же. С. 321.

88

Цит. по кн.: *Wilhelm Oncken. Osterreich und Preussen im Befreiungskriege* (Онкен Вильгельм. Австрия и Пруссия во время Освободительной войны). 2 vols. V. II. Berlin, 1880. S. 630.

89

Меттерних. Документальное наследие. Т. VIII. С. 365.

90

Цитата приводится у Онкена в кн. Австрия и Пруссия. Т. I. С. 439 и сл.

91

Меттерних. Документальное наследие. Т. I. С. 316 и сл.

92

Цит. по кн. Николая Михайловича Дипломатические донесения Лебцельтерна.
Санкт-Петербург, 1915. С. 37 и сл.

93

Цит. у Шварца в кн. Священный союз. С. 234.

94

Цит. по: Alfred Stem. Geschichte Europas seit den Vertragen von 1815 bis zum
Frankfurter Frieden von 1871 (Штерн Альфред. История Европы от договоров 1815 года
до Франкфуртского мира 1871 года). 10 vols. V. I. Munich; Berlin, 1913-1924. S. 298.

95

Приводится в кн.: Hans Smalz. *Versuche einer Gesamteuropaischen Organisation*, 1815—1820 (Шмальц Ганс. Очерки изучения общеевропейских организаций, 1815-1820). Bern, 1940. S. 66.

96

Lord Castlereagh's. *Confidential State Paper*, May 5, 1820 (Кэслри. лорд. Конфиденциальный документ государственной важности от 5 мая 1820 г). // Sir A. W. Ward and G.P. Gooch, eds. *The Cambridge History of British Foreign Policy: 1783-1919* (Кембриджская история британской внешней политики: 1783— 1919). V. II (1815-1866). N. Y.: Macmillan, 1923. P. 632.

97

Viscount Castlereagh. *Correspondence, Dispatches and Other Papers*. 12 vols (Кэслри, виконт. Корреспонденция, депеши и прочие документы в 12-ти томах). V. XII. ed. by his brother, the Marquess of Londonderry. L., 1848-1852. P. 394.

98

Цит. по: Sir Charles Webster. The Foreign Policy of Castlereagh (сэр Чарлз Вебстер. Внешняя политика Кэслри). 2 vols. V. I]. L., 1925 и 1931. P. 366.

99

Приводится в кн. Бриггса. Эпоха прогрессивных свершений. С. 346.

100

Приводится у Вебстера. Внешняя политика Кэслри. Т. II. С. 303 и сл.

101

Кэслри. Конфиденциальный документ государственной важности от 5 мая 1820 г. // Кембриджская история. Т. II. С. 626-627.

102

Приводится у автора, Возрожденный мир. С. 311.

103

Цит. по.: А. J. P. Taylor. The Struggle for Mastery in Europe 1848-1918 (Тэйлор Э. Дж. П. Борьба за главенство в Европе: 1848— 1918). Oxford: Oxford Univ. Press, 1965. P. 54.

104

Каннинг, цит. по кн.: R. W. Seton-Watson. Britain in Europe, 1789— 1914 (Сетон-Уотсон Р. В. Британия в Европе: 1789—1914). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1955. P. 74.

105

Там же.

106

Плимутская речь Каннинга от 28 октября 1823 г. Там же. С. 119

107

M. Penson. *Foundation of British Foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury (1902)*
(Темперли Харольд и Пенсон Лилиан М.. Основы британской внешней политики от
Питта (1792) до Сэйлсбери (1902)). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1938. P. 88

108

сэр Эдуард, в кн. Сетона-Уотсона *Британия в Европе*. С. I.

109

Пальмерстон, по кн. Бриггса *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 352

110

Депеша №6 Пальмерстона маркизу Кланрикарду (послу в Санкт-Петербурге) от 11 января 1841 г. // Темперли и Пенсон. Основы внешней политики. С. 136

111

Там же. С. 137

112

Письмо Гладстона королеве Виктории от 17 апреля 1869 г. // Harold Nicolson. Diplomacy (Николсон Гарольд. Дипломатия). L.: Oxford Univ. Press, 1963. P. 137

113

Пальмерстон, по кн. Бриггса Эпоха прогрессивных свершений. С. 357

114

Обращение Дизраэли к палате общин 1 августа 1870 г. // Parliamentary Debates (Парламентские дебаты), (Hansard), 3rd ser. V. ССIII. L.: Cornelius Buck 1870. Col. 1289.

115

Обращение Пальмерстона к палате общин 21 июля 1849 г. // Темперли и Пенсон. Основы внешней политики. С. 173.

116

по кн. Бриггса Эпоха прогрессивных свершений. С. 353

117

Обращение Кларендона к палате лордов 31 марта 1854 г. // Сетон-Уотсон. Британия в Европе. С. 327

118

Обращение Пальмерстона к палате общин 21 июля 1849 г. //Темперли и Пенсон. Основы внешней политики. С. 176

119

Цит. по кн. Великобритания: внешняя политика и масштабы империи, 1689-1971

120

Меттерних, 30 июня 1841 г. // Сетон-Уотсон. Британия в Европе. С. 221

121

Joseph Alexander, Graf von Hubner. Neun Jahre der Erinnerungen eines osterreichischen Botschafters in Paris unter dem zweiten Kaiserreich: 1851-1859 (Хюбнер Йозеф Александр фон, граф. Воспоминания о девяти годах работы в австрийском посольстве

в Париже во времена Второй империи: 1851-1859). V. I. Berlin, 1904. S. 109

122

Там же. С. 93

123

Хюбнер — Францу-Иосифу, 23 сентября 1857 г. // Хюбнер. Воспоминания. Т. II. С
31

124

William E. Echard. Napoleon III and the Concert of Europe (Экард Вильям Э. Наполеон

III и Европейский концерт). Baton Rouge, LA: Louisiana State Univ. Press, 1983. P. 72.

125

Там же. С. 2.

126

Наполеон III — Францу-Иосифу, 17 июня 1866 г. // Hermann Oncken, ed. Die Rheinpolitik Napoleons III (Рейнская политика Наполеона III). Berlin, 1926. V. I. S. 280

127

Франц-Иосиф — Наполеону III, 24 июня 1866 г. Там же. С. 284

128

Цит. в кн. Тейлора Борьба за главенство, с. 102

129

Хюбнер — Фердинанду Буолю, 9 апреля 1858 г. // Хюбнер. Воспоминания. Т. II. С.
82

130

Там же. С. 93.

131

Друин ле Люис — Латур-д-Оверню, 10 июня 1864 г. // *Rignes Diplomatiques de la Guerre de 1870—1871* (Дипломатическая первооснова войны 1870—1871 гг). V. III. Paris: Ministry of Foreign Affairs, 1910-1930. P. 203

132

Цит. по: Wilfried Radewahn. *Frantsische Aussenpolitik vor dem Krieg von 1870* (Радеван Вильфрид. Французская внешняя политика перед войной 1870 года) // Eberhard Kolb, ed. *Europa vor dem Krieg von 1870* (Европа перед войной 1870 года). Munich, 1983. S. 38

133

Цит. по: Wilfried Radewahn. Die Pariser Presse und die Deutsche Frage (Радеван Вильфрид. Парижская пресса и германский вопрос). Frankfurt, 1977. S. 104

134

Гольц — Бисмарку, 17 февраля 1866 г., относительно беседы с Наполеоном III // Рейнская политика. Т. I. С. 90.

135

у Радевана. Парижская пресса. С. 110

136

Гольц — Бисмарку, 25 апреля 1866 г. // Рейнская политика. Т. I. С. 140.

137

Цит. Талейраном в письме Друину от 7 мая 1866 г. // Дипломатическая первооснова.
Т. IX. С. 47.

138

Речь Тьера от 3 мая 1866 г. // Рейнская политика. Т. I. С. 154 и сл.

139

Там же

140

Приводится у Тэйлора. Борьба за главенство. С. 163

141

Там же. С. 205 - 206

142

Анализ политического мышления Бисмарка основывается на работе автора The White Revolutionary: Reflections of Bismarck (Белый революционер: рассуждения о

Бисмарке), in *Daedalus*, vol. 97. № 3 (summer 1968). P. 888-924

143

Horst Kohl, ed. *Die Politischen Reden des Fuesten Bismarck, Historische-Kritische Gesamtausgabe* (Политические речи князя Бисмарка. Историко-критическое издание). vol. I. Stuttgart, 1892. S. 267 - 268

144

Otto von Bismarck. *Die gessammelten Werke* (Бисмарк Otto фон. Собр. соч.). T. II. Berlin, 1924. S. 139.

145

Briefwechsel des Generals von Gerlach mit dem Bundestags-Gesandten Otto von Bismarck (Переписка генерала фон Герлаха и посланника при союзном парламенте Отто фон Бисмарка). Berlin, 1893. S. 315 (28 апреля 1856 г.).

146

Otto Kohl, ed. Briefe des Generals von Gerlach an Otto von Bismarck (Письма генерала Леопольда фон Герлаха Отто фон Бисмарку). Stuttgart und Berlin, 1912. С. 192-193

147

Переписка. С. 315.

148

Письма. С. 206

149

Там же. С. 211 (6 мая 1857 г.).

150

Переписка. С. 333-334.

151

Там же.

152

Там же. С. 353

153

Там же

154

Бисмарк. Собр. соч. Т. I. С. 375 (сентябрь 1853 г.).

155

Там же. Т. II. С. 320 (март 1858 г.).

156

Переписка. С. 334

157

Там же. С. 130 (20 февраля 1854 г.).

158

Бисмарк. Собр. соч.. Т. I. С. 62 (29 сентября 1851 г.).

159

Переписка. С. 334 (2 мая 1857 г.).

160

Там же. С. 128 (19 декабря 1853 г.).

161

Там же. С. 194 (13 октября 1854 г.).

162

Бисмарк. Собр. соч. Т. XIV. 3-е изд. Berlin, 1924. № I. S. 517

163

Переписка. С. 199 (19 октября 1854 г.).

164

Бисмарк. Собр. соч. Т. II. С. 516 (8 - 9 декабря 1859 г.)

165

Там же. С. 139 (26 апреля 1856 г.).

166

Там же. С. 139 и сл

167

Там же

168

Там же

169

Otto Pflanze. Bismarck and the Development of Germany: The Period of Unification, 1815— 1871 (Пфланце Отто. Бисмарк и развитие Германии: объединительный период, 1815 - 1871 гг.). Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1990. P. 85.

170

Приводится в кн.: J. A. S. Grenville. Europe Reshaped: 1848— 1878 (Гренвилл Дж Э. С. Европа меняет облик: 1848-1878). Sussex: Harvester Press, 1976. P. 358

171

Бисмарк. Собр. соч. Т. XIV. № I. С. 61

172

Emil Ludwig. Bismarck: Geschichte eines Kampfers (Людвиг Эмил. Бисмарк: история борца). Berlin, 1926. S. 494

173

Донесение Лорана Беранже из Санкт-Петербурга от 3 сентября 1762 г. в кн.: George Vernadsky, ed. *A Source Book for Russian History: From Early Times to 1917* (Источники по русской истории с древнейших времен до 1917 года). 3 vols.. V. 2. New Heaven, Conn.: Yale Univ. Press, 1972. P. 397

174

Friedrich von Gentz. *Considerations on the Political System in Europe* (1818) (Генц Фридрих фон. *Рассуждения по поводу политической системы в Европе* (1818)) // Mack Walker, ed. *Metternich's Europe* (Европа Меттерниха). N. Y.: Walker and Co., 1968. P. 80.

175

Ключевский В. О. *Очерки русской истории. Семнадцатый век*. Перев. Натали Даддингтон. Chicago: Quadrangle Books, 1968. P. 97

176

Записка Потемкина. Цит. по: Источники по русской истории. Т. 2. С. 411

177

Меморандум Горчакова. Там же. Т. 3. С. 610.

178

Генц. Рассуждения. В сб. Европа Меттерниха. С. 80.

179

Катков М. Н. Передовая статья от 10 мая 1883 г. // Источники по русской истории. Т. 3. С. 676

180

Достоевский Ф. М. Там же. Т. 3. С. 681

181

Катков, передовая статья от 7 сентября 1882 г. Там же. Т. 3. С. 676

182

Приводится в: В. Н. Sumner. *Russia and the Balkans, 1870-1880* (Самнер Б. Х. *Россия и Балканы, 1870-1880*). Oxford: Claredon Press, 1957. P. 72

183

George F. Kennan. *The Source of Soviet Conduct* (Кеннан Джордж Ф. *Истоки советского поведения*) // *Foreign Affairs*. V. 25. № 4 (July 1947 г.).

184

Бисмарк цит. по Gordon A. Craig. *Germany: 1866-1945* (Крэйг Гордон Э. *Германия: 1866- 1945*). N. Y.: Oxford Univ. Press, 1978. P. 117

185

Приводится в кн.: Robert Blake, Disraeli (Блэйк Роберт, Дизраэли). N. Y.: St. Martin's Press, 1966. P. 574

186

George F. Kennan. Decline of Bismarck's European Order (Кеннан Джордж Ф. Упадок бисмарковского европейского порядка). Princeton: Princeton Univ. Press, 1979. P.I Iff.

187

Там же

188

Бисмарк, 19 февраля 1878 г. // Политические речи. V. 7. Aalen, West Germany:
Scientia Verlag, 1970, S. 94

189

Тэйлор Э. Дж. П. Борьба за главенство. С. 236

190

Приводится у Блэйка, Дизраэли. С. 580

191

Приводится у Тэйлора, Борьба за равенство. С. 237

192

Речь Дизраэли от 24 июня 1872 г. // Великобритания: внешняя политика и масштабы империи, 1689-1971, т. 3. С. 2500

193

Lord Augustus Loftus. Diplomatic Reminiscences, (Лофтус Огастес, лорд. Дипломатические реминисценции). 2nd ser. L., 1892. V. 2. P. 46

194

Цит. в Firuz Kazemzadeh. Russia and the Middle East (Каземзаде Фируз. Россия и Средний Восток) // Ivo Lederer, ed. Russian Foreign Policy (Российская внешняя политика). New Heaven and London: Yale Univ. Press, 1962. P. 498

195

Там же. С. 499

196

Там же. С. 500

197

Цит. по: Allan Palmer, The Chancelleries of Europe (Пал мер Алан, Канцелярии Европы). L.: George, Allen and Unwin, 1983. P. 155

198

Там же. С. 157

199

Цит. у Блэйка, Дизраэли. С. 646

200

W. N. Medlicott. The Congress of Berlin and After (Меддикотт В. Н. Берлинский конгресс и после). Hamden, Conn.: Archon Books, 1963. P. 37

201

Бисмарк, в сб. Политические речи. Т. 7. С. 102.

202

См. у Меддикотта, Берлинский конгресс

203

Цит. у Кеннана, Упадок европейского порядка. С. 70

204

Цит. там же. С. 141

205

Речь Гладстона «Обличение зверств в Болгарии, творимых Турцией» от 9 сентября 1876 г. в кн. Великобритания: внешняя политика. Т. III. С. 2448

206

Цит. по: A. N. Wilson, *Eminent Victorians* (Вилсон Э. Н., Знаменитые викторианцы).
N. Y.: W. W. Norton, 1989. P. 122

207

Гладстон, цит. по: Carsten Holbraad. *The Concert Of Europe: A Study in German and British International Theory, 1815— 1914* (Хол браад Карстен. Европейский концерт: очерки германской и британской теории международных отношений, 1815-1914). L.: Longmans, 1970. P. 166.

208

Там же. С. 145

209

Бисмарк— кайзеру Вильгельму, 22 октября 1883 года. В Собр. соч. Отто фон Бисмарка. Т. 6С. С. 282-283

210

Гладстон — лорду Гренвиллу, 22 августа 1873 г. // Agatha Ramm, ed. *The Political Correspondence of Mr. Gladstone and Lord Granville: 1868— 1876* (Политическая переписка м-ра Гладстона и лорда Гренвилла: 1868-1876). V. 2. Oxford: Clarendon Press, 1952. P. 401

211

Приводится у Кеннана, Упадок европейского порядка. С. 39.

212

Там же. С. 258.

213

Franz Schabel. Das Problem Bismarck (Шнабель Франц. Проблема Бисмарка).
Hochland. V. 42 (1949 - 1950). S. 1 - 27.

214

Winston S. Churchill. Great Contemporaries (Черчилль Уинстон С. Великие со-
временники). Chicago; L.: University of Chicago Press, 1973. P. 371 ff.

215

Фридрих Великий, цит. по: *Memoirs of Prince von Bulow: From Secretary of State to Imperial Chancellor* (Мемуары князя фон Бюлова: от статс-секретаря до рейхс-канцлера). Boston: Little, Brown and Co, 1931. P. 52.

216

Цит. по: Maurice Combar. *Mon Ambassade en Russie, 1903-1908* (Бомпар Морис. Мое посольство в России, 1903-1908). Paris, 1937. P. 40.

217

Самнер Б. Х. Россия и Балканы.

Витте Сергей цит. по: Hugh Setn-Watson. The Russian Empire, 1801— 1917 (Сетон-Уотсон Хью. Российская империя, 1801— 1917). Oxford: Clarendon Press, 1967. P. 581-582.

Цит. по: Лофтус Огастес, лорд. Дипломатические реминисценции, 2-я серия. Т. 2.

Цит. по: Raymond Sontag. European Diplomatic History, 1871-1932 (Зонтэг Рэймонд. Европейская дипломатическая история, 1871-1932). N. Y.: The Century Co., 1933. P. 59.

221

Гире Николай де цит. по: Ludwig Reiners. In Europa gehen die Lichter aus: Der Untergang des Wilhelmunschen Reiches (Райнерс Людвиг. В Европе гаснут огни: закат вильгельмовской империи). Munich, 1981. S. 30.

222

Штааль, барон, цит. по: William L. Langer. The Diplomacy of Imperialism (Лэнгер Вильям Л. Дипломатия империализма), 1st ed. N. Y.: Alfred A. Knoph, 1935. P. 7.

223

Цит. по: George F. Kennan. The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War (Кеннан Джордж Ф. Роковой альянс: Франция, Россия и канун Первой мировой войны). N. Y.: Pantheon, 1984. P. 147.

224

Кайзер Вильгельм, цит. по: Norman Rich. Friedrich von Holstein: Politics and Diplomacy in the Era of Bismarck and Wilhelm // (Рич Норман. Фридрих Голштинский: политика и дипломатия в эпоху Бисмарка и Вильгельма II). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1965. P. 465.

225

Солсбери, лорд, цит. по: Крэйг. Германия: 1866-1945. С. 236.

226

Цит. по кн. Fritz Stern. The Failure of Illiberalism (Штерн Фриц. Поражение либерализма). N. Y.: Columbia Univ. Press, 1992. P. 93.

227

Цит. по: Malcolm Carrol. *Germany and the Great Powers, 1866—1914* (Кэрролл Малколм. *Германия и великие державы, 1866—1914*). N. Y.: Prentice-Hall, 1938. P. 372.

228

Речь Чемберлена от 30 ноября 1899 г. // *Великобритания: внешняя политика и масштабы империи*. 1. I. С. 510.

229

Цит. у Зонтэга, *Европейская дипломатическая история*. С. 60.

230

Цит. по: Valentin Chirol. *Fifty Years in a Changing World* (Чайрол Валентин. Пятьдесят лет в меняющемся мире). L, 1927. P. 284.

231

Меморандум маркиза Сэйлсбери от 29 мая 1901 г. // G.P. Gooch and Harold Temperley, eds. *British Documents on the Origins of the War* (Британские документы относительно первопричин войны). V. II. L., 1927. P. 68.

232

Цит. у Зонтэга, Европейская дипломатическая история. С. 169.

233

Там же. С. 170.

234

Кайзер Вильгельм, цит. у Райнерса, В Европе гаснут огни. С. 106.

235

Кайзер Вильгельм, цит. у Крэйга, Германия. С. 331.

236

Маркиз Лэнсдаун — сэру Э. Монсону, 2 июля 1903 г. В кн. Зонтэга Европейская дипломатическая история. С. 293.

237

Сэр Эдуард Грей— сэру Ф. Берти, 31 января 1906 г. // Viscount Grey, Twenty-Five Years, 1892-1916 (Виконт Грей. Двадцать пять лет, 1892-1916). N. Y.: Freferick A. Stokes Co., 1925. P. 76.

238

Сэр Эдуард Грей— Камбону, французскому послу в Лондоне, 22 ноября 1912 г. Там

же. С. 94 - 95.

239

Цит. по: Тэйлор, Борьба за главенство. С. 443.

240

См., к примеру, статью: Paul Schroeder. World War I as Galloping Gertie: A Reply to Joachim Remack (Шредер Пауль. Первая мировая война как скакун, пустившийся в галоп: ответ Иохиму Ремаку) — *Journal of Modern History*. V. 44 (1972). P. 328.

241

Меморандум Кроу от 1 января 1907 г. // Kenneth Bourne and D. Cameron Watt, gen. eds. *British Documents of Foreign Affairs* (Британская внешнеполитическая документация). Frederick, Md.: University Publications of America, 1983. P. I. V. 19. P. 367 ff.

242

Там же. С. 384.

243

Там же.

244

Цит. у Зонтэга, Европейская дипломатическая история. С. 140.

245

Цит. у Кэрролла, Германия и великие державы. С. 657.

246

Цит. по: Klaus Wernecke. Der Wille zur Weltegeltung: Aussenpolitik und Cffentlichkeit am Vorabend des Ersten Weltkrieges (Вернеке Клаус. Воля к обретению мировой значимости: внешняя политика и общественность накануне первой мировой войны). Diisseldorf, 1970. S. 33.

247

Речь канцлера казначейства Дэвида Ллойд-Джорджа от 12 июля 1911 г. //
Великобритания: внешняя политика. Т. I. С. 577

248

Цит. у Кэрролла, Германия и великие державы. С. 643

249

Цит. по: D.C.B. Lieven. *Russia and the Origins of the First World War* (Ли вен Д.Ч.Б.
Россия и первопричины первой мировой войны). N. Y.: St. Martin's Press, 1983. P. 46

250

Приводится у Тэйлора, Борьба за главенство. С. 507

251

Приводится у Ливена, Россия. С. 69

252

Приводится у Тэйлора, Борьба за главенство. С. 510

253

Там же. С. 492-493

254

Приводится у Ливена, Россия. С. 48

255

Цит. у Зонтэга, Европейская дипломатическая история. С. 185

256

Приводится у Крэйга, Германия. С. 335.

257

Меморандум Обручева Гирсу от 7/19 мая 1892 г. Приводится в кн. Кеннана Роковой альянс, приложение II, С. 264.

258

Там же. С. 265

259

Там же

260

Там же. С. 268

261

Цит. там же. С. 153

262

См. кн.: Gerhart Ritter, *The Schlieffen Plan* (Риттер Герхарт, План Шлиффена). N. Y.: Frederick A. Praeger, 1958

263

Цит. в сб.: Frank A. Golder, ed. Documents of Russian History, 1914—1917 (Документы российской истории, 1914—1917), перев. Эмманюэля Аронсберга. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1927. P. 9-10.

264

Там же. С. 13

265

Там же. С. 18

266

Там же. С. 19

267

Бетман-Гольвег, цит. у Штерна, Поражение либерализма. С. 93

268

Бетман-Гольвег — Айзендехеру, 13 марта 1913 г. Приводится в статье: Konrad Jarausch, *The Illusion of Limited War. Chancellor Bethmann-Hollwed's Calculated Risk, July 1914* (Ярауш Конрад, *Иллюзия ограниченной войны: заранее рассчитанный канцлером Бетман-Тальвегом риск, июль 1914*). // *Central European History*, March 1969. P. 48 - 77.

269

Приводится в кн. Тейлора Борьба за главенство. С. 521-522

270

Serge Sazonov, *The Fateful Years, 1909— 1916: The Reminiscence of Serge Sazonov* (Сазонов Сергей, Роковые годы: 1909— 1916: воспоминания Сергея Сазонова). N. Y.: Frederick A. Stokes, 1928. P. 31.

271

Там же. С. 153.

272

N. V. Tcharykov. Glimpses of High Politics (Чарыков Н. В. Беглый взгляд на высокую политику). L., 1931. P. 271

273

Саонов, Роковые годы. С. 40

274

Заявление сэра Эдварда Грея в палате общин по поводу секретных военных переговоров с другими державами 11 июня 1914 г. В кн. Великобритания: внешняя политика. Т. I. С. 607

275

Телеграмма сэра Эдварда Грея британскому послу в Берлине сэру Э. Госкену от 30 июля 1914 г., отвергающая политику нейтралитета. Там же. С. 607

276

Цит. в кн. Ливена Россия. С. 66

277

Цит. там же. С. 143

278

Цит. там же. С. 147

279

Сазонов, Роковые годы. С. 188

280

Приводится в статье: L. C. F. Turner, The Russian Mobilization in 1914 (Тернер И. К. Ф. Русская мобилизация в 1914 году). // Journal of Contemporary History. V. 3, 1968. P. 70

281

Приводится в кн.: Taylor A. J. P. British History. 1914— 1945(Тэйлор Э. Дж. П. Британская история: 1914— 1945). Oxford: Clarendon Press, 1965. P. 114

282

Приводится в кн. Тэйлора Борьба за главенство. С. 535

283

Там же. С. 553.

284

Werner Maser. Hindenburg: Eine politische Biographie (Мазер Вернер. Гинденбург: Политическая биография). Frankfurt/M; Berlin: Verlag Ullstein GmbH, 1992, S. 138

285

Сэр Эдуард Грей — полковнику Э. М. Хаузу, 22 сентября 1915 г., цит. по: Arthur S. Link. Woodrow Wilson, Revolution, War and Peace (Линк Артур С. Вудро Вильсон, революция, война и мир). Arlington Heights, Illinois: Harlan Davidson, 1979. P. 74

286

Вильсон Вудро. Вашингтонские замечания на собрании Лиги по обеспечению сохранения мира 27 мая 1916 г. //Документы Вудро Вильсона. Т. 37. С. 113

287

Вильсон Вудро. Обращение к сенату 22 января 1917 г. Там же. Т. 40. С. 539

288

Arthur S. Link. Wilson the Diplomatist (Ликк Артур С. Вильсон — дипломат).
Baltimore: Johns Hopkins Press, 1957. P. 100

289

Там же. С. 100 и сл.

290

Вильсон Вудро. Обращение на совместном заседании обеих палат Конгресса 8 января 1918 г.// Документы Вудро Вильсона. Т. 45. С. 538

291

Вильсон Вудро. Обращение, зачитанное в Гильдхолле 28 декабря 1918 г. Там же. Т. 53. С. 532

292

Обращение к сенату 22 января 1917 г. Там же. Т. 40. С. 536

293

Adamthwaite Anthony. France and the Coming of the Second World War 1936— 1939 (Эдемтвэйт Энтони. Франция и канун второй мировой войны, 1936— 1939). L.: Frank Cass, 1977. P. 4.

294

Andre Tardieu. The Truth About the Treaty (Тардье Андре. Правда о договоре). Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1921. С. 165

295

Советник Вильсона Дэвид Хантер Миллер 19 марта 1919 г. // David Hunter Miller. The Drafting of the Covenant (Миллер. Подготовка текста договора). N. Y.; L.:

G.P.Putnam's Sons, 1928. V. I. P. 300

296

Приводится в кн. Тардьє Правда о договоре. С. 173.

297

Тардьє, там же. С. 174-175

298

Меморандум Боумена от 10 декабря 1918 г. // Charles Seymour, ed. *The Intimate Papers of Colonel House* (Личные бумаги полковника Хауза). Boston; N. Y.: Houghton

Mifflin, 1926 - 1928. V. 4. P. 280 - 281

299

Цит. по: Seth P. Tillmann. *Anglo-American Relations at the Paris Peace Conference of 1919* (Тиллмен Сет П. *Англо-американские взаимоотношения на Парижской мирной конференции 1919 г.*). Princeton: Princeton Univ. Press, 1961. P. 135

300

Вильсон Вудро. *Обращение к третьему пленарному заседанию Мирной конференции 14 февраля 1919 г.* //Документы Вудро Вильсона. Т. 55. С. 175

301

Меморандум Боумена.// Личные бумаги Хауза. С. 281.

302

Приводится в кн. Тиллмена Англо-американские взаимоотношения. С. 126

303

Советник Вильсона Дэвид Хантер Миллер, в кн. Миллера Подготовка текста договора. Т. II. С. 49

304

Цит. по: Paul Birdsall. Versailles Twenty Years After (Бердсолл Пол. Версаль — двадцать лет спустя). N. Y.: Reynal & Hitchcock, 1941. P. 128

305

Цит. у Миллера, Подготовка текста договора. Т. I. С. 49.

306

Там же. Т. 2. С. 727

307

Цит. у Тардье, Правда о договоре. С. 160

308

Там же. С. 202

309

Там же. С. 204

310

Дневник Хауза. 27 марта 1919 г. // Личные бумаги Хауза. Т. 4. С. 395.

311

Sir Charles Webster. The Congress of Vienna (Вебстер Чарльз, сэр. Венский конгресс).
L.: Bell, 1937

312

Меморандум Ллойд-Джорджа Вудро Вильсону от 25 марта 1919 г. // RayStannard
Baker. Woodrow Wilson and World Settlement (Бейкер Рэй Стэннард. Вудро Вильсон
и мировое урегулирование). N. Y.: Doubleday, Page & Co., 1922. V.-III P. 450

313

Цит. по: Louis L. Gerson. Woodrow Wilson and the Rebirth of Poland, 1914-1920
(Герсон Луис Л. Вудро Вильсон и возрождение Польши, 1914— 1920). New Heaven,

Conn.: Yale Univ. Press, 1953. P. 27 - 28.

314

Harold Nicolson. Peacemaking 1919 (Никольсон Гарольд. Миротворческая деятельность 1919 г.). L.: Constable & Co., 1933. P. 187

315

Вильсон Вудро. Обращение, прочитанное в Метрополитен-опере 27 сентября 1918 г.
//Документы Вудро Вильсона. Т. 51. С. 131-132

316

Цит. по: Edward Hallett Carr. *The Twenty Years' Crisis, 1919— 1939* (Карр Эдуард Холлетт. *Двадцатилетний кризис, 1919— 1939*). 2nd ed. 1946. N. Y.: Harper & Row, paper reprint, 1964. P. 34

317

Цит. там же. С. 35

318

Цит. по: Эдемтвэйт, Франция. С. 17

319

Цит. по: Stephen A. Schuker. The End of French Predominance in Europe (Шукер Стивен Э. Конец французского преобладания в Европе). Chapel-Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1976. P. 254

320

Цит. там же. С 251

321

Там же

322

Там же. С. 254

323

Цит. по: F. L. Carsten. Britain and the Weimar Republic (Карстен Ф. Л. Британия и Веймарская Республика). N. Y.: Schocken Books, 1984. P. 128.

324

Papers Respecting Negotiations for an Anglo-French Pact (Документы переговоров о заключении Англо-французского пакта). L.: His Majesty's Stationery Office, 1924, paper №33. P. 112- 113.

325

Minutes of Cabinet Meetings; Conferences of Ministers, Cabinet Conclusions
(Протоколы заседаний кабинета; министерские совещания, решения кабинета). I (22),
10 January 1922. Official Archives, Public Record Office, Cabinet Office, CAB 23/29

326

Карр, Двадцатилетний кризис. С. 200 и ел

327

Цит. по: Карстен, Британия и Веймарская Республика. С. 81

328

Письмо Тардье Хаузу от 22 марта 1919 г. В кн. Тардье. Правда о договоре. С. 136

329

John Maynard Keynes. *Treatise on the Economic Consequences of Peace* (Кейнс Джон Мейнард. Трактат об экономических последствиях мира). L.: Macmillan, 1919

330

Edward Hallett Carr. *The Bolshevik Revolution, 1917— 1923* (Карр Эдуард Холлетт. Большевистская революция, 1917— 1923). V. 3. N. Y.; L.: W.W.Norton, paper ed. 1985.
P. 16

331

Там же. С. 9.

332

Ленин В. И. Собр. соч. Т. 26, Москва: Прогресс, 1964. С. 448

333

Цит. по: Карр, Большевистская революция. С. 44

334

Цит. там же. С. 42

335

Цит. там же. С. 70

336

Цит. там же. С. 161.

337

Цит. по: Edward Hallett Carr. German-Soviet Relations Between the Two World Wars, 1919-1939 (Карр. Германно-советские отношения между двумя мировыми войнами,

1919-1939). Baltimore: Johns Hopkins Press, 1951. P. 40

338

Цит. по: F. L. Carsten. *The Reichwehr and Politics, 1918—1933* (Карстен Ф. Л. Рейхсвер и политика, 1918-1933). Oxford: Oxford Univ. Press, 1966. V. 69

339

Цит. по: George F. Kennan. *Russia and the West Lenin and Stalin* (Кеннан Джордж Ф. Россия и Запад при Ленине и Сталине). Boston; Toronto: Little, Brown 1960 P. 206.

340

Цит. там же. С. 210

341

Там же. С. 212

342

Приводится в кн.: Hermann Graml. Europa in der Zwischen der Kriegen (Грамель Герман. Европа в межвоенный период). Munich, 1969, S. 154

343

Viscount d'Abernon. The Ambassador of Peace: Lord d 'Abernon 's Diary (д'Абернон,

виконт. Посол мира: дневник лорда д'Абернона). V. II. L: Hodder & Stroughton, 1929, P. 225

344

Цит. в кн. Грамля Европа. С. 130

345

Цит. в кн. Шукера Конец французского преобладания в Европе. С. 255

346

Приводится в кн.: Henry L. Bretton. Stresemann and the Revision of Versailles (Бреттон

Генри Л. Штресман и ревизия Версаля). Stanford, Calif.: Stanford Univ Press, 1953. P. 38.

347

Приводится в кн.: Marc Trachtenberg. Reparations in World Politics (Трахтенберг Марк. Репарации в мировой политике). N. Y.: Colambia Univ. Press 1980. P. 48

348

Там же

349

Приводится в кн. Бреттона Штреземан. С. 21

350

Приводится в кн. Карстена Британия и Веймарская Республика. С. 37

351

Приводится в кн.: Hans W. Gatzke. *Stresemann and Rearmament of Germany* (Гацке Ганс В. Штреземан и перевооружение Германии). Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1954. P. 12

352

Gustav Stresemann, His Diaries, Letters and Papers (Густав Штреземан, его дневники, письма и документы). Edited and translated by Eric Sutton. L., 1935. Т. I. P. 225

353

Цит. по: David Dutton. Austen Chamberlain, Gentleman in Politics (Даттон Дэвид. Остин Чемберлен, джентльмен в политике). Bolton: Ross Anderson, 1985. P. 250

354

Цит. там же. С. 5

355

Приводится в кн.: John Jacobson. Locarno Diplomacy (Джейкобсон Джон. Дипломатия Локарно). Princeton: Princeton Univ. Press, 1972. P. 90

356

Приводится в кн.: Raymond J. Sontag. A Broken World, 1919— 1939 (Зонтэг Реймонд Дж. Изломанный мир: 1919— 1939). N. Y.: Harper & Row, 1971. P. 133.

357

Адлер Силиг. Изоляционистский импульс

358

D. W. Brogan. The French Nation, 1814—1940 (Броган Д. В Французская нация: 1814-1940). L.: Hamilton, 1957. P. 267.

359

Цит. у Даттон а, Остин Чемберлен. С. 251

360

Карстен. Рейхсвер и политика

361

Цит. у Бреттона, Штреземан. С. 22

362

Цит. по кн.: Эдемтвэйт. Франция. С. 29

363

Черчилль Уинстон С. Вторая мировая война. Т. 1. Надвигающийся шторм С. 74

364

Там же. С. 73

365

Цит. по: Тэйлор. Первопричины второй мировой войны. С. 66

366

Alan Bullock. Hitler and Stalin: Parallel Lives (Буллок Алан. Гитлер и Сталин: параллельные биографии). N. Y.: Alfred A. Knopf, 1992. P. 380

367

Henry Picker. Hitlers Tischgesprachw in Fuhrerhauptquartier 1941— 1942 (Пикер Генри. Застольные речи в штаб-квартире фюрера, 1941-1942), ed. Percy Ernst Schramm, Stuttgart, 1963.

368

Фиппс — Саймону, 21 ноября 1933 г. Приводится в кн. Тэйлора Первопричины второй мировой войны. С. 73-74

369

Беседа Макдональда с Даладье, 16 марта 1933 г. Там же. С. 74

370

Там же. С. 75

371

Англо-французская встреча, 22 сентября 1933 г. Там же. С. 75-76

372

Цит. в: Martin Gilbert. Churchill: A Life (Джилберт Мартин. Черчилль: очерк жизни).
N. Y.: Henry Holt, 1991. P. 523.

373

Цит. там же. С. 524

374

Цит. там же. С. 523

375

Приводится в кн.: Robert J. Young. In Command of France: French Foreign Policy and Military Planning 1933-1940 (Янг Роберт Дж. Во главе Франции: французская внешняя политика и военное планирование в 1933-1940 годах). Cambridge: Harvard Univ. Press, 1978. P. 37.

376

Приводится в кн. Эдемтвэйта Франция. С. 30.

377

Приводится в кн.: Paul Johnson. *Modern Times: The World from the Twenties to the Eighties* (Джонсон Пол. *Современность: мир с двадцатых по восьмидесятые годы*). N. Y.: Harper & Row, 1983. P. 341

378

Цит. у Джилберта, Черчилль. С. 531

379

Там же. С. 531 -532

380

Там же. С. 537

381

Цит. по: Черчилль. Надвигающийся шторм. С. 119

382

Приводится у Джилберта, Черчилль. С. 538

383

Приводится у Эдемтвэйга, Франция. С. 75

384

Хайле Селассие. 30 июня 1936 г. // David Clay Large. *Between Two Fires: Europe's Path in the 1930s* (Лардж Дэвид Клей. *Между двух огней: путь Европы в тридцатых годах*). N. Y.; L.: W.W.Norton, 1990. P. 177-178

385

Цит. по: Joseph Henke. *England in Hitlers Politischen Kalkul* (Хенке Иозеф. *Англия в политических расчетах Гитлера*). *German Bundesarchiv, Schriften*. № 20, 1973. S. 41

386

Gerhard Weinberg. *The Foreign Policy of Hitler's Germany: Diplomatic Revolution in Europe* (Вайнберг Герхард. Внешняя политика гитлеровской Германии: дипломатическая революция в Европе). Chicago: University of Chicago Press, 1970. P. 241

387

Anthony Eden, Earl of Avon. *The Eden Memoirs, vol. I, Facing the Dictators*. (Иден Антони, граф Эйвон. Мемуары Идена. Т. 1. Лицом к лицу с диктаторами). Boston: Houghton Mifflin, 1962. P. 375 - 376

388

Приводится в кн. Вайнберга *Внешняя политика гитлеровской Германии*. С. 259

389

Там же. С. 254

390

Черчилль. Надвигающийся шторм. С. 196

391

Цит. у Джилберта, Черчилль. С. 553

392

Parliamentary Debates (Парламентские дебаты), 5th ser. V. 309. L.: His Majesty's Stationery Office, March 10, 1936, col. 1976

393

Цит. у Эдемтвэйта, Франция. С. 41

394

Там же. С. 53 и ел

395

Там же

396

Меморандум-циркуляр министерства иностранных дел, приводится у Тэйлора,
Переопричины второй мировой войны. С. 137

397

Цит. у Эдемтвэйта, Франция. С. 68

398

Цит. там же. С. 69

399

Цит. в кн. Крэйга, Германия. С. 698

400

Adolf Hitler. Mein Kampf (Гитлер Адольф. Моя борьба). N. Y.: Reynal & Hitchcock, 1940. P. 175

401

Галифакс — Фиппсу, 22 марта 1938 г. Приводится уТэйлора, Первопричины второй мировой войны. С. 155.

402

Там же. С. 191

403

Там же

404

Буллок. Гитлер и Сталин. С. 582 и сл.

405

Там же. С. 589

406

Цит. у Тэйлора, Переопричины второй мировой войны. С. 191

407

Премьер-министр Макензи Кинг В. Л., 29 сентября 1938 г. // John A. Munro, ed. Documents of Canadian External Relations (Документы канадской внешней политики). V. 6. Ottawa: Department of External Affairs, 1972. P. 1099

408

Премьер-министр Лайонз Дж. А., 30 сентября 1938 г. // R.G. Neale, ed. Documents of Australian Foreign Policy, 1937-1949 (Документы австралийской внешней политики, 1937-1949). V. I. Canberra: Australian Government Publishing Service. P. 476

409

Чемберлен — палате общин, 3 октября 1938 г. Парламентские дебаты. V. 339 (1938), col. 48

410

Приводится в: Т.А. Taracouzo. War and Peace in Soviet Diplomacy (Таракудзо Т. А. Война и мир в советской дипломатии). N. Y.: Macmillan, 1940. P. 139-140

411

Речь Сталина на XV съезде партии 3 декабря 1927 г. Цит. в кн.: Nathan Leites, A Study of Bolshevism (Ляйтес Натан. Очерки большевизма). Glenkoe, Ill.: Free Press of Glenkoe, 1953. P. 501

412

Речь Сталина на XVII съезде партии 26 января 1934 г. // Alvin Z. Rubinstein, ed. The Foreign Policy of the Soviet Union {Внешняя политика Советского Союза). N. Y.: Random House, 1960. P. 108

413

Доклад на VII конгрессе Коммунистического интернационала, август 1935 г. Там же.
С. 133 - 136

414

Robert Legvold. After the Soviet Union: From Empire to Nations (Легволд Роберт.
После Советского Союза: от империи к нациям). N. Y.: W.W.Norton, 1992. P. 7.

415

Приводится в кн. Эдемтвэйта Франция. С. 264

416

Приводится в кн.: Anthony Read and David Fisher. *The Deadly Embrace: Hitler, Stalin and the Nazi-Soviet Pact 1939— 1941* (Рид Энтони и Фишер Дэвид. *Смертельное объятие: Гитлер, Сталин и нацистско-советский пакт 1939-1941 гг.*). N. Y.; L.: W. W. Norton, 1988. P. 57

417

Donalg Cameron Watt. *How the War Came: The Immediate Origins of the Second World War, 1939-1945* (Уотт Дональд Камерон. *Как наступала война: непосредственные причины второй мировой войны, 1939-1946 гг.*). L.: William Heinemann, 1989. P. 109

418

Цит. у Рида и Фишера, *Смертельное объятие*. С. 59

419

Там же

420

Цит. по: Keith Feiling. The Life of Nevill Chamberlaine (Филикг Кейт. Жизнь Невилла Чемберлена). L: Macmillan, 1946. P. 403

421

Цит. у Уотта, Как наступила война. С. 221-222

422

Цит. у Рида и Фишера, Смертельное обьятие. С. 69

423

Там же. С. 72

424

Буллок, Гитлер и Сталин. С. 614

425

Приводится в кн. Крэйга, Германия. С. 711-712

426

Цит. у Буллока, Гитлер и Сталин. С. 616

427

Там же. С. 617

428

Там же. С. 620

429

Буллок. Гитлер и Сталин. С. 679-680

430

Там же. С. 682

431

Рид и Фишер. Смертельное обьятие. С. 508. См. также: Буллок. Гитлер и Сталин. С. 687.

432

Рид и Фишер. Смертельное обьятие. С. 509

433

Цит. по: Martin Weight. The Power Politics (Уайт Мартин. Силовая политика). N. Y.: Holmes and Meier, 1978. P. 176

434

Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, series D (Документы германской внешней политики: 1918- 1945. Серия «Д») (1937- 1945). V. XI «The War Years». Washington, D.C.: U.S.Government Printing Office, 1960. P. 537

435

Там же

436

Там же. С. 537 - 538

437

Там же. С. 539

438

Рид и Фишер. Смертельное обьятие. С. 519

439

Буллок. Гитлер и Сталин. С. 688

440

Там же. С. 689

441

Рид и Фишер. Смертельное обьятие. С. 530

442

Там же. С. 532

443

В наши времена утверждалось — с моей точки зрения, ошибочно, — что на самом деле это не являлось советским «предложением». См. выдвигаемую аргументацию

(противоположную аргументации Збигнева Бжезинского) в кн.: Raymond L. Garthoff. Detente and Confrontations: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan (Реймонд Л. Гартхофф. Разрядка и конфронтация: американско-советские отношения от Никсона до Рейгана). Washington: Brooking Institution, 1985, pp. 941-942

444

Буллок. Гитлер и Сталин. С. 688

445

Рид и Фишер. Смертельное обьятие. С. 568. См. также: Буллок. Гитлер и Сталин. С. 716.

446

Рид и Фишер. Смертельное обьятие. С. 576.

447

Там же

448

Там же. С. 640

449

Там же. С. 647 - 648

450

Там же. С. 629

451

Isaiah Berlin. Personal Impressions (Берлин Исая. Личные впечатления) / Ed. by Henry Hardy. N. Y.: Viking Press, 1981. P. 26

452

См. там же. С. 23-31

453

Там же

454

U.S. Senate. Conference on the Limitation of Armament, Senate Documents (Сенат США. Конференция по ограничению вооружений. Сенатские документы). V. 10. 67th. Cong., 2nd sess., 1921-1922. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1922. P.

11

455

Адлер. Изоляционистский импульс. С. 142

456

Сенат США. Конференция по ограничению вооружений. С. 867-868

457

Адлер. Изоляционистский импульс. С. 214

458

Там же. С. 216

459

Там же. С. 214

460

Frank B. Kellog. *The Settlement of International Controversies by Pacific Means* (Келлог Фрэнк Б. Урегулирование международных разногласий мирными средствами).
Обращение к Всемирному альянсу за международную дружбу от 11 ноября 1928 г.
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1928

461

Там же

462

Henry L. Stimson and McGeorge Bundy. On Active Service In Peace and War (Стимсон Генри И. и Бани Макджордж. На действительной службе в дни мира и войны). N. Y.: Harper & Brothers, 1948. P. 259

463

Обращение Рузвельта к Фонду Вудро Вильсона от 28 декабря 1933 г. // The Public Papers and Adresses of Franklin D. Roosevelt (Документы общественного значения и обращения Франклина Д. Рузвельта). N. Y.: Random House, 1938. V. 2, 1933. P. 548-549

464

465

Ruhl J. Batler, ed. *The Record of American Diplomacy* {Документы американской дипломатии). N. Y.: Alfred A. Knopf, 1956. P. 572-577. Первый закон о нейтралитете, подписанный ФДР 31 августа 1935 г.: эмбарго на поставки оружия; запрет американцам плавать на судах воюющих стран. Второй закон о нейтралитете, подписанный ФДР 29 февраля 1936 г. (за неделю до введения войск в Рейнскую область 7 марта), продлевал срок действия Первого закона по 1 мая 1936 г. включительно и добавлял запрет на предоставление займов и кредитов воюющим странам. Третий закон о нейтралитете, подписанный ФДР 1 мая 1937 г., продлевал срок действия предыдущих актов вплоть до полуночи дня, предшествующего дню вступления Соединенных Штатов в войну, плюс вводил разрешение на доставку определенных невоенных грузов по принципу «cash and carry» («плати наличными и увози»).

466

Договор между Соединенными Штатами и Германией о восстановлении дружес-

ственных отношений и прекращении состояния войны между ними, подписанный в Берлине 25 августа 1921 г

467

Памятная записка Халла ФДР от 9 марта 1936 г. // Формирование американской дипломатии. Т. II, 1914-1968. С. 199

468

Обращение в Чикаго 5 октября 1937 г. // Документы общественного значения Н. У.: Macmillan Co., 1941, V. 1937. P. 410

469

Там же. Т. 1939, предисловие ФДР. С. XXVIII

470

Charles A. Beard. *American Foreign Policy in the Making, 1932— 1940: A Study in Responsibilities* (Берд Чарльз Э. Становление американской внешней политики, 1932-1940: вопросы ответственности). New Heaven, Conn.: Yale Univ. Press, 1946. P. 188 ff".

471

Там же. С. 190

472

Там же, курсив мой

473

Там же. С. 193.

474

Там же

475

Цит. у Адлера. Изоляционистский импульс. С. 244-245

476

Цит. в кн. Эдемтвэйта, Франция. С. 209

477

Пресс-конференция Рузвельта 9 сентября 1938 г. // Complete Presidential Press Conferences of Franklin Delano Roosevelt (Полное собрание президентских пресс-конференций Франклина Делано Рузвельта). V. 12, 1938. N. Y.: Da Capo Press, 1972, под соответствующей датой

478

Радиообращение к форуму газеты Gerald Tribune, 26 октября 1938 г. //Документы
общественного значения. Т. 1938. С. 564

479

Там же. С. 565

480

Уотт. Как наступила война. С. 130

481

Ежегодное послание к Конгрессу от 4 января 1939 г. // Документы общественного

значения. Т. 1939. С. 3

482

Рузвельт Франклин Д. Полное собрание президентских пресс-конференций
Франклина Делано Рузвельта. Т. 13, 1939. С. 262

483

Рузвельт. Документы общественного значения. Т. 1939. С. 198-199

484

Уотт. Как наступила война. С. 261

485

Президент вновь ищет путь к миру. Послание канцлеру Адольфу Гитлеру и премьеру Бенито Муссолини. 14 апреля 1939 г. // Документы общественного значения. Т. 1939. С. 201-205.

486

Речь Ванденберга в сенате «В первую очередь думать об Америке не является трусостью». 27 февраля 1939 г. // *Vital Speeches of the Day* (Жизненно важные речи наших дней). Т. V. № 12 (1 апреля 1939 г.). С. 356 - 357

487

Цит. у Адлера. Изоляционистский импульс. С. 248

488

Ted Morgan. FDR: A Biography (Морган Тед. ФДР: биография). N. Y.: Simon & Schuster, 1985. P. 520

489

Обращение к университету штата Вирджиния от 10 июня 1940 г. // Документы общественного значения. Т. 1940. С. 263-264

490

Речь Черчилля в палате общин 4 июня 1940 г. // Мартин. Черчилль: очерк жизни. С. 656

491

Обращение Рузвельта «О положении в стране» 6 января'1941 г. // Жизненно важные речи. Т. VII. № 7 (15 января 1941 года). С. 198

492

Цит. у Адлера. Изоляционистский импульс. С. 282

493

Там же

494

Там же. С. 284.

495

Черчилль Уинстон С. Вторая мировая война. Т. 3 Великий альянс, 1950. С. 140

496

Радиообращение с объявлением общенационального неограниченного чрезвычай-

чайного положения от 27 мая 1941 г. //Документы общественного значения. Т. 1941. С. 192

497

Атлантическая хартия: официальное заявление по поводу встречи президента и премьер-министра Черчилля 14 августа 1941 года. Там же. С. 314

498

Там же. С. 315

499

Беседа у камина с нацией, 11 сентября 1941 г. Там же. С. 384-392

500

Адлер. Изоляционистский импульс. С. 257

501

Churchill & Roosevelt. The Complete Correspondence (Черчилль и Рузвельт. Полное собрание переписки), 3 vols., ed. by Warren F. Kimball. Т. II Сплочение альянса: ноябрь 1942— февраль 1944 г. Princeton: Princeton Univ. Press, 1984. P. 767.

502

Herbert Feis. Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought (Файс Герберт. Черчилль, Рузвельт и Сталин: война, которую они вели, и мир, к которому они стремились). Princeton: Princeton Univ. Press, 1957. P. 340.

503

James MacGregor Burns. Roosevelt: The Soldier of Freedom (Берне Джеймс Макгрегор. Рузвельт: солдат свободы). N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1970. P. 566

504

Послание Черчиллю от 1 июня 1942 г. // Черчилль и Рузвельт, переписка. Т. I Альянс зарождается: октябрь 1933 — ноябрь 1942 г. С. 502.

505

Elliot Roosevelt. As He Saw It (Рузвельт Эллиот. Его глазами). N. Y.: Duell, Sloan and Pearce, 1946. P. 115 - 116

506

Приводится в кн.: Robert Dallek. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945 (Даллек Роберт. Франклин Д. Рузвельт и американская внешняя политика: 1932- 1945). N. Y.: Oxford Univ. Press, 1979. P. 324

507

Хэлл Корделл. Обращение к Конгрессу относительно Московской конференции, 13 ноября 1943 г. // U. S. Department of State Bulletin (Бюллетень госдепартамента США). Т. IX. № 230 (20 ноября 1943 г.). С. 343

508

Черчилль Уинстон С. Вторая мировая война. Т. 4 Роковой барьер. С. 214.

509

William Roger Louis. Imperialism at Bay: The United States and the Decolonization of the British Empire, 1941-1945 (Луис Вильям Роджер. Империализм в страхе: Соединенные Штаты и деколонизация Британской империи, 1941-1945 гг.). N. Y.: Oxford Univ. Press, 1978. P. 121.

510

Там же. С. 129

511

Там же. С. 154- 155.

512

За этот аналитический материал я в значительной степени благодарен Питеру Родмену, чья книга о подходах США и СССР к «третьему миру» готовится к выходу в издательстве «Charles Scribner's Sons»

513

Меморандум Чарлза Тауссига от 15 марта 1944 г., цитируемый в кн. Луиса. Империализм в страхе. С. 406

514

Цит. в: Robert E. Sherwood. Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (Шервуд Роберт Э. Рузвельт и Гопкинз: история личных взаимоотношений). N. Y.: Harper & Brothers, 1948. P. 605

515

Фай с. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 11-13

516

См.: Eric Larrabee. Commander in Chief: Franklin Delano Roosevelt, His Lieutenants, and Their War (Ларраби Эрик. Главнокомандующий Франклин Делано Рузвельт, его ближайшие помощники и их война). N. Y.: Harper & Row, 1987. P. 503

517

Берне, Рузвельт. С. 374

518

Выражаю признательность Артуру Шлезингеру-младшему за возможность воспользоваться материалами его неопубликованной речи «Франклин Д. Рузвельт и внешняя политика США», произнесенной в колледже Вассар 18 июня 1992 года на заседании Общества по изучению истории американских внешних сношений

519

Sir John Wilier-Bennet and Anthony Nichols. The Semblance of Peace (Уилер-Беннетт Джон, сэр и Николлз Антони. Подобие мира). L: Macmillan, 1972. P. 46 ff

520

Цит. в: The Memoirs of Cordell Hull (Мемуары Корделла Хэлла). V. II. N. У.: Macmillan, 1948. P. 1452

521

Уилер-Беннетти Николлз. Подобие мира. С. 49

522

Хэлл. Мемуары. Т. II. С. 1168 - 1170

523

Цит. в кн. Файса. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 59.

524

Цит. по: Wiliam G. Hyland. The Cold War Is Over (Хайленд Вильям Дж. Холодная война окончилась). N. Y.: Random House, 1990. P. 32

525

Цит. у Шервуда. Рузвельт и Гопкинз. С. 572-573

526

Цит. там же. С. 572.

527

Речь Шлезингера «Рузвельт и внешняя политика США». С. 18.

528

Там же. С. 17

529

John Colville. *The Fringers of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939-1955* (Кол вилл Джон. Периферия власти: дневники с Даунинг-стрит, 10, 1939— 1955 гг.). N. Y.; L.: W.W.Norton, 1985. P. 404

530

Файс. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 131-132

531

Буллок. Гитлер и Сталин. С. 821

532

Файс. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 285 (выделено мною).

533

Цит. у: Frances Perkins. *The Roosevelt I Knew* (Перкинс Фрэнсис. Рузвельт, которого я знала). N. Y.: Viking, 1946. P. 84-85

534

Приводится в статье: Bertram D. Hulien. *Washington Hails Reds' Step As a Great Gain for the Allies* (Хюлен Бертрам Д. Вашингтон приветствует шаг красных как великое достижение союзников) *The New York Times*, May 23, 1943. P. 30

535

The United States in a New World (Соединенные Штаты в новом мире), приложение к Fortune, апрель 1943 г.

536

Беседа Рузвельта у камина в сочельник по поводу Тегеранской и Каирской конференций, 23 декабря 1943 г. //Документы общественного значения. Т. 1943. С. 558

537

Черчилль Уинстон С. Вторая мировая война. Т. 6 Триумф и трагедия. С. 198. См. также : Черчилль и Рузвельт, переписка. Т. III Альянс клонится к закату: февраль 1944

— апрель 1945 г. С. 351 и Хайленд. Холодная война. С. 35-36

538

Файс. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 522-523

539

Цит. у Даллена. Франклин Д. Рузвельт. С. 520

540

Цит. у Шервуд. Рузвельт и Гопкинз. С. 870

541

Инаугурационное обращение Франклина Рузвельта от 20 января 1945 г. // Президенты говорят. С. 248

542

Цит. у: Даллена. Франклин Д. Рузвельт. С. 521

543

Приводится у Milovan Djilas. *Conversations with Stalin* (Джилас Милован. Беседы со Сталиным). N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1962. P. 114

544

Цит. у Файса. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 607-608

545

Буллок. Гитлер и Сталин. С. 883-884

546

Черчилль. Триумф и трагедия (изд. в бумажной обложке), 1986. С. 436

547

Волкогонов Дмитрий. Сталин: триумф и трагедия / Ed. and trans, by Shukman.
Rocklin, Calif.: Prima Publishing, 1991-1992, оригинальное изд.: N. Y.: Grove
Weidenfeld, 1991, pp. 412 ff

548

См.: Буллок. Гитлер и Сталин. С. 697 и ел

549

Цит. в: Joachim C. Fest. Hitler (Фест Иоахим Х. Гитлер) / Trans, by Richard and Clara
Winston. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1974. P. 694

550

Черчилль. Триумф и трагедия. С. 308

551

Цит. у Даллека. Франклин Д. Рузвельт. С. 505

552

Файс. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 270

553

Берне. Рузвельт: солдат свободы. С. 448-449

554

Приводится у Силига. Изоляционистский импульс. С. 285

555

Это заявление Трумэна относится к концу мая 1945 г., оно было высказано на встрече с лидерами Национального комитета политических действий граждан и приводится в кн. Richard J. Walton. Henry Wallace, Harry Truman and the Cold' War (Уолтон Ричард Дж. Генри Уоллес, Гарри Трумэн и холодная война). N. Y.: Viking Press, 1976. P. 119

556

Обращение, сделанное на совместном заседании обеих палат Конгресса 16 апреля 1945 г. // *Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman* (Официальные документы президентов соединенных Штатов, Гарри С. Трумэн). Том «1945 год». Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1961. P. 5. (Далее — *Документы Трумэна*). Повторно приводится на с. 22 в обращении Трумэна от 25 апреля 1945 г.

557

W. Averell Harriman and Elie Abel. *Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941-1946* (Гарриман В. Аверелл и Абель Эли. Посол по особым поручениям при Черчилле и Сталине, 1941 - 1946). N. Y.: Random House, 1975. P. 474

558

Черчилль Уинстон С. Вторая мировая война. Т. 6 Триумф и трагедия. С. 503

559

Harry S. Truman. Years of Decisions (Трумэн Гарри С. Годы решений). V.I . N. Y.:
Doubleday, 1955. P. 260.

560

Файс. Черчилль, Рузвельт, Сталин. С. 133

561

Там же. С. 652

562

Fleet Admiral William D. Leahy. / Was There: The Personal History of the Chief of Staff to Presidents Roosevelt and Truman Based on His Notes and Diaries Made at the Time (Вильям Д. Лиги, адмирал флота. Я там был: личные воспоминания начальника аппарата президентов Рузвельта и Трумэна на базе заметок и дневниковых записей, сделанных в то время). N. Y.; L.; Toronto: Whittlesey House/McGraw-Hill Book Company, 1950. P. 379-380

563

Там же. С. 380

564

Приводится в кн. Шервурда. Рузвельт и Гопкинс. С. 890

565

Там же. С. 908.

566

Ознакомительная брошюра «Британские планы создания западноевропейского блока» государственного департамента, 4 июля 1945 г. U.S. Department of State. Foreign Relations of the United States: The Conference of Berlin (The Potsdam Conference) 1945 (Государственный департамент США. Международные отношения Соединенных Штатов: Берлинская конференция (Потсдамская конференция) 1945 года). Washington, D. C: U. S. Government Printing Office. V. I. P. 262-263.

567

Приводится в кн.: Terry H. Anderson. *The United States, Great Britain and the Cold War, 1944-1947* (Андерсон Терри Х. Соединенные Штаты, Великобритания и холодная война, 1944-1947). Columbia, Mo.: University of Missouri Press, 1981. P. 69

568

Приводится в кн. Robert J. Donovan. *Conflict and Crisis: The Presidency of Harry S. Truman 1945-1948* (Донован Роберт Дж. Конфликт и кризис: президентство Гарри С. Трумэна в период с 1945 по 1948 год). N. Y.: W.W.Norton, 1977. P. 81

569

Цит. там же. С. 84

570

Трумэн, Годы решений. С. 416

571

Черчилль, Триумф и трагедия. С. 582

572

Приводится в кн.: John Lewis Gaddis. The United States and the Origins of the Cold War (Гэддис Джон Льюис. Соединенные Штаты и причины возникновения холодной войны). N. Y.: Colambia Univ. Press, 1972. P. 266

573

Обращение Трумэна по вопросам внешней политики на праздновании Дня военно-морского флота в Нью-Йорке 27 октября 1945 г. // Документы Трумэна Т. «1945 год». С. 431 -438

574

Приводится у Гэддиса. Причины возникновения холодной войны. С. 280

575

Джилас. Беседы со Сталиным, 1962. С. 114

576

Robert Conquest. The Evil of This Time (Конквест Роберт. Зло нынешнего времени).-
New York Review of Books. V. XI. № 15 (23 сентября 1993 г.). P. 27

577

Приводится в книге автора Nuclear Weapons and Foreign Policy (Ядерное оружие и
внешняя политика). N. Y.: Harper & Brothers, publishing for the Council on Foreign
Relations, 1957. P. 367

578

Там же. С. 371

579

Приводится в кн. Буллока. Гитлер и Сталин, 1992. С. 907

580

Предвыборное обращение Иосифа Сталина по московскому радио 9 февраля 1946 г.
«Новая пятилетка для России» // The New York Times от 10 февраля 1946 г.

581

Там же.

582

Там же.

583

См.: P. M. S. Blackett. *Atomic Weapons and East-West Relations* (Блэкетт П. М. С. *Атомное оружие и отношения между Востоком и Западом*). N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1956.

584

Речь Уинстона С. Черчилля. «Мускулы мира», произнесенная 5 марта 1946 г. в

Вестминстерском колледже, Фултон, штат Миссури (Фултонская речь) // Robert Rhodes James, ed. Winston S. Churchill: His Complete Speeches, 1897-1963 (Уинстон С. Черчилль. Полное собрание речей с 1897 по 1963 год). N. Y.; L: Chelsea House in association with R. R. Bowker. V. VII «1943 - 1949». P. 7285 ff

585

Там же. С. 7292

586

George F. Kennan. «Long Telegram» from Moscow, February 22, 1946 (Кеннан Джордж Ф. «Длинная телеграмма» из Москвы от 22 февраля 1946 года) // Foreign Relations of the United States, 1946 (Внешние сношения Соединенных Штатов, 1946 год). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1969. V. VI. P. 697

587

Жданов Андрей. «Доклад о международном положении», произнесенный на учредительной конференции Коминформа в сентябре 1947 г. Приводится по материалам комитета по иностранным делам палаты представителей США The Strategy and Tactics of World Communism (Стратегия и тактика мирового коммунизма), приложение I «Сто лет коммунизма: 1848-1948», 80th Cong., 2nd sess., doc. № 619 Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1948. P. 211 ff

588

Буллок. Гитлер и Сталин. С. 922

589

Там же. С. 923.

590

Радиообращение от 28 апреля 1947 г. // Бюллетень государственного департамента
США. Т. XVI. № 410. С. 924

591

Кеннан. «Длинная телеграмма». С. 666-709.

592

Там же. С. 700

593

Там же. С. 699

594

H Freeman Mattews. Memorandum by the Acting Department of State Member (Mattews) to the State-War-Navy Coordinating Committee, «Political Estimate of Soviet Policy for Use in Connecting with Military Studies» (Мэтьюз Х. Фримен. Памятная записка члена коллегии государственного департамента (Мэтьюза) комитету по координации деятельности правительственных учреждений с военным и военно-морским командованием «Политическая оценка советской политики, предлагаемая для использования в связи с проработкой вопросов военного характера») от 1 апреля 1946 г. // Внешние сношения Соединенных Штатов, 1946 год. Т. I. С. 1169.

595

Там же

596

Там же, С. 1170

597

Там же. С. 1168

598

Там же. С. 1170

Clark Clifford. American Relations with the Soviet Union: A Report to the President by the Special Counsel to the President (Клиффорд Кларк. Американские отношения с Советским Союзом. Доклад специального советника президента президенту). 24 сентября 1946 г. // Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds. Containment: Documents of American Policy and Strategy, 1945-1950 (Сдерживание: документы по американской политике и стратегии, 1945-1950 гг.) N. Y.: Colambia Univ. Press, 1978. P. 66.

Там же. С. 67 (выделено мною)

601

Там же. С. 68

602

Там же. С. 71

603

Цит. по: Joseph M. Jones. *The Fifteen Weeks (February 21 — June 5, 1947)* (Джоунз Джозеф М. Пятнадцать недель (21 февраля — 5 июня 1947 года). N Y-Viking Press, 1955. P. 141.

604

«Документы Трумэна». Т. «1947 год». С. 178

605

Там же. С. 179

606

Там же. С. 178

607

George Marshall. European Initiative Essential to Economic Recovery (Маршалл Джордж. Европейская инициатива, существенно важная для экономического восстановления). Обращение на церемонии присуждения ученых степеней в Гарвардском университете 5 июня 1947 г. // Бюллетень государственного департамента США. Т. XVI. № 415 (5 июня 1947 г.). С. 1160 (выделено мною).

608

Там же

609

Там же

610

«Икс» (Джордж Ф. Кеннан). Источники советского образа действий. С 575

611

Там же. С. 581

612

Там же. С. 579 - 580

613

Там же. С. 582

614

Свидетельские показания посла Уоррена Остина в комитете по иностранным делам сената США 28 апреля 1949 г. The North Atlantic Treaty, Hearings, 81st Cong., 1st sess. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949. Part I. P. 97

615

Там же, приложение к ч. I. С. 334-337

616

Там же. С. 337

617

Там же, часть I. С. 17

618

Там же. С. 150

619

Комитет по иностранным делам сената США. Report on the North Atlantic Treaty. 81st

Cong., 1st sess. 6 июня 1949 г. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office 1949.
P.23.

620

См., к примеру, свидетельские показания Ачесона в сенатских комитетах по иностранным делам и по вопросам вооруженных сил 8 августа 1949 г. // Государственный бюллетень. Т. XXI. № 529 (22 августа 1949 г.). С. 265 и сл.; а также обращение его к Торговой палате США 30 апреля 1951 г. // Государственный бюллетень. Т. XXIV. № 619 (14 мая 1951 г.). С. 766 - 770

621

Обращение Ачесона на заседании Ассоциации выпускников Гарвардского университета, Achieving a Community Sense Among Free Nations — A Step Toward World Order (Достижение чувства общности среди свободных наций — шаг к мировому порядку) 22 июня 1950 г. Кембридж, штат Массачусетс // Государственный бюллетень. Т. XXIII. №574(3 июля 1950 г.). С. 17

622

Черчилль Уинстон С. Вторая мировая война. Т. 6 Триумф и трагедия. С. 266

623

NSC-68, United States Objectives and Programs for National Security (Документ Совета по вопросам национальной безопасности № 68, Задачи и программы обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов), 14 апреля 1950 г. // Внешние сношения Соединенных Штатов, 1950 год. Т. I. С. 240

624

Там же. С. 241

625

Там же

626

Там же. С. 241-242

627

Там же. С. 279

628

Walter Lippmann. The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy (Липпман Уолтер. Холодная война: очерки американской внешней политики). N. Y.; L.: Harper & Brothers, 1947. P. 13

629

Там же. С. 23

630

Там же. С. 61-62

631

Черчилль Уинстон С. Полное собрание речей, 1897-1963». Т. VII «1943-1949». 1974.
С. 7710

632

Там же. Т. VIII (1950 - 1963). С. 8132

633

Henry A. Wallace. Toward World Peace (Уоллес Генри Э. Обеспечить мир во всем мире). N. Y.: Reynal & Hitchcock, 1948. С. 118

634

Уоллес Генри Э. Обращение на митинге в Мэдисон-Сквер-Гарден 12 сентября 1946 г. // Walter LaFeber, ed. *The Dynamics of World Power: A Documentary History of United States Foreign Policy, 1945—1973* (Динамика мирового могущества: документированная история внешней политики Соединенных Штатов, 1945—1973). Т. II «Восточная Европа и Советский Союз». N. Y.: Chelsea House Publishers, 1973. P. 260

635

Приводится в: J. Samuel Walker. *Henry A. Wallace and American Foreign Policy* (Уокер Сэмюэл Дж. Генри Э. Уоллес и американская внешняя политика). Westport, Conn.: Greenwood press, 1976. P. 129

636

Там же. С. 121

637

У о л л е с. Памятная записка Трумэну от 14 марта 1946 г. // Трумэн. Годы решений.
Мемуары. Т. I. С. 555

638

Уоллес. Обращение в Мэдисон-Сквер-Гарден 12 сентября 1946 г. //Динамика
мирового могущества. С. 258-259

639

Речь Уоллеса о выдвижении им своей кандидатуры на пост президента от 29 декабря 1947 г. // Thomas G. Paterson, ed. *Cold War Critics: Alternatives to American Policy in the Truman Years* (Критики холодной войны: альтернативы американской внешней политики трумэновских лет). Chicago: Quadrangle Books, 1971. P. 98-103

640

Уоллес. Цит. в статье: Alonzo Hanby. Henry A. Wallace, The Liberals, and Soviet-American Relation (Ханби Алонсо. Генри Э. Уоллес, либералы и советско-американские отношения). *Review of Politics*. V. XXX (апрель 1968 г.). P. 164

641

George F. Kennan. *Russia, the Atom and the West* (Кеннан Джордж Ф. Россия, атом и Запад). N. Y.: Harper & Brothers, 1957. P. 13

642

Подкомитет комитета по бюджетным ассигнованиям палаты представителей США.
Military Functions: National Military Establishment Appropriation Bill for 1949
(Слушания по вопросу Военные функции: законопроект об ассигнованиях на
национальные военные нужды на 1949 год). 80th Cong. 2nd sess. Washington, D.C.:
U.S. Government Printing Office, 1948. Pt. 3. P. 3

643

Интервью генерала Макартура с Г. Уордом Прайсом // The New York Times, 2 марта
1949 г. С. 22

644

Замечания государственного секретаря Дина Ачесона на тему Кризис в Азии: обзор
политики США, сделанные 12 января 1950 г. в Национальном пресс-клубе в

Вашингтоне. // Бюллетень Государственного департамента США. Т. XXII. № 551 (23 января 1950 г.). С. 116

645

Nikita S. Khrushchev. *Khrushchev Remembers* (Хрущев Н. С. Хрущев вспоминает). With an Introduction, Commentary and Notes by Edward Crankshaw, translated and edited by Strobe Talbott. Boston: Little, Brown, 1970. P. 368-369. Недавно раскрытые советские материалы дают понять, что советская роль была гораздо более значительной. См.: Kathryn Weathesby. *New Findings on the Korean War* (Везерсби Кэтрин. Новые находки по Корейской войне) // *Cold War International History Project Bulletin*, Fall 193, Woodrow Wilson Center, Washigton, D.C

646

Заявление президента Трумэна, опубликованное 27 июня 1950 г. // Harry S. Truman. *Years of Trial and Hope, 1946— 1952, Memoirs* (Трумэн Гарри Ш. Годы попыток и надежд, 1946 - 1952. Мемуары). V.2. N. Y.: Doubleday, 1956. P. 338 - 339

647

Там же. С. 339.

648

Там же

649

Там же

650

Приводится в: Max Hastings. The Korean War (Гастингс Макс. Корейская война). М.: Simon & Schuster, 1987. P. 133

651

Документы Трумэна. С. 338-339

652

Заявление Трумэна от 30 ноября 1950 г. Там же. С. 724

653

Документы Трумэна. Т. «1951 год». С. 227

654

Комитет по вопросам вооруженных сил и комитет по внешним сношениям Сената США. Military Situation in the Far East. Hearing (Слушания на тему: Военная ситуация на Дальнем Востоке). 82nd Cong., 1st sess., Washington, D.C: U.S.Government Printing Office, 1951. Pt. 1. P. 75 (в дальнейшем именуются «Макартуровские слушания»)

655

Там же. С. 30

656

Там же

657

Документы Трумэна. Т. «1951 год». С. 226-227.

658

Там же. С. 227

659

Макартуровские слушания. Ч. 1. С. 45

660

Там же. Ч. 2. С. 938

661

Там же. Ч. 3. С. 1717

662

Там же. С. 1718- 1719

663

Трумэн, Попытки и надежды. С. 345

664

Макартуровские слушания. Ч. 1. С. 593

665

Там же. Ч. 2. С. 896

666

Там же. С. 732

667

Там же. Ч. 3. С. 1720

668

General Matthew B. Ridgway, U.S.A., Ret. Soldier The Memoirs of Matthew B. Ridgway (Риджуэй Мэтью Б. генерал армии США в отставке. Солдат: мемуары). Westport, Conn., Greenwood Press, 1974 г. reprint. P. 219-220

669

Макартуровские слушания. Ч. 1. С. 68

670

Гастингс, Корейская война. С. 186 и ел

671

Цит. там же. С. 197

672

Макартуровские слушания. Ч. 3. С. 1717

673

Варга Евгений. Изменения в экономике капитализма в результате второй мировой войны. Москва: Политическая литература, 1946. Цит. в: Allen Linch. The Soviet international Relations (Линч Аллен Очерки овой войны. Москва: Политическая литература, 1946. Цит. в: Allen Linch. The Soviet Study of International Relations (Линч Аллен. Очерки советских международных отношений). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1967. P. 20-28

674

Хайленд. Окончание «холодной войны». С. 63

675

Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР Ц Bruce Franklin, ed.
The Essential Stalin: Major Theoretical Writings 1905— 1952 (Важнейшие произведения
Станина: крупнейшие теоретические работы, 1905-1952). N. Y.: Anchor Books, 1972. P.
471.

676

Там же

677

Там же

678

Нота Советского Союза Соединенным Штатам, содержащая советский проект мирного договора с Германией, от 10 марта 1952 г. В сб. государственного департамента США Documents of Germany, 1944-1985 {Документы по Германии, 1944-1985). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, без даты, публ. № 9446. С. 361-364.

679

Там же

Нота Соединенных Штатов Советскому Союзу с предложением о создании до заключения мирного договора общегерманского правительства на основе свободных выборов от 25 марта 1952 г. Там же. С. 364-365.

Нота Советского Союза Соединенным Штатам от 9 апреля 1952 г. с предложением об осуществлении силами четырех держав, а не Организации Объединенных Наций, изучения наличия условий для проведения общегерманских свободных выборов. Там же. С. 365-367. Нота Соединенных Штатов Советскому Союзу от 13 мая 1952 г. о подтверждении полномочий Организации Объединенных Наций по изучению наличия условий для проведения общегерманских свободных выборов. Там же. С. 368 — 371. Нота Советского Союза Соединенным Штатам от 24 мая 1952 г. с предложением об одновременном обсуждении четырьмя державами германского мирного договора, вопроса воссоединения Германии и вопроса создания общегерманского правительства. Там же. С. 374-378. Нота Соединенных Штатов Советскому Союзу, подтверждающая необходимость изучения наличия условий для проведения общегерманских свободных выборов в качестве первого шага на пути к объединению Германии, от 10 июля 1952 г. Там же. С. 385-388. Нота Советского Союза Соединенным Штатам от 23 августа 1952 г. с предложением о проведении совещания четырех держав для обсуждения германского мирного договора, вопросов формирования общегерманского правительства и проведения общегерманских выборов. Там же. С. 388-393. Нота Соединенных Штатов Советскому Союзу,

настоятельно призывающая сосредоточить усилия... на разрешении проблемы свободных выборов в Германии, от 25 сентября 1952 г. Там же. С. 395-397

682

Замечания Сталина на заключительном заседании XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза 14 октября 1952 г. // Current Digest of the Soviet Press. T. IV. № 38 (1 ноября 1952 г.). С. 9 - 10

683

Буллок. Гитлер и Сталин, 1992. С. 968

684

Хрущев. Хрущев вспоминает. С. 392-394

685

Совет по внешним сношениям. Соединенные Штаты и международные дела. 1953.
С. 116

686

Колвилл. Периферия власти, 1985. С. 654

687

Приводится в кн.: Martin Gilbert. Winston S. Churchill; Never Despair, 1945-1965
(Джилберт Мартин. Уинстон С. Черчилль: никогда не отчаиваться! 1945-1965). Boston:
Hughton Mifflin, 1988. P. 510.

688

Замечания, сделанные в Белом доме 16 февраля 1950 г. // Бюллетень
государственного департамента США. Т. XXII. № 559 (20 марта 1950 г.). С. 427-429

689

Колвилл. Периферия власти. С. 650

690

Peret G. Boyle, ed. *The Churchill-Eisenhower Correspondence, 1953-1955* (Переписка Черчилля с Эйзенхауэром, 1953-1955). Chapel-Hill, N.C.; L.: Univ. Of North Carolina Press, 1990. P. 36.

691

Обращение «Шанс мира», произнесенное 16 апреля 1953 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, на заседании Американского общества газетных издателей // *Formal Papers of the Presidents of the United States, Dwight Eisenhower, 1953 vol.* (Официальные документы президентов Соединенных Штатов, Дуайт Д. Эйзенхауэр. Т. «1953 год»). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1960. С. 179-188 (в дальнейшем именуемые «Документы Эйзенхауэра»). История подготовки текста речи Эйзенхауэра рассказана в кн. W.W.Rostow. *Europe After Stalin: Eisenhower's Three Decisions of March 11, 1953* (Ростов В. В. Европа после Сталина: три решения Эйзенхауэра, принятые 11 марта 1953 г.). Austin, Tex.: Univ. Of Texas Press, 1982

692

Письмо Эйзенхауэру от 4 мая 1953 г. в сб. *Переписка между Черчиллем и*

Эйзенхауэром. С. 48

693

Письмо Черчиллю от 5 мая 1953 г., там же. С. 49

694

Речь в палате общин 11 мая 1953 г. //Черчилль Уинстон С, Полное собрание речей, 1897— 1963. Т. VIII «1950-1963 гг.». С. 8483

695

Там же. С. 8484

696

Переписка между Черчиллем и Эйзенхауэром. С. 83.

697

Там же

698

George F. Kennan. Disengagement Revisited (Кеннан Джордж Ф. Еще раз о свободе от обязательств) // *Foreign Affairs*. V. 37. № 2 (январь 1959 г.). P. 187-210. См. также точку зрения Ачесона в его статье *The Illusion of Disengagement* (Иллюзия свободы от

обязательств) // *Foreign Affairs*. V. 36. № 3 (апрель 1958 г.). P. 371-382.

699

Там же

700

Henry A. Kissinger. *Missiles and the Western Alliance* (Киссинджер Генри А. Ракеты и Западный союз). Там же. С. 383-400.

701

Приводится в кн. Emmet John Hughes, *The Ordeal of Power. A Political Memoir of the*

Eisenhower Years (Хьюз Эммет Джон, Испытание властью. Политические мемуары времен Эйзенхауэра). N. Y.: Atheneum, 1963. P. 109

702

Обращение к американскому народу 15 июля 1955 г. по радио и телевидению перед отбытием на конференцию «Большой четверки» в Женеву // Документы Эйзенхауэра. Т. «1955 год». С. 703

703

Передовая статья в газете The New York Times от 25 июля 1955 г.

704

Запись беседы в государственном департаменте в Вашингтоне 3 октября 1955 г., 10.01 утра: «Визит британского министра иностранных дел в связи с советско-египетской договоренностью о поставках оружия» // Международные отношения Соединенных Штатов. Т. XIV. С. 545, «Арабо-израильский спор: 1955 год».

705

Заключительное заявление на Женевской конференции министров иностранных дел 16 ноября 1955 г. // Documents on International Affairs, Noble Frankland, ed. (Документы по международным вопросам). V. «1955». L.: Oxford Univ. Press, 1958. P. 73 - 77.

706

Х р у щ е в. Хрущев вспоминает. С. 400

707

Доклад Хрущева на XX съезде партии // Правда от 15 февраля 1956 г. Приводится по: Current Digest of the Soviet Press. T. VIII. № 4 (7 марта 1956 г.). С. 4, 6, 7.

708

Громыко А. А. Мемуары. Translated by Harold Shukman. L.: Hutchison, 1989

709

Жданов Андрей. Доклад о международном положении. С. 213-214

710

Замечания, сделанные Черчиллем в палате общин 19 апреля 1951 г. // Уинстон С. Черчилль, Полное собрание речей, 1897- 1963. Т. VIII «1950-1963 гг.». С. 8193

711

См.: Keith Kyle, Suez (Кайл Кейт, Суэц). N. Y.: St. Martin's Press, 1991. P. 70 ff.

712

Там же. С. 85.

713

Там же. С. 89 и ел

714

Там же. С. 130

715

Там же

716

Речь Насера в Александрии 26 июля 1956 г. В сб. Noble Frankland, ed. Documents of International Affairs, 1956 (Документы по международным вопросам, 1956). L.; N. Y.; Toronto: Oxford Univ. Press, 1959, под эгидой Королевского института по международным делам. С. 80

717

Там же. С. 113; см. также: Кайл. Суэц. С. 134

718

Цит.: Кайл. Суэц. С. 115

719

Anthony Eden. Full Circle: The Memoirs of the Rt. Hon. Sir Anthony Eden (Иден Антони. Замкнутый круг: мемуары distinguished сэра Антони Идена). L.: Cassel, 1960. P. 427.

720

Парламентские дебаты, 5th ser., vol.557, House of Common, Session 1955/56. L.: Her Majesty's Stationery Office, 1956, col.919

721

Кайл. Суэц. С. 145.

722

Иден. Замкнутый круг. С. 437

723

Приводится в кн.: Alistair Home. Harold Macmillan, Volume 1: 1894-1956 (Хорн Алистэр. Гарольд Макмиллан. Т. /. 1894-1956 гг). N. Y.: Penguin Books, 1991. P. 405

724

Письмо Эйзенхауэра Идену от 1 июля 1956 г. // Dwight Eisenhower, Waging Peace: The White House Years 1956-1961 (Эйзенхауэр Дуайт, Борьба за мир: годы пребывания в Белом доме. 1956— 1961). Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965. P. 664-665; см. также: Кайл, Суэц. С. 160

725

Приводится в статье: Louis L. Gerson. John Foster Dulles (Г е р с о н Луис Л. Джон Фостер Даллес) // The American Secretaries of State and Their Diplomacy (Американские государственные секретари и их дипломатическая деятельность). V. XVII. N. Y.: Cooper Squer Publishers, 1967. P. XI.

726

Там же. С. 28

727

Stephen A. Ambrose. Eisenhower. (Амброуз Стивен Э. Эйзенхауэр). V. 2. «The President». N. Y.: Simon & Schuster, 1984. P. 21

728

Т е р с о н, Даллес. С. XII

729

Заявление Даллеса в государственном департаменте США 3 августа 1956 г. The Suez Canal Problem, July 26— September 22, 1956: A Documentary Publications (Проблема Суэцкого канала: 26 июля-22 сентября 1956 г. Собрание документов). Washington: Department of State, 1956. P. 37 (в дальнейшем именуемое «Проблемы Суэцкого канала»).

730

Замечания Даллеса в радиотелевизионном обращении 3 августа 1956 г., приводятся

там же. С. 42

731

Замечания Даллеса согласно отчету в The New York Times от 3 октября 1956 г.
С. 8

732

И д е н. Замкнутый круг. С. 498

733

Эйзенхауэр. Борьба за мир. С. 667

734

Приводится в «Проблемах Суэцкого канала». С. 344

735

Приводится: Кайл. Суэц. С. 185

736

«Народ спрашивает президента». Телепередача от 12 октября 1956 г. // Документы
Эйзенхауэра. Т. «1956 год» . С. 903.

737

См., к примеру, у Эйзенхауэра. Борьба за мир. С. 676-677

738

Бюллетень государственного департамента США. Т. XXXV. № 907 (12 ноября 1956 г.). С. 750.

739

Эйзенхауэр Дуайт Д. Радиотелевизионный отчет американскому народу о развитии событий в Восточной Европе и на Ближнем Востоке // Документы Эйзенхауэра. Т. «1956 год». С. 1064

740

Документы по международным вопросам под ред. Фрэнкланда. С. 289.

741

Там же

742

Там же. С. 292

743

Там же. С. 293

744

Документы Эйзенхауэра. Т. «1956 год». С. 1066

745

Замечания Даллеса на пресс-конференции 18 декабря 1956 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XXXVI. № 915 (7 января 1956 г.). С. 5

746

Приводится: Кайл. Суэц. С. 426.

747

Там же

748

Приводится в кн. Herman Finer. Dulles over Suez: The Theory and Practice of His Diplomacy (Файнер Герман. Даллес в связи с Суэцем: теория и практика его дипломатии). Chicago: Quadrangle Books, 1964. P. 397.

749

Приводится: Кайл. Суэц. С. 477

750

Там же. С. 495

751

Там же. С. 467

752

«Поддержка Багдадского пакта со стороны США». Пресс-релиз 604
государственного департамента от 29 ноября 1956 г. // Бюллетень государственного
департамента. Т. XXXV. № 911 (10 декабря 1956 г.). С. 918

753

Специальное послание Конгрессу от 5 января 1957 г. по поводу ситуации на
Ближнем Востоке //Документы Эйзенхауэра. Т. «1957 год». С. 6-16

754

Ежегодное послание Конгрессу «О положении в стране», от 10 января 1957 г. Там
же. С. 29

755

Приводится у: John Lewis Geddis. The Long Peace (Гэддис Джон Люис. Длительный мир). N. Y.; L: Oxford Univ. Press, 1987. P. 157.

756

Life от 19 мая 1952 г.

757

Tibor Meray. Thirteen Days That Shook the Kremlin (Ме ра и Тибор. Тринадцать дней, которые потрясли Кремль) / Translated by Hovard Katzander. N. Y.: Frederick A. Praeger, 1959. P. 7.

758

Приводится в сб.: Melvin J. Lasky, ed. The Hungarian Revolution (Венгерская революция). N. Y.: Frederick A. Praeger, 1957. P. 126

759

Обращение к председателю Совета Безопасности 27 октября 1956 г. // Бюллетень государственного департамента США (12 ноября 1956 г.). С. 757.

760

Приводится у М е р а и, Тринадцать дней. С. 140

761

Там же. С. 169.

762

John Foster Dulles, *The Task of Waging Peace* (Даллес Джон Фостер, Задача борьбы за мир). Обращение к Далласскому совету по международным делам 27 октября 1956 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XXXV. № 906 (5 ноября 1956 г.). С. 697.

763

Эйзенхауэр Дуайт Д. Радиотелевизионный отчет американскому народу о развитии событий в Восточной Европе и на Ближнем Востоке от 31 октября 1956 г. // Документы Эйзенхауэра. Т. «1956 год». С. 1061. Выделено мною

764

Там же.

765

Там же. С. 1062

766

Заявление правительства СССР от 30 октября 1956 г. «О принципах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими государствами», опубликованное в газетах Правда и

Известия от 31 октября 1956 г. // Current Digest of the Soviet Press. Т. VIII. № 40 (14 ноября 1956 г.). С. 11

767

Документы Эйзенхауэра. Т. «1956 год». С. 1062.

768

Правительство СССР. «О принципах...». С. 11

769

Цит. в кн.: Paul E. Zinner, ed. National Communism and Popular Revolt in Eastern

Europe (Национальный коммунизм и народное восстание в Восточной Европе). N. Y.:
Columbia Univ. Press, 1956. P. 463

770

Полный текст речи Неру опубликован в сб.: Lok Sabha Debates (Дебаты в Лок
Сабха), ч. II. Т. 9. № 3, кол. 260-267. Приводится по изданию Королевского института
по международным делам. Т. IV. № 7. С. 328-330

771

Конференция государственного секретаря Даллеса с представителями агентств
новостей 18 декабря 1956 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XXXVI.
№ 915 (7 января 1957 г.). С. 3 - 4.

772

Конференция государственного секретаря Даллеса с представителями агентств новостей, Канберра, 13 марта 1957 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XXXVI. № 927 (1 апреля 1957 г.). С. 533

773

Хрущев. Хрущев вспоминает: Последнее завещание, 1974. С. 501

774

John Foster Dulles. «Freedom's New Task» (Даллес Джон Фостер. «Новая задача свободы»). Обращение к Филадельфийскому форуму «Бюллетеня» 26 февраля 1956 г. // Бюллетень государственного департамента США. Т. XXXIV. № 871 (5 марта 1956 г.). С. 363 - 364.

775

Приводится в кн. Хайленда «Холодная война» окончена, 1990. С. 97

776

Сенат США: Khrushchev on the Shifting Balance of World Forces, A Special Study Resident by Senator Hubert H. Humphrey (Хрущев по поводу изменения мирового соотношения сил. Специальный доклад, представленный сенатором Хьюбертом Х. Хамфри); 86th Cong., 1st sess., Senate Doc. № 57. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, включая интервью Н. С. Хрущева с В. Синнбеком, редактором Dansk Folkstyre, январь 1958 г. С. 8.

777

Там же (заявление Хрущева на VII съезде Болгарской коммунистической партии 4

июня 1958 г.). С. 7.

778

Хрущев. «Наша сила - в единстве». Обращение к митингу дружбы между народами Советского Союза и Польской Народной Республики 10 ноября 1958 г., перепечатанное в газете Правда от 11 ноября 1958 г. // Current Digest of the Soviet Press. Т. X. № 45 (17 декабря 1958 г.). С. 9.

779

Советская нота от 27 ноября 1958 г. // Documents on American Foreign Relations, ed. by Paul E. Zinner (Документы американской внешней политики). N. Y.: Published for the Council of Foreign Relations by Harper & Brothers, 1959. P. 220-231.

780

Хрущев. Речь на XXI съезде партии. Опубликовано в газ. Правда от 28 января 1959 г.
- Current Digest. Т. XI. № 4 (4 марта 1959 г.). С. 19.

781

В пересказе де Голля: Charles de Gaulle, *Memoirs of Hope: Renewal and Endeavor*
(Голль Шарль де, Мемуары надежды: возрождение и устремления), trans, by Terence
Kilmartin. N. Y.: Simon & Schuster, 1971. P. 223.

782

Konrad Adenauer. *Erinnerungen, 1955— 1959* (Аденауэр Конрад. Воспоминания:
1955-1959). Stuttgart, 1967, S. 473 - 474

783

Harold Macmillan. *Pointing the Way, 1959-1961* (Макмиллан Гарольд. Указывая путь: 1959-1961). N. Y.: Harper & Row, 1972. P. 101

784

Конференция Эйзенхауэра с представителями агентств новостей 11 марта 1959 г.
//Документы Эйзенхауэра. Т. «1959 год», 1960. С. 244.

785

Конференция Эйзенхауэра с представителями агентств новостей 18 февраля 1959 г.
Там же. С. 196.

786

Конференция Эйзенхауэра с представителями агентств новостей 11 марта 1959 г.
Там же. С. 245

787

The Berlin Crises 1958— 1961. Documentary Collection for Oral History Session
(Берлинские кризисы 1958-1961 годов. Подборка документов для устных
исторических выступлений) Harvard University, 1990, 2 parts, compiled by William Burr,
David Rosenberg and Georg Schild, «Избранная хронология», ч. I, 9 марта 1959 г. (в
дальнейшем именуется «План по Берлинскому кризису»).

788

Пресс-конференция де Голля 5 сентября 1961 г., приводится в Documents on

International Affairs: 1961 (Документы по международным вопросам: 1961 год) ed. by D.C.Watt, John Major, Richard Gott and George Schopflin . L.: Oxord Univ. Press для Королевского института по международным делам, 1965. С. 111

789

Пресс-конференция 5 сентября 1960 г., там же. С. 84-85

790

Де Гол л ь. Мемуары надежды. С. 223.

791

«План по Берлинскому кризису», ч. 2, запись Берра под рубрикой «24 ноября 1958 года», Даллес — Аденауэру.

792

Конференция Даллеса с представителями агентств новостей 26 ноября 1958 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XXXIX. № 1016 (15 декабря 1958 г.). С. 947 и сл.

793

Конференция Даллеса с представителями агентств новостей 13 января 1959 г. — Бюллетень государственного департамента. Т. XI. № 1023 (2 февраля 1959 г.). С. 161.

794

Там же

795

«План по Берлинскому кризису», ч. I, запись Берра под рубрикой «27 ноября 1958 года» с сообщением о реакции Брандта вечером 26 ноября на конференции Даллеса с представителями агентств новостей 26 ноября 1958 года.

796

Marc Trachtenberg. The Berlin Crisis (Трахтенберг Марк. Берлинский кризис). Там же. С. 39, пересказ депеши Брюса Даллесу от 14 января 1959 г.

797

Там же запись Берра под рубрикой «13 января 1959 года», пересказ содержания переговоров Герберта Дитмана с Ливингстоном Мерчантом

798

Речь Хрущева в Лейпциге 7 марта 1959 г.// Current Digest. Т. XI. № 13 (29 апреля 1959 г.). С. 5.

799

«План по Берлинскому кризису». Эссе Трахтенберга. С. 46.

800

Там же. С. 47.

801

Там же

802

Приводится в Jean Edward Smith. The Defence of Berlin (Смит Джин Эдвард. Защита Берлина). Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1963. P. 212-213.

803

Newsweek от 5 октября 1959 г. С. 19.

804

Речь Хрущева на собрании десяти тысяч венгерских рабочих, в публикации газеты The New York Times от 3 декабря 1959 г., Khrushchev Cites '56 Kremlin Split on Hungary Move (Хрущев рассказывает о расколе 1956 года в кремлевском руководстве по поводу движения в Венгрии). С. 1.

805

Gordon Grey. Memorandum of Meeting with the President (Грей Гордон. Записи встреч с президентом). В «Плане по Берлинскому кризису», эссе Трахтенберга. С. 47

806

Х а й л е н д. Холодная война окончена. С. 120-121.

807

Там же. С. 120.

808

Приводится в Michael R. Beschloss. *The Crisis Years: Kennedy and Khrushchev, 1960—1963* (Бешлосс Майкл Р. *Годы кризиса: Кеннеди и Хрущев, 1960—1963*). N. Y.: Harper-Collins, 1991. P. 225.

809

Записка Кеннеди Раску, 21 августа 1961 г., приводится в «Плане по Берлинскому кризису», эссе Трахтенберга. С. 78

810

Записка Банд и Кеннеди, 28 августа 1961 г., Там же

811

«U.S. Source Advise Bonn to Talk to East Germany» («Американский источник советует Бонну вести переговоры с Восточной Германией») // The New York Times от 23 сентября 1961 г. С. 1.

812

McGeorge Bundy. Policy for the Western Alliance. Berlin and After (Банди Макджордж. Политика Западного союза: Берлин и далее). Обращение на заседании Экономического клуба в Чикаго 6 декабря 1961 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XLVI. № 1185 (11 марта 1962 г.). С. 424

813

Киссинджер. Ядерное оружие и внешняя политика, 1957.

814

Выдержки из пресс-конференции Аденауэра 7 мая 1962 г., перепечатанные The New York Times 13 мая 1962 г., разд. IV. С. 5.

815

Там же, 8 мая 1962 г. С. 4.

816

Приводится у Бешлосса, Годы кризиса. ,С. 400

817

Письмо Ачесона Трумэну от 21 сентября 1961 г., в «Плане по Берлинскому кризису», эссе Трахтенберга. С. 82.

818

Письмо Ачесона генералу Люшэсу Клею, там же. С. 82-83

819

«План по Берлинскому кризису», ч. 2, Берр, рубрика «26 августа 1959 г.», относительно разведывательно-аналитического доклада государственного департамента «Германия и Западный союз».

820

Приводится у: George F. Kennan. Memoirs, 1950-1963 (К е н н а н Джордж Ф. Мемуары, 1950-1963 гг.). V. II. Boston; Toronto: Little, Brown, 1972. P. 253.

821

Обращение премьер-министра Стэнли Болдуина в Альберт-Холле 27 мая 1935 г. // London Times от 28 мая 1935 г. С. 18.

822

По поводу речи Ачесона в Уэст-Пойнте 5 декабря 1962 г. см.: Gouglas Brinkley. Dean Acheson: The Cold War, 1953— 1971 (Бринкли Дуглас. Дин Ачесон: годы «холодной войны», 1953-1971). New Heaven, Conn.: Yale Univ. Press, 1992. P. 175 - 182.

823

Harold Macmillan. Riding The Storm, 1956— 1959 (Макмиллан Гарольд. У руля в шторм, 1956 - 1959). N. Y.: Harper & Row, 1971. P. 586.

824

Макмиллан. Указывая путь, 1959— 1961, 1972. С.101.

825

Макмиллан. У руля в шторм. С. 577. Более или менее такова была по сути реакция Эйзенхауэра

826

Макмиллан. Указывая путь. С. 82

827

Harold Macmillan. At The End the Day, 1961-1963 (Макмиллан Гарольд. На закате дня, 1961-1963). N. Y.: Harper & Row, 1974. P. 357

828

Текст совместного коммюнике и прилагаемого заявления по системам защиты от ядерного нападения от 21 декабря 1962 г., обнародованный президентом Кеннеди и премьер-министром Макмилланом // Бюллетень государственного департамента. Т. XLVIII. № 1229 (14 января 1963 г.). С. 44.

829

Часть материалов по Франции и де Голлю обработана на основе книги автора *The Troubled Partnership: a Re-appraisal of the Atlantic Alliance* (Омраченное партнерство: переоценка Атлантического союза). N. Y.: McGraw-Hill, для Совета по международным отношениям, 1965. С. 411 и сл., а также книги автора *The White House Years* (Годы в Белом доме). Boston: Little, Brown, 1979. P. 104

830

Обращение президента Шарля де Голля 31 мая 1960 г., определяющее принципы французской внешней политики после провала встречи на высшем уровне // *Major Addresses, Statements and Press Conferences of General Charles de Gaulle, May 19, 1958 - January 31, 1964* (Важнейшие обращения, заявления и пресс-конференции генерала Шарля де Голля: 19 мая 1958 г. - 31 января 1964 г.). N. Y., French Embassy, Press and Information Division, 1964. P. 75.

831

Пресс-конференция де Голля 11 апреля 1961 г., там же. С. 124

832

Пресс-конференция 29 июля 1963 г., там же. С. 233-234

833

Пресс-конференция 25 марта 1959 г., там же. С. 43

834

Приводится у: Brian Crazier. De Guile (Крозье Брайан. Де Голль). N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1973. P. 533 ff". См. также: Эйзенхауэр, Борьба за мир. С. 424-431

835

Гол л ь, Мемуары надежды, 1971. С. 229 - 230

836

Приводится уКрозье.Де Голль. С. 525

837

George Ball. NATO and World Responcibility (Болл Джордж. НАТО и ответственность перед миром). — Atlantic Community Quarterly. V. 2. № 2 (лето 1964 г.). P. 211

838

См. детальное обсуждение этой идеи в кн. Киссинджера, Омраченное партнерство. С. 127 и ел

839

Обращение Кеннеди в Индепенденс-Холле в Филадельфии 4 июля 1962 г.// Public Papers... John F. Kennedy (Официальные документы президентов Соединенных Штатов, Джон Ф. Кеннеди, далее — Документы Кеннеди). Т. «1962 год». Washington, D.C.: U.S.Government Printing Office, 1963. P. 537-539.

840

Обращение Кеннеди в актовом зале Паульскирхе во Франкфурте 25 июня 1963 г., там же. Т. «1963 год». С. 520

841

Пресс-конференция де Голля 14 января 1963 г.// Важнейшие обращения. С. 216-217.

842

Пресс-конференция 14 января 1963 г., там же. С. 218.

843

Пресс-конференция 19 апреля 1963 г., приводится у: Harold van B. Cleveland, *The Atlantic Idea and Its European Rivals* (Кливленд Гарольд ван Б., Атлантическая идея и ее европейские соперники) N. Y.: MacGraw-Hill for Council on Foreign Relations, 1966.

P. 143.

844

Совместная декларация и договор между Французской Республикой и Федеративной Республикой Германии от 22 января 1963 г. Приводится у: Roy Macridis, De Gaulle: Implacable Ally (Макридис Рой, Де Голль: непреклонный союзник). N. Y.: Harper & Row, 1966. P. 188

845

Инаугурационное обращение от 20 января 1949 г. //Документы Трумена. Т. «1949 год». 1964, с. 112 - 114

846

Инаугурационное обращение от 20 января 1953 г. // Документы Эйзенхауэра. Т. «1953 год», 1960. С 6.

847

Там же. С. 7

848

Инаугурационное обращение от 20 января 1961 г. //Документы Кеннеди. Т. «1961 год», 1962. С. 1

849

Инаугурационное обращение от 20 января 1965 г.// Public Papers... Lindon B. Johnson (Документы Джонсона). Т. «1965 год», 1966. С. 72

850

См.: Dean Acheson, *The Peace the World Wants* (Ачесон Дин, Мир, которого хочет мир). Обращение к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 20 сентября 1950 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XXIII. № 582 (2 октября 1950 г.). С. 524; и Даллес — в кн.: Jeffrey P. Kimball (ed.), *To Reason Why: The Debate about the Causes of U.S. Involvement in the Vietnam War* (Чтобы понять, почему: дебаты по поводу причин вовлеченности США во Вьетнамскую войну). N. Y: MacGraw-Hill, 1990. P. 54.

851

Приводится у Кимболла. Чтобы понять, почему. С. 73

852

Там же.

853

Приводится в кн.: Thomas J. Schoenbaum. *Waging Peace and War. Dean Rusk in the Truman, Kennedy and Johnson Years* (Шенбаум Томас Дж. Борьба за мир и за войну: Дин Раек в годы президентства Трумэна, Кеннеди и Джонсона) N Y: Simon and Schuster, 1988. P. 234.

854

Документ 68 Совета национальной безопасности «United States Objectives and Program for National Security («Цели и задачи Соединенных Штатов в области

национальной безопасности») от 7 апреля 1950 г. // Внешние сношения Соединенных Штатов, 1950 год. V. I. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977. P. 237-238.

855

См.: Луис. Империализм на грани краха, 1978. Гл. 1 и 2

856

George C. Herring. America's longest war, The United States and Vietnam 1950-1975 (Х е р р и н г Джордж К. Самая длинная война, в которой участвовала Америка: Соединенные Штаты и Вьетнам в 1950— 1975 годах). N. Y.: Alfred A. Knopf, 2nd ed. 1986. P. 18.

857

Там же

858

Ш е н б а у м. Борьба за мир и войну. С. 230

859

Хе р р и н г. Самая длинная война. С. 18-19

860

Там же. С. 19

861

«United States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast Asia» («Цели и образ действий Соединенных Штатов в отношении Юго-Восточной Азии»).

Политическое заявление Совета по вопросам национальной безопасности, 1952 // Neil Sheehan, Hedrick Smith, W.W.Kenworthy, Fox Butterfield. The Pentagon Papers, as Published by the The New York Times (Шиган Нейл, Смит Хедрик, Кентворти В. В., Баттерфилд Фокс. Документы Пентагона в публ. The New York Times). N. Y.: Quadrangle Books, 1971. P. 29

862

Там же. С. 28.

863

Там же. С. 29

864

Приводится у Херринга, Самая длинная война. С. 22

865

Там же. С. 26.

866

Там же. С. 27

867

Приводится в кн.: Robert Thompson, *Revolutionary War in World Strategy: 1945-1969* (Томпсон Роберт. Место революционной войны в мировой стратегии: 1945-1969). N. Y.: Taplinger, 1970. P. 120

868

Приводится у: Stanley Karnow. *Vietnam: A History* (Карноу Стэнли. Вьетнам: история). N. Y.: Penguin Books, 1984. P. 197 - 198.

869

Цит. в кн.: William Bragg Ewald, Jr. Eisenhower the President; Crucial Day, 1951-1960 (Э в о л д -мл. Вильям Брэгг. Эйзенхауэр — президент: критические дни, 1951-1960 гг.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1981. P. 119 - 120.

870

Эйзенхауэр — Черчиллю, 4 апреля 1954 г. // Переписка между Черчиллем и Эйзенхауэром: 1953 - 1955. С. 137 - 140.

871

Иден. Замкнутый круг, 1960. С. 124

872

Цит. по кн. Джилберта Уинстон С. Черчилль. Т. VIII «Никогда не отчаиваться: 1945 - 1965». С. 973 - 974

873

Там же. С. 973

874

Там же

875

Townsend Hoopes. The Devil and John Foster Dulles (Хупс Таунсенд. Дьявол и Джон Фостер Даллес). Boston: Little, Brown, 1973. С. 239

876

Richard M. Nixon. No More Vietnams (Никсон Ричард М. Довольно Вьетнамов). N. Y.: Arbor House, 1985. P. 41.

877

Даллес на пресс-конференции в Лондоне 13 апреля 1954 г. // Хупс. Дьявол и Джон Фостер Даллес. С. 209

878

Там же. С. 222

879

Приводится у Херринга, Самая длинная война. С. 39

880

Инструкции Даллеса заместителю государственного секретаря Уолтеру Беделлу Смигу, от 12 мая 1954 г. в связи с Женевской конференцией //Документы Пентагона. С. 44.

881

Декларация США по Индокитаю от 21 июля 1954 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. XXXI. № 788 (2 августа 1954 г.). С. 162.

882

Х е р р и н г, Самая длинная война. С. 45

883

Письмо Эйзенхауэра Дьему от 23 октября 1954 г. // Mamin E. Gettleman, ed. Viet Nam: History, Documents and Opinions on a Major World Crisis (Вьетнам: история, документы и мнения по поводу величайшего мирового кризиса). Greenwich, Conn.: Fawsett Publications, 1965. P. 204 - 205.

884

Х е р р и н г, Самая длинная война. С. 56.

885

Senator Mike Mansfield. Reprieve in Vietnam (Мэнсфилд Майк, сенатор. Передышка во Вьетнаме) // Harper's, январь 1956 г. P. 50

886

Senator John F. Kennedy. America's Stake in Vietnam, the Cornerstone of the Free World in Southeast Asia (Кеннеди Джон Ф., сенатор. Американские ставки во Вьетнаме — краеугольном камне свободного мира в Юго-Восточной Азии). Обращение к Обществу американских друзей Вьетнама, Вашингтон, округ Колумбия, 1 июня 1956

г. // Vital Speeches of the Day (Важнейшие речи дня), 1 августа 1956 г. С. 617 и сл.

887

Х е р р и н г. Самая длинная война. С. 68

888

Эйзенхауэр. Борьба за мир. С. 607

889

Там же. С. 610

890

Обращение на заседании ученого совета Геттисбергского колледжа «Важность взаимопонимания», от 4 апреля 1959 г. // Документы Эйзенхауэра. Т. «1959 год», 1960. С. 313.

891

Документы Кеннеди. Т. «1961 год», 1962. С. 23.

892

Lin Biao. Long Live the Victory of People's War! (Б я о Линь. Да здравствует победа в народной войне!) // Peking Review. V. VIII. № 36 (3 сентября 1965 г.). P. 9 - 30

893

Цит. по: David Halberstam. The Best and the Brightest (Холберстэм Дэвид. Лучшие и умнейшие). N. Y.: Random House, 1972. P. 76.

894

Из вступительного заявления Кеннеди на конференции с представителями агентств новостей 23 марта 1961 г. //Документы Кеннеди. Т. «1961 год». С. 214

895

Специальное послание Конгрессу по поводу оборонного бюджета от 28 марта 1961

г. Там же. С. 230

896

Let the World Go Forth: The Speeches, Statements and Writings of John F. Kennedy, 1947-1963 (Пусть мир идет вперед: речи, заявления и публикации Джона Ф. Кеннеди, 1947-1963), selected and introduced by Theodore C. Sorencen. N. Y.: Dell Publishing, 1988. P. 371

897

Там же. С. 370 и ел

898

Кеннеди Джон Ф. Американские ставки во Вьетнаме// Важнейшие речи дня, 1 августа 1956 г. С. 617-619.

899

Lyndon Baine Johnson. The Vantage Point: Perspectives of Presidency 1963-1969 (Джонсон Линдон Бэйнс. Выигрышная позиция: взгляд на президентство 1963-1969 гг). N. Y.: Holt, Rinehart and Winstone, 1971. P. 55

900

Памятная записка 52 Совета национальной безопасности, подписанная президентским советником по вопросам национальной безопасности Макджорджем Банди 11 мая 1961 г. //Документы Пентагона, 1971. С. 131.

901

Памятная записка Джона Кеннеди Миссия в Юго-Восточную Азию, Индию и Пакистан от 23 мая 1961 г. //Документы Пентагона. С. 134

902

Банд и, приводится в Документах Пентагона. С. 103

903

Памятная записка Макнамары Кеннеди от 8 ноября 1961 г. //Документы Пентагона. С. 154

904

Х е р р и н г. Самая длинная война. С. 83.

905

Там же. С. 86

906

Специальное послание Кеннеди Конгрессу по поводу оборонной политики и ее принципов 28 марта 1961 г. //Документы Кеннеди. Т. «1961 год» (1962). С. 229 и ел

907

Приводится в кн.: Guenter Lewy. *America in Vietnam* (Л е в и Понтер. Америка во Вьетнаме). N. Y.: Oxford Univ. Press, 1978. P. 26.

908

Телеграмма государственного департамента Лоджу в Сайгон от 24 августа 1963 г. // Документы Пентагона. С. 200.

909

Там же

910

Opportunity in Vietnam (Возможность, предоставившаяся во Вьетнаме) // The New York Times от 3 ноября 1963 г. Разд. 4. С. 8Е

911

Л е в и. Америка во Вьетнаме. С. 28

912

Там же. С. 29

913

Harrison Salisbury. Behind the Lines — Hanoi (Солсбери Гаррисон. За линией фронта - Ханой). N. Y.: Harper & Row, 1967. P. 194 - 197

914

Edgar Snow. Interview with Mao (Сноу Эдгар. Интервью с Мао) — The New Republic, 27 февраля 1965 г. С. 17

915

Обращение Джонсона к Американскому совету выпускников высших учебных заведений от 12 июля 1966 г. // Документы Джонсона. Т. «1966 год— И», 1967. С. 720

916

Там же

917

Обращение Джонсона к Университету Джона Гопкинса 7 апреля 1965 г. //
Документы Джонсона. Т. «1965 год-I» (1966). С. 396-397

918

Обращение Джонсона по Вьетнаму к Национальной конференции законодателей,
Сан-Антонио, штат Техас, 29 сентября 1967 г. // Документы Джонсона. Т. «1967 год-
II» (1968). С. 879.

919

Walter Lippmann. On defeat (Липпман Уолтер. По поводу поражения). Newsweek, 11 марта 1968 г. С. 25

920

Обращение Фулбрайта Для США существует опасность потери перспективы к факультету углубленного изучения вопросов международных отношений университета Джона Гопкинса, Вашингтон, округ Колумбия, 5 мая 1966 г. // U.S. News and World Report. Т. IX. № 21 (23 мая 1966 г.). С. 114 - 115.

921

Речь Фулбрайта Дж. Вильяма Старые мифы и новая реальность, произнесенная в сенате США 25 марта 1964 г. // Важнейшие речи дня от 16 апреля 1964 г. С. 393 - 394.

922

Richard L. Renfield. A Policy for Vietnam (Ренфилд Ричард Л. Политика для Вьетнама) // Yale Law Review. Т. LVL № 4 (июнь 1967 г.). С. 481 - 505.

923

James Reston. Washington: The Flies That Captured the Flypaper (Рестон Джеймс. Вашингтон: мухи взяли в плен липучку) // The New York Times от 7 февраля 1968 г. С. 46

924

Senator William J. Fulbright. The Clipped Giant: American Foreign Policy and Its Domestic Consequences (Фулбрайт Дж. Вильям, сенатор. Охромевший гигант:

американская внешняя политика и ее внутривнутриполитические последствия). N. Y.: Random House, 1972. P. 62.

925

Блестящий анализ данной группы приведен в кн.: Norman Podgoretz. Why We Were in Vietnam (Норман Подгорец. Почему мы были во Вьетнаме). N.Y.: Simon & Schuster, 1982. P. 85 ff.

926

Там же. С. 100.

927

Там же. С. 105

928

David Holberstam. The Making of a Quamire (Холберстэм Дэвид. Построение головоломки). N. Y.: Random House, 1965. P. 319.

929

Л е в и. Америка во Вьетнаме. С. 76; Don Oberdorfer, Tet! (Обердорфер Дон Тэ/я!).
Harden City, N.Y.: Doubleday, 1971, p. 329 ff.

930

Arthur M. Schlesinger, Jr. Robert Kennedy and His Times (Шлезингер-мл. Артур М. Роберт Кеннеди и его время). Boston: Houghton Mifflin, 1978. P. 843.

931

Сообщение из Вьетнама Уолтера Кронкайта. Специальный выпуск новостей Си-Би-Эс 27 февраля 1968 г. //Обердорфер. Тэт!С. 251.

932

The Logic of the Battlefield (Логика поля боя) // Wall Street Journal, от 23 февраля 1968 г. С. 14

933

Воскресное сообщение Фрэнка Мэджи. Эн-Би-Эс, 10 марта 1968 г. // Обердорфер.
Тэт! С. 273

934

The War (Война). // Time. Т. 91. № 11 (15 марта 1968 г.). С. 14

935

Заявление Мэнсфилда сенату 7 марта 1968 г. // Протоколы заседаний Конгресса. V.
114. P. 5. Washington, D.C.: U.S.Government Printing Office, 1968. P. 5659

936

Заявление Фулбрайта в сенате 7 марта 1968 г. Там же. С. 5645

937

Телевизионное обращение Джонсона к американскому народу 31 марта 1968 г. //
Документы Джонсона: 1968- 1969. Т. I (1970). С. 469 - 496.

938

Walter Isaacson. Kissinger: A Biography (Айзексон Уолтер. Киссинджер: биография).
N. Y.: Simon & Schuster, 1992. P. 484.

939

Полный текст меморандума опубл. в примеч. к соотв. гл. книги автора Годы в Белом доме, 1979. С. 1480 - 1482.

940

Там же. С. 1481

941

Все планы вывода американских войск обуславливались прекращением огня и освобождением всех военнопленных.

942

Фулбрайт. Охромевший гигант. С. 62

943

Замечания Макговерна на Today Show телекомпании Эн-Би-Си 8 июня 1972 г.

944

Киссинджер. Годы в Белом доме. С; 1345

945

Конференция Киссинджера с представителями агентств новостей 24 января 1973 г. // Бюллетень Государственного департамента. Т. LXVIII. № 1753 (12 февраля 1973 г.). С. 134

946

См.: Киссинджер. Годы в Белом доме. Гл. VIII и XII; Kissinger, *Years of Upheaval* (Годы решительных перемен). Boston: Little, Brown, 1982, гл. II и VIII; а также полемику Питера В. Родмена с Вильямом Шоукроссом в журн. *American Spectator*, март и июль 1981 г.

947

Karl D. Jackson, ed. *Cambodia 1975— 1978: Rendezvous with Death* (Камбоджа, 1975-1978: рандеву со смертью). Princeton: Princeton Univ. Press, 1989

948

Киссинджер. Годы в Белом доме. С. 1362 и ел

949

См. сводный обзор заявлений США у Киссинджера, Годы решительных перемен. С. 1236 - 1240

950

Четвертый ежегодный доклад Конгрессу США по вопросам внешней политики 3 мая 1973 г. // Документы Никсона. Т. «1973 год». Washington, D.C.: U.S Government Printing Office, 1975. P. 392.

951

Там же. С. 395.

952

Второй дополнительный законопроект по бюджетным ассигнованиям на 1973 финансовый год (HR 9055-PI 93-50). См. «Ежеквартальный альманах Конгресса», 1973 г., первая сессия Конгресса 93-го созыва. Вашингтон, округ Колумбия, «Ежеквартальный альманах», 1974. С. 95, 861-862

953

Joseph Fritchett. Saigon Resident Found Intimidated by «Occupation Force» (Фл и тч ет Джозеф. Жители Сайгона подвергаются преследованиям со стороны «оккупационных сил») // Washington Post от 6 ноября 1978 г.; см. также: Christopher Dickey. Former Vietnamese Captive Describes Life — and Death — in Saigon Prison (Дики Кристофер.

Бывший вьетнамский заключенный описывает жизнь — и смерть — в сайгонской тюрьме) // Washington Post от 20 декабря 1978 г.; Theodore Jacqueney. They Are Us, Were We Vietnamese (Лжэкени Теодор. Они были бы нами, если бы мы были вьетнамцами) // Worldview, апрель 1977 г.; Karl Gershman. A Voice from Vietnam (Гершман Карл. Голос из Вьетнама) // New Leader, 29 января 1979 г. С. 8-9.

954

International Institute of Strategic Studies, Strategic Survey, 1975. (Международный институт стратегических исследований. Стратегическое обозрение, 1975 год). L.: IISS, 1975. P. 94

955

В готовящейся к выходу в издательстве «Charles Scribner's Sons» кн. Питера В. Родмена по поводу «холодной войны» в третьем мире дается более детальное обсуждение подобной эволюции советской политики.

956

Никсон Ричард, цитата приводится в Time от 3 января 1972 г. С. 15. См. также замечания Никсона на совещании руководящих работников средств массовой информации Среднего Запада в Канзас-Сити, штат Миссури, 6 июля 1971 г. // Документы Никсона. Т. «1971 год», 1972. С. 806

957

Замечания на президентском молитвенном завтраке 5 февраля 1970 г. // Документы Никсона. Т. «1970 год». С. 82-83

958

Радиотелевизионное обращение к народу Советского Союза 28 мая 1972 г. // Документы Никсона. Т. «1972 год». С. 630

959

Неофициальный обмен мнениями на Гуаме между Никсоном и представителями агентств новостей 25 июля 1969 г. //Документы Никсона. Т. «1969 год». С. 544-556

960

Обращение к нации по поводу войны, во Вьетнаме 3 ноября 1969 г. Там же. С. 905-906. См. также первый ежегодный доклад Никсона Конгрессу по вопросам внешней политики Соединенных Штатов в 70-е годы 18 февраля 1970 г. //Документы Никсона. Т. «1970 год». С. 116 и сл.

961

Norman Mailer. *The Armies of the Night: History as a Novel, Novel as a History* (Мейлер Норман. Армии ночи: история как роман, роман как история). N. Y.: New American Library, 1968. P. 187.

962

John Kenneth Galbraith. *The New Industrial State* (Гэлбрэйт Джон Кеннет. Новое индустриальное государство). Boston: Houghton Mifflin, 1967. Гл. XXXV

963

Первый ежегодный доклад Конгрессу по вопросам внешней политики Соединенных Штатов на 70-е годы. 18 февраля 1970 г. //Документы Никсона. Т. «1970 год». С.119.

964

Там же. С. 178

965

Там же. С. 179

966

Второй ежегодный доклад Конгрессу по вопросам внешней политики, 25 февраля 1971 г. //Документы Никсона. Т. «1971 год». С. 304.

967

Albert Wohlstetter. The Delicate Balance of Terror (Вольштеттер Альберт. Деликатный баланс террора) // Foreign Affairs. Т. 37. № 2 (январь 1959 г.). С. 211-234.

968

Приводится у Киссинджера. Годы в Белом доме. С. 136.

969

Peter Grose. U.S. warns Soviet on use of force against Czechs (Гроуз Питер. США предупреждают Советов относительно применения силы против чехов) // The New York Times, 18 апреля 1969 г.

970

Peter Grose. A series of limited pacts on missiles now U.S. aim (Гроуз Питер. Нынешняя цель США — серия ограниченных пактов по ракетам) // The New York Times, 22 апреля 1969 г.

971

Chalmers M. Roberts. U.S. to propose summer talks on arms curb (Роберте Чалмерс М. США предлагают переговоры на высшем уровне по ограничению вооружений) // Washington Poster 13 мая 1969 г

972

«Clear It with Everett» («Сверьтесь с Эвереттом») // The New York Times от 3 июня 1969 г.

973

«Start the Missile Talks» («Начинайте переговоры по ракетам») // Washington Post от 5 апреля 1969 г.

974

См.: Киссинджер, Годы в Белом доме. С. 265 и сл.

975

Там же. С. 165

976

Richard M.Nixon. Asia After Viet Nam (Никсон Ричард М. Азия после Вьетнама) I/
Foreign Affairs. Т. 46. № I (октябрь 1967 г.). С. 121

977

«Nixon's View of the World — From Unformal Talks» («Взгляд Никсона на мир — из неофициальных разговоров») // U.S. News and World Report. Т. LXV. № 12 (16 сентября 1968 г.). С. 48.

978

Обращение Роджерса в Национальном пресс-клубе, Канберра, Австралия, 8 августа 1969 г// Бюллетень государственного департамента. Т. LXI. № 1575 (1 сентября 1969 г.). С. 179 —; 180.

979

Обращение Ричардсона «Внешняя политика администрации Никсона, ее цели и стратегия». Там же. Т. LXI. № 1578 (22 сентября 1969 г.). С. 260

980

Второй ежегодный доклад // Документы Никсона. Т. «1971 год». С. 277

981

Там же

982

Приводится у Киссинджера, Годы в Белом доме. С. 1062

983

Там же

984

Совместное Шанхайское коммюнике от 27 февраля 1972 г. // Бюллетень
государственного департамента. Т. LXVI. № 1708 (20 марта 1972 г.). С. 435-438.

985

См.: Киссинджер, Годы решительных перемен, 1982. С. 233, 294— 295, 1173- 1174.

986

Willi Brandt. People and Politics: The Years 1960— 1975 (Брандт Вилли. Люди и политика: 1960-1975 годы). Перев. Дж. Максвелла Браунджона. Boston: Little, Brown, 1976. P. 123 - 124.

987

См.: Киссинджер. Годы решительных перемен, 1982. С. 459 и ел

Detente: An Evaluation (Разрядка — всесторонняя оценка). Заявление Роберта Конквеста, Брайана Крозье, Джона Эриксона, Джозефа Годсона, Грегори Гроссмана, Леопольда Лабедзя, Бернарда Люиса, Ричарда Пайпса, Леонарда Шапиро, Эдварда Шилса и П. Дж. Ванкиотиса, напечатанное для использования подкомитетом по контролю над вооружениями комитета по вооруженным силам сената Соединенных Штатов, вторая сессия Конгресса 93-го созыва. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office , (20 июня 1974 г.). P. 1.

Заявление президента Американской федерации труда и конгресса производственных профсоюзов Джорджа Мини сенатскому комитету по иностранным делам 1 октября 1974 г. Detente: Hearings on United States Relations with Communist Countries {Детант: отношения Соединенных Штатов с коммунистическими странам), 93rd Cong., 2nd sess. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975. P. 379-380.

990

Henry A. Kissinger. America's Permanent Interests (Киссинджер. Неизменные интересы Америки). Обращение к Бостонскому совету по международным делам ! \ марта 1976 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. LXXIV. № 1919 (5 апреля! 1976 г.). С. 427 - 428.

991

Приводится у Киссинджера. Годы в Белом доме. С. 1486.

992

Подробности дебатов см. у Киссинджера. Годы решительных перемен. С. 256 - 274,
1006 - 1028

993

См.: Coral Bell. The Diplomacy of Detente (Белл Корал. Дипломатия разрядки). N. Y.: St.Martin Press, 1977. P. 201-222

994

«Improving U.S.-Soviet Relation» («Улучшение американо-советских отношений») // The New York Times от 22 февраля 1971 г. С. 5

995

«Trade and Freedom» («Торговля и свобода»). — Передовая статья в том же издании от 18 сентября 1973 г. С. 42.

996

«The Requirements of Detent» («Потребности разрядки») // Washington Post, от 12 сентября 1973 г.

997

Киссинджер. Неизменные интересы Америки. С. 431-432

998

Цит. в кн.: Timothy Garton Ash. In Europe's Name: Germany and the Divided Continent (Эш Тимоти Гартон. Во имя Европы: Германия и разделенный континент). N. Y.: Random, 1993, p. 260.

999

Там же. С. 223

1000

«European "Security"... and Real Detente» («Европейская "безопасность"... и истинная разрядка») // The New York Times, от 21 июля 1975 г. С. 20

1001

Henry A. Kissinger. American Unity and the National Interest (Киссинджер Генри. Американское единство и национальные интересы). Обращение к конференции

товаропроизводителей Юга в Бирмингеме, штат Алабама, 14 августа 1975 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. LXXIII. № 1890 (15 сентября 1975 г.). С. 392.

1002

Киссинджер. Неизменные интересы Америки. С. 428.

1003

Рейган Рональд. Замечания на ежегодной Вашингтонской конференции «Американского легиона» 22 февраля 1983 г. // Документы Рейгана. Т. «1983 год», книга 1. Washington, D.C.: U.S.Government Printing Office, 1982-1990. P. 270

1004

Там же. С. 271

1005

Рейган Рональд. Конференция с представителями агентств новостей, 29 января 1981 г. Там же. Т. «1981 год». С. 57

1006

Обращение Рейгана к депутатам британского парламента, Лондон, 8 июня 1982 г. Там же. Т. «1982 год», кн. I. С. 744.

1007

Под псевдонимом «TRB» (Richard Strout - Ричард Страут). «Reagan's Holy War» («Священная Война Рейгана») // New Republik от 11 апреля 1983 г. С. 6

1008

Anthony Lewis. Onward, Christian Soldiers (Льюис Антон'и. Вперед, воинство Христово!) И The New York Times от 10 марта 1983 г. С. А27

1009

Stanley Hoffman. Foreign Policy: What's to Be Done (Хоффман Стэнли. Внешняя политика: что следует сделать?) // New York Review of Books, 30 апреля 1981 г. С. 33-37, 39

1010

Текст письма Рейгана членам Национального пресс-клуба по вопросам сокращения вооружений и ограничения ядерного оружия от 18 ноября 1981 г. //Документы Рейгана. Т. «1981 год». С. 1065.

1011

Ronald Reagan. An American Life (Рейган Рональд. Жизнь по-американски). N. Y.: Simon & Schuster, 1990. P. 576

1012

Там же. С. 592

1013

Там же. С. 603

1014

Там же. С. 634

1015

Lou Cannon. President Reagan: The Role of Lifetime (Кэннон Лу. Президент Рейган: самая главная роль за всю жизнь). N. Y.: Simon & Schuster, 1990. P. 792

1016

Рейган Рональд. Обращение на совместном заседании обеих палат Конгресса «О положении в стране» 25 января 1984 г. //Документы Рейгана. Т. «1984 год», кн. I. С. 92.

1017

Рейган. Обращение к британскому парламенту 8 июня 1982 г. Там же. Т. «1982 год», кн. I. С. 746.

1018

Там же. С. 745

1019

См. готовящуюся к выходу кн. Питера В. Родмена о «холодной войне» в третьем мире.

1020

Обращение Ш ул ь ц а «America and the Struggle for Freedom» («Америка и борьба за свободу») от 22 февраля 1985 г. (Washington, D.C.: U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs, February 1985 г.), документ текущей политики № 659. С. 1-5

1021

Приводится в кн.: Leon V. Sigal. Nuclear Forces in Europe (Сигал Леон В. Ядерные силы в Европе). Washington, D.C.: Brookings Institution, 1984. P. 86.

1022

Речь Миттерана в бундестаге по случаю двадцатилетия Франко-германского договора о сотрудничестве 20 января 1983 г. France: Foreign Affairs Ministry, The Press and Information Service.

1023

Рейган. Замечания, высказанные в Национальном пресс-клубе 18 ноября 1981 г.
//Документы Рейгана. Т. «1981 год». С. 1065.

1024

«Reagan Proposes U.S. Seek New Way to Block Missiles» («Рейган предлагает Соединенным Штатам искать новые пути блокирования ракет») // The New York Times

от 24 марта 1983 г. С. А20

1025

Harold Brown, ed. *The Strategic Defence Initiative: Shield or Snare?*! (Стратегическая оборонная инициатива: щит или ловушка?). Boulder, Col., and L.: Westview Press (для Института внешней политики имени Джона Гопкинса), 1987

1026

Harold Brown. Introduction and Is the SDI Technically Feasible? (Браун Гарольд. Введение, глава Является ли СОИ технически возможной?) В вышеуказанном сб С. 4 - 7, 131 - 132, 138.

1027

Richard Betts. Heavenly Gains or Earthly Losses? Toward a Balance Sheet for Strategic Defense (Беттс Ричард. Небесный выигрыш или земные потери? Приходно-расходный баланс стратегической инициативы). Там же. С. 238-239.

1028

George Liska. The Challenge of SDI: Preemptive Diplomacy or Preventive War? (Лиска Джордж. Вызов СОИ: упреждающая дипломатия или превентивная война?) Там же. С. 107.

1029

Robert Osgood. Implications for U.S.-European Relations (Осгуд Роберт. Желаемые отношения между Европой и США). Там же. С. 266-268, 276-278.

1030

Приводится в: Dan Smith, Pressure: How America Runs NATO (Смит Дэн. Давление: как Америка руководит НАТО). L.: Bloomsburg, 1989. P. 184

1031

Рейган. Обращение к японскому парламенту в Токио 11 ноября 1983 г. // Документы Рейгана. Т. «1983 год». Кн. II. С. 1575.

1032

Рейган. Жизнь по-американски. С. 550.

1033

Кэннон. Президент Рейган. С. 289.

1034

Замечания 16 мая 1983 г. на брифинге в Белом доме для высших руководящих работников торговых ассоциаций и корпораций по поводу развертывания ракет МХ. //Документы Рейгана. Т. «1983 год». Кн. I. С. 715.

1035

Рейган. Обращение к нации по вопросам обороны и национальной безопасности 23 марта 1983 г. Там же. С. 443.

1036

George P. Schultz. Nuclear Weapons, Arms Control, and The Future of Deterrence (Шульц Джордж П. Ядерное оружие, контроль над вооружениями и будущее политики устрашения). Обращение к Чикагской международной палате и форуму газеты «Chicago Sun-Times» в Чикагском университете 17 ноября 1986 г. // Бюллетень государственного департамента. Т. 87. № 2118 (январь 1987 г.). С. 31-35.

1037

Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и мира. N. Y.: Harper & Row, 1987. P. 139

1038

Горбачев М.С. Пресс-конференция по окончании Женевского совещания на высшем

уровне 21 ноября 1985 г. // Женева: советско-американский саммит, ноябрь 1985 г.
Документы и материалы. М.: АПН, 1985. С. 18.

1039

Горбачев М.С. Речь по поводу семидесятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 2 ноября 1987 г. // Служба информации по иностранному радиовещанию (документ «СОВ-87-212» от 3 ноября 1987 г.). С. 55.

1040

Интервью с Горбачевым // Time, 9 сентября 1985 г. С. 23.

1041

«Gorbachev Pleges Major Troop Cutback Then Ends Trip, Citing Vast Soviet Quake»
(«Горбачев призывает к крупному сокращению вооруженных сил, а затем прерывает поездку, сославшись на крупное землетрясение в Советском Союзе») // The New York Times от 8 декабря 1988 г. С. А1.

1042

Там же. С. А19.

1043

Выдержки из речи Горбачева во Владивостоке 28 июня 1986 г.// The New York Times от 29 июня 1986 г. С. А6.

1044

Выдержки из речи Горбачева на заседании Европейского совета в Страсбурге, Франция, 6 июля 1989 г. // The New York Times от 7 июля 1989 г. С. А6.

1045

«Gorbachev, in Finland, Disavows Any Right of Regional Intervention» («Горбачев в Финляндии целиком и полностью отказывается от права на региональную интервенцию») // The New York Times, 26 октября 1989 г. С. А1.

1046

«Gorbachev Lends Honecker a Hand» («Горбачев протягивает руку Хонеккеру») // The New York Times от 7 октября 1989 г. С. 5.

1047

«Gorbachev Urges Economic Accords» («Горбачев настаивает на подписании экономических соглашений») // The New York Times от 16 июля 1989 г. С. 17.

1048

Strobe Talbot. Rethinking the Red Menace (Тэлбот Строби. Переосмысление красной угрозы) // Time, 1 января 1990 г. С. 69.

1049

Fred Holliday. From Kabul to Managua: Soviet-American Relations in the 1980s (Холлидэй Фред. От Кабула до Манагуа: советско-американские отношения в восьмидесятые годы). N. Y.: Pantheon Books, 1989. P. 17, 108 - 109, 134 - 135.

1050

Дашичев Вячеслав. Восток и Запад: поиск новых отношений. Первоочередные задачи внешней политики Советского государства // Служба информации по иностранному радиовещанию (документ «СОВ-88-098», 20 мая 1988 г.). С. 4-8.

1051

Там же

1052

Шеварднадзе Эдуард. Выступление на XIX всесоюзной конференции КПСС: «Внешняя политика и дипломатия». М.: Международные отношения, октябрь 1988 г.

1053

«Икс» (Джордж Ф. Кеннан). Истоки советского поведения. С. 580.

1054

President George Bush. The U.N.; World Parliament of Peace (Буш Джордж. ООН — мировой парламент мира). Обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Нью-Йорк, 1 октября 1990 г. // Dispatch (U.S. Department of State) (Официальные сообщения, государственный департамент США). Т. 1. № 6 (8 октября 1990 г.). С. 152.

1055

President Bill Clinton. Confronting the Challenges of a Broader World (Клинтон Билл.

Перед лицом вызова со стороны более широкого мира). Обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 1993 г. Там же. Т. 4. № 39 (27 сентября 1993 г.). С. 650

1056

Sir Halford John Macinder. Democratic Ideals and Reality (Маккиндер Холфорд Джон, сэр. Демократические идеалы и реальность). Westport, Conn.: Greewood Press,

1057

Солженицын Александр. Как нам обустроить Россию? Скромный вклад// Литературная газета, 18 сентября 1990 г. «Служба информации по иностранному радиовещанию» (документ «СОВ-90-187», 26 сентября 1990 г.), особенно с 37 - 41.

Remarks by President Bill Clinton to the Multinational Audience of Future Leaders of Europe, Hotel De Ville, Brussels, Belgium, January 9, 1994 (Замечания президента Билла Клинтона перед многонациональной аудиторией будущих лидеров Европы, Брюссельская ратуша, Бельгия, 9 января 1994 г). Brussels, Belgium: The White House, Office of the Press Secretary, press release, 9 января 1994 г. С. 5.

See more books in <http://www.e-reading.me>